

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион	Коялович М. О.	Бердяев Н. А.
Повесть Временных Лет	Лешков В. Н.	Булгаков С. Н.
Св. Нил Сорский	Погодин М. П.	Трубецкой Е. Н.
Св. Иосиф Волоцкий	Аскоченский В. И.	Ушинский К. Д.
Москва – Третий Рим	Беляев И. Д.	Хомяков Д. А.
Иван Грозный	Филиппов Т. И.	Шарапов С. Ф.
«Домострой»	Гиляров-Платонов Н. П.	Щербатов А. Г.
Посошков И. Т.	Страхов Н. Н.	Розанов В. В.
Ломоносов М. В.	Данилевский Н. Я.	Флоровский Г. В.
Болотов А. Т.	Достоевский Ф. М.	Ильин И. А.
Ростопчин Ф. В.	Игнатий (Брянчанинов)	Нилус С. А.
Уваров С. С.	Феофан Затворник	Меньшиков М. О.
Магницкий М. Л.	Одоевский В. Ф.	Говоруха-Отрок Ю. Н.
Пушкин А. С.	Григорьев А. А.	Митр. Антоний Храповицкий
Гоголь Н. В.	Мещерский В. П.	Поселянин Е. Н.
Тютчев Ф. И.	Катков М. Н.	Солоневич И. Л.
Св. Серафим Саровский	Леонтьев К. Н.	Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Шишков А. С.	Победоносцев К. П.	Башилов Б.
Муравьев А. Н.	Фадеев Р. А.	Концевич И. М.
Киреевский И. В.	Киреев А. А.	Зеньковский В. В.
Хомяков А. С.	Черняев М. Г.	Митр. Иоанн (Снычев)
Аксаков И. С.	Ламанский В. И.	Белов В. И.
Аксаков К. С.	Астафьев П. Е.	Лобанов М. П.
Самарин Ю. Ф.	Св. Иоанн Кронштадтский	Распутин В. Г.
Валуев Д. А.	Архиеп. Никон (Рождественский)	Шафаревич И. Р.
Черкасский В. А.	Тихомиров Л. А.	Кожин В. В.
Гильфердинг А. Ф.	Суворин А. С.	Панарин А. С.
Кошелев А. И.	Соловьев В. С.	
Кавелин К. Д.		

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

**У НАС ОСТАЕТСЯ
РОССИЯ**

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2015

УДК 304.2+821.161.1+908(470)+94(470)

ББК 20.1+63.3(2)+83.3(2Рос=Рус)

Р 24

Распутин В. Г.

Р 24 У нас остается Россия: Очерки, эссе, статьи, выступления, беседы / Сост. Т. И. Маршковой, предисл. В. Я. Курбатова / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2015. — 1200 с.

Если говорить о подвижничестве в современной русской литературе, то эти понятия соотносимы прежде всего с именем Валентина Распутина. Его проза, публицистика, любое выступление в печати – всегда совесть, боль и правда глубинная. И мы каждый раз ждали его откровения как истины.

Начиная с конца 1970-х годов Распутин на острие времени выступает против поворота северных рек, в защиту чистоты Байкала, поднимает проблемы русской деревни, в 80-е появляются его статьи «Слово о патриотизме», «Сумерки людей», «В судьбе природы – наша судьба». Распутин – один из авторов «Слова к народу», опубликованного на страницах газеты «Советская Россия» в июле 1991 года, в самые разломные для нашей страны дни он взывает с высоких трибун к спасению Родины.

Книга публицистики великого русского писателя охватывает последние тридцать лет жизни России, существовавшей, по его слову, уже с вывернутыми руками, на развалинах своего былого могущества, когда наступил «праздник воли» и «разгул нравов, выплеснувшихся со дна», и уничтожались национальные основы и сознание. В публицистике писателя, в беседах с ним, опубликованных в периодике, открывается его пророческий взгляд на самые болезненные проблемы и будущее России.

ISBN 978-5-4261-0107-4

© Институт русской цивилизации, 2015

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда писателя знаешь почти полжизни, пишешь о нем книги, постепенно он и сам становится для тебя «текстом». И ты читаешь его книги и судьбу как собрание сочинений. Но однажды тебе делается недостаточно текста, и ты видишь, как твой товарищ сам становится твоим сердцем, твоей любовью, твоей жизнью. Словно литература теряет свои литеры и опять делается болью и светом, тьмой и победой живой повседневности. Или даже и не так, а наоборот, понимаешь, что литература – это и есть единственно подлинная жизнь, свидетельство того, чем мы были, от чего страдали, во что верили и что будет нашим ответом перед Богом.

Валентин Григорьевич Распутин, кажется, один был так неукоснительно последователен среди товарищей, которые могли и на другие сюжеты отвлечься, и в «историю сходить». А он держал святую плоть уходящей деревенской жизни, «самотканность нашего естества и духа» (как он скажет на одном из Всерусских соборов), потому что знал, что в ней весь наш дух, наша память, наша вера и наше спасение. Всё там – в крестьянстве-христианстве, которое не говорило о Боге, но держало Его в самом порядке жизни, в земле, силе, предании, совести. И теперь, когда его публицистика сошла в одном томе, особенно видно, как неукоснительно прям был его путь, его «свидетельские показания» на суде истории, которая, правда, научилась прятаться от этого суда, страшась увидеть бездну своего падения.

Когда общество дробится и делается неотчетливо в идеалах и целях, оно научается лишать слова их отчетливого значения, дробя их на оттенки и толкуя уже не корни слов, а именно эти оттенки, извлекаемые в соответствии с нравственным и социальным слухом толкователей. И тут уж про твердые смыслы можно позабыть. Кажется, это началось сразу с нашей говорливой перестройкой и со всех страниц возглашаемым «плюрализмом». И таящееся зло словно только и ждало, чтобы тотчас начать размывать основания жизни.

Я и сейчас помню, как потемнело сердце от предчувствия слома живых основ, когда в одном из интервью газете «Советская молодежь» 1989 года Анатолий Приставкин, спрошенный о пугавшем тогда молодой либерализм обществе «Память» и о возможной связи с этим обществом такого «гуманистически настроенного писателя, как Распутин», вдруг ответил встречным вопросом: «А почему вы думаете, что Распутин – “гуманистически настроенный”?» Корреспондент смутился, не готовый к таким поворотам писательской этики, а Приставкин со снисходительной небрежностью объяснил, что, может быть, Распутин и был писателем, но, когда «деревенская проза» себя изжила, он с досады ушел в публицистику и встал на «антиперестроечные рельсы».

Оставим в стороне этот, увы, популярный тогда, но такой жалко-постыдный в устах серьезного художника жупел – «антиперестроечные рельсы» (им в те дни охотно пользовался всякий, как пропуском в либералы). Послушаем, что не устраивало его в «деревенской прозе», потому что Приставкин выразил мнение значительной части тогдашней (да и нынешней) интеллигенции, внезапно обнаружившей свою новодельность и безопорность: «Возможно, все дело в дефиците внутренней культуры (вот так – без глупых церемоний! – В. К.), без которой нельзя оставаться убежденным сторонником демократических преобразова-

ний, ориентированных на современную культуру, от которой мы долгое время были отгорожены... отгороженность от мировой культуры уже много нам навредила. Национальная замкнутость вредна».

Если бы это была только частность, единичная досада на великую на тот час «деревенскую школу», то можно было спокойно пропустить выпад мимо ушей. А только скоро стало ясно, что «война объявлена», что нужен был только повод, чтобы выговорить всю неприязнь к «деревенской прозе», еще удерживающей русское сознание в достоинстве и силе. Смотришь, тему в 1990-м году уже подхватил в «Литературной газете» Виктор Ерофеев в нарочито провокационной статье «Поминки по советской литературе». Поперек всякой правде Ерофеев писал там, что в «семидесятые годы деревенская литература добилась того, что в лице Астафьева, Белова, Распутина могла существовать в известной мере самостоятельно, исповедуя “патриотизм” (именно так, в кавычках – «патриотизм». – В. К.), за что приглянулась официозу и была осыпана наградами».

«Со временем дело, однако, – продолжал Ерофеев, – стало меняться. Прозападническое развитие советского общества... способствовавшее тому, что в стране возникла общественная база для реформ, привело ко все нарастающему конфликту между деревенской литературой и обществом. Деревенская литература стала больше разоблачать, проклинать, чем возвеличивать». И дальше, все меньше сдерживаясь, Ерофеев уже и не писал, а зло выкрикивал о «зоологической ненависти “деревенщиков” к рок-н-роллу, аэробике, чуждым влияниям», клеймил «их своеобразный расизм... помраченное сознание, определенное историческим желанием переложить ответственность за национальные беды на “чужих”, найти врага и в ненависти к нему сублимировать национальные комплексы». И, конечно, названы были и сами эти «комплексы»: национального превосходства, религиозной ис-

ключительности, и лучше уж не цитировать про «зубную боль от языка» этой прозы, про «апокалиптический тон» и «монструозные идеи».

Причина конфликта, как видите, хоть и в иных, чем у Приставкина, словах, но та же – победившее «прозападническое развитие», которое Ерофеев представляет как спонтанный, неспровоцированный выбор народа. А «деревенщики», мол, засиделись в своих консервативных представлениях, проморгали этот национальный выбор и вот теперь, потеряв читателя, срывают зло на невинном рок-н-ролле, аэробике, экстрасенсах и т.д., да еще уподобляют их духовному СПИДу.

А разогните уже 2014 года номер журнала «Сноб» (по названию и сочинения!) и прочитайте статью Дмитрия Быкова «Русское почвенничество как антикультурный проект». Поневоле ахнете – словно назавтра после Приставкина и Ерофеева писал, а не через 25 лет. Не пожалею места для большой цитаты, чтобы стало видно, что война системна и последовательна.

«В русской литературе семидесятых годов XX века сложилось направление, не имеющее аналогов в мире по антикультурной страстности, человеконенавистническому напору, сентиментальному фарисейству и верноподданническому лицемерию. Это направление... во многом определившее интеллектуальный пейзаж позднесоветской эпохи, получило название “деревенщики”, хотя к реальной деревне, разумеется, отношения не имело.

Проза и поэзия деревенщиков – литература антикультурного реванша, ответ на формирование советской интеллигенции и попытка свести с нею счеты от имени наиболее несчастного и забитого социального слоя – крестьянства.

...Деревенщикам не было никакого дела до реальной жизни деревни. Их подмывало обличить в жидовстве и беспочвенности тот новый народ, который незаметно вырос у них под носом и в который их не пускали, потому

что в массе своей они были злы, мстительны, бездарны и недружелюбны».

Вот где она на самом деле – «зоологическая-то ненависть»! Но Валентин Григорьевич знал, зачем брал перо публициста. Приходила пора объясниться напрямую, раз художественный язык, задевая сердце, не достигает ума.

С «перестройкой» все отчетливее делалось, что «народ», еще вчера бывший для разных мыслителей достаточно устойчивым и целостным понятием, разламывался, и либеральные и деревенские писатели обращались к взаимоисключающим аудиториям. А граница шла как раз по этому самому «прозападническому развитию». То, что для самодовольного либерализма было – необходимость и ценность, то еще столетие назад для Константина Леонтьева было «пошлость», и кто помнит его работы, те знают, с какой запальчивостью философ вместе с Достоевским называл среднего европейца главной угрозой миру и духу. Вот и деревенские писатели разве новым формам хозяйствования сопротивлялись, европейскому опыту, фермерству, принципам землепользования? Нет, именно пошлости, которую мы усваиваем скорее резонов. Именно пошлость державного мещанина для нас менее всего безобидна, потому что разлагает скорее всего остального и прививает не умение и желание работать, не великую ответственность за экономику и культуру страны, а поверхностную декоративность внешнего подражания, тоску по достатку, минуя труд, минуя собирание души, минуя необходимую работу религиозного устроения, без чего наше «прозападничество» кончится одними брючными наклейками.

Приставкин ссылаясь в своем интервью на выступление Распутина в Рязани на последнем тогда, кажется, настоящем большом писательском пленуме. Оно было напечатано, и мы сейчас вспомним его не для возражения пустым обвинениям, а чтобы лучше понять, какие же действительные опасности видел Распутин в ориентировании

на «современную культуру» и от чего надеялся если не оградить, то хоть предупредить человека, легко попадающего в словесные ловушки «сторонников демократических преобразований».

Родная почва выбита из-под нас так основательно, что мы и правда у себя на подозрении – как бы не отстать, не пропустить чего, не опростоволоситься в «порядочном обществе». Это болезнь не новая. Грибоедов уж вон как ее знал и устами Чацкого как верно определял: «Кто мог бы словом и примером / Нас удержать, как крепкою вожжей, / От жалкой тошноты по стороне чужой..» Или что мы со школьной скамьи ведаем, да только все смысла не слышим: «Воскреснем ли когда от чужевластья мод?» А то и прямо хоть в уста Ерофееву вставляй: «Как европейское поставить в параллель с национальным? – странно что-то...»

По всему видать, что с такими взглядами Чацкого непременно объявили бы «шовинистом», пожалуй, срифмовали с «Памятью», да и опять, благословясь, объявили сумасшедшим... Ведь и его разве великая культура на Западе отвращала? Нет – «французики из Бордо», которые пришли к нам сегодня в полном телевизионном всеоружии, чтобы оснастить нашу массовую культуру всеми доблестями «современной культуры, от которой мы оказались отторжены», а именно: повальным, действительно повсеместным вторжением чужого миропонимания, легализацией гомосексуализма, парадами нагих девиц, торопящихся в королевские красота, счастливой раскрепощенностью живописцев, которые теперь могут выставлять и чистые холсты, и доски сортиров, да бездной иных способов доказать, как благородно безглаголива их душа к обесчещенным идеалам отцов.

Вот, вот о чем с горечью и гневом говорил тогда в Рязани Распутин, приводя несчетные примеры нашего бесстыдного искательства перед Западом: «Словно без рук оказалось великое национальное наследие – без рук, способных его сохранить и достойно продолжать. Словно один пре-

ступный замысел пересекался с другим, чтобы лишить народ памяти и чутья. Культурой и нравственностью стало то, что никогда ими не было, а в воспитатели вышли люди сомнительных правил, святость превратилась в насмешку».

Если это «антиперестроечные рельсы», то страшно делается за страну, которая избирает рельсы другого направления. Распутин словно предчувствовал тогда оскорбительные дружные хоры обвинителей, потому что атака на национальное, так зорко увиденная еще Грибоедовым, знала короткие спады, но не прекращалась совсем, а сейчас приобрела размах государственный, планомерно массивированный. «И сегодня, – говорил тогда Распутин, – на всякого, кто пытается напомнить об отечественных корнях или, не дай Бог, о святоотеческих началах, немедленно набрасываются, как на опричника Ивана Грозного или Сталина, стоящего на культовых или клерикальных позициях и не имеющего ни биологического, ни гражданского права существовать в эпоху демократических перемен. Инакомыслием в собственной стране стало... рассуждение... о ее самостоятельности, невежестве и косностью – обращение к вечным ценностям нравственности и культуры».

Оппоненты его дружно закрыли глаза на то, что выступление тогда заканчивалось цитатой из Достоевского, и, пожалуй, по величине цитаты не знали, где закрыть кавычки, и, в сущности, именно Достоевского, а не Распутина бранили, ему сопротивлялись, его в «Память» и вписывали, потому что это не Распутин, а Достоевский взывал к нашему достоинству и разборчивости в понимании «мировой культуры». Это он с горькой пронзительностью и с несдерживаемой досадой писал: «Мы виляли перед ними, мы подобострастно исповедовали им наши “европейские” взгляды и убеждения, а они снова нас не слушали и обыкновенно прибавляли с учтивой усмешкой... что мы все у них не так поняли». И это Достоевский убеждал нас, что «стать русскими значит перестать презирать народ свой. И как только

европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отозвались бы европейской душе».

Придется предположить, что и Достоевского ждала бы участь Чацкого с этим его «национальным духом». Все понятия лукаво подменяются, а с подменным-то и ведется борьба. Спроси у тех же тогдашних оппонентов Распутина В. Ерофеева, А. Приставкина, П. Карпа, Т. Ивановой – где именно вычитали они у «деревенщиков» о национальном превосходстве, о религиозной исключительности русского народа, и они строки не нашли бы. («Русскость, так же как немецкость, французскость, есть общее направление нации, внутреннее ее стремление, выданный ей при мужании, когда обозначаются успехи, аттестат на особую роль в мире» – в этих ли словах Распутина превосходство?)

Читали бы лукавые господу русскую мысль, может быть, и слышали бы лучше. Да кто же из них станет читать русское! Хотя вон уже Н. М. Карамзин писал, и вон когда: «...Если уж речь зашла о качественности, русскость в широком смысле – это не набор и не ассортимент качеств, свойственных русскому человеку, а духовная качественность. Те, кто не принимает сегодня ни под каким видом русскость, – или не верят, что столь высокое призвание могло быть вручено столь “низкому” народу, или она, качественность, сама по себе вызывает в них раздражение по принципу: нет во мне, не должно быть и в других. А потому народ, домогавшийся или домогающийся ее, представляется им опасным. Это расхождение и непонимание вызывается не обязательно национальными и религиозными различиями – все больше причиной их становится нравственный раскол, торжество зла, собирающее под знамена своего передовизма аморалитический интернационал. Поспешая в него, бывший русский человек, чтобы не вы-

зывать у новых друзей подозрение в лояльности, посылает вслед своему народу, который он предал, самые бешеные проклятия и издевательства, что, кстати, по законам предательства является делом обычным».

«Аморалистический интернационал» свое дело знает и «копеечку» свою получает не зря, и подделки мысли совершаются им сознательно, потому что если и говорить о национальном самосознании, о религиозной традиции и специфике этой традиции, то придется коснуться тех настоящих глубин, которые строят любую нацию и не всегда переводятся в удобный литературно-политический словарь. Тогда придется отвечать не перед этим «интернационалом» и однодневным читателем, который легко пленяется задорной фразой и не ищет проверки (потому что эта проверка и от него потребовала бы ответственности мысли и существования), а перед народной памятью в себе, перед совестью и смертью, которые в России всегда стояли выше либеральной репутации. И фарисейство литературных бесстыдников пошло простираться до того, что они стали «извинять» Распутина (как прежде «извиняли» Достоевского), что вот, дескать, писал замечательные книги, а потом взялся не за свое дело и по «недостатку внутренней культуры» стал впадать в уже стыдный теперь консерватизм, мешая «убежденным сторонникам демократических преобразований».

А он бы и рад, как в лучшие дни, книги писать, да в себе не волен: «горит село, горит родное» – какие тут книги? Душа-то как раз к книгам и рвалась, силы были в совершенном расцвете, а мир не пускал. «Я ведь даже слово давал, – признавался он в начале перестройки интервьюеру «Смены», – как только отмечу 50-летие, плюну на все, уеду хоть в тундру, где уж меня никто не найдет, и буду только писать... А вместо этого борьба, статьи заседания, выступления». И чуть позднее опять о том же и мимо вопроса, почти невпопад, – видно, болела эта мысль, и от нее было не освободиться: «Больше всего меня заботит моя собствен-

ная творческая работа. Больше всего мне хочется заниматься литературой. Сесть за письменный стол и быть от всего свободным. Но... нельзя освободиться от обязанностей гражданских, когда страдает культура, страдает человек».

Нельзя, нельзя! Иногда в отчаяние приходишь, и уж хоть криком кричи: да что же это за общество, которое так бесстыдно и несправедно обращается со своими художниками, принуждая их быть экономистами, экологами, мелиораторами, воинами и пахарями, вместо того чтобы каждого своего члена использовать в прямом его деле и пирожникам печь пироги, а сапожникам – тачать сапоги.. Но изломанный механизм общества, изувеченная машина государства по-прежнему совершают подмены и калечат своих граждан, принуждая их проживать чужие жизни, делать чужие работы и в результате не осуществлять и своего прямого назначения, и чужое дело часто поневоле сбивать на сторону.

Это, может быть, одна из главных бед последнего исторического периода, и в особенности самых последних лет. Культура еще не предьявляла государству своего мартиролога духовно истребленных и не по назначению использованных художественных сил. Эти потери еще не считаны, хотя утраты все отчетливее обнаруживают себя в нашей гуманистической запущенности.

Народ лишен необходимой и только по внешности как будто «надстроечной» и второстепенной, а на деле незаметно насыщенной художественной культуры, чье значение стократно возрастает, когда общество лишается величайшего духовного института – религии. Сообразительная Европа, которой мы не устаем клясться в верности и которой хоть на словах в «прозападных ориентациях» хотим следовать, никогда (за краткими обмороками революций) не предавала этого института, зная великую силу надличных ценностей, перед которыми равны мусорщик и монарх. С насильственным упразднением этой силы в России ее роль, сознавая всю несоизмеримость подмены, должна была

взять на себя всегда сродная Церкви по ответственности перед народом русская литература. Она несла это великое бремя с возможным достоинством и честью до тех пор, пока духовная инерция, даже и в самой своей смерти еще подкреплявших нас предков, запасы энергии, нажитой не нами, не были истощены и преданы окончательно.

Оказалось, что сбежать «даже в тундру» уже нельзя, что время искусства в старом разумении кончилось, что старые родники окончательно истощены и «стол» уже не для литераторов, во всяком случае не для тех из них, кто помнит полноту значения слов «совесть», «народ», «вера», «родина», «культура» (эта последняя при изгнании корня «культ» обращается в простое «ура»). И вот художник умом-то, опытом и зовом дара к прямому своему делу стремится, а народная душа в нем уже не знает, о чем говорить с музой, когда вокруг все болит и не сулит исхода.

Обращение к религии уже не на уровне предчувствий, как в очерке «Поле Куликово» или в «странных» рассказах «Век живи...» и «Что передать вороне?», а на уровне прямо необходимого исследования и настоящего живого духовного понимания для поиска выхода становилось для Распутина неизбежным. В критические дни, в оканчивающихся столетиях и на переломе этих столетий, интерес к религии, к Церкви возвращается с периодичностью закона.

Так, в неожиданных для России формах масонства, принятого по ошибке за аскетическую антитезу правительствующей синодальной Церкви (за такие ошибки дорого платят), этот интерес вспыхнул в конце XVII века в душах и умах Новикова и Радищева, чтобы потом мощно преобразиться в живой вере и глубоких системах Киреевского, Хомякова, Аксаковых. Из-за доверительной беседности их книг мы почти проглядели в их мысли систему.

Так же и в конце XIX и в начале XX века, по справедливому слову Распутина, «русская мысль... в вопросах духовно-нравственного бытия человека сказала так много,

что могла бы считаться катехизисом новейшего времени. Предреволюционному обществу нужно было заткнуть уши, чтобы не услышать ее предупреждений и отделаться бранью».

Эта опасность «пропустить мимо ушей» не то, что существует и сейчас, она стала еще очевидней, потому что и наш недавний острый интерес к русской религиозно-философской мысли и к родной Церкви, вошедшей наконец в литературу и жизнь с должной обиходностью, уже истаивает. И уже перестает носить даже недавно еще живой и повсеместный характер интеллектуальной оппозиции, и имена В. Соловьева, В. Розанова, Е. Трубецкого, К. Леонтьева, Н. Бердяева, П. Флоренского, С. Франка, А. Карташева и т.д. если еще и прорываются время от времени, то уже служат в журнальных публикациях больше «знаком интеллектуальной моды», чем «пособием» для живого общественного применения. Кажется, «реабилитация» мысли ограничилась именно «реабилитацией», справкой о «снятии судимости», не став инструментом живой работающей правды. Мы узнали за два последних десятилетия столько некогда великих имен, воскресили столько событий, течений и школ, восстановили столько утрат, что должны были нажить качественно новое миропонимание. Но преображения нет как нет, и мы только острее и болезненнее чувствуем внутреннюю нетвердость, вполне понимая, что значит метафора о новом вине в старых мехах, но не ведая, как их согласить.

«Факты мысли» все прибавляются, ум уже не в состоянии вместить их и порою помимо нашей воли сопротивляется новому знанию. Ему не хватает вооруженности, систематической силы, классической школы, которая начинала с фундаментов, а не с громоздящегося «под открытым небом» беспорядочно свезенного разнообразного «стройматериала». А. Ф. Лосев незадолго до смерти замечательно написал, что «все так называемые факты всегда случайны,

неожиданны, текучи и ненадежны, часто непонятны, а иной раз даже и прямо бессмысленны». (Эту «текучесть и ненадежность» всякому легко увидеть по нескольким вариантам школьных учебников истории, где факты тасуются в соответствии с «заказом» либеральной или «консервативной» школы. – В. К.) «Поэтому мне, – продолжал Лосев, – волей-неволей часто приходилось не только иметь дело с фактами, но еще более того с теми общностями, без которых нельзя было понять и самих фактов».

Вот эти-то «общности» и разумел Распутин, говоря о том, что русская мысль могла быть «катехизисом новейшего времени», могла привести человека «в соответствие с моральными законами, вдохнуть в него вечность, дать внутреннее зрение, показать на поле в его душе, которое требует возделывания с не меньшей старательностью, чем поле хлебное, и постоянно засеивать его любовью». Это само требование «любви», очевидно, и побуждает подозревать художника в «негуманистической настроенности». Да еще то, что и в размышлениях о тысячелетнем пути русского православия он вновь не уступал нравственного первенства Европе, не сетовал на отрыв, а бережно искал синтеза, верно отмечая, что «в западном человеке первенствовало внешнее устройство жизни, в нашем – душеустройство. Для одного важнее была форма, для другого – содержание. Будучи сыновьями одной матери, они происходили как бы от разных отцов и могли считаться сводными братьями. Когда бы удалось свести достоинства друг друга, получилась бы, вероятно, личность, которая устроила бы ее без трагического разлада с собой». (Заметим в скобках, как часто у русского художника – у Достоевского ли, у Распутина, – как только он заговаривает о «сущностях» исторического пути, мелькает это горькое сослагательное наклонение: у Достоевского «развивались бы в национальном духе... – отозвались бы европейской душе», у Распутина – вот удалось бы спасти, «получилась бы личность без разлада».)

Но для того чтобы свести эти достоинства, нужна общая долгая работа самосознания, и Распутин не зря от статьи к статье и от выступления к выступлению настойчиво выкликал кроме не раз названных мною мыслителей имена Г. Федотова, И. Ильина, С. Булгакова, и Л. Карсавина и «живоносные имена» Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Сергия Радонежского, Паисия Величковского, которые мы еще оставляем в одних храмовых стенах, а он с благодарной пронизательностью уже доказывал, что «школа старчества... была школой и русской литературы».

И опять это нужно ему не для лестного уподобления духа литературы духу церкви, не для возвышения родного за счет других. Он тут плоть от плоти своего народа, милой России, которая всегда была к себе строже, чем к другим, и в пример себя определять не спешила, потому что в лучшие часы, как писал Лесков со всей его языковой изобретательностью, она хотела «устраиваться, а не великаться».

Уж чего-чего, а послабления своему народу русские художники не делали (Абрамов ли с его гневом на односельчан, Астафьев с его «Печальным детективом», Распутин с его «Пожаром» и «Матерой»), но и как пасынки себя не вели, высокомерия и хамства по отношению к вскормившему их роду не позволяли. Это всегда было отношение именно сыновне-отцовское, со всею диалектикой этих понятий – по-сыновьи любить и по-отечески спрашивать. Или, как писал тот же Лесков, «понимать свое время и уметь действовать в нем сообразно лучшим его запросам – это не значит раболепствовать перед волей масс, нет, это значит только чувствовать потребность “одной с ним жизнью дышать”».

Серьезность спроса проистекала как раз из неравнодушия, из того, что одной-то жизнью можно жить только со здоровым народом. А здоровым быть у народа в последние десятилетия и не выходило. При этом не всегда можно укрыться за спасительной ссылкой на исторические обстоя-

тельства, хотя, конечно, Россию они увечили больше, чем какое-либо другое государство. Но что-то, кроме злой воли истории, еще было тому причиной, что-то в самом строе нашего характера. Прочитав даже только «Прощание с Матерой» и «Пожар», можно частью предположить – что именно. Это скорое согласие с произволом, это с давних пор укрепившееся фаталистическое чувство, с которым русский человек взаимодействует с судьбой, смиряясь с нею, но страстно и глубоко обосновывая внутреннее несогласие.

Я говорю о нынешнем человеке и о том его предшественнике, который этого нынешнего приготовил: о человеке, пошедшем за прогрессом, за той самой Европой, которая нам все не дает покоя, для чего человеку пришлось отступить или поступиться своей целостностью, органическим всеединством, которым владели даже в глаза не выдавшие книги, а только заветом отцов и Церкви воссоединенные с миром распутинские крестьянки. А теперь вот эту целостность, которая прежде давалась житейским наследованным опытом, приходится восстанавливать или, скорее, обосновывать, переводить в книжное знание. Беганье за Европой оказалась опасным, и книжное знание на месте живого опыта скоро и окончательно расслоило народ.

В результате, как писал любимый и часто цитируемый Распутиным В. В. Розанов на полях «Легенды о Великом инквизиторе», дело неизбежно кончается тем, что «никакая общая мысль не связует более народов, никакое общее чувство не управляет ими – каждый и во всяком народе трудится только над своим особым делом. Отсутствие согласующего центра в неумолкающем труде, в вечном созидании частей, которые никуда не устремляются, есть только наружное последствие этой утраты жизненного смысла».

Распутин опытом «Денег для Марии», «Пожара» и особенно опытом постоянных своих работ по защите живого мира (равно Байкала и человека, чуть приходящей в себя в начале девяностых Оптиной Пустыни и родного

словаря) пришел после чтения «Легенды» к выводам, которые были еще менее оптимистичны: «Человек не выдержал своего предназначения. Он себя не выдержал, своих противоречий, которые хотелось скорее примирить, и примирить он их взялся необременительным образом “поверх добра и зла”. Так было проще, чем побеждать в себе зло. Оно так долго не побеждалось, что он счел себя уставшим и свободным от борьбы».

В «Пожаре» технология этого примирения обнаружена с несколько даже прямолинейной наглядностью, да и весь историко-публицистический его материал был подтверждением этого тяжелого для души и вызывающего сопротивление вывода. Розанов, в сущности, тут и останавливался, но Распутин ведь не в воображении нашел и старуху Анну, и Настену, и Дарью, чтобы смириться на горьком удовольствии от этой жестокой правды. Он ни от чего не отворачивает глаз: «Посмотрите, чем занято общество: химизация, политехнизация, научная организация, сейчас компьютеризация. И только одним оно не занято – гуманизацией, еще не отмененной окончательно, но загнанной в такой угол, откуда шепот ее почти не слышен».

Но он своих великих героинь из памяти не выпускает и работы товарищей читает достаточно внимательно, наконец, родную веру, ее подвижников и молитвенников полно знает, чтобы вновь и вновь выводить к надежде, обретенной не в самообмане, а в голосе родных пространств и их насельников, героев и прототипов своих. «Если человек все еще человек... он не сможет согласиться с одной лишь плотью. И востребует он: “Дух! Дайте мне дух! – или я откажусь от своих учителей, прокляну новые божества, лишившие меня духа!” И произойдет это тем скорей, чем скорей человек будет накормлен. Религия потребительства, пытающаяся встать над всеми религиями мира, которой все еще соблазняется человек, не может иметь будущего».

А мы все живем этой религией, и клич «Накормите!» пока громче призывов «Дайте мне дух!», настолько громче, что почти одно «накормите» и слышно. Но художник на то и художник, чтобы слышать мир на «абзац вперед» и в пример и указание пути обращаться к духовным заветам до того, когда общество встанет перед необходимостью понять, что и ему во второй раз нельзя будет отмолчаться от своего духовно-философского наследия без риска потерять всякую связь с самым живым и перспективным в народном сознании.

Высокие статьи Распутина конца восьмидесятых – начала девяностых годов «Из глубин в глубины» и «Смысл дальнего прошлого (Религиозный раскол в России)» обнаруживали не просто глубокое знание предмета (тут найдутся специалисты и поавторитетнее), а прежде всего интерес этико-практический: что там, в минувшем опыте, народно-необходимого, духовно существенного для настоящего дня? Родство ситуаций, духовная реформация, которая таинственным и естественным образом следует за социальной революцией или сопутствует ей, ищут, по его разумению, уже не академического, а страстно-пристального, ревностного взгляда, чтобы хоть при перемене тысячелетия научиться наконец извлекать уроки из истории.

Как читатель уже догадался, это размышления больше на полях старых статей Валентина Григорьевича о «начальной» поре нашего общественного постсоветского прозрения. А в 2011 году у Распутина вышла книга его бесед с Виктором Кожемяко «Эти 20 убийственных лет», и все в старых мыслях заболело снова. «Беседы» – слово обманчивое. Беседа – дело мирное, даже уютное. А тут что ни слово – боль, что ни абзац – обвинительное заключение. Да и вся книга – приговор подлинно убийственному 20-летию.

Но мы ребята ловкие – научились защищаться от таких книг молчанием. Мне всегда по простосердечию казалось, что вот написал Чингиз Айтматов «Плаху», обвинил нас в

предательстве себя, в забвении истории и духовного света, так ведь завтра соберется Верховный совет, позовет художника и скажет: «Что же это ты, братец, такую напраслину на наш народ возводишь? Мы тут ночей не спим, высокое общество строим, за чистоту идеи бьемся – вон народ со-врать не даст. А ты чего? Давай извиняйся или катись туда, где, как тебе кажется, с правдой лучше обращаются. Мы клеветы на свой народ не потерпим».

Ан нет. Никто никого к ответу не призвал. И в клевете не обвинил. Значит, правду сказал художник. Ну, тогда опять заседание Верховного совета, и уже он кается: прости, народ православный. Мы не заметили, как случилось непоправимое. Мы уходим в отставку, а ты уж выбирай памятливых людей, спасайся, да и нас, дураков, спасай от нашей слепоты.

Ведь дело-то общее. Мы с колыбели знаем, что государство – семья, дом, живое единство, – и болезнь одного органа не частное дело. Как у пушкинского «Бориса» с совестью: «Но если в ней единое пятно, единое случайно завелось – тогда беда...» А ведь тут Распутин из года в год не о «едином и случайном» говорит, а с живым страданием утверждает общее поражение страны, ее промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры, языка, духа.

Еще в самом начале XXI века он говорил: «...Мы оказались на другом берегу. Там, где мы были только что, закончилась история, в которой человек еще мог принимать участие... а вместе с историей закончилась человеческая цивилизация и общественная эволюция. Позади остались захоронения тысячелетних трудов и упований. Вокруг нас подобие прежней жизни, те же картины и те же дороги, к которым мы привыкли, но это обманчивое видение, тут все другое. И мы другие. И этот “подарок” новой календарной эре и всему миру сделала Россия. Она вдруг сошла со своей орбиты и принялась терять высоту. Но значение и влияние ее в человеческом мироздании было настолько огромным,

удерживающая ее роль настолько велика, что вся планета, независимо от того, что кто-то считает себя в выигрыше, почувствовала неуверенность и тревогу, всех обожгло наступление новой реальности на противоположном берегу Реки жизни». Как это услышать и не остановиться? Не нам одним, а и беспечному миру, в котором, коли он внимательно на себя поглядит, тоже ведь сломалось что-то именно в тот час, когда мы «оказались на другом берегу».

До этого порога в беседах, начатых в 1993 году после первых публицистических книг Распутина, еще нет-нет, но звучала нота надежды, и он к концу непременно норовил утешить себя и нас, что безумие поразило не весь организм, что живые клетки еще есть. А уж как «сошла Россия с орбиты», так он уже больше себя надеждой не обманывал, а глядел только мужественней и горше. Да ведь и то! Повторять ли, что заводы умерли, отдав свои цеха под супермаркеты и развлекательные центры, что «земля стала безвидна и пуста», как до сотворения, что телевидение окончательно простилось со старыми нравственными институтами, уже и не скрывая своей брезгливости к нам, перепроизводство литературы окончательно смыло границу между высоким и низким и Россия окончательно перестала быть «удерживающей силой» не только для мира, а и для самой себя.

Слух привык, и душа уже не кричит, читая у Валентин Григорьевича: «Земельный кодекс с правом продажи земли – это только начало, приоткрытая дверь, но приоткрытая, больше уже не запертая...»

«Россию старательно, как чумазую Золушку, преобразают в глобализированную принцессу, чтобы ехать на бал Сатаны».

«Что касается интеллигенции – нет в России больше интеллигенции в той роли и служении, какой она была прежде» (все его еще недавние надежды на то, что она продолжит служение Сергия и Серафима, изменили ему).

«Элитарщина окончательно освободилась от всего, что называется служением Отечеству, освободилась от всяких обязанностей перед народом и добровольно заглушила в себе голос совести».

Мастера духовного растреления так вышколили нас за эти двадцать лет, что нам о правде, достоинстве и традиции уже и говорить неловко: «Опять вы за свое? Сколько можно?» А мы уж будто и стесняемся сказать: да потому и можно, что за свое, за наше, расхищенное потерявшим стыд русским человеком, простившимся со своим преданием, со своими устоями. Устали и смиряемся, чего говорить – свои и так все знают, чего их лишний раз бередить, а ТЕМ наши печали – не печали. Они построили свое, «свободное» от нравственных обязательств государство и уж гордиться им научились: слава Богу, у нас «гражданское общество», не «застой» какой-нибудь... Ну а что землей торгуют напрапалую и теснят уже и святые для народного сердца Михайловское и Бородино, Ясную и Архангельское, Константиново и Абрамцево, так у вас Общественная палата есть, Общество охраны памятников – давайте смелее! А что законы «резинновые», так предлагайте свои поправки – Дума рассмотрит.

Получаю я, как член Общественной палаты, план Думы на полугодие и не знаю, смеяться или негодовать – чуть не каждое заседание посвящено вопросу о «внесении поправок». День за днем, год за годом – «о внесении поправок». А потом за закон берется Общественная палата, приступает к своим уточнениям и возвращает на доработку, чтобы Дума могла приступить к следующему «внесению поправок». Всякий закон в конце концов становится похож на «Воронью слободку» из сотни пристроек, и там всякий найдет себе уголок, оправдывающий необходимое умному чиновнику своеволие. Конечно, какая уж тут традиция, какая память, какая история, какое Отечество...

А у меня все нейдут из памяти слова Альбера Камю: «Если бы я написал книгу о нравственности, в ней было

бы сто страниц и девяносто пустых, а на сотой было бы написано: я знаю только один закон – любить, а на остальных страницах я говорю “нет”, пока хватит сил».

Все творчество Валентина Григорьевича Распутина было одним этим законом «любить», который и соединял нас в одно сердце, пока соблазны своеволия и обольщения «цивилизованного человечества» не изломали вековечную систему ценностей. И тогда осталось одно: пока хватит сил, говорить «нет», каким «нет» и стала эта книга. Горе времени, оставляющему по себе такие свидетельства.

От усталости можно было прийти в отчаяние (и он часто приходил), можно было укрыться в крепости правоты «я говорил!» и жить «на проценты» со своей прозорливости. Но это тоже было бы о ком-то другом. Он никогда не бегал ни от времени, ни за временем. Жил, как Бог поставил («В старые времена я наверняка был бы на стороне старообрядцев. По консервативному своему складу характера и ума, по согласию с аввакумовским принципом: “До нас положено, лежи оно так во веки веков”. Я даже в юности узких брюк не носил, и не потому, что комсомол не велел, а потому, что мне это казалось нарочитым, вздорным. Понимая прекрасно, что это невозможно и вредно – находиться “за железным занавесом” от Запада, я втайне тоскую по нему: сколько доброго было бы не изгажено!» – писал он мне 22.12.96).

Он и читал с детства так ненасытно не для цитирования и блеска знания, а чтобы пускать «в дело». Вводить знание в порядок дня, переводя его в молчание, в небо и землю, словно хотел, чтобы оно наполнило не только человека, но воды и облака, птиц и зверей. Он был и есть в своем деле Леонтьев и Ильин, Данилевский и Аксаков, Шмелев и Бунин. Тогда как мы часто только в платье «от Ильина», «от Леонтьева», как «от Диора».

Все, кто читал его год за годом (а все хочется, чтобы это были мы все), видели, что он всегда, с самого начала, с «Василия и Василисы», с «Денег для Марии», слушал

больное русское сердце, ища ему исцеления. Он всегда был неудобен и всегда (как Церковь в ее высоком и правильном понимании) «мешал нам жить» в наших слабостях и меньше всего обманывал себя и других «возрождением», потому что всегда имел слишком острое зрение.

Я с улыбкой смятения всегда смотрел его рукописи, которые можно было прочитать только под 4-5-кратным увеличением, и, дивясь, спрашивал, что у него со зрением. А он отвечал, что в юности читал в Иркутске через Ангару «куплю, сдается, продам», так что неверы ездили за реку, чтобы убедиться – правда. В этой страшной физической зоркости, за которую он платит теперь болезнью глаз, было только отражение зоркости духовной.

Он умирал вместе с Анной («Последний срок»), уходил под воду с Дарьей («Прощание с Матерой»), погибал с Настенкой («Живи и помни»), брал обрез с Тамарой Ивановной («Дочь Ивана, мать Ивана»). Он знал мужество скорби и одиночество смерти и всегда был тем, что есть, с нерушимой кристаллической решеткой.

Как будто стоял прямо в сердце жизни, а не общества, политики, истории; жизни, как первоосновы всякой судьбы – человеческой, общественной, исторической. И потому и выбирал в героини женщин, которых не обманешь хотя бы и очень высокими политическими целями, что они сами – жизнь в ее разовой вечности, чьи законы просты и величественны и чьей правды не переступишь. «Женщина – жизнь, а не – о жизни, – как замечательно писал в своих «Дневниках» отец Александр Шмеман. – Потому ее миссия – вернуть человека от формы к содержанию жизни».

Всегда с той поры, как я стал писать о Валентине Григорьевиче, кто-нибудь из редакторов непременно просил меня «прибавить света». И все уверял, что жизнь светлее ее распутинского портрета. А уж тем более сейчас, когда вот и дети все чаще полнят храмы. И «небеса ближе», и сами мы пошире душой. Это были, в общем, не перестраховщики, не

трусы, а добрые, уже немолодые люди, навидавшиеся зла, которые умели примириться с миром, понимая, что главные его вопросы решаются не здесь. И я с горечью думал, что и сам прежде всего искал у Распутина света, и сам был готов извлечь его хоть из намека, хоть из малого повода, но писатель твердо отказывал мне в обманчивом утешении. Хотя все делал для света: и о Вампиловском фестивале беспокоился, и на пленумах писательских не молчал, и готовил хоть малое слово для очередного Всемирного Русского собора, и вот фестиваль «Сияние России» проводит в Иркутске больше двух десятилетий (и ведь «сияние», а не «затмение»). И всякое его публицистическое слово, при всей горечи, ищет опоры и единения.

Как он верно говорил на предпоследнем Русском соборе: «Как не преклониться перед мудростью народной, которая века и века указывала направление грозящей России опасности! До чего просто и верно: сверху небо, снизу земля, а с боков ничего нет – оно и продувает. Боковины свои мы и не сумели охранить. Это еще пушкинская мысль, применительно к традиции: что пребывает в России, то ко благу ее, что не вмещается – то соблазн и опасность. От славянофилов и до Столыпина звучало предостережение: “Нельзя к русским корням и русскому стволу прививать чужестранный цветок” – и не предостерегло».

Теперь уже навсегда ясно, что это он с горькой твердостью и правом поставил памятник русской деревне, утонувшей на наших глазах невооруженно, как Атлантида или Китож. «Эх, Валентин, нет уже с нами той жизни, тех чувств, той памяти, на которые мы продолжали уповать. Отбыли – и чего уж тут обманывать себя – навсегда» – это опять из письма (26.06.03). И мы-то еще, может, и не поняли, что невооруженно, и еще обманывали себя заплатками, а он уже знал и строил ковчег, чтобы если не «всякой твари по паре» (не оставалось уже никаких пар), то хоть последние народные духовные ценности уберечь. И не в отвлеченном слове,

не в элегических воспоминаниях, которые часто отдают самолюбованием и пустым умилением, а в прямом характере. Поставить нас перед лицом, перед ликом хранительниц избы, деревни, рода и дома, чтобы мы, когда «прижмет», знали, где искать наш Светлояр. Куда можно собраться для воспоминания о том, каковы мы были, о том, что такое Россия в Господнем замысле. И последний раз напомнить, как мы были близки к тому, чтобы мир услышал тайну и силу русской правды, о которой он догадывался по книгам Толстого и Достоевского, Шмелева и Бунина, Распутина и Астафьева, диалога с которой искал, но которую руками своих политиков с нашими подпевалами сам и топил, не понимая, что топит и свой дух, и свое спасение.

Мы уже никогда не будем более так доверчиво чисты, так поднебесно высоки, так просты и мудры сердцем, потому что мир прячется от испытующих глаз в нарочитую сложность. Но, изгнанные из рая народной цельности, мы знаем, что это то лучшее, что бережет и держит нас в жизни, спасает от духовного разорения и поддерживает надежду, если не на возвращение (теперь уже навсегда ясно, что в эту святую воду дважды не войдешь), то на высветление сердца.

Он, младший из деревенских детей русской литературы, досмотрел этот путь за своих товарищей, с кем выходил вместе, и за тех, кто шел им и писал земной русский народ раньше.

Он не устрасился стать на острие уходящего в даль веков родового клина и принять вопрос своих дедов-прадедов о смысле и цели и ответить. И ответ его им и нам был по-русски правдив и честен. А правда – и горчайшая – всегда светла, потому что она правда.

Валентин Курбатов

I БЛИЖНИЙ СВЕТ

ПОЛЕ КУЛИКОВО

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.

А. Блок

Весь день то дождь хлестал, то снег, небо в непривычной для меня степной стороне, ничем не поддерживаемое, сходилось с землей совсем близко, и в серой мгле трудно было что-то рассмотреть. Мы ехали с юга, откуда пришли и куда бежали затем татары; у Красивой Мечи, доколе гнали их русские ратники, мы остановились и долго глядели на темную воду и на берега, спрашивая, помнят, ведают они славу свою или нет. Но изрытые, истерзаннные машинами берега едва ли что помнили... И мы поехали дальше, в сердце этой славы и памяти, куда с самого начала и планировали, для чего и затеяли эту поездку. И то, что получилась она с обходом, с порядочным кругалем, вышло даже хорошо: в старых русских городках, прежде громких, в истории нашей памятных, сбереженных удачей и надеждой и для последующей памяти, в городах, напоминающих в долгом и трудном пути русской судь-

бины стоптанные башмаки со сверкающими новыми набойками, мы подворачивали к часовенкам и камням над братскими могилами, останавливались перед досками с великими именами и заходили в открытые, работающие музеи и в святыни, ждущие своего восстановления, все эти дни мы словно бы проходили необходимую душевную подготовку, или, лучше сказать, посвящение перед главной встречей, чтобы позволилось нам за кратким сегодняшним мигом и верхним слоем земли увидеть и почувствовать нечто большее, чем могут вместить обычные впечатления. И уж, кажется, на подъезде изнемогали мы от увиденного и услышанного, не в силах сразу отделить, чем можно гордиться и чего нужно стыдиться.

После обеда даже и не серая, а темная мгла стала наваливаться с неба, заставляя нас то и дело взглядывать на часы. Встречные машины проشمывали с зажженными фарами, белый свет сомкнулся и был забит мокрым снегом, придорожные деревни наплывали как-то непрочно и случайно, точно их подбивало непогодьем. Но часу в шестом, когда и без того вот-вот натянуться сумеркам и когда мы готовы уже были смириться, что нет, не успеть при свете, вдруг... не подозревайте в этой картине придуманной для красного словца, в лад блоковским строкам, символики, я пишу как было, хотя в прежние времена она, вечерняя эта картина, во всем ее продолжении, наверняка была бы принята за великое знамение. Едва свернули мы с Богородицкой трактовой дороги вправо к Полю Куликову, как снег прекратился, и произошло это действительно вдруг, в один миг сразу за поворотом, а тяжелая чугунная тьма неба в том месте, где заходить солнцу, также вдруг потянулась, зашевелилась, и сквозь нее проступило желанное обещание, легонько засветившее степь: так уж и быть, ради вас, потому что вы издалека, попробую...

Я искал впереди глазами шпиль-памятник, о котором был слышан и который бы заранее показал Поле, и не

сразу заметил, что и пашня по обе стороны от дороги, и успевший за вечер задержаться на ней снег, и редкие дальние перелески, и вся обозримая огромная степь закружились и поплыли уже и не от нашего движения, а от какой-то иной силы. Я взглянул на закат – за пять минут там чудом успела обнажиться полоса чистого неба, которая прямо на глазах все расширялась и расширялась, вздымая над собой черноту, и на глазах же, как божественная плоть, оживала и наливалась аlostью. От него-то, от волшебного красного света, плывущего с запада, заворуженно загорелась и закружилась степь, творя свое дикое, пусть и на паханом, но и тоскливое торжество.

А тут и шпиль показался, вернее, прежде крест, поднимающийся от земли, и одновременно чуть правей еще кресты – эти, как я догадался, над храмом-памятником Сергию Радонежскому, благословившему князя Дмитрия на великую битву и немало сделавшему для объединения русских сил под его началом. И покуда подъезжали мы смиренно, сбросив скорость, чтобы лучше видеть открывающееся Поле, кресты вырастали все выше и выше, и вот уже под левым, одиноким, обозначился темный столб, а под правыми, как три васнецовских богатыря, встало в рост трехчастное здание храма.

Было отчего ошеломленно замереть и забыть на минуту о памятниках, когда мы вышли из машины: казалось, это могло быть только здесь, над Полем Куликовым, и, казалось, выступив из недр веков, являло оно не случайный смысл. В полгоризонта полыхал закат, да не солнцем, нет, а словно бы его растекшимся во всю ширь освободившегося неба огнем, набирающимся изнутри, из какой-то горячей горловины; четкую и чистую кровавую раскаленность этого зарева чертили еще местами дымные полосы из отступающей черноты, но они быстро погружались, тонули и исчезали бесследно в огненной глубине, которая, не усмиряясь, едва ли не видимыми подтайными взмахами снова

наплескивалась на темный берег. И если бы не вечернее время, если бы не сочность и неистовость красок, вполне можно было бы принять это скоро нарастающее зарево за рассвет, выступивший не в свой черед где-нибудь посреди ночи, – так мощно и грозно, продолжая с пугающим мерцанием накаляться, нависли друг против друга над степью красная и черная стороны.

И как было предку нашему при виде столь дивного и жуткого зрелища не пасть на колени и не просить у неба защиты – да если случилось оно еще накануне его судьбы?!

По одним источникам, больше ста тысяч, по другим – двести пятьдесят, а по третьим – четыреста тысяч войска выступило на защиту русской земли и русской чести. У Мамаю вместе с наемной генуэзской пехотой набралось еще больше. Как раз в той стороне, где горит закат, и выстроилась в переломный для нашей истории день, 8 сентября 1380 года, перейдя ночью Дон, сила Дмитрия. Татары, поджидая на подмогу Ягайлу Литовского и Олега Рязанского (должно быть, и сейчас, шесть веков спустя, екает стыдливо сердце ни в чем не повинных рязанцев от вероломства их предка, князя Олега, и позже, в годину страшного нашествия Тохтамыша, снова предавшего Дмитрия Донского – ох, как памятно и взыскательно время!), татары огромным шумным лагерем бурлили здесь, откуда мы сейчас осматриваем Поле.

Андрей Анисимович Родиончиков, работник краеведческого музея, ведет нас по аллее на самую высокую точку Поля, на знаменитый, увенчанный ныне памятником Дмитрию Донскому, Красный холм. Здесь, по преданию, находилась ставка хана Мамаю, отсюда он в окружении пяти своих князьков руководил боем. С того места, где решено устроить смотровую площадку на краю холма, Родиончиков показывает нам расположение русских войск. Говорит он негромко и неторопливо, будто принимая нас за бывалых, знакомых с этой битвой людей, которым нужно толь-

ко напомнить, подсказать ее общую картину, возможно, несколько стершуся в памяти за давностью лет.

Утром 8 сентября пал сильный туман. Перевезшись ночью «за Дон в поле чисто, в ордынскую землю на усть Непрядвы-реки», Дмитрий остановился близ нынешней деревни Монастырщина и повелел своим полкам готовиться к сече. Полк правой руки занял позиции во-он там, близ обрывистого берега Нижнего Дубика, речки ныне высохшей, русло которой едва показывают лощина и овраги; полк левой руки – за речкой Смолкой, тоже высохшей, неподалеку от впадения Непрядвы в Дон, а в центре, как главная, основная сила, большой и передовой полки, за ними на случай неудачи – резервный полк. Но был еще и решивший затем исход битвы засадный полк, который прятался до поры в Зеленой дубраве за Смолкой – «во-он там, где березовые посадки», – показывает вправо, в сторону Дона, Андрей Анисимович, постепенно увлекаясь, поддержанный нашей сообразительностью и пониманием – точно и в самом деле, одолев наконец тяжесть времени, отозвалась память...

Удивительно здесь, на месте события, ощущение близости и очевидности всего, что происходило в тот день. Со всем, кажется, тонкая, да и то полупрозрачная, пропускающая дневной свет, пленка и отделяет его, чуть смазывая знакомые черты, от нас... и до того, что невольно оборачиваешься: не поддел бы какой заблудившийся, перепутавший века татарин па острую свою пику? А не в нас ли, выбрав и выметав загадочным перстом, не в нас ли, по старинному поверью, переселились души polegших здесь?.. А, люди добрые? Не оттого ли и званы мы сюда за сотни и тысячи верст, да так, что не стало сил откладывать? Не потому ли столь легко стираются сегодняшние приметы, и вместо распаханной черной степи послушно видится играющий под ветром ковыль, не пересохли, водой текут речки Нижний Дубик и Смолка, по-прежнему жива Зеленая дубрава, пол-

новоднее, шире Непрядва и Дон, которыми мы решительно прикрылись, отказавшись тем самым от возможности отступления, – или победа, или смерть?! И позор полуторавекового рабства не наше ли гнетет сердце, требуя возмездия и справедливости? А этот закат?

Нет, пройдя шестьсот лет и огрузившись знаниями, в знаменья не верят...

Закат между тем уже затмевался, догорал, и небо, вольно осияв родную нам сторону, потихоньку угасало. Потянул с открытых просторов холодный ветер, в деревнях, что низко и смутно темнели возле рек, мелькнули огоньки, замутилась степь, и по какому-то неверному ожиданию вот-вот, казалось, возникнут в ней горящие памятные знаки, показывающие, где и что было.

Битва, как известно, началась с поединка Пересвета с Челубеем. Принято было в старину: перед тем как войскам всей силой сойтись на кровавую сечу, устраивать единоборство избранных, выдающихся по силе и духу бойцов, – одолевший, считалось, предрекал победу своей стороне. Вызов татарского мурзы, который был «велик и страшен зело», принял троицкий монах из брянских бояр Александр Пересвет. Разогнав друг против друга коней, сшиблись они на виду у многих тысяч и «спадоша на землю мертви и ту конец прияша оба».

И грянула сеча, «какой (по «Истории России» С. М. Соловьева) еще никогда не бывало прежде на Руси: говорят, что кровь лилась как вода на пространстве десять верст, лошади не могли ступать по трупам, ратники гибли под конскими копытами, задыхались от тесноты. Пешая русская рать уже лежала как скошенное сено, и татары начали одолевать».

С. М. Соловьев, лишь подправляя на современный ему язык, не отступает от летописей – «и пролься кровь яко дождевая туча», «пешая русская великая рать аки дресеса сломившаяся и аки сено посечено лежаху».

Князь Дмитрий, которому тогда было тридцать лет, оставил под своим великокняжеским стягом Михаила Бренка (погиб любимец Дмитрия), а сам в доспехах простого воина дрался в передовом полку, в пешей рати. Татары смяли ее, прорвались сквозь ряды большого полка, завернули левый фланг русских войск и стали сбрасывать его в Непрядву.

...Мы подъехали после к Непрядве – под высоким, крутым до сих пор берегом, куда скатывались воины полка левой руки, течет совсем невеликая, по нашим сибирским понятиям, полусонная речка. Меня удивило, что и Дон, Дон-батюшка, Дон Иванович, как величают его, в месте переправы не шире каких-нибудь тридцати-сорока метров. Да ведь история и слава не метры считают (а тогда и метров было поболее), но ведают память. Помнить же Непрядве и Дону есть, ох есть что! – и когда в сумерках стояли мы над их берегом, только слабость нашего слуха не дала разобрать сухой, веками живущий здесь, как и над всем Полем, свидетельский шепот.

Исход боя повернул в свою пользу скрытый в Зеленой дубраве засадный полк под командованием двоюродного брата Дмитрия, князя Владимира Андреевича Серпуховского, и московского воеводы Дмитрия Боброка. Народная память, выделяя Боброка, называет его «решителем» битвы – и не только за отвагу, но и за полководческую мудрость. Немалого труда стоило ему сдерживать нетерпение князя Владимира и рвущихся в бой воинов, которые хорошо видели из-за деревьев, как гибнут их товарищи. И лишь когда татары, подхлестывая себя победными кликами, сместились вправо, когда, по преданию, ветер, дувший до того в лицо русским, повернул в обратную сторону, Боброк дал наконец команду: «Час прииде, братья!» Горячая свежая сила ударила сбоку и в тыл рвущимся к Непрядве и Дону татарам столь неожиданно, обрушилась на них с такой стремительностью

и яростью, что, ужаснувшись и не выдержав, «поганые борзо вспять отступиша».

Сорок верст до Красивой Мечи, как упоминалось, гнали их русские, а воротившись, «князь Владимир Андреевич стал на костях и велел трубить в трубы», сзывая живых. До немногих достали те победные звуки. С трудом отыскивали распластанного без сознания под срубленным деревом великого князя Дмитрия, отныне Донского. «Страшно и горестно, братья, было смотреть: лежат трупы христианские как сенные стога у Дона великого на берегу, а Дон-река три дни кровью текла». Тот же источник, который называет число пришедших на битву – 400 тысяч, называет и число уцелевших – 40 тысяч, и, сомневаясь даже в подлинности первой цифры, мы не можем сомневаться в этом страшном соотношении: только каждый десятый или каждый девятый остался в живых.

Восемь дней, снося павших в братскую могилу, продолжались похороны. На месте захоронения срубили воины из деревьев Зеленой дубравы, оставляя Поле, часовню (а многие города и княжества повезли погибших в родные земли), на месте часовни стоит с середины прошлого века в деревне Монастырщина каменная церковь, разумеется, запущенная, в которой предстоит еще провести все реставрационные работы.

Тяжело досталась русскому народу эта победа. Когда новый правитель Орды Тохтамыш спустя два года после Куликовской битвы двинулся на Москву, защищать ее было некому. Тохтамыш сжег Москву (князь Дмитрий в ту пору собирал в Костроме ополчение) и перебил ее жителей, но тут же, боясь Дмитрия, вынужден был отступить. Владычеству Орды подходил конец. И хоть полное освобождение от татаро-монгольского ига свершилось лишь через сто лет, это была уже обессиленная и обесславленная власть, с которой русские князья считались мало.

На Поле Куликовом Русь отстояла себя. И не только, кстати, себя. И непокорным своим рабством, и окончательной победой она преградила татарам дорогу в Европу, к новым завоеваниям. Умирали и погибали отцы, но детям внушалось, что это не жизнь – под рабством; и дети уходили, оставляя тот же наказ внукам, об этом каждый день и каждый час молчаливо молили пашни, выпевали народные песни, об этом напоминало каждое слово родного языка и вызванивали, роняя горестные звуки, в будни и праздники колокола.

Русь, как известно, началась не с Поля Куликова, но Полем Куликовым она была направлена и определена уже не как рядовая нация. С этого момента началась ее новая история, в которой много еще будет всякого, в том числе жестокого и темного, но никогда не будет рабства – кроме собственного. С Поля Куликова пробил новый час Руси, подвинувший ее к России. С этого момента начинается ее национальное, государственное и культурное учреждение, которое дало впоследствии право говорить о мессианской роли России во всем мире.

Что теперь на Поле Куликовом? Как увековечен ратный подвиг русского народа, что представляет из себя место битвы, какие ведутся приготовления к юбилею? Через два года минет шесть веков с той поры, как умолкла здесь сеча... Шесть веков!

Много воды утекло за шестьсот лет – так много, что одни речки на месте Куликовской битвы высохли совсем, оставив нам на память свои названия, другие обмелели и зачахли. Там, где было «дико поле» и шумел камыш, простирается ныне всюду, куда ни взгляни, распаханная степь. Здесь, на Поле Куликовом, сходятся границы трех районов Тульской области. Рядом, за Доном, начинается Рязанщина.

Благородна служба ратной земли – поднимать хлеба, но надо надеяться, что хотя бы в год юбилея огромное

российское хлебное поле, поднатужившись, возьмет на себя долю нескольких десятков гектаров Поля Куликова и даст ему отдохнуть на лето от трудовой повинности, чтобы люди, приехав поклониться этой земле, могли подойти не только к месту переправы Дмитрия через Дон или к примерному месту схватки Пересвета с Челубеем, а и просто пройти без помех по Полю и, уединившись, почувствовать, услышать в глубине под ногами связь свою с тем, что, став этой землей ради нас, ушло в тихую всевидящую вечность. А что соберутся здесь десятки тысяч со всех концов страны, сомневаться не приходится: сейчас как никогда пробуждается и возрождается память русского человека к своей истории.

На Красном (красивом, по-старинному) холме, самой высокой точке Поля, откуда, как упоминалось, Мамай руководил своим войском, стоит с 1850 года памятник Дмитрию Донскому (работа архитектора А. П. Брюллова). На 28 метров поднимается ввысь величественная пятирусская колонна чугунного литья, увенчанная золотой главой с крестом. Нижний, самый вместительный, ярус украшен воинскими доспехами – мечами, копьями, шлемами, щитами, с помощью которых была добыта победа. Здесь же, в нижнем ярусе, надпись: «Победителю татар великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому признательное потомство».

Неподалеку, метрах в трехстах, в южную сторону от вершины Красного холма, другой памятник – храм Сергия Радонежского. Заложенный 8 сентября 1910 года, он был закончен уже после революции, в 1918 году, и строился по проекту знаменитого А. В. Щусева, впоследствии автора Мавзолея В. И. Ленина и первых станций московского метрополитена.

Поздней осенью 1941 года на подступах к Полю Куликову шли бои. Наши воины не позволили фашистам ступить на Поле и осквернить тем самым его славу.

Сейчас памятники Поля, за исключением, как упоминалось уже, церкви в Монастырщине, полностью восстановлены. На реставрацию храма Сергия Радонежского ушло почти десять лет. Теперь здесь филиал краеведческого музея, экспонаты и выставки которого рассказывают о Куликовской битве.

И все же, все же... Андрей Анисимович Родиончиков, не удержавшись, с грустью пожаловался нам, что ему, научному работнику музея, немало времени приходится терять на сторожевую службу: то гоняться за машинами, которые, не глядя на запрещающие знаки, мчат прямо к памятнику Дмитрию Донскому, то вступать в схватку с юнцами, сбивающими с него буквы «от признательного потомства» или переворачивающими заново отлитые тумбы. Шофер наш, из тех бойких московских новожилов, которые понемногу знают обо всем и во всякое дело умеют с энергией вмешаться, искренне и горячо возмутился:

– Ну, татары! Ну, татары!

А потом, не обращая внимания на возражения Андрея Анисимовича, взялся всерьез учить его, как настораживать и замаскировывать на асфальте гвозди, которые бы остановили машины...

Мы ночевали на Поле. Легли вповалку на полу в служебной комнате Андрея Анисимовича и долго говорили... В обыденности об этом всем нам приходится размышлять нечасто: нужны особенные, проникновенные и располагающие моменты, чтобы не умом рассуждать, а сердцем и памятью чувствовать и понимать то вешнее и вечное изначальное, из плоти и духа чего мы, в сущности, состоим, и всякое обращение, всякое чувство к чему считаем из какой-то внушенной нам ложной стыдливости высокопарным или излишним. Мы говорили о России, о Родине нашей и судьбах ее, прошедших и грядущих... и где, как не здесь, на Поле Куликовом, было об этом говорить.

...Среди ночи я вышел на улицу – небо сияло в такой оглушительной и яркой звездной красоте, что нельзя уже было поверить в сырой и ненастный вчерашний день. Деревни вокруг Поля, напротив, пригасли, редкие огоньки в них были слабыми и казались звездными отблесками. Степь, ровно и таинственно освещенная небом, лежала в размытом мерцании. Было тихо, но ночная тишина имеет немало значений – так и теперь: поднимешь голову вверх – слышишь многоголосый и свободный, празднично и буйно творимый звездами звон, когда легко различить при взгляде на нее звук каждой звезды в отдельности, а опустишь глаза, глянешь понизу в степную даль – и безмолвие, сон, покой. Но стоит задержать внимание на степи подольше, и просыпается, организуется, начинает звучать жизнь теперь уже здесь, точно степи вдруг удалось взять свой верх над небом.

Только небо и степь. Только вставшие друг против друга небо и степь, ведущие давнюю и уж, конечно, не бессмысленную беседу, в знаках которой время растягивается далеко назад и далеко вперед и сходится в вечность. И не понять, не угадать, небу или земле принадлежат памятники Поля Куликова, повисшие, кажется, в воздухе и пытающиеся, кажется, соединить то и другое.

Я прошел мимо храма, заметив, что Орион словно бы присел на вознесенный крест, и по липовой, безжизненной сейчас аллее поднялся на Красный холм к памятнику. Удивительно, как быстро и незаметно, будто разделяют они с нами одну беспокойную страсть, подхватывают эти старые рукотворные знаки в честь вождей Куликовской битвы твое слабое, едва теплящееся чувство и, оживив и наполнив его, награждают редкой способностью внимать тому, что не имеет твердой плоти и живого гласа. И снова, кажется, слышишь в ночи глухую поступь сотен и тысяч лошадей, различаешь, напрягшись, скрытое движение, чувствуешь, как замерла в тревоге и напряжении степь – и

только после уж, завершая картину, чьим-то вещим духом напомнит блоковские слова:

Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат...

Снова тишина. И снова движение и шум, но на этот раз настолько слабые, что едва напоминают вспорхнувшую стайку самых маленьких ночных птиц, почуявших чужое присутствие. Приходится сильно напрягаться, чтобы в волнении воздуха не столько услышать, сколько угадать сухие и колеблющиеся, перебивающие друг друга голоса... Что они говорят, понять не дано: чувствуешь лишь в их разноголосице то тревогу, то молитву, то надежду.

Небо и степь. Степь и небо. Небо над этой степью знает великую тайну: оно было могучим вышним свидетелем битвы и победы, затем многовекового терпеливого ожидания, и оно стало наконец свидетелем пробуждающейся памяти... А что дальше? Степь под этим небом знает великую мудрость, коли в избытке приняла она жертвенный подвиг наших предков во имя... Что оно есть, то окончательное или хотя бы законченное, что составляет смысл этого «во имя?». Что соберем мы и соберем ли что-нибудь с Поля ныне, когда вновь обработали его, – не с пашни колхозной, а от святости и учительства этой земли? Не опоздали ли собирать?

...И что, что же все-таки шепчут они, эти невнятные, точно полуистлевшие, голоса, витающие над Полем, что хотят подсказать и чему научить? Прощены ли мы предками нашими за беспамятство и небрежение, сполна ли заплатили за них или еще платить и платить?

Степь и небо. Небо и степь. Так много, очевидно, ясных ответов там и там, да не для нас, чтобы свою судьбу мы сполна прошли сами.

* * *

Спустя два года мы снова вернулись на Поле Куликово. Это было через две недели после юбилейных торжеств, посвященных 600-летию Куликовской битвы. Вернулись в той же машине и с тем же шофером, почти без изменения той же компанией, равнодушной к судьбе отечественной истории. И приехали мы так же вечером, как в первый раз, однако теперь вечер был теплый и тихий, словно бы объятый какою-то великой вселенской усталостью, светлой и натруженной, относящейся не к окончанию дня, а к завершению огромного событийного круга. Назавтра и верно предстоял непростой день – 8 сентября по старому стилю и церковный праздник Рождества Богородицы, в который, как свидетельствуют летописи, и состоялась битва. К этому дню, признаться, мы и подгадывали, чтобы при нас замкнулась невидимая черта, что-то вольно или невольно выказав, и время русской истории от Куликова Поля двинулось по новому кругу. Что будет, когда через сто лет оно снова сойдется с началом отсчета, какие грядут события, придет ли кто сюда отметить новый юбилей и с какой верой, с каким сердцем придет? – страшно подумать.

...Хорошо помню, как в прошлый раз мы уезжали с Поля. Поднялись рано, по темноте, наскоро попив чаю, загрузились в кузов нашего вездехода и решили на прощанье вернуться к Дону. Пока по разбитой дороге подъехали, уже рассвело. За неказистым мостом открылось село Татинки, чуть выше которого в ночь перед битвой русское войско переправилось через Дон, а еще левее и дальше, уже по берегу Непрядвы, обозначились избенки деревни Монастырщина, где большая часть этого войска нашла себе вечный приют. На месте захоронения оставшиеся в живых, прежде чем покинуть Поле, срубили из дубов Зеленой дубравы часовню, а на ее месте позднее была поставлена каменная церковь Рождества Богородицы. Тяжело было в тот утренний час

смотреть на нее: чем больше расходились сумерки и полнее набирался свет, тем сильнее выявлялись разрушения, не меньшие, чем при бомбежке, и тем непоправимей они казались. На реставрацию храма-памятника Сергию Радонежскому на Красном холме ушло почти десять лет, да и то она не вполне к тому времени была закончена, – как же поверить, что возможно тут что-то сделать за два года, если работа высматривалась долгая и кропотливая. Горьким укором торчала высокая, со сквозившими узкими окнами колокольня, обращенная к Непрядве, а за нею в жестком, колючем для глаза инее виднелись холмы, которые, как знать, не были ли курганами над костями над русскими... И общий этот разлитый над всею местною землею молчаливый укор нельзя было не почувствовать...

Мы уже усаживались в машину, когда из-за реки, от Татинок, нас окликнули. На съезде к мосту там стояла подвода, а возле нее две фигуры, мужская и женская. Женщина рысью перебежала мост и попросила подвезти ее в Ивановку, в деревню неподалеку от Красного холма, до которой отсюда насчиталось бы верст десять. Лошаденка в подводе, низкорослая и съезженная, наострила уши: ей эти десять верст вытягивать два часа, а тут бы... Удивительная есть в этом едва не вымершем по нашей милости племени трудяг мера достоинства и сопротивления, знающая, где хитрануть, попрдержать силенки и где не жалеть себя. Будто, в отличие от нас, готовились они к своему незавидному положению загодя и знают, что ждет их впереди. Едва женщина махнула рукой, лошаденка, не дожидаясь понукания, тронула и весело засемила по мосту.

Мы помогли перегрузить с подводы в машину мешки и бидоны и развернулись. Удача в лошаденке быстро погасла, она снова съезжилась, и, отъезжая, мы видели, как мужик стегал ее вожжами, заставляя тронуть с места.

Женщина, немолодая уже, потерявшая возраст, долго благодарила, присматриваясь, что мы за люди, и высмотре-

ла в одном из нас, как ей показалось, начальника. Упустить столь подходящий случай она не захотела и стала рассказывать, вроде жалуясь и не жалуясь, мол, как хотите, так и понимайте. Затем, видя наше удивление, она все-таки свернула на твердую жалобу и несколько раз назвала имя директора, виновного, по ее мнению, в этом безобразии.

Безобразие, конечно, было – что и говорить! – но когда я раздумывал об этой истории, она поворачивалась у меня своей стороной, не той, которая выставлялась для постороннего человека. Я примеривал ее к своему сибирскому мужику и видел, как он, недолго кряхтя, берет в руки топор и лопату, спускается во двор и где-нибудь в углу начинает сооружать то, что, простите, называется отхожим местом. Конечно, подобное место в кирпичных двухэтажных домах предусматривалось проектом в каждой квартире, устраиваемой на городской лад, но ивановский строитель, то ли из экономии материала, то ли от нехватки его, проектом почему-то пренебрег и вместо санузла оставил жильцам глухую каморку. И вот уже несколько лет люди мучаются: и во дворе ничего нет, и внутри укоротили. Женщина, которой мы помогли поднять ее груз на второй этаж, для вящей доказательности распахнула перед нами эту каморку, и таким нас ударило убедительным духом от стоящего за порошком ведра, что и от нас потребовалось на Поле Куликовом мужество, чтобы устоять на ногах.

Разумеется, можно бы и обойтись без этого, не очень приятного воспоминания, которое к тому же не совсем в строку юбилейным размышлениям, но что делать, если не шло оно у меня из головы?! Случись такое в любом другом месте, скоро бы, наверное, и забылось. Мало ли что не бывает на наших просторах! Но здесь, на Поле Куликовом!.. Здесь это выросло в особый и неслучайный смысл, оторопь брала, как только вольно или невольно протягивалась связь через шестьсот лет (через шестьсот лет!!!) от великой жертвенной битвы к этому пустяку. Что за люди

мы, русские, есть ли мы еще в том духе и зерне, которые были заложены в нас при рождении нации, и где пролегли столбовые дороги наши, если миновали они это Поле, назначенное нам в судьбу? И что в конце концов стало нашей судьбой – не эти ли, как в насмешку, состряпанные с укоротом каменные дома на святой земле, в которых живут незнакомые и непонятные люди? Неужели ничего не передалось им от самой земли?

Вспомнилось еще, кстати, как однажды было сказано при мне: «Россия вся от начала состоит на вопросительных знаках, а народ только тем и занят, что выправляет их в восклицательные».

Нет, не поехать снова на Поле Куликово никак было нельзя...

...Юбилейные торжества уже отшумели; Поле, когда мы подъехали вечером, лежало в тихой полутьме. Мне показывали: вот здесь, справа от дороги, была стоянка для машин – многие сотни автобусов и машин стояли впритык друг к другу. Вон там приземлялись десантники, вон отсюда давали салют. Здесь трибуны. Вот тут, перед памятником, выстроились войска. Там везде мы. И там, и там, и там. Тысяч пятьдесят нас было, не меньше. Мы тут такое грянули под салют «ура»!..

То, что праздник по всем понятиям вышел за рамки дежурного календарного юбилея, видно было даже и по телепередачам, по газетам. Воинские почести, искренние, неказенные слова с трибун, ненапускное воодушевление собравшегося со всех концов России народа. Большая группа москвичей пешком прошла по тем самым дорогам, по которым двигалось на Поле ополчение князя Дмитрия. В торжественной музыке оркестра, в марше знаменосцев, в чеканном шаге нынешних воинов, в наполненной величием и скорбью минуте молчания, во множестве лучших лиц, призванных, чтобы составить одно русское лицо, и во множестве душ, чтобы явить одну спасенную и верующую

душу, в картине святой земли, из которой, как нерукотворные, взошли и поднялись в честь вождей и боев Куликовской битвы духоносные памятники – во всем этом русский человек слился с Отечеством и обрел историю, вспомнил свое неотмененное имя. После победы Дмитрия Донского на этом Поле средневековая Европа с удивлением узнала, что русичи живы, она полагала, что за полтора века рабства они полностью поглощены Ордой и стали ордынцами; в наше время, напротив, Европа постоянно твердит о русских, а сами мы, словно связанные обетом, нечасто и с оглядкой обращаемся к своему национальному названию.

На праздник приезжали космонавты, в глубинах неба тосковавшие по России неведомой нам тоской – увеличенной настолько, насколько они были удалены от родных полей и лесов, глядящие на них после приземления с ненасытной любовью. Лучшие голоса, лучших мастеров прислала Россия на Поле Куликово из Москвы и Сибири, с севера и юга, чтобы показать: что жило в народе, что пел народ и что мастерил, чему радовался и во что верил, живет и поныне. Быть может, излишне подчеркнуто старались показать здесь в юбилейные дни сохранность народного духа; дело не в искусстве, а в мере сохранности, в том, праздничное, возвышенное только это настроение и умение или повседневное. Согласимся, что в мере отстали, но лучшими, «выходными» образцами гордимся справедливо – и гремел над Полем, богато обнося собравшихся русской мощью и удалью, бас Ведерникова; не голосами, а душами, спустившимися с неба, выводила старинные напевы хоровая капелла им. Юрлова; с восхода солнца, откуда пришла и утвердилась на Волге Золотая орда, привезли сибирские танцы красноярцы. И даже валютный ансамбль-магазин «Березка» каким-то административным чудом удалось заманить на Поле. В искусстве здесь было и подлинно народное и под народное, но в людях, бесспорно, сошелся лучший наш народ, какой у нас есть

сегодня, не потерявший память и язык, физическое и духовное потомство.

И когда, переночевав, вышли мы утром на Поле и разошлись каждый своей тропой, чтобы даже дружеское присутствие не мешало чувству, с разных сторон к Красному холму уже тянулись люди. Многие, как и мы, выбрали именно этот день, совпадающий со сроком битвы. Я поначалу интересовался: откуда? – мне отвечали: из Тулы, из Ельца, из Москвы, из Воронежа, из Пензы, из Новосибирска, потом лишь внимательно всматривался в лица, отыскивая в них избранность. И я находил ее. Попробую объяснить, что такое видел я в этих людях, что дает мне право говорить о «необщем выраженье».

День, как и накануне под вечер, был теплый, тихий и скорбный. Скорбь разлита была во всем – в присмиревшем солнце, в убранных полях и сухих холмах, в яркости юбилейных времянок под киоски и службы, в высоком навале живых цветов к памятнику Дмитрию Донскому, в позолоте крестов на обелиске и храме, в сторожевом молчании необъятной степи и напряженности времени, в котором над этим Полем замыкалось вековое кольцо.

Оно замыкалось ощутимо, совпадением каких-то целевых каналов, тревожной и победительной выстроенностью звуков, в запахах воздуха, будто, выверяя, над нами что-то поднимали или опускали. Из церкви Сергия Радонежского, из звукового оформления рассказа о битве, доносились колокольные звоны.

Уже пал к этому часу на землю в схватке с Челубеем Пересвет, могилу которого в Симоновом монастыре в Москве мы никак не можем освободить из-под ига завода, чтобы поклониться ей, уже надавили татары всей мощью на наш правый фланг, пытаясь взять русских в кольцо, уже стоном и треском, криками и ржаньем огласилось Поле от Дубика до Смолки, уже смят был сторожевой полк и покосились, «аки сено», первые ряды передового полка...

Уже час встал над часом в шести веках, и потревожились умолкшие голоса, взныли травы, уже замелькали невидимые тени.

Быть может, в том и состояла разница между людьми, бывшими на Поле в день юбилейного торжества, и сегодняшними: те приезжали праздновать великое событие, эти пришли послушать павших. К середине дня нас собралось много на Поле, но не мы властвовали над ним, а оно над нами, не мы заняли его, а оно нас, не мы говорили, а оно, а от нас требовалось только слушать и слушать, собирая звуки в складывающийся смысл. Две недели назад Россия благодарила убиенных здесь за вечный подвиг, сегодня убиенные спрашивали, что случилось с Россией.

Нелегко было отвечать им.

По всему огромному Полю ходили молчаливые, ушедшие в себя люди. С вершины холма казалось, что они что-то ищут, собирают что-то, оставленное после уборки. Утомившись, они присаживались то небольшими группами, то поодиночке прямо на траву и, посидев или за скорым обедом, или за тихим разговором, или за найденным чувством, снова поднимались и шли кто в Монастырщину, кто к памятникам Красного холма, кто к Непрядве.

Обретенность не знает законченности, они верили и не верили в свою счастливую соединенность с Отечеством, судийный и благословляющий дух которого две недели подряд не слетал с Поля, помечая каждого, кто приходил сюда не из любопытства. Завтра он, быть может, перенесется в Москву, в Киев или Новгород, а то отправится в Сибирь, куда длинным и широким рукавом выкроилась Россия, завтра главное, высотное место для него будет на другом поле и, существуя всюду, его изберет он своим средоточием, но сегодня здесь и нас пронзал он любовью и добросмыслом. В нас вносил он семена жертвенности, из которых состоит русский человек и в которых он за века не может разобраться: что оправдано и что нет, что в пользу и что во вред ему.

И об этом вопрошали нас павшие, и над этим стесненно молчали мы, заблудившись в друзьях и врагах.

«Крепко сражались, жестоко друг друга уничтожали, не только от оружия, но и от великой тесноты под конскими копытами умирали, потому что нельзя было втиснуться на том поле Куликовом: то место между Доном и Непрядвою было тесным. Выступили из полков кровавые зори, а в них сверкали сильные молнии от блистания мечей. И был треск великий и шум от ломающихся копий от ударов мечей, так что нельзя было в тот горький час обозреть это грозное побоище. Уже многих убили, многие богатыри русские погибли, как деревья, приклонившись, точно трава от солнца усыхает и под копыта подстиляется...»

«...И под копыта подстиляется...» Где тот летописец, который с такой красотой, мощью и точностью рассказал бы о современном событии, в слове которого прозвучала бы вышность и бесспорность истины?

Вместе с экскурсией, приехавшей на автобусе, мы вошли в храм-памятник Сергию Радонежскому, где теперь краеведческий музей, посвященный битве. На макете Поля с помощью электроники и световых эффектов повторяются события сражения, огромный скульптурный Дмитрий Иванович Донской устало и испытующе смотрит на посетителей, рядом с ним, как охрана, ратники в доспехах, возле стен образцы оружия, впитавшие в себя ржу и плоть времени, на пологие изображение русских земель, за которые шла сеча. Если ехать за впечатлениями, которые можно пересказать, то они только здесь, в этой звучащей и движущейся панораме, в говорящей о событии экспозиции, все остальное, что за стенами музея, бессловесно.

В этих лицах, всматривающихся и вслушивающихся в Поле, не любопытство, ищущее удовлетворения, не умеющее заглядывать за границы собственной жизни, а если заглядывающее, так чтобы узнать, в кости еще или прахе останки куликовских воинов... Нет, в этих лицах иное –

глубина, неслучайность и выстраданность их очертаний, дальнейшее воспоминание, доставшееся от предков, взгляд, подхватившийся от взгляда, и слух, протянувшийся от слуха. В них разгаданные и неразгаданные знаки судьбы с проступающей гордостью и горечью, болезненная рассветность и выздоровление, желанное и тревожное прощание с одиночеством. Как здоровье физическое горит на лице, так и светится в нем духовность; это были не сухо-лампадные, но по большей части светящиеся, наполненные чувством и мыслью, путевые, с печатью дальних начал, настрадавшиеся лица. Словно сама Россия отыскивала их, чтобы отчитаться перед Полем Куликовым за последние пути свои...

В Монастырщине, в церкви на костях убиенных, восстановленной менее чем за два года, мы читали потом в книге отзывов слова этих людей, обращенные к России, – слова, которые могли явиться только здесь, полные благодарности и верности, порою мольбы, чтобы нынешнее Отечество понимало и принимало их искреннюю любовь.

Тут, на Поле Куликовом, мы увидели, что их много, земляков-россиян, в ком не выродился тяжкий и славный исторический след нации.

Уезжали одни, подъезжали и подходили другие...

1979–1980

БЛИЖНИЙ СВЕТ ИЗДАЛЕКА

Пытаться говорить о Сергии Радонежском – это, по ощущениям, сметь войти в область запретного, неизъяснимого по своей природе, не могущего быть изреченным. Телесные черты великого святого земли Русской стерлись и давно заменились духовным портретом, тот лик, который знаем мы по иконам, – это оттиск на нетленной плащанице народной памяти, проступивший из общего взгляда и запечатлевшийся из обратимости необратимого. Наш язык для

вызывания духа «земного ангела» и «небесного человека» тщетен, для этого нужна родственность особого рода.

В. Н. Ильин (не путать с И. А. Ильиным, также мыслителем Русского зарубежья), жизнь посвятивший вопросам духа, и тот в книге о Серафиме Саровском признается:

«Всякое житие, если оно только написано человеком, живущим в миру и усовершенствовавшимся духовно настолько, чтобы принять славу святого в свою душу, – недостаточно. Полностью же лик святого неопишуем и житие его неизъяснимо, – как неизъяснима вообще личность, в святости обретающая особую высоту и ценность. Святому дается “новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает”».

Последние слова об имени, взятые из Откровения Иоанна Богослова, ближе всего подводят к разгадке святости как обитанию на таком уровне духовности и в таком общении, что они мало соотносятся с рядовой жизнью и требуют другого названия. На подобной высоте чудеса, представляющиеся нам снизу подозрительными, есть не что иное, как способ общения, при котором и обращение к поднимаемому может быть слышимо только им. Вообще новое имя при пострижении означает отказ от прежней жизни и переход на иную ступень бытия. Поэтому он и называется иноческим. В отличие от нас, грешных, опустивших свой разум ниже желудка, там не бытие определяет сознание. И освобожденный, высветленный и взыскующий дух достигает там у счастливых избранников таких пределов надмирности, где языком становится или язык вызывается неведомым нам чувствованием.

Тогда объяснимым становится случай, описанный в житии Преподобного Сергия его учеником Епифанием Премудрым: проезжая мимо обители Сергия, другой великий старец, его современник, святитель Стефан Пермский за много верст поклонился игумену, и Сергий, прервав трапезу, поднялся и отвесил ему ответный поклон.

Не вызывает тогда особого недоверия и дальновидение Преподобного в часы Куликовской сечи, когда, оставаясь за сотни верст в своей обители, Сергей одного за другим, вглядываясь, называл павших, читал им заупокойные молитвы, а в конце изрек: «Мы победили». В таких случаях не глаза видят, не уши слышат, а, как в наше время при спутниковой связи, которая никого не удивляет, «видение», столь же естественное для другого уровня связи, свершается с помощью родственного «горнего» тела.

Борис Зайцев, один из самых глубоких русских писателей, отважился в 1924 году на свою книгу о Преподобном Сергии Радонежском. Вообще приходится признать, что потребность питаться от света Преподобного и, в свою очередь, самой питать этот свет у русской эмиграции, острее нашего размышлявшей о судьбах России, никогда не иссякала. Вспомним дивный, от начала и до конца теплом согретый, небесным словом сотканный рассказ Ивана Шмелева «Куликово Поле». Вспомним страстное, составленное из народного мнения, заклинание Н. К. Рериха на освящении часовни Преподобного (поставленной, кстати, сибиряками в американском Радонеже, штат Коннектикут): «Преподобный знает, когда явиться», «Преподобный знает, когда помочь», «Преподобный знает, где нет неверия и предательства».

Борис Зайцев, рассуждая, как созидаются природы, подобные Сергию, похоже, попадает в самое русло их таинственного движения:

«Существует целая наука духовного самовоспитания, стратегия борьбы за организованность человеческой души, за выведение ее из пестроты и суетности в строгий канон. Аскетический подвиг – выглаживание, выпрямление души к единой вертикали. В таком облике она легчайше и любовнейше соединяется с Первоначалом, ток божественного беспрепятственной бежит по ней. Говорят о теплопроводности физических тел. Почему не назвать ду-

хопроводностью то качество души, которое дает ощущать Бога, связывает с Ним. Кроме избранничества, благодати, здесь культура, дисциплина».

Но и избранничество. Звезда Вифлеема зажгла многие звезды, и одна из них, по-русски неяркая и мягкая, привела к рождению в самый необходимый момент нашей истории первого печальника земли Русской и собирателя ее единого духа.

* * *

Что мы, неразумные дети неразумного века, усушенные к тому же дурным образованием, знаем сегодня о Сергии Радонежском? Большинство из нас почти ничего не знает, кроме имени, которое и помимо церковных стен звучит как бы само собой, одним движением воздуха, и означает что-то светозовное, терпеливо нас ожидающее... Из оставшихся большая часть знает хрестоматийное: жил в XIV веке, был основателем Троице-Сергиевой Лавры, духовного центра православной России, благословил Дмитрия Донского на битву с Мамаем и послал с московским князем на Поле Куликово двух своих монахов, один из которых – Пересвет – и начал битву схваткой с ордынским мурзой Челубеем. Вспомним при необходимости некоторые «легенды», как всегда сопутствующие святым, прочитанные нами среди исторических событий: то будто Сергей Радонежский несколько раз появлялся среди защитников своей обители в критические для нее моменты, когда поляки вместе с тушинцами в 1608–1610 годах шестнадцать месяцев осаждали Лавру, но так и не смогли ее взять; то в Смутное же время, когда судьба православия и России висела на волоске, Сергей Радонежский трижды в видениях являлся к Козьме Минину, нижегородскому гражданину, подвигая того не мешкая собирать народное ополчение для изгнания врагов; то раньше еще, в пору покорения Иоан-

ном Грозным Казани, и русскому царю помогал небесный воитель в окончательном освобождении своей земли от татарского ига... А поскольку в нас «превалирует чердак», материалистическое мышление, мы, и вспоминая, чувствуем неловкость за странную избирательность своей памяти: почему-то сохраняется то, что должно бы испариться, и испаряется – что забивалось гвоздями.

И только немногие из нас при имени Преподобного Сергия обращаются не к памяти и не к книгам, а к душе. Он – там. Немногие – не значит, что их мало: в процентном соотношении их цифра окажется невеликой, но своим числом они соберут завидные тысячи. То, что у других предано забвению и пребывает в пустоте, у этих тепло сохранено, пристроено от себя, возжжено негасимой лампадкой и заполнено собранием родных по духу имен. Тут могут быть живущие и давно почившие, тут не отказывается и никогда не жившим, созданным благословенным воображением, как Сонечка Мармеладова или Алеша Карамазов. А потому это даже и не имена, а некое общее подвижническое служение, скрывающееся за именами, сцепление согласием и любовью ко всему светлому. Тут же и Сергей из Радонежа, служивший этому общежитию, как «раб купленный», по слову Епифания Премудрого, как служил он братии, ничем не возвышаясь над нею, при строительстве Троицкой обители. Но и в этой обители, построенной в душе человеческой, он также не сразу облекается в свой образ, чувствуется лишь чье-то пастырское присутствие среди всех других, чье-то покровительство, и только после установления определенного чина души он, давший им прежде от себя, ими же и становится собой, проступает собственными чертами и именем.

Человеческая душа не может быть необитаемой: из чего-то исходящей из нее энергии братья нужны. Но рядом с великими покойниками, рядом с согнутыми от бремени

родительства отцом и матерью и рядом с примерными судьбами из настоящего там поселяются воспоминания, поступки, картины природы, про которые не напрасно говорят, что они западают в душу, родные слова и напевы – целый мир, собранный из самого лучшего и святого, трудящийся под покровительством того, к кому он тяготеет.

Без Сергия Радонежского русская душа не полна, не окормлена до полной меры сытости, когда она может окормливать других. При всем множестве любимых и почитаемых в нашем народе святых Сергиева святость несколько особого сложения – сложенная из русского представления о своем идеале. Тут народ сам рассудил и, приняв житие Преподобного, лучше всего отозвавшееся народному призванию, узнав в нем свой чаемый образ, направление своих трудов, он и от себя добавил ему там, где сужено было одной жизнью, и своей крови влил, чтобы не приустать ему от хождений по многим молитвам, и, веками к нему припадая, дотворил Сергия до полной свойственности, до обращения к нему из праздничного канона в постоянное изливание чувств. К Сергию народ не мог охладеть, это значило бы отказаться от самого себя. В самые тяжкие для общей нашей судьбы моменты в русском сердце слышался его участливый голос: «Не скорби, чадо».

Борис Зайцев в XX веке попытался преступить черту возможного и взращенные в нем чувства оборотить в сторону того, кем они были посеяны:

«О, если б его увидеть, слышать. Думается, он ничем бы сразу и не поразил. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника великорусского. Такой он даже на иконе – через всю ее условность – образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты и не сравнимое ни с чем благоухание России. Все – возведенное к предельной легкости, чистоте».

Удивительно, что описанное в рассказе Ивана Шмелева «Куликово Поле» я на Поле же Куликовом и услышал в самый канун 600-летия битвы, поздним вечером перед праздником Рождества Богородицы, под покровом которой князь Дмитрий добился победы. Услышал от своего товарища, с которым приехал на Поле, а он, рассказывая, и не подозревал, что передает Шмелева: талантливая эта русская душа, отлученная от Родины, была даже нам недоступна и открылась вместе с книгами совсем недавно. Но он не Шмелева и передавал, не рассказ, а событие, составившее рассказ. Рассказ проникновенный, светносный, но и событие само по себе, вне пера, что называется, святится.

Я выслушал его под ночь и так живо представил местного крестьянина (у товарища это был крестьянин), нашедшего в день Дмитровской субботы, что установленна навеки для поминовения павших на Поле Куликовом, большой медный крест по дороге и тут же увидевшего подходящего к нему старичка. Проникшись доверием к старичку, крестьянин попросил его передать свою находку друзьям в Сергиев Посад подле Лавры, куда якобы и держал путь старичок. Путь неблизкий, но в тот же вечер крест оказался доставленным по назначению. В разговоре между пишущими смешно пытаться рисовать устный портрет, поэтому его и не было, но я вдруг отчетливо увидел все – и как крестьянин рассматривает крест, поднятый из грязи, и как подходит странник, легкий, просто и опрятно одетый, какого-то смотрительного вида, будто он негласный хозяин здесь, и обходит с присмотром свои владения, как-то сразу угадываемый в его праве на догляд. Позже у Шмелева прочитал: «По виду из духовных, в сермяжной ряске, лыковый кузовок у локтя прикрыт дерюжкой; шлычок суконный, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, походка легкая, посошком меряет привычно, смотрит с приятностью». Но Шмелев был ближе к старой Руси и четче видел старца извне, в costume его

времени, мне же ничего не оставалось, как угадать Сергия, смотря внутрь.

И потянуло, потянуло меня после рассказа на Поле: Господи, в эту ночь спать! Он же где-то здесь в эту ночь! Утром Поле заполнят живые, придут поклониться делу 600-летней давности и воодушевиться его славой, а сейчас *они* встали, *они* одеваются в свои земные образы, узнавая друг друга, и все, увезенные в свои земли и здесь погребенные, сходятся на встречу ветеранов Дмитриева войска. Он не может не быть среди них теперь, утишая, должно быть, их ропот при взгляде на Русскую землю, при виде того, что с нею сотворили последние потомки, утешая каждого в отдельности и всех вместе: не смущайся, чадо, и не скорби, милость отымается, милость и дается.

Мы ночевали у работницы музея недалеко от Поля. Я тихо вышел и свернул по короткой улице вправо, в сторону обрисованных над землею куполов храма-памятника Сергию и колонны-памятника Дмитрию, увенчанных крестами. Кресты висели в небе, не воздымаясь над построенным человеческими руками, а опускаясь к нему – как провозвестники наступления иных времен. Ночь стояла тихо и скорбно, по ту сторону Поля мерцали дальние огоньки, мерцали они и за Доном, где упокоены мощи павших и где жива небольшая деревенька Монастырщина, от последней нашей встречи волшебным образом воспрянувшая от восстановленного храма. И так грустно, не по-электрически пробивались эти огоньки, что чудилось: это шествие под началом душеводителя. Если вслушаться сверх меры, можно было, вероятно, что-то и услышать. Но я не стал ни вслушиваться дальше и ни всматриваться, я и без того чувствовал в себе смятение оттого, что вступил в границы, где совершалось таинство не для жительствоющих.

Но в ту ночь я впервые близко ощутил присутствие Сергия. До того близко, будто, отыскав меня, чужака, он и ко мне прикоснулся умиротворяющей дланью. Сыграли

тут роль рассказ товарища, душевные поиски перед великой датой, когда, как археологу перед раскопом, который завтра закрывать, так хочется отыскать самое важное... И я, кажется, нашел. Оно было со мной, но правильно ли рассмотрел я его, это уже другое дело. Только, бывая не раз в Сергиевой Лавре, я и возле мощей Преподобного не мог протиснуться ближе. Что-то мешало. Или многолюдье, густота и сбивчивость чувств от преклоненных, или то как раз, что мне уже была явлена милость в разверстости той полекуликовой ночи.

«Чесо же смущаешиися, чадо?» – я и голос потом отыскал под эти слова, сказанные под вопрошающе-твердый взгляд поднятых глаз.

* * *

Смутиться, право, есть отчего: многие ли из нас осмелятся потревожить дух великого молитвенника за землю Русскую и возьмутся просить явить нам лицо его по случаю приближающейся даты?

Год рождения отрока Варфоломея потерял (от 1314 до 1322). Время отшествия Преподобного Сергия известно точно – через двенадцать лет после Куликовской битвы. Эти двенадцать лет истекают. В сентябре 1892 года на торжественном собрании в Московской духовной академии в память Сергия Радонежского историк В. О. Ключевский сказал слова, которые в то время были широко известны и точностью своей представлялись опорой в чувстве непопущимости России.

Вот они:

«Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятниками деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятниками срастается нравственное чувство народа; они – его питательная почва; в них его

корни; оторвите его от них – оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память Преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампы погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его».

Даже предупреждение, изошедшее из этих могучих слов в конце, прозвучало уверенностью: никогда тому не быть.

Полный век, миновавший от даты до даты, как корова языком слизнула. То был страшный для России и ее братьев век, каких не водилось и при татарщине. Едва не вытравили огнем, разбоем и ругательствами веру, заменяя ее не на басурманскую, чего в старину боялись, не на униатскую, посягавшую позднее на православие, а на каинову, при которой брат подбивался на убийство брата и открыто творилось торжище зла. Миллионы были уведены в полон в свое же отечественное рабство, миллионы замучены, огромные хлебные губернии уморены голодом. Сергиев Посад вскоре после революции переименовали, Лавру закрыли, мощи Преподобного выставили в музей на посмешище.

Свершилось! Невозможное грянуло на Россию с такой разрушительной яростью, какой нельзя было представить в самых тяжелых предчувствиях.

Можно возразить, взглядываясь в слова Ключевского, что нравственный запас народа не был растрочен, а был растоптан, и лампы не погасли без присмотра, а были загашены вероломно. Это так. Но мы бы и перед разверстой пропастью продолжали лукавить, если бы не спросили себя: как случившееся могло случиться при попустительстве и руками народа, который незадолго перед этим объяв-

лял себя богоносцем и нравственной крепостью мира? Нет, точилась эта крепость долго и источена была сильно, если с таким энтузиазмом растоптали и загасили.

В той же речи Ключевского есть еще слова:

«Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжело его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу».

Провидел там, провидения надо ожидать и здесь. Натерпелись сполна, хватит. И какое бы ни раздавалось вокруг улюлюканье своих и чужих бесноватых, сознательных и несознательных, вышедших из чрева ее, носителей России – пробил час подыматься. Будут еще, бессомненно, подсечки, будут от ослабшести неверные движения, не сразу Москва строилась, не сразу и Русь соединилась в Дмитриево войско, вставшее стеной на Куликовом Поле. Мы нередко слишком поверхностно относимся к историческому событию: кликнул клич московский князь Дмитрий по всем русским землям – и потекла под Москву мужественная рать. Нужно было прежде собрать эти земли, в которых отозвался клич, воспитать в воинах мужество, а пуще того – вложить в народ чувство национального подъема, привести к самопризванности, потому что во внешних отношениях друг с другом земля враждовала с землей и князь на князя водил татарские отряды, чтобы посчитаться в русских обидах. Полтора века рабства – это угнетенные души, робость и страх, принявшие за правило коварство и хитрость. Все это надо было капля по капле переломить, взрастить новые всходы и подготовить восходящее настроение. И на Поле Куликово не все русские земли пошли, и после бегали в Орду наушничать один на другого. Прямые пути в исто-

рии редки, ими лишь итожится долгая возделывательная работа, подобно тому как неделя венчается воскресеньем. Исторические воскресенья не непременно случаются с обязательностью седьмого дня, за них приходится много претерпеть.

Из всех слав, возданных Сергию Радонежскому при жизни и по смерти, первая – собиратель русских душ. Гнет, как известно, разъедает и нравственность. Это рабство, налагающееся на рабство: из меня сделали раба, и я порабошу в себе свободную личность, стану помыкать ею, как помыкают мною. При нравственной разрухе народ ближе всего к своей гибели, в нем точно надламывается спинной хребет и теряется опорный остов. Исцеление в таких случаях подобно чуду, в котором участвуют и земные, и небесные силы.

Игумен Троицкой обители, основав ее и приняв братию, судя по сложившемуся о нем мнению, не учил внушением, меньше всего наставлял словом. Он собой наставлял, своим примером. Пишущие о нем сходятся: само наставлялось, без усилий и употребления власти. На мирскую власть, на княжение, даже самое маленькое, он не был способен, и игуменом стал – братия просила по духовному влиянию на нее; государственные поручения выполнял – митрополит и великий князь просили по великой его духовной славе. Только однажды он вышел из себя – этот литературный образ следует принимать почти буквально: призвал к себе кого-то, способного на столь решительное действие, и повелел принять его, Сергиев, облик и отдать от его имени приказ закрыть в Нижнем Новгороде все церкви, дабы вразумить князя Бориса Суздальского, который захватил Нижний у своего брата Дмитрия. Это не Сергиев прием. Посланный примирить строптивного князя рязанского Олега с великим князем Дмитрием, он говорит с рязанцем «тихими и кроткими словесы» и возвращает его к общей русской пользе и миру.

Те, кто склонен искать в облике Преподобного позднейшие легендарные наросты, должны помнить, что легенда понизу не ходит. Сергей весь был внизу, со всеми и больше всех принимал труды, со всеми голодал, одарял последним и зверя и странника, никогда не поднимал голос, с государственными поручениями в Рязань и Ростов пробирался пешочком, тяготился положением настоятеля, а когда митрополит Алексей предложил ему после себя митру, не на шутку перепугался и ответил решительным отказом. Он и похоронить завещал себя на общем кладбище. Вышность Преподобного заключалась в другом. Его облик полностью дорисовался при жизни и не нуждался в исправлениях; кто-то точно заметил, что Преподобный пребывал еще во днях своих, а образ уже сошел с него в вечную святость, а это значит, ему было к кому обращаться за сверкой.

Толпы народные, валившие к Сергию за утешением и поддержкой, видели в нем, надо думать, целителя, родственного небу, одно прикосновение к которому способно отвести беды. Случаи сверхъестественных физических исцелений, описанные Епифанием, в огромном авторитете Преподобного участия почти не принимают. Они – как дань святости, и в сравнении с другими святыми дань довольно скромная. Словно Сергей имел власть и над смертной своей славой и в лишнем ей отказывал. Не этим силен был Преподобный. Искавшие его помощи шли к нему часто за одним, а получали другое, но полученное по мере воздействия на жизнь, по «направлению» превосходило желаемое. Когда монашеская братия в обители возроптала, жалуясь на трудную дорогу к воде, Сергей, по Житию, иссек источник из земли подле своих ног. Но иссеченный им в себе духовный источник, к которому текли и текли страждущие, представляется более чудодейственным по своему влиянию на людей. В нем было нечто такое, что припадавший к нему видел как бы направленным на него зрением, нечто открывающее ему самого себя.

После Преподобного не осталось писаний, и слова бесед его с учениками, по житию, не достоверно его – он говорил в ответ на исповеди и запросы, до каждого, так сказать, снисходя, хотя в буквальном смысле снисходить ему не требовалось. Он еще и благодарил любого, кто искал общения с ним. Интуиция подсказывает, что ничего великого он и не говорил при беседах, самое простое, но величие было в том, как говорил, каким голосом, как смотрел, что видел в собеседнике, что читал в одному ему ведомых письменах. Созданный им в себе огромный святой мир, высказываемый незамысловатым истечением мысли, должен был производить немалое впечатление. Какое-то окрыление, вероятно, появлялось у человека. Не сразу благословил Сергей и князя Дмитрия на кровавую встречу с Мамаем, выпрашивая, все ли испробованы мирные пути, и видя, как много плетется по Руси мученических венков, а благословив и отпуская от себя князя, шепнул – вся правда тут в том, что шепнул, только что провидя: «Ты победишь». И такая сила была в этих словах, так они вошли в князя, что он «прослезился» и больше уже не позволял себе сомневаться в успехе. Иногда выбор судьбоносных решений зависит, казалось бы, от самого малого: неизвестно, осмелился ли бы Дмитрий Иванович перейти Дон и закрыть себе дорогу к отступлению, если бы не звучал в нем шепот Сергея.

С ним дружил митрополит Алексей. Киприан искал его поддержки, чтобы утвердиться во главе Русской Церкви после Алексея, строптивейшие из князей поддавались его вразумлению. Чтобы пользоваться подобным влиянием, нужно иметь славу возвышенную и чистую, источник незамутненный и глубокий, к которому бы одинаково тянулись и простонародье, и вожди. В нем было место их дружеских встреч, в нем, благочестивом и щедром старце, они ощущали равенство друг перед другом и проникались потребностью осознать себя единым национальным телом.

Поруганная и плененная Русь, чтобы подняться, нуждалась не в количественном, а в качественном присутствии в себе, в воинстве, поднятом святыми ее идеалами.

Вообще, если уж речь зашла о качественности, русскость в широком смысле – это не набор и не ассортимент качеств, свойственных русскому человеку, а духовная качественность. Те, кто не принимает сегодня ни под каким видом русскость, – или не верят, что столь высокое призвание могло быть вручено столь «низкому» народу, или она, качественность, сама по себе вызывает в них раздражение по принципу: нет во мне, не должно быть и в других. А потому народ, домогавшийся или домогающийся ее, представляется им опасным. Это расхождение и непонимание вызывается не обязательно национальными и религиозными различиями – все больше причиной их становится нравственный раскол, торжество зла, собирающее под знамена своего передовизма аморалитический интернационал. Поспешая в него, бывший русский человек, чтобы не вызывать у новых друзей подозрение в лояльности, посылает вслед своему народу, который он предал, самые бешеные проклятия и издевательства, что, кстати, по законам предательства является делом обычным.

Передовизму такие и нужны; это общество иноземлян, много чего, на наш взгляд, потерявших в человеческой ипостаси, подводящих милую их сердцу альтернативу под все – под совесть и стыд, любовь и семью, веру и родину, народ и государство, – и направлено это общество против всякой нации в ее не общего вида историческом предназначении.

И сталкивают народы они – чтобы от народов отбывало к ним.

И руют веру – чтобы на безверии терялись древние человеко-паственные заветы и остывали души: «Бытие определяет сознание».

И канонизируют каинов и иуд – чтобы былую святость превратить в козлище, а святыни – в места публич-

ных физиологических или художественных испражнений, будь то Казанский собор подле Красной площади, храм Христа Спасителя или Пушкин.

И ненавидят всякую святость в большом и малом, в народе и человеке, в поступке и мыслях, иконе и пении, ненавидят даже несостоявшуюся святость, ибо она может не загаснуть.

И когда слышат они: «святоотеческие чувства», «Святая Русь», «святые идеалы» – как от заклинательного «свят, свят» по известному адресу передергивает их и заставляет в голос взвыть свой хорошо нам знакомый хорал, решительно определяющий русскость от рождения ее и во веки веков под руки невежества и варварства.

Здесь не без умысла подменяются понятия. Русскость, так же как немецкость, французскость, есть общее направление нации, внутреннее ее стремление, выданный ей при мужании, когда обозначаются успехи, аттестат на особую роль в мире. У одних эта роль практическая, у других художественная, у третьих религиозная, но каждая нация призвана на оплодотворение собой, помимо общих усилий, чего-то отдельного, к чему она имеет склонность. Иначе человечество окостенело бы в однообразных движениях. Есть, пить, плодиться, веселиться, защищаться от коварства соседей, выискивать из поколения в поколение все более и более совершенные способы для производства оружия, коварства, еды, питья, веселья – мир давно бы погиб, если бы он сразу же отправился по этому никуда не ведущему пути. Коли он жив – худо-бедно народы свое общечеловеческое строительство, талантом каждого, не оставляли. Если сравнивать каждый народ с притоком, пополняющим родственно-этническую реку, впадающую затем в Мировой океан, то приток не одну лишь воду несет, но питает, созидает и одухотворяет целый мир, не повторенный более нигде на пути своего следования. Задача притока – течь, находить к реке кратчайшую дорогу, но призвание его – от-

вернув в сторону, вымыть из земли целительные соли, которые составят славу его существованию.

А такой народ, как русский, впитавший в себя при рождении и продолжении не одну кровь, сам по себе река, могучая и загадочная.

Русский человек может быть и варваром, и невежественным. Не в первый раз награждают его подобными «достоинствами», и он никогда от них не отказывался. В семье не без уроды, в народе не без уродства. То, что скрывалось у других под внешним лоском и внешним же благополучием, у нас не хотело прятаться и как бы нарочно рвалось на общее обозрение. Это извечное свойство русского – душа нараспашку, которое шокировало посторонних, не умевших взглянуть в эту душу. К тому же русский порыв к святости, не отрицавший прежде и недругами, невольно оставлял внизу нравственное увечье, в любом народе неизжитое, но в нашем имеющее склонность к демонстрации и вызову, также своего рода порыв с обратным знаком. А при таком явлении, как юродство, смешивались и знаки. В юродстве народ сам себя обличал, не скрывая ни наготы своей, ни струпов на теле и не жалея ругательств, и делал это настолько безжалостно, что, принимаемое за варварство, было оно, это публичное оказание вместе с покаянием, что-то вроде публичного изгнания бесов, – было оно мучительной судорогой народной души, ищущей спасения. Не случайно в свято-звездном русском небе так много юродивых; как знать, не в одной ли небесной келье братствуют за одинаковыми занятиями столь, казалось бы, разнившиеся на земной службе Сергей Радонежский и Василий Блаженный?

Святая Русь не значит Русь идеальная. Это примерные на национальную фигуру сияющие одежды, пришедшие в пору, но не воздетые до тех пор, пока последние не станут первыми. Это литургическое настроение народа, его осознанная цель, заключавшаяся в сердечной

деятельности, в работе над благополучием духовным. Рядом с другими, давно избравшими путь материальной качественности и достигшими немалых успехов на этом пути, наш народ продолжал показывать странное и болезненное упрямство. Периоды необычайного нравственного подъема перемежались в нем тяжелыми падениями, времена, когда представлялось, что он близок к весьям небесным (при Ярославе Мудром, в первой половине XV века, в середине XIX века), сменялись безудержным поклонением долу, а дол на Русской земле не из самых чистых. Отчаяние от очередного падения переживал он мучительно, но находил в себе силы снова и снова готовиться к восхождению. Трагедия этого святоискательного народа заключается в том, что его устремленность вверх всякий раз сбивалась могучим встречным движением, общим ходом мирового порядка, от которого не хотела отставать и российская власть. Она только и делала, что преобразовывала и перестраивала Россию вопреки ее назначению. Вероятно, и поперек миру идти, чтобы уцелеть в нем, было невозможно, но преобразователи порой очень уж старались, чтобы показать свой передовизм. Петр Великий похвалялся перед европейскими послами: «Я научу свой народ курить» – и научил. Не станем сбиваться на примеры, чему в том же роде учат и научают и сейчас.

В трех революциях начала века из последователей победившего общественного хода, к которому Россия только-только примыкала и привыкала, она была выдержана и поставлена во главе его – и не готовая к этой роли, не соответствующая ей ни психикой своего народа, ни его избранничеством, ни даже энергическим пульсом, за несколько десятилетий этого противоестественного цуга немало себя извратила и надорвала. Если продолжать сравнение народа с рекой – реку повернули вспять, заставив ее с помощью насосных станций себя собой уничтожать. Нечто похожее происходило и с народом. Что после этого

спрашивать с него нравственность?! Еще удивляться надо, что каким-то чудом сохранились ее остатки, которые дают надежду на восстановление.

Таким образом, главное противоречие старой русскости с утвердившейся в мире материальной цивилизацией – в их разнонаправленности, разнокачественности. Русскость готовила себя к собиранию небесных сокровищ, а вокруг наперегонки принялись ковать земные. В русскости внутренняя свобода была важнее внешней, ее демократизм был органическим, суд творился от имени Бога, а передовая мысль уже всюю городила из законов и конституций места выпасов для устроительных демократий и свобод. Это был неравный спор, спор духовного с материальным, победу в котором не представляло труда предсказать. Оказалось легче преодолеть земное притяжение на пути к космосу, чем на пути к показанному нам праведниками человеку, до которого пять веков назад было гораздо ближе, чем теперь.

Пять веков назад – потому что к этому времени собрано было засеянное Сергием Радонежским и его учениками. Преподобный Сергей первый основал монастырь вдали от города и положил начало новому виду святости – в рассеянии и пустынножительстве. Ученики Сергия, считается, поставили в глухomanных местах около сорока монастырей, ученики учеников еще более шестидесяти. «Собор Радонежских святых», как называется в истории нашей духовности все великолепие имен из последователей Сергия, канонизированных впоследствии Церковью, объял своим трудничеством многие окраины Московской Руси. Княжеская власть продолжала прибирать под одну государственную руку уделы, добровольное духовное миссионерство соединяло их внутренним единством. От князя и начинавшегося внешнего закабаления можно было сбежать в леса или Дикое поле, но сердечное воззвание, но невольный отзыв на неслышимый переклик каждой

христианской души заставляли держаться вместе и претерпеть все, пока претерпевает Русь.

Убегали как раз под покровительство монастырей и славу святых, способных защитить от несправедливости и неправедности. Едва только расчинаясь новая обитель, вместе с монашеской братией внутрь обители пробиравлось под ее теплый бок простонародье. Так сильно было влияние в то время старцев, перенятое от Сергия, что не подчиниться ему считалось тяжким грехом. Но соседства с местом богомолья искали не только для защиты от утеснений, а и во имя очистительного перенимания. Сейчас такое не спуста представляется домыслом, мы от такого отвыкли, но было, было время, пришедшееся в том числе и на послесергиеву жатву, когда народ жаждал нравственного врачевания и духовной зречести. Не по княжескому же распоряжению крестьянин получил свое имя от христианства, для этого надо было выработать в себе все смысловые звуки, чтобы выговорилось слово. И посмотрите: как только засохли они, опало и слово, оставив по Сеньке и шапку – неудобовыговариваемое и механическое «аграрник».

Епифаний, говоря об исходящей от трудов Сергия Радонежского благодати, находит для нее точное пространственное сравнение: «Рука Сергия была простерта, яко река многоводная, тихая струями». Так и представляешь эти «тихие струи», переливающиеся от сердца к сердцу, чтобы оплодотворить и соединить их в общее национальное биение. По водоразделам всех просторов текли они, растопляя хладнорусскость, оставшуюся от времени вражды и раздоров, отогревая ее в живое проточное чувство. И вот один из примеров: когда в XV столетии вольница Дикого поля, управлявшаяся собственными законами, отслоилась от российской государственности, при угрозе врага, забыв обиды, она считала своим долгом выступить на помощь России: братство по крови и по духу уже побеждало выгоду и разногласия.

Все это готовилось исподволь и долго, но Святая Русь, прерванная татарским игмом, начиная с Преподобного Сергия, снова была отмолена и вымолена, смутная тоска русского человека по праведности просветлела до осязаемых образов и подобий: явились замечательные примеры, из кроткой молитвенности выросла могучая сила. Еще раз оговоримся, что окаянство продолжало бурлить рядом с течением святости, но Россия подтвердила свой путь, и когда бы поддержана она была хоть немного странами, задававшими тон в ходе мировых событий, как знать, может быть, мы сегодня все вместе не оказались бы у края пропасти.

Такие светоносные явления, как Сергей Радонежский, вызываются не итогом чего-то, а предвестием, в том числе необходимостью спасительных переходов через духовное бездорожье всех времен. Когда окаянство в России принялось одолевать, пришли Серафим Саровский, Оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский и вновь указали переправы через предстоящие потоки лжи и грязи на противоположный берег, где, установясь на твердую почву, русский человек сможет опять обрести себя в праведных трудах.

Много тяжкого ждет его впереди, особенно в ближайшие годы, но не оставят его великие путеводители, когда обратится он к ним за просвещением, и первый среди первых, как и во все шестьсот лет до этого, будет среди них Преподобный Сергий.

1991

ИЗ ГЛУБИН В ГЛУБИНЫ

Тысячелетие крещения Руси – дата настолько великая и многозначная и несет она в себе так много всего, что относится не к одной лишь религии, что составляет историю, искусство, народное мировоззрение и чувство, народ-

ный характер и душу, уклад жизни, традиции, язык, наконец, мораль, духовное звучание мира... Выбор, сделанный тысячу лет назад князем Владимиром Святославичем, имел для нашей Родины столь огромные последствия, что у нас сегодня нет возможности приблизиться к их полному осознанию. Это можно сравнить с тем, что, имея землю, Русь получила небо, а славянин, имея тело, получил душу.

Тысяча лет прошло... Срок этот кажется археологическим. Но стоит примерить к нему свои лета, он приблизится настолько, что впору отводить глаза. В сравнении с моими пятьюдесятью это всего в двадцать раз больше. Рядом. В сравнении с возрастом молодого человека больше всего в 40–50 раз. Все равно рядом. Из сегодня вымеряется еще, что Русь крещена была как раз на половине от начала христианства к концу первого тысячелетия, и в этой равнозначности двух эпох, выпавших на наше время, есть что-то и волнующее, и пугающее, и обнадеживающее. Волнующее избранностью нашего поколения, именно мы пришли на эту дату, нам дано почувствовать и понять смысл не только происходящего сегодня, но и происшедшего за тысячелетие. Сможем ли, сумеем ли, осталось ли у нас для столь огромной работы чувство, сохранились ли меры для измерения духовных перемен? – пугающее этой ответственностью и неуверенностью в себе. Пугающее, кроме того, исполненностью сроков, в которые не оспаривался и не утешился человек. В великих датах всегда чудится что-то от затмения, когда, заканчивая круг, конец сходится с началом и поступательное движение до того, как определиться новому кольцу, приостанавливается, свет меркнет. Но больше всего в этом событии обнадеживающего. Оно, обнадеживающее, происходит из той же любви и того же тепла к человеку, на которых возникло христианство. Должен быть и у России свой покровитель. Вспоминается, что, когда праздновала она пять веков от своего крещения, состоялось полное освобождение от

татаро-монгольского 250-летнего ига. Что-то величественное и судьбоносное невольно ожидается и теперь. И хотя считается, что откровение посещает человека в часы страдания, а народ – в годину испытаний, – так ведь пострадались и напечаловались с избытком, по мере страдания Россия должна быть избранницей неба и не без оснований рассчитывать на искупление.

В «Повести временных лет», одном из самых древних письменных памятников Руси, есть рассказ о том, как князь Владимир устраивал испытание религий. Свои услуги Руси предлагал ислам – от волжско-камских булгар, предлагал со стороны хазар иудаизм, были послы и от римского папства. Владимир Святославич, ставший крестителем, избрал византийскую ветвь христианства. Неверно было бы делать предположение, что выбор зависел от него и что при другом ходе событий мы могли оказаться магометанами или иудаистами. Владимиру ничего другого и не оставалось, как склонить голову перед православием, это предопределено было склонностью народного характера, степенью его отзывчивости на тот или иной призыв. Сосудистая система славянина подходила для учения Христа, другие учения вызвали бы в нем болезненные, а вероятней всего, губительные последствия, при которых народ оказался бы жертвой и мог исчезнуть, как это произошло с хазарами. Энгельс сказал: «Ислам – это религия, приспособленная для жителей Востока». Так и христианство в том его направлении, центр которого находился в Византии, было приспособлено для Руси и не случайно нашло потом в России главную опору. Как руководительная идеологическая сила, религия слишком влияет на духовные черты своей паствы, но до того, как влиять на нее и менять ее, религия должна иметь с нею родство, какой-то природный магнетизм должен их притягивать друг к другу. Тут, грубо говоря, дело в сорте веры, с одной стороны, и в душевных залогах народа – с другой.

Христианство стало утверждаться в Киевской Руси с переходом ее в феодальные формы государства. «Чтобы освятить их», – говорят историки. И их освятить, это само собой, религия заинтересована в крепком государстве, поскольку она становится частью государственного организма, но самое глазное – чтобы освятить человека, привести его жизнь в соответствие с моральными законами, вдохнуть в него вечность, дать внутреннее зрение, показать на поле в его душе, которое требует возделывания с не меньшей старательностью, чем поле хлебное, и постоянно засеивать его любовью. Любовь – первое слово и дело православия, его знамя. Житель Древней Руси не был таким варваром, как по прошествии тысячи лет с позиций варварства просвещенного нам представляется сегодня, но и он не знал, как не знаем мы этого сейчас снова, как воспользоваться собой, не видел ясно цели своего прихода в жизнь. «Родила козявка козявку, козявка поползала и умерла» – нет, с этим человек никогда не согласится. И если он не найдет цели, он скорее уничтожит себя, чем станет жить с хаосом в душе и обходиться прожиточным минимумом духовного суррогата.

Не забудем: став господствующей идеологией и борясь с язычеством, христианство на Руси тем не менее отнеслось к нему терпимо, это было не выкорчевывание древних верований, а оттеснение их своим авторитетом и приспособление для своих нужд. И если мы до сих пор несем в себе языческие отголоски, так потому именно, что предкам нашим было оставлено для них место, что учение, пришедшее на смену предыдущему, составленному, казалось бы, из одних предрассудков, нашло нужным считаться с его природной укорененностью. Когда передовое приходит на смену устаревшему, если оно действительно передовое, оно не способно начинать с решительного уничтожения прежнего верования. Только не уверенная в себе сила, только сила, не имеющая иных аргументов, способна

на насилие. По нравственному закону, существующему в мире единым итогом, независимо от учений, всякое насилие в конце концов наказуемо, хотя наказание и может растянуться на поколения.

Два направления христианства с центрами в Риме и Константинополе за одно и то же дело по строительству человека принялись как бы с разных концов. И ни там, ни там не закончили его, увлекшись своей правотой и своей стороной строительства. К тому же русское православие пошло в своих отличиях дальше византийского, оно было свободней, терпимей, идеалистичней. Русский человек за века православия развился в фигуру неопределенно-мечтательную, чувственную, менее практическую, чем человек Запада. В западном человеке первенствовало внешнее устройство жизни, в нашем – душеустройство, чувство родства с другими народами. Для одного важнее была форма, для другого содержание. Будучи сыновьями одной матери, они происходили как бы от разных отцов и могли считаться сводными братьями. Когда бы удалось свести достоинства друг друга, получилась бы, вероятно, личность, которая устроила бы ее без трагического разлада с собой. Любое дело православный начинал с чувства, с молитвы, с грез, католик – с чертежа, с формулы, с уверенности в его успешном окончании. Один – дитя цивилизации, со всем лучшим и худшим, что несет в себе это понятие, другой – дитя представлений и иллюзий, также со всем тем, что есть в них противоречивого, бросающийся торопливо за материальной цивилизацией всякий раз, когда выяснялось, что мир избрал путь, мало согласующийся с его представлениями. Для одного причиной радости был успех, другой умел радоваться без всяких внешних поводов, только потому, что существует радость. Точно так же для одного страданием было нарушение его планов, какой-либо разрыв в увязанном им воедино мире, другой полюбил страдание за то, что оно дает возможность

уйти в себя еще глубже, чем при радости. Только в России могло явиться поклонение страданию и привычка к нему. Полярность, обрывистость, противоречивость русского характера, трагические его изломы нужно объяснять, вероятно, прежде всего тем, что ход вещей не отвечал его верованиям и надеждам. В Европе и религиозное чувство имеет свое вычисление и объяснение, у нас же, как сказано Достоевским, «сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения не подходит; тут что-то не то, тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеисты». На Западе скажут точно, в России много вот этого «как-то, что-то, почему-то», происходящего не от недодуманности, а от обращения к тому, что и нельзя додумать, что относится к миру надчеловеческому.

У нас науку души, преподаваемую Церковью, восприняли всерьез, она стала основанием святоотеческих начал и распространилась далеко. Она родила у нас в прошлом совсем особую литературу, ни на какую другую не похожую, и если вы хотите знать, чем был русский человек в XIX веке, ищите его самого и душу его в книгах Гоголя, Лескова, Достоевского, Толстого, Фета и Тютчева. Вершинные творения духа – это и есть направление нации; среднеарифметический русский тип был, разумеется, иным, но он должен был чувствовать свою попутность этому направлению, оставалось продолжить движение. Величие русской литературы – в высоте ее взгляда; вероятно, в законах физического зрения и оптики не существует такого соотношения, что чем выше поднимаешься, чем дальше отстоишь, тем глубже и лучше видишь. Для этого требуется духовное видение, когда писатель достигает пределов, в которых ему передается зрение истины. Великие мастера есть всюду, во всякой большой литературе, во всяком развитом искусстве. Русская литература прошлого века выделилась не одной лишь талантливостью, талант – это возможности художника, талант может быть и разру-

шительным, она выделилась больше всего своей духовной буквой, поисками в человеке ростков, из которых могут взойти искупительные действия, поисками того, что нового появилось в нем в результате духовной эволюции. Несмотря на свою горячность, неистовость и разоблачительность, она писалась словом питательным, словно бы пропущенным через какой-то особый состав, который способен восстанавливать силы.

Не забудем: школа старчества в Русской Церкви, в которой до сих пор светят живоносные имена Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Тихона Задонского, оптинских старцев Амвросия и Нектария, была школой и русской литературы.

Совершенно отличной (и в смысле отличительности, и в смысле превосходности), происходящей из православия и славянской почвы, была в конце прошлого – начале нынешнего века русская философская мысль. Она созрела к этому времени до небывалых урожаев, которыми нынче мы, к несчастью, почти не пользуемся. Леонтьев, Соловьев, Федоров, Федотов, Розанов, Шестов, Бердяев, Флоренский, Булгаков, Трубецкой, Франк и другие привели ее к Ренессансу в философии, к невиданному взлету. Главное отличие ее было не в открытиях ума, не в формальных и отвлеченных построениях, не в архитектуре мысли, заведенной на спор и доказательства, а в пластичности, удобности, красивости, обаятельности мысли, в которой ум руководится душой, а духовное и мирское сходятся в человеке без всяких усилий. Похороненная наполовину в родной земле, наполовину в зарубежье, в нашей стране она не имела почти продолжения. Не стану утверждать, что мы самый нравственный народ в мире, особенно теперь, когда и нравственность из образа перешла в звук, но русская мысль тогда в вопросах духовно-нравственного бытия человека сказала так много, что могла бы считаться катехизисом новейшего времени. Предреволюционному

обществу нужно было заткнуть уши, чтобы не услышать ее предупреждений и отделаться бранью.

Изящные искусства и вообще повсюду должны быть искусством богоделания. Под богоделанием надо понимать любвестроительство, возведение единого храма красоты и братства. Все, что не отвечает этому требованию, не есть искусство, и чем лучше в таком случае исполнено произведение, чем ближе оно к искусству подобием его, тем вредней. Оно есть строительство соблазна, есть разрушение человека. Века и века в великих муках шел человек к себе, шел как бы и боясь себя – того, к которому надобно стремиться, по тому же самому необъяснимому закону, по которому сказано: «Конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде». И неблизко еще, надо думать, было ему до себя, впереди высматривались труды и труды, и когда соблазн стал истекать из всех пор, в том числе и из искусства, когда принялись в голос со всех сторон говорить ему, что не туда он идет, что спасение не там, а гораздо ближе, – надо ли удивляться, что не удержался человек на избранном пути?

Соблазн одного человека – это ошибка; соблазн общества – это «прогресс».

Не только литература, не только философия, но и музыка, живопись, архитектура достигли в России к концу прошлого века вершинной отметки – словно оттуда, с высоты, прощаясь навсегда с искусством, которое, переродившись, примется скоро уничтожать свои же собственные идеалы и проповедовать духовное «ню».

Лев Шестов, философ, пытаясь разгадать Достоевского, делает одно удивительное, в духе русской мысли, предположение: «В одной мудрой древней книге... рассказано, что ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь сплошь покрыт глазами. Почему так, зачем понадобилось ангелу столько глаз – ему, который все видел на небе и которому на земле и разглядывать

нечего? И вот, я думаю, что это глаза у него не для себя. Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убеждается, что он пришел слишком рано, что не наступил еще человеку срок покинуть землю. Он не трогает его души, даже не показывается ей, но прежде чем удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть сверх того, что видят все и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсем новое».

Кажется, только этим зрением и можно объяснить у Достоевского «Легенду о Великом Инквизиторе», словно бы не вымышленную, а считанную глазами ангела с текста, составленного помимо человека. В ней, в «Легенде», и воспоминание, и объяснение, и прорицание, далеко выходящие за опыт одной жизни. Эти мысли, эти образы, эти горькие истины могут, кажется, лишь протекать через русло, избранника, считающегося их создателем. Вопросы соответствия природы человека его христианскому назначению, то есть вопросы возможностей и целей, практики и идеалов, земности и небесности человека, – без них при всяком серьезном размышлении о наших судьбах не обойтись. Великий Инквизитор в «Легенде» вопрошает у Христа, Которого по его приказу взяли: «Так ли создана природа человеческая, чтобы отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога; ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес... Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: “Сойди со креста, и уверуем, что это ты”. Ты не сошел потому, что, опять-таки, не захотел

поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз и навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал – и это кто же – тот, который возлюбил его более самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его».

Этим словам Великого Инквизитора нельзя не ужаснуться. От них веет холодом, в который оказалась погружена истина. Они верны, но той правдой, что выпадает в осадок. «Менее бы потребовал – легче была бы ноша». Но результаты бывают при тяжести ноши, от человека ждали результатов, и требовалось от него ровно столько, чтобы быть человеком. Меньше – получался недорост, искривленность позвоночника, уродливость фигуры от несоответствия, несогласованности между внешним и внутренним.

Так оно в конце концов и случилось. Человек не выдержал своего предназначения. Он себя не выдержал, своих противоречий, которые хотелось скорей примирить, и примирять их он взялся необременительным способом «поверх добра и зла». Так было проще, чем побеждать в себе зло. Оно так долго не побеждалось, что он счел себя уставшим и свободным от борьбы.

Можно ли говорить сегодня об этом как о чем-то уже состоявшемся, что человек окончательно сдался, что нечертанные ему заветы уже никогда не будут исполнены? Чей язык повернется, чтобы произнести подобный приговор, ведь жизнь продолжается, продолжается и борьба

ба, немало пришлось бы перечислять и старых духовных крепостей, и новых общин, в которых возвращается ныне память к заветам отцов, и все же в сравнении с тем, чем был человек хоть и сто лет назад, теперешняя его фигура и пути, которыми он руководится, заставляет и надежды высказывать неопределенно и робко.

Конечно, это произошло не вдруг, не так, что взял и отказался человек от авторитета веры и пошел искать авторитет силы, вместо того чтобы вести борьбу за себя, кинулся в борьбу за переустройство мира; не справившись с собственной свободой, не став братом ближнему, потребовал всемирного братства и освобождения всех. Еще в 1848 году поэт Ф. И. Тютчев, размышляя о европейской революции, уверен был: «Тысячелетние предчувствия не могут обманывать, Россия, страна верующая, не ощутит недостатка веры в решительную минуту. Она не устрашится величия своего призвания и не отступит перед своим назначением». Но пройдет всего несколько десятилетий, и соблазн чуда, соблазн скорого и окончательного устроения людского счастья охватит русское общество. Великий Инквизитор предрекал, что во имя хлебов земных пойдет человек на любое преклонение, что «нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее то перед чем преклониться».

Русская Церковь и свою вину должна чувствовать в том, что, уверившись в истинности и незыблемости своего учения, исходя из принципа свободной веры, оказалась безвлиятельной, когда началось общее смятение жизни в идеалах, запросах, а со смятением в огне, который все раскаляли и раскаляли новые вероучители, началось кипение социальных страстей. Но ведь и вера – это не только утешение, но и обуза. С развитием наук, с появлением открытий в технике, экономике, обещающих легкие хлебы земные, с появлением морали, издевающейся над грехом,

философии, отрицающей старые истины, при всеобщем бунте ввиду близкого и манящего рая – это был не просто соблазн, это был экстаз, спасительный исход, торжество человеческой природы. Христианские лозунги: свобода, равенство, братство! – перенесены были на иные полотна и наполнены иным смыслом. Герцен обронил, кажется, в отношении к Европе: «Свобода! Равенство! Братство – или смерть!» Русский философ К. Леонтьев, считающийся реакционным, не без досады заметил: «В социальном строе один везет, а девятеро лодырничают... И думается: “социальный вопрос” не есть ли вопрос о девяти дармоедах из десяти, а вовсе не о том, чтоб у немногих отнять и поделить между всеми. Ибо после дележа будет четырнадцать на шее одного трудолюбца, и окончательно задавят его. Упразднить же себя и даже принудительно поставить на работу они никак не дадут, потому что у них большинство голосов, да и просто кулак огромнее».

Это уж совсем про наши дни. Еще опаснее ныне, чем «большинство голосов и кулак огромнее» при добывании хлеба, подобное же преимущество при добывании истины. Но тут разница вдесятеро больше. Образование (я говорю не об одном лишь нашем образовании, весь мир свернул на приобретение знаний двигательного свойства), образование занято тем, чтобы увести человека от главных законов бытия и снабдить его усовершенствованной системой и технологией пробежки от рождения до смерти. Малограмотная деревенская старуха сейчас к истине ближе, чем профессор, читающий общественные науки. Близко к тому, чтобы сказать: ученье – тьма... «Хлеба и зрелищ!» – стало смыслом жизни. Всякий, кто пытается напомнить о душе, о совести, о назначении человека, о смысле его жизни, вынужден сталкиваться с тем, что понятия эти из руководительной духовной династичности переведены в обслуживающий персонал и набиты чепухой. Если же начинаешь

допытываться до старых их смыслов, говорить о вечности, о ценностях души, о единственно спасительных путях – неминуемо попадаешь в разряд ретроградов, реакционеров и обскурантистов. Ловкость прогрессистов, умеющих предавать дружной анафеме любого, кто пытается пользоваться памятью, а не запоминательством, словами истины, а не построений, чувствами глубинных заповедей, а не выносом времени, – ловкость эта удивительна и всесильна. Не всегда это, вероятно, злоумышленники, но что из того нам, если заблудители и заблужденные соединяются, растут, если многое делается по неведению и темноте души?!

Посмотрите, чем занято общество: химизация, политехнизация, научная организация, сейчас компьютеризация. И только одним оно не занято – гуманизацией, еще не отмененной окончательно, но задвинутой в такой угол, откуда шепот ее почти не слышен. Только духовностью пренебрегает общество, сочтя ее устаревшей, подобно технологиям. Едва ли надо сомневаться, что в результате предпринимаемых сейчас усилий хлебом земным мы сможем накормить человека, но это произойдет по правде Великого Инквизитора, по которой человек принадлежит только долу. Все это опять-таки будут средства жизни, средства, накладываемые на средства, средства, продолжающие средства, а как быть с вопросом: во имя чего наша жизнь? – с вопросом, который начинает глодать нас не меньше, чем потребность в хлебе.

«Плоть рождает плоть, дух рождает дух», – сказано Христом. Из плоти дух не рождается. Но если человек все еще человек, если не опустился он до подобия человеку, он не сможет согласиться с одной лишь плотью. И востребует он: «Дух! Дайте мне дух! – или я откажусь от своих учителей, прокляну новые божества, лишившие меня духа». И произойдет это тем скорей, чем скорей человек будет накормлен. Религия потребительства, пытающаяся встать над всеми религиями мира, которой пока все еще

соблазняется человек, не может иметь будущего, ибо ею удовлетвориться нельзя.

Уныние, отчаяние, неверие признаются, как известно, христианством за грех. Не будем же и мы предаваться отчаянию. Выход, если мы захотим им воспользоваться, есть, он известен давно. Он – в нравственном перерождении человека, в самостроительстве, в самовоспитании из тех духовных начал, которые мы продолжаем в себе носить, в опаматовании и высветлении разума...

И сегодня, празднуя великую дату русского христианства, дату, которая сама по себе не может не явиться огромным соборным действием, призыванием всего лучшего, что осталось в нации, под единые знамена, – празднуя, не забудем...

...не забудем, что во многом благодаря соединительному духу Церкви народ наш выстоял в века иноземного порабощения...

...что воспитался он в один из самых отзывчивых народов мира...

...напитал в недалеком прошлом великое искусство и великую мысль, образцы великомученичества во славу души и истины...

...не забудем, что в последнюю войну Русская Церковь под колокольный звон всей верующей России отправила на фронт танковую дивизию, что верующие воевали не хуже, а может быть, лучше в общем строю.

А коль не забудем, коль подхватим память сознанием, а сознание подхватим действием, значит – живы.

1988

СМЫСЛ ДАВНЕГО ПРОШЛОГО

Религиозный раскол в России

Религиозный раскол, который потряс Россию, подобно землетрясению, в XVII веке и продолжался до века двадца-

того, сам по себе явление настолько же русское, насколько и общечеловеческое. Он возник на русской почве, произошел из русского характера и, в свою очередь, повлиял на развитие этого характера, протекал так, как нигде больше, ни в каком другом народе не мог протекать. Но выражал он собой такие общие понятия и причины, какими руководится при движении и тормозится духовная цивилизация. То же самое произошло в европейской Реформации и возникших вслед за нею многочисленных сектах. Время от времени в мире случаются и будут, вероятно, случаться вместе с социальными революциями и потрясения вероучительных основ, возникающие, казалось бы, из недоразумений, из пустяков, но имеющие под собой глубокие и непримиримые противоречия. Когда утверждали русские старообрядцы, что «православным должно умирать за едину букву аз», когда настаивали они на неукоснительном соблюдении утвердившихся, пусть и в результате невольных ошибок, обрядовых установлений, для них это были только средства для отстаивания целей. Дело заключалось куда как не в азе, а в том, в какую сторону склонялось исповедание с лишним или недостающим азом. Можно вспомнить, что и патриарх Никон, заваривший кашу с исправлениями книг и круто ее замесивший расправой над своими противниками, что и он в доверительном разговоре с Иваном Нероновым, одним из самых страстных поначалу расколоучителей, согласившимся затем с исправлениями, говорит, имея в виду книги: «И те и другие добры, все равно, по каким хочешь, по тем и служишь». В этих словах Никона так и слышится усталое вразумление: если бы споры шли только об исправлениях – как-нибудь бы договорились. Буквенная и обрядовая стороны, коих противники держались как единственно спасительных столпов, были только упорами, к которым крепились разные для России направления.

Если социальные революции – это бунт недовольной плоти за свое благополучие против верховности су-

шествующего права, то расхождения внутри духа, раскол учения – это факт того, что дух ослаб или заблудился. Не однажды на протяжении человеческой истории служители духа должны были прийти в отчаяние от той очевидности, что человек улучшается мало, что, не избавляясь от старой греховности, вовлекается он в новую. С нравственного небосвода как бы нисходят сумерки, в которых плохо различимы добро и зло, любовь и забвение, красота и уродство. Это заставляло вероучителей искать способы более действенного и очистительного воздействия на паству, заставляло, считаясь с психическим и эстетическим настроением народа, менять положения веры, приспособлять к ней обрядность. Печальную повесть о русском расколе нужно начинать с XV века, когда им еще и не пахло, когда, напротив, православие обрело в России утешительное царство. В 1439 году, как известно, Византия подписала Флорентийскую унию, войдя в альянс с Католической церковью, а всего лишь через 14 лет Константинополь, старая столица православия, перешел к туркам, что не могло быть воспринято в Москве иначе как возмездие за измену. Тогда и явилась на свет знаменитая по своей уверенности и чеканности концепция: «Москва – третий Рим, а четвертому не быти», которая, с одной стороны, выражала историческую ситуацию, а с другой – давала клятву непорушимой и вечной верности православию. Быть может, звучал в ней, в этой формуле Москвы как третьего Рима, и мотив монополии на христианскую истину, но допускался он в укрепительных целях. Похоже, что предчувствие раскола появилось в России задолго до раскола, по крайней мере предчувствие готовящихся испытаний, и апокалипсическое число Зверя 666, прибавленное к тысячелетней истории христианского единства, неспуста предрекалось концом света. Спасение виделось в неизменности веры, в необходимости следовать благочестию, святости и установлениям предков и не

допускать никакой ереси со стороны. Средневековая Русь жила замкнуто, в застывших, мало меняющихся формах народного, государственного и церковного устройства, и не выказывала охоты его менять. Протопоп Аввакум, вождь раскола, говорил: «Все, святыми отцами Церкви преданное, свято и непорочно», «до нас положено, лежи оно так во веки веков» – и этот дух постоянства утвердился не за одно поколение. Слова «Святая Русь» имели не просто благозвучие, не просто красивое название, а выражали сущность народной жизни и претендовали на богоизбранность, заслуженную страданиями, молениями, праведностью. Позднее Тютчев уловил и сложил в слова то, что издавна носилось разрозненными звуками: «Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя».

Разночтения в церковных книгах и разница в обрядах замечались и до Максима Грека, приглашенного в XVI веке с Афона ученого монаха. Но убеждение, что свое и должно остаться своим, что не нам ходить занимать ума, побеждало. Победило оно и в созванном в 1551 году московском Стоглавом соборе, обсуждавшем эти вопросы. Собор освятил произошедшие за века изменения. Однако победа ревнителей старины должна была вызвать в них предчувствие и опасение, что впредь духовно-национальное целомудрие удерживать будет все труднее и труднее, что где-то вдалеке натягиваются тучи и несут влагу для нежелательных всходов. Боярство и духовенство уже и Бориса Годунова обвиняло в потворстве иноземному влиянию и грозило за то земными и небесными карами. Самая страшная из них – предсказание о возможности для России разделить судьбу Византии – едва не сбылось, когда на московский престол в Смутное время был выдвинут иноземец – польский королевич Владислав. Любопытно, что, соглашаясь на католического царя в православном государстве, боярство пытается в договоре

с королем Казимиром спасти от преследования не только веру, но и русскую самобытность, специальными пунктами настаивая, чтобы, во-первых, «московских княжеских и боярских родов приезжими иноземцами в отечестве и в чести не теснить и не понижать» (договор от 17 августа 1610 года) и, во-вторых, отказывая московским людям в праве выезжать для наук в другие христианские страны, дабы не набрались они там неподобающих для отечества мыслей. Вот это и есть – снявши голову, плакать по волосам: государство валилось вместе с верой, трон терял национальные устои, когда в него водружалась чужая задница, которая, само собой, соглашалась с боярскими условиями для водружения, но не для правления, а московская знать суетилась над чистотой русского поклона.

От позора и порабощения Русскую землю спасли тогда здоровые национальные и религиозные силы в лице нижегородского ополчения. Первого царя новой династии избрали при невиданном демократизме – сначала земским собором, а затем народным подтверждением на местах. Земство как институт народной организации жизни тогда было в силе, и те, кто считает русского человека холопом и рабом по происхождению, всегда искавшим, под чью деспотию отдался, должны не забывать и о средневековом общественном устройении народа, который вовсе не был бессловесной и покорной скотиной. Но это особый разговор.

Интерес к расколу появляется сейчас не из археологического любопытства, на него начинают смотреть как на событие, способное повториться, и потому требующее внимательного изучения. Он может вернуться – в других, разумеется, формах и принципах, в другой организации и порыве, под другими лозунгами, но на схожих основаниях, близких к тому, что староверы в отношении к себе называли «остальцами отеческого благочестия». Как знать, не предстоит ли нам в новых условиях испытать Смутное время и то, что за ним последовало, – споры теперь

уже за политическую обрядность, соборы, исключаящие постановления каждого предыдущего как невежественные, боярство, берущее подписку с государя не ущемлять их интересов, тайная жизнь изверившегося народа, разложение нравов, бродяжничество, хозяйственная разруха, и как итог – битье челом за спасением руганным и переруганным иноземцам, национальное унижение и поспешное перелицовывание идеалов. А присмотреться – так и ныне замечается немало из того, что происходило. Николай Лосский называет старообрядчество одним из главных свойств характера русского народа и в доказательство, кроме церковного раскола, приводит раскол интеллигенции накануне революции. А распадение России в результате революции, исход из страны культуро- и вероносительного слоя?! Нетрудно проследить, что консерватизм и болезненное приятие отеческих начал, считающиеся основанием старообрядчества, всякий раз вызывались противоположной крайностью – поношением их и вытеснением. А найти золотую середину, совместить к общей пользе то и другое никак в России без опасности для национального сознания не удастся.

Историк В. О. Ключевский об обстановке накануне раскола пишет: «В XVI веке в русском обществе сложился даже взгляд на объединительницу русской земли Москву как на центр и оплот всего православия. Теперь было совсем не то: прорывавшаяся во всем несамостоятельность существующего порядка и неудача попыток его исправления привели к мысли о недоброкачественности самих оснований этого порядка, заставляли многих думать, что истощился запас творческих сил народа и доморощенного разума, что старина не даст пригодных уроков для настоящего и потому у нее нечему больше учиться, за нее не для чего больше держаться. Тогда и начался глубокий перелом в умах: в московской правительственной среде и в обществе появляются люди, которых гнетет сомнение, за-

вещала ли старина всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного существования; они теряют прежнее национальное самодовольство и начинают оглядываться по сторонам, искать указаний и уроков у чужих людей, на Западе, все более убеждаясь в его превосходстве и в своей собственной отсталости. Так на место падающей веры в родную старину и в силы народные является уныние, недоверие к своим силам, которое широко растворяет двери иноземному влиянию».

Принято считать, что это влияние началось с Петра I. Но Немецкая слобода возникла в Москве еще при Годунове. В Смутное время она была разорена, но уже при первом Романове возрождается снова, а при Алексее Михайловиче достигает небывалого расцвета. Иностранцы приглашаются для реорганизации армии и литья пушек и ядер, для строительства мануфактур и горных заводов, приглашаются и торговцы, аптекари, музыканты, артисты, всевозможные советчики. Петр, как преобразователь России, не мог явиться из ничего, его явление нужно было подготовить. Но если до Петра еще пытались согласить заимствование и самородство, шведские пищажи и немецкий строй с русским зипуном, то Петр все отмел – и зипуны, и бороды, и ветхозаветность, справляясь с русской косностью и отсталостью слишком по-русски – надругательством и искоренением.

Одно обстоятельство мало учитывают, когда перечисляют причины раскола, – невиданный к середине XVII века разврат и высших и низших слоев. Курение табака к разврату сейчас не пристегнешь. Но тогда курение только прививалось, против него принимались царские указы, которые, как всегда при попытках наложить державную руку на гибкую нравственную фигуру, результата не давали. Народ курил. Он пьянствовал, да так, как никогда дотоле не водилось, а превзойдено было только через три века. Процветали воровство, бродяжничество,

сквернословие. Все запретные плоды по какому-то непонятному закону темного изобилия вкушались жадно и ненасытно. Как перед концом света. Третий Рим превращался в Вавилон. «Грубый русский человек когда уже увлекался потоком своих плотских склонностей и предавался разгулу грубых материальных сил, то позволял себе все, не стесняясь ни стыдом, ни нравственным законом», – замечает Щапов, один из первых исследователей раскола. Но со Щаповым трудно согласиться, когда он и выводит раскол из грубости и невежества, из распущенности и дикости народа; судя по всему, было наоборот: раскол в своем общем протесте предъявлял счет и за растление нравов, которое связывал с засильем иностранцев. Сваливать собственные грехи на посторонние силы тоже закоснело у нас в привычку, но и искать всякий раз причины экономического и образовательного отставания только в несамостоятельности и неспособности русского человека к творчеству и передовым формам жизни, как это исстари повелось, – чересчур грубо и унижительно для народа. Такой взгляд, во-первых, расколом же и опровергается, а во-вторых, достаточно обратиться к современному обществу, где русский человек уже не составляет большинства, а картина меняется мало, по-прежнему представляя собой механизм качелей от решительного застоя до решительного и крайнего обновления, от самодурства до саморазрушения, от взлетов до падений, – как может явиться сомнение, насколько национальные черты повинны в непроизводительности человека, если он связан по рукам и ногам. История ничему нас не может научить, снова и снова представляя как неизбежный закон отклонения, что вслед за одной крайностью наступает крайность противоположная, за анархией – деспотия, за преувеличением – принижение, за заемностью – самостийность. И если бы не дергать человека, как заведено в России, из стороны в сторону, не дразнить его удобствами свободы

после неудобств рабства, а дать самому выбрать выгодное направление, не было бы в нем и недоверия к очередным спасительным путям, как привезенным из благополучного мира, так и сваренным внутри, не было бы и столь заметных крайностей в его характере. Беда в том, что ему никогда не давали достаточно времени и свободы, чтобы направиться. Если бы существовал кто-то, кто мог наблюдать жизнь и историю России с высоты, он наверняка пришел бы к выводу, что эта страна сознательно ищет заблуждений, чтобы замысловатей нарисовать свою судьбу.

Надо ли удивляться, что разгул низменных страстей в XVII столетии показался части народа предвестием конца света. Не ограждая ее, эту часть, от невежества, собственного, с нашей точки зрения, всему средневековью, решительно оградим от распушенности как одного из истоков раскола. Это – с больной головы на здоровую. Протест раскола – не от загрязнения и шаткости, а против них, его тревога – за чистоту веры. Не одна лишь дикость, но и отчаяние заставило староверов искать космогонических объяснений того, что происходит и может произойти: «Яко по тысяще лет Рим отпаде, яко же книга о вере глаголет, а по 600 летех Малая Русь отпаде, а по 60 летех и Великая Русь превратися в разные нечестие и пестроты многи». Удивительно, что трагические предсказания староверов, если относить их к судьбе раскола, частью исполнялись: в 1666 году, назначенном на приход апокалипсического Зверя, состоялся церковный собор, проклявший и отлучивший раскол от Церкви, освятивший против них войну и казни. Конец света не наступил, но для раскола настали страшные времена. Для конца света расколоучителями была сделана поправка: прибавлять «звериное» число 666 вместе с тысячью не к дате рождения, а к дате смерти Христа – и с началом нового века Петр начал свои решительные операции по искоренению старобытности, изменив в том числе и календарь.

Собором 1666–1667 годов и петровскими реформами раскол был оформлен окончательно и доведен до грани, от которой примирения не предвиделось.

Это была трагедия народа, но в то же время она повлекла за собой необычайный подъем, твердость, жертвенность, соединение и братство отделившихся, готовых за веру и убеждения претерпеть все, что придумано человеком для унижения и мучения человека. Если бы даже их фанатизм происходил лишь из дикости и фанатизма, и в этом случае он достоин удивления и уважения. В трудное, исчервленное пороками и брожением время часть народа, собравшись по человеку, явила силу и убежденность, какой никогда ни до, ни после в России не бывало, показав и способность к организации, и нравственное здоровье, и духовную мощь. Восхищение ими способно доходить до ужасания, и ужасание до восхищения. Они подняли человека в его физических и духовных возможностях на такую высоту, какой он в себе не подозревал. Невольно является предположение: а что, если бы не десятая, не пятая часть народа, а вполнину и за половину происходил он из тех же качеств, веками не давал бы себя замусорить всевозможными передовыми идейками и изобретениями сомнительной необходимости, какими обогатилась за последние столетия цивилизация, – что стало бы с этим народом?! Ведь ясно же теперь, что двуперстие при наложении креста, сугубая аллилуйя, хождение вокруг аналоя посолонь, Исус с одним «и» и прочие мелкие расхождения в обряде и букве не имели для веры решающего значения, что никакими еретиками староверы не были, что раскол состоялся по границе, по которой внешние несогласия разводили страну по разные стороны от предначертанной ей судьбы.

Русский философ отец Сергей Булгаков, писавший работу о психологии раскола, говорит: «Нет, это – явление страшное, это – явление грозное, удивительное явление

нашей истории. Если на всемирном суде русские будут когда-нибудь спрошены, от чего вы никогда не отреклись, чему всем пожертвовали? – быть может, очень смутясь, попробовав указать на реформу Петра, на “просвещение”, на то и другое еще, они найдутся в конце концов указать на раскол: вот некоторая часть нас верила, не предала, пожертвовала».

Старая Россия, сломленная и проклятая, оборванная на полуслове, не исполнившая своих заветов, осталась с расколом, новая, наследниками которой мы являемся, пошла за Петром, а та, которая могла явиться из самостоятельного пути, не хватавшаяся за передовое насилием, а производившая его естественным ходом развития, так и не явилась на свет. А то, что она могла явиться, что в народе было для этого творческое и духовное обеспечение, больше всего расколом и доказывается.

В 1668 году взбунтовался против нововведений Церкви Соловецкий монастырь. Осада его правительственными войсками длилась восемь лет, после чего последовала расправа. С 1675 года начинаются массовые самосожжения староверов, предпочитавших смерть подчинению и унижению. В иных огнях разом сжигалось до тысячи человек и больше, есть свидетельство о 2,5 тысячи. Многие тысячи бросились от преследования в Польшу, Молдавию и Валахию, в северные и сибирские леса, организуясь в скиты, пустыни, общины, слободы и яростно пропагандируя то, что они считали спасением. Неповиновение Церкви скоро перешло в гражданское неповиновение. Вероятно, раскол можно было еще при правильной политике приостановить и приглушить, сделать его уделом одних фанатиков, но явился Петр, взявшийся крушить старину, и двинул в раскол новые массы. По мнению народному, это был антихрист, начавший новое нечестивое царство. Еще Аввакум, сожженный в Пустозерске, вздыхал яростно: «Ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось латинских обы-

чаев и немецких поступков». Взбунтовавшиеся стрельцы прежде всего пошли брать Немецкую слободу, протестуя против исходящих из нее нововведений. Вздыбив Русь, Петр передел ее в чужое платье и обьязычил на чужой манер, но не в его власти было переменить характер и душу. Под немецким платьем, путаясь в немецких словах, душа, надорванная сомнениями, лишь калечилась, но не улучшалась. Не случайно из всех реформ Петра сохранилось лишь то, что нужно было России, – преобразованная армия, остальное засосалось со временем и поглотилось российской неповоротливостью и бюрократией. Но решительное, грубое заимствование Петром западных порядков можно считать лишь цветочками в сравнении с тем, что стало насаждаться вскоре после его смерти. Петр считался антихристом, но из своих, и молнии метал, и бури сеял он по-русски, а в эпоху временщиков, при Минихе, Остермане и Бироне, началось методическое, уже подхваченное воспитанным на новый манер отечественным слоем вытеснение и осмеяние национальной народной культуры, гонение на все, что подозревалось в русском происхождении. Парадокс правления временщиков заключался в том, что страна отказалась и от собственного просвещения, и отпала от западного, с трудом удерживая приобретенное Петром, но в ней насаждалась западная мелочность и внешность. В известном смысле можно сказать, что, расплевавшись с родным староверием, Россия оказалась втянута а староверие чужое. По отзыву архимандрита Флоринского, ректора Славяно-греко-латинской академии, воцарилось «лаяние» российского благочестия. «И сим лаянием, – продолжает он, – толико любителей мира сего в бесстрашие и сластолюбие привели, что мнозии в епикурейские мнения впадали: яждь, пей, веселися, по смерти же никакого утешения несть. И которые так бредили, таковые-то у врагов наших в милости были, таковые в чины производились. А которые истинные чада Церкви и

истинные Христовы наследницы таких прелестников не слушали, право веру непорочную от Христа, от апостола, от св. отец проповеданную и утвержденную кои хранили, коликие им ругания, поношения враги благочестия чинили! мужиками, грубиянами называли. Кто посты хранил, о том говорили: ханжа; кто в молитве с Богом беседует – пустосвят; кто язык от пустословия удерживает – глуп, говорить не умеет; кто милостыню любви ради по Христу подает неоскудно, тот, говорили, не умеет, куда имения своего употребить, не к рукам досталось; кто в церкви часто ходит, в том пути не будет».

Если история имеет поступательное движение, то нравственное развитие общества, похоже, ходит кругами, которые накладываются друг за другом с какой-то последовательной закономерностью, – так, что однотипные положения выстраиваются как бы в затылок, в границах проходящего через круги коридора. Ныне, через два с половиной века от нарисованной архимандритом Флоринским картины, при всех разностях, происходящих от времени, мы соединились с нею в той же обстановке низвержения истин, нравственного переворота, когда правила хорошего тона диктует далекое от благочестия собрание.

Но вернемся в XVIII век. Из Европы в Россию перекочевывали полчища уже не высокочнатцев, а гувернеров, парикмахеров, портных, лакеев, всевозможных, по слову писателя, вральманов, а Русь от новых порядков бежала в леса. При Бироне это было третье после Алексея Михайловича и Петра массовое укрывательство в пустынной и таежной глухомани. «Зверопаственные места населялись и вместо дерев умножались люди». Менее чем за столетие число раскольников в одной лишь Сибири возросло, по подсчетам, до ста тысяч. В действительности их было больше, учесть можно было ссыльных, но не беглых. Чем глуше край, чем дальше от надзора, тем населеннее «мирские согласия». Это была колонизация, имевшая для

российских окраин не меньшее значение, чем Столыпинская реформа, но, в отличие от последней, она составлялась отборным народом. Словно потерянный рай, искал и утверждал он свою старую родину, приносил в новую обительность ее цельность в народном устройстве и обычаях, во всем родовом облачении. Отверженный и гонимый, добровольно вставший на путь мученической доли, вынужденный искать спасения в гибельных местах, но уверенный в своей правде, так близко поставивший эту правду к смерти безоговорочным выбором «или – или» – или правда, или смерть, старовер тем самым вызвал в себе такие силы физические и духовные, какие до него не вмещало тело. Правда, надо признать, что, презрев сомнения и страдания, укрепив себя так, чтобы быть выше страдания, раскольник душевно пострадал. Не духовно, это спорный для нас, а не для него вопрос, а душевно. Упрочив себя нравственно до незыблемых правил, до кости – там, где должно быть чувство, он возвел в себе крепостные стены, отгораживаясь от обмирщения, и лишил себя свободы. Отказавшись от выбора в вопросах совести и веры, раз и навсегда взяв железные уставы, он лишил себя многих душевных движений, которые стали ему ненужными, и внутренне застыл. Едва ли найдена до сих пор та форма человеческой жизни, которая привела бы к полному расцвету всех его возможностей, непременно от увеличения одного понижается что-то другое. Раскол дал удивительные результаты своего союзничества и братства в организационной и хозяйственной деятельности. В невольной соревновательности с государственной системой, пользующейся, казалось бы, передовой структурой, раскол не открывал америк, не искал чуждавшегося опыта, а взял за основу институт земства с его практикой советов, сходов, выборного самоуправления, принципами общинного пользования капиталом – и во всей этой старозаветной общественной и хозяйственной сбреу выехал из лесов

на большую дорогу экономики, Петр обложил раскольников двойным подушным налогом – оно, казалось, даже не охнуло и, окрепшее к той поре, во всяком значительном движении соединенное, сумело и это утеснение использовать к собственной выгоде, поскольку – вот парадокс! – с одной стороны, безжалостно воюя с расколом, Петр, с другой, нуждался в деньгах и был заинтересован в нем, а потому не препятствовал набору в школы мирских детей. Зажиточность и здравобытность согласий не могли, кроме того, не привлекать в них новые партии откола от государственного мира.

Братство и общинность раскола, свободно складывающиеся и свободно развивающиеся, обязательная взаимоподдержка, спаянность и культ труда привели к неожиданному повороту, когда в рыхлой и плохо управляемой стране – в стране, которая отринула во имя обновления и благополучия отсталую часть народа, эта часть народа повела хозяйство и быт лучше, чище и выгодней. С 80-х годов XVIII столетия капиталы и торгово-промышленная доля староверов получают перевес над «передовой» российской оборотистостью, еще раз подтвердив тем самым истину, что во всяком деле нет ничего передовой народного настроя. Среди староверов больше грамотных, хотя и учат они почти исключительно по церковнославянским книгам; они открывают свои печатальни, первыми в стране заводят книжные лавки. Последователи раскола существуют во всех слоях общества, число их умножается (в 1853 году считалось девять миллионов, но цифра эта опять-таки условная, в действительности она должна быть больше), что свидетельствует о живой народной организации.

Что привлекало людей в раскол, почему в продолжение двух с половиной веков он не отмер, как положено отмирать всему отжившему и случайному? Надо полагать, привлекало прежде всего то, что и положено в основание человека, – самостоятельность, духовное первенство,

нравственная чистота. И в основание народа – национальное лицо и национальная память, крепость и объединенность, необходимость претерпеть во имя цели, жажда очистительного порыва. Народ развивается во времена испытаний и дряхлеет среди благополучия: раскол невольно соединил в себе и то и другое и устранил между ними противоречие.

Старовер не курил, не пил вина, а в Сибири и чай пил лишь из трав и кореньев, строго соблюдал посты и моральные уставы и лишь в одном не знал воздержания – в работе. Это был тот же человек, что и рядом с ним в обычной православной деревне, и все же далеко не тот: по-другому живущий и верующий, по-другому смотрящий на мир – все основательно, весомо, тяжело. Отлученный от ортодоксальной Церкви и судорожного общественного развития, он и их отлучил от себя, обвиняя в греховности и несамостоятельности, в пляске под чужую дудку. Со временем он выделился в особый тип русского человека, который, вопреки всем бедам и обстоятельствам, упрямо хранил в себе каждую косточку и каждый звук старой национальной фигуры, в тип, несущий живое воспоминание о той поре, когда человек мог быть крепостью, а не лавкой, торгующей вразнос.

Губернатор Трескин, правивший Восточно-Сибирским краем в начале XIX века, после первой же инспекционной поездки по своим владениям, которые, разумеется, оставили в нем тягостное впечатление, о староверах отзывался: «Они и камень сделали плодородным».

В 90-х годах XIX века известный в Сибири ученый-этнограф Ю. Д. Талько-Грынцевич проводил исследования среди «семейских» (так называются здесь сосланные при Екатерине в Сибирь семьями старообрядцы). И «нашел в них выдающуюся по чистоте типа и сохранению народного культа отрасль великорусского племени». Естественный прирост «семейских» сел в Забайкалье был в пять раз

больше общего прироста этого края. Исследователя поразила «удивительная плодовитость женщин», рожавших от 10 до 24 детей. Сравнительные характеристики показали, что «семейские» выше ростом, среди них в десятки раз меньше болезней.

Шли, оказывается, десятки и сотни лет шли к тому, что теперь, считаем, свалилось неожиданно и что называется на тарабарском языке будущего синдромом приобретенного иммунодефицита.

Другой знаток старообрядчества – М. И. Орфанов пишет: «Мало того, что красивых между ними очень много, они к тому же весьма крупный, сильный народ. Старики же бывают такие красивые, сановитые, что прямо просят на полотно. Они могли бы послужить отличными натурщиками для библейских сюжетов».

В Сибири бытование старообрядчества имело особое значение. Вплоть до отмены крепостного права в Российском государстве Сибирь приселялась в основном вольноохочим людом, бежавшим от притеснений власти или сыска закона, сословным или духовным казачеством, охотниками до приключений и наживы. Кроме того, с самого начала присоединения восточных территорий они стали местом, куда сваливали преступность, больше всего, разумеется, уголовную. Нравственности она не могла способствовать. Во многих районах Сибири так называемый ссыльный элемент возобладал над местным жителем. В этих условиях раннее появление здесь раскольничьих сел с их культом семьи, образом жизни и почти поголовной грамотностью было явлением отпадным. Отдельные районы Забайкалья и Горного Алтая, освоенные русской старобитностью, превратились в острова изобилия и строгонравственности; в них нечего было делать ни исправнику, ни уряднику. Уже в наше время остатки старообрядчества из последних сил держались своих традиций, и даже в эпоху застоя и запоя в колхозах и совхо-

зах, возникших на земле раскольничьих общин, коровы недоеными не оставались и хлеба под снег не уходили. Что лишний раз доказывает, что нигде и никогда дух не может иметь прикладного значения.

Не следует, разумеется, идеализировать старообрядчество. Отделившись от общего народного организма, уйдя во внутреннюю эмиграцию (внешняя была немногочисленной), отказавшись от христианских заветов любви и терпения ко всякому ближнему, оно не могло не пострадать и пострадало. Немало со временемросло в нем и темного, и косного, и неуклюжего вместе с упрямством, фанатизмом и гордыней. Не говоря уже о крайнем сектантстве, которое выродилось в уродливые формы, губительные для человеческой природы. Тот чертеж раскола, который дается здесь, далеко, разумеется, не полный, имел целью показать закономерность его происхождения и причины долговечности. Всякое сектантство имеет короткий век, что произошло и с болезненными ответвлениями от старообрядческого древа, но само оно, питавшееся национальными соками, усохло лишь вместе с пострадавшей под ним глубоко почвой.

Идеализировать раскол не следует, но нельзя и не испытывать к нему родства и благодарности. Неизвестно, чем бы была сегодня Россия, когда бы не живое и предостерегающее напоминание о силах, способных во имя ее утверждения на безоглядный и всемогущий порыв. Не раз, надо думать, в течение прошедших после раскола веков, когда устроители единого человеческого лица склонялись к очередной пластической операции, чтобы из русской курносой рожи устроить римский или какой-нибудь иной профиль, их останавливала память о событиях XVII–XVIII веков. Тень этих трагических и грозных событий до сих пор стоит над Россией – как урок и завет; дымы костров, в которых насильственно и добровольно сжигались десятки тысяч тех, кто предпочел физическую

смерть национальному и нравственному умерщвлению, и сейчас носит над ее полями и лесами.

Мы должны быть благодарны старообрядчеству за то, в первую очередь, что на добрых три столетия оно продлило Русь в ее обычаях, верованиях, обрядах, песне, характере, устоях и лице. Эта служба, быть может, не меньше, чем защита Отечества на поле брани.

«Что хотела завещать нам старая Русь расколом?» – на разные лады спрашивают его исследователи. Например, у Щапова: «Что дорогого, святого было для огромной массы народа в старой России, когда она в расколе возвела до святыни, до апофеозы старину?»...

Вопрос ставится так, что он будет звучать сильнее любого ответа. Что завещала Русь? Саму себя и завещала – себя, собранную предками по черточке, по капельке, по клеточке, по слову и шагу. Свою самобытность и самостоятельность, свое достоинство, трезвость и творческие возможности. Сейчас, когда ни за понюх табаку все это вновь продается на всех ярмарках как изъеденное молью, ни к чему не годное старое, мешающее красивой и веселой жизни, – невольно является продолжение вопроса: а осталось ли в нас хоть что-нибудь от этих заветов, способное остановить повальную распродажу, и готовы ли мы оставить заветы от себя?

1989

НА АФОНЕ

На Афон я зван был давно. Конечно, не с самого Афона, приглашения оттуда никому не рассылаются, а всем тем, что слышал и читал я о нем со времен молодости.

Вначале было только слово, оваянное святостью и суровостью ее исполнения избранными на избранной земле, спасительным чистым дыханием и смутным зовом. Читали

же мы и Гоголя, и Тургенева, и Лескова, и Достоевского, и Толстого... Никто из них не обошелся без этого слова. Среди подобных ему, таких как Оптина Пустынь, Валаам, Соловки, оно было первой и выше, где-то как бы на полпути к небесам. Лучезарным горним духом струилось оно, сладкими воспоминаниями тех, кто приносил его в Россию.

А потом я прочел дивный очерк об Афоне Бориса Зайцева, приезжавшего туда из Франции в 1927 году. Очерк художественный и возвышенный, мягкий и нежный... Никак не хотелось русскому человеку, потерявшему Родину и словно бы обретшему здесь ее предшествование, – никак не хотелось Зайцеву заканчивать его, и он уже без всякого порядка, только бы не отрываться, добавлял и добавлял к нему новые главы. Из Русского зарубежья присылали мне рождественские и пасхальные поздравления на афонских открытках с видами Пантелеимонова монастыря, Андреевского и Ильинского скитов... Представлялось, что это и есть райские кущи, нечто небесное, склонившееся благодатным сосупом. Афон под пером Константина Леонтьева, суровый и многоликий, разбитый на многие десятки монастырей, скитов, келий и калив (келья, когда она отдельно от монастыря, – это общежитие на пять-шесть человек с домовою церковью; калива – отдельный домик без церкви), составленный множеством форм и оттенков монашеской жизни, как оно и есть по большей части до сих пор, – этот «приземленный» Афон не отрезвил меня. Ну да, это, может быть, не совсем рай, но из того, что можно создать на грешной земле, это к раю ближе всего. «Аскетический рай» – услышал я потом на Афоне. И навсегда запомнились слова К. Леонтьева о сути более чем тысячелетней афонской житийности: «чистота и прямота православия». Суть эта постоянно подтверждалась и воспоминаниями паломников. Все они возвращались со Святой горы в радости: есть там, среди ее насельников, крепость такой духовной кладки, что ничем ее – ни грубой силой, ни сладкой «прелестью» – не взять.

Думаю, многие живут с этим упованием: есть такая крепость, против которой бурлящий в грехе мир бессилен. Через полвека после революции 1917 года на Афоне оставались единицы русских монахов. Но и они выстояли.

Чтобы попасть на Афон, требуются две визы: греческая, поскольку это греческая территория, и собственно афонская, потому что это автономная монашеская республика со своим управлением и своими законами. И потом убедились мы: полиция на берегу подле каждого монастыря греческая, под греческим флагом справляет она свою службу, но придана для охраны и внушения приезжим местных нравов в том случае, когда о них забывают.

Мы ехали втроем: Савва Ямщиков, известный искусствовед, реставратор и в последние годы писатель, в любом конце планеты через полчаса отыскивающий знакомых; Анатолий Пантелеев из Санкт-Петербургского университета, неутомимый кино- и фотолетописец почти всех патриотических событий в России на протяжении лет тридцати, и аз грешный. Поездку нам облегчила дружеская помощь советника российского посольства в Афинах Леонида Решетникова. Десять лет назад мы сошлись в Болгарии, где он тогда работал, побывали в одном из монастырей под Софией и, вдохновившись, решили непременно съездить на Афон. Из Софии до Афона рукой подать, из Москвы подальше, а из Иркутска совсем далеко. Потребовались годы и годы, чтобы собраться. Но вот они позади, на посольской машине мы катим из Афин в Салоники, там пересаживаемся на консульскую машину и в день добираемся до курортного приморского городка Уранополи, где к нам присоединяется Максим Шостакович, сын композитора и сам хорошо известный в мире дирижер. Уранополи – край Большой земли, дальше – по воде. Утром мы поднимаемся на паром под названием «Достойно есть», Анатолий Пантелеев, не медля ни минуты, хватается за

кинокамеру, как только по левому борту обозначаются каменные афонские берега, и тут же перед ним вырастает служитель порядка и объясняет, что кинокамера на Святой горе запрещена повсеместно без всяких исключений, а на фото природу – пожалуйста, но в монастырях и тем более в храмах – тоже нельзя. И потом на каждом шагу приходилось нам встречаться с особыми и нестареющими, как были они приняты тысячу лет назад, афонскими установлениями. Нравятся они или не нравятся, а будь добр выполнять. Никаких неудобств это, надо сказать, не доставляет, а беспрекословное подчинение древним законам невольно даже и возвышает, обдает дыханием вечности.

Тут все «достойно есть».

Афон, случается, называют островом – должно быть, из-за труднодоступности его по горным тропам из греческой Фракии, откуда длинным трезубцем уходят в Эгейское море вытянутые гористые отросты. Один из них, восточный, и есть Афон, тысячелетнее царство двадцати православных монастырей. Скалы преграждают путь к нему сразу же по выходе в море, на другом конце этого отроста-полуострова величественно высится Айон-Орос, Святая Гора, поднятая от подножия более чем на две тысячи метров. Издали она кажется необитаемой, однако в ясную погоду на вершине ее видна церковь, а склоны при приближении оказываются утыканы норами-пещерами, где, непонятно как выживая, многими столетиями искали себе сверхсурового жития монахи-пустынники. Святая Гора дала название всему Афону; на афонских иконах над нею и простерла свой защитный плат-омофор Богородица. Это Ее земной удел, здесь Она проповедовала местным жителям Евангелие. Предание говорит, что по жребию между апостолами предстояло Ей это служение в Иверской земле (в Грузии), но уже с дороги волею небес направлена была Богоматерь сюда и стала просветительницей и защитницей Афона.

Из конца в конец по каменистому гребню, спадающему по бокам к берегам, протянулся Афон на сорок километров, имея в поперечнике от восьми до двенадцати километров. Сверху смотреть – точно звезды небесные, срываясь, засеяли эту землю и дали волшебные всходы – монастыри и скиты с устремленными к небесам маковками церквей. А вокруг них выбиты в камне виноградники и огороды, и от одного монастыря к другому проторены узкие, нередко нависающие над ущельями лесные тропы. Тут всюду древние, переплетающиеся, как морщины, стежки-дорожки, тут от молитв все кажется живым, молвящим, и воздух сладостно насыщен молитвами, как запахами весеннего цветения.

Первые русские инокы поселились на Афоне в глубокой древности, возможно, еще до принятия христианства князем Владимиром. Выбор веры с направленными в разные стороны послами – это только легенда, должная украсить сам акт крещения: задолго до того христианкой стала княгиня Ольга, бабушка Владимира Святославовича, христианская община в Киеве с каждым годом разрасталась, по преданию, в своем апостольском служении Андрей Первозванный доходил до онежских вод и новгородских земель. Тесные связи с Царьградом не могли не убеждать, что под размер плашкой русской души ничто другое и подойти не может, кроме «радостной», уносящей на небеса византийской веры. И делом Владимира Святославовича было закрепить своей великокняжеской волей этот зов восприимчивости и придать ему окончательный характер. Сомнений в том, что эта вера и есть своя, родная, к тому времени, думаю, не оставалось. Новгород же бунтовал не потому, что предпочитал мусульманскую или иудейскую, а потому, что глубоко врос в свою старую, языческую.

Историю русского иночества на Афоне обычно начинают с 1169 года, когда актом Верховного управления

Афонской горой русским, обитавшим в скиту Ксилургу, был передан во владение небольшой захудавший монастырек «Фессалоникийца». При этом подразумевается, что русских в Ксилургу было немного и пребывание их там длилось недолго. Но скит Успения Богородицы (Ксилургу) упоминается в актах управления с 1030 года, и позднейшая (1142 года) опись имущества в нем, в том числе рукописных книг и церковной утвари, не оставляет сомнения: русские здесь обретаются давно и отличаются высокой христианской культурой. По акту выходило, что это одна из самых крепких обителей. И монастырь Св. Пантелеимона передавался русским не для облегчения их участи, а для спасения вконец обезлюдевшего монастыря. При этом и Ксилургу как скит оставался за русскими же, которые частью переходили в монастырь и частью оставались в скиту. Уже в XV веке преподобный Нил Сорский, основатель русского скитского жития, именно здесь, в Ксилургу, среди богатого книжного собрания и практического монашеского «умного делания» пожинал духовную жатву, которую и перенес затем за Волгу.

Были в истории Свято-Пантелеимонова монастыря совсем скорбные страницы, когда русских оставалось здесь раз-два и обчелся и почти вся братия состояла из греков или сербов. Были времена, когда не оставалось ни одной души, и Руссик держал свое имя только в надежде на будущее. После татаро-монгольского нашествия, во времена которого всякая связь с Русью оборвалась и всякая поддержка иссякла, удались полтора века благополучия, особенно заметного при Иване Грозном, который, считая себя по бабушке Софье Палеолог наследником византийских императоров и византийской веры, был щедр к Афону. Затем Смута, снова полная оторванность от России, снова крайняя бедность монастыря, дошедшая до того, что пришлось закладывать едва ли не все его имущество. Затем «просвещенный» XVIII век, оказавшийся для Рус-

сика не легче времен татар и Смуты. Побывавший в 1726 году на Афоне киевский паломник Василий Григорович-Барский застал в Свято-Пантелеимоновом всего четырех монахов – двух русских и двух болгар. Спустя столетие последние насельники оставили Горный Руссик и спустились на побережье, где в течение нескольких десятилетий обустроивали новый, теперешний Свято-Пантелеимонов – самый красивый и величественный на Афоне. Почти два столетия с тех пор минуло, но и сегодня каждый монах назовет имена попечителей и строителей этого монастыря – игумена Савву, князя Скарлата Каллимаха, иеромонаха Аникиту (в миру князь Ширинский-Шихматов), иеромонахов Павла и Арсения. Последний несколько раз ездил в Россию за «милостынными» сборами, которые составляли немалые средства.

Вторая половина XIX столетия при царствовавших Александре II, Александре III, а затем и Николае II стала для Русского Афона воистину «золотой». Потекли пожертвования, из казны ежегодно выделялось на афонские нужды по сто тысяч золотых рублей. Хорошим тоном считалось посещение Афона великими князьями – разумеется, с богатыми дарами. В 1902 году закончено было сооружение самого большого на Афоне собора в Андреевском скиту, который по богатству и числу насельников вполне мог войти в число монастырей, когда бы не старинное и неукоснительное правило не переходить за черту имеющих двадцати. В начале XX века только в обители Св. Пантелеимона насчитывалось две тысячи монахов да почти две тысячи рабочих, а вместе с Новой Фиваидой, Андреевским и Ильинским скитами, вместе с келиотами (обитатели келий) и пустынноиками русских монахов в то время было за пять тысяч – больше, чем всех остальных вместе взятых.

Ну а затем – революция, голгофа Русской Церкви, полностью прерванное с Россией сообщение, забвение

и нищета, потерянные все до единого скиты. В 1968-м в Свято-Пантелеимоновом монастыре оставались восемь насельников. В том году он дважды горел, заустевали огороды и пасеки, омертвевали мастерские.

В соборе Покрова Богородицы показали нам совершенно потемневший, «угольный» образ Спаса. Он почернел в неделю в июле 1918 года, в те дни, когда зверски была уничтожена в Екатеринбурге царская семья. Известие об этом злодеянии дошло до Афона позже, а тогда, ничего не понимая и пугаясь, пытались очистить, проявить нерукотворный образ Спасителя на иконе – нет, в безысходной скорби он так и остался навсегда темным.

Сейчас в нашем монастыре 55 насельников. Есть и пребывающие за монастырскими стенами, изредка спускающиеся с гор, но их немного. В невероятно суровой аскезе, в непрерывной молитве (в «непрерывной» не ради красного словца, есть труженики молитвы, не оставляющие ее ни на час), вымаливавшие Россию и, может быть, вымолившие ее, они ушли в вечность. И теперь гостям-паломникам показывают только места их обитания – в землянках, пещерах, в дуплах вековых дубов и платанов.

Через полтора часа хода вдоль афонского берега, густо забросанного отслоившимися от скал валунами, древними до того, что в сердцевине их видна желтоватая крошка, по левому борту показался и наш монастырь, до боли сердечной узнаваемый по открыткам и рассказам, словно вдруг приподнявшийся, оборотившийся к нам приветливо золотом своих многочисленных главок. «Достойно есть» так мягко прильнул своей широкой кормой к причалу, что не почувствовалось и толчка. Мы были единственными, кто сошел здесь, поэтому встречавшему нас монаху не пришлось гадать, кто его гости. Он быстро и решительно подошел, представился отцом Философом и так же решительно, но не торопясь, обычным своим спорым шагом по-

вернул вправо и повел нас вдоль длинного, казавшегося приземистым, пятиэтажного здания, вытянутого по берегу моря. Мы отставали; отец Философ приостанавливался, давал нам приблизиться ровно настолько, чтобы не вступать в объяснение, и устремлялся дальше.

В этом здании располагался фондарики – гостиница для поклонников. Здесь особый язык: многое из того, что носит греческие названия, за столетия было подвергнуто русскими насельниками под свое произношение. Так, архондарик превратился в фондарики, а поклонниками ласково называют паломников, которые едут не только интерес свой удовлетворить, но и поработать, помочь монастырской братии. Но прежде всего – молиться и молиться.

В фондарики на верхнем этаже отец Философ покормил нас с дороги. Только дважды, в день приезда и в день отъезда, приглашали нас за этот небольшой гостевой стол возле окошечка в кухню, откуда и подавались незамысловатые блюда. Обычно же, как и полагалось в определенные часы, кормились мы в общей трапезной вместе с братией, под чтение из святых отцов и торопливый и строгий чин вкушения пищи. Бесед здесь за столом не ведут; общая молитва, перестук ложек под голос чтеца, снова общая молитва – все деловито, размеренно, движение в движение, локоть в локоть. Мы были на Афоне в марте, в Великий пост, когда воздержание и молитва для братии превращаются в самое дыхание. По средам и пятницам трапеза – только раз на день. Но пища сытная, по воскресеньям предлагается вино.

Нас отец Философ, называемый здесь фондарикиным, или гостинником, что входит в обязанности эконома, на скорую руку покормил овощным салатом, обильно политым оливковым маслом, и чечевичной кашей. В избытке был мед. Засиживаться не пришлось, все в монастыре, за исключением церковных служб, делается в заведенном хорошем ритме – как по часам особого хода, ускоряющим

движение стрелок между службами и замедляющим их в долгие часы молитвенного стояния.

Но Афон действительно живет по особому – византийскому – времени. С заходом солнца стрелки часов переводятся здесь на полночь, и начинаются новые сутки. На выходе из фондарики на стене слева висят рядышком совершенно одинаковые часы современной круглой формы: на одних – европейское время (это для гостей и паломников), на вторых – византийское, древнее, при котором жили еще отцы Церкви. Самое большое расхождение, естественно, зимой, в короткие декабрьские дни, самое малое – в летнее солнцестояние. Монахи шутят, показывая на те и другие часы: одно время торгашеское (это европейское), а второе – Божье. Это непривычное и, казалось бы, неудобное существование во времени, когда утро наступает без утра, а ночь является при свете, хоть и заставляло блуждать между Грецией и Византией, очень меня, однако, воодушевляло, как доказательство того, что я и в самом деле попал в глубины таинственной древности, которая только что приняла благодатную веру и примеривает ее на народы. Подолгу порой ничто не опровергало этой уверенности: море, во все дни тихое, чуть колеблющееся под волной, каменные развалины какой-то допрежней цивилизации, счастливо найденное пристанище человека в новых градах под водительством мудрейших и святейших, доносящееся со службы хоровое пение, сладко звучащий колокольный звон...

Моя келья в фондарики была, как и полагается, бедна. Вытянутая к единственному, глубоко сидящему в крепостной стене окну, она и не позволяла иного, чем было передо мной, расположения обстановки: узкая кровать с панцирной сеткой справа от окна застелена суровым суконным одеялом, над головой – простенькие картонные иконки, слева – повидавший виды ободранный столик, на нем – лампадка. И ни табуретки, ни стула. Однако, за-

глянув в келью к своему товарищу Анатолию Пантелееву, я обнаружил у него целых три стула. Подобной несправедливости от Афона нельзя было ожидать, и один стул, который даже в светской гостиной смотрелся бы неплохо, немедленно был мною присвоен. Электрическая лампочка над входной дверью в моей келье тусклая, незаметная, я ее только на третий день и обнаружил, да в ней и надобности не оказалось, ибо при свете и солнце электричество ни к чему, а с заходом солнца в византийскую глухую полночь оно выключается.

Бедность бедностью, но зато какая благодать! Окно выходит на море, и волны недремно бормочут и – качают в те недолгие часы, когда падаешь в кровать и укрываешься монашеским одеялом. Ночью под захлебывающийся звон колокольца, которым поднимают на службу (теперь уже, как во времена Бориса Зайцева, не бьют в било, а обегают с голосистым колокольчиком все коридоры), – ночью, поднятый со сна, вздуешь лампадку, заправленную оливковым маслом, и так хорошо сразу станет от душистого трепетания фитилька. Длинным-длинным коридором, в конце которого над дверью душевой и туалета едва мерцает световой квадратик, ощупью нашариваешь ногами выход, слышишь вокруг торопливые шаги и выбираешься наконец под звезды и колокольный звон.

Наш фондарики, как и все второстепенное, вспомогательное, как склады, мастерские, костница (особого рода кладбище почивших, которые после кончины оборачиваются в холстины и безгробно опускаются в могилы на три года, а затем черепа и кости их изымаются, промываются вином и на полках аккуратно складываются в помещении, называемом костницей), – все это и многое иное из подсобной службы вынесено за стены собственно монастыря. Здесь тоже монастырь – во имя живота. А уж дух там – за толстой каменной оградой, где уже и неземная обитель, где все тесно заставлено «Божьим», говорящее Его языком, чи-

стое, бескорбное. Два собора в монастыре; в центре монастырского квадрата – Целителя Пантелеимона и в глубине, слева за звонницей, над широкими лестничными проходами, – поднятый по-над морем собор Покрова Богородицы. И более десяти параклисов – домовых церквей. Последняя из них – во имя Еввулы, матери целителя, достраивалась при нас. Тут же, во внутреннем монастырском городке, библиотека с хранилищем древностей, покои игумена и духовника, общежительный братский корпус. Напротив главного собора – трапезная, удивляющая размерами, широко распахнутая во все стороны, с могучими деревянными столами в несколько рядов, с тяжелыми длинными скамьями... Видно, что ставилась трапезная во времена многолюдья. Сейчас она не заполняется и на четверть.

На знаменитой звоннице по-прежнему самый большой и самый звучный на Афоне колокол, не тот, которым восхищался Борис Зайцев (в 818 пудов; его в войну немцы отправили на переплавку), но и теперешний «перепоеет» любой другой. А под звонницей и все иное устроено и настроено, как в слаженном и чутком инструменте: мягко шумит море, из одного из параклисов (и не понять, из какого) в сладкой муке звучит хор, слышится речитатив чтения, и ветер погудывает то ли в тесноте двора, то ли путается среди многочисленных переходов, коридоров, лестниц и галерей.

Еще при свете в первый же день мы успели на вечерню. Все тот же отец Философ привел нас в собор Святого Пантелеимона и указал стасидии, которые мы можем занять. Стасидии – это высокие узкие сиденья с подлокотниками, облегчающие многочасовое стояние на ногах. С моего места у боковой стены перед колонной в переднем приделе храма не видно было чтецов, на два голоса читающих у клироса; я вслушивался, но в полумраке, густо и недвижно стоящем воздухе и слышно, и видно было плохо; монахи рядом соскальзывали со стасидий, бросались на колени и

распластывались на полу. Я повторял их движения слепо и неловко, опаздывая, громко стуча коленками. Но это продолжалось недолго, служба как бы отыскала меня, подхватила, помогая узнавать и понимать все ее движения, стало легко и радостно, нахлынул восторг, что наконец-то я здесь, куда нельзя было не приехать.

Вечерня продолжалась часов пять, глухой ночью мы вернулись в свои кельи, я постоял перед окном, вслушиваясь в колышень моря, затем с чувством необычайной легкости и освобожденности от всего-всего, что еще недавно теснило меня, не возжигая лампадки, разделся и лег. Так хорошо, так покойно и уютно! Сонная волна лизала берег неравномерно, музыкально, чуть взбулькивая на пятом или шестом касании. В коридоре ни звука. Неужели там, откуда мы приехали, в больших городах огромной несчастной страны, в городах, превратившихся в скопища зла, продолжают сейчас визжать и кричать с экранов, изощряться в пошлости и бесстыдстве, лезть грязными руками и грязными словами в душу, зазывать в бесконечные игры и викторины с призами... Нет-нет, ничего больше нет и не будет. Так хорошо!

И только закрыл я глаза – над самым моим ухом раздался требовательный гром; показалось, что бухнул сурово большой монастырский колокол. Он обратился в колокольчик, как только я пришел в себя, с суматошным трезвоном пронесся по нашему третьему этажу, спустился на второй или поднялся на четвертый, потом снова на нашем встряхнулся с силой два-три раза, давая знать, что побудка закончена. Вот тогда и ударил вполголоса глухим боем монастырский царь-колокол.

В коридоре слышались первые шаги. Я вышел; в полной тьме далеко вправо висело тусклое световое пятно. Вытянув на стороны руки, чтобы не натолкнуться на стены, делая ими движения вроде гребков, я двинулся к нему. На обратном пути слабые мои глаза уже и совсем ни

на что не годились. Пришлось окликать Толю Пантелеева, келья которого находилась напротив выхода. Впереди, со стороны моей кельи, отозвался Савва Ямщиков. Дозвались Толю и выбрались на улицу. Шел снег. Снова валко ударил на монастырском дворе колокол, сбивая с нас остатки сна, и мы заторопились. Чуть больше двух часов отпущено было пастве на отдых, и вот снова служба, снова подготовка себя к освобождению от всего ненужного, мирского, отяжеляющего – словно бы вход в невесомость. Храм в полутьме курится свечами, тускло блестит золото икон, едва слышно пробираются к стасидиям припозднившиеся, шелест общего движения, когда сосступают со стасидий и снова занимают свои места. Случаются дремлющие монахи, изможденные недосыпанием. Грех невелик, тяжело монашеское тягло, да еще в Великий пост. Теперь шла вторая седмица Великого поста.

Служба здесь спокойней, строже и глубже, чем в миру. Нет непрерывных хождений, перемещений и волнений, когда передают свечи или пробиваются, чтобы приложиться к иконам. Свечи здесь храмовые, к иконам прикладываются после службы, вереницей проходя перед образами и мощами. Монах на службе старается быть незаметным, невидимым, у него все внутри, ничего внешнего. Он весь покорность и твердость. Твердость в вере и покорное подчинение всему, что она требует.

Меня удивило: исповеди перед причастием после многочасовой литургии здесь долги, и духовник, принимающий исповедь, редко когда подталкивает к продолжению. Какие, казалось бы, у монаха грехи, если, кроме работы и молитвы, он ничего не знает и, помимо общих, занимающих полжизни богослужений, существует у него еще и «келейное правило», разное в разных степенях пострижения, доходящее у схимника до полутора тысяч поясных поклонов (после молитвы поклон, после молитвы поклон – и так тысячу и еще полтысячи раз). Какие тут

грехи, где их набраться? Но монашеское понятие греха далеко от нашего, едва ли не каждый из нас «чудище» в сравнении с ними. Но и в их подвиге самовоспитания, доходящем до самоистязания, и в их битве над телесным в себе находят они «недостойное», какие-то ухищрения и послабления, которые ставят себе в вину, какие-то ошибки в «правописании» души. И чем дальше инок в своей аскезе уходит от мира, тем требовательней он к себе становится.

В фондарики я не однажды встречал молодого, лет 25–30, человека с рыжей топорщащейся бородкой. Мы раскланивались в коридоре и расходились, он был явно не из праздных паломников, не из верхоглядов. Но на второй, кажется, день он подошел, представился и попросил меня прочесть несколько страниц его сочинения. Я не обрадовался: даже и здесь не избежать рукописей. Но тут и отказать было бы нехорошо. Девять страниц оказались до того плотно с обеих сторон уложены мелким машинным шрифтом (такой был когда-то у машинки «Москва»), что стоило немалых усилий раздвигать слова и понимать смысл. Это было горячее покаяние перед Господом. Я начал читать с настороженностью: уж где-где, а здесь, на Афоне, как бы излишним было, коли находилось время для сочинений, отдаваться этому жанру, потому что тут ближе и верней всего воспользоваться прямым обращением, не прибегая к литературной форме. Но чем дальше я читал, тем больше убеждался, как глубоко и искренне это покаяние, будто автор сдирает с себя влипшие глубоко в плоть рубашку за рубашкой, самосоткавших из неправедной жизни и покрывшихся язвами, и все никак не мог добраться до дна... можно бы сказать, до дна своей падшести, но никакого особого падения он и указать не мог, а только раскрылись однажды широко глаза его, и ужаснулся он миру, в котором пребывал и чувствовал себя в нем совсем еще недавно почти удобно.

Он из Москвы, бывший журналист. На Афоне уже полгода, надеется на постриг. Но решишь он написать свою исповедь там, в миру, – не хватило бы слов: там их, годных для покаяния, остается совсем мало. Там мы в глубины свои не умеем или боимся заглядывать. А тут – уже через месяц-два точно раскрылись недра и истекли чистые чувства в облачении точного и неоспоримого языка.

«Знаешь ли, – вопрошает прошедший через этот опыт Константин Леонтьев, – сколько христианской воли нужно, чтобы убить в себе другую волю, светскую волю?..»

Он продолжает: «Помню я, что Белинскому не нравился этот стих: “Его живит смиренья луч” (из стихотворения Аполлона Майкова «Ангел и демон». – В. Р.). Он, кажется, находил смысл его неясным.

Для меня (теперь) он очень ясен. Искреннее смирение, вечная тревога неопытной совести о том, чтобы не впасть во внутреннюю гордость; чтобы, стремясь к безгрешности, не осмелиться почесть себя святым; чтобы, с другой стороны, преувеличенными фразами о смирении своем и о своем ничтожестве не возбудить греховного чувства отвращения в другом, кто мою неосторожную выразительность готов как раз принять за лицемерие... Эта сердечная борьба, особенно в монахе молодом, исполнена необычайной жизни, драмы внутренней и поэзии. Идеал искреннего, честного монаха – это приблизительная бесплотность на земле; гордость, самолюбие, любовь к женщине, семье, к спокойствию тела и даже к веселому спокойствию духа постоянному должны быть отвергнуты. Бесстрастие – вот идеал. Истинное, глубокое, выработанное бесстрастие придает после начальной борьбы самому лицу хорошего инока особого рода выразительность и силу... “Его живит смиренья луч...”»

За несколько дней общения с монахами это не разглядишь. Это даже и не угадать так скоро. Это удастся, быть может, лишь заподозрить... те же люди и не те, далеко ушли они от нас, но за всеми оставленными позади порогами, за

всеми духовными и моральными победами встают новые испытания... и несть им числа.

Архимандрит Иеремия, игумен монастыря, постоянно бывал на службах, но стасидию свою покидал он редко: игумену исполнилось девяносто, и был он слаб. Службу обычно вел духовник Макарий. На его же долю выпало исполнение многочисленных обязанностей по киновии (это и есть общежительный монастырь). А никакое – хоть большое, хоть малое – дело без благословения здесь не делается. Константин Леонтьев в одном из своих писем рассказывает, как ему хотелось прочесть завезенную кем-то из паломников духовную книгу, о которой он был слышан. «Но без благословения нельзя. Старец, заменявший духовника, особый наставник иноческой жизни, благословение не дает. Да еще и прибавляет: “Не понесешь ты этой книги”, то есть она не для твоего слабого ума». И что же – обижаться на старца? К. Леонтьев рассуждает, как и надобно здесь рассуждать: «Быть может, этот монах, который назвал меня легкомысленным, и не прав. Но я не знаю этого наверняка, и потому лучше думать, что он прав».

У духовника, иеромонаха Макария, мы дважды были на беседах в его приемной, имели возможность наблюдать его в длинные ночные службы, исповедовались у него – и он нам нравился: спокойный, немногословный, с воодушевленным, доброжелательным и бескровным лицом, какие бывают при постоянном воздержании. Ему и угадывать не надо было: после двух дней монастырского «сидения» нам не терпелось на простор Афона, и прежде всего Русского Афона. Мы были паломниками, не более того, однако из разряда обыкновенных паломников нас отличало то, что любопытство наше витало над всем Афоном, над настоящим его и прошлым. Но каждый день пробрасывало снег (это в марте-то в Греции-то!), а на третий, последний из отведенных нам здесь, он залег с ночи в горах сугробами.

Мы совсем приуныли. А после всеночной вышло солнце, потеснив над нашим монастырем собирающиеся в валы белые тучи, и все тот же отец Философ, умевший быть незаметным и появляться в самые необходимые минуты, после трапезы показал нам за оградой монастыря небольшой грузовой джип и решительно махнул рукой в сторону гор. Показалось, не нам, а джипу.

Мы поехали. Недолго по бетонке вдоль моря, затем за нововыстроенным гаражом, показывающим, что монастырь начинает поднимать из разрухи свое хозяйство, сразу в горы и снега. Каменистая дорога подтаивала дымящимися пятнами, справа сходил лесной склон, а слева глубоким обрывом лежала пропасть. Машина ползла по самому краю обрыва. Шофер наш отец Никодим, выходец из русского Казахстана, крепко сбитый молодой человек, весело и с готовностью отвечающий на вопросы, вел машину так уверенно, что она не смела «шалить» в его твердых руках. Потом, когда миновали пропасть, потом – да, могла и забуксовать в снегу, и заюзить, и взбрыкнуть на камнях.

Великолепное это было зрелище. Белым-бело не только по земле: залеплены снегом могучие дубы и платаны, в наметах стоял кустарник, удивленно, словно глаза продравши, выглядывал из-под снега цветущий миндаль. Снег лежал в волшебном белом сиянии, застлавшем все ровно и невесомо, не встряхиваясь, не загораясь от солнца. Но часа через два, выйдя из русского Андреевского скита, не принадлежащего теперь русским, и приостановившись возле створа, с которого широко и обширно спадала низина, мы обмерли, не умея ни назвать открывшуюся картину, ни понять, где мы, с какой стороны свод небесный и где земля. Вся низина, застеленная бело-голубым снежным покровом, искрила, пыхала под солнечными стрелами, вся она колыхалась-дышала, кружилась, и огромный красавец собор, тоже белый и тоже искрящийся, казалось, повис в воздухе – в таком все вокруг было волшебстве.

Но прежде мы побывали в Старом Руссике. Его еще называют Горным в отличие от теперешнего, стоящего на берегу моря. Это он и был передан русским в 1169 году, сюда и переселились насельники из Ксилургу. Многие сотни и сотни лет этим каменным стенам, все еще сохраняющим величественный вид, этой огромной чугунной двери, открывающейся теперь редко, но кажущейся еще прочнее. Без единого следа лежит перед нею снег, близко придвинулись сосны, березы, тополя. Отец Никодим выбрался из машины и, задрав голову, дважды прокричал в монастырскую высоту:

– Отец И-о-на!

И рывком отворил могучую дверь. Навстречу нам торопился и сам хозяин, единственная человеческая душа обители, отец Иона, сторож и смотритель Старого Руссика. Савва Ямщиков, взглядевшись, немедленно признал в нем прежнего насельника Псково-Печерского монастыря при игумене Алипии. Пришлось нам прежде выслушать восторженные воспоминания об этом необыкновенном человеке, воине и строителе, мудром наставнике братии и бесстрашном воеводе в отношениях с властью, поднявшем из руин и превратившем в «картинку» Печеры. Поговорили прежде о нем, а уж потом окунулись, где были, в древнюю и все еще живую глухомань Старого Руссика. Пятнадцать лет живет тут в одиночестве отец Иона по послушанию, которое, быть может, сам же и выпросил у игумена. Затворничество его тут неполное и удобное: то к нему приезжают, привозят гостей, поручения, то сам спускается к братии на праздничную службу.

74 года, на ногу скор, глаза быстрые, нисколько не горбится. Сразу повел нас из пустоты и разрухи нижнего этажа по широкой металлической лестнице наверх, в знаменитую башню, пиргу, где собраны теперь воедино, чтобы легче было присматривать, и старинные иконы, и утварь. Здесь же, по всему судя, устроен и быт отца Ионы.

А ведь знаменитая была башня, самая яркая историческая достопримечательность Старого Руссика, откуда затем пошли и укрепление его, и слава. Отец Иона тут же, не мешкая, принимается рассказывать эту историю, да с таким воодушевлением, что невольно выдает в себе еще и экскурсовода, которому время от времени приходится считать с этих стен событие, описанное в Афонском патерике. Он то подбегает к окну в глубине башни, к окну, тоже участвовавшему в событии, то отбегает к двери и указывает рукой вниз, откуда должно было доноситься в решительный час пение всенощной.

Рассказывал он из жития святого Саввы, архиепископа Сербского. Звали будущего святого Растко (от Ростислава), и был он сыном сербского господаря Стефана. Дело происходило в конце XII столетия, наш Руссик тогда только-только обживался. Каким-то промыслительным случаем судьба свела юного Растко с монахом из Руссика; шел русский инок по Сербской земле и повстречал княжича Растко. Повстречались – и рассказал путник об Афоне и русском монастыре словами самыми умильными и красивыми. Растко восхотел побывать там немедленно. Он объявил домашним, что едет на охоту, а сам с русским иноком поскакал на Афон. Прошел день, миновал другой – нет с охоты княжича. Могущественный господарь призвал воеводу и приказал разыскать сына, где бы он ни был, и доставить домой. По следу русского монаха воевода с отрядом кинулся на Афон. Там, в церкви Руссика, Растко и обнаружили. Княжич сначала умолял воеводу не возвращать его и дать ему возможность исполнить то, что просит душа. Воевода, разумеется, не согласился. Тогда Растко пошел на хитрость. Он попросил игумена устроить трапезу для своих соотечественников и посвятил его в свои планы. Игумен долго молился, прежде чем согласиться с отроком, но ведь не дурное же княжич замышлял, не от отца же он отрекался, отдаваясь Отцу Небесному. Это было в канун воскресенья, началась

всенощная, она перешла в утреню. Утомленные дорогой и обильной трапезой, воеводские дружинники задремали в стасидиях. Растко беззвучно отошел от них и поднялся в пиргу, где, не медля, произнес иноческие обеты. Священник обрезал ему волосы и облек в монашескую ризу.

Воодушевление отца Ионы достигло предела, точно при нем это и происходило. Та же была пирга, тесно, как склад, уставленная остатками имущества Старого Руссика, то же окно, которому предстояло сейчас сыграть свою роль, но наглухо теперь закрытое, и, по-видимому, навсегда.

– Здесь Растко стал Саввой, – с чувством произнес отец Иона и прислушался: всенощная закончилась, воеводская дружина очнулась и, бряцая оружием, выкрикивая проклятия, ищет Растко. Но нет больше Растко. Тот, кто был им, высовывается в окно и кричит им: «Подождите до утра и увидите меня!» Пришлось ждать до рассвета. А на рассвете в окне, вот в этом окне, – отец Иона поклонился в сторону окна в глубине башни, – показался в этом окне юноша в облачении ангельского вида и крикнул: «Сделавшееся со мной угодно было Богу!» И выбросил вниз, на землю, свою княжескую одежду, добавив, чтобы родители не беспокоились о нем, а радовались.

Вошел отец Никодим и стал торопить нас: мы только начали свое путешествие, а солнце уже оборачивалось к западу. До заката нам следовало вернуться в монастырь, это правило не имело здесь исключений.

– Тут вся Россия была с нами, – торопливо говорил отец Иона, размашисто разводя руки, когда мы уже прощались возле машины. – Тут все из России. И сосны эти, и березы, и тополя... Землю в мешках везли на огороды. И пруды заводились по-нашенски... – Он говорил так, будто жил здесь от начала монастыря, все восемьсот с лишним лет его истории.

Если Старый Руссик как бы естественно отошел в прошлое, послужив русскому монашеству верой и правдой

сотни и сотни лет, и грусть обвеивает это древнее пристанище молитвенников могильной скорбью заслуженно, то совсем по-другому чувствуешь себя в Андреевском скиту. До него и было недалеко, мы доехали от Старого Руссика минут за двадцать. Перед крепостной оградой, несколько не уступавшей по прочности стен старинным сооружениям, спешились, выйдя из машины, помешкали, подготавливаясь к встрече и оглядывая бесконечное снежное царство, и уж затем прошли в скитский двор. И сразу встал справа во всю свою красу и мощь величественный собор, поставленный в честь апостола Андрея Первозванного, богато украшенный, принявший святых и торжественное облачение всего-то сто лет назад. Даже и здесь видно, что Россия входила в XX век, несмотря на революционную «кость в горле», богатырскими шагами (тот же Транссиб к Тихому океану за десять тысяч километров, то же переселение миллионов и миллионов с западных на восточные земли и т.д.). А на Афоне – вот он, Андреевский собор, «столп и утверждение истины», непоколебимая ступень к Богу. Собор воздвигался попечительской поддержкой царской семьи, с его освящением русская братия на Афоне составила почти половину всего афонского насельничества. И всего-то полтора десятилетия благополучного жития-бытия. Затем Мировая война, затем революция, связь с Россией полностью прекращается. В 1971 году почил последний монах. Умолкли колокола, двор стал зарастать травой, запустение пошло на приступ церковных стен, проникло внутрь, наложило свою печать на все недавнее соборное великолепие. И, конечно, неминуемое разграбление, вывоз богатств и святых неведомо куда.

В 1992 году скит заняла грекоязычная братия. На Афоне такой порядок: скиты ставятся на землях монастырей (Андреевский во владениях греческого Ватопеда), и в том случае, если скит оставляется насельниками, он становится собственностью землевладельца. Та же участь постигла

наш Ильинский скит, там не обошлось даже и без насилия: после русских из России в Ильинском поселились монахи из Русского зарубежья, а они по каким-то казуистическим причинам, исходившим не то от Протата (собрание представителей всех двадцати монастырей), не то от Константинопольского патриарха, которому подчинен Афон, были выдворены, и скит подвергся разорению. Впрочем, теперь и монастыри тоже, за исключением нашего Свято-Пантелеимонова, оставлены прежними владельцами – болгарскими, сербами, грузинами, молдаванами... Остаются единицы, вливающиеся в грекоязычную братию – именно в грекоязычную, овладевшие языком в которой могут быть выходцы и из Западной Европы, и из Америки, и из Китая.

Нам открыл собор финн отец Иосиф. Благожелательный, симпатичный, с аккуратно подстриженной русой бородкой, говорящий и по-гречески, и по-русски. Сказал, что здесь всегда рады русским, приезжающим поклониться своей прежней обители, пригласил нас в служебную часть скита, угостил вином и кофе.

А собор, оживленный новыми насельниками, не потерял ни русскости, ни богатырской стати и сановитости. И в стенах его наверняка осталась память о тех, кто его строил, освящал, искал спасения и благодати. Главная святыня в храме – благоухающая лобная кость апостола Андрея Первозванного. Золото Царских врат, устремленные в земные и небесные глубины глаза с иконных образов старого письма, высокий поднебесный купол, могучие колонны... И финн, старательно выговаривающий русские слова, угощающий нас вином с виноградника, разбитого когда-то русскими монахами.

Вот это, в отличие от Старого Руссика, неестественно и больно.

Мы пересекали Святую Гору поперек – с западного берега, где наш монастырь, через Старый Руссик и Андре-

евский скит в горах, на восточный берег, где Иверский монастырь, дом чудотворной иконы Иверской Божией Матери. Карая, небольшой городок, административный центр монашеской республики, где заседает Протат, был у нас на пути, мы даже краешком задели его, разглядев торговые лавки на узких улочках, но решили заехать сюда на обратном пути. Отец Никодим, должно быть, не сомневался, что и на обратном пути не заедем, потому что надо будет торопиться до захода солнца в свою обитель, но не стал нас заранее огорчать.

И вот мы перед Иверской, чудотворной и почитаемой Православной Церковью иконой. По преданию написана она, как и Владимирская Божия Матерь, евангелистом Лукой. Икона большая, в полтора метра, образ, несмотря на древность, светлый, с живыми чертами, внимательно и неустанно всматривающийся в каждого, кто подходит. Богатый, изукрашенный цветными камнями киот несколько не теснит образ. Под ним горкой, да и немалой, навалены драгоценности, дары получивших исцеление и просветление. В храме тишина, сумрак; кроме нас – никого. Монах, сопроводивший нас и показавший ранку на образе, след от удара копьем, вышел, чтобы не мешать нам отдаваться чувствам. Это даже и не чувства, а до жути сладкое и восторженное проникновение (попытка проникновения) в глубь тайны тех времен, когда мир чудесно освятился новыми знаменами и с радостью шел во имя их на любые страдания. И как не полчаса ли не находили мы сил, чтобы оторваться от образа, одно ликозрение которого, одно прикосновение к коему можно считать за чудо. О Матерь Божия, Игуменья Афонская, не остави нас, ступивших в Твой предел, Своей милостью...

Иверская Богоматерь сама выбрала местом своего пребывания этот монастырь. Прежде, более тысячи лет назад, она находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ Константинополя. Это было начало IX века, опять,

как и за два столетия до того, разразилось иконоборчество. Ночью к вдове ворвались царские воины, и один из них, по имени Варвар, ударил в образ Богоматери копьем. Ударил и с ужасом увидел, что там, куда пришелся удар, над подбородком с левой стороны, выступила кровь. От страха Варвар пал на колени, потом бежал.

Спасая икону от новых варваров, вдова вынесла ее к морю и опустила в волны в надежде, что они вынесут ее к безопасному берегу, где и обретет ее столь же, как и она, благочестивый человек. Но икона вдруг встала в воде в рост и «пошла». Сомнений не могло быть: не волны несли ее, а она решительно пересекала волны, зная, куда идти.

И пришла на Афон к Иверскому монастырю. В море неподалеку от берега поднялся огненный столб, возвещая ее прибытие. Начались чудеса. Там, где опускали ее на землю, пробивался родник; ей определяли место в храме, а она раз за разом оказывалась над монастырскими воротами, показывая, что ее служение и положение здесь – быть во главе монастыря. Впоследствии для нее выстроили церковь. Икона Иверской Божией Матери, которую называли еще и Вратарницей, принесла монастырю небывалую славу и почитание. Здесь, под ее защитой, заканчивали свои дни константинопольские патриархи, сюда из последних сил добирались скорбные и увечные. При царе Алексее Михайловиче был сделан и доставлен на Русь тоже являющийся многочисленными чудеса список Иверской, помещенный в Новоспасский монастырь.

Надо сказать, что спустя пятнадцать лет после того, как икона Иверской Богоматери поселилась на Афоне, сюда же, в Иверский монастырь, после пострига пришел замаливать свои грехи бывший воин Варвар.

Всякие времена случались на Афоне – и благополучные, спокойные под молитвой и труждением, и смутные, и совсем уж губительные. В 1821 году вспыхнуло греческое восстание против турок. Оно было жестоко подавлено за-

воевателями. «Кровь христианская лилась рекой от изверства турок» – фраза эта взята целиком из жизнеописания одного из афонских монахов. Тысячи, десятки тысяч греков бросились в поисках спасения на Святую Гору. В декабре того же 1821 года на Афон вступила турецкая армия. Накануне Кинот, он же Протат, принял решение, позволяющее монахам оставить Афон. Ушли не все – дорожке жизни для многих были судьбы родных обитателей. Спасать, оберегать их пришлось от двойного разбоя – от турок, захвативших монастыри и заставлявших монахов служить им и платить дань, рыщущих постоянно повсюду в поисках золота, и от доведенных до отчаяния голодом, холодом и бездомностью греков.

В жизнеописаниях того времени остались свидетельства, как занявшие Иверский монастырь турки требовали у оставшейся братии драгоценности с иконы Богоматери. «Берите сами, – отвечали монахи. – Берите, если не боитесь. Вон сколько на нашей Матушке-Игуменье богатства – и золота, и серебра, и драгоценных камней! Если вам угодно – снимайте!» Но турки, топчась в дверях церкви, не смели: «Мы не можем к ней подступить, вон как она на нас сердито смотрит!»

В те годы порой отчаяние и тревога монахов доходили до того, что и последние из них готовы были оставить Святую Гору. Удерживала она, Иверская. Было «извещение» от афонской Игуменьи: «Пока Моя икона будет находиться в Иверском монастыре, ничего не бойтесь... А когда изыду из Иверского монастыря, тогда каждый да берет свою торбу и грядет куда знает». Каждую неделю спускались с гор проверять: здесь ли Она, Владычица их и Помощница? И, застав ее на месте, возвращались ободренные и готовые претерпевать все, что грядет впереди. И так продолжалось до той поры, пока турки не оставили Афон.

...А мы, покидая Иверон, зашли еще в монастырскую лавочку, взяли образки Иверской и небольшие посудинки

с афонским медом. А на следующий день при отъезде и от Свято-Пантелеимоновой братии вручены нам были баночки с медом. Эх, афонский мед! Чуть горьковатый от трав и цветов, растущих под солнцем на камнях, темный, запашистый, принявший в себя молитвенный дух этой земли, долго держащий приятную сладость во рту, – такого пробовать еще не приходилось. Не ведал Владимир Солоухин, вздохавший не однажды с огорчением и письменно, и устно, что-де не остается в свете медов, не подпорченных примесями и добавками, которыми человек развращает пчелу, – не ведал он, что за меды сотворяются на Афоне!

Как и из кого идет монашеское восполнение монастыря Св. Пантелеимона? Говорить о решительном восполнении пока не приходится: пятьдесят пять иноков на столь обширную обитель, в которой сто лет назад насчитывалось в пятнадцать-двадцать раз больше, – это, понятно, скромная цифра. Но и при скромном положении монастыря. Сыщись сегодня, как в XIX веке, князь Скарлат, который после исцеления у мощей св. Пантелеимона, как говорит предание, гнал «возы с золотом» на нужды обители, а затем и сам принял постриг, – случись сегодня такая фортуна, другой бы и счет был. Но приходится радоваться тому, что есть: покровитель у монастыря несколько лет назад все-таки сыскался и немало помог, но уж очень велики были к тому времени прорехи, чтобы прикрыться от них даже и вполтину.

Есть и кроме бедности причины, сдерживающие рост братии. Афон – суровое испытание даже и для подготовленных к испытаниям, особенно в первые месяцы и годы, когда всякие помыслы для себя надо решительно развернуть в обратное направление – для всех. И ничего для себя. «Только Бог да исчезновение в Боге» (Феофан Затворник) – так издавна обозначено здешнее служение; на жизнь смотреть сквозь смерть – такова заповедь аскетиз-

ма. Полное самоотречение, неусыпная молитва, особый «замок» в себе, недоступный для искушений, – это имеет и на это способен далеко не каждый. А потому и не каждого, решившегося на постриг, можно вести под ножницы. Константин Леонтьев год прожил среди братии, но так и не получил пострига. Правда, по другой, по «тонкой» причине (все «тонкое» означает здесь необъяснимое, внутреннее): разглядев хорошо Леонтьева, его глубокий ум и твердые взгляды известного к тому времени писателя и дипломата, должно быть, сознательно оставили для мира, для общественного служения. Позже он, как известно, принял постриг, но произошло это уже в России. А «тонкое» правило, сотканное из недоступных рассуждению мельчайших ощущений и предчувствий, знается на Афоне и сегодня, ибо вероятность ошибиться в человеке сегодня больше, чем всегда, а потому строже и отбор.

В случае неудачи здесь никого не держат: не выдержал, не помогает молитва, не ужился с братией – возвратят все, что вложил ты при поступлении в монастырскую кассу, и проводят на паром. По-прежнему узки пути и тесны врата к Богу. Узки и тесны, не всем впору.

Правда, существуют и другого рода препятствия к заселению русской обители. Понять их православному сердцу трудно, особенно теперь, на пороге грозящих Афону испытаний. Но что есть, то есть. Не представляет большого труда получить визу на Афон паломнику. Но монаху!.. Тут святогорские врата нередко замыкаются накрепко. Кто воздвигает препятствия, понять трудно – то ли греческие власти, то ли Константинопольский Патриарх, то ли местный Протат... Одно ясно: такого благоприятствования русскому и славянскому монашеству, какое было на Афоне сто лет назад, сегодня нет и в помине. Надолго ли – как знать...

Больше всего насельников в Свято-Пантелеимоновом из российских монастырей. От строгости они ищут еще большей строгости и аскетизма. Есть фронтовики, как

почти во всех монастырях, – по обету. Один из них стоял под расстрелом и чудом спасся; он стар и на общие бдения уже не поднимается. Второй входил в полумрак храма тяжело, с батожком, едва передвигая ноги, и исчезал в глубине стасидии. Потом я видел его, когда прикладывались к иконам. Все высматривал: встречу во дворе и заговорю, но не пришлось... Да, пожалуй, и заговорить бы не смог, он был дальше всякого интереса к себе, он был уже далеко.

Есть иноки из паломников и трудников. Подолгу живут, работают, проходят все степени подготовки к монашеству и погружения в него. Есть из рабочих, приехавших на заработки и склонившихся к новому бытию. Есть из бывших наших республик, нашедшие здесь духовный исток утраченной Родины. Есть судьбы обыкновенные и необыкновенные. Но это только в первые минуты знакомства: из монастыря в монастырь – обыкновенная судьба, а из мира, да с положением, с именем, с громкими заслугами – необыкновенная... А затем они быстро и естественно смыкаются в один путь, по которому направила душа, к одному служению, и уже не различить, кто откуда.

Отец Олимпий пока еще отличается от братии тонкими чертами лица, словоохотливостью, правильной речью и эрудицией, совсем недавно вынесенной из мира. Там он был академиком, доктором технических наук, зав. кафедрой электроники и электротехники Московского технического университета. Автор известных всему миру учебников по компьютерной технике. И сошел со всех этих высот, побывав на Афоне паломником, оставил славу и звания где-то там, по ту сторону жизни... Оставил, быть может, и из чувства вины перед поруганным целомудрием Божьего мира, быть может, и себя считая причастным к этому вселенскому поруганию. Мы не полезли к нему в душу, хотя разговаривали долго и о многом. Отец Олимпий провел с нами экскурсию: как прежде знал он свои науки, так знает теперь начала начал Русского Афо-

на и каждую святыню многочисленных церквей в Свято-Пантелеимоновом, все реликвии его и предания.

Обыкновенная или необыкновенная судьба? Вспомним И. Павлова, Д. Менделеева, В. Вернадского, многих других великих из научного мира, понимавших, что нет знания выше Святого Писания и нет пути в сторону от Создателя. Сейчас тот и ученый, кто постиг эту истину, которая еще недавно отдавалась людям невысокого полета; впрочем, несчастная наша цивилизация, устроенная атеистами, доведена до столь очевидного результата, в такой мелкий грош превратилась человеческая жизнь, что не постичь ее, эту истину, теперь уже, кажется, и невозможно.

Для женщин Афон закрыт, для них это необитаемая земля. Запрет этот, как считается, наложен Самой Игуменьей Святой горы Божьей Матерью. Более тысячи лет назад он вошел в число основных, предержащих уставов, не подлежащих пересмотру. Монах, отсекающий свою волю в отданности Богу, отсекающий все мирское, телесное, в суровой аскезе, естественно, должен был отсечь и женщину. Даже животные женского рода не признаются на Афоне. Но, отъезжая от Иверского монастыря, мы наткнулись на резвившихся перед колесами нашей машины котят.

– Откуда? – громогласно изумился Савва Ямщиков, от удивления приподнимаясь в машине так, что показалось, будто и джип наш оторвался от земли. – Крысы одолевают, – смущенно объяснил отец Никодим. – Пришлось временно позволить.

Приходилось, кажется, дважды или трижды за тысячелетнюю историю делать исключения и для женщин. Но случалось это во дни несчастий народных, перед которыми Афон затвориться не мог. Во дни жестокой расправы турок в 1821 году, о которой уже упоминалось, на Святую Гору кинулись в поисках спасения десятки тысяч мирных жителей. И, конечно, среди них были женщины и дети. Они скрывались в лесах, монастыри захватили турки. Затем революция

1862 года, затем фашистская оккупация и гражданская война в 1947-м. Эти попущания, о которых на Афоне лишний раз стараются не вспоминать, были результатом стихийного вторжения и укрывательства и не могут бросить тень на Афон и его законы, ибо милосердие превышает всего.

Святая гора, как твердыня православия, века и века притягивала к себе воинов Христовых. Их жития поражают сверхчеловеческой силой воли и духа. Инок Пантелеимоновой обители отец Парфений, из середины XIX века оставивший воспоминания, начинает их так: «Хочу описать общежительную афонскую жизнь – живых мучеников, земных ангелов и небесных людей...»

Но в монастырях зачастую и не ведали, до каких пределов самоотвержения и самоистязания доходили пустынноики, обрекавшие себя на претерпения, сравнимые с великомученичеством первохристиан. И до каких высот духовного устройства поднимались старцы, избравшие полное одиночество. «Можно сказать, что Святая гора подобна пчелиному улью, – читаем мы дальше у отца Парфения, кстати, закончившего свои дни в моих родных местах игуменом Киренского монастыря на Лене. – Как в улье многое множество пчелиных гнезд, так на Афоне многое множество келий. Как в улье непрерывно жужжат пчелы, так и на Афоне иноки день и ночь жужжат, глаголя Давидовы псалмы и песни духовные».

Старец Амвросий (из греков), проживший на Афоне почти весь XIX век и беспрестанным подвижничеством сподобившийся жизнеописания, себя и подобных себе пустынноиков-келиотов ставил гораздо ниже, чем таких же страдников до них. «Когда я приехал на Св. гору, тогда застал здесь поистине старцев и по самому виду, и особенно по духовной опытности. Бывало, мы взглянуть на лица их не смели, а если взглянешь, то невольно смежишь глаза от сияющей в них благодати, и, согбенно поникнув долу, проходили мимо их. Слово их было сильное и по-

селяло благоговейное к ним отношение и страх, растворенный любовью».

Накануне Первой мировой войны на Афоне, длина которого, повторим, сорок километров и ширина от восьми до двенадцати километров (это вместе с непроходимыми горами и ущельями), сияло земными звездами, колокольным звоном разливалось больше тысячи церквей. И это в преддверии времен почти апокалиптических: от Первой мировой войны и по сей день мир – как христианская часть земной планеты – так и не установился на своих духовных основаниях, заданных и вымученных первохристианами и Отцами Церкви, а мир – как цивилизация, то есть отпавшая от Церкви часть человечества, – впал в невиданные доселе помешательство и разнузданность, кои распалются все больше и больше... прежде добавляли: «так что не видно им конца» – теперь, напротив, заслуженный и трагический вселенский конец просматривается все отчетливей.

Афон, не отдавший вражескому духу ни пяди своей земли и ни слова молитвы, остается прежним Афоном. Но незримые изменения в нем могли произойти. Когда планетарно, как сегодня, меняется климат в сторону потепления, результаты заметны всюду, даже в самых глухих и затененных местах. На моей родине по Байкалу и Ангаре белый гриб, житель Центральной России, прежде не водился. «Неклиматно» было. Стало «климатно», и чувствует себя у нас прекрасно и продвигается все дальше на север. Плоды климатических перемен, возможно, и переносятся по воздуху, но принимаются почвой. Афон пока еще держится стойко, но духовное «потепление», лучше сказать, «ростепель», наводящая сырость и грязь, окружает его со всех сторон. Афон стоял и стоит на древних уставах и православной традиции; но именно потому, что он стоит на молитвенной традиции, глубокой и сокровенной, вросшей в его землю и пронизавшей его

воздух вместе с двухтысячелетним преданием, – именно поэтому «цивилизованный» мир, ломающий любую традицию, и косится на него. Для мира-богоборца эта маленькая монашеская республика – что бельмо на глазу или кость в горле. Афонские монастыри живут в бедности; Европейский союз предлагает миллионы и миллиарды... в обмен на «права человека» и международную зону туризма. Вовсю усердствуют феминистские организации, раздувающие кадило «дискриминации женщин». Монахи в голос заявляют: ежели это дьявольское попущение допустится, они покинут Афон. Сомневаться в этом не приходится. Предложения дружеских объятий, исходящие из «свободного мира» и звучащие нередко ультимативно, уже сами по себе означают сигнал к проверке на прочность афонских стен.

В Свято-Пантелеимоновом рассказали нам историю, которая звучит как легенда, если бы не свидетели и короткие для легенды сроки. Несколько лет назад напротив монастыря встала на якорь яхта, с нее спрыгнула в воду девушка в купальнике и погребла к берегу. Только вышла на камни и приняла позу – десятки окуляров со шхуны бросились снимать это «явление». Как же – женщина на Афоне! – да ведь это сенсация, это стоит денег и денег!

Девушку полицейские согнали с берега, и она, сделав свое дело, отправилась обратно на шхуну. Чуть-чуть не доплыла – вдруг крик, возня в воде, окрасившейся кровью. Считается, что самозванку, поправшую афонский закон, разорвала акула. Но никогда прежде в этих водах акул не встречали, и откуда взялась эта, свершившая возмездие, никто не объяснит.

Второй случай – менее картинный и обошедшийся без трагедии – произошел за год до нашего туда приезда. Монахи нашего же монастыря натолкнулись в горах на загоравшую под афонским солнцем на камнях парочку. Парень и девушка принялись оправдываться: катались на ре-

зиновой лодке, но пропороли днище о подводный камень, пришлось искать спасения на берегу. Монахи взялись проводить потерпевших крушение к месту катастрофы и нашли припрятанную лодку целой и невредимой. Парень был смущен, а девушка покатывалась со смеху.

Воцарившийся ныне мир, называющий себя либеральным, безнравственный, глумливый, циничный и жестокий, произошел не от доброго семени. Он не считается с грехом, изымает из обращения нравственные понятия и издевается над ними, клятва на Библии стоит не больше, чем игривые уверения в верности жене. Малое стадо не подпавших под его власть и влияние чувствует себя изгоями и не знает, куда бежать от победного и буйного куража этого мира над землей-планетой, праматерью нашей, донельзя надорванной и обесчещенной.

А на Афоне покой и мир; если даже и занялась там тревога, она не видна. Подхватываясь из храма в храм, неземными голосами звучат песнопения, коим внимает небо; грубых слов и неправды нет и в помине; усердие не знает другого назначения, кроме благого; святой дух расстилается по лесам и травам. За все три дня, пока мы здесь были, море терлось-приласкивалось с наговором о берег, украдкой бродил по кустам ветерок, хорошо видна была на вершине Святой горы церковь. Небо в последний день высокое, распахнутое, по-весеннему свежее, солнце от одной тучки скользит к другой, затем к третьей, растянутым цепочкой, и в минуту сдувает их. На невысоком откосе подле монастырской стены долго и неподвижно стоит монах и, прикрываясь ладонью от солнца, смотрит в море. В той ли стороне Россия, куда с надеждой и терпением он вглядывается, я не знаю, не могу сориентироваться. Но куда еще через море может заглядывать русский монах? Или в ожидании пришествия Того, Кто ходит по воде, аки посуху?..

2004

ОТКУДА ЕСТЬ-ПОШЛИ МОИ КНИГИ

Известно, что писателем человека делает не столько внешняя, сколько внутренняя жизнь. Но внутреннее – это переливание и переживание внешнего, своего рода духовный отстой. Не знаю, размышлял ли кто-нибудь над тем, какая судьба больше подходит для рождения писателя – бурная или, напротив, спокойная и созерцательная, колесная или оседлая; это, быть может, впоследствии не так и важно, если давать «бурям» передышку и если оседлость дает глубокие переживания... но сосредоточенность писательского труда требует сосредоточенной жизни, и уверен: писатель начинается в детстве от впечатлений, которыми напитывается именно тогда. Он может затем долго не знать себя как писателя, а может и никогда не узнать, однако душа засеяна, вздобрена, и она при направленном обращении к ней в любой момент способна дать урожай.

Мое детство прошло в глухой ангарской деревне, в 400 километрах от Иркутска. Она и теперь, ставши поселком, переехав на новое место и переменив образ жизни, осталась глухой, моя Аталанка, но не потому, что так и не сумела выдраться из таежных зарослей, а потому, что слишком их вычистила и оказалась никому не нужна. На двух сокровищах стояла Аталанка – на Ангаре и на тайге, – и ни того ни другого не осталось. Ангара, Ангара! – изумрудная наша красавица, еще и теперь протекающая по моему сердцу, – сколь многим она меня напоила и накормила! Жили мы бедно, и не мы одни, вся деревня жила бедно, земли для хлебов были худородные, мошка (мелкий гнус) заедала скотину, которая днями во все лето спасалась только под дымокуром и только на короткие ночные часы выбегала на выгон. Да и сами мы ходили в сетках из конского волоса, натягиваемых на голову, мазались дегтем. Колхоз наш не вылезал из долгов, они время

от времени списывались и снова нарастали, и жила деревня огородами. Да еще тайгой и Ангарой. Первые мои впечатления связаны с Ангарой, потом с матерью и бабушкой. Я понимаю, что должно быть наоборот, ведь не Ангара же вспоила меня грудным молоком, но, сколько ни веду я в себе раскопки, ничего прежде Ангары не нахожу. Вероятно, присутствие матери было настолько естественным и необходимым, сращенность была настолько полной, что я не отделял себя от нее. Ангара же поразила меня волшебной красотой и силой, я не понимал, что это природа, существующая самостоятельно от человека миллионы лет, мне представлялось, что это она принесла нас сюда, расставила в определенном порядке избы и заселила их семьями. Это представление могло связаться с картиной разлившейся Ангары, затопившей деревню, по которой мы, ребята, плавали на плотиках, и пронесенной на стремнине на каком-то помосте коровы; слышу и сейчас чей-то голос: «Это матушка-Ангара бедным детушкам понесла».

Помню: стою я в носу острова (а какие острова были на Ангаре, какие острова! – и тоже: она же, Ангара, принесла и расставила для нашей радости и подкорма), – стою я совсем маленький, должно быть, лет четырех-пяти, и во все глаза гляжу, как рассекается синее ее полотно на две половины, забрасывая меня острыми холодными брызгами. Я раз за разом вытираю лицо и продолжаю всматриваться, видя что-то такое, не соединяющееся в образ, но зримое, взрослым глазам неподвластное. Потом стою на своем берегу и, склонившись низко, рассматриваю это же самое, заинтересовавшее меня, потом рассматриваю с лодки, перегибающейся на остров, – и не может же быть, чтобы я ничего там не высмотрел и не занес в свою душу, что-то такое, что сделало ее чувствительной и подвижной.

Наши места были заселены в самом начале XVIII столетия выходцами с Русского Севера. Самые распро-

страненные фамилии – Вологжины и Пинегины, бабушка тоже из Вологжиных. Моя фамилия пришла из мурманских краев (другой ветвью из архангельских) и разрослась по Ангаре густо, назвав собою две деревни на порядочном расстоянии одна от другой. Теперь не осталось ни одной. В дедушке по отцу (по матери я деда не знал) просматривалась примесь коренной сибирской породы, такая тунгусковатость, а у бабушки было чисто русское, ликовое лицо, суховатое и удлиненное, глядящее издалека, точно помнящее века; и он, и она были людьми сильных характеров, долго притиравшихся, народивших кучу детей, но так в конце концов и не притершихся. Это о них рассказ «Василий и Василиса», один из первых. С него я начал, а бабушку писал постоянно, с нее слеплены старуха Анна в «Последнем сроке» и старуха Дарья в «Прощании с Матерой». Судьба моих односельчан и моей деревни почти во всех книгах, и их, этих судеб, хватило бы еще на многие. Я не люблю фантазировать, право писателя на вымысел я использую только для поправок, прочищающих нравственные токи реальности при перенесении ее в книгу. Сначала я «ходил» «по нижней» своей Аталанке, пока она оставалась подле Ангары, затем «прощался» с нею, когда она принуждена была перебираться на новое место, туда, где я прежде собирал ягоды и грибы, наблюдал ее, оторванную от векового днища, когда она сделалась «верхней» и пыталась пустить новые корни, – и это оттуда «Пожар», а сейчас, в редкие наезды, со страхом смотрю уже и не на медленное сползание, а обрывистое падение в пропасть с изуродованным существованием. Я немало за свою писательскую жизнь наслушался об узости, замкнутости, обедненности «деревенской» литературы, не умеющей смотреть масштабно. Вот вам и «узость», не вмещающаяся в страницы. Приближение роковых времен чувствовалось заранее, и отчетливей всего оно замечалось на малой родине.

Не стало Ангары, молодой, быстрой и завораживающей, в которую я беспрестанно заглядывался в детстве. Теперь она, обузданная плотинами, изъезженная, распухшая, гнилая, лежит в беспамятстве, теряя свое имя. Надо ли гордиться, что я, кажется, последним пропел ей сыновью песню со словами, которые она в меня наплескала?! И, быть может, в вечное утешение за благодарную мою память случилось так, что бабушка и дедушка, а также отец лежат вместе в сухой земле, а не под водой, как их бабушки и дедушки. Мать моя год назад легла отдельно и похоронена в Братске, тоже в ангарских владениях, где она доживала у моей сестры. Лет десять мы с сестрой на лето привозили ее в деревню, о которой она вздыхала всю зиму, а под весну в изнеможении и тоске умолкала, уставившись глазами туда, в родные пределы и в родной дом. Она была по рождению не аталанкой, отец привез ее с Ангары же, но верхней, – и вот как: мимо Аталанки и легла. Не было у моей Нины Ивановны других заслуг, кроме доброго сердца, но это так много! И жизнь она прожила невеселую, пригорбленную еще и послевоенной судьбой отца.

Вернувшись с фронта в орденах и медалях, отец не пошел в колхоз, а заступил на должность начальника почты. Деревня наша хоть и была небольшой, но считалась центральной среди полудюжины еще меньших, раскиданных по Ангаре. В ней располагались сельсовет, почта, сберкасса, медпункт, сельпо. По почте пересылались денежные переводы, велись иные мелкие расчеты. И когда у заснувшего на пароходе отца во время его служебного отъезда срезали сумку, денег в ней много находиться не могло. Но в те времена в расправе не мелочились. После четырех лет фронта, всего только два года и пробыв дома, на семь лет он загремел в магаданские рудники и вышел только по амнистии после смерти Сталина, совсем «доходягой», как он с грустью говорил о себе. И, вероятнее всего, не вышел бы вовсе, если бы не фантастическое ве-

зение: в тот же лагерь попал взятый в армию в конвойные отряды его младший брат, мой дядя. Пока разобрались, что они братья, прошло более полугода, в которые отец успел «подкормиться».

Многим ты богата, великая Русь, в том числе и такими сюжетами! Будь у меня три жизни и пиши я в десять раз быстрее (а я всегда писал медленно), то и тогда мне вполсилы не выбрать судеб, которые складывались только в одной нашей деревне, тихой, незаметной до переезда, полусонной.

Но в этой неказистой деревне жила часть русского народа, пусть очень малая часть, но той же кости, того же духа, сохранившегося еще и лучше, чем в людных местах, на семи ветрах. Да и что такое «полусонная» деревня, если этот народ жил в беспрестанных трудах, играл свадьбы, рождал детей и воспитывал их, хранил и держался вместе?! И когда говорят о природной лени русского человека, уверяют, что он работать способен только из-под палки, – не к ним, не к клеветникам, хочется обратиться, а к небу, которому они поклоняются: вразуми ты их, бесчестных, – разве знают они русского человека? Кто кормил их, кто защищал от гибели, пока они напивались ядом?

Должен признаться и я в грехе: было время, когда я, смущенный университетом, образованием, стал стыдиться своего деревенского языка, считать его несовременным. О, эта «современность», скольким она закружила головы! Позже я прочитал у Шукшина, что и он, попав в Москву, прикусывал свое простонародное слово, стараясь говорить на городской манер. То же самое было и со мной в Иркутском университете. Как же – ведь я изучал теперь Гомера и Шекспира! Надо было соответствовать филологической выправке, не показывать себя лаптем. Вынесенный из деревни язык, конечно, нуждался в обогащении... Но в обогащении, а не замене. Я и не подозревал, каким владел богатством, заталкивая его поглубже и с удовольствием названивая всякими «эквивалентами» и «экзистенциализ-

мами». И даже когда начал писать – начал вычурно, неестественно. О самых первых своих опытах я стараюсь не вспоминать, там были и Хэмингуэй, и Ремарк, и Борхерт.

Выручила опять бабушка, моя незабвенная Марья Герасимовна. Когда я задумал рассказ о ней, тот самый, где она Василиса, эта самая Василиса решительно отказалась говорить на чужом языке. Я и так, и этак, послащивая городским, давал для утешения погорчить во рту деревенским – ничего не выходило. Пришлось подчиниться. Мне с самого начала следовало догадаться, что их «в одну телегу впрячь невозможно». Получив свое слово, Василиса сразу заговорила легко и заставила освободиться от книжной оригинальности и автора.

У нас деревня была суховатая на песню и сказку. Почему так получилось, не пойму – может быть, от надсадного житья. Водились, конечно, и песня, и сказка – где они не водились? – но как-то без поклонения, в припомин. Не собирались по привычке в долгие зимние вечера, как в иных местах, которые я встречал, чтобы под треск камина присластить свою жизнь напевной стариной. Но за прялками, за вязанием, за починкой под треск того же камина любили рассказывать былички – всякие страшные истории с домовыми, лешими, водяными. Послушаешь – все их види, все водили с ними дружбу. Одна история была жутче другой. На подстеленной на полу соломе в углу вздрагивал теленок, спасающийся от лютых морозов, сонно вскидывались и вскудахтывали в курятнике курицы, стреляло из камина, по стенам ходили огромные жуткие тени. Мы, ребятишки, сидели не шелохнувшись и потом по дороге домой жалась к матерям и бабкам. Я так и уехал из деревни, не встретив ни домового, ни лешего, ни баннушки, ни русалки, но когда писал «Прощание с Матерой», не мог обойтись без хозяина острова. Это не дань язычеству, а дань поэзии, без которой не жил народ. Да и, признаться, я продолжаю верить, что, вопреки полной просвеченности

мира, должны существовать следующие из глубокой древности земные наши хранители.

Но как говорили у нас в деревне, как говорили! Баско баяли – метко, точно, с заглубом в язык, не растекаясь мыслью по древу. Все знали уйму пословиц, без них речь не лепилась. Все имели прозвища, пристававшие намертво. Одним словом умели сказать многое, словесная мелочь была не в ходу. Болтливость высмеивалась. По русскому языку, да позволено будет так выразиться, ходили пешком, по-рабочему, а не разъезжали в лимузинах.

Много лет назад, когда я писал очерки о Сибири, мне пришлось побывать на Нижней Индигирке вблизи Ледовитого океана, в знаменитом Русском Устье. Знаменитом тем, что русские туда, по преданию, пришли морским путем на кочах значительно раньше первых казачьих отрядов, двигавшихся с юга. В пользу предания говорит прежде всего чудом сохранившийся там островок ветхозаветной русской жизни, бытовавшей еще до церковного раскола. Нигде ничего похожего нет, там есть. Меня предупреждали: их, русскоустыинцев, не понять, у них совершенно особый язык, всюду потерянный. И верно – к произношению я приспособился не сразу, сами русскоустыинцы называют его шебарчащим. Но лексика!.. Лексика была та же самая, что и у нас на Ангаре, только менее разбавленная, более архаичная. Наши предки, с разницей примерно лет в полтора, пришли из одних мест. Я как в сказку, как в былинку попал. Былина там зовется булей; я вздрогнул, услышавши это слово: «буля» в раннем моем детстве была, была она и во мне, но от забытия глубоко зарылась. И вздрагивал со стыдом не однажды: ведь было, и как же я позволил, чтобы быльем поросло?

Меня много упрекали за сибирский диалект, которым я пользуюсь якобы без меры. Но что такое диалект? Это местные прибавки к языку, заимствования от местных народов, подвернутые под нашу речь, обозначение област-

ной предметности. Пользоваться диалектом действительно нужно разумно. Но ведь за диалект зачастую принимают сам досельный русский язык, его заглубленную позднейшими наростами корневую породу. А ее предлагают зарыть еще глубже: свое зарыть, а чужое, валом повалившее из «красивых» стран, принять с великими почестями.

Ничего плохого, я считаю, нет в том, если читатель, встретив незнакомое слово, пороется в памяти, пороется в словарях и – вспомнит, еще на одну крупницу обогатится родным, удерживающим нас в отчих пределах. Это не может быть только филологической радостью: смысловой звук, вставший на свое место, – это радость исцеляющегося человека.

Сделаю и еще одно разъяснение. Нередко приходится слышать благодарное: «Мне повезло на хороших людей». Но в нашей жизни это не являлось редкостью – такое везение, хорошие люди были основным населением России, сердца не черствели так быстро, будто налетел холодный тайфун. Происходящее сегодня почти повсюду в мире называют «цивилизованным варварством». Это не мои слова, их произносят признанные авторитеты, испуганные переменами в человеке. Будем надеяться, что окончательного крушения человека не произойдет, однако для исполнения надежд не надо бы по-страусиному прятать голову под крыло и «подчиняться обстоятельствам». Еще и теперь много добрых людей, но это «много» – меньше, и ему приходится держать трудную оборону от наступающего зла, к которому прибывает и прибывает.

В послевоенную пору, когда я полностью вошел в память, вся деревня жила одним миром. Слово «колхоз» было понятием не хозяйственным, а семейственным, так и говорили: колхозом спасаемся. Колхозишко был бедный, надсаженный войной, истрепанный нуждой; горе гуляло почти по всем избам. Но умудрялся как-то колхоз самым бедным помогать, и с голоду у нас, слава Богу, не помирали. Ели и

лебеду, и крапиву, бедствуя, как и вся Россия, но если приходилось кому с осиротевшими ребятами хуже всех – несли последнее. Это было в «заведенье» – как закон: не хочешь, а подчиняйся, иначе «мир» на веки вечные вырубит о тебе в людской памяти заслуженную славу.

Я рано пристрастился к книгам, в ученье показывал усердие, и меня после четырех классов деревенской школы, по общему мнению, следовало учить дальше. Непросто было матери решиться на это, мы уже снова куковали без отца. В необходимых случаях мать умела быть твердой, однако нас у нее было трое, я самый старший, начинавший помогать, и на ее окончательное решение повлияло обещание не только родных: не дадим пропасть парню. Дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, привез меня в Усть-Уду, в райцентр, и, выгружая мое барахлишко, так и сказал, это я запомнил: «Мы тебе, парень, не дадим пропасть». Об учебе своей, где преподавалась не одна лишь школьная программа, но и кое-что посерьезней, я рассказал в «Уроках французского». Лидия Михайловна, учительница французского, носит в рассказе свое собственное имя (фамилия – Молокова), она теперь живет в Саранске и преподает в Мордовском университете. Я не мог вместить в рассказ многое: и как я квартировал у одноклассников, где меня подкармливали (и уж, конечно, речи не могло быть об оплате), и как к праздникам выдавалось вспомоществование, и как приласкивали, чтобы мне терпелось. Дождавшись каникул, я, не чуя ног, бежал за пятьдесят километров домой, и в деревнях меня знали и окликали, наперебой поили чаем.

Разве можно это забыть?!

Дядя Ваня, шофер из «Уроков французского», привозивший мне хлеб и картошку, Иван Егорович Слободчиков из нашей Аталанки, перекочевал потом под именем Ивана Петровича в повесть «Пожар». Таким он и был всю жизнь – кроенный совестью и редким трудолюбием. Приезжая

в Аталанку, уже «верхнюю», я в первый же вечер торопился к Ивану Егоровичу. Он уже поджидал и выходил навстречу – высокий, крепкий, с короткой стрижкой по седине, обрадованно и тускло улыбающийся. Его изгрызла боль, он не мог скрепить сердце и спокойно наблюдать, как хищничают на нашей земле. В последнюю встречу Иван Егорович, танкист с «Т-34», провоевавший три года, заплакал от бессилия, рассказывая о новых порядках. Уходя, я обнял его прощальным объятием – и не ошибся.

Приходится и так размышлять: а может, это свойство старости – идеализировать свою молодость по известному правилу: «Да, были люди в наше время!..» Ведь и в моих книгах – и в «Деньгах для Марии», и в «Живи и помни» – всякий народ, и как художник я честнее, чем как воспоминатель, делающий сравнения. Может быть. Но надо иметь в виду, что «Деньги для Марии» писались спустя двадцать лет, а «Живи и помни» и того позже от сладостной для памяти поры детства. К тому времени человек стал заметно меняться, и это нельзя было не заметить. Литература, повторю, чувствительна к будущему, она как животное, загодя охваченное тревогой от приближающихся подземных толчков. Достоевский за полвека до коммунизма предсказал его в таких подробностях, какие коммунизм и сам в себе не подозревал. Отказ от собственной цивилизации и вековых национальных ценностей предвещал для России неизбежные потрясения, но что они будут такими, какие случились, мы боялись додумать. А следовало. Человек, в нравственном и духовном понятиях теряющий свою теплокровность, опасен. Ослабление родственных связей, равнодушие, эгоизм, при все нарастающей кучности все большая отдаленность друг от друга замечались литературой давно.

Нет, это не идеализация: пятьдесят лет назад люди, пережив великое бедствие войны, в горе обнялись вместе, чтобы выстоять. Это был недолгий, но воодушевлен-

ный, психически радостный своим выздоровлением период подъема. Его не удалось подхватить.

Но литература – тоже теплокровное понятие, у нее одна цель – помочь человеку, дохнуть на него при чтении книги теплом и добром. Что теперь предупреждать читателя о бедах! – он ударился так, что на него больно смотреть. Ему нужно помочь верой в Россию и народ.

Я смею надеяться, что и герои моих книг еще не настолько ослабли, чтобы не сказать слов в поддержку. Для сострадания и любви, для сладких слез, утоляющих скорбь, прошедшего времени не существует.

1997

БАЙКАЛ ПРЕДО МНОЮ

Чем больше бываешь на Байкале, чем настойчивей всматриваешься в него и вдумываешься, ищешь таинственных отгадок и самописных строк, которые позволили бы, как заклинание, отыскать и приоткрыть вовнутрь его скрытые «двери», тем отчетливей убеждаешься, что знаешь его все меньше и меньше. И что всякая попытка проникновения в глубины, которых много в нем и помимо водных, приводит лишь к дальнейшему раздвижению его необозримости и неразгаданности. Разгадать в конце концов можно физические свойства, материальность, все, что поддается в Байкале измерениям и исчислениям, но не духовные его силы и художественные тайны.

Да и физические тоже... Вот известно нам, что длина его береговой линии две тысячи километров. Но удивительное дело: разве не легче представить нам сотни тысяч километров в космической пустоте до Луны, чем эти две тысячи в величественной и живой красоте, поддающиеся даже и пешему ходу и неспешному обозрению?! И тем не менее вместить в себя эти картины невозможно, они больше, кра-

ше, разнообразней, чем способны воспринять наши слабые представления и чувства. И потому вполне земная величина в столь дивном убранстве превращается в величину более фантастическую, которую приходится брать лишь на веру, чем астрономические расстояния до небесных светил.

Точно так же «на веру» приходится брать и объемы байкальской чаши (23 тысячи кубических километров, пятая часть всех поверхностных пресных вод в мире), и глубины ископаемых донных отложений (до шести-восьми километров), и число аборигенов в воде и по берегам (сотни и сотни эндемиков, видов животного и растительного мира, нигде более не встречающихся), и многое-многое другое.

Не потому ли Байкал во всех своих ипостасях не соотносим с психическими и эстетическими возможностями человека, с его ограниченностью, человек и не смог оценить вполне этот великий дар небес, и вместо того чтобы «подняться до него», принялся «укорачивать» его под себя. Сверхчистую воду стал разводить техническими отходами, природную сказку на побережье уродовать под свой неразборчивый вкус, божественное переводить в элементарное, вечное во временное. В последние полвека все эти деяния под разговоры и даже законы об охране прекращаются ни на год. Поневоле взмолишься, не зная иного выхода: Господи, вразуми нас, неразумных, убивающих то, в чем неистощимо можем мы черпать и силы, и вдохновение, и возвышение!

Рядом с Байкалом нам есть куда расти, что воспитывать в себе и обласкивать. На то и чудо, на то и неизъяснимое великолепие сокровища, чтобы от него, как от незакатного солнца, получать тепло и радость, ощущать приток окрыляющего духа и детского чувственного возбуждения. Что говорить! – все равно полно и точно не скажешь. В наплеске затихающей волны, сладко называющей рассыпающимися колокольцами, как угадать и связать воедино шелест слов? В золотистой патине укрытого льдом зим-

него Байкала, расцвеченного заревыми облаками, которые ласково обогреты из-под горизонта запавшим солнцем, – как разобрать разлившееся эхо благодати? И в несчети купающихся в темно-лиловой воде звезд, толкающихся и цепляющихся друг за дружку, а их там много больше, чем над головой, как понять, где глубина и где высота в несчастливых заблуждениях наших судеб? Чего-то особого обонятельного и осязательного недостает нам, чтобы читать щедро рассыпанные по всему Байкалу знаки, что-то тонкое, звериное, какое-то предельное чутье недополучили или утерjali мы...

И поневоле чувствуешь себя при этом перерожденным, вылупившимся из яйца, в котором был заключен естественный, родной нам мир, и мы его потеряли, вступив в мир иной, выталкивающий нас еще дальше, в полукосмическую виртуальность.

И я ищу необитаемый остров, где можно было бы от него, от этого деланного и безобразного мира, спастись. Где-то на Байкале такой остров должен быть. Если его нет сегодня, не суждено ли ему подняться, раздвинув воды, со дна морского, подобно волшебному граду Китежу, вылепившись из огромной толщи миллионлетних отложений?

И так сладко и мучительно, поверив этой сказке, как надежде, как неминуемому, всматриваться в ближние и дальние просторы Байкала, ожидая, откуда придет помощь. Конечно, для такого настроения и такого нетерпения надо подготовить себя, освободиться от всего лишнего в мыслях и чувствах, напрячь в себе и заставить призывно звучать особого настроя струны... Но для некоторой породы людей, к которой хотелось бы принадлежать и мне, умеющей легко сниматься с земли и витать в облаках, это не так уж и трудно. И я готов поверить, что уже не однажды был близок к тому, чтобы на моих глазах чуду случиться.

...Апрель, середина месяца, почти по-летнему тепло, солнце празднично катится по небосводу яркой колесни-

цей, но Байкал еще в крепком льду, и лежать ему в зимнем панцире еще недели две, не меньше, пока не налетит как-нибудь хваткий ветер с Ангары и не сорвет лед, не отгонит его в море, а уж там волна примется крошить его на части. Заплещется вода, заиграет, потянет кудряшки волн в полную высоту, оглядывая, все ли на месте по берегам, как было, и переливая свою чистую занемевшую синеву. Но это еще не окончательное освобождение. Через день-два переменится ветер, натолчет опять лед густо и шумно, и тяжело задышит Байкал под его лучащимся бременем, куда не подоспеет опять помощь с Ангары.

Но до этого недели две, пока же по невскрывшемуся Байкалу не боятся переходить на противоположный берег. А солнышко разогрело и вправду на славу. Когда мы в Листвянке, на южном иркутском берегу, вышли из машины, с горы прежде повеяло на нас ощутимым теплом, а уж после с Байкала потянуло холодком. Я был с гостями, прибывшими издалека, всматривавшимися в закутанный Байкал с жадностью и разочарованием: картина истонченного солнцем, болезненно изнывающего льда была слишком прозаической, ее не могли развеселить ни впечатляющие расстояния до горных берегов на Кругобайкальской железной дороге, ни сами берега, еще не выпустившиеся наружу, затаившиеся внутри своих глыбистых форм. По каменишнику подле наших ног неширокой полосой тянулось оттай, по нему было видно, как дышит Байкал: вода то исчезала, втянутая внутрь, то натекала волной. По льду гоняли мяч ребятишки. И глухой утробный гул доносился от матерого, удаленного от берега Байкала, будто под частые и тяжкие вздохи напрягал он могучую грудь. Никто не обращал на этот гул внимания: сияло солнце, клонившееся уже к Ангаре, к закату, и под его разгулявшимся сиянием много что в этот час тоже разгулялось, расшумелось, отдалось бурлящему блаженству, сливаясь в один праздничный гул.

Один из моих гостей угодил ногой и ухнул едва не по пояс в затянутую тонким ледком и припорошенную снегом прорубь, и я повел его в машину на дороге отжиматься. Процедура эта заняла у потерпевшего минут десять, не больше, потому что запасного белья у нас с собой быть не могло, а снять брюки и отжать штанину и носок много времени не потребовало. Я стоял подле машины, заглядывая в дверцу и подавая советы, когда гвалт ребятишек за спиной взвился общим изумленным криком, да таким бурным и непритворным, какой могло вызвать что-то уж совсем особенное. Обернувшись, я остолбенел. Прямо перед нами, метрах в трехстах от берега, вырос из воды сказочный хрустальный дворец неопишуемой красоты. В первый миг, в торопливом схвате глаз это было совершенное творение: с остроконечным верхом, большими ажурными окнами по фасаду, с башенками по углам и балюстрадой по центру – сияющее на солнце, брызжущее радужными искрами, переливающееся волнистой голубизной, омываемое разнофигурными фонтанами. Но нет, оно, огромное и движущееся, не было выстроено окончательно: одни блоки снимались, крошась и распадаясь, другие воздвигались, толкались, лезли вверх под каким-то могучим напором, в считанные секунды облик дворца менялся неузнаваемо, то превращаясь в нелепую, клонящуюся набок стеклянную конструкцию, то в глухую сторожевую башню, крошащуюся снарядным боем и ломом, а то и вовсе во что-то, напоминающее огнедышащий кратер вулкана. И все это волшебное и многоликое извержение надвигалось на нас, со скрежетом и рычанием подминая под себя расстеленное перед берегом ледяное покрывало. Ребятишки, совершенно обезумев от восторга и страха, приплясывая в диком танце, кричали беспрерывно. Мы, случайные свидетели этого явления, которому мы не знали имени, невольно выстроились в ряд и, в отличие от ребятишек, застыв на месте, не сводили с него глаз – точно

сам могучий дух Байкала разгибался под вросшей в него ношей, вставал в рост и вот-вот должен был показать свой образ. В те минуты мы готовы были поверить во что угодно: почему бы за одной необъяснимостью с тем же правом на чудо не последовать другой?

Между тем натужное пыхтение, скрытая исполинская возня донеслись и справа, с той стороны, которая уходила к Ангаре, длинная трещина молнией высеклась вдоль берега, и в нее извивающейся и горбящейся змеей поползла изнутри серебристая каша. Не прошло и десяти минут, как над этим становым разломом громоздились горы и сливались в общую грядку с тем, что вырвалось из Байкала раньше. Нажим с моря усиливался, гул, как из раскачиваемого колокола, нарастал, весь километровый, как не больше, фронт с треском, визгом и шуршанием, раскачавшись рывками, выстроившись в линию, двинулся на берег. Грохот и какая-то торжествующая чистая мелодия, скрежет перемальываемого льда и какие-то сытые удовлетворенные вздохи, звериный рев и нежный всплеск – все смешалось в хриплый и возбужденный атакующий рев. Из домов на набережной выскакивали люди и как-то забавно и немо, как в танце, подпрыгивали и взмахивали руками, в ритме поворачивая головы то на свои избушки, то на приближающуюся беду. Вал с моря, высоко задирая и мечая перед собой, как стенобойные орудия, льдины, рассыпая гирлянды вспыхивающих на солнце сосулечек и бухая залпами, продолжал надвигаться на поселок.

И все же эпицентр этого извержения, этого катящегося ледяного вала по-прежнему был прямо перед нами, и наворот льда, вздымающихся и опрокидывающихся лопастей, достигал здесь высоты трех-четырёхэтажного дома. Грозно, красиво и мощно, блистая на солнце вспышками изумрудных красок, шла в наступление вся далеко растянутая в цепь горная гряда, но пик ее, выдающийся вперед и вверх, был здесь, где и началось вздыбливание, и зрели-

ще его величественной и управляющей всем движением, правым и левым флангами, силы было завораживающим. Метрах в двадцати от берега эта верховная гора вдруг приостановилась, стряхнула с себя осколки и накренилась вправо, и раз, и другой, и третий, непонятно каким образом удерживая свое глыбистое сооружение. Словно судорога пробежала от этих наклонов по длинной гряде, и она принялась торопливо подравниваться, ускоряя ход, а короткий левый фланг (от нас левый, а по ходу лавины правый) и вовсе заторопился и пошел тараном на двухэтажное каменное строение подле судоверфи. И через минуту погреб его под собой.

Засигналил за нашими спинами шофер, и мы, опомнившись, замахали ему, чтобы он немедленно угонял машину. У самих у нас не было сил оторваться от происходящего. Как всегда в нужную минуту, на месте самых интересных происшествий, где бы они ни случались, оказался японец с видеокамерой. Он крутился перед ползущей и пыхтящей громадой, как заводная демонстрационная игрушка, хлопал себя от возбуждения и восторга по коленям, подпрыгивал, воздевал руки и целил, целил... Он прикинул к камере и выставленными пальцами правой руки делал указующую отмашку, чтобы самая захватывающая картина сместилась по его велению вправо или влево, потом отпрыгивал в сторону, опять крутился и замирал. Но шофер его, прыгавший рядом с гостем, дал маху и не разглядел, как на выезде всюю своею мощью лед порывисто выскочил на берег и перекрыл дорогу.

А дальше опять произошло чудо, которому нельзя найти объяснения. Лавина льда протяженностью примерно с километр вывалилась на дорогу, приняла на себя еще один вал, и еще один, наворотив непроходимую цепь, и перед игрушечными палисадниками, ограждающими не менее игрушечные деревянные домики, вдруг застыла. Научное объяснение неожиданному бунту Байкала я после нашел;

явление это, называемое «подвижкой льда», случается от большой разности температур подо льдом и надо льдом, от которой Байкал словно пьянеет, дыбит во хмелю свой зимний саван и гонит его куда ему заблагорассудится. Но это!.. Остановить разгулявшуюся стихию, смирить ее на какой-то волшебной черте в двух метрах от линии уличного порядка жилья – тут уж ничего не остается, как склонить голову перед этой охранительной волей, гнущей любую силу.

И еще одно видение, еще одна картина, уже и совсем фантастическая, приблизившаяся, должно быть, в особенно счастливом, преодолевшем земное притяжение состоянии. Картина, наплесканная тихими вечерними волнами, навороченная колдовской росписью утонувшего в байкальской колыбели звездного неба, но много лет живущая во мне в неубывающей красоте и в такой яви, что я снова и снова при воспоминании о ней становлюсь в тупик: что это было?

В молодости, уже и тогда ища одиночества, завел я в порту Байкал домик в одну комнатку с кухонькой, жизнь в которой в течение нескольких лет теперь вспоминаю как лучшее, по мне сшитое из всего, что выпадало затем во многих поисках и бытовых одеждах. Особенно любил я там октябрь, когда исчезают и гость, и турист, местный народ успокаивается под скупым теплом и в последних предзимних трудах, общее умиротворение и прощение наступает в мире, и когда каждый отклик, каждый звук в просторных горизонтах раздается с певучим колокольным резонансом. В октябре нередко раскачивает Байкал, волны бухают о берег, содрогая его, будто борт корабля, а над морем кружит погоняющий свист, но часто выпадает в октябре такая тишь и гладь да божья благодать, такая печально-счастливая истома овладевает и хлябью, и твердью, что ты готов обратиться хоть в камень, но быть, быть в ее замирающем дыхании. Я любил все еще теплыми и мягкими, подарочными вечерами, провожая солнце, уходить по рельсам старой

Кругобайкальской дороги далеко, туда, где нет ни одной человеческой души, подолгу сидеть на берегу, совершенно забывая себя, а потом подняться в гору, да повыше, и там тоже замереть в блаженстве, ничего-ничего на свете больше не желая, кроме как надыхиваться и насматриваться хоть до бесконечности расстилающейся внизу благодатью.

В тот раз я, должно быть, даже вздремнул, убаюканный до того ласковым напевом волны, что она напомнила чириканье ласточек, и укачанный бликующим подвечерним светом колышнем воды. Очнулся, надо бы сказать, в темноте, но темнота эта под луной и звездами была залита ночным светом, Байкал дремал под ним, лунная дорожка, бегущая с противоположной стороны, от саянского берега, дотягивалась до середины чаши и уходила в глубину. Портал правого, дальнего тоннеля в сторожевом окружении деревьев был темен, а в левый, развернутый полукругом зева к луне, маслянистый свет заглядывал недалеко и внутрь, показывая выкатывающийся из мрака рельсовый путь. Меня тянуло сюда, на скалистую гору между двумя тоннелями, таинственно украшавшими этот мыс, как входные и выходные ворота, дающие дорогу не только для поездов, но и для согласия между человеком и природой. Я всегда был и останусь на стороне защищающейся от человека природы, но мне верится, что эти рукотворные сооружения, вставленные, как украшения, в могучие сооружения природы, дают ей возможность из себя, из своего собственного понимания красоты и смысла принимать за одно целое их общую работу.

И вдруг я насторожился: по порталам обоих тоннелей, глядящих один на запад, другой на восток, одинаково скользили едва заметные блики – как иссякающие отсветы какой-то дальней-предальной жизни. Казалось, они не могли падать сверху; казалось, они пробивались снизу. Я перевел взгляд на Байкал, в его водную толщу, где расплоснуто трепетали, как бабочки, отражения звезд, и вдруг увидел

нечто такое, что заставило меня приподняться и в изумлении уставиться туда, где качающейся золотистой лесенкой спускалась в бездну лунная дорожка. Там, переливаясь огнями, волнуясь сквозь призму воды, сиял сказочный город. Сначала мне показалось, что это фейерверк, огромный радужный сноп, рассыпающий искры, но, вглядевшись, я стал различать разбегающиеся на все четыре стороны улицы, исходящие из центра, и поясные круги по ним – совсем как на чертежах старинных посадов. Они прочерчивались гирляндами вспышек, столь ярких и буйных, что, казалось, должна была кипеть под ними вода; но нет – поверхность Байкала оставалась непроницаемо спокойной, даже сонной, видимое мне огненно-расписное ликование роилось в глубине. Контуры уличной застройки в искрении были плохо различимы, причудливые беломраморные своды их то ли мерещились, то ли промелькивали во вспышках, но гирлянды огней по обочинам улиц, удаляясь от центра, понижались правильными ступами – значит, был в этом городе, как и полагается, кремлевский холм и было понизу что-то вроде ремесленных слобод. Кто в них обитал и обитал ли кто-нибудь – ни одной фигурой или даже намеком мне не сказало, хотя, как замороженный, долго смотрел я круглыми глазами на это сияющее видение, на этот многокрылый мираж, на легендарный град Китеж, и он все не исчезал, пляска горящих знаков, снова и снова рисунчато повторяясь, точно добивалась, чтобы я их прочел. Не разглядел я, ослепленный фейерверком, еще одно – стоит ли этот светозарный град неподвижно на дне морском или в медленном плавании ищет он попутные струи, чтобы всплыть наконец на поверхность и найти причал.

Кончилось это тем, что глаза мои от переутомления сдали, от ряби в них Байкал застелился зыбью, и видение растворилось.

Я не искал его повторения. Более того – я боялся приходиться на то место, с которого явлено было мне вол-

шебство, а я его не разгадал. И мог поплатиться, если бы стал настаивать на продолжении. Не зная, как и откуда это взялось, не можешь знать и скрытых сил, должно быть, по-прежнему витающих над просиявшими предо мною глубинами. Байкал существует не сам по себе в своих автономных границах, и не только ветры и солнце, луна и звезды по известным нам законам приводят его в движение... Нет, многими и многими чувствительными капиллярами связан он со всем огромным миром, видимым и невидимым, который нам до конца не дано постичь. Поэтому лучше оставаться разумными сыновьями. Отцовская благодать Байкала так велика, что ни дух, ни тело наши бедствовать не могут. Так не станем же посягать на то, что нам не принадлежит. Надобно раз и навсегда поверить, что никогда Мать-Земля такое святилище, как Байкал, никому, в том числе и нам, на поругание не отдаст.

2003

II МОЯ И ТВОЯ СИБИРЬ

ИРКУТСК С НАМИ

Удивительно и невыразимо чувство родины... Какую светлую радость и какую сладчайшую тоску дарит оно, навещающая нас то ли в часы разлуки, то ли в счастливый час проникновенности и отзвука! И человек, который в обычной жизни слышит мало и видит недалеко, волшебным образом получает в этот час предельные слух и зрение, позволяющие ему опускаться в самые заповедные дали, в глухие глубины истории родной земли.

И не стоять человеку твердо, не жить ему уверенно без этого чувства, без близости к деяниям и судьбам предков, без внутреннего постижения своей ответственности за дарованное ему место в огромном общем ряду быть тем, что он есть. Былинный источник силы от матери – родной земли представляется ныне не для избранных, не для богатырей только, но для всех нас источником исключительно важным и целебным, с той самой волшебной живой водой, при возвращении человека в образ, дух и смысл свой, в свое неизменное назначение. И, посещая чужие земли, как бы ни восхищались мы их рукотворной и нерукотворной красотой, какое бы изумление ни вызывала в нас их устроенность и памятьливость, душой мы постоянно на родине, все мы соизмеряем только с нею и

примеряем только к ней, всему ведем свой отсчет от нее. И тот, кто потерял это чувство земного притяжения на земле, кто ведает одну лишь жизнь свою без неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего – вечного значит, огромную потерял тот радость и муку, счастье и боль глубинного своего существования.

«...Абсентеизм! Какое это ужасное слово! – восклицал в прошлом веке один из лучших умов Сибири и верный ее патриот, писатель и этнограф Н. М. Ядринцев. – Разлука с родиной! (Абсентеизм и есть разлука с родиной. – В.Р.). Какое это противоестественное чувство, недаром этот абсентеизм вызывает досаду, причиняет боль души, недаром мы, отданные интересам нашего края, давно чувствовали его вредные последствия. Сколько лучших, образованных сил нашей земли исчезли благодаря ему, сколько цветов мысли и чувства дали плод на других полях, когда собственная нива была пуста и земля ее не давала желанного ростка!»

«Сколько лучших, образованных сил нашей земли исчезли благодаря ему...» – любая земля, любой край вправе сделать это горькое признание по поводу сыновей и дочерей своих, покинувших родину и канувших бесследно, не оставив заметного следа ни на какой другой земле.

...Есть города, которые насчитывают многие сотни и даже тысячу лет. Стоят они сановито и важно, изо всех сил сберегая с помощью лучших граждан своих старину и доблесть. И есть громкие современной славой города, которым только десятки лет, но которые в праздничных перечнях норовят выступить вперед за счет своей индустриальной мощи и молодеческих, через каждые пять годков, юбилеев. Иркутск, мой родной город, по этим мерам в среднем возрасте: три и четверть века прошло, как в 1661 году енисейским сыном боярским Яковом Похабовым был срублен на Ангаре «против Иркуты-реки на Верхоленской стороне государев новый острог». И, как я

представляю себе: немало пострадавший в новейшие времена от скорых и неумелых пластических операций, от горячей бездумной силы по части сносов и перестроек, Иркутск, однако же, сумел покуда сохранить свое лицо, не в пример другому сибирскому городу – Омску, который его полностью потерял, или Новосибирску, который его никогда по имел. Больше того – Иркутску повезло остаться даже с именем своим, а были, говорят, и к тому намерения, чтоб сменить, назвать не по реке, имеющей обыкновение устраивать потопаы для нижней части города, а каким-нибудь самовыражающимся или самогорящим именем. Отнесло, и стоит теперь Иркутск, умудренный историей и жизнью, спокойно и мудро, зная силу себе и цену; в меру знаменитый и прежней славой и новой, в меру скромный, в меру культурный, умудряющийся сохранять свою культуру и в наши дни; традиционно гостеприимный, немало опустившийся в пригляде за собой, но прекрасно сознающий, что, верно, опустился – стоит Иркутск, наделенный долгой и взыскательной памятью камня своего и дерева, с любовью и немалым удивлением взирающий на дела нынешних своих граждан, которые составляют 600-тысячное население, по-родительски оберегающий их от зноя и холода, дающий им жизнь, уют, воспитание, работу, родину и вечность.

Есть особенный час, в который легко отзывается Иркутск на чувство к нему. Приходится этот час на раннюю пору летнего рассвета, когда еще не взошло солнце и не растопило, не смыло горячей волной настоявшиеся за ночь, взнятые из недр своих, запахи, пока не разнесли их торопливые прохожие, а редкую и недолгую тишину не погубил машинный гуд. Лучше всего очутиться в такую пору в старом Иркутске, в одном из тех его уголков, где не столько в ветхости и разоре, сколько в службе пока и красоте сохранились одной общиной деревянные дома. И стоит лишь вступить в их порядок, стоит сделать пер-

вые шаги по низкой и теплой теплом собственной жизни улице, как очень скоро теряешь ощущение времени и оказываешься в удивительном и сказочном мире, из той знаменитой сказки, когда волшебная сила на сто лет заговорила и усыпила, оставив в неприкосновенности, все вокруг. И уже не слышишь полусонного и размеренного женского голоса, объявляющего из-за Ангары о прибытии и отправлении поездов, не видишь возникающих иногда перед глазами, как огромные неряшливые заплатки, новых каменных зданий, не замечаешь сегодняшних примет – ты там, в этом мире столетней давности.

Именно столетней. Летом 1879 года пробушевал здесь самый, пожалуй, жестокий из всех иркутских пожаров, уничтоживший бóльшую часть города. «К утру 25 июня 75 кварталов лучшей и благоустроенной части города представляли собой выжженную пустыню с обгоревшими и задымленными остовами каменных домов, труб, печей, над которой носился едкий, удушливый дым» (свидетельство летописца Н. С. Романова). Но если на центральных улицах разрешено было после того только каменное строительство, здесь на месте дерева снова легло в стены дерево. Иркутскому жителю было не привыкать – Иркутск горел многожды, и всякий раз снова и снова поднимался из пепла еще богаче, красивей и просторней, снова и снова горожанин клал стены, чаще всего по своим собственным наметкам и чертежам, подводил крышу, стеклил окна, въезжал в новый дом и принимался его украшать.

Нет, не просто построить, чтобы тепло и удобно было жить, но построить на удивленье и загляденье, точно картинку, точно терем волшебный, в котором, быть может, настанет и волшебное житье, – вот что считалось важным и, как теперь говорят, престижным. Дух соперничества в новшествах и красоте никогда не оставлял сибиряка и подвигал его прежде на многие замечательные дела. В этом искусстве если и был кто равен сибиряку по всей огромной

России, так разве лишь мужик с его прародины – с Архангельщины, Вологодчины, Великого Устюга и Новгородчины, откуда и вынесли первые насельники Сибири свое ремесло. Вынесли и развили до удивительного совершенства и бесконечно причудливой, навеянной новой жизнью и новыми просторами, фантазии, привили везде и всюду – в городе и деревне, среди богатых и бедных, у охотников, пахарей и мастеровых. Только полностью нищий карманом или духом человек, поставив жилье, не украшал, не узорил, не расписывал его, не колдовал над ним, и уж одно это оставалось печатью его нищеты и безысходности на всю жизнь. Такая избушка, как теперь хорошо заметно, прежде и старилась, заваливалась, уткнувшись окошком в землю; горестно и неловко смотреть на нее, бедолагу, со стоящими рядом еще крепко, бодро и форсисто, разукрашенными резьбой домами. Созданные на радость людям, до сих пор, несмотря на полный свой век, они эту радость и приносят. Даже самый невеликий из них, с самой незатейливой отделкой, и ту уже немало потерявший, сохраняет все же привлекательность, достоинство и навеки оставшуюся в нем благородную душу мастера.

Ныне мы довольно легко и безжалостно обращаемся с душой мастера, то окуная ее в огнедышащий ковш с расплавленной сталью, то замуровывая в тело огромной плотины – путая ее нередко с элементарной человеческой добросовестностью. Душа, даже в самом примитивном ее понимании и рабочем приложении, – это то, что выходит все-таки из обыденности и общности ремесла, что воспаряет над ними особенной вышней любовью к человеку и всему прекрасному, живущему в нем и могущему в нем быть, что заполняет великие пустоты между реальностью и мечтой и делает реальность осмысленной добром и красотой. Душа не служит, она царит; она берет порою тяжелые подати, выводя человека из ряда обыкновенных, живущих хлебом единым и не желающих знать иных, но она

же затем выводит его из ряда обыкновенных смертных, без вести погребенных под тяжелыми пластами времени.

И что, как не душа мастера, колдовавшего над домом, возле которого ты в удивлении остановился, коснулась в гордости тебя и растревожила, укорила слабую твою душу, не знавшую праздничных взлетов, или нашла отзыв и восхищение в родственной и чуткой твоей душе, занывшей и затосковавшей по столь же славному делу?

Долгими неделями и месяцами выпиливал, вытачивал, вырезал, подгонял мастер свою кружевную затею. По трафаретам стали работать позже, когда ставили богатые доходные дома и трудились артелью, признанный же и уважающий себя художник по дереву творил, не ведая ограничительных рамок. Фантазия иной раз увлекала его в такие дебри и выси, что из них нет, казалось, выхода, чтобы не нарушить пропорции и чувство и не испортить начин, но он чудом находил его и из неведомых, порою языческих далей доставлял желанную жар-птицу, которая волшебным опереньем вспыхивала на фронтонах, карнизах и наличниках дверей и окон, на кронштейнах и пилястрах – на каждой малости: смотрите, люди, и радуйтесь.

«Я был во многих городах и столицах разных стран и могу сказать, что такой деревянной архитектуры, такой изумительной резьбы, как в Иркутске, нет ни в одном уголке мира», – отозвался о нашем городе художник Илья Глазунов, известный знаток и защитник русской старины, имея в виду в первую очередь барочную резьбу, которой выделяется Иркутск из всех без исключения городов.

Барочной, или «гладкой», резьбы нет даже в Томске, хотя Томск благодаря относительной приближенности своей к первопрестольной издавна оспаривал у Иркутска славу лучшего и просвещенного из всех сибирских городов и не без успеха до революции претендовал на сибирскую столичность. И хотя А. П. Чехов по пути на Сахалин отозвался о Томске, что это «скупнейший город», а об Ир-

кутске: «Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный», – надо полагать, по отношению к Томску это и тогда не совсем было верно. Что же до интересующей нас сейчас старины и, главное, заботе о ней – сравнение будет явно не в пользу Иркутска, особенно по части деревянных памятников. Иркутск свою старину лишь донашивает и славен ею лишь постольку, поскольку она не успела еще везде потерять свою ценность и вид, Томск же свою хранит и в последнее время прямо-таки лелеет, восстанавливая силами производственной реставрационной мастерской каждый достойный внимания дом, не говоря уж о неоправданном сносе.

Дерево недолговечно, и самые древние постройки в Иркутске, конечно, не из дерева. Не сохранились, к сожалению, и деревянные усадьбы XVIII века. У иркутян на памяти еще борьба за «горбатый дом», образец постройки XVIII века, стоявший на ул. 5-й Армии, борьба, окончившаяся не в пользу общественности, когда среди ночи дом воровски снесли. Такая же участь постигла и многие другие памятники деревянной архитектуры наших предков. Восстановленные дома декабристов Трубецкого и Волконского – ничтожная часть того, что могло быть сделано и что не в состоянии восполнить потерь.

«Архитектура – тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, является среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем уже народе. Чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей его жизни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень понимания и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшего ступенью нашего собственного возвышения» (Н. Гоголь).

Дерево имеет редкую способность продлевать нашу память до таких глубин и событий, свидетелями которых мы не могли быть. Лучше сказать – это способность пере-

давать нам память наших предков. Камень более недвижим и холоден; дерево податливо и ответно чувству. В деревянных кварталах, где-нибудь среди бывших Красноармейских, а до того – Солдатских улиц не так уж и трудно представить себе старый Иркутск, предположим, 30–40-х годов XVIII века, когда город разросся и вышел за стены острога.

Через Иркутск шла оживленная торговля с Китаем, он стал к тому времени крупным административным центром огромной провинции, главным перевалочным и товаро-распределительным пунктом всей Восточной и Северной Сибири. В остроге, замкнутом крепостными стенами, творилась лишь административная власть, вся же основная жизнь давно перешла в посад, где располагались и купеческие лавки, и базары, и кабаки, пышным цветом расцветшие к той поре в Иркутске, и различные службы, и мастерские ремесленников, и где «гуляло» около тысячи (в тридцатых годах) обывательских домишек, которые ставились без всякого плана застройки, кто где хотел и кто во что был горазд, так что улицы представляли собой извилистое и диковинное кружение, и вправду напоминающее гуляние. Город, вышедший из крепости, в свою очередь, обнесен был палисадом, деревянной стеной, протянутой от Ангары до Ушаковки на месте нынешней улицы К. Маркса. За палисадом, как и положено в древности, рядом с вырытым рвом стояли рогатки, а уж за ним третьим городским поясом выросла Солдатская слобода. Отсюда и Солдатские улицы, переименованные впоследствии, чтоб не оставить бывших охранников города без революционного внимания, в Красноармейские.

Разумеется, другие стояли тогда здесь домишки, другая была планировка – все другое, но и глаз закрывать надо, чтобы представить себе Иркутск того времени в такой яви и близости, что видишь, кажется, изломанную и кривую грязную улочку, величавую поступь по

ней бородатого красноглазого купца, направляющегося куда-то в сторону царствующих над городом куполов Спасской церкви и Богоявленского собора и по дороге недовольно хрюкнувшего на возящихся в грязи ребятишек, слышишь голоса лениво переругивающихся из-за высоких заборов от скуки баб, ржание лошадей и скрип телег проходящего через Заморские ворота к Байкалу обоза. Добрых тридцать лет еще до Московской столбовой дороги, вдохнувшей в Иркутск новую жизнь, и больше века до третьего и главного кита, который вслед за торговлей и пушниной стал основанием расцвета города, – до золотой лихорадки. Иркутск еще сонен, темен и грязен, его главную жизнь составляет борьба духовенства и купечества с чиновничеством, с его разбойничьими даже по тем временам поборами и несправедливостью. Да ведь и то сказать: окраина – самая глухая, откуда «до Бога высоко, до царя далеко». По этой поговорке действовали и воеводы, и вице-губернаторы, а затем и генерал-губернаторы вместе со всем своим многочисленным окружением, которые, кроме скорого собственного обогащения, не знали здесь другой заботы. Не зря же первый сибирский губернатор князь Гагарин был казнен в Петербурге «за неслыханное воровство», почти одновременно с ним взошел на плаху при Петре по той же самой причине иркутский воевода Ракитин, не брезговавший разбоем, чуть позднее такая же участь постигла и первого иркутского вице-губернатора Жолобова, который «пытал безвинно и при пытках жег огнем». Строгости, однако, помогали мало.

Инструкцией, которая давалась в первое время воеводам и которая гласила: «Делать по тамошнему делу и по своему высмотру, как пригоже и как бог вразумит», пользовались затем все, за малым исключением, власти, как бы они ни назывались. Одному, вице-губернатору Плещееву, «пригоже» было приказать всякий раз при своем выезде палить из пушек, чтобы досадить архиерею, которому зво-

нили; другого, губернатора Немцова, «Бог вразумил» пригласить за город гостей и натравить на них знаменитого разбойника Гондюхина, не постеснявшегося донага раздеть благородное общество, к величайшей потехе губернатора; третий, следователь Крылов, приехавший в Иркутск пресекать беззакония, «по своему вымотру» обобрал местных купцов более чем на 150 тысяч рублей, посадил под арест чем-то не приглянувшегося ему самого вице-губернатора Вульфа и разъезжал по городу, наводя жуткий страх на жителей и опять-таки «по своему же вымотру» указывая на понравившихся ему купеческих дочек и мешанок, которых следовало незамедлительно доставлять Крылову на дом. Это были «гибельные», по слову летописца, времена. Неудивительно, что иркутяне, вспомнив о благополучном, казавшемся им счастливым, правлении в конце XVII века малолетнего сына Полтева (Полтев назначен был воеводой, но, не доехав до Иркутска, скончался, и тогда казаки определили в воеводы его сына), попытались сорок лет спустя, устав от поборов и самодурства Жолобова, снова применить ту же практику, когда Сытин, приехавший заменить ненавистного им вице-губернатора, тут же умер «от огорчений», причиненных ему Жолобовым. Сыну Сытина было пять лет; в этом возрасте даже и в роли правителя нельзя еще творить беззакония, хотя невозможно с ними и бороться, но для города и то казалось великим благом. Дело, однако, сорвалось, и оставшийся до поры до времени на своем месте Жолобов с новой силой принялся за расправу, ежедневно ставя «на правез» (кнуты, палки, пытки) тех, кто замышлял его замену.

«Все, что о здешних делах говорили в Петербурге, не только есть истина, но – и это бывает редко – истина неувеличенная», – доносил позднее в столицу приехавший в Иркутск с огромными полномочиями граф М. М. Сперанский.

Иркутская история знает и трагические, и смешные, забавные истории, которые заманчиво и полезно листать

как в летописях, так и в памяти, бродя по старым деревянным улицам, легко воскрешающим пытливому уму былую суровую жизнь.

Выправлением вольной городской планировки, кстати вспомнить, ретиво занялся в начале XIX века при генерал-губернаторе Пестеле, который умудрялся править нашим обширным краем из Петербурга, его наместник вице-губернатор Трескин, прославившийся отчаянной борьбой с богатым иркутским купечеством. Трескин, не боясь жалоб, которые перехватывал в столице Пестель, мало в чем ведал сомнения, а в деле выпрямления улиц в особенности. По его указанию набрана была из арестантов местной тюрьмы бригада во главе с Гущей, оставшаяся в летописях нашего города под названием «гущинской команды». Вот как свидетельствует об этом в «Записках иркутского жителя» писатель И. Т. Калашников:

«Спору нет, что благоприличие – вещь хорошая, но только уж слишком нецеремонно поступали с домами, стоящими не по плану. Согласие домовладельцев тут было дело излишнее. Бывало, явится гущинская команда – и дом поминай как звали. Если же не весь дом стоял не по плану, а только какая-нибудь особенно смелая часть его вылезала вперед, то без церемонии отпилят от него сколько нужно по линии улицы, а там и поправляй его как умеешь».

Поднаторев на уличном переустройстве и войдя во вкус, Трескин взялся затем выправлять и устье Иркутта, заявив, что река имеет «неправильное течение», но Иркут, в отличие от Иркутска, не поддался Трескину и, несмотря на все усилия губернатора, остался при собственном течении.

Что и говорить! – правители случались разные; как никакому другому городу в Сибири и укрепленному за ним краю пришлось настрадаться Иркутску от власти всевозможных временщиков, от их лихоимства и самоуправства, и все же он продолжал расти, хорошеть и богатеть, существуя как бы по своим собственным законам, умея и

охранять, и возвышать себя, и с достоинством переносить потери на протяжении всей своей истории.

* * *

Первое городское каменное строение, к сожалению, не дожило до наших дней. Это была поставленная в 1704 году на территории острога по берегу Ангары воеводская канцелярия, или приказная изба, где творилась власть. В прошлом веке, когда стали укреплять берег, чтобы сохранить место колыбели Иркутска, канцелярию пришлось снести. Зато на диво и на счастье, самым загадочным и чудесным образом выстояв жестокие времена ломки и сносов, сохранились Спасская церковь и Богоявленский собор – самые древние и наиболее интересные по архитектуре здания во всей Восточной Сибири.

Потому, впрочем, и интересные, что древние. Потому и дороги они так сердцу иркутян, что вещей и нетленной, доступной каждому памятью доносят нам время, дух и искусство наших предков, которые имеют в этих стенах живое и конкретное выражение и которые вернее всяких философий говорят об устремленности и вере человека в свою вечность. До тех пор жив человек, покуда держится дело рук и духа его. Не худо бы это помнить тем, кто, собираясь накоротко отбыть свою земную долю, неразумно оставляет тем не менее после себя из весьма прочного материала, из камня и слова, памятники своей скудости, неразборчивости и общинной суетности – время, как известно, из неумения лжесвидетельствовать может быть не только благодарной, но и мстительной памятью.

Спасская церковь дорога нам изначально прежде всего тем, что это единственное оставшееся от Иркутского острога строение, поставленное всего пятьдесят лет спустя после рождения Иркутска. По ней мы определяем теперь границы острога (она была встроена в крепостную стену, обращен-

ную к нынешней площади им. Кирова), можем представить себе соборную площадь (на месте Вечного огня), где оглашались царские и воеводские указы, творились расправы, собирались горожане как на праздники, так и во дни великих и трагических российских событий. Церковь была заложена в 1706 году и через четыре года закончена. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть в ней допетровскую еще, древнерусскую архитектуру как в основных формах, так и в оформлении. В новом, во многом заемном архитектурном стиле, возводится в это время Петербург, сменила свой градостроительский почерк Москва, но Иркутск далеко, Иркутск свои первые каменные творения ставит еще по старинке, в родном, так чудно воспарившем после татар национальном духе. Однако в заложенном всего через восемь лет после Спасской церкви Богоявленском соборе есть уже изменения в пользу нового стиля и хорошо заметны черты раннего барокко в декоре фасадов, которые, в отличие от Спасской церкви, расписаны пышно и полностью. Изменения видны, но весь храм, как ансамбль, как единое целое, представляет собою причудливое сочетание старого и нового стилей, когда мастер-уставщик, можно предположить, и зная прекрасно, как принято строить, с удовольствием сбивался на то, как любо было ему строить и что больше отвечало его вкусу. Богоявленский собор, опять-таки в отличие от Спасской церкви, ставился сразу с колокольной и приделом, и шатровое навершие над колокольной – элемент, конечно, древнерусского, деревянного еще зодчества, который в каменных постройках, особенно за Уралом, встречается очень редко. И уж совсем в дальние дали уходят своими корнями и фантазией фигурки на неожиданных само по себе, счастливо обнаруженных при реставрации собора, керамических вставках, «изразцах», которыми был украшен храм, – все эти круги, лепестки, ведомые и неведомые нам звери и птицы, застывшие на стенах, из старинных легенд и сказок.

Вообще же, говоря о смене архитектурных стилей, нужно иметь в виду, что в наших краях из-за отдаленности своей и влияния местных мотивов это в особенности не имело определенных границ и твердых законов, и взаимопроникновение, взаимосвязь и взаимосогласие разных направлений будут наблюдаться еще долго и в деревянном, и в каменном зодчестве. Возведенная значительно позднее Богоявленского собора Знаменская церковь (1762) также совмещает в себе элементы барокко и древнерусского декора. Крестовоздвиженскую церковь по дивному своему, совершенно исключительному «узорочью» и причудливому использованию экзотики восточного орнамента, взятого, очевидно, от буддийских храмов, можно отнести к сибирскому барокко. Законы принятого в центрах градостроительства, добравшись за тысячи верст до Иркутска и подышав местным воздухом, сплошь и рядом соскальзывали со своих уставных колодок на грешную Сибирскую землю – поэтому зданий, построенных в чистом том или ином стиле, здесь очень немного.

«Древность Иркутска достопочтенна, – писал побывавший в нашем городе в 1824 году Алексей Мартос, один из образованнейших людей своего времени, сын скульптора, поставившего на Красной площади в Москве памятник Минину и Пожарскому. – Ее можно уподобить той эпохе человеческой жизни, которая, упрочив счастье потомков, может требовать уважения и внимания чад своих».

Удивительно верно и надолго умели высказываться люди прошлого, даже и путешествующие, но смотревшие на лик преображаемой земли и на дела рук человеческих не с точки зрения утилитарной и сиюминутной, а с позиций думающей о своем благоденствии нации.

И, перечисляя поразившие его в Иркутске памятники старины, Мартос в первую очередь называет Богоявленский собор и Спасскую церковь.

Со времени постройки эти первые наши храмы претерпели немалые изменения, вполне естественные в их долгой и трудной судьбе, но не всегда, однако, удачные. Во второй половине XVIII века к Спасской церкви пристраивают колокольню (1762) и придел (1778) и расписывают фасады, но если собственно церковь как должное и необходимое и лишь запоздавшее приняла в свой ансамбль колокольню, то двухэтажный каменный придел с северной стороны утяжелил ее и присадил на один край, нарушив тем самым симметрию и исказив легкий, как бы висящий, парящий над Ангарой вид благословляющего и взыскующего храма.

Особенно не повезло Богоявленскому собору. Знаменитое шатровое навершие над его колокольней продержалось лишь до 1742 года, когда в Иркутске случилось сильное землетрясение, после которого упавший шатер уже не подняли. В 1801 году новое землетрясение, и снова, вместо того чтобы восстановить здание в его первоначальном виде, пострадавшую трапезную разобрали до основания, возведя примитивные, не имеющие ничего общего с архитектурой здания, стены, а заодно, не посчитавшись с их древностью, замуровали и изразцы. Наступили другие времена, предвестники еще более смутных, другое восходило и отношение к старине, оставившее за спиной чуткость и благоговейное внимание к ней, до того всегда присутствовавшие в русском народе.

Сейчас Иркутск может гордиться тем, что из запустения и едва ли не из небытия Спасская церковь и Богоявленский собор полностью восстановлены – вот почему и можно говорить о их возрождении как о чуде, сравнимом лишь с чудом восстания из пепла. И когда приходишь сегодня на берег Ангары к месту, «откуда есть пошел» Иркутск, и видишь сияющий золотом купол Спасской церкви и роспись на северном и восточном ее фасадах, когда видишь поднявшееся, как два с половиной века назад, в прежнем виде шатровое возглавие над колокольней Богоявленского собора

и радостно, празднично играющие, словно отсвечивающие загадочную жизнь ангарской воды, вставки изразцов, – просторно и светло поднимается в душе чувство конечной справедливости всего сущего вместе с чувством долгими скитаниями добытой усыновленности.

На строительство первых каменных зданий, особенно культовых, поначалу приглашались артели со стороны – с Урала и даже из России (Россией, «Расеей» до самого последнего времени сибиряки называли зауральскую к западу сторону). Но это продолжалось недолго. Уже к середине XVIII века Иркутск на добрую треть стал городом ремесленников, работающих по дереву, по камню и драгоценным металлам. Слава о его мастерах к концу века разошлась по всей Сибири, теперь уже другие города шли на поклон к иркутским каменщикам, живописцам при оформлении храмов и литейщикам, которые выплавляли высокого звучания и высоких художественных качеств колокола. Летопись сохранила имя Алексея Унжанова (не из бурят ли?), отлившего 24 сентября 1797 года знаменитый в памяти старых иркутян «Большой колокол в 761 пуд», который на специально сделанных из толстых брусьев санях при колокольном звоне всех церковью тянул на веревках к собору едва ли не весь город. Любопытно, что спустя менее ста лет, когда понадобился колокол для кафедрального собора (теперь можно указать лишь место, где он стоял, – на нынешней площади им. Кирова), снова пришлось приглашать для отливки его мастера со стороны, аж из Ярославля. Зато для устройства иконостаса в новом соборе перед преосвященными встала другая проблема: кого из многочисленных иркутских мастеров выбрать, чтоб не обидеть других. После долгих размышлений и совещаний позван был молодой еще человек Н. Попов, который, по общему мнению, прекрасно справился со своей работой.

В вышедшей несколько лет назад книге академика А. П. Окладникова и Р. С. Василевского «По Аляске

и Алеутским островам», рассказывающей о совместной советско-американской археологической экспедиции в этих районах, приятно было встретить лестное упоминание о старых иркутских мастерах. В русской церкви села Никольского на Аляске внимание авторов книги привлекла икона Николая Чудотворца, «одетая в серебряную ризу, превосходный образец стиля барокко. И, что наиболее важно, риза была датирована 1794 годом – временем расцвета деятельности Российско-Американской компании, главная роль в которой принадлежала иркутским купцам, в том числе самому Григорию Шелихову. Точь-в-точь такие ризы ковали в старом Иркутске тамошние искусные мастера серебряного дела. Их ювелирной работы изделия были известны далеко за пределами города».

Разумеется, не одни только церковные художества и ремесла были развиты в Иркутске.

Особо хочется сказать о кафедральном соборе, не дожившем до наших дней. Сличая теперь его снимки с фотографиями храма Христа Спасителя в Москве, легко увидеть, что иркутский собор возводился по образу и подобию московского, архитектором которого был знаменитый К. А. Тон. Строительство храма Христа Спасителя продолжалось с 1830-х по 1880-е годы – это было время возрождения и расцвета русского национального духа как в искусстве, так и в общественной мысли, время жестоких разочарований в существующем образе жизни и глубоких надежд на особую роль и «мессианство» России, время реформ и обнадеживающей свободы, особенно в последний период. В архитектуре оно также вызвало «русский» стиль, одним из родоначальников которого и стал К. А. Тон, возвратившийся на новой основе и новом опыте к истокам допетровской архитектуры.

Старый иркутянин, патриот своего города профессор С. В. Шостакович в конце 60-годов писал в местной газете: «Кое-кто и сейчас еще полагает, что этот “новый

собор», не представлявший-де особой художественной ценности, и не следовало сохранять. Но это глубокое заблуждение. Вместе со Спасской церковью, старым собором Богоявления, польским костелом, домовою церковью и рядом старинных зданий он великолепно вписывался в замечательный архитектурный ансамбль, составляя неотъемлемую его часть. Здесь, на крутом берегу Ангары, откуда изумительно просматривалась широкая речная долина, сохранился, несмотря на иркутские пожары, удивительный уголок старой сибирской столицы – своего рода иркутский кремль».

Народ наш (и это не досужая выдумка автора) с обостренным вниманием следит за судьбами тех, кто в свое время, хоть и в качестве исполнителей, повинен был в уничтожении и забвении памятников старины, и всякое неблагополучие в их жизни готов принимать за законное возмездие. Даже при понятном преувеличении и желании выдать за действительное то, чего нет, стоит тем не менее помнить об этом стихийно и невольно живущем требовательном ожидании; люди хотят верить, что безнаказанности не существует.

* * *

Иркутск издавна считался купеческим городом. Мы привыкли видеть в этом понятии один лишь смысл, означающий тяжелое и малоподвижное общественное и нравственное существование, и забываем или не знаем о деятельности купечества в культурном и научном строительстве родного края. Деятельность эта сводилась в основном к денежным пожертвованиям, но и то куда как не худо: с каждого свое; нельзя требовать от господ Сибиряковых и Кузнецовых, чтобы они были Потаниными и Ядринцевыми (А. М. Сибиряков был, кстати, и писателем, и ученым), а то, что они помогали Потаниным и Ядринце-

вым, заслуживает и от нас непредвзятой памяти. Сибирское купечество вообще достойно серьезного исследования, в котором должно бы отдать ему справедливость как в делах собственного обогащения, так и в делах, служивших пользе своей далекой и огромной, во всех отношениях забытой богом окраины. Разумеется, и здесь сплошь и рядом встречались типы, подобные персонажам из пьес Островского; разумеется, сказочные богатства невозможны были без грубой и нечистой практики своего ремесла – идеализировать и выделять, подыскивать для сибирского купца особый пьедестал никто не собирается. «Господствуя и в думе, и в магистрате, богатое и сильное иркутское купечество в конце XVIII и в начале XIX столетия заправляло всеми общественными и городскими делами, и заправляло исключительно в своих интересах, – пишет в очерке «Иркутск» долголетний его городской голова В. П. Сукачев, который и сам принадлежал к этому сословию. – Дело дошло до того, – возмущается он, – что право торговать мясом в Иркутске в 1810 году предоставлено было только трем купцам: Лапину, Попову и Кузнецову».

Но как сибиряк по психологии своей отличался от жителя коренной России, так и сибирский купец разнился от тамошнего – в силу хотя бы местных условий. Иркутские купцы Шелихов, которого Державин назвал «Колумбом русским», и Баранов были в конце XVIII века первооткрывателями и основателями Русской Америки, осуществлявшими над Аляской и Алеутскими островами не только торговое, но и политическое господство. Управление Российско-Американской компании от начала и до конца находилось в Иркутске. Экспедиции иркутского генерал-губернатора графа Муравьева в 50-х годах XIX века, результатом которых было присоединение к России Амура, финансировались в основном местными золотопромышленниками. Многочисленные в прошлом научные экспедиции на Крайний Север и Восток, в Монголию, Китай

и Японию также не обходились без помощи иркутских богачей – отсюда, из Иркутска, где с 1851 года деятельно работал Сибирский (затем Восточно-Сибирский) отдел Географического общества, в сущности, направлялось все исследование обширных и малоизученных восточных областей.

Можно припомнить еще, что иркутские купцы, находясь в постоянной почти вражде к правительственному чиновному аппарату, знали и с декабристами, и со ссыльными поляками, открыто водили с ними дружбу и отдавали им своих детей в обучение, почитая это честью не для опальных, а для себя. Многие из тех, кого мы называем толстосумами, были людьми широко и разносторонне образованными, они выписывали из Москвы и Петербурга лучшие журналы и книги не только для себя, но и для устройства публичных библиотек. Сибиряковы из поколения в поколение вели летопись Иркутска; В. Н. Баснин знаменит был в городе, кроме богатства своего, собраниями книг, гравюр, музыкальными вечерами, на которые приглашались столичные артисты, и оранжереей диковинных цветов и плодов; в картинную галерею В. П. Сукачева, ставшую позднее основанием Иркутского художественного музея, вход для школьников был бесплатным, а сборы со взрослых шли в пользу городских общедоступных курсов. Можно бы назвать все это блажью с жиру бесящихся и выставляющихся друг перед другом богачей, когда бы не было от нее столько пользы и когда бы не создавала она той особой и незаштатной обстановки, которая и выделяла Иркутск из всех без исключения сибирских городов. Культурность его и интеллигентность были общепризнанны, средние и слабые театральные труппы не решались ехать на гастроли в Иркутск, боясь местного зрителя; вольнодумность горожан поражала и пугала высоких инспектирующих чиновников и удивляла проезжих знаменитостей, оставивших об этом многочисленные свидетельства. Ко-

нечно, прежде всего в этом сказывалось то, что Иркутск был местом ссылки, а ссыльные и здесь отнюдь не отсиживались по углам, работая в училищах и школах, научных и технических обществах, в канцелярии генерал-губернатора и в газетах, имея тем самым возможность влиять на общественные вкусы и общественное мнение. В свое время декабрист Завалишин объявил настоящую войну Муравьеву-Амурскому, обличая того в творимых на Амуре и Забайкалье несправедливостях, так что прославленному генерал-губернатору пришлось переправлять декабриста из одной ссылки в другую, из Забайкалья в Казань. В первых печатных изданиях – в газетах «Иркутские ведомости» и «Амур» заправляли знаменитый Петрашевский и его единомышленники Львов, Загоскин и Шашков. Политический ссыльный И. И. Попов долгие годы редактировал выходившие в Иркутске газету «Восточное обозрение» и журнал «Сибирский сборник», которые основал и до того выпускал в Петербурге Н. М. Ядринцев. В своей книге «Минувшее и пережитое» Попов вспоминает: «Я уже говорил, что ген.-губернатор А. Д. Горемыкин пенял Громову, что у него работают только государственные преступники, а Громов (из известных сибирских купцов. – *В. Р.*) ответил, что ему нет дела до убеждений “политиков”: ссыльные – великолепные работники и честные люди, с которыми он не может расстаться, потому что пострадает дело. А дело было огромное: на всю Россию и за границу поставка мехов и торговля в Якутской области. Контора Громовых, как и редакция “Вост. Обозрения” или Иркутский музей Географического общества, были своего рода явочной квартирой, где можно было навести всевозможные справки о “политиках”».

Что до купечества – служение и Богу и мамоне неплохо совмещалось здесь, как нигде: ворочая нередко огромными капиталами, сибирский промышленник мог позволить себе без особого ущерба для кармана отвалить круглую сумму

и во благо родному краю и родному городу. Большинство – и это не преувеличение, именно большинство – действовавших в прежнее время в Иркутске церквей, больниц, приютов, ремесленных и общеобразовательных училищ, в том числе для сирот, арестантских детей и переселенцев, большинство гимназий и библиотек построено было и содержалось на частные пожертвования. «Если все эти учреждения и капиталы сопоставить с числом жителей в Иркутске, придется признать, что в отношении благотворительных средств Иркутск стоит среди русских городов чуть ли не на первом месте», – писал Сукачев, имея в виду 80–90-е годы прошлого столетия. Если в Петербурге в это время один учащийся в начальных школах приходился на 80 жителей, в Москве – на 75, то в Иркутске только на 29 жителей. Разница, как видите, немалая.

Нам вольно теперь думать о подобной филантропии все что угодно. И все-таки не одной, очевидно, заботой о спасении своей грешной души, что само по себе тоже неплохо, и не только духом соперничества между собой, надо полагать, вызвана была столь широкая благотворительность, плодами которой мы невольно продолжаем пользоваться до сих пор, – я имею в виду не эксплуатацию зданий, построенных в благотворительных целях и продолжающих оставаться самыми заметными в Иркутске, а прежде всего плоды культурные и духовные, позволяющие славой и трудами старших поколений считаться и по сей час нашему городу в ряду самых образованных и интеллигентных.

Долгое время бывший самой далекой окраиной из всех губернских центров, Иркутск, однако же, с самого начала встал так выгодно и удобно, что его не могли миновать ни водные, ни сухопутные, ни воздушные пути, ни торговые и промышленные лихорадки, ни политическая и реформаторская деятельность, ни дворцовые перевороты и революционные бури. Где бы ни происходило что – аучалось в Иркутске, в который или через который слали на

каторгу и в ссылку потерпевших. Воистину это была подневольная Мекка; кого только не видывал на своем веку Иркутск, чьи имена навсегда остались в нашей истории, – и несчастных стрельцов в начале царствования Петра, и его любимца Ганнибала, гонимого другим любимцем – Меншиковым, который вскоре и сам последовал в Сибирь, и малолетнюю дочь казненного при Анне Иоанновне Волынского, по имени тоже Анна, втайне содержавшуюся в Знаменском монастыре, но при Елизавете Петровне высоко вознесенную при дворе, и многочисленных авантюристов разного толка, испытывавших прочность власти и казны. Иркутск не миновали в своей громкой судьбе ни знаменитый анархист Бакунин, приходившийся, кстати, родственником Муравьеву-Амурскому, ни Радищев, ни Чернышевский, освобождать которого из вилкойской ссылки в Иркутск наведывались Герман Лопатин, один из переводчиков на русский язык «Капитала», и народник И. Н. Мышкин, ни петрашевцы во главе с самим руководителем этого тайного общества, ни революционные демократы М. И. Михайлов и Н. А. Серно-Соловьевич. Декабристы и ссыльные поляки оказали огромное влияние на наш город в его общественном и нравственном развитии, словно не они, считавшиеся преступниками, а местное общество отдано было им на исправление и воспитание, вплоть до того, что декабристы преподавали в доме самого генерал-губернатора. Черский, Чекановский и Дыбовский из ссыльных поляков придали, как прежде выражались, блеск научной деятельности Географического общества, их имена навсегда остались на карте Байкала и Присяянья, изучению которых они отдали немало лет.

С. В. Максимов, автор знаменитого исследования «Сибирь и каторга», отмечал по этому поводу: «При помощи и участии чужих людей среди сибиряков, именно прежде всего здесь, в Иркутске, народилась, стала возрастать и крепнуть та могущественная сила, которая называется

общественным мнением, до той поры не существовавшим и не имевшим места в Сибири, как в стране изумительно-го произвола ее начальников».

О силе общественного мнения в Иркутске в конце прошлого века говорит такой факт. Произошла эта история в 1883 году. К заключенному в местную тюрьму учителю К. Г. Неустроеву, обвиняемому в революционной пропаганде, зашел в камеру генерал-губернатор Анучин и, чем-то задетый, принялся оскорблять учителя. Тот, не стерпев, дал генерал-губернатору пощечину, за что, в дополнение к прежним обвинениям, приговорен был к смертной казни. Несмотря на протесты, казнь состоялась, но столь жестокой и несправедливой расправы город Анучину не захотел простить. Генерал-губернатору, первому в крае лицу и всемогущему сановнику, буквально не давали ни пройти, ни проехать, в глаза называя убийцей, выписывая его фамилию рядом с этим словом на заборах и на домах, так что пришлось Анучину в конце концов подавать в отставку и отбывать из Иркутска.

Это был уже далеко не тот город и не те иркутяне, которые за сто лет до того, во времена прибывшего в Иркутск следователя Крылова, могли сносить от него любые побои, издевательства и самодурство, – этот город обрел уже достоинство и честь, не позволявшие ему делать с собой что угодно.

В период последней перед революцией, самой массовой ссылки, когда ссылки составляли в нашем краю треть (правда, весьма неустойчивую, наполовину находящуюся постоянно в бегах) населения, в Иркутске бывали и жилали такие деятели революционного движения, как Красин, Бабушкин, Фрунзе, Свердлов, Киров, Орджоникидзе, Постышев, Сталин и другие. Стоит, пожалуй, привести еще одно свидетельство в пользу Иркутска – воспоминание о нашем городе известного украинского поэта-революционера П. А. Грабовского, который, побывав здесь все в том же ка-

честве ссыльного, вздыхал в 1899 году из Тобольска: «Прожил лето, как в раю, среди интеллигентных интересов и благосклонных людей... Ах, как хотелось бы мне еще хоть раз побывать в Иркутске, там я совершенно ожил душой... да вот беда – не пускают туда».

Генерал-губернаторами в Иркутске, нелишне напомнить, были столь прогрессивные деятели своего времени, как М. М. Сперанский и Н. Н. Муравьев-Амурский, оставившие по себе добрую славу и память в русской истории именно сибирской жизнью.

По своей доброй воле, что случалось прежде не так уж и часто, наш город навещали и оставили о нем теплые воспоминания писатели А. П. Чехов и И. А. Гончаров.

В 1920 году в политотделе 5-й армии тут работал Ярослав Гашек.

В Иркутске остались могилы Григория Шелихова, декабристов Муханова, Панова и Поджою, Екатерины Трубецкой с детьми, местных уроженцев и знаменитых деятелей русской дореволюционной мысли – А. П. Щапова, историка, писателя и этнографа, и публициста М. В. Загоскина.

Иркутску есть что помнить и достанет что передать потомкам из истории своей и старины, если мы, пришедшие теперь на смену многим поколениям, создававшим ему благородную славу, разумно и твердо, во имя памяти о себе, отнесемся к минувшему и сохраним то, что еще осталось. Как бы ни чтили и ни прославляли мы наше время и общество, нельзя забывать, что они невозможны были без прошлого, без тех, кто трудами и подвижничеством, мученичеством и борьбой установил нас в жизни и дал родину, которой мы вправе гордиться. Пережитое не может быть темным – темно будущее, когда сдвинуто со своего места прошлое и когда настоящее, не имея твердого основания, требует подпорок.

Как в городе нашем достаточно места, чтобы, строя новое, не уничтожать старого, имеющего культурную и нрав-

ственную ценности, так и в душах и сердцах наших хватит чувства на то и другое.

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости», – сказал когда-то Пушкин. Подле этой черты мы, похоже, теперь и остановились, сознавая, что нельзя отступать назад, и не смея, но все приготавливаясь и приготавливаясь двинуться вперед, к подлинному уважению. И перед столь решительным и замедлившимся шагом не сказать ли нам в утешение и поддержку вместо привычной молитвы – Иркутск с нами.

1979

БАЙКАЛ, БАЙКАЛ...

Один из первых восхищенных отзывов о Байкале из русских людей оставил протопоп Аввакум. При возвращении из даурской ссылки «неистовому» протопопу пришлось летом 1662 года переправляться с восточного берега моря-озера на западный, и он пишет о Байкале: «...Около ево горы высокие, утесы каменные и зело высоки, – двадцеть тысяч верст и больши волочился, а не видал таких нигде. Наверху их полатки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и дворы, – все богоделанно. Лук на них растет и чеснок, – больши романовского луковицы, и сладок зело. Там же растут и конопли богорасленные, а во дворах травы красныя и цветны и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем – осетры, и таймени, стерледи, и омули, и сиги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем: во окиане море большом, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы густо в нем: осетры и таймени жирни гораздо, – нельзя жарить на сковороде: жир все будет. А все то у Христа тово-света наделано для человека, чтоб, успокояся, хвалу Богу воздавал».

«Святое море», «святое озеро», «святая вода» – так называли Байкал с незапамятных времен и коренные жители, и русские, пришедшие на его берега уже в XVII веке, и путешествующие иноземцы, преклоняясь пред его величественной, неземной тайной и красотой. Это поклонение Байкалу и диких людей, и людей для своего времени просвещенных было одинаково полным, захватывающим, несмотря на то, что у одних прежде всего затрагивало мистические чувства, а у других – эстетические и научные. Человека всякий раз брала оторопь при виде Байкала, потому что он не вмещался ни в духовные, ни в материалистические представления человека: Байкал лежал не там, где что-то подобное могло бы находиться, был не тем, что могло бы в этом и любом другом месте быть, и действовал на душу не так, как действует обычно «равнодушная» природа. Это было нечто особое, необыкновенное и «богоделанное».

Со временем Байкал обмерили и изучили, применив для этого в последние годы даже и глубоководные аппараты. Он обрел определенные размеры и по ним стал сравним: его сравнивают то с Каспием, то с Танганьикой. Вычислили, что он вмещает в себя пятую часть всей пресной воды на нашей планете, объяснили его происхождение, предположили, как могли зародиться в нем нигде больше не существующие виды животных, рыб и растений и как сумели попасть в него виды, существующие за многие тысячи километров в других частях света. Не все эти объяснения и предположения согласуются даже и между собой, Байкал не столь прост, чтобы так легко можно было лишить его таинственности и загадочности, но тем не менее, как это и должно быть, по своим физическим данным он поставлен на соответствующее ему место в ряду величин описанных и открытых. И он стоит в этом ряду... потому лишь, что само он, живой, величественный и нерукотворный, ни с чем не сравнимый и ни в чем нигде не повторимый, знает свое собственное извечное место и свою собственную жизнь.

Как и с чем, действительно, можно сравнить его красоту? Не станем уверять, что прекраснее Байкала нет ничего на свете: каждому из нас любя и мила своя сторона, и для эскимоса или алеута, как известно, его тундра и ледяная пустыня есть венец природного совершенства и богатства. Мы с рождения впитываем в себя воздух, соль и картины своей родины, они влияют на наш характер и в немалой степени организуют наш жизненный состав. Поэтому недостаточно сказать, что они дороги нам, мы – часть их, та часть, которая составлена естественной средой; в нас обязан говорить и говорит ее древний и вечный голос. Бессмысленно сравнивать, отдавая чему-либо предпочтение, льды Гренландии с песками Сахары, сибирскую тайгу со среднерусской степью, даже Каспий с Байкалом, можно лишь передать о них свои впечатления. Все это прекрасно своей красотой и удивительно своей жизнью. Чаще всего попытки сравнения в таких случаях происходят от нашего нежелания или неумения увидеть и почувствовать единственность и неслучайность картины, трепетного и тревожного ее существования.

И все-таки у Природы как целого, как единого творца есть свои любимцы, в которые она при строительстве вкладывает особенное старание, отделяет с особенным тщанием и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого сомнения, и Байкал. Не зря его называют жемчужиной Сибири. Не будем сейчас говорить о его богатствах, это отдельный разговор. Байкал славен и свят другим – своей чудесной животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, не подвластного времени и преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества, духом самородной воли и притягательных испытаний.

Вспоминаю, как мы с товарищем моим, приехавшим ко мне в гости, долго шли и далеко ушли по берегу нашего моря по старой Кругобайкальской дороге, одной из самых красивых и ярких мест южного Байкала. Был август, лучшее, благодатное время на Байкале, когда нагревается вода

и бушуют разноцветьем сопки, когда, кажется, даже камень цветет, полыхая красками; когда солнце до блеска высвечивает вновь выпавший снег на дальних гольцах в Саянах, которые представляются глазу во много раз ближе, чем они есть в действительности; когда уже и впрок запаса Байкал водой из тающих ледников и лежит сыто, часто спокойно, набираясь сил для осенних штормов; когда щедро играет подле берега под крики чаек рыба и когда на каждом шагу по дороге встречается то одна ягода, то другая – то малина, то смородина, красная и черная, то жимолость... А тут еще и день выдался редкостный: солнце, безветрие, тепло, воздух звенит, Байкал чист и застывшие тих, далеко в воде взблескивают и переливаются красками камни, на дорогу то пахнет нагретым и горчащим от поспевающего разнотравья воздухом с горы, то неосторожно донесет прохладным и резким дыханием с моря.

Товарищ мой уже часа через два был подавлен обрушившейся на него со всех сторон дикой и буйной, творящей пиршественное летнее торжество красотой, дотоле им не только не виданной, но даже и не представляемой. Повторю, что она была в самом расцвете и самом разгаре. Прибавьте к нарисованной картине еще горные речки, с шумом сбегающие в Байкал, к которым мы раз за разом спускались испробовать водицы и посмотреть, с каким таинством и с какой самоотверженностью вливаются они в общую материнскую воду и затихают в вечности; прибавьте сюда еще частые тоннели, аккуратные и со вкусом отделанные, кажущиеся естественными, которых здесь ненамного меньше, чем километров по этой дороге, и над которыми то торжественно и строго, то причудливо, словно с только что окончившей игру вольностью, высятся скалы.

Все, что отпущено человеку для впечатлений, в товарище моем было очень скоро переполнено, и он, не в состоянии уже больше удивляться и восхищаться, замолчал. Я продолжал говорить. Я рассказывал, как, впервые попав

в студенческие годы на Байкал, был обманут прозрачностью воды и пытался рукой достать с лодки камешек, до которого затем при замере оказалось больше четырех метров. Товарищ принял этот случай безучастно. Несколько уязвленный, я сообщил, что в Байкале удается видеть и за сорок метров – и, кажется, прибавил, но он и этого не заметил, точно в Москве-реке, мимо которой он ездит в машине, такое возможно сплошь и рядом. Только тогда я догадался, что с ним: скажи ему, что мы за двести-триста метров в глубину на двухкопеечной монете читаем в Байкале год чеканки, – больше, чем удивлен, он уже не удивится. Он был полон, как говорится, с крышкой.

Помню, его доконала в тот день нерпа. Она редко подплывает близко к берегу, а тут, как по заказу, нежилась на воде совсем недалеко, и когда я, заметив, показал на нее, у товарища вырвался громкий и дикий вскрик, и он вдруг принялся подсвистывать и подманивать, словно собачонку, нерпу руками. Она, разумеется, тотчас ушла под воду, а товарищ мой в последнем изумлении от нерпы и от себя опять умолк, и на этот раз надолго.

Я даю это ничего не значащее само по себе воспоминание для того лишь, чтобы иметь возможность процитировать несколько слов из большого и восторженного письма моего товарища, которое он послал мне вскоре после возвращения домой с Байкала. «Силы прибавились – это ладно, это бывало, – писал он. – Но я теперь духом поднялся, который оттуда, с Байкала. Я теперь чувствую, что могу немало сделать, и, кажется, различаю, что нужно делать и чего не нужно. Как хорошо, что у нас есть Байкал! Я поднимаюсь утром и, поклонясь в вашу сторону, где батюшка-Байкал, начинаю горы ворочать...»

Я понимаю его...

А ведь он, товарищ мой, видел только маленький краешек Байкала – и видел его в чудесный летний день, когда все вокруг благодарствует покою и солнцу. Он не знает, как

в такой же точно день, когда светит солнце и недвижим почти воздух, Байкал может бушевать, казалось бы, ни с чего – словно взбученный изнутри. Смотришь и не веришь своим глазам: тишь, безветрие и грохот воды – это за многие и многие километры дошел сюда из района шторма вал.

Он, товарищ мой, не попадал ни под сарму, ни под култук, ни под баргузин. Так называются ветры, которые мгновенно, с сумасшедшей силой налетают из речных долин и способны натворить на Байкале немалые беды, поднимая порой волну до четырех и шести метров. Байкальский рыбак не станет, как поется в песне, просить: «Эй, баргузин, пошевеливай вал...»

Он не видел северного Байкала во всей его суровой и первозданной красоте, среди которой теряешь и ощущение времени, и меру дел человеческих, – так щедро и царственно властвует здесь над чистой водой древности сияющая вечность. В последние годы, впрочем, человек и тут торопится наверстать свое, укорачивая на привычный ему манер и царственность, и вечность, и покой, и красоту.

Он не бывал в бухте Песчаной, где солнечных дней в году гораздо больше, чем на прославленных южных курортах, и не купался в Чивыркуйском заливе, где вода летом нагревается ничуть не меньше, чем в Черном море.

Он не знает зимнего Байкала, когда вычищенный ветрами прозрачный лед представляется настолько тонким, что под ним, как под увеличительным стеклом, живет и шевелится вода, на него боязно ступить, а между тем под ногами может быть и метр, и больше толщины; не слышал он, товарищ мой, с каким гулом и треском разрывает Байкал, пошевеливаясь, под весну этот лед широкими бездонными трещинами, через которые не пройти, не проехать, а затем, снова сойдясь, возводит над ним великолепные громады голубых торосов.

Он не попадал в волшебную сказку: то мчится навстречу тебе с распушенным белоснежным полотнищем

парусник; то повиснет в воздухе, плавно снижаясь и как бы приноравливаясь, где лучше сесть, средневековый красавец замок, то широкой полосой плывут с высоко и гордо поднятыми головами и совсем близко наплывают на тебя лебеди... Это миражи на Байкале, обычное здесь явление, с которыми связано немало прекрасных легенд и поверий.

Он, товарищ мой, много чего не видел, не слышал, не испытал, а лучше сказать, не увидел, не услышал и не испытал почти ничего. И мы, живущие подле Байкала, не можем похвалиться, что знаем его хорошо, потому что узнать и понять его до конца невозможно – на то он и Байкал. Он постоянно разный и никогда не повторяет себя, каждое мгновение он меняется в красках и оттенках, в погоде, движениях и духе. О, дух Байкала – это нечто особенное, существующее, заставляющее верить в старые легенды и с мистической опаской задумываться, насколько волен человек в иных местах делать все, что ему заблагорассудится.

И все-таки, побывав очень недолго и увидев ничтожно мало, товарищ мой имел возможность если не понять, то почувствовать Байкал. Чувство в таких случаях зависит от нас, от нашей способности или неспособности принять в себя духовное зерно. И когда он, товарищ мой, говорит, что мог за одну ту прогулку дать ему Байкал, я его понимаю.

Байкал, казалось бы, должен подавлять человека своим величием и размерами – в нем все крупно, все широко, привольно и загадочно – он же, напротив, возвышает его. Редкое чувство приподнятости и одухотворенности испытываешь на Байкале – словно в виду вечности и совершенства и тебя коснулась тайная печать этих волшебных понятий, и тебя обдало близким дыханием всесильного присутствия, и в тебя вошла доля магического секрета всего сущего. Ты уже тем, кажется, отмечен и выделен, что стоишь на этом берегу, дышишь этим воздухом и пьешь эту воду. Нигде больше не будет у тебя ощущения столь полной и столь желанной слитности с природой и проник-

новения в нее: тебя одурманит этим воздухом, закружит и унесет над этой водой так скоро, что ты не успеешь и опомниться; ты побываешь в таких заповедных угодьях, которые и не снились нам; и вернешься ты с удесятеренной надеждой: там, впереди, обетованная жизнь...

А очищающее, а вдохновляющее, а взбадривающее и душу нашу, и помыслы действие Байкала!.. Ни учесть, ни пометить его нельзя, его опять-таки можно только почувствовать в себе, но с нас достаточно и того, что оно существует.

Вернувшись однажды с прогулки, Л. Н. Толстой записал: «Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в человеке чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непосредственным выражением красоты и добра».

Старое, извечное несоответствие наше той земле, на которой мы живем, и ее благодати – старая наша беда.

Природа сама по себе всегда нравственна, безнравственной ее может сделать лишь человек. И как знать, не она, не природа ли, и удерживает в немалой степени нас в тех более или менее разумных пока еще рамках, которыми определяется наше моральное состояние, не ею ли и крепится наше благоразумие и благодеяние?! Это она с мольбой, надеждой и предостережением денно и ночью глядит в наши глаза душами умерших и неродившихся, тех, кто был до нас и будет после нас. И разве все мы не слышим этот зов? Когда-то эвенк на берегу Байкала перед тем, как срубить для надобности березку, долго каялся и просил прощения у березки за то, что вынужден ее погубить. Теперь мы стали иными. И все-таки не оттого ли и в состоянии мы удержать занесенную уже не над березкой, как двести и триста лет назад, а над самим батюшкой Байкалом равнодушную руку, что возвращаем ему сторицей вложенное в нас природой, в том числе и им?! За добро добром, за милость милостью – по извечному кругу нравственного бытия...

Байкал создан как венец и тайна природы не для производственных потребностей, а для того, чтобы мы могли пить из него вволю воду, главное и бесценное его богатство, любоваться его державной красотой и дышать его заповедным воздухом. Он никогда не отказывался помогать человеку, но только в той мере, чтобы вода оставалась чистой, красота – непогубленной, воздух – незасоренным, а жизнь в нем и вокруг него – неиспорченной.

Это прежде всего необходимо нам.

Байкал, Байкал...

Он давно уже стал символом наших отношений с природой, и от того, быть или не быть в чистоте и сохранности Байкалу, зависит ныне слишком многое. Это явилось бы не еще одним пройденным и покоренным человеком рубежом, а рубежом последним: за Байкалом нет ничего, что могло бы зарвавшегося в своей преобразовательской деятельности человека остановить.

Трудно удержаться, чтобы не повторить вслед за моим товарищем: как хорошо, что у нас есть Байкал! Могучий, богатый, величественный, красивый многими и многими красотою, царственный и не открытый, не покоренный – как хорошо, что он у нас есть!

1982

СИБИРЬ БЕЗ РОМАНТИКИ

Это громадное пространство носит общее прозвище Сибирь, с которым, вероятно, и останется навсегда, потому что ничего другого, кроме Сибири, из него выйти не может.

В. К. Андриевич, историк Сибири

Слово «Сибирь» – и не столько слово, сколько само понятие, давно уже звучит вроде набатного колокола, воз-

вещающая что-то неопределенно могучее и предстоящее. Прежде эти удары то приглушались, когда интерес к Сибири вдруг понижался, то снова усиливались, когда он поднимался, теперь они постоянно бьют со все нарастающей силой. Сибирь! Сибирь!.. Одни слышат в этом гулком звучании уверенность и надежду, другие – тревожную поступь человека на дальней земле, третьи ничего определенного не слышат, но прислушиваются со смутным ощущением перемен, идущих из этого края, которые могли бы принести облегчение. Сибирь неминуемо чувствуют в себе даже те, кто никогда в ней не бывал и находится вдали от ее жизни и ее интересов. Она сама вошла в жизнь и интересы многих и многих – если не как физическое, материальное понятие, то как понятие нравственное, сулящее какое-то неясное, но желанное обновление.

В XVIII веке говорили: «Сибирь – наша Перу и Мексика». В девятнадцатом: «Это наши Соединенные Штаты». В двадцатом: «Сибирь – источник колоссальной энергии», «край неограниченных возможностей». Как видим, меняется техническая вооруженность человека, меняются его потребности, меняются и характеристики Сибири. От богатств самородных, лежащих на поверхности и близ поверхности, до богатств глубинных и производительных – все есть в Сибири, каждому веку она угождала, и в оценках ее, от первых слухов до последних научно-экономических обоснований, постоянно видна превосходная степень. Но уже и теперь, когда Земля почувствовала признаки удущья, она оборачивается на Сибирь: «Это легкие планеты». Уже и теперь... Нетрудно понять, что будет первой и непреходящей необходимостью для человека через тридцать, сорок и пятьдесят лет и для чего Сибирь могла бы явиться воистину целебной и спасительной силой.

Мы привыкли к языку сравнений, но никакие сравнения ничего не скажут о Сибири. Мы можем сопоставлять лишь результаты освоения, дела рук человеческих,

но не более. Нет ничего в мире, что можно было бы поставить в виде аналога рядом с Сибирью. Кажется, она могла бы существовать как самостоятельная планета, в ней есть все, что должно быть на такой планете во всех трех царствах природы – на земле, под землей и в небе. Ее собственно жизнь, столь разнообразную и разнохарактерную, невозможно обозначить известными понятиями. Со всем тем, что существует в ней плохого и хорошего, открытого и неоткрытого, свершившегося и несвершенного, обнадеживающего и недоступного, Сибирь – это Сибирь, которая имеет свое имя, лежит на своем месте и выработала свой, ни на что другое не похожий характер. Из конца в конец и из края в край над нею витает свой дух, словно бы до сих пор не решивший, быть ему добрым или злым, – в зависимости от того, как поведет себя здесь человек. За четыреста лет, прошедших после покорения Сибири русскими, она, похоже, так и осталась великаном, которого и приручили, и привели местами в божеский вид, но так и не разбудили окончательно. И это пробуждение, это духовное осознание ее самой себя, хочется надеяться, еще впереди.

Слово «Сибирь» так и не расшифровано, точное этимологическое значение его не найдено. Для человека постороннего, знающего о Сибири лишь понаслышке, это огромный, суровый и богатый край – все как бы в космических размерах, включая и космическую выстуженность и неприютность. И в коренном сибиряке он видит скорее продукт загадочной природы, нежели такой же, как он сам, продукт загадочного человечества. Для нас, для тех, кто в Сибири родился и живет, это родина, дороже и ближе которой ничего в свете нет, нуждающаяся, как и всякая родина, в любви и защите – нуждающаяся, быть может, в защите больше, чем любая другая сторона, потому что тут пока есть что защищать. И то, что пугает в Сибири других, для нас не только привычно, но и необходимо: нам

легче дышится, если зимой мороз, а не капель; мы ощущаем покой, а не страх в нетронутой, дикой тайге; немереные просторы и могучие реки сформировали нашу вольную, норовистую душу. Разные взгляды на Сибирь – взгляд со стороны и взгляд изнутри – существовали всегда; пусть и сместившись, поколебавшись и сблизившись, остались они разными и теперь. Одни привыкли смотреть на нее как на богатую провинцию, и развитием нашего края они полагают его скорое и мощное облегчение от этих богатств, другие, живучи здесь и являясь патриотами своей земли, смотрели и смотрят на ее развитие не только как на промышленное строительство и эксплуатацию природных ресурсов. И это тоже, но в разумных пределах. Чтобы не было окончательно загублено то, чему завтра не станет цены и что уже сегодня, на ясный ум, не опьяненный промышленным угаром, выдвигается вперед всех остальных богатств. Это – воздух, вырабатываемый сибирскими лесами, которым можно дышать без вреда для легких; это чистая вода, в которой мир и сейчас испытывает огромную жажду, и это незараженная и неистощенная земля, которая в состоянии усыновить и прокормить гораздо больше людей, чем она кормит теперь.

В сущности, опершись на Сибирь да еще на некоторые, пока заповедные, районы человечество могло бы начать новую жизнь. Так или иначе, очень скоро, если оно собирается существовать дальше, ему придется решать главные проблемы: чем дышать, что пить и что есть, как в каких целях использовать человеческий разум? Земля как планета все более и более устанавливается на четырех китах, ни один из которых нельзя сейчас считать надежным. И если слово «Сибирь» в своем коренном смысле не означает «спасение», оно могло бы стать синонимом спасения. И тогда отсталая, в сравнении с Северной Америкой, колонизация Сибири, в чем долго упрекали старую Россию, обернулась бы великой выгодой; и тогда русский человек

не без оснований мог бы считать, что он выполнил немалую часть своего очистительного назначения на Земле.

* * *

Но здесь имеет случай отдать справедливость народному характеру. Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский. И если бы место было здесь на рассуждение, то бы показать можно было, что предприимчивость и ненарушимость в последовании предпринятого есть и была первою причиною к успехам россиян.

А. Н. Радищев. Слово о Ермаке

Сибирь, находясь на одном материке с Европой, отгороженная от нее лишь Уральским камнем, который вполне можно считать доступным, была тем не менее открыта для цивилизованного человечества почти на столет позднее, чем Америка.

Конечно, смутные слухи о Сибири бродили по миру издревле и, конечно, русский человек, тот же неутомимый новгородец, и торговал, и промышлял в ее владениях, проникая туда и по суше, и по северным морям, но, считая это делом обычным, отчетов о своих самовольных проникновениях никому не давал, а опыт передавал сыновьям. Новгородцы знали Юргу (так назывались северные земли к востоку от Урала) еще в XI столетии, а может и раньше, впервые же слово «Сибирь» появилось в русских летописях в начале XV века в связи с кончиной хана Тохтамыша, того самого Тохтамыша, который уже после Куликовской битвы в княжение Дмитрия Донского спалил Москву, но продержался у власти недолго и в результате междоусобных распрей был убит в «сибирской земле».

Что до слухов о Сибири, время от времени возникавших в древности в Западной Европе, – столько в них было небылиц и сказок, что одних они отпугивали, у других уже и тогда вызывали усмешку. Со слухов же Геродот записывает в «Истории», имея в виду, очевидно, Урал: «У подошвы высоких гор обитают люди от рождения плешивые, плосконосые, с продолговатыми подбородками». А дальше не может не усомниться: «Плешивцы рассказывают, чему я, впрочем, не верю, будто на горах живут люди с козьими ногами, а за ними другие, которые спят шесть месяцев в году».

Иностранцам в древние и средние времена еще простительно, когда они считают, что глубины Азии заселены чудовищами с песьими головами или даже вовсе без голов, с глазами и ртом на животе, но вот ведь и русский письменный источник XVI столетия, того самого столетия, когда началось государственное присоединение Сибири к России, рассказывая о зауральской стороне, повторяет старые сказки, будто люди там на зиму умирают, а по весне оживают опять. Что удивляться: несколько лет назад в Западном Берлине меня спрашивали: «Что в Сибири делают зимой?», всерьез полагая, что зимой в наших краях можно только спать.

У П. А. Вяземского, литератора и друга Пушкина, о мнениях такого рода есть любопытные слова: «Хотите, чтобы умный человек, немец или француз, сморозил глупость, – заставьте его высказать суждение о России. Это предмет, который его опьяняет и сразу помрачает его мыслительные способности». Тем более эти слова применимы к Сибири. И в Европу не надо ходить: Сибирь долго «опьяняла» и «помрачала» своего же брата, соотечественника, который во взглядах на нее нес (и несет еще иной раз) такую ахиною и околесицу, что остается теперь пожалеть, что не нашлось никого, кто собрал бы их для за-

бавы в одну книгу. Однако ахиня эта не всегда оставалась безобидной и выражалась порой в указах, которые следовало выполнять.

Как в древности искал, так и сейчас человек продолжает искать чудеса, которые не совпадали бы с ученой упорядоченностью мира. Сибирь, надо полагать, одна из тех областей, где человеческий дух сомнения и противоречия испытал в свою пору немалое разочарование: и здесь, в сущности, то же, что и везде.

Покорителем Сибири стал, как известно, Ермак Тимофеевич. То, что и сам Ермак, и его дружина была из казаков, значило очень многое. Казак – татарское слово, оно переводится как удалец, смельчак, человек, порвавший со своим сословным кругом. Казачество зародилось на Руси вскоре после свержения татарского ига и сформировалось в течение XVI века с усилением феодальной и крепостнической зависимости русского народа. Люди, не желавшие выносить никакого, в том числе и отеческого ига, бежали от него в Дикое поле, в низовья Дона и Волги, основывали там свои поселения, избирали атаманов, принимали законы и начинали новую и вольную, никакому царству, никакому ханству не подчиненную жизнь. Позже русскому казачеству пришлось-таки идти под цареву руку, потому что иначе ему было и не выжить, но тогда, в XVI столетии, еще нет, тогда казаки сами себе были хозяева. Царские власти, играя на патриотических чувствах, могли использовать их против своих беспокойных южных соседей, против Турции, крымских и ногайских татар, но могли за самовольство или в результате дипломатических маневров с теми же соседями наслать на них карательные экспедиции – отношения между Москвой и вольным казачеством всегда были сложными, а в первое время в особенности. Одно хорошо: если России угрожала серьезная опасность, казаки

считали своим долгом выступить на ее защиту, откуда бы эта опасность ни исходила, – или от ближней Турции, или от дальней Литвы. В Ливонской войне, как доказывают в последнее время историки, принимал участие накануне своего сибирского похода и Ермак Тимофеевич.

В покорении и освоении Сибири казаки сыграли роль исключительную, почти сверхъестественную. Только особое сословие людей дерзких и отчаянных, не сломленных тяжелой русской государственностью, чудесным образом смогло сделать то, что удалось им.

Говоря о фигуре Ермака, трудно не приостановиться и не отдать дань нашей российской слабопамятливости и небрежению... После свержения татарского ига и до Петра Великого не было в судьбе России ничего более огромного и важного, более счастливого и исторического, чем присоединение Сибири, на просторы которой старую Русь можно было уложить несколько раз. Только перед этим одним фактом наше воображение в растерянности замирает – словно бы застревает сразу за Уралом в глубоких сибирских снегах. Однако о Колумбе, открывшем Америку, нам известно все: и откуда он был родом, чем занимался до своего «звездного» часа; известно, когда, какого числа и месяца вышел в первое свое плавание, и во второе, и в третье, и в четвертое, когда достиг американского берега, когда флагманская «Санта-Мария» села на рифы и что было потом... Что Колумб! – о древнеримских императорах и патрициях мы помним больше, чем о Ермаке. Ну ладно, не мог он вести, как Колумб, судовой журнал, не было возле него, как возле Нерона, замышлявшего убийства, расторопного историка, но ведь не оказалось и совсем никого, кто бы понимал значение его фигуры и величие его похода. Это уж после спохватились, когда выяснилось, что не знаем ни имени Ермака, ни рода, не запомнили и не записали, в каком году выступил он

против Кучума, сколько его отряд насчитывал казаков и чем помогли Строгановы, за один ли переход, как считает известный историк Р. Г. Скрынников, он добрался до столицы сибирского ханства Искера или ему потребовалось возвращаться после зимовки обратно, а затем снаряжаться вновь. Строгановские летописи мы вынуждены подозревать в неточности именно потому, что они строгановские и могли преувеличивать роль этой фамилии в деле присоединения Сибири; на другой документ, на Синодик тобольского архиепископа Киприана, составленный спустя сорок лет после Ермака по рассказам оставшихся в живых участников похода, мы также смотрим с недоверием: уж очень хотелось преосвященному в интересах местной Церкви сделать из Ермака святого и потому не подходящие для канонизации факты из его жизни он не задумался бы приукрасить или опустить. Не зря говорят: кто владеет настоящим, тот владеет и прошлым.

И вот уже не одно столетие мы гадаем: верно ли, что Ермак, как поется в народных песнях, до Сибири погуливал, подобно Степану Разину, по Волге и Дону да потрагивал не без корысти купеческие и царские караваны? Или народ, путая добродетели, награждает для пушей славы своего героя тем, что за ним не водилось? Спорим: Ермак – это прозвище или усеченная форма имени Ермолай? А может, от Еремея, от Ермила? Споры эти не прекращаются до сих пор. В 1981 году в Иркутске вышла книга А. Г. Сутормина «Ермак Тимофеевич», в которой читаем: «Итак, Ермак родом не с Дона, он уралец, с реки Чусовой. Его имя Василий, отчество Тимофеевич, фамилия Аленин... А Ермак только прозвище, кличка». В книге Р. Г. Скрынникова «Сибирская экспедиция Ермака» (Новосибирск, 1982 год) с той же уверенностью уже совсем иное: «Возможно, в строгановских вотчинах XVI или XVII веков и жил разбойник Василий Аленин, но к Ермо-

лаю Тимофеевичу – историческому Ермаку – он не имел никакого отношения... Что же касается имени Ермак, то его следует рассматривать не как прозвище, а как сокращение полного имени Ермолай».

Едва ли теперь удастся открыть истину, если она не открылась раньше, ближе к действительным событиям. Вероятней всего, придется Ермаку, «родом неизвестному, думой знаменитому» (Н. М. Карамзин) оставаться, как и прежде, Ермаком. Можно и расщедриться: мол, дело не в этом. Нет, отчего же – и в этом тоже. Не след нам гордиться, что от короткой памяти мы на короткой ноге со своими героями. Но нет, оказывается, и в этом случае худа без добра: среди воздаваемых ныне Ермаку почестей, которые приводятся в вышеупомянутой книге А. Г. Сутормина, есть и такая: «В молодом сибирском городе Ангарске спортивный коллектив химиков “Ермак”, названный в честь первопроходца, успешно умножает свою спортивную славу». Полным, да еще законным именем спортклуб химиков назвать было бы несподручно.

Но тут уж, верно, дело не в этом. Народ русский во все четыреста лет, прошедших после легендарного похода, помнит как:

На диком берегу Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

Во взгляде на первого сибирского героя и на его подвиг лучше всего, очевидно, следовать известными, проторенными историей путями. Поправки, которые предлагаются нынешними исследователями, не представляются настолько убедительными, чтобы их можно было безоговорочно принять. Так, едва ли есть основания обеливать Ермака в той части его биографии, которая относится к ватажной жизни на Волге, когда пытаются

ся доказать, что не мог Ермак заниматься непотребным, «воровским», ремеслом. Его соратники могли, а он – нет. Не надежней ли в этом факте положиться на народную память и народное чутье, которые редко раздавали понапрасну подобные доблести. Трудно, кроме того, предположить, зная те времена и нравы, чтобы человек, проведший в Диком поле не менее двадцати лет и ставший атаманом, уберегся бы от привычных для казацкой вольницы занятий. Как в песне:

Ты прими-де, Грозный царь, ты поклон от Ермака,
Посылаю те в гостинец всю Сибирскую страну,
Всю Сибирскую страну: дай прощенье Ермаку!

Итак, Ермак со товарищи гулял по Волге, принимал участие в битвах и стычках, а род знаменитых купцов Строгановых поселился к тому времени на восточных рубежах Русского царства, по рекам Чусовой, Каме и Лысьве на Урале, завел там прибыльное солеварение, пашенное, промысловое и прочие дела и, не довольствуясь приобретенным, испросил у Ивана Грозного разрешение на земли по Тоболу и Иртышу. Дать такое разрешение Грозному ничего не стоило: эти земли ему не принадлежали, там хозяйничал хан Кучум, собравший воедино сибирские племена и насаждавший среди них ислам. Таким образом, с одной стороны, Строгановы посматривали вожаделенно на вроде бы принадлежавшие, а на самом деле не принадлежавшие им богатые просторы, а с другой – Кучум, набрав силу, все чаще стал тревожить отстроенные поселения. В этих условиях естественно, что Строгановы обращаются за помощью к казакам.

Нам теперь уже не узнать, от кого исходила инициатива – от самого Ермака, когда ему понадобилось от греха подальше уйти с Волги, или действительно от Строгано-

вых, решившихся наконец на серьезные действия по отношению к своему восточному соседу, как не узнать, существовали ли у Ермака сомнения, идти или не идти ему тяжелым и опасным походом в Сибирь, но было бы жаль, если бы вместо Ермака против Кучума выступил другой человек. Уж очень подходящ для этой роли именно Ермак, человек из народа, словно бы самим народом отправленный в Сибирь и не оставленный им без славы. Он да еще Степан Разин стали вечными любимцами русского народа, олицетворением его давних вольнолюбивых устремлений. Но если Степан Разин искал своим бунтом воли на старых русских землях, Ермак открыл, как распахнул, для воли земли новые, сказочные, не имеющие, казалось, ни конца и ни края.

Он выступил походом в зауральскую сторону в 1581-м, по другим предположениям, в 1579-м, в 1582 годах. При праздновании 300-летия этого события один из русских журналов писал: «Удивителен, конечно, подвиг Ермака, с горстью казаков овладевшего целым царством. Как ни превосходно ружье перед луком, все же не должно забывать, что саранча тушит целые костры, преграждающие ей путь, хотя и гибнет массами. Казаков было всего лишь пять сотен, а враг считал себя тысячами и при упорной защите отстоял бы себя, если бы во главе русских храбрецов не находилась выдающаяся способностями полководца и администратора личность Ермака и если бы внутренние узы, связывавшие сибирские племена, были крепче. Прославляя подвиг Ермака, нельзя не удивляться и тому, что простолюдин явился выразителем исторического закона, который двигал Русь к востоку в Азию и который продолжает вести ее в этом направлении до настоящего времени. Первый, основательный шаг за Уралом сделал Ермак, другие пошли за ним».

Эти другие свершили подвиг не менее удивительный.

* * *

Нет! Все, что смог сделать народ русский в Сибири, он сделал с необыкновенной энергией, и результат трудов его достоин удивления по своей громадности. Покажите мне другой народ в истории мира, который бы в полтора столетия прошел пространство, больше пространства всей Европы, и утвердился на нем! Все, что ни сделал народ русский, было выше сил его, выше исторического порядка вещей.

Н. М. Ядринцев

Непонятно, почему Н. М. Ядринцев, знаменитый сибирский писатель и ученый прошлого века, говорит о полутора столетиях, в которые народ русский прошел Сибирь и утвердился в ней. Очевидно, это относится больше к «утвердился», занял Сибирь во всю ее мощь и ширь и рассмотрел, где заводить пашню, где промыслять зверя, а где копать рудники.

Ермак овладел столицей сибирского ханства Искером осенью 1582 года, в августе 1585 года погиб в неравном ночном бою, после чего его оставшийся в живых отряд вынужден был отойти, а уже в 1639 году енисейский служилый человек Иван Москвитин поставил на берегу Охотского моря зимовье, и русские вышли к Тихому океану, в 1648 году Семен Дежнев проплыл проливом, который отделяет Америку от Азии. Уму непостижимо! Кто представляет себе хоть немного эти великие и гиблые пространства, тот не может не схватиться за голову. Без дорог, двигаясь только по рекам, волоком перетаскивая с воды на воду струги и тяжелые грузы, зимую в ожидании ледохода в наскоро срубленных избышках в незнакомых местах и среди враждебно настроенного коренного кочевника,

страдаая от холода, голода, болезней, зверья и гнуса, теряя с каждым переходом товарищей и силы, пользуясь не картами и достоверными сведениями, а слухами, грозившими оказаться придумкой, нередко в горстку людей, не ведая, что ждет их завтра и послезавтра, они шли все вперед и вперед, дальше и дальше на восток. Это после них появлялись и зимовья на реках, и остроги, и чертежи, и записи «распросных речей», и опыт общения с туземцами, и пашни, и солеварни, и просто затеси, указывающие путь, – для них же все было впервые, все представляло неизведанную и опасную новизну. И сейчас, когда каждый шаг и каждое дело сибирских строителей и покорителей мы без заминки называем подвигом, нелишне бы помнить нам и нелишне бы почаще представлять, как доставались начальные шаги и дела нашим предкам.

«Он идет по тобольским лесам и нескончаемым снегам с тяжелой пищалью за плечами, выданной на время похода из воеводской казны. Он ищет новые соболиные реки, составляет чертежи. На лыжах он пересекает огромные снежные просторы, мчится на мохнатом гнедом коне, ведя второго в поводу, сидит на корме широкой плоскодонной лодки, и над его головой шумит парус из сыромятной кожи. Его подстерегают опасности. Он слышит, как поет, приближаясь к нему, стрела с черными перьями. Он не щадит себя в “съемном” – рукопашном – бою, и раны его под конец многотрудной жизни нельзя сосчитать. Он спит на снегу, кормится чем попало, годами не видит свежего хлеба, часто ест “всякую скверну” и сосновую кору. Ему много лет не платят государева жалованья – денежного, хлебного и соляного. “Поднимаясь” для прииска новых рек и земель, он все покупает на свои деньги, залезая в неоплатные долги, подписывая кабальные грамоты».

Так рисует портрет первопроходца известный писатель Сергей Марков, начиная свой очерк о Семене Дежневe. И это далеко не все напасти, которые подстерегают на

длинных путях «добытчика» и «прибыльщика». Прибавьте сюда еще несправедливость и алчность воевод, таких, как якутский стольник Петр Головин; прибавьте лукавство и заспинные действия местных князьков, на которых нельзя было положиться; «правеж», «розыски» и доносы со стороны доглядчиков, без коих редко удавалось обходиться любой русской сколотке; борьба, вплоть до боев, с отпавшими отрядниками, как у Хабарова с Поляковым или у Дежнева со Стадухиным, – это все сверх суровости сибирской природы. Они и терпели кораблекрушения, и исчезали бесследно, не оставив о себе ни единой памятки, и зимовали не по разу в местах, называемых ныне полюсами холода, и теряли рассудок в полярных ночах... что и говорить! – Сибирь взяла с них свою дань сполна. Они выходили в пути крепкими и телом, и духом казаками, готовыми к любым лишениям, из которых едва ли могли предвидеть и десятую часть, и они заканчивали их, кому удавалось закончить, людьми какой-то особой, сверхъестественной силы и выдержки, людьми, под которыми должна была приклоняться земля. После них подобных людей, кажется, уже и не случалось, они были тем, что можно назвать «самострелами» русского духа. Потому что это было движение по большей части стихийное, народное, устремленное на свой страх и риск, за которым не всегда поспевали правительственные и даже воеводские постановления. Для осознания их изнурительного подвига не хватает воображения, оно, воображение наше, не готово следовать теми долгими и пешими путями, какими шли сквозь Сибирь эти герои.

Что же вело их на восток, что заставляло, пренебрегая мучениями и опасностями, так торопиться? Обычно выставляют одну причину: жажда наживы, необходимость отыскать новые земли, где природные богатства, и особенно пушнина, оставались еще нетронутыми, и желание, служа царю и воеводе, поставить им под ясак новые на-

родцы. Вело, разумеется, и это, но, будь это единственной причиной, казаки-первопроходцы так не торопились бы. За те пятьдесят или шестьдесят лет, что прошли они от Иртыша до Тихого океана, соболя и горносталя не успели еще выбить и в «проведанной» части Сибири, а остроги, которые наспех ставили казаки по пути на восток, были бедны, малочисленны и не давали им безопасности. Чего бы, казалось, разумней: как следует обустроиться, запастись в достатке провизией и провиантом, обеспечить, по-нынешнему говоря, надежные тылы, а затем не спеша и наверняка двигаться дальше. Но нет, они спешат. А как, представьте, выдержать спокойную и разумную жизнь, как усидеть на месте, если, слышно от кочевников, впереди великая река Енисей, потом великая река Лена, по которой живет большой и мастеровитый народ (якуты), а затем реки и вовсе поворачивают встречь солнцу. Нет, не в русском характере здесь усидеть в спокойствии, ожидая указаний, не в русской стихии быть благоразумным и осмотрительным, оставив родное «авось». Можно быть уверенным, что не только корысть направляла казаков и не только, что уже благородней, дух соперничества в первенстве двигал ими, но и нечто большее. Здесь было словно волеизъявление самой истории, низко склонившейся в ту пору над этим краем и выбирающей смельчаков, чтобы проверить и доказать, на что способен этот полусонный, по общему мнению, и забитый народ. Тут немалой частью энергии для столь могучего порыва явилось народное самолюбие.

У нас не принято ставить памятники отличившимся городам. А было бы справедливо где-нибудь на просторах Сибири, предположим, на той же Лене, где к середине XVII века собрались самые деятельные «землесведыватели», выказать и подтвердить благородную память сибиряков Великому Устюгу, городу теперь захиревшему, выпускающему гармоники. А в то время Великий Устюг, когда-то бросавший вызов самому Великому Новгороду-

ду, еще гремел, и величие свое он подтвердил в именах Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, Василия Пояркова, Владимира Атласова, Василия Бугра, Парфена Ходырева и многих, многих других, добывших себе по сибирским рекам, морям и волокам мужественную славу. Все они из Великого Устюга. Это не только удивления достойно, но кажется невероятным: что за оказия! как их там, в колыбели мореходов и открывателей, наставляли, чем укрепляли дух и кость?! Тут бы для гордости в веках хватило и одного Семена Дежнева, открывшего «Берингов» пролив. «Одиссеей» Ерофея Хабарова почла бы за честь хвалиться любая столица, будь он из нее родом. А Атласов, покоритель Камчатки! А Поярков, «приискавший» огромные территории Северо-Восточной Сибири! И как знать, не из Устюга ли вышел и легендарный Пенда, поперед всех проникший на Лену из «златокипящей» Мангазеи? Не устюжанином ли был и Петр Бекетов, об одной из экспедиций которого И. Фишер в «Сибирской истории» писал: «Намерение свое он произвел с таким малым числом людей, что почти невероятно показалось бы, как россияне могли на то отважиться».

Кстати припомнить еще, что дважды в течение десятилетия (в 1630-м и в 1637 годах) Великий Устюг вместе с соседями – Тотьмой и Сольвычегодском – снаряжал в далекую Сибирь большие отряды девиц в «жонки» русским служилым людям. Как не считать после того сибирякам этот город своим родным, как не поклониться ему издалека кровным поклоном! Да и всей русско-северной сторонушке, где Новгород, Вологда, Архангельск и Вятка, следует поклониться: оттуда вслед за казаками пришли пашенные и мастеровые люди, оттуда началось первоначальное заселение Сибири.

Сибири суждено было войти в плоть и кровь России, так оно и произошло. Ермак острым и быстрым клинком, как ножом, вонзившись в ханскую Сибирь, лишил ее

прежней власти, казаки-первопроходцы, наскоро пройдя Сибирь насквозь, простежив ее боевыми острогами, словно бы подшили ее к России. Но русской и оседлой Сибирь сделали не воины, не служивые, промысловые и торговые люди, а хлеборобы. Волны, которыми двигала нажива, накатывали и откатывали – за пушниной, мамонтовой костью, за золотом и другими драгоценными металлами – и, выбив, выбрав богатства, опустошив сибирские леса и по тогдашним возможностям сибирские недра, искатели скорого счастья уходили восвояси и распускали мрачные слухи о том, что Сибирь – страна мертвая и бедная, непригодная ни для удачи, ни для сытого житья. Всегда так – ограбленному спасибо не говорят. Не последние умы еще в прошлом столетии заявляли, удрученные малой, как казалось, производительной отдачей Сибири, что она, Сибирь, питаясь соками России, знает лишь отнимать силы у своей кормилицы. А пашенный человек, пришедший на эту целомудренно пустовавшую землю вслед за казаком, между тем распахивал степь или корчевал под поле тайгу и год от года сеял и собирал хлеб, растил детей, умножал семьи и делал теперь уже свой многотрудный край жилым и доступным. Мнения о Сибири менялись, интерес к ней то вспыхивал, то снова пропадал, из золотого колодца она превращалась в нечто вроде мусорной ямы, куда сваливали всех мастей преступников и нежелательных для правительств людей, а он, крестьянин, знай себе работал да работал и тяжелым трудом и нелегкой жизнью роднился с Алтаем, Енисеем и Леной все прочней и прочней.

Этот тихий и незаметный, как прежде говорили, угодный Богу труд сделал решающее дело. В конце концов Сибирь покорила тому, кто ее накормил. Уже через сто лет после Ермака она стала обходиться собственным хлебом, а еще через сто – не знала, что с ним делать.

Интересно, что противники строительства через Сибирь железной дороги в прошлом веке выставляли одним

из главных доводов опасение, что по этой дороге Сибирь беспрепятственно завалит Россию своим дешевым хлебом, а России, мол, и собственного девать некуда.

Он, крестьянин, и прирастил окончательно Сибирь к России, сохой завершив огромный по своему размаху и по своим последствиям предприятие, начатое Ермаком с помощью оружия. И надо признать: Сибирь досталась России легче, чем можно было предполагать. Досталась как великая удача, как небывалый, по слову сибиряка, фарт.

* * *

Должно отдать справедливость Сибири. При всех недостатках, укorenившихся в ней от постоянного наплыва разных, часто весьма нечистых элементов, как то: бесчестья, эгоизма, скрытности, взаимного недоверия – она отличается какою-то особою широтою сердца и мысли, истинным великодушием.

Михаил Бакунин

Ум сибиряка всецело поглощен материальной наживой, его увлекают только текущие практические цели и интересы. Этот холодный расчет и корыстные страсти подавили в населении всякое идеальное настроение и даже общественность.

Афанасий Щанов

Если бы удалось собрать всю разногласицу высказываний вместе, выяснилось бы, что несибиряки отзываются о сибиряках лучше, нередко с восторгом, чем сами сибиряки о себе. И это тоже в характере сибиряка. Он ско-

рее будет несправедлив, преувеличивая свои недостатки, чем достоинства, и он не станет скрывать разочарования в своих земляках и в своей родине, которые ему хотелось бы видеть совершенной и лучше.

Конечно, попав в другую природную обстановку, оказавшись сзади аборигенов, коренных жителей этих краев, столкнувшись во многом с новыми условиями существования, сибиряк должен был отличаться от обитателей старой части России. Как европеец в Америке превратился в тип янки, так и русский в Сибири видоизменился в тип сибиряка, имеющего отличия и в психическом складе, и даже в физическом облике.

Сразу за Уралом вы встретите лица с азиатчиной. Признано, что с самого начала русский в Сибири оказался превосходным колонистом. Правда, и здесь были попытки устроить по примеру Северной Америки рабство, материалом для которого послужило бы местное население, однако попытки эти мало сказать ничем не кончились, но провалились с треском, осужденные и правительством, и нарождающейся общественностью, и практикой переселившегося сюда простого мужика.

Что касается правительства, надо сказать, что во всех серьезных спорах между русскими и инородцами оно, как правило, брало сторону последних. Так было и при Петре, и при Екатерине. Конечно, это не мешало воеводам и их людям нещадно обирать и унижать инородцев, но простой мужик, устроившись на новом месте рядом с бурятом или тунгусом, сразу и без труда входил с ним в дружеские отношения, передавая ему свой опыт пахаря и мастерового и перенимая от него навыки в охоте и рыбалке, в знании местных условий и природного календаря. Ничуть не страдая своей избранностью (за русским это, кажется, и вовсе не водится), он стал родниться с аборигеном семейными узами и до того увлекся, что практика эта встревожила и правительство, и Церковь. Еще в 1622 году московский

патриарх Филарет взыскивал с сибирского архиепископа Киприана: «Ведомо нам учинилось и от воевод, и от приказных людей, которые прежде сего бывали в Сибири, что в сибирских городах многие служилые и жилецкие люди живут не христианскими обычаями, но по своим скверным похотям: многие-де русские люди... с татарскими, и с остяцкими, и с вогулицкими погаными женами смешаются и скверная деют, а иные живут с татарскими некрещеными и деют с ними противность...»

Церковь, впрочем, не была последовательной в своих требованиях и, одним перстом запрещая смешанные браки, другим разрешала их при условии, если иноверцы пойдут под крест. Изредка присылаемых в жены из российских губерний партий девиц не могло хватить на весь огромный край; кроме того, русский мужик вправе был поступать по собственному выбору, поэтому ничего удивительного, что, чем дальше в глубь Сибири, тем больше смешанных браков и тем чаще азиатчина в русских лицах. В Восточной Сибири, к примеру, едва ли не каждое четвертое или третье лицо – с раскосыми глазами и широкими скулами, что придает женской красоте новую очерченность и выразительную свежесть, отличающую ее от усталости и стертости красоты европейской. Сибиряк, получившийся от слияния славянской порывистости и стихийности с азиатской природностью и самоуглубленностью, быть может, как характер и не выделился во что-то совершенно особое, но приобрел такие заметные черты, приятные и неприятные, как острая наблюдательность, возбужденное чувство собственного достоинства, не принимающее ничего навязанного и чужого, необъяснимая смена настроения и способность уходить в себя, в какие-то свои неизвестные пределы, иступленность в работе, перемежающаяся провалами порочного безделья, а также хитроватость вместе с добротой, хитроватость столь явная, что никакой выгоды от нее быть не может. Все это,

возможно, еще не достроено, во всем видны две стороны, не сошедшие пока в одно целое, – природе, надо полагать, требуется времени больше, чем у нее было, чтобы довести начатое до конца, но видно, что делом этим она занимается не без удовольствия.

Говоря о характере русского сибиряка, нелишне повториться, что с самого начала его формировала народная вольница. Колонизация Сибири прежде всего была народной, и раньше тех, кого правительство направляло «по выбору» и «по указу», сюда пробирались отряды «вольноохочих». В Сибирь шли люди, уходившие от ограничений и притеснений и искавшие свободы всех толков – религиозной, общественной, нравственной, деловой и личной. Сюда двинулись и те, кто не в ладах был с законом, чтобы скрыться в зауральских глубинах от наказания, и те, кто искал справедливого общинного закона, который бы противостоял административному гнету, и те, кто мечтал о сторонущке, где бы вовсе не водилось никаких законов. Рядом с авантюристом шагал праведник, рядом с тружеником – пустожил и пройдоха. Религиозный раскол XVII века двинул в Сибирь десятки тысяч самых крепких, самых стойких духом и характером людей, которые отказались признать церковные и государственные нововведения и предпочли им уход из мира в неприступную глухомань. Еще и теперь в наших лесах находят их поселения, где человек в языке, обычаях, верованиях, в одежде и способах существования остался таким же, каким он был триста лет назад. Можно удивляться фанатичности этих людей, но нужно удивляться и их жизнестойкости и твердости, выходящих за границы наших представлений об этих понятиях. Все сходилось в Сибири – и староверческая община, отличавшаяся чистой и крепкой нравственностью, противостояла здесь ссыльно-уголовному братству, которое держалось законами совсем другого рода. Н. М. Ядринцев отмечал: «Эти села потому и носят ха-

рактер старины, потому в них видны сила и порядок, что главную массу их населения составляют раскольники. И в других раскольничьих селениях Сибири, где бы они ни попадались, в Восточной или Западной Сибири, видна та же порядочность, то же довольство во всем. Самая наружность жителей другого рода, точно они составляют особое племя. Красивые, полные, белолицые, свежие женщины в цветных, опрятных сарафанах, опрятные, почтенного вида старики, красивые парни; во всем порядочность, чистота и довольство».

И теперь человек из семейских, как называют староверов, вызывает даже и в сибиряке особые уважение и интерес: из семейских – значит, как правило, надежный товарищ и отменный работник.

В Сибирь всегда шло много народу и много возвращалось обратно. Были времена, когда она напоминала проходной двор – со всем тем неизбежным, как ведут себя люди в проходном дворе. В немалой степени это остается и сейчас. Огромные тысячи, которые постоянно, как прибой, накатывают на громкие сибирские стройки, накатывают, как и положено прибою, с шумом, музыкой и впечатляющей мощью, по прошествии нескольких лет тихо и незаметно исчезают – словно уходят в песок. Опять новый прибой и новые тысячи – и опять спячивающимися и потайными ручейками отлив, оставляющий на местах весьма небольшую часть прибывших. Объясняется это прежде всего устоявшимся отношением к Сибири: как быстрее и дешевле взять ее богатства. Забота о людях, в которой не приходится сомневаться, в сибирских условиях подчас соскальзывает на несколько порядков вниз, а поднимать ее с самого начала, с учетом этого соскальзывания, на несколько порядков вверх никак не хотят.

Нечего и говорить – жить в Сибири нелегко. Климат ее, ставший в последние десятилетия более капризным, то и дело подкидывающим сюрпризы, когда под Новый год

может зазвучать капель, а в июне пойти зимний снег, едва ли стал более мягким. Суровость и неуютность этих краев издавна устраивали строгий отбор колонистам и всевозможным покорителям. Чтобы прижиться и остаться здесь, нужно иметь дух сибиряка – не минуты подъема, а состояние постоянной готовности ко всякого рода неожиданностям и неприятностям и умение преодолевать их без излишней затраты сил. Этот дух необязательно должен родиться в Сибири, он может развиваться где угодно, но должен соответствовать Сибири, войти в ее общую атмосферу сопутствующим движением. Есть люди, ведущие свой род здесь не одним поколением, но так и не ставшие сибиряками, чем дальше, тем сильнее страдающие на чужой для них земле, и есть – кто словно создан для Сибири и, попав сюда, осваивается без особых трудностей. Так что сибиряк – это не только толстая кожа, привыкшая к морозам и неудобствам, и не только упрямство и упорство в достижении цели, выработанные местными условиями, но также и неслучайность, глубокая и прочная укорененность на этой земле, совместимость человеческой души с природным духом. Сибиряк редко изменяет своей родине; охота к перемене мест, ставшая повсюду эпидемией, у него замечается все-таки меньше и существует, как правило, в пределах своего родного края. Отчая земля, живущая в каждом из нас изначальным составом, в сибиряке существует более требовательной страстью – потому, быть может, что и досталась она с великими трудами, память о которых еще не затерялась в череде поколений.

Без упорства и упрямства, в которых нередко упрекают сибиряка, человек здесь не смог бы долго продержаться. Первым насельникам, основателям деревень и сел, в буквальном смысле пришлось отвоевывать в глубинной Сибири у тайги каждый клочок земли. Стоило чуть ослабить силы – лес наступал на отнятую у него распаханную полосу. Тайга стояла стеной, далеко над

тайгой нависали горы, с которых никогда не сходят снежные шапки. Длинная зима выматывала силы душевные, короткое лето требовало вдвое больше сил физических. Среди лета ни с того ни с сего вдруг могли ударить заморозки и погубить урожай в тайге, в огороде и в поле на корню, зимой оголодавший зверь заходил в деревню и задирали домашнюю скотину, нападал на человека. В тепло угнетал гнус: комары, мошка да еще мокрец – крохотная, едва видимая ядовитая мушка, тучей налетающая в ненастье. Скот, донимаемый мошкой, пасся только ночами, днем стоял взаперти под дымокурором, люди работали в натянутых на голову волосяных сетках, под которыми трудно дышать, обмазавшись к тому же еще для верности дегтем. Все это от дедовских времен дошло и до нас: в моем детстве, в 40-х и 50-х годах, без сетки в среднем и нижнем течении Ангары нельзя было выйти на улицу и на две минуты, в 30-градусную жару (не до загара) обвязывались и закутывались в тряпки с головы до пят, чтоб – упаси господь! – не остался где лоскуток тела; вымазывались дегтем как черти, набивали в голенища сапог и ичигов траву, закрывая все ходы и выходы, – и помогало мало: ходили с опухшими глазами, с разъеденными, в кровавых полосах, руками и ногами.

Про наших комаров итальянец Сомье, побывавший за Уралом в конце прошлого века, писал: «Если бы Данте путешествовал по Сибири, то из комаров он сделал бы новую казнь для своих преступников». За двести и сто лет и до того, и сто лет спустя комары здесь, кажется, мало изменились, лучше человека приспособившись в нынешнем веке и к дыму, и к угару, и ко всем остальным изменениям в их владениях.

Чтобы выстоять и не опустить руки, мало было иметь крепкие силы, надо было иметь еще и крепкий дух, дух гордого сопротивления и неубывающего упрямства: а все-таки выдержу, не уйду, все-таки я сильнее.

Не подправил ли Бог этот край в Сибирь в самом конце своего творения, когда он усомнился в человеке? – вот как, озирая со своего поля расстилающиеся перед ним неласковые дали, в скорбной гордыне мог размышлять в ту пору сибиряк.

Прибавьте к его несчастьям в прошлом еще одно зло – бродяг. Известно, что Сибирь – край каторги и ссылки, куда со всей огромной и законом не устроенной империи сваливали за всякую, большую и малую, провинность, полагая это пользой для малонаселенного края. Почему-то принято считать (надо думать, по воспоминаниям, которые уголовники не пишут), будто сюда направляли едва ли не только политических ссыльных. Кстати, с политическими ссыльными, от декабристов и польских повстанцев до марксистов и большевиков, Сибири повезло, хотя сами они, оказавшись здесь, разумеется, не считали, что им повезло. Но добро есть добро, в каких бы обстоятельствах оно ни творилось, и для нашего темного в ту пору и малоизученного края их деятельность в науке, культуре и просто нравственном и личностном воспитании явилась огромным благом. Одно присутствие здесь декабристов, разбросанных в ссылке по всем просторам Западной и Восточной Сибири, имело на общественность такое влияние, что, во-первых, будучи во многих местах разрозненными умами, она стала общественностью и, во-вторых, обрела цели, которые в конце концов привели к открытию Томского университета.

Но Сибирь в основном была наводнена уголовниками. В некоторых углах их насчитывалось больше, чем местных жителей, и понятно, что ничему другому, как своему ремеслу, они их учить не могли. Дело даже не в развращении нравов; коренной сибиряк был достаточно устойчив, чтобы не поддаваться ему, – главная беда исходила от густого бродяжничества этих людей. Надзор за ними никуда не годился, убежать с места поселения было намного легче,

чем выжить затем в дороге, поэтому человек, решившийся на побег, готов был на все – на воровство, на грабеж, на убийство. Это мы теперь, выпевая жалостную песню о бродяге, который «к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет», сокрушаемся о его погубленной судьбе, – предок наш плакал от него горькими слезами. Он держал оружие не только против зверя, но и против темного человека, который в любой момент мог постучать в окно и потребовать все, что ему заблагорассудится. Надо ли удивляться после этого недоверчивости и скрытности сибиряка, его якобы недружелюбности и холодности? Да, недоверчив, холоден, приглядчив, но только поначалу, пока не изучит тебя и не поймет, что ты зла не несешь, – и тогда душа нараспашку, и этот же человек, который вот-вот, казалось, завернет тебя с порога, принимает и угощает как родного брата, без лишних слов и ненужных чувств, но хлебосольно, дружелюбно, с той искренностью и радушием, с которыми и должен радоваться в этом мире человек человеку.

О гостеприимстве сибиряков ходят легенды, быть может, несколько преувеличенные, имеющие, однако, немалые основания, чтобы им появиться и держаться.

Деревни и села по рекам отстояли друг от друга далеко и были небольшими, круг людей в них один и тот же, поэтому, истосковавшись в долгом таежном промысле и страдных делах по свежему человеку, сибиряк умел ценить общение и пользоваться им. Оно было для него как праздник. Да и просто отношения друг с другом, со своими соседями и односельчанами отличались основательностью и серьезностью. Сердце по пустякам на мелкие обиды и ссоры не сворачивали, а дружили – так дружили, враждовали – так враждовали, все в полную силу и по полной мере.

Без взаимовыручки и общинного духа обойтись здесь было труднее, чем где-либо в другом месте, и этот общинный дух, как ни странно, прекрасно уживался в сибиряке рядом со скрытностью и индивидуализмом: одно – для

связей с миром понятным и привычным, другое – для всего, что представлялось посторонним и подозрительным и чего в Сибири хватало с избытком. Уходя из таежного зимовья, охотник обязательно оставлял сухую растопку, спички, соль, еду – мало ли в каких обстоятельствах может оказаться человек, который придет сюда вслед за ним. Этот закон неукоснительно соблюдался веками и стал исчезать только в самое последнее время. Для тех же бродяг, от которых сибирский старожил много страдал, он, запираясь на ночь, не забывал вынести на специально вырубленное для этой надобности в глухом заплоте окно кринку молока и буханку хлеба: поешь, путник, и следуй дальше. Выносил прежде всего из сострадания, а уж потом – чтобы отвести от своей усадьбы злую руку. И принято было отдавать последнюю копейку, когда по городам и селам, от дома к дому и от избы к избе незнакомые люди, пряча глаза, собирали «на побег товарищу».

Но больше всего на характер сибиряка повлияла сама Сибирь – как земля, как мир, в котором он жил и воздухом которого он дышал, как рождающая и несущая его родина. Подобно тому, как «в народах отражается их отечество» (А. П. Щапов), в человеке отражается его отчий край.

Нас могут подавить лишь то величие, та мощь, которые неестественно и резко выделяются среди всего остального, делая сравнение грубым и печальным. Когда же все в природе вокруг соразмерно, выдержано в одном крупном масштабе, это возвышает, в свою очередь, и человека. Генетика земли – вещь столь же изначальная и определенная, как и генетика крови. Ввиду великой природы и ее неослабевающего торжества человек невольно чувствовал себя значительным и сильным. Малолюдность увеличивала в нем это настроение. Огромные труды, затраченные, чтобы закрепиться и выжить на этой нелегкой земле, способствовали относиться к себе с уважением – как к величине того же порядка, что и все вокруг, и даже

выше. Весь мир рядом дышал суровым достоинством и свободой, затаенной глубиной и крепостью, и во внешнем покое ощущалось пружинистое напряжение – сибиряк, естественно, перенял этот дух, и, наложившись в нем на стихию прадедовской вольности, он затвердел, пожалуй, чуть больше, чем надо. Неверно, что сибиряк не общителен, но общительность его с равным носит характер соревнования и соперничества, с неравным – покровительства. И то и другое проявляется без нарочитости и принятой на себя роли, проявляется само собой, но всегда сибиряк помнит, что он сибиряк, и дает понять это другим. Гордость от своего природного происхождения доходит в нем порой до гордыни. Сейчас это качество, разумеется, сильно ослабло, но не утратилось совсем.

Важно еще, что здесь никогда не существовало крепостного права, давившего на человека и физически, и морально, лишавшего его самостоятельности и гнетуще влиявшего на его отношение к труду и вообще к жизни. Сибиряк привык полагаться на себя. Земли было вдоволь; сколько хочешь, сколько можешь – бери и обрабатывай. Административный гнет, тяжкий в городах, до деревни доходил слабыми и обессиленными распоряжениями, которые опытный мужик не торопился исполнять. Русская пословица: «На Бога надейся, да сам не плошай» – имела тут прямой и практический смысл. И действительно, сибиряк не отличался глубокой созерцательностью и набожностью (кроме, разумеется, раскольников); расчетливый ум преобладал в нем над чувством, но преобладал не из корысти, а из самого состава здешнего старожилы. Странно было бы искать в этом рожденном из постоянного сопротивления, закаленном в лишениях, «огнеупорном» духе расслабленность и размягченность, свойственные жителю степной России. Но это говорится уже не в достоинство сибиряку, а для того, чтобы показать, что в нем есть и чего в нем нет. Он и голову задирает, глядя в

небо, как на могущественного соседа, мечтая верой при-
способить его для себя и своего хозяйства.

Можно сказать, что во всех своих качествах, удач-
ных и неудачных, плохих и хороших, сибиряк есть то, что
могло произойти с человеком, за которым долго не поспе-
вали ограничительные законы.

Но, размышляя о сибиряке как о выделившейся бла-
годаря отбору и местным условиям русской ветви, не сле-
дует забывать, что он расселился на огромных territori-
ях, происходил из различных социальных групп и только
поэтому уже не мог быть одного лада и одного покроя.
Алтаец, выходец из сурового раскола, и забайкалец, пре-
док которого сослан был в рудники, или прямой потомок
вольного казака на берегах Енисея – все они мало походят
друг на друга. И потому всякие попытки вывести из сибир-
яка нечто единое и общее имеют весьма приблизитель-
ные очертания.

Впрочем, на то он и сибиряк, на то она и Сибирь, что-
бы не поддаться полному извлечению из себя и остаться
вещью в себе.

Мы любим иной раз сказать не без гордости: «Си-
бирь – Россия больше, чем Россия».

В этих словах, появившихся не сегодня и ставших
поговоркой, нет и намека на противопоставление или на
спор. Сибирь и Россия – одно целое. Сибирь без России не
существует, и пускаться по этому поводу в доказательства
нет необходимости. Речь о другом. Быть может, из ложно-
го патриотизма, а быть может, из сдвинутых в свою сто-
рону наблюдений, но хочется верить, что некоторые каче-
ства русского человека сохранились в сибиряке полнее и
лучше. Заслуги в этом мы себе не берем, так сложилось, и
не может быть, чтобы чувства наши совсем не имели под
собой никаких оснований. Еще в прошлом веке отмечал-
ось: «Сибиряк-крестьянин представляется тем русским

человеком, каким он был в России древле, до появления кабалы, холопства, крепостного права; природные свойства русского земледельца получили здесь свободное развитие» (С. Я. Капустин).

Можно припомнить в этой связи, что всякое иностранное влияние, будь оно немецким или французским, которым, как пожаром, загорались прежде время от времени российские столицы, добравшись за тысячи верст на лошадаках до Томска или Иркутска, неминуемо покрывалось сибирским куржаком и переходило на крепкий сибирский «диалект». Можно сослаться на традиционную недоверчивость сибиряка, который не вдруг бросится исполнять погоняющие друг друга указания, дотошливо примериваясь, будет ему от них польза или нет. И можно, внимательно присматриваясь к сибиряку, заметить, что при всех потерях, случившихся в его характере в последние десятилетия, он остается все же в границах более или менее здоровой морали и искренних отношений, что по нынешним временам ой как не худо. Но самое важное: русский человек (как и всякий другой в своем изначальном национальном замесе), чувствующий себя вполне русским и вполне человеком лишь среди создавшей его материнской природы и растерявшийся там, где связь с нею нарушена, в Сибири все-таки имеет пока возможность жить среди родных степей и родных лесов. Хотя и приходится оговориться, что возможность эта с каждым годом стесняется и уменьшается, а если и действительно удастся совершить поворот сибирских рек, она, бесспорно, исчезнет совсем.

Конечно, сибиряк ныне уже не то, чем он был даже и сто лет назад. Его «сибирская порода» сильно разбавлена, и, кажется, совсем немного остается, чтобы она превратилась в одно лишь географическое понятие. Бесследно ничто не проходило – ни каторга и ссылка, ни массовое переселение крестьян после освободительной реформы и до на-

чала Первой мировой войны, когда в Сибирь перебралось четыре миллиона человек – почти столько же, сколько в ней было своего населения. Лишь крепкие, устоявшиеся нравы, не без помощи матушки-природы, в течение десятилетий смогли воспитать из них сибиряков.

При этом важно еще, что переселенец приходил сюда на постоянное житье и волей-неволей вынужден был считаться с местными писаными и неписаными законами. Когда же тридцать и двадцать лет назад началось новое «покорение» Сибири и хлынули на стройки могучие призывные волны, для них этого препятствия уже не существовало. Молодежь ехала сюда прежде всего как на строительную площадку, откуда, сделав свое дело, научившись ремеслу и заработав на семью, в любой момент могла уехать – как оно чаще всего происходило и происходит. Быть может, у возвращающихся из Сибири и остается к ней теплое чувство, которое они увозят с собой, но на месте они оставляют легкое и стороннее отношение к земле, на которой им временно довелось работать и которая так и не стала для них родной.

Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И перед числом временных и сезонных людей коренной сибиряк вынужден был посторониться. Он и пашет, и строит, и рубит, и добывает, доля трудов его в происходящих в Сибири переменах гораздо больше, чем это может показаться по газетам и журналам, но все он делает как бы вослед, увлекаемый мощными хозяйственными и индустриальными потоками. Он словно бы инстинктивно, по чувству и долгу сибиряка, выбирает место, откуда способней и легче будет порадеть о родной для него земле.

И в городе, и в деревне он сильно изменился, теперешний сибиряк. Но он все еще сибиряк, и тем сильнее он тоскует о потерянных своих качествах (для примера можно сослаться на героев книг и фильмов Василия Шукшина), чем больше они были необходимы ему для крепости и

надежности в жизни. Но именно это и дает надежду, что за оставшееся в нем «нутро» он станет держаться со собственными ему упорством и упрямством.

* * *

А создать Сибирь не так легко,
как создать что-нибудь под благо-
словенным небом.

И. А. Гончаров

Холодные и дикие просторы!..

Как давно были сказаны впервые эти слова и были ли они сказаны кем-то, или они всегда беззвучно и властно, как дух, стояли над Сибирью, ниспуская на человека путешественника тоску и тревогу? Ибо если и были они сказаны, то человеком путешествующим, заранее робевшим перед теми огромными расстояниями и тяжелыми испытаниями, которые ему предстояло преодолеть. Он переезжал Урал, останавливался перед пограничным столбом, испитым прощальными, раздирающими душу надписями каторжников и просто людей, не ждавших впереди ничего хорошего, потом трогал дальше, но впечатление, оставленное надписями и усиленное собственной печалью, овладевало им надолго. Медленно и томительно стягивались назад версты, одна и та же стояла перед глазами картина, как казалось ему, унылая и безжизненная, сквозь которую донимавшая его разбитая дорога напоминала дорогу в ад. А тут еще по ней, по этой дороге, колонны несчастных – то арестантов, то переселенцев, ищущих доли, оборванных и напуганных, а тут еще встречный краснорожий лихач понукнет без причины злым словом – все как на обороте нормальной человеческой жизни, все как в чужбине, которой никогда не обогреться и не обласкаться и которую нельзя представить для кого-нибудь желанной родиной.

С этим настроением и ехал путешественник и день, и два, и три, сквозь тяжелое раздумье заметив однажды, что небогатый лес по сторонам дороги сменился степью. Но и она надолго застыла в своем однообразии, и она казалась бесконечной, не способной вызвать теплое чувство. Ее приходилось лишь терпеть и ждать, что будет дальше, и в худшей, но новой картине надеясь найти облегчение для изнуренного взгляда.

И оно, облегчение, действительно наступало. Очнувшись, как от глубокого сна, путник вдруг отмечал с удивлением и отрадой, что и утомившие его колки, и все чаще и смелей выступающие из непроезжих краев леса с сосной и лиственницей, и сама земля, постепенно теряющая ровную стать, начинают волновать его все сильнее и сильнее, все ошутимей рождая в нем отзыв как бы на изначально заказанную встречу. И он уже не понимал, отказывался понимать, почему мог он равнодушно смотреть по сторонам, что случилось с ним, если отворачивался он от этой редкостной красоты.

Антон Павлович Чехов, пересекавший еще на лошадях в конце прошлого века Сибирь в поездке на Сахалин, проскучал до самого Енисея. «Холодная равнина, кривые березки, лужицы, кое-где озера, снег в мае да пустынные, унылые берега притоков Оби – вот и все, что удастся памяти сохранить от первых двух тысяч верст». И даже женщина – «женщина здесь так же скучна, как сибирская природа». А подъехав к Енисею, ахнул: «...В своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея». И следовал дальше в восторге и от сумрачной бесконечной тайги, и от рассказов бывалых людей об охоте и жизни.

Другой русский писатель, И. А. Гончаров, за сорок лет до Чехова проезжавший Сибирь в своем кругосветном путешествии с противоположной стороны – от Охотского моря, после богатых и тучных тропических красот, после Китая и Японии, поначалу едва выносил стылые и раскры-

тые просторы Северо-Восточной Азии. Но неподалеку от Лены встрепенулся и он. И даже от зимней, укрытой снегами и льдом, даже от безжизненной в эту пору великой реки отыскалось в уставшем путешественнике свежее чувство восторга и проникновения, с которым он, называя себя романтиком, и продолжал путь.

В обоих случаях так оно и должно было случиться.

С какого края к ней ни подъезжай, Сибирь не торопится раскрываться, и лучшие свои творения с любовью и вкусом она расположила в глубине. Впрочем, это еще и вопрос: что считать лучшим? И два человека не сойдутся здесь в одном мнении. Мне, как жителю срединной Сибири, представляется, что лучшее – подле Байкала, Саян и Енисея; алтаец станет уверять – что у него, на Алтае; чукча – что оно по берегам холодных северных морей. Каждому из нас мила своя родина, вот еще качество сибиряка: горячий патриотизм. Но сейчас речь идет не о местных мнениях, а об общем и, по возможности, беспристрастном взгляде на Сибирь, как на страну, которую творила Природа.

Уверен: те же самые картины, которые при въезде в Сибирь показались нашему путешественнику унылыми и безрадостными, на обратном пути преобразятся до такой степени, до того станут и уместными, и притягательными, и способными сильно подействовать на эстетическое чувство, что он возьмется оглядываться в недоумении: полно, да это, наверное, другая дорога. Нет, дорога та же самая и те же самые картины, измененные, быть может, лишь следующим временем года, но путешественник уже не тот. Он уже побывал в Сибири, он многое повидал, поразившее его воображение, сибирские впечатления и в нем самом открыли какие-то новые и славные просторы, о которых он прежде не подозревал.

Сибирь имеет свойство не поражать, не удивлять сразу, а втягивать в себя медленно и словно бы нехотя, с выверенной расчетливостью, но, втянув, связывать на-

крепко. И все – человек заболевает Сибирью. После сибирской язвы, теперь, кажется, не существующей, это самая известная болезнь: всюду после этого края и долго человеку тесно, грустно и скорбно, всюду он истягивается мучительной и неопределенной недостаточностью самого себя, точно часть себя он навсегда оставил в Сибири.

В нашей природе все мощно и вольно, все отстоит от себе подобного в других местах. В Западной Сибири равнина – так это равнина, самая большая и самая ровная на планете, болота – так болота, которым и с самолета нет, кажется, ни конца и ни края. Восточносибирская тайга – это целый материк, терпящий, к слову сказать, и самые страшные бедствия в своей жизни от вырубок и пожаров. Реки – Обь, Енисей, Лена – могут соперничать лишь между собой. В озере Байкал пятая часть пресной воды на земном шаре. Нет, все здесь задумывалось и осуществлялось мерою щедрой и полной, точно с этой стороны, от Тихого океана, и начал Всевышний сотворение Земли и повел его широко, броско, не жалея материала, и только уж после, спохватившись, что его может не хватить, принялся выкраивать и мельчить.

Но это о размерах, об объемах, а что сказать о сибирской красоте? И разве возможно, к примеру, выразить словом хоть приблизительно что-нибудь, достойное его, о Байкале? Любые сравнения, любые слова будут лишь слабой и блеклой тенью. Если бы не могучие, под стать ему, Саяны рядом, не Лена, берущая неподалеку свое начало, не Ангара, несущая байкальскую воду к Енисею, можно было бы решить, стоя на берегу этого чудо-озера и глядя на его ближние контуры и воду, на его краски и озаренность сверху, от которых даже и не тает, а обмирает в глубоком обмороке душа, – можно было бы решить, что Байкал случайно обронен с какой-то другой планеты, более радостной и богатой, где с тамошним жителем он был в полном согласии. С тем же чувством смотришь на Телецкое озеро

на Алтае. Эталон красоты европейской – Швейцарию – к горному Алтаю подставляют особенно часто, природа здесь не просто живет, а царствует безбрежно и всевластно и, словно устыдившись своих высот – высот не над уровнем моря, а над уровнем человеческого восприятия, начинает от великодушия спускаться вниз, с державной легкостью снося свои богатства, чтобы, как зримые божественные звуки, прозвучали они зазывно и ободряюще. Не случайно именно здесь, на Алтае, два столетия подряд искали русские люди таинственное Беловодье, легендарную страну, устроенную как рай земной, где они могут зажить в полном счастье. Искали и, по их представлениям, находили, приводили сюда из Европейской России, с Урала и из Сибири равнинной своих земляков, начинали строиться и пахать – было же, значит, в этих местах что-то особенное, нерядовое, что заставляло смотреть на них с благословенной надеждой. И все здесь могло быть как в раю – да подводил человек, добравшийся со своими привычками, законами и установлениями в любую глухомань.

Сибирской Швейцарией называют и Минусинский район на южной границе Западной и Восточной Сибири в Красноярском крае. Если есть в Швейцарии или где-то в теплой Европе невесть как попавший туда уголок Сибири, тогда объяснимо: их перепутали, и то, что предназначалось Европе, очутилось здесь по счастливой случайности. Везде вокруг Сибирь как Сибирь, а в минусинской котловине на удивление созревают арбузы, дыни; помидоры вырастают настолько крупными, что с ними едва ли могут соперничать и южные плоды.

Впрочем, у нас немало таких вкраплений несибирского, казалось бы, характера. На Байкале есть уголок по реке Снежной, где рядом с лиственницей и кедром соседствуют неохватные реликтовые тополя и голубые ели. О Байкале лучше не заводить разговора. Здесь слишком много всего, от простейших растений до крупных живот-

ных, существует в единственном, нигде более не повторяющемся виде, а если и повторяющемся – в этом краю по природным законам быть не должном. Откуда, как – непонятно. Ученые, продолжая открывать их, продолжают и недоумевать. Не все знают, что в некоторых благодатных байкальских местах солнечных дней в году больше, чем на южных курортах (недавно я прочитал в одном солидном издании, что Иркутск по количеству получаемого солнца после Давоса занимает второе место в мире), а вода, в самом Байкале постоянно холодная, ледяная даже и летом, в заливах нагревается выше двадцати градусов. И как не предположить тут, что все эти объяснимо и необъяснимо удачные исключения для того и представлены, с той заведомой целью и созданы, чтобы подсказать человеку, что ему делать, в какую сторону преобразовывать Сибирь, если она покажется скупой и неуютной.

Как и все в Сибири – как человек, земля, климат, – сибирская природа не может быть всюду на одно лицо. Представьте только расстояния, о которых пришлось бы говорить, чтобы выразить их общим понятием. И лишь зимой все в ней из конца в конец оцепеневает в одной тяжелой недоступной думе. Оголенно и стыло лежат белые равнины, успокоенно, как оставленные пограничные преграды, выступают из снегов и склоняются под снегами горы, дремлет в набрякшем морозном узоре тайга, закрываются льдом озера и реки. Все обращено внутрь себя, все заморожено одной исполинской охранной силой. В эту пору хорошо понимаешь, откуда в прошлом могли возникнуть легенды не только о засыпающих на зиму людях, но и о замерзающих в воздухе, не долетевших до слуха словах, которые с весенним теплом способны оттаивать и звучать сами по себе, вдали от сказавшего их человека.

В Сибири легко поддаться такому настроению.

Весна у нас – это еще не весна, как ее принято всюду понимать, а добрых два месяца только раскачивание зимы:

тепло – мороз, тепло – мороз, пока не свернет наконец на устойчивое тепло. И тогда торопится оттаять и расцвести, распуститься и зазеленеть все вокруг наперегонки. В северных широтах это похоже на выстреливание лета: еще вчера было разорно и голо, еще только приготавливалось к переменам, а сегодня уже завылгядывало отовсюду дружной всхожестью, завтра – загорится полным летним заревом. И заполыхает красотой яркой и отчаянной, не способной на оглядку: как медлительна зима, так торопливо лето. Только-только начало августа, а уж оно на свороте, и заходит в него по-свойски, как домой к себе, осень. С тем и живет лето: с одной стороны поджимает холодная весна, с другой – осень.

Зато осени стоят долгие и тихие. Конечно, год на год не приходится, и бывает по-всякому, бывает, что и этой поре не удастся задержаться, но чаще всего, рано наступив, она поздно и отступает, давая возможность всему живому в природе, отстрадавав, отдохнуть и понежиться под солнцем. И не редкость: обманутые неурочным теплом, во второй раз за сезон набухают почки и расцветает по склонам гор багульник, любимый сибиряками кустарник, по виду неказистый, корявый, но так радостно, так самозабвенно цветущий фиолетовым или розовым роспуском. И подолгу горят-догорают леса, пламенея широким разбросом осенних красок, здесь особенно чистых и сияющих, высоко и радужно наполняющих собой воздух.

«Горят», «полыхают», «заревом», «пламя» – это не из страсти к пожарной лексике. Так оно в Сибири и есть. Сибирской природе не свойственна ленивая и сытая красота южных мест, ей приходится, повторюсь, торопиться, чтобы успеть расцвести и отцвести, принеся плоды, и делает она это с выверенной стремительностью и скоротечным, но ярким торжеством. Есть у нас цветы, которые за Уралом не растут, они так и называются: жарки, огоньки. В июле, когда они распускаются, сочным, праздничным заревом озаря-

ются таежные поляны, и ничем нельзя поколебать впечатления, будто от них ощутимо доносит теплом.

Итак, стремительность в одно время года и медлительность – в другое, с неровными и непрочными в своих границах переходами – это и есть Сибирь. Порывистость и оцепенелость, откровенность и затаенность, яркость и сдержанность, щедрость и сокрытость – уже в понятиях, имеющих отношение не только к природе, – это и есть Сибирь. И, размышляя об этих двух едва ли не противоположных началах, вспоминая, как велика, разнообразна и не проста Сибирь, с той же порывистостью кидаешься вслед беспокойному зову и с той же сдержанностью приостанавливаешься: Сибирь!..

Слишком многое сходится нынче в этом слове. И так хочется из этого огромного и сложного клубка связанных с Сибирью противоречивых надежд и устремлений, так хочется добыть из него, как волшебное жемчужное зерно, одну простую и очевидную уверенность: и через сто, и через двести лет человек, подойдя к Байкалу, замрет от его первозданной красоты и чистых глубин; и через сто, и через двести лет Сибирь останется Сибирью – краем обжитым, благоустремленным и заповедным, а не развороченным лунным пейзажем с остатками закаменевших деревьев.

В каждом развитом духовно человеке повторяются и живут очертания его Родины. Мы невольно несем в себе и древность Киева, и величие Новгорода, и боль Рязани, и святость Оптиной Пустыни, и бессмертие Ясной Поляны и Старой Руссы. В нас купиной неопалимой мерцают даты наших побед и потерь. И в этом смысле мы давно ощущаем в себе Сибирь как реальность будущего, как надежную и близкую ступень предстоящего возвышения. Чем станет это возвышение, мы представляем смутно, но грезится нам сквозь контуры случайных картин, что это будет нечто иное и новое, когда человек оставит не-

нужные и вредные для своего существования труды и, наученный горьким опытом недалеких времен, возьмется наконец не на словах, а на деле радесть о счастливо доставшейся ему земле.

Это и будет исполнением Сибири. Таким и должен быть сибиряк, житель молодого и славного края, – края, имеющего право на свое будущее.

1983

КЯХТА

Мы приехали в Кяхту поздно вечером, а утром, поднявшись на гору, откуда вся Кяхта открывалась как на ладони, я вспомнил свою бабушку Марью Герасимовну, безграмотную и мудрую деревенскую старуху, которая никуда с Ангары не отлучалась, с сомнением относилась к существованию в мире англичан и французов, но в Кяхту верила неукоснительно. С детства слышал я ее вздохи: «Это че ж такое деется, это пошто Кяхта-то простаивает?» – когда трудно стало с чаем, без которого бабушка обходиться не могла. Много без чего могла, а без чая никак. Она страдала без него так сильно, раз за разом поминая и заклиная Кяхту, что в неокрепшем моем умишке надолго отложилось, будто Кяхта – это второй после Москвы по важности город, влияющий на судьбу всякого и каждого.

И вот теперь передо мной лежал маленький городишко, какие прежде называли заштатными, почти сплошь в старой части деревянный, со склонов трех сопок стекающий вниз и открыто, но несмело выходящий в четвертую сторону – к монгольской границе. И лежал он как-то немускулисто и расслабленно, казалось, даже удрученно, словно до сих пор не пришел в себя от последнего решительного поворота судьбы. Позднее это впечатление если и не изменится, то отмякнет, сделается точней и справедливей,

но поначалу оно таким именно и было: неужели это Кяхта? Неужели это Кяхта, которая сто лет назад гремела на всю Россию, к которой с почтением относились в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, которую называли «песчаной Венецией», заказы которой исполнялись в первую очередь, зная, что Кяхта не скупится, которая из всех сибирских городов спустя полтора века после Мангазеи приняла на себя ее славу «златокипящего города»?! Неужели все это здесь и происходило? Днем и ночью вон оттуда, от границы, где теперь монгольский город Алтан-Булак, шли верблюжьи караваны с чаем и холстами, выгружались вон за теми стенами гостиного двора, где ныне прядильно-трикотажная фабрика, и купцы, прибывшие из глубин Китая, шли отдыхать вон в тот двухэтажный каменный посольский дом на территории пограничного контрольно-пропускного пункта. Неужели и верно, что с Воскресенским собором, стоящим сейчас сиротливо и сутуло, только два-три храма в России и могли соперничать по богатству, что в нем были хрустальные колонны, а строился и расписывался он итальянскими мастерами, что роспись их подновлял в нем позднее декабрист Николай Бестужев? Что темные и полуразрушенные три двухэтажных дома возле речки Кяхты — это остатки поселка миллионеров, единственного, должно быть, в мире, где их, один другого богаче, ворочавших огромными оборотами, собралось в слободе за двадцать громких величин? И это только в Кяхте, а ведь жили-были они еще и в городе.

Даже из местных жителей далеко не каждый сегодня знает, что нынешняя Кяхта вобрала в себя небольшую слободу под этим именем и город Троицкосавск. Теперь они сошлись в одно целое. Линия между ними почти неразличима. Пожалуй, провести ее можно вон там, где справа от дороги на насыпи-кургане стоит памятник А. В. Потаниной, жене и помощнику в тяжелых трудах прославленного сибирского писателя и ученого Г. Н. Потани-

на, и где на месте кладбища, на котором была похоронена Александра Викторовна, разбит стадион. Город оставался по эту сторону от кладбища, слобода располагалась по ту, поближе к границе. Буквально в ста метрах от Кяхты начинался китайский город Маймачен, от которого теперь ничего не осталось. Здесь, в Кяхте, особенно хорошо заметно, какие изменения произошли в этой части света в наше столетие.

Зря моя бабушка в военное и послевоенное время надеялась и грешила на Кяхту. Кяхта отлучена была от чайных дел и потеряла торговое значение намного раньше. Упадок ее начался еще в прошлом веке, но Кяхта и прежде знавала кризисы, умела сопротивляться им и оставалась в силе вплоть до революции, даже до монгольской революции 21-го года.

Если история всегда права, то судьба нередко жестоко обходится со своими любимцами. Когда я был в Кяхте, город этот, поивший чаем всю Россию, давно забыл, как пахнет настоящий чай, и ничего, кроме испорченного грузинского, воняющего при заварке банными вениками, не видел в глаза.

* * *

Кяхта – дитя торгового брака России с Китаем. До этого, говоря народным словом, были шашни. И при Алексее Михайловиче, и при Петре Великом все попытки завести серьезные связи с самолюбивым и осторожным за-сибирским соседом кончались ничем: китайцы не держали условий, русские купцы из пределов Монголии и Китая высылались обратно. То, чего удалось добиться специальной миссии графа Саввы Рагузинского, в сущности, подготовлено было Петром, но осуществлено уже после его смерти. Много месяцев провела миссия в Китае, обговаривая пункты соглашения, натерпелась и унижений, и волокиты,

переезжала с места на место, и наконец в августе 1727 года соглашение было заключено и вошло в историю под именем Буринского договора: стороны подписали его на реке Буре в восьми верстах от Кяхты. По нему определялась южная граница России и позволялся проезд русских купцов внутрь соседней территории, а для меновой торговли решено было поставить в двух местах пункты, по одному с каждой стороны, которые могли бы поддерживать меж собой постоянные связи.

Выбор с нашей стороны такого пункта на реке Кяхте – особое условие Саввы Рагузинского. Позднее много обсуждалось, отчего город заложен был не на полноводных Селенге или Чикое, а на маленькой речушке, которая и в те времена своими размерами вызывала лишь милую улыбку. Надо сказать, что Кяхта и ныне, имея водопровод от Чикоя, страдает тем не менее от недостатка воды. Но осторожный, учитывающий каждую мелочь московский посол выбрал речку, текущую не из Китая, а в Китай. Недолго она туда течет, но в этом месте течет именно туда, что и сыграло свою роль. Почему? Потому, вероятно, что граф Рагузинский боялся коварства соседей, которые при неладах могли отравить воду. Не забывайте, что происходило это два с половиной века от нас, а тогда это имело не последнее значение.

Таким жребием и избрана была Кяхта и так на этой речушке появилась крепость, ставшая затем городом Троицкосавском. «Савск» – в честь Саввы Рагузинского. А рядом возникла торговая слобода. Сибирского купца в старые времена не приходилось подталкивать к освоению новых земель, он готов был хоть к черту на кулички, если они сулили ему выгоду и деятельность. Кяхта – уголок не из самых райских на земле. Пески, летом изнуряющая жара, зимой бешеные ветры; нравы, не отличавшиеся в то время мягкостью и благородством ни в Петербурге, ни в Москве, ни в Иркутске, здесь и вовсе должны были пред-

ставлять смесь плохого с худшим. На что, кроме барыша, рассчитывал купец, направлявший свои семейные повозки на нижний край России, можно только предполагать. Барышом довольствовались те, кто из знатных городов для ведения дела направлял сюда своих представителей, комиссионеров, осевшим же фамилиям этого было мало. Пески не втоптать, ветры не унять, зной не заговорить – значит, в песках, под ветром и зноем следовало создать приличествующую карману и благородию жизнь, за которую не было бы совсем стыдно ни перед заезжим гостем, ни перед собственной дочерью, обучающейся манерам и французскому языку. Начиналось, вероятно, с этого, затем пошло дальше.

Не вдруг, не сразу, но и без долгой приглядки, примеривая дом к дому, разрасталась слобода. Застройщиком и архитектором ее прежде всего было дело, выгодная торговля. К 20-м годам прошлого века роли поменялись: не город правил слободой, а слобода городом. Она давала ему и окрестным селам работу, меценатствовала над ним, открывала училища, строила храмы, была законодательницей вкусов. Рядом со слободой богател и город, но, богатая, терял власть и все чаще оглядывался на слободу: что скажут в Кяхте? Постепенно даже и в названии Троицко-савск стал подменяться Кяхтой.

Позднее Кяхта добилась почти невозможного. Единственная на всю Россию, она вытребовала себе право быть самоуправляемым городом. Формальное подчинение генерал-губернатору мало что значило, это прекрасно понимали и в Иркутске, и в Кяхте. Граф Муравьев-Амурский, бывший в середине прошлого века восточносибирским генерал-губернатором, для отвода глаз назначил пограничным губернатором в Кяхту своего родственника Деспот-Зеновича, попавшего в Сибирь за вольнодумство. Странная водилась у прославленного графа родня: другой его родственник, не кто иной, как Михаил Бакунин, опас-

ный государственный преступник, в 1861 году в роли доверенного лица кяхтинского купца Сабашникова бежал из Сибири на американском барке.

В обязанности пограничного губернатора входило первое разрешение могущих возникнуть между двумя государствами недоразумений, а также борьба с контрабандой. Вообще же городом управлял «Совет старшин торгующего на Кяхте купечества», который руководил торговлей, взимал налоги за чайное место, что давало хорошие деньги, и распределял их на торговые и городские нужды.

Нигде, кроме как в Кяхте... Эти слова объяснением, недоумением и удивлением не однажды возникают, когда знакомишься с историей города.

Начать с того, что ни в каком другом месте во всем свете Кяхта и не могла появиться; тут, в этом углу, где сходились разные религии, культуры и судьбы народов, и была ее точка, тут и велено было ей родиться. Возникнув из недр экзотики, она сама от начала и до конца была экзотикой, быть может, не совсем представляя, что это такое. Но она была российской территорией и обязана была подчиняться российским законам, не всегда удобно ложившимся на особенности ее занятий и быта.

Нигде, кроме как в Кяхте...

Между слободой и китайским городом Маймаченом, например, никаких ограничений и никакого контроля в движении туда и обратно не существовало: «ходы куда хоты». Но по дороге из Троицкосавска в слободу, из одного российского пункта в другой, едва разделенных между собой полутора верстами, стояла таможня, обыскивающая пешего и конного, его величество и его низайшество. Искать логику в российских законах и всегда-то представляло немалые затруднения, а в середине прошлого века законами по отношению к Кяхте управляло одно упрямство. Торговлю обязывали быть только меновой: вы нам чай и «китайку» (бумажное полотно), мы вам меха, мануфакту-

ру и кожи. Однако китайцев товарный обмен не устраивал, они требовали за чай серебро и золото. Китайцы требовали золото, а русское правительство решительно, под страхом каторги, запретило пользоваться им в торговых операциях: или сбывай топоры и кожи, или закрывай дело. Вопрос стоял так: быть или не быть Кяхте, потому что ни китайцы, ни московские власти на уступки не шли, а таможенные даны были строгие предписания. Чтобы вести торговлю, требовалось до мелочей, до сантиметра, грамма и копейки указывать в расчетных книгах, что на что меняется, дабы стоимость отданного товара точно соответствовала стоимости принятого.

Что оставалось кяхтинцам делать? От мала до велика они объединились в контрабанде. Это было великое надувательство не расположенных к ним установлений, о котором все знали, все участвовали и все закрывали глаза, делая вид, что ничего противозаконного не происходит. Торговля могла продолжаться на металл, она на него и продолжалась. «Экипажи делались с двумя днами, с потайными ящиками в оглоблях, осях, колесах, хомутах, дугах – словом, везде, где только была возможность устроить помещение для золота и серебра», – свидетельствовал Д. И. Стахеев, журналист и писатель, в то время торговавший в Кяхте и хорошо знакомый с ее нравами. Присланный для борьбы с контрабандой губернатор Деспот-Зенович очень скоро разобрался, что к чему, махнул на свою миссию рукой и счел за лучшее заняться изданием «Кяхтинского листка», в качестве цензора защищая его от цензуры. Торговля шла на металл, а товар, указывающийся в документах как меновой, оставался у купца и, путешествуя из Кяхты в Троицкосавск и обратно, в едином лице заносился в платежные книги и во второй, и в пятый, и в восьмой раз.

И так продолжалось десятки лет, в которые Кяхта не только не пострадала, а, напротив, расцвела – пусть

и преступной, недозволенной, но от этого не менее привлекательной красотой. Построены были гостиный двор в слободе и гостиный двор в городе, к двум деревянным церквушкам прибавились три больших каменных собора, один из которых в слободе являл собой роскошь, недоступную, пожалуй, и столицам. Разбили бульвар, для орошения его провели водопровод, открывались именные училища, выписывались для них библиотеки. На путешественников этих лет, оставивших свои впечатления о Кяхте, производят сильное действие две вещи – яркая бутафория Маймачена, где по китайским законам близ границы не разрешалось жить женщинам, и вызывающее богатство слободы.

Ограничения на торговлю сняты были в 1861 году. К этому же году относится письмо декабриста Михаила Бестужева к своей сестре в Петербург, опубликованное позднее в «Кяхтинском листке». В письме младший из братьев Бестужевых, отбывавших ссылку в Селенгинске, рассказывает, как он со своими маленькими дочерьми приезжал в Кяхту и какой они ее увидели: «Их все поражало, удивляло своею новизною. Вопросам и восклицаниям конца не было. По обеим сторонам улицы, по которой мы ехали, были устроены деревянные тротуары, окаймленные рядом тумб и фонарных столбов. Вечерело, жар схлынул, мы уже не глотали пыли. Толпы гуляющих, вызванные тихою прохладой вечера, тянулись но тротуарам длиною вереницею. Веселенькие, опрятные дома быстро мелькали мимо нас, но веселенькие глазки моей Лели успевали пробегать крупными золотыми буквами надписи над общественными домами, и она громко вскрикивала: вот детский приют, вот женская гимназия, а это приходское училище, аптека, типография и редакция “Кяхтинского листка”, дом общественного собрания... “Ах, папа! Посмотри: какая огромная церковь... сад... там музыка. Да и танцуют там!” После мирной, почти келейной нашей селенгинской жизни

их поразила эта деятельность торгового города, эти толпы китайцев, снующих по всем направлениям, эти бронзированные монголы на верблюдах...»

Остается добавить, что Михаил Бестужев, намеревавшийся прежде отправить свою дочь на учебу в Петербург к сестре, после этой поездки предпочитает оставить ее в Кяхте в гимназии С. С. Сабашниковой, матери впоследствии известной фамилии издателей.

Прошло более двадцати лет. В 1885 году в Кяхту впервые приезжает по судьбе политического ссыльного И. И. Попов, оставивший о себе в Сибири память общественной деятельностью и редактированием в Иркутске ядринцевских изданий «Восточное обозрение» и «Сибирский сборник». Попов был зятем самого видного кяхтинского мецената и прогрессивного деятеля из купцов А. М. Лушникова и прожил в Кяхте не один год. В своей книге «Минувшее и пережитое» он посвящает ей, пожалуй, самые полные, живые и интересные воспоминания. Не впечатления путешественника и гостя, а свидетельства очевидца и участника многих событий, читающиеся буквально захлеб. Быть может, временами Попов описывает Кяхту излишне восторженно, но ведь и для восторженности нужно было сохранить настроение и не поддаться привыканию, которое способно сгладить и принизить все что угодно. Чтобы этого не произошло, требовалась, конечно, далеко не обычная обстановка.

«Апартаменты кяхтинцев, – описывает И. И. Попов, – были обширны и располагались в двух этажах. Верхний этаж отводился под парадные комнаты. Комнаты всегда были со вкусом меблированы, и аляповатости меблировки купеческих семей России я не встречал в Кяхте. Картины, библиотека, музыкальные инструменты, бильярд, иногда зимний сад и всегда роскошные комнатные растения, какие я редко встречал даже и в России. Усадьбы кяхтинских купцов занимали относительно обширные площади.

С главным домом, флигелями, кухней, баней, службами, каретниками, конюшнями на десятки стойл, коровниками, конским и скотским двором, садом, где часто бил фонтан, и т.д. Дом кяхтинца – полная чаша, с массой челяди и служащих, с погребами редких вин и гастрономии, непосредственно выписанных из столиц, а то и из-за границы, с каретниками, полными разнообразных экипажей, конюшнями с кровными рысаками, выездными, верховыми, беговыми, рабочими лошадьми, каковых только для домашнего обихода содержалось 40–60. Для детей имелись ослики, у которых были также свои экипажи. Скотный двор был полон коров, всякой птицы. Все выписываемое было добротное, высокого качества: “Все равно втридорога платить – на бутылку целковый падает: стоит ли после этого дешевую дрянь выписывать” – так рассуждали кяхтинцы. И выписывали обувь, костюмы, обстановку и пр. из столиц, а дамские туалеты нередко от самого Ворта из Парижа. Известный портной в Петербурге Новотня находил выгодным для себя раз в год приезжать в Кяхту и брать заказы. Сняв мерки, он получал заказы и по телефону. Артисты, концертанты не боялись трястись от Иркутска и мерзнуть несколько сот верст – они знали, что гастроль с лихвой окупится».

Давайте переведем дух. Я позволил себе эту длинную выписку не только для того, чтобы показать, в какой роскоши купалась кяхтинская верхушка. Чего и ждать от удачливого прыщца, за каковой можно принять Кяхту, где миллионер сидел на миллионере и погонял миллионером! Разумеется, выхвалялись друг перед другом, не без этого, богатство требовало демонстрации и шума. Но бешеное богатство могло являть себя бешеным безобразием и дурным вкусом, нередко так оно и случалось, за примерами и в России и в Сибири далеко ходить не надо. В Кяхте же в продолжение прошлого столетия постепенно создалось в среде купцов независимое, образованное, с передовыми

для своего круга взглядами общество, о чем у нас еще будет возможность поговорить. Общество, разумеется, не-большое, но влиятельное, к которому прислушивались и подражали. Соревнуясь во внешней демонстрации богатства, в нем принято было соревноваться и в его благом употреблении. Со всем плохим и хорошим, замечательным, исключительным и непонятным это была все та же Россия, но – протащенная через Сибирь, порастрашшая по ее дорогам часть старых качеств и натершая часть новых, остановившаяся там, откуда по морям до Европы было ближе, чем до собственной столицы. Так или иначе это сказывалось на взглядах кяхтинского промышленника.

Вести выгодное дело – первая заповедь всякого торговца. От сибирского купца сама эта огромная и невозделанная земля потребовала расторопности, живого ума и образования, без которых еще можно было обходиться в XVIII веке, но не в девятнадцатом. В девятнадцатом, чтобы соперничать со своим братом-соотечественником и европейцем, приходилось присматриваться, как хозяйничает европеец, что имеет он в своем обзаведенье, какие машины и приемы, угадывать, куда он в торговле метит. Случались среди сибиряка, разумеется, всякие экземпляры, но экземпляры случаются во все времена, и речь не о них. На фигуру кяхтинского купца повлияло, кроме того, пограничное положение города, в котором он жил, его даже и не отдаленность, а заброшенность, обрекшая его на духовное нищенство и на влияние сильной соседней культуры. Одиночными и судорожными усилиями противостоять этому было нельзя, потребовались для поддержания порядка и духа постоянные общественные мероприятия и сборы. Так введены были акциденции – местный налог за чайное место, дававший немалые деньги. В кяхтинце по всей логике вещей должно было разыграть самолюбие, подогреваемое богатством, и оно, разумеется, выиграло. Московское купечество ставит новый собор краше старых,

давайте и мы не поскупимся, а Боткину поручим договориться с итальянцами, чтоб ехали и постарались затмить Москву. Петербург одевается у Новотни, а мы чем хуже? Далеко, говорите, от Петербурга, неудобно ездить на примерку? Ничего, Новотня сам к нам приедет, не пожалеет. Княгиня К. заказала в Париж платье Вурту? Ну и мы закажем Клавдии Христофоровне – что за оказия! Если моя дочь показывает способности, отчего бы ей не брать уроки скульптуры у Родена? И верно, дочь А. М. Лушникова Екатерина у него их и брала, и Роден считал ее лучшей своей ученицей. В Кяхту приезжали на жительство из Германии и уезжали в Швейцарию, никого это не удивляло.

«Показать товар лицом» имело здесь широкий смысл. Это значило, во-первых, показать себя, свое твердое положение и европейские вкусы одновременно с демократичностью и широкостью натуры. Дочь могли выдать замуж за французского коммерсанта, сына женить на горничной. Американец Кеннан, написавший хорошо известную у нас книгу «Сибирь и ссылка», побывал в Кяхте, заметил, что земля мала, – он встретил там и европейцев, и европейскую культуру, и продающиеся в лавке предметы из Нового Света. С. И. Черепанов, оставивший воспоминания о Кяхте 20–30-х годов прошлого века, уже в то время называет тамошних купцов «высокообразованными людьми, каких среди русского купечества не было». Едва ли верно, что «не было», решительные противопоставления в таких случаях чаще всего несправедливы, но и на кяхтинских весах, составивших это мнение, лежал, стало быть, не случайный груз местной культуры.

«Показать товар лицом» значило также показать свой город, который являлся здесь лицом России. Ясно, что кяхтинцы украшали и благоустраивали его прежде всего для себя, для сносного и даже красивого житья, чтобы меньше чувствовалась отдаленность, однако имел место и «показ». Рядом стоял китайский Маймачен, невольное

соревнование с ним происходило постоянно и во всем. Кяхта не только не должна была ударить в грязь лицом, но и по многим статьям, не зависящим от традиций и нравов разных народов, превзойти. О том, как живут в Кяхте и как работают, судили вообще о русских. Почти на всех путешественников, переступавших границу, в Маймачене производили впечатление чистота и восточная нарядность города, а больше всего – тучные и диковинные обеды из сорока-шестидесяти блюд. Мартос: «Не требуйте, чтобы я со всею подробностью описывал кухню китайскую, и многосложную до невероятности, и совершенно новую для европейца – ибо это есть вещь едва ли возможная». Кеннан: «Если они устраивают ежедневно подобные обеды, то остается только удивляться, как эта раса еще не вымерла. Человек, пообедавший подобным образом поздней осенью, может проспать, как медведь в своем логовище, без всякого питания всю зиму до следующей весны, если предположить, что он еще раньше не умрет вследствие несварения желудка». Кеннан имел решительное право на подобную оговорку: отобедавши в Маймачене раз, он провалялся в постели две недели и был болен три месяца.

В Кяхте тоже любили угощать и нередко утомляли чаями, в которых не было недостатка, а возле ведерных самоваров не пустовали и столы, но не это главным образом оставалось в памяти после Троицкосавска и Кяхты, не меню заставляло вспоминать «песчаную Венецию», а нечто иное, что касалось образа жизни и мыслей, в некотором роде даже образа богатства, который имел здесь заметные отличительные черты.

Но «товар лицом» – это и в прямом смысле товар, умение торговать и отказ от нечистых средств в торговле. Вот это, пожалуй, оказалось труднее всего. В первое столетие торговли обе стороны соревновались в искусстве надувательства друг друга, не стесняясь в самых грубых и безобразных способах и оправдываясь детской

логикой: «он первый начал». Отдать предпочтение кому-либо в этом старинном искусстве было невозможно, хороши, что называется, были те и другие. Китайцы прятали в куски материи, которую не позволялось разворачивать, деревянные поленья, наши мастаки зашивали в лапки пушного зверя, продававшегося на вес, свинец. Китайцы серебро подменяли латунью, русские за песцов выдавали мангазейских зайцев. Китайцы чурку заворачивали в свиную шкуру, зашивали и продавали за ветчину, русские укорачивали аршин. Дело докатывалось до прямого разбоя, что не однажды приводило к длительным перерывам в торговле. Нравы меняются не так скоро, как хотелось бы, и тем не менее при желании они все-таки меняются, и Кяхта тому доказательство. Шли годы, вместо вороватого и тароватого комиссионера со стороны появлялся купец, заинтересованный в долгосрочных прибылях, которые не могли постоянно держаться на обмане. Торговая община вырабатывала свои законы и заставляла соблюдать их всякого, кто рассчитывал быть жалуемым. Во второй половине прошлого века ко всему подозрительные китайцы полностью доверяли кяхтинцам. Сделки на огромные суммы обычно совершались под слово, и так же, как прежде обман, это стало в порядке вещей. Из последних десятилетий до нас дошел только один случай, когда слово кяхтинца чуть было не лопнуло, но купечество, прознав об этом, выложило все свои наличные и спасло себя и своего собрата от позора.

Помню, меня приятно удивило, когда я узнал, что до революции Иркутск по числу учащихся на тысячу жителей был далеко впереди Москвы и Петербурга. Но с Кяхтой Иркутску не сравниться, она по этой части сто очков могла дать любому городу. В 90-х годах в ней насчитывалось 8–9 тысяч жителей, всего ничего, а работали городское училище, реальное училище, женская гимназия, ремесленная школа, четыре приходских училища, сиропитательная

школа и т.д. И все они помещались в прекрасных зданиях и содержались в основном на общественные средства.

Из Кяхты вышли фамилии Боткиных, Сабашниковых, Белоголового, Прянишникова, послуживших России отнюдь не карманом. Первая издательница сочинений Ленина в России Водовозова – дочь кяхтинского купца Токмакова. В реальном училище преподавал И. В. Щеглов, известный сибирский историк. В войсковой русско-монгольской школе учился будущий знаменитый бурятский ученый Доржи Банзаров. Здесь жил и работал автор песни «Славное море, священный Байкал» Д. П. Давыдов. Сын декабриста Николая Бестужева А. Д. Старцев (он воспитывался в семье селенгинского купца Старцева и носил его фамилию) собрал лучшую в Европе библиотеку китайских манускриптов. В Кяхте снаряжали свои экспедиции исследователи Азии Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев, Н. М. Пржевальский и Г. Е. Грум-Гржимайло, П. К. Козлов и В. А. Обручев, тут они подолгу живали и выступали перед кяхтинцами с лекциями, помогли открыть краеведческий музей и отделение Географического общества.

Размышляя о судьбе этого маленького городка с громкой славой, поневоле задаешься вопросом: а что было бы, не пойди направление кяхтинского купечества вот так, как оно пошло, когда богатство не впало в чванство и самодурство, не отворотилось от наук и искусств и умело даже и сквозь толстую мошну видеть российское неблагополучие? Разумеется, взгляд сквозь мошну был несколько смещенный, однако смелость, самостоятельность, критический прищур отнять у него нельзя. Выручали образованность, знакомство с европейскими порядками, общение со многими передовыми людьми того времени. Кяхтинцы не раз без всякой опаски собирали деньги и высылали их Герцену на издание «Колокола». Через Кяхту переправлялась корреспонденция в Лондон, а из Лондона через Китай доставлялись номера журнала. Здесь не боялись открыто

их обсуждать и передавать друг другу. Крепкое положение и отдаленность, независимость от властей и вызывающая самость создали особый общественный климат с откровенно высказываемыми мнениями и взглядами, при котором высокомерие смешивалось с демократичностью, а здравый смысл с упрямством. Все было. Было, что один из самых больших воротил Кяхты Н. Л. Молчанов, отправив ругательную телеграмму издателю «Московских ведомостей» Каткову за помещенную там какую-то глупость, шел после этого на репетицию самодеятельного театра разучивать роль рядом с учителем и конторским служащим. И было, что другой воротила, поговорив о Герцене, скупал билеты на представление приезжей труппы и раздавал их своей дворне, отнюдь не из образовательных целей, а чтобы досадить «торгующему на Кяхте купечеству». Без всего этого и Кяхта была бы не Кяхта, а только одна вывеска. Но и при этом, при всем своем многоцветье и многотипье, при правилах и сопутствующих им исключениях из правил, она имела определенное лицо, и лицо это при толстых щеках выглядело значительным и культурным.

Но могла или не могла Кяхта при ином направлении и порядке местных вещей стать другим городом – темным, сытым и неповоротливым, каковых по матушке России водилось не так уж и мало? Отчего происходит, что неприметный по всем статьям, далеко отстоящий от больших дорог Минусинск издавна питается культурой, заводит богатые библиотеки и музей, выписывает лучшие издания, организует духовную жизнь, а город неподалеку, более богатый, выгодно стоящий и удачливый, тешится полусонным существованием, заглушая живую мысль тяжелой одышкой? Отчего? Не оттого ли, что в одних случаях единственным делом считается «дело», капитал, любым способом обогащение и материальное утверждение, а в других побеждает разумное мнение, что капитал не может существовать ради капитала, иначе человеку при капитале грозит перерож-

дение в зверя. Логика настолько простая и верная, что на практике чаще всего оказывалась недосягаемой.

Меняются времена, меняются и нравы. Но даже и при самых больших социальных переменах человеческие нравы обладают способностью держаться основных своих законов и правил. Нынешние молодые города тоже имеют хозьяев и обязаны появлением на свет одному или несколькими министерствам, осевшим в них со своим «делом». Между «торгующим на Кяхте купечеством» и «хозяйничающим на Ангаре наместничеством» та связь, что от них почти в одинаковой степени зависит судьба вверенных им городов. И тут не лучше, чем в старину: кому как повезет. Оказались в Ангарске среди «купцов» культурные люди, с самого начала радевшие за его духовную доблесть, и не во вред, а лишь в пользу «делу» отмечен, как Божьей печатью, Ангарск этой благородной славой. В Братске таких людей не оказалось – и романтическое еще недавно звучание города покрылось окалиной бесчувственного молоха. Во всякое время «дело», не сдерживаемое душой, не умеющее оглянуться на красоту и художественную выразительность мира, какими бы благими намерениями оно ни огораживалось, неизбежно придет к собственному выносу.

О Кяхте написано много, в течение почти двух веков она притягивала к себе запахом экзотики и богатства. Деньги не пахнут, пахнет употребление денег. Если человеку отдается вина первородности, то богатство тем более повинно в том, что оно богатство. Если бы не было бедности, оно, быть может, и не заметило бы себя, а при противоположном знаке нельзя не заметить. Отмаливая грехи, богатый человек обращается к Богу и дает деньги на храмы, платит тем самым налог. Явно, однако, недостаточный, чтобы успокоить душу. Требуется что-то еще, что-то земное. Всех бедных не оделить, на это не хватит никаких барышей. И тогда в поисках примирения с действительностью (тщетных, конечно, поисках) богатый человек платит

налог за свое мирское благополучие благополучию духовному – как он его понимает. Он строит школу или больницу, назначает стипендии ученикам, покровительствует людям не от мира сего – художникам, поэтам и актерам, видя в них какой-то смутный и непроявившийся, не доведенный до конца знак от Всевышнего, находящийся на пути к отчетливому изображению, когда на нем выступят имена благодетелей. Это психология вины за богатство, если она есть, психология откупа. Тут важно – «если она есть». Ее могло и не быть, чаще всего ее и не бывало. Это зависело как от «спелости» души собственника, так и от принятых в его обществе правил. Но если уж «есть», зачем же подозревать такую вину обязательно в дурных намерениях, коли она сослужила добрую службу?

Из многих и многих отзывов о старой Кяхте, в большей части восторженных или деловых, посвященных торговле, впечатления и статьи уже упоминавшегося здесь Д. И. Стахеева отличаются сдержанностью и сарказмом. Мало что нравится в Кяхте будущему редактору «Нивы» и «Русского вестника», в начале 60-х годов пробовавшему перо в «Кяхтинском листке». Купцы у него ленивы и бездеятельны, нравы дикие, собрания купечества и выборы старшины достойны комедии, аксиденции, взимаемые с каждого чайного места якобы для улучшения торговли, идут неизвестно на что, чиновники покупаются, общественные деньги тратятся на приобретение в Иркутске библиотеки – на что кяхтинцам библиотека? Вот здесь-то и зарыта собака: край земли должен быть краем во всем – в морали, во взглядах, организации дела и быта, всяческих общественных движениях к культуре, достойных лишь того, чтобы приезжему образованному человеку над ними потешаться. Надо же, библиотеку покупают, рвутся в образованность!

В наблюдениях Стахеева, вероятно, немало верного, он в Кяхте жил и судит о ней не понаслышке, но вот с этим

и теперь, спустя сто с лишним лет, трудно согласиться: знай сверчок свой шесток. Глушь, выходит, на то и глушь, чтобы оставаться там навсегда, географическая отдаленность означает отдаленность и заброшенность во всем, разница со столичным уровнем есть разница непреодолимая, налагаемая самой природой на развитие человека. Сибиряк, получивший образование в Петербурге, способен, вероятно, достичь в умственных и деловых занятиях не меньшего, чем европеец, если своей деятельностью он изберет удобренную почву, но у себя дома вся обстановка вокруг действует оцепеневающе и подчиняет себе.

Обстановка действует оцепеневающе, а всякие попытки изменить обстановку вызывают насмешку. И этот взгляд на Сибирь и сибирских просветителей держался долго, Сибири даровалась одна роль – быть проездной территорией для общения с другими землями и содержать в себе богатства для удовлетворения настоящих и будущих высочайших потребностей. И заводить культуру, украшать города, подвигать местных жителей к духовному обзаведению означало примерно то же, что от извлеченного из вечной мерзлоты мамонта ждать соловьиных трелей. Приобретение Сибиряковым для Томского университета библиотеки Жуковского вызвало позднее в определенной элитарной среде ту же реакцию: зачем Томску библиотека Жуковского, национальное российское достояние?

Уж в чем в чем, а в безынициативности и неповоротливости кяхтинское купечество обвинить невозможно. В конце 60-х – начале 70-х годов, когда чай в Россию пошел через моря по открытому Суэцкому каналу, оно выдержало страшный удар. Перевозка по воде обходилась в десять раз дешевле, чем через всю матушку Сибирь по дождям и морозам. Вот тут, когда грянула беда, и обозначилось, чем была Кяхта для Сибири: извоз по всему пути от китайской границы за Урал, мануфактурные фабрики и кожевенные заводы, работающие только на Кях-

ту, многочисленные ремесла среди населения, заготовка пушнины от Оби до Камчатки. Кяхтинцы сделали все, чтобы их прошение дошло до царя и было рассмотрено к удовлетворению спасительных предложений: пошлину за фунт чая снизили с сорока копеек до пятнадцати, цветочного – с шестидесяти до сорока, таможеню перенесли в Иркутск, позволив беспошлинную торговлю в ближних районах. Европу как рынок сбыта Кяхта потеряла, но Сибирь и часть России остались за ней. И тридцать лет после того, до следующего, еще более мощного удара, Кяхта продолжала процветать и благополучно конкурировать с морскими перевозками. Кяхтинский купец пользовался уважением во всей промышленной и торгующей России, кяхтинский купец первой гильдии – это было особое, высшее звание и огромный авторитет. Он проникал в Монголию и Китай и становился компаньоном чайных фирм, открывал фабрики в Пекине, добывал золото на Лене и бил бобров на Камчатке, участвовал в проникновении на Аляску и занимался хлопком в Туркестане. И даже чуть было не погубивший Кяхту Суэцкий канал умудрился использовать в свою выгоду, провозя чаи вокруг Европы через Ледовитый океан в устье Енисея, где не существовало пошлины. Он провел к Байкалу собственный, намного короче почтового, чайный тракт со станциями, ямщиками и рабочими, имел на Байкале и Амуре свои пароходы, приводя их опасными и дальними путями не откуда-нибудь, а с лондонских верфей.

Тут, вероятно, вернее было бы говорить о новом типе русского человека, своей деятельностью сокрушившего сказку о тяжелой русской созерцательности и симпатичной лени. После поразительного по своему упорству и устремленности броска казаков через Сибирь к Тихому океану в первой половине XVII века, после мангазейского торгово-промыслового чуда, вызывающего удивление до сих пор, после шелиховской кампании в Америку – Кяхта

была следующим «пружинным» действием на просторах Сибири русского характера, показавшего способности не только накапливать, но и мощно проявлять энергию.

На рубеже двух столетий Кяхту ждал новый удар. И тут Д. И. Стахеев прав, когда он пишет: «Обстоятельства, вызвавшие упадок кяхтинской торговли, наступили не вдруг и выростали в продолжение многих лет, но торговый люд не замечал этого; начальство тоже не отличалось достаточной прозорливостью относительно предстоявшей для Кяхты опасности. Враг, покушавшийся на интересы Кяхты, был сильнее всякого начальства, он роковым, неотразимым образом разрушал все преграды, встречавшиеся на пути его победоносного шествия. Враг этот – пар. Он убил Кяхту».

Пар этот – Транссибирская магистраль, взявшая на себя перевозки. Кяхтинское купечество еще пытается сопротивляться, отыскивая новые дела, готово строить на концессионных началах Трансмонгольскую железную дорогу, участвует в изысканиях, но начинается Мировая война, затем революция и Гражданская война... Кяхту занимают войска интервентов. Ей предстояло сыграть еще одну важную роль – стать центром по подготовке монгольской революции. Кяхтинские тузы, совсем недавно уверенные в том, что среди местных рабочих не может быть недовольных, с удивлением и страхом взирают на уличные процессии с красными флагами, выступившие против иноземцев и старых порядков. И, наконец, проснувшись однажды, Кяхта видит, как догорает Маймачен, партнер ее по торговле с китайской стороны, бок о бок с которым было прожито почти двести лет.

Напрашивается слово, что история рванулась вперед, теряя по пути своих любимцев, однако история к своим любимцам возвращается редко, а так хочется, чтобы Кяхта когда-нибудь снова обрела и величие, и достоинство, и славу.

* * *

Уже и «бабье лето» отгорело, наступил октябрь, а все такая гуляла по Забайкалью благодать с ненатужным теплом и солнцем, что впору было проверять календари. Люди раздевались до рубашек, дали стояли в чистых и отчетливых картинах, в бесточном воздухе висел горклый запах отстрадавших трав, от деревянных домов доносило нагретостью и стариной. Мы ходили по Кяхте и день, и второй, и третий, расспрашивая, сравнивая и раздумывая, то радуясь, то огорчаясь и недоумевая, поднимались на невысокие горы, одну и другую, вставшие по бокам города, и всматривались в рисунок улиц с таким вниманием, будто в нем могло явиться хоть тенью какое-то скрытое очертание.

Время, двигаясь одним могучим общим течением, для каждого из нас дробно и имеет вид своей родины. Если бы оно не склонялось, задерживаясь, над нашими городами и селениями – откуда взяться в них следам непоправимых остановок для даров и возмездия, как объяснить тогда, почему город то со вкусом и тщанием отстраивается, то разоряет себя, то теряет память, то начинает судорожно искать и восстанавливать материальные и духовные ее знаки, на которые бы сошло и поселилось рядом неотчаявшееся разумие.

При взгляде на Кяхту невольно являются мысли о властной усталости Времени, оканчивающего свое второе тысячелетие, со случайными установлениями и путанями, исключаящими одно другое, распоряжениями. На полуразрушенном Троицком соборе в парке крепится доска «Охраняется государством», рядом с отреставрированным и отданным под музей Успенским собором на месте городского кладбища разбит стадион, часть выковырнутых и оттащенных в сторону могильных плит валяется тут же, рядом со скамьями для зрителей, а нынешние юноши гоняют мяч на костях своих бабушек и дедушек. Памятники в

честь борцов революции и жертв белогвардейских застенков (в начале 1920 года в Кяхте в течение двух недель продолжалась расправа над свезенными сюда со всей Сибири и Урала 1500 видных революционеров) имеют холодный, безликий, неоконченный, далекий от скульптуры вид, говорящий о недолгом казенном внимании, на последнем из них, поставленном только что в память 40-летия Победы в Отечественной войне, неприличные надписи. Инструктивная, по инструкции, память – что может быть безотрадней и печальней, и увеселительное благоустройство на месте погребений – что может быть святотатственной и разрушительней для народной нравственности?!

Нет, гордость темного незнания изжить не так просто, как накопить ее.

Но кто объяснит, отчего нас притягивают развалины былого величия? Дело тут, вероятно, не в тайне, в том, что должно быть ближе тайны, в роковой справедливости обратного действия: за амплитудой могущества амплитуда запустения и небрежения. Или природа мирового порядка, которая властней государств и экономики, не дает никому надежд на постоянство, или что-то еще? Во имя чего творится возмездие, которое здесь, в слободе, служит еще одним подтверждением какого-то всемогущего закона, распоряжающегося по всей земле?

«Всего усадеб в Кяхте, считая, в том числе, гостиный двор, собор, пожарное депо, ветеринарную станцию, аптеку, дома двух врачей и пограничного комиссара, общественное собрание, два-три дома служащих, – было 35–40. Все они были расположены по широкой улице, посредине которой проходил бульвар, упиравшийся в общественный сад. На площади перед садом на горе возвышался собор, построенный в 20-х годах итальянцами, специально выписанными в Кяхту, а за собором – обширный гостиный двор. Но в этом гостином дворе не было ни лавок, ни торговли. Там хранились разные товары, стояли таборы чая, производились

разные работы по чистке кирпичного чая, пересыпки байхового; чай зашивались (ширились) в кожи и т.д. Рядом с гостиним двором стояло пожарное депо с пожарной командой, которую содержало кяхтинское купечество, а команда должна была охранять Кяхту от пожаров».

Такой увидел Кяхту в ноябре 1885 года И. И. Попов, воспоминания которого здесь уже приводились. Мы были в Кяхте в октябре 1985-го, без одного месяца спустя ровно сто лет.

В гостиним дворе расположилась прядильно-трикотажная фабрика. Воскресенский собор, когда-то сказочно богатый и красивый, красоту которого подновлял после итальянцев Николай Бестужев, пострадал больше всего – точно по тому же самому закону за степень красоты и богатства. Теперь собор в лесах реставрации, которая затянулась на пятнадцать лет, после чего решено устроить в нем музей географических открытий в Центральной Азии. Дело хорошее, и в Кяхте самое место такому музею, только когда это еще будет! А пока слепо и безучастно, то ли оживленный, да потерявший интерес к жизни, то ли в рост замумифицированный, стоит собор в двадцати шагах от пограничного шлагбаума и так и кажется, что жметя к нему, отжимаясь от той стороны, где за папертью проходила улица с бульваром и общественным садом.

Ни сада, ни бульвара, ни, добавим, пруда нет и в помине. И быльем, и травой поросло, давно занялось пустырем, по которому фабрика начинает ставить одноэтажные жилые строения. От улицы миллионеров осталось три дома: один, вблизи границы, принадлежал, вероятно, Швецову, образованному человеку, знавшему языки и европейскую культуру и державшему для детей в этом доме гувернантку, что в Кяхте не было принято; второй дом на противоположном конце и в памяти людской потерял хозяина, третий на середине улицы... вот тут, когда разбирали на дрова или перевозили за границу непростарские усадьбы, кто-то, чей-

то охранительный промысел удержал решительную руку... этот дом принадлежал А. М. Лушникову. И в смерти не скупилась судьба на широкие жесты кяхтинцам: А. В. Швецов похоронен в Швейцарии, а А. М. Лушников – на своей даче в Усть-Киране, в тридцати верстах от Кяхты. Купол Троицкой церкви, главного храма в городе, выстроен был в свое время купцами в форме глобуса – как напоминание о возможном поле деятельности для торговли. Но купол-глобус лет тридцать назад сгорел, а могилы кяхтинцев и действительно рассеяны по всему белу свету.

Лушниковский дом под теперешним номером пятнадцать редко оставался без гостей. Здесь жилали братья Бестужевы, Николай и Михаил, сюда они привозили из Селенгинска своего товарища по каторге и ссылке Ивана Горбачевского. А. М. Лушников сохранил известные ныне всем рисунки и портреты Николая Бестужева, в доме свято относились ко многим декабристским вещам, подаренным и приобретенным, часть их сейчас в кяхтинском краеведческом музее. Приезжая в Кяхту, сюда наверняка заходил Сергей Трубецкой. Здесь останавливались во время экспедиций Г. Н. и А. В. Потанины, Александру Викторовну привезли сюда из Китая последней дорогой, чтобы предать родной земле. Н. М. Пржевальский считал себя другом Лушникова – и его дух живет в этом доме, проклиная, должно быть, неудобства, которые он вынужден ныне терпеть. Здесь американец Кеннан удивлялся вольным речам хозяина, оглядываясь на окружающую того роскошь, в этих стенах родился Д. И. Прянишников, знаменитый ученый-агрохимик. Ядринцев и Козлов, Обручев и Клеменц, Легра и писатель Максимов – многих и многих принимали, угощали, слушали и поздравляли в просторной гостиной на втором этаже этого дома.

Об Алексее Михайловиче Лушникове, о меценате, покровителе и попечителе учебных и культурных заведений в Кяхте и окрестных селах, о недюжинном его

уме и приятных наклонностях к наукам и искусствам, заставлявшим его наклонять к ним и свой капитал и располагавшим к нему передовых людей того времени, можно было бы рассказывать немало. О нем сохранились теплые воспоминания Михаила Бестужева и отзывы известных его сибирских современников. Это был внешне удачливый и внутренне удачный тип русского человека, который до всего, до знаний и почестей, доходит сам и который в отличие от европейца, оставшегося бы этим счастливым, всю жизнь мучается от неудовлетворенности и взыскательности своей души, не успокаивающейся ни благотворительностью, ни образованием. Интересно, что «попечительство» сына Алексея Михайловича – И. А. Лушникова пошло дальше: в 1905–1907 годах он издавал в Кяхте газеты «Байкал» и «Наш голос» явно революционного содержания.

Через кучи мусора мы подходим к дому и долго стоим возле него. Первый этаж, как обычно и строились богачи, каменный, с небольшими скромными окнами, второй – деревянный, высокий и светлый, глядящий вокруг далеко и открыто. Сейчас он никуда не смотрит или смотрит только в себя, в свое запустение и старость. Два окна в верхнем этаже выхлестаны, в них с крапивным торжеством раскачиваются лохмотья бумаги и тряпок, резные украшения по карнизу обломаны, деревянная лестница со двора в лоджию с обвисшими перилами едва держится. Величественная каменная кладка ворот, оставшихся без стены, торчит мавзолейным сооружением. Летний дом в китайском стиле во дворе не сохранился, а дом для челяди и хозяйственные постройки в глубине частью уцелели и выглядят теперь значительней и уместней, чем главный дом, являющийся памятником республиканского значения и взятый, стало быть, под государственную охрану. В нем собираются открыть музей замечательных кяхтинцев, хочется верить, что он и будет открыт, если дом до того не

сгорит или не развалится: не торопится российская элита за своей национальной памятью, ой не торопится.

И это, вероятно, в нашем характере: нам надо, чтобы развалился или дошел до последнего края разорения, а уж затем во всю прыть проявить энтузиазм восстановления: мы ни в чем не признаем экономной половины.

Высоко в небе над пограничной полосой парит ястреб, высматривая добычу с той и другой стороны, за ним с земли следит парень с карабином, щурясь от солнца и бездонного неба. Сухой воздух, отдающий песком, легонько отдыхивается от переспевших запахов кружным шевелением; дальние сосняки на горах клубятся светлой зеленью; в желтом дыму от догорающих лиственниц плавает город. В такие минуты, заморочив теплом, время как бы оставляет землю, воспаряя в свои небесные высоты, и не остается у нас ни прошлого, ни настоящего, только следы того и другого.

Нет, надо в город, там все на своих местах.

По главной городской улице бредут коровы, как сто, как двести лет назад, греются на лавочках старики. Где-то во дворе восторженно голосит петух. Под арки торговых рядов негусто и неторопливо втягивается народ, три молодые, в меру и со вкусом упакованные в одежды женщины, офицерские жены, со скучающим разговором стоят возле новых красных «Жигулей». От высокого крыльца булочной, в которой в боевые времена жил Нестор Каландаришвили, за офицерскими женами наблюдает местный отрок, ставя в уме плюсы и минусы своей отроковице. На дверях Дома культуры, за амбарную архитектуру которого рядом с Троицким собором раньше пороли бы розгами, висит на прилепленной скромной бумажке объявление:

Кто не робкого десятка,
Кто душой всегда игрив,
Всех задорных приглашаем
В театральный коллектив!

Если слобода за богатство свое была наказана жестоко, то город, живший скромнее, в большей части сохранился и до сего дня донес свой патриархальный вид, тут и там помеченный, правда, новостройками, но по-прежнему крепкий и молодцеватый. Воспоминания по былому, по прожитому и пройденному – это еще не воспоминания, а припоминания, восстановление того, что было, не содержащее открытий. Полное и глубокое воспоминание – отыскивание того, чего не было, но должно было быть, чувствительный и радостный отзыв на запоздавшую картину, встреча с заблудившейся родственностью. Так мы и ходили по Кяхте, бывшему Троицкосавску, почти угадывая, что будет за углом и в следующем дворе, безошибочно выходя туда, где нельзя было не постоять и что нельзя было не увидеть для какого-то оберегающего воспоминания.

Словно тут, в этих улицах, ты и должен был родиться, но отчего-то не получилось, перенеслось в другое место.

Кяхте повезло, ее миновали опустошительные пожары, а в последние десятилетия ей не хватало денег, чтобы устроить повальный снос и явиться в новом обличье. То, что такое могло произойти, видно по некоторым оглушительным попыткам. В этом месте кяхтинские отцы города могут возмутиться: ничего себе «повезло!» – а квартирная проблема, а десятки мелких котельных, а благоустройство, а современность! Неверно понятая современность в виде стандартных многоэтажек стала эпидемической болезнью наших маленьких городов, утвердительной ценностью их благополучия, превратилась в высоту положения. Нет, пока не научимся мы строить вровень с прежней архитектурой, не уничтожая, а развивая и дополняя ее в сложившемся издавна облике, пока не исчезнет дурнострой, лучше не торопиться. Лучше подождать, пока придут люди, способные уважать прошлое и не относиться к городам только как к поселению собственных жизней. Речь тут не об одной лишь Кяхте; Кяхте, повторим, повезло. И не всег-

да, к несчастью, звание исторического города может служить защитой от разрушительного передела. Иркутск и в ранге исторического города, в облачении охранных прав и законов не уберег свой старинный центр, перечеркнув его чужеродной геометрией самозванного модернизма.

А кто подхватывает, во что превращает благие наши намерения с мемориалами, которые, за малыми исключениями, везде и всюду на сибирских просторах, отведенных под духовные поля, выглядят как памятники памятникам, как захоронения юбилеев. Мемориалы стали способом благоустройства, в котором тяжелый, щедро уложенный бетон замуровывает и замораживает, а не пробуждает чувствительные токи между настоящим и прошлым, между человеком и историей. Только ли вкус отказывает нам или прежде того оказались перекрытыми памятепроводящие каналы? Культура памяти говорит о культуре жизни и культуре поколений; примитивность городской архитектуры мы способны оправдать неотложными нуждами, требующими квартир в каких угодно стенах, богатые, но холодные знаки памяти свидетельствуют о расточительстве бедности.

В Новоселенгинске, на месте захоронения Николая Бестужева, жены и сына Михаила Бестужева и детей Торсона, теперь тоже мемориал, являющийся таким же площадно-бетонным торжеством, из которого неловко, как сорняки в протравленном чистом засеве, выглядывают скромные старые надгробия. На могучем бетонном опоясе – агитация наглядная в виде высеченных сцен из жизни декабристов и рядом агитация письменная. Все это щедро, широко, не жалея трудов, денег и метров, кроме необходимого здесь клочка земли, куда ушел и чем стал Николай Бестужев, одна из самых ярких и благородных декабристских фигур, так много сделавший и для блага этого края. Кроме клочка земли, куда бы могла упасть слеза чувствительного потомка и откуда ответным благодарствованием

могло донестись ожидаемое дуновение. Теперь не упадет и не донесется, зато, не опасаясь замочить в непогоду ног на твердом, ходи и рассматривай перелицованные хрестоматийные картинки, читай известные слова о том, что «на обломках самовластья напишут наши имена».

Имена, верно, написали, да разве это все? На могилы к великим гражданам люди идут не для знакомства и восполнения образования, а для просветительства духовного, ради нескольких мгновений чувствительного прикосновения, бывания в мире человеческой вознесенности. Ради ощущения себя в нем и его в себе, угадывания не имеющих знакового выражения пособий, для постижения истинных ценностей бытия.

Было тут прежде просто, скромно и близко к отошедшим. При отъезде Михаила Бестужева из Сибири, после смерти брата и жены, друзья Бестужевых – Б. В. Белозеров из Петровского Завода и А. М. Лушников из Кяхты пообещали, что они не оставят без забот и внимания родные ему могилы. На Петровском Заводе, где декабристы отбыли каторгу, отлиты были памятники и металлическая дверца для ограды, которую решили выложить камнем. Рядом поставили часовенку. Надо сказать, что захоронения эти не в самом Новоселенгинске, а в пяти верстах от него, ныне в безлюдном месте, а тогда неподалеку от бестужевской заимки, где жили декабристы. Сейчас там свалка и заросли лебеды на месте избищ. Из неглубокой пади хорошо видна Селенга, текущая среди голых берегов, на противоположной стороне белеет церковь – единственное, что напоминает о старом Селенгинске, знаменитом граде по дороге в Китай, и хранит его вечный покой.

Да и все вокруг здесь дышит покоем и настраивает на дальние раздумья. При вносе и выносе Селенги высятся сторожами скалы, дремотно лежат под солнцем безлесые курганные горы, молчаливые свидетели походов чингизидов на запад, сухо пахнет чабрецом и полынью. Это уже

восточная картина, существующая в древних очертаниях и как бы надземная, строение иных богов, начальные письмены великих азиатских философий. Эту землю Николай Бестужев полюбил и много размышлял о ней в письмах и беседах с друзьями.

Но вернемся в Кяхту, в старую часть города, уцелевшую от переделок. Если природа говорит о вечности, то людские поселения должны говорить не о тщете человека, ненадолго приходящего в мир, а об остающемся после него тепле. Память – это и есть тепло от человеческой жизни, без тепла памяти не бывает. По тому, как и в каких стенах жили люди, можно судить, чем они жили, была ли их жизнь продолжением народной направленности или ее искривлением.

Идешь по Кяхте (по Троицкосавску) и только смотри. То вдруг явится не сказочное, нет, а былинное видение – толстостенное, как крепость, с экономными, словно бойницы, окнами и тяжелой замшелой крышей. Вровень с избой глухой заплот, ворота и калитка с витым чугунным кольцом под навесом, со двора выносятся могучая лиственница, как бы не выросшая, а выстроенная под стать общему плану. То в двадцати шагах от крепости такая выплывает навстречу форсистость, что только ахай: теремная, высокая, многооконная и многотрубная, сияющая, разукрашенная резьбой, с боковой террасой в верхнем этаже, с затейливыми и фигурными, будто наскакивающие по углам на крышу змеи-горынычи, водостоками. Так и чудится: растворится сейчас наверху окно и капризный голос, перепутав времена, чего-то потребует или прокричит что-нибудь восторженное. Конечно, в кружеве резьбы там и сям дыры, дерево потемнело и потрескалось, одно из окон, обрывая бодрую музыкальную фразу, за ненадобностью заделано, в другом фальшивым звуком заменена рама, терраса подгнила, а все равно – картина да и только, стоишь и не можешь отвести глаз. Рядом дом попроще, но

тоже не из рядовых, какой-то весь из себя живой, молодцеватый, задиристый, по виду – из разбогатевших приказчиков. Следуешь дальше – и вдруг торцом выходящая в улицу величественная стена, аккуратно выложенная камнем, раз и навсегда ухоженная, соступами понижающаяся ко двору, сооруженная для защиты от огня и ветров. Дома, который она защищала, уже нет, а она стоит и все ждет и ждет, когда он появится на прежнем месте. На другой стороне улицы купеческая мелочная лавка, под что-то хозяйственное, как не под дровяник, приспособленная, обратит внимание резным затвором, поверх нее на четырехскатной крыше, выглядывающей из соседнего порядка, на трубах, как диковинные птицы, ажурные дымники, сбоку на высоких оконных навершиях такая карусель из резьбы, что поневоле потянет рассмотреть поближе. И так всюду. А во дворах, едва не в каждом дворе, и вовсе старина: вросшие по окна в землю избушки, почерневшие и подрыхлевшие амбары, завозни, сараи, мастерские – начала и задворки именитых и неименитых троицкосавских родов, до сих пор вместе с подручностью, которой пользовались в работе, хранящие строй миновавшей навсегда жизни.

В 60-х годах пограничники разбирали одно из старых строений и наткнулись на холст. Оказалось, М. В. Нестеров. Теперь картина в местном краеведческом музее. Там же еще одна находка неизвестного автора итальянского письма. В Кяхте надо удивляться не находкам, а тому, что их мало; вероятно, самое ценное, что могло бы стать собственностью музея, погибло вместе со слободой. Сколько здесь должно было сохраниться картин, рисунков и изделий одного лишь Николая Бестужева, которого купцы не однажды приглашали писать портреты и образа; вещи, сделанные руками братьев-декабристов, среди кяхтинцев были в необычайном ходу именно потому, что они бестужевские, сразу становящиеся реликвией и гордостью от авторства. Одним из их изобретений – сидейкой (так на-

зывалась двухколесная рессорная коляска) пользовались повсюду в Сибири, особенно она была незаменима по разбитым и горным дорогам, каковые у нас в большинстве.

Ныне в сидейке, для которой требовалась лошадка, уже не ездят, в качестве экспоната стоит она, возбуждая любопытство, в музее. Из лушниковского дома еще при организации музея сюда перешло бюро-конторка Михаила Бестужева, тогда же, очевидно, собраны были другие декабристские вещи, в том число пистолет Николая Бестужева и несколько его акварельных работ. Говоря о музее, надо признать, что краеведческий музей по-кяхтински обширен и богат, это единственное, что осталось в сохранности от бывшего величия города. Скоро минет сто лет со дня его открытия – столько прошло времени, как с появлением здесь группы политических ссыльных (И. Попов, супруги Чарушины и др.) началась новая волна общественного и просветительского движения в Кяхте, результатом которого были и музей, и Географическое общество, и публичная библиотека. Зайдя в нынешнюю библиотеку, мы не нашли в ней совсем ничего из собранного среди кяхтинцев в ту пору – куда-то увезли, хорошо, если не на свалку, пренебрегли радением и трудами энтузиастов, и в старые времена бескорыстно работавших в пользу города.

Тогда это было, кажется, последнее культурное возбуждение, в котором главную роль играла уже политическая интеллигенция. Затем, разрастаясь, возбуждение стало революционным, и для Кяхты, как и для всей страны, наступили иные сроки. Кяхта полностью потеряла свое торговое значение, звучание ее, все больше заглушаясь, превратилось с годами в местный звук. Теперь Кяхта – город всего лишь районного подчинения со всем тем неизбежным, что заключено в этом ранге, с отношением к городу извне и настроениями внутри. Она не попала в список исторических названий, и необходимые реставрационные работы потянулись в ней под ту степную восточную песню, которая не имеет конца.

По Кяхте ходишь с противоречивыми, то с горьким, то с радостным, чувствами. Словно в ней давно поселились два хозяина, непрерывно, в течение многих лет воюющие друг с другом. Один хлопочет, чтобы Кяхта с достоинством стояла в полный и славный свой исторический рост, другой склоняет ее к слепому раболепству перед сегодняшним днем. Один открывает филиалы музея, второй, разбросав остатки надгробий, выравнивает на могилах стадион и наслаждается звуками несущихся с него матов. Один караулит, чтоб не сожгли до конца Троицкую церковь, второй с усмешкой ставит впритык к ней общественный туалет и рассчитанным попустительством превращает в оное место весь парк, где находятся, кстати, памятники сынам революции и Гражданской войны. Один понимает, что нравственность не может взрасти на одном лишь верхнем слое, второй и его портит примитивными казенными сооружениями.

Эти недоумения нужно адресовать не только Кяхте, это беда многих наших городов. Но Кяхта – город маленький, и потому ее противоречия заметней. Они соседствуют столь явно, заявляя свои права на гражданство с переменным успехом, что невольно начинаешь размышлять: а где большинство наше – на стороне отеческой памяти, от коей в немалой степени зависит народное благоденствие, или на стороне никак не изживаемого воинствующего небрежения к своим святыням? С кем мы, против кого мы, когда наконец наступит очистительное отрезвление?

1986

РУССКОЕ УСТЬЕ

Досельные люди

Я услышал о Русском Устье поздно. Узнай я о нем лет на десять раньше, многое из того, что осталось теперь

в воспоминаниях, удалось бы тогда захватить еще в жизни и действии. За десять лет сюда добралось телевидение, понаехали с материка посторонние люди, поумирали досельные, ведавшие старину, попадали и покосились кресты на многочисленных кладбищах по Индигирке, и все больше стали говорить «по-тамосному», по-нашему, теряя архаику и чуднозвучие собственного языка.

Я застал Русское Устье, как мне кажется, на самом перевале, когда старина превращалась в отголоски старины, в тот момент, когда с нею навсегда прощались. Ныне уже нельзя, как в начале XX века, сказать о русскоустыинцах: «За эти 300–350 лет они подверглись здесь, в царстве норд-оста, снега и льдов, своего рода анабиозу: застыли и всем укладом своей жизни, своей мысли и своего говора и оттаять пока не могут» (В. Богданов).

В последние десятилетия они не только оттаяли, но вошли в единый градус человеческого бытия, которое при всех внешних различиях на юге и севере, на востоке и западе во внутренних отправлениях приближается к общей для всех норме.

Мало что сохранилось ныне от Русского Устья, о прошлом которого остались два интересных свидетельства – в царское время книга политссыльного В. М. Зензинова «Старинные люди у Холодного океана» и книга А. Л. Биркенгофа, относящаяся к концу двадцатых годов XX века, – «Потомки землепроходцев». Уже сами эти названия говорят о необычности, выделенности судьбы русских в низовьях Индигирки, о сконцентрированной потомственности по крови, по духу, вере и изначально. Что особенно ценно – оба автора сделали там фольклорные записи и составили словарь досельных людей. Были и другие свидетельства, и более ранние, и поздние, но походные, в общем ряду воспоминаний, впечатлений и научных записок, эти же два посвящены в основном Русскому Устью и являются наиболее полными. По ним нетрудно

судить, что еще живо и доживает и что окончательно кануло в преисподнюю.

В Русском Устье говорят как в дальней старине – не в двойном, а в тройном преувеличении: не преисподняя, а преисподняя, не пресветлое, а тресветлое.

Из всех потерь, случившихся в Русском Устье, самая большая: чуть было не отставили навсегда Русское Устье. Уже после войны проводили на Севере поселкование, и все «дымы», разбросанные по Индигирке на десятки километров и составлявшие вместе Русское Устье, в том числе и селение под собственно этим названием, свезли в один табор и, чтоб не травить память историей, недолго думавши, нарекли его Полярным. Несть числа по побережью этим Полярным, Русское же Устье на весь белый свет одно-единственное, имевшее к тому же много чего такого, что следовало беречь как зеницу ока. И только совсем недавно название вернули.

Сетуя, что лет на десять, по крайней мере, я опоздал приехать в Русское Устье, надо оговориться, что опоздание это не было совсем уж полным и окончательным. Конечно, многое в обычаях, верованиях, уставе жизни русскоустыинцев ушло безвозвратно или из явного перешло в тайное, но многое при внимательном взгляде и сохранилось. Оно не осталось на месте, а отдалилось, но его еще можно было рассмотреть. Я опоздал встретить его там, где оно жило сотни лет, но различимо было, как, прощаясь, оно уходит. В тундре видно очень далеко: скорбную, ветхую, изработанную, но и со спины держащуюся благородно и прямо фигуру старичка, отступающего в полярную ночь, еще не составляло труда углядеть.

Она отступала, но не все свое забрала она разом, эта фигура, с собой. Разом накопленное и отсеянное за века было не унести, и оставшегося хватит еще на годы и десятилетия. Я застал здесь язычество, и вообще где бы то ни было поразительно живучее в русском человеке, а тут

и вовсе составляющее как бы природное произрастание, обновляющееся с каждой весной. Вероятно, я был готов к тому, чтобы почувствовать ее, но некую отдельную тайну Русского Устья я ощутил так скоро, словно она лежала на виду. Ощутил и в лицах индигирщиков, и в их рассказах о былом, в трудах, которые не меняются, и в междоусобных отношениях. И, наконец, я услышал язык... Господи, что за счастливый это вестник, что за услада и удача – в том слове и звуке, в которых он донесся до наших дней, – русский язык в Русском Устье!

Прилог

Мы любим тайну, нам хочется, чтобы существовала и лохнеская незнакомка, и снежный человек на Памире, и таинственный чучуна в сибирской тундре, и «летающие тарелки». Без этого нам неуютно и холодно в просквоженном и объясненном мире. Всякое известие о чем-либо неизвестном возбуждает наше воображение и подает надежду, что у природы все-таки остались в запасе силы, чтобы сопротивляться безжалостному скальпирующему уму. В большинстве из нас как бы живут два человека – один дитя своего века и образования, согласившийся с механическим устройством мира, и второй – радующийся всякий раз, когда логика первого оказывается под сомнением.

Ученый ум назовет тайной только то, что еще не открыто. То, что не может быть открыто, для него не существует, если бы даже на этом, не могущем быть открытым, стояла вся природа живого. А что забыто, утеряно, выпало из своего времени и не согласуется с принятыми сегодня объяснительными знаками, для него и вовсе рептилия. Не странно ли: все больше и больше познавая новое, углубляясь в этом познании на немыслимые прежде глубину и высоту, человечество между тем за свою историю не однажды теряло материки, цивилизации, могущественные

города и законы, а когда они случайно находились, не могло отыскать им в своих построениях места – движущая цепь соединена во всех звеньях накрепко, втиснуться в нее негде. Все науки любят прямые устремительные движения – параллельные или кривые, с возвратными кругами, пути им ни к чему.

У русскоустыинцев есть прилог (легенда, предание), по которому их предки прибыли сюда не с юга, как повсеместно шло заселение Сибири по рекам и волокам, а ступили на эту землю значительно раньше с моря, уйдя на кочах от губительных притеснений Ивана Грозного. Прародина их – Русский Север, старые новгородские владения. В 1570 году, как известно, Грозный зело свирепо расправился с новгородской вольницей, массовые казни прокатились валом по всем ее землям, заставляя уцелевших бежать куда глаза глядят. Глаза поморов глядели на восток, куда издавна плавали они за промыслом и где, отрезаемые льдами, провели не одну зимовку, ведая тамошние условия и земли. Вероятней всего, не сразу, не за один переход и не за один год достигли они Индигирки, быть может, в начале исхода и не знали они о ней, но, двигаясь от реки к реке, пользуясь слухами о более прибыльных землях и решив вовсе скрыться от государева надзора, вышли они наконец к этой реке по западной протоке, названной потом ими Русской, углубились внутрь и верстах в восьмидесяти от моря основали Русское Жило.

«Индигирская река в юкагирской землице» была обнаружена государевыми людьми (отряды Ивана Постника, Ивана Реброва) в конце 30-х годов XVII столетия. Сообщая об юкагирах и о том, чем можно служивым людям пропитаться в том краю и чем поживиться для государя, они не упоминают о поселениях русских. Или их тогда еще не было, или сыграла свою роль заинтересованная фигура умолчания, или проплыли другим рукавом. Все могло быть. Не надо забывать, что, убегая из России от притес-

нений, русские, если они даже к тому времени осели здесь, едва ли торопились показаться на глаза государевым слугам. Для того они и забирались в такую даль и гибель, чтобы их не сыскали. Решив посмотреть на Колымской протоке старое селение Станчик, где сохранилась часовня, мы на обратном пути заблудились в бесчисленных водных рукавах и отворотах и проплутали несколько часов, хотя жожами (проводниками) нашими были местные люди, знавшие все здесь наперечет. Что говорить о пришлых, появившихся впервые, могли ли они, будучи даже самыми опытными сведывателями, в широко разошедшихся и донельзя запутанных разливах Индигирки снять полную и безупречную карту местности? Это не значит, разумеется, что русские непременно здесь были, но они могли быть, такую вероятность не следует исключать.

В. Зензинов приводит в своей книге слова одного русскоустыинского старика: «Слышал я от старых, совсем старых людей, что ране река была вовсе юкагирская. Собрались люди из разных губерний и поплыли на лодках морем – от удушья спасались, болезнь такая. А в России их вовсе потеряли». Это, возможно, больше всего их грекло, утверждало и общило на неприютной, голой и мерзлой земле – что «в России их вовсе потеряли» и на краю света не сыщут и не согнут до физического и духовного горба тяжелой и дурной властью.

В 1831 году, когда якуты, заявляя свои права на низовья Индигирки, решили добиться выселения оттуда русских, те защищали свое наследственное владение среди прочих и таким аргументом: «Река сия найдена первоначально русскими кочами».

То, что такое путешествие могло состояться, подтверждают археологические раскопки на восточном берегу полуострова Таймыр, где в 1940 году найдены были следы зимовки русских поморов, относящиеся к самому началу XVII века. Плавали в начале семнадцатого – как

не предположить, что плавали и раньше? Некоторые ученые на это указывают с определенностью. Известны слова Б. О. Долгих из его статьи «Новые данные о плавании русских Северным морским путем в XVII веке», «что еще до присоединения побережья Восточной Сибири к Российскому государству русские мореходы плавали в Восточную Сибирь Северным морским путем, огибая Таймыр. Вероятно, многие пункты северного побережья Восточной Сибири в это время уже были местом деятельности русских торговых и промышленных людей из северных поморских областей Европейской России».

Кстати, предание о прибытии в эти места первопоселенцев на кочах бытовало и на Яне, в бывшем русском селе Казачьем. Как знать, не шли ли они в свое время на восток одним отрядом, да часть мореходов осталась на Яне, а часть двинулась дальше и доплыла до Индигирки.

Но почему Индигирка, неужели нельзя было, минуя по пути реку за рекой, выбрать менее суровую и более благоприятную для проживания даже и на Крайнем Севере, какие они могли искать выгоды? Отдаленность отдаленностью, если они видели в ней спасение, но и в отдаленности без веского примана они не стали бы переходить через край, а тогда это было именно «через край», глубже на восток никем еще пути не торились. Что действительно потянуло сюда русских, что такого нашли они, что хоть как-то способно было восполнить оставленную родину?

Не станем, однако, преувеличивать бездыханности и полной вымороженности этих мест, они и без того преувеличены. Русский Север по своей суровости несравним, конечно, с азиатским, но и он не очень-то ослаблял местную рабочую кость, а дальние походы, без которых поморы никогда не обходились, закаляли ее еще больше. Если Индигирка их не испугала, значит, в долгих зимовках и тесном товариществе привычны были они не бояться, только и всего. Чтоб знали вы: понизовщики,

живущие возле океана, считают, что у них тепло, и это в сравнении с материковой Якутией, где находятся полюса холода, действительно так и есть. Летами же здесь больше всего боятся жары, способной из каждой капли воды выводить комара, от которого не бывает спасения ни человеку, ни зверю.

А приманы, вероятно, заранее разведанные, чтобы завести и остановить тут русских, само собой были. Впервые, рыбное, оленье и птичье изобилие, которое не иссякло и по сей день. Если и сегодня не иссякло, попробуем представить, что в этих озерах и уловах, на этих едомах и калтусах водилось триста и четыреста лет до нас. Не выбили тут, слава Богу, песца, нечем пока было вытравить чира, нельму и муксуна. Бывший заведующий факторией в Полярном Юрий Караченцев рассказал, как несколько лет назад кто-то из поселка, возможно, из озорства написал в Чокурдах в райцентр жалобу, что в магазине нет мяса. Там удивились не тому, что его нет, а тому, зачем ему быть в магазине, но, отзываясь на жалобу, прислали оказавшуюся в Чокурдах говядину. Она пролежала несколько месяцев и, потеряв всякий вид и вкус, была убрана с глаз подальше, на нее не позарились бы даже собаки. Когда местным нужно мясо, охотник садится на «Буран» (так называются скоростные автосани), отъезжает недалеко в тундру и высматривает в бинокль, где покажутся олени. Показались – он включает скорость, направляет наперерез им свою железную упряжку и через полчаса уже со свежинной. Крупную рыбу (еду) в открытых холодильниках складывают в поленницы, мелкую (сельдьятку на броски собакам) сваливают кучей на лед.

У предка русскоустыинца не водилось, разумеется, ни бинокля, ни «Бурана», но как мы не страдаем без того, что заведется еще через триста лет, так и он спокойно орудовал имеющимися подручными средствами и пусть при больших физически затратах, но добывал прекрасно и рыбу, и мясо,

и мех, теплил и живил ими семью и отряжал в мир из своей новопочинной родины поколение за поколением.

Но прежде чем расчитать ее, эту новую родину, он должен был внимательно осмотреться и выведать, чем ему жить, с кем жить в соседстве. С кем жить в соседстве значило в его выборе очень и очень немало. Он хорошо понимал, что тем малым кругом людей, каким они пришли, потомство в добром здравии долго не протянуть и что так или иначе придется родниться с коренным народцем. В этих местах кочевали юкагиры и ламуты (эвены), доходили известия о чукчах, державших свои оленные стада за Колымой. Якуты тогда еще не спустились в низовья Индигирки, и русскоустыинцы впоследствии были правы, указывая на свое первопоселение. Земли, впрочем, хватало на всех, споры, кому где жить, вскоре затихли раз и навсегда.

Ближе всего по местоположению русские оказались к юкагирам, вольно воспитавшимся под могучим тундровым небом в народ бескорыстный, мягкий и опрятный.

Не осталось свидетельств, сразу ли у русских произошло соприкосновение с произросшим здесь народом или для этого потребовались сроки, но оно произошло, и со временем довольно тесное. Хорошо заметная в некоторых фамилиях азиатчина больше всего юкагирского происхождения. Но от этого не пострадали ни язык, ни обычаи, ни память; вероятно, с самого начала община постановила держать свою русскость в крепости и, несмотря на все испытания и лишения в веках, которые можно только подзревать, выдержала ее в такой сохранности, что ей нельзя не поражаться.

Первое известие о живущих в низовьях Индигирки русских получено от времен Большой северной экспедиции Беринга. Участник этой экспедиции лейтенант Дмитрий Лаптев, продвигавшийся в 1739 году от Лены на восток, вынужден был напротив устья Индигирки покинуть свой вмерзший во льды бот «Иркутск» и перебраться на

зимовку в Русское Жило. За зиму русскоустыинцы помогли Лаптеву перевезти на Колыму за восемьдесят верст триста пудов продовольствия, а весной 85 человек из местных жителей пешнями вырубали «Иркутск» из льдов и вывели на чистую воду. Позднее русскоустыинцы подобрали возле речки Вшивой небольшой пеший отряд морехода Никиты Шалаурова и перевезли его на Яну.

В этих сообщениях нельзя не увидеть доказательства укорененности русских в северную землю: их немало, они чувствуют себя здесь уверенно, знают тундру далеко на восток и на запад и пользуются русскими и фамильными названиями в обозначении местности: река Елонь (елань), протока Голыженская, речка Вшивая и т.д. Для этого, бесспорно, требовалось время да время.

В книге знаменитого исследователя Арктики Ф. Врангеля «Путешествие по северным берегам Сибири к Ледовитому океану, совершенное в 1820–824 годах» находим такие строки: «Жители сибирских тундр совершают большие путешествия по несколько тысяч верст по безлюдным однообразным пространствам, руководствуясь для направления своего пути единственно застругами. Я должен упомянуть об удивительном искусстве проводников сохранять и помнить данный курс». О том же с удивлением говорит М. Геденштром в «Записках о Сибири»: «Для отыскания мамонтовых костей промышленники ежегодно ездят на дальние острова. Путь свой они направляют по положению торосов льда и наметов снега. Долговременная опытность научила их, как распознавать надлежащее направление для достижения желаемых островов».

И тот и другой прошли через Русское Устье и говорят о русских поречанах. М. Геденштром в начале XIX века насчитал в трех селениях 108 мужчин. Через сто лет, во времена Зензинова, их было гораздо меньше. В русскоустыинском языке осталось выражение «зашиверская погань» – об оспе, дважды выкосившей город Зашиверск в среднем течении

Индибирки, к которому были приписаны и понизовщики, и погулявшей, надо полагать, и среди них.

Все это, разумеется, не прямые, не документальные доказательства в пользу прилога – о русских, пришедших на Индибирку из России по морю. Это доказательства того, что «могло быть», перевешивающие «не могло». Прямые, вероятно, уже и не сыщутся, поскольку, повторю, тут проглядывается скрытая экспедиция горстки русских людей, явившихся не тогда и не оттуда, как это происходило позднее при колонизации массовой и узаконенной.

Но зачем непременно нужно искать, обманывает или не обманывает предание? Из любви к преданию? Из любви к истине? И то и другое очевидно, но прежде всего из желания понять уникальное, исключительное явление сохранившихся старобытности и староречия. Конечно, XX век не прошел бесследно и для русскоустыинца, и ныне далеко не то здесь, что было в начале столетия, когда писалось: «... Археолог считал бы для себя величайшим счастьем, если бы, раскопав могилу XVI или XVII века, он мог бы хоть сколько-нибудь правдиво облечь вырытый им древний скелет в надлежащие одежды жизни, дать ему душу, услышать его речь. Древних людей в Русском Устье ему откапывать не надо. Перед ним в Русском Устье эти древние люди как бы и не умирали». Сегодня так уже не скажешь, но и то, что осталось в «одеждах жизни» и особенно в языке русскоустыинца, кажется удивительным и заставляет спохватываться: какое нынче на дворе время?

Объяснение находилось простое: Крайний Север, тяжелые условия существования, отдаленность от цивилизации, жизнь в окружении инородцев, последняя степень изолированности (русскоустыинцев долго не брали даже и на военную службу) как нельзя лучше способствовали сбережению всего своего, вечная мерзлота и для этого случая оказалась прекрасной консервативной средой, веками оставляющей в собственном виде все, что в нее попадает.

И с причинами этими надо считаться, они действительно значили много, но считаться с ними надо как с условиями, способствовавшими сохранению того, что имело невероятную силу сопротивления и с самого начала поставило себе целью сопротивление. Надо не забывать, что, в сущности, в тех же природных и инородческих условиях находились русские всюду на Крайнем Севере, но большинство их рядом с сильным народом объякутилось и наполовину потеряло родной язык. Что там наполовину! Майдель в своей книге рассказывает, как в большой русской деревне в Олекминском округе, куда он заезжал, ни один человек не понимал по-русски. Прежние русские на Колыме называли себя колымчанами, в ста верстах от Русского Устья к югу на Индигирке – индигирщиками, понимая, что они и не русские и не якуты, а что-то среднее, перемешанное и перетолченное, ставшее принадлежностью местности, а не национальности.

Русскоустыинец не поддавался решительному влиянию окружавших его и превосходивших по численности якутов, юкагиров, эвенов и чукчей. Он усвоил лишь самое необходимое из промысловых и бытовых обозначений местных языков – из того, что в прежнем круге его жизни не было и потому не имело названий. Не удалось ему полностью сохранить и чистоту породы, примесь юкагирской и якутской крови в нем заметна, но без этого было нельзя, самовосполнение из одного и того же маленького круга грозило вырождением. И тем не менее примерно в одной части из четырех русскоустыинец остался в правильных очертаниях русского лица, как показалось мне, носящего следы жертвенности и аскетичности, как бы подсушенные, выжженные изнутри пронзительным взглядом. Такие лица можно еще встретить разве что в старинных раскольничьих селах. И этот чистокровный тип, а также тип лица, однажды подъякученного, но не объякутившегося многократно, наводит на мысль, что первые русские

пришли в низовья Индигирки семьями, в отличие от спускавшихся с юга казаков и промышленников, которые почти сплошь должны были брать в жены инородок. Но они пришли семьями не в результате религиозного раскола, их исход мог произойти только до раскола, воспоминаний о нем у них не осталось вовсе.

Необыкновенная национальная устойчивость, замкнутая старобытность, обособленность языка и нравов, поразительная памятьливость – все это свидетельства хоть и косвенные, но совсем не пустые, вместе говорящие, что мы имеем тут дело не с правилом, а с исключением, с чем-то совершенно особым и отдельным. Подумать только: едва ли не половина русскоустыинского языка всюду в России утеряна, а здесь, быть может бессознательно, слова, потерявшие в новых условиях собственную предметность, находили другое, не противное себе обозначение и все-таки жили. Произношение здесь так сильно отличалось от общепринятого, что и теперь русскоустыинца, когда он переходит на свой говор, понять почти невозможно. С трудом понимал его сосед-индигирщик и колымчанин и сто лет назад. Сравнить произношение русскоустыинца не с чем, это какое-то неразделимое сочетание человеческих и природных интонаций, сливающихся в одно глухое, шебуршащее звуковое движение.

И, наконец, фольклор. Русское Устье – точно оазис среди окружающей его поэтической засухи. Как мог не захиреть, не обезголосеть, не вымерзнуть этот оазис – тоже загадка, которую не разгадать, если сваливать русскоустыинца в общую кучу. Еще Зензинов был удивлен, встретив здесь вариации записанной Пушкиным народной песни «Как во городе было во Астрахани». Разночтения как раз и говорят, что на Индигирке ее могли подхватить не от пушкинского текста, что она могла сюда прийти собственной дорогой. Зензинов записал здесь несколько исторических и плясовых песен и булю (былину), воспроизвел также во

всем ее обрядовом богатстве свадьбу, уже тогда сокрушаясь, что фольклор в Русском Устье доживает, по всей видимости, последние годы. К счастью, он ошибся, и спустя десятилетия фольклорные записи и находки в Русском Устье продолжались и продолжают.

Язык, фольклор и традиция прежде всего помогли этим людям выдержать в краю, который давно назван пределом выживаемости, и явиться перед Россией вполне русскими, а в некоторых чертах русскими больше, чем все мы, содержащиеся в общем национальном теле. И вот теперь, когда они вышли почти из ниоткуда («а в России их вовсе потеряли») и присоединились к нам, мы вместо того, чтобы внимательно присмотреться к ним и узнать исток (узнать причину) их чудесного спасения, спрашиваем справку от Ивана Грозного или Алексея Михайловича, которой было бы удостоверено, как, каким путем, сухим или морским, и по чьему промыслению появились они здесь, дети иных краев и иной природы, и что означает их появление. «Чудна Русь!» – восклицали русскоустыинцы, когда доносилось до них что-либо непонятное с нашей стороны; так и теперь они вправе сказать с недоумением: «Чудна Русь!»

Что касается нашего предания – у него достаточно много защитников и было, и есть, и будет. Вот и С. Н. Азбелев, один из собирателей и составителей «Фольклора Русского Устья», в своей статье в этой книге пишет: «Вместе с тем в топонимике дельты Индигирки сохранились названия, восходящие к именам некоторых предводителей проходивших здесь казачьих экспедиций середины и второй половины XVII века. Этот факт свидетельствует, что какое-то русское население тогда уже существовало. Больше некому было присвоить эти названия и сохранить их».

А ведь и верно. Как бы им иначе зацепиться?

И не в том ли и состоит секрет, не в том ли и кроется тайна необыкновенной судьбы этих людей, что с самого

начала было обозначено названием – Русское Жило, Русское Устье. С первого дня определили они образ жизни и правило, единственно которые могли помочь им в сохранении своего состава. Надо догадываться, что они не просто говорили на русском, данном им от природы, языке, не замечая и не вкладывая чувство в обычный вопрос или ответ, а говорили с радостью, им было приятно слушать друг друга и своих предков в давних поэтических складываниях. И они не просто держались традиций и соблюдали обряды, исполняя положенное, но относились к ним почти с телесным удовольствием: то, что для жителя коренной России бывало обузой, здесь представляло такую же потребность, как еда и сон. Вот почему русскоустыинец сохранил и разговорчивость, и подвижность чувства. Длинной полярной ночью, зажегши чувал (камин), вспоминали они по очереди и все вместе сказку, песню и булю, и тогда старшие следили, чтобы не потеряли младшие ни одно слово, принесенное со старой родины. Фольклористы заметили, что в Русском Устье былины и баллады сказываются едва ли не первородным, каноническим текстом; на тех, кто отступал от него, взмахивали с неудовольствием руками: не умеешь, не умеешь. Не надо думать, что эта обережительная сила веками действовала сама собой – нет, действовала она, вероятно, по воле зрячей и направленной.

А это значит, что русский на Индигирке жил в дружбе и согласии и с якутом, и с юкагиром, и с эвеном, как и положено жить людям, делящим соседство на одной земле, но всегда чувствовал и во всем показывал он себя русским.

Сендуха

На Севере мало кто тундру называет тундрой. Зовут ее – сендуха, вкладывая в это древнее слово, выражаясь современным языком, авторитарный смысл. Тундра – это

географическое и породное обозначение; сендуха – изначальная природная власть, всеохватная и всемогущая, карающая и жалующая, единое дыхание бесконечной простертости. В тундре работают с приборами геологи, ее, разбив на квадраты, стерегут пограничники, в сендухе, где водятся сендушный, чучуна и чандала, живут и кормятся от нее эвены, юкагиры, чукчи, родные дети этого неба и этой земли, а также якуты и русские, пришедшие позже, но полностью соединившиеся с сендухой. «Сендуха-матушка, кормилица наша!» – молят и благодарствуют все они, каждый на своем языке. Тундру вольно измерить, изучить и приспособить; сендуха никому не дается, в нее можно героем прилететь московским рейсом, а на другой день на неозначенной версте безвестно кануть в снегах или трясине. Сендуха – это «стихеея», как говорят местные, единый дух, владеющий землей и водой, тьмой и светом.

Нигде небо так близко не прикается к земле, как здесь. Над великой плоскотинной оно, как в обрывистом берегу Колымы и Индигирки, где на сломе слой земли чередуется со слоем чистого льда, не возвышается от краев к надголовью, а лежит ровной раскрытостью, по кольцу горизонта подныривающей под землю. Да и сам горизонт здесь – не огорожа, не преграда для глаза, а обессиливающая взгляд даль. Еще до средневековых астрономических и географических открытий человек в тундре должен был прийти к выводу, что Земля круглая, она без вычислений показывала свой покат.

И вот под этим низким небом текут в океан, называя своими именами и размечая тундру на ленскую, янскую, индигирскую и колымскую, сибирские реки, безлесые в этих местах и бескрасные, собирающие мутную тундровую воду. Между ними сотни и сотни верст (к сендухе как-то не ложится измерение в километрах), густо излапаченных озерами, большими и малыми лайдами (вы-

сыхающие озера), лавинами и висками (протоки). Земля там – калтус, веретье да едома с падушками. Слова все русские, но русские-то больше всего ныне и приходится объяснять: калтус – мокрая луговина, веретье – место повыше и посуше, едома – гора, ну а падушки меж ними зовутся разлогом. Кто живал в деревне, кто застал вживе русский язык, не просеянный еще сквозь теле- и радиосито, тому эти слова переводить не надо.

И до чего же красива тундра летом! Зимой иное дело, зимой она в изнуряюще белом снегу, в тяжелом и бесстрастном однообразии, в котором и возвышения, веретье с едомой кажутся лишь наметами. Зимой красота переходит в небо, яркое и яростное от звезд, да еще если в сполохах северного сияния. Но летом... Невелико здесь лето – в мае еще лежит снег, а под буграми и до нового долежит, к середине июня раскрываются ото льда реки, а уж в августе опять выснежит – совсем оно коротко, и не дано ему тут расцветать садами да дубравами, весь дровостой – карликовая, с хороший брусничник, березка да тальник, все убывающий и убывающий к океану до безростого выклюнка. Среди мхов белоцветом накапана куропаточья трава да валерьяна, много пушицы, сравнимой с одуванчиком, только липкой, и в лохматых головках мятой; краснеет морошка. И мхи, мхи, мхи. Где посуше – ягель, в низинах – чистая ковровость зеленых молодых мхов. Сверху эта правильная пятнистость смотрится панцирем огромной черепахи, внизу не до сравнений: только смотри, чтоб не угодить в воду.

Чем ближе к океану, озер и лайд все больше и больше. На твердом белеют сброшенные олени рога, всюду нагромождения плавника, вынесенного реками и наваленного на берега леса, лежащего годами и десятилетиями; его навалы – как оборонительные от океана в несколько линий сооружения. Судя по плавнику, берег наступает, мало-помалу подвигает океан. Подле озер колонии лебе-

дей, красиво и важно вышагивающих парами, много гусей, хотя местные жители и наблюдают, что в последние годы их заметно поменьшело.

На границе моря и земли – огромные черные отмели. Границы как таковой и нет, то ли вода, то ли земля, то ли перемешаны они в вязкую няшу вместе. И вообще вода, земля, небо, берег, суша, время, расстояние, человек существуют здесь в особых понятиях. Вода и земля без конца спорят, чему чем быть, время отмахивает свои меры не крупными, как везде, а крупно – полярным днем и полярной ночью. Ветер задувает так: если через два дня не прекратится, значит, на неделю. Мерой расстояния до недавних пор было или поморское «днище» – то, что проплывали на веслах за день, или якутское «кес» – то, что проезжали на собаках примерно за час. Мерой расстояния была мера времени, а мерой времени – какое-нибудь привычное действие. Говорили: проехал – чайнику вскипеть. И сразу становилось понятным, сколько за «чайник на костре» можно проехать, никаких уточнений не требовалось.

В этих условиях смешивающихся понятий и величин и человек должен был представлять из себя что-то особое. Не по нравственной шкале, об этом отдельный разговор, не по воззрениям и занятиям, а как бы – по физическому содержанию. Ему ничего не оставалось, как впустить в себя тундру в той же мере, как земля здесь впустила воду. Он не только поился-кормился тундрой, жил в ней, поклонялся и подчинялся ее уставу, но содержал ее в себе как характер, вместе с зимней оцепенелостью, буранами и стужей и летней порывистостью и приветностью. Сколько знаю я, мало кто из уезжавших в другие края приживался там. И через пять, и через семь, и через десять лет, не смоги перестроить себя, переиначить свою природу, возвращался: его внутренний ритм не совпадал с внешним, приводил к опасному разнобою и расстройству. Я говорю сейчас о русских тундровиках, а уж что говорить о юкагирах или

чукчах, родных детях этой земли. Предел выживаемости и скорби (у польского ссыльного В. Серошевского книга рассказов так и называется – «Предел скорби») стал обетованной землей. Тут есть над чем поразмыслить, когда мы говорим о родине и пытаемся объяснить это понятие.

Юрий Караченцев в Полярном жил лет пятнадцать. Семь из них был кадровым охотником. На Севере доступно сделаться сантехником, электриком, учителем и врачом. Но стать охотником, иметь собственную тундру с сотнями пастей и капканов, держать собачью упряжку, промышлять неделями в одиночестве, ночевать в снегу в 40-градусную стужу – на это способен не каждый. Тут раскрывай ворота и впускай тундру в себя, признай сендушного, духа тундры и капризного покровителя охотников, помни о чучуне с луком, о диком существе из былей и небылиц, то ли не сподобившемся, то ли отказавшемся быть человеком, присматривайся к небу, приноживайся к ветру, прислушивайся к ломоте собственной кости. Иначе не сдюжишь. На себя надейся, да о «вере» не забывай, а под «верой» здесь кроется целый свод тундровых установлений и правил, тайных и явных, часть из которых никому не раскрывается, и проникнуть в нее можно лишь исключительным чутьем. «Вера наша такая», – туманно говорят русскоустыинцы, не давая и не сумев бы дать пояснения, что в ней, в «вере», относится к тундре и что к человеку, что к навыкам и предосторожностям и что к звездчатым мигам из иных миров догадок и предчувствий.

Караченцев стал хорошим охотником. И песка добывал в достатке, и рыбу в отведенных уловах, и понимал собаку, и тундру научился читать не хуже других, и себя не жалел в промысле и признан был местными, коренными добытчиками за охотника без всяких скидок. Уроженец иных, теплых краев, не без труда, но перевел он в себе стрелку на полярное, а в полярном – на тундровое существование и освоился, кажется, со всем, что требуется от промышлен-

ника. Со всем освоился – и все же не со всем. Это маленькое что-то, что не далось, относится не к опыту и не к предчувствиям, когда мало опыта, а к чему-то, что связывалось с его инородностью и неукорененностью. Все, что нужно было перенять для промысла, он перенял, о чем следовало догадаться – догадался, где оставалось довериться чутью – доверялся, большего, чем он, вероятно, и нельзя было добиться. Только и не было в нем каких-то особых солей и частиц, какие лишь местная земля от рождения и закладывает. И, все зная, все умея, он ощущал в себе этот недосол.

Случай, который едва не стоил Караченцеву жизни, произошел несколько лет назад в начале ноября. Под вечер он вернулся от пастей к охотизбушке, еще не отвязал собак, не добыл огня – вдруг мимо песец. Собаки заволновались; в чем был, в телогрейке и легких рукавицах, прыгнул в нарту и – за ним. Достать зверька оказалось непросто, в азарте сразу не повернул назад, а через полчаса налетел буран.

Семь дней провел он в снегу, закопавшись с собаками в сумет. Семь дней тундра ходила ходуном, как корабль в качку, под непрерывным воем и нахлестом. Через каждые полчаса – сорок минут надо было подниматься и встряхивать собак, чтобы не занесло так, что затем не выбраться. На пятые сутки решил съесть щенка, который в упряжке не столько вез, сколько играл, вытащил его из-под снега и... пожалел. После этого приставлял к груди карабин. Удержал недавно родившийся сын. К исходу недели увидел в небе зарницы, сориентировался по ним, растолкал упряжку и двинулся на север. Выехал на свою пасть, нашел дорогу к избушке. В печке все было приготовлено для огня, но не мог зажечь спичку, рукавицы примерзли к коже. Когда наконец все-таки разжег, вышел на улицу, чтобы не сойти с ума. Старики говорили: после такого переплета рехнешься, если смотреть на огонь.

До дому в упряжке он бы не добрался. До Полярной станции было ближе, он поехал еще дальше на север. Зи-

мовщики вызвали самолет. Сном уснул только через три недели, по-прежнему все гудело и хлестало неминей (неминя – буря, ураган), по-прежнему надо было расталкивать собак. Зато уж уснул... во сне кормили. Через месяц после больницы нашел, где отсиживался, – на льду озера. Сокол, щенок, которого собирался съесть, стал вожаком. Однажды, вспомнив, что могло случиться (уверен: съел бы щенка, погиб бы и сам), расчувствовался, остановил упряжку, а Сокол лает, недоволен, что остановился до срока, до попердо. Попердо – отдых для упряжки.

Павел Черемкин, охотник из коренных русскоустыинцев, один из самых добычливых и фартовых в совхозе, потрепывая по загривку своего бывшего жоака, «пенсионера» Уголька, говорит: «Он мне несколько жизней спас». Про Юрия Караченцева отзывается: «Молодец, что не растерялся. Только зачем это за полчаса, как бурану упасть, в сендуху бежать?!»

Чутье ценится здесь как талант, дающийся от Бога, а Бог рассматривается как сила, в которой издольно участвует и сендуха.

На снег садиться да на травушку упасть

«Когда в январе 1866 года я въехал в Русское Устье, я никак не мог взять в толк – было, правда, довольно темно, – где я находился и что вокруг меня делалось. Я, по-видимому, ехал по совершенно ровному месту, из которого не выдавалось не только дома, но даже куста, а между тем со всех сторон виднелись огненные столбы, выходявшие из земли; на небольшом расстоянии от моей нарты я увидел даже крест, который, казалось, выдавался из земли и о котором мой каюр сказал мне, что это крест часовни, находящейся в Русском Устье. Но вот нарта остановилась, глубоко под нами отворилась дверь – как бы из подземелья вырвался мне навстречу луч света. Мне при-

шлось спуститься круто вниз, и я очутился перед дверью маленького жилого домика с плоскою крышею, в котором ярко горел камин и где было очень приятно и уютно после долгой езды по холоду. На следующий день загадка объяснилась: все местечко было занесено снегом, каждый домик был обнесен снеговой стеною точно такой же высоты, как он сам, которая отстояла от него фута на три и составляла таким образом лишь узкий проход. Каждый домохозяин поддерживает от своей двери очень крутую тропинку на снежную стену, по которой на последнюю и попадаешь и только тогда и поймешь, что имеешь дело не с отдельной стеной, а со сплошной снежной массой, которая, подобно плоскому холму, засыпала все селение. Перед собою видишь только бесконечную снеговую поверхность, в которой то там, то здесь находятся четырехугольные углубления – это дома с окружающими их проходами. Таково Русское Устье зимою; в теплое время года дома, конечно, высятся открыто, но окружены бесконечной однообразной тундрой побережья Ледовитого океана – нигде не видно ни одного дерева, ни одного куста: тоже достаточно печальная картина».

Таким было впечатление от Русского Устья барона Майделя, примерно таким в безотрадности и подавленности было оно и у многих других путешественников дальнего и ближнего прошлого, чьи дороги дотягивались до низовьев Индигирки. За века снегу зимой и воды летом меньше не стало. Такой встретили самую первую зиму русскоустыинцы, и с тех пор «садиться на снег» означает расчистить новое, необжитое место. А «на травушку упасть» – родиться на белый свет, который тут и верно большей частью белый.

Пришли, сели на снег, а уж ребятишки принялись падать на травушку. Принесли с собой язык, веру, обычаи и дух – груз этот много не тянул, но пригодился не меньше, чем еда и лопоть (одежда). С собаками ли пришли, за даль-

ностью лет разглядеть не удастся, но, кажется, до русских собак на Севере не было. Если русские не освоили оленюю пастьбу, значит, никогда ею не занимались, с самого начала передвигались на собаках.

Божий (дикий) олень давал мясо и шкуры, песец шел сначала на обмен, потом на деньги. Когда появилось куда сбывать, стали ездить за мамонтовой костью и заезжали аж на Новосибирские острова.

Завели свецы (деревянный календарь), чтоб не потерять, не перепутать будни и праздники, и, как в наших календарях, большие, опорные дни выделялись особо, под них и подстраивался рабочий ритм. Долгие десятилетия, а возможно и столетия, выпала доля обходиться без хлеба, без соли и молока и – что делать? – привыкли, ученые люди называют их потом ихтиофагами. Чему удивляться, если, как пишет Зензинов, не знали, что такое колесо, спрашивали, как растет мука. Объясняя, что такое зерно, приходилось сравнивать его с рыбьей икрой. Вышло из обихода, потерялось и из представления. Когда хлеб вернулся, называли его не хлебом, а «черно-стряпано», в отличие от «тельно» – лепешек из мятой рыбы или «топтаников» – рыбной начинки в рыбном тесте. Ни овощей, ни круп, небогато и с ягодой – морошка да голубица. Соленое заменили кислым: квасили рыбу, птицу. Любители, и не только из стариков, и по сей день предпочитают гуся с душком, как двести и триста лет назад.

А цинга, авитаминоз и так далее? Куда ж они-то смотрели, немочи эти, отчего без зелени и соли, без молока и сахара не выбили из отбившихся и обделенных дух и тело? Если из нас сегодня с полным набором своих и чужих витаминов выбивают, если всего у нас в досталь, все расписано и известно, что в какой час следует потреблять, от чего отказаться и на что налегать, а здорового развития все меньше и меньше.

Есть, оказывается, в любой природе соки для полноценной жизни. Была бы природа. А она тут, на Севере, была

и пока еще есть. Наше заигрывание с витаминами есть не что иное, как благопристойная возня на собственных про- водах. Убивая природу, уничтожая воду и воздух, леса и плоды лесов, вод и земли – как же нам не озаботиться хорошей миной при никудышной игре?!

Северяне всегда ели и едят сырую рыбу. Называют ее строганиной (на Байкале – расколотка, а строгают сырое мясо). Процедура приготовления строганины на первый взгляд даже и грубовата: зажал, как полено, меж колен мерзлую рыбину из чира или нельмы и полосуй ее тонкими стружками, затем соли, перчи и на язык. Но и в этой бесхитростной процедуре есть свои тонкости: северянин не свалит рыбные стружки на тарелку подряд, как строга- лось, а выложит так, что самые вкусные и жирные брюш- ковые кучки останутся напослед, чтоб все прибывало и прибывало удовольствие.

Строганина и греет, и сытит, и бодрит. Благодаря ей о цинге здесь не имеют понятия. Все остальное, что тре- бовалось организму, добиралось мясом, птицей, щавелем, кореньями, рыбьим жиром. И воздухом, водой.

Что строганина греет – не обмолвка. В конце марта в солнечный яркий день собрались мы с Юрием Кара- ченцевым в тундру – себя показать и других посмотреть. Оделись в меховое, подцепили к «Бурану» две нарты и тронулись. И действительно часа за три встретили почти все население – и ушкана, и куропатку, и оленя. Объехали заодно часть караченцевского пастника, но песца в нем не оказалось, пришлось довольствоваться его следами, зато посмотрели, как устраивается и настораживается пасть – ловушка на песца, издревле принятая на всем сибирском побережье от Урала до Тихого океана.

Март мартом, и солнце солнцем, но мороз был за трид- цать, да еще на скорости продирало ветерком. И мы доволь- но скоро продрогли до костей. Караченцев по молчанию до- гадался о нашем настроении и остановил «Буран»:

– Сейчас будем греться.

«Греться» в таких условиях, как принялось всюду, – открывать бутылку. К тому мы и приготовились. Но Караченцев вместо водки достал из мешка промерзшего до каменного стука чира и принялся его строгать. «Ешьте, – подавал он нам куски. – Ешьте, ешьте, грейтесь».

И без того едва живые от холода, да еще и лед в себя! Казалось, это смерти подобно.

Рыба жирная, калорийная – и как от подброшенного в угасший очаг топлива тело занимается теплом. Наверное, это нужно объяснять так. Но мне, едва я почувствовал себя бодрей, пришел почему-то на ум закон математики: минус на минус дает плюс. Уж очень скоро, как в математике или физике, это произошло, и, повеселев, поудивлявшись чудесной перемене, мы двинулись дальше.

Северянин до того привык к строганине, что не может без нее ни дня ни зимой, ни летом. Как быть летом? Проще некуда: вся тундра – сплошной морозильник, чуть отрыл – и хоть веками держи в сохранности что угодно.

Зензинов наблюдал, что, кроме мерзлой рыбы, русскоустыинец без соли съедал ленточную вырезку из рыбы свежей, только что выловленной. Сырыми грызли гусиные лапки во время гусевания, сухожилия оленя в пору охоты – и делали это без всякого отвращения, напротив, с удовольствием. Не от озверения, надо полагать, а от умения слышать позыв организма. Еще и сейчас, оглянувшись, нет ли поблизости «чужого» глаза, припадет русскоустыинец к сырому мозгу в оленьей ноге, особенно мерзлomu, да и насладится во всю сласть, как это делал его дед. Не оттого ли здесь, где, кажется, все силы должны бы изводиться и измощаться очень скоро, не редкость долгожители?

Представить жизнь русскоустыинца в те темные времена, о которых не осталось свидетельств, вероятно, можно, но это будут представления лишь о круге забот и хлопот, связанных с теплом и пищей. Можно по отголоскам тра-

диций, «веры» воссоздать с некоторой вероятностью исполнение обрядов, что за чем следовало в них, что пелось и говорилось, как елось и пилося. Да и то: отвыкли от хлеба и соли, а просто ли русскому человеку, замешенному на хлебе и соли, было отвыкнуть? И привыкнуть к безлесью и летней «божьей» скудости, к зимнему всесветному оцепенению. И можно ли в воображении, обращенном назад, нарисовать хоть что-то приблизительное тому, как день за днем и год за годом природнялась чужая сторона и какие для этого выносились из тундры понятия и слова? Иль эти, что звучат и сегодня в заклинаниях: «Батюшко сарь-огонь! Матушка-сендуха! Матушка-Индигирка!» – иль были и другие, а затем с природнением за ненадобностью отпали? Тускнели ли чувства и мысли, занятые лишь выживанием, узким кругом забот и узким кругом людей? В чем состоял самый большой страх и самая большая радость? Как сохранили ласкательное отношение друг к другу, как убереглись от ругательств (чуть ли не самое страшное ругательство было: запрети тебя! – пусть, значит, случится у тебя запор для моего отмщения) и почему спокойно и даже доброжелательно допускали в нравах «девьих», добрачных детей? Кто первый откололся и расчал новый «дым» в стороне от общего «жила»? И был ли этот отрыв добровольным или в наказание по решению стариков, правивших закон и совесть? Как поначалу без толмачей общались с юкагирами и чукчами? Считали ли свой исход окончательным?

«Только бы дал Господь какую едишку, а то чего еще нам?..» – не привередничал русскоустыинец. Еще и в конце XIX века ружей на Русском Устье почти не было: стреляли из луков стрелами с железным наконечником. Оленя на плаву били копьем с лодок, птицу стреляли из лука, ставили на нее силки из конского волоса, из него же вязали сети на рыбу и линного гуся.

Первой заботой вместе с «едишкой» было и тепло. На вымороженной земле без дерева и кустарника, на земле

с особым календарем, где весна, осень и зима – все зима, на топливе держалась сама жизнь. А оно было одно – плавник. Где-то в верховьях, где лес, уронит ли с берегом вместе или снесет в большую воду спиленное и понесет, за сотни верст понесет, ошкурит по пути и выбелит, а тут уж во все глаза смотрят, чтоб не пронесло мимо. Из плавника рубились избы, делались и ремонтировались пасти, обшивались лодки и – дрова, дрова, дрова... В тундру, чтоб обогреться в избушке, и то вези с собой на нарте. Поклонение огню здесь долговечней. Подкормить огонь, бросить в него кусочки пищи и тем самым задобрить его не забывали ни стар, ни млад. И теперь, кстати, не забывают. Молодые делают это как бы из шутки, но делают, приберегая поверье на тот случай, когда откажет наука. Веками было: «батюшко сарь-огонь, погоду укрути!», «батюшка сарь-огонь, гуси дай!», «батюшко сарь-огонь, не сказывай ему» – когда требовалось утаить что-то от медведя или сендушного.

Исследователи связывают поклонение огню, Индигирке и сендухе с поверьями, взятыми у местных народов, у якутов и чукчей. Но и у славян оно было в не меньшей степени. Было и долго держалось рядом с православием. Русский человек в божествах запаслив: христианство – для спасения души, а старая вера – в поводу для поддержания живота («живот», кстати, у русскоустыинцев не потерял значения «жизни»). Тут, у бога на куличках, и тем более одной веры считалось недостаточно, да и недосуг Христу опускаться до плавника или линного гуся, Христос как бы оберегался индигирщиками от подобных мелочей.

Для русскоустыинца это были отнюдь не мелочи. С первого дня, как вскрыется Индигирка, до последнего «колупал» он по берегам и озерам принос. «Колупал» – не подставленное слово, оно с плавником срослось так же, как в таежной стороне «рубить лес» – потому что и верно из няши и из-под яров его приходилось выколупывать во всю моченьку. Полено тут – колупок. Так что Индигирка давала

не только рыбу, но и тепло, от нее же зависела добыча песца и оленя. И когда выносило лед – с поклоном выходили на берег «православные христиане», чтобы приветствовать открывающуюся жизнь и работу. В первый раз садились после зимы на ветку – обязательно: «Матушка-Индибирка, кормилица наша, прими подарочек» – и бросали в воду разноцветные лоскутки, «комочки».

Рыба здесь была и остается главной пищей. И какая рыба! – все царская, отменная – чир, муксун, нельма, омуль. Это – еда, остальная – щука, сельдьятка и много чего еще – едишка, годная для собак. С трудом верится: из икры варили кашу, называлась икраница, хлебали ее ложками, стряпали из нее лепешки. Чего только из рыбы не делали! Начать перечислять можно, но меню будет далеко не полным: не все упомянул да не все и пробовал.

Но рыба требовалась не только для семьи. Без собак в тундре никуда, их держали мало по одной, чаще по две, а то и по несколько упряжек. Кормить приходилось рыбой. Конь в Русском Устье мог пробавляться на подножном корму, выживет – хорошо, не выживет – без него удастся выжить, но за собаками смотрели как за детьми. Если в хозяйстве была лишь одна упряжка, да семья в четыре человека, считай так: на собак – 10–12 тысяч штук ряпушки и для себя 1000–1200 «едомых» рыбин. Да тонны четыре на приманку песцам. Для нового времени поправка: в совхоз сдать две тонны. Правда, в июне при ходе рыбы и поймать можно за день до тонны, рыбка еще есть.

Песца добывают пастью – как триста лет назад. Что такое пасть? Столь же нехитрое сооружение, сколь и верное: над деревянным помостом на «симке» (конский волос или тонкая нить) настораживается бревно, рядом разбрасывается приманка. Подбирая ее, песец задевает «симку» – пуск срабатывает, и бревно прихлопывает зверька. Шкурка при этом не страдает – если ее вовремя взять. Промедли – свой же брат, песец, оставит от нее одни лохмотья.

От трех до пяти раз за зиму осматривал промысловик свой пастник. Если он далеко – каждый выезд чуть не по месяцу. Хоть песни пой, хоть волком вой в эти недели, никто не окликнет, ни в слове, ни во вздохе не поддержит. Только собаки рядом, а за ними глаз да глаз нужен, чтоб не разгорячились и не припустили за промелькнувшим зверьком, оставив на погибель. Сколько такое случалось! Тот же Павел Черемкин рассказывал, как упустил однажды упряжку и восемьдесят километров шел – не шел, а бежал в «полярку» в легком свитерке до поселка. Упряжку потом искали на самолете, едва нашли.

Но у досельного русского самолета под рукой не было, и потеря собак имела для него другие последствия, чем для Павла Черемкина, у которого сегодня есть еще на всякий случай и «Буран». А потеря кормильца? Если сейчас охотник не вернется в свои сроки, на поиски его будет брошено все с воздуха и земли, а триста, двести, сто лет назад промысловнику рассчитывать было не на кого. Проводит его мать или жена, осенив крестным знаменем, соберет с улицы щепки, сложит их возле камелька, ворожа песцов или оленей числом побольше, и к тундре: «Матушка-сендуха, обереги кормильца». Вот и вся помощь. Худьба ли (болезнь) пристигнет, на собак ли чах нападет, в кутерьгу ли (пургу) заедешь – надежда только на себя.

Вот так и проходили годы, десятилетия и столетия. Где-то у «тамосных» менялись цари, объявлялись войны, проводились реформы, открывались академии и думы, менялись взгляды на происхождение человека, делались величайшие открытия, а сюда все это доходило, если доходило, с тем же пригасом и опозданием, с каким достает до нас свет далеких звезд. Здесь жизнь без изменений подчинялась все так же миграционным путям песца и оленя, срокам прилета и отлета птицы, ледостава и ледохода на Индигирке. Пасти и «пески» от отца переходили к сыну, и от него к сыну, и от него... Немереная сендуха издавна

была поделена на семейные тундры, пустопорожных, ничейных земель в ней не осталось, необъятность оказалась объята, наделы возрастали только за счет потеснения. У «тамосных» утверждались последние философии, а здесь при рождении ребенка все так же давалось ему два имени: крестили Семеном, а звали Иваном. «Порча» будет искать Ивана, а он Семен. А то, чтобы запутать нечистую силу, и собачью кличку давали, которая затем к собаке и переходила, когда ребенок подрастал и выкармливал собственного щенка, с которым, как с братом, не расставался.

Верили, что умершие с того света возвращаются в образе младенца. В крышке гроба, чтоб легче выбраться, высверливалось отверстие. Называлось это возвращение – «прийти въяви». Но если не хотели, чтоб воротился и повторился в своих недобрых качествах, без стеснения заколачивали в могилу осиновый кол. Мы теперь, пожалуй, и растеряемся перед подобной смелостью, сошлемся с нашей стертой моралью, не дающей ни осудить, ни защитить по заслугам, на то, что человек не вправе подводить окончательный итог чужой жизни. Русскоустыинец, слепленный, казалось, из одних предрассудков, тут бывал откровенен: прими, пока не стерлась память, чего достоин, и не взыщи – таким ты был.

До чего жаль, что не осталось от первоначальных дней никаких «завертушек» (весточек) о том, что деяли и что баяли русскоустыинцы по приходе. Или за тяжкими трудами не до того было, а вероятней всего – было, да со временем сплыло. Поморы, как правило, знали грамоте, к тому же предание разъясняет, что основателями Русского Устья явились люди именитые. И это-то как раз и не следует торопиться отнести к приукрасу, свойственному местным преданиям, а не забыть, что уж если спасались от притеснений великогневного государя, то спастись прежде всего приходилось не простым людям. Простые могли и отсидеться, а громким фамилиям лучше было уносить ноги подальше.

Зензинов, сделавший первые записи, лет на сто опоздал, чтобы предание было ближе к свидетельству. Но и у него есть приметы именно свидетельства, чуть позже их бы уже не сыскать. В наше время наудачу среди русскоустыинцев нашелся человек, который, многое помня, многое видел собственными глазами, о многом расспросив стариков, во многом участвовав, собрал огромный материал по истории, этнографии, образу жизни, веры и мысли своих земляков. Это Алексей Гаврилович Чикачев из старинной русскоустыинской фамилии, бывший партийный работник. У Чикачева есть о Русском Устье книга, что называется, из первых уст. И, ссылаясь на старые источники, которые представляют собой впечатления, наблюдения и отзывы людей, оказавшихся в этом углу временно, а то и случайно, тем более важно сослаться и на прозвучавшее наконец в полный голос свидетельство самого русскоустыинца, которому приходилось, вероятно, удерживать свое перо, отбирая, что может быть интересно и что неинтересно из жизни его земляков. Но интересно в этой книге (называется она «Русские на Индигирке») все – и как работали, и как верили, как говорили и чувствовали.

Да, работали, много работали, но это тягловое понятие тоже важно оживить подробностями. И умели не только работать, но и отдыхать тоже, а отдыхая, «за ходы заходиться» – смеяться до упаду. Старики и ныне помнят, как, отгусевав, закончив загонную охоту на линного гуся в морской губе, любили устраивать смотрины в другом деле. Вот как об этом записано у А. Г. Чикачева:

«Сразу после завершения промысла устраивались соревнования (“хвасня”) на ветках на расстояние восемьдесят километров. Устанавливались обычно три приза (“веса”), в каждом определенное количество гусей, к которым какой-нибудь состоятельный хозяин добавлял от себя осьмушку чая или пару листов табака. Победителя называли гребцом.

Гребцы в Русском Устье были двух видов.

“Пертужие” гребцы – на длинные расстояния – могли за день пройти против течения 70–80 километров. “Хлесткие” гребцы – на короткие расстояния. Рассказывали, что в старину были люди, которые на двух-трех километрах не отставали от чайки».

А ведь точно так развлекался в молодечестве и этими обозначениями пользовался русский человек в средневековье. То, что не могли сказать нам летописи и предания, оказалось в живых «досельных» обычаях. И кулика (старинный хоккей) была в ходу, и лапта, и «поклоны» (тряпочки, которыми известие передавалось цветом, длиной и узелками), и многое-многое другое, что почти повсюду забылось окончательно.

А приметы! Да куда ж при любой науке без примет, если они, проверенные-перепроверенные, не обманывали! Конь зевает – к ненастью. Собака зарывается в снег, ищи пристанища, – быть пурге. Гусь высоко летит – к теплой погоде, низко – к холодной. И еще тысячу лет будут жить здесь люди и тысячу лет не оставят приметы – были бы только кони, собаки да гуси. А их не столь дивно, как водилось прежде. У северянина, правда, и комар шел в приметы, который не поредел, и не похоже, что поредеет, но одного комара для предсказания все-таки маловато.

Так вот, надо полагать, и жил русскоустыинец сначала в полных для нас потемках, затем в редких выглядах, все ближе и неминуемей придвигаясь к ясным дням. Слух о революции и Гражданской войне дотянулся до низовьев Индигирки нескоро, а когда дотянулся, мало что на первых порах изменил. Индигирщик не знал, что это такое, революция, с чем ее едят, и продолжал тянуть свою неизносную лямку жизни без всяких перемен еще несколько лет.

Новая эра для Русского Устья началась не в 1917-м, а в 1930-м, когда проводилась коллективизация.

И сюда, на край земли, добрались колхозы. Что делать? Вихорь налетел. Обобществили собак, сети, пасти, приняли «спущенный» план и в первый же год с треском его провалили. Куда-то надо было высылать кулаков, а куда? Дальше на Север жилья не только в России, но и во всем свете не принялось, а русскоустыинца хоть на Медвежьи острова отправь, он и там не растеряется. И все же куда-то отправляли, рассуждая правильно: важно вырвать из родной обстановки, а там хоть где, хоть у Черного моря, зачахнет. У Черного-то моря скорей зачахнет. Немало надиковали с этими колхозами. Старики, вспоминая о 30-х годах, и теперь, прикрывая от неловкости глаза, качают головами: за лишек зашли, да-а, наизъянили так, как за триста лет до того не случалось.

Году в 36-м, кажется, объявлена была русскоустыинскому колхозу «Пионер» директива срочно заняться оленеводством. Русские здесь никогда оленей не держали, но директива есть директива, ее надо выполнять. В соседнем юкагирском хозяйстве купили сорок оленей, нашли в тундре эвена по имени Кабахча и поставили его пастухом. Кабахча, как полагается, увел оленей в тундру.

В конце августа, как раз в ту пору, когда дикого оленя бьют на плаву, вдруг с проть-берега появляется стадо и бросается в воду. Мужики, излишне не катаясь умом (не рассуждая), быстро в ветки (лодки) и стадо то до последней головы перебили. Дней через десять появляется Кабахча и заявляет, что олени потерялись. Собравшееся правление принялось судить пастуха, грозить ему тюрьмой. Кабахча вышел из конторы с твердым намерением, пока жив, бежать в тундру. За деревней он наткнулся на спиленные олени рога и по своей метке признал колхозное стадо. Когда с рогами он вернулся в правление, правленец-русскоустыинец, для которого мир, перевернувшись, еще не успел установиться, никак не мог понять,

почему колхозное стадо не показало ничем, что оно колхозное, а не божье, когда двинулись на него с оружием.

Но мир тогда еще не доперевернулся. Он кувыркнулся за болю (вправду), когда председателем сельсовета избрали бабу – Ларису Чикачеву. Это был конец света. Дальше, по представлениям индигирщика, тарамгаться (двигаться) не осталось куда. Баба здесь исстари должна была знать свое место. Вскоре, не давая опомниться, загребли «дымы» со всех проток и запоселковали в одну кучу. Назвали Полярным.

И было в Полярном отделение совхоза. Добывал совхоз песцов, ловил рыбу. Других занятий тут Бог не припас.

Э-э, бра, пошухума баешь

Я и сам из тех мест, которые расчаты были по Сибири выходцами с Русского Севера, и потому многие слова, которые Зензинов находил нужным расшифровывать еще в начале века, для меня родные и составляют живое и незаменимое языковое имущество. У нас в среднем течении Ангары в моем детстве если кто вместо «баять» подставлял «говорить», тот поддался, значит, «тамосной» городской причуде. В Русском Устье мне не требовалось объяснять, что такое *лыва* (лужа), *мизгирь* или *ситник* (паук), *гадиться* (издеваться, глумиться), *лонись* (в прошлом году), *лопоть* (одежда), *доспеть* (сделать), *дивля* (хорошо), *кружать* (плутать, заблудиться), *лихоматом* (быстро, громко), *околеть* (озябнуть, замерзнуть), *улово*, *урос*, *шерба*, *шметье* и многое-многое другое. И, переводя сейчас с русского на русский, я чувствую невольную вину перед языком за то, что приходится это делать. А как не делать? Образование не к языку ведет, а от языка уводит, и естественное обновление и приращение лексики переросло у нас в страсть новоречия.

Мои предки и предки русскоустыинцев вышли из одного гнезда, но вышли в разное время и осели на разных почвах. Когда будущие ангарчане отселились с прежней родины (самые распространенные у нас фамилии – Пинегини да Вологжины), от исхода русскоустыинцев миновали немалые сроки. Лучшее доказательство тому – язык. За сто с лишним лет произошли изменения в языке и на кондово русских землях, на Русском Севере – там, где теперь Новгородская, Вологодская, Архангельская и краем Вятская губернии. И то, что выпало там из языка к началу XVIII века, к нам на Ангару уже не попало, а что было до того – просматривается по Русскому Устью.

Это не научный труд, занимающийся доказательствами. Это скорее слуховое сравнение. Еще до поездки в Русское Устье, читая о нем, я удивлялся совпадению многих диалектных особенностей наших говоров. Просматривалось явное родство, которое показалось мне близким. Побывав на Индигирке и раз, и два, я увидел, что преувеличивал это родство. Оно, разумеется, было, но не в том соединении, в каком старший брат отстоит от младшего, а гораздо дальше – как дед или прадед отстоит от своего потомка. Если же сравнивать по говору, по произношению – еще дальше. Но о говоре отдельно.

Главное отличие: в языке русскоустыинца гораздо больше архаики, досельности. Скажи моему земляку: «Э-э, бра, пошухума баешь!» – не поймет. Ему знакомо здесь лишь одно слово – *баять*. Откуда взялось «пошухума» и «шухума» (зря, напрасно), сколько ни рылся я в словарях, – не нашел. Не могло оно, судя по всему, пристать и из местных языков. «Бра» – обрезанная форма от «брат», наш брат на укорачивания тоже был мастак, но проглатывал, как правило, гласные или экономил в скоплениях согласных, а тут не пожалел бы языка, договорил до конца – и даже с упором.

У русскоустыинца сохранилось в самом живом и здоровом виде то, что почти повсюду источилось до полного

тлена, оставшись лишь в письменных памятниках. Тут по-прежнему говорят: *перст* (палец), *заглумка* (улыбка), *озойно* (громоздко), *бердить* (бояться), *вадига* (глубокое место на реке), *гузно* (зад), *голк* (гул, раскат), *изурочье* (редкость, невидаль), *куржевина* (иней), *могун* (живот), *патри* (полки), *покрот* (пояс для пеленания ребенка), *шигири* (стружки дерева), *шархали* (сосульки), *коржевина* (ржавчина), *иссельной* (натуральный, настоящий), *карга* (гряда, полуостров), *клевки* (черви) и т.д., и т.д.

И уж вовсе забыли и потеряли мы из старославянского *иверень* (часть, кусок, осколок); в болгарском – *ивер*, в чешском – *ивера*, означающих щепу, стружку. Обращаться к болгарскому, чешскому и словацкому приходится потому, что в них лучше всего сохранилось славянское корневище языка – и вот какие перемахи из Европы на крайний азиатский север надо делать, чтобы из живых уст услышать драгоценную однозвучность. В болгарском «до повиданья» так и осталось, есть оно и в Русском Устье. Как и *исток* (восток), в болгарском – *изток*. И *живот* на Индигирке сохранился в значении жизнь, имущество.

В наших краях говорить лишнее, болтать выражалось словом «травить», в Русском Устье более старым – *древить*. «Инде» у нас доживало в значении усилительной частицы, а здесь, как и всюду в древних летописях, – «в другом месте».

Непросто было доискаться, почему шустрые дети называются в Русском Устье *облачными*. Какая тут, казалось бы, связь? – это так далеко: шустрые и облачные. И только оборотясь к языческим временам славян, извлечешь отсюда: облачные дети, облачные девы – проказливые, устраивающие игрища. У А. Н. Афанасьева в его «Поэтических воззрениях славян на природу» читаем: «...Игрища, происходившие на русальную неделю, сопровождалась плясками, музыкой и ряженьем, что служило символическим знаменем восстающих с весною и празднующих обновление жизни грозových и дожденосных духов. Принадлежа к

разряду этих духов, русалки сами облекались в облачные шкуры и смешивались с косматыми лешими и чертями».

Или вот: гнилое дерево у индигирщиков – *глинчина*. На первый взгляд звуковая подмена: глин – гнил. И так оно и есть, только не случайная, не для удобства произношения, перестановка: в древнерусском *гнила* и писалось и произносилось как *глина*.

И так далее. Примеры живой (еще недавно живой, сейчас отживающей) языковой древности можно продолжать и продолжать. В Ожогине, русском же селе верстах в ста выше по Индигирке, куда первоначальники, бесспорно, спустились из Якутска и где их потомки впоследствии сильно объякутились, язык столь глубокими приметам, такими отковыринами от древности уже похвалиться не может. Ну что, казалось бы, сто верст для тамошних размахов, а разнице в говоре, в обычаях удивлялись еще в XIX веке. Не есть ли это в первую очередь доказательство особого и отдельного отсложения русских, заселивших последние низовья Индигирки?

И природный мир, и хозяйственный уклад был здесь во многом иной, чем на старом Севере. Лучше всего лег на новообителем и обогатился язык, относящийся к «стихам» воды и ветра. *Шелоник* (юго-западный ветер) и здесь остался шелоником, как и всюду по рекам; *низовка* – отсюда, куда уходит течение, *верховик* – откуда приходит. Северо-западный ветер называется *ниже западу*, восточный – *сток*, северо-восточный, холодный и резкий, – *худой сток*, юго-восточный – *теплый сток* или *обедник*. Но посмотрите, как разросся в названиях ветер по отношению к реке: по течению – *понизной*, против течения – *по плесу*, от своего берега – *отдерный*, с противоположного – *прибой*. По отношению к движению человека: *противной*, *пособой*, *боковой*.

Вадига, *ямарина* (яма на реке), *шивер* (подводный камень), *курья* (залив на реке), *осинец* (глыба льда), *мичик*

(мелкий лед), *карга* (полуостров), *кулига* (залив), *ердань* (прорубь), *антиях*, *огибень*, *улово*, *быстрядь*, *кибас* (грузило на сетях), *няша* и т.д. – все это сразу приставилось к Индигирке, к ее берегам и водам. Как и *калтус* (мокрое место), *веретье*, *лайда*, *зановолочье* (зарастающее озеро), *едома*, *виска*, *тайбола* (необжитая глушь), *разлог* – легло на тундру. Легло даже больше, чем было в ней «кости» на языковую одежду: *елонь* или *елань* – значит расчистка в лесу, однако чистить здесь было нечего, и тем не менее *елонь* каким-то совпадением прижилась. Прижилась даже «дубравушка», ставшая обозначением любой растительности.

Не было, как упоминалось, скота – *скотом* стали называть собак. Тогда уж и конура для собаки – *стайка*. Мести пол – *пахать*. Медвежата, волчата превратились в *цыплят*. Зензинов упоминает о бедности языка русскоустьинца, но, уже судя по тому, какие усилия и извороты употреблял язык, чтобы не потерять в отрыве ни красоту свою и гибкость, ни трудовую и обрядовую основу, ни точность, нужно считать за чудо меру его сохранности. Едва ли не половина предметного и природного мира в новых условиях исчезла из жизни русскоустьинца и должна была без употребления отмереть, в свою очередь, новая предметность, явленность и видимость, имеющие названия в местных языках, должны были влиться в язык и занять в нем законное место, как это произошло всюду, где русский человек оседал рядом с инородцем. Заимствования в говоре русскоустьинца есть, десятка три-четыре якутских и юкагирских слов вошли в плоть собственного языка неотрывно, прежде всего прижились в первоначальном, как бы поданные голосом самой северной природы, промысловые предметы и действия, некоторая одежда и утварь. Еще три-четыре десятка слов русскоустьинца может вернуть в разговор, но без особого веса, имея им наготове замену. Вообще же надо только поражаться, до чего памятливым, выносливым и сильным показал себя здесь русский

язык, без крайней нужды не взяв ничего постороннего и до последнего звука держась и воюя за свое. У А. Г. Чикачева, русскоустыинца, о котором уже упоминалось, в его записях: «Русские, заимствовав у местных меховую и промысловую одежду, давали ей свои чисто русские названия: малахай, шаровары, дундук, бродни, шаткары. В то же время сохранили севернорусский костюм: сарафан с передником, форму повязки головного платка, шапку-ермолку, мужскую рубаху с жилетом». И так во всем.

Зензинову, вероятно, язык показался бедным с точки зрения образованного и книжного человека XX века. У русскоустыинца, вровень с ним в одном времени очутившегося как бы и не по своей воле, не могло быть той пространности и гибкости мысли, какой жаждал политссылный для общения. Индигирщик, привыкнув подолгу оставаться один на один с сендухой, и чувства свои выражал односложно. Но в этой звуковой односложности накапливались и емкость, и радужность, и речивость, но понятны они были лишь человеку из этого же круга. Если в каждой нашей семье на родном языке проступают «родимые пятна», никому, кроме своих, недоступные, всякие там «художества» в словах и образованиях, то без них не обошлось и в замкнутой общности. И что из того, если постороннему они могли показаться назойливыми и бессмысленными?!

Всех, кто прежде следовал в Русское Устье через Ожогоино на Индигирке, через Походск на Колыме или Казачий на Яне, все русские же села, предупреждали: вы их там, в низовьях Индигирки, не поймете. В каждом из этих сел вырабатывался свой выговор – например, в Походске сладкозвучие, в котором обходились без «р», а «л» выпевалось как «й»: «игойка» вместо «иголки». Всюду разговаривали на свой манер, но в Русском Устье это было что-то совсем особое, ни на что не похожее. Тот же язык, со старинным запасом и новым припасом, но инструмент выго-

варивания устроен как бы иначе. В Чокурдахе я попросил, чтобы русскоустыинцы собрались «побаять». И в первые полчаса почти ничего не слышал (не разобрал), только отдельные слова, затем стал слышать с пятое на десятое и только к концу вечера мало-помалу приноровился к речи. И то – как приноровился – будто рыба на песке, которую поливают водичкой: что-то попадает для продыха, а больше соскальзывает. Или как поплавок, подныривающий от легкого зацепа и обрыва мысли.

Не знаю, с чем лучше сравнить русскоустыинское произношение. Сами русскоустыинцы, почти все теперь знающие и «тамосный», общепринятый язык, называют его – *шебарчеть*. В нем действительно много шипящего, свистящие «с» и «з» перестроились в глухие «ш» и «щ», но не везде, а с каким-то вольным выбором, не признающим законов. Закономерности, вероятно, есть, но это дело специальных работ, которые писаны и пишутся (в том числе у А. Г. Чикачева); нам же, коль осмелимся мы забраться в эти дебри, подобру-поздорову из них не выдаться.

Так на что же похож говор русскоустыинца? Он говорит быстро, очень быстро, почти без пауз. Взяв первое слово, тут же пускает речь в галоп. К шипящим я прикоснулся из удивления: много шипящих, речь и действительно шебарчающая и при этом резкая, дробно-отрывистая – как если бы пустить колесо по мелкой брусчатке. Отрывистая и при этом ровная, без эмоциональных повышений и понижений, стертая в окончаниях. Впечатление такое, что слово не допекается, не успевает дозвучать и под напором следующего выталкивается. Когда говорят несколько человек сразу – будто гогочут возбужденные чем-то гуси. Изменилось ли так произношение под природным звуковым магнетизмом, принесено ли было из древности – как знать! – но вот при тех же тундровых голосах нигде на Крайнем Севере оно больше не повторилось – стало быть, для результата потребовался все-таки исходный материал.

В языковые дебри забираться не будем, но еще одну любопытную деталь, кажется, всюду изжитую, упомянуть стоит: частица «то» продолжает здесь указывать на род. *Сендуха-та, изба-та, море-то*, а в мужском принимает обратную форму: *мужик-от, ветер-от*. Это тоже из глубокой древности.

Кое-что из неправильностей согласования перенялось из якутского.

Но и многие собственно русские слова, сдвигаясь и сдвигаясь без поправок в искаженную звуковую форму, со временем так и затвердели в ней. А уж если русскоустыинец что вбил себе в голову, на том он и будет стоять. А. Г. Чикачев считает упрямство, консерватизм главной чертой своих земляков, но без них, вероятно, индигирщику было бы и не выжить; то, что в других случаях является неприятным качеством, в этом смысле сыграло положительную и усилительную роль. Но сейчас речь о корявинах, об искажениях в языке.

«Омоложиваться» постепенно превратилось в «омолахтываться», «позавоччу говорить» – не вдруг разберешь, что это «говорить за глаза, за очи», «авидень» – «в один день», одеяло – *аджало*, медлить – *меледить*, лента – *ленда*, пробка – *тробка*. Особенно пострадали слова-переселенцы чужого происхождения, занесенные позднее купцами, администрацией или экспедициями. По своим местам знаю, что они, слова эти, стоящие как бы поперек горла, неизменно разворачивались в повдоль – чтобы не драло горло. Пиджак – *финзак*, адъютант – *утитант*, обсерватория – *червотория*, тут русскоустыинец не церемонился, излаживая из перелетного слова что-то такое, что здесь и застревало. И когда в речи все это перемешано со старорусским, в речи то уже и не подозреваемым, когда выговаривается слово на свой лад и стоит в непривычной подчиненности да выстреливается скоренько – не вдруг, даже и выструнившись весь в одно внимание, поймешь правильно русскоустыинца.

Но уж когда начинаешь понимать, когда научишься отличать семенную насыпь языка от пустовесу, когда и на слуху вызванивается родовитость слова, так бы слушал его и слушал, пил и пил, как при жажде, его драгоценную сытость. И тогда хочется, чтобы слушали и наслаждались другие, пока не совсем поздно. Ведь немного еще – и отзвучит досельность, и перекроется в русском человеке навсегда клапан, приподнимавшийся время от времени над узким нечувствительным отверстием, сквозь которое доносился связный шепот нашего предка, знающего, что его поймут. А как только некому будет понимать – уже и не скажется.

И как бы не отмерло в нас еще одно чувство, за которым мы и без того плохо следим, да не все и ведаем о его существовании, хотя и составлено оно из всех основных человеческих чувств – видеть, слышать, обонять и осязать дальше собственной жизни.

Послушаем еще русскоустыинца, пока не умолк он. Так не хочется расставаться с его речью. *Идти ступью* – идти медленно; *облай* – грубый, скандальный человек; *делать назгал*, *делать в конец рук* – делать плохо; *заглушки давать* – улыбаться; *за лишек зайти* – перестараться; *исток знать* – знать причину; *наперепучье* – наперерез; *найдушка* – находка; *на ушю посадить* – обмануть; *не дай не вынеси* – о беспомощном человеке; *оптопок* – изношенная обувь; *огонь угасить* – остаться без хозяйки; *хозяйство по навильникам пошло* – разорилось; *напоротки отбить* – избить (Чикачев считает, что это от *напорозь* – в древнерусском наплечник, но есть еще *напороток* – сустав в птичьем крыле); *семилу бить* – суетиться; *упалой* – слабый; *ухульничать* – клеветать; *через говорить* – говорить без уважения; *сидеть до чуки* – сидеть до конца; *перешекалдывать* – спорить, мешать разговору; *басница* – сплетница; *вара* – заварка чая; *ересь* – ссора; *жалеть* – любить; *зарность* – жадность (как оно и было в старину и с жалеть, и с зарностью).

Здесь, в краю вечной мерзлоты, где все еще находят туши мамонтов и стволы берез неподалеку от океана – свидетельство иных климатических эпох, на счастье и удивление до последних дней сохранился и старорусский язык. И когда встречаешь его не в летописях и случайных отзвуках, когда слышишь его наяву, открывается с особенной ясностью, как много вместе с естественным отмиранием случилось в русском языке потерь неоправданных и непоправимых – то, что в Русском Устье было последним отголоском русской языковой и бытовой стародавности. И то чудо, что она донеслась, а нам припомнился слух, чтобы ее понять.

Что быльем поросло, что водой унесло

В прохладный, полосисто освещенный день в начале августа подплыли мы к Станчику – к последнему перед океаном поселению на Колымской протоке. О Станчике я слышан был из-за часовни. О ней упоминал академик-археолог А. П. Окладников, собиравшийся перевезти ее в Новосибирск, чтобы спасти от непригляда и разорения, о ней же вздыхал А. Г. Чикачев: «Надо, надо спасать, пока не сожгли, но как – это не мой теперь район» – он тогда работал на Колыме. Издали-далеко, крутясь в лодке по крутым излучинам, видели мы ее – согнуто-теремчатую под крестом, а как вывернули из-за последнего мыса, то и вся показалась она на невысоком яру, крайняя к северной стороне среди нескольких протянутых по берегу построек.

А постройки эти были – три избы да два амбара, тоже не жильцы на белом свете. Часовенка же хоть и возвышалась еще над ними, но, покосившись, стояла как бы коленапоклонно перед рекой, мертво уставившись в пространства в воде и зелени, куда она сеяла молитвы.

Надо ли удивляться, что брошенное до яви, до озноба и оцепенения способно показать себя мертвым. Тут

же оставлено было давно. И оставлено так, будто Мамай налетел. На берегу до дыр разошлись лодки и карбасы, осыпавшаяся яма едва выдавала остатки ледника, возле одной из изб приткнута заржавленная пила, на «козлы» для пилки накинута бревешко. В стенах разваленная обиходь, промокшие под сквозящими крышами и окнами одеяла, матрацы, шкуры, в амбарах – изопревшая лопоть. Все, чем жили, кормились, обогревались, оставлено почему-то по великому спеху – и словно ни одна нога не ступала с той поры.

Здесь я почувствовал осязаемую, как разрушающее давление с неба, тоску. К тому располагала еще и погода. Небо было сырое, волнами нахлестывающее на низкие темные края, солнце изредка процеживалось холодными высветами. И раз за разом налетал, приняв нас за рыбаков, и кричал поморник. Оборванный строй покосившихся крестов над могилами грядой отворачивал от реки и в отдалении шел вдоль нее. Вымочив в болотине ноги, я добрался до кладбища – хоронили и верно по узкому сухому взгорью в строй, но ни голбосов не осталось уже над втянутыми в землю бугорками, ни имен на крестах, ни в спину поглядеть, ни быльем помянуть. Как в лагере. За неделю до того были мы на месте огромного лагеря в устье Колымы, оставившего после себя рядом с развалинами барачков и обрывками колючей проволоки вот так же покосившиеся столбики над безымянными костями. Но там хоть прийти некому, те, пригнанные с виной и без вины, и в землю сваливались под номерами, а для этих тут родина, и их хоронили со слезами. Но и еще, как на ступеньку, спустимся на одно оправдательное «хоть»: тут хоть живых подле похороненных нет, но и там, где есть они по Колыме и Индигирке, всюду одно и то же: оставленность, остуженность, разрыв.

...На катере рыбоохраны мы спускались в низовья – к Русскому Устью, Полярному (он тогда еще назывался По-

лярным), и последним русскоустыинским летникам вблизи океана. Вместе с нами из Чокурдаха плыли братья Алексея Гавриловича Чикачева – Вениамин и Иван, в широких темных лицах которых давняя подмесь в русскую кровь дала на зависть кость крепкую и общий постав ядреный. Предки Чикачевых по фамилии ходили за песком и мамонтовой костью на Новосибирские острова (упоминаются как искусные промысловики в начале XIX века), сопровождали туда же, на Новосибирские острова, экспедицию М. Геденшторма, еще раньше вырубали изо льдов судно Дм. Лаптева. В экспедиции Э. Толля снова Чихачев с инициалами Е. Н., три года он ходил в ней проводником, отличился в отыскании кратчайших путей к океанским стрелкам и пожалован был высочайшей наградой. В этой же экспедиции вместе с Толлем плавал Петр Стрижов, прадед Чикачевых по материнской линии, и плавал столь полезно, что его именем названы два острова. Егор Чикачев рубил церковь в Станчике, ту самую, над которой мы только что вздыхали. Дед Чикачевых Николай Гаврилович, по прозвищу Гавриленок, не однажды поминаемый у Биркенгофа за крепкую хозяйственную справу, знал грамоте, в те времена это было у индигирщиков редкостью. Отец – Гаврила Николаевич – в 30-е годы руководил колхозом «Пионер». Родословная не бедная, и складывалась она по делам, в местной истории едва ли не вершинным, заглядывая порой и в российскую историю.

В Станчик на Колымскую протоку мы отвернули на моторной лодке, оставив катер на стрелке. И к вечеру того же дня, вернувшись на катер, вышли на Русскую протоку. Плавание по нижней Индигирке, в отличие от внутрисибирских вод, требует как бы и глаз иных, привыкших к голоземью, умеющих и в нем находить радость.

По времени ночью, но при свете, даже при продравшемся ненадолго солнце, чтоб приветить нас, подошли мы к Русскому Устью. Уютно стояло оно – Индигирка

здесь выкручивает полуостров. Заметно подмытый берег, но две постройки, как и зимой, когда я тут был, держатся: изба и амбар дажителю Гавриила Шелоховского. Давно уже нет его, нет и последнего квартиранта по фамилии Связов, который долго поддерживал здесь жилой дух в полном одиночестве и, по рассказам, от тоски ни днем, ни ночью не выключал громкоголосое радио. Та же металлическая пластина на стене, обращенной к Индигирке, с фамилиями знаменитых ученых и путешественников, проезжавших через Русское Устье. Но зимой изба была крепче, мы влезали тогда внутрь через окно, чтобы не потревожить в сенцах хлопотавшего там в тряпье горноста, теперь потолок обвалился и дерн с него травенеет на полу, сильно бьет изнутри прелью и гнилью. Так же, как зимой, валяются на берегу перевернутые карбас и ветка, так же разбросанно чернеют бочки.

Три мира, если верить «Влесовой книге», было у древних славян: Явь – мир видимый. Навь – потусторонний и Правь – мир справедливости. Явью от Русского Устья остались вот эти две заваливающиеся постройки из хозяйства Шелоховского, наполовину погружившиеся в Навь, откуда она и начинается и продолжается полноправно неподалеку сухоступом кладбища. Для глаза на нем мало что осталось: чугунный памятник русскоустыинскому потомственному жителю Алексею Киселеву, привезенный еще в начале XX века из-за далей с далями его разбогатевшими сыновьями, да остатки крестов и голбосов, которые надстраивались над могилами. Кладбище уходило в глубь огибень-полуострова, а «жило» (жилье) тянулось метрах в ста вдоль берега. Печища от изб хорошо заметны еще и сегодня, и по ним, показывающим достаток, даже мне, постороннему человеку, начитавшемуся и наслушавшемуся о Русском Устье, нетрудно угадать, где стоял дом богача Ивана Щелканова и где – «Гавриленка», дедушки братьев Чикачевых. Рядом с ним, с чикачевским родовым теплом, как возданная Правь,

одинок торчит памятник Русскому Устью – сварной металлический лист в виде паруса на коче. Надпись говорит: «Здесь находилось старинное селение Русское Устье, основанное Иваном Ребровым в 1638 году», указанием для которой А. Г. Чикачеву послужила сохранившаяся запись, что в том году тем Иваном Ребровым, шедшим от Яны-реки, срублено было на Индигирке ясачное зимовье с острожкой.

И опять давящая тоска, чувство брэнности и тщеты: вот прожили они здесь самым малым счетом три века и еще более полувека – только-то и осталось от них! Мы привыкли видеть смысл человеческого существования в делах рук человека – в построенных городах, распаханых полях, вычерченных и собранных машинах. И все это в заслугу старинному селению поставить затруднительно: и сами кормились, и для других заготавливали «божье» – песка, рыбу, мясо, даже ездили по «божьим» дорогам, которые с каждой весной или зимой надо торить заново. Все, чем жили триста с лишним лет на этом берегу, изошло, рассеялось, иссякло. И во что, кроме тлена, обратилось? Есть ли в свете справедливый счет, отмеряющий пользу и тщету нашего бытия, и кто настраивает его? Неужели только того в конце концов и заслужило Русское Устье, что скорбного погоста да поднятого над ним, как над возвращающимся в отчие пределы кочем, застывшего паруса?

И долго, как отплыли, молчали виновато и удрученно братья Чикачевы, пока не сгношили на катере чай и не зашел разговор, что нигде, ни в каком краю, невинных нынче не осталось. Это какая-то вселенская наша вина за Землю единую и за каждую в отдельности, поруганную дурной цивилизацией и не оплаканную из упрямства, что тот и бог, у кого длиннее рог. Со страстью совлекаемы, без покаяния отпускаемы. И у лучших из нас не исчез соблазн, закрывшись торопливым «аминь», кинуться вслед за теми, кто умеет смотреть только за горизонты, не видя ничего под собственными ногами.

Позднее с Индигирки дошел слух, и я с радостью поспешил вписать его в этот текст, что братья Чикачевы числом в четыре пары рук свезли на барже в Станчик кой-какой строительный материал и поправили, почти подхватили в упаде тамошнюю часовенку, привели ее если не в Божий, то в мало-мальски пригожий вид.

Позже еще одно известие: русскоустыинцы отметили 350 лет от основания своего села. Что ж, и 350 немало. А если к ним добавится остаточек лет в пятьдесят, про запас выглядывающий за означенным сроком и притягательный, как самый лакомый кусок, так и того лучше. Разве не соблазнительно представить, что примерно в ту же пору, когда Ермак отбивал на Иртыше, с западного опоясая, у татар юрод Искер (другое название – Сибирь), на крайнем восточном конце уже держал русский человек в своих руках противоположный прихват – и только оставалось то опоясать прошнуровать.

Последние известия относятся ко всему побережью Ледовитого океана. Оно, в сущности, брошено Россией на произвол судьбы. Я дописываю эти строки зимой: «на северах» (так говорят у нас, деля выстуженные пространства на части, складывающиеся каждая вокруг какого-то главного дела) глухая полярная ночь. Уже не первый год не завозится туда в необходимых количествах горючее и продовольствие, десятки тысяч людей, распродавая имущество и спасаясь от голода и холода, каждое лето «выбрасываются» на материк. И у десятков тысяч, сманенных когда-то в неприятные места хорошими заработками, нет теперь денег, чтобы эвакуироваться из зоны бедствия. В Москве о них стараются не вспоминать.

В Русском Устье перестали заготавливать песка – невыгодно. Дорог бензин для охоты на «Буранах», а собачьи упряжки отставлены, ни одной не осталось. Закрыли рыбозавод, рыбу не принимают. Все, чем жило Русское Устье, оказалось без надобности. Через сто лет после того, как

оно явилось из тьмы безвестности, Русское Устье вновь уходит в ту же тьму. Повторяется: «в России их вовсе потеряли». На какие сроки в этот раз – неизвестно. С голоду русскоустыинец не пропадет, допрежняя жизнь научила его обходиться тем, что дает тундра. Не станет совсем муки – перейдет на рыбные лепешки; загаснет электричество – запалит лучину. Ни один из старых навыков у него не потеряян. Обзаведется вновь собачьим транспортом, перестанет надеяться на завозной товар. И вспомнит, должно быть, опять булю и сказку, вспомнит и чувство, с каким сказывались они у разожженного чувала.

Или это только оттяжка перед неизбежным сгоранием в жертвенных огнях цивилизации?

А я все не могу забыть, как сплавлялись мы мимо русскоустыинских погостов к океану. Десять лет прошло, а все чудится мне: поднятая побудным звуком от мотора нашего катера, встала по обеим сторонам Индигирки вся рать досельных людей, обживавших эти берега, и сурово всматривается в нас. И не может понять: что за народ народился? Куда правим мы? От чего бежим? Что ищем?

1986, 2000

ТРАНССИБ

Транссиб на перевале двух веков – это не просто рельсовая дорога через весь огромный сибирский материк, который в XIX веке знали почти так же мало, как в семнадцатом и восемнадцатом, но это еще и дорога из столетия в столетие. Только с прокладкой этой дороги, только с «прошивом» Сибири из конца в конец она была наконец-то подтянута к европейской части России накрепко, в одно целое. И только зацепившись этим «арканом» за причальный бок нового столетия, Россия могла чувствовать себя в нем уверенно, и даже обрушившиеся на нее в первые два десятилетия XX века потрясения не

столкнули ее в могильную яму, и еще через полтора-два десятилетия она снова встала в строй великих держав. Что было главной опорой страны в Отечественную войну, когда большая часть европейской территории оказалась в руках врага? Огромные пространства на востоке, великий дух народа и Транссиб. По Транссибу в декабре 1941-го пошли под Москвой в бой сибирские дивизии, по нему выходили из цехов танки, и по нему же взлетали в воздух самолеты. А всего-то рельсовая нитка в два ряда, двухпутка. Примитивное сооружение, когда на каком-нибудь негромком километре в степи или тайге прикорнет оно на несколько минут в покое, ничем не обремененное, в сторонке от своего хитроумного технического и электронного оснащения, от голосов и сигналов, от пульсирующего непрерывно пульта управления, – до того простое и древнее, как дважды два, с потеками пота на шпалах, что невольно хочется его приласкать. Но налетит с грохотом состав, тяжелый и длинный, с промелькивающим грузом самого разнообразного сорта, оглушит, обдаст порывом скомканного воздуха – и обомрешь да и выдохнешь в торжественном испуге: да-а, непрост ты, брат дважды два! Экая силища! Что бы мы без тебя делали?! Промчится состав, заглохнет, уже и бесшумно изовьется красиво вдали членистым телом, подразнит всегда манящими пространствами, а уж навстречу другой состав, еще более длинный, еще более торопливый, врывается со свистком – и накроет рельсы, дробно застучит по ним, выбивая чечетку. Поневоле начнешь представлять: сколько же их сейчас, в эту минуту, оседлав рельсовый путь, мчится по Транссибу из конца в конец – тысячи, а может, десятки тысяч! Сколько же всего перемещается, какая клокочет жизнь! И какая таинственная тяга, наподобие генетической, влечет нас с боковых окраин по ту и другую сторону пути, из любых далей влечет к станциям, где тормозят поезда.

Рожденные в глухих таежных углах, среди могучих гор, дыблящихся в небо на многих сотнях километров,azole великих рек, несущих воду, которой омывается земля, в океанскую колыбель, рожденные в тундре и на границе с песчаной пустыней, мы все в конце концов пробиваемся к ней, главной дороге. По тропам и проселкам, по речным рукавам и снежным заносам, по путикам и большакам выходим мы из своего детства в тот обжитой и подшитый в одно целое мир, где пролегают рельсы. И садимся в поезд, лучше всего в поезд дальнего следования. Он трогается, и душа наша взлетает. И все стесненное, не успевшее раскрыться, все начальное, не успевшее сказаться, вдруг испытывает счастливый подъем и волнение, в груди становится просторно. В поезде полетного настроения больше, чем в самолете: там тяжесть и тревога от высоты, одна цель – скорее сойти на землю; здесь – широкий и вдохновенный росчерк в книге нашей жизни, доступный взгляд неоглядного не только за окнами вагона, но и в своей праздничной душе. Земля расстилается бесконечной материнской дланью, часовые пояса, как невидимые врата, раскрываются без спешки и болезненных толчков. Забудешься, глядя в окно и не прерывая душевного сытенья под беспрестанную музыку дороги, повздыхаешь, да и вспомнишь невольно, что дорога-то эта не с неба упала, как речные пути, и что досталась она тяжеленько Государству Российскому. И дальняя память, память дедов и прадедов, выстелется дымкой пред глазами и возьмется рисовать смутные картины, навеет то дальнее-предальнее живыми впечатлениями.

Да, но есть ведь еще документы, свидетельства, воспоминания, факты. Не все снесено временем, не все потеряно. И главный свидетель – она, дорога.

Философ Иван Ильин, говоря о бременах и заданиях, изначально вставших перед русским народом и потребовавших от него особых тягот и испытаний, начинает с

главного: «Первое наше бремя есть бремя земли – необъятного, непокорного, разбегающегося пространства: шестая часть суши в едином великом куске; три с половиною Китая; сорок четыре германских империи. Не мы “взяли” это пространство – равнинное, открытое, беззащитное: оно само навязалось нам, оно заставило нас овладеть им, из века в век насылая на нас вторгающиеся отовсюду орды кочевников и армии оседлых соседей. Россия имела только два пути: или стереться и не быть, или замирить свои необозримые окраины оружием и государственною властью... Россия подъяла это бремя и понесла его; и осуществила единственное в мире явление».

Сейчас уже невозможно и представить себе все тяготы передвижения по сибирским далям на лошадках. Казаки-первопроходцы вонзались в этот край по речным путям, это были люди особого склада и непомерной дюжи, чтобы пройти весь материк от Урала до Тихого океана всего за полвека. Но затем началось обживание, наполнение, укоренение, потребовалась доставка товаров из Европейской России и взаимосвязность внутри. Большой Сибирский тракт (с восточной стороны он еще назывался Московским, а с западной Иркутским, поскольку кое-как отвечал требованиям тракта только до Иркутска, а от него еще до Кяхты на границе с Китаем, откуда вывозился чай) подерживать в приличном состоянии было невозможно по той же громоздкой причине, что это Сибирь. Летом проливные дожди, зимой каленые морозы и снежные заносы, осенью и весной в пору ледоставов и ледоломов через реки движение и вовсе замирало. Ямская гоньба на половину года превращалась в ямское «ползание», когда от станции до станции за тридцать-сорок верст невозможно было добраться и за сутки. В XVII веке назначенный в Иркутск воеводой Полтев скончался в дороге, в девятнадцатом с вельможными людьми такое, возможно, не случилось, но здоровья стоило немало. А уж что происходило за Байка-

лом, и вовсе никаким фантазиям не поддается. От Сретенска на Шилке до Хабаровска колесного пути хватало всего на восемьсот верст, а еще тысяча верст тянулась по выючной тропе. Представить нынче, что это был за колесный путь, и в особенности выючная тропа, невозможно. Грузы из Москвы добирались до Владивостока за год; почтовый тракт от Верхнеудинска (Улан-Удэ) до Сретенска и вовсе не подчинялся никаким климатическим законам: зима при больших морозах нередко бывала бесснежной, в пору для продолжения пути везти на санях телегу, а на телеге сани. Заселение Дальневосточного края происходило медленно, только отчаянные головушки могли решиться на преодоление самых жестоких мытарств. С 1883 года переселенцев из западных областей России принялись перевозить через Одессу морским путем, но и это путешествие занимало около трех месяцев. В Енисейскую или Иркутскую губернии партии переселенцев по несколько сот человек каждая продвигались, подобно кандалникам, через Екатеринбург и Тюмень также месяцами. Тяжеленьким выходило сибирское новоселье, не все выдерживали. И хотя к концу XIX столетия гужевой товарооборот непрерывно возрастал (в 1894 году между Иркутском и Томском он достигал почти трех миллионов пудов), это и в малой степени не могло удовлетворить потребностей поднимающегося в рост великана.

Сибирь увязала сама в себе. Назвать ее колоссом на глиняных ногах было бы, конечно, несправедливо, но «ноги» подводили.

К середине XIX века после походов и открытий капитана Г. И. Невельского и подписания в 1858 году графом Н. Н. Муравьевым Айгунского договора с Китаем, после чего граф стал называться Муравьевым-Амурским, окончательно оформились восточные границы России. Военный пост Владивосток заложен в 1860 году; пост Хабаровка только в 1893 году стал городом Хабаровском; до 1883

года население края не превышало двух тысяч человек. Но встали, уперлись, заняли коронное место на берегу Великого Тихого. В те годы полковник Генерального штаба Н. А. Волошинов с гордостью записал: «...все державы с завистью смотрят на наш Владивосток». Это значило: точат зубы. Побережье, удаленное от центра России за десять тысяч верст, по сути пустынное, бесконечно лакомое, надо было брать в твердые державные руки без промедления. А взять в твердые руки – значит приблизить. А приблизить – это связать скоростной дорогой, которая не зависела бы ни от капризов погоды, ни от капризов местности, а гнала да гнала необходимое укрепление, пока побережье Японского моря не превратится в непреступную крепость.

Ничего удивительного, что он же, граф Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири, одним из первых стал ратовать за обзаведение Сибири железными дорогами. Сначала, еще при императоре Николае I, он предложил маршрут «однотропной» «чугунки» от Байкала на Иркутск, Красноярск, Омск, Уфу и Самару, на удивление уже в то время совпадавший с трассой, по которой впоследствии и прошел Транссиб. А затем дал указание проводить изыскательские работы между Амуром и бухтой де-Кастри в Татарском проливе. Но после поражения в Крымской войне правительству было не до Сибири, страшновато было даже заглядывать в ту бескрайнюю сторону. А стоны из Сибири – дорогу! дорогу! – раздавались все слышней, и предложения сыпались одно за другим, в том числе от иностранцев, просивших концессии. Не отмалчивались и столичные газеты: нужда в Сибирской дороге ощущалась не только за Уралом – она нужна была всей России. «Русские ведомости» еще в 1875 году писали: «...В последние десять лет Россия вдоль и поперек изрезана рельсовыми путями. Но до сих пор железнодорожная предприимчивость исключительно сосредоточивалась в центре России, а равно на южных и западных ее

окраинах... Каковы бы ни были жертвы, пора наконец подумать о Сибирском пути. Не говоря уже о том, что этого требует политическая необходимость – связать с центром России обширную восточную окраину; что интересы Сибирского края, точно так же несущего государственные тягости, как и остальные части нашего Отечества, имеют не менее законные права на удовлетворение, чем интересы юга и запада, – осуществление Сибирской дороги есть настоящая нужда тех самых частей России, на которых до сих пор преимущественно останавливались заботы государства».

Но на носу уже была балканская война с Турцией, потрясшая государственные карманы, после нее потребовались еще годы да годы, чтобы иметь запасы, без которых выходить в Сибирь было бы легкомысленно.

В 1883 году началась, а в 1885 году закончилась прокладка дороги Екатеринбург – Тюмень, рельсовый путь впервые ступил на край Сибирской земли. Событие это произошло без особых торжеств, ибо не здесь намечались главные ворота в Сибирь, но дорога эта значила многое: она связала бассейны двух крупных рек – европейской Камы и сибирской Оби – и значительно облегчила продвижение за Урал переселенческих потоков. А затем, спустя десятилетия, и Транссиб как наиболее удобные выбрал именно эти ворота. Тогда же соединение будущей Сибирской магистрали с Европейской Россией предполагалось провести через Челябинск, Златоуст, Уфу и Самару. Постройка этой линии началась в 1886-м.

В том же 1886-м почти одновременно от иркутского генерал-губернатора графа А. П. Игнатьева и приамурского генерал-губернатора барона А. Н. Корфа поступили в Петербург серьезнейшие обоснования безотлагательности работ по сибирской «чугунке». На доклад графа Игнатьева Александр III отозвался резолюцией, которая теперь уже не оставляла сомнений в том, что долгожданное это пред-

приятие близко к началу. Она звучала так: «Уже сколько отчетов генерал-губернаторов Сибири Я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора». Ответ на доводы барона Корфа подтверждал высочайшую решимость: «Необходимо приступить скорее к постройке этой дороги».

Лед, что называется, тронулся. В данном случае эта поговорка имеет почти буквальный смысл. Сколько десятилетий представлялось, что маетное дело строительства «чугунки» погребено в сибирскую вечную мерзлоту и никогда не оттает. Теперь же становилось очевидным, что ждать остается недолго. 6 июня 1887 года по распоряжению императора состоялось совещание министров и управляющих высшими государственными ведомствами, на котором окончательно было решено: строить. Уже через три месяца начались изыскательские работы по трассе от Оби до Приамурья. От Томска до Иркутска этими работами руководил инженер путей сообщения Н. П. Меженинов, от Байкала до верховьев Амура, а затем и на Уссурийской дороге – инженер О. П. Вяземский. Имена эти, самые первые, будут сопровождать все строительство Великого Сибирского пути. Однако направление тогда еще не было окончательно выбрано. Существовал южный вариант – по линии Оренбург – Актюбинск – Павлодар – Бийск – Минусинск – Нижнеудинск – Иркутск. Был вариант обхода Байкала с севера, было два варианта обхода Яблонового хребта в Забайкалье. Были споры о головном пункте, с которого выходить в Сибирь или Пермь – Тюмень, или Самара – Уфа, или Самара – Оренбург. И даже в решении совещания от 6 июня 1887 года, которое тоже следует считать головным среди всех последующих решений, дорога намечалась не сплошной рельсовой, а смешанной, водно-железнодорожной.

Все эти рабочие и черновые подробности, предшествовавшие окончательному ходу трассы, можно посчитать сегодня излишними: дорога легла как полагается – ну и зачем теперь, казалось бы, трясти несостоявшиеся варианты? Но это история, атмосфера того времени, сама жизнь, которая никогда не исчезает бесследно и продолжает оказывать влияние на наши дни. В канун столетия Транссиба понадобилось вновь пройти по пережитому в конце XIX – начале XX века, вспомнить столкновение мнений и то, чем они разрешались, провести изыскания по давно изысканному, отложившемуся в вечность, поставить в торжественный ряд заслуженные имена, очистив их от наговоров и несправедливостей истории, взглядеться в ошибки, в зигзаги, в которые ударялась или готова была удариться дорога, соотнести с эпохой и ее событиями, то подгонявшими, то тормозившими дорогу, – ведь выпало ей идти не только сквозь Сибирь, но и сквозь революцию 1905 года, сквозь русско-японскую, а затем и Первую мировую войны, сквозь голод 1892 года в России и Боксерское восстание в Китае в 1900-м. Она ставила мировые рекорды по скорости прокладки, в одни города врывается под всеобщее ликование жителей, от других, именитых и богатых, вдруг в последний момент отворачивала, повергая местное общество в панику, а третьи заседала семенами богатырского роста. Она вздымалась на мостовых крыльях над могучими реками, пронзала непроходимые горы и, не теряя рельсовой нитки, плыла по Байкалу, а потом застревала в болотах, искала хода, словно заблудившись, в чужой земле, в череде неожиданных событий превращалась в разыгрываемую карту. И все прошла, преодолела, все выправила, обросла, как укоренившееся могучее дерево, ветвями к югу и северу, заговорила неумолчным и бодрым рабочим стукотком. Все эти победы и потрясения имели причины и следствия, в которых до сих пор еще разбираться да разбираться, в них участвовали многие ты-

сячи теперь уже в большинстве своем безвестных людей, вложены безмерные труды и страдания. Но и у дороги есть память: главное из судьбы своей она сберегла и имена поводырей и любимцев сохранила. И, говоря о ней, не миновать вспомнить и их, снова и снова вернуться к ее ходовым этапам. Ибо по ним и пролегли рельсы.

1891 год стал стартовым в судьбе Транссиба. В феврале кабинет министров принял решение одновременно начинать работы с противоположных концов – от Владивостока и Челябинска. Их разделяло расстояние более чем в восемь тысяч километров. Надо добавить: сибирских километров, когда в одну версту по трудоемкости работ могли уложиться десятки и сотни верст. «Глаза боятся, а руки делают» – сюда и эта поговорка не годилась: объять глазами эти неисчислимые дали, чтобы испугаться, объять их даже представлением было невозможно. Ступали в неизведанность и неизвестность.

Началу работ, первым шагам в постройке Сибирской дороги император Александр III пожелал придать смысл и ореол чрезвычайного события. Никогда еще в истории России не принимались за столь громоздкое, дорогое и великое дело, которое включало в себя одновременно и прокладку пути, и переселение из западных областей в восточные на свежие земли миллионов людей. Никогда еще Россия не приходила в столь энтузиастическое движение, обещавшее и выгоды, и подъем национального духа. Если этого не случилось, по крайней мере не случилось подъема национального духа, то лишь оттого, что и внутренние, и внешние силы вскорости втолкнули Россию в полосу исторических несчастий, которых тогда или нельзя было ожидать, или они не казались неизбежными.

17 марта того же 1891-го последовал, как тогда выражались, с высоты престола рескрипт на имя наследного цесаревича Николая Александровича, прибывающего во Владивосток после морского путешествия по восточным

странам. В рескрипте торжественно провозглашалось: «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей (целью) соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю Мою по вступлении вновь на Русскую землю после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению за счет казны и непосредственным распоряжением правительства Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути».

19 марта цесаревич Николай Александрович отвез первую тачку земли на полотно будущей дороги и заложил первый камень в здание владивостокского железнодорожного вокзала. Фигурально говоря, поезд тронулся, хотя до отправления реального поезда было еще далеко. Известие о начале строительства сквозной железной магистрали через Сибирь громогласно прозвучало по всему миру. Наше внутреннее дело вести по своей территории дорогу затрагивало интересы многих держав. Никто не желал усиления России; втуне лежащая земля, пустынная и непроходимая, недоступность природных богатств, связанная по рукам и ногам инициатива сибирского общества как нельзя более устраивали всех, кто торопливо заканчивал разделение мира на сферы влияния и не хотел лишнего соперничества. Интересы Англии как морской державы и одной из победительниц в Севастопольской кампании страдали оттого, что неостановимым делалось продвижение России к Мировому океану, и результаты Крымской войны уже не в состоянии были этому помешать. Япония считала Японское море, а также Корею и Китай сферой своих интересов, и вплотную приблизившаяся к ним Россия вызывала у островной страны крайнее раздражение. Подле Китая «паслись», кроме того, пользуясь его слабостью, и Германия, и Франция, и Америка. В Америке, где

от океана к океану проложены были к этому времени уже четыре железнодорожных магистрали, с восхищением отзывались о «фантастическом», как повторялось там, проекте Транссиба, американцы как народ предприимчивый и авантюрный не могли сдержать восторга перед грандиозной задачей, однако политиков США не могла не тревожить Россия, в которой кровь начинает пульсировать по всему ее богатейшему телу. Японская война, а затем и послереволюционные события (после 1917 года) подтвердили эту общую нелюбовь к России и желание поживиться ее лакомыми кусками на севере и востоке.

В 1892 году произошло еще одно важное для Сибирской дороги событие: министром финансов был назначен С. Ю. Витте, человек огромной, иногда чрезмерной деятельности, горячий сторонник скорейшего сооружения магистрали. Ничуть не мешкая, он составил план строительства. Еще до него вся трасса поделена была на шесть участков, а Витте предложил очередность их проходки. Первый этап – проектирование и строительство Западно-Сибирского участка от Челябинска до Оби (1418 километров), Средне-Сибирского от Оби до Иркутска (1871 километр), а также Южно-Уссурийского от Владивостока до ст. Графской (408 километров). Второй этап включал в себя дорогу от ст. Мысовой на восточном берегу Байкала до Сретенска на р. Шилке (1104 километра) и Северно-Уссурийский участок от Графской до Хабаровска (361 километр). И в последнюю очередь, как самая труднопроходимая, Кругобайкальская дорога от станции Байкал в истоке Ангары до Мысовой (261 километр) и не менее сложная Амурская дорога от Сретенска до Хабаровска (2130 километров). Позже спохватились, что небольшой участок от Иркутска до станции Байкал (80 километров) оказался в «излишке» и ни к одной «шубе» не подшит, а посему отнесли его к первой очереди, как того и требовал порядок работ. Кроме того, Комитет Сибирской дороги

передвинул сооружение Забайкальского участка от Мысовой до Сретенска также в число первоочередных.

Учреждение Комитета Сибирской дороги в 1893 году было подобно локомотиву, который на всех парах потянул все огромное строительное хозяйство. В него вошли председатель кабинета министров, министры финансов, путей сообщения, внутренних дел, государственных имуществ, военный, морской министры и государственный контролер. Председателем Комитета Государь назначил наследника престола Николая Александровича, которому оставалось до коронации чуть больше года. Комитету придавались самые широкие полномочия, в столь авторитетном составе препятствий для него не должно было существовать, и они действительно снимались даже в самых затруднительных случаях. Во все десять лет строительства, а затем и во все годы «дополнения» и выправления трассы, прокладки вторых путей, как и во всех экстремальных обстоятельствах, случавшихся во множестве, Комитет немедленно принимал решения, находил дополнительные деньги, восстанавливал справедливость. И даже прокладку КВЖД по китайской земле едва ли можно поставить ему в вину: сквозной путь в грозовой обстановке накануне войны требовался немедленно, а северный, амурский вариант в условиях вечной мерзлоты со всеми ее «цветочками» и «ягодками», какие никогда и нигде еще не встречались, ускорить было невозможно, и с Амурской дорогой впоследствии намучились не меньше, чем с Кругобайкальским участком. Принимаясь за столь грандиозное и неизведанное предприятие, каким показала себя Сибирская дорога, конечно, нельзя было предвидеть всех сложностей, всех подножек и бед, которые раз за разом сваливались на строителей как наказание за вторжение в эти дремучие заповедные места. Поэтому случалось все – и остановки, и неразбериха, и отступления от намеченного маршрута, и бегство рабочих со стройки, не выдержи-

вавших – ни за какие заработки – морозов, болот, гнуса и неукротимой стихии. Все случилось, и чрезвычайные обстоятельства на стройке такого масштаба и вызова были в порядке вещей.

На одном из первых же заседаний Комитета Сибирской дороги заявлены были строительные принципы: «... довести до конца начавшуюся постройку Сибирского рельсового пути дешево, а главное скоро и прочно»; «строить и хорошо и прочно, с тем, чтобы впоследствии дополнять, а не перестраивать»; «...чтобы Сибирская железная дорога, это великое народное дело, была осуществлена русскими людьми и из русских материалов». А главное – строить за счет казны. После долгих колебаний разрешено было «привлечение на постройку дороги ссыльно-каторжных, ссыльно-поселенцев и арестантов различных категорий, с предоставлением им за участие в работах сокращения сроков наказания».

Дороговизна строительства заставила пойти на облегченные технические нормы прокладки пути. Уменьшалась ширина земляного полотна, почти вдвое уменьшалась толщина балластного слоя, а на прямых участках дороги между шпалами и вовсе нередко обходились без балласта, рельсы были легче (18-фунтовые вместо 21-фунтовых), допускались более крутые, в сравнении с нормативными, подъемы и спуски, через малые реки навешивались деревянные мосты, станционные постройки ставились также облегченного типа, чаще всего без фундаментов. Все это рассчитывалось на небольшую пропускную способность дороги. Однако, как только нагрузки увеличились – а в военные годы они возросли многократно – пришлось срочно прокладывать вторые пути и все «облегчения», не гарантирующие безопасность движения, поневоле устранять.

От Владивостока повели пути в сторону Хабаровска сразу же после освящения строительства в присутствии

наследника престола. А через год состоялась торжественная церемония начала встречного движения от Челябинска. Первый костыль на западной оконечности Сибирского пути доверено было забить студенту-практиканту Петербургского института путей сообщения Александру Ливеровскому. Уж как сумели разглядеть в ничем тогда не проявившем себя студенте фигуру яркую, масштабную, рыцарскую, из тех личностей, которые обогатили и укрепили своим недюжинным талантом и профессиональной дерзостью все многолетнее строительство, все его этапы от начала до конца, – как разглядели, уму непостижимо. Он же, Александр Васильевич Ливеровский, двадцать три года спустя, в должности начальника работ Восточно-Амурской дороги, забил и последний, «серебряный» костыль Великого Сибирского пути. Он же, инженер Ливеровский, возглавил работы на одном из самых трудных участков Кругобайкальской дороги. Здесь впервые в практике железнодорожного строительства он использовал на буровых работах электричество, впервые он же на свой страх и риск ввел дифференцированные нормы взрывчатки направленного, индивидуального назначения – на выброс, рыхление и т.д. Он же, инженер Ливеровский, вел прокладку вторых путей от Челябинска до Иркутска. И он же заканчивал строительство уникального, в 2600 метров, Амурского моста, самого последнего сооружения на Сибирской дороге, сданного в эксплуатацию только в 1916 году.

Надо сказать, что в прежние времена, как только Россия принималась вынашивать великое дело, зачатое ее насущными потребностями, тут же, точно по волшебству, в необходимом количестве являлись яркие и сильные проводники и подвижники этого дела. Вспомним даже и издалека: когда в XIV–XV веках после татарского ига понадобилось заново собирать воедино русские земли и русские души – ученики Сергия Радонежского и ученики его

учеников поставили по окраинам Руси сотни монастырей, бескровно и учительно творивших объединительную работу, в том числе за Волгой.

Когда потребовалось открывать Сибирь – сотни, тысячи, десятки тысяч казаков, словно бы прошедших, подобно космонавтам, специальную закалку и выказавших способность к сверхперегрузкам и отчаянному порыву, за полвека, влекомые неудержимой тягой, дошли до Охотского моря.

Когда Петру Великому в его имперском строительстве понадобились соратники столь же могучего духа и силы, как он сам, – «птенцы гнезда Петрова» слетелись за считанные годы.

В канун Великой Отечественной, когда армия оказалась обезглавленной, а война надвигалась неудержимой лавиной, – от сохи и станка явились крестьянские дети и превзошли в ратном деле вымуштрованный веками казовый генералитет противника.

Так и с Транссибом: да, были уже в то время школы подготовки инженеров, был немалый опыт прокладки дорог в Европейской России, но все это оказалось несравнимо с тем, что потребовали сибирские условия. Это словно на другой планете была работа – малознакомой, «нравной» и гораздой на фокусы. Как в уссурийской тайге случалось: на виду у десятков людей на трассе, среди рабочего шума и гама прыжком выскакивает из-за деревьев тигр, хватает первого попавшегося – и поминай как звали. Или как в Забайкалье в трескучие морозы на реке Онон: ни с того ни с сего огромные, в две-три тонны, глыбы льда с грохотом выдирает из реки и подбрасывает высоко в воздух, устраивая жуткую дьявольскую канонаду. И много чего другого в том же нежданно-негаданном роде, от чего нельзя было застраховаться и что случалось с неминуемостью наступления каждого нового дня. Все это надо было понять (а никаких наблюдений за поведением пусть не тигров – природных явлений прежде не водилось), изучить и попытаться пре-

дотвратить. Что для этого больше требуется – инженерных знаний, человеческой опытности и интуиции или приобретаемой со временем свойскости – поди разберись.

Инженер-изыскатель и строитель выковался в Сибири в особый отряд рыцарского и верноподданнического служения России. Это была интеллигенция крепкой кости и здорового духа, у которой не могло явиться разрушительного настроения уже по одному тому, что призванием ее было строить, укреплять и облагораживать жизнь, выводить российские окраины, придавленные заброшенностью и дальностью, из их местечковых тупиков на простор знаний и деятельности. Это были образованные и благожелательные люди, спокойные и неутомимые, чьи добрые качества выработывались опять-таки профессиональным служением и духовной подтянутостью. Немало могил их осталось вдоль трассы, теперь уже и забытых, немало имен вошло в названия станций, да по нашей привычке к беспамятству потом переименованных, немало их, надорванных непосильной работой, после завершения строительства долго не протянуло. А мы и поклониться им теперь забываем.

В 1880-х, когда шли изыскания по трассе Томск – Иркутск, которыми руководил инженер Н. П. Меженинов, иркутская газета «Восточное обозрение» писала с принятым здесь грубоватым юмором: «Вот уже более года, как приехали инженеры путей сообщения и производят разведки железнодорожного пути на огромном расстоянии от Томска до Иркутска. Инженеры – люди новые, приезжие, со светлыми пуговицами, в форменных мундирах, и чудеса – никому до сих пор не пытались своротить скулу, надавать оплеух, упечь под суд, согнуть в бараний рог. Делают себе мирно да тихо свое дело и никого не обижают. Непривычны мы к таким явлениям. “Чего бы уж совсем плохого не вышло!” – говорят сибирские обыватели».

У Владимира Чивилихина остался незаконченным роман «Дорога» – о Транссибе и об известном писателе и

инженере-изыскателе Гарине-Михайловском, авторе «Детства Темы», «Гимназистов», «Инженеров» и многих других книг. Об изыскательской работе в своем романе Чивилихин пишет и с любовью, и с удивительным знанием дела:

«Задачи, стоящие перед любым изыскателем, можно свести к нескольким основным. Главный принцип – выбрать кратчайшее направление, потому что железная дорога прокладывается надолго, и каждый лишний километр – это не только удорожание строительства. В будущем ненужные рельсовые расстояния обернутся гигантскими перерасходами времени, сил и средств. Дорога должна иметь, кроме того, минимальное число уклонов, и если характер местности не позволяет избежать их совсем, то инженер обязан найти самые отлогие, некрутые спуски и подъемы, а где надо – успокоить рельеф, т.е. предусмотреть выемки, высокие насыпи, путепроводы и установить так называемый руководящий уклон, который определит пропускную способность будущей дороги. Следует намечать далее возможно бóльшие радиусы кривых. Плохой, как говорят железнодорожники, ломаный профиль и крутые повороты вызовут потом дополнительные трудности в эксплуатации, преждевременный износ локомотивов, вагонов, пути. Подводя дорогу к реке, изыскатель намечает самые удобные места для пристаней или мостовых переходов, предусматривает защитные меры против паводков, снежных лавин, каменных осыпей, землетрясений, выявляет существующие транспортные пути, средства связи, источники водоснабжения, наличие строительных материалов, резервы рабочей силы и, не поступаясь надежностью будущей магистрали, стремится максимально снизить строительные затраты. Итог изыскательского труда – технический проект и смета, которые после утверждения становятся основными документами строительства».

Азбука, что и говорить, впечатляющая.

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский был назначен начальником изыскательских работ на Западно-Сибирской дороге в 1891 году. Первые изыскания здесь проводились раньше, от него требовалось лишь уточнить отдельные детали и дать окончательное заключение. Однако избранное направление трассы очень скоро удивило и насторожило инженера Гарина-Михайловского. От Барабинской степи ее отправляли к Колывани, богатому торговому селу на Оби, там ей предстояла переправа в месте самом неподходящем, где река имела обыкновение разливаться по обеим сторонам вволюшку, а сразу за Обью намечался крутой поворот на север к Томску болотистым труднопроходимым курсом. Неужели это самый короткий и удобный путь? Неужели изыскатели остановились на нем, не найдя ничего лучшего? Не может быть! Гарин-Михайловский принялся за разведку. Ниже по течению Обь становилась все шире и берега ее все болотистей. Надо было высматривать выше. Обследуя берега Оби, Томи и Яи – все три реки, державшиеся, как сестры, недалеко одна от другой, дороге было не миновать, – Гарин-Михайловский с помощью рыбаков и охотников отыскивал переправы, лучше которых и желать было нельзя, а местом перехода через Обь выбрал село Кривошеково.

Позднее, проезжая тут пассажиром, он запишет в дневнике кругосветного путешествия: «На 160-верстном протяжении это единственное место, где Обь, как говорят крестьяне, в “трубе”. Другими словами, оба берега реки и ложе скалисты здесь. И притом это самое узкое место разлива – у Колывани, где первоначально предполагалось провести линию, разлив реки – двадцать верст, а здесь – четыреста сажень. Изменение первопечатного проекта – моя заслуга, и я с удовольствием теперь смотрю, что в постройке намеченная мной линия не изменилась!.. Я с удовольствием смотрю и на то, как разросся на той стороне поселок, называвшийся Новой деревней. Теперь это уже целый городок...»

Этот «целый городок» в годы, как на опаре, вырос сначала в Новониколаевск, а затем и Новосибирск, самый большой в Сибири полуторамиллионный город, детище Транссиба.

А от Томска, самого звучного в то время города, где только что был открыт единственный в Сибири университет и заложен технологический институт, пришлось от-вернуть к югу на девяносто километров и оставить его в стороне. Обиду эту Томск не может забыть до сих пор. К нему провели ветку от станции Тайга (и место для этой станции, и имя ей выбирал сам Гарин-Михайловский), но и вместе с веткой новая трасса, которую изыскал и отста-ял Николай Георгиевич, оказалась короче прежнего, как он называл, «первопечатного» направления. И намного дешевле. А это именно то, что и требуется от изыскателя, кодекс которого, приведенный выше, и составил Влади-мир Чивилихин, выросший в семье железнодорожника на станции Тайга. «Вот и станция Тайга, откуда ветка идет на Томск», – коротко запишет Николай Георгиевич в том же дневнике кругосветного путешествия, и в лаконичной этой записи невольно слышится вздох при воспоминании, сколько же ему пришлось претерпеть, чтобы отстоять тог-да государственный интерес.

Судьба Томска, отставленного от столбовой дороги, так напугала градоначальников восточных городов, куда еще не дотянулся Сибирский путь, что в Иркутске на обе-де в честь прибытия нового министра путей сообщения М. И. Хилкова, на обеде, где присутствовал и Н. П. Ме-женинов, руководитель изыскательских работ от Оби до Иркутска, местный генерал-губернатор Горемыкин выра-зился весьма откровенно, сказав, что «пусть изыскатели ослепнут, если они хотят пройти мимо Иркутска – авось слепые попадут в город». Что ответил на это Меженинов, воспоминания не доносят, но едва ли он мог обидеться, зная прежде всего тот же государственный интерес, из ко-

торого исходил Гарин-Михайловский. Иркутск, к счастью, из этого интереса не выпал.

На Северно-Уссурийской дороге повторные изыскания, произведенные О. П. Вяземским, также изменили, укоротили и удешевили новый маршрут, значительно (на 30 километров) отодвинув его к востоку от реки Усури и вызволив тем самым из глубоких скалистых выемок и большей части заливаемых мест. Вяземский был решительным противником прокладки КВЖД и отказался работать на ней, но выправить это (маньчжурское) направление, слишком дорого обошедшееся России, ему оказалось не под силу.

Великий Сибирский путь тронулся на восток от Челябинска 7 июля 1892 года. Тронулся довольно скоро. Через два года первый поезд был в Омске, еще через год – на станции Кривошеково перед Обью (будущий Новосибирск); почти одновременно, благодаря тому, что от Оби до Красноярска работы велись сразу на четырех участках, встречали первый поезд в Красноярске, а в 1898 году, на два года раньше первоначально обозначенного срока, – в Иркутске. В конце того же 1898-го рельсы дотянулись до Байкала. И тут, перед Кругобайкальской дорогой, представлявшей из себя неопишумую природную красоту и столь же неопишумое препятствие из обрывающихся в озеро скал, произошла остановка на добрые шесть лет. Дальше на восток от станции Мысовой путь повели еще в 1895 году, с твердым намерением в 1898-м (этот год после удачного начала принят был за финишный для всех дорог первой очереди) закончить укладку и на Забайкальской трассе и соединить железнодорожный путь с речным, выводящим к Амуру. Но здесь начиналась совершенно неизвестная Сибирь, совершенно необъезженная, – и планам этим так скоро не суждено было сбыться. Одно за другим на строителей обрушились несчастья, которые не только сорвали сроки сдачи участков в эксплуатацию, не только в самом прямом смысле окунули строителей в пучину бед-

ствий, но и способствовали тому, что сооружение следующей – Амурской – дороги надолго было оставлено.

Первый удар нанесла вечная мерзлота. Юбилейный сборник в честь столетия Забайкальской железной дороги вспоминает об этом такой картиной:

«Опыта строительства на вечно мерзлых грунтах с ледяными линзами не было. Водопроводные трубы укладывались в отопливаемых паром или водой галереях. Корпуса железнодорожных мастерских в Чите разваливались. Позже разрушились здания локомотивного депо и бани в Могоче на Амурской дороге (кое-какие первоочередные службы протягивались и туда. – *В. Р.*). Сплывы откосов выемок, заполнение грунтом водоотводных канав, выпучивание мостовых свай, осадки высоких насыпей даже зимой, разжижение плотных оснований насыпей во время длительных ливневых дождей, разрушение фундаментов зданий и мостов – это далеко не полный перечень странных и неожиданных явлений, с которыми столкнулись строители на вечно мерзлых грунтах на многих участках Забайкальской дороги».

Наводнение 1896 года, чуть не повсеместно размыв возведенные насыпи, наделало немало бед, но они еще были поправимы. В следующем году грянул настоящий потоп. Воды Селенги, Хилка, Ингоды и Шилки, вырвавшиеся из берегов со скоростью и буйством цунами, сносили деревни, полностью был смыт с лица земли окружной город Доронинск, на четырехстах верстах от железнодорожной насыпи не осталось и следа, разнесло и погребло под илом и мусором строительные материалы. Когда вода наконец спала – жуткое зрелище невиданного опустошения предстало перед строителями, будто это они и вызвали стихию, нагрянув сюда, где человек еще не имел первенства, без спросу и нарушив закон здешних мест.

На этом беды не прекратились. Через год, показывая после наводнения обратную сторону стихии, выпала не-

бывалая засуха, ни трава не поднялась, ни хлебные засе-вы не дали зерна. Вспыхнула эпидемия чумы и сибирской язвы. Рабочие разбежались, остатки дороги возвышались могильными холмами.

Только через два года после этих событий, в 1900-м, удалось открыть на Забайкальской дороге движение, но была она вполовину настелена «на живульку» и потребовала для безопасного движения еще трудов и трудов.

А с противоположной стороны – от Владивостока – Южно-Уссурийская дорога до станции Графская (станция Муравьев-Амурский) была сдана в эксплуатацию еще в 1896-м, а Северно-Уссурийская до Хабаровска закончена в 1899-м.

Оставалась нетронутой отодвинутая на последнюю очередь Амурская дорога, и оставалась недоступной Кругобайкальская. Но Амурской, натолкнувшись на непроходимые места и боясь застрять там надолго, в 1896 году предпочли южный вариант через Маньчжурию (КВЖД), а через Байкал в спешном порядке наводилась паромная переправа, и везли из Англии сборные части двух паромов-ледоколов, сначала одного, затем другого, которым и выпало в течение пяти лет принимать в себя железнодорожные составы.

Трудности на Забайкальской дороге оказались чрезвычайными, но считать, что они выпали совершенно неожиданно, нельзя. Всего можно было ожидать от воистину загадочных и мистических сил на огромных малозаселенных и почти совсем не изученных пространствах. Не зря говорят, что в звучании слова «Сибирь» слышится рык – вот он и прозвучал, когда ступили на нее торопливо и больно. Русская история этих диких мест началась с XVII века, когда появились тут казаки, а вслед за ними пашенные крестьяне, но было их немного, на версту по персту, и жили они замкнуто; что выпадало им, какие уроки они извлекали из общения со здешним краем, тут же с ними навсегда и оставалось, не оповещая, как теперь, громогласно всю планету.

В 1913 году в Забайкалье побывал знаменитый норвежский путешественник и ученый Фритъоф Нансен. Был он страстным пропагандистом Великого Северного морского пути, который теперь в одной упряжке с Великим Сибирским железнодорожным путем сулил огромные перспективы. По северным морям, а затем по Енисею Фритъоф Нансен доплыл до Красноярска и пересел на поезд. И проделал весь тот путь, на котором установился Транссиб: от Читы свернул на КВЖД и доехал до Владивостока, затем по Уссурийской дороге до Хабаровска, а там... там Амурская дорога на возвратном пути, в свое время оставленная, но теперь опять подобранная, берущаяся в упряжку. Берущаяся, но еще не взятая, передвигаться приходилось то в вагоне, то на дрезине, на автомобиле, на своих двоих, в лодке, пока не выбрался знаменитый норвежец в сопровождении хозяев на Забайкальскую дорогу, где начиналось уже устоявшееся сквозное движение. Но именно эти гиблые места, штурмуемые строителями, и произвели на путешественника, повидавшего в своих странствиях многое и всякое, самое большое впечатление. С одной стороны, природа, затаенная и мощная, как сфинкс, величественно застывшая в осенней дремоте, переваливающаяся с боку на бок в сезонных преображениях, не рассчитывавшая, что когда-нибудь здесь может появиться человек, и никаких удобств для него не приготовившая, налитая огромной силой, с которой, казалось, некому соперничать, и, с другой стороны, он, этот человек, неизвестно откуда берущий прямо-таки богатырские жилы и крепи, чтобы быть сильнее и упрямо пробиваться вперед и вперед.

Книгу свою об этом путешествии Нансен назвал уважительно и точно – «В страну будущего». Не однажды он восклицает в ней: «Удивительная страна! Удивительная страна!» – и замечает совсем как бывалый, вместе со строителями испытавший все тяготы их суровой жизни товарищ:

«Климат зимою так суров, что по большей части исключает возможность каких бы то ни было работ, кроме туннельных и мостовых. Да и летом условия не из благоприятных: жарко, и такая масса комаров и мух, ос и всякой мошкары, что единственное спасение от них – дым от костров. Нелегко находить на этих плоских болотистых равнинах и хорошую питьевую воду, и приходилось большею частью довольствоваться стоячею, болотною. А бездорожье приводило к тому, что летом болотистая местность становилась окончательно непроходимую, и самое проложение сколько-нибудь сносных дорог приходилось откладывать до зимы».

На станции Талдан Нансен заглянул в стометровую скважину, пробуренную на болоте в поисках питьевой воды. Воду не нашли, но срез «преисподней» поразил ученого: сверху метровый пласт торфа, затем полтора метра цельного льда, а дальше песок, гнейсовый гранит – и все это до самого дна было каменно-замерзшим. Какой же милости можно ждать от этих глубин, где адская кухня в любой момент может преподнести самый неприятный сюрприз? Оттого и «милость», которая в виде рельсового пути творилась на поверхности, постоянно находилась под угрозой, и потому ничего не оставалось, как для защиты возводить гигантские прокладки-насыпи.

Здесь были особо трудные, как принято говорить, экстремальные условия, здесь дороженька доставалась такой ценой, что измерять ее нечем. Но легкой дороги и нигде-то не случалось, даже в Западной Сибири, где она, казалось, катилась сама собой, если судить по скорости продвижения. Конечно, Ишимская и Барабинская степи выстлались на западной стороне ровным ковром, поэтому рельсовый путь от Челябинска до Оби, как по линейке, ровно шел вдоль 55-й параллели северной широты, превысив кратчайшее математическое расстояние в 1290 верст всего на 37 верст, неизбежных при подходах к городам и

речным путям. Довольно легко давались и земляные работы, особенно после того, как привезли из Америки землеройные грейдеры.

Не сравнить Западно-Сибирскую с другими дорогами, но и здесь не обошлось без трудностей, которые происходили из того же, что в ином роде давало преимущества, – из степной местности. В степной местности не было леса – приходилось везти его из Тобольской губернии или из восточных таежных районов. Не было даже гравия, камня, – для моста через Иртыш и для вокзала в Омске везли камень по железной дороге за 740 верст изпод Челябинска и за 900 верст на баржах по Иртышу из карьеров. В половодье нельзя было избавиться от воды. Все тот же инженер Ливеровский, только что после окончания института поступивший на стройку, догадался вдоль трассы отрывать котлованы. А питьевую воду, воду для паровозных котлов в озерном краю добывали из артезианских скважин, да еще и очищали ее химическим способом от примесей. Снежные заносы под буйными степными ветрами превращали насыпь в белое, уходящее за горизонты холмистое изваяние – лесопосадками в срочном порядке не загородишься, пришлось набивать тысячи и тысячи деревянных щитов. Да и вышли в степь сибирскую налегке: не хватало одного, другого, третьего, даже гвозди везли с Урала, мастерскими обзавелись не сразу, хозяйственный обоз подтянули позже. Именно здесь, на первом этапе, дорога набиралась опыта, училась ходить по Сибири особым шагом – спорым и вкрадчивым, все учитывающим, ко всему готовым, ставящим ногу так, чтобы из любой ловушки ее можно было выдернуть.

Мост через Обь строился четыре года, а дорога с правого берега Оби (теперь это была уже Средне-Сибирская дорога) устремилась дальше на восток. И до Мариинска, даже до Ачинска серьезных препятствий не встретила – все та же степь, постепенно одевающаяся в леса. Затем –

отроги Алтая, Алатау, Саянского хребта. Начиналась кондовая, таежная, суровая Сибирь с резко континентальным климатом, с гористыми участками в сотни верст, с резкими повышениями и понижениями местности, что на языке строителей называлось «перевалистостью», с бездорожьем, с земляными работами, где приходилось орудовать не столько лопатой, сколько топором – так перекручена была почва древесными корнями.

Здесь же, от станции Тайга, отходила ветка на Томск, где разместилось Управление строительством Средне-Сибирской дороги. Надо полагать, оно расположилось в Томске исходя не только из практических удобств, но и из желания потрафить уязвленному самолюбию города, оставленного в стороне от главной магистрали. Но и Управление Забайкальской дороги разместилось почему-то не в Чите, как того требовала география, а в Иркутске. Потом, десятилетие спустя, была почтена и Чита: сюда из захолустного Нерчинска перевели Управление строительством Амурской дороги. Дальше от линии работ, но ближе к линии связи; очевидно, для управленческой жизни это имело не последнее значение.

Вообще, Средне-Сибирская дорога, несравненно более трудная, чем Западно-Сибирская, велась, по всему судя, радостней, азартней, на подъеме и воодушевлении. Вылезли из болот, и лес, и камень, даже облицовочный, под руками, огромные залежи угля, который пойдет в паровозные топки, сухой мороз и сухая жара, таежная живность, которая и повеселит, и накормит, крепкого духа и здорового вида местный народ. Научились организовывать работу, вошли во вкус и ритм ее, почувствовали радость продвижения.

До Красноярска «чугунку» провели быстро, работы шли, повторим, одновременно на четырех участках. Укладывались 18-фунтовые рельсы, но каким-то макаром по Великому морскому пути и Енисею в Красноярск была доставлена из Англии партия 22-фунтовых – не в лад с принципом

строить только из отечественных материалов. Привезли за тридевять земель – не возвращать же из принципа обратно. Да и рельсы хороши. Выстелили ими двадцать километров к западу от Красноярска, не пришлось затем и менять.

На восток от Енисея должны были вести дорогу с противоположных концов – от Красноярска и от Иркутска. Но Николаевский железодельательный завод в Иркутской губернии поставлять рельсы не смог. Пришлось землепроходческим способом идти только «встречь солнцу». Красноярский юбилейный сборник к 100-летию своей дороги дает красочную картину работы укладчиков, которые, подобно цыганскому табору, с женами, детьми, кошками, собаками, петухами и поросятами, с торговыми лавками и кузнями ежедневно продвигались примерно на шесть километров по только что выложенным рельсам. И так всю тысячу верст: на полотно развозятся и укладываются шпалы, зарубаются гнезда для рельсов, просмаливаются, выравниваются, на вагонетке, которую тянет лошадка, подвозятся рельсы, раскладываются на шпалах, производится их заболтовка. Следом идут костыльщики, затем рихтовщики, выправляющие изгибы, и в конце – подбивка пути и засыпка балласта. Все – «цыганский табор», оглашая тайгу разноязычием его обитателей, на шесть километров продвигается вперед.

Но прежде-то надо было пройти самую трудоемкую и ломовую работу – навести полотно дороги, надежное, удобное для хода, приятное для глаза. Случались участки, где приходилось поднимать полотно на 17 метров (на Забайкальской дороге высота насыпи доходила до 32 метров – выше восьмиэтажного дома), и были участки, где выемки, да еще и каменные, были сравнимы с подземельями. Мешала река – отводили ее русло, чтобы знала свое место; вставала гора – поклоняли и ее, так что и следа не оставалось.

Русло Енисея не отведешь: проект моста через великую сибирскую реку, которая у Красноярска набрала

уже километровую ширь, сделал профессор Московского технического училища Лавр Проскурjakов. По его же начертаниям был навешен позднее самый грандиозный на Европейско-Азиатском континенте мост через Амур в Хабаровске длиной более двух с половиной километров. Красноярский мост потребовал, исходя из характера могучего Енисея в пору ледохода, значительного, превышающего принятые нормы увеличения длины пролетов. Расстояние между опорами доходило до 140 метров, и в этих даже и не шагах, а прыжках мост опасно зависал над бурлящей пропастью, держась, казалось, на одном только честном слове проектировщика. Но и высота металлических ферм возносила на верхние параболы на 20 метров – точно за небо ухватываясь, давая уверенность в прочности. Мост – картинка, да и только! Строил его инженер Евгений Карлович Кнорре, имя знаменитое, связанное с возведением мостов через Днепр, Западную Двину и Волгу. На Красноярский мост, как и на Обский, ушло четыре года. На Парижской всемирной выставке 1900 года модель этого моста получила Золотую медаль. Теперь в Красноярске рядом с этим отслужившим свой век «ветераном» построен новый, более надежный – и не знают, что делать с прежним. Разбирать – руки не поднимаются, без него Красноярск сразу поблекнет; мост, как крылатое и неповторимое чудо, не только дороге служил, не только с берега на берег протягивался, но и откладывался в сердце радостью и красотой.

В Иркутске Ангару не пришлось пересекать, дорога прошла по ее левому берегу, но на въезде в город с западной стороны встал на пути впадающий в Ангару Иркут, река норовистая, горная, бегущая с Саянских хребтов. Первый мост здесь ставился деревянный, слишком тяжело досталась бы доставка металлических конструкций по тракту. Соорудили опоры, забили в дно Иркуты сваи. Во время ледостава бурлящей водой вместе со льдом эти сваи повыдергало. Снова с великими мучениями забили, а что-

бы защитить их, вокруг ледорезов и опор устроили ряжи. Издатель газеты «Восточное обозрение» И. И. Попов в своих «Записках редактора» вспоминает:

«Помню, когда в 1898 году открывали этот мост и через него был пущен первый локомотив, генерал-губернатор А. Д. Горемыкин предложил мне проехать с ним в этом локомотиве. Я отклонил предложение и посоветовал Горемыкину “не производить испытания моста”. Он согласился со мной, и мы со стороны наблюдали, как “испытывали мост”. Строитель моста инженер Попов сел на локомотив с револьвером в руке. Потом, после испытания моста, я спросил у Попова, зачем понадобился ему револьвер. “Если бы мост не выдержал, я бы застрелился”, – ответил Попов. Мост оседал, трещал, но испытания прошли благополучно, и мост простоял десять лет. Вначале через него не пускали составы, но потом благополучно проходили все поезда».

С выходом Транссиба в срединную часть Сибири, на вершину ее, точнее обозначились не только его собственные, ведомственные обязанности, но и культурные, духовные, просветительские задачи. Вспомогательный «обоз», подцепленный к локомотиву, простирающемуся в глубь восточной страны, все разрастался, и чем дальше, тем больше. Дорога сама по себе, если бы она даже шла налегке, не обременяя себя дополнительными нагрузками, несла задатки широкого преобразования этого края. Загрузай, что требуется, и вези без помех – даже идеи, вкусы, нравы, манеры, новые способы хозяйствования и управления. Но дорога не обошлась этим испытанным путем колонизации, не ограничилась завтрашними результатами, тем, что при перевозках составных частей жизни сама собой устроится и новая, приличествующая времени жизнь, а принялась одновременно со своим ходом укоренять то лучшее, без чего обходиться уже было невозможно. Транссиб продвигался обширным фронтом, оставляя после себя

не одно лишь собственное путевое и ремонтное хозяйство, но и училища, школы, больницы, храмы. Вокзалы, как правило, ставились заранее, до прихода первого поезда, и были красивой и праздничной архитектуры – и каменные в больших городах, и деревянные в малых – и в Омске, Томске, Красноярске, Иркутске, и в Канске, Боготоле, Нижнеудинске, Зиме. Вокзал в Слюдянке на Байкале, возведенный из местного мрамора, нельзя воспринимать иначе как замечательный, на загляденье, памятник строителям Кругобайкальского участка. Дорога принесла с собой и сказочные формы мостов, и изящные формы вокзалов, пристанционных поселков, даже будок, даже мастерских и депо. А это, в свою очередь, потребовало приличного вида построек вокруг привокзальных площадей, озеленения, облагораживания. В Иркутске рядом с вокзалом поднялся красавец Николо-Иннокентьевский храм (недавно возрожденный), в Новониколаевске строитель Обского моста Н. М. Тихомиров стал строителем храма в честь святого благоверного князя Александра Невского, рядом с которым и был погребен вскоре после его освящения. К 1900 году по Транссибу было построено 65 церквей и 64 школы, строилось еще 95 церквей и 29 школ – на средства специально созданного Фонда императора Александра III в помощь новоселам-переселенцам. Мало того, Транссиб заставил вмешаться в хаотическую застройку старых городов, заняться их благоустройством и украшением. Всюду вдоль трассы велась геологическая разведка, на Забайкальской дороге ею руководил будущий академик В. А. Обручев, его коллекция минералов была затем передана в Читинский музей. Тогда же началось вскрытие новокузнецких, анжеро-судженских, черемховских и сучанских углей. Дорога расчищала и углубляла русла рек, строила судоверфи и обзаводилась своим флотом, распахивала поля и засеивала их овсом для лошадей и рожью для рабочих, осушала болота, заготавливала лес, вела дипломатию с восточны-

ми странами, в частности с Японией, куда могли бы приехать для излечения и отдыха ее инженеры.

А главное – на огромных сибирских пространствах Транссиб расселял все новые и новые миллионы переселенцев.

Полусонная Сибирь в глубинках своих, точно почувствовав подземные толчки, зашевелилась, заоглядывалась вокруг: что же это такое в жизни и природе происходит? Услышала в самом воздухе неопределенный и влекущий зов и, даже оставаясь на месте, не меняя сразу жизненного уклада, ощутила перемещение: там же, где была, но уже и не там, будто сдвинулась сама ось Сибирского материка.

И что бы потом ни происходило в Сибири, какие бы ветры перемен ни врывались в нее, какие бы открытия и обновления ни случались – все это по впечатлению и результатам, по общей побудке и встряске глухотных мест, по какому-то пронзившему весь организм материка призывному гуду не могло сравниться с тем первым, что объяло необъятное и вострубило новое время, – с прокладкой Великого Сибирского пути.

Транссиб строила вся страна. Вся страна строила и БАМ в 70–80-е годы прошлого столетия, но это всеобщее участие в прокладке БАМа в благополучные времена, при технической мощи государства и всемогущем партийно-административном попечении было неизмеримо другим. «Ударная комсомольская» в избытке обеспечивалась молодыми кадрами всех квалификаций, перед потоками грузов на стройку всюду загорался «зеленый свет», за финансированием дело не могло стоять, властной рукой была спущена разрядка, какую станцию вместе с поселком какой республике возводить – какую Грузии и Армении, какую Белоруссии и Латвии, какую Азербайджану и какую Узбекистану. И ни одна республика, какой бы чванливой или строптивой она ни была, не смела отказаться, а ехала и строила в своем национальном духе, что в суровых северных условиях

очень даже поощрялось. Слово «БАМ» звучало сильно и мужественно, оно было в сводке погоды и в сводке новостей, в отчетах о культурной и литературной жизни, поэтов и художников набиралось там в таком количестве, что они порой всерьез мешали работать. Для бамовцев была создана система самых разнообразных льгот, участие в стройке становилось самой почетной аттестацией при последующем карьерном продвижении.

Это не значит, конечно, что и природа в лад с государством благоприятствовала БАМу: ох, тяжеленько досталась на отдельных участках эта северная, левая рука, протянутая на восток в поддержку правой, транссибовской. Над Северо-Муйским тоннелем на бурятском участке, самым длинным в стране, протяженностью более пятнадцати километров, бились 25 лет. И тем не менее большого изнурения от государства БАМ не потребовал, в первое десятилетие, решающее в прокладке трассы, страна была еще богата.

Есть, однако, мистическое совпадение: как после окончания Транссиба Россия оказалась ввергнута в пучину бедствий, продолжавшихся примерно столько же, сколько длилось строительство, так произошло и после БАМа. Огромная и великая наша страна как-то так, должно быть, устроена и на такой помещается платформе, что всякое серьезное вмешательство в нее непонятно по каким законам вызывает не глубинные сдвиги, не сдвиги земной коры, а поверхностные, социальные, которые ведут или к разрушению врожденных «артерий жизни», как было в революцию и Гражданскую войну после Транссиба, или к запущению и поруганию, как прошли 90-е годы над БАМом.

Другого рода была в то время опека, чем над БАМом, но, повторим, что и Транссиб, вне всяких сомнений, строила вся дореволюционная Россия. Все министерства, чье участие в строительстве вызывалось необходимостью, все губернии, и западные, и южные, и северные,

дававшие рабочие руки. Так и называлось: рабочие первой руки, самые опытные, квалифицированные, рабочие второй руки, третьей... Разрядки на эти руки в то время не могло быть, но по всей России сновали вербовщики, заключавшие договоры и собиравшие артели для Сибири. Добровольческий флот, курсировавший из Одессы во Владивосток, едва справлялся с перевозками переселенцев, рабочих, доставлял мостовые металлические конструкции из Варшавы, всевозможное оборудование из южных губерний, даже хлеб из Петербурга для воинских частей. Едва не вся дорога легла на уральские рельсы; мосты, за исключением Крайнего Востока, также возводились из уральского металла. Первоначально заданная сумма затрат в 350 миллионов рублей превзойдена была втрое, и министерство финансов, хоть и с кряхтением, раздававшимся на всю Россию, хоть и с задержками, особенно в военные годы, шло на эти ассигнования. Транссиб и прежде всего китайский его участок (КВЖД) подтолкнули Японию к войне, но на Транссиб же смотрели с отчаянной надеждой: только бы успеть, только бы запустить дорогу для перевозки армии и вооружения, только бы не потерять тихоокеанские порты.

В отдельные годы, когда участки первой очереди развернули работы (1895–1896 годы), на трассу выходило одновременно до 90 тысяч человек. Эту армию составляла довольно пестрая среда из добровольцев западных губерний, местного населения, из каторжников и ссыльнопоселенцев, солдат и частью, на Кругобайкальской и Уссурийской дорогах, из иностранных рабочих. Дорогу вести – не карбаз по-бурлацки в одной упряжи тянуть, поэтому разбросанные по разным участкам эти разнородные группы могли или совсем не соприкоснуться друг с другом, или соприкасались мало. Военные работали своими отрядами, ссыльные своими. Случалось, однако, что и каторжники попадали на подряды вместе с вольнонаемными и, как по-

казал опыт Уссурийской дороги, работали в этом случае значительно лучше.

Вообще же это была постоянная и двусторонняя, взаимозависимая проблема – недостаток рабочих рук и отношение к рабочим рукам.

Меньше всего от нее, от этой проблемы, страдала Западно-Сибирская дорога. Еще не ушли далеко от заселенных районов Урала и Тобольской губернии, да и Расея за Уралом и Волгой, поставлявшая мастеровитых строителей, овладевших набором профессий не на одной «чугунке», была еще не за тридевять земель. Каждый год на Западно-Сибирской трудилось до 22 тысяч человек, почти половина из них набиралась из местных. Очень выручали старообрядцы (как и на Забайкальской дороге, где они назывались «семейскими»). Рослые, сильные, красивые, кровь с молоком, ни водку, ни махорку не признающие, воровавшие каждый за двоих, а то и за троих, они приходили семейными артелями, и за взятый ими подряд можно было не беспокоиться. Как только подступала деревенская страда – исчезали и, справив дома сенокос или уборку, появлялись снова. Но крестьяне и всюду смотрели на дорогу как на сезонный отхожий промысел и приливали и отливали большими партиями по несколько раз в году, пока дорога не уходила за горизонты, где подхватывалась другими крестьянскими руками.

В Восточной Сибири, на Средне-Сибирской дороге, плотность населения была значительно меньше, чем в Западной, – полтора человека на квадратную версту. Из Европейской России сюда наезжало в год от трех до одиннадцати тысяч (по данным В. Ф. Борзунова в его «Материалах строительства Транссибирской магистрали»), на Забайкальскую – в два раза меньше, на Уссурийскую всего ничего: около тысячи. Выход, как всегда, находился там, где желание не спрашивалось. Разрешение на использование ссыльных и арестантов на Уссурийской дороге дано было

с самого начала, еще в 1891 году. Затем это позволение распространилось и на западные участки. В Иркутской губернии в начале нового века на дорожные работы было мобилизовано более пяти тысяч ссыльных и около тысячи арестантов. Вместе это составляло чуть меньше половины всех работающих. Для арестантов существовали условия: брали на стройку лишь тех, срок отсидки которых не превышал пяти лет (в таком случае они не склонны были к побегу), с последующими зачетами, то есть сокращением срока наказания при хорошей характеристике. На Забайкальской, Амурской и Уссурийской дорогах положение спасали солдаты Приамурского военного округа и железнодорожных дивизионов. Вместе с каторжниками с Сахалина. И вместе (на Уссурийской дороге) с китайцами, корейцами и даже японцами.

Закон, провозглашенный в начале строительства, – строить дорогу русскими руками, то есть руками поданных Российской империи, на Крайнем Востоке выдержать не удалось. Китайцы тысячами сваливались на стройку как снег на голову, умоляя дать им любую работу. Случалось, что одновременно их собиралось на путях до десяти тысяч. Работнички они были не ахти какие, к тачке приспособлялись только через год, предпочитая таскать землю в корзинах, дождя боялись панически, тотчас разбегаясь по укрытиям... Но приходилось мириться со всем, другого выхода не было. В 1896 году, когда солдат прислали на стройку меньше, чем запрашивалось, начальник строительства О. П. Вяземский вынужден был отправиться в Японию и заключить договор на доставку на земляные работы 1700 человек. Привезли, устроили, расположили вдоль насыпи – и только за голову хватайся: японцы осторожно и заученно, как золотые россыпи, собирали скребками землю в совки, из совков высыпали в веревочные корзины, вдвоем поднимали на палке корзину на плечи и с трудом взбирались с нею на насыпь. В тач-

ку помещалось содержимое трех таких корзин. Нет работников, и это не работники, – пришлось отказываться от японцев, непонятно как построивших свою империю, и передавать их договорные обязательства китайцам: те все-таки были посноровистей.

Позднее, когда вернулись к Амурской дороге, П. А. Столыпин вновь заявил: «Амурская дорога должна строиться русскими руками». Только тогда от услуг китайцев отказались окончательно. Но пришлось увеличивать численность ссыльных и каторжан, доля подневольного труда в сооружении этой дороги потянула на добрую треть всех выполненных работ. Но на Уссурийской дороге русские руки – это были в основном руки солдат. За пять лет строительства их служивые ряды составили почти восемнадцать тысяч человек. В 1900 году по инициативе приамурского генерал-губернатора Н. И. Гродекова был поставлен военным строителям в Хабаровске на пристанционной площади памятник-obelisk с благодарным словом: «Да свидетельствует этот памятник, что воины российские, стоящие грозным оплотом на отдаленном участке империи, умеют служить Отечеству как оружием, так лопатой и топором. Слава русскому солдату!»

Сооружение дорог заканчивается не так, как заканчиваются войны, когда происходит полная демобилизация отвоевавшейся армии. Случаются, правда, и на строительстве железных дорог поражения, как было с БАМом 30–40-х годов прошлого столетия, когда дорогу пришлось оставить, а рельсы с нее отправить в защищающийся Сталинград. Но это случаи исключительные и, как правило, имеющие затем продолжение до победного конца. И к победному концу постепенно происходит перекалфикация армии строителей в армию эксплуатационников. Не полностью, конечно, но немалая часть строителей здесь же, на дороге, возле своего дела, запущенного в действие, навсегда и оседает.

Как и на хлебном поле: когда-то впервые проводится по непаханому, по дерну, борозда, а затем теми же руками из года в год разрабатывается и засеивается.

С каким настроением строилась дорога, величие и крайняя необходимость которой, благотворный ее ход не могли не осознаваться и рабочими? Было ли воодушевление, духовный подъем, гордость за себя и свое «подвижное» дело («подвижное» и от подвига, который нельзя не признать, и от решительного продвижения к конечной цели), уходящее в бесконечность будущего? Взмывала ли от этого дела душа, показывала ли с высоты своей, если взмывала, всю, от начала до конца, струнную протяженность дороги и впряженность в нее десятков тысяч «настройщиков»? «Трудовые будни – праздники для нас» – выпадало ли хоть изредка такое ликующее состояние или все застревало в грубом и расчетливом подряде, в бесконечной изнурительной работе, и все силы забирал тяжкий физический крест?

Не так-то просто ответить на эти вопросы. Разный народ собирался на стройке, разные были условия для работы, и разное держалось настроение. Композиторы и поэты на стройку не наведывались и песен о ней не слагали. А. П. Чехов ехал на Сахалин не по «железке», а пробирался по старым дорогам, речным и грунтовым, и интересовали его сахалинские каторжники не на стройке, а в кандалах. Можно не сомневаться, что и сами рабочие, тянувшие Транссиб, в минуты отдыха в сладкой муке надрывали душу популярными тогда в народе и популярными до сих пор словами: «Бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой», представляя, должно быть: вот еще поднатужатся они, подведут дорогу ближе к Сахалину, и не придется бродяге убиваться на узкой звериной тропе, уж как-нибудь невидимкой можно будет забраться и в вагон.

Из газет того времени мы знаем, с каким восторгом встречали первый поезд и в Омске, и в Красноярске, и в

Иркутске, как происходило соединение обоих уссурийских участков, на которое приезжал министр М. И. Хилков, как все отдавались праздничным чувствам, непременно с благодарственным молебном и салютом из орудий, какие звучали речи, где устраивались торжественные обеды с приглашением всех без исключения железнодорожных инженеров. Накрывались в такие дни столы и для рабочих – отдельно, где-нибудь на ближайшей станции. Журналисты там, конечно, отсутствовали, потому и не осталось свидетельств о подробностях этой церемонии – подбрасывали ли рабочие от избытка чувств в воздух шапки и картузы или, донельзя изнемогшие в последние авральные дни, без которых и тогда не обходилось, сразу же после заслуженной чарки проваливались в сон. Было, вероятно, и то и другое. Забывались в такие дни и обиды, и несправедливости; победное ликование жителей сибирских столиц, к порогу которых подводили чудодейственные рельсы, не могло не окрылять и их, рядовых строительной армии, не могло не возносить в высоты выше местных горизонтов и не дать попарить там в горделивом огляде своего многотрудного детища.

Мы сегодня можем лишь со смутным и все-таки восторженным недоумением взирать на эту великую десятилетнюю страду столетней давности. Десятилетнюю – в ускоренном варианте, окончательный ее ход потребовал времени в два раза больше. Но в том и другом случаях нельзя не прийти в изумление: какую же мощь человеческой энергии надо было вызвать, сконцентрировать и направить, чтобы вручную (вся тогдашняя механизация была плохой помощницей и ни мощностью, ни ловкостью не отличалась) сотворить такую махину, как Транссиб. Перешагивать через могучие реки, передвигать горы, вонзаться в них, перекрывших путь, как в мякоть, нанизывая ходы-тоннели один за другим и десяток за десятком в волшебную гирлянду, а потом в глубоких болотистых зыбу-

нах и вечной мерзлоте выстроить подземное укрепление в тысячи километров, наподобие опущенной вниз Великой китайской стены, над которой пошла дорога. И всего-то с помощью топора, пилы, кирки, лопаты, тачки. Да еще вагонетки, динамита, лошадки. Американских землеройных машин было мало, да они не везде и годились. На завершающем этапе работ, на восточном участке Амурской дороги, неплохо помогли экскаваторы Путиловского завода... да уж очень они припоздали, лет на пятнадцать бы раньше... Электричество только-только опробовалось и заметного облегчения не давало. Работа каторжная для всех – и для вольнонаемных, и для арестантов. И для инженеров, и для солдат. И для министра путей сообщения М. И. Хилкова, который в японскую войну, когда вынь да подай дорогу для перевозки войск и пушек, а Кругобайкальская еще не действовала, дневал и ночевал на Байкале неделями и месяцами, настилая рельсы или на лед, или в нутро паромов-ледоколов. Каторжная работа! Но и результат: 500–600–700 километров прибавления ежегодно – таких темпов строительства железных дорог не бывало ни в Америке, ни в Канаде.

Но нельзя не сказать и о другом. Это, вероятно, закон мирового масштаба: чем величественнее, благороднее и чище по своему замыслу предприятие, тем больше притягивается к нему всевозможных жучков, паучков и хищников, готовых его точить и потрошить. Из всех звуков, едва доносящихся до нас за дальностью времени со строительства Транссиба, особенно различим и внятен стон рабочего от подрядчика, от работодателя, от того вездесущего пройдохи, служителя собственной наживы, который набирал артели, доставлял их на свой участок, размещал где и как придется, оснащал орудиями труда и вел учет работы, расходов и приходов. И опутывал привезенного издалека беднягу (особенно его) такой паутиной зависимости и надувательства, что выдраться из нее было выше его разумения и сил. Частный

подряд, нечистый на руку и на душу, сплетался на стройке в один огромный клейкий и хваткий клубок, крутящийся вокруг норм и расценок, и такую получал власть, что разодрать и разоблачить его зачастую оказывалось невозможно ни начальнику участка, ни даже начальнику дороги, когда те пытались вмешаться. Замеры работ производились на свой лад, вместо денег на руки рабочему выдавались талоны, нигде более не имеющие хождения, кроме как в лавке того же подрядчика по завышенным ценам, в ведомостях рядом с живыми душами теснились и мертвые, гоголевские, строительные материалы поставлялись некачественные. Разбой творился неприкрытый и наглый. Начальник второй дистанции третьего участка Средне-Сибирской дороги Б. Ф. Корвин-Салович вспоминает:

«Из нескольких сотен разного рода рядчиков и поставщиков, работавших на заведоваемых мною трех участках, не было и одного десятка таких, которые не обнаруживали бы стремления к наживе самого недобросовестного характера. Всякая табель, составленная десятником или табельщиком, проверяется в техническом отношении конторою дистанции и оплачивается артельщиком или конторою участка. Ясно, что является полная возможность приписки в табели нескольких рабочих и затем присылки для получения денег подставных лиц, что и удостоверено лично мною расследованием через жандармскую полицию в разное время работы».

А много ли случалось таких расследований? И что они давали? Иркутский генерал-губернатор граф Кутайсов пытался навести порядок и, как теперь говорят, добиться «прозрачности» в царстве частного подряда... и вынужден был отступить. Пришлось бы останавливать работы, чтобы разобраться в этой клоаке, а работы останавливать не годится.

На Кругобайкальской дороге с 1901 года, с начала работ и до конца их, шла самая настоящая война между

рабочими, с одной стороны, и подрядчиками и администрацией – с другой. Дело доходило до расправы с обидчиками, а затем полиция, как водится, расправлялась с «зачинщиками». В 1910 году с Амурской дороги ушли одновременно из-за невыносимых условий существования пять тысяч человек, прибывших из европейской России. Легко сказать «ушли» – не в соседнюю деревню пришлось возвращаться. Работы остановились на год.

А ведь была возможность обходиться и без частного подряда, как это происходило на отдельных участках Уссурийской и Амурской дорог. И никто не страдал – ни государство, ни рабочие, ни дорога. Но, видать, и тогда, как и в наше время, не решались поднимать руку даже на мелкие формы капитализма, чтобы не навлечь газетные обвинения в посягательстве... Как все повторяется и как все знакомо! Они-то, эти «жучки-паучки», эти расплодившиеся паразиты, и поработали на славу на революцию 1905 года, широко подхваченную почти по всему Транссибу. Запалили ее, разумеется, другие, а они своим безудержным лихоимством устроили ей массовую поддержку. Богатырское дело прокладки Великого Сибирского пути, которое должно было объединить Россию в ее могучей устремленности вперед, внутри оказалось источено грызунами, и доведено было это дело до конца с трудом, с одышкой больного организма и с остановками.

Говорят: выбрали для Транссиба не самое лучшее время, коли пришлось оно на две войны да еще и на две революции. А когда оно в России было бы лучше? Раньше отправляться в Сибирь и опыта не хватало, и казна не велела, а ее тоже войны да беспорядки опустошали. Руки развязались, сила набралась как раз тогда, когда и начали этот поход. Торопились, подгоняемые тревогой, что вот-вот эта благословенная мирная пора может оборваться; торопились так, что для экономии времени и средств пошли по чужой земле, – и все-таки не успели. Проигранная

война, а затем революция не могли не сбить энтузиазма, отворот дороги на чужую сторону, какими бы мотивами он ни вызывался, не мог иметь нравственного оправдания. Эпическая по своему размаху и героическая по своему характеру, бóльшую часть своего пути прошедшая под знаком легендарной, Великая Сибирская затем поневоле принялась блекнуть и терять ореол «самой-самой», каких никогда и нигде не бывало. Хотя по сути и смыслу, по значению и велению продолжала оставаться ею, «самой-самой». Но уже без блеска, без огненных стрел, вырывающихся из топки паровоза и опаляющих гордостью сердца строителей, без вины виноватая.

А потом по своему же следу пришлось проводить вторые пути, менять рельсы, выправлять маршруты, добавлять разъезды, деревянные мосты заменять металлическими, все временное переводить на постоянное, прочное и скоростное – труды чрезвычайно нужные, но, как всякое повторение, обыденные, негромкие.

А потом возвращение на Амурскую дорогу, да еще по новым изысканиям, по непроходимым топям и вечной мерзлоте, к которым опять отнеслись поначалу легкомысленно и были наказаны, как проклятьем, огромными переделками и затратами. Беспредельно уставшие, закоченевшие в решимости все превозмочь, скромно, в своем кругу, отмечали победы, достойные салютов, но при свечах. И шли дальше. Вошли в мировую войну. Двухпалубный пароход под бельгийским флагом, загруженный в Одессе последними металлическими фермами для моста через Амур, в Индийском океане был потоплен торпедой с германского крейсера. Новые мостовые конструкции доставили только через год. А уж подступали вплотную революция и Гражданская война.

Еще в то время, когда только-только прозвучало в мире известие о начале Транссиба, известный английский

экономист Арчибалд Колькхун, сумевший сразу оценить его огромное значение, предрек: «Эта дорога не только сделается одним из величайших торговых путей, какие когда-либо знал мир, и в корне подорвет английскую морскую торговлю, но станет в руках России политическим орудием, силу и значение которого даже трудно угадать. Сибирь – далеко не та бесплодная равнина, унылое место изгнания, какими обыкновенно рисуют ее европейцы. Напротив, это богатейшая страна, с многими сотнями тысяч акров плодороднейшей земли, с громадным минеральным фондом, – страна, полное промышленное развитие которой может со временем положить начало новой экономической эры. Но не в этом, пока еще отдаленном, результате заключается главное значение Сибирской железной дороги, а в том, что она сделает Россию самодовлеющим государством, для которого ни Дарданеллы, ни Суэц уже более не будут играть никакой роли, и даст ей экономическую самостоятельность, благодаря чему она достигнет преимущества, подобного которому не снилось еще ни одному государству».

Как нельзя автора этих слов заподозрить в неискренности, так нельзя заподозрить его и в преувеличениях. Над однобоким и незаконченным строением России Транссиб сразу возвысился в государственный механизм первой величины, который потребовал активности всех его частей. С первым же ходом Транссиба Россия сразу принималась за решение двух неотложных задач: наконец-то твердою, петровскою ногою вставала на востоке, подперев надежным плечом дальние окраины и подводя к ним животворный кровоток, и, во-вторых, населяла эти пустынные пространства энергичным народом, садившимся на не знавшие плуга залежные земли. До Транссиба Россия владела Сибирью слепо, и сотовой доли не видя, чем она владеет: что-то там, на востоке, лежит, огромное, сырое, необработанное и неподъемное, кажется, богатое до того,

что богатство это под летним жарким солнцем сочится, как смола из дерева, из недр земных, но так это далеко, так тряско и долго туда добираться, что не приведи Господь, мы и ближним вполне удовлетворимся. Теперь же, пробуждая к жизни эти немереные пространства, измерив их и испробовав, старая Россия и сама протирала глаза: бедная, нищая, какой она показывала себя, с постоянными недородами и измученными пашнями, лежит она, оказывается, на пороге тучного края.

России повезло: в самое тяжкое время «не войны и не мира», когда страна ослаблена была революцией и несла в себе позорное бремя Портсмутского соглашения с Японией, министром внутренних дел и председателем правительства был назначен бывший саратовский губернатор Петр Аркадьевич Столыпин. Пять лет дано было ему, чтобы залатать многочисленные пробоины в корпусе государственного корабля, всего только пять лет до его убийства, но и за это время он успел сделать чрезвычайно много: наступили укрепление и умиротворение, и появились надежды на прочное будущее. Вот такие люди и нужны были России, чтобы сбылись пророческие слова английского экономиста о роли Транссиба, вызванного к жизни, чтобы сделать Россию самодостаточной и в величии своем независимой.

При Столыпине переселенческие потоки в Сибирь благодаря объявленным льготам и гарантиям, а также волшебному слову «отруба», дающему хозяйственную самостоятельность, сразу namного возросли. Начиная с 1906 года, когда Столыпин возглавил правительство, население Сибири стало увеличиваться на полмиллиона человек ежегодно. Раздирались все новые и новые пашни, валовый сбор зерна поднялся со 174 миллионов пудов в 1901–1905 годах до 287 миллионов пудов в 1911–1915 годах. Зерна по Транссибу пошло столько, что пришлось вводить «челябинский барьер», особого рода таможенный сбор, чтобы

ограничить хлебный «вал» из нарастившей мускулы Сибири. В огромных количествах пошло в Европу масло: в 1898 году его погрузка составила две с половиной тысячи тонн, в 1900-м – около восемнадцати тысяч тонн, а в 1913 году – за семьдесят тысяч тонн. Сибирь превращалась в богатейшую житницу, кормилицу, а впереди предстояло еще раскрывать ее сказочные недра.

Перевозки, в том числе и промышленные, за несколько лет работы Транссиба возросли настолько, что дорога перестала справляться с ними. Как у загнанной лошадки, принялись подгибаться «ноги». Срочно потребовались вторые пути и перевод дороги из временного состояния в постоянное. Газета «Сибирская жизнь» в 1910 году писала: «Если допустить, что в проекте дороги была какая-либо ошибка, то о ней можно сказать: ошиблись в том, что не рассчитывали на такой быстрый рост, быстрое оживление экономической жизни Сибири, думали, что она после векового сна долго будет “позевывать да потягиваться”, а она взяла, встрепенулась да сразу и стала на ноги... Будем же помнить, что и в данном случае переустройство является указателем роста, признаком прогресса, символом движения к жизни, а не застоя».

И он же, П. А. Столыпин, решительно вызволил Транссиб из маньчжурского «плена» (КВЖД), вернув сквозной ход Сибирской дороги, как и проектировалось с самого начала, на российскую землю. В 1908 году десять членов Государственного совета, в том числе министр финансов Коковцев, министр торговли и промышленности Тимашев, сенаторы Витте, Горемыкин, Протопопов и другие, все фигуры влиятельные, опытные в утверждении своего мнения, решительно высказались против законопроекта Думы о строительстве Амурской дороги, обосновывая свою позицию дороговизной стройки и напрасными затратами на «этот пустынный край». Отвечая им, Столыпин говорил:

«Наш орел – наследие Византии, – орел о двух головах. Конечно, сильны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого, вы заставите его только истечь кровью. При наличии соседнего густонаселенного государства эта окраина (Забайкалье и Приамурье. – *В. Р.*), богатая золотом, лесом, пушниной, большим пространством пригодной для культивирования земли, эта окраина не останется пустой, в нее проникнет чужеземец, если раньше туда не придет русский. Если Россия будет продолжать спать летаргическим сном, эта окраина будет пропитана чужими соками, а когда проснется, останется русской лишь по названию».

Укладка пути на Амурской дороге, на самом последнем прогоне русского Транссиба, закончена была в 1915 году. Бывший студент-практикант Петербургского института путей сообщения А. В. Ливеровский, забивавший первый костыль при начале Транссиба возле Челябинска, теперь поседевший более чем за двадцать лет непрерывной работы в Сибири начальник строительства самого восточного, окончательного участка Амурской дороги, забил последний, серебряный костыль. И, должно быть, замер, оборотив мужественное, иссеченное ветрами и невзгодами лицо к западу, где непрерывной и бесконечной нитью пульсировала, гудела и сверкала особым блеском из пота и удали русского человека вся Великая дорога. Это была торжественная минута, одна из тех, самых дорогих, которые вписываются не только в исторические летописи, но и в генетическую память народа.

Все. История строительства Транссиба закончилась, начиналась история его эксплуатации. Начиналось «хождение по мукам» Гражданской войны, когда калечили и взрывали дорогу поочередно то белые, то красные, восстанавливали и снова калечили, чтобы не досталась врагу. Все перемогла она вместе с народом, с тем самым народом,

который, как судьбу свою, как памятник своему мужеству и терпению, как «вечный двигатель», пронес ее на руках через всю начертанную ей для службы земную обитель и бережно уложил: работай, матушка!

С той поры и работает. Дала от себя многочисленные побеги к северу и югу, окрепла и возмужала, налилась соками, похорошела, раскинула объятия свои на весь мах сибирских далей. Вместе с народом воевала и вместе строила, выстояла в смуту 90-х годов минувшего столетия, не потеряв достоинства и не отдавшись в чужие руки, нигде и ни в чем не нарушив присягу Отечеству...

Хорошо, «путем» смастерили дорогу, верное ей дали направление и воспитание.

2006

КРУГОБАЙКАЛКА

Ни один участок Транссиба не вызывал у проектировщиков столько сомнений и споров, ни для одного не было заготовлено столько вариантов, чтобы обойти скалистый путь по берегу Байкала стороной. Уже проложена была колея от Иркутска до истока Ангары по ее левому берегу, уже выстроен там порт, наведена паромная переправа на противоположный берег Байкала, уже вышли для раздумий и оттяжки все последние сроки, а все не могли решиться на этот «орешек» всего-то в восемьдесят верст от порта и станции Байкал до Култука, где заканчивается скальный прижим и дорога может выйти на простор. Потом этот участок по затратам, блеску исполнения и по срединному между западным и восточным концами Великого пути положению назван будет «золотой пряжкой Транссиба». И решиться не могли, и отступить не было сил: нарочно ищи, чтобы «позолотить» под конец более чем десятилетней страды Сибирскую

магистраль, – ничего красивей, праздничней и величественней не найдешь.

И ни один участок, когда приступили к его сооружению, не потребовал такого напряжения, даже изнеможения сил, таких финансовых затрат и человеческих жертв. Но и не было, надо полагать, нигде более такого воодушевления, чтобы вписать красоту в красоту, не повредив картинности природы, раскрыв ее тучное торжество на каждой версте, прошнуровав эти версты, как страницы, в единую книгу и оформив ее, подобно художнику, всей палитрой инженерного искусства. Прежде тут распевали песни только ветры да речки, плескал и ревел Байкал, затем зазвучали паровозные гудки и бодрый стукоток вагонов по рельсам, эхо, вырываясь из тоннелей, припевом повторяло эти поселившиеся тут звуки новой жизни – и, очень быстро спевшись, рукотворное и нерукотворное повело единую песнь здешнего бытия.

И ни один участок не вызвал в дальнейшем, когда Кругобайкалка ушла в запас, такого поклонения, интереса туристского, художественного и научного, такой богатой библиотеки обо всех этапах и деталях строительства, о диве дивном, в какое превратилась она в своем естественном и инженерном двуединстве, как будто всегда такой и была. Сто лет исполняется ей, и ровно половину отработала она на путях магистрального Транссиба и столько же, когда ушла в запас и превратилась в тупиковый путь. Транссиб, снятый с ангарского берега еще в 50-е годы прошлого столетия предстоящим разливом перед плотиной Иркутской гидростанции, ушел от Иркутска по одному из обходных маршрутов, разведанных еще в начале века, а Кругобайкалка на побережье Байкала осталась на своем месте. Полвека в общем строю и полвека в сторонке, сначала как ветеран, а теперь как живой памятник. Транссиб в этом месте отвернул от Байкала, и поезда теперь мчатся там, за хребтом, на всех парах (оставив пар в прошлом,

мчатся на электрической тяге), тогда как здесь по тесно расставленным множественным мостам, виадукам, тоннелям и полкам они вынуждены были, не имея разбега, красться. Поезда вынуждены были здесь красться, а у пассажиров от красоты, высоты, то подныров, то взлетов между высящимися горами и расстилающимся в небесной безбрежности Байкалом, от пришпоривающего паровозного гудка и промелькивающих далеко внизу струйных речек было чудное полетное ощущение, которое потом долго вспоминалось как крылатый сон. Транссиб, оставив этот райский участок, выиграл в скорости, но потерял то ли талисман свой, то ли душу.

А Кругобайкалка... что же Кругобайкалка... на нее можно смотреть и такими глазами: что она не отставлена была от прямохода в сторонку, а вызрела со временем в некую святыню, которую грешно было бы эксплуатировать как одно лишь ходовое хозяйство.

* * *

Транссиб подошел к Кругобайкальской дороге с запада в 1898 году, с востока – в 1900-м, а сама Кругобайкальская, оставленная из-за пугающей своей неприступности на третью очередь, была сдана в постоянную эксплуатацию только в 1905-м. Такой огромный разрыв, на который пришлось к тому же война, можно было позволить, лишь имея в запасе какой-то иной выход, а правильной сказать, какой-то иной ход помимо рельсового. И ход этот нигде отыскать более было нельзя, как только сойдя с суши на воду.

Байкальская паромная переправа до сих пор способна вызвать удивленную оторопь. Новый век приходил в Сибирь в блеске и мощи новых технических достижений. И если прежде дальше слухов они не пошли бы, то теперь, с прокладкой железной дороги, с охотой являлись въяви, чтобы не только себя показать, но и искать здесь совер-

шенства. Да, к тому времени паромные перевозки железнодорожных составов действовали и в Европе, и в Америке, их насчитывалось около десятка, опыт имелся. Но все это было несравнимо с Байкалом. На Байкале требовалась не обычная переправа, какой пользовались на водах, а ледокольная, способная крушить лед толщиной более метра. Европейские морские заливы и проливы, через которые шла перевозка, американские озера, пусть даже они назывались Великими и имели большую акваторию, рядом с Байкалом можно считать прирученными, домашними, все капризы которых хорошо изучены, и паромы к ним подготовлены. Байкал был и остается дикарем. Могучим и буйным дикарем, гораздым выпрягаться из любой упряжки, что он и показывал не однажды во время паромной службы. Как ни изучай Байкал, какие ни выводы из столетних наблюдений за ним законы – в глубинах своих и чертогах, в таинственных широтах своего огромного побережного опояса он всегда сыщет какой-нибудь фортель, какого нельзя было ожидать, и останется хозяином положения. И будь на месте министра путей сообщения князя М. И. Хилкова и заведующих паромной переправой братьев Заблоцких (сначала старший брат, инженер-судостроитель В. А. Заблоцкий, а с 1901 года младший, инженер-механик С. А. Заблоцкий) – будь на их месте кто-нибудь из сибиряков, хорошо знавших коварный нрав Байкала, он бы, пожалуй, и поостерегся действовать с такой решительностью, как они, непуганые и подгоняемые к тому же острой необходимостью. Но эта решительность, похоже, застала Байкал врасплох и заставила и его тоже поначалу прийти в удивленную оторопь.

Решение о паромной переправе было принято Комитетом сибирских железных дорог еще в 1893-м, сразу же, как только рельсы от Челябинска вышли в Сибирь и четче обозначились трудности сооружения каждого из шести ее участков, когда стало очевидно, что от Иркутска

на рысях к Забайкальской дороге не выйти. Прикинули, что на Кругобайкальскую дорогу потребуется пять-шесть лет. Тогда же выделили деньги на изыскательские работы на западном и восточном берегах Байкала для паромной переправы. Расположение пристаней было продиктовано ходом «чугунки»: как только окончательно утвердили направление к Байкалу по левому берегу Ангары, здесь, подле станции Байкал, еще до ее появления, на мысу Баранчик, где берег от Ангары заворачивает на величественный распах озера-моря, и вдали, на восточном берегу, встает гребень Саянского хребта, тут и думать было нечего, как расчистить в этом месте причал. И берег позволял, и глубины на мысу. А там, на проть-берегу, выбрали для пристани по тому же принципу удобного расположения станцию Мысовую на стыке Кругобайкальской и Забайкальской дорог. От Мысовой шел к тому же самый короткий, через горы, трактовый путь в златокипящую Кяхту на границе с Китаем. Выходило, что со всех сторон выгодное место для второго головного причала. Но изыскатели выбрали, а Байкал «не утвердил». И несколько лет мучились, особенно по зимам, вбухивая все новые и новые ассигнования в углубление и переустройство причалов, уродуя ледоколы, сбивая график движения, а то и вовсе останавливая его, заставляя воинские части во время китайских событий двигаться от Иркутска пешим порядком по обходному трактовому пути, а во время японских – по байкальскому льду, воздвигая на станции Байкал из грузов первой необходимости горы... Мучились, мучились и в конце концов сдались, предпочтя Мысовой более ближний, на тридцать верст, и надежный для ледоколов Танхой, а между ними срочно по берегу протягивать рельсы.

Паром-ледокол для Байкала был заказан английской кораблестроительной фирме «Армстронг и К^о» и изготовлен на удивление быстро. Контракт на него – в разобранном виде, без плотницких и столярных работ – подписали

в конце 1895-го, а уже в середине следующего года части его стального корпуса прибыли в Петербург, а в конце года в Ревеле уже выгружали двигатели. По железной дороге их доставили в Красноярск, дальше рельсовый путь еще не был настлан. Дальше 36 тысяч пудов малогабаритного ледокольного оборудования отправлялись в Иркутск по зимнику гужевым транспортом, все остальное, самое объемное (общий вес всех доставленных из Англии частей великана-корабля был близок к 150 тысячам пудов) – все остальное по Енисею на пароходах и баржах, затем по Ангаре, против течения, буйной, порожистой, где и названия порогов говорили сами за себя: Пьяный, Похмельный, Падун, – и где на очистку и углубление русла ушла едва ли не половина денег, затраченных на строительство корабля-ледореза. С великими трудностями, обрывая туерные тяги, утопив пароход, настилая по берегу рельсы, где невозможно было затянуться по воде, продирались через пороги... И за три навигации продрались. Мои земляки, жившие за двести верст от Братска выше по Ангаре, наверняка в 1897–1898 годах наблюдали, как проходили в сторону Иркутска невесты откуда взявшиеся флотилии, и отзвуки этого чрезвычайного события через полстолетия донесли и до меня, мальчишки...

Иркутск в те годы переживал свои звездные часы. Он полностью оправился от страшного пожара 1879 года, наполовину его опустошившего, и выглядел молодецкато в новой застройке центральных улиц. А. П. Чехов по пути на Сахалин был очарован Иркутском и его обществом. В следующем году, по возвращении из морского путешествия и торжественной церемонии во Владивостоке по случаю начала строительства Транссиба, тут побывал наследник престола цесаревич Николай Александрович, и хотя всюду ему полагалось быть в ровном и отечески благодушном настроении, в Иркутске притворяться не пришлось: здесь хорошо видны были крепкая обжитость и похвальная дея-

тельность. А когда тревога по поводу того, не отвернет ли строящаяся магистраль от Иркутска, как она отвернула от Томска, разрешилась благополучно и железнодорожный вокзал встал напротив губернаторского дома на противоположном берегу Ангары, министр М. И. Хилков незамедлительно был пожалован званием почетного гражданина Иркутска и дружное воодушевление, доводя газеты до захлебывающихся счастливых глупостей, надолго опьянило, казалось, всех без исключения. Иркутск словно судьбу свою на веки вечные выиграл и не мог сдержать восторга. А тут еще байкальская паромная эпопея, и Иркутск на слуху едва ли не всего мира, тут через город на тройках и четверках лошадей в мартовский солнечный день торжественно провозят в поселок Лиственничное на Байкале, где достраивается судоверфь, первые части ледокола, а затем, когда вскрылась Ангара, не менее торжественно прошествовал туда же караван тяжело загруженных барж. А потом спуск на воду собранного ледокола... Как можно такое зрелище пропустить! – и Иркутск устремляется за шестьдесят верст в Лиственничное, запруживает набережную, облепляет ближнюю гору, на лодках выстраивается напротив застывшего на стапелях великана. «Зрелище было великолепное, – вспоминает И. И. Попов, редактор газеты «Восточное обозрение», – когда обрезали канаты и ледокол стал скользить по бревенчатым рельсам, натертым салом, и скатился в воду, где его подхватили байкальские пароходы и увели в док».

Нет, это была еще юность Сибири, быть может, и запоздавшая, но искренняя, чувственная, полная приключений и событий, живущая в нетерпеливом ожидании какого-то совсем уж чудесного преображения судьбы. И она, эта трепетная юность, продолжалась еще несколько лет, до войны и событий 1905 года. Позже, спустя полвека, в пору великих строек, это настроение как будто бы вновь всколыхнулось, но уже с одышкой от надсады в револю-

циях и войнах, с перебоями сердца, с креном на один, вычерпывающий, бок.

И как быстро пришла старость, миновав зрелый возраст и мудрое, по-домашнему рачительное хозяйствование! Как быстро и неумолимо!

На церемонии спуска ледокола на воду была оглашена телеграмма Государя: вместо предложенного ему для названия корабля верноподданнического «Николай» он утвердил свое верноподданническое – «Байкал». Ледокол встал на воду в июле 1899-го и, дав на себя полюбоваться, двинулся под восторг праздничной публики на буксире в порт Байкал для окончательной достройки и оснастки. А на стапелях верфи сразу же началась сборка второго, вспомогательного грузо-пассажирского ледокола «Ангара», созданного той же английской фирмой, но доставленного на Байкал уже по рельсам. Сразу после Нового года «Байкал», полностью экипированный, отчалил от стоянки в порту и по свежему льду, с азартом его круша, двинулся в Лиственничное, чтобы и себя показать, и поклониться месту своего рождения. Выглядел он воистину богатырски, под стать самому Байкалу. Трехпалубный, высотой с четырехэтажный дом, четырехтрубный, с обрубленной кормой, в утробу которой на нижнюю закрытую палубу можно было закатывать на три рельсовые нитки 25 двухосных вагонов вместе с грузом и паровозом, пугающе огромный, длиной 90 метров, шириной более 17 метров, и хоть с мереной силой (три машины по 1250 индикаторных сил каждая), но все равно фантастической, кажущийся неуклюжим, как неуклюже всякое огромное животное, пока оно не пустится в рысь. По полою воде ледокол показывал скорость более 20 километров в час, а зимой устройство его позволяло ломать лед при движении как передним ходом, так и задним. «Байкал» проработал на нашем море-озере около двадцати лет, и к нему привыкли, со временем на него стали смотреть как на собственное чадо родие батюшки Байкала, такое же родное, как нерпа.

В первый рабочий рейс он вышел в конце апреля 1900 года, накануне ледохода, шел налегке и доставил в Мысовую 500 пассажиров, 167 лошадей, два паровоза, три вагона и тысячу пудов груза. Занял этот ледовый поход 17 часов, но пассажиры были в восторге от путешествия, этим рейсом состоялось долгожданное соединение Средне-Сибирской и Забайкальской дорог, провозглашено было начало сквозного движения по Транссибу. «Перешагнуть» Байкал стоило многого, и ликование в столицах и провинциях, на вокзалах и пристанях было заслуженным: перешагнули! После десятилетней почти истязки пришел час, когда громоздкое и казавшееся неподъемным сооружение, несмотря на все временное и ненадежное в нем, поднялось во весь свой огромный, с пульсирующим сердцем, рост и, оглядевшись, по-хозяйски вздохнуло: работы-то, работы! мать ты моя!..

И сразу начались испытания. В Китае вспыхнули беспорядки, дорога в Маньчжурии на сотни верст оказалась уничтожена, пошли военные эшелоны, повезли строительные материалы и конструкции. И все срочно, срочно. Увеличился поток переселенцев. Летом по полой воде паромная переправа с грехом пополам справлялась с нагрузкой, в августе к ледоколу «Байкал» присоединилась «Ангара», и хотя она не была предназначена для перевозки железнодорожных составов, но в пожарных случаях могла взять на борт до тысячи человек вместе с грузом. В первую навигацию ледоколы успевали делать за день в основном только по одному рейсу: продолжались ходовые испытания, не до конца были обустроены причалы, много времени занимали погрузка и выгрузка. Но у переправы имелся еще и малотоннажный флот – небольшие пароходы, катера, баржи, в необходимых случаях к перевозкам подключалось пароходство кяхтинского купца Немчинова, так что с натугой, авралами, без сна и отдыха, но тянули через Байкал все, что доставлялось по рельсам.

А зимой несчастье за несчастьем. Подводила Мысовая, гавань там выбрали неудачно. Открытая всем ветрам, она рано набивалась шугой, которая шубой вставала до самого дна и на подходах к вилке, и в самой вилке (раздвоенный наподобие вилки каменный мол, на 400–500 метров протянутый в море для швартовки ледоколов). Рано Мысовая льдом забивалась и поздно, с затяжкой в три-четыре недели, ото льда очищалась. В конце декабря 1901 года только что переоборудованный для зимней работы «Байкал», выдираясь из ледового плена, сломал гребной вал. Пришлось заказывать его в Англии. В феврале вал привезли, поставили, но в натужных попытках уйти в Байкал ледокол повредил носовой вал. Две недели в невероятных усилиях длилось его возвращение в порт Байкал, где он и застыл надолго в полной неподвижности. Пришлось срочно строить причалы возле станций Мишиха и Переемная недалеко от Мысовой, а в ледовые месяцы, примерно с середины января до середины апреля, паромную переправу, сдавшись на милость Байкалу, полностью прекращать.

Может быть, и верно, решительность людей со стороны, талантливых и смелых инженеров, управлявших паромной переправой и не сомневавшихся в ее круглогодичной работе, на первых порах застала Байкал врасплох, но в конце концов правда оказалась на стороне сибиряков, не веривших в то, что он может позволить взламывать свой лед во всю зимушку. Тот же И. И. Попов, на воспоминания которого мы уже ссылались, не преминул заметить: «После закладки вокзала в Иркутске решили построить ледоколы на Байкале, а постройку Кругобайкальской дороги отложили. Нам, сибирякам, казалось невероятным, чтобы ледокол мог на расстоянии 40–50 верст ломать байкальский лед с его торосами и трещинами. Мы говорили инженерам, что их ледоколы зимой будут стоять в гавани, запертые льдом. К нашим сомнениям отнеслись презри-

тельно, но сибиряки оказались правы. Ледоколы каждую зиму стояли в гавани и ремонтировались...»

Вот тогда и вспомнили о лошадках, вот тогда сотни подвод из окрестных и даже дальних поселений бесконечной чередой двинулись по зимнему Байкалу, подтверждая правильность измерения любой технической мощи лошадиной силой.

Вот тогда, перед очевидностью того, что морские перевозки не в состоянии действовать с непрерывностью и точностью часового механизма, и было подстегнуто строительство Кругобайкалки по суше.

Вот тогда и стали ускоряться события на востоке: обнаружившаяся байкальская прореха посулила врагам России выигрышную ситуацию, которой предстояло воспользоваться.

* * *

Перевели Мысовую из пристани головной во второстепенную, соорудили надежный причал в Мишихе в двадцати верстах от Мысовой, а затем в 1903 году вышли на самое удобное и скорое направление к Танхою, куда и по полой воде ход занимал на два-три часа меньше. Отказались от зимних рейсов в пору, когда лед превращается в монолит, соединили индикаторную силу могучих ледокольных двигателей с обычной, на четырех ногах, попукивающей лошадиной силой... После этого вошла в график и паромная переправа. В 1903-м ее передали Забайкальской дороге и превратили в ее подразделение, морскому языку и железнодорожному пришлось ладить между собой, и когда «Байкал» делал три оборотных рейса на восточный берег, говорили: «три пары», как применительно к поезду. Паромная переправа оказалась дешевле гужевой, а потом, когда началось движение по Кругобайкалке, дешевле и железнодорожной: прямой путь по воде был в три раза короче, чем

рельсовый по побережью, и ему не грозили ни оползни, ни обвалы, от которых страдала Кругобайкалка. Ему грозили аварии, не без того, не забудем, что на три месяца в году весь флот застывал во льду как вкопанный, но были же свои резоны и у тех, кто предлагал потом не торопиться настилать вторые пути на Кругобайкалке, а усилить флот. Пассажирам приходилось любоваться Байкалом с верхней палубы ледокола поневоле, но неволя эта очень скоро превращалась в удовольствие и оставляла сильное впечатление. Кто хоть раз пересек Байкал, переведя свой вагон на положение багажа на нижней палубе и окунувшись в картину сибирского моря-озера, в картину, которая и пяти минут не бывает однообразной, тот потом снова ступал на переходные мостки с суши на воду с нетерпением: это было и приключение, и везение, и облегчение в долгом пути, проветривание от усталости и тяжелых дум. Более миллиона русских солдат проследовали этим путем на фронт, и не могли они здесь, на этом величественном перевале, наверняка казавшемся им населенным духами, не оставить своих заклинаний, а затем, возвращаясь, кому суждено было вернуться, не могли не поклониться за спасение.

В войну это была дорога чести Государства Российского. Войну Россия проиграла, но на дальней-предальной окраине, за десять тысяч верст от центров промышленности и власти, в условиях мирового злопыхательства и подножек, а также предательства собственного либерального общества, публично желавшего победы врагу, в распалющейся все сильнее революционной горячке немудрено было ее и проиграть. Но нигде и ни от кого, кажется, нельзя было услышать, что подвел Транссиб. Хотя доставка войск и грузов оставляла желать лучшего, но дорога, еще и не достроенная, еще и не обкатанная, сама себя превзошла в свалившейся на нее непомерной тягости.

В навигацию 1904 года, когда Кругобайкалка еще не впряглась в работу, ледокол «Байкал» сделал до Танхоя

912 рейсов, не считая иных плаваний в службе переправы, и перевез более полумиллиона солдат, каждый рейс по два-три воинских эшелона, горы груза, сотни паровозов и тендеров, тысячи пассажирских и товарных вагонов и платформ. Особым его грузом были миноносцы и подводные лодки. «Ангара», не способная перевозить железнодорожные составы, брала на борт, как уже упоминалось, многие сотни человек и груз, вместимый в десять товарных вагонов. До изнеможения машин, не гася топок ни днем, ни ночью, в небывалом напряжении действовала переправа и с железнодорожным подвозом на станцию Байкал в основном справлялась.

Но напряжение, даже перенапряжение, перегрузки для нас – родная стихия, тянуть ровно и одной мерой нам скучно до вялости и лени. У нас десятикратно прибавляются силы, мы воспаряем в энтузиазме, забываем о сне и отдыхе, когда, как из земного притяжения, требуется выйти за пределы возможного. Наш характер, вероятно, и зародился в таких сверхусилиях, в таких «эх, ухнем!» и для них же предназначается. Хорошо это или плохо – другое дело, но нет народа, более способного на рывки, на скорости, на самопреодоление, чем народ русский; ныне, когда сроки будущего, похоже, быстро сжимаются и жизнь принимает стремительный темп, это, может быть, и неплохо, если мы еще не надсадились в горячке и не закоснели в вялости.

Но летняя навигация 1904 года только подхватила тяжесть испытаний, пришедшихся на февраль и март. С началом войны М. И. Хилков, министр путей сообщения, полностью перебрался на Байкал и перевез в Лиственничное свою семью. Здесь было самое узкое и тревожное место Транссиба, обозначенное на картах и в памяти пунктиром, готовым в любой час прерваться. А на восток сплошным потоком двинулась армия, там срочно требовался подвижной состав. И тогда впервые решено было проложить рель-

сы по льду. Байкал ничего подобного не испытывал, местный народ ничего похожего не видывал. Рядом с гужевой дорогой, где лошадки, запряженные в кошевки и розвальни, тянулись непрерывной вереницей, пролегла дорога железнодорожная, где те же лошадки по рельсам катили вагоны. В каждой повозке по три человека, в тулупах и валенках, заготовленных специально для этой оказии, под каждый вагон пара лошадок. Погодка от стужи и ветробоя каленая, кутаются в полушубки солдатики, время от времени спрыгивают с саней и пускаются в рысянку; кивая опущенными, обледеневшими у ноздрей мордами, отфыркиваясь от натуги и хлесткой падеры, тянут и тянут лошадки с интервалом в 40 сажень вагоны. А еще и пешая дорога, походным строем вышагивают 42 километра от станции Байкал до Танхоя те, для кого не хватило подвод, и были их тысячи и тысячи. Вдоль трассы провешена телефонная связь, на верстовых столбах в темноте горят фонари, через каждые шесть верст стоят теплые бараки, чуть поодаль колокол, в который бьют, чтобы не заплутать в пургу. А на полпути – станция Половина, там полагается отдых и подают одним участникам похода горячий чай, а другим задают овес. Около трех тысяч лошадей было только под рукой иркутского предпринимателя Кузнеця, взявшего подряд на организацию гужевой переправы и прокладку ледовой железной дороги и неплохо с тем и другим справившегося и заслужившего затем поощрение Государя. А сколько еще доставлялось всего частным извозом!

Один из тех, кто переправлялся этой дорогой по пути на фронт в феврале 1904-го, был Петр Краснов, военный корреспондент, а впоследствии знаменитый писатель русского зарубежья и атаман войска Донского. В своей книге «Год войны», вышедшей в 1905-м, он вспоминает:

«Только что прибыла рота... Она погрузила свои тяжести на одноконные розвальни: все готово. Толпа черных шапок начинает принимать более стройный вид, вот выров-

нялись, вот повернулись, сверкнули ружья, и, охотно разминая ноги после долгого сиденья в вагонах, мерно скрипя валенками по снегу, рота углубляется в бесконечную снеговую даль. Берег кажется близко – горы вот-вот рукой достанешь, но рота идет целый час, и все однообразной чередой проходят мимо свежие, белые, словно спички, натыканные в снегу, столбы телефона, и снеговой горный хребет, чуть опушенный белыми облаками, все так же далек, все так же покрыт внизу туманной дымкой дали.

Этап. Железная печка жарко натоплена, в низкой и плоской, как коробка, комнате тепло и хорошо. Одетые в валенки и полушубки солдаты весело болтают и смеются... Десяти-двадцатиминутный отдых проходит как мгновение. Снова “в ружье”, песенники вперед, и могучая русская песня звенит в морозном воздухе...

Вдруг в стороне словно из пушки хватило... Некоторые солдаты даже вздрогнули. Это лед треснул. Подойдите поближе, и вы увидите глубокую синюю полосу, идущую к черной воде. Расщелина понемногу раздвигается, становится шире, иногда доходит до аршина ширины. Тут видно, что лед на этой страшной глубине не толстый, не более аршина, и жутко становится думать, что для такой страшной глубины, для этого морского простора – это только тонкий пузырь, которым затягивает в осенние заморозки глубокие лужи. А люди настроили на нем дома, варят пищу, тянут пушки, проложили рельсы... Не чудно ли? Сколько удали в этой затее, сколько смелости и энергии!

На “Середине” рота обедает. Остальной перегон идут уже под вечер. Небо алеет, но краски его тут, на севере, так бледны и нежны, словно это самая тонкая акварель. Не поется. Быть может, и устали с непривычки. Усы и бороды заиндевели, идут тяжело, вразброд, и снег тут глубже, труднее идти. По всему пути длинной линией зажигаются желтые огоньки керосиновых фонарей, видны белые точки электрических огней на чисто срубленной, аккуратной

и чистенькой станции Танхой. Медленно выплывает и начинает светить луна».

Байкал не переносил спокойно такую густую и шумную кочевку по себе, с капитальным, как на суше, обустройством. Морозы, пурги, превращающиеся в сплошной натиск, вой и рык, снежные заносы и ледяные торосы, а с началом весны, когда выдувает снег, остеклевший лед, на котором не держат лошадей никакие подковы, – это еще полбеда. А беда – трещины. В тишине под мерный визг полозьев вдруг ухнет утробно и грозно где-то в глубине и сверкнет по льду молния. Гроза грозой, но молния в считанные секунды превращается в обрывистый раскол, на глазах он расширяется до полутора-двух аршин, куда и заглядывать жутко, и уж не пройти, не проехать. Пока Байкал метал эти молнии поперек дороги, ремонтные артели еще справлялись, накладывая сверху деревянные и металлические настилы. Но Байкал оказался догадлив и сменил тактику, взялся рвать лед вдоль трассы, раз за разом заставляя переносить наезженный путь в сторону, заставляя в том числе переносить и рельсовую дорогу, которая укладывалась затем на специальные двухсаженные шпалы и пластины. Кто кого? Движение ненадолго восстанавливалось, в иные дни по льду удавалось перекатить до двухсот вагонов, пока Байкал не отыскивал, где его умудрились обойти, и не принимался готовить новый удар.

По ледовой железной дороге перекачивали еще и паровозы, которых катастрофически не хватало на КВЖД. Нечего было и думать, как предлагали ретивые головы, опускать на лед составы, способные своим ходом, под гудок паровозов, перебежать Байкал. Даже попытка перекатить 50-тонный паровоз едва не кончилась его потерей. Пришлось снимать с рам котлы и доставлять их по отдельности. Таким манером за четыре дня в первой декаде марта доставлено было на восточный берег 65 паровозов.

Вскоре после этого принялись за разборку ледового железнодорожного пути, играть дальше в прятки с Байкалом становилось опасно. Но он сумел-таки, как только обесилевшие люди взяли короткую передышку, немалую часть возведенной по льду дороги утянуть в свою утробу.

В сентябре 1904 года началось рабочее движение на последнем сухопутном разрыве Транссиба – на Кругобайкалке, и поистине героическая зимняя переправа больше не потребовалась.

* * *

Еще когда только склонялись к побережной Кругобайкалке и получили представление об объемах работ, срок строительства назывался в пять-шесть лет. Потому и не могли долго склониться, что объемы эти пугали. В действительности они оказались гораздо больше, учесть все сложности рельефа и прокладки «чугунки» по чертоломным местам никакая инженерная разведка не могла. В 1901 году наконец было принято окончательное направление от мыса Баранчик (порт Байкал) до Култука, где и тропы сквозной не могло быть, потому что в скальных обрывах в Байкал не за что ей было зацепиться. Подготовительные работы (вырубка леса) здесь начались в том же 1901 году, путевые – весной 1902-го, а тоннельные – только в декабре, когда отчетливо замаячили контуры войны на востоке и решено было напрячься во всю русскую силушку, чтобы уложиться в три года. А уже в сентябре 1904 года князь Хилков проехал на товарняке по этому самому неприступному участку и открыл рабочее движение – через два с половиной года. Этот результат не способен даже и удивить нас – настолько он фантастичен при той технической вооруженности, какая тогда имелаась, и перед той преградой, которую пришлось преодолевать, когда раз за разом обрушивались на подготовленный путь горы и сползали с

них лавины, как из тяжелой артиллерии, шла камнепадная бомбежка, засыпало тоннели, вспучивало от глубинных подтоплений возделанное с великим трудом полотно. И шел на приступ, подмывая берег, Байкал. Без особой натяжки можно сказать, что в 1904 году боевые действия шли не только на побережье Тихого океана и на его водах, но и на побережье Байкала, во льдах его и волнах. Не напрасно здесь было объявлено военное положение, требовавшее особых мер безопасности (среди них удаление со стройки иностранных рабочих), и не напрасно зарубежные военные журналисты не покидали Байкал как еще один театр военных действий до той поры, пока не дал им отбой паровозный гудок, тот самый, в присутствии князя Хилкова огласивший победно 80-верстовый байкальский берег, куда была вбита рельсовая дорога.

Да и жертвы здесь оказались нетыловые.

Дорога была вбита в скалы и навешена над падами и речками. На готовые, самой природой подставленные участки дороге пришлось ступать очень и очень мало. Воспользуемся сведениями о ее «шагах» из сборника «Железнодорожный транспорт Восточной Сибири из XIX в XX век», изданного в Иркутске к 100-летию Транссиба:

«Участок от Слюдянки до ст. Байкал (чуть выглядывающий за принятое нами обозначение Кругобайкалки. – В. Р.), буквально насыщен разнообразными инженерными сооружениями. Вместе с привычными насыпями для рельсового пути делались выемки в скалах, прорубались коридоры в горных отрогах, вырубались уступы в каменных косогорах, через глубокие лога и долины перебрасывались крупные каменные мосты, красавцы-виадуки, через небольшие препятствия, горные речки – соответствующие переходы. На участке Байкал – Култук (вот это и есть Кругобайкалка) около семи километров первого пути уложено на подпорных стенках, которых всего насчитывалось 136. Общая протяженность подпорных сте-

нок, поддерживающих верхний и нижний откосы, составляет 5210 м. Большая часть рельсов (75 процентов) лежит на вырубленной скальной полке среди выемок и полувыемок. Глубина выемок достигает 30 м, а общая их протяженность более 60 км. Около 10 процентов пути лежит в тоннелях и галереях...»

После первых изысканий намечалось пробить 19 тоннелей, в окончательном варианте их уже было 33, а строить пришлось 39. Путник, решивший, подобно многим, пройти по Кругобайкалке пешком, не сведущий в инженерных сооружениях, насчитает их гораздо больше. Но это будут уже галереи из камня и железобетона, укрывающие полотно от осыпей и камнепадов в наиболее опасных местах, где подпорных стенок недостаточно и надо с «головой» прятать рельсовый путь. Их, и как пристроенных к тоннелям, и как стоящих самостоятельно, почти не отличимых от тоннелей ни порталами, ни ходом, даже знатоками Кругобайкалки насчитывается то 47, то за 50. Разнобой объясняется, по-видимому, тем, что есть заброшенные галереи после прокладки второго пути и есть галереи сросшиеся, обросшие сверху растительностью воедино с тоннелями так, что их способен различить только опытный инженерный глаз.

Всего здесь около 800 только капитальных сооружений. На версту – по десять, один другого замысловатей и интересней. Да, инкрустирована эта «пряжка» богато, со вкусом и выдумкой – и это несмотря на спешку, военное положение и чуть ли не приказной порядок работ: есть же, значит, в такой спешке государственного интереса, когда она не переходит в погоняловку, что-то убывающее не только физические усилия, но и инженерно-художественное вдохновение. Не зря же сооружения искусственные одного смысла с искусством сцены, кисти и пера по воздействию на человека, только «холст» больше, только «сцена» глубже и нарядней, только «действие»,

сменяя картину за картиной, требует движения. А затем спохватно, с досадой на скорость, верти головой, когда едешь, или вздыхай очарованно от изумления, когда идешь неторопко по шпалам с рюкзаком за плечами, если даже идешь в десятый или двадцатый раз. Кругобайкалка вся от начала до конца – сиамская сращенность божественного и рукотворного, музей под открытым небом природных памятников и памятников строительного мастерства, извиляющаяся под южным боком Байкала полка чудес. Словно для этой цели, для этой службы и подарил могучий Транссиб свою любимицу Кругобайкалку людям, когда полвека почти назад, вынужденный отступить от разлива Ангары перед плотиной Иркутской ГЭС, взял он от Иркутска новое магистральное направление.

Красота, элегантность, сказочность единого, как дворцовый коридор... ну хоть и в Эдем, творения, которым мы сегодня восхищаемся на Кругобайкалке, обошлись дорого. Дорого по финансовым затратам, по физическим, по человеческим жертвам. Сравним: один километр всей Сибирской железной дороги (первые пути) стоил 93 тысячи рублей, а на Кругобайкалке более 390 тысяч, на отдельных километрах стоимость доходила до миллиона рублей. Весь Транссиб протяженностью 7540 километров (от Челябинска) обошелся казне в сумму более 700 миллионов рублей, а 84 километра Кругобайкалки – в 33 миллиона, то есть, составляя примерно одну девяностую часть Великого Сибирского пути, она потребовала двадцатую часть расходов. В 1903–1904 годах численность рабочих на Кругобайкальской дороге перевалила за 15 тысяч, количество травм и несчастных случаев на западном участке за три неполные года активного строительства близко к двум тысячам, точного числа погибших нет и быть не могло, потому что почти у каждого подрядчика имелся «беспачпортный» резерв, согласный на любые заработки и на любую жизнь и смерть. Но погибших было немало, иркутская газета

«Восточное обозрение», взявшая на себя гласный общественный надзор за строительством, полна была в те годы сообщений о несчастных, нашедших здесь вечный покой. Постоянная работа с динамитом и скалолазные работы на высоте под камнепадами и обвалами, никудышные и техника безопасности, и жилищные условия в тесных бараках или на голой земле и в шалашах, и никудышная врачебная помощь – все это оставило вдоль дороги и одиночные могилы, и кладбища. Дань щедрая, она могла быть, конечно, и меньше, но при всей организованности и поднадзорности работ в условиях военного времени это был штурм. Подрядчики брали на себя обязательства вести работы, особенно тоннельные, днем и ночью и заканчивать их, не считаясь ни с какими неожиданностями, к определенному сроку. И надо только удивляться, что и при спешке, и при постоянных разрушительных бомбежках с «противоположной стороны», когда могло полностью обрушить только что пробитый тоннель, или когда мощность разового удара (обвала) достигала трех тысяч кубометров горной породы, объекты, как теперь говорят, выходили и прочными, и на загляденье красивыми, и в конечном итоге составили дивную музейную панораму.

В конечном итоге – это после сооружения второго пути. Оно обошлось ненамного дешевле первого и заняло те же самые четыре года до сдачи дороги в постоянную эксплуатацию (1911–1915 годы). Нигде более на Транссибе подобного повторения сроков и близко не потребовалось. Ровно через десять лет от начала первопутных работ пришлось удлинять и укреплять старые ходы и пробивать новые, а это и тоннели, и галереи, и мосты, и виадуки, и множество подпорных стенок и с горной стороны, и с береговой. На двенадцати километрах первый путь переносился на новое место – и опять новые инженерные сооружения, без которых здесь и шагу не ступить. И поэтапная эта работа, в обоих случаях фундаментальная и одухот-

воренная, наложила особый художественный отпечаток на облик Кругобайкалки, отпечаток двух почерков, двух стилей, исходящих из разных строительных материалов: в первый период это камень и металл, а во второй – еще и только что появившийся железобетон. Казалось, все было учтено: ну какая же это биография, какая же поэзия без таинственных «комнат» и ходов, в которых должны обитать духи! – и вот с переносом пути, как это произошло в бухте Березовой (и не только там), оказались «безработными» и тоннель, и галерея, обросли деревьями и кустарником, обзавелись утробным и гулким, как в преисподней, эхом и были отданы во власть первобытных представлений. Как все-таки разнятся рабочий вид и вид отставника даже и в одном возрасте, совсем как у людей: в первом случае морщины деятельности, а во втором – скорбная осанка вечности.

Кругобайкалку строил, как и весь Транссиб от начала до конца, народ из многих российских губерний и сибирских земель. Дотянулись сюда в поисках заработка и иностранцы, самые видные из них и оставшиеся в памяти как мастера-каменотесы были итальянцы. О них написана книга, и большинство из них, трудившихся на сооружении тоннелей, мостов, галерей и стенок, названо поименно. Имен наших соотечественников, кроме подрядчиков, начальства и нескольких инженеров, по обыкновению, не осталось. Китайцев, турок, албанцев и прочих – тоже не осталось, но их и было, кроме китайцев, немного, и с началом войны от их услуг отказались. Ссылные и каторжные в первый период на Кругобайкалку не допускались совсем – по гуманным соображениям: труд весьма опасный, а получать среди них жертвы не хотели. Во второй период арестанты знаменитого Александровского централи имели дело даже со взрывчаткой.

Был ли этот сборный народ отборным? По большей части, по-видимому, да, взрывные и верхолазные рабо-

ты требовали квалификации и опыта, каменная кладка на подпорных стенках, на порталах тоннелей и галерей требовала, кроме того, еще и вкуса. «Итальянская» стенка на 102-м километре (километраж до сих пор по старинке ведется от Иркутска), которую «вырисовывали» потомки Древнего Рима, воистину картинна и словно бы в леготочку выдержала столетнее давление горы. Но итальянцам и платили больше – за то, что они итальянцы. В. Ф. Борзунов в книге «Пролетариат Сибири и Дальнего Востока накануне первой русской революции» точно определяет их место на стройке: «В социальном отношении они ближе стояли к иерархии рядчиков и субподрядчиков, чем к строительным рабочим. – И продолжает: – По данным правительственной комиссии, работа итальянских мастеров обходилась дороже, чем русских. При одинаковом результате труда итальянцы получали по 4 руб, тогда как русские – по 1 руб 50 коп. “Преимущество итальянцев, – говорится в отчете комиссии, – заключается только в большей непрерывности их труда, меньшем числе праздничных дней и меньшем употреблении спиртных напитков, мешавших по временам правильно работать. Несмотря, однако, на эти их преимущества, некоторые распорядители работ, имевшие с ними дело, были ими недовольны и предпочли бы иметь дело с русскими каменщиками... Приглашение итальянских и вообще европейских мастеров на строительство магистрали, нарушая общие принципы, поставленные в основу всего предприятия, было следствием в значительной мере преувеличенных опасений в нехватке русской рабочей силы”».

Добавим: и преувеличенных опасений в надежности русской рабочей силы, в том, что, впрягшись в работу, наш брат безболезненно и в срок доведет ее до конца.

И тут неизбежно возникает вопрос: а есть ли превосходный результат на Кругобайкалке следствие постоянно превосходной работы или он достигался путем неоднократ-

ных переделок и перерасхода денег, когда за одно и то же задание, чтобы довести его до конца, платили и дважды, и трижды? Значительный (на 17 процентов) перерасход сметы, казалось бы, говорит в пользу этого сомнения в первоначальной добросовестности русского труда. Но переделки, конечно, были, и множественные, однако вызывались они и потребовали дополнительных ассигнований постоянными обвалами и необходимостью все новых и новых заграждений, чтобы горы не столкнули дорогу в море. Но были и случаи «неправильной работы», пьянства и поножовщины, о которых и через столетие доносятся сведения, была и тяжба между рабочими и подрядчиками.

Один из самых проникательных русских мыслителей конца XIX – первых двух десятилетий XX века В. В. Розанов писал в 1909 году, близком к строительству Кругобайкалки: «Болен ли труд русский? Об этом нечего и спрашивать. Девять десятых русского упадка объясняют именно этой болезнью – исключительно. Невозможно представить того поистине “преображения”, поистине “воскресения”, какое наступило бы в каждом маленьком кусочке русской действительности и, наконец, в картине всей страны, если бы вдруг в русском человеке пробудились жадность к работе, жажда работы, скука без работы, тоска по работе. Если бы русский вдруг начал искать применений своей энергии с той неотступностью, как невеста ищет жениха, жених – невесту, с такою же зоркостью, стойкостью и внутренней старательностью, то, кажется, целые горы материальных и духовных вещей, материальных и духовных богатств полезли бы из нашей убогой родины, взявшись невесть откуда, растя на голой земле, растя, в сущности, из человеческой энергии, из того, что есть “силушка” и есть “охотушка”».

В. Розанов – писатель талантливый и очень наблюдательный, но увлекающийся: каждую свою тему он берет как единственную и отдается ей, не считаясь с полнотой

жизни и разнообразием населяющих ее тем. В другой раз, искренне и безотчетно отдавшись другой теме, он будет противоречить себе же, но на крыльях воодушевления не обратит на это внимания. Розанов подсчитал: «Сказать, что трудящихся у нас приходится половина на половину – много. Приходится на двоих трудящихся восемь полутрудящихся и вовсе не трудящихся...» Лихая эта арифметика лихостью своей даже нравится, потому что труд-то русский действительно «болен», но только не в сердцевине своей, не от природной неисправимой лени, а от такой «побочной» причины, как справедливость и несправедливость труда. Русский не хотел надрывать пуп на татарина, на барина, на мироеда, не может сейчас отдаваться «силушке» и «охотушке», когда Россия строится «неправильно», выталкивая его из полноправной жизни. Да и не дают ему работать, всякую «неправильность» надежней всего творить чужими руками. Но кто же, позвольте спросить, прежнюю-то Россию построил в шестую часть суши? Кто воевал за нее, ибо ленивый в работе труслив в бою? Разве деревенский житель может быть нетрудящимся, когда страда подгоняет страду и только глухой зимой выпадает короткий отдых? А «отхожий промысел», искавший работы на стороне, тогда как дома вся густая карусель тягла ложилась на плечи оставшихся? А воскресники, «помочи», когда на нерядовое дело, на строительство дома или битье русской печи, сходились в праздничном азарте всей деревней или округой? А промысел в тайге, на путине – на месяцы, на полную выкладку сил и дюжи?

Но у русского водится одна странность: он не умеет тянуть размеренно и бесстрастно сколько угодно долго, как дятел или немец в бесконечных тук-тук-тук. Он бросается в работу отчаянно и порывисто, не жалея себя, а затем, обессилев, способен удариться в «праздник души». Способен, но способны на такой «зигзаг», считается, уж совершенно русские натуры, а они в большинстве никак

не могут быть. Да и наверстывают потом задолженное с лихвой. Вот почему распорядители работ на Кругобайкалке, да и на всем Транссибе, предпочитали иметь дело с родными мужичками.

И уж коли завели мы об этом речь – у русского труда есть еще одна национальная особенкка: он любит, чтобы его ценили, для него это дороже заработка. По крайней мере, так было. Устрой по-человечески, поговори уважительно, покажи, что нужно это не нарядчику, не подрядчику, а России, – горы свернет. И сворачивал на Кругобайкалке гору за горой; почему-то хочется думать, что этот энтузиазм возрастал всякий раз после приезда на стройку М. И. Хилкова, который умел и подбодрить, и поблагодарить, и навести справедливость между распорядителями и производителями работ.

Как ни скупа, как ни малоразговорчива история Кругобайкалки на подробности повседневной жизни в годы ее сооружения, она оставила немало свидетельств неприимности, чуть ли не враждебности отношений между подрядчиком и рабочим. Опять тот же мироед (бывало, что и в форме железнодорожного инженера), обсчитывающий мужика, экономящий на его почти зверином житье-бытье, на технике безопасности, не признающий болезней, грубый, изворотливый, способный шантажировать даже и администрацию дороги. Первое имя среди таковых – Бонди, он упоминается чаще всего. На значительном удалении от него, но в том же ряду – Арцыбашев, Березовский... Урон, нанесенный ими казне, человеческому достоинству рабочих и доброму имени Кругобайкалки, был в то время куда больше, чем «болезнь» русского труда, которая, кстати, недружелюбием и обманом почти всегда и вызывалась. Не водилось же, кажется, совершенно этой «болезни» на участке А. В. Ливеровского, ни одной жалобы «к нам» оттуда, а ведь был этот участок самым тяжелым, это у него, у Ливеровского, километр рельсового пути дохо-

дил по стоимости работ до миллиона рублей. Не осталось пятен на репутации итальянских подрядчиков Андреолетти и Феррари, нашенского крестьянина Половинкина. Иркутский предприниматель Кузнец, взявший на себя гужевую и железнодорожную переправу по байкальскому льду и имевший подряд на строительство тоннелей, был, бесспорно, из крупных хватов, но усердие его оставалось в рамках закона и профессиональной и гражданской порядочности.

От тех времен сохранилось множество фотооткрыток – тогда, слава Богу, понимали, насколько важно оставить память об этой стройке. Всматриваешься теперь в них с пристальностью изыскателя, надеющегося найти какую-то особую тайну лица как общего, народного выражения, которое сказало бы, что дало тогда, тоже в смутные годы, духовный глазомер выбрать самую правильную в отеческой судьбе дорогу – Транссиб. Фотография сто лет назад была еще молода, и люди любили позировать. Они, и верно, становились в позу и замирали, словно говоря: а ищите-ка вы этот глазомер сами! А вокруг прорва работы: развороченные горы, распчатые тоннельные лазы, еще не обузданные реки, в которые только-только начинают ступать мостовые быки, выгрузка с баржи металлоконструкций, теска камня, вагонетки и лошадки, бородатые мужики и совсем безусые мальчишки... Вид бравый, взгляд твердый. Никаких сомнений в этой позе и этом взгляде, что на тот час именно здесь центр России, главное ее дело, а не в Петербурге, не в Москве и даже не на японском фронте.

* * *

Мы слабопамятливы.

В семидесятых годах минувшего столетия семь лет (именно лет, летами, а не полными годами) прожил я в порту Байкал, поселок которого разместился в четырех падах

по бокам знаменитого мыса Баранчик в истоке Ангары. Две пади спускаются к Ангаре и две – к Байкалу. Мой домишко, поставленный когда-то в начале Кругобайкалки, по-видимому, для стрелочника, держался отдельно, как и полагается, возле путей. «В начале Кругобайкалки» – и по времени в пору ее строительства в начале, и по ходу в сторону Култука. Порт и станция расположились на мысу, там причалы и отстои для флота, там же и отсыпанный в море каменный мол с вилкой, где швартовались во времена паромной переправы ледоколы. С тех пор до семидесятых, о которых речь, минуло более полувека, срок для человеческой жизни немалый, но для истории и памяти вполне доступный, большого труда дотянуться до него, казалось бы, не должно быть. Не забылось же нами военное лихолетье, которое мы хватили мальчишками и до которого нас отделяют от дня сегодняшнего примерно те же самые сроки, – и не только не забылось, а озаряется до сих пор «вечным огнем», высвечивающим малейшие подробности. А для портового и железнодорожного поселка породившие его события начала XX века были, бесспорно, яркой, шумной, фантастической жизнью, в огромных объемах шла перевалка грузов и пересадка людей, паровозные гудки перекликались с гудками ледоколов, конское ржание – с командами распорядителей, грохот байкальских волн – с лязгом металла. Сюда один за другим прибывали персоны царской семьи и министерские персоны, знаменитые писатели и путешественники, месяцами околачивались зарубежные журналисты, итальянская речь рабочих и инженеров перебивалась китайской, а китайская – турецкой, изысканный русский язык аристократов – блатным языком каторжников. Здесь на путях стоял вагон-церковь, и колокольный звон на воздушных волнах уносился далеко-далеко за море; говорят, что он слышен был в Танхое. Не было по всему Транссибу и по всей Сибири другого такого поселка, жилого и путейского узла, не было даже города,

от которого в подобной же степени зависела бы судьба многих российских событий.

И вот через 50–60 лет будто кануло все это в небытие. Никаких отзвуков оттуда, из бурлившего прошлого, никаких воспоминаний и напоминаний. Сюда же прибуксировали полностью обгоревший до металла в августе 1918 года ледокол «Байкал», так трагически в Гражданскую закончивший свою службу, здесь он, как надгробие своему величию, простоял сокрушенной черной громадиной до начала 30-х годов, пока наконец не подняли его останки на берег и не распилили на металлолом. Но и об этом ничего. Хотя тлели же у кого-то из старожилов, не могли не тлеть, не могли не скулить где-то в загнетках душ угли воспоминаний... Но наружу не выходили. В английском Ньюкасле, где создавались ледоколы, музей первого из них – «Байкала» – существует, и там своим инженерным детищем гордятся до сих пор, а у нас ни музейчика в школе, ни «красного уголка» в конторе. Позднее ледокол «Ангара», чуть было тоже не пошедший на переплавку, с огромным трудом отстояли для музейной службы как памятник революционного оружия в Гражданскую, привели сначала в один из заливов Иркутского водохранилища, а затем и в Иркутск, но произошло это позднее и поселок Байкал никак не задело. Рано утром отправлялся оттуда местный поезд «мотаня» в несколько инвалидных вагонов, прозванный так потому, что мотался он ежедневно туда-обратно, в Слюдянку, где райцентр, и назад, и около полуночи возвращался. Я в своем железнодорожном домишке сверял по его прибытию, о котором он извещал резким гудком, время. «Мотаня» доставлял из Слюдянки последним поселенцам кругобайкальских станций и разъездов хлебушко и был по-свойски услужлив: не однажды я, отправляясь в богатую ягодой и орехом тайгу, просил притормозить на таком-то километре – «мотаня» и высаживал, и потом подбирал, а если кто запаздывал выйти к дороге, еще и подгонял гудком.

Жизнь самая патриархальная, машинной дороге в скалах и падах улечься было негде, тоннели и галереи казались вечно полусонными, в них на снятой ветке ставили копны, чтобы не мочило под открытым небом. Туристы тогда, в начале 70-х, Кругобайкалку еще не открыли, и можно было уйти по рельсам в полном одиночестве далеко-далеко, не встретив ни одной души, разве что прострочит мимо на мотоцикле по боковой тропинке покосник с притороченными вилами. И так приятно было идти и идти неизвестно сколько и куда без всякой надобности, отдаваясь настроению и удовольствию дышать и любоваться окружающей тебя красотой. А уж если по сухой осени пойдешь – лучше и не бывает. С одной стороны лениво и сыто плещет Байкал, с другой, от полыхающих в красках гор, доносит теплом. Все вызревшее, умиротворенное, томное – и душа твоя тоже настолько полнехонька, точно привела тебя в рай. Присядешь на нагретый камень и перед одним тоннелем, и перед другим, попытаешься в полудреме представить, что это были за люди, оставившие нам это благолепие, и не можешь представить, кажется, что так было всегда, со времен сотворения мира, что благолепие это есть не что иное, как боголепие. Оглянешься на Байкал, воркующий внизу: да ведь и ему теперь не представить, как бы быть ему без Кругобайкалки, без прекрасной и по-вдовьи тихой своей дочери, которую он не сразу признал, не сразу принял от людей и без которой теперь не чает своей судьбы.

На 80-м километре, где когда-то был блокпост, непременно сворачивал я в таежную сторону. В глубине распадка там большой фасонистый дом периода, как говорят архитекторы, «железнодорожного модерна» той поры, когда настигались вторые пути. Назначение его было самое рядовое – путевая полуказарма, но выглядел он так, будто и в Европе побывал, и от родины не отстал: высоконький и одновременно приземистый, угловатый, узловатый, но

того масштаба и тех линий, когда нигде не торчит и нигде не жмет. Приятно было и любоваться ею, этой полуказармой, со стороны, тянуло посидеть и внутри. От нее началась тропа вдоль речки в брусничник и голубичник, и миновать ее никак было нельзя. Брошенную и полуразрушенную, вот-вот, казалось, готовую рухнуть, ее привел в порядок и «подбодрил» мой товарищ, преподаватель университета, мастер на все руки, Валерий Зиновьев, сопрягшись с кем-то еще, и мы по дороге в ягодник обязательно заходили с ним посидеть в ее стенах и отдавались старине и теплomu, какому-то молитвенному, полупешотливому, ничего не значащему, из нутра наплескивающемуся разговору. Потом в мастерской у иркутской художницы Галины Новиковой я вдруг увидел этот дом во всей его благородной старости и в нимбе осенней позолоты – увидел и с таким, должно быть, воодушевлением, как о родном, родительском, стал о нем говорить, что художница тут же порывисто и вручила мне этот холст. Позднее, вроде уже и отреставрированный, дом сгорел. Сожгли, наверное. Сожгли, чтобы сжечь, так же как мой товарищ не дал ему упасть, чтобы он жил. Недавно поставили на его место по сохранившимся чертежам новодел... Но что такое новодел? Это как ребенок из пробирки – живым не пахнет. И стоит этот новодел, озирается, не понимая, к чему он здесь и что от него требуется. Много что сожжено на Кругобайкалке из деревянной ее красоты. Или разобрано на дрова. Варварство любит идти следом за совершенством, и прошлось оно разбойно по всей заповедной дороге. Наполовину опустел, разобранный на дрова или сожженный из азарта к разрушению, поселок Маритуй, самый большой и красивый на Кругобайкалке, картинно и весело протянувшийся по долине реки почти на километр. Жизнь здесь кроилась полной мерой: церковь, железнодорожное училище, метеостанция, больница, средняя школа; уже в 1908 году маритуйские театралы, не отставая от сто-

лиц, поставили на клубной сцене «На дне» М. Горького. В Маритуе в послевоенные годы напитывался красотой, добротой и чувством справедливости Леонид Бородин, известный бунтарь в борьбе за эту справедливость в советское время и автор дивной и нежной повести «Год чуда и печали». И автор книги о судьбе ледокола «Байкал» историк Алексей Тиваненко вышел из Маритуа, одним из первых начал он разыскания о паромной переправе и о гибели «Байкала», одним из первых стал добиваться, чтобы Кругобайкалку взяли на государственную охрану. А сколько железнодорожников, командиров производства с громкими именами маритуйского происхождения, сколько учителей и воинов! Будто то был город! Неужели это закон на все времена, что после полной и созидательной жизни – жизнь полая, пустая, выдирающая все, что засеяно было благой деятельностью?!

В середине 70-х Кругобайкалка всколыхнулась от спячки, когда загремел БАМ и в порт с Транссиба потянули грузы для переправки на северный Байкал. Все пути за моим домиком до станции заставлены были вагонами и платформами, на грузовом причале срочно смонтировали порталные краны, в поселке стало людно от проезжего народа. И у «мотани» прибавились вагоны, он теперь назывался рабочим поездом – и верно, каждое утро рабочие уезжали на укрепление рельсового пути и байкальского берега. Горячки не было, основные грузы шли через Тайшет на Лену, но рабочий ритм года три-четыре был, и порталные краны через дорогу перед моими окнами с лязгом загрузили сухогрузы и баржи днем и ночью.

В те же годы Кругобайкалку обнаружили туристы и энтузиасты из общества охраны памятников. «Обнаружили» словно бы даже по счастливой случайности: лежала стояла рядом в двух часах езды от Иркутска, хоть с одного конца, от порта, заходи, хоть с другого, от Култука, хоть

с третьего, по тропе от Транссиба, но до поры до времени ниоткуда не заходили. Почему интерес проснулся именно в эти годы? Да потому, очевидно, что устали жить в беспмятстве, одним только сегодняшним днем да начертательным, не способным взрасти из родной почвы будущим, потому что бескорневое, безглубинное существование сделалось слишком болезненным. Достигли, так сказать, «восковой спелости», появилась потребность осознать себя как народ магистральный, идущий издалека и далеко, энергичный, стойкий, а не уткнувшийся в тупик. Потребовался толчок из прошлого. Тогда же, в эти же годы, в канун 600-летия битвы, пошли на поле Куликово, на Бородино, вспомнили о великих могилах, бросились читать Достоевского и Лескова, возросла в меняющемся духовном климате «деревенская» литература, русские души по словечку, по вздоху, по поклону, по шажку принялись возвращаться в свое православное лоно. Сыграло свою роль созданное еще в 60-х и за десятилетие окрепшее Российское общество охраны памятников истории и культуры. Этим путем вышли и на Кругобайкалку. Открылись глаза, и представшее перед ними озарилось подлинным светом.

Одним из первооткрывателей Кругобайкалки был оператор Иркутского телевидения, солдат Великой Отечественной, закончивший войну у рейхстага, Ольгерт Маркевич. По меньшей мере, он не оставил свое открытие при себе, а оповестил о нем и местное отделение общества охраны памятников, и местный народ. В Култуке О. Маркевич разыскал ветерана Кругобайкалки еще с первых путей, а затем и вторых, Д. З. Гаврилова, в то время уже не поднимавшегося с постели, но сохранившего прекрасную память. Еще десятилетним мальчишкой пришел он на стройку, а вернее, стройка пришла в его старинный прибайкальский поселок, был на первых порах коногоном, возил из карьера на насыпи грунт, показал себя смышленным, переимчивым и к рабочему мастерству, и к инженерному, и на вторых пу-

тях, повзрослев, крепил уже бетонные подпорные стенки, а затем поднялся до бригадира мостовиков, легко справлявшегося с инженерными приборами, хотя в детстве ходил в церковно-приходскую школу всего две зимы. И рассказывал обо всем с такими подробностями, будто было это вчера. Раз за разом, снова и снова приезжал Ольгерт Маркевич к словоохотливому старику, чудом задержавшемуся на земле, обрадованному, что вот и его воспоминания понадобились, что дождался... На свидетельства его потом ссылались почти во всех книгах о Кругобайкалке. А было их за последнее десятилетие, восторженных и деловых, вышедших из-под пера поэтов, журналистов, историков и инженеров, никак не меньше десяти. Притом и инженеры, профессионально раскрывая Кругобайкалку, неминуемо становятся поэтами, точно сам «предмет» описания и внимания, сам «объект» любви и поклонения награждает каждого, кто ступает на эту землю, лирическим даром, так же как показали себя поэтами сто лет назад авторы так называемых инженерных сооружений.

Затем началось туристское паломничество. С первым летним теплом идут и идут по шпалам с рюкзаками, наезжают отовсюду, в том числе и с благословенных югов, ставят палатки на берегу где-нибудь подле тоннеля или галереи, чтобы красота постоянно была перед глазами, живут неделями, умильными вздохами освобождаясь от копоти городов и «перестроек». Теперь здесь едва не в каждой распадке понастроены турбазы и базы отдыха, но какой же уважающий себя турист полезет в дорогие стены, если под небом благодать изливается на него днем и ночью, в дождь и ветер. И полнят души, укрепляют дух, считают письмена красоты и чистоты с рукотворного и нерукотворного, сошедшихся воедино в объятиях вечности.

Ныне Кругобайкалка – историко-культурный и инженерно-ландшафтный памятник федерального значения. Звучит. К юбилею железнодорожники принарядили ее,

обновив вокзалы на Байкале и в Слюдянке, вернув им свежесть первоначального вида. Рядом с мраморным зданием слудянского вокзала – бюст М. И. Хилкову, радетелю и заботнику Кругобайкалки в самые горячие ее годы. На станции Байкал встал на путях, словно с неба спустился, вагон-церковь; отсюда с мощами иркутского святителя Иннокентия, обретению которых исполнилось двести лет, двинулся он в Иркутск, а затем по Транссибу на БАМ.

Как это все кстати и как хорошо!

И возвращенный на Кругобайкалку в голове туристического поезда паровоз с басистым гудком – тоже справедливая дань тому времени, представляющемуся теперь былинным, когда Россия вздымала немереные богатства на востоке в собственную славу и мощь.

Было такое время!

2006

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТОБОЛЬСКА

«Нет города, более картинного, чем Тобольск» – слова эти отдаются декабристу Дм. Завалишину, у которого в его долгой сибирской ссылке был и тобольский период. Но произносились они, эти слова, конечно, многими и многими, у кого не могло не захватывать дух при виде Кремля из Нижнего города и необозримой, могучей картины, с какой устремляется от Тобольска Сибирь на восток – если смотреть с высоты тридцатисаженого Кремля. Этот величественный исток полунощной страны, уходящей в поднебесную бесконечность, до сих пор для впечатлительных душ кажется таинственным, а что говорить о тех, кто всматривался туда, в эти широко распахнутые и таинственные ворота три-четыре столетия назад. До Бога высоко, до царя далеко... Но Тобольск сумел встать так удачно, что и до царя оказалось ближе, и до Бога ниже.

В кабинете Петра Великого никогда не убиралась далеко карта Сибири, вычерченная специально для императора тобольским умельцем Семеном Ремезовым. А если смотреть на Софийский двор из-под горы, трудно отделаться от впечатления, что храмы его не упираются в землю, а висят над нею, устремив свои сосцы в небо. Из восемнадцати святителей, в земле Сибирской просиявших, половина прославилась на Тобольской кафедре, и среди них чудотворец митрополит Иоанн, митрополиты Антоний, Павел и Филофей и архиепископы Нектарий и Варлаам. Абалацкая икона Пресвятой Богородицы (из Абалацкого монастыря близ Тобольска) прославилась своими чудесами исцеления и милостями с середины XVII века и вызвала массовое почитание и поклонение не только сибиряков.

Едва ли можно сомневаться, что сам Ермак Тимофеевич, одержав тяжелую победу над Кучумом у Чувашского мыса, не мог не заглядеться на высящуюся неподалеку красавицу гору и не прикинуть, что лучшего места для острога не найти. При татарах мыс при слиянии Тобола и Иртыша, высоко поднятый и просторно раздвинутый на две стороны, назывался Алафеевской горой. И когда уже после смерти Ермака письменный голова Данила Чулков в 1587 году спускался по воде из Тюмени, поставленной за два года до того и ставшей таким образом первым русским городом в Сибири, он знал, куда правил. Ладьи его приткнулись к крутому берегу под Алафеевской горой, и казаки без разведки принялись за разгрузку. Разгрузив струги, казаки взялись и их разбирать и потянули борта и днища в гору, чтобы пустить на острожное строительство. Отсюда и первое название острова – Тобольск-Лодейный. Поставили в Лодейном Троицкую церковь – гора стала Троицкой. С возведением на западной стороне мыса Софийского Успенского кафедрального собора появилось название – Софийский двор. А уж затем, когда отстроился город в камне, и обнесли Софийский двор вместе с Гостиным

крепостной стеной в две сажени высотой, можно было без натяжки называть прежде Алафеевскую гору Кремлем. В недобрые времена XX века захирел Кремль и умолкли его колокола, но названия своего он все-таки не потерял. И дождался – теперь Успенский собор снова «заговорил», да так, что слышно, должно быть, в самых дальних небесах, а в Софийский двор в родные стены вернулась епархия, называемая теперь Тобольско-Тюменской, с подчинением себе Тюмени. И, надо полагать, это только начало нового возвышения, духовного и культурного, а уж что последует дальше – надо подождать.

В течение двух веков Тобольск был городом легенд и необъятной власти, городом громких фамилий, которые направлялись сюда, и великих людей, которых дал Тобольск миру. Он стал столицей Сибири в 1590 году, только-только начиная отстраиваться, но подлинного могущества достиг при Петре I. При великом батьке появляются и великие подвижники, подвиги и чудеса батьки словно бы наследственно передаются и им. При Петре Тобольская, или Сибирская, губерния включала в себя Урал и простиралась до Тихого океана, одна приняв в себя бóльшую часть тогдашнего Российского царства из восьми губерний. Первым сибирским губернатором после воеводского правления назначен был князь Гагарин, в молодости стольник Петра, затем нерчинский воевода, судья Сибирского приказа, комендант Москвы. Это была незаурядная личность, властная, энергичная и барственная. Один из «птенцов гнезда Петрова». Благодаря его близости к императору в Тобольске ускоряется каменное строительство Кремля, развивается торговля, ремесла, отовсюду идут сведения о сыскании руд, серебра, снаряжаются корабли на Камчатку и Курилы, по сибирским городам открываются гимназии и училища. Сибирь при Гагарине все меньше походит на малосведомую страну, какой она считалась еще накануне нового, XVIII века.

И вдруг отзыв в Петербург и позорная казнь князя Гагарина. За лихоимство Петр взыскивал строго, но не до того же, чтобы повешенного перед юстиц-коллегией прославленного сибирского губернатора приказано было не снимать с виселицы, покуда не сгниет веревка.

И только позже стало проясняться, что прежде всего было вменено в вину Гагарину. Он якобы злоумышлял оторвать Сибирь от России. Едва ли Гагарин злоумышлял, характер Петра он знал прекрасно и испытывать бы его не стал, но мог, мог вельможный сановник гаркнуть водившимся у него зычным голосом: «Мы сами государство!» Мог и повторить под горячее настроение. Не случайно вскоре после этого Сибирь разделяется на провинции, а при Елизавете при губернаторах заводятся тайные комиссии. Без Сибири Россия уже и не представляла себя, Сибирь приучила ее к легким доходам, она превращалась, а затем и окончательно превратилась в золотое дно.

Другой сподвижник Петра – Федор Иванович Соймонов, спасший в молодости будущему императору жизнь и заступивший на сибирское губернаторство через сорок лет после князя Гагарина. Соймонов был серьезным писателем. Одна из его книг так и называлась: «Сибирь, золотое дно». А уж он Сибирь знал действительно до дна. Соймонов при Бироне оказался оклеветан и судим, ему рвали ноздри и отпавили в Сибирь на вечную каторгу. Помилованного при новой власти, его с трудом в лохмотьях отыскивали близ Охотска, вернули поместья и награды и вручили в управление, дабы последний стал первым, сибирское царство. Служба его была негромкой, но тоже памятной, и охватывала она, помимо неперемненных взысков и сысков, просвещение и продовольствование народа, устройство путей сообщения, а также облегчение участи раскольников. А в письменных трудах, кроме «Сибири, золотого дна», еще и «История Петра Великого», «Краткое изъяснение астрономии», «Известия о торгах сибирских» и «Описание Каспийского моря».

Еще один губернатор сибирский – Д. Н. Бантыш-Каменский – составил «Словарь достопамятных людей Земли Русской» в пяти томах.

Бантыш-Каменский, кстати, не удержался и, вероятно, из склонности к историческим изысканиям вскрыл в Березове могилу сосланного туда при Петре II и там похороненного сто лет назад светлейшего князя и генералиссимуса Александра Даниловича – Алексашки Меншикова. Должно быть, помня изворотливость и неумную энергию этого любимца Петра Великого, губернатор не удержался проверить, тут ли он еще, не выкинул ли по своему обыкновению какой-нибудь ферт. Меншиков был на месте. В вечной мерзлоте он лежал как свеженький. «При освидетельствовании гробницы, – записал Бантыш-Каменский, – не было стечения любопытных, и сие не произвело ни малейшего впечатления на народ». Зато это произвело впечатление на Петербург, после декабристского бунта Бантыш-Каменский был вызван туда и почти семь лет находился «под ответственностью».

Если уж вспоминать достопамятных, благодатной деятельностью оставивших о себе прочный след в истории Тобольска и Сибири, то начинать следовало с архиепископа Киприана, возглавившего только что открытую в 1620 году под его пастырство епархию. Нравы среди казаков и вольноохочих, жительствовавших в Тобольске, за тридцать лет, прошедших от основания города, изрядно расшатались. Это позднее в Сибирь стали присылать православных женок для первопроходцев, а до епископа Киприана казаки сходились с дочерьми местных народцев без венца и креста, покупали их и продавали, как с огорода разносол, пьянствовали, не соблюдали постов, развлекались игрой в карты и кости – то есть вольница во всем оставалась вольницей, а воевод это беспокоило мало, справлялась бы служба. Архиепископ Киприан сумел в годы если не полностью положить конец подобной распущенности,

то, по крайней мере, сильно поприжать ее и окончательно определить в грех и срам.

Заслугой преосвященного надо считать и начало сибирского летописания. Почти сорок лет прошло от Ермака, и подвиг его со товарищи стал обрастать легендами. Владыка Киприан призвал к себе оставшихся в живых участников похода, расспросил их о погибших и уцелевших в схватках за Сибирь и попросил оставить письменные свидетельства. Затем, после тщательных сверок, имена Ермака и его дружинников, павших в сибирском походе, были навечно внесены в синодик для церковного прославления. С 1686 года, когда выстроен был в Кремле Софийский Успенский кафедральный собор, слава им воздавалась ежегодно в первую неделю православия с возглашением вечной памяти. Более двух столетий звучала она, пока не смолкли в Софийском дворе после революции колокольные звоны.

«Царствующий град Сибирь» – так от начала Романовской династии величали Тобольск. Екатерина Великая поднесет ему свой императорский трон. Только столица Российской империи и столица Сибирского царства имели право принимать и отправлять посольства. Случалось такое событие в восточном граде нечасто, зато Москва, а затем и Петербург нашли применение Сибири как незаменимому месту ссылки и каторги. Через Тобольск прошли сотни тысяч кандалников, а самые именитые задерживались здесь и даже оседали. Первым ссыльным оказался угличский колокол, возвестивший при Борисе Годунове убийство царевича Димитрия. Декабристы, петрашевцы, среди них и Ф. М. Достоевский, поляки после двух польских восстаний, малороссийская знать, недовольная Москвой и Петербургом, и среди нее гетман Иван Самойлович, хорват Юрий Крижанич, во время тобольской неволи написавший «Повествование о Сибири», протопоп Аввакум, Радищев и Короленко... – кого

только не встречал-проводил Тобольск, кого только не заносил в поселенческие списки и подорожные книги. В 1917–1918 годах в бывшем губернском доме восемь месяцев до отправки в Екатеринбург содержалась здесь под стражей царская семья.

Надобно заметить, что столичность Тобольска и вольный дух его, незаурядность правителей и ссыльных, как и незаурядность казачьего духа, ядреное дыхание бесконечной глубины сибирского востока, появившаяся необходимость в новой, прежде не бывавшей в том краю деятельности, не могли не вызвать к жизни яркие таланты собственно тобольцев.

Художник В. Г. Перов, историк, автор двухтомного «Исторического обозрения Сибири» П. А. Словцов, автор бессмертного «Конька-Горбунка» П. П. Ершов, композитор А. А. Алябьев, сын гражданского губернатора Тобольска, автор более ста пятидесяти романсов на стихи лучших поэтов, в том числе неувядаемого «Соловья». А еще Д. И. Менделеев, четырнадцатый ребенок в семье директора губернской гимназии, давший миру Периодическую систему элементов, мудрый учитель своих соплеменников, как надо любить и укреплять Россию. Многогранный С. У. Ремезов, живший во второй половине XVII и в первых двух десятилетиях XVIII века, создатель Кремля, художник, поэт и изограф, автор «Сибирской (Ремезовской) летописи» и труда воистину необъятного, но чудом осиленного («с сыновьями», – добавлял С. У. Ремезов) – «Чертежной книги Сибири», первого русского географического атласа. Переизданная недавно общественным фондом «Возрождение Тобольска» «Ремезовская летопись», как и «Чертежная книга...», производит могучее впечатление. Читаешь, всматриваешься и не можешь понять: да как можно было все это собрать воедино, не ошибившись, как можно было с таким искусством вычертить и не заблудиться без путеводства! Чудеса, да и только!

Специально для Петра Великого Ремезов вычертил подробную карту Сибири, и она оставалась в кабинете императора многие годы.

Для своей «Истории Сибири» Г. Ф. Миллер многое взял из «Ремезовской летописи». В Тобольске Миллер приобрел и «Служебную чертежную книгу» Ремезова, позднее она также стала собственностью царских особ. В темные времена XX столетия, когда к истории российской относились как к сомнительного происхождения дальней родственнице, могила Семена Ульяновича Ремезова в Тобольске была потеряна, имя его звучало совсем редко, а великие его труды и в каменном строительстве Кремля и по сибирской истории упоминались лишь в архивах. И только к 350-летию Ремезова в 1992 году стараниями все того же общественного фонда «Возрождение Тобольска» и его председателя Аркадия Елфимова с большим трудом удалось переименовать в нагорной части города улицу Клары Цеткин в улицу Ремезова, а через год в Кремле, где и положено, поставить ему памятник работы Олега Комова.

Первый удар по могуществу Тобольска нанесен был в 1838 году, когда Сибирь поделили на два края – Западный и Восточный – с центрами в Омске и Иркутске. Тобольск превратился в рядовой губернский город. Мало того – Московский тракт, главная дорога в Сибирь, от Екатеринбурга вышел на Тюмень, Ишим и Ялуторовск, оставив прежнюю сибирскую столицу в стороне, на выселках. Но имя ее продолжало звучать, и почтение ей оставалось еще долго, вплоть до революции. Во второй половине XIX века, еще до железных дорог и авиации, Сибирь духовно и культурно была объединена лучше, чем впоследствии, когда от нее потребовали прежде всего рабочей выправки. А до того – открылся в Томске университет, блистала еще Кяхта и делилась своим богатством на общесибирское дело, всюду как грибы после дождя появлялись музеи... Вот и Тобольску в год его 300-летия был подарен сибирскими

купцами художественный музей... Но подходила к концу благотворная обычная жизнь, начиналась история. В 1918 году у Тобольска отняли родовое губернаторство, передав его Тюмени, туда же перекочевали сокровища художественного музея, умолкли церковные колокола, осиротел Кремль. Тобольск стал терять и звучание свое, превратившись в обычный райцентр, и свою выправку и именитость города-памятника, города-труженика, неотменимый ореол первопрестольного Сибири.

Теперь слава его постепенно возвращается обратно.

Памятник Ермаку был поставлен на Чукманском мысу в 1839 году, на следующий год после формальной потери Тобольском сибирского главенства. Случайно ли это? Нет, конечно. Административно город отходил на вторые позиции, а затем и вовсе в тень, но позиции духовные, исторические оставались при нем неизменно. Ермак встал как надежный страж сибирского отцовства и славы Тобольска. Позже на помощь Ермаку Тимофеевичу пришли Семен Ремезов и Дмитрий Менделеев. В самые тяжелые и опасные для России 90-е годы минувшего столетия точно из-под земли вырос в бронзе великий зодчий Кремля – и Кремль в те же годы вновь принял в свои стены епархию, а Патриарх всея Руси Алексей II дважды навещал Тобольск и назвал его третьим после Москвы и Петербурга духовным центром России. «Тобольск и вся Сибирь» – это сочетание стало звучать торжественно после того, как подробные очертания всей полунощной страны представил миру сын боярский Семен Ремезов. «Тобольск и вся Сибирь» – так называется свод выпускаемых вот уже несколько лет фондом «Возрождение Тобольска» книг, отданных самым именитым сибирским городам и землям. В последние 15–20 лет в условиях самовывживания они отдалились друг от друга почти так же, как это было в XVIII веке, – и вот, именно Тобольск взял на себя право напомнить им о нашем неотменимом родстве и общей судьбе.

И уже привычным становится, что издательская деятельность Фонда – к познанию Тобольска, к познанию Сибири и «К познанию России» (название замечательной, но мало прочитанной у нас книги Д. И. Менделеева) – рассылается сейчас безвозмездно по областным библиотекам.

Лучше всего обозревать Тобольск от Ермака, с Чукманского мыса. Справа праздничный и венценосный Софийский двор, слева Вершина, уцелевшая чуть ли не в средневековом строе деревянная улица в овраге вдоль сбегаящей в город речки Курдюмки. А внизу – кружева и разброс деревянного посада, широко раскинутого и уходящего чуть не до Иртыша. Но первая линия обороченного на Кремль Нижнего города еще именита и, несмотря на старость, величественна: каменные здания, храмы, ближе к базарной площади купеческие особняки, наполовину уже разрушенные и наполовину уцелевшие. Сразу как спускаться по Никольскому взвозу вниз, стоит перед Кремлем длинное приземистое двухэтажное здание, столь славное, что нельзя перед ним без благоговения не задержаться. Строилось оно в XVIII столетии и продано было после пожара в кремлевском наместническом дворце под резиденцию наместника, которым тогда был А. В. Алябьев, отец композитора. В нем, в этом доме, будущий композитор и явился на свет. В начале XIX века здание было перестроено под губернскую гимназию, в ней учился декабрист Г. С. Батеньков, а директорствовал И. П. Менделеев, отец великого химика и патриота России. Когда Иван Павлович Менделеев служил директором, у него учился П. П. Ершов, автор «Конька-Горбунка», впоследствии и сам ставший во главе гимназии, а у него, в свою очередь, проходил курс первоначальных наук сам Д. И. Менделеев.

Таков Тобольск, такова его насыщенность громкими именами и деяниями. В нем, как в этой гимназии, как в этом родстве, все так тесно и близко связано с самыми

значительными событиями государства Российского, все, казалось бы, из малого и местного непременно переходит в большое и великое, что этому приходится удивляться чуть не на каждом шагу, с робостью оглядываясь на настоящее: а мы? что же мы? Чем ответим на бурные и плодотворные начала и продолжения?

Ответим хотя бы проснувшейся памятью. А проснувшаяся память есть начало продолжения дела.

2008

ОТКУДА ОНИ В ИРКУТСКЕ?..*

Случайный посетитель, впервые заглянувший в свободную минуту в Иркутский художественный музей, быть может, из любопытства и рассчитывающий встретить в нем в лучшем случае скромное достоинство, украшенное несколькими нерядовыми полотнами, бывает ошеломлен. К своему великому удивлению, он найдет здесь самое лучшее «общество», которым гордится русское и советское искусство: И. Репин, В. Суриков, В. Перов, В. Боровиковский, Д. Левицкий, О. Кипренский, В. Тропинин, В. Васнецов, И. Айвазовский, И. Левитан, Б. Кустодиев, К. Коровин, И. Шишкин, К. Сомов, А. Куинджи, Ф. Бруни, В. Верещагин, М. Антокольский и многие другие не менее именитые их современники, а также К. Петров-Водкин, А. Пластов, М. Сарьян, С. Герасимов, Н. Ромадин, К. Юон, Т. Маврина, С. Коненков, А. Голубкина, И. Шадр, Е. Вучетич... Даже избранный список лучших советских мастеров занял бы слишком много места.

Но подобная неожиданность, связанная с «открытием» Иркутского музея, может произойти, повторим, лишь с новичком, потому что не только специалистам известно, что здесь нынче находится самое богатое за Уралом собрание

* Предисловие к книге А. Д. Фатьянова «Иркутские сокровища».

художественных сокровищ, которое с каждым годом продолжает пополняться и расширяться.

Возникает неизбежный вопрос: откуда они в Иркутске? Что это за особые и счастливые обстоятельства, собравшие тут очень и очень немалые изобразительные ценности? Если огромное и замечательное хранилище восточного искусства Иркутску вроде бы положено иметь по своему местонахождению и близости к этому искусству, то редкостную коллекцию древнерусской живописи возрастом нашего города объяснить нельзя, следует искать другие причины, занесшие в глубину Сибири иконы московской, ярославской, новгородской, псковской, палехской, строгановской, северной и южной школ, а кроме того, ставшие теперь уникальными образцы византийской и афонской иконописи.

А западноевропейский отдел от Средневековья до последнего времени! А собственно сибирская древность и современность!

И это при том, что музей как общественное достояние, как государственная художественная галерея был создан уже после Гражданской войны и, стало быть, вырос и обогатился в несколько десятилетий, что для музея подобной величины можно считать удивительным. И действительно, судьба многих его выдающихся экспонатов необыкновенна, порой даже, как это было, например, с уральской коллекцией Казанцевых, занесенной в Иркутск бурями Гражданской войны, полна приключений, достойных пера мастера детективного жанра.

Случалось, что музею на редкость везло, особенно на первых порах, но затем это «везение» стоило его хранителям и приумножателям многих и многих трудов и сверхтрудов. Затем, очевидно, вступил в силу закон, по которому сокровища тянутся к сокровищам, то есть всевозможными прихотливыми путями попадают к тем, кто знает их подлинную цену и самоотверженно действует во благо родному городу.

И тут необходимо сделать одно беглое отступление.

Еще в конце XIX века Сибирь считалась краем заповедного, без всяких помех процветающего невежества и недоступного бескультурья. Примеров и свидетельств тому несть числа как в отзывах путешествующих особ, так и в горестных признаниях соотечественников. Исключения, казалось, лишь подтверждали общее правило. Мало того: сибиряку нередко отказывалось в поэтическом чувстве, его душа представлялась камнем, из которого трудно исторгнуть даже короткий эстетический вздох. Не кто другой как сибиряк и патриот Сибири Н. М. Ядринцев пишет о сибиряке:

«Страшные призраки с лохматыми лапами окружают его в лесу. Некогда ему мечтать, он пролагает дорогу среди темных трупоб, и суеверный страх охватывает его. Вечером он делает себе балаган. Когда косые лучи солнца пронизуют лес пред закатом и среди черных стволов польется золотистый луч, а алое и пылающее небо вспыхнет между ветвей, бедный зверолов станет на колени пред балаганом с сложенными руками и будет безмолвно молиться; может быть, односложный звук вылетит из груди его...» И, продолжая эту мысль, Ядринцев приводит киргизскую поговорку: «Богиня песни пролетела близко над степью, но высоко пронеслась над лесом».

Здесь есть, конечно, верное наблюдение, но лишь в той части, которая связана с внешней стороной нелегкой сибирской жизни. Суровость природная, естественно, накладывала на человека отпечаток и сковывала его лирические ощущения, но до тех лишь пор, пока он не сживался с новыми условиями и пока суровость не переставала для него быть суровостью и не становилась привычной и родной обстановкой. Душа его никак не могла за это время затвердеть или закрыться от страха, тем паче что именно на первых порах, когда переселенец только еще распознавал тревожные звуки вокруг себя и приучался к незнакомым условиям,

именно тогда более всего и требовались в поддержку ему песня и поверье, сказовые и ритмические голоса предков, принесенные с прародины и составляющие лад его души.

И доказывать не нужно, что в таежном одиночестве охотник обращался за спасением вовнутрь себя; если то-ску по оставленной земле испытывала община, она сходилась за песней и воспоминаниями. И так продолжалось, пока новые слова и новые элементы поэзии, согласующиеся с новым образом жизни, не входили естественно и незаметно в прежний ее порядок.

Внешняя угрюмость сибиряка, которую он невольно перенял от духа окружающей его природы, как загар, принималась посторонними людьми, мало знающими его, за полную замкнутость, за неспособность души к художественному отзвуку. Свой же брат сибиряк, оставивший нелестное мнение об этой стороне жизни земляка (вместе с Ядринцевым здесь можно назвать еще и Щапова), исходил из сравнения сибиряка с жителем коренной России, из сравнения, которое не могло быть в пользу сибиряка, что удручало отзывающихся больше, чем того заслуживало. Общеизвестно, что спустя сорок лет после смерти Щапова М. К. Азадовский собрал на Лене, на родине Щапова, замечательные по сохранности и художественной ценности записи сказок и песен. Одно из самых поэтических мест Сибири – Русское Устье на крайнем севере Якутии на Индигирке. А «семейские» села в Забайкалье! А староверческое народное искусство на Алтае! Просматривается любопытная закономерность: чем тяжелей условия, в которых жил сибиряк, чем больше физических усилий затрачивал он на привыкание и выживание, тем богаче поэзия. Дело, значит, не в мере физических трудностей, заглушающих песню и обряд, а в мере общинной крепости и слитности, не обходящихся без песни.

Фольклор как искусство народное, конечно, далек от классических видов искусства, но в то же время без фоль-

клора, без пропитанности им душевного состава, с которого начинается художник, серьезный творец состояться не может. Не будь его – не было бы ни поэта П. П. Ершова, ни живописцев В. И. Сурикова и М. А. Врубеля, ни композитора А. А. Алябьева и многих других великих выходцев из Сибири, которыми она по праву гордится и которые переняли ее дух и голос, возможности ее могучей художественной силы.

Поэтому отнимать у сибиряка в прошлом поэтическую струну и возвышенное настроение было бы несправедливо. Лишнее доказательство тому – готовящееся сейчас многотомное издание сибирского фольклора. Другое дело, что сибиряк в огромной своей массе лишен был образования, его творческие задатки чаще всего глохли, не успев развиться, в неподходящей для этого среде. Боясь среды, занятой даже и в крупных городах, как правило, физическим справлением жизни, не обремененной нематериальными интересами, где художественные вкусы находились в зачаточном состоянии или в уродливых формах, сибирские таланты, выезжавшие на учебу в столичные университеты и академии, опасались возвращаться обратно: на родине нельзя было ожидать благоприятной творческой обстановки. Появилось и привилось характерное для Сибири явление – абсентеизм, то есть деятельность вне родины, невольный отток лучших умов и талантов на сторону.

Образованные, патриотически настроенные люди Сибири с таким положением мириться, естественно, не хотели. Появилась нужда в своем собственном культурном обществе, состоящем не только из ссыльных и временных, но, прежде всего, из коренного жителя, отставшего от наук и муз не от холодно-практического устройства своего сердца, а от привившейся практики государства по отношению к этому краю: как можно больше брать и как можно меньше давать. Рассчитывать на высочайшие благоизъявления

не приходилось: для Сибири наступила пора самой позаботиться о своем культурно-духовном строительстве.

Общественные условия для этого здесь назрели ко второй половине XIX века. Приближался юбилей – 300-летие присоединения Сибири к России, который Сибирь готовилась встретить в осознании полной своей роли в государстве, в показе всего лучшего, что в ней есть. В это же время началось заметное культурное движение: во многих городах открываются библиотеки и музеи, строятся театры, создаются научные общества и музыкальные салоны, устраиваются выставки. Среди сибирских богачей, на которых еще недавно не без оснований смотрели как на завязанные по глаза золотые мешки, сделалось принятым тоном раскошеливаться на столичных художественных распродажах.

Сначала на подводах, а затем и по выстроенной железной дороге на восток потянулись и помчались старательно упакованные ящики и тюки с холстами и скульптурами, с книгами и учебными пособиями. В дар покровительствуемым гимназиям и училищам все чаще вместо риторических благословений и напутствий отправляются предметы искусства. Нелишне вспомнить, что в коридорах Иркутской мужской гимназии находились преподнесенные Сибиряковым несколько полотен Айвазовского, скульптура Антокольского «Иван Грозный», картины западных художников (как удивительно иной раз распоряжается судьба: эти ценности, поступившие в свое время в художественный музей, недавно, когда здание бывшей гимназии было предоставлено музею, вернулись на свое старое, словно бы отеческое место!). Им же, Сибиряковым, была куплена и подарена Томскому университету при его открытии библиотека В. А. Жуковского – богатство огромное, сразу как бы приподнявшее Сибирь в своем культурном уровне, позволившее ей выглядывать из-за Урала если не на равных с Центральной Россией, то, по крайней мере, с повеселевшим и обнадеживающим взором.

Иркутский художественный музей, как известно, родился из картинной галереи бывшего многолетнего городского головы Владимира Платоновича Сукачева, человека глубокого образования и патриотической деятельности. Его коллекция, в которую входили полотна Репина, Верещагина, Клодта, Маковского и других передвижников, а также и совсем залетная редкость – «Избрание апостолов» Н. Пуссена, как раз и была одним из ярких проявлений художественного самоутверждения Сибири. Сукачев скупал и свозил в Иркутск картины не из тщеславия богача, а из желания заронить в неискушенные искусством души своих земляков зерна красоты и вдохновения. Его собрание было доступно для всех, детей зазывали и впускали в галерею бесплатно. Еще до революции Сукачев мечтал передать коллекцию в собственность Иркутску, и только нерасторопность и безграмотность городских властей, а затем и начавшаяся Мировая война помешали ему осуществить свое намерение.

Впрочем, все эти подробности вы найдете в книге...

Вы не найдете в ней того, что автор не мог сказать из-за своего авторства, испытывая понятную неловкость говорить о собственной роли в судьбе музея. А она, эта роль, огромна и выполнялась на протяжении нескольких десятилетий с редким самозабвением и устремленностью. Признавая, что музей наш с самого начала родился под счастливой звездой, самое большое счастье и удачу следует искать в служивших ему людях. Сразу после национализации сукачевского собрания хранителем галереи стал скульптор К. И. Померанцев, профессионально и тонко разбиравшийся в искусстве и в смутное время формализма и эпигонства не изменивший ему в угоду скороспелым и залихватским господствующим взглядам. С конца 20-х годов Померанцева в должности хранителя музея сменил Б. И. Лебединский, известный во всей стране художник, благодаря авторитету которого в художественном мире

Иркутск обогатился многими первоклассными экспонатами из русской и советской классики.

Затем – А. Д. Фатьянов... А. Д. Фатьянов из той необъяснимой породы людей, которые не просто работают в искусстве, а живут и дышат искусством, существуют в нем как в мире наиглавнейших ценностей. Перед такими людьми, фанатично отдающимися какому-либо делу, робет даже удивление, которое не в состоянии проникнуть в их тайну, в пружину никогда не ослабевающего действия. Говорить об А. Д. Фатьянове общеизвестные вещи в том роде, что он горячий патриот своего города и края, строгий ценитель и вдохновенный пропагандист искусства, его чернорабочий и ученый, – мало: по отношению к нему все эти понятия надо возводить в степень и в особое, совсем не общего свойства, качество.

В большинстве случаев, когда автор, рассказывая о путях-дорогах, приведших в Иркутск те или иные сокровища, пишет «мы», следует понимать «я». В книге нельзя не поразиться такому факту: за два года (1948–1949) из государственных фондов наш музей получил экспонатов больше, чем все вместе взятые музеи страны!!! Восклицательные знаки, сколько их ни ставь, не передадут нашего восхищенного смятения перед подобной расторопностью. И какие экспонаты! Крамской, Саврасов, Тропинин, Петров-Водкин, Суриков, Маковский, Малявин и т.д., и т.д. Насколько поднялся после этого культурный градус Иркутска, подсчитать, к сожалению, нельзя, но то, что духовно-магнитное поле, необходимое для подъема, значительно усилилось, не должно вызывать в нас сомнений. И продолжает усиливаться.

В последние десятилетия и годы одним из основных источников пополнения музея стали частные коллекции. Дарители порой делают подношения воистину выше и ценней царских. Москвич Н. К. Величко за двадцать лет передал Иркутску более тысячи произведений самых разных

жанров и направлений изобразительного искусства, в том числе десятки древнейших икон. Но коллекционер, как известно, человек весьма разборчивый и куда попало и кому попало столь щедрые подарки подносить не будет. Его надо расположить не только к себе, но и к своему городу, суметь доказать, что далекий сибирский музей достойно и с великой пользой распорядится его достоянием. Чего стоит один вздох на квартире у другого дарителя, у Ф. Е. Вишневого, при виде вожделенного художника: «А Иркутск без Кипренского!» – сам собою вырвавшийся вздох, повторившийся в книге, благородным отчаянием своим заслуживший Иркутску Кипренского и заполнивший «Портретом военного» зиявшее «белое пятно» в собрании лучших мастеров прошлого. Бескорыстно, даром – это не так просто и не задарма, а при получении, лучше предположить, при ощущении гарантий наиболее полного служения людям, в котором даритель видит продолжение своей жизни.

Искусство держится и вырастает не кампанией, ставящей благие, но поверхностные цели добиться культуры физическими средствами, а творчеством и подвижничеством. Дух, и в том числе дух высокого искусства, как сказано, дышит где хочет, но легче всего ему дышится и живет среди преданных людей, в обстановке добросердечия и понимания.

1985

РУСЬ СИБИРСКАЯ, СТОРОНА БАЙКАЛЬСКАЯ*

У М. Горького в романе «Жизнь Клима Самгина» есть такая сцена: «На эстраду мелкими шагами, покачиваясь, вышла кривобокая старушка, одетая в темный ситец, повязан-

* Предисловие к «Словарю говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Г. Афанасьевой-Медведевой.

ная пестреньким, заношенным платком, смешная, добренькая ведьма, слепленная из морщин и складок, с тряпичным круглым лицом и улыбочивыми детскими глазами...

С эстрады полился необыкновенно певучий голос, зазвучали веские старинные слова. Голос был бабий, но нельзя было подумать, что стихи читает старуха. Помимо добротной красоты слов было в этом голосе что-то нечеловечески ласковое и мудрое. Магическая сила, заставившая Самгина оцепенеть... Ему очень хотелось оглянуться, посмотреть, с какими лицами слушают люди кривобокую старушку? Но он не мог оторвать взгляда своего от игры морщин на измятом добром лице, от изумительного блеска детских глаз, которые, красноречиво договаривая каждую строчку стихов, придавали древним словам живой блеск и обаятельный, мягкий звон.

Однообразно помахивая ватной ручкой, похожая на уродливо сшитую из тряпок куклу, старая женщина из Олонецкого края сказывала о том, как мать богатыря Добрыни прощалась с ним, отправляя его в поле на богатырские подвиги. Самгин видел эту дородную мать, слышал ее твердые слова, за которыми все-таки слышны были и страх, и печаль, видел широкоплечего Добрыню: стоит на коленях и держит меч на вытянутых руках, глядя покорными глазами в лицо матери...»

Сцена эта описана М. Горьким с натуры: в 1896 году на Всероссийскую выставку в Нижний Новгород приезжала знаменитая сказительница былин Ирина Андреевна Федосова и имела огромный успех. Спустя еще полтора и два десятилетия на былины не менее знаменитой исполнительницы с Пинегы М. Д. Криволеновой собиралось в столицах столько же слушателей, сколько на концерты Шаляпина. Широкий интерес и даже восторг русского общества народным творчеством продолжались к тому времени почти полный век и были сбиты только революцией, да и то ненадолго, и изучение и собирание фольклора не

прекратилось и во весь XX век. По справедливости считалось, что уж это-то нам не изменит.

Одновременно шло и пополнение русского языка; все жанры фольклора, сколько их ни есть в малых и больших формах, сказывались и выпевались народным словом. Это даже и не сравнение, не уподобление одного другому, а органическая жизнь языка, закон его существования и функционирования: основное его русло полнится, оживляется и украшается многочисленными притоками местных говоров, «истечением» его огромных словообразующих площадей и устных поэтических оазисов.

И как для экологии природы вредны грязные производства, так и экологию языка загрязняют «фабрики» чужесловия, дурно- и тупословия, против которых вместе с охранительными законами нужна и постоянная расчистка родных истоков.

Чудного, поистине волшебного звучания в XIX веке русский язык достиг благодаря народным речевым кладовым, открывшимся вместе с фольклором. Столь совершенного поэтического «инструмента», как Пушкин, не было ни дотоле, ни после, но явление его счастливо совпало с интересом к крестьянской Руси, которая в своих преданиях и сказаниях из уст в уста накопила такую мудрость и такую поэзию, что только ахай да ахай. Пушкин и сам записывал песни и сказы и подвигал к этому занятию своих друзей литераторов. Без него не было бы бесценного собрания народных песен П. В. Киреевского, положившего начало богатейшей песенной библиотеке в записях П. В. Шейна, П. Н. Рыбникова, А. И. Соболевского и других, без него Гоголь не освоил бы столь виртуозно самую музыку русского языка, не дружи с Пушкиным В. И. Даль – как знать, решился бы он на свой гераклов подвиг и смог ли бы собрать столь щедрый урожай, сам-сто или даже сам-двести, с живого великорусского языка в своем бессмертном «Толковом словаре»! В XIX столетии началось дружное движение из

местных таежек, лесов и гор, с побережий морей и рек всех жанров устного народного творчества, и, лучшей частью влившись в литературный язык, оно своей живостью, яркостью, мудростью и точностью окончательно раскрепостило, уладило и щедро обогатило нашу письменность.

В обильном пиршестве великорусского языка, как за скатертью-самобранкой, с которой чем больше потчешься, тем больше прибывает, участвовали и Тургенев, и Лесков, и Бунин, и Шмелев; будто на гармошке, растягивая полнозвучные меха, играли на нем Никитин, Кольцов, Есенин. Драматург Островский называл свои пьесы народными поговорками, для своих нравоучительных рассказов их же отыскивал Л. Толстой. Он восхищался: «Что за прелесть народная речь! И картинно. И трогательно, и серьезно... Язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может сказать поэт, мне мил... Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное – язык не позволит».

...Это преддверие разговора о настоящем словаре, эта торжественная похвала в честь простонародного языка, надо полагать, не будут лишними: да, были времена, и не столь далекие, когда этот могучий источник нашей словесности представлялся неиссякаемым. И что же – прошли былинные?

Пятнадцатитомный словарь, и сам подобный эпосу по богатству вобравшего в себя материала, должен бы, казалось, располагать к оптимизму: какая глыбища! какое безбрежье нетронутого и самородного! И это по следам прежних экспедиций, по торным фольклорным тропам, по которым прошли М. К. Азадовский, и Е. И. Шастина, и В. П. Зиновьев, и Л. Е. Элиасов, и Р. П. Матвеева и другие до них и после них... Стало быть, источник этот и в самом деле неисчерпаем и воспроизводство областных говоров в поколениях столь же естественно, как воспроизводство почвы от растительного покрова?

И это так бы и было, когда бы русская деревня оставалась в здравии и если бы оставалась она хотя бы в относительной изоляции от большого, распахнутого всем ветрам и поветриям, теряющего последнюю родовую и культурную индивидуальность мира. Корневище народного языка может быть питательным только в глубинах почвы и в глубинах неповрежденной жизни, а нет их – не будет и корешков у старины, не даст побегов и зачахнет самоцветное слово.

Этот величественный труд под названием «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» собирался четверть века, и те сотни и сотни деревень, по которым прошла Галина Афанасьева-Медведева, тем и привлекали фольклористов, что лежали эти деревни в стороне от набитых дорог, жили теми же занятиями, что и при заселении (охота, рыбалка, пашня), и находились в естественной резервации.

Преыдушие 250 лет быт в сибирской таежной деревне изменили меньше, чем последние 25 лет. Последние 25 лет его, можно сказать, обрушили. По Ангаре, окончательно превращенной в электрическую силу, старые поселения по берегам и островам постигла участь Матеры, ушедшей под воду, по Лене они опустели оттого, что окончательно были оставлены государством – точно отступило оно в спешке от превосходящей силы какого-то невидимого противника. Не лучше картина по забайкальским тайгам и рекам. С корнем выдраны деревни из земли, торчат одни печища. «Где стол был яств – там гроб стоит»; заросли крапивы по местам семейных гнезд да в сторонке скорбный погост – вот и все, что осталось от крепких и полнолюдных обитателей.

И впечатление такое от этого словаря, будто говоры его были чудом подхвачены уже на излете в небытие. Чуть бы замешкаться – и не догнать, не услышать, не записать этот бесценный памятник не одного лишь языка, но и народной жизни в трудах, праздниках, общении,

обычаях и верованиях, в претерпении судеб и необычайной духовной силе.

Структурная особенность словаря в том, что заглавное слово, будь то географическое обозначение или диалектная изюминка, не изымается из текста с короткой ссылкой на его применение, а дается в «работе», в простом рассказе, и от этого вместе «со товарищи» украшает и текст, и ярче и богаче становится само, получает полное семантическое, фонетическое и морфологическое значение. Это двойная, даже тройная отдача текста: рассказ оживает, у него появляется интонация, голос, избранное в «предводители» слово таинственным образом организует его в одно целое информационное и художественное свидетельство жизни.

Словарь этот и есть энциклопедия народной жизни из уст самого народа, сказываемая столь буднично, будто в установлениях своих и законах она естественно, сама собой, соткалась из дружеского расположения друг к другу человека и природы. Вот рассказ-обычай, иллюстрирующий слово «распрета». Уже само слово вызывает вкусовое ощущение, удовольствие: если есть «запрет», в просторечии «запрета», – должна быть и «распрета», только не каждому она дается. «Вот раньше запрету делали. Августовская запрета. Никто за ягодам не пойдет, пока не будет августовской распреты, никто. Каждой ягоде был свой бой... Раньше-то – ой! Срок на охоту, раньше строго это было, охотиться да ягоды. Все в свое время».

Это с моей родины на Ангаре голос донесся, из моего детства, когда такие «запреты» и «распреты» почитались законом и на ягоду, и на кедровую шишку, и на зверя, и на рыбу. И законы эти не Думой принимались, не президентом утверждались, а являлись самым дыханием местного народа, сыновним правилом взаимоотношений с тайгой и рекой, вышним велением брать у них то и тогда, когда это не нанесет их «пастищам» урона. «Ухожье было» – пояснит в дру-

гом месте словарь, имея в виду нравственную опрятность деревенского человеческого мира с миром Божьим.

А вот еще свидетельский голос с моей родины, судьба которой оказалась трагической от государственной «неопрятности», разом, всего в несколько десятилетий сокрушившей Ангару вместе с ее притоками и тайгу вместе с ее живностью и сезонными дарами-припасами. «Мы в своем доме жили в Абакшиной-то. Потому-ка там все затопило. Счас там все сплошь водополье. Илим-то весь. ГЭС строили. А кака брва-то была, Абакшина-то наша. Она на двух речках стояла. Там Чора, она в Илим падат. Вот она там стояла. На угоре на высоким... Народ был хоть и не в недостатке, голодный и холодный был, всякий, а было веселе и дружне было. Народ был дружный. Горе-то одно тогда было. Богатых не было, все ровно жили. А теперь видите? Ты живешь хорошо, я живу худо, уже кака-то различия есть. Уже наррозь. Вот так от. А раньше? Вот у ей если есть, у меня нету, я пришла к ей, она мне последне поделит. Как-то вот дружливый народ-то был, союзно жили. Делилиша. Последний кусочек поделишь. А теперь че? Как жить-то будете? А?»

А ведь это психология народа, душа его – тоска по былой общинной жизни, пусть бедной (да и бедность-то надо относить к коллективизации, когда весь уклад хозяйственный был перевернут с ног на голову, и к военно-послевоенной тяжелой поре, а до того и после того жили справно) – пусть все-таки временами бедной, но справедливой, дружной, в обрядах и обычаях красивой, «бравой» среди полноносного природного окружения. Это государственный ум: «Как жить-то будете? А?»

Записи еще теплые, сказители еще не все сошли в могилы, а чудится – огромные сроки миновали, и перед нами новая редакция «Повести временных лет», чуть прояснившей доисторические события. Всего-то двадцать-тридцать годочков тонким слоем припорошили сибирские просторы, а, окунувшись в это недавнее былое, о котором повествует

словарь, трудно отделаться от впечатления, будто вековые заносы погребли то время и то бытие, и нет между ними и сегодняшней действительностью никакой родственности. Кто теперь поймет: «Счас-то рыбу нету, ее потопили...» – да ведь это нонсенс, как непременно определит образованный новожитель, а между тем точнее о гибели рыбы в запруженных плотинами сибирских реках не скажешь. Или того чудней старина: «...К чичасной жизни рази приверстать? Нароботася, устанешь в плаху, язык выслупишь. Но к вечеру ниче, одыбашь. На вечерку бежишь (раньше-то народ в мирьбе жил). Или старикам займовася, за заплот зацепишься, на лавочку ли присядешь, потокуешь с имям заодня. Я с детства старикох любила. Язык у их чудненькай... Любила за имям ухаживать, услужить кода. Они люди-то сызвешные, изжиты, жалостливы... пожалеют: – Че же? Ты без матери. Щас-то без их неродно. И жись кака-то скучна пошла. – Народ какой-то все ненастной... Друг ко дружке редко кто ходит щас. Ко мне кода Любава зайдет, а то все курюся. И смерть-то меня не берет. Никто-то меня не украдет. Кто ба хоть на игрушки украй».

Вот так слушал и слушал, так бы пил и пил из этого глубинного самотканого источника! До чего же звучно и красиво здесь слово, как радужно оно переливается, приобнимается с другими, чтобы сказать тепло и живо, трепещет крылышками, взлетая в замысловатых формах с каких-то таинственных гнездовий, почти песенно выговаривая душу... Не станем идеализировать: срывались и у моего земляка выражения за пределами словаря, не без того, но позволял он себе это только как бы на заднем дворе бытия, зная место и время, даже и в этом грехе отличаясь сдержанностью. Утверждаю это со знанием дела: побывал и на великих стройках коммунизма, и в гостиных столичной интеллигентной элиты. Никакого сравнения.

Что касается суеверий и языческих текстов (а их в словаре немало) – так это не мировоззрение и не вера си-

биряков XX века, а дань былому мировоззрению, устная фольклорная традиция, из которой слова не выкинешь. У каждой реки есть старицы, отставленные в сторонку места прежних ходов и русел; обыкновенно они отдаются царству мифических существ. Подобные же духовные «старицы» сохраняются и в народе: жизнь и вера пошли своим путем, но в неизменном окружении природной обители, вместе с уцелевшими неизменными приемами труда и быта, остаются в памяти и старинные, мхом поросшие, предания.

А без них свод полносушной жизни был бы и не полон. Повторюсь: словарь этот именно свод, энциклопедия, житие и сказание сибирских окраин, которые Г. В. Афанасьева-Медведева объединила в Байкальскую Сибирь. Славное, достойное нашего поколения житие и вдохновенное, из уст этого жития, многоголосое сказание.

И богатырский подвиг Галины Афанасьевой-Медведевой, подобного которому после XIX века, кажется, не бывало. А по мере трудничества, по объемам и размаху старательства на «золотоносных» сибирских землях, вероятно, и сравнить не с чем.

2006

ИЗ «БАЙКАЛЬСКОГО ДНЕВНИКА»

Январь, 17-е. 1987 г. Листвянка, исток Ангары.

Байкал встал, замерз. Вчера, когда приехал, ходила еще полая вода – перед тем сорвало и унесло ветром слабый лед, а сегодня окончательно. Огромное ледяное поле в заплатках: льдины еще не притерло друг к другу, в местах стыков выжимает наверх крошево и выплескивается вода. Возле Ангары она давит на лед с глухим ропотом, недовольная и не привыкшая, что нет выхода там, где выходила.

День солнечный, яркий. Вспоминается, что по числу солнечных часов в году Байкал даст фору любому европей-

скому курорту. Солнце, падая на синий застыв, разбивается и дымит. В чутком оцепенении стоит лес по горе, медленно и вяло двигаются люди. Общая замороженность от ледяной разостели. На торосистый выжим возле берега лает собака. Грузно смотрятся на противоположном берегу горы. Вместе с водой застыл и воздух.

В истоке Ангары густо плавают возле кромки льда утки-зимовщики. И для них это свежо и ново. Их сносит, они опять наплывают и, оставляя след, двигаются с определенным интервалом вдоль припая, одна за другой исчезая в нырках. Воздух в стрекоте от их взлетов.

Стоял на смотровой площадке в истоке, наверное, с час. Сняла свадьба. Подъехали, застучали дверцами машин, сходясь, радостно заматерились. Молодые и сразу некрасивые от ругани. Никто не удивился ни льду, ни солнцу, ни вынырывающим близко уткам, никто, кажется, и не взглянул ни на Ангару, ни на Байкал. Машины остановились – они и вышли, исполняя заведенный ритуал и давая привычные движения ногам и языку, окунувшись в блаженство картины без глаз и без души.

Уходя, припомнил еще, что Алексей Мартос, в своем сибирском путешествии проезжавший мимо сего места без малого 200 лет назад, заносит в дневник варварский обычай местных жителей бить из ружей вот так же доверившихся людям уток. Сейчас, кажется, такое извелось совершенно. Может быть, человек и стал лучше, но так далеко ему еще... Не хочется продолжать. Всех тварей остановила природа на одном уровне, а человека отпустила – и что же, как распорядился он своей свободой?!

18-е.

Вот те и окончательно: опять открыло. Ни ветра ночью не было, ни тепла особого, а поднялся утром – Ангара ушла далеко в море, и чистая, совсем без льда, воронкой расширяющаяся в Байкал полость лежит спокойно и как-

то победно. И только на границе земли и воды забереги, на них ребятишки гоняют шайбу. Это уж Байкал показывает характер: хочу накроюсь, хочу откроюсь.

...Удивительно горит он на закате, когда солнце уже ушло и на западе полыхают заревые полосы. Байкал подсвечен как бы не сверху, а снизу – солнцем, ушедшим под воду и просквозившим ее до поверхности. Мягкое пурпурное сияние не утонуло, когда и заря догорела, словно Байкал, как тепла, набрал его про запас и будет отдавать до новой, до утренней зари, как отдает он летнее тепло до весны.

Ангара за мысом и горой тыльно темнеет, а Байкал все горит и горит...

20-е.

Опять заледенело. Лед до того тонкий и гладкий, что сверху с берега не отличить от воды. Только по отражению солнца и понять: на льду солнце расскальзывающееся, разбегающееся, а в ангарской воде оно лежит прогнувшейся неширокой верстой.

Вечером опять «картина». Все небо со стороны Ангары как зашторено серой плотной облачностью, с противоположной стороны над Хамар-Дабаном тоже тучи, в край которых бьет заходящее солнце (уже зашло), бьет в какой-то один центр – и солнце будто там, наверху, едва-едва прикрытое тучами. Весь Байкал в ослепительном сиянии, все брызжет солнцем, но от гор надвигается стена тумана. С одной стороны от Хамар-Дабана наступает туман, вытесняя свет, а с другой, от Ангары, – темнеющая тень сумерек, и сужающаяся полоса солнца все ярче – горит, плавится, искрит.

Февраль, 17-е.

Белое пустынное поле Байкала, с которого соскальзывает взгляд, ослепительно белое и пустынное, без горизонта, в яркой белизне переходящее в небо. И только

уже высоко над головой по блеклым разводам и успокаивающейся краске видно, что это небо. В белой равнине снега есть какая-то недоступная нам чрезмерность, в которую мы не проникаем, потому что в нашем зрении чего-то для этого недостает, мы слепнем без темного упора и теряемся, скользим по ее раздражающей чужести и скорей убираем глаза.

Вчера был тоже яркий день, но с ветром, который дул не с Ангары, как обычно, а в Ангару, вздымая туман. Сегодня совсем тихо. Не привычная для зимы синеющая гладь воды на Ангаре, утыканная утками, с чистым пунктирным звуком перелетающими, когда их сносит. Река звенит от этой музыки.

Спустился на лед и пошел по нему в море. Снег еще не вымело, он твердый и корковатый, но с пятнами льда, сквозь который, как сквозь синее стекло, видно шевеление воды. Снег жесткий, закрупившийся, он не скрипит под ногами, а ширкает, идти по нему приятно.

Поначалу Байкал как бы не заметил меня. А потом — началось! То стреляло, то вскрихтывало, то взрывалось что-то под самыми моими ногами, так что раза два я едва удержался, чтобы не отпрыгнуть. Могло, как гром, возникнуть где-то в стороне, но налетало на меня и проносилось, пугая, совсем рядом. Знаю прекрасно, что безопасно, каждую зиму хожу по льду и всякий раз испытываю все ту же восторженную жуть. Знаю, и по каким таким законам это происходит, но не хочу объяснений, а хочу думать, что эту канонаду, играя и пугая, Байкал устраивает для человека.

18-е.

Утром четкие, как у Р. Кента на картинах, горы — близкие и до подробностей видимые, хоть точи о них глаза. С восходом солнца за мысом они загораются, но огромное снежное поле внизу лежит в неплотной, рубашечной синеве.

Солнечный подтай спускается с гор все ниже и ниже, вытекает на поле – хорошо видна граница между сухой синевой и сухим красноватым горением. Она надвигается, и там, за ней, где было только что ясно, возникает туманная легкая дымка – как парение. Постепенно солнце заливает все поле, выкатив из-за мыса, и постепенно застынет и слепнут горы, наступают яркие сумерки.

С Ангары ветер, совсем не сильный, но Ангару не видно из-за нанесенного от Иркутска чада. Черная чернильная под ветром вода и задымленное нездоровое небо. Солнце белое, разлохмаченное и растекшееся. На противоположной, на восточной, стороне, небо голубое, летнее, глубокое.

Все вместе, все в один час.

Июль, 3-е. Порт Байкал.

Неделю дождь. Сидел, сидел в городе, пережидая, и вчера не выдержал, приехал, рассчитывая приездом сломать ненастье. Ничего не вышло, сегодня опять льет, да так яростно, что и голову не высунуть.

Ближе к обеду вышел за какой-то надобностью в сенцы – на полу лежит, едва возит крылом стриж. Пробовал отогреть его, кормить – поздно. Через полчаса околел. Вечером зашел с работы Федя, добрый и слабый парень, страдающий, как и многие здесь, «русской» болезнью, списанный по этой причине с корабля на берег, говорит, что множество птиц, намкнув и обессилев, падает в Ангару и тонет. Пока он шел от Молчановской пади до столярки, поднял девять стрижей. В столярке их обогрели, четырех он выпустил.

В сумерках вышли вместе и остановили водовозку, чтобы Феде доехать. Пока он устраивался, шофер водовозки рассказал, что за день поднял тридцать валявшихся по дороге птиц, теперь они до солнца летают у него в сарае.

Неделю дождь, а ключик мой, булькавший в прошлые лета через двор, так и не ожил.

Июль, 13-е.

Утром светло, чисто, и вдруг через пять минут не видно ни берега под носом, ни воды, ни неба – туман. Через полчаса опять чисто. И в этой чистоте, когда за сорок километров на противоположном берегу, как в бинокль, различаешь каждое дерево, из Ангары белая труба тумана – выдуваемая аккуратно, без разрывов, и неизвестно как далеко тянущаяся в Байкал. А в небе над нею стоят тучи – кипящие, скрученные, громовые.

Сентябрь, 22-е.

И опять, как в прошлом году, теплынь, лето наступает все позже и отодвигается все дальше, укорачивая осень. Сегодня было за 20 градусов. Какое-то не бывавшее прежде, в первый раз явившееся настроение. Ярким увяданием полыхают леса, все кругом отцветает или отцвело, отживает или готовится к зимней спячке, все скоро оцепенеет и затаится, а нет ощущения тоски и прощания – напротив, приподнятость и благодарность за жизнь. Или от солнца, от тепла это, или от близости к Байкалу, или от возрастного перевала, когда чувствуется – как видится с высоты, после которой начнется склон, устроенный так хитро, что еще несколько лет тебе будет казаться, будто ты продолжаешь подниматься и силы твои прибывают. Но это завтра, а сегодня какое-то полное и счастливое совпадение с самим собой, ощущение уюта и свободы – будто услышал ты и исполнил сказанное тебе бессловесно: если это ты – сделай... Вчера бы не сделал, не сделаешь и завтра, но сегодня, может быть, единственный раз в жизни, отошедший от всего чужого, ты способен на многое...

Ноябрь, 17-е.

Тихая расслабленная погода, снег и тепло, каждый день до нуля и выше. Словно природа разомлела, размякла и не в состоянии сделать решительного движения.

Сейчас вечер. Мягкая серость воды, мягкая белизна снега. И глубокое мягкое небо, наполовину чистое и напо-

ловину по склону к западу разлинованное ровными длинными полосами, между которыми стоят, достывая, вытянутые облачные знаки – точно запись в нотной тетради. И сверху подвигается к ней серпик месяца – звонкий, тонкий и острый, без всякого нажима и вдавленности. Над горизонтом слабое и прерывистое мерцание – должно быть, где-то там и звучит музыка.

Взглянул: месяц отразился в глубине неба – два друг за другом серпика, одинаково наклоненных к облачной россыпи. И не отражается в воде. Вода уже не серая, а темная и плотная, не пропускающая неба. И только позже, как подмок на твердом, как подогрев на холодном, едва-едва обозначилась извивающаяся лунная дорожка.

Человек на всю жизнь остается ребенком, взрослеют и развиваются его наклонности, дурные и хорошие. Сам он за столь короткий срок взрослеть не успевает и не хочет. Стоишь перед Байкалом, маленький и слабый, принимающий себя все-таки не за худшее из того, что есть человек, пытаешься понять, что Байкал перед тобою и что ты перед ним, истягиваешься в мучительных призывах увидеть, понять и осмыслить – и отступаешь: впустую. Рядом с Байкалом мало размышлять привычно, здесь надо выше, чище, сильнее думать, вровень с его духом, не бессильно, не горько. Мы способны лишь вопросы задавать, когда что-то великое касается нас, только в вопросах мы ищем, окликаем тот язык, который не сумели распознать.

Быть может, между человеком и Богом стоит природа. И пока не соединишься с нею, не двинешься дальше. Она не пустит. А без ее приготовительного участия и препровождения душа не придет под сень, которой она домогается.

* * *

27 августа 1988 г.

Начало экспедиции с Полом Уинтером, американским композитором, создателем экологического джаза. На Бай-

кале он не первый раз, приезжал сюда и зимой и летом, и со своей концертной группой, и с американскими защитниками природы, из которых мне запомнился Марк Дюбуа, высокий решительный парень, удивлявший иркутян открытой при любых минусах головой. У себя на родине Марк Дюбуа известен тем, что, спасая от гидростроителей свою родную реку, приковал себя к скале и добился сначала интереса прессы, а потом и спасения реки.

Пол Уинтер собирается писать о Байкале большое произведение, в котором надеется на участие нерпы. Он использует в своей музыке природные шумы и голоса животных, на его саксофон отзывались киты и продолжали мелодию волки. На Байкале он надеется записать голос нерпы. И, конечно, окунуться в стихию Байкала не с туристского пятачка в поселке Лиственничном, куда партия за партией вываливают иностранцев, а вволю покачаться на нем, понюхать и послушать.

Для поездки мы арендовали у пароходства «Байкальский-3», внушительный буксировщик-теплоход, который больше десяти лет, пока строился БАМ, не знал от работы продыху. Теперь, когда бамовская страда прошла, приходится расплодившемуся байкальскому флоту караулить, а нередко и урывать друг у друга любое заделье, вплоть до извоза алкающих Байкала, таких, как наша, живописных групп.

Она живописна не столько составом, хотя и по этому разряду представляет нерядовое явление: среди нас четверо японцев, журналистов и сотрудников фирмы, которая выпускает диски Пола Уинтера; киногруппа из АПН, воспользовавшаяся оказией, чтобы поснимать Байкал и знаменитого композитора; московский друг Пола, пропагандист его музыки в нашей стране Борис Переверзев, а в Сарме, на родине упоминавшегося байкальского ветра, нам предстоит взять на борт Семена Устинова, иркутского ученого-охотоведа, знатока Байкала, без которого наше путешествие потеряло бы вполовину.

Если выстроить нас, представителей разных стран, в ряд – а мы в ряд на борту и выстроились, когда судно отчаливало от Лиственничного, – да попробовать по нашим фигурам и лицам определить, что же свело нас вместе на этой громоздкой посудине, которой полагается таскать баржи или плоты, то по многим признакам должен был явиться вывод, что на Байкале затеваются съемки кинокомедии, что-нибудь вроде новой «Волги-Волги». Каждый из нас в отдельности мог казаться достаточно обыкновенным и серьезным человеком, но все вместе мы, словно подобранные опытным режиссерским глазом для противопоставления друг другу, являли компанию, один вид которой вызывал улыбку и заставлял гадать, по какой же части это общество станет отмачивать номера.

Отплыв, мы чуть было не вернулись. Меня срочно вызвали в рубку к капитану, где белее снега стояла ответственная за стол, или шеф-повар Галина Васильевна, в последнюю минуту узнавшая, что во вверенном ей семействе двое вегетарианцев, один из которых не ест даже рыбу, а второй не пьет даже чая. И это были, конечно, не советские граждане.

Комедь начиналась. «Чем я их стану кормить, чем? – восклицала потрясенная Галина Васильевна. – У меня мясо, консервы, югославская ветчина в банках. Нет, списывайте, не поеду. Я бы знала, я бы разве согласилась?!»

Пришлось употребить решительность. Не пьет чай? Пусть пьет воду, пусть хоть запьется Байкалом, от него не убудет. Не ест рыбу? Пусть ест элодею канадскую. Что это такое? Водоросли. Вон все байкальское дно в элодее. Можно всю Японию накормить.

Элодея канадская успокоила Галину Васильевну, все заграничное, пусть даже и на дне Байкала, внушает нам уверенность.

Спускаясь вниз, я услышал трели соловья – да такие залиvistые, такие восторженные, что, боясь поверить

и вспугнуть, осматриваясь и вспоминая, где я, невольно приостановился. Оказалось, что Пол поставил кассету с птичьим пением. В салоне говорили о китах. Такеши Хара, один из японцев, старший редактор газеты «Майнити», пять лет назад написал о китах книгу, она так и называется – «Киты» и пользуется в Японии популярностью. Хара уверен, что до его книги примерно только десять процентов японцев были против употребления в пищу китового мяса, а сейчас – не меньше половины. А ведь японская провинция традиционно приучена к этой пище, ей непросто от нее отказаться.

Борис Переверзев с интересом переводил. Галина Васильевна, хлопотавшая в углу возле электрического самовара, то и дело замирала, прислушиваясь, и исподтишка косилась на другого японца, который не ел рыбу, подозревая его, должно быть, в китоедении. Тот, точно Будда, был неподвижен и смотрел на Байкал, где набиралась волна.

От китов разговор перешел к волкам. Пол рассказал, что отношение к ним, как к вредным и опасным животным, в мире постепенно меняется. Быть может, и его музыка, особенно «Глаза волка», где песня саксофона не раз подхватывается голосом волка, сыграла в этом определенную роль. На концерте Уинтера в ООН, после того как прозвучали «Глаза волка», огромный зал завыл, подражая животному. Свет был погашен, и дипломаты, в темноте то ли вспомнив, то ли забыв себя, согласно и восторженно выли.

Самовар, выплескиваясь, бурлил. Галина Васильевна сидела возле него пригвожденно. Воюющие дипломаты ее доконали. За час один она была переполнена впечатлениями, а нам предстояло байкалить вместе десять дней.

Но страхи ее по поводу вегетарианцев оказались сильно преувеличенными. Пол прекрасно вместо чая швыркал гольный кипяточек, заставляя нас при этом всякий раз вспоминать, что его отец дожил до ста лет, а мать в семьдесят шесть купается на Гавайях вместе с китами. Япон-

ский вегетарианец запаса пакетами чуть ли не с птичьим кормом, и мы из любопытства помогали ему клевать содержащееся в них сладкое крошево. Впрочем, и стряпуха из Галины Васильевны оказалась отменная.

28-е.

Дождь. Сырая белизна неба, холодная взбугренность воды, и в тумане развесы берегов. Дождь разбрызгивается от полотна моря, как от тверди.

Зашли в Сарму за Семеном Устиновым. Постоянно светящийся от какого-то внутреннего лада, Пол Уинтер, обнявшись с Устиновым, засветился еще больше. Едва ли осталось что-нибудь в Байкале и прибайкальской тайге, чего бы Устинов не знал. Читать его книги о медведях или лосях одно удовольствие. Крупный и выхоженный тайгой, в которой он пропадает не одно десятилетие, до удивительного спокойствия и добродушия, до самого только необходимого в теле, а потому легкий на ногу, поднимающийся и несущий себя без усилий, он остался в том немногочисленном экземпляре сибиряка, на котором природа не сэкономила.

В первый же день, послушав Семена Устинова, Хара отозвался о нем: искусствовед природы.

Пол, не умеющий терять время, включил кассету с записями журавлей. Сибирских Устинов тотчас узнавал. Беда в том, что их становится все меньше и меньше. Полностью исчез на Байкале баклан, только Бакланы острова в Чивыркуйском заливе продолжают говорить о местах их прежних многочисленных гнездовий. Величайшей редкостью стал черный аист. На северном побережье исчезает в озерах турпан. Не встретить больше на Байкале серого гуся, дрофу, гуменника, сухоноса. И все это в последние десятилетия.

Чтобы отвлечь нас от тяжелого настроения, Пол стал рассказывать, как он однажды летел к себе в Висконсин с четырьмя яйцами сибирских журавлей, которые собирал-

ся подложить в гнезда журавлям американским. И вдруг из-под сиденья, где стоял инкубатор, послышался писк. Сибирские птенцы решили появиться на свет Божий в воздухе. Полу ничего не оставалось, как, приняв первых двух новорожденных, сунуть их в руки соседу. Тот был в ужасе и одновременно в восторге, пока Пол не справил свои акушерские обязанности и не водворил семейство в колыбель.

Оказалось, что на 1000-иеновой японской банкноте изображение журавля, что вызывает, по мнению Хары, сочувствие и любовь к животным.

...В Хужире, в самом большом поселке на Ольхоне, уже и не дождь, а бус, мелкое мокрое сево. Купили хлеба, выменяли на водку омуля и уже в сумерках обошли остров вокруг его северной оконечности. Около полуночи, поднявшись на палубу, Пол исполнил «Колыбельную для Байкала». Было очень тихо, прожектор выхватывал из темноты часть скалы, наплескивала волна, и мелодия как бы возникала из шума волны и ею же продолжалась.

29-е.

Узур, одно из самых древних поселений человека на Байкале. Без речки раскрой, и довольно широкий, среди гор, небольшой поселок с метеостанцией и научными станциями двух иркутских институтов. С той и другой стороны обрывистые стены гор. Ничего удивительного, что вкусы древнего человека и иркутских ученых совпали: более благодатного места на Ольхоне, пожалуй, нет. Теплое, укрытое от ветров, веселое в солнце и без солнца, разубранное сосняком, как бы втягивающее посмотреть, так ли красиво и дальше, в глубь острова.

Подшли утром на шлюпке, подтянуть ее помог стоявший на берегу молодой бурят в резиновых сапогах, назвавшийся лаборантом с научной станции. Пол, осмотревшись, пошел с саксофоном к левой скале, и через десять минут оттуда зазвучала мелодия, подхваченная эхом

с одной стороны, перехваченная с другой и унесенная в Байкал. Это был какой-то отчаянный зов, словно бы в первый раз повторенный с той поры, когда здесь, кроме гор, не было ни одного живого существа, и горы, поймав и усилив звук, возвещали о своей готовности принять жизнь.

К нам подошел еще один бурят, пожилой, привлеченный экзотическим, обвешанным аппаратурой десантом. Москвичи принялись расспрашивать, действительно ли буряты сжигают до сих пор мертвецов. Оба подтвердили: да, сжигают, когда старики сами об этом просят. Они заранее выбирают для себя сухую лесину, ее потом спиливают, делают нечто вроде сруба, который обкладывают хворостом, и находящееся внутри сруба тело предают огню.

Меня интересовала нерпа. Скелет одной из них валялся на берегу. В последнее время известия о массовой гибели нерпы шли с разных концов Байкала. То же самое происходило с тюленем на Балтике и в Северном море. Ученые торопливо объяснили: инфекция. Но и инфекция с неба не берется, для нее нужны благоприятные, а для нерпы неблагоприятные, условия, которые способствуют болезни. Спасаясь от нее, нерпа выползает на берег, ищет защиты у человека, кричит и в конце концов застывает. Буряты подхватили: пройдите вдоль берега, и на каждом километре вы найдете одно, а то и два животных, выброшенных морем.

Чтобы съездить на Саган-Хушун, святое для бурят место, мы выпросили у завхоза грузовичок, сгрузились на него со всем скарбом и тронулись мимо чистых сосняков, чистого покрова степи с пучками крапивы, миновали две кошары и, когда казалось уже, что летим под обрыв, остановились. Сюда бы и приводил я грешников всякого рода, чтобы видели они, против какого мира идут войной; здесь находить слабым душам утешение, больным выздоровление, чрезмерно здоровым гордыней и сомнением – усекновение.

С этой скалы трудно смотреть на Байкал – так переполнен он силой, мощью, небом и водой, так великограден он по сторонам, где протягиваются горы, и великоколенен могущественным и таинственным путем посредине. При виде этой картины приходят в смятение чувства и жалкует ум.

По узкой тропе, висящей на последних метрах над бездной, мы прошли в пещеру. В конце августа на тропе подснежники. Пещера просторна и как бы о двух комнатах – прихожая и направо боковушка с дырой в небо. Следов кострища нет, в пещере чисто, в древности сюда, вероятно, загоняли в непогоду овец, а еще раньше таились люди. Мистический дух, мистические предметы. Пол попросил пожилого бурята спеть на своем языке, подхватил его древний напев на саксофоне, и это еще больше усилило ощущение нереальности.

Когда поднимались к машине, Борис Переверзев спросил, верю ли я в переселение душ. В другом месте позволительно и не верить, здесь лучше быть осторожней. Здесь ты невольно чувствуешь, как тебя втягивает и уносит во что-то иное, чем ты есть, здесь ты подозреваешь, что кто-то за тобой внимательно следит.

После обеда снялись с якоря и при сильной волне, по черной, мрачной взбуче воды двинулись к Ушканьим островам. Чем ближе подходили, тем больше и явственней Большой Ушканый вырисовывался в фигуру огромного осетра, плывущего к полуострову Святой Нос.

30 – 31-е.

На островах. Зовутся они Ушканьими, как предполагается, по недлинной, всего в два колена, но уже замысловатой цепочке: здесь самое богатое на Байкале лежбище нерпы, нерпу по какому-то загадочному сходству на Байкале называли зайцем, а настоящий заяц, не имеющий отношения к нерпе, – это в Сибири ушкан.

Ушканьи острова – одно из чудес Байкала. Много в нем чудес, одни из которых вызывают удивление из-за их необъяснимости, другие уважение – от изобилия или величия, третьи опьянение – от необычного воздействия при обыкновенных, казалось бы, фигурах, четвертые поклонение – от желания прикоснуться, впитать и вдохновиться. Ушканьи острова притягивают всех – и ученых, которые удивляются их происхождению и особенностям и которые по позднему «следу» этого архипелага пытаются выйти к геологическому началу Байкала; и туристов, готовых, как камни Колизея, растащить удивительных расцветок и форм мраморные окатыши по берегам; и любителей поглазеть на огромные муравейники в человеческий рост, а также на белые муравейники, сплошь из мраморной крошки, и помочить ноги в мраморных природных ваннах на южной оконечности Большого острова. Но больше всего Ушканьи знамениты нерпой, здесь, на «ушканчиках», трех маленьких островах, ее «пляж», где десятками и сотнями она выбирается на камни и греется на солнце. Поэтому нам миновать Ушканьи было никак нельзя: уж если где присмотреться к «героине» да попробовать послушать ее, так только здесь.

В первое утро судно бросило якорь напротив метеостанции, и тотчас с берега снялась и подбежала к нам лодка. Александр Тимонин, гидролог, работающий на метеостанции уже десять лет, без разговоров согласился сопровождать нас на Круглый – тот из «ушканчиков», который особенно любим нерпой.

До него высматривалось километра три в сторону Святого Носа. Попасть туда хотелось всем без исключения, но на нашей шлюпке то и дело заглохал мотор, к тому же она годилась, чтобы пугать нерпу, а не искать ее общества, – пришлось Тимонину делать три рейса. С первым отправились Пол, звукооператор, кинооператор и режиссер.

Особый блеск и живописность нашей экспедиции придавала вся эта аппаратура – снимающая, внимающая, за-

писывающая, воспроизводящая, дублирующая и так далее. Она умела все, вплоть до того, как мне казалось, что сама выдумывала изображение, сама его снимала и сама потом подправляла. И стоила она бешеные деньги. При наблюдении за погрузкой поневоле являлись мысли о ценностях нашего мира. Человек при этом был предметом третьестепенным, меньше всего отпавляющих заботило, как он прыгнет в лодку и не промахнется ли в прыжке, но камеры, штативы, микрофоны, какие-то никелированные ящики с циклопической изготовкой передавались и принимались с такой нежностью, с такой замерью душ, под множественное «осторожно», что упаси и помилуй.

Мы с Устиновым прибыли на Круглый со второй группой и ехали вполне по-человечески, не молясь на окуляры. Подчалили с севера, осторожно вышли и так же осторожно, чтобы ненароком не вспугнуть должествующих блаженствовать на камнях нерпушек, перешли по тропке на юго-восточную оконечность. Идти пришлось недалеко, островок был так себе. Последние десятки метров крались согнувшись, я всматривался в валуны на берегу, гадая, какой из них первым зашевелится, но смотреть надо было на воду. Нерпа выныривала недалеко, порой одновременно по пять-шесть голов, которые плавали черными шарами, то скрываясь, то снова появляясь, одна подобралась совсем близко и, высунувшись, вдруг чихнула совсем по-человечьи, смутилась и исчезла. Подошедший Пол дал мне бинокль, в него видно было, как, испарывая воду, на огромной скорости, будто торпеда, двигается она на глубине.

Мы просидели в ожидании часа полтора, но нерпа по-прежнему не изъявляла охоты сушиться. Начало поддуть, и бухта покрылась морщью. Пол пошел на последнее средство, он встал в рост и заиграл «Славное море, священный Байкал» – то, что самого последнего рачка должно было заставить явиться пред нами для любого исполнения. Нерпа не явилась.

На второй день повезло больше. Солнце подействовало на нее сильнее, чем «Славное море», и без особой опаски она принялась оседлывать отполированные ею же валуны, забавно перебирая ластами и рывками заталкивая себя все выше и выше. Наблюдать ее не составляло труда что вооруженным, что невооруженным глазом; микрофон удалось спрятать совсем рядом, запись шла часами, но ничего, кроме пыхтенья да чмокающей о камни волны, не принесла.

Однако Пол и этим был доволен. Он видел нерпу, можно сказать, познакомился с нею близко и утвердился в своем решении: быть ей в сказочной истории, которая зазвучит музыкой, замороженной красавицей.

...Теперь дальше. Маршрут у нас такой: Баргузинский заповедник, где Семен Устинов когда-то проработал пять лет, так что его знают, он знает и нам помогут узнать; затем на обратном пути – недавно созданный Байкало-Ленский заповедник на западном берегу, где тот же Семен Устинов теперь работает заместителем директора по науке. После этого снова Ольхон, но уже не за омулем, а за бурятской стариной, и в конце самое неприятное – Байкальск, где целлюлозный комбинат, впечатление от которого должно сгладиться самим Байкалом за те три или четыре часа, пока мы станем перегребать к Лиственничному.

1 сентября.

Вышли в ночь на Давшу (Баргузинский заповедник), и уже покачивало. Прогноз был – ангара, неприятный на воде северный ветер. Среди ночи проснулся от грохота и гула, судно подбрасывало и обрывало, что-то на нем каталось, издавая набегающий и отбегающий громоток, что-то натужно скрипело. И что-то с теми же неприятными звуками каталось внутри меня, я понятия прежде не имел о морской болезни, хотя и попадал здесь же, на Байкале, в переделку, но на этот раз наше знакомство состоялось. Промаялся до рассвета, с трудом, хватаясь за переборки,

пополз в рубку. Новость: в Давшу мы не попали, судно, боясь подставить борт при переходе на восточный берег, вынуждено двигаться прямо против ветра на север. Берегов не видно, все заплескано валом. Это и не вал, а горы шли одна за другой, в которые врезался, встанывал, вскидываясь, и грузно зарывался в водяные обрывы корабль. Водой забрасывало всю верхнюю палубу, плескало в стекло рубки. Затем, когда стали проявляться берега, и они казались наплывающими волнами.

А и волна-то – 3,5–4 метра. То ли бывает! Но и это, объяснил старпом, предел судоходства на Байкале.

Часов в десять стало успокаиваться. Накаты сделались ровнее, но вдруг навалит через две минуты на третью такая матушка, что хоть караул кричи.

Лежали вповалку до 12-го часа.

2 сентября. Мыс Покойники.

На Байкале два мыса Покойники и два поселка с этим малолирическим названием. Один в Чивыркуйском заливе и второй здесь. По преданию, название это пристало, а потом и перенесено было на карты после массового отравления жителей осетром. Так ли это, трудно сказать. Осетр теперь в Байкале стал такой же редкостью, как Несси в загадочном озере. Но здесь, вероятней всего, имя перешло от речки Покойницкой, имеющей основания для своего названия: она оживает только весной и летом после дождей, а затем снова и снова пересыхает.

Метеостанция стоит не на мысу, а в красивой излучине с глубоким лугом. Здесь же лесная охрана Байкало-Ленского заповедника, самого большого на Байкале, площадью в 660 тысяч гектаров и береговой линией в 120 километров. Самое отрадное: тут и вода в трехкилометровой зоне под охраной, а в Байкальском заповеднике вылезет какой-нибудь разбойник в шаге от берега – и закон перед ним бессилён.

...И вдруг огненный шар впереди на горизонте по пути на Ольхон – алое зарево с зеленым лучом. Оно все разрастается и разрастается над Малым морем, пока не превращается в радугу, еще шаровую, но удлиняющуюся и поднимающуюся в небо. И только минут через десять на западном берегу появляется второй конец радуги.

3 сентября. Снова Хужир.

Пришли рано утром, побывали в краеведческом музее, удостоверились по материалам совместной советско-американской археологической экспедиции, производившей раскопки на Ольхоне, что сибиряки и американцы – близкая родня, когда-то общавшаяся между собой, и весь день готовили вечер бурятских песен, и, конечно, у костра. Режиссеру очень хотелось шамана, ему показали на одного – низкорослого, суетливого, который якобы умеет... В самодеятельности участвовали школьницы, пошли к учительнице, она согласилась уговорить и привести вечером своих девочек.

Костер – значит, омуль на рожне. В лесничестве взяли разрешение на костер (национальный парк!), привезли дров. И отправились в сумерках на Шаман-гору, священное у бурят место километрах в полутора-двух от поселка.

Байкал лежал спокойно, как в блюде, чайки на воде сидели высоко и впаянно. Видно было так далеко, что верилось – до конца, до горных гряд со всех сторон. Замер и воздух, в его ощутимой после дождя плоти не дышалось, а плылось.

От верхнего Шаман-камня спустились тем же торжественным маршем вниз, к священной скале, сквозь которую ведет пещерный ход. Шаманы когда-то входили в скалу с одной стороны и, являя чудо, выходили с другой. Наш шаман, вступивший в роль с подозрительной и необыкновенной охотой, принялся объяснять старину – Пол внимательно слушал, Борис Переверзев стоял с приготовленным блокнотом... но, ничего толком не объяснив, шаман сбил-

ся, запутался, и ясно стало, что он за шаман. На обратном пути в гору двух девочек отозвали в сторону невесть откуда взявшиеся мальчики и повелели следовать за собой. Как выяснилось, эти-то две девочки с русскими лицами и научились каким-то образом несколькими бурятским песням, а оставшиеся три буряточки языка своего не знали.

И когда стемнело и попробовали петь – ничего не вышло. Была тут и старушка бурятка, бабушка одной из девочек, она обрывками кое-что помнила, начинала и спотыкалась. Наш шаман наконец решительно заявил, что без брызганья на этой горе и обыкновенного слова произносить не полагается.

А его, брызганье, как на грех, забыли на корабле. А корабль, как на грех, отошел от пирса и встал далеко на рейде. Отправили машину сигналить, но на это потребовалось не меньше часа, за который несколько раз вставали в ехор (бурятский хоровод), пробовали, взявшись за руки, двигаться вокруг костра, но слов никто не знал, камеры стрекотали над беспомощными движениями. Шаман повелительно покрикивал, мальчик лет четырех, сын учительницы, глазел на все это с открытым испуганно ртом.

Привезли наконец водку. Шаман торопливо принялся брызгать в костер, окуная пальцы в кружку, дал побрызгать Полу, выпил, оживился еще больше – и уже не было ему никакого удержу. Снова пытались петь, и снова безуспешно. Кончилось тем, что угостились омулем на рожне, только это и получилось на славу, потому что руководил этим Семен Устинов, и взялись под крики шамана потихоньку отступать в сторону.

Байкал лежал в сплошной темноте, слабо мерцая под мрачным небом. Особенно стыдно было перед ним, перед Байкалом, за все это шутовство.

Вернувшись на корабль, спохватились, что нет Пола. Прибыл через полчаса. Высмотрел еще днем афишу, что сегодня «Вечер молодежи», и зашел на обратном пути

взглянуть, что это такое. «И что?» – допытывался я. Он ответил не сразу и неохотно, лицо у него было померкшее. Гремел примитивный рок, дергались мальчишки и девчонки. «Зачем это здесь?» – Он не спрашивал, и отвечать не понадобилось.

Но было, было: когда запел в темноте с горы саксофон Пола – отозвался весь Байкал: эхо звучало чисто, широко и мощно. На настоящее – настоящим.

5 сентября.

Рано утром подошли к Байкальску. Дождь. Дымы от комбината гнет к земле и воде и стелет, как грязный туман, по Байкалу.

Пол сыграл на этом фоне «Песнь протеста», которую он исполнял в Большом Каньоне месяц назад в резервации индейцев, страдающих от урановых рудников. Потом сказал, не стыдясь громких слов, что Байкал и Большой Каньон не только похожи друг на друга, но пусть будет похожей и их судьба, чтобы вечно служить им красоте и радости.

Все до единого выстроились мы на палубе, взирая на комбинат, и долго смотрели на него с той окаменелостью, когда сознание отказывается понимать случившееся.

* * *

24 января 1986 г.

Встреча в Минлеспроме с его руководителями. Добиться этой встречи мне помогли в редакции газеты «Известия». Так много было сказано в последнее время в адрес министерства горьких «почему?» и так мало получено внятных ответов, что разговор с министром сделался просто необходимым.

Меня встретили внизу, проводили на пятый этаж и ввели в просторный, аскетического вида кабинет. Мы с ми-

нистром пожали друг другу руки. Я невольно отметил его моложавость и энергичность. Михаил Иванович Бусыгин знает наши края не понаслышке. Шесть лет в ранге заместителя министра он проработал генеральным директором строительства Усть-Илимского лесопромышленного комплекса и города Усть-Илимска. Я полагал, что мы с министром будем беседовать наедине, но он пригласил своих заместителей. Вошли: Г. Ф. Пронин, заместитель по целлюлозно-бумажной промышленности; Н. С. Савченко, зам. по лесозаготовкам, и мой земляк, бывший секретарь Бурятского обкома партии К. М. Продайвода. Первый вопрос напрашивался сам собой:

– Михаил Иванович, как вы относитесь к публикациям газет по Байкалу? («Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Советская Россия» – едва не все центральные газеты снова подняли шум по поводу судьбы «священного моря».)

– Положительно, – пожав плечами, отвечает министр. – И в нашей работе иногда случаются нарушения. Виновных наказываем.

– Но Байкалу от этого не легче.

– Что же – судить их?

– И от этого Байкалу не легче.

– В целом руководствуемся постановлениями партии и правительства. Вот, – министр раскрыл сборник законодательных решений по Байкалу, – их мы и выполняем. Будут приняты новые законы – и их станем выполнять.

– Так ли уж все выполняете?

– Знаете ли вы, сколько раз на Байкальском комбинате менялись ПДК (предельно допустимые концентрации промвыбросов)? Шесть раз. И все в сторону ужесточения. Только добьемся контрольных цифр – дают новые. Только добьемся – опять догоняй.

Тут министр слукавил: ПДК менялись не в сторону ужесточения, а в сторону приспособления к возможно-

стям комбината, и контрольные цифры заказывало само министерство.

– Каждый день на комбинате нарушения, – напоминаю я.

– Откуда вы это взяли?

– Из данных Байкальской бассейновой инспекции и Гидрометслужбы.

– У нас другие данные.

Что верно, то верно: сколько раз в течение этого разговора мы не в состоянии были понять друг друга потому именно, что доказательства, которыми мы пользовались и которые должны были исходить от одних беспристрастных и заинтересованных в судьбе Байкала контролирующих органов, оказывались не только разными, а порой прямо противоположными. Министр уверял, что фон загрязнения от целлюлозного комбината не превышает допустимые пределы и в последние годы не увеличивается, я же, помня младенчески-молодеческую цифру проектного «пятна» в 0,7 квадратного километра, знал и действительную зону загрязнения в десятки квадратных километров. С глубоким проникновением в толщу воды отравляющих веществ. Выбросы в воздух охватили площадь в две тысячи квадратных километров. Высыхают леса, на почву выпадают яды, которые сносит затем опять-таки в озеро. В министерстве же считают, что комбинат здесь ни при чем, леса чахнут-де в результате засушливых лет в Забайкалье и нарушения гидрологического режима, и ссылаются на заключение специалистов прикладной геофизики. Объяснение странное. Сотни лет пихта и кедр при всяких нарушениях чувствовали себя прекрасно, а тут вдруг разболелись. И я не удержался, спросил у министра, верит ли он «открытию» геофизиков. Да, верит.

Выгодно верить.

И еще об одном «открытии». Известно, что технология очистки на БЦБК рассчитана в основном на растворение

и удаление вредной органики. Далеко не полное, разумеется, поскольку полного быть не может. Так называемая «консервативная» органика и нерастворимые минеральные примеси идут в Байкал. За двадцать лет работы комбинат спустил около миллиона, по другим подсчетам – больше миллиона тонн минеральных веществ, по своему составу совершенно чужеродных Байкалу. Выход из «минерального» положения найден был гениальный. Раз собственная вода в Байкале действительно слабо минерализована, ее объявили вредной. А работу комбината – сдабривающе-полезной. Помню, я впервые услышал об этом несколько лет назад в центре научных исследований, которыми пользуется министерство, – в институте экологической токсикологии при БЦБК. После этого уже ничему не удивлялся. И все же на всякий случай спросил у Продайводы:

– Константин Матвеевич, не помните, пьют местные жители байкальскую воду?

– Конечно, пьют, – с удивлением отвечает он. – Что же они будут пить?

– Однако академик Жаворонков и у вас в министерстве считают, что ее нельзя пить. Что она вредна.

– Вообще-то да, – спохватывается Продайвода, – она ведет к эндокринным заболеваниям. В ней мало йода.

– Не станете же вы пить дистиллированную воду, – подхватывает министр.

– Но, быть может, это не одно и то же – аптечная дистиллированная вода и природная вода, приближающаяся по своим качествам к дистиллированной? – защищаюсь я, вспоминая одновременно, что ведь тем всегда и славилась и ценилась байкальская вода, что считалась почти идеально пресной, с малым содержанием взвесей, кремния, железа, йода и с высоким содержанием кислорода.

Мы продолжаем говорить на разных языках. Министерство считает, что разбавленные сточные воды комби-

натов не оказывают вредного влияния на байкальские организмы, и кивает на «многолетние исследования научных коллективов», имея в виду под «научными коллективами» не что иное, как принадлежащий ему в Байкальске институт. Я тоже не из собственных, разумеется, наблюдений возражал: за годы работы комбинатов более чем в половине акватории Байкала концентрация вредных веществ сделалась опасной для ее обитателей, в южной части озера уменьшается число уникальных водорослей. Министерство уверяет, что район сбрасывания стоков представляет зону экологического благополучия. Я же пришел в министерство, вооруженный фактом, что в этом «благополучии» гибнет эпишура. Тот самый рачок, который фильтрует байкальскую воду.

– Иркутские власти предлагают сейчас перепрофилировать Байкальский комбинат на другое, на безвредное производство, которое могло бы остаться в вашем ведомстве. В ряду других мероприятий, может быть, это стало бы решением байкальской проблемы? Как вы думаете?

На мгновение наступает неловкое молчание, затем министр начинает объяснять:

– Это не в нашей компетенции. Скажут нам табуретки делать – примемся за табуретки. Любое изменение даже плановых заданий, не говоря о том, быть или не быть комбинату, зависит от Госплана.

– Не считаете ли вы, что практика как можно больше взять у природы, не заботясь о завтрашних потребностях человека, есть не только подрыв экономики будущего, но и подрыв нравственности общества?

На такие вопросы министру трудно отвечать.

– Мы выполняем постановления, – уклончиво говорит он.

– Часто вам приходится бывать на Байкале?

– Не часто, но бываю...

Мы прощаемся почти тепло.

25 января 1986 г.

У академика Б. Н. Ласкорина в его московской квартире. Борис Николаевич пригласил для разговора со мной еще и В. Ф. Евстратова, членкора Академии наук, специалиста-шинника. Сам Борис Николаевич участвовал в трех государственных комиссиях по Байкалу и всю подноготную байкальской истории знает от начала до конца. Он говорит:

– Мы допустили не одну, не две, а целый ряд ошибок при строительстве БЦБК. Главная ошибка – в научном прогнозировании. Кордное производство следовало развивать на основе высокопрочных синтетических волокон и металлокорда. От применения шин на целлюлозном корде вместо современного мы несем огромные убытки. Вторая ошибка – в выборе площадки для комбината. Для предприятия такого рода необязательна была байкальская вода, а местная древесина не годилась для получения суперцеллюлозы. Прибавьте сюда еще сейсмичность района, которая может показать себя в любой момент. Третья ошибка – в обосновании технологической схемы. Не могло быть никаких иллюзий относительно качества очистки...

– Не нужна была байкальская вода, не годился байкальский лес? Байкальская целлюлоза – своего рода тормоз для производства надежных шин на мировом уровне? Так?

– Именно так.

Василий Федорович Евстратов, тридцать лет проработавший в институте шинной промышленности, добавляет:

– Замминистра нефтехимической промышленности Соболев, я помню, с самого начала отказывался: нам не нужна байкальская целлюлоза. По своим физико-механическим свойствам она не в два, не в три раза, а на несколько порядков уступает синтетическим волокнам. Вы понимаете разницу?

– Но ведь тогда, в 60-х годах, главным козырем за комбинат была скоростная авиация?

– Ни грамма байкальской продукции там не применялось. На ней мы бы далеко не улетели.

19 августа 1986 г. Байкальск.

Приехал вчера после обеда, прошелся по улицам: город чистый, но нескладный, вписанный не в Байкал, а в комбинат, березы среди домов торчат высохшими верхушками, подвялилась сосна. На улицах подновлена разметка, выкрашены скамейки, на автобусах надписи с призывами хранить и защищать Байкал. Вот и возьми их за рупь двадцать.

В гостинице, когда приехал, стелили ковры, в ресторане покормили без хамства. От завода запашок, но не очень; к сегодняшнему событию, вероятно, придерживают его пруть.

Сегодня поднялись рано и отправились на вокзал встречать государственную комиссию по подготовке проекта нового постановления по Байкалу, в которую непонятно каким макаром включен и я. Возглавляет комиссию председатель Госплана Н. В. Талызин. Прибывает она из Улан-Удэ, вчера ей пришлось осматривать Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат.

И только подкатил поезд и сошла комиссия, Талызин, едва успев поздороваться, стал говорить, насколько не понравился ему Селенгинский комбинат. Грязь, оборудование старое, условия... Он морщился. Сейчас, в сравнении с тем, ему предстояло увидеть нечто идеальное. Я так и сказал ему, когда нас познакомили. Выяснилось, что академики Яншин и Ласкорин не приехали. Зато, к моему удивлению, в комиссии оказался Жаворонков. Тот самый академик Жаворонков, который двадцать лет назад сыграл главную роль в том, что были запущены целлюлозные комбинаты на Байкале и Селенге.

Поехали на завод. У макета румянолицый и молодой директор завода показал схему производства. И изготовлен макет так, и рассказывал директор так, и таким здо-

ровьем и волнением горело его лицо, будто перед нами открылись ворота рая и соединенные между собой геометрические фигуры являют счастливые пристани торжества человеческой добродетели.

Пошли по цехам. Просторно, чисто, не душно. Подошли к водозабору, где с грохотом и кипением закачивается байкальская вода. Потом – к сбросу ее обратно в Байкал после выпавшей ей работенки и очистки. Возле неказистой будки ритуал, заведенный еще двадцать лет назад, – испить отработанной водички и поцокать языком от удовольствия. Жаворонков первым хлопнул едва не полон стакан, для него это был божественный напиток. Подали Талызину. Он неуверенно отхлебнул и, как ни крепился под многими взглядами, невольно скривился. Огромной толпой подступили по вытопанному и умерщвленному берегу к самому Байкалу, постояли несколько минут, кто любуясь, кто ужасаясь, а кто равнодушно; Жаворонков, постоянно державшийся возле Талызина, наговаривал о преимуществах стоков перед байкальской водой. Талызин отмахнулся недовольно: «Ты наговоришь, что мы станем это добро за границу продавать».

Ему явно нравились и комбинат и институт. В институте он добивался: какова доля комбината в общем загрязнении Байкала? Меньше одного процента, уверенно отвечали ему. Записывая разговор, я недоумевал: как можно вычислить эту долю? Подошел к Р. К. Саляеву, директору академического института физиологии и ботаники растений. Он усмехнулся: когда очень хочется – все можно.

Если меньше одного процента, добивался председатель комиссии, то разумно ли тратить почти два миллиарда на перепрофилирование комбината? Не лучше ли истратить их на то, что принесет Байкалу больше пользы, к примеру, на Селенгу, которая не один, а пятьдесят процентов несет в Байкал загрязнений?

Кто-то из журналистов подставил микрофон – Талызин потребовал, чтобы никаких записей, никаких передач, никакой информации без его разрешения.

Становилось ясно, что расставаться с комбинатом не хотят. Если спасать Байкал, надо и Селенгу очищать, и комбинат убирать, и много чего еще. Один процент институт экологических манипуляций отыскал путем опять-таки механических подсчетов.

К тому я и приготовился на завтра, когда придется обсуждать проект: комбинат захотят оставить.

20 августа 1986 г. Иркутск.

Утром по дороге на заседание столкнулся в обкомовском коридоре с Н. В. Талызиным и нашим секретарем обкома В. И. Ситниковым. Талызин неожиданно сказал – для меня: «Будем, будем убирать комбинат. Не сразу, но будем».

Не сразу – это 13-я пятилетка. До морковкиного заговенья. Но после вчерашних дурных предчувствий мне показалось, что и это победа. Когда дали слово, я не нашел ничего лучшего, как обратиться с интеллигентским призывом сдвинуть сроки перепрофилирования комбината ближе. «Может быть, мы найдем в себе силы...» – что-то в этом роде говорил и я. Талызин уклончиво ответил, что надо подумать.

А думали так: чего думать! 13-я пятилетка осталась.

23 декабря 1988 г. Москва.

Заседание межведомственной комиссии в Госкомгидромете. Эта комиссия была создана сразу же после принятия правительственного постановления по Байкалу для контроля за его выполнением.

Три предыдущих постановления оказались замахами, это, четвертое, приготовилось к решительному удару по загрязнителям Байкала. Их насчитали около 150. До кон-

ца 13-й пятилетки намечалось их работу перестроить так, чтобы, говоря народным языком, не гадили там, где едят. Главные мероприятия: промышленность Приангарья перевести на газ, все байкальские поселки и города – на электроотопление; Байкальский целлюлозный завод к 1993 году ликвидировать, производство его перенести в Усть-Илимск; на Селенгинском комбинате ввести в действие замкнутый цикл водопользования... И так далее. И вот межведомственной комиссии под началом Ю. А. Израэля, председателя Госкомгидромета, поручено наблюдать, подгонять, вносить, если потребуется, поправки, координировать, входить с предложениями...

Она собирается не в первый раз. До этого были заседания в Иркутске, Байкальске, Москве. Поначалу являлись министры, затем министры попеременно с заместителями, сегодня министра ни одного. Да и членов комиссии не густо. Настроение предновогоднее. Около двух лет после принятия постановления прошло, а все та же раскачка, раскачка, раскачка, выжидающая, не изменится ли обстановка, чтобы, не дай бог, не перестараться.

Вот и на этот раз. О перепрофилировании Байкальского комбината. Окончательного проекта до сих пор нет, в Усть-Илимске бунтуют против целлюлозы. Метилмеркаптан, отходящий газ этого производства, превысит там предельно допустимые концентрации в 60–80 раз. Разгорается дискуссия: вреден или не вреден для здоровья людей метилмеркаптан. Представители Минлеспрома стоят на том, что ничуть не вреден. Главный санитарный врач страны А. И. Кондрусев удивляется: да вы что, метилмеркаптан относится ко второму классу опасности! Израэль устало: диоксин сразу отбрасывает ваш метилмеркаптан на 110-е место. Вот чего надо бояться!

О переводе промышленности Приангарья на газ. Поднимается представитель Министерства газовой промышленности и заявляет, что сроки газификации нереальны.

Геологи не утвердили запасы месторождений. Геологи: а их там и нет, крупных месторождений...

...Мы выходим на сырую, с кашей под ногами, улицу вместе с моим давним и добрым приятелем, журналистом, который много и с болью пишет о Байкале и байкальских лесах. Настроение невеселое. Мы говорим о болезнях.

* * *

...Вспоминаю себя в ясную и лунную, широко распахнутую теплую ночь на байкальском льду. Было это в марте, когда стремительно нарастает день, загустевает от запахов воздух, а вечерами с Байкала высокой прозрачной, все уплотняющейся синевой надвигаются сумерки. В сумерках я и сошел с берега, рассчитывая через полчаса вернуться, и отправился в открытое море. В спину, подталкивая, поддувал слабый ветерок, снега, который лежал подле берега вытертой стланью, становилось меньше и меньше, он белел низкими кочковатыми пятнами, увлекающими шаг, чтоб дойти до этого пятна, до этого и этого, и пружинил под ногами легким приятным шуршанием. Я не боялся заблудиться: огни на берегу видны издалека. Надо мной разгоралось и разрасталось чистое глубокое небо, справа стояла полная луна. Но и подо мной на продутых полянах льда мерцала сдавленным светом луна и тлели звездные искры.

Длинными стрелами набегали на меня подледные громы, прямо под ногами взрывались и раскатывались, но я скоро привык к ним и перестал пугаться. Перешел дорогу, провешенную с берега на берег елками, строем стоящими под ярким небом сумрачно и неловко, как закутанные фигуры. Байкал расходился передо мной все шире, горы отступали, ветерок продолжал трогать спину. Я шагал и шагал.

В детстве это называлось уводиной или заманкой. «От деревни далеко не уходи, – наказывалось нам, – вот заманит тебя уводина, заморочит голову – пропадешь». – «А ка-

кая она, уводина?» – спрашивали мы. «А это уж тебе никто не скажет. Кто видел, тот назад не воротился». Да ведь за бабой-ягой, не помня себя, не потянешься, это должна быть невиданная краса со сладкими речами.

От расслабленности я ничего не чувствовал и ни о чем, кажется, не думал. Я словно бы ненароком вступил в какое-то замороженное царство иных, чем мы знаем, сил, иных звуков и времен, составляющих иную жизнь. Сплошное зеркало гололедея расстилалось впереди и позади, оно представлялось, как небо, покатым и, как небо же, горело всеми его огнями, но сосульчатými и изогнутыми. Сияло сверху, сияло снизу, голубое сияние стояло на льду, и оно не было мертвенным, а струилось и дышало, ходило, точно световой круг, точно переливающийся гигантский калейдоскоп. Луна спустилась так низко, что виделась ее налитость. И шипение, шелест и шорох волнами спадали сверху и растекались по глади. Байкал сладостно-глухо ворчал, где-то капельно звенькали ледяные колокольцы, где-то струилось что-то и со вздохом оседало.

Нечему было ни двигаться, ни звучать, но все вокруг двигалось и звучало.

Я вернулся назад уже за полночь, долго стоял перед берегом, оглядываясь назад на плавающий в сиянии Байкал, пока не почудилось мне, что натекшее внизу небо пытается оторвать его – вот откуда повторяющийся треск – и поднять в воздух.

И еще стоял я, взойдя на берег, и еще слушал и смотрел. И все ждал чего-то, какой-то, как говорили раньше, апофеозы, долго ждал – и не дождался.

ПОЛНАЯ ЧАША ЗЛАТА И ЛИХА

Возраст Байкала, этого величайшего произведения природы и хранилища пятой части поверхностных пре-

сных вод на Земле, как известно, примерно 25 миллионов лет, продолжительность научного его изучения, начиная с первых описаний, чуть более трехсот лет, а возраст опасного вмешательства в его экосистему – полвека. Всего полвека, срок в сравнении с возрастом настолько мизерный, что даже мгновением его назвать нельзя. Это какая-то много- и многодробная доля мгновения, но чего стоила эта доля Байкалу!

До того человек, как существо достаточно разумное и мирное, жившее в ладу со своими скромными потребностями, не представлял для Байкала опасности. До того он испытывал к Байкалу, как к опустившемуся на землю всесильному божееству, страх, почтение и благодарность. Даже прокладка Кругобайкальской железной дороги сто лет назад не нанесла ему чувствительных ран: дорога протянулась по берегу, и ее инженерные сооружения, которые и проектировались так, чтобы не повредить Байкалу, вписались в его величавую картину органически, как тут извечно и были, и, как ожерелье, сделались его украшением.

Во второй половине прошлого века, после войны, удалось восстановить охранными мерами омулевое «стадо» от чрезмерного вылова в голодные годы. Судходство до середины века было незначительным и могло еще составлять гордость человека, взобравшегося на загривок крутой байкальской волны. Пока человек сохранял безопасную меру своих отношений с Байкалом, пока не посягнул он на святая святых – состав его воды и жизнь организмов, – всякое вмешательство было еще поправимо и не вызывало ощущения беды.

Неверно считать, что во все минувшие до XX века времена человек столь убийственно, как теперь, не расточал окружающий его природный мир лишь потому, что для этого у него были руки коротки. Руки имели другое назначение – брать столько, сколько нужно для неприхот-

ливого существования. Всем строем своей жизни и опыта, всем строем тесного взаимодействия с живой и неживой природой человек сознавал свое особое, возвышенное, но и зависимое от общего ряда положение. Он знал свое место, и это место в мире, как и в семейном жилище, интуитивно оберегалось им от запущения и разрушения. Академик А. П. Окладников, производивший археологические раскопки в устье реки Белой недалеко от Иркутска, в слоях, относящихся к эпохе неолита, обнаружил санитарные ямы: наш древний предок, перед которым расстилались необозримые просторы девственной земли, не разбрасывал пищевые отходы и мусор на стоянках исключительно из своей чистоплотности. После Адама и Евы, потерявших первоначальный, дарованный рай, в трудах и муках состоялось обретение – и надолго! – нового рая, потому что, как ни смотреть на него, это был рай: каждый человек в избытке имел чистую воду, чистый воздух и пусть порой скудную, но здоровую пищу.

Лет десять уже как в теплые месяцы на берега Байкала съезжаются из Европы и Америки гринписовские молодежные отряды, чтобы за местными жителями убирать мусор, ландшафт из которого затмевает природный ландшафт. Стыдно? Да, стыдно. Даже дикарями, как видите, нельзя назвать тех, кому посчастливилось жить и быть подле святыни и кто походя и даже, думаю, бессознательно оскверняет ее, будто отхожее место. Не хочется даже и делать оговорки: мол, не все такие. Эти «не все» плодятся с такой быстротой, что начинают уже занимать место всех. Живущие подле чуда и не видящие чуда, получающие благодать и не понимающие, что им дается. Это не только стыдно, но и страшно.

Продолжу сравнение. В 1966 году, когда целлюлозные комбинаты на Байкале (один на берегу озера, другой на Селенге, впадающей в озеро) уже были подготовлены к пуску, опять зазвучали общественные протесты против

предстоящего насилия над этим великим даром природы. И тогда правительством создается экспертная комиссия под руководством академиков Жаворонкова и Вольфовича. Ей даются широкие полномочия – сказать последнее слово. Решение известно, оно и не могло быть иным, академики не подкачали. Выходило, по их ученому мнению, что без комбинатов и Байкал не Байкал. Вот один из самых ярких доводов, которые приводил в пользу химии на Байкале академик Жаворонков, химик по специальности: «Рыбохозяйственное значение Байкала невелико и имеет лишь местное значение. В то же время Байкальский целлюлозный завод будет давать 15 тысяч тонн кормовых дрожжей в качестве побочного продукта с содержанием белка 50 процентов. Если перевести на стандартный белок – это более 30 тысяч тонн. Этого количества хватит для откорма свиней с получением 6 тысяч тонн мяса. А в производстве птицы это может дать еще больший эффект».

У меня нет данных, сколько Байкал дал стране свинины, но не может быть никаких сомнений: если бы его воды не были отданы под промышленные стоки, чище были бы и его берега. Как очистные сооружения не способны вернуть Байкалу его родную воду, как воздушные фильтры выбрасывают в атмосферу мертвый, с остатками ядов, воздух, так человек поддается влиянию воцарившейся вокруг Байкала нездоровой нравственной среды, когда защитники нашего славного моря терпят поражение за поражением, а над самим морем свершается ритуальное жертвоприношение. Кроме природной биологической цепочки в той же взаимозависимости существует и общественная психо-нравственная цепочка. В самом Байкале мутируют водные организмы, на берегах Байкала мутирует человек, поражаются чувствительные центры, атрофируется восприятие красоты, перестает звучать в душе аллилуйя Создателю. Сорок лет назад интернациональным бригадам мусорщиков работы здесь наверняка бы не нашлось.

Вообще это, кажется, становится свойственным современному человеку: все лучшее, все самое прекрасное, святое и неизъяснимое как в произведениях природы, так и в творениях гения подозревать в неполноте и ущербности именно потому, что они являют собой совершенство. Нам почему-то становится легче, мы находим странное утешение в том, что и на солнце есть пятна, а под сияющим ликом красавицы может скрываться ведьма. Поэтому, надо полагать, шедевры старых мастеров уродуются в музеях кислотой или ножом, Христа в модных и скандальных фильмах укладывают в постель с грешницей... Попробовали с той же вседозволенностью малевать карикатуры и на пророка Мухаммеда, да исламский мир не нам чета: с такой решительностью поднялся против европейских «прав человека» на любую гадость и любое осквернение, что содрогнулась планета.

Байкал сразу после войны стал вызывать беспокойство: всего в нем сполна, во всем он явление ни с чем не сравнимое, действующее на душу глубоко и сильно, обладающее способностью магического целения. Какое же это служение человеку – вода, красота, таинственная жизнь глубин, тревожное, зовущее к лучшему преображение? Все это нельзя измерить, все это, так сказать, пожалуйста, в нерабочее время, но ведь и работать надо. Одной естественной отдачи мало. Откорм свиней – это было не первое из подыскиваемых Байкалу занятий. Еще до него всерьез обсуждался и близок был к исполнению проект поразительной смелости и новаторства – подложить под Шаман-камень в истоке Ангары тридцать тонн аммонита и рвануть, чтобы байкальская вода беспрепятственно хлынула на турбины ангарских гидростанций. Подсчитали: снижение уровня Байкала только на один сантиметр даст столько электроэнергии, что ею можно выплавить одиннадцать тысяч тонн алюминия. А если спустить не на сантиметры, а на метры? Ведь так можно завалить

алюминием весь мир! Шаман-камень не взорвали только потому, что нашлись, слава Богу, ученые, которые припугнули вероятностью непредвиденного геологического смещения.

Двадцать лет назад, в разгар экологического общественного подъема, который памятен до сих пор, мне удалось добиться встречи с министром лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Министр, разумеется, защищал и всячески приукрашивал деятельность байкальских комбинатов. В этом ничего неожиданного не было, но я буквально ахнул, когда он заявил, что байкальская вода для питья не годится, по своему химическому составу она человеку вредна. Рядом с министром сидели его заместители, один из них, как сказано было мне при знакомстве, прежде работал в Бурятии, и я обратился к нему: «Разве местные жители не пьют байкальскую воду?» – «Конечно, пьют, – ответил он и поправился: – Пить-то пьют, но вообще-то она слабо минерализована и ведет к эндокринным заболеваниям». Я собирался писать об этой встрече (и писал) и спросил у него фамилию. Он ответил – нарочно не придумайшь: Продайвода. Фамилия его была – Продайвода. Вот и не верь после этого в мистику!

Байкал загрязняется не только целлюлозными комбинатами. Считается, что на долю БЦБК приходится всего лишь один процент загрязнений. Цифра, конечно, «легендарная», то есть из разряда легенд того же происхождения, что и опасная для здоровья байкальская вода, но если бы даже это был один процент, если бы даже это была одна десятая процента, но в этой десятой участвовал диоксин, то и тогда это можно было бы назвать медленным убийством. Диоксин же, как считают специалисты-экологи, участвует. Ему и дела нет до того, что Байкал теперь – подлежащий особой охране и любви природно-культурный участок мирового наследия. И что несколько лет назад принят Закон о Байкале, державная охранная грамота. Принят с велики-

ми потугами и, вероятней всего, для того, чтобы уверить ЮНЕСКО, под чьим патронажем находится наиболее значимое мировое наследие, будто российская власть сознает свою обязанность беречь счастливый и бесценный дар небес. Уже стало не только очевидным, но сверхочевидным, что дороже чистой пресной воды в мире сегодня ничего нет. Ни целлюлоза и нефть, ни алмазы и газ, ни все банки мира не идут ни в какое сравнение с водой, ибо она есть элемент, содержащий жизнь. Сделалось очевидным, и все-таки эта истина, горящая красным аварийным светом, с высокомерием и самонадеянностью продолжает игнорироваться мчащимися на огромной скорости по накатанной дороге в пропасть.

БЦБК – не единственный загрязнитель Байкала, но, помимо агрессивного действия его стоков, он как бельмо на глазу еще и потому, что с самого начала и по сегодняшний день он проталкивался, возводился, защищался от общественности, представлял благополучную природоохранную картину в отчетах, в любых передрыгах выходил сухим из грязной воды, прибегая к подтасовкам, хитроумным ходам и обману. Его эпопея – это в сущности показательный урок на тему: кто в стране хозяин. Для продукции такого рода, какую выпускает комбинат, не обязательно была нужна байкальская вода (а уверяли, что обязательно); продукция эта не имела того сверхважного оборонного значения, перед которым безоговорочно открывались все замки и двери (а уверяли, что будет иметь); проектное задание на строительство комбината было утверждено много позже его пуска; как природоопасное предприятие он не имел права акционироваться, но обошел и это препятствие; как только с включением Байкала в список объектов мирового наследия нависла над комбинатом угроза – следует немедленная апелляция о помощи в ЮНИДО, в центр промышленного развития при ООН, и старая истина, что ворон ворону глаз не выклюет, вновь

подтверждается: комиссия ученых из ЮНИДО, подобно приснопамятной жаворонковской комиссии, соглашается с требующимся от нее: комбинат Байкалу не помеха. Не помеха, но все-таки решено было ввести на комбинате замкнутый цикл водопользования, для этого Всемирный банк выделил и перечислил больше 20 миллионов долларов, вторая половина требующейся суммы должна была поступить от российского правительства, но в прошлом году в самый последний момент хозяева комбината отказались от строительства. На том основании, что замкнутый цикл проблем загрязнения Байкала не решает. Разумеется, не решает, правильной было бы полностью перепрофилировать комбинат на другое, безвредное для Байкала, производство, да ведь не это благородное решение движет умами директоров, а, скорей всего, неизбежное желание оставить все как есть. Заметьте, что с некоторых пор понятие цивилизации исчезло и употребляется лишь в отношении к прошлому времени. Цивилизация прекратилась. Появилось новое обозначение жизни: устойчивое развитие. Это полностью экономическое понятие, оно не исключает культуры и традиционных ценностей, но рядом с экономикой не находит им места. Целью человеческого существования открыто становится потребление. Бескультурный, бездуховный, безнравственный мир, руководимый теневой силой, провозгласивший глобализацию как инструмент единого планетарного рынка и беспредельной власти монополий и банков, – да разве остановится такой мир перед дальнейшим уничтожением природы!

Сейчас над Байкалом нависла новая, похоже, самая серьезная опасность. Еще один дамоклов меч. В духе последнего времени. В образе нефтетрубы громогласного проекта «Восточная Сибирь – Тихий океан». По побережью Северного Байкала проектировщики эту трубу «прочертили» на отдельных участках менее чем в километре от уреза воды. Отойти горы не дают, найти другой ход или выход – не дает

баснословная выгода этого направления для заказчика – ОАО «Транснефть». Притом трубу намерены вести вдоль БАМа; безработный БАМ предлагает перевозить нефть в цистернах, что было бы самое разумное, но в таком случае это выгодно железнодорожникам и невыгодно «Транснефти». Сибирское отделение РАН предлагает маршрут в обход Байкала через Якутию, но он дороже, да и прошел бы по местам не столь привлекательным и заповедным, как Байкал, не входящим в реестр особо охраняемых участков мирового наследия. Не тот, что называется, фасон ландшафта.

О выгоде и обязательствах государства речь уже и не идет.

А ведь эта нефтетруба в обнимку с Байкалом, если смотреть дальше и глубже, есть одновременно упреждающий удар по будущему благополучию России. Сегодня в цене нефть, а через три-четыре десятилетия – раньше! раньше! (и в этом никто, кроме живущих одним днем, не сомневается) – стратегическим продуктом первой величины станет питьевая вода. Байкальский институт природопользования СО РАН подсчитал, что если бы даже и завтра нам пришлось продавать литр байкальской воды по сегодняшней бросовой цене 10 рублей, ежегодный доход в казну мог бы составить сумму 100 триллионов рублей. Да и нам самим байкальская вода понадобится. Как и байкальская красота, все байкальское благолепие.

В мире нет и не может быть совершенно безопасных нефтепроводов, действительность подтверждает это постоянно. Клящая жара и клящий мороз, дикий зверь и дикий человек, природные катаклизмы, которых меньше не становится, – все это хорошо бы учитывать, прежде чем клевать на приманку «транснефтевого» проекта. И не забыть при том, что Байкал – это зона активной сейсмичности, каждый день (каждый день!) здесь трясет по нескольку раз, трясет до поры до времени «миролюбиво», но за столетие набирается три-четыре разрушительных землетрясения. На восточном

берегу чуть северней Селенги есть залив под названием Провал – в память о трагическом событии полуторавековой давности, когда одним махом ушла под воду степь мерой в двести квадратных километров. Не прошло еще и пятидесяти лет, как от байкальского удара были разрушения в Иркутске. Кто может дать гарантию, что подобное не повторится завтра или послезавтра?

В 60-х годах минувшего столетия, когда целлюлозникам удалось обойти все препятствия и настоять на том, что только здесь, на берегу Байкала, и место комбинату, в ходу была бравая песенка:

Эй, баргузин, пошевеливай вал!
Любуйся и силой, и хваткой;
Мы строим завод и построим завод
В широком таежном распадке!

Безумству храбрых пелась эта песенка. Безумству храбрых и напору жадных. Доколе?! Двадцать лет назад моя статья в газете «Известия» о плодах хозяйничанья (тоже двадцатилетнего со времени запуска комбинатов) называлась предостерегающе: «Байкал у нас один». Многие и многие сотни писем-откликов получила тогда редакция, я их храню до сих пор. Теперь впору говорить с одышкой после множественных отступлений от былого величия: Россия у нас одна! Другой, запасной, нет.

2006

МОЯ И ТВОЯ СИБИРЬ

Так что же такое сегодня Сибирь?

Речь не об огромных расстояниях и площадях, не о суровых природных условиях, суровость которых сильно преувеличена, не обо всем том, что прежде всего при-

ходит на ум и стало первыми и расхожими представлениями об этом крае. Попробуем заглянуть внутрь вопроса и понять место Сибири в очертаниях некоего единого отечественного здания, в одном из многочисленных пристроев которого, в самом большом, непропорционально вытянутом и малозаселенном, и разместилась эта величина. Попробуем угадать место Сибири в судьбе каждого человека, независимо от того, задумывается он о ней или нет, ощущает ли в себе хоть немного присутствие ее духа. Попытаемся проследить, что значит Сибирь во взгляде на день текущий и в какую сторону перемещается, как и чем вырисовывается, когда мы переводим этот взгляд в завтра.

Во второй половине XIX века постепенно стало зарождаться и оформляться общественное и политическое сознание сибиряка. Наконец-то заговорили о ненормальном положении этого края, о политике метрополии, лишающей его будущности, о практике вывозить и высасывать из Сибири все лучшее, а взамен сваливать худшее, в том числе людской брак, об унижительной отчетности, мелочной патронажности и т.д. Обо всем этом не просто заговорили, сибирские вздохи и сетования раздавались и раньше, но заговорили дружно, напористо, призвали к благоразумию, справедливо связывали будущность России с будущностью Сибири и заставили правительство прислушаться к здешним нуждам. Так был открыт Томский университет и отменена уголовная ссылка.

Интересно взглянуть сегодня на те основные вопросы, которые ставились сибирскими патриотами (Ядринцев, Потанин и др.) для оздоровления общественного климата и подъема производительных сил. Их поначалу было пять: образование, отмена ссылки, равноправные и экономически выгодные отношения с метрополией, качественное заселение края и отношение к инородцам. На них важно взглянуть еще и для сравнения тогдашнего и сегодняшнего положения

Сибири в свете именно этих вопросов – чего добивались и к чему через столетие пришли.

Итак, образование. Слово это по справедливости и по заключенному в нем смыслу в XIX веке еще не было в ходу, говорили «просвещение». Оно считалось главной бедностью Сибири, с ним связывали нравственное и экономическое благополучие, начинавшаяся от него логическая цепочка имела почти всеобъемлющее поле действия: будешь грамотен – будешь умен и справедлив – научишься полезно жить и хозяйствовать – отдашь себя благодетельному служению краю и отечеству. «И несомненно, что только свет просвещения может вывести Сибирь из такого печального состояния; только когда, с одной стороны, поднимется общий уровень интеллектуального развития сибирского общества и оно поймет невозможность продолжать хозяйничать на прежних хищнических основаниях; когда, с другой стороны, в Сибири появятся технические знания и дадут сибиряку умение рационально эксплуатировать естественные богатства страны, – тогда только для Сибири окончится период беспорядочного расхищения производительных сил и запасов и начнется период правильного и разумного экономического развития» (А. Кауфман, 1892 год).

Они, старые сибиряки, не ошиблись бы, если бы просвещение осталось просвещением в прежнем смысле, с поправками на потребности времени и наук, и не превратилось в делание человека по конъюнктурным и самодовлеющим меркам, торопливо и дурно скроенным, тесным, уродующим умы. Они не ошиблись бы, если бы инженер остался инженером, какого они видели перед собой, похожий на Гарина-Михайловского и ему подобных, закладывавших в себя знания для благодетельного служения народу; если бы ученый оставался ученым типа Менделеева, который, кроме своих замечательных подвигов в естественных науках, был еще и мыслителем отеческого сознания; и если бы си-

бирский деятель, расширяя поле своих интересов, не отрывал их от интересов края. Надежды на образование связывались прежде всего в направленности высветленных душ и обогащенных умов на внутреннее дело, в решительном увеличении числа энергичных и качественных людей, радeteлей своей маловозделанной земли.

И – мало что из этих упований на человеческую ответственность, ограниченную науками, свершилось. Едва не в каждом мало-мальски звучащем сибирском городе сегодня университеты, технических и экономических вузов вдесятеро больше, чем в старые времена реальных училищ, но превратились они сначала в массовое, инкубаторного распложения, выращивание профильных специалистов, дальше профиля не способных ни взглянуть, ни понять, а затем еще более сузивших обучение до посреднических и операторских функций при неслыханном мотовстве, зовущемся управлением и экономикой. Все, всякая скромная и незадачливая кафедра, всякое едва состоявшееся учебное заведение с сомнительной репутацией, всякое еще и не состоявшееся, а только заявляющее о себе, только заведшее вывеску, – все называет себя университетами и академиями и все, за небольшими исключениями, неспособно давать универсальность и добротность знаний. Сибирь, только-только начинавшая в XIX веке протирать глаза на свою незадавшуюся судьбу, принявшаяся с трудом засеивать в свой народ семена гражданского и сыновнего сознания, отброшена ныне в этом смысле дальше, чем была она сто лет назад. И современное образование, далекое от отеческих нужд, воспитывающее молодежь в небрежении ко всему, что не имеет «рыночной» ценности, сыграло в этом не последнюю роль.

Темнотой, гражданской запущенностью сибиряка сто лет назад можно было объяснить: «Во всей экономической эксплуатации Сибири невольно поражает отсутствие всякой предусмотрительности и страшное невежество населе-

ния. Как будто житель Сибири не думает оставаться в ней дольше завтрашнего дня, как будто он пришлый человек, случайный кочевник, который нынче здесь, а завтра там, которому нет никакого дела до того, как будет жить его сын, его внук, его правнук. Он без разбора и без оглядки хватается все, что есть у него лучшего под рукой, и, схватив, расхитив и обезобразив, обращается к новой спекуляции. Мы набрасывались на все – на золотые самородки, на соболя, которого били около жилища; но, как только предстоял настойчивый труд, требовались некоторые усилия и уменье для создания прочной культуры, основанной не на одной случайности, не на слепом счастье, мы отступали, терялись, и в этих девственных странах жаловались на скудость природы» (Н. Ядринцев, 1882 год).

С тех пор «невежество» и «отсутствие всякой предусмотрительности» возросли до таких размеров, что прежних попечителей сибирского благоденствия они бы лишили дара речи и последней надежды на созидательный результат. Мы невольно свыкаемся с реальностью, мы живем в ней и не до конца осознаем происходящие перемены, но если бы явилась сегодня свежая голова, пропустившая последние десятилетия «освоения» Сибири и разбойного выхватывания ее собственности из государственного владения, она бы решила, что по какой-то страшной необходимости Сибирь отдана на разграбление, на поругание и уничтожение где-то сыскавшимся на планете варварам, что сибиряк, чтобы не видеть позора своей земли, бежал от них, и участь этого края окончательно решена.

Что там прежние хищничество и безобразия по сибирским углам, разве могут они сравниться с нынешними, соединенными в одно огромное и могучее действие! И что там былая зависимость Сибири от метрополии, разве поставить ее рядом с последующим давлением ведомств и министерств, которые что хотели, то и воротили в сибирских вотчинах и держали местные власти в такой узде, что

тем и слова поперек не сказать. Эх, нам бы теперь старые безобразия – мы бы Богу на них молились! Находили чем возмущаться публицисты: крестьянин, лентяй удобрял пашню, забрасывал ее, едва она отказывалась давать сам-десять, и рядом раздирал новину; промышленник, сняв сливки, засыпал невыбранное золото отвалами и расчищал свежие разработки; охотник, рыбак не считались с приростом зверя и рыбы; переселенец начинал жизнь с выжигания под поля лесов. Все это, разумеется, не похвалы достойно и говорит о культуре хозяйничанья, способно возрасти в привычку, в отношение, в правило, однако при малозаселенности Сибири не могло нанести ей великого урона. Урон был больше моральный: не такого хотелось видеть здесь работника, не так свершалась колонизация края. Сибиряк, как и всюду человек, не соответствовал своему идеалу; сибиряк, быть может, не соответствовал больше, потому что испорчен был природным изобилием и мало заботился о его сохранении.

Не один век, вплоть до тридцати–сорока лет назад, Сибирь лежала запасной землей, материком огромных неиспользованных возможностей и невостребованного могущества. Царское правительство могло позволить себе продать Аляску: у России оставалась Сибирь. Если об этом не писали, не говорили открыто, это подразумевалось само собой. Сибирь стояла крепостью, в которой можно укрыться; кладовой, которую при нужде можно отомкнуть; силой, которую можно призвать; твердью, способной выдержать любой удар; славой, которой предстоит прогреметь. В сознании россиянина Сибирь представляла континентом будущего, куда он смотрел с уверенностью: то, что истратит, не пожалеет, выработает в своем хозяйстве он сегодня, завтра добудет в Сибири, за чем гоняет корабли за тридевять земель, до поры до времени хранится там же, в Сибири.

Великий норвежец Фритьоф Нансен, накануне Первой мировой войны совершивший путешествие сначала Север-

ным морским путем до Енисея, затем от Енисея по Транссибу до Тихого океана, свою книгу о Сибири так и назвал: «В страну будущего». «Нахожусь под огромным впечатлением бескрайних равнин на востоке Азии, еще лежащих втуне и ждущих человека», – писал Нансен.

И вот дождались. Но кого? Будто поперед того, кого ждали, явился самозванно и незаконно кто-то другой, не подготовленный к работе, не склонный считаться ни с потребностями настоящего, ни с завтрашним днем Сибири, жадный, грубый, нетерпеливый, не наученный обращаться с добром, не знающий ему подлинной цены, – явился и предъявил права. И всего-то за несколько десятилетий, как за войну, изжувал, перевернул, переименовал, вскрыл жизнетворные жилы. Не столько взял, сколько разбросал, расплескал, оставил гнить – и потекли реки с нефтью, ушли на дно искусственных морей леса; где густой стеной стояла тайга и бродил зверь, там лежала она, сваленная и вполнину брошенная; где желтела хлебная нива и кормились тучные стада скота, там бурьян, оставленность, стылость; где вековали деревни и села, там походный стан кочевника нового типа – вахтовика, сезонника, передвигающегося с места на место и в короткие сроки выкачивающего из недр то, что откладывала природа миллионы лет.

Сибирь велика, естественные ее запасы имеют могучие накопления; под стать им ставились самые крупные в мире гидростанции, заводы, комбинаты, комплексы, дома. Крупные, мощные – значит столь же велики наносимые ими раны природе. Одна Братская ГЭС привела к затоплению более полумиллиона гектаров самых лучших и обжитых земель. Ангарское население, мои земляки, выращивавшие хлеб, были переселены на неудобья, где хлеб не растет. Там рос лес, и хлеборобы едва не поголовно вынуждены были переквалифицироваться в лесорубов. За тридцать лет они выбрали тайгу, в местах лесосек остались поля жестоких битв. Подле дешевой электроэнергии

в Братске тотчас же, как ангарская вода принялась крутить турбины, встали энергоемкие гиганты – алюминиевый завод и лесопромышленный комплекс. То, что не ушло под топор из богатейшей окрестной тайги со знаменитой ангарской сосной, обречено было на гибель от фтора и метилмеркаптана, побочного «продукта» энергоемких. Отчего высыхают леса, легко сыскать; отчего болеют и недоживают люди – всегда тайна за семью печатями, хотя и не скрыть, что Братск, Ангарск, Норильск, Новокузнецк, вставшие возле громких производств, со славой выросшие на индустриальных дрожжах, – города, от которых человеку лучше бы держаться подальше.

В дальнейшем эта поучительная цепочка последствий покорительства на примере моей «малой» родины получила прямо-таки карательное (уж учить так учить!) продолжение. При «рынке» ангарские леспромхозовские поселки полностью остались без работы, и часть их пришлось «закрывать»: все вокруг на сотни верст обессилило и в древесине не нуждалось. Отдавшие свои родовые земли под «море» для электричества, они остались и без электричества: ток Братской ГЭС обошел их стороной, а цены на солярку, с помощью которой они освещали свое жите-е-бытие, поднялись в заоблачные выси. Мало того – возле воды они остались без воды: из водохранилища брать опасно, потому что там чего только нет от выбросов, в том числе завелась и ртуть, опасно брать и зараженную рыбу, но делать нечего – берут. Другой Ангары взять неоткуда.

Братский алюминиевый завод, основной потребитель энергии, между тем «приватизировали» за бесценок братья Черные, граждане не то Израиля, не то Великобритании, не то Месопотамии. Позднее они перепродали его Абрамовичу с Березовским, тоже гражданам мира. В чьи руки попал лесопромышленный комплекс, понять невозможно: все эти холдинги, молдинги, болдинги с мудреными названиями для того и существуют, чтобы скрывать истину. Требова-

ния чистого воздуха и чистой воды, яростные в конце 80-х годов, в 90-е затихли, люди предпочитают им кусок хлеба.

Это судьба только одного сибирского «угла», правда, хорошего вымаха, но Сибирь на вымахи нигде не скупится, а судьба их почти повсюду теперь одинакова. «Стройки коммунизма», ради которых подтягивала живот и отдавала лучшие рабочие руки вся страна, воздвигая их с неслыханным пафосом, но и с идущими далеко вперед надеждами, оголяя деревню и запуская другие дела, – превратились вдруг в одночасье эти гиганты энергетики, металлургии, лесобработки и т.д. в разменную «рыночную» монету, которую не представляет труда переложить из кармана в карман и «унести» в другую страну. Не больно радив и аккуратен был прежний хозяин, загребал он через край, с потерями не считался, словно в завещании забыли его предупредить, рассчитывая на его разум, о доле каждого поколения в наследстве отныне и до конца. Но размотать в одну жизнь сказочное богатство не мог и он, сколько бы ни усердствовал, у нас оставались надежды, что со временем дело хозяйствования и управления перейдет в более рачительные руки наследников. И вдруг оказалось, что наследство этому роду, а если без иносказаний – народу, больше не принадлежит и что его в результате хитрых и одновременно грубых махинаций захватили проходимцы, отиравшиеся возле завещательных бумаг и сами себе устроившие распродажу общей собственности.

Не одно столетие Сибирь пыталась снять с себя ярмо российской колонии, а теперь кончается тем, что ей приготовлена участь мировой колонии, и со всех сторон к ней слетаются хищники, вырывающие друг у друга самые лакомые куски.

Когда-то, в конце XIX – начале XX века, много шума в мире наделал проект Трансаяско-Сибирской железной дороги, которую предполагалось прокладывать северней Транссиба. Строительство брали на себя западные фирмы,

в основном американские, условие было «пустяковым»: полоса отчуждения вдоль всей трассы шириной в восемь миль в каждую сторону. Это составляло в общей сложности почти триста тысяч квадратных километров. И – с правом распоряжаться по своему усмотрению. В российском правительстве сыскались сторонники проекта – тоже, надо полагать, небескорыстно. Но сделка все-таки не состоялась, ее противники, не склонные торговать Сибирью, победили.

В середине 90-х годов XX века, когда «дикий рынок» завалил Россию, как первобытный человек мамонта, в заранее отрытую яму, впервые появилось предложение американского экономиста МИДа о продаже Сибири США. В Америке не забыли, с какой легкостью ей в свое время удалось завладеть Аляской, и теперь, пользуясь тяжелым положением России, прощупывали почву: а не готова ли поверженная мировая держава, чтобы облегчить свою судьбу, освободиться от «лишнего». Позднее это предложение повторилось в более определенной форме: в границах от Енисея до океана создать семь американских штатов, называлась и цена – 5–6 триллионов долларов. Поскольку это была «частная» инициатива, официальной реакции на нее не последовало. Но интересно, что она никого и не удивила, – словно подошло время вести подобные разговоры и потихоньку да помаленьку подбираться к серьезному обсуждению.

Надо думать, до этого не дойдет. Это явилось бы для России покупкой для себя смертного приговора. И, даже превратившись в последнее время в страну фантастического саморазрушения, едва ли она решится на последний шаг.

Никто больше не ведет речь об освоении Сибири. Даже торопливо и дурно освоенное в минувшие послевоенные десятилетия сейчас запускается. Истязивают Сибирь двойной и тройной тягой там, где нефть и газ, алмазы и цветные металлы, все остальное на тысячах верст с запада на

восток и с севера на юг лежит в неизвестности, и как, чем оно живет, кроме беспрерывных выборов, которыми, как чесоткой, натирает себя российская демократия, мало кто знает. Сибирской нефтью и газом и спасается вся страна, на них выросли несметные сокровища нуворишей, из них выкраивается пенсия старикам и из них же выплачиваются, чтобы не сесть в долговую яму, проценты с займов. Из Западной Сибири денно и ночью, опустошая тюменские недра, текут потоки нефти и газа в Европу, из Восточной Сибири, где разведанные запасы скромнее, налаживается их транспортировка в Китай и Корею. Лучшие, самые богатые и доступные, «трубки» якутских алмазов «докуриваются», могучие сибирские реки обузданы, и электроэнергия от них также идет на Запад и Восток. «Легкие планеты», сибирские леса, сначала нещадно вырубались, а ныне с последовательностью и неизбежностью наступления лета выгорают от пожаров; сибирской нефти для борьбы с пожарами, как и для полевых работ на пашне, недостает или, что одно и то же, предлагается горючее по ценам, от которых впору происходить самовозгораниям. Тайга гибнет на огромных площадях – в миллионы гектаров, и люди уже с привычной беспомощностью, а то и равнодушием глотают дым и внимают словам об экологическом бедствии в Приморье и Забайкалье, на Алтае и в Якутии. И как-то сами собой заглохают и меркнут, теряют свое значение слова: сын земли, радетель, эконоом (не экономист, а именно эконоом – как управляющий хозяйством по нравственным законам сбережения и необходимости). Видимо, людское сыновство неотделимо и невозможно без государственного отцовства. Местное самоуправление, о котором давно мечтает сибиряк, по-прежнему в узде: одной рукой его поощряют, другой удерживают. Метрополия все так же, как и сто, как и двести лет назад, продолжает смотреть на Сибирь будто на дойную корову, содержащуюся на подножном корму, для которой тем не менее необходим загон, чтобы не одичала

она по своим еланям и калтусам. И, как к дойной корове, снова и снова пристраивают к ней сосцы, вытягивающие миллионолетние «нагулы».

Одичание, однако, если уж мы вспомнили о нем, шло не из окраин, а оттуда, из центра ослепительной эпохи «перестройки», принесшей Сибири, как и России в целом, неисчислимые бедствия. Достаточно взглянуть на наши «севера». Невольно вспоминаются слова Ломоносова, еще недавно высоко вознесенные над воротами экономического покорения Сибири, о том, что «богатства России прирастать будут Сибирью». Она, эта ломоносовская фраза, не дочитана, продолжением было: «...Сибирью и Холодным океаном». И вот: бросили, обезлюдил и остудил опять побережье Ледовитого океана, которое, если уж быть справедливым к прошлому, в советское время осваивалось, обогревалось и оживлялось по всей его необъятности с особой и безупречной заботой. Не придерешься. Не бывало и быть не могло случая, чтобы в эти районы не завезли на зиму топливо и продовольствие и оставили людей наедине с жестокой полярной ночью. Теперь с этого бока Сибири, обороченного ко льдам, продирает, кажется, насквозь вплоть до южных рубежей. И еще холодней и бесприютней становится, как вспомнишь о судьбах покинутых там людей.

«Единая и неделимая» Россия бесславно прошла через свою последнюю смуту, потеряв и кровные свои земли, и кровное свое население, в том и в том убавившись в европейской своей части до размеров, в каких ходила она еще до петровских войн и турецких походов. «Единая и неделимая» Сибирь, лицо которой густо усеяно этническими «веснушками» и земля которой вся состоит из родовых лоскутов, выстояла и, несмотря на неизбежные в таких случаях шатания, оказалась прочней, чем ожидали враги России, постоянно насылавшие сюда эмиссаров и подбивавшие к отделению.

И тем не менее национальный вопрос в Сибири – не из пустяковых: вчера он был проще, чем сегодня, а завтра может еще более усложниться – в зависимости от того, как укрепится Россия.

Сибирь вся, от начала до конца, в такой этнической пестроте, что в родословной каждого ее племенного оттенка в точности не разобраться и ученым. Постоянные перемещения, переливания, объединения и членения родов, право сильного на лучшие земли и право природы по отношению к своим детям на ей одной ведомую конечную справедливость – все это переплелось тесно и дало результаты, которые следует уважать. Каждый народ – и тот, что поднялся на вершины множества и организованности, и тот, что обитает в низинах народности, – заслуживает любви и дружеской руки человечества уже потому, что он есть и человеческое многообразие не могло без него обойтись. Но история продолжается, и переливания, перерождения не закончены. Это и к ней, к истории, счет – за то, что она делает таинственную перемену лиц. Это счет и к «большому» народу, волею судьбы взявшему под опеку в свое государственное образование «малые»; он невольно принимает их дух в свой дух и их плоть в свою плоть, как и они сытыя им, но это вбирание должно быть взаимно полезным. Но это и счет каждого народа самому себе за способность к жизнестойкости, которая прежде всего в духовном единстве. Как только народ теряет свои предания, а еще хуже – язык свой, он превращается в «запас» другого, более сильного народа. И с этим ничего не поделаешь. Это закон жизни.

Ко времени появления в Сибири русских своего собственного, коренного населения в ней было, по одним подсчетам, 217 тысяч, по другим – 288 тысяч. И в том, и в другом случаях – не густо на исполинские пространства. Такой силой Сибирь не удержать. И внутри государство не выстроить. Не миновать было отходить под чью-то руку. Другое дело: под чью лучше? Смешиваться ли Азии

с Европой или Азии усилиться Азией? Что бы ни выдумывали о русском человеке, каких бы небылиц о нем ни сочиняли, признается самой историей и практикой его государственного строительства, что он народ чрезвычайно уживчивый, широкий в своих братских чувствах. Уже и первопроходцы легко находили общий язык с аборигенами. Правительство в случае споров считало необходимым брать сторону инородцев. Бесхитрое дитя природы – юкагир или чукча – терпел от произвола воеводской или губернаторской власти, от бессовестного надувательства промышленника и купца, но этот всечеловеческий хищничающий тип неистребим нигде и готов наживаться на родном брате. И все мы одинаково, русский не меньше, а больше других, страдали от чужих идей, от их тяжелой всеохватной длани, трудящейся над выправкой каждого человека на одну колодку.

Счет должен быть справедливым. Его нужно предъявлять и цивилизации в тех формах, которые нам достались, – в формах массового инквизиторского обезображивания души под эгидой «прав человека». Никакое «цивилизованное» государство, получив тюменскую нефть, ухом не повело бы на жизненно важный вопрос симпатичного народца, быть или не быть ему с разработкой месторождения на родовой земле. Говорится это не в оправдание русской Тюмени, а в указание на принятое всюду «мягкое» право на произвол с теми же результатами, что и при грубом.

В 90-е годы по Сибири погуляли всякие общественные ветры, надувавшие мысли и движения: то отдельно от России за Соединенные Штаты Сибири по образцу Соединенных Штатов Америки, то за самостоятельные, в границах прежних автономий, государства, то за присоединение Бурятии к Монголии, а Якутии-Саха... ну, хоть к Аляске или Турции. Националистическая претенциозность не миновала, кажется, ни один ни народ, ни народец. Но дурман от непривычки к разумной свободе постепенно проходит,

трезвые головы начинают брать верх. Как и куда Якутии отделяться, если «титульное» население составляет в ней только третью часть? В Бурятии еще меньше, в Хакасии – 14 процентов. Можно, играя в западную демократию, избирать президентов в каждом улусе, можно отказаться от «империалистического» русского языка и, продолжая пренебрегать своим, броситься к английскому, с упрямством, без надежды на урожай сеять семена собственной самодержавности – но вековую сращенность с Россией без трагических последствий не разорвать.

Но уже остывает и желание рвать. Устоялась бы только в справедливости и верности себе сама Россия, отказалась бы наконец от чужести, уняла бы саморазрушительные порывы. Кому в таком случае и зачем от добра искать добра?

Земля наша и после нанесенных ей жестоких ран и множественных потерь в прошлом и настоящем все еще велика и обильна – так богато первоначально была она засеяна! Порядка бы ей, порядка! Хозяина бы ей, заступника, умного строителя, доброго врачевателя! С лихвой натерпелась она от дуроломов и расхитителей.

Этот зов, тяжкий, как стон, истомленный, как необвенчанность, и всеохватный, как последняя воля, и стоит сейчас неумолчно над Сибирью: дайте мне Хозяина!

1990, 2000

III К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЗМЕ

ЧТО В СЛОВЕ, ЧТО ЗА СЛОВОМ?

Много лет назад меня поразило открытие, которое, казалось мне, сделано едва ли не только мною и о котором другие не подозревают или подозревают смутно. «Открытие» со временем оказалось никаким не открытием, а элементарной эволюцией, что ли, некоторых вещей, но то, что оно предстало передо мной как открытие, как откровение, то, что оно поразило меня сущностью заключенного в нем смыслового удара, и помогло, быть может, в свою пору стать мне писателем.

Речь идет о подмене, а если не о полной подмене, то о расширительном и безмерном толковании понятий, которые, казалось бы, должны существовать в твердых границах, потому что от того, насколько прочны или не прочны эти границы, зависит в нашей жизни слишком многое.

Больше ста лет назад Достоевский в «Записных тетрадях» к «Бесам» по поводу своего героя Кириллова заметил: «В Кириллове народная идея – сейчас жертвовать собою для правды... Жертвовать собою для правды – вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман».

Еще раньше у него же, у Достоевского, в объявлении о подписке на журнал «Эпоха» есть такие слова: «Все более нарушается в заболевшем обществе нашем понятие о зле и добре. Кто из нас, по совести, знает теперь, что зло и что добро. Все обратилось в спорный пункт и всякий толкует и учит по-своему».

Это у нас, у русских, мы и всегда-то, похоже, чересчур подвержены были нравственным страданиям и сомнениям, всегда-то в этом смысле из мухи делали слона.

А вот у американцев. Я позволю себе большую цитату из Фолкнера.

«...Мы отказались от смысла, который наши отцы вкладывали в слова “свобода” и “независимость”, смысла, положенного ими в основу нас как нации, завещанного ими нам как народу и превращенного нами в наше время в пустой звук. Свободу мы подменили патентом – патентом на любое действие, осуществляемое в рамках законов, сформулированных творцами патентов и жнецами материальных выгод. Свободу мы подменили безразличием ко всякому протесту и объявили, что может быть совершенно любое действие, лишь бы оно освящалось выхолощенным словом “свобода”».

В этот самый момент исчезла также истина. Мы не упразднили истины; даже мы не способны были сделать этого. Просто она отказалась от нас, повернулась к нам спиной – не с насмешкой или даже презрением, или даже (будем надеяться) отчаянием. Она просто отказалась от нас, с тем чтобы, может быть, вернуться, когда с нами что-нибудь случится – несчастье, национальная катастрофа, может быть, даже военное поражение; вернуться и научить нас уважать истину и заставить заплатить любую цену, принести любую жертву, чтобы вновь обрести истину и хранить ее так, чтобы она никогда уже не покидала нас, хранить на ее собственных и бескомпромиссных условиях вкуса и ответственности. Истина – это длинная, чистая,

четкая, неоспоримая, прямая и сверкающая полоса, по одну сторону которой черное – это черное, а по другую белое – это белое, – в наше время стала углом, точкой зрения, чем-то таким, что не имеет ничего общего не только с истиной, но даже и с простым фактом и целиком зависит от того, насколько тебе удастся заставить того, кого ты хочешь обмануть или сбить с толку, занять определенную позицию при взгляде на нее».

Таким образом, подмена самых высоких оснований, поддерживающих наши дух и совесть, произошла и продолжает происходить в глобальном масштабе. Мы отказались от них или они отказались от нас, тут уж большой роли не играет. В конечном итоге это одно и то же.

Можно, конечно, и усомниться: не так уж все страшно и не так уж все в нашем нравственном и духовном миропорядке сдвинулось со своих мест. И даже хочется усомниться. Хочется усомниться, прежде всего, во имя надежды, без которой мы не можем жить и тем более творить. Но именно жизнь и творения наши приводят опять к обратному результату. Получается самый жестокий из всех существующих парадоксов: жизнь опирается на надежду и мечту, а мечта и надежда не выдерживают жизни.

Когда начинаешь размышлять о том, что вызывает бесполезные, а то и просто вредные книги, и нередко у способных авторов, из многих и многих причин на первое место выставляются неуверенность, необразованность и покинутость души, или, переводя эти понятия в иную плоскость, – нетвердость и малозначительность духовных позиций. Художнику в таких случаях все равно, что несет в себе его книга и чему она служит, для него важна не учительность и не соборность книги в том смысле, как она воспитывает единомышленников, а факт ее существования. Есть книги, которые служат одному лишь автору. Чтобы работать, мы должны не только представлять, во имя чего работаем, но и ощущать это кожей, выверять

каждым ударом сердца. Творчество как самовыражение – это, разумеется, личный акт, никто у нас этого не отнимает, но для того чтобы он состоялся, чтобы он не носил случайный характер, должна быть общественная направленность творчества. Говорить ради себя художнику не пристало, это все равно что говорить в себя; в своей работе мы исходим из воспитательных и духовных целей, которые могли бы иметь более или менее обширное воздействие. Художника можно сравнить с проводником, указывающим не приблизительные, а правильные пути. Это уж дело публики – следовать или не следовать им, но художнику неплохо бы знать их безошибочно.

Больше сорока лет назад Экзюпери писал: «Человек в мою эпоху умирает от жажды. Есть только одна проблема, одна-единственная во всем мире: вернуть людям их духовное значение, их духовные заботы... Нельзя, понимаете ли, нельзя больше жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами. Больше нельзя! Перед нами стоит теперь одна проблема: снова открыть, что есть жизнь духа, более высокая, чем разума, единственно способная удовлетворить человека».

Даже самая лучшая, самая правильная идеология страдает тем недостатком, что она разучилась говорить живым языком и что она говорит слишком громко. Эта доверительность разговора и этот живой язык есть у нас. Мы можем говорить о том же самом, придавая слову духовное значение и духовный смысл. Никто не подскажет нам, каким образом это лучше делать, – для этого в наших индивидуальностях существуют наши таланты. И только одно я осмеливаюсь заметить: художнику не годится быть сезонным работником, нанятым за определенную плату, чтобы, сделав запрашиваемое дело, с легким сердцем отправиться за следующим заработком. Наверное, он должен ощущать в себе весь прежний исторический и духовный опыт своего народа, его историческую направленность в

будущее, он и в настоящем должен различать черты временного и вечного. Будучи в плену принятых представлений, четко отличить одно от другого не всем нам дано, но ощущение своей далекости и неслучайности, ощущение того, что хорошо и что плохо в нынешней работе над человеком, в нас обязано быть. Это нетрудно иметь в себе, в нас самой природой отведено для этого место, которое требует заполнения. И если мы по-прежнему ленивы и любопытны, пенять, кроме как на себя, не на кого.

В последнее время все чаще можно услышать мнение, что от неумеренного и неверного употребления такие огромные и важные понятия, как нравственность и духовность, потеряли последний смысл и превратились в пустой звук. Согласимся мы с этим или нет, много или мало станем оговаривать, насколько правы пессимисты, уровень содержащегося в них живого вещества ничуть не изменится. Она, эта собственно действующая в них и их составляющая жизнь, там есть, и уровень ее в последние годы, я думаю, значительно поднялся. Но мы действительно редко дотягиваемся до него, нам мешает наша выпрямленность, не дающая нагнуться, чтобы рассмотреть и расслышать, что происходит внутри. Зачастую мы и сами не знаем, что ищем в этих огромных и чувствительно-сложных сообщающихся сосудах, а потому отделяемся тем, что ставим их рядом в деревянной целостности, как истуканов, не слишком вникая, чем они состояются, что их питает и чем они содержатся сегодня.

Никакое общество, сколь бы могучим и молодым оно ни представлялось себе, не сможет долго продержаться в силе и здравии, если оно откажется от вековых традиций и уставов своего народа. Это все равно что, подрубив корни, уповать на ветви. Народ на протяжении всей своей истории – единый и непрерывный организм, в котором каждое поколение, быть может, и оставляет меты, подобно

годовым кольцам, но ничего не замыкает и ничего не оканчивает. Болен народ или здоров, един или растерян – все в одной непрерывающейся связи и жизни, где ничто не проходит бесследно, все вслед за причинами имеет следствия и за началами продолжения, не всегда, к сожалению, предусмотренные и потому представляющиеся непонятными. Там, внутри организма, оно понятно и закономерно, если туда со вниманием заглядывать.

Вольно или невольно, однако искусство довольно легко согласилось с переоценкой жизненно важных для нас понятий и заговорило о них, вернее, о том, что они в себе содержат, бесстрастным и отчужденным языком. Для него, для искусства, все более абстрагировалось и уходило в недоступные выси то, что было живой плотью человека: честь, совесть, долг, чувство личности и гражданина, верность идеалам и т.д., и т.д. Мы даже из любви умудрились сделать статую, которая непонятно каким образом продолжала рожать детей. Но вся штука в том, что живое не терпит окаменелости и, чтобы остаться живым, нередко поворачивается изнаночной и неприглядной стороной. Искусство, разумеется, не могло этого не заметить, но то ли от растерянности, то ли в спешке принялось на манер кино вести документальную запись происходящего, не вникая глубоко в его причины и не пытаясь их предупредить, и тем самым сыграло роковую роль пропаганды этих нездоровых явлений. Оно и сейчас в большой своей части занимается протоколированием – конечно, своими средствами и своим языком, но не выправлением и не излечиванием. И это при том, что у человеческой души остался один патентованный врачеватель – исходящее от нас с вами искусство. И если согласиться с Фолкнером, что от нас отвернулась истина, так она отвернулась не только потому, что человек стал хуже – и хороших, и плохих людей всегда хватало с избытком, – но прежде всего потому, что чело-

век стал кривей и при прежних физических данных потерял духовную фигуру.

Задача искусства, и это трудная и долгая задача, – вернуть подлинное и единственное значение тем вещам и понятиям, без которых ни человек, ни общность людей не могут стоять на твердых ногах.

Мы много говорим о гуманизме; это, бесспорно, одно из первых понятий, составляющих человеческую жизнь. Оно заложено в человеке изначально – как способ существования среди себе подобных. Без любви к ближнему никто из нас обходиться не может. Это у человека в крови. Но любовь любви, как известно, рознь, тем более что речь идет не о любви плотской и не о любви сердца, а о любви души и духа, то есть о добровольно принимаемом на себя, всей своей жизнью, всем своим житием служении другим людям, которые в этом нуждаются. О служении не столько общему делу, сколько общей жизни. Когда говорится об общем деле, о служении общечеловеческим идеалам – это гуманизм абстрактный, гуманизм лозунгов и призывов. Все мы живем под его высокими понятиями, и никто никогда еще, даже самый последний человеконенавистник и тиран, этими лозунгами не пренебрегал. Они годятся для всех, у всех в чести. И нет ничего проще, как быть в таких случаях гуманистом.

Другое дело – гуманизм, так сказать, бытовой, повседневный, требующий души и жития. Вот в чем разница между жизнью и житием: житие подразумевало самое существование в постоянной и стоической любви к людям. Сейчас жития в том строгом и аскетическом смысле, которого требовало это понятие, не нужно, и, употребляя это слово, мы имеем в виду лишь жизнь, не разбросанную на что попало и к чему угодно применимую, а направленную всем строем души своей на подвижничество в добре, жизнь, основанную не на дежурном, а постоянно справ-

ляемом долге перед другими. Это гуманизм не призыва, а отзыва, по природе своей лишенный показного дела и громкоговорения.

Добиваться, чтобы гуманизм из понятия общего стал понятием частным и конкретным, стал практическим и широким деянием, – вот что от нас сегодня требуется.

Совесьть... Сейчас считается едва ли не дурным тоном, если наши герои в книгах принимаются рассуждать о совести. И в этом, как ни парадоксально, есть своя правда: хватит переливать из пустого в порожнее. Совесть должна быть качеством воплощенным, живым, иметь определенный облик, а не общее выражение, перелицованное на тысячу раз. Из общего и пустынного своего состояния и неясного далека ее необходимо переводить в людей, жизненные правила которых составлялись ею от начала и до конца, – с теми неизбежными мучениями, которые только она одна и способна доставлять. Идеальных людей не бывает, все мы сотканы из множеств и противоречий; корень слова «совесьть» – «весьть», та веть, тот голос, который подается в нас правым человеком, имеющим слабое выражение, но его-то и необходимо искать.

Гражданственность... Это великое и бесценное понятие мы мало-помалу низвели до демагогической приставки, произносимой тренированным голосом. Не тот гражданин, кто требовательно и громко заявляет об обязанностях члена общества, иной раз по присловью: прокукарекал, а там хоть не рассветаи, – а тот гражданин, кто исполнение этих обязанностей соотносит с родовым путем человека и его назначением на земле. Гражданина рождает и воспитывает правое дело и уверенность в нем.

Патриотизм... Вот слово, которое представляется мне всеобъемлющим, и если не спасительным, то в огромном клубке наших нравственных и духовных проблем тем узлом, который легче всего поддается распутыванию. С него

и надо бы начинать. За ним стоит все: и совесть, и долг, и истина, и добро, и вера, и личность, и гражданин, и многое другое. Считаю нужным оговориться; патриотизм – это не любовь к идее, а любовь к отчизне, к родной земле, верность ее заветам, почитание праха и слова ее, страдание за все ее страдания и вера в ее очистительный исход. Будет в нас все это – тверже будет и идея, с которой согласится душа. В определенном смысле художник в своих исканиях и метаниях может позволить себе все что угодно, кроме одного: равнодушия к родине и небрежения к ее святыням. Без чувства неизбежной и кровной связи со своей землей и ее историей художника не существует, просто как житель в определенном географическом месте и просто как прохожий во времени он ничто. Нет, не ничто, а то как раз, что при таланте создает дурное направление, а без таланта скатывается к творческой мстительности. И если Бунин более тридцати лет прожил на чужбине, продолжая работать, то и Россию продолжал он любить за многие тысячи тех, кто не любил и пытался разрушить ее здесь.

Мировоззрение художника – это, прежде всего, Родина, ее судьба, ее правосостояние и благостояние. И пусть не покажется вам, что этот взор уперт в ноги, а этот мир узок и замкнут. За ними скрывается слишком многое, и в том числе подлинное уважение к другим народам и странам, овладение их культурой и житейским опытом. Не познав себя, другого не познаешь. Как много всяких разных напастей незваными и непрошеными явилось к нам тут же, как только сочли мы, что плодородный слой России – это нажитое лишь нами. Нет, без тысячелетней толщи нам но обойтись, и не по-хозяйски было бы обходиться, если она у нас есть. Кверху корнем только сажа в трубе растет.

Это и должны ясно представлять все мы, рассчитывающие не просто на успех, а на благотворное действие своей работы.

1985

ВРЕМЯ И БРЕМЯ ТРЕВОГ*

Двадцать лет назад Юрий Казаков написал свою известную статью «О мужестве писателя», в которой говорил о необходимости постоянного, без отпусков и выходных, мужества, требующегося от человека нашей профессии. Юрий Казаков заговорил об этом в свое время не затем, чтобы восславить себя и своих товарищей и выпросить у читателя порцию добавочного, недополученного, полагающегося за труды уважения, а затем, чтобы напомнить писателю его непростую, особую роль в обществе и тяжелейшую ответственность перед литературой. И я сейчас решаюсь продолжить этот разговор не для того, чтобы воскликнуть: ах, какие мы с вами мужественные люди! – нынче вообще жизнь требует от человека мужества, чтобы жить, – а для того я вслед за Казаковым примеряю на писателе середины 80-х годов сии благородные одежды, чтобы попытаться понять, что в нашей роли и что в нашей ответственности изменилось с 60-х годов, когда я и мои сверстники только-только пришли в литературу.

Сейчас так же, как и двадцать лет назад, писателю прежде всего требуется мужество один на один с собой, перед чистым листом бумаги. Труднее этих мучений и выше этого мужества ничего не бывает. Никто тут ему не помощник: ни друг, ни жена, ни успех, ни профессиональный навык. Во всяком другом деле мастерство, опыт – это уже половина дела, в нашем – нет. В нашем деле все написанные тобой и другими книги выступают против одной ненаписанной, против той, которую ты пишешь. Это, прежде всего, боязнь повторить других и себя, сказать по сказанному, открыть известное и открытое, невольно соскользнуть на те линии, образные, стилистические, языковые, проблемные и т.д., которые в литературе уже про-

* Выступление на VI съезде Союза писателей РСФСР.

ведены. Чем больше создано писателем, тем труднее ему в каждой следующей работе.

Как чувствовал писатель свое бессилие перед белым листом, так он его и чувствует. И мужество его в том, чтобы обратить это бессилие в силу. Только сила, рожденная из сомнений и слабости, прошедшая весь мученический путь от рядовой до генеральской мысли, и способна, быть может, на реальное вспомоществование.

Но двадцать лет – это все-таки двадцать лет. Если принимать живущих за три поколения, за дедов, отцов и внуков, то за это время деда ушли, внуки стали отцами, а на смену ушедшим явилось новое поколение. И жизнь переместилась на один рубеж. Вместе с количественными ее изменениями произошли изменения и качественные. Читатель ныне не тот, что был двадцать лет назад. В литературе он ищет новые, не освоенные им духовные территории, и под нравственностью, о которой так печется литература, понимает не поведенческое движение со знаком плюс или минус, а нечто более пространное и глубокое, не вмещающееся в ранее отведенные для нее границы. Читатель чувствует, что если человек за минувшие двадцать лет стал лишь немногим чище, то в этом не только вина, но и беда человека, в котором не были разбужены лучшие, еще вовсе не открытые или отверженные стороны его природы, и что они, значит, должны быть разбужены теперь. Кому и открывать их, кому будить и подготавливать, как не искусству.

Чтобы явилась в герое богатая, активная и возбуждающая личность, а не набор позвякивающих в упаковке положительных качеств, никак не собирающихся в пример, чтобы личность эта осветилась привлекательной владельностью свершившегося человека, приходится сейчас автору попристальной и подальше смотреть, чего недоставало его герою и где, в каких пределах искать недостающее.

Нынче уже мало терпения и дара, мало чистых рук и добрых намерений – как никогда прежде писателю не-

обходимы гражданская стойкость и зрелость. Что тут, казалось бы, нового: гражданин в литературе требовался всегда. Когда еще сказано: «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Нового ничего не было бы, если бы нас удовлетворяло сложившееся, вернее, каким-то образом склонившееся представление о гражданине. Понятие, в сущности, остается неизменным: гражданин – это работник, деятель, радетель во благо Отечества, но сама деятельность, само радетельство понимается сегодня так широко и привольно, что принимает форму встречных потоков. Одна сторона смотрит на действия другой как на опасную устремленность временщиков-технохватов, путающих, подобно всем временщикам, общественное благо с поместным, вторая видит в предостережениях первой болезненную одышку интеллигентского консерватизма, боящегося свежего воздуха. В массовом же понимании гражданин – это преобразователь, переустроитель, натура, идущая без оглядки вперед и только вперед. Эти разные взгляды и этот главенствующий взгляд существуют и в литературе. В огромном большинстве книжная продукция видит свою задачу в том, чтобы воспитывать в своем Отечестве «человека со стороны», преобразователя его духа, традиций, памяти, культуры и земли.

Неверно, что литература знает лишь ставить вопросы, не отвечая на них, хотя ответы, быть может, и не обязательны, потому что нравственная постановка вопроса содержит в себе и нравственный ответ на него, а безнравственная постановка вопроса – безнравственный ответ. Однако в традициях российской словесности договаривать до конца. «Деревенская» проза 60–70-х годов, как ни старались тыкать ее в вековую деревенскую грязь лицом, опасаясь, что она наследит этой грязью на полотно новой жизни – на асфальте, вернула необходимый долг родительской России не одной лишь поминной, но и живой благодарной памятью и показала, чем крепилась и

что вынесла из глубин истории национальная наша душа, указала на духовные и нравственные ценности, которые, если мы собираемся и впредь оставаться народом, а не населением, не повредят нам и на асфальте. Доказательством того, что «деревенская» литература дала отнюдь не расплывчатый и не отговорчивый ответ, явилась последующая недавняя судьба старой деревни: во вред земле, от которой мы кормимся, ее сочли «неперспективной» и снесли с лица земли.

Огромное дело сделала «военная» литература. Ей, возможно, не удалось сказать полную правду о войне, но она сказала правду о человеке на войне и назвала силу, поддержавшую солдата в сверх и сверхчеловеческих испытаниях. Сила эта – Родина в ее людских судьбах и природном и историческом завете своей неприкосновенности. Картины родных мест в их вековых природных очертаниях были для воина с Волги и Ангары, с Днепра, Сухоны и Оби оружием ничуть не меньшим, чем боевое и идейное оружие. И давайте подумаем, удалось ли нам сохранить за собой это при родине живущее, родиной являющееся оружие, не рано ли и в качестве какого пережитка мы от него отказываемся?

Главное завоевание военной прозы и поэзии, как мне представляется, надо видеть в том, что души двадцати миллионов погибших в разных землях и странах из холодных погребений были возвращены нам для дальнейшего прохождения службы в своем Отечестве.

Я говорю сейчас о «деревенском» и «военном» направлениях нашей литературы потому лишь, что все эти двадцать с лишним лет они шли рука об руку, плечо в плечо, утверждая неотменяемые принципы физического, и духовного благополучия общества. Это не значит, что их не утверждали другие направления советской литературы, литература в основных своих устремлениях – процесс единый, но едва ли всерьез можно оспорить, что наиболее

страстными и искренними голосами в общем хоре, поющими к тому же на неиспорченном языке не испорченной мелодией, были именно эти два голоса. Они сказали то, что требовалось прежде всего в эти двадцать лет сказать читателю. И, казалось нам, не опоздали со своим словом. По крайней мере, не чувствовалось трагического опоздания.

Но почему в таком случае, если литература не опоздала со своей проповедью и предостережением, незаметно нравственного очищения человека и оздоровления его духовного сознания? Почему? Можно, конечно, отговориться тем же, чем всегда оправдывалась литература: без нее, без ее стараний было бы хуже. И так оно, очевидно, и есть. Но литература перестала бы быть литературой, страдающей учительницей совести, если бы она утешилась подобным оправданием.

В 1963 году В. Чивилихин написал свое «Светлое око Сибири», с которого, как с набатного звона, предупреждающего о новой, неслыханной и невиданной доселе для Отечества опасности, потому что она исходила не извне, а изнутри, началась борьба за Байкал. Примерно в то же время С. П. Залыгин чуть ли не в одиночку выступил против намечавшегося строительства Нижне-Обской ГЭС, которое затопило бы огромные пространства низменных и заболоченных земель на севере Западной Сибири. В защиту Байкала на партийном съезде выступил М. Шолохов. Но полностью отстоять Байкал тем не менее не удалось. Властное самолюбие технократов и беспринципность ученых, призванных для решающего мнения, одержали верх над здравым смыслом. Как водится, даны были обещания, которые по сей день остались невыполненными, а очистные сооружения лишь оттянули отравление Байкала – сейчас, спустя двадцать лет, это видно и неученым взглядом.

А С. П. Залыгин добился своего. В результате писаний, хождений, убеждений, логики художника и логики

ученого ему удалось доказать несостоятельность проекта Нижне-Обской ГЭС и внушить всем нам надежду, что самоотверженная работа во имя отечества напрасной не бывает. Чего ему это стоило, знает один Залыгин. Его труды можно бы назвать подвигом, но мы привыкли к тому, что для подвига в качестве противной стороны требуется враг, а его не было, все происходило опять-таки в родных пределах, между одинаково милыми Отчизне работниками. На землях, спасенных от затопления, ныне добываются нефть и газ. Держава забыла или по злой памяти тех, кому противоречил Залыгин, не захотела воздать благодарность этому человеку. У нас в Союзе писателей много Героев Труда, но нет среди них С. П. Залыгина, давно достойного этого звания, помимо общественной деятельности, высоким значением своей литературной фигуры.

Двадцать лет с тех пор мы утверждали человеческие идеалы на грешной земле, справедливо полагая, что если литература и может чему-то научить, так это не как поступать, а чем поступать – чувством, совестью, долгом, что она руководит не внешними, а внутренними движениями и что материальная жизнь человека во многом есть результат жизни духовной. Эту связь, это равенство представлялось возможным проследить, пока движения оставались движениями, пусть и непонятными иной раз, непредсказуемыми, но не очень опасными. Когда же они превратились в стихию, когда человек, над душой которого мы хлопочем, явил нам вместо души персональную турбину, перерабатывающую отечественные чувства в ведомственную продукцию сомнительного качества, тут литературе впроку было и захлебнуться собственными увещеваниями.

Мы заняты были тонкой, ювелирной, не имеющей ни конца и ни края работой над улучшением и углублением того мира и того отечества, которые вмещает человек в себя, как субстанций духовных, говорящих о его историческом выросте. Земля, на которой мы живем, пред-

ставлялась нам вечной. Мы утверждали ценности на ней, даже как бы над ней, а сама она как великая, заглавная, несущая ценность не всегда и вмещалась в наше сознание, она была с нами, мы были вечные ее дети, то добрые, то злые, то равнодушные, но она постоянно была с нами, и этого казалось достаточно. Однако сейчас все больше и больше становится понятным, что огромная опасность грозит этой земле – не как духовному понятию, не как сумме патриотических чувств, а как пристанищу народа, на котором он осуществляет свое назначение. Потому что пять миллионов квадратных километров, которые вовлекаются в проектируемый поворот северных и сибирских рек, – это немалая часть России, потому что пятая часть мировых запасов пресной воды, которая дивной красотой плещется в Байкале, – это огромное стратегическое богатство, дороже золота, нефти, дороже чего угодно, поскольку содержит в себе жизнь.

И происходит это с нашего молчаливого согласия. Повсюду волнуются сейчас люди судьбой российской земли: столь масштабного замышления, как поворот рек, нигде и никогда еще не бывало. Не знаю, как другие, но я уже года три подряд получаю письма с вопросом: почему молчат писатели? Да, наше дело – человек, и никто не снимал с нас этой обязанности, но если на возделанной многими поколениями земле, на святой для нас с вами земле собираются производить опыты, совместные лишь с бросовой и никому не нужной территорией, не следует ли нам, пока не поздно, обратить на нее свои взоры?

Нам говорят: это нужно для страны. Мотив старый, не допускающий, казалось бы, обсуждений и принимающийся беспрекословно. Так мы его обычно и принимали. Для Родины мы, естественно, готовы на все. И последние штаны снимем, и кровь отдадим, и землю не пожалеем. Если это нужно Родине. Но вот вопрос: нужно ли это Родине? Остаться без Байкала, попуститьсь в угоду волюн-

таристским замыслениям древнеотеческой землей и своими руками сотворить то, к чему, отдав лучшие жизни, не допустили врага?

Нужно ли это Родине?

Несправедливо было бы упрекать писателей в полном молчании. До последнего часа судьбой своей северной стороны озабочен был Федор Абрамов. С авторитетным и убедительным мнением раз за разом выступает опять Сергей Залыгин. Устно и письменно горячится Василий Белов. Взывает к памяти и долгу честнейший гуманист нашего времени Д. С. Лихачев. Раздаются и другие голоса, – правда, больше на языке аллегории, которую противная сторона не дает себе труда расшифровывать. Но все это разрозненные голоса. Двадцать лет назад писательское мнение звучало дружнее и мощнее. Патриотическая близорукость, даже заскорузлость могут нам обойтись дорого. Мы по крохам считаем добродетельные приобретения, в которых участвует литература, – подобная же акция масштабного переворачивания России с ног на голову отбрасывает народное сознание далеко назад к безучастности и всеобщей вседозволенности. Литература, если она заинтересована в результатах своей работы, не вправе от этого отмахиваться.

Много лет мы шефствовали и продолжаем шефствовать над Нуреком, КамАЗом, Саяно-Шушенской ГЭС и другими гигантами промышленности. Нет никакого сомнения, что все они прекрасно были бы построены и без нас, но, быть может, от шефства журналов и писательских организаций та была польза, что оно уберегло чьи-то души от бетонной и металлической ржавчины. Нынче – нельзя этого не чувствовать, а писатель своим чутким ухом обязан слышать это веление времени прежде других – от нас требуется иное. Россия ждет от нас, чтобы мы взяли шефство над Байкалом, алтайским кедром и святой землей Русского Севера. И это, разумеется, должно быть не

шефство в холодном и формальном наполнении слова, а сыновья деятельная охрана того, без чего мы не сможем обойтись. Как в суровом 41-м не было для нас земли позади Москвы, так и сегодня за Русским Севером и Байкалом Россию нам не удержать.

В литературе нет черной работы, а русская литература всегда, во все времена, прежде всего отзывалась на потребности Отечества. И то, к чему я клоню, вовсе не прикладная литература, я никого не призываю оставить божественные звуки и перевести великий русский язык, национальные языки на пламенную отчетность. У каждого из нас свой участок на общем литературном поле, на котором писатель может принести наибольшую пользу. Но если представить наше общее поле не в абстрактной, а конкретной картине, – это и будет Россия. Нет для нас судьбы и нет у нас слова помимо России. Здоровое интернациональное чувство зиждется на чувстве национальном – едва ли такие вещи нужно расшифровывать. Чтобы завтра могли явиться в литературу новые Пушкины и Феты, Тургеневы и Бунины, Пришвины, Казаковы и Носовы, певцы русской природы и русской души – не надо ли нам сегодня всем вместе позаботиться о сбережении и души, и природы. Профессиональному этикету это несколько не повредит.

Критика чаще всего судит о литературе по ее главам. Это справедливо, если говорить о достижениях словесности, и не совсем справедливо, если говорить о ее состоянии. У нас немало замечательных мастеров, кудесников слова и апостолов совести. Однако ниже определенной отметки, там, где кончаются имена, громкие и негромкие, одинаково полезные литературе, и начинается членство в Союзе писателей, сейчас как никогда море разливанное неразборчивости, нетребовательности и духовной безграмотности. Хуже всего, что царят неразборчивость и гражданское безразличие, пользующиеся тем, что поближе лежит и погромче гремит.

Не здесь ли и следует искать причины малой нравственной и духовной продуктивности литературы в целом. Конечно, лучшие ее образцы издаются и читаются, они, казалось бы, постоянно на слуху и на виду, но что это в сравнении со всей массой литературной продукции, имеющей равную степень внушения: истинные идеалы способствуют истинным идеалам, духовное «шалтай-болтайство», историческое беспамятство и беспородность те же семена вокруг себя и засевают. И работа их, надо признать, шире, усваиваются они легче и закрепляются благодаря общему климату прочнее.

Заканчивая, я хочу вернуться к тому же, с чего начал: да, наша профессия требует мужества, и прежде всего оно требуется, когда писатель остается наедине с собой и в борьбе с собой. Каждая книга – победа в такой борьбе. Но чья победа? Или мученика, с великой надсадой добывающего слово, чтобы совесть и правда воссияли в нем единственным начертанием пера и судьбы, или специалиста по синонимам, который может случиться, вероятно, в любом писателе, как только утерчет он гражданскую твердость.

Мужество писателя – это его духовный склад. И складывается оно из основных и живых понятий Родины во всей ее исторической судьбе, которые, составляя чуткую и страдающую душу писателя, находят выражение в его работе. Мы – носители силы и боли России, слова ее и духа. Чтобы нести вложенное природой и отеческим благоволением, особливо мужества не надо. Оно требуется, чтобы не хранить в себе правду и тревогу, а говорить о них честно и открыто.

1985

ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ...

Что такое вообще совесть? Вопрос не праздный; часто употребляя это слово и часто пользуясь этим по-

нятием, мы настолько свыклись, с одной стороны, с его недосыгаемостью и настолько, с другой стороны, приспособили его для своих нужд, что и в том и другом случаях оно оказалось далеко от своей истинной сути. Совесть в отношении к обществу – это основная духовная задача и основная нравственная норма, которые созданы опытом всех предыдущих поколений и вверены нам для выполнения и возможного совершенствования. Иными словами говоря, совесть – это живое предчувствие и предсказание совершенного человека и совершенного общества, к которым человечество и держит путь, и неразрывная связь всех без исключения поколений – прошлых и будущих. В отношении к каждому из нас – это контрольное дыхание, или, лучше сказать, контрольное движение в нас общечеловеческой идеи. Мы способны из каких-то своих практических целей объявить, что совесть ныне не то, что всегда было, и общим мнением сместить ее вправо или влево, но истинное ее положение и истинная ее сущность от этого не изменятся и наши поправки пойдут только во вред нам. Кто-то из нас способен и вовсе отказаться жить по законам совести, соблазненный не считаться с тем, что не имеет определенного образа, однако он должен знать, что, как заложенная в нем обязательная для исполнения норма, она не простит небрежения собой и непременно взыщет за это. Рано или поздно, но взыщет. Это абстрактное, на наш взгляд, понятие обладает настолько очевидной реальной силой, что странно, почему человек до сих пор упрямо старается не замечать ее.

Под совестью народной следует, очевидно, понимать выражение совести неискривленной, здоровой, какой она и должна быть.

Писателю в наше время ни к чему говорить, что хорошо и что плохо, это знают и без него. Это все равно что человеку с высшим образованием показывать, где лево и где право. Конец XX века для человечества – само по себе

уже всеобщее высшее образование, когда основы гуманности должны существовать у нас в плоти и крови. Они, надо полагать, и существуют, но... Споткнувшись об это «но», о нем можно рассуждать много, и все-таки не дело писателю стоять регулировщиком па перекрестке, где люди сознательно нарушают правила движения.

Писатель вправе ставить перед собой более сложные вопросы и говорить об истинном и ложном, о вечном и преходящем, о подлинном и подменном в жизни общества, он обязан знать и указывать на ценности, которые ни при каких условиях не должны быть пересматриваемы как неперемное и выверенное условие правильного общественного развития. На то он и писатель, чтобы видеть сегодняшний день в ряду полного времени и понимать сегодняшнюю жизнь в ряду национального и общечеловеческого движения к своим идеалам.

* * *

Думаю, что мудрствовать особо над способами соотнесения локального и глобального в литературе не стоит, оно должно происходить само собой – от чувства человека и мира в писателе, оттого, насколько верно представляет он место мира в человеке и место и возможности человека в мире. Да, мир стал теснее и человек стал опасней, и не только в большом, политическом смысле, но и в смысле житейском, обыденном, и с этими изменениями, хочешь не хочешь, приходится считаться, когда садишься за книгу и намечаешь тот круг обстоятельств и доказательств, в котором станут действовать твои герои. И все-таки, считаясь с ними, принимая и передавая тревоги мира, не следует, мне кажется, искать новые, более высокие точки наблюдения, откуда был бы виден весь мир, а лучше по-прежнему двигаться вслед за человеком – за человеком не как гражданином вселенной, а как жителем твоей родной

земли. В литературе мир сходится в человеке. Все лучшие произведения и последних десятилетий, и последних лет, не говоря уже о старых временах, строились не по законам центробежной, а по законам центростремительной силы. В наше время атрофированных слов и чувств тем более важно отыскать такие слова и такие чувства, которые были бы услышаны душой и сердцем. Нынче человек тем и отличается, что он не хочет слышать ничего громкого, не хочет понимать ничего всеобщего, а отзывается лишь искренности, истине и точному названию, он все больше и больше уходит в себя, и достучаться до него можно, лишь вызывая сочувствие и сострадание.

Внешний мир за последние сто лет изменился, пожалуй, больше, чем за предыдущие пятьсот, но, высказанный сто лет назад в «Братьях Карамазовых» словом художественный центр духовной и нравственной тяжести человека не только ныне не устарел в своих основных понятиях, но стал еще актуальнее. А ведь действие в этом романе происходит, как мы помним, всего лишь в маленьком провинциальном городке.

После Достоевского открытие человеческой души приостановилось. И не потому, что оно состоялось полностью и больше сказать о ней нечего. Глубины ее до сих пор остаются темными и неизвестными, и даже то, что сказал о ней Достоевский, в немалой степени теперь забыто. Мол, не тот человек, не та душа. Но именно это обстоятельство, что человек изменился, и должно бы заставить нас вслед за причинами внешнего мира (которым причина опять-таки человек) искать причины в нем самом. Чем меньше остается человеку пространства во внешнем мире, тем больше он будет стараться раздвинуть мир собственный, заключенный внутри.

В литературе всякая широта – в глубине, в познании человека во всех его мирах и связях, но в познании человека как цели всего сущего, а не как вспомогательного средства.

* * *

Вернуться к тому, что уже утеряно, нельзя. Это не самолет в воздухе развернуть, чтобы воротиться за забытым багажом, а мы и на это при нашей практичности и занятости не способны. Представьте себе такую ситуацию: лечу я из Иркутска в Москву и вдруг на половине пути выясняется, что все мы, пассажиры авиалайнера, оставили в Иркутске нечто, без чего поездка каждого из нас окажется не только бесполезной, но и принесет нам немалый вред. Вернемся мы за этим «нечто»? Нет, не вернемся. Мы и психологию свою подчинили тому, что для нас важна устремленность вперед и только вперед, а во имя чего – дело десятое.

Не стоит обольщаться – нам уже не вернуть многие добрые старые традиции, которыми жили наши деды и прадеды. Они безвозвратно канули вместе с неторопливыми и основательными временами предков. Теперь речь о том, чтобы сохранить оставшиеся, не отказываться от них с той же легкостью и бесшабашностью, как это было до недавних пор. Искать, или, выражаясь языком эпохи, выковырывать в противовес старой какую-то новую мораль – значит оправдывать свое отступление от веками проверенных и освященных нравственных требований к живущим. Это в сути своей неизблемые законы, и не резон нам, если мы не собираемся сознательно нарушать собою связь времен, открепившись от них.

Разумеется, задачи и выводы так называемой деревенской литературы во всей совокупности своей гораздо сложнее, и в нескольких словах их не объяснить. Уверен, что «деревенская проза» как она есть сейчас, в такой литературе, как российская с ее традиционной человечностью, болью и совестливостью, не могла в 70-х годах не появиться и не сказать свое скорбное слово. Пожалуй, не писатели создавали эту прозу, а литература, как процесс живой и чуткий, волей своей создавала писателей

для этой прозы, необходимость и важность которой были предопределены течением, а в данном случае даже и не течением, а ускорением жизни. То, что вековой уклад деревни оказался полностью нарушенным и вместе с ним оказался нарушенным и ее моральный климат (а деревня издавна была хранительницей моральных устоев народа), не могло, разумеется, не отразиться в литературе, которая всегда очень верно улавливает подобные изменения. Это не противопоставление города деревне и не попытки сохранить старую, отжившую свое деревню, как слишком грубо и упрощенно толковала иной раз «деревенскую прозу» критика, – суть в другом: когда у города был столь надежный нравственный тыл, как деревня, легче было существовать и ему, городу. Писатели этого направления решали не сторонние и не какие-то узкие, областнические, а общечеловеческие проблемы, важные как для города, так и для деревни, как для пожилых людей, так и для молодых, – проблемы не надуманные, а способные давать объяснение многим социальным явлениям. Другими словами – «деревенская» литература оказалась способной точно находить нервные окончания на том огромном теле, который мы называем «народ».

* * *

Родину, как и родителей, не выбирают, она дается нам вместе с рождением и впитывается с детством. Для каждого из нас это центр Земли, независимо от того, большой ли это город или маленький поселок где-нибудь в тундре. С годами, становясь взрослей и обживая свою судьбу, мы присоединяем к этому центру все новые и новые края, можем сменить место жительства и переехать в провинцию; как ни парадоксально, «провинцией» в этом случае способен оказаться и большой город, но центр по-прежнему там, на нашей малой родине. Ее сменить нельзя.

Малая родина дает нам гораздо больше, чем мы в состоянии осознать. Человеческие наши качества, вынесенные из детства и юности, надо делить пополам: половина от родителей и половина от взрастившей нас земли. Она способна исправить ошибки родительского воспитания. Первые и самые прочные представления о добре и зле, о красоте и уродстве мы выносим из нее и всю жизнь затем соотносим с этими изначальными образами и понятиями. Природа родного края отчеканивается в наших душах навеки. Я, например, когда я испытываю нечто вроде молитвы, то вижу себя на берегу старой Ангары, которой теперь нет, возле моей родной Аталанки, острова напротив и заходящее за другой берег солнце. Немало в жизни повидал я всяких красот, рукотворных и нерукотворных, но и умирать буду с этой картиной, дороже и ближе которой для меня ничего нет. Я верю, что и в моем писательском деле она сыграла не последнюю роль: когда-то в неотмеченную минуту вышел я к Ангаре и обомлел – и от вошедшей в меня красоты обомлел, а также от явившегося из нее сознательного и материального чувства родины. Художником человек становится лишь тогда, когда свои собственные чувства он соединяет с общим народным и природным чувствилищем, в которые я верю не меньше, чем в совесть и истину, и в которых они, быть может, и проживают.

Я это еще и к тому говорю, что разрушенная отнюдь не сыновьим хозяйничанием родина приводит и к духовному и к физическому разрушению человека. Это вещи одного порядка.

Конечно, малой родиной может быть и большой город, вернее какой-то милый сердцу район города. У Булата Окуджавы это Старый Арбат, у Юрия Нагибина – Армянский переулок. А вспомним Мандельштама:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Будто солнце мы похоронили в нем.

Черты малой родины и дух ее, хоть в городе она, хоть в деревне, в творчестве писателя заметны всегда. Потому что малая родина – это не только природа в деревне и история в городе, но еще и человеческие взаимоотношения, уклад жизни и традиции живущих. Это и язык, и вера, и определенные склонности, вынесенные из самой земли вместе с ее солью. Это «родимые» пятна каждого человека, а в писателе они видны в особенности.

И все же в чем отличия писателя, вышедшего из деревни, от городского писателя? Думаю, в более чувственном и менее рационалистическом восприятии жизни. В статье о Чехове Юрий Нагибин, сравнивая Чехова с Буниным, говорит, что почти все нынешние «деревенщики» вышли из Бунина. Я с удовольствием соглашусь, что они одного поля ягода, но не потому, что истоком «деревенщиков» был Бунин, а потому, что истоком всех их вместе, в том числе и Бунина, была деревня с ее сильным природным и традиционным влиянием.

* * *

Сейчас пришло время, скажем так: давно пришло и как бы не прошло с окончательно необратимым результатом, когда но обойтись без массовой работы по экологическому воспитанию вообще человека, где бы, в каком краю он ни жил и чем бы ни занимался. Эта работа должна охватывать все сферы деятельности человека, от школьного образования, от привития начальной любви к животным, деревьям и травам до министерского рукоположения, когда лицо, вступающее в высокую хозяйственную должность, давало бы клятву ни на минуту не забывать об убережении родной природы. Безнравственный министр, безнравственный ученый, безнравственный писатель – зло не меньшее, а может быть, и большее, чем землетрясение или наводнение, поскольку

оно отличается не разовым, а долговременным и нарастающим действием.

Человек незаметно сдвинулся со многих нравственных оснований, и одно из них – подмена ценностей. Нас уверяют: строительство природовредных предприятий вызвано необходимостью, и мы со вздохом соглашаемся: что ж делать, коли так... Считается, что другого выхода нет, что это высокая, крайняя необходимость, от которой зависит, быть нам или не быть. Но в том-то и штука, однако, что самая высокая и крайняя необходимость, от которой именно зависит, быть нам или не быть, – это сохранение жизнедающих воды, воздуха и земли. Числитель, первополагающая величина, перешел у нас в знаменатель, стал второстепенной, и мы приняли это как должное. Фактор обеспечения жизни сделался зависимым от фактора повреждения жизни. Очевидно, эта перестановка совершена была не сознательно, но она тем не менее произошла, и наша психология, наш взгляд на вещи с нею смирились.

Говоря о Сибири, приходится повторять снова и снова: она нуждается в сибиряке. Не в сезонном работнике, не в сменных бригадах (хотя сейчас не обойтись), а в тех, кто выбирает Сибирь своей родиной.

С 60-х годов XIX столетия, после освободительной крестьянской реформы и до начала Первой мировой войны, в Сибирь перебрались из западных областей многие сотни тысяч людей. Сейчас их не отличить от более ранних насельников, те и другие сибиряки. Им помогло стать сибиряками то, что они ехали сюда на постоянную жизнь. Временные в последние десятилетия вместе с результатом видимого полезного труда, оставшегося в плотинах гидроэлектростанций и заводских корпусах, в линиях железных дорог и нефтепроводов, оставили и другие, невидимые, но ощутимые плоды: дух временности и экспедиционности. Он растекался по Сибири так широко, что теперь и не по-

нять, где искать его концы и где начала. Он ведет линии на ватманских листах в проектных институтах, расписывает капиталовложения – сколько на промышленность и сколько на детские сады и библиотеки, отдает сибирскую тайгу в руки самозаготовителей, которые хозяйничают в ней как варвары, отнимает у полей землю, а у рек – извечные пути.

Это почти заколдованный круг: качество жизни не поднимется, пока над Сибирью будет витать этот дух, а он будет витать, пока не изменится к ней отношение. У нас по-прежнему, как двести и триста лет назад, обирают Сибирь и укрепляют за ее счет столицы.

* * *

Я решительно отказываюсь соглашаться с этим понятием: «неперспективная» деревня. Что такое «неперспективная»? Если там живут люди – там должен быть магазин для обеспечения их всем необходимым; если есть дети – должна быть школа. Вокруг земля, пашни – они будут трудиться на этой земле, выращивать хлеб, содержать скот. Если даже в деревне осталось десять-пятнадцать семей, и в этом случае перспективу ее нужно видеть в увеличении населения, в возрождении жизни, а не в ее уничтожении.

«Неперспективная» появилось из неверного подхода: как сподручней, легче хозяйничать, а не как лучше обихаживать землю и проявлять заботу о людях. Люди оказались средством экономики, а не наоборот. Вот и сдвинули человека, как предмет, с насиженного места, откуда он, не оставившаяся на промежуточной станции, справедливо сочтя ее ненадежной, сразу ушел на асфальт – попробуйте вернуть его обратно на осиротевшую землю. Теперь выясняется, что и с экономической точки зрения убирать «неперспективную» было невыгодно, что и здесь наломали дров. Спихватились: надо было осторожней! О чем же вы, умные головы,

думали раньше, почему из ваших сердец, как неперспективное, оказалось изъято чувство Отчизны, складывающееся в том числе и из таких вот маленьких деревень?!

* * *

В самих наших разногласиях по экологическим вопросам, равно как и по вопросам культурно-исторического наследия, ничего особенного нет. Их можно бы считать естественными – разные взгляды на эти вещи были и будут, а споры должны приводить к истине, если бы наши противники проявляли уважение к истине. Однако они чаще прибегают к уловкам, подтасовкам, силовым приемам, а стало быть, к диктату. Больше всего пугает, что, пользуясь одним языком, мы перестаем совершенно понимать друг друга. Дело не в том, что нравственность и экономика имеют разные словари, они должны бы сходиться в утверждающемся сейчас понятии нравственности экономики; суть, вероятно, в другом – в разнотипности человека. Произошло неожиданное, но вполне закономерное явление: научно-техническая революция свершилась у нас на слабой, полупогребенной духовно-исторической почве, в беспамятном энтузиазме – отсюда и явление людей беспородных, потерявших национальные и отеческие корни, легких и решительных именно своей неукорененностью и разъединенностью с народом. Это безотцовщина особого рода, опасная своей вычислительной моралью, а по способу хозяйствования это хвататы, воры в законе, особи небывалой породы.

Поэтому вести спор с такими людьми, как понимаете, трудно. Что для нас с вами свято и вечно, для них пустой звук. И для чувства Родины место в них утеряно.

Кстати, литература брезгует этим типом. Она лишь заметила его, показала малую часть его действий и словно бы остановилась в оцепенении: не может быть! Есть, да

еще как есть! И, пока мы боязливо рассматривали его, он успел продвинуться далеко и установиться прочно, став государственной величиной.

* * *

Сейчас всех спрашивают о молодежи: как она, какой она нам кажется? И уже одно это говорит о том, что кажется она нам не очень. Отвечая на эти вопросы, одни из нас приводят слова древних, сказанные словно бы сегодня, — настолько совпадают они с нашим мнением, подтверждая тем самым, что старшим поколениям всегда, во все времена было свойственно жаловаться на молодежь. Другие, отвечая, мнутя: мол, у нас в общем и целом молодежь замечательная, но определенная часть ее, как это всегда и водилось, подвержена пережиткам и недостаткам.

Дело как раз в том и заключается, что эта «определенная часть» все больше ставит нас в тупик: не должно быть, а есть; должна по всем законам и канонам уменьшаться, а она увеличивается, растет без всяких видимых причин; «пережитки» и «недостатки» превращаются, с одной стороны, в столь страшные и не единично случающиеся преступления, которые невозможно понять никакими доводами человеческого рассудка, а с другой стороны, ведут к пассивности, равнодушию, черствости и всяческой неразборчивости. И это уже отнюдь не «пережитки», а «нажитки».

Не надо быть специалистом по этим проблемам, чтобы понимать, что молодежь у нас ровно такая, какой она и должна быть, — не лучше и не хуже. И «неча на зеркало пенять». Мы не отдавали ее на воспитание к чужому дяде, а воспитывали сами. Она во всех своих качествах произошла из нас, из нашего отношения как к духовным, как к вещественным ценностям, так и друг к другу. Из нашего отношения к своим святыням, к своей земле. В каждом городе (или почти в каждом) новые стадионы и парки

построены и разбиты на месте кладбищ, и молодежь вынуждена отплясывать и кувыраться, гонять мяч под рев многотысячной взбудораженной толпы на костях своих предков, в том числе именитых и знаменитых граждан. Сколько угодно проводите вы потом с нею воспитательных бесед – своего рода «пепел Клааса» уже стучит в ее сердцах, она знает уже на практике, что такое вседозволенность. В деревне Дворцы культуры возводятся не на могилах, но и там сплошь и рядом наше слово расходится с делом, и особенно в отношении к земле, а значит, и ко всем тем ценностям, которыми извечно жил хлебороб. Молодежь, как это и должно быть, чрезмерно чувствительна ко всякого рода неискренности и фальши, к не нашедшим необходимого исправления общественным и нравственным перекосам, которыми никак не обеднеет наша жизнь, к пустозвонству и очковтирательству, и тем страшней и непоправимей трагедия молодой неокрепшей души, что она происходит скрыто и, казалось бы, безболезненно. Отсюда и повороты души: у одних – в улицу, у других – в себя, у одних – в насилие, переходящее границы закона, у других – во вседозволенность и нравственное разбойство в границах писанных законов.

И верно, все меньше поэзии самого детства, всего того, что связано с устным, бытовавшим из поколения в поколение и бывшим частью жизни фольклором: с поверьями, сказками, семейными преданиями, вечерними рассказами, бывальщинами и небылицами, воспитывающими торжественное, чуткое и благоговейное отношение к миру. Представьте себе, что Пушкин в детстве слушал бы не сказки Арины Родионовны, а песни Аллы Пугачевой – да разве мог бы он стать Пушкиным! Мы отняли у ребенка тайну, с самых младых лет все объяснив ему и показав как в нем самом, так и вокруг него, и сделали это торопливо и грубо, не посчитавшись с возрастом, который требует самостоятельного и опытного познания; мы

сняли с мира чудо бытия в нем, а значит, и чудо своего собственного бытия, у нас ребенок смотрит на вечернюю звезду с мыслью, за какое время можно до нее долететь; мы обобществили и механизировали детство, пустили его на поточно-воспитательный скоростной метод и убедили детей, что души нет и быть не может и, стало быть, все, что предназначалось для нее веками в мире – сплошная чепуха. И что же удивляться после этого, что молодое поколение у нас лишено идеализма, чувствительности, мечтательности, без коих не может быть мягкого и образованного сердца, и заражено практицизмом. Любой материалист, и первые шаги начинающий с материализма, дальше грубости и вульгарности не пойдет.

Человек с детства должен чувствовать ответственность за свою жизнь – она подменена сейчас казенным воспитанием и казенной ответственностью. И только тогда он станет относиться к человеческой жизни как общественной ценности, когда почувствует и проявит свою индивидуальность.

Но погодите, погодите – о чем это я?! Все это, разумеется, было и вызывало немалую тревогу. Но, Господи! – было это двадцать лет назад. А по теперешним представлениям – тысячу лет назад. И за эти сроки произошли не просто перемены, а крушения, одно за другим, одно за другим, так что и дух перевести не удавалось. О ребятишках в эти буйные, вырвавшиеся из-под всякого подчинения годы вспомнили в последнюю очередь, а вспомнив, беспомощно разводили руками, не зная, что с ними делать. Семьи распались, школы наполовину опустели, больше миллиона недорослей занялись бродяжничеством. Старшие окунулись в наркотики, младшие наслаждались свободой на рынках, вокзалах и подземных ходах теплотрасс, девочки-малолетки отдавались второй древнейшей профессии.

Но вот и еще минуло десять лет. Страна худо-бедно принялась в низах наводить порядок, а в верхах, счаст-

ливым случаем наткнувшись на бешеные богатства, двинулась покорять и скупать Европу. Девочки с панелей, повзрослев, двинулись миллионами туда же – на поиск счастья и мужей. Не стоит говорить, многим ли повезло; что поделаешь – у каждого своя дорога.

А у российских школьников теперь только два учителя: дома телевизор, о котором моя героиня-старушка отзывалась: «Такой проказник, такой проказник, все-то все кажет», а в школе – компьютер, откровенно не любящий русский язык.

Тридцать лет назад писатель еще мог размышлять о недостаточном и искривленном воспитании молодежи. А теперь и сказать нечего. 2007 год был объявлен правительством Годом русского языка, а Министерство образования и язык, и литературу откровенно не жалует, считая достаточным то, что их изучали бабушки.

* * *

...Что такое – быть современным? Я человек традиционных устоявшихся взглядов на жизнь и искусство, и для меня быть современным – значит понимать в своих днях меру сезонного и вечного, случайного и закономерного. Отличить одно от другого не так уж и трудно, если знать хорошо прошлое своей страны и со вниманием всматриваться в настоящее. Сезонное, временное всегда заявляет о себе слишком настойчиво и громко, оно торопливо и эмоционально; вечное, зная себе цену, спокойно и говорит известными словами. Разобравшись, что конъюнктура и что нет, что с годами и с опытом исчезнет и что останется, человеку легче принять сознательное решение в выборе своего жизненного пути и остаться личностью. Быть современным – не ошибиться, не отдать свое время и свою жизнь недолговечным, а то и просто вредным влияниям.

* * *

О языке. Пока громыхают дискуссии о языке, о том, пущать или не пущать народный говор в литературу и жизнь, народ говорит. И спасибо ему, что, не зная о дискуссиях и не читая книг о народной якобы жизни, написанных словом, близким к эсперанто, он говорит, сохраняя свой великий и могучий, точный и меткий, глубокий и крепкий, не требующий пояснений к слову язык. Где еще, в каком другом языке из одной фразы может составиться целая история и целая поэма! Только человек, потерявший родовую память, способен уверять, что из рассветных и исторических глубин нации вышедшее слово должно в глубинах и оставаться и не претендовать на литературную правомочность. По той утверждающейся причине, что оно сделалось непонятным. Непонятно – пойми, найди его значение, разыщи корни, окупись в омутную родниковую стихию, и, если даже покажется тебе, что слово затянута плесенью, омой его, поставь туда, куда оно просится, и ты увидишь, как оно заиграет и заговорит. Почему большинство людей со здоровым, ненарушенным слухом должно подстраиваться под глухое меньшинство, пользующееся отжатой и обескровленной речью и считающее ее современной нормой?

Само собой разумеется, что диалектному, народному слову нужно знать место и меру. Кто с этим спорит – всякое лыко в строку. Да ведь и много чему на свете нужно знать место и меру – почему же это место и эта мера, уже и немало обуженные, уже принятые читателем как художественная необходимость, как безусловный знак естественного поведения героев, продолжают вызывать спор? Почему подзабытое «культурной средой», но живое, существующее в живом значении, родное слово – сорняк и отброс, а заимствованные, возвращенные на академических гербицидах, нововведения – законные граждане русского языка, устраивающие ему чистку? Не потому ли, что поход

на русский язык, давно начатый с чужой стороны, быть может, невольно принял теперь уже свой человек, ищущий в себе доказательств какой-то особой культуры? Как иначе объяснить, зачем, по какой такой нужде вместо привычного «продления» взяли и приучили мы себя к «пролонгации», а вместо «состава» к «контингенту», окопавшемуся до «контингентированного» и «контингентироваться»? Красивей они звучат, больше дают, глубже падают? Несть числа подобным примерам; я усилием обрываю себя, чтобы не завестись и не продолжить на многие страницы их перечисление, которые одно чудесней другого. Полистайте последние издания орфографического словаря нашего языка – сколько там осталось русских слов?! Не в том ли и разгадка, что родовое слово падает, а безродное и беспородное – порожняком брэнчит, и мы немало уже подпорчены этаким холостым, звеньяющим словом, которым можно ничего не сказать. Прислушайтесь: как зарывается в почву, глухо пропоров вековую удобрину, и с какой добычей является одно и как, будто от каменной тверди, отскакивает другое. Во многих европейских (и не только европейских) странах в последнее время создаются общества и принимаются законы по охране собственного языка от «оккупантов», а мы, то ли от излишней доверчивости, то ли от неразборчивости, продолжаем с распростертыми объятиями принимать все, что нам подсовывают.

Конечно, массовые сродства информации, и особенно телевидение, не говорящие, а вещающие, свое дело делают; растекшееся по поверхности образование – тоже не слуга русскому языку. Но вот в чем, казалось бы, парадокс, а в действительности закон языка: чем больше опасность его растирания, заваливания шлаковыми образованиями, тем пристальней интерес к самобытному народному слову. Выходящий сейчас многотомный «Словарь русских народных говоров» днем с огнем не сыскать, областные словари нарасхват. А появляется их немало. Московский университет

издает под редакцией О. Г. Гецовой «Архангельский областной словарь», четыре первые книжки которого не охватили и трех букв алфавита; Томский университет осуществил редчайшие и бесценные издания «Словаря русских старожильческих городов Среднего Приобья» и «Словаря просторечий русских говоров Приобья».

А «Словарь русских говоров Забайкалья»! А «Словарь русских говоров Новосибирской области»! О «Словаре говоров русских старожил Байкальской Сибири» Г. Афанасьевой-Медведевой мы уже говорили. И так далее, и так далее, о чем я знаю и не знаю. В нас не одна лишь ностальгия по отговорившему живет, когда мы читаем и изучаем эти словари, – к нам вместе с родовым языком является чувство обретенности и глубины. Слово словно бы онемевшие связи восстанавливаются от живой воды и добавляются к действующим. Слово словно из дальних скитаний возвращаешься домой и этим словом тебе указывают дорогу. Слово словно ряд за рядом расшифровываешь заложенные в тебе знаки, чтобы открылось наконец, кто ты и зачем ты на белом свете есть.

Язык вмещает в себе все: и характер народный, и опыт, и историю, и философию, и верования, и чаяния, и тяготы в долгом пути. И духовное здоровье нации, нравственное ее состояние прежде всего замечаются народным языком. Все это мы вроде знаем. Но... очередная дискуссия и очередное, через умную городьбу слов, подныривающее внушение: сколько можно говорить и писать по старинке! на дворе не семнадцатый, а двадцать первый век.

А не худо бы и не лишне и до тридцатого, до сорокового сохранить нам русский язык. Пока жив язык – жива и нация.

* * *

Публицистикой сейчас писатель не только не должен пренебрегать, он, мне кажется, не может без нее обходить-

ся по велению собственной совести. Она – это взволнованное, горячее, требующее отклика и вмешательства слово. Слово, которое нельзя было не сказать. Мне бы, может, куда приятнее было поместить своего героя в старинный сибирский город и прогуливаться вместе с ним по расписным и заповедным, нигде в свете больше не встречающимся улочкам, вызывающим чувство родовой глубины и неподдельной гордости за свой народ. Однако чтобы прогуливаться по таким улочкам, их надо сберечь. Вот и приходится переходить на голый, не приукрашенный никакой литературной образностью язык и взывать к благоразумию и справедливости.

Из огромной проблематики, принесенной нам жизнью в последние десятилетия и годы, есть три основных вопроса, самые главные, на которых сейчас стоит земля. И все три – охранные. Пришло время прежде приумножения говорить как о главном факторе продолжения человеческой жизни, о сбережении. Это вопросы сохранения мира, сохранения природы и сохранения памяти. Их можно и нужно ставить в один ряд, потому что от каждого из них последовательно зависит все наше отнюдь не отдаленное будущее. Если мы сегодня отстоим мир и добьемся права на завтрашний день, послезавтра мы можем погибнуть от отравленных воздуха, воды и земли. Если мы сумеем и природу отстоять – через два дня новая опасность, не менее трагическая, – свихнуться и погибнуть от беспамятства и безразличия, от потери чувства самосохранения. У нас нет другого выхода, если мы собираемся быть и жить, как бороться одновременно и за завтрашний день, и за послезавтрашний, и за тот, когда станут жить наши внуки.

И вот попробуйте в этих обстоятельствах умыть руки и сослаться на то, что нам некогда, что вы заняты «вечным» словом, которое станут читать не только современники, но и потомки.

Может ведь так случиться, что некому будет читать.

* * *

Немного еще о русскости. Я вспоминаю, как на одном из писательских пленумов в середине 80-х годов мой коллега из среднеазиатской республики заговорил о регулируемом и нерегулируемом росте рождаемости на его родине и в России. И предположил, что при существующих там и там темпах рождаемости русскому народу в скором времени грозит опасность потерять свое численное большинство. Само по себе это было справедливо, но коллега как-то весело и бестактно добавил: «А что плохого в том, чтобы быть национальным меньшинством?»

У него это вырвалось, вероятно, по простоте, быть может, никого обидеть он не думал, но простота эта задела: жаждущих укоротить русское население становилось все больше, в том числе и в самой России, и они уже не считали нужным прятать свои взгляды, переводя их, правда, иногда в шутку.

Сейчас правительство наконец вроде принимает меры для увеличения рождаемости. Но, во-первых, русские бабы, надорванные то ли тяжким трудом, то ли водкой, и в этом деле отстают, а во-вторых...

Во-вторых, и плодovitость подсекли...

Были времена, когда ребятишек рождалось столько, сколько их просилось на белый свет... И это было естественно, по-Божески. Без всякой государственной поддержки поднимали по десять-двадцать сосунков. Семьи были большие, без пристроев для новой молодой семьи редкий двор стоял, хватало и на воинство, и на полевые и таежные работы, и на отхожие промыслы, и на ремесла, и на грамотеев. Времена воистину былинные, иначе не скажешь. И хоть частые войны уносили щедрые жертвы, но и восполнение знало свое дело.

Затем пошли другие времена. Советская власть правильно делала, что запрещала аборты. Но как можно было

при этом обрезать огороды, покосы, а молоко, яйца заносить в налоги и обрезать ребятишек на голод?.. Храмы разбомбили, человека освободили от нравственной чистоты и греха, подоспело пьянство. Дальше – больше. «Неперспективные» деревни – это преступление, не иначе. Сотни тысяч, миллионы селян заставляли покидать родные вековые деревни и сравнивать их с землей, терять душу и красоту.

Дальше – больше, дальше – гаже...

Разнуздали TV, взяли его под государственную охрану, все содомские грехи разом вывалили на головы молодежи – чьих же кровей будет новорожденный гражданин, за которого государство затем внесет деньги? Конечно, содомских, России от него подвигов и доблестей не дожидаться, он уже в утробе материнской принимает чужое выражение.

Я, разумеется, не за то, чтобы не поощрять рождаемость. Боже упаси! – это необходимо, не все же у нас погрязло в содомской грязи. А кого больше – погрязших или не погрязших? Подсчитать это невозможно, а укоротить разгул непотребства – если Россию пытаются почистить от грязи всерьез – не так уж и трудно. Не бойтесь данайцев, дары приносящих, но поспешайте спасти тех, кого они окормили своими плодами.

На родине того самого литератора, который в свое время на писательском съезде предрек России скорое меньшинство русских среди других народов и народностей, – так вот, на его родине коренного населения уже сегодня больше, чем русских у нас, и ежегодно теперь они наезжают в Россию, чтобы не только торговать, но и строить, ибо своих рабочих рук у нас катастрофически не хватает.

* * *

Верю, что наступит такое время, и оно не за горами, когда люди вынуждены будут согласиться, что безудерж-

ный и безоглядный технический прогресс давно уже не служит человеку и что он не есть прогресс. Едва ли это произойдет по их доброй воле – скорее, их остановит у последней черты пропасть под колесами и на дне ее пустыня вместо лесов, лугов и озер. Тогда, собравшись лучшими умами, люди решат, что полезно из созданного нами и ими и что вредно, и ненужное уничтожат. Вглядевшись внимательно друг в друга, они откроют в себе руки, ноги и голову и найдут им работу, которая будет способствовать физическому и духовному совершенствованию человека, а не порабощению его.

Верю, что русские останутся русскими, татары татарами, а французы французами, что, будучи интернационалистами, мы сохраним в себе национальные начала и что и через сто лет станем ходить на поклонение Полю Куликову и Бородинскому Полю, к Пушкину и Достоевскому, к Шевченко и Руставели.

Верю в конечный светлый смысл нашего существования на земле, в то, что жизнью своей мы удобрим какие-то великие цели.

Верю в добро, побеждающее зло, в постепенное накопление и объединение добра, в то, что оно свободно будет избрано всеми...

1987, 2007

К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЗМЕ

Меня задело в одной из статей утверждение о том, что слово «патриот» в русском языке не должно иметь первого лица. Это значит, что никто из нас не вправе сказать: «Я – патриот», а может надеяться, что кто-то скажет о нем: «Ты – патриот», или после смерти напишут в прощальном слове: «Он был патриот». Выходит, что декабрист Раевский был слишком нескромен и много на себя брал, когда

говорил: «Если патриотизм – это преступление, я – преступник, и пусть суд вынесет мне самый ужасный приговор, я подпишу приговор».

И все другие, кто считал себя патриотом, не имели морального права присваивать себе это звание, потому что оно не захватывается, а даруется, и по нравственной этике не приличествует награждать себя добродетелями, пока этого по достоинству не сделают другие.

На первый взгляд, тут есть здравый смысл. Казалось бы, это не так существенно. Важно быть патриотом по характеру и целям своей деятельности, а не считаться им, важно внести свою долю в патриотическое сознание и деяние, а оценку себе можно и не давать. Важен результат, а не обозначение.

И все это было бы так, когда бы патриотизм был правом тайного или клубного общества. И которым – правом – можно пользоваться, а можно не пользоваться. И в которое – общество – можно вступить, а можно из него и выйти.

Но патриотизм – это не право, а обязанность, хоть и кровная, почетная, но тяжелая и, как выясняется теперь, довольно опасная обязанность, которую в меру своих способностей и сил должен нести гражданин той земли, что отдана ему под Отечество. Из отеческого общества выйти нельзя. Можно не исполнять свою обязанность, но в таком случае эту долю придется взять другому. Неисполнение этой обязанности есть гражданское дезертирство, происходит сначала ослабление, потом загнивание, потом разложение государственного организма. И в конце концов из него получится совсем другой продукт.

Человеческий организм в правильных движениях руководится разумом. Для государства разумом является прежде всего патриотическое сознание. Есть оно – государство крепкое, нет – огромные беды могут ждать это государство, и только слишком счастливый случай, да и то не без патриотического вмешательства, может спасти его.

Чтобы далеко не ходить, вспомним, что пришлось вынести нашей стране после 20-х годов, когда патриотизм как сознание народа был заклеямен и втопан в грязь. Слово «патриот» считалось синонимом слова «белогвардеец», «память» ассоциировалась с дикостью и невежеством. Но когда встал вопрос: быть или не быть стране, когда потребовалось спасти ее от фашизма, за ним, втопанным в грязь и обруганным, пошли и поклонились. Другого выхода не было. После 45-го года, когда именно патриотизм выиграл войну, впервые, кажется, сейчас происходит, что к нему подступают с циркулем и линейкой. Пока еще с оглядкой, с оговоркой, но с видимой целью устроить ему перекрой и пересуд.

Нет, патриоту не только можно, но и должно знать в себе патриота. Это не милость. В каждом из нас, не утерявшем национальные корни, независимо от того, к какой бы нации мы ни принадлежали, это чувство столь же живо и зримо, как чувство к детям. Спрашивать ли нам у современных иллюминатов, зваться ли нам отцами своих детей, а если нет, то почему надо спрашивать, называться ли сыновьями своей земли? Потому только, что среди нас могут сыскаться экземпляры, способные присвоить себе это звание без заслуг? А разве меньше самозванцев среди тех, кто без непорочного зачатия называет себя Иисусом Христом? Значит ли это, что, не будь Христа, не было бы и сумасшедших? Как-то удивительно на исходе XX столетия слышать, что мы не способны отдавать себе отчет в своих делах и поступках, знать их меру и пользу и что только избранные, подобные жрецам, на своих весах станут судить наши земные дни.

Но вот еще вопрос: патриотизм, патриотизм, а что такое патриотизм? Пока понятие это окончательно не изложено, на него ссылаются и им прикрываются все, в том числе те, кто уже сейчас, загодя, готовит ему обвинительное заключение. Стороны, занимающие совершенно противополо-

ложные позиции, как было с поворотом рек, Байкалом, Севаном, Ладогой, Аралом, с переустройством исторических городов, да и самой российской истории, как происходит с революцией в искусстве, уничтожающей старые ценности, как происходит с гласностью и демократией, которую раздирают на части для групповых флагов, – никто не забывает пока о патриотизме и потребностях Отечества. Не надо обольщаться, что неправые заблуждаются искренне. Что было в цене, на том и шла спекуляция. Теперь на любовь к Отечеству станут наверняка ссылаться меньше. Демократия с чужого плеча брезгует ею, ставки на нее понижены. Все смешалось в российском доме, будто патриотизм как отец многочисленного семейства уже скончался и все его сыновья, родные и неродные, кто любил его и презирал, приумножал и транжирил его достояние, – все они с одинаковым правом грызутся из-за наследства.

И коль вспомнили мы автора «все смешалось...», надо вспомнить, что и он, Толстой, добавил свары этому дому, когда решительно заявил: «Патриотизм – это рабство». И как продолжение звучат слова Достоевского: «рабство у передовых идей». У великого человека и заблуждения бывают великими. Отзываясь так о патриотизме, Толстой перепутал, очевидно, грешные наши дни с царством Божиим на земле, когда люди всех народов и рас готовы лобызаться друг с другом, и патриотизм, как протез на губах, может им в том помешать. Слова Толстого прозвучали сто лет назад, за кои всемирное лобызание, которое представлялось Льву Николаевичу близким, отодвинулось теперь за десятые горизонты. Только поэтому я и беру на себя смелость с сегодняшней, хоть и низкой, но все-таки далеко продвинутой вперед кочки, утверждать, что Толстой ошибался. Ныне, чтобы защитить Ясную Поляну, без патриотизма не обойтись.

Как безжалостно по отношению даже и к великим поправляет жизнь сильные, но неверные суждения. И Ясная

Поляна тому яркий пример. Она нуждается не просто в патриотизме как охранном, действенном и благодетельном чувстве к родной земле и ее святыням, которого достаточно было, чтобы отбить Ясную Поляну от фашистов, но перед отечественными манкуртами, духовными недорослями, она нуждается в патриотизме вдвойне и втройне. Терпеливом, неустанном и жертвенном, встречающем перед собой сегодня таранные действия, завтра казуистику, послезавтра эквилибристику – и все с непогрешимостью истины в последней инстанции.

Малосильный перед такой сплоченностью и гибкостью, оглядистый, перебивающийся, как с хлеба на квас, с надежды на отчаяние, патриотизм делается еще и подозрительным, дурно пахнущим. Мы вовсе не против всемирного братства, но разве нельзя каждому народу прийти в него со своим собственным лицом? Слабее от этого станут объятия или грешнее поцелуи? Как в природе рассыпаны краски, без которых человеческое зрение превратилось бы всего лишь в холодное снятие изображения, а человеческая душа онемела бы, так и человечество расцвечено и разбогачено нациями – чтобы учиться друг у друга, любоваться и удивляться друг другу, друг к другу тянуться с жадной красотой и познания. Многонациональность земли – это радужность, музыкальность, чувственность и полнота мира. И что же, от всего этого отказаться? Употребить свою деятельность на исчезновение наций и языков, на осушение традиций и обычаев, на отвержение всего этнического и исторического? Сжечь и пустить по ветру идеалы неразумных отцов? А во имя чего? Во имя всеобщего братства с единым мировым правительством, к стопам которого мы, нагие, свободные от национальных одежд и предрассудков, падем с восторженным воплем: «Свобода, Равенство, Братство! Делайте из нас что угодно, мы ваши!» Этого мы хотим? В цивилизованных странах, и в нашей тоже, национальные

раздоры и недоразумения больше всего тем и объясняются, что народы грубо влекут к всемирному лобызанию и не дают им возможности любить и уважать друг друга без принуждения, по праву равных друг перед другом и перед создателем языков.

И взятый сегодня мстительно и дружно жупел с русским национализмом – это бессовестная подделка. Мстительно – потому что не торопится он, народ наш, двигаться к столпам мирового правительства, ему достаточно своего. И не торопится отказываться от родного языка, от песен и заповедей отцов, не торопится выводить детей из пробирок, чтобы были они на одно лицо, окончательно выбрасывать на свалку свою культуру и мысль. В любой семье, как известно, не обходится без уroda. Есть, разумеется, и у нас люди с дурным голосом. Но судить о них, о русском самосознании как об идеологии шовинизма, как о стремлении строить свое благополучие на несчастье других – это даже и не ложь, а что-то до того несусветное, что не имеет пока и названия. Беззастенчивое, грубое, но раз за разом повторяемое, старательно нажеванное для потребительских мозгов, оно подталкивается с экранов, называется «позицией» и набирает единомышленников всюду, где они могут сыскаться, причем делается это открыто и массированно.

За счет какого, интересно, народа мы, русские, строили и строим свое благополучие? И где оно у нас, это благополучие? О всемирной отзывчивости русского человека говорили не только русские, а после Достоевского, который сказал об этом лучше всех, не раз Россия снимала последнюю рубашку, чтобы вызволить из беды других, кто способен и неспособен помнить добро. Не оттого ли, что слишком отзывчивы были и мало думали о себе, о сохранении своего тела и духа, и добились, что с опаской и извинениями приходится называть себя русскими, будто и слово это объявлено запретным или недействительным.

По какой такой логике всемирного братства, если мы хотим удержать свой народ от унижения и забвения, то это значит, что непременно ненавидим другие народы, или правильнее сказать – другой народ? Если так рассуждать, то человек, любящий свою мать, должен непременно презирать других матерей. Нельзя разве, любя свою мать, чтить и уважать других за то только, что они – матери. У каждого человека это должно быть в крови без мировой прогрессивной мысли, которая самые простые вещи запутала порой и извратила до противоположности.

Остаткам разрозненной, как разбитая армия, нынешней русской мысли придется взять на себя вину за то, что она не умела, а может быть, и не хотела противостоять, не умела даже заметить своего вытеснения из общественного обихода. Она так долго молчала, соглашаясь с происходящим, что когда наконец одумалась и принялась невнятно, недружно, с извинительными поклонами лепетать, что, оказывается, есть еще такая нация, которая лишь недавно считалась великой, и что не совсем же она превратилась в археологическое погребение, это было воспринято сначала как бестактность среди приличной компании, затем – нарушением общественного порядка, а сейчас – преступлением против человечества.

Если и сегодня, на самом краешке самосознания, чтобы не огорчать других и самим не огорчаться от неприятной хулы, если мы сегодня опять согласимся, пойдем на поводу у «передовых идей», то можно не сомневаться, что завтра присвоенные у человечества человеколюбивые лозунги они обратят против нас в уголовный кодекс.

«Мы – русские! – какой восторг!» – воскликнул фельдмаршал Суворов в опьянении от подвига своих солдат. Воскликнул, может быть, излишне восторженно – сейчас бы так никто не посмел. Но поздно, наверное, поправлять Суворова. Пусть не восторгаться, но гордиться каждому человеку принадлежностью к своему народу ничуть

не повредит. Армянину, что он армянин, эстонцу, что эстонец, еврею, что еврей, а буряту, что бурят. Позвольте уж и русскому пристроиться к этой шеренге «семьи вольной, дружной» без улюлюканья – кое-какие заслуги перед мировой культурой и цивилизацией есть и у него. Гордость за свое происхождение в любом народе правомочна уже одним происхождением, которое проходит невидимый нам, но строгий отбор. Народ не может явиться случайно. Ему, как известно, предшествует нравственное начало. Стало быть, вклад во всеобщее развитие. Что лучше – братство безродных и униженных или братство знатных и возвышенных? Неужели и над этим вопросом надо разводить стряпню?

Закончить я хочу уверенностью, что хоть и на самом краешке, но все-таки успели. То, что не смогли от робости и необразованности сделать мы, сделают сейчас наши великие соотечественники прошлого. Потому и злятся и навязывают нам торопливо и запоздало свое толкование патриотизма «новые евангелисты», что видят: завтра им придется иметь дело не с одиночками и не с неформальными объединениями, а с народом, который обрел память. Российская история в именах Карамзина, Ключевского и Соловьева будет массовым и великим открытием России, на свидание со своей Родиной пойдут вслед за первыми тысячами миллионы и миллионы. И прозревшие, наставленные национальной судьбой, они, очевидно, разберутся, что такое патриотизм. Никогда в нем, российском патриотизме, не было и не будет нелюбви к другим народам. Как и к нам не может быть недоброжелательства со стороны любого другого народа. То, что пытаются посеять между нами «просветители» с карманными фонариками, подающие друг другу тайные знаки, к народам никакого отношения иметь не может!

1988

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

Интеллигенция и патриотизм

Года два назад мною, грешным делом, были написаны заметки о патриотизме*, которые на одних страницах публиковались под названием «Знать себя патриотом», на других – «Патриотизм – это не право, а обязанность». Наивное дитя минувшей эпохи, названной застоём, и худо-бедно, но существовавших в то время в нашем подавленном обществе нравственных и этических ценностей, я кинулся защищать патриотизм, покоробленный тем, что к этому священному чувству, без коего, как мне представлялось, и шагу нельзя ступить, новые властители дум начинают относиться без почтения и нет-нет да кусать его, торопливо отскакивая и приглашая оскал. Сегодня я вынужден удивляться сам себе: «Господи, было о чем говорить! было чем возмущаться!» В сравнении с тем, во что это вылилось теперь, то были невинные забавы, легкие тренировочные упражнения для укрепления боевого духа, который всего-то за два года превратился во всесокрушающий энтузиазм. Ну разве не допотопная простота, разве не слепота доверчивого ума водили моим пером, когда писал я: «...Никто не забывает пока о патриотизме и потребностях Отечества... Теперь на любовь к Отечеству станут наверняка ссылаться меньше». Всего-то! – «меньше»! Мне казалось в дурных моих предчувствиях, что патриотизм могут отодвинуть в сторону каким-нибудь более ловким понятием, чем комиссарский интернационализм, постараются, да и то с оглядкой и оговоркой, изъять из общественного обихода, уволить, так сказать, с казенной службы в запас, отправить на пенсию, но – не оплевывать же в голос со всех сторон, не в грязь же его, не ноги вытирать!.. До этого мое жал-

* Речь идет о предыдущей статье.

кое воображение, мои робкие предвидения не доходили. Но события в нашей общественной жизни разгоняются столь стремительно и новые блюда для общественного сознания готовятся так быстро, что патриотизм на глазах стал чувством «биологическим, оно есть и у кошки» (Б. Окуджава), «свойством негодяев» (Ю. Черниченко); Ан. Стреляный, чтоб не мелочиться, увидел в нем «фашизм, это самое грозное оружие патриотизма, его ядерную бомбу». И так далее, всех не упомнишь. Невольно подставляется здесь слово «волконалия», переиначенное на русский манер Ал. Ремизовым из «вакханалии». Если генералы и полковники армии, изгоняющей патриотизм с подмостков любой, надо понимать, нации, еще как-то стараются выгораживать свои горячие мнения ссылками на тех, кто преуспел в этом искусстве раньше, то у «рядовых» дальше ругани мысль не идет. Место для духовной пуповины, которой крепится каждый из нас к своему народу и своей земле, сегодня безоговорочно определено на помойке, одно из самых древних чувств, создававших человека и украшавших его, названо одним из самых мерзких. «Свойство негодяев» – и никаких! Недолго же играла музыка терпимости на празднике плюрализма; едва лишь отросла на вольном воздухе мускулатура – и вновь, с другого уже конца, «один громящий кулак», который никакого инакомыслия ни в голове, ни в сердце не признает. К тому дело и шло, и мы не видели этого лишь оттого, что закрывали глаза на очевидные вещи, полагая, что общество любого поколения обязано извлекать уроки из прошлого и что возвращение на «исходные позиции», которые не однажды приходилось бесславно покидать, с каждым разом чревато все более тяжкими последствиями. Нынешние ругатели патриотизма лишь повторяют зады, не только пройденные, но и нажегшие бесчисленные духовные и материальные пепелища, они не утруждают себя извлечением истины из палки, которой Россия уже

была бита, вновь навлекая ее, как неизбежное возмездие, на голову дурачимого народа.

Свою статью «Песни западных славян» (Литературная газета. 1990. № 32) Ан. Стреляный едва ли не первыми строками начинает со слов русского философа-эмигранта Г. Федотова, так полюбившихся выпрямителем национального духа в общечеловеческий, что они наперехват печатаются то в одном, то в другом, то в десятом издании.

«Основная слабость русского национализма, – сказано у цитируемого Г. Федотова, – в его органическом, каком-то животном или растительном натурализме. Растение, вырванное из почвы, засыхает. Человек свободно движется по лицу земли. Но русский человек все еще слишком похож на растение. Для него родина прежде всего – не мысль и даже не слово, а звучание, тембр голоса... Это большая слабость, как бы неразвитость мужественной человечности. Если прибавить к этому привычку к коленопреклоненной позе, то вот уже и почти готовая формула “славянской души”».

К статье Ан. Стреляного мы еще вернемся, так же как и к позиции Г. Федотова, а пока спросим себя: что же предшественники Ан. Стреляного по «русскому вопросу» не размахивали подобной аттестацией «славянской души» в Великую Отечественную?! Почему? Появись она, они бы в землю ее зарыли, объявили бредом сумасшедшего, предали анафеме, распяли и расстреляли – примитивный дальше некуда славянин вместе со своими братьями по государственной семье спасал в то время мир от фашизма, спасал в том числе и их, родившихся и еще не родившихся, валами валился во многих миллионах на землю, чтобы в прямом смысле превратиться в «растительный натурализм», и поддерживал его в этой трагической участи и жертвенной миссии отнюдь не казенный, а ветхозаветный национальный патриотизм. Из страха за свою судьбу он был дозволен, потом из осторожности терпим, а теперь

снова люто ненавидим – за те же самые, вероятно, качества, ради которых к нему обратились в войну и которые, должно быть, живы до сих пор. А потому – весь огонь отечественных и заотечественных батарей по нему, по нему, по нему, не различая ни оттенков его, ни исторической сердцевины, ни временных наростов, ни возможной потребности в нем в будущем, в новую годину испытаний, выцеливая все, что подозрительно «особливостью», способной иметь к нему отношение.

Ну хоть бы из подобия справедливости делили патриотизм на «нормальный» и «ненормальный», как делалось еще недавно – нет, ныне одно лишь «звучание» этого слова, «тембр голоса», доступные россиянину, вызывают ярость. Не иначе, нужно думать, из преисподней явилось исчадие ада, ступил на нашу землю Князь Тьмы, и все вселенское зло объединилось в этом отвратительном образе, именуемом русским патриотизмом.

* * *

Необходимо полностью привести мысль Ю. Черниченко, из которой изъята производящая сильное впечатление фраза, – чтобы не лишать ее родного контекста. В интервью «Книжному обозрению» (1990. № 19) знаменитым нашим публицистом сказано следующее: «Ярость и так называемый патриотизм – свойство негодяев... Я не говорю: плюй на свою родину или оскорбляй свою мать. Я говорю: в понимании русских интеллигентов всегда было: “Как вы можете вожжаться с ним? Он же – ‘патриот’...” Он минусы своей личности выгораживает тем, что орет на каждом шагу: “Я защищаю страну!” В данном случае это род инвалидности: ничего, кроме того, что он русский, не держит его на белом свете».

«Ярость» и так называемый патриотизм в одну кучу – это все равно что Божий дар с яичницей... И разве по тону

этого отрывка не видно, кто впадает в ярость? Это уж совсем с больной головы на здоровую. Оставим на совести Ю. Черниченко ругательства, которые, как известно, никому не делают чести и не добавляют аргументов в споре. Однако в утверждении, относящемся к «свойству» русской интеллигенции не «вожжаться» с «патриотами», нам придется с ним согласиться. Было! было! – потому и держит себя столь уверенно и самодовольно нынешняя «интеллигенция», что чувствует поддержку и благословение своих учителей, во весь XIX век стяжавших себе славу в искусстве «критическим реализмом», а в общественной мысли – «революционным демократизмом». Не всегда, правда, было и не постоянно, и не на таких брезгливо-спесивых рожнах, какие представляются Ю. Черниченко, но – было! из песни слова не выкинешь. У того же Г. Федотова, на высказываниях которого, как всадник на мстительном коне, проскакал по своей статье Ан. Стреляный, не заметив по слепоте, что конь этот в природе не одной лишь мстительной масти, – есть у Г. Федотова и такое: «Для интеллигенции русской, то есть для господствовавшего западнического крыла, национальная идея была отвратительна своей исторической связью с самодержавной властью. Все национальное отзывалось реакцией, вызывало ассоциацию насилия или официальной лжи. Для целых поколений “патриот” было бранное слово. Вопросы общественной справедливости заглушили смысл национальной жизни...»

И еще – у него же: «...Каждое поколение интеллигенции определяло себя по-своему, отрекаясь от своих предков и начиная – на десять лет – новую эру. Можно сказать, что столетие самосознания русской интеллигенции является ее непрерывным саморазрушением. Никогда злоба врагов не могла нанести интеллигенции таких глубоких ран, какие наносила себе она сама, в вечной жажде самосожжения».

Если бы только «сама», а то ведь сожжения всего, что вырастало на национальной почве, и этим первейшим

правилом, смыслом ее существования и возгорается сейчас вновь наш общественный авангардизм, не желающий оглянуться всего лишь на несколько десятилетий назад, на ту территорию победившего дела, где революция дожирала остатки рода своих пламенных детей. Нынешняя интеллигенция – почти полностью новая, как никогда и нигде, разночинная и разномастная; это иных корней тело, не имеющее еще ни родовой памяти, ни традиций, ни духовных запасов, даже не сбалансированное до конца во всех своих членах... Но одну память, одну традицию, один инстинкт, один опыт оно, это новое тело, могло бы вобрать в себя, если бы нашло время зайти на кладбище интеллигенции старой...

О роли интеллигенции в подготовке революции написаны знаменитые «Вехи», к этому сборнику прежде всего и следует отсылать читателя, желающего понять «истоки и смысл русского коммунизма» (название книги Н. Бердяева, но под ним может составиться по этой теме целая библиотека, в которой «Вехи» по праву должны стоять впереди). Они теперь снова доступны. Написанные лучшими умами начала века, из нее же, из интеллигенции, происходящими и потому знающими предмет обсуждения слишком хорошо, «Вехи» есть настолько яркая, подробная и героическая история болезни, что патологоанатома можно было не заказывать.

Что жертва будет, сомневаться не приходилось: уже не от интеллигенции зависело, произойти или нет трагическим событиям, через нее переступила к тому времени новая сила, ею взращенная, которую трудно было остановить на пути к унаследованной цели. Вроде бы справедливо: одни заказали музыку, другие ее исполнили, потребовав плату по своему усмотрению, если бы... бесславием и кровью не пришлось платить всей стране, и больше всего тем, кто занимался делом прямо противоположным и самым мирным, духовно и хлебно окормляя эту страну.

При серьезной попытке разобраться в «истоках и смысле», сразу возникает потребность пройти по большаку русской литературы начиная с конца XVIII века – с тех пор, как она вышла на путь почти полуторавековой славы. Это делали и Г. Федотов, и Н. Бердяев, и другие, сходясь в социальных оценках писателей, создавших интеллигенцию в том лице, какое принято в ней видеть. Удивительно, что это узнавание по «лицу» на многие времена передалось и нам... и мы, не всегда умея объяснить, почему Герцен – интеллигент, а Лесков не интеллигент, по одному лишь звучанию имени знаем, кто есть кто, имя несет в себе, как тавро, определенный знак принадлежности или непринадлежности к интеллигенции. Не всегда, правда: Пушкин, к примеру, а с ним и Лермонтов, определены находиться где-то посередине; по всем статьям ума и сердца, по блеску таланта возвышаться бы им в самом центре интеллигентского сияния, ан нет, какое-то препятствие не пускает, двери не открываются, и вынуждены наши гении держаться в стороне и терпеть насмешки от чистопородных интеллигентов, время от времени снисходящих к ним для прогулок. Суть этого избранничества, хоть и при других именах, с горьким сарказмом очень верно подметил В. Розанов: «Как же: и Л. Андреев, и М. Горький были “прогрессивные писатели”, а Достоевский и Толстой – русские одиночки-гении. “Гений” – это так мало».

* * *

Интеллигенция в том духе, в каком она давно понимается и принимается, зародилась, как известно, в России и существует только здесь. Это полностью русское по среде обитания явление, для благополучного развития и существования которого потребовались условия, возможные только у нас. Об американской или английской интеллигенции можно говорить лишь в культурном и интеллекту-

альном смысле, наша интеллигенция отвечает иными доспехами. Рядом с ней любая другая будет отличаться оппортунизмом и социальной недоспелостью. Наша зародилась из главного противоречия в России, оставленного Петром, в той трещине, которой раскололась страна, когда он с могучей энергией взялся передвигать ее в Европу.

Первым русским интеллигентом считается А. Н. Радищев, автор «Путешествия из Петербурга в Москву», которое по воле великой императрицы ему пришлось продолжить в мои родные края – в Илимский острог. Правда, Г. Федотов считает, что первыми были восемнадцать молодых людей, еще при царе Борисе отправленных для обучения за границу и все, как один, ставших невозвращенцами. Сомнительного свойства «доблесть невозвращения» сознательно делается философом высшим проходным баллом в избранное общество. Тут-то и зарыта собака тайны интеллигенции, избравшей своей родиной Россию. Ничто другое она не могла избрать: «особенность», «специфичность», «исключительность» ее кроется в том, что требовалось неприятие России под гербом ее знаменитой триады не французом и не немцем, а именно русским. Требовался своего рода национальный мазохизм. Ни в Германии, ни во Франции ничего подобного не могло возникнуть потому, что никто не тянул их на аркане в Россию или Китай, а оппозиция предлагала свои, как ей казалось, лучшие пути благополучия или обновления собственной нации на собственной почве. Наша же интеллигенция, быть может, и сама вначале о том не подозревая и действуя вслепую, родившись из протеста мрачной действительности, затвердила затем протест как религию, как вечную цель и сделала обличение смыслом своего существования. Беспорядка, грязи и нищеты в России всегда хватало, и весь вопрос для интеллигенции при выборе ее пути сводился к тому, на таптывать ли грязи, намешивать ли злобы, подбивать ли к непорядкам еще больше или браться соединенно и со-

гласно за тяжкую работу по их очищению. Интеллигенция выбрала первое, самое легкое, и объявила тем самым старой русской государственности войну не на жизнь, а на смерть. Слова эти – «не на жизнь, а на смерть» – давно стали затверженной условностью, означающей непримиримую борьбу до победы, а в действительности они несут более страшный смысл – непримиримость до уничтожения обеих сторон. Так оно в сущности и произошло.

Вот почему ни старик Державин, поднявшийся до небесной прозорливости в оде «К Богу», ни Ломоносов, объявивший своим умом почти все науки и искусства, ни мудрейший патриарх русской поэзии Жуковский, ни Карамзин, свершивший великий подвиг жизни одной лишь «Историей Государства Российского», ни другие, высоко почитающиеся в святцах отечественной культуры, – интеллигентами считаться никак не могут: они не бунтари, а целители национальных язв; не хулители, а работники на ниве просвещения; не агитаторы, а доброхоты мысли. И уж тем паче не выйдет отнести к интеллигенции славянофилов, даже славнейших и умнейших из них (Хомяков, Аксаков, Киреевские): не тот фасон ума и веры. Они соглашались для оздоровления и облагораживания национальной действительности принимать лучшее от других, но не губить лучшее у себя, говорили о необходимости восприятия под началом своего и, конечно, решительно не соглашались с вытеснением и оплевыванием своего. Да и где, в каком состоявшемся культурно и духовно народе, могли с подобным согласиться?! Однако и это – что народ наш состоялся – интеллигенция ставила под сомнение.

П. Чаадаев, один из первых «западников», писал – слова эти сейчас вновь вздымаются над входными воротами России: «Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не

содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили».

Если следовать этой логике, русская интеллигенция была первым вкладом в прогресс. Но зато каким! До нее ничего похожего в мире не водилось и до подобной жертвенности самые фантастические представления не поднимались: всю себя на алтарь разрушения своей страны во имя прогресса!

«Отрицание – мой бог», – гордился Белинский. И продемонстрировал это блестяще в громогласном письме к Гоголю, для которого уже тогда (1847 год) «просвещенная» публика была настолько подготовлена, что оно ходило в списках по всей России. Хотелось бы порекомендовать перечитать это письмо: искусству брани нынешним «светильникам разума» есть у кого поучиться. Белинский проговорился там, кстати, и о вине Пушкина, «...которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви». И – добавим – преждевременно расстаться с жизнью. Катехизис интеллигента, который переродился потом в нечаевский «Катехизис революционера», можно продолжать сколько угодно, но каждый желающий без труда восполнит его самостоятельно. Мы же, чтобы не задерживаться, ограничимся еще одним напутствием – на этот раз Добролюбова: «...Нам следует группировать факты русской жизни... Надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху – до того, чтобы противно стало читателю все это царство грязи, чтобы он, задетый за живое, вскочил и с азартом вымолвил: “Да что же, дескать, это за каторга, лучше пропадай моя душонка, а жить в том омуте не хочу больше”».

«Все наши русские писатели, – заметил наблюдательный Достоевский, – решительно все только и делали, что обличали разных уродов. Один Пушкин, ну да, может быть, Толстой, хотя чудится мне, что и он этим кончит...

Остальные все только к позорному столбу ставили или жалели их и хныкали. Неужели же они в России не нашли никого, про кого могли сказать слово, за исключением самого себя, обличителя? Мелюзгу разную кисло-сладкую да эфирных девиц, правда, они рисовали для контраста с теми злыми, порочными, пошлыми и пустыми людьми, которых они облюбовывали. Почему у них ни у кого не хватило смелости (талант был у многих) показать нам во весь рост русского человека, которому можно было бы поклониться? Его не нашли, что ли?..»

«Собственно, никакого сомнения, – уже за чертой спора ставит последнюю точку В. Розанов, – что Россию убила литература. Из слагающих “разложителей” России ни одного нет нелитературного происхождения».

Достоевский в приведенных словах не случайно доводит мысль до смелости («не хватило смелости...») – показать во весь рост русского человека значило пойти вопреки не только общепринятому, но и карающему мнению. Вспомним Н. Лескова, который, приняв ославу при жизни, не в силах до сих пор отмыть ее и по смерти. Тот же Розанов, не раз и не два меченный демократическими собратями по перу прожигающими клеймами, на собственном опыте имел основания говорить, что в России выгодно быть обличителем, что это дает обеспеченное общественное положение и пророческую мантию.

* * *

В своих прежних, уже упоминавшихся заметках о патриотизме я привел слова Л. Н. Толстого: «Патриотизм – это рабство» – и коротко прокомментировал их, что беру на себя смелость с сегодняшней, хоть и низкой, но далеко продвинутой вперед кочки утверждать, что Толстой ошибался. Во-первых, сказалась общественная атмосфера, откуда патриотизм все больше и больше вытеснялся, а во-вторых,

дальнюю перспективу общественного устройства и человеческого братства великий писатель в своем нравственном максимализме готов был перенести в свои дни.

«Толстой ошибался?! – в голос возмутилось «интеллигентное общество» из расплодившихся Ивановых, не помнящих родства, Поэля Карпа (по писаниям последнего я долго принимал его за родного сына Евгения Сазонова, выдуманного в застойные времена острословами 16-й полосы «Литературной газеты», пока не разъяснили мне, что это лицо, так сказать, в плоти и крови) и других. – Да это святотатство – говорить такое! Это!.. Это!..»

Преступлений за мной было насчитано вдоволь, а моя злосчастная «кочка» оплевана со всех сторон, так что я и сам почувствовал себя на ней скользко. Хотя – почему бы Толстому не ошибаться, от ошибок никто не застрахован. Так же как и патриотизм, Толстой отрицал государство, суд и наказания, но это не значит, что мы должны немедленно от них отказаться. От патриотизма же, считается, обязаны. Не Льва Николаевича защищала эта братия (как будто нуждается он в их защите!), а желанное ей общество, освобожденное от такого анахронизма, как отеческие чувства.

Я заговорил об этом для того, чтобы сослаться на самого Толстого. Известно, что «тихий патриотизм», как бы не соглашаясь с самим собой, он признавал. Но вот еще одно любопытное свидетельство. После первой книги «Интервью и беседы с Львом Толстым» составитель Вл. Лакшин подготовил вторую – интервью с Толстым зарубежных гостей Ясной Поляны. В 1905 году у Льва Николаевича побывал венгерский журналист Густав Шерени, из интервью которого я и выписываю большой отрывок, кажущийся мне интересным не только ответами писателя, но и взглядами журналиста.

Начинает венгр:

« – Разрешите мне рискнуть высказать мнение, что патриотизм – самое священное человеческое чувство и нет

смысла подвергать его осуждению, потому что в реальной жизни мы еще долгое время не сможем обходиться без него. С таким прошлым, какое у него есть, патриотизм не может рухнуть в один день. Во имя патриотизма свершались самые благородные дела и достигали немалых успехов, благодаря ему греки спасли цивилизацию от тирании персов, патриотизм Рим обязан своим величием, а Англия – свободой. В течение тысячелетней истории человеческого рода мораль больших и малых народов, муки поработенных и подвиги победителей – все это было вызвано к жизни патриотизмом. Я приверженец любви к родине и не отношу патриотизм к тем понятиям, которые устарели.

– Люди, конечно, не замечают отвратительного себялюбия, которое есть в патриотизме, а его в нем достаточно. Отгородить какую-то территорию от прочих людей, потому что эти люди говорят на другом языке, неверно, так как все мы – братья. Уже брезжат новые времена, своими старческими глазами я вижу этот рассвет. Отечество и государство – это то, что принадлежит к минувшим мрачным векам, новое столетие должно принести единение человечеству. Патриотизм служит только богатым и властительным себялюбцам, которые, опираясь на вооруженную силу, притесняют бедных. Всеобщая любовь к людям – вот что меня воодушевляет, всеобщая свобода, труд и прогресс! Пусть народы поймут друг друга, протянут друг другу руки и станут братьями.

– Если бы на земле была только одна нация, патриотизм не был бы нужен, но наций много, и человек любит прежде всего свою нацию... И к обществу, из которого он вышел и в котором живет, он относится с любовью. Будем врагами государства, но не отечества, в любви к нему – эгоизм самого благородного свойства.

– В вас безусловно говорит венгр, я знаю, венгры – патриоты, но это означает, что вы находитесь в начале своего развития. Несколько лет назад я писал об этом... Впрочем,

не будем больше говорить на эту тему, потому что вы, венгры, никогда не поймете меня.

– Мне было бы любопытно узнать у вашего сиятельства, что думаете вы, выдающийся русский мыслитель, о сегодняшнем внешнем положении России. Меня и всех венгров, например, очень интересует ваше мнение о противоборстве славянского и немецкого народов. Нам судьба предрешила быть между этими двумя народами, и наша будущая история будет развиваться параллельно с историей либо одного, либо другого народа. Чтобы подчеркнуть, что именно меня интересует, мне хотелось бы спросить у вас: каково мнение вашего сиятельства о личности кайзера Вильгельма II и считаете ли вы искренней ту дружбу, которую он так часто афишировал во время войны?

При этом вопросе лицо гениального славянского мыслителя вспыхнуло. Откинувшись на спинку стула и закрыв глаза, он, словно пророчествуя, сказал:

– Друзья или враги мы с Германией и с этим ... кайзером (Толстой употребил исключительно сильное выражение, и, хотя я получил разрешение писать обо всем, я все же решил не приводить его здесь), для меня и для русских совершенно безразлично. Россия будет жить! – воскликнул мудрый старец, сверкая глазами. – Потому что она должна жить. Потому что она могучая, великая, ей и предназначено быть великой. Германского народа уже и в помине не будет, а славяне будут жить и благодаря своему уму и духу будут признаны всем миром.

Обед закончился около семи часов. Толстой выпил еще бокал кавказского вина цвета крови, и, пока он пил, я подумал: вот и в нем сколько этой характерной для славян противоречивости. Врагу патриотизма оказалось достаточно одной искры, чтобы вызвать вспышку патриотизма и чтобы в этом священном огне засветился, загорелся он сам, несмотря на консерватизм своих семидесяти семи лет».

Как всякий великий человек, Толстой все делал вдохновенно – и отрывался от действительности, и возвращался в нее. И как всякий великий человек, напивавший свое художественное величие из источника национального бытия (а только там его и можно напитать), даже во имя собственных умственных построений он не мог согласиться с обезцениванием и обезличиванием России.

Западник Герцен, споривший с почвенниками о месте России в мировой цивилизации, с годами, пресытившись видом торжествующего европейского мещанства, вынужден обратить свой ищущий надежды взгляд обратно на Родину, и, как замечено кем-то из писавших о Герцене, если не физически, то духовно он возвращается из эмиграции.

И Чаадаев, уничтожающий отзыв о России которого приводился выше, в «Апологии сумасшедшего» уже далеко не тот, что в «Философических письмах», он испытывает и уважение к ее прошлому (к примеру, в «Отрывке из исторического рассуждения о России»), и веру, благодаря девственной почве, в исключительное будущее.

Отлучить и Герцена, и Чаадаева, и, кстати, Радищева от патриотизма рискованно для истины, и если в их сложившемся образе, которому мы невольно следуем, запечатлелся сугубо римский профиль, так это оттого, что в течение десятилетий одни их мысли сознательно выпячивались, а другие замалчивались, а самим нам лень было отыскать их среди запретов и умолчаний.

Достоевский предъявил отечественной литературе суровый счет за пристрастно-уродливый показ русского человека. Точно отзываясь на него, Солженицын в статье «Наши плюралисты» говорит: «Чем крупней народ, тем свободней он сам над собой смеется. И русские всегда, русская литература и все мы, – свою страну высмеивали, бранили беспощадно, почитали у нас все на свете худшим, но, как и классики наши, – Россией болея, любя...»

Сделаем паузу, чтобы осмыслить одно и перейти к другому, более важному, напомнив при этом читателю, что «наши плюралисты» – это об эмигрантских «знатоках» России, и писалась статья в начале 1982 года:

«...И вот открылось нам, как это делается ненавидя, и по открывшимся антипатиям и напряжениям, по этим, вот здесь осмотренным, мы можем судить и о многих копящихся там (то есть в России. – В. Р.). В Союзе все пока вынуждены лишь в кармане показывать фигу начальственной политу-чебе, но вдруг отвалились завтра партийная бюрократия – эти культурные силы тоже выйдут на поверхность – и не о народных нуждах, не о земле, не о вымиранье мы услышим их тысячекратный рев, не об ответственности и обязанности каждого, а о правах, правах... – и разгрохают наши останки в еще одном Феврале, в еще одном развале».

Воистину, чтобы быть провидцем, нужно иметь глаза еще и на затылке, потому что без прошлого, без знания инерции накопившихся там сил, вперед не заглянешь. То, что с такой точностью увидел Солженицын, когда ничто еще не выдавало у нас буйного всплеска «культурных сил», кажется невероятным, однако он имел возможность осмыслить, что и как подготовлялось в течение всего XIX и в начале XX веков, пока не взорвалось Февралем. Наблюдал, как заграничная интеллигенция из «беспредельщиков» подтравливала отечественную, которая продолжала петь одним языком, но втайне отращивала другой. И вот он теперь загрохотал на печатных, эфирных и асфальтовых площадях. Все так, как увидено издалека. Все так. И даже хуже.

Впору воскликнуть в недоумении: да чему же эта неуемная сила еще не научилась, что не исполнила, за чем востылась, если ныне опять повторяется по тому же самому кругу? Но, вопрошая, придется дожидаться и ответа: а Россия? Россия, пусть и на бедных и слабых, но все еще на своих ногах, вот за нею они и вернулись.

* * *

Но это стезя только одной части интеллигенции, которая вела и ведет войну с собственной страной, но не способна к духовной работе, каковой должна быть пропитана каждая клетка интеллигенции. В «тяжбе о России», в которой она участвует самым активным и бесцеремонным образом, внутри еще существует и тяжба об имени – кому считаться интеллигенцией, какие идеи и порывы берутся составлять это понятие. И я б не решился утверждать, вопреки, казалось бы, очевидной картине, что победитель есть. Есть сила, давно захватившая право представлять интеллигенцию на общественном поприще и говорить от ее имени; есть навязанный ореол группового мессианства и мученичества; есть болезненный зуд, заставляющий нас страдать ее нетерпением – «когда же придет настоящий день?»; есть много чего еще, вбитого в наши мозги от лица якобы всей интеллигенции, тогда как она не вся и менее всего интеллигенция.

В том виде, как она заявляет о себе, она не есть происхождение отечественного духа и отечественной природы. Напротив, эта интеллигенция им чужда. Поэтому она и не могла прижиться на нашей почве из-за полной несовместимости с ней. Пусть не покажется странным «не могла прижиться», если прижилась и распространилась с необыкновенной цепкостью, – как тут изначально и была. Но «прижилась» как противоречие заведенному порядку вещей, как протест и бунт против него, а это не значит, что прижилась, то есть вошла в плоть, обогатила ее и слилась с ней, а говорит лишь о благополучном существовании и паразитировании за счет тех соков, которые она отвергает.

В статье «Россия и революция» Ф. Тютчев видел в Европе лишь две силы, указанные в названии. Европа, объятая революцией, напугала молодого тогда поэта, противостоять революции, считал он, может лишь Россия. Энгельсом

сказано с дьявольским прозрением, что Россию нельзя победить извне, в нее нужно внедрить учение. Когда Тютчев обнадеживался Россией, а было это в 1848 году, учение в нее уже было внедрено. Не много потребовалось этой новой силе времени, чтобы из отзывчивого русского интеллигента сотворить причудливый гибрид поэта и комиссара, и едва ли нужно продолжать, за кем осталась душа. Еще сравнительно недавно поэт вполне искренне восклицал: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо».

Н. Бердяев назвал эту интеллигенцию орденом, к которому «могли принадлежать люди, не занимающиеся интеллектуальным трудом и вообще не особенно интеллектуальные». Тут-то и скрыт секрет их фанатичности и непримиримости, за интеллектуалами такое не водится. О том же говорит Г. Федотов: «Сознание интеллигенции ощущает себя почти как некий орден...» «Это не люди умственного труда...», «...Русская интеллигенция есть группа, движение, традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей».

Стало быть, беспочвенна, наднациональна, неинтеллигентна, не испытывала, как правило, привязанности к родной земле и, живя в ней, духовным отечеством почитала Запад, издевалась над религиозностью народа, не понимала и не в состоянии была понять собственное призвание России и характер ее мучительного несоответствия так называемому цивилизованному миру и спотыканья в нем, надменна и притязательна – и она претендовала на роль чувствилища народа, его ума и совести, на духовное и нравственное учительство, на исключительность. Можно бы сделать попытку понять ее, можно бы с грехом пополам согласиться с ее притязаниями на передовизм и особого рода просвещенность, ведь первые отряды этой интеллигенции были бескорыстны, ничего для себя, все для общего дела, подкупали самоотверженностью, горением, сектантским товариществом, тренированностью ума и воли, хож-

дением в народ, беспокойством, неподкупностью – было к чему честному незрелому уму прилепиться, и можно бы с некоторыми оговорками согласиться с ними, если бы пути России лежали там, куда они ее тянули. Но века истории, века борения ее самой с собой, насилия над ее духовным звуком показали – и почему мы закрываем глаза на эти уроки, – что судьба России самопутна, и только на собственном пути, а не через колено, она может развиваться в полную силу и полный рост. И находится он, этот путь, быть может, там, куда с презрением тычут как на задворки цивилизации. Когда цивилизация показала себя бездушной, бесконтрольной и безжалостной машиной, механическое действие которой распространилось и на культуру, и на веру, и даже на вкусы, – не лучше ли было держаться от нее в сторонке? Но Россию тянуло в сторонку по своему характеру, зародившемуся в недрах земли и истории, по строю души, имевшему отличительную тональность. Она могла произвести новую, более человечную и духовную цивилизацию или присоединиться к ней могучими своими силами, если бы кто-то сумел произвести таковую раньше. Нельзя совершенно, как от заведомой глупости или как от бреда, отказываться от этого исторического варианта. Теперь он, конечно, почти наверняка потерян и погублен, но недавно еще он напрашивался сам собой, и идейная интеллигенция, выправляя Россию, как ей представлялось, от уродства, лечила ее от ее здоровья.

Но в народе всегда жило другое представление об интеллигенции. Эту он и за интеллигенцию не считал – так, накипь, которая бурлит и выплескивается за края нормальной жизни. Он и теперь, наблюдая ее бессменную вахту на «голубом экране» и на страницах большинства газет и журналов, воспринимает ее галдеж с терпеливым прищуром: мели, Емеля, твоя неделя... Она глаголет в основном для самой себя. Правда, размножаемая десятилетиями на конвейере образованщины, она невероятно разрослась,

из замкнутого «ордена» превратившись в болезненно-чувствительную и социально-неопределенную полу: полуинтеллигенцию, полуобщество, полукласс, наполовину развращенную, наполовину неудовлетворенную, от полумерности своей ищущую полноты и не знающую, как и где ее искать.

Народное чувство связывает интеллигенцию с иными качествами. Как ветвь национального сознания она должна была пойти от Сергия Радонежского, Феофана Затворника, Серафима Саровского, Державина, Карамзина, Пушкина, Хомякова, Киреевских, Аксаковых, затем подхватиться от Достоевского, Даля, Фета и Тютчева, от Иоанна Кронштадтского и Оптинских старцев, от ученых Павлова, Менделеева и Ключевского... пришлось бы назвать многих. И она, эта ветвь, пошла и подхватилась, существуя негромко, неназойливо, домостроительно и домопитательно, – от семьи до государства. Мы, к стыду своему, знаем ее и не знаем. Теми именами, тем направлением нам уши прожужжали, а на эти всегда накладывалась тень подозрения, то одного, то другого, но чаще всего в доморощенности и узости. Стоило упомянуть в обществе Хомякова, Случевского, Леонтьева, Данилевского... – и как бы затхлость с этими именами от тебя исходила, дурной дух не сумел удержать.

У нас это издавна: своя своих не познаша. Еще и слово «интеллигент» не проросло в России, а направление, связанное с этим понятием, жило и теплило жизнь, вбирая в себя духовное и мирское, учительное у одного и отзывчивое у другого. В нем словно бы свершилось таинство брака между мирским и духовным, русский доморощенный ум, как, впрочем, и поступок, не могли тогда не находиться под сенью духа. Россия, как известно, вся вошла в храм. Когда слово «интеллигенция» пришло и было оседлано для целей противоположных, чем отечественное сознание, оно, слово, как бы само не согласилось с уго-

товленной ему участью войти в политический словарь и попросило нравственного убежища. Это не единственный случай, когда язык проявляет волю. Русские изобретения обычно не гонялись за чужими словами, и тут, надо полагать, произошло именно волеизъявление слова, перерастание его из форменного и неудобного смысла в более широкое и сродственное.

Так и пошло: одни козыряли европейским словом, а домовничало оно у других. Настоящий интеллигент не кичился тем, что он интеллигент, и уж тем более не брал на себя роль умственного центра, такового ходячего штаба, а жил в беспрестанных трудах во имя смягчения нравов, врачевания больных душ и мрачных сердец. Не зря сложился почти канонический образ, пусть идеализированный, подслащенный, но не из воздуха же взятый, если он не стерся до сих пор: интеллигент – человек мягкий, справедливый, соучастливый, просветительный, мирный. Он, бесспорно, человек умственных и гуманитарных занятий, но и ум у него мирный. В этом портрете есть и чудаковатость, и неотмирность, и незадачливость, и загадочность, и смешная самозабвенность, но никому от них вреда не бывает. Он милосерден к ближнему, а не к дальнему из светлого будущего, живет не идеями, а идеалами. Плоть от плоти, кость от кости, он еще и дух от духа России. Поэтому интеллигенция не может к такому чувству, как патриотизм, относиться хорошо или плохо, поскольку вырабатывает его из себя беспрестанным служением России и службу свою видит в том, чтобы строить, улучшать, просвещать, упорядочивать, воспитывать, утверждать – все с сыновней любовью и радостельным подвижничеством. Нет, не та, не воинствующая интеллигенция, а эта добилась отмены крепостничества, реформ суда, земства и других государственных преобразований, та своим неистовством их только задерживала. Та добилась Манифеста 1905 года, но он лишь подлил масла в ненасытный жар ее сердец.

Влияние духоотеческой интеллигенции на общество еще и в начале XX века было гораздо бóльшим, чем представляется по ходу развернувшихся событий, но оно опять же носило мирный, увещательный характер, а уже наступили времена, которым подобные достоинства оказались ни к чему. Не им было тягаться с раскалом учения, раздуваемого после Манифеста многоголосьем политических партий.

К тому же и последние государи проявили себя мягкотелыми интеллигентами.

* * *

Вернемся теперь к обещанной статье Ан. Стреляного с музыкальным названием «Песни западных славян». «Наши нынешние песни, – спешит он поделиться сделанным открытием, – это все песни наших западных славян, в чем мог бы убедиться всякий читатель, когда бы всякий писатель был воспитан в правилах буржуазной честности, которая требует указывать источники и пользоваться кавычками». «Наши песни» – стало быть, высказывания, как он называет ее, «русской партии», представителей «грубого», «воинствующего» патриотизма, к которому Ан. Стреляный, человек просвещенный и порядочный, сумевший и в краю диких литературных нравов воспитаться в правилах буржуазной честности, принадлежать, разумеется, не станет. Его «наше» – обозначение своей несчастливой судьбы делить одно отечество с теми, кто ему неприятен. По его мнению, «русская партия» (воспользуемся его термином) по своему скудоумию ни до одной маломальской мысли додуматься не в состоянии и потому ворует русские идеи у русской эмиграции, которая, в свою очередь, обзавелась ими у обветшавшего и давно отвергнутого западного национализма.

Едва ли не с первых же строк автор цитирует меня. Я вынужден привести свои собственные слова: «Русскость,

так же, как немецкость, французскость, есть общее направление нации, внутреннее ее стремление, выданный ей при мужании, когда обозначаются успехи, аттестат на особую роль в мире. У одних эта роль практическая, у других художественная, у третьих религиозная, но каждая нация призвана на оплодотворение собой, помимо общих усилий, чего-то отдельного, к чему она имеет склонность».

Ан. Стреляный приводит эту цитату для демонстрации несамостоятельности мысли и заимствования ее неизвестно в каком варианте у Гегеля и первых гегельянцев. Но тут уж действительно, без всякой иронии должен признаться: и рад бы в рай, да грехи не пускают. Куда нам до Гегеля! На самостоятельности мысли настаивать не могу, но такого рода слова, говорящие о национальном призвании, начертаны в небе письменами на родном языке каждого народа, и умеющий читать выписывает их оттуда, а не с чужих страниц. Каждый, кто задумывался хоть немного не над одной лишь утробной, но и над духовной жизнью нации, имеет свои наблюдения – и чем точнее они, тем меньше ему принадлежат. Это видение, а видение не может быть заслугой ума.

Я не рассчитываю, что наш публицист согласится с подобной аргументацией. Ему требуются первоисточники, чтобы схватить за руку. По обороту головы – в отечественную литературу ему заглядывать недосуг. Русский человек непременно должен слямзить у доверчивого европейца, сам он и побрякушки не выдумает. Но если бы явилось нашему публицисту желание заинтересоваться темой, на которую он случайно наступил, он бы отыскал по ней солидную библиотеку. Не стану раздражать его тенями славянофилов, Гоголя или Достоевского, но ведь и Белинский, который должен быть по духу близок Ан. Стреляному, и тот не утерпел: «Каждый народ, – это из «Литературных мечтаний», – играет в великом семействе человечества свою особую, назначенную ему Провидением, роль – вно-

сит в общую сокровищницу... свою долю, свой вклад; каждый народ выражает собой одну какую-либо сторону жизни человечества».

Нет, не «своя рука владыка» водящего пером определяет назначение нации, как с необыкновенной легкостью судит Стреляный, а рука более могущественной силы, названной Белинским. Если для Стреляного это мистика, то и спрашивать с него нельзя.

Вообще же в преемственности русского сознания ничего дурного быть не может. Было бы дурно, если бы всякий раз начинали сначала и изобретали велосипед. Ан. Стреляный смотрит на вещи слишком близоруко, если считает, что «русская партия» кормится с письменного стола только послереволюционной эмиграции. Вина наша тяжелей, и простирается она в те глубины, когда национальное сознание едва зарождалось. Чтобы знать, что за дух мы несем в себе, чтобы быть уверенным в его крепости, не гнушались мы заглядывать и в мнения тех, кто не соглашался с ним как в прошлом, так и в настоящем. Когда же «русская дума» в России оборвалась (не от обжорства русским духом, как намекает публицист, а от его искоренения и выглаживания) и обрелась на молчание, на тление, на потайную жизнь, но заговорила в эмиграции после перенесенной катастрофы с необыкновенным чувством и прозрением – что же было естественно: обратиться к ней и восполнить трагическую утрату или пренебречь? Не чужие люди и не чужая дума, Россия и сейчас разбросана всюду, где дышит ее дух. Ни внутри России, ни прежде – не выстанывалось и не выпевалось никогда столько любви, тоски и веры, сколько у них, оторванных от ее материнского тела. Надо согласиться: в разлуке они обрели ее больше, глубже, чище и кровней, чем мы здесь, где и черты ее от холодной и слепой близости стали стираться. Смысл известной поговорки разошелся на две стороны: «что имеем – не храним» (и не чувствуем) –

осталось с нами; «потерявши – плачем» надрывным испуганием ушло с ними.

Ан. Стреляный подслушал у «западных славян» лишь один мотив, которым, как «просвещенным» национализмом, он счел выгодным потыкать в нос национализму «непросвещенному», не найдя нужным скрывать, что «просвещение» для него – это торжество идей, милых его сердцу. Мы же считали важнее и нужнее впитывать другое, то, что засушили на родных просторах, но без чего нельзя возродиться в полноте любви, – уметь обнаружить в себе за сердцем, перегоняющим кровь, еще и иное сердце, непрерывающимися толчками подвигающее к Родине, к ее неугасимому и спасительному теплу. Как у Ивана Ильина: «Разве можно говорить о ней? Она – как живая тайна; ею можно жить, о ней можно вздыхать, ей можно молиться, и, не постигая ее, блюсти ее в себе; и благодарить Творца за это счастье; и молчать...»

И только после этого страстного чувственного призыва позволяется осторожно начать рассудку: «Но о дарах ее, о том, что она дала нам, что открыла; о том, что делает нас русским; о том, что есть душа нашей души; о своеобразии нашего духа и опыта; о том, что смутно чувствуют в нас и не осмысливают другие народы... об отражении в нас нашей Родины – да будет сказано в благоговении и тишине».

И что же – не послушать, что будет сказано И. Ильиным о России, умеющим говорить о ней, как никто (еще И. Шмелев), не извне, не искательно, а словно из самой ее души и тайны, которые приоткрываются для редких избранных. Если уж и в эти для нас же приоткрытые, к нам же обращенные врата мы не заглянем – грош цена нам, и Россия по справедливости отринет нас за равнодушие и чужеверие.

Взявшись за тему о «песнях западных славян», Ан. Стреляный выказал бесшабашную смелость судить о них на один лишь лад. Он не может не знать, что то направ-

ление, к которому он принадлежит, давно поет с чужого голоса, у него свои «западные славяне» со своими «песнями». Они прижились в Европе еще со времен В. Печерина и вдохновлялись его знаменитыми словами:

Как сладостно отчизну ненавидеть!
И жадно ждать ее уничтоженья.

Солженицын в статье «Наши плюралисты» рассказал, какие замысловатые коленца выпевают в своих руладах современные выходцы из России, выставляя ее перед всем светом чудовищем. Мы вольны ежедневно слушать их по многочисленным радиоголосам. С тех пор как Россия и сама с головой окунулась в плюрализм, хор ненавистников с той и другой стороны зазвучал соединенно и мощно. «Славны бубны за горами – вот прямая истина», – давным-давно раскрыта Фонвизиним тайна россиеведов, едущих за смыслом отечественных событий в приятное далёко от места его приложения.

* * *

Наследников двух старых интеллигенций отличить ныне легко – по лицам, выражающим склад души, по речам и деяниям. Сойдясь за последней «тяжкой о России», каждая продолжает свое дело. Но черты и той, и другой, надо признать, измельчали. Сказались десятилетия после победы, которой ярко добивалась революционная интеллигенция, победы пирровой, обернувшейся по закону кровавых и несправедливых триумфов избием победителей. Одновременно карающий меч обрушился и на служилую интеллигенцию. Та и другая потерпели поражение, выигравших не было. Когда начались массовые расказачивание, раскулачивание и вместе с тем массовая разнационализация сознания, когда в результате «великих

переломов» человек на Украине и Волге доведен был до людоедства, – некому оказалось и голос подать в защиту десятков миллионов избиваемых, а остатки той, которая в старой России натерла на мозговых клетках мозоли напоминанием о бедственном положении народа, признали за пользу и благо для этого народа лагеря Беломорканала и тем самым благословили колючую проволоку.

Новая интеллигенция, названная впоследствии образованщиной, выпекалась наскоро и готовилась в основном для технических и идеологических нужд. Едва тронутая культурой, с укороченной, без прошлого, памятью, бесчувствительная к корням, но самолюбивая от этого и притязательная, она и в сравнении с прежней интеллигенцией, мало отвечавшей своему призванию, была на порядок ниже. Удерживалась, конечно, вопреки правилу, и тонкая прослойка хранителей просвещенной человеческой качества, но она или являлась, по новой терминологии, пережитком прошлого, или добирала души и ума за стенами университетов. Оборванная связь времен, перевернутое, как у младенца, видение мира и его ценностей, глумление над отечественными и общечеловеческими святынями, контроль над искусством и мыслью, верхоглядство учителей, предписанные правила хорошего тона, да и просто роль интеллигенции как общественной прислуги – все это делало из нее духовных недорослей и не давало надежды на ее целительность.

То, что скоро выпекается, быстро и старится. Советской интеллигенции, как она кроилась (а кроилась она на одну колодку), не суждена была долгая жизнь в благополучии и единении. Разные духовные поля, казалось бы, совершенно обесточенные и забытые, постепенно стали набирать каждое своей собственной магнетической силы и подсказывать разные пути служения Отечеству, ни один из которых не сходился с существующим. Вернее, с существующим соглашались те, кто лишен был исторических

чувств. А они начинали просыпаться. Им способствовали не только случайно доносившиеся «песни западных славян» и не только прорывы из прошлого голосов старых вероучителей, но главным образом собственная память, вызванная из молчания подобно тому, как из земли являются отростки недовырубленных корней. Единосемейная русская интеллигенция вспомнила, что братство ее сводное и что, рожденная одной землей, происходит она от разного духовного семени. Это ускорило созревание у одних гроздьев гнева, у других чувства вины.

Нетрудно под настроение поддаться мнению, будто, вопреки поговорке, гром перемен грянул, когда перекрестился мужик. Это не совсем так. Народ пошел в церковь от усталости и отчаяния от внушенного ему официального суеверия. Душа дальше не выдерживала идолопоклонства и беспутья. Россия медленно приходила в себя от наваждения, во время которого она буйно разоряла себя, и вспомнила дорогу в храм. Но вспомнить дорогу еще не значит пойти по ней; если бы Россия была верующей, то и тон наших размышлений о ней был бы иным. Она, быть может, только готовится к вере. Времена разорения души даром не прошли; проще восстановить разрушенный храм и начать службу, чем начать службу в прерванной душе. В ней нужно истечь собственному источнику, чтобы напитать молитву, которая, прося даров, могла бы поднести и от себя. Но то, что источники эти просекаются сквозь засуху, сомнений не вызывает, и запаздывают они лишь к страждущим, которые, страждая, не знают, чего хотят.

И потому сегодня вопрос: жива ли еще Россия, существует ли она в том народном теле и отеческом сборе, которые необходимо вкладывать в это понятие, – задавать такой вопрос уже не имеет смысла. Вчера имело, сегодня нет. Она пострадала больше, чем предсказывали самые мрачные прогнозы: как держава, носившая это имя, она на грани развала; как национальное образование в межнаци-

ональном единстве она тяжело поражена равнодушием к ней и ее непониманием, внутренними раздорами и эгоизмом; как божественный звук, заставлявший некогда каждого россиянина взволнованно перекреститься, утрачена; как кладезь неисчислимых богатств – на девять десятых исчерпана; как духовная собирательница и защитница славянства – осмеяна и смещена... и на своих собственных землях не смеет она защитить русского... но, обессиленная, разграбленная, захватанная грязными руками, обесславленная, проклинаемая, недопогибшая – все-таки жива. Если схватились из-за нее опять так, что искры летят, значит, есть из-за чего схватываться. Сегодня больше жива, чем в недавние времена своей изнурительной могущественности, потому что вынула из тайников национальные святыни, слабостью и отверженностью вызвала к себе сострадание и любовь, и против слетающих на нее с карканьем ворон начинают собираться отряды, готовые защитить Россию...

Сегодня нет тайны в том, что считать за возрождение России, хотя и пытаются возрождение подменить переждением, духовным, культурным и экономическим пленением. Отвалившись от давившего до беспродыха валуна приказной власти, она как никогда близка к национальной мобилизации и выздоровлению. И от этой близости и досягаемости – как никогда далека. Едва поднявшись с колен, она обнаружила, что находится на узком гребне, по обе стороны которого разверзаются пропасти. Влево скользнешь – голову сломишь, и вправо – себя не узнаешь. Завистники чужой жизни и запродажники, а также рвущиеся оседлать ее бесы из нутра новой революционной интеллигенции раскачивают Россию из стороны в сторону; каждое движение ее по гребню к спасительному расширению вызывает дружные возмущенные вопли. «Что-то будет?» – этим встречает нас каждое утро и провожает каждый вечер. Дойдет ли? Не оборвется ли всего в двух-трех

шагах от желанной цели? А если оборвется и попадет в лапы цивилизованных шкуродеров – новой изнанки, нового вытаптывания и выламывания ей не выдержать. Тогда можно заказывать поминки.

Радикальная интеллигенция в последнее время, кажется, начинает понимать необходимость поостыть – во имя собственного же спасения; но, во-первых, нутро, питающееся духом нигилизма, не пускает, а во-вторых, уже не ей принадлежит право выбора. Его перехватила вызванная ею сила из отечественного беспредела, которую и сами учителя вынуждены со страхом называть чернью. Она чернь и есть, но не по социальному положению, а по духовному крапивничеству, по авантюризму, деятельному злу и политическому мошенничеству. Ей любое море по колено, любая опасность нипочем. Уголовник, ставший «народным» избранником в органах власти и занявший кабинет своего судьи, – один ее образ; услужливый темным страстям и глумливый над моралью журналист – другой. Для «культурной» интеллигенции распахнуты все ворота, рукопожатство своих и чужих растлителей перегородило над государственными границами горизонты. Искать сотрудничества с любым языком для заглушения и разрушения своего становится признанной печатью деловых отношений.

Нет нужды задаваться вопросом: откуда они? да неужели они не понимают? Все понимают, ибо только в подобном ремесле и раскрываются их таланты. На ослабленном теле неизбежно появляются паразиты; России недостало и половины времени, чтобы восстановить подорванные силы, как снова из огня да в полымя: из чумы да в холеру – тут уж не до социальной и нравственной гигиены. Еще десятки лет назад звучали предупреждения (конечно, негласные) о последствиях массового подневолья, которое в условиях грубого атеизма, без христианского чувства прощения грозит тяжкими плодами цинизма

и злобы. Сегодня мы пожинаем их небывалым урожаем. «Аз воздаю» звучит миллионными протестами и проклятиями, направленными по слепоте в первых попавшихся и бьющих по России: в нее не промахнешься, и ей не привыкать ходить в виноватых за все, что было, есть и будет. Ей не привыкать принимать на себя вину, но и им, выросшим из ее боли, не привыкать бросать камнями за то лишь, что она не отвечает их представлениям о земле обетованной.

Вспомним Иоанна Златоуста: «Творить милостыню – дело более великое, чем чудеса». Не чудес следует ждать от России, которые бы всех утешили и ублаготворили, откуда их взять ей, и великим даром само по себе надо считать, что она еще жива; как и она не может рассчитывать на скорое исцелительное чудо от нас. Но больше всего нуждается она в нашем милосердии, в том, чтобы по крупице и по капле принесли мы ей свою преданность, веру, любовь, труды, чистоту помыслов и чистоту жизни, разделили бы между собой ее страдания, поклонились за мученичество, встали крепкой защитой против бесей, истязующих ее плоть и дух... Чтобы как дыхание приняли мы ее в душу, заговорили ее словом, согласились на единые перемоги... Не соль посыпать на раны ее, не проклинать и не взыскивать за бедствия и нищенство, не продолжать их раздорами нужно России, а это, это, это...

1990

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СОВЕСТЬ...*

Здесь правильно говорили о том, что у нас вкус борьбы не угасает, только меняются теперь ее адреса. Прежде мы боролись, как я однажды сказал, с противниками, меня поправили – с оппонентами. Пусть будет с оппонентами. Но теперь эта борьба пришла во внутренние ряды. А даль-

* Выступление на IX съезде писателей России.

ше? Будем брататься с теми, кого называли противниками, или пойдем в этой борьбе дальше и начнем взыскивать с России и набрасываться на народ? Тем более что такое в нашей истории уже было. Чему научило нас прошлое и научило ли оно все-таки чему-нибудь?

За три последних года, когда вместе с крушением прежней России сокрушена была система государственной поддержки творческих союзов, мы пережили многое. Пережили разделы и переделы внутри писательских организаций, травлю «демократической» прессы, призывы к расправе над нами во время «крестовых походов». Но самое неприятное – пережили развал государственных издательств и отлучение нас от издательств коммерческих.

Были моменты, когда казалось, что нас предал и читатель. Мы теряли общеписательскую собственность, которая позволяла рассчитывать на материальную поддержку, была определенной защитой нашего рабочего места. Но стократ хуже – случались тяжелые моменты, когда теряли уверенность, выдержит ли дьявольское глумление над собой отечественная литература и нужны ли ей наши перья.

Многие писатели, чтобы выжить физически в новой, безжалостной России, вынуждены были оставить письменный стол и пойти в сторожа, дворники, истопники... Места знакомые: не один из нас начинал свой творческий путь, когда искал в молодости занятий, которые давали кусок хлеба и оставляли время для работы над рукописями. Но на склоне лет – это, в сущности, творческая смерть.

Я сегодня скорбной памятью склоняюсь вслед ушедшим из жизни, со скорбью же мы должны склониться перед ушедшими из литературы по нужде, среди которых немало мастеров.

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»? Можно согласиться с поэтом об избранничестве свидетелей и участников великих событий, сдвигающих миры. Но когда «минуты роковые» превращаются в годы

морские, историческая удача присутствия убивается тяжестью физического и нравственного истязания, отчаяния от картины непрекращающегося разрушения.

Все мы так или иначе несем в себе грех вины за содеянное с Россией, потому что еще десять лет назад не было в России более сильных людей, чем писатели. Общество с удовольствием позволяло себе смеяться над политическими вождями, не доверяло ученым, с тревогой наблюдало явившееся из «образованщины» национальное перерождение технической интеллигенции. Но кто, вспомним, позволил бы себе усомниться в искренности Федора Абрамова, Сергея Залыгина, Юрия Бондарева, Виктора Астафьева, Василия Белова и других, бывших воистину народными писателями, к слову которых жадно прислушивались? Доверие и уважение к ним снизу заставляло считаться с ними и на верхах.

Сейчас это напоминает мастерски срежиссированный спектакль, в котором мы играли роль трудного, затянувшегося, но все-таки выздоровления, тогда как постановщики, используя в том числе и наш протест против опасных экспериментов над Отечеством, вели дело к иному финалу. Прозрение пришло к нам поздно. И за шумными хлопотами о физическом и духовном здоровье своего Отечества мы долго не слышали шагов подкрадывающегося убийцы.

А если бы вовремя расслышали – что-нибудь изменилось бы? Это не праздный вопрос. Достоевский предрек революцию за десятилетия до ее наступления, предвидел ее во многих ужасающих подробностях, но революцию не остановил, хотя и имел огромное влияние на общество. К тому времени революция уже вживлена была в тело России, и ее микробы вовсю горячили окаянством молодую кровь. Выставленные на всеобщее обозрение верховенские и шигалевы испытывали неловкость недолго: широкое либеральное мнение, в которое входили даже члены императорской семьи, если не изготовляло бомбы,

то бомбам сочувствовало. И это тоже сделалось судьбой России – тайно или явно лелеять своих врагов, а друзей и пророков если и не преследовать, то ставить в такие условия, что и любовь к ним выглядела болезненным поклонением заблудших сердец.

Вообще это не только парадокс, не только глубокое противоречие, но и какая-то тайна русской литературы: самая великая в мире, первая по художеству, по нравственной и духовной силе внушения, впитавшая эту силу из глубин народных, она во второй раз за столетие играет немалую роль в разрушении России.

Розанов, быть может, чересчур категоричен при вынесении своего приговора, когда говорит: «из всех составляющих разложителей России ни одного нет нелитературного происхождения», но как гениальный прорицатель, на пороге смерти подводивший итоги и жизни своей, и своих наблюдений, он заслуживает того, чтобы не отмахиваться и от этих суровых слов. Значительно раньше грех «косоглазия» замечает за русской литературой и Достоевский, задававшийся вопросом: «Почему у них у всех (у русских писателей. – В. Р.) не хватило смелости (талант был у многих) показать нам во весь рост русского человека, которому можно было бы поклониться? Его не нашли, что ли?..»

Все наоборот: смелость не для обличения, а для беспристрастного показа здоровой, чистой фигуры, которая явно существовала поверх неурядства, грубости, грязи – вон куда завернул общественный запрос, которым руководили особые мастера вкусов, вон какая стояла тогда на дворе «художественная» погода!

Была, разумеется, наряду с обличительной и «лечительная», душестроительная литература, о необходимости мужества для которой говорит Достоевский. Но превосходство первой, восторженный ее прием и все увеличивающийся с годами разрыв между ними сказался на общей работе литературы. А разве не то же самое было и

перед второй, перед недавней революцией? Несмотря на цензуру и остатки, лучше сказать, останки соцреализма, разве не искал читатель едва ли не в каждой новинке доказательств своей пропащей жизни и разве литература ему не поддакивала? Но было опять и встречное течение отечественное, которое помогло очнуться после летаргического сна и в полумертвом космополитическом пространстве искать родные души и родные звуки. Казалось бы, вычистили, выбрали до последней памятки – и вдруг пробуждение, подобное восстанию из мертвых. С этим не захотели смириться: тогда-то и явились со своими книжками и программами осевшие в пропагандистских кабинетах шигалевы, не успевшие закончить свое дело после первой революции... Тогда-то и явилась в великом множестве уже не подтачивающая, а взрывная литература из старых и новых запасов, тогда-то и взрехали телеэкраны, и полилась клокочущая грязь по всем городам и весям, пугая нас тем, что она находит прием. В том, что это нас испугало, никаких сомнений нет.

Из песни слова не выкинешь, из литературы мнения – тоже. При виде страшного разрушительного энтузиазма, охватившего Россию после 17-го года, некоторые русские писатели, в их числе Бунин, Розанов, Волошин, не удержались от проклятий своему народу и отечественной истории, больше того – от готовности (быть может, только литературной, но высказанной вслух) скорее отдаться под руку «германцев с запада или монголов с востока», нежели терпеть неисправимое российское варварство.

Не будем судить их. Мы еще не дошли до того, что испытали они. Но и они, опять же, возможно, литературно, ради словца, забывают, что каждая книга приводит в движение целые миры; задолго до результата они баловались талантливым перемежением любви и ненависти к своему народу, невольно подготавливая уродливые плоды несовместимости.

Не будем судить, они испытали много. Трудно сказать, что ждет нас впереди. Однако без проклятий, срывающихся из уст нашего брата, не обходится теперь. Упаси нас Господи когда-нибудь повторить их от себя, какие бы картины ни готовила нам судьба. Ибо откуда же у самого «дурного» в мире народа самое чистое слово и самый нежный звук, откуда у него, духовно нищего, великое созвездие святых? Да и откуда мы сами, как не из души и тела его, из его страданий и язв? Это «апрельская» литература может сослаться на свое инородное происхождение, оттого и невыносим ей русский дух, а наш-то брат с какой стати кидается на то, из чего он вылепился?

Во второй раз за столетие настигает Россию смертельная опасность «от единственной и основательной причины – неуважения себя». Это диагноз Розанова, но самый точный диагноз. Он относится к русскому народу, поэтому я говорю сейчас о нем. У других российских народов самоуважение, напротив, выросло за последние годы ровно настолько, насколько оно понизилось в русском народе. Мы по-прежнему большой народ, но великий ли, это еще вопрос. Может быть, как говорил Достоевский, это «великий и милый больной». Но сегодня ему и умиляться нельзя, он весь в язвах, которые пришлось бы долго перечислять, но которые мы все хорошо знаем, в язвах своих и чужих, принятых им с тем же терпением, с каким недавно он привык разделять чужие тяготы, жертвуя благополучием, образованием детей и своим здоровьем... Но на сей раз, если не изменится его отношение к себе, жертвовать придется жизнью.

Нет сейчас у нашей литературы более важной задачи, нет цели более необходимой, чем вернуть русскому имени достоинство и твердость.

Разумеется, это не шапка, случайно потерянная в пьяной драке, которая, если только хорошо поискать, обязательно найдется. Нет, это исцеление надо будет собирать долго, терпеливо, по капле живой воды, по зернышку памя-

ти, по слову надежды, это возвращение из забвения предстоит трудным, но у нас нет другого выхода, как приниматься за эту работу. Она, впрочем, уже и делается. Здесь говорили об этом. При многих писательских организациях созданы собственные издательства, пусть небольшие, выпускающие по десятку книг в год, но эти книги – тот самый глоток воздуха и воды, без которых хоть задыхайся.

Трудно существуют литературные журналы со старыми названиями, но держатся из последних сил, живут. Сейчас появились новые, о них тоже говорили. Хотелось бы добавить еще один сибирский журнал – «Земля Сибирская – Дальневосточная», журнал, который издается в Омске, из порядочных. Каждый номер встречается с радостью и гордостью – и это не просто слова, – встречается по всей России. Это радость от накопления сил, от встающих в защитные ряды, от раздающихся оттуда, где, уверяют нас, нет ничего, кроме могил, живых голосов поддержки.

Вернуть достоинство и авторитет русскому человеку вне национального его облика нельзя. Существо, поменявшее собственные органы на донорские, стыдящееся своего языка и своего имени, облученное убийственным светом телеэкрана, нам не товарищ, и не его мы собираемся звать к самоуважению. Наши хлопоты и наше слово способны вернуться из забвения и дурмана в круг национальной жизни, к вере отцов, и отогреть застывшую душу.

Русское имя – уже не ругательство, как определили его несколько лет назад: сегодня оно звучит устало, скорбно, но без стыда, с выражением явившихся в нем сил. Оправдан сейчас и патриотизм.

Мы говорим: писатель должен быть беспристрастным – то есть честным, служащим истине. Но когда речь идет о своем народе, о своем Отечестве – нет, писатель должен быть пристрастным, говорить о них с усилением, с состраданием, с любовью, с уважением, замечать и большими буквами выписывать то доброе и чистое, что есть

в народе. Да, среди великого множества мерзостей жизни, загадивших нашу Родину, есть и бескорыстие, и радость, и надежда, и святость. Они очень сейчас нужны читателю. Он устал от зла, подлости и цинизма, грубости и оскорблений. Огромный успех ждет сегодня книгу, где сквозь слезы и страдания, сквозь страх и нужду засветится герой надеждой и любовью и не уронит с красивого лица благодарной за жизнь улыбки.

Если депутата той же Думы народ избирает для того, чтобы он защищал его права, то нас какой-то невидимой силой народ выдвигает для того, чтобы защищать совесть, веру и красоту.

1994

ШЛЕМОНОСЦЫ*

Начну с печальных и мудрых слов И. А. Ильина: «Народы не выбирают себе своих жребиев, каждый приемлет свое бремя и свое задание свыше. Так получили и мы, русские, наше бремя и наше задание. И это бремя превратило всю нашу историю в живую трагедию жертвы; и вся жизнь нашего народа стала самоотверженным служением, непрерывным и часто непосильным... И как часто другие народы спасались нашими жертвами и безмолвно и безвозвратно принимали наше великое служение... с тем, чтобы потом горделиво говорить о нас как о “некультурном народе” или “низшей расе”».

Эти слова были сказаны еще за пятнадцать лет до Великой Отечественной и сказаны были не откуда-нибудь, а из Германии, где И. А. Ильин жил тогда в эмиграции. И прозвучали они удивительно зорким прорицанием новой «трагедии жертвы» и нового ее непонимания и извращения. К тому времени у нас накопился долгий и тяжелый опыт

* Выступление на IX Всемирном Русском народном собрании.

жертвенного служения, опыт (это опять слова И. Ильина) «незримо возрождаться в зримом умирании, да славится в нас Воскресение Христово».

С. Соловьев насчитал на Руси с 1240-го по 1462 год (за 222 года едва неполного периода татарского ига) двести войн и нашествий. С XIV по XX век, за 525 лет (это уже после ига), – 329 лет войны. Две трети своей истории – в сражениях. С Поля Куликова вернулась только десятая часть ратников Дмитриева войска, вся Русь оглашалась стенаниями, некому было засеять поля, но некому было в первые десятилетия и Русь засеять новыми поколениями. Какой еще народ мог выдержать такое и снова и снова находить силы для возрождения?!

XX век не стал исключением: японская война, Первая мировая, Гражданская, финская, Халхин-Гол и, наконец, Великая Отечественная, самая жестокая за всю историю России, взявшая самую обильную смертную дань, оставившая после себя вконец израненное и измученное тело страны. Никогда еще так грозно не подступал вопрос: быть или не быть России? И никогда еще не бывало, чтобы так долго кровоточили раны и чтобы спустя шестьдесят лет после Победы приходилось с горьким сердцем признавать, что полноценной замены погибшим так и не произошло.

Эти два события – Поле Куликово и Отечественная война, разделенные более чем полутысячелетием, невольно в нашем представлении возвышаются над Россией огромными скорбными курганами. Но они встают рядом еще и потому, что там и там вместе с огневым и разящим оружием в неменьшей степени действовало оружие духовное, скреплявшее защитников Отечества в единую плоть и единый дух, в цельную неодолимую преграду. Они становятся рядом, эти два события, вопреки всему, что их разделяет, еще и потому, что промыслительно для того и другого выпало выгодное время: в первом случае уже произошло сцепление народа, во втором – еще не случилось его расцепления.

От принятия христианства князем Владимиром и до нашествия Батыя прошло 250 лет, примерно столько же продолжалось татарское иго. Это совпадение двух разнородных сроков не случайно. Словно сам Господь на весах выверял, чему отдалась русская душа. На Поле Куликово под водительством двух вождей – князя Дмитрия и Преподобного Сергия Радонежского – впервые вышла объединенная Святая Русь, там, в ночи рабства, беспрестанно продолжалась тонкая душетканная работа собирания русичей с помощью Иисусовой молитвы в единый народ. Русь возродилась еще до победной битвы, на Поле Куликово она шла скрепленной в сыновьем и братском родстве – и как сыны земли Русской, и как братья во Христе. И самоотверженное воодушевление Дмитриевой дружины было таково, что сколько бы ни запросила победа, столько и положили бы к ее стопам. «С радостью умирали» – всегда мне казалось сомнительным и даже фальшивым это выражение, но в решительных схватках, когда к смерти и готовились, и не чаяли остаться в живых, это было воинское правило, чтобы не иметь после поражения сраму.

Отечественная война началась через двадцать лет после революции и Гражданской войны, после исхода с Родины той части верноподданных России, которая не приняла революцию и сражалась против нее, после жестокого богоборчества и силового наведения нового порядка. Новая Россия (СССР) еще не оправилась ни от разрухи, ни от разброда. Двадцать лет для переворотных событий подобного рода – срок немалый, но народную душу, столетиями воспитанную в незыблемых нравственных и духовных правилах, в почитании органической, судьбой данной Родины, в такие годы искалечить трудно. «Родина-мать» – это прежде всего было в сердцах, а уж потом зазвучало громко и пропагандно.

Быть может, подобные предположения бессмысленны, но кажется мне, что, навалились Великая Отечествен-

ная в грозе и мощи соответствующих времени, еще через двадцать лет, воевать и побеждать оказалось бы гораздо труднее. Сказались бы и духовная потрепанность, и постепенное отслоение от матушки – родной земли. Но большее всего сказались бы начинающийся распад общего народного тела на части, получающие индивидуальную чувствительность, – и что-то вроде броуновского движения в мозгах. При этом надо иметь в виду, что Победа в Отечественной войне эти опасные явления опередила и отдалила тоже, быть может, лет на пятнадцать-двадцать, иначе они могли проявиться и раньше.

У Евгения Носова, писателя-фронтовика, есть дивного слова и чувства повесть под названием «Усвятские шлемоносцы» – о том, как уходили на войну деревенские мужики. Сорванные известием о ней с самой радостной полевой страды – с сенокоса, они доживают, точно доживают, чтобы уложить в суслоны перед молотьбой, последние сирые денечки среди всего родного, с чем предстоит расстаться. Деревенскому человеку уходить еще труднее, нежели заводскому или конторскому, он врос в родную землю так крепко, такое у него богатство вокруг и в таком родстве он со всем, со всем, что живет рядом, что это не объяснить даже в самой малой доле. И представить нам это прощание сегодня уже нельзя: не 64 года прошло с той поры, а сотни лет – так изменился человек и так оторвался он от пуповины породившего его природного мира. В повести, кстати, есть сцена, которая по смыслу своему выше земного удела человека, когда мать торопливо и неловко, уже на ходу, догоняя тронувшуюся колонну призывников, сует сыну, как оберег, как заклинание, тряпицу, в которой высохшая сыновья пуповина, сохранившаяся с рождения.

Прошу прощения за длинную цитату, она необходима:

«Касьян (это главный герой повести. – *В. Р.*) в свой 36-летний зенит, когда еще кажется далеким исходный

жителей край, а дни полны насущных забот, особо не занимал себя душеспасительными раздумьями, давно уже позабыл те немногие молитвы, которым некогда наставляла покойница бабка, и редко теперь обращался в ту сторону, да и то когда отыскивал какой-нибудь налоговый квиток за божницей. Но нынче, войдя в горницу, нехожено-прибранную, встретившую его алтарным отсветом лампы, он, будто посторонний захожий человек, тотчас уловил какое-то отчуждение от него своего же собственного дома и, все еще держа кошелку со сменным бельем, остановился в дверях и сумятно уставился в освещенный угол, догадываясь, что сегодня лампа зажжена для него, в его последний день, в знак прощального благословения. Ее бестрепетное остренькое пламя отражалось в потускневшей золоченой ризе старой иконы, выдавшей поклоны еще Касьяновой прабабки, и из черноты писаной доски ныне проступал один лишь желтоватый лик с темнозапавшими глазами, которые, однако, более всего сохранились и еще до сих пор тайным неразгаданным укором озирали дом и все в нем сущее.

Стоя один на один, Касьян с невольной пристальностью впервые так долго вглядывался в болезненно-охристое обличье Николы, испытывая какую-то беспокойную неловкость от устремленного на него взгляда. Икона напоминала Касьяну ветхого подорожного старца, что иногда заходил в Усвяты, робко стуча в раму через палисадную ограду концом орехового батожа. Словно такой вот старец забрел в дом в Касьяново отсутствие и, отложив суму и посох и сняв рубище, самовольно распалил в углу теплинку, чтоб передохнуть и просушиться с дороги. И как бы пришел он откуда-то оттуда, из тех опасных мест, и потому, казалось, глядел он на Касьяна с этой суровой неприязнью, будто с его тонких горестных губ, скованных напряженной немотой, вот-вот должны были сорваться скопившиеся слова упрека, что чудились в его

осуждающем взгляде. Встретившись с Николой глазами, Касьян еще раз остро и неприятно ощутил тревожную виноватость и через то как бы вычитал эти его судные слова, которые он так натужно силился вымолвить Касьяну: «А ворог-то идет, идет...»»

Посмотрите, с какой точностью не только художественной, но и чувственной, душеводной пишет автор этот миг озарения и укрепления героя перед образом святого Николы. И как правильно, что именно он, крестьянский заступник и наставник, подталкивает: «А ворог-то идет, идет...»

Русский человек оставался православным: так скоро, в какие-то двадцать лет, душа народная в модные одежды не переодевается. Он весь был пронизан, несмотря на новые веяния, дыханием тысячелетней России, он сам был ее дыханием, будучи частицей ее тела. Еще не было и быть не могло того, что появилось потом: будто человек выше Родины и живет в ее стенах по какому-то юридическому соглашению, которое в любой момент может быть расторгнуто, если не выполняются условия договора. Когда человека превращают в ничто, это значит, и Родину превращают в ничто, и не может у них быть разных судеб ни в счастье, ни в несчастье. Последнее замечание относится уже к нашим временам.

И еще одно, бывшее порукой Победы в Великой Отечественной: Россия тогда оставалась еще крестьянской страной, а нет вернее, крепче и умелей защитника Отечества, чем сын крестьянский, который по духовному своему устройству есть повторение России. А когда крестьянские дети вынуждены были еще и становиться военачальниками, когда в помощь им были призваны на фронт великие Александр Невский и Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов и Федор Ушаков, а они, в свою очередь, потребовали, чтобы тревожный бой церковных колоколов разбудил и привел на поля сражений их испы-

таных ратников, не знавших другого исхода боя, кроме победы; когда запасными полками подошли они и встали рядом – вся тысячелетняя Русь из глубин своих поднялась наверх, подобно чаемому граду Китежу, и обрела зримые очертания. После этого в победе сомневаться не приходилось. Жертвенная, как всегда, в этот раз жертвенная в тысячекратном увеличении, доставшаяся в таких невзгодах, каких никогда не бывало, и от этого еще более дорогая, впаянная в сердца фронтовиков и всех ее современников, – она сегодня должна быть впаяна в сердце каждого, кто знает Россию своим Отечеством.

Празднуя сегодня эту великую Победу, мы вызываем ее из прошлого, где всего только десятилетие назад ее пытались похоронить, не только для того, чтобы воздать должное почести фронтовикам и вспомнить звездный час России, – мы, прежде всего, вызываем ее, чтобы приложиться к ней как к национальной и государственной святыне, подобной чудодейственным святыням православия, для духовного и физического исцеления. И чтобы под ее златым омофором призвать в единый строй былых защитников Отечества, как не однажды в скорбные времена призывались падшие до толе для совместного спасения России.

Сегодня мы живем в оккупированной стране, в этом не может быть никакого сомнения. То, чего врагам нашего Отечества не удавалось добиться на полях сражений, предательски содеялось под видом демократических реформ, которые вот уже пятнадцать лет непрерывно продолжают бомбить Россию. Разрушения и жертвы – как на войне, запущенные поля и оставленные в спешке территории – как при отступлении, нищета и беспризорничество, бандитизм и произвол – как при чужеземцах. Что такое оккупация? Это устройство чужого порядка на занятой противником территории. Отвечает ли нынешнее положение России этому условию? Еще как! Чужие способы управления и хозяйствования, вывоз национальных богатств,

коренное население на положении людей третьего сорта, чужая культура и чужое образование, чужие песни и нравы, чужие законы и праздники, чужие голоса в средствах информации, чужая любовь и чужая архитектура городов и поселков – все почти чужое, и если что позволено свое, то в скудных нормах оккупационного режима.

Чужое настоящее... и что же? – чужое будущее? Но чужое будущее – это уже окончательно победившее, из оккупационного превратившееся в оседлое и хозяйское свое. Вот такая перед нами перспектива, если наше сопротивление останется столь же вялым и разрозненным. И что же – отпразднуем Победу, добытую нашими отцами и дедами, воздадим им должное – и снова склоним голову?!

Чем добывалась Победа в таких судьбоносных схватках, как Поле Куликово и Великая Отечественная? Прежде всего самоотверженностью, когда тебя, как индивида, имеющего право на завтрашнюю жизнь, словно бы и нет, а есть мгновение, которое сильнее тебя и в которое ты или успеешь или не успеешь сделать спасительный для победы рывок и невидимые крылья подхватят тебя и вознесут в строй бессмертных: «да славится в нас Воскресение Христово!»

2005

БЫЛИ ЛЮДИ И В НАШЕ ВРЕМЯ*

Почему уходят до поры самые лучшие? Почему Господь призывает именно их? Неужели и там, в небесных палестинах, тоже идет нешуточная борьба за правое дело и воины за него требуются не меньше, чем здесь?

Я познакомился с Сергеем Лыкошиным еще в ту пору, когда он работал в издательстве «Современник». Знакомство было шапочным, в редакции критики, бывшей местом

* К годовщине кончины Сергея Лыкошина.

его службы, я оказался как в комнате ожидания, пока не пришел мой редактор из прозы. Мы общались с Сергеем недолго, и я не запомнил, о чем говорили, но на фоне бойких, что называется, на ходу рвущих подметки, молодых редакторов незадолго до того созданного издательства от Лыкошина осталось светлое впечатление спокойной уверенности в себе и незаемного литературного вкуса.

Чаще в те годы я издавался в «Молодой гвардии», и Юрий Селезнев из «ЖЗЛ» все подбивал меня на книгу в этой серии о В. И. Дале. Испытывал к Далю, как к волшебнику, вместе с восхищением и безграничное удивление: как это он в одиночку мог пожать столь великое языковое богатство, которое народ засеивал в течение столетий? Чтобы писать о нем, надо хоть по одной статье, хоть по одной мерке быть с ним вровень... Я тянул, не отказываясь окончательно, но и не смея сделать хотя бы начин. Лыкошин, пришедший в «ЖЗЛ» после Селезнева, как-то легко и необидно снял с меня эту обязанность. К той поре я проштудировал чуть ли не половину Словаря, делая выписки, ахая и замирая от восторга над точностью, глубиной и красотой речений народаязыкотворца. «Вот это нам и требовалось, – серьезно отозвался Сергей, когда я похвастался своими «раскопками» из Даля, – побольше бы таких несостоявшихся авторов».

Но это шли уже 80-е, которые начались так обнадеживающе – с юбилея Куликовской битвы – и закончились бесславной капитуляцией еще вчера могучей державы перед расплотившимися «грызунами» ее строения, бесстыдно кричавшими о порядке «с человеческим лицом». Мы не успевали держать оборону, на открывшуюся совсем рядом, как в мираже, Русь пошло наступление со всех сторон: поворот северных и сибирских рек, загрязнение Байкала, уничтожение лесов, разрушение памятников истории и культуры, несмотря на существование российского общества по их охране, все более яростные наскоки на русское имя, которое только-только стало произноситься вслух.

Затем пришел бесхарактерный Горбачев – и мрачная тень его черного кардинала по фамилии Яковлев нависла над страной. Загремели, полились, как из рога изобилия, бесстыдство, злоба, кощунство; отпетые враги России объявили врагами нас, всех вместе и каждого в отдельности, кто пытался сойтись в противоборстве и духовном сопротивлении.

У меня сохранилась фотография с организационного собрания Товарищества русских художников, которое состоялось в малом зале кинотеатра «Россия», насколько мне помнится, в марте 1988 года. Всю организационную работу взял на себя и председательствовал на собрании Сергей Лыкошин. Это был, несмотря на молодость, уже не мальчик, а муж: решительный, умный, прекрасно разбирающийся в подоплеке событий, с талантом оратора, когда не нужно брать горлом. Я смотрел на него с отрядным удивлением: потребовалась фигура, которая могла взять на себя ответственное лидерство среди отечественной интеллигенции, – и она, эта фигура, явилась.

Однако товарищество просуществовало недолго, мы опаздывали. Вот на фотографии сидят рядом Юрий Бондарев и Виктор Астафьев – рядом, но мрачно отвернувшиеся друг от друга, уже не понимающие один другого. Вот приуныл всегда веселый, неутомимый Юрий Селиверстов. События развивались стремительно, и не в нашу пользу, опрокидывая очередную нашу защиту, пока не дошло до рукопашной и баррикад.

Но дело Товарищества русских художников, под декларацией которого поставили подписи более ста самых именитых в литературе, искусстве и науке, не пропало даром, и на корневых его отростах выросли новые, всякий раз не без участия Лыкошина.

Через пять лет после мирного товарищества с двадцатого этажа Дома Советов под пулями и танковыми снарядами он ведет радиопередачи и устраивает по громкого-

ворителю выступления защитников. Рядом с ним близкие друзья – Эдуард Володин и Юрий Лощиц. Они сошлись давно... Хотелось бы сказать, в мирные советские времена, но никогда для русского человека благополучных времен не выпадало, постоянно ему приходилось отстаивать свободу своего имени в семье народов.

Во дни расстрела Белого дома я жил под Иркутском на даче, не имея рядом ни телевизора, ни радио, спасаясь от их глумливого вранья. И о событиях в Москве услышал из разговора на соседнем участке. Бросился в город. По ТВ раз за разом повторялись картины дымящегося здания парламента и длинная череда выходящих из него под защитой «Альфы» тех, кто держал оборону. Что делать? – я стал представлять, кто из наших не мог там не быть, и ошибся совсем в немногих. Ошибиться в Лыкошине, Володине и Лощице было нельзя.

Только недавно я узнал, что лыкошинский род был древним и в истории государства Российского именитым. Сергей Артамонович никогда этим не кичился. В отличие от многих и многих, кто с падением коммунизма бросился выдумывать себе красивую родословную. Но всегда, во всех случаях жизни при нем оставались достоинство, стать, природная величавость, совершенно исключаящие заносчивость или раздражительность. Однажды при мне – и не из желания потрафить ему, а от чистого сердца – назвали его правдоискателем. Он спокойно отозвался: «А чего ее искать, правду-то, она всегда должна быть с нами». Вот так же всегда с ним, как родовые и охранительные залого, были традиционализм и охранительный консерватизм, о которых он не забыл еще в Уставе Товарищества русских художников и которые поставил на первое место, когда уже в новом веке возглавил Национально-консервативную партию и взялся совместно с русскими предпринимателями издавать газету.

Я не однажды по-детски размышлял: а что если бы таких, как Эдуард Володин и Сергей Лыкошин, были не

единицы, а сотни на Москву, тысячи и тысячи на Россию? Неужели она, Россия, в годы потеряла бы значение державы? Нет, не может быть. Понятно, что разрушать легче. Легче было в революцию 1917-го, легче, с каким-то звериным неистовством, после прихода Горбачева и Ельцина.

Кабинет Лыкошина в Союзе писателей постоянно напоминал штаб, здесь всегда было тесно: батюшки, журналисты, конечно, литераторы, служилые люди, не отказавшиеся от своей русскости... Здесь решался вопрос об открытии православного сайта в Интернете, обсуждалась и организовывалась издательская работа, появилась газета. Было бы несправедливостью не сказать, что и весь писательский дом на Комсомольском был (и остается) правоверных патриотических сил. Валерий Николаевич Ганичев и Сергей Артамонович Лыкошин – как они дополняли друг друга и какая здесь напряженная шла работа! Ведь и Всемирный Русский собор, существующий более десяти лет и заставивший уважать себя действительно во всем мире, – общее детище Патриархии и Союза писателей.

Вспоминается многое, связанное с Сережей, Сергеем Артамоновичем Лыкошиным, вспоминается с болью и одновременно с утешением: нет, не оскудела земля Русская на славных сыновей своих, не прервалась окончательно связь времен и беспредельного, до самоотречения, служения ей.

Вспоминается, как шел он навстречу для объятий с каким-то голубиным нежным взглядом, каким всегда встречал приятного ему человека...

Вспоминаются поездки в Минск, Якутию, Краснодар, Орел... было их немало, и везде он оказывался не впервые, всюду его встречали и обнимали, как родного... Он и в Чечне, куда мы полетели большим десантом, побывал до того не однажды и сразу отправился на передовую. Вспоминаю его, испуганного, с мятущимися глазами, не знающими, за что зацепиться, когда позвонили, вызвали его из уже рассаживающегося президиума в день открытия писатель-

ского пленума в декабре 2001 года и сообщили о смерти Эдуарда Федоровича Володина.

Он ушел тоже зимой. Незадолго до кончины я побывал у него, уже распластанного в постели, обреченного... Он был спокоен, даже радостен, весел. Вел разговор, не позволяя ему ненароком коснуться его состояния. Могло сложиться такое впечатление, что он на пороге выздоровления. Пил с нами чай, стараясь не показать, как тяжело ему держать кружку; пригубил не только чай. И, прощаясь, ничуть и ничем не выдал себя, голубиный взгляд, ласковый и животворный, таким и оставался до последней секунды.

Да, были люди и в наше время!..

2007

IV УРОКИ РУССКОГО

СВЕТОНОСНОЕ ИМЯ *К 200-летию А. С. Пушкина*

Пушкин жил недавно. Я провел на этом свете шестьдесят с лишним лет, а это третья часть от рождения Пушкина. Чем старше становится человек, тем все очевиднее века для него принимают не фантастические, а реально-близкие очертания, как некое жилое помещение, в котором меняются жильцы. Пушкину всего два века. В 1799 году Россия понесла удивительным чадом, ставшим затем «солнцем русской поэзии», «нашим всем». И горит-греет с той поры солнце бессрочно, и стоит «наше все» непоколебимо от горизонта до горизонта, обогащаясь и расширяясь. И не будет ему забвения не только «доколь жив будет хоть один пиит», но и доколе жив будет хоть один русский человек.

Он пронизал своим волшебством каждого из нас, одних больше, других меньше, в зависимости от душевной и сердечной проводимости, даже люди огрубевшие или совсем окаменевшие повторяют как раскаяние его стихи. Он всем что-нибудь да дал. Многие живут с его поэзией в сердце как с вечно прекрасными и неувядающими букетами цветов, многие, не найдя в мире чувств ничего более

нежного, повторяют его признания в любви, многие его же словами затем утешаются. Едва ли это преувеличение: у нас не только говорить о любви, но и любить учились у Пушкина, от его нежных слов возжигали свои сердца, от волшебной проникновенности его строк в заповедные глубины напитывали дыхание.

Вот бьет родник с чистой живой водой без тридцати семи лет два века, не способный иссякнуть... кто-то подойдет и, зачерпнув полной чашей, утолив жажду, мгновенно оживет, а кто-то, как эликсир, принимает по глотку и наращивает, напитывает в себе сладкое чудо быть человеком. Не дано нам по случаю юбилея, как водится, доложить, скольких Александр Сергеевич обратил к душе – и в ту пору, когда душа признавалась, но пути к ней поросли мхом древности, и в пору «закрытия» души; скольких привел он к нравственности, скольких к Богу!.. Он, кто, как известно, ангелом не был. Скольких привел он к Отечеству, опалил его сладким дымом, указал на святость вековых камней, натомил милыми пределами!.. Совершенство может все. Сосуд мог иметь и случайные черты, но напиток в нем, отбродив, производил божественное, то есть превосходящее земное, действие, способное на чудеса. Читатель испытывает радость, преображение, возвышение, а автор продолжает парить, царить в своем вдохновенном совершенстве. Нравственное превосходство его музыки заключается в самом движении и звучании превосходства, в тончайшем и легчайшем узоре чувств, чего-то даже более тонкого, чем чувства, в прекрасной несказанности говорящего, в «звуках сладких и молитвах». И какое же у чуткого читателя томительное блаженство возникает после них, какое же торжество души!

Читатель по неопытности может и с душой своей общаться тайно – Пушкин сумел сделать эти свидания открытыми и радостными, распахнуть в темнице окна, превратить ее в светлицу.

Отвечая митрополиту Филарету на его стихотворное послание, которое, в свою очередь, явилось ответом митрополита на известное пушкинское: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» – поэт через высокое духовное лицо обращается еще выше, и многое, о чем нередко продолжают спорить, объясняет в себе:

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты.
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак дневных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

За сто лет до Пушкина Россия буйной волею Петра была сдернута с лежанки, пусть и насквозь национальной, и направлена искать более широкой деятельности. Петр сооб-

шил ей недостающую энергию. Пушкин так и понимал его. Но вялостью зарастают не только мускулы, Россия была малоподвижна еще и внутренне, душевно, наша душа как бы нагревалась и остывала, не пульсируя постоянно. Своим талантом, своим удивительно тонким, небесно настроенным инструментом Пушкин дал нам капиллярную чувствительность, способность улавливать только еще подготавливающиеся движения. За этой способностью должны были открыться новые, заповедные миры, и лицо наше должно было преобразиться вниманием к ним, глаза залучиться от невиданных картин. Посмотрите старые фотографии: так оно, должно быть, и произошло. Лица глубокие, несущие полуразгаданность каких-то давних и мудрых загадок. Было ли это? Уверен, что было. Надо ли оговариваться, что не одного Пушкина тут заслуга и что далеко не на всех пала печать преображения, теперь, впрочем, уже и утерянная. Почему? – это особый разговор, не пушкинская тема.

Перед Пушкиным лежало огромное, уже и обустроенное, но еще не отделанное до конца, общественное пространство. Но все основы и изломы общественного сложения и государственного служения были заложены, архитектоника сложилась. Косность бывает разной. Бюрократической, аппаратной косностью Россия прославлена до конца мироздания, но не странно ли, всматриваясь в эпоху Пушкина, в самой подвижной, образованной, постоянно революционирующейся части общества, которая носила тогда название света и переродилась потом в интеллигенцию, видеть худшую из косностей – косность одних и тех же заблуждений, чесотку нетерпения, возбужденный зуд отлепиться от национального тела.

Даже заблуждения Пушкина носили какой-то необходимый, полезный для ума, общеукрепляющий характер. Он не миновал парижской лихорадки, занесенной после походов 1813 года, и оказался среди декабристов. Но разглядел изнутри, что цели их не принесут пользу Отече-

ству. Был блестяще образованным человеком, с восторгом купался в европейской культуре, без которой нельзя представить его творчество, возвысился ею... Но оттуда, с высоты всемирности, оглянувшись на «волшебных демонов, лживых, но прекрасных», еще больше и страстнее полюбил и оценил свое, родное. И не однажды сказал об этом в стихах и прозе. Очень любил Чаадаева, восхищался его умом, считал его и братом, и учителем, но не мог согласиться с его взглядами на Россию как на растительную жизнь и заблудившуюся историю. И это в письме к Чаадаеву сказаны его знаменитые слова, которые с тех пор Россия впечатала в себя как клятву для верноподданных: «Клянусь честью, что ни за что на свете не хотел бы я переменить Отечество или иметь другую историю...» Если поэзию Пушкина, особенно раннюю, можно назвать опьяняющим напитком, то его размышления об истории, о национальной судьбе и необходимости культурно-благотворительной работы для Отечества – это чаша трезвая, из природного источника, дающая укрепление.

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу.
А небом избранный певец
Молчит, потупив очи долу.

Свою избранность Пушкин понимал как дар, оплачиваемый только одним долгом – служением красоте и отеческой крепости. Известны слова императора Николая, записанные им после беседы с поэтом в 1826 году: «Вчера я разговаривал с одним из самых умнейших людей России». Разговор у них, надо полагать, шел не только о стихах. Пушкин был государственный человек; вслед за Пушкиным все крупные таланты всегда держались того же положения. Верноотеческого, без лукавства и корысти. В пору Пушкина уже принято было в пресытившемся свете, блиставшем та-

лантом злоречия, не любить свое, насмешничать, издеваться... вероятно, тогда это делалось элегантней, чем в наше время, но яд есть яд, и, когда отдаются ему с жаром сердца и талантов, действует он и затягивающе, и разрушительно. Общественное направление, которое лет через тридцать-сорок после Пушкина превратилось в откровенное инквизиторство, иссекающее русскую жизнь литературными розгами, тогда только высматривало кривизну. Пушкин не мог не замечать этой опасности. Встречь Радищеву совершил он путешествие по той же дороге, но уже из Москвы в Петербург, и, не вступая в спор с опальным автором, ставя его лишь на место гражданина, наложил на радищевскую правду о «чудище», то есть на правду социальную, правду свою – нравственную, историческую, глядящую не под ноги. Пушкин с головой окунается в историю и знает ее до этнографических мелочей; не однажды в письмах и замечаниях он указывает на ошибки: то Рылеев вручит языческому русскому князю герб со святым Георгием, то Загоскин не в те одежды оденет бояр. Мало того – как рыцарь, стоящий на страже чести истории, Пушкин возмущается Вольтером, который в поэме «Орлеанская девственница» допускает кощунственные искажения образа национальной героини французов – Жанны д'Арк. Трудно не согласиться с теми, кто полагает, что, продлиась пушкинская земная жизнь, не покривела бы наша литература на тот глаз, который обращен к родному, Пушкин бы своим обширным умом и огромным авторитетом предупредил, отвел... «Власть и свободу сочетать должно во взаимную пользу» – это его слова из «Путешествия из Москвы в Петербург».

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги

Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура...

«Из Пиндемонти»

Вот уж слова, как почти все у Пушкина, не имеющие срока давности. Как далеко глядел он, сколь многое провидел! И на сегодняшний день, торжественный и тревожный, он оставил нам завещание, относящееся и к себе («Нет, весь я не умру...»), и к событиям, нависшим сегодня над всем миром бешеным и мстительным Злом. Пушкин сейчас – первый защитник сербов. В «Песнях западных славян», точно перевоплотившись в многовековое страдание сербского народа, он пропел ему нежную и торжественную славу. Пушкин еще в 1836 году так отозвался о порядке, составленном отборным мировым сбродом в Северной Америке, о порядке, который бомбит сегодня сербов: «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстию к довольству».

Нет, Пушкина, как Евтушенко, в Америку не пустили бы. Не тот избранник.

...Красивое слово – Пушкин. Вечно молодое, светлое, звонкое, песенное, искрометное, звездное...

Но и честное, надежное, доброе, работающее, правильное...

Но и мудрое, емкое, всеохватное, сытное...

Рядом с хлебом и водой.

Любимое на всех российских языках и наречиях слово – Пушкин.

1999

«ОТКРОЙТЕ РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ СВЕТ»

О Ф. М. Достоевском

У нас невольно, от постоянного общения с ними, создаются зримые и монументальные образы самых великих художников в литературе: Пушкин, блистающий талантами, как рыцарскими доспехами, по духу и образу жизни истинно рыцарь, высоко поднявший значение и честь литературы, защищавший честь России и свою личную честь; Гоголь – как нахохлившаяся вещая птица, слетевшая на многострадальную нашу землю из неведомых высот; Толстой – точно корневище огромного дуба, глубоко в землю запустившего корявые и мускулистые лапы корней и вбирающего все начала жизни и все учения мира... Толстой, сиротствующий без креста на своем могильном холме... И Достоевский, со скрещенными на коленях руками и мученическим лицом, с пристально устремленными вперед глазами, как на известном портрете Перова, и в глубокой думе, выдающей огромную работу ума и души. Толстой – произведение природное, былинное, похожее на мифологического Пана, при всей своей могучести так и оставшееся незавершенным; Достоевский – произведение духовное, не корневое, а плодное и по мысли, по характеру работы совершенное. Его глубины – это немеренность человеческой души, безудержные страсти его героев сравнимы с горячим выплеском лавы из запущенных и обремененных грехом пластов, до них чудом достаёт смиренный и пронзительный луч любви и вызывает извержение, после которого должны последовать или гибель от непереносимой боли, или преображение. У Достоевского лицо духовника, озабоченного устройством душевных глубин, все, о чем он говорит, он говорит доверительно, наклоняясь к вашему уху, порой сбиваясь, торопясь, потому что

желающих подойти к нему много, но не сбиваясь с доверительности, договаривая до конца. Вот это-то собеседование, требовавшее полного внимания, и признавалось не умеющими слушать за «болезненное впечатление». В храме другой язык, чем на улице. К чтению Достоевского приходится готовить душу, как к исповеди, иначе ничего не поймешь.

Достоевский – пророк, Достоевский – поразивший мир своим буйным и выверенным психологизмом художник. Все это неоспоримо. Конечно, пророк, многое предугадавший и многое сказавший навечно. В сущности, все у него, за исключением двух-трех политических статей в «Дневнике», сказано навечно, и чиновника, поступающего на государственную службу, следовало бы подвергать экзамену, читал ли он Достоевского и что он взял у Достоевского. Но для нас как-то не столь уж важно, что он пророк, для нас пророк – далекое, поднебесное понятие, до которого не дотянуться, а так не хочется отпустить от себя Федора Михайловича и лишиться его близости и доверительности. Его пророчество объясняется тем, что он был умным и внимательным смотрителем русской жизни и как исповедник знал, где в человеке искать человека. У него десятки откровений, которые превосходят человеческий ум, даже самый пронизательный, и которые, кажется, не могут быть земного происхождения, но озарение знает, в каком сосуде блеснуть.

Самое важное, быть может, для нас сегодня – припомнить, что из своей вечности Федор Михайлович говорит о народе, из которого он вышел, о литературе, которой он служил, о жизни, которую наблюдал.

Он говорит:

«Все наши русские писатели, решительно все только и делали, что обличали разных уродов. Один Пушкин, ну да, может быть, Толстой, хотя чудится мне, что и он этим кончит... Остальные все только к позорному столбу стави-

ли, или жалели их и хныкали. Неужели же они в России не нашли никого, про кого могли сказать доброе слово, за исключением себя, обличителя?.. Почему у них ни у кого не хватило смелости (талант был у многих) показать нам во весь рост русского человека, которому можно было поклониться? Его не нашли, что ли?..»

Не больно-то его и искали. После Достоевского литература еще усердней занялась переустройством социальной жизни; как жуки-древоточцы, художники крошили основание тысячелетнего здания, умиляясь в перерывах родным картинам вокруг, родным лицам и родным песням. Поумиляются – и снова за работу. Рухнуло здание (отчего так хочется думать, что, доживи Достоевский до возраста Толстого, этого не произошло бы с такой стремительностью и безоглядностью, с каким-то бурлацким «эх, ухнем!» – хотя здравый смысл подсказывает, что и он не удержал бы этого безотчетного разрушительного порыва; но так велик был авторитет Достоевского, таким обнадеживающим ореолом засияло его имя, что просвещенным русским людям представилось, что даже похороны Федора Михайловича, многотысячные, явившие огромную соединенную боль и волю, сумели остановить надвигающуюся революцию) – но рухнуло здание, принялись выстраивать новое, в литературе поменяли почерк с критического на социалистический, последний потребовал «героя нашего времени» по идеологическим меркам. Позднее, после войны, литература сумела-таки поклониться воину, защитнику Отечества, еще позднее нашла она и подходящие чувства и язык, чтобы поклониться старикам, хранителям народных традиций и языка, веры и совести, на своих плечах в несказанной муке вынесших Россию из голода, холода и неурядства, но поклонилась им литература уже с края могилы, в которую уходила русская деревня. А затем опять, и с еще большей страстью, с еще большим остервенением, началось поношение народа, не прекращающееся по сей день: и такой он, и сякой.

Да, и такой, и сякой...

«Но народ сохранил и красоту своего образа, – отвечает Достоевский. – Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет найти в этой грязи брильянт. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. А ведь не все же в народе мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают!»

Хорошо сказано Аглаей Епанчиной в «Идиоте»: «Есть два ума – главный и не главный». У Достоевского во взгляде на Россию и народ ее был именно главный ум, видящий дальше изображения перед глазами, проникающий через времена, освещенный любовью и состраданием, подтвержденный их духовным значением.

Достоевский – наш современник. Не ахти какое открытие, каждый большой писатель больше времени, в которое он живет, поскольку нерядовой талант – это кладовая со многими дверьми и это истины, раскрывающиеся, точно цветы во всякую весну, перед каждым новым поколением. Но Достоевский, как и Пушкин, ближе и современной нам целого ряда других великих, точнее, обширней, сердечней и глубже. Даже постоянно читающие Федора Михайловича знают: у него строки имеют способность прирастать к прежнему тексту. Не было – и вдруг обнаружилось, и обнаружилось в удивительном созвучии с происходящими событиями. Он сумел рассмотреть наших новых либералов, пришедших к власти, и сказал об их преступном обезьянничаньи и пресмыкательстве перед Западом. Он точно побывал в Думе, когда там принимался Земельный кодекс, и воскликнул, дивясь неразумности «народных представителей», осмелившихся торговать землей: «...зем-

ля – все, а уж из земли для него (для крестьянина. – В. Р.) все остальное, то есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь – одним словом, все, что есть драгоценного». Он сказал и о реформе образования, и о необузданных свободах, и о чужебесии, и о национальном вопросе, и о братстве, и о русских, отторгнутых от родины, но остающихся русскими, и о том, что наш всемирный путь лежит не через Европу (а он считал Европу второй родиной), а через нашу национальность. Более 120 лет назад он сказал решительно обо всем, что считается сегодня злободневным, и заключил:

«Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет... Откройте русскому человеку русский “свет”, дайте отыскать ему это золото, это сокровище, скрытое от него в земле. Покажите ему в будущем обновление всего человечества и Воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий, вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор, и это чем дальше, тем больше!»

Две силы – родная вера и родная литература – духовно сложили русского человека, дали ему масштаб и открыли его. Такого влияния и такого значения литературы ни в одном народе увидеть больше нельзя. Когда насильственно отвергнута была вера, почти столетие литература, пусть и недостаточно, пусть и притчево, иносказательно, но продолжала духовное дело окормления и не позволила народу забыть молитвы. Теперь, при иных порядках, отвергается литература русского склада. В нашей словесности Смердяковы могли быть литературными героями, но не могли быть авторами, властителями дум. Теперь они родственной толпой, подбадривая и подталкивая вперед

друг друга, кинулись наперебой выводить смердяковское: «Россия-с, Марья Кондратьевна, одно невежество. Я думаю, что эту проклятую Россию надо завоевать иностранцам». Сумеет ли, в свою очередь, вера поддержать литературу, трудно сказать. Ибо России для ее нравственного и духовного спасения и возвышения нужна не просто хорошая, честная, чистого письма литература – ей нужна литература сильная и влиятельная, жертвенного реализма, достойная Пушкина и Достоевского.

2001

НАШ ТОЛСТОЙ

Юбилейное слово к 175-летию со дня рождения

Каждый большой писатель – и тем более писатель великий – невольно получает у нас, читателей и потомков, отстоящих от него на десятки и сотни лет, свой законченный монументальный образ. Пушкин – легкокрылый серафим, изящный бог русской поэзии, с воодушевленным горячим лицом, на котором не перестают трепетать строки... Гоголь в черных одеждах, как мудрый ворон, распутивший подбитые крылья и угрюмо глядящий из-под них... Достоевский в привычной своей красивой сосредоточенности, внимая одновременно двум доносящимся из человека голосам, один из которых обращен вверх, другой вниз... Глубокомысленный Тютчев с барственной осанкой, глядящий с высоты своего величавого таланта... Наконец, Толстой, пригорбленный от собственной тяжести величия, глубоко запустивший могучие корни в землю и народ, Толстой, коему доверено было замкнуть торжественный и подвижнический ход русской литературы XIX столетия и стать ее вершиной.

Вершиной настолько могучей, венчающей все строе-ние великой русской словесности, что после этого ей ничего

не оставалось, как начать спуск. Не однажды она еще приостанавливалась, еще оглядывалась, мечтая о новом восхождении, она и до сих пор задирает туда голову, не оставляя надежд, но разреженный высокогорный воздух гулко бьет в сердце, подавая сигнал к отступлению, и подталкивает в спину. Мы можем еще по-свойски награждать титулом «великий» художников и XX века, и даже двадцать первого, но надо признать, что сам масштаб величия в нашей литературе (и не только в литературе), остающейся, возможно, по-прежнему первой в мире, уже далеко не тот.

Нечто огромное, богатырское, переполненное силой, подобно Илье Муромцу и Микуле Селяниновичу, Пересвету и Петру, Державину и Ломоносову, исходит от имени Толстого, нечто титаническое является даже при беглом взгляде на его художественную, умственную и просветительскую деятельность. Подобного размера люди рождаются редко. Нужно какое-то слишком счастливое стечение обстоятельств и для рождения, и для воспитания вместе с самовоспитанием, нужны слишком драгоценные заклады, безошибочное наполнение «жилых помещений» для столь богатого бытия. Нужно, чтобы звезды сошлись, но нужно еще, чтобы и земля порадела.

Известно, что паломничество к Толстому в Ясную Поляну в течение многих лет не прекращалось ни на один день. Самые знаменитые литераторы не считали возможным жить и работать, не поговорив со Львом Николаевичем и не приобщившись его тайн – если уж выпала им удача жить в одно время. Среди них были и Тургенев, и Чехов, и Бунин, и Горький, и Куприн, и многие другие. Почти все они оставили воспоминания о встречах с яснополянским мудрецом. Самые короткие воспоминания, всего в три-четыре странички, у В. Розанова. Но они объясняют в Толстом, кажется, самое главное.

«Да! – восклицает Розанов после недолгого, но чрезвычайно памятного разговора со Львом Николаевичем. –

Да! Вот секрет Толстого. Мы все умничаем над народом, ибо прошли гимназию и университет, ну и владеем пером. Толстой один из нас, может быть, один из всей русской литературы, чувствует народ как великого своего Отца, с этой безграничной к нему покорностью, послушанием, с каким-то потихоньку на него любованием, потому особенно и нежным, что оно потихоньку, и будто кто-то ему запрещает. Запрещает, пожалуй, вся русская литература “интеллигентностью” своею, да и вся цивилизация, к которой русский народ “не приобщен”...

Все мы, должно быть, вышли когда-то из мужика. Высокородный Толстой, рожденный графом и прекрасно знавший и описавший высший свет, точно еще в молодости, подготавливаясь к писательской работе, прошел весь свой родовой путь в обратном направлении к его истоку, прошел пешком по крестьянской Руси от графа Толстого и князя Болконского до какого-нибудь мужика Акима и Платона Каратаева, внимая тысячам голосов и тысячам лиц, укладывая в душу зернышки и даже пылинки развешанных истин, все вбирая, что преждевременно отошло, всем, чему нет цены в предстоящей работе, запасаясь, участвуя в военных кампаниях и народных собраниях. Уходил в этот долгий путь в барском платье, а возвращался в Ясную Поляну с батожком и в крестьянской рубахе с пояском. Толстой не рядился под мужика, ему свободнее было в мужицкой одежде и с мужицким лицом.

Вот отчего и оказалось под силу молодому Толстому взять под распашку все огромное поле, называвшееся Россией, во всей населяющей ее толще и во всех проявлениях. Во всей населяющей толще – от крепостного до императора. Теперь мужицкий граф Толстой все это хорошо знал и теперь, спустя полвека после событий, уже по остывшим следам вновь провел Россию через Отечественную войну с Наполеоном. Это был подвиг, подобный подвигу Кутузова. Только главнокомандующий способен держать в па-

мяти множество подробностей и приводить одновременно в движение множество пружин, составляющих развитие событий, только по его провидческой воле все указания, главные и не главные, все перемещения и маневры превращаются в конечный победный результат. Принимаясь за эту грандиозную работу, Толстой сознавал, что о таких судьбоносных, тяжкопобедных событиях, как война 1812 года, которые потребовали всеотеческого изнуряющего напряжения, надо напоминать. Напоминать не скупым языком летописей, а живым и объемным художественным языком. Сознал он, надо полагать, и то, что никто в современной ему литературе лучше его этот неимоверной тяжести труд не подымет. И по опыту воина, прошедшего через севастопольскую кампанию, и по нутряному гулу таланта, уже показывающего свои богатырские силы, и по охватному взгляду на историю это мог сделать только он. «Война и мир» появилась в 60-е годы, сразу после освобождения крестьян. И трудно было подыскать более подходящее время для сказания этого великого национально-эпоса, чтобы могучая, распрямившаяся наконец энергия снизу имела своим происхождением тот же источник, что и при ходе народа на Бородинское поле.

В каких бы ипостасях ни являлся потом Толстой, каким бы учениям ни отдавался, как художник и автор «Войны и мира» он останется для нас непревзойденным мастером и наиболее близким и родным человеком. В обрамлении «Севастопольских рассказов», «Детства», «Отрочества» и «Юности», «Казачков», «Анны Карениной», «Смерти Ивана Ильича» и других художественных работ строгой и прекрасной ювелирной отделки и любовного взгляда на жизнь, которыми мы не можем не восхищаться, это величественное полотно есть главное, основное дело; для него-то Толстой в первую очередь и приходил в жизнь и литературу, и оно-то не способно никогда потускнеть. С трудом верится, что такая величественная вширь и вглубь

машина, какой была александровская Россия времен наполеоновских войн, такой громоздкий, едва вмещающийся в горизонты русский обоз, который дважды ходил в Европу и выходил на Бородино, мог сотворить и двигать один человек, будь он даже ста пядей во лбу. Так и кажется, что рукой Толстого не могло не водить время от времени Провидение. Именно здесь водило, а не в учительных работах. «Войной и миром» Толстой дал масштаб русскому писателю в трагические и горькие периоды российской истории – масштаб, под который затем подходили Достоевский и Шолохов. И если бы нам дозволено было представить, будто многострадальной душе Льва Николаевича дано было выбирать обитель себе в одной из его книг, она бы предпочла, осмеливаемся думать, не какой-нибудь из его коротких нравоучительных шедевров вроде «Чем люди живы» или «Много ли человеку земли нужно», а ее, многострунную величавую «Войну и мир». И слушала бы, слушала неустанно торжественный, в широком разливе рокот волн, из которых строка за строкой мерно и ритмично складывается эта прекрасная сага.

Толстого принято считать противоречивой личностью, состоящей из двух не всегда совпадающих одна с другой частей, не всегда одна другую признающих – из художественной и учительной... Словно он взял сначала огромное земное поле и на удивление прекрасно с ним управился, но и здесь ему показалось тесно, и тогда он взял под распашку поле небесное, соединил в себе все религии мира и вывел из них свое учение, свою веру. Не следует преувеличивать эти противоречия в Толстом. Даже перезрелый плод, лопаясь от распирающего его изобилия, расходится по скорлупе, а ядро, как правило, остается в целости. Толстой не противоречил себе, а в резко меняющемся мире, перемены в котором не могли ему нравиться, переходил на другой язык и другой тон. Огромный его авторитет в России и мире (ни у одного из

русских не было в мире подобного авторитета) позволял Толстому рассчитывать на то, что его проповеди станут действовать на людей быстрее и верней, чем романы. Не один Толстой пошел по такому пути – и до него, и после него в поздние периоды творчества и горячие времена истории это было судьбой многих художников, да по слабости голоса слышно их было недалеко. Толстого, конечно, слышали, но серьезного влияния на общество и народ в ту предреволюционную пору его поучения оказать не могли, и все толки по этому поводу, как всегда у нас, у русских, носят преувеличенный характер. Толстовство в России не нашло широкого распространения, да и не могло никому принести вреда. «Непротивление злу насилием», вызвавшее столь яростное «противление» с разных сторон, существовало в России и в мире и до Толстого, а у него вывелось из его религиозных убеждений. В устах Толстого это учение нашло, конечно, авторитетную поддержку, и последователи у него находились, однако их не могло быть много, и всех их, сколько их было, смело тут же грянувшей революцией. Зло победило не потому, что Толстой запрещал препятствовать ему, а потому, что оно, набухшее и одновременно прорвавшееся из всех социальных и нравственных нарывов, оказалось вдесятеро сильнее добра. В последние годы жизни Толстой не жаловал патриотизм, но кто мог всерьез относиться к брюзжанию автора «Войны и мира» в адрес патриотизма – после картин Бородин, куда добровольно пришли тысячи и тысячи ополченцев в белых смертных рубашках, приготовившихся лечь за матушку-Россию и вполтину polegших, а батарея Раевского сражалась с такой сверхъестественной стойкостью, будто убитые снова и снова поднимались и снова и снова падали, чтобы подняться. Гораздо серьезнее обвинения Толстому, прозвучавшие в постановлении Священного синода в 1901 году, но и тут к месту вспоминается известное, спокойное, без обличений и очень убе-

дительное письмо к Толстому православного священника, в котором тот, выражая надежду, что Лев Николаевич вернется в лоно православного храма, говорит: вы один, а нас – вся Россия, вам легче прийти к нам. Действительно, мог ли один, будучи даже Львом Толстым, сокрушить тысячелетнюю народную веру? Ее сокрушило вскорости вселенское зло, с которым роднить Толстого несправедливо. Да и то, как мы видим сегодня, не сокрушило. Даже оно не могло сокрушить.

Говорится это не для обеления Толстого – разве он нуждается в обелении? Но нечего и засматриваться в него только как в «зеркало русской революции», отводя на второй или даже на третий план величайшего художника и величайшего нравственника, умеющего пронзительным своим оком видеть дальше всех и замечать вокруг себя то новое и опасное, что другие не замечали или с чем мирились. Толстой пришел в мир и начинал свою литературную жизнь, когда мир стоял еще на прочных основаниях и, казалось, совершенствовался. Прогресс, как злой рок человечества, тогда еще был милым юношей, с взрослением которого связывали благодетельные надежды. Не будь этих упований, не писалась бы с таким спокойствием, с таким солнышком почти на всех страницах вся ранняя проза. Да и «Война и мир» тоже. Миновало несколько десятилетий, не столь и больших (статьи «Неделание» и «Что такое искусство» относятся к 90-м годам), – и стало очевидно, что из милого юноши вырастает развратник и душегуб, если пользоваться старыми, времен Толстого, словами, которые сейчас ничего, кроме слабого колыхания воздухов, не значат. Прогресс постепенно превращался в фабрику, которая внешне облегчала жизнь, но все крепче и крепче закабаляла человека и уродовала его, все больше и больше наращивала вредную деятельность. Только во второй половине XX века спохватятся: мы уничтожаем себя деятельностью. Вредной деятельностью. Прогресс к тому времени, как

преступник, меняющий личину, стал называться цивилизацией, цивилизация, в свою очередь, несколько лет назад стала называться «устойчивым развитием». От перемены названий суть не изменилась, только усугубилась в многократном умножении – суть вертопраха, мота и растлителя. Этот хозяин жизни еще при Толстом принялся вырабатывать искусство, о котором Лев Николаевич отозвался:

«Как ни страшно это сказать, с искусством нашего круга и времени случилось то, что случается с женщиной, которая свои женские привлекательные свойства, предназначенные для материнства, продает для удовольствия тех, которые льстятся на такие удовольствия. Искусство нашего времени и нашего круга стало блудницей. И это сравнение верно до малейших подробностей. Оно так же не ограничено временем, так же всегда разукрашено, так же заманчиво и губительно».

Толстой застал это искусство в тысячной, миллионной доле тех пагубы, блуда и фальшивого блеска, которые захлестнули затем «цивилизованные» страны, а в конце концов и Россию, но он уже и тогда, один из немногих, рассмотрел «направление» и ужаснулся. В состоянии ужаса, когда для надежды не хватало воздуха, была, вероятно, написана «Крейцерова соната». «Не могу молчать» сказано по другому поводу, но слова эти стали уже и пафосом, и смыслом жизни – предупредить, предостеречь, собрать единой ратью, как на Бородино, все имеющееся в мире нравственное богатство, все заповеди, все накопления прекрасного и здорового и во что бы то ни стало выстоять.

Толстой оставил нам, как детям, простые и мудрые поучения, что «живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь к людям», что надо человеку в конце концов всего три аршина земли, что Царство Божие внутри нас... Тяжело раненный под Аустерлицем князь Андрей Болконский лежит под высоким небом и думает... эти опять же очень простые и бесконечно мудрые

слова знакомы нам с отрочества, когда впервые была прочитана толстовская эпопея и мы, жадные к земле и небу, чутьем понимали их великий смысл... Князь Андрей Болконский думает: «Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого высокого неба. Ничего, ничего нет, кроме него». И он же, князь Андрей Болконский, смертельно раненный на Бородинском поле, среди криков и рыданий изувеченных вспоминает детство, потом Наташу Ростову на первом ее бале и плачет «нежными любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями».

Но ведь между Аустерлицем и Бородино была еще жизнь, в которой больше не исчезало высокое небо, и это оно вызвало предсмертные сладкие слезы над собой и людьми.

Пусть не покажется это притянутым за уши и нарочитым, но похожее же нежное, любовное и благодарное чувство, смешанное со сладкими слезами, должны испытывать в эти дни и мы, думая о Льве Николаевиче Толстом, о России, о великих ее и безвестных, о подвигах и заблуждениях, о высоком не пустующем небе и грядущей судьбе.

2003

**«ИМЕЕТ СИЛУ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРОЛЯ»
К 100-летию Л. М. Леонова**

Два великих события на одной неделе, два юбилея – 100-летие Леонова и 200-летие Пушкина, которые мало считать только литературными датами. Это даты нашего национального торжества, нашего до сих пор не спадавшего духовного и культурного стояния, на перекличке заслуг всех народов звучание русского имени высоко.

Дважды на этой неделе вечности придется склониться над Россией и, вглядываясь, пронзая нашу многострадальную землю своим вниманием, подивиться ее способности рождать величие в любую непогоду и кручину. И если последний год последних веков оказывался у нас неизменно удачливым на «всеобъемлющие души», как знать, не придется ли спустя век праздновать 300-летие, 200-летие и 100-летие самых-самых первых и славных, слава которых никогда не закатится. По воспоминаниям, Л. М. Леонов любил повторять: «Россия – это такой пирог, что чем больше его кусаешь, тем больше он становится».

Один человек, одно имя, но какое богатое и обширное может быть прибавление России, какая сразу является опора, какое утешение! На исходе XIX века Россию уже оплакивали, чуткими сердцами ощущалось приближение трагических перемен. Затем войны, одна, вторая и третья, две революции, смятение, злоба, самоистребление по идейным соображениям, «ваше слово, товарищ маузер», голод, холод, изгнание русского духа. И нет уже ни Чехова, ни Толстого, чтобы заступиться, последние славные или уходят в родные могилы, как Блок, или уезжают в чужие земли, как Бунин, Горький, Куприн, Алексей Толстой, Шмелев... Какое уж тут восполнение, какие надежды?! Кажется, литература надолго обречена на прозябание, на мелкое и натужное, даже и не течение, а точение почвы отдельными каплями. Какие уж тут упования на скорое возвращение целого, духовно полного, здорового Россией человека!

Но только-только наступило затишье, все еще в руинах и ранах, только-только в тревожном забытии сделала истерзанная наша земля вздох, чтобы направить дыхание, и – о чудо! – этот человек явился! Тот самый: цельный, духовно не изуродованный, наполненный вековечной Русью. Притом явился не из схоронки, не из укрытия, где можно побережь себя, а из самого пекла – с фронта. Мало

кто верил в него, а он пришел и заявил: вот он я... И понимать это надо было так, что вместе с ним началось возвращение отвергнутой России.

Я имею в виду под этим человеком не одного Леонида Леонова, не только его, но прежде всего его.

Накануне его юбилея вышла книга воспоминаний о Леонове, и есть в ней письмо Ильи Семеновича Остроухова, известного художника и собирателя русской художественной старины, писанное им, должно быть, году в 22-м Шаляпину в эмиграцию. Вот отрывок из письма Остроухова:

«Несколько месяцев назад объявился у нас гениальный юноша (я взвешиваю слова), имя ему – Леонов. Ему 22 года. И он видел уже жизнь! Как там умеет он ее в такие годы увидеть – диво дивное! Одни говорят “предвидение”, другие – “подсознание”. Ну там “пред” или “под”, а дело в том, что это диво дивное за год 16 таких шедевров натворило, что только Бога славь да Русь-матушку! Что же дальше-то оно наделает! – пошли ему Бог здоровья!»

Леонид Леонов при сотворении его художником сразу и щедро был вырублен из лучшего куска того материала, из которого кроются немереной силы мастера. Все в нем было просторно, размашисто, могуче и красиво – и письмо, и речь, и взгляды, и суждения, и ум, и сердце, и талант общения, и ненасытный интерес к жизни и знаниям. Все было неповторимо и вкусно. Есть писатели, устроенные тесно, со многими перегородками, как в коммунальной квартире. Сегодня они пишут под одного, способного оказать влияние, завтра – под другого, сегодня проповедуют одни взгляды, завтра – совсем противоположные, и как бы ни украшали потом эти метания, называя их этапами творчества, несамостоятельность не спрячешь. Леонов в литературе не квартировал и уж тем более не попрошайничал, он вступил в нее как законный наследник богатого старинного поместья от щедрот матушки Русской земли и отечественной культуры. В нем сразу, и по чертам, и

по делам, был узнаваем наследный человек. После рассказов, которые вызвали восторг и воодушевление не одного Остроухова, в 25 лет написаны «Барсуки», в 28 – «Вор». Романы, в которых нет ничего ученического, спотыкающегося, с самого начала твердая рука кудесника, дыхание и поступь огромного мастера. Сам писал или рукою его водила Высшая сила, имеет только то значение и отличие, что к Самому, личностному, к индивидууму озарением добавлялось Самое, ниспадающее электрической нитью из источника света. А это и есть отличие таланта рядового, обыкновенного от необыкновенного.

В то время Русская земля еще не разучилась рожать богатырей.

Подозрение, пущенное против М. Шолохова, будто заимствовал он в «Тихом Доне» чужое перо, до сих пор держится на той зыбкой почве или, лучше сказать, на гнилой кочке, на которой никакое серьезное доказательство удержаться не в состоянии. «Не может быть!» – все строится на этом, других свидетельств нет. Не может быть, чтобы в 23 года беспородный автор захолустного русского происхождения, не имеющий европейского образования, сумел бы подняться до высот творения, которое он выдает за свое. А «беспородный» Леонов со своими ранними рассказами и романами! А «беспородный» Есенин, мальчиком слагавший дивную лирику! А «беспородный» Свиридов, в юности сочинявший такие шедевры, как «Пушкинский венок»! И так далее.

Природа была, и была она древнее и знатнее любого старинного прославленного рода, просиявшего в российской истории. Великорусская природа. Не станем сейчас считать за нею подвиги, это заняло бы слишком много времени, напомним только, что две культуры, народная и дворянская, как принято их называть, составляли единое древо, которому полагается для цветения иметь и корни, и крону. Они могли существовать лишь вместе. Корне-

вая культура питала верхнюю солями отеческой почвы, верхняя, роняя листья и отзревшие плоды, давала корм корням. Ни Пушкин и Лермонтов, ни Толстой и Тургенев, ни Бунин и Чехов, ни Достоевский и Тютчев – никто из них не сумел бы занять свое почетное место в мировом искусстве и вечности, если бы не отросли они от народного корневища.

Одни и те же руки творили вырубку русской культуры: обрезав верхки, потянулись к корешкам, когда они дали новые и мощные побеги.

Вот нам, можно не сомневаться, и подтекст «Русского леса», книги мудрой и доброй, многоплановой и многоструйной, тревожной и целительной, своего рода охранной грамоты русской жизни. После нее Леонов по праву встал рядом с Тургеневым и Толстым. Усекновения не получилось. «Русский лес – это русские люди», – считал и сам Леонид Максимович, и в этом, слишком, казалось бы, простом уподоблении так много верного – от нашей сраженности с родной природой, матерью-природой, говорим мы, давшей нам особые и душу, и веру, и психологию, и характер, от излишней, какой-то древней, эндемичной доверчивости, от которой много страдали и страдаем мы, – от всего этого, произросшего в нас за века, и до вырубок нас как народа то от завоевателей, то от властителей, то от грацианских, ведущих себя в России как на лесосеке. Но одновременно это уподобление говорит о нашей отличительной цепкости, закреплённости в почве: русский человек может сломаться на выросте, но из земли его не вывернуть. И живем мы столь же настоящим, сколь и отшедшим; когда взялись выдавливать из нас историческую память, укороченным оказался и наш взгляд в будущее, обернувшийся теперешними бедствиями.

Точно с горечью и любовью сказал Леонид Максимович в статье «Раздумья у старого камня»: «Для меня на сельском погосте ромашкой да погремком заросшая

могильная плита приобретает вещественную силу национального пароля». Любовь и нежность в наших глазах, когда мы опускаем их к земле, и горечь, когда смотрим перед собой и пытаемся различить за своими обезображенными тайгами контуры Родины. Но не усомнимся держаться за нее, за землю, давно сказано: держись за землю, трава обманет.

Русский человек должен быть откровенно русским. В этом его спасение. Уходящий век оказался для нас невероятно тяжелым, вызвавшим и нравственные, и физические, и психические потери. Сначала нас пытались лишить души, затем памяти, самого русского имени, теперь – и нажитого предками достояния. Тем паче не сгибаться, не таиться, не убирать глаз, гордиться своим происхождением, отстаивать свое без всяких оговорок. Нет сомнения, что это требование к себе было одним из главных, если не самым главным, с чем прошел Леонид Леонов всю жизнь и что помогало ему оставаться честным человеком и художником. И это был не принцип, не волевое решение, не некое нарочитое украшение достоинства, а образ жизни, органическое поведение национально здорового человека. «Я есмь русский» – пусть эта гордость будет первой и самой ценной наградой, отпущенной природой, которая каждому имени вручила свои индивидуальные черты не для того, чтобы вытеребливать их, как перья у пойманной птицы. На склоненную голову хозяин всегда найдется.

Литературная судьба, щедрая к Леонову и до несправедливости суровая, имела обыкновение выдерживать на сверхпрочность каждую его работу. Все, написанное Леоновым, напечатано, и почти все с опозданиями, с большими перерывами, с замедлением выходило и запрещалось, успевали прочесть немногие. Запрещались «Вор», пьесы «Унтиловск», «Метель», «Золотая карета», притом на десятилетия, грустная и глубокая, так необходимая в

то время статья о беспамятстве «Раздумья у старого камня», стоном вырвавшаяся в год учреждения ВООПИКа* в 1966-м, вышла в свет только через пятнадцать лет, над «Русским лесом» гремели такие грозы, что чудом казалось, как роман уцелел, да еще и был отмечен высшей литературной премией.

Книги запрещались и задерживались, а известность автора как бы и не страдала от этого. Известность становилась все прочней и шире, волшебным образом она несла в себе не только печатавшееся, но и оборванное, но и не дошедшее до печатного станка. Это, видимо, свойство таланта неотменимого. Какая-то сила неуклонно и экономно поднимала и вела писателя, внушая ему расчетливость богатыря, которому предстоит сражаться не с одной, а с 33 головами Змея-Горыныча. Считается, что Леонова от репрессий спасло заступничество Горького, обронившего в присутствии Сталина, что Леонов имеет право говорить от имени советской литературы. Слова эти известны, но они были лишь признанием того факта, очевидного как для Горького, так и для Сталина, что талант писателя поднялся уже выше отметки, до которой могла твориться расправа. И талант имел к тому же национальное звучание, самотеком разошедшееся по всей России и ставшее частью ее духа. Это тоже имело значение. Для Берии не имело, а для Сталина – да. Эта же высота во мнении народном, я думаю, спасла жизнь и Шолохову. Но было ведь в задержке книг и еще одно. Об этом уместно напомнить после десятилетия, даже больше, в которое поверхность литературы заполнили злые стенания неудачников, прежде не вышедших в известность. Имена их наперебой лезли в уши и надували себе славу тем, что их не печатали. И конечно, этот хор составляли люди не из ряда Булгакова и Платонова. Гомон обиженных гремел на весь мир, и мир произносил

* Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, одним из основателей которого был Л. М. Леонов. – *Сост.*

их имена со звучностью выстрелов, направленных в сторону России. Выходило, что без них и литературы у нас не было – кроме заказной. А их, «самых-самых», боялись печатать. Напечатали наконец, когда появилась свобода безразборно печатать все, – ну и что? Лучше бы не печатали. Было, как говорят остряки, отсутствие присутствия, стало – присутствие отсутствия. Больше никакой разницы. Пустотой наигрывать – пустота и будет.

Кроме цензурных запретов, не однажды испытанных Леонидом Максимовичем, было, как я заикнулся, и другое, совсем редкое для нашего брата писателя, так много говорящее о Леонове, знающем себе цену. Повесть «Evgenia Ivanovna», дивная по языку, трепетная, нежная по настроению, без оговорок шедевр, тридцать лет пролежала в столе, и отнюдь не по цензурным мотивам. Или, по крайней мере, по цензурным в последнюю очередь. Жалко было отдавать. Так это по-нашему! Получилось на славу, автор не мог этого не знать, вошла в сердце и душу, стала частью жизни личной, укромной – и на публику, на вынос! Никакие пряники не прельстят. Хоть одно дитя задержать в том прелестном возрасте, когда, не огрубев на стороне, оно способно не измощиться в целительной ласке и любви.

Так и с «Пирамидой» было – не отпускал от себя десятилетия, писал и переписывал, кроил и перекраивал, продлевая ею свою жизнь. А напечатал – и себя отпустил с последними вздохами о России.

Достойное завершение жизни великого человека, потрудившегося вволюшку. Полное завершение, ничего на завтра.

Завтра – только бессмертие. Весь XX век без малого пронес Леонид Максимович в себе и засвидетельствовал о нем и о России честно и талантливо, своим вкладом чести и любви, быть может, перетянув ту чашу, на которой устроено зло. Это было так необходимо – несмотря ни на что перетянуть, чтобы оставалась надежда.

1999

СВЕТ ПЕЧАЛЬНЫЙ И ДОБРЫЙ

Об А. П. Платонове

Андрей Платонов, мне кажется, самый непрочитанный, самый загадочный, «неудобный» для чтения писатель. Потому и загадочный, что читать его трудно, для этого требуется как-то по-иному перестраивать в себе внимание, необходима особая степень проникновенности.

Мы уже привыкли к тому роду литературы, который был у нас в XIX веке и продолжился в веке двадцатом. Существуют определенные способы создания такой литературы, отвечающие нашему вкусу и вниманию. Платонов совсем другой человек и другой писатель. Такое ощущение, что он пришел из таких глубин и времен, когда литературы еще не было, когда она, быть может, только-только начиналась и избирала русло, по которому направить свое течение. И где только-только начинался русский человек и русское мышление. Поэтому у него все «не по правилам» позднейшей литературы. Совсем другой мир – реальный и одновременно ирреальный; какое-то иное расположение слов и даже иные формы слов, иные мысли, еще не говорившиеся и не затвердевшие, иные у героев души, открывающиеся лишь чистому... Он как писатель словно бы ничего не умеет – ни слова располагать, ни мыслить, ни живописать красиво, как это пытаемся делать мы и как умели Тургенев, Бунин, Шмелев... Его фраза спотыкающаяся, рассуждения героев наивны и кажутся «растительными», не поднимающимися далеко от земли.

Ничего не умея, он так умеет увидеть и сказать, что оторопь берет от этой инакой и мудрой наблюдательности и выразительности.

Сейчас принято любить Платонова, считать его самым современным писателем. Он, и верно, современен. Но он современен для всех времен, таким он был и в 20-х,

и в 40-х годах, современен теперь и современным будет, можно не сомневаться, в будущем. Потому что главная и всеобъемлющая его тема – скорбь по миру и человеку. Герой Платонова, подобно автору, словно бы прошел через все тысячелетия, в которые существует его земное лоно, и в недоумении – зачем же его оторвали от вечности – на мгновение остановился перед читателем. За это мгновение нам дается возможность рассмотреть, насколько он естественный, природный человек, думающий не согласно приобретенным опытом человечества, а согласно с органической природной мудростью, что он «вживлен» в выбранное автором время ненадолго, а путь его долгий и страннический. Нам уже не дано ни думать так, как он, ни смотреть вокруг его глазами, мы дети дня, он неизмерим. Он проще нас, но и полней, чутче, в нем многое от вещего человека, от ведуна, какие водились в глубокую старину.

Даже известные писатели недоумевают, зачем Платонов утяжеляет свой язык и действие. Да нет же – нет у него никакой нарочитости, как не было ее в формах языка и действия старых летописей; просто давний человек не может перейти на скороговорку нашего времени.

Считается, что в 20–30-е своего века годы Платонов не принял новую жизнь, что его несоциалистический герой есть серьезное доказательство, будто советского человека сущностно никогда и не водилось, что он силою был втиснут в новые, неудобные для него обстоятельства, но так и не согласился с ними. Но в том-то и дело, что Платонова нельзя определить в какую-то одну сторону, он шире, вдумчивей, глубже. И Платонов, и герой его новую жизнь приняли добровольно, и защищали ее, и строили, но когда повернула она на неестественные пути и принялась затруднять вольное дыхание человека и земли, когда даже и котлован ее никак не мог врасти в почву, платоновский герой, внимательный ко всему происходящему, ценящий

прежде всего волю, с болью отнимает от него, от того строительства, свою душу.

На фронте в Великую Отечественную Андрей Платонов был военным корреспондентом и, как многие другие, писал о подвиге советского воина. Но совсем по-другому писал. Откуда-то опять же издалека, глазами корневого человека, посланника всех времен видел он происходящее. И воевавший получал у Платонова иной, не начертательный, а самовыражающийся образ. В рассказе «Одухотворенные люди» есть страшная и одновременно прекрасная сцена. У комиссара отрывает снарядом руку, из последних сил он поднимает ее над собою как знамя и зовет: «За Родину! За вас!» У любого другого писателя это было бы некрасиво; может быть, заставило бы содрогнуться сердце, но было бы неестественно, натянуто – у Платонова это написано так, что не ужасаешься от этой картины, а воодушевляешься, в мгновение наполняешься силой.

Я не могу с уверенностью сказать, что Платонова будут читать и через пятьдесят лет. Потому что мы разучиваемся читать. Мы уже сейчас не умеем читать ни «Слово о полку Игореве», ни сказания, ни былины. Человек становится все короче и умещается, как правило, духовно лишь в тот промежуток времени, в котором живет, не вытягиваясь во всю длину национального существования. А Платонов – смотритель изначальной русской души. Она у него неуютно чувствует себя в настоящем и все страдает в «этом прекрасном и яростном мире» от какой-то неродственности бытия.

В русской литературе 20-го столетия Андрей Платонов – самый самобытный писатель, самый тревожный и один из самых чутких ко всему происходящему. Он и в великости своей стоит не в ряду, а особняком. Звезда его горит печально, без искрения, а такие звезды, несмотря ни на что, горят долго и дают добрый свет.

1999

РЯДОМ С МАСТЕРОМ*

О Г. В. Свиридове

«Близкое прошлое» – в этой серии выходила первая книга дневников Г. В. Свиридова, здесь же теперь выходит книга воспоминаний о нем тех, кому посчастливилось его знать, иметь с ним родиной одну землю, готовить и исполнять концерты, дружить в течение многих лет. В самом деле – совсем близко это прошлое, когда он был с нами. Всего только годы миновали. Свежа еще память о нем, не заглушился глухой голос, идущий из задумчивости, стоит перед глазами величавая фигура, появляющаяся из-за кулис на поклоны и торопящаяся скрыться от шквала аплодисментов. Ближе всех из великих (среди них можно назвать Шолохова, Леонова, Шостаковича, Гаврилина, Корина) подступил он к новому веку, оставалось сделать последние шаги, но словно бы подумал-подумал и, оглядываясь на прошедшую жизнь, решил не испытывать ее подозрительным знакомством и сошел с дороги: нет, это не для него. Ни по масштабу своего таланта, ни по духу, ни по звучанию для XXI века он не подходил. Он не совсем подходил и для XX века, поначалу находясь в нем одинокой глыбой на выжженном пространстве русской национальной культуры. Не будь Свиридова, не было бы и Гаврилина, не было бы, вероятно, и Бориса Чайковского. Но именно для этого, для того чтобы проложить дорогу Гаврилину, озвучить Есенина и Блока, заново прочитать Пушкина, подхватить умолкнувшие песнопения и молитвы, для того чтобы не закрался «пустырь» в души, и был «отставлен» Свиридов из XIX в XX век. В век трагический, но еще и земной, теплый, обнадеживающий, в котором грядущий Хам, хоть и на расстоянии вытянутой руки, продолжал тем не менее оставаться грядущим.

* Предисловие к книге «Георгий Свиридов в воспоминаниях современников»

Уже после кончины Георгия Васильевича появилась первая книга его дневниковых записей под названием «Музыка как судьба». Первая, но, будем надеяться, она не окажется и последней и не подвергнется цензурным искажениям, на которые никто не имеет права. Дневники приходится расшифровывать, записывались они торопливой рукой, но в них Свиридов как мыслитель, наблюдатель, человек огромной культуры, не только русской, но и мировой, «расшифровал» для нас так много в искусстве, жизни, в известных личностях, событиях прошедших и текущих, даже в Родине нашей, которую, оказалось, мы знаем мало; так точно сказал он о красоте и таланте, о чистом и святом в художнике и вокруг него и так решительно отделил талант от соблазна, чистый порыв от модного искушения, что великой этой книге великого автора полагалось бы сделаться настольной для всякого, кто еще не предался окончательно чужим богам в понимании прекрасного в искусстве.

Свиридов сам дал и объяснение своему феномену, богатству и высоте своего дара: «Для меня Россия – страна простора, страна песни, страна печали, страна минора, страна Христа». И всему этому он внимал так пристально и вдохновенно, что в духовных этих «упражнениях», повторяемых ежедневно и ежечасно, щедро напитал и мускулатуру ума, и дивные переливы души.

За долгую свою жизнь он прошел через три России: через старую, где был рожден в соловьином раю небольшого курского городка, через изломанно-обновленную революцией, торопливо и энтузиастически воздвиженную как вызов старой, и как вызов же не удержавшую себя, и, наконец, преломленную через колено во второй раз за столетие... Но как пахарь, засевающий и убирающий поле, творящий беспрестанно кормную работу, знает только одну Россию и этим знанием, этой работой не дает ей распасться, так и Георгий Васильевич во все периоды свое-

го творчества слагал лишь одну Родину – с тысячелетней историей, песенную, светлую, бессмертную...

Звук привычный, звук живой,
Как ты часто раздавался
Там, где тихо развивался
Я давнишнею порой

– эти строки из «Пушкинского венка» и есть объяснение себя, своего таланта, воодушевления, звучания, постоянного погружения в родное. Все волшебное не создается, не есть результат тяжелых усилий, а только подслушивается, виртуозно ловится на лету. Но какой для этого надо иметь слух, в какие пределы он должен устремляться, чтобы у одного слово, у другого мелодия получали неземное происхождение, только изливающиеся, как через сосуд, через земной улавливатель. Вот почему справедливо предполагается, что творческий акт есть исхождение из себя, чудесное перевоплощение, песнь души. Это в равной степени относится и к живописи, и к литературе, и к музыке. Впрочем, гениальность не объяснить. Не объяснить Пушкина, Тютчева, Есенина, Достоевского, не объяснить и Глинку, Чайковского, Мусоргского, Свиридова... Однако можно понять, почему Свиридов всю жизнь обращается к поэзии – прежде всего к русской, но и к лучшим образцам мировой: она звучала в нем не только родственно, но как своя, настойчиво требующая продолжения, перевоплощения, песенного звучания.

Всю жизнь Свиридов писал не по принципу «несмотря на...» – несмотря на суровую эпоху, заказные ритмы, грубое вмешательство в святая святых творческого процесса и т.д., а напротив, «смотря на...» – смотря на все лучшее и святое, не подвластное никаким запретам, что сохранялось в человеке и жизни. Такие у него были глаза, такой слух. И такова была мощная и красивая устремленность его раздольного

светозарного таланта, под которым только греться да греться, ощущая свое счастливое восхождение к красоте.

Надо сказать, что Свиридов знал себе цену. И нес свое личное достоинство и достоинство своего дела, ни перед чем не сгибаясь, с юности до последних дней. Заслонить его могучую прямую фигуру, от которой всегда исходили спокойствие и сила, даже в самом многолюдном обществе было невозможно. И в друзья, в собеседники, в исполнители своей музыки, в ученики и помощники он выбирал людей, подобно себе, талантливых, глубоких, бесшатких, самостоятельных.

2005

ТВОЙ СЫН, РОССИЯ, ГОРЯЧИЙ БРАТ НАШ...

О Василии Шукшине

Василий Шукшин!..

При этом имени что-то всякий раз с такой силой вздрагивает в нас и обмирает, чего мы, кажется, в себе и не знаем. Сознание наше, когда мы обращаемся к нему за разъяснениями, отсылает нас к чувству, чувство рождает: нет, это не у меня, это где-то дальше. И, пожалуй, самое близкое, с чем может быть поставлено рядом это ощущение, – какая-то невольная и незатухающая вина перед Шукшиным, стыд, сравнимый разве что со стыдом за несдержанное обещание. Что-то мы не сделали после Шукшина, что-то необходимое и важное, в чем-то, за что он бился, мы его не поддержали. И это при том, что слава его теперь стала не меньше, а больше, чем была, слава его по мере переиздания книг и появления нового поколения читателей и зрителей значительно расширилась и углубилась, установилась в надежном своем качестве, и те,

кто склонен был объяснять популярность Шукшина его преждевременной смертью и сердобольностью русской души, а то и определенной модой на Шукшина, вынуждены теперь призадуматься: дело, очевидно, в другом, не жели им представлялось...

Дело, разумеется, в другом, и не видеть, не понимать это с самого начала было, по меньшей мере, близоруко. Даже и слава его требует уточнения: она не есть нечто навязанное со стороны, когда от многократного назойливого склонения имя застревает в зубах, – нет, она есть результат внутреннего отзыва каждой души на явление Шукшина, результат огромной, не часто случающейся в народе по отношению к художнику, любви к нему. Для этого мало быть замечательным писателем и замечательным актером и режиссером кино, для этого надо значить для множества читающих и думающих людей нечто большее.

М. А. Шолохов сказал о Шукшине:

«Не пропустил он момент, когда народу захотелось сокровенного. И он рассказал о простом, негероическом, близком каждому так же просто, негромким голосом, очень доверительно. Отсюда взлет и тот широкий отклик, какой нашло творчество Шукшина в сердцах многих тысяч людей...»

В этих словах важней всего замечание о «моменте, когда народу захотелось сокровенного», если понимать еще под сокровенным чувство правды и жажду правды. А это так и именно так и следует понимать. Ни о чем больше с такой болью и с такой уверенностью не говорит и не повторяет Шукшин, ничто не утверждает с таким постоянством на протяжении всех пятнадцати лет работы, как НАРОД и ПРАВДА. Говорит и утверждает, не боясь высоты и громкости этих понятий, их безликости и холодности, и добивается почти невозможного для художника: сближает человека с народом, дотягивается до правды искренностью и горячностью. Нам не дано измерить рас-

стояние, на которое произошло сближение, но то, что оно произошло, мы должны были почувствовать.

«Нравственность есть правда, – писал Шукшин. – Не просто правда, а – Правда. Ибо это мужество, честность, это значит – жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду».

И вот как в сказке «До третьих петухов», когда Иванушка-дурачок, древний и вечный сказочный персонаж в русском фольклоре и плоть от плоти русского народа, отправляется по белу свету за справкой, которой было бы удостоверено, что он вовсе не дурак, так с первых же рассказов «чудик», этот неизменный герой Василия Шукшина, отправляется в долгий и нелегкий поиск за истиной, что есть народ и что есть правда.

И если бы «чудик» в той самой сказке оказался вдруг в собрании действующих там литературных героев, среди которых разгорелся спор по поводу судьбы Ивана-дурака, он мог бы в его защиту сказать собственными словами:

«– А в чем дело вообще-то? Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь – выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так – выходец, рано пошел работать».

* * *

Появление героя Шукшина в начале 60-х годов было несколько неожиданным. Конечно, литература наша уже тогда далеко сошла с того правильного пути, когда для удобства школьного преподавания и ненатуристического усвоения герои писались и располагались по строго положительным и отрицательным линиям, но «чудик», вернее, его предшественник, и тут как-то не очень вписывался в литературное общество. Шукшин, надо полагать, и сам понимал, что герой его выглядит не по принятой форме и, то ли оправды-

вая, то ли защищая его, озаглавил первые свои книги «Сельские жители» и «Характеры», а первый фильм – «Живет такой парень». Добавим сюда еще название повести «Там, вдали...», и хоть прием этот, быть может, не совсем верный, но соблазнительный, чтобы предположить, что Шукшин тем самым как бы с осторожностью говорил, что там, вдали, где-нибудь в сибирском селе возможны такие странные характеры, может жить такой парень. Но очень скоро из справедливости автор приближает его и к себе, и ко всем нам, указывает на прямое родство его с нами и выводит на самое видное место: уже второй фильм Шукшина называется «Ваш сын и брат», одна из книг – «Земляки», повесть – «Брат мой». Нетрудно понять Шукшина, который, набрав, как писатель и режиссер, силу, заслужив аудиторию, готов теперь с присущей ему горячностью доказывать, что ничего странного в его герое нет, что не в пример многим из нас, житейски благополучным, душевно замороженным и духовно излукавленным, он человек живой, умеющий страдать и совершать поступки, и если душа его больна, если поступки его, с общепринятой точки зрения, несутразны, то вы попытайтесь, попытайтесь разобраться, почему это произошло, и спросите себя, не завидуете ли вы ему.

Так кто же он, «чудик», этот обозначенный критикой общим словом герой Шукшина, что в нем такого, что возбуждает в нас тревогу и совесть и вызывает почти и потерянное ностальгическое сочувствие к нему, человеку отнюдь не лучших правил и установлений?

Моня Квасов (рассказ «Упорный») не верит, что нельзя придумать «вечный двигатель», и занят его сооружением.

Степка из одноименного рассказа бежит из лагеря, из заключения, за три месяца до освобождения, потому что, как объясняет он, «сны замучили, каждую ночь деревня снится». Бежит и, отгуляв дома один-единственный вечер, снова уходит в неволю на годы. «Ничего... Я теперь подкрепился, теперь можно сидеть».

Митька Ермаков («Сильные идут дальше»), живущий подле Байкала, осознает себя полноценным человеком только в невероятных мечтах, представляя, например, будто он один знает средство против рака и вылечивает от него множество безнадежно больных, заигрываясь подобными представлениями до горячего «не в себе».

Непутевый парень Генка («Гена Пройдисвет»), работая массовиком-затейником в санатории, после того как местный поэт одобрительно отозвался о его песнях, забирается на вышку и выкрикивает (не поет, а именно выкрикивает дурноголосо) на потеху отдыхающим эти песни, а затем, чтобы подытожить свой концерт жирной памятной точкой, в одежде и с гитарой бросается с вышки в воду. Тот же самый Генка, приехав в родную деревню и узнав, что его дядя ни с того ни с сего, как кажется Генке, стал верующим, в попытках разобраться в его душе и добиться, истинна ли эта вера в Бога, доводит дело до драки с дядей.

А вот Костя Валиков («Алеша Бесконвойный») в долгой и трудной войне с начальством и женой добился желанной победы – в субботу и воскресенье не работать. «Что же он делал в субботу? В субботу он топил баню. Все. Больше ничего». Выпрягался, хотя в остальные дни был безотказный работник. «В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня – суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость».

Перечисление этих «чудиков» можно продолжать сколько угодно. Они в большинстве рассказов Шукшина, которые читаются то со смехом, то с грустью, а чаще всего – с тревогой и которые все вместе создают пестрое и, однако же, целостное впечатление. Потому что все это отдельные штрихи, отдельные черты одного характера, который Шукшин писал от начала до конца и который в основном успел написать. Это характер человека свободного и самостоятельного по своей натуре, «бесконвойного», как Костя Валиков, всеми возможными способами и

чуждачествами старающегося отстаивать свое естественное право быть самим собой, иметь собственное мнение и до всего на свете доходить своим умом и своим опытом. В немалой степени подверженный стихии, случаю, дерганый, импульсивный, органически не переносящий никакой фальши, во имя чего бы она ни творилась, раздираемый противоречиями, страдающий от недостаточности яви и недоступности мечты, герой Шукшина при всем том как характер целен и органичен, ибо он не дает поставить себя в общий ряд, а живет отдельно и самостоятельно, как и положено жить человеку. И уже тем одним он вызывает у нас расположение к нему и беспокойство по отношению к себе.

Петр Верховенский говорит у Достоевского:

«Самая главная сила, цемент, все связывающий – это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот “миленький” трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове. За стыд почитают».

Кстати привести здесь мысли и другого героя Достоевского, героя, от имени которого ведется повествование «Записок из подполья».

«Есть только один случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, даже глупейшего, а именно: чтобы иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь этот свой каприз и в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности может быть выгоднее всех выгод, даже и в том случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, потому что, во всяком случае, сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность».

И дальше.

«Чего же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного такими странными качествами? Человек пожелает себе пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтобы самому себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши».

И еще.

«Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так что уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рас судок возьмет свое, так человек нарочно сумасшедшим на этот случай делается, чтобы не иметь рассудка и настоять на своем. Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик».

За сто с лишним лет, прошедших после Достоевского, чувство личности в человеке не только возросло (это-то было бы вовсе неплохо), но в силу многих причин приняло болезненные формы.

Чувство личности, чувство собственного достоинства у героя Василия Шукшина можно назвать иступленным.

Алеша Бесконвойный, тот самый, что добился топить но субботам баню, разжигает Алеша каменку, смотрит на разгорающийся огонь и думает: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтобы люди прожили одинаково».

Итак, иступленное, горячее чувство личности, перехлестывающее через край благоразумия, – первая и, пожалуй, главная особенность, «странность» героя Шукшина, этого «чудика», делающая его, на принятый взгляд,

«чудиком». До него никто еще в нашей литературе не заявлял с таким нетерпением права на себя, никому не удавалось заставить слушать себя по столь внутреннему делу. По делу маящейся души.

* * *

Ну вот, слово произнесено, одно из основных и кричащих слов Шукшина. Душа... А что такое душа? Почему литература все больше и больше берет на себя и смелость, и обязанность пытаться человека душой, которая где-то, в каких-то неведомых глубинах должна в нем быть и без которой, считается, ничто, никакое благополучие не принесет ему облегчения? Не оттого ли и эксплуатируется нещадно душа, что, не имея ни плоти, ни места, она недостижима, и обращаться к ней – это все равно что зывать в пустоту, откуда дожидаться отклика нельзя, которая тем и устраивает нас, что нельзя, ибо не может уличить нас в ложнонаправленности. И пусть человек ищет душу; он наверняка не найдет ее, потому что никому еще не удавалось отыскать то, чего нет, но, занятый этими поисками, он отвлечен будет от более дурных и еще более пустых занятий, которые принесли бы ему один лишь вред. Не так ли рассуждают специалисты по душе, поминающие ее почему зря направо и налево? Не так ли оно и есть в самом деле?

Нет, не так. Направо и налево не надо, ничего хорошего это не даст. Но то, что душа, которую ни за что, ни за какой бок нельзя ухватить, значит для человека очень многое, сомнений вызывать не может. Значит не как искомое, а как ценность, существующая в человеке изначально, но не всегда опознанная и вызванная к жизни; как сила, дающая ему преобразование в нечто иное, чем человек без души, в нечто более, скажем, походное – в том смысле, как должно осуществляться направленное движение человека к своей высочайшей цели и своим идеалам; как осуществленное призвание

человека быть личностью; как знак желанной самообретенности. Душа – это и есть, надо полагать, сущность личности, продолжающаяся в ней жизнь бессменного, исторического человека, не сломленного временными невзгодами.

Итак, к тому же мы и вернулись – к личности, автономности и самоценности человека. И не вернуться к этому, вспоминая душу, было невозможно. Обойти ее стороной тоже не удастся, потому что это значило бы, притворяясь глухим, не услышать и не понять Шукшина. Редко в каком рассказе (и не только в рассказах) нет у него упоминания о душе, чувства разлада с душой, желания вернуть то, что утвердило бы его героя в жизни и раскрыло бы ее смысл.

«Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова – опостылело все на свете. Так бы вот встал на четвереньки, и зарычал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы» («Билетик на второй сеанс»).

«Ведь она же болит, душа-то. Зубы заболят ночью, и то мы сломя голову бежим... А с душой куда?» («Ночью в бойлерной»).

«По воскресеньям наваливалась особенная тоска (это начало рассказа «Верую»). Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал ее, гадину, как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками – ласкала, тянулась поцеловать.

– Опять! Навалилась!

– О!.. Господи... пузырь: туда же, куда и люди, – тоска, – издевалась над Максимом жена: она не знала, что такое тоска. – С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском, глазами... Стискивал зубы...

– Давай – матерись. Полайся – она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя – не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

– Не поймешь ведь.

– Почему же не пойму? Объясни, пойму.

– Вот у тебя все есть – руки, ноги... и другие органы.

Какого размера – это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога – ты чувствуешь, захотела есть – налаживаешь обед... Так?

– Ну.

– Но у человека есть также – душа! Вот она здесь – болит! – Максим показывал на грудь. – Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую – болит.

– Больше нигде не болит?

– Слушай! – взвизгивал Максим. – Раз хочешь понять – слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу... Дура! – вдруг вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет – трешуха. Да и сам он не верил в такую-то – в кусок мяса. Стало быть, все это – пустые слова. Чего и злить себя? – Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нет. Или она поганая!»

Критик Лев Аннинский, писавший о Шукшине, называет это – «незаполненная полость в душе».

«И ведь отнюдь не материальный интерес, о котором столько кричат, движет героя, здесь-то он обеспечен, защищен и марку держит. Но он смутно догадывается, что при всей материальной укрепленности его душа заполнена чем-то не тем, чем-то подложным, и потому преследует этого человека вечный страх обмана, и отсюда – его болезненная агрессивность, его мстительный прищур. А причина – все то же: незаполненная полость в душе. И невозможность стерпеть это...»

«Незаполненная» – а чем ее заполнить? Где и как ее отыскать, подлинную-то душу, какой верой ее устроить и успокоить?

Одни смотрят на жизнь с удивленной оторопью: что это? куда я попал? зачем я здесь? Другие мучаются и мечутся, мечутся и мучаются, и нет, кажется, конца этим мучениям. Третьи, как Егор Прокудин в «Калине красной», время от времени устраивают этакий «праздник души» – разгул и разгон, когда Егор выбрасывает пачки денег на глупую и мстительную (мстительную себе, прежде всего) гулянку в районном ресторанчике. Пьют в рассказах Шукшина много, и это тоже слабые, никчемные, но доступные, проторенные попытки усыпить голодную полость и хоть на время, хоть как-то освободиться от ее взыскующей тяжести.

Максим Яриков, который пробовал объяснить жене, что такое душа, идет в рассказе «Верую», чтобы унять ее, душу, к приехавшему на излечение в деревню попу – и вместе с попом, напившись спирту, устраивают они бесовскую пляску вокруг стола, выкрикивая: «Верую! Верую! Верую в авиацию, в химизацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! – ибо это объективно!»

Но эту веру в душу не поместить.

«Оба, поп и Максим, плясали с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они – пляшут. Тут – или плясать, или рвать на груди рубаху и плакать и скрипеть зубами».

Это – страшно.

«Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?» – спрашивал Есенин. «Падаешь», – отвечает Шукшин. Оно, это падение, выражается у него по-разному, не всякий раз доводится, так сказать, до горизонтального положения, до конечной точки падения, подменяется порой обманом или самоутешением или принимает опять-таки болезненные формы, но суть одна: душа требует души, жить без души

нельзя. Вспомним Николая Григорьевича Кузовникова из рассказа «Выбираю деревню на жительство». Николай Григорьевич, немолодой уже человек, кладовщик по роду занятий, каждую субботу ходит на вокзал и расспрашивает приезжих мужиков, откуда они и как там у них, выбирая якобы деревню, чтобы уехать из города. Он прекрасно понимает, что никуда не уедет и все его расспросы впустую, но «не ходить на вокзал он не мог – это стало потребностью».

Опять чудачество, прихоть? Да, но прихоть, вызванная той самой полостью, которая требует удовлетворения и заполнения. Это еще легкая, безобидная форма прихоти. У Броньки Пупкова («Миль пардон, мадам»), рассказывающем о покушении на Гитлера, она уже набирает надрывную силу, когда, вызванная, казалось бы, для утверждения души, она опустошает ее еще больше и разъедает еще сильнее. Можно это движение проследить и дальше: Спирьку Расторгуева («Сураз») эта вышедшая из-под власти человека стихийная прихоть доводит до смерти. Ущербность и неполнота души не только приводят к ущербности и неполноте жизни, не только приносят необъяснимые, на наш взгляд, страдания, но больше того – лишают человека устойчивости на земле и чувства собственной необходимости. Жизнь, не подтвержденная смыслом души, есть случайное существование; герой Шукшина с этой случайностью мириться не хочет, он выше ее, но он ощущает также и свою недостаточность и шаткость для жизни направленной, это мучает его и заставляет совершать поступки как бы вне себя самого и обычно во вред себе. Непредсказуемость, стихийность и последовательная нелогичность действия, и вообще тайно любимые в себе русским человеком качества, в «чудике», ничем не сдерживаемые, доходят до восторженно-разрушительного градуса, когда он сам себе и жертва и палач.

Странное, однако, дело: у Шукшина, казалось бы, нет ничего, что напрямую говорило бы о близком обретении души его героем, и тем не менее в читателе это становится

почти убеждением. Та боль и страсть, с какой он мечется в растерянности и тоскует по душе, превращает ее в нечто чуть ли не материальное, в нечто такое, что имеет место, где ее можно отыскать. На этот отчаянный призыв не откликнуться, кажется, невозможно.

Что касается места обитания души, его предположить не так уж и трудно. Это родина человека, земля его рождения, на первых порах давшая ему все, что необходимо для прочности в жизни.

* * *

Нельзя не заметить: насколько «чудик», этот расшатанный и больной характер, интуитивно стремящийся к цельности и здоровью, вызывает в нас поддержку и сочувствие, настолько женщина в рассказах Шукшина (в рассказах особенно) сочувствия, как правило, не заслуживает, и черты многих и многих героинь составляют для нас с вами фигуру далеко не симпатичную. Если бы дело было лишь в сочувствии или не в сочувствии, не следовало бы и заводить этот разговор, который так или иначе задевает самолюбие женщины. Дело, однако, в большем – в состоянии и даже направленности характера, в направленности его к себе – каким должен быть человек, или от себя – каким он быть не должен. Дело в конечном итоге в результатах движения.

У Шукшина мало что было случайным, выходящим за границы его наблюдений и твердых воззрений, а уж это – отношение тем паче выношенное и выстраданное, что с годами оно не только не изменилось в сторону, так сказать, послабления – напротив, с годами оно окрепло, получило спокойное осмысление и доведено было до определенной философии. Рассказ «Одни» написан в самом начале 60-х годов, и Марфа, жена шорника Антипа, пожалевшая Антипу шесть рублей на балалайку, – это ангел небесный по сравнению с женой и тещей Вени из рассказа «Мой зять украл

машину дров» и уж тем более по сравнению с женой Кольки Паратова из рассказа «Жена мужа в Париж провожала» (оба эти рассказа написаны через десять лет после первого). Колька Паратов, доведенный до отчаяния упреками и скандалами в семье, постоянным унижением своего человеческого достоинства, открывает в кухне газ и оставляет маленькой дочери записку: «Доченька, папа уехал в командировку». «Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам».

Жадность к вещам и деньгам, душевная глухота и недоброта, нежелание и неумение хоть сколько-нибудь понять живущего рядом с нею человека, вздорность, какая-то даже противоестественная агрессивность – вот качества, которые не просто замечаются, но, за малыми исключениями, прямо-таки выпирают из прекрасной половины, какую она предстает перед нами в мире Шукшина. Герой рассказа «Как зайка летал на воздушных шариках», приехавший из алтайской деревни в город к брату, рассказывает его большой дочери сказку и на сказочный же манер говорит: «Да-а, что ни бабочка, то баба-яга».

Шукшин не делает различия, в городе или в деревне – везде.

Можно смутиться одним противоречием во взгляде Шукшина на женщину. Все, что говорилось здесь, относится к женщине-жене. К женщине-матери у него совсем иное отношение, едва ли не противоположное. Мать для него – это любовь, доброта, умение понимать и прощать, природная мягкость и душевная стойкость.

Подвиг есть и в сраженье,
Подвиг есть и в борьбе,
Высший подвиг в терпенье,
Любви и мольбе

– писал А. Хомяков.

И вот этим «высшим подвигом» женщина-мать наделена у Шукшина в высшей же степени. Об этом свидетельствуют рассказы «Материнское сердце», «Сны матери», «Ванька Тепляшин», «На кладбище» и другие, об этом же говорит образ матери Егора Прокудина в «Калине красной». Но откуда же в таком случае берется мать, как не из жены, и каким образом из зла может произрасти добро, а из неприятия – понимание и приятие? Не скошен ли все-таки этот взгляд на жену в сторону и не есть ли он результат произвольного, нелогического разделения: мать – это одно, а жена – другое?

Но логику и причинность нетрудно отыскать и здесь. Все дело в возрасте. Мать старше жены, и эта разница в годах успела отразиться на сути и характере женщины не лучшим образом. Сманенная, сдвинутая со своего вековечного нравственного основания легкими посулами высоких идеалов, женщина не установилась, однако, достаточно прочно и в своем новом общественном назначении, потому что оно, надо думать, не совсем соединяется с ее женской природой, и встала так неловко, в таком неестественном и неустойчивом оказалась положении, что ни вперед ходу нет, ни назад. Вперед – она инстинктивно чувствует опасность – нельзя, назад стыдится, да оно уже и непросто отступить назад, движение произошло по всем параметрам, кроме того, свои соблазны, свои прелести есть в этом новом положении, которые льстят ее самолюбию. Совратитель оказался жестоким: на этот раз женщина изменила самой себе. Отсюда и результат: бывшая всегда моральной твердыней семьи, воспитательницей и духовной учительницей детей своих, миротворицей и мироносицей, женщина, оказавшись в условиях нравственной нетвердости, если и не превратилась в этих качествах в свою противоположность (до этого, конечно, не дошло), но и отклонилась от них достаточно далеко.

Разумеется, упрек этот, относимый к женщине в целом, как общественному и нравственному характеру, нельзя адресовать всем женщинам без разбору, но все ближе и ближе, кажется, к тому, чтобы сказать: то, что прежде было правилом, становится исключением, а что было исключением, превращается в правило. В нашем общем моральном смещении женщина в силу своего более подвижного, чуткого по сравнению с мужским и менее закаленного, менее осторожного к внешним изменениям характера выдвинулась вперед, и отрыв этот, сам по себе незначительный, но ощутимо опасный, горько сказывается на ее натуре. Издавна соблазнительная для женщины тога высокого общественного значения была впопыхах надета ею наизнанку и больно отразилась на народно-человеческих качествах. Наши хлопоты не о том, конечно, чтоб знала свое место и из кухни да из семьи никуда – это было бы чересчур неверно и грубо, – а о том, чтобы не забывала и не справляла как придется главную и незаменимую свою важность в обществе по скреплению семьи и воспитанию детей.

Быть может, самое трудное и выстраданное выражение, как не завершение, находит у Шукшина этот «женский» вопрос в рассказе «Страдания молодого Ваганова». Молодой следователь Ваганов ведет там, в рассказе, довольно обыкновенное, по нашим понятиям, дело: жена, баба ловкая, развратная, хитрая, пытаюсь избавиться от мужа, человека уже пожилого, немало покорябанного жизнью, подает на него, воспользовавшись скандалом в семье, в суд. Ваганову этот человек (по фамилии Попов) нравится своей бесхитростью и откровенностью, и он пытается спасти его от суда. Однажды между ними происходит такой разговор.

«– Я так скажу, товарищ Ваганов, – понял наконец Попов. – С той стороны, с женской – оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же... Почему

же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад. Что ни семья, то какой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы... Баба, она и есть баба.

– На кой же черт мы тогда женимся? – спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией.

– Это другой вопрос. – Попов говорил свободно, убежденно – правда, наверно, думал об этом. – Семья человеку нужна, это уж как ни крутись. Без семьи ты – пустой нуль. Чего же мы тогда детей так любим? А потому и любим, чтоб была сила – терпеть все женские выходки.

– Но есть же нормальные семьи!

– Да где?! Притворяются. Сор из избы не выносят. А сами втихаря... бушуют.

– Ну, елки зеленые! – все больше изумлялся Ваганов. – Это уж совсем... мрак какой-то. Как же жить-то?

– Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают... И обижаться на их за это не надо – раз они так сделаны. Чего обижаться? – В правде своей Попов был тверд, спокоен. Когда понял, что Ваганов такой именно правды и хочет – всей, полной, – он ее и выложил».

Причина не в том, конечно, что «так сделаны», едва ли Шукшин полностью разделяет здесь точку зрения своего героя; вероятней всего, он умышленно дает ее как крайность, как своего рода наживку, чтобы вызвать со стороны женщины протест, но и заставить ее взглянуть на себя внимательней и строже, отыскивая по справедливости принадлежащее ей место. Она и сама, надо полагать, чувствует, что оказалась в разлуке с собой, что она не та, кем собиралась быть, и не там, куда собиралась идти в предоставленной ей свободе. Природное чутье, которое всегда было развито в ней больше, чем в мужчине, не может ей этого не подсказывать. Не здесь ли и следует искать причину ее нервозности и апломба, в котором легко рас-

смотреть растерянность и страх за свою судьбу, равно как и за судьбу того нелегкого воза, который извечно тянула женщина и из которого она ныне выпряглась. Оглядываясь на него, она не может не страдать от его заброшенности – от неуютности и сиротливости в семье, полегчавшей и числом и тщанием, куда она судорожно набегаёт, чтобы, накричав и приласкав в спешке, снова оставить ее с торопливыми распоряжениями до следующего набега.

Добиваясь значительной и возвышенной роли, которую она готова играть в жизни, женщина не учла, что она, эта новая роль, возможна лишь в соединении с прежней и под началом прежней, составляющей ее человеческую основу, а не в освобождении от нее, не в логическом решении задачи, что пункта Б можно достигнуть только покинув пункт А.

* * *

Никому, кто пытается говорить о Шукшине, этого вопроса миновать нельзя, последнего вопроса Шукшина, который на пределе физических и нравственных сил как стон, как отчаянный вскрик, прозвучал в рассказе «Кляуза» – «Что с нами происходит?». Через месяц после того, как была опубликована «Кляуза», Шукшина не стало, и вопрос этот так и остался с нами, остался не только не решенным, а, напротив, окрепшим за последние годы и, так сказать, возмужавшим.

Пересказывать «Кляузу» нет надобности, это документальная запись случившегося с автором в больнице, когда женщина-вахтер, человек в своем служебном положении маленький, с соответствующими этому положению нравами, воспаряет в своем требовательном хамстве на такие высоты, такую набирает силу и власть, что ни унять ее, ни понять ее никакими доводами благоразумного смирения невозможно. Шукшину это показалось пределом, он пишет: «Не знаю, что такое там со мной случилось, но я вдруг по-

чувствовал, что все – конец. Какой “конец”, чему “конец” – не пойму, не знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое».

Но мы-то ныне знаем, с высоты ли, из глубины ли своего сегодняшнего опыта, и как сторона, которая терпит от хамства, и как сторона, которая допускает хамство, – знаем мы, что то был далеко не предел, что, миновав предел, хамство вышло на новые просторы.

Больше десяти лет подряд обличал Шукшин главных носителей хамства, называя их с удивительным постоянством по именам: чиновник, продавец и уличный хам, то есть хулиган, преступник от хамства, носящий на себе, в облике своем, печать как бы врожденного хамства, возведенного в единственный закон жизни. Даже и не обличал их Шукшин, это не то слово, как истинный художник, ничего он никогда впрямую не обличал, но всякий раз, встречаясь в работе своей с обстоятельствами, когда по жизненной правде не миновать хамства, он, как боец при встрече с собственным врагом, внутренне напрягался, выражаясь его же языком, «взвинчивался» и не хотел, не мог обойти его спокойно сторонкой. Он и за рабочим столом ощущал себя бойцом, и здесь до конца переживал состояние стычки и драки – это легко почувствовать по напряжению, по накалу его прозы, когда строки, как оголенные провода, бьют избыточным током человеческой боли. Не он уже выводил их, эти строки, и тем более не отыскивал, гуляя, в том заповедном уголке, который мы называем вдохновением, – это они владели им и водили его рукой, они, торопясь, требовали выхода и свидетельского голоса.

Итак, чиновник, продавец и уличный хам...

«Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался» (рассказ «Чудик»).

«Боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла... псих с длинными руками, узколобый...» («Боря»).

«Как же так? До каких пор мы сами будем помогать хамству?.. Что за манера? Что за проклятое желание угодить хамоватому продавцу, чиновнику, просто хаму – угодить во что бы то ни стало! Ведь мы сами расплодили хамов, сами! Никто их нам не завез, не забросил на парашютах» (рассказ «Обида»).

Это уже и объяснение, – конечно, не полное, возможное лишь в ткани художественного сказыванья, но и не пустяковое, однако же, объяснение, почему процветает хамство.

И действительно, на пережиток проклятого прошлого мы его по привычке свалить не можем. Не выйдет. Верно, хамство и всегда-то присутствовало в богатом букете черт русского национального характера. Было хамство, но прежде оно было стеснено ограничительными рамками и пробивалось вне закона и морали, представляло собою один из видов нравственного уродства, теперь же, продолжая внешне находиться вне закона и морали, на деле, воспользовавшись попустительством, оно запустило корни в основание этих понятий и из способа существования индивидуально расширилось и расцвело, заговорило на равных правах с другими человеческими качествами и стало извинительной слабостью, заурядным явлением.

Хамство чиновника... Оно происходит от духовного, прежде всего, несоответствия человека своему чиновному месту, от искажения духа и буквы служебного положения, когда служение превращается в услужение и самообслуживание, от гражданской неполноценности, от нетвердости, скачкообразности общественных распоряжений и благодушия общественного возмездия. Искусный в бюрократической грамоте, хорошо зная силу справки, которую он выдает, чиновник вырастает в собственных глазах в огромную фигуру, вольную казнить или жаловать: поставить печать на пустяковую справку сегодня или заставить ходить за нею месяц подряд. Надо оговориться: хамство чиновников – это не обязательно грубость, издевательство, оскорбления, как

мы привыкли понимать хамство, – нет, в кабинетах оно нередко воспитанно, нравоучительно, как бы даже благожелательно, но оно хамство уже одним унижительным положением, в которое ставится здесь человек.

А уж из кабинетов при открытых дверях хамство широко шагнуло на простор и нашло за прилавком родную для себя душу – продавца. Под продавцом следует, очевидно, рассматривать всю сферу нашего общественного обслуживания, но поскольку в этой сфере мы чаще всего вынуждены встречаться именно с продавцом и больше всего терпеть именно от него, то он и назван как конкретный носитель среднего и самого распространенного вида хамства. И правда, в лице продавца оно отыскало для себя идеальные условия, всю сумму удобств: во-первых, весьма невысокая общая культура, извращенное понимание наших отношений с ним, высмотревшее в этих отношениях лишь нашу зависимость от него, и, во-вторых, – толпа по другую сторону прилавка, толпа зачастую возбужденная и требовательная, жертва дефицита, не всегда способная вовремя распорядиться своим здравым смыслом, – огромное поле и благодатная почва для хамства.

В конце концов все можно объяснить, всему найти причины: и хамству чиновника, и хамству продавца, и уличному хамству – и согласиться можно с этими причинами, но нельзя согласиться с самим явлением. Тут уж ни сил, ни воображения не хватает, чтобы согласиться, принять и со злобным удовлетворением приговаривать из обслуживающего хамство репертуара: «То ли еще будет, то ли еще будет!»

Хамство есть способ утверждения личности. Так считалось всегда. И ведет оно к разрушению личности. Когда человек не умеет проявить себя как личность иным образом, он обращается к животным началам и находит, по-видимому, в этом, несмотря на протестующий голос совести, какое-то удовлетворение. Другими словами говоря, хамство есть признак неразвитости, несостоятельности личности или ее де-

градации. Но это – когда речь идет о проявлении хамства со стороны отдельного человека или отдельных людей...

Нет, не так прост шукшинский вопрос: «Что с нами происходит?»

Глеб Капустин в рассказе «Срезал» являет собой удивительный пример того, как могут быть усвоены уроки демагогии и пустоговорения. Он оказался способным учеником и в споре с городскими людьми, за которыми до недавних пор оставалась привилегия красноречия, показывает прямо-таки фигуры высшего пилотажа в навязанном им же словесном поединке, когда слово опустошено полностью. Дошло, кажется, до края: демагогией овладел так называемый простой человек...

Бригадир Шурыгин (рассказ «Крепкий мужик») не по чьей-нибудь, но собственной инициативе разрушает стоявшую в его родном селе старинную красавицу церковь. Разрушает, несмотря на возражения, на уговоры и слезы односельчан, в том числе матери и жены, несмотря на угрозы в каре небесной и земной. Ничто не подействовало: свалил «крепкий мужик» Шурыгин с помощью могучей нынешней техники церквушку, сел на мотоцикл и с песней покатыл отмечать это событие.

И тут предел. Шурыгин также оказался способным и памятливым учеником: предмет преподавания изменился, а он на всю жизнь усвоил тот, прежний, который и впитал в себя как непреложный закон действия.

А нам представлялось, что все это еще далеко, не скоро. Оказалось, аукнулось. Оказалось, при нас. Бумеранг сработал с удесyтеренной силой.

Вот что с нами происходит.

* * *

И тут, после этой тоскливой ноты, пора снова вернуться к словам Шукшина, которые уже приводились:

«Нравственность есть правда. Не просто правда, а – Правда. Ибо это мужество, честность, это значит жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду».

А может быть, нет оснований для такой уверенности? Что есть ныне народ и что есть правда? Не слишком ли стерты и размыты слезами умиления эти понятия, не слишком ли много всякого, порой несовместимого, они в себя вмещают? Так ли уж знает народ правду?

Народопоклонство – тоже русская черта, но холодное и бездушное обожествление народа никогда и ничего утешительного к его судьбе не добавляло. Шукшин должен был это знать, и он не стал бы подставлять еще одну возвышенную и расплывчатую фигуру из своих громких слов к памятнику, и без того переполненному подобными фигурами, если бы не был уверен в их реальности. С другой стороны, он не стал бы произносить эти слова в честь Глеба Капустина, бригадира Шурыгина и множества других, похожих на них, по своей многочисленности неотделимых, казалось бы, от тела народа.

Поэтому, говоря о народе, необходимо сразу разделить понятия. Есть НАРОД как объективно и реально существующая в каждом поколении физическая, нравственная и духовная основа нации, корневая ее система, сохранившая и сохраняющая ее здоровье и разум, продолжающая и развивающая ее лучшие традиции, питающая ее соками своей истории и генезиса. И есть народ – «в широком смысле слова, все население определенной страны», как читаем мы в энциклопедии. Первое понятие входит во второе, существует в нем и действует, но это не одно и то же. И когда Шукшин с уверенностью говорит, что «народ всегда знает правду», он имеет в виду душу и сердце народа, здоровую, направляющую ее часть, а когда Федор Абрамов обращается с известным письмом к односельчанам, упрекая их в нерадивом хозяйствовании,

он не НАРОДУ адресует свои справедливые упреки, а населению, которое составляет жизнь и труд родного ему поселка. И составляет, кроме того, часть всего народа – как населения.

Тысячу раз прав Шукшин: «народ всегда знает правду». Ибо то и есть народ, что живет правдой, как бы ни тяжела была эта ноша, то и есть правда, что составляет первооснову и первосмысл этого понятия, не подверженную духовной ампутации истину о человеке и его жизни. Не голую, разумеется, не чистую и формальную, а соотношенную со временем – какова она есть.

Конечно, это не полное, это лишь нравственное определение народа, нравственное искомое его сути. Но сейчас оно, нравственное, самое важное. А определение правды может быть только нравственным и никаким иным. Народ, надо полагать, не только то, что уже сегодня живет правдой, но и то, что в исканиях и блужданиях своих расположено к правде, жаждет ее и примет ее со временем, что в беспокойстве и сомнениях неуверенно расшифровывает в душах и памяти своей заложенные там многими поколениями духовные знаки.

«Не люби ты меня, а полюби ты мое – вот что вам скажет народ, если захочет увериться в искренности вашей любви к нему», – это известные слова Достоевского.

Не ахти, казалось бы, какое достижение, какая победа, одержанная Алешей Бесконвойным, – всего-то добился субботы для бани! – не столько тут, на трезвый взгляд, воли, сколько блажи, но посмотрите, как меняется и облагораживается человек: «Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он – любит. Стал случаться покой в душе – стал любить».

Невелика победа, но и то давай сюда, и то сгодится, чтобы сохранить в себе человека и отстоять душу. Движение, пусть маленькое, слепое, инстинктивное, однако же,

произошло – движение в благодатную, родную для человека сторону.

Моня Квасов, тот самый Моня, который изобретает вечный двигатель (рассказ «Упорный»), вскакивает однажды среди ночи, делает чертеж, и от уверенности, что получилось, что добился своего, редкое снисходит на него настроение: «Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого».

И от ложного вроде бы толчка (вечный двигатель), но и тут начало движения к лучшему в себе, к обретению духовной воли и духовной красоты.

И Генка Пройдисвет из одноименного рассказа пристает к дяде не потому, что его возмущает вера дяди в бога, а потому, что не уверен он в этой вере и боится, не ударился ли дядя из неприятия одной лжи в другую.

«...– Дядя Гриша, милый, ну зачем же ложь-то? Ведь ты же мужик, крестьянин, труженик, ну зачем же ложь-то? Как же жить-то, люди?! – Генка скривился, заплакал... Но он не злился на слезы, они только мешали ему, он их торопливо смахивал ладошкой. – Как же нам жить-то?! Когда – раз, и соврал, ничего не стоит! А?.. Ты меня упрекаешь, все упрекают: зачем институт бросил? Не хочу врать! Раз я не чувствую, что мне это позарез надо, что же я буду притворяться-то? Мне без диплома тоже интересно жить. Но почему же... Эх!.. Я же думал, ты не способен на ложь, – вообще, зачем это мужику? Мало на свете притворных людей? Куда же мне теперь идти прикажете? К кому? Бесстыдники, вот так и даете пример... Ведь так же все рухнуть может!»

И затем, после драки:

«...– Горько, горько, – говорил Генка, сплевывая сукровицу. – Ах, как горько!.. Речь идет о Руси! А этот... деляга, притворяться пошел. Фраер. Душу пошел насиловать... ува-

жения захотел. Врать начал! Если я паясничаю на дорогах, – Генка постучал себя с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами, – то я знаю, что за мной – Русь: я не пропаду, я еще буду человеком. Мне есть к кому прийти! – Генка закричал, как на базаре, как на жадную бессовестную торговку закричал, когда вокруг уже собрались люди и уже все равно и не стыдно кричать. – Мы же так опрокинемся!»

Вот это понимание, эти золотые слова о том, что мужику незачем врать, пагубно участвовать во лжи, эта истовая вера в Русь и дают нам право на самую большую надежду в судьбе своей родины и народа. И оттого, что сказаны эти слова таким непутевым внешне, бесшабашным, неустроенным в жизни парнем, как Генка, – крепче уверенность, что духовная твердыня народа там, в глубинах народного сознания, находится по-прежнему в крепости и силе.

«Воля» – любимое слово, любимое понятие Шукшина, встречающееся у него буквально всюду. Не казенное «свобода», а близкое человеку, родное русское «воля». «Я пришел дать вам волю» – называется роман о Разине. Свои самые главные, глубоко выстраданные мысли о России и о судьбе ее вложил он в этот роман и до последних дней мечтал вложить в фильм, чтобы сделать их видимыми и яркими. Потому у Шукшина и терпит поражение народный герой и заступник Стенька Разин, что не верит он до конца в мужиков и начинает опасаться их, а затем и предает их под Симбирском, отказывается от правды мужицкого философа и мудреца Матвея Иванова.

Матвей Иванов, Фрол Минаев и Степан Разин – это три ипостаси русского характера: в лице Фрола Минаева – разумный до определенных пределов протест, а на деле разумное послушание, выливающееся в долготерпение; в лице Степана Разина – постоянная готовность к самопожертвованию, стихийность, даже разбойность по отношению к себе; и в лице Матвея Иванова – народная основа и народная правда, которые много и тяжело страдали как от

чужих, так и от своих и которые вопреки всем явным и тайным врагам сохранили и сохраняют Россию.

Памятный разговор происходит между Фролом Минаевым и Степаном Разиным, когда его, связанного по рукам и ногам, везут в конце романа в Москву:

« – Ну, а чего ты хотел-то, Степан?

– Хотел дать людям волю, Фрол.

– А чего из этого вышло?

– А чего вышло? Я дал волю, – убежденно сказал Степан.

– Как это?

– Дал волю. Берите».

Не может быть никаких сомнений: речь идет о духовной воле, о внутреннем раскрепощении человека, об изгнании из себя раба и осознании своей личности. В этом смысле Степан Разин сполна выполнил свою задачу: он действительно дал людям волю. Размахом поднятого им казацкого и мужицкого бунта он показал возможности народной силы и внушил народу, несмотря на поражение восстания, великую веру в себя. Если до того народ и батюшку-царя славил, не смея поднять вверх глаза, то после того он и под плети ложился с гордой душой.

Для Шукшина народ – это, прежде всего, общность крови, имеющей тот же, что и в другом народе, но и не тот состав, отличающийся от другого народа историческими и этническими особенностями и духом породившей его земли. В долгой и сложной своей судьбе народ неминуемо проходит и через болезни, и через сомнения и испытания, и все это в определенном смысле даже может способствовать его нравственному очищению и гражданскому возбуждению. Нет в свете таких бед, которые не в состоянии был бы превозмочь народ, если он правильно, в соответствии со всем ходом его исторического движения и духовного согласия, организован и нацелен. И только одно может иметь для любого народа самые тяжелые и непоправимые

последствия: самодовольство поколения или нескольких поколений, забвение корней своих, сознательный или бес-сознательный разрыв с многовековым опытом прошлого, ведущие через последующие связи к утере национального чувства и исторической памяти, к разобщению, обезличенности и безродности. Тогда и народ – население, и родина – место жительства и приписки, тогда мы перестаем слышать токи одной крови в другом человеке и остаемся одни. Глухота к ближнему грозит затем общей глухотой и вседозволенностью, человек принимает себя за случайность и упо-ваает на случайность, случай превращается у него в судьбу.

«Чудик» у Шукшина и есть тот самый характер, тот самый человек, который не выдерживает бесприютного одиночества и вслепую, неуверенно и судорожно, ищет пути, чтобы быть вместе с народом и из холодного понятия вернуться в живую его плоть, чтобы, не довольствуясь цен-ностью физического существования, получить духовное значение. Свобода, за которую так ратует человек, в людях, не имеющих общей и выверенной цели, ведет к уродству. По-настоящему свободна и автономна личность только в народе, только там ей просторно и вольно, в нем, в неис-кривленном и продолжающемся пути его находит она свой смысл и вечность.

Незадолго до смерти Шукшин писал:

«Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту... Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание – не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

«Будь человеком»... Все, что сделано Шукшиным в ис-кусстве, освящено у него этим требовательным понятием, этой страстью и этой болью, которым он заставил внимать всех – кто умеет и не умеет слушать. Не было у нас за по-

следние десятилетия другого такого художника, который бы столь уверенно и беспощадно врывается во всякую человеческую душу и предлагал ей проверить, что она есть, в каких просторах и далях она заблудилась, какому поддавалась соблазну, или, напротив, что помогло ей выстоять и остаться в верности и чистоте. Читателем и зрителем Василия Шукшина была и остается вся Россия, от самых высоких умов до самых падших душ; его талант – это тревога, отчаяние и вера всепроникающей совести, ищущей оставленные ею в каждом человеке следы.

И вот в этом-то – в предельной напряженности слова и объединяющей его силе – мы, кажется, не сумели достойно поддержать Шукшина. И мы говорим о том же, но спокойней и отстраненней, и нас читают, но своим читателем, по-гурмански. Литература после Шукшина вернулась в свое обычное русло, он же умел, не теряя красоты и проникновенности искусства, довести ее до пропагандной остроты и тревоги, до разрушающей всякое равнодушие силы, до аввакумовской страсти.

Нам так нужен был Шукшин – и он пришел, сделал свое дело талантливо и честно, не жалея себя, и, надорвавшись за этим запущенным делом, преждевременно ушел, показав, как необходимо художнику жить, работать и думать во имя народа и правды.

1989

С МЕСТА ВЕЧНОГО ХРАНЕНИЯ

Об Александре Вампилове

Тридцать лет миновало с того дня, как накануне своего 35-летия не стало Александра Вампилова. Тридцать лет, в которые в России уместились по крайней мере три эпохи и «близ дверех» стоит четвертая, еще загадочная, но, судя по тому, из чего, из каких бурь и изломов она

рождается, не способная быть утешительной. Уже после Вампилова наступил «застой» – никуда не деться, это действительно было болезненное, кризисное существование, когда идеологическое талдыченье закупорило кровотоки между властью и народом. Выбираться из этого опасного состояния следовало и умно, и осторожно, и смело, а принялись выходить хуже некуда – позволили скопившимся ядовитым газам вышибить все пробки и сделаться общественной атмосферой. Эта эпоха в пять-шесть лет просится назваться «угарной» – по невиданному помрачению умов, с каким-то бешеным восторгом отказавшихся от здравого смысла и даже от инстинкта самосохранения. Вот тогда и кинулись к власти бесноватые, для которых не бывает ни отечества, ни традиций, ни меры в своем разрушительном шабаше. Третья эпоха, продолжающаяся и поныне, есть не что иное, как попытка убиения России как государства и народа: Россия унижена, огажена, разбазарена, исчужена и оголожена и стоит пока только земель, которую отпустил ей Господь.

За 30 лет, а если точнее, то даже за десять, поменялось буквально все. Мало того, что поменялось, в такой вошло раж перемен, что «лишнее» отменили вовсе. Помехой оказались вечные человеческие идеалы, мораль, культура, в том числе литература. Все, что осталось от них, доживает старыми соками, не получающими восполнения. Окончательно их не изгоняют лишь потому, что рассчитывают на естественное вымирание вместе со стариками. Вкусы огрубели, по слову Вампилова, «одичали». «Дичает» все: от любви и совести, которые превращены в плевательницы, до печатного русского слова, которое любят окунать в непотребство, до всего, куда ни кинь. «Отсталой» России дано странное «ускорение» – выскочить из себя.

В первую очередь изменился человек, даже внешне. Всегда будут споры, всегда найдутся люди, выигравшие от перемен, которые станут уверять, что «стало лучше».

Самый беспристрастный свидетель – человеческое лицо в толпе, на улице, лицо общего выражения и какого-то общего перекроя. Замкнутость объяснима: с разделением населения на богатых и бедных замкнутость лиц у одних от безысходности, у вторых от высокомерия: открытое лицо, блистающее радостью, которую непременно надо донести, не расплескав ни капли, до цели, лицо, ищущее родственности и дружеского общения, или утешения, или короткого приветного луча – ныне их почти не встретишь. Не встретишь ни в Москве, а ее Александр Вампилов знал и любил, ни в родном ему Иркутске, ни даже, думаю, на малой родине, где он выросал и которой года за два до смерти посвятил очерк «Прогулки по Кутулику». Лица настороженные, отчужденные, потерянные, больные от боли, пропитавшей сам воздух: глаза, если это не рыскающие глаза, обращены в себя. Все еще живы, должно быть, вампиловские и Сарафанов из «Старшего сына» (но он забыл давно о своей оратории «Все люди – братья»), и Валентина из «Прошлым летом в Чулимске» (только нет нужды ей восстанавливать палисадник по пути в чайную, потому что чулимскую чайную давно прибрал к рукам какой-нибудь кавказец с пламенным лицом и обнес ее каменной стеной). Валентину или Сарафанова можно еще узнать по лицам, замученным и всепрощающим, доброта не сошла с них, однако по ней они смотрятся теперь в России чужаками. Но никогда, никогда им не поверить, что так поспешно и бесславно может направиться человеческий путь в никуда, в бессмысленное влечение по жизни. При встрече они узнают друг друга и с виноватой улыбкой кивают. Сарафанов может спросить по своей святой простоте: «За кого голосовали?» – он интересуется политикой, продолжает верить, что от последней беды удастся избавиться голосами. Надежда Валентины выше, спокойней, в ее терпеливую женскую душу бесшумным родничком наплескивается природное, несовместимое с

лукавыми демократиями, – вера в то, что такое большое и великое, как Родина ее, такое сильное, проросшее глубоко в землю, поднявшееся в небо, нельзя так просто взять ни силой, ни обманом, а видимость скорой и полной победы лишь подтверждает, что этого быть не может. В десять лет взять Россию – да это все равно что спустить Ледовитый океан. Куда вы его спустите, чтобы не захлебнуться, не утонуть?! Убежденность Валентины не рассудочная, не подсчитанная перевесом в ее пользу и даже не высмотренная вокруг наблюдательными глазами, – Валентина родилась с нею, как девочка рождается с инстинктом материнства, и ощущает ее в себе органически. Нет нужды восстанавливать теперь палисадник перед чайной, но ломают сегодня гораздо большее, топчут гораздо более ценное; и она беспрестанно, изо дня в день, из месяца в месяц, не жалуясь, не возмущаясь и не хвалясь, отвечая потребности человеческой души, заделывает и заделывает, не опуская рук, проломы.

Жив-здоров, конечно, и Наконечников из последней неоконченной пьесы – как помните, парикмахер, кинувшийся искать счастья в драматургии. Не видать бы ему на новом поприще ни шиша, сломал бы недоступным ему занятием Наконечников жизнь и себе, и своей семье, поистер бы без всякого успеха театральные пороги и поистерся в зависти сам, как вдруг вместе с новой эпохой грянуло и новое искусство. Наконечников тут как тут. Не понадобилась для пьес и та грамота, которой учил его заезжий эстражник Эдуардов: «Справа пиши, кто говорит, слева – что говорит». Говорить стало не обязательно, пошлость, грубость, цинизм, издевательство, бесстыдство имеют свой язык междометий и жестов. На сцену вырвалась жизнь ночных кабаре и грязных пивнушек: актеры, имевшие имена, принялись старательно их замазывать. Известно: каковы пьесы – таковы и актеры, профессия лицедейства как-то быстро их преображает во что попало. Вампилов

последней пьесой точно предвидел: вот кто сменит его в театре. Сменит его Наконечников, по велению эпохи ловко постигший мастерство, как брать свежего зрителя за чувствительные места. Два-три года, а может, все три-четыре, «творения» Наконечникова будут иметь исполнение, будут иметь даже некоторый успех среди публики особого сорта, правда, не достигший скандального, вождя автора, потому что в это сплошь скандальное время мало и на уши встать, чтобы переплюнуть соперников. Наконечников не станет знаменитым, имя его походит-походит среди любителей острых ощущений да и завянет: до последнего паскудства Наконечникову не даст дойти его деревенское происхождение.

Надо отдать должное Наконечникову: они же, природные корешки, подскажут ему, что искусство можно оттеснить групповым мнением, какой-нибудь новой машиной, вырабатывающей удовольствия, можно под это удовольствие сдавать подмости театров и страницы книг, но отменить искусство нельзя. Потому и беснуются в беспокорстве и страхе в чужом доме гонители его, потому и торопятся загадить и обезобразить дом, что не могут не чувствовать: спокойным судьей оно стоит рядом, метя каналы, и собирает силы для возвращения. Искусство только гонят революционно, по-разбойничьи, возвращается же оно всегда спокойно, по-хозяйски берясь за уборку. В обществе раздается неслышный хор осиротевших душ, исподволь меняется тональность жизни, меняется даже шаг, которым ступают люди, и все отчетливее, все очевиднее проступают безобразные черты самозванства. Вглядевшись однажды в поредевший зал, который придет на его пьесу, Наконечников вдруг услышит колокольчик особого звона и поймет, что все они в театре чужие – и зрители, и он, и актеры, игравшие его несусветную чушь. «Надо уходить», – решит он и на следующий же день отправится искать место то ли импресарио, то ли администратора. Он

нашкодил в сравнении с другими меньше, и место ему дадут, только если не скроет он свое русское происхождение, не самого администратора, а зама. Когда вернется в театр Вампилов, Наконечников бросится встречать его с распростертыми объятиями и будет отчасти искренен: дурное дело к душевному спокойствию не располагает.

Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что Вампилов возвращается в театр. «Возвращается» нуждается в уточнении. Были театры, которые и среди погрома, устроенного искусству, не отказывались от Вампилова, прекрасно понимая, что без него, без Розова из современников, без Островского, Сухова-Кобылина, Чехова, Горького театр покосится так, что потом потребуются десятилетия, чтобы выправить. В эти «окаянные дни», составляющие настоящее, репертуар никто не насаждал, каждый ставил что хотел. Никто не насаждал, кроме общественного вкуса, а он был категоричней, чем резолюции старого министерства. Никто не заставлял драматургов писать гадости, никто силой не раздевал актеров перед выходом на сцену донага, но попробуй не раздеться, попробуй без изгаживания, если – принято, если Ульянов, Лавров и Мордюкова, народные и любимые, вместе с Захаровым и Виктюком говорят: надо! Кому охота прослыть отсталым и нецивилизованным. «Кто там шагает правой?!» И – быстренько подбирать шаг, еще быстрее, чем в гулаговской колонне.

Вампилова ставили, но мало, и он сам чувствовал себя неуютно на сводной афише в пестрой и чаще разнuzданной компании. Он должен был страдать еще больше, чем если бы не ставили, когда в его замысел вмешивался режиссерский умысел, уничтожавший пьесу. Всякое бывало и бывает еще на Руси, потерявшей свое лицо.

Надо и еще в одном оговориться: ставить так, как в десятилетие после смерти – «пожаром» по всей России, «искрами» едва ли не по всему миру, Вампилова никогда уже не будет. Он вошел в тот строгий и неразменный

ряд авторов, на которых мода не посягает и которые вместе составляют самое мощное и надежное укрепление в ценностном порядке Родины. В нашем литературном ландшафте они представляют горную часть, до них нужно подняться, чтобы пригласить в театр или книгу, иметь для подъема талант и силы, чистые помыслы и некое неразгаданное соответствие им, высаящимся впереди, некую духовную дружественность; они спускаться вниз на развязные приятельские оклики не будут.

Александр Вампилов в этом горном пейзаже новое образование, не ставшее монументальным, все еще сохраняющее тепло нашей совместной жизни и трудов на земле. Но по окончательности судьбы, по совершенству оставленного им звука и по признанию живых и вечных, физически и духовно далеко отодвинувшийся от нас. К нему теперь следует обращаться как к авторитету, сделавшему там, в надмирности, какие-то важные дополнения в своих сочинениях. Все слова на месте, а смысловая нагрузка уточнилась, главное проступило крупным шрифтом и нуждается в новом чтении.

Все написанное им надо принимать теперь *оттуда*: тридцать лет – срок более чем достаточный, чтобы определилось заслуженное им место. *Оттуда* – с места вечного хранения, где слово, точно пройдя специальную обработку, не ветшает и от прикосновения к нему излучает таинственный, звенящий свет.

* * *

А между тем слово самое обыкновенное. Это тайна Вампилова: почему его обыкновенность так необыкновенна? Он весь обыкновенен – и в слове, в котором не чувствуется усилий, точно оно само растет, и в свободном, без напряжения, ходе мысли, и в выводах ее, и в галерее героев, каких-то все потертых на свой манер провинцией,

без больших запросов и большого воодушевления. Комедии требовали стечения необыкновенных обстоятельств, анекдотических историй, но и они как бы из второго ряда. Уже было, и не однажды, что герой выдает себя за другого, как Бусыгин в «Старшем сыне», или его принимают за другого, как Потапова в «Истории с метранпажем». Не знаю, было ли что-нибудь похожее на историю из «Двадцати минут с ангелом», когда на крик из окна гостиницы в улицу дать денег деньги незамедлительно приносят, но по ощущениям и этот случай недалеко находился. Вампилова мало беспокоило, было или не было, далеко или недалеко лежит то, что он брал за сюжетную очерченность, он извлекал из него другие корни. Он словно бы нарочито брал похожесть, чтобы быть совершенно непохожим.

Он мог одни и те же фразы, очень заметные (к примеру, «это вопрос обоюдоострый»), вручать разным героям, правда, сходственным по характеру, имеющим право на их произношение, пожилые женщины с тяжелой судьбой (Хороших в «Прошлым летом в Чулимске», Васюта в «Двадцати минутах с ангелом») носят у него имя Анна Васильевна, соответственное характерам и судьбам, но ведь можно было найти и еще одно соответственное... У Вампилова нет ни одного случайного имени, его герои живут под именами как под генетической крышей (о Зилове напрашивается целый трактат, почему он Зилов, а не кто другой), поэтому по забывчивости Анна Васильевна явиться не могла. Просто слепился человек во плоти и крови, и тут же к нему по фигуре слетело имя, а автор мешать не стал. Пушкин в «Онегине» объяснился по этому поводу:

...Пришел Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.

Но обыкновенное, не производящее «ударного», мгновенного впечатления, не есть у Вампилова недостаточное, элементарное, не берущее за душу. За душу-то как раз берет, но не порывом, а какой-то сладкой мукой, напитываясь постепенно, с мягким эстетическим колдовством. Обыкновенное у него – свойственное, соразмерное таланту и вкусу, выстроенное незатейливо и красиво. И вот вы входите в эту комнату, называемую пьесой, – ничего удивительного, но отчего так уютно и аккуратно в ней, если даже только что здесь били посуду и трясли друг друга за грудки? Отчего не хочется уходить из семьи Сарафановых, отчего чулимская чайная, где разбиты, можно сказать, все сердца, каким-то чудом приносит утешение, почему жаль расставаться и с Зиловым, все сделавшим для того, чтобы от него в страхе бежать? Почему? Где то потайное, волшебное окно, в которое наносит облегчающий свет?

Да, конечно, в комнате рядом с другими, составляющими окружение, живут или Валентина, или Ирина, приехавшая в город из тех же заповедных мест, где находится Чулимск, или Сарафанов, или агроном Хомутов, добрейшие души, и тоже незатейливые, наивные, бесхитростные, по малому числу своему словно бы отставшие от какого-то другого мира, который не состоялся, заблудившиеся среди нас... Но нет – они-то и есть центр всего происходящего, они-то и есть хозяева комнаты. Напрасно Зилов кричит об Ирине, уязвленный, пожалуй, даже испуганный твердой ее чистотой, нарушающей новый нравственный порядок жизни: «Она такая же дрянь, точно такая же. А нет – так будет дрянью» – не будет. Эти люди, которых мы за редкую самосбереженность готовы принимать за юродивых, составляются особыми частицами, подобно тому, как в природе рождаются драгоценные минералы. В теперешней литературе принято насмехаться над ними, брать в герои только для того, чтобы показать полную их несостоятельность, но для Вампилова они – удерживающее начало жизни, и он пи-

шет их, любуясь, радуясь им, относясь к ним с нежностью и необыкновенным почитанием. Чтобы дать героям такой свет, нужно и самому быть освещенным.

«– Зачем ты это делаешь? – спрашивает Валентину Шаманов («Прошлым летом в Чулимске»).

Валентина: Вы про палисадник? Зачем я его чиню?

Шаманов: Да, зачем?

Валентина: Я чиню палисадник для того, чтобы он был целый.

Шаманов: А мне кажется, что ты чинишь палисадник для того, чтобы его ломали.

Валентина: Я чиню его, чтобы он был целый.

Шаманов: Зачем, Валентина? Стоит кому-нибудь пройти и...

Валентина: И пускай. Я почию его снова.

«Зачем ты пишешь их? – можно было бы с таким же недоумением спросить у Вампилова. – Жизнь жестока, и люди не готовы жить по заповеданным им христианским законам. Их сломают, твои прекраснотушные создания. Посмотри, что делается вокруг.» – «А я все равно буду писать их», – подобно Валентине отвечает Вампилов.

По его признанию, сделанному в свое время автору этих строк, несколько дней он чувствовал себя скверно, когда в первой редакции пьесы намеревался привести Валентину к самоубийству после свершенного над нею насилия. Скверно потому, что позволил себе усомниться в своей героине, поверить, что да, сломали. А она отказалась от такого конца, решительно отказалась и еще до того, как автор в раздумье подвинул к себе последнюю страницу, пошла восстанавливать палисадник. Он же испытал стыд, мучительный и счастливый, будто это живая душа, дочь родная, по заложенному в нее им же зерну преподала ему урок мудрости.

Отказался стреляться и Зилов, уже по другим мотивам. В этом случае переговоры с автором, надо полагать,

были сложнее. По законам театра предъявленное зрителю ружье должно было выстрелить, а душу свою герой увязил в грязи. У Зилова мог быть только один серьезный довод: «Ты не написал меня отпетым, никчемным и пропащим человеком, о котором, как об отце братьев Карамазовых, спрашивается вопрос: “Зачем живет такой человек?” Ты дал мне ум, совсем не злой, дал способности и обаяние, позволь мне положиться на них». Оставить героя без милости, взять и убрать его во имя того, чтобы зритель вздрогнул, Вампилов не решился: что ни говорите, а законы жизни важнее законов искусства. По законам искусства справедливо было бы и то и другое – и жить Зилову, и не жить, в такое «пиковое» он поставил себя положение, но, пользуясь верховным своим правом, автор позволил ему сделать более подходящий для морали выбор.

Критики, принимающие Зилова за положительно-го героя, думаю, меряют его на свой аршин, а аршин этот скроен с заведомой поправкой на покосившуюся действительность. Если поместить Зилова в сегодняшний мир, переполненный масштабными негодьями, рядом с ними он в самом деле сойдет за приличную личность. Потому Зилов и непредставим в нынешнем шнырянье одних за куском хлеба, других за куском золота. У него есть гордость. Но у него не осталось в сердце ни любви, ни святости, а это по старым меркам ценилось не слишком дорого. Нерядовая личность, спустившая себя по мелочи, по пустякам. Ссылки на атмосферу, в которой жил Зилов и которая калечила человека, малосерьезны: назовите в современном мире атмосферу, где бы не калечился человек. Валентину не покалечила, Сарафанова тоже. Это говорится не в оправдание старой атмосферы, она, разумеется, могла быть лучше, а во имя беспристрастного удостоверения личности нашего героя, вызывающего споры.

Особенность души и таланта Александра Вампилова в том, что ни над кем из своих персонажей он не произносит

последнего приговора. Неверные жены в его комедиях, расчётливые и шумные, вместе с «альфонсами», находящимися у них на содержании, недалекие и честолюбивые мужья, самоотверженные гуляки из командированных, остающиеся без копейки, все они, вольные и невольные слуги греха, — не подсудимые, а выставленные на всеобщее обозрение для публичного прощения. Удивительное перо у сатирика — лирическое, осторожное, бережное, чтобы не навредить ни одному из героев, каким бы он ни был, опекающее до последней сцены и отпускающее с миром: идите, живите и обходите, если сумеете, зло. Ступайте с Богом.

В пьесах Вампилова жизнь бьет полной мерой: там могут и скандалить, и смертельно шутить, и врать направо, и не отказывать себе в насилии по отношению к другим, и истово любить... Но то героини... Автор же нигде и никогда не позволит себе грубого слова. Это не одно и то же — интонация автора и интонация героев. Собственное слово автора, надстоящее над речью его героев, его позицию, «коридор» его жизни в пьесе читатель и зритель интуитивно различают, чаще всего не задумываясь об этом. Вот тут говорит автор, тут герой передает его слова, а тут его роль шире. Герою позволяется лгать, а литературному произведению грубить или лгать воспрещается. Сегодняшнее вызывающее бесстыдство литературы не в счет, оно пройдет, как только читатель потребует к себе уважения.

Вампилов нигде не скажет грубого слова, ни за что не позволит себе сорваться и крикнуть. Это выдержанность чрезвычайно порядочного, умного и доброго мастера, человека, устроенного гармонично и музыкально. Остались воспоминания его друзей о том, как он любил и знал музыку, как и сам играл в оркестрах, как пел песни под гитару. Его музыкальность хорошо видна в письме. Он ведет рассказ с редкой чуткостью к каждому, даже незначительному персонажу, фраза его, чуть ироничная или пусть не чуть ироничная, всегда остается мягкой, серьез-

ное и смешное в ней переливаются, сопровождая жизнь, которая несет утешение.

Ценность всякой литературной работы зависит от того, легче стало от нее человеку или нет. Легче – это устроенней, упорядоченней, разумней. Легче – когда прибывают силы. Силы, силы, веры, веры – вот что больше всего требуется сегодня человеку, чтобы противостоять отчаянию и злу. Талант Вампилова, непритязательный и негромкий, но удивительно глубокий, естественный и обширный, есть собрание, подобно пчелиному труду, разлитой в миру душевности и чистоты. Возле Вампилова теплее, добрее. Этим теплом греются до сих пор все, кто близко знал Александра Вампилова, оно исходит от его книг, у которых, слава Богу, опять находятся издатели, и оно же дышит со сцены вампиловского театра, начинающего новую жизнь, в которой не будет старения.

2002

ЕГО СОТВОРЕННОЕ ПОЛЕ

О Федоре Абрамове

Я не могу похвалиться, что хорошо знал Федора Александровича. Чаще всего наши встречи происходили в Москве во время писательских пленумов и съездов, однажды я был гостем у него в Ленинграде. Меня не оказалось, к сожалению, в Иркутске, когда приезжал туда Абрамов, и это в особенности обидно: так хотелось походить с ним по нашему городу, показать и послушать. Его взгляд на вещи был точный, много раз приходилось в этом убеждаться, и он, чтобы сказать правду, не стеснялся положением гостя. Позднее, вспоминая об Иркутске, он упрекал меня:

– Что ж распустили вы там своих перестройщиков? Они рады все перестроить, все с ног на голову. Красивый город, и – портят. Что ты мне о вкусе! Дело не во вкусе. Есть

люди, которые заинтересованы, чтобы мы с тобой, живя в России, остались без России. Чтобы она у нас потихоньку да помаленьку уходила из-под ног. Эх!.. Когда поумнеем?!

На съезде мы и познакомились. Раньше книжные распродажи бывали там, где открывался съезд, – в Кремле. Пытаясь продраться к столам с книгами, я в людской толчее лицом к лицу столкнулся с Федором Александровичем, вытирающим с пустыми руками обратно. Мы столкнулись, и Абрамов, как давно знакомому, вдруг сказал:

– За чем так бьешься? Без чего жить не можешь?

Я засмеялся, счастливый от такого внимания и все же на всякий случай всматриваясь, действительно ли это Абрамов, и стал разворачиваться обратно. Помню, мы прошли в конец книжных рядов, где писательский люд был реже, и купили по «Энциклопедии домашнего хозяйства».

– Вот это нам и надо. Все остальное напишем сами. Что пишешь-то? – говорил Федор Александрович сквозь препятствия, когда едва ли не каждый третий тянулся к нему поздороваться.

Прежде я не был знаком с Абрамовым, но примерно за год до того мы обменялись письмами. Первым, прочитав мою книжечку, написал Федор Александрович. Немного, но тепло, одобрительно, как-то так, что даже и замечания мне, никому тогда не известному молодому писателю, казались похвалой. До самых последних дней он находил время читать молодых и писать им, когда ему нравилась книга. Как, из каких запасов выкраивал он для этого часы, я теперь не пойму, у меня это получается плохо. Недавно, разговорившись с новосибирцем Николаем Самохиным, я узнал, что и у него есть письма от Федора Александровича: вот так же случайно наткнулся на рассказ, увидел в авторе писателя и тут же, не откладывая на потом, как это было со мной, отозвался двумя страничками, способными окрылить кого угодно. Еще бы! – сам Абрамов заметил и благословил. Он да еще Василь Быков никогда не гнуша-

лись свой огромный писательский авторитет опускать до маленького, казалось бы, дела – до незапрашиваемого отзыва и читательского порыва. Много раз и у меня, и при мне он спрашивал: есть молодые? есть молодые? – для него было чрезвычайно важно, в чьи руки после нас попадет литература, которая в великих мучениях, в том числе и в его мучениях, снова соединилась с совестью и правдой.

О мучениях. Однажды я спросил у Абрамова, насколько трудно было в ту пору, когда литература еще считалась уделом сочинительства, писать «Вокруг да около». Он ответил (не буду ставить его слова прямой речью, потому что могу ругаться лишь за смысл, но не за порядок слов), что писать правду всегда легче, чем неправду; труднее печатать ее. Но и напечатать – не самое сложное, труднее же всего, когда свой брат писатель и читатель, выросший на фигурах умолчания и красивых заменах, отвыкший от полной правды, считает ее не подходящим для искусства, неэластичным материалом, который грубостью и прямолинейностью губит форму и не производит должного впечатления. На 50-летию Василия Белова в Вологде в 1982 году Федора Александровича не было, он тогда болел, но помню, как в одной из приехавших на юбилей групп, состоящей из московских гурманов, заявлено было, что Абрамов своим известным письмом к односельчанам оклеветал русский народ. Великая боль от зла равнодушия и бесхозности земли принята была за действие во зло. Как будто можно оклеветать народ! Как будто писателю, если бы даже он задался подобной целью, это по зубам! Меня возмутили не тон и не формулировка, даже не присвоенное право говорить от имени народа, все это в бытке всегда водилось и не переведется, но то, как высоко поднялось это патронажное мнение: на юбилей к Василию Белову случайные люди попасть не могли. Позднее в других, не менее авторитетных устах, я слышал его и в адрес Юрия Бондарева, и в адрес Виктора Астафьева но

поводу «Игры» и «Печального детектива», и всякий раз, когда с непререкаемостью высшего судьи произносилось это «оскорбление интеллигенции», «оскорбление народа», всякий раз вспоминал я слова Федора Александровича о том, что правде, входящей в литературный салон, где любят толковать о правде, обидней всего быть неузнанной.

Во время того же съезда, когда я познакомился с Абрамовым, спускаюсь я в магазинчик в гостинице «Россия» – навстречу Федор Александрович с новенькой пишущей машинкой. К той поре я свою машинку расколотил так, что вместо кириллицы она стала выбивать латынь, и при виде желанного инструмента обрадовался:

– Продают?

Абрамов, приостановившись, хмыкнул:

– А у тебя талон есть?

– Какой талон?

– Талон надо было взять в правлении. Не взял?

– Не взял. Не знал. Попрошу – может, дадут по писательскому билету.

– Не дадут. – Он вдруг взял мою руку и вставил в нее ручку от машинки. – Бери. У меня есть.

Я пробовал отказываться, протестовать – не тут-то было. Федор Александрович так глянул на меня (а когда он сердился и взглядывал исподлобья, сразу становился выше любого при своем небольшом росте), что я сдался и принялся бормотать благодарности. Вправду, получить такой подарок от Абрамова было, конечно, лестно.

– Бери, бери, пользуйся. Машинка в нашем ремесле не главное, но и без машинки нельзя.

И до сих пор жива у меня и служит немецкая «Эрика», так неожиданно и счастливо доставшаяся от Федора Александровича.

Он любил, когда съезжались в Москве, собирать своих, кого выделял и кому доверял. Помню большой апартаментный номер в гостинице «Россия», заказанный в ресто-

ране ужин, среди гостей Феликс Кузнецов, Василий Белов, Борис Панкин. Абрамов и Белов только что схватывались в жестоком споре, схватывались по-северному цепко и горячо, еще не остыли, и Василий Белов торопливо набирает по телефону вологодский номер.

– Ольга, – сердито говорит он жене. – Приезжай. Скорей приезжай, меня тут Федор обижает. Какой-какой?! Абрамов. От него звоню, от Абрамова. И Людмила Владимировна здесь, привет тебе передает.

Абрамов исподлобья косит на Белова, и когда тот опускает трубку, не отстает:

– И Ольга тебе не поможет. Нет, брат, хватит шептаться по углам, вслух говорить надо.

– Я что – не говорю?! – взрывается опять Белов. – Я что, отмалчиваюсь?

– Громче говорить надо. Чтоб вся Россия слышала.

– Вот ты завтра подымешься и скажешь за всех нас.

– Я скажу. Но за себя ты сам должен говорить. Тебя любят, твое слово понесут.

– Я за столом говорю. А на трибуне не умею. Не люблю.

– Надо – сумеешь. А сейчас – надо. То, что ты скажешь, никто не скажет.

Когда Федор Александрович поднимался на трибуну, зал замирал. Во время его выступлений в фойе не оставалось, вероятно, ни одного человека, все возвращались на свои места, чтоб ни слова не пропустить из того, о чем нынче в первую очередь хлопочет совесть, что говорит правда. Я слушал Абрамова несколько раз, в том числе на 6-м и 7-м писательских съездах страны, – впечатление было очень сильное. Можно объяснить его, это впечатление, ораторским искусством, но, мне кажется, тут дело не в искусстве. Когда слово добывается кровью сердца, оно с кровью сердца и произносится. Истина, если ей к тому же нечасто удастся выйти в люди, сама найдет и голос, и тон, и температуру накаливания. У Абрамова к середине

выступления она достигала обжигающего действия, зал, устраивая овацию, просил дать ему перевести дыхание. Взмашистым, вырубаящим слова голосом Абрамов добивался максимального, абсолютного проникновения и победительности своей мысли.

Не стало Абрамова – и пошел к трибуне Василий Белов и продолжил то, на чем кончил в последний раз Федор Александрович. Когда нужно было сказать, он не оглядывался, кто рядом, свой или чужой: для хитрости, для полуправды требуются доверенные, правда годится для всех. Я был свидетелем, как один известный, очень известный писатель, обремененный, правда, высокой должностью, притворился пьяным, чтобы не участвовать в разговоре, который казался ему опасным. Федор Александрович прервался, удивившись, с чего бы тому опьянеть, догадался, что к чему, и не пожалел, довел разговор до конца.

Года за три до его кончины меня пригласили выступить в ленинградском Доме писателя. Федора Александровича на этой встрече не было, но ему, видимо, передали, о чем я говорил, потому что позднее, когда я пришел к нему в дом, с прищуром улыбаясь, спросил:

– Значит, чтобы цензура не цеплялась, писать надо хорошо? Так?

– Примерно так.

– Но для этого надо, чтоб цензура была умная, чтоб в ней Салтыковы-Щедрины и Тютчевы служили, которые бы радовались полновесному слову. Радовались, а не обнюхивали его, чем пахнет – своим или чужим. Нет, тут не так все просто. А писать надо хорошо, это верно. Писать всегда надо хорошо. Не для цензуры, а для литературы.

Как никто из нас, один из очень и очень немногих (тут рядом с Абрамовым можно поставить лишь В. Тендрякова), он не просто задавался трудными вопросами, но всегда доискивался до ответов. Доказательство тому роман «Дом», многие статьи и выступления. Это был худож-

ник и труженик проникающего, мускулистого ума, что чувствовалось даже и в разговорах. Вместе с ним говорить было трудно, он вел мысль как борозду, распахивая ее из глубины, выворачивая из-под слоя поверхностного и случайного, и, как всему, что достается в трудах, знал ей цену, умел добиться, чтобы его слушали.

Никакого сомнения: в том, что происходит теперь по возрождению русского поля в широком смысле, и его работа, в которой он себя не жалел, и его правда. Так и вижу: стоит, только что услышав радостную весть об окончательном прекращении работ по переброске рек, Федор Александрович посреди вновь распаханной запусти и говорит, обращаясь в родные просторы упрямо и уверенно: «А как иначе? Так и должно быть! Или мы не великий народ?!»

1987

СЛУЖБА ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

Я познакомился с Василием Ивановичем Беловым в 1970 году. В составе советско-болгарского клуба молодой творческой интеллигенции (был в то время такой клуб, созданный комсомолом и делавший чрезвычайно полезные дела, одно из которых и, пожалуй, главное – правильно ориентировать в искусстве и жизни и сводить вместе молодые русские таланты) – так вот, в составе этого клуба встретились мы в самолете, летевшем во Фрунзе, теперешний киргизский Бишкек, а там поселились в одном гостиничном номере. И этот день оказался днем рождения Василия Ивановича. Мы решили отметить его вдвоем и, чтобы не разглашать факт такого события, заперлись в номере. Но надолго ли хватит русского человека для сокрытия подобного факта – и уже часа через полтора дверь наша, как и душа Василия Ивановича, была нараспашку, а в номере стоял густой гвалт.

Почти все, что печаталось у Белова, я к тому времени знал. Прочитал и книжку рассказов под названием «За тремя волоками», и «Привычное дело», и «Плотницкие рассказы», и «Бухтины вологодские». Белова читала тогда вся Россия, не знать его считалось неприличным. И я, только-только начинавший писать, вчитывался в его страницы особенно внимательно, пытаюсь разгадать магию его слова.

«Деревенская литература», как мы помним, начиналась с публицистики В. Овечкина, А. Яшина, Г. Троепольского, Ф. Абрамова, Е. Дороша... Потом пошла проза тех же имен, да еще В. Тендрякова, Б. Можаева, В. Астафьева, необычайно богатая по слову, живая, полнокровная, народоносная, но и несколько суровая, как и сами авторы, за исключением, пожалуй, В. Астафьева, несколько «настоятельная». Василий Белов (еще Е. Носов и В. Лихоносков) внесли в нее чувствительность, нежность, особую душевность и сладость деревенской жизни. Сколь многие тысячи, уверен, миллионы не смогли сдержать сердобольных слез над судьбой Катерины и Ивана Африкановича, над участью коровы Рогули, такого же члена их большой, спянной природным единородством семьи, и сколь многие до слез смеялись над завиральными бухтинами Кузьмы Ивановича Барахвостова и над нешуточным соперничеством, пронесенным сквозь всю жизнь, Олеси Смолина и Авинера Козонкова. Благодушно и мудро с первых же своих работ Василий Белов как бы уравновесил жизнь: сколько в ней трудностей, горя, отчаяния, столько и радостей, счастья, надежды. Можно, конечно, задаться вопросом: где они, эти благодатные слезы над могилой Катерины и над рассказами Олеси Смолина, почему не дали они урожайные всходы, если в конечном итоге все свелось к тому, что мы сегодня имеем? И где оно, благотворное и учительное влияние литературы, если густой чащей взошли развращенность и жестокость? Да ведь не

нам знать, что случилось бы с людьми без этого учительства и без этой молитвы и можно ли сегодняшние нравы принимать за окончательный результат. Может быть, по-прежнему «нам не дано предугадать...».

За тридцать с лишним лет нашей с Василием Ивановичем дружбы и однополчанства в литературе я только все более убеждался в том, что удалось увидеть и разгадать в нем с первых же встреч. Чистую, почти детскую душу, для которой мир и его обитатели не могли сноситься, как у иных, до ветхости (качество для писателя бесценное), – душу, которую он точно бы и сам стесняется в своем почтенном возрасте, маскирует ее в строгость и ворчание и никак не может замаскировать. И неизменную цепкость в наблюдениях над всем происходящим, неиссякаемый интерес к большому и малому вокруг, желание участвовать в событиях, вмешиваться во все, что происходит не по чести и совести. Неистовость в работе, способность быть хозяином времени с помощью жесткого распорядка, талант, помимо художественного, вовремя увидеть главное и выстроить свое «собрание сочинений» в точном соответствии с импульсами духовной и социальной судьбы народа. И справедливое, нисколько не завышенное, но и нисколько не заниженное ощущение своей особливости и значимости, способность распорядиться славой не для себя, а для общего дела.

Я бывал у Василия Ивановича в Тимонихе и видел, с каким почтением и с какой любовью относятся к нему земляки, с которыми он знакомил меня, как радетельный староста, в чьем распоряжении оказались хозяйственные и личные заботы односельчан. Я бывал в Тимонихе, а он дважды приезжал ко мне на Байкал и, уже защитив свои северные реки от поворота на юг, помогал защищать и наше «славное море». В Югославии перед поездкой из Пале от Радована Караджича в Сербскую Краину нас предупредили, что дорога опасна и проходит она через линию фронта,

но Белов только еще упрямей сдвинул брови: поедем. За городом Брчко, обезлюдившим и затянутым дымом пожарами, по нашему микроавтобусу принялись лупить с обеих сторон, со стороны хорватов и со стороны мусульман, а у Василия Ивановича загорелись от возбуждения глаза, когда шофер, маневрируя, то резко тормозил, когда нас брали «в вилку», то бросал вперед машину на огромной скорости. В 1989-м мы сознательно пошли в народные депутаты, чтобы не оставаться сторонними наблюдателями того, как «перестроечную» страну терзают обнаглевшие «ястребы» и «крысы», а Василий Иванович пошел еще и в Верховный совет. Дважды мы вместе напрашивались на прием к Горбачеву, надеясь добиться ответа, что происходит, и Василий Иванович всякий раз прихватывал с собой с просветительской целью малоизвестные тогда книги Ивана Ильина и Ивана Солоневича. Наивные люди, мы еще питали надежду, что подобных-то знаний, вероятно, не хватает президенту, чтобы разобраться, куда править и с кем водить дружбу. Входя первым, выталкивая перед собой массивную тяжелую дверь, Белов сердито говорил Горбачеву: «Что это у вас дверь такая тугая?»

В 91-м, в начале сентября, он сказал в телекамеру, когда рассчитывали застать его растерянным и испуганным: «Сожалею, что моей подписи не оказалось под “Письмом к народу”. Я и сейчас готов его подписать».

Писательство для Василия Белова – это заступничество за народ перед сильными мира сего и против подлых этого мира. Все, что написано Василием Ивановичем – от «Привычного дела» до «Канунов» и от детских рассказов до публицистики последнего десятилетия, от первой книжки стихов и до воспоминаний о Шукшине и Гаврилине, с которыми он был очень дружен, – все в воспитание, остережение и защиту своего народа. Иной службы для себя Василий Белов не знает.

2002

С ЛЮБОВЬЮ И ВИНОЙ*

О Владимире Крупине

Проза Владимира Крупина – это нечто особое в нашей литературе, нечто выдающееся и на удивление простое.

Литература – процесс живой и, как все живое, имеет не только свои законы, но и свои привычки. При всей широкоохватности прозы разных направлений и жанров, разных манер и стилей она выдержана или близка к тому, чтобы быть выдержанной в классическом духе, в некотором смысле консервативна и для раскрытия характера, обрисовки пейзажа и сюжетного движения пользуется, в сущности, одними и теми же приемами. Она описательна – в том понятии, что слово ее имеет подготовленное значение и место и ритмически и художественно существует в ровных горизонтах, без резких подъемов и понижений. Литературное, описательное слово точно сцементировано в общем ряду и малоподвижно, его магия достигается общим рядом и общим настроением. Устное слово в тех же, предположим, фольклорных записях стоит свободно – не стоит, а постоянно двигается, выглядывает из ряда и имеет более самостоятельное значение.

Владимир Крупин соединил в себе обе манеры – и письменную и устную, в его прозе очень сильный рассказывательский элемент. Впечатление такое, что письмо ему дается легко: сел за стол и, рассказывая предполагаемым слушателям о том, как он ездил на свою родину или на родину друга, сам за собой записывает и едва успевает записывать события в той последовательности и подробностях, как они происходили. Но рассказывает и записывает сосредоточенно, живописно и эмоционально, не теряя за живостью и непосредственностью строгости и художественности. А это значит, что кажущаяся легкость слова на самом деле дости-

* Предисловие к книге Владимира Крупина «Дорога домой».

гается непросто, в тех же мучительных поисках, как и для всякого писателя, относящегося к слову с уважением. Это значит также, что оно, слово, встав в письменный ряд и приняв его правила, каким-то образом умеет сохранить и волю ряда устного, что оно становится шире и уверенней. В художественной литературе очень важно, чтобы слово стояло радостно, опытный читатель всегда увидит эту радость от точного употребления и желанной работы, – так оно чаще всего у Крупина и есть.

Расстояние между читателем и писателем в книге – вещь реальная, и зависит оно от того, с каким сердцем, остывшим или участливым и болящим, пишется книга, насколько согрета она теплом авторских затрат. Холодное, пусть и исполненное на высоком профессиональном уровне, произведение читается с душевным насилием, и это, как правило, «умственное» чтение, в нас говорит не потребность, а упрямство добраться до цели, чтобы облегченно вздохнуть над своим подвигом. В этом смысле Владимир Крупин необычайно близок к читателю, и достигается подобная близость, соседствующая с прямым общением, редкой откровенностью и открытостью, живой обращенностью к столь же заинтересованному в их общем деле человеку. Пишет ли он от первого или от третьего лица, его герой весь на виду и ничего в себе не умеет скрывать, для Владимира Крупина личность не в том, чтобы уйти в себя, а в том, чтобы бескорыстно прийти к людям.

Одно из самых известных и замечательных произведений Крупина – повесть «Живая вода». Главный герой ее – философствующий в простоте своего неизысканного ума Кирпиков. Простолюдин дальше некуда, лыком шитый, должно быть, от первого до последнего поколения, он тем не менее в поселковой среде личность заметная, во-первых, благодаря своему самостоятельному уму и, во-вторых, благодаря «форме» собственности: Кирпиков – хозяин единственного в поселке мерина. Лошадей вывели,

а огороды по весне пахать надо, хочешь не хочешь, а кланяйся Кирпикову. Что же делать?

Мир опрощается в жуликоватое и мутноватое скопище. А Кирпиков честен, трудолюбив, он отвоевал Великую Отечественную, вырастил детей. «О, не одно европейское государство разместилось бы на поле, вспаханном Кирпиковым, какой альпинист взобрался бы на стог сена и соломы, наметанный Кирпиковым, какой деревянный город можно было выстроить из бревен, им заготовленных...» Он прожил свою жизнь не просто молекулой, вошедшей в народное тело, он был выше и прожил ее личностью. Правда, личностью изгибистой, с причудами во имя самоутверждения, подобно шукшинским героям, и с приступами «русской болезни» во имя самоутешения, но как мало это «само» в сравнении с «общее», с тем, что делалось для страны и ее вечности! Но вот и старость не опоздала, дети разъехались, фронтовые доблести, как лебедой, выросли быльем, и все чаще задумывается Кирпиков о смысле жизни, о том, зачем он жил и мог ли бы мир обойтись без него. Примитивная философия, на взгляд профессоров, но ведь это неотменимо главные вопросы жизни, они тем серьезней и страшнее, чем простодушней звучат. Нет, не так наивен этот «мыслитель», в шестьдесят с лишним лет взявшийся заглядывать в старые школьные учебники и для каждого нового открытия готовящий себя причудливой аскезой. Недолго же ему представлялось, что «люди еще не доросли до моего понимания»: он ошущью, чутьем шел к осознанию истин Христовых и не мог не гордиться своими победами; наступили, однако, дни, когда пришлось убеждаться, что мир сознательно установился на основания их непонимания.

«О бедный Кирпиков!» – хотелось воскликнуть вслед этому герою, потерпевшему крушение в своих упованиях сначала на чудо нравственного воскрешения человека, а затем и на чудо «живой воды», хлынувшей из-под земли

и способной излечить от физических и духовных недугов. «О счастливый Кирпиков!» – можно воскликнуть сегодня, спустя два, три десятилетия после его поисков смысла жизни. Сегодня, когда все трудней отвечать на вопросы о смысле существования человечества в целом.

Но об этом, о потерях и опорах теперешней жизни, вторая повесть с нарочито обнаженным названием «Люби меня, как я тебя».

В меняющемся с возрастом человеке меняется и художник. Меняется, даже оставаясь сам собою в воззрениях и в письме. Душа иная. Ничто так точно и полно не говорит о человеке и уж тем более о писателе, как душа. В истинном творце через душу проходит каждое слово; не в чернильницу макается его перо, а в душу. Уж она-то без утайки скажет и о таланте его, и о вере, и о намерениях, с какими садится он за письменный стол, и об отношении к родной земле и родному человеку, на этой земле живущему... И то, что духовно добрал Владимир Крупин ко времени второй повести, освещает ее иным светом – прошедшим через более полную истину, чем она была у Кирпикова, но и более тревожным, ибо мир дошел до последнего бунта, направленного против себя же. Но жить по истине надо. Или уж не жить. Этот выбор перед нашей бедной и прекрасной Родиной стоит с такой неизбежностью, что порой становится страшно.

Молодой читатель этой книги найдет в ней и рассказы Владимира Крупина. Он прекрасный рассказчик, то остроумный, веселый, «вакхический», то серьезный, ведущий действие неспешно и основательно, то «документальный», для которого случай жизни, дополненный воображением, превращается в случай литературы.

Детство, юность... Детство в рассказах Владимира Крупина счастливо прежде всего кругом, составляющим родную землю, – природой, общением с «меньшими

братьями», первыми трудами и заботами, первыми трудностями и постоянной радостью каждый день быть среди родного. Доброта вкладывается в душу ребенка не столько словом и напутствием, сколько окружением и обстановкой, их целостностью и крепостью – духовной и моральной крепостью семьи и физическим сбережением земли. Одно дело – открывать мир, поднявшись в вырубленную рядом с деревней вековую рошу, и видеть вокруг за сведенными лесами оголенные и смещенные просторы, потерявшие тайну и притягательность, и совсем другое мечтать о взрослости, о путешествиях и подвигах из середины заботливо сохраняемого отчего края. Потерянные дети, из которых вырастают дурные люди, привыкшие к разорению как норме жизни, – это еще и результат дурного хозяйствования, когда прошлое и будущее не имеют ни цены, ни значения.

В поэзии детства звучит здесь серьезное, без всякого умаления, уважение к детству, воспоминание о нем как о чистых и добрых наших началах.

Юность... Больше всего в этой романтической поре, когда молодой человек захлебывается от ощущений и возможностей жизни, когда он осознает себя силой и в упоении от первой самостоятельности, – больше всего автора волнует в таком молодом человеке структура его души, лад между физическим и духовным. В юности нам является уже осуществившаяся в основных своих чертах личность. Конечно, недостаточно окрепшая и во взглядах не совсем утвердившаяся, жадно вбирающая в себя впечатления и настроения, но уже точно направленная к тому, чем ей в конце концов быть. Автор не поучает, помня, что юность не терпит поучений, но мягко и неназойливо, почти незаметно для читателя подводит к основам человеческого бытия – к отзывчивости, самоотверженности, любви к ближнему и выражению себя в открытых поступках,

к постепенному осознанию конечной истины; для подлинной свободы и счастья, для утешительного существования человеку необходимо больше отдавать, чем брать. Юность во всем ищет новизны и открытий; оставляя за ней право на внешнюю, физическую новизну, расширяющую мир чувств и познания, автор опять-таки негромко напоминает, что главные открытия ждут человека в себе самом, в самопознании, в углублении своего внутреннего, духовного мира, который огромен не менее, чем мир внешний. Нет ничего трагичней и невосполнимей для каждого из нас, как пройти мимо себя, изжить себя в стороне от себя, не осуществить себя в той красоте, которая уготована человеку рождением. Каждое поколение рассчитывает на свою особую миссию в мире; нет нужды говорить, хорошо это или плохо, но каждое поколение, в свою очередь, должно быть готово к разочарованиям: всякий порядок не так просто поддается изменению. Быть может, самое важное в теперешнем положении вещей в свете – духовное восстановление человека как на старых, так и на новых началах, органическое и полезное их совмещение.

Не знаю никого из авторов второй половины XX столетия, кто бы так мастерски обращался с фактом, с тем, что происходит ежедневно, превращая его с помощью ему одному доступных средств в совершенные формы. Одно из двух: или с писателем Крупиным постоянно что-то происходит интересное, едва не на каждом шагу встречаются ему личности-самородки, или писатель Крупин настолько интересен сам, что способен преобразить в откровение любое рядовое событие. Важней чистого воображения для него – преобразование материала, его пересказ на свой, ни с чем не сравнимый лад.

И в письме его ни с кем не перепутать. Это какая-то особая манера повествования – живая, даже бойкая, яркая, воодушевленная, образная, в которой русский язык

«играет», как порою весело и азартно «играет» преломляющееся в облаках солнце. Для читателя это езда по тряской, но очень живописной и занимательной дороге, где и посмеешься, и попечалишься, и налюбуйешься, так что никаких неудобств от езды не заметишь и с огорчением обнаружишь, что путешествие закончено. Одно закончено, но ведь впереди еще следующие.

Воистину: жизнь на вятской земле, откуда родом писатель, была трудной, но до чего же плодотворной! Она и нигде в России не была легкой, вот почему у нас воссияла самая лучшая в мире литература. Трудная – из трудов состоящая, обучающая, оставляющая полновесный след человека на земле.

1987

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ...*

Ну что, казалось бы, для современного человека, все на свете знающего и едва ли не обо всем по-научному судящего, ну что ему эти сказки с их наивными и, на теперешний взгляд, устаревшими представлениями о добре и зле, о правде и кривде, с допотопными фигурами Змея Горыныча, Бабы-Яги и Ивана-Царевича, с упрощенной моралью и пресно-фантастическими историями. Когда-то это представлялось, наверное, и хитро, и умно, и свежо, и поучительно, но с тех пор все смешалось на земле людей, все сместилось и сдвинулось: зло с успехом выдает себя за добро, Змей Горыныч перерядился в Ивана-Царевича, а повседневная жизнь на каждом шагу преподносит такие нравственные задачи, в которых не разобраться и с самым высшим образованием. Сказка как бы поникла перед все-

* Предисловие к книге В. Зиновьева «Русские сказки Забайкалья».

возможными чудесами и сложностями нынешней жизни и должна лишь вызывать снисходительную усмешку просвещенного человека.

Должна? Если человек не превратился полностью в свою противоположность, не потерял душу – нет, не должна.

Мы раздвигаем глубинные границы материального, физического мира, а нравственность наша в своих основаниях остается неизменной, и основания эти высказаны давным-давно, нам остается лишь следовать им. Человек, чтобы доказать себе, что в течение веков он преуспел в духовной мысли, говорит теперь столь мудрено и с такими огородами, что в его построениях сам черт ногу сломит, однако если удастся, набравшись терпения и умения, добраться до смысла, то оказывается, что этот смысл прост и живет в народе с незапамятных времен. Вот почему маститый ученый, преодолев внешнюю, формальную ученость, нередко к концу жизни начинает размышлять теми же самыми понятиями, что и безграмотная деревенская старуха. Язык может быть иной, но суть размышлений та же, и это возвращение «блудного сына» в человековедческую материнскую мысль тем замечательней и примечательней, что оно наступает после искусительного опыта. В конце концов, мысли, как и любому делу, важен результат – то, как ей внимают и как ее понимают.

«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

И урок немалый, высказанный поэтически и просто в надежде на столь же поэтическую и бесхитростную душу, способную по-детски чувствовать и полниться, забыв про просвещенный ум, и от чудесных приключений, и от обыкновенных бытовых историй с настежь раскрытым «уроком», и от всего образного, являющегося едва ли не главным чудом, строя сказыванья, и от умилительно-чистой, нетребовательной морали. Сказки создавались и сказывались не только для детей, но взрослый человек, внимая и отдаваясь

сказке, чувствовал себя ребенком – не в возрасте ребенка, а в степени его впечатлительности и отзывчивости.

Представьте себе, как совсем еще в недавние времена, когда телевидение повсеместно не успело овладеть людьми беспощадным сладким гнетом, где-нибудь в деревне, где это заведено, собираются люди вечером на сказку. Сходятся в избе у умелого, памятливого рассказчика – тут и ребятишки, и старики, и мужики с бабами, отработавшие трудный страдальный день и ждущие такого же дня завтра. Располагаются в тесной избе на лавках, на полу, в ожидании переговариваются о делах. Быть может, потрескивая смольем, горит камин; быть может, светит уже «лампочка Ильича», это не так уж и важно. Рассказчик по принятому обычаю пробует отговориться: мол, на десять рядов все уже знаете, нового ничего не вспомнил, будет неинтересно. Его и не понукают, он начнет сам, как это было и на прошлой, и на позапрошлой неделе, не для того они, оторвавшись от дел, здесь собрались, чтобы уйти без сказки.

И он начинает. Возможно, он выбирает действительно знакомую старую сказку, которую сказывал этим людям не раз. Никто не перебьет его, не потребует нового зачина. Они входят в сказку с тем же простодушием, с каким встретились с ней когда-то впервые. Голос рассказчика меняется, становится певучим и многоголосым, он принадлежит уже не хозяину избы, такому же, как они, мужику, а хозяину сказки, вернее, он принадлежит самой сказке, созвавшей их всех для единого и счастливого откровенья.

Кто и когда сложил эту сказку, как она звучит теперь, кто и кому поведал ее впервые? Давайте не будем сейчас вспоминать о кочующих сюжетах, переходящих от народа к народу. Кто укоренил ее в нашем народе («Фу-фу, русским духом пахнет»), как изменилась она с той далекой и темной поры, какими словами звучала в самом начале? Он, тот, кто сказывает ее сейчас, услышал ее от бабушки, а она в свою очередь тоже от бабушки – и сколько же поколений людей

знало эту чудесную и красивую выдумку, пользовалось ее образами и переживало за ее героев, сколько она принесла за свой век людям невидимого добра?

Они слушают ее, то вздыхая, то коротко восклицая, когда не выдержать, чтоб ахом или охом не отозваться на необыкновенные события, живой душой полностью отдаваясь сказке и не мешая ей. Но главное чудо не в том, что происходит в сказке, а в том, что происходит с ними. В их сердца незаметно, как капля по капле, с каждым словом входит любовь – любовь друг к другу, к своей земле и своей работе, чувство тесной и вечной связи со всеми, кто жил на этой земле раньше. Они словно бы ощущают их присутствие, их пришедший на знакомую сказку дух, потому и натянулся, изменился и задрожал голос рассказчика, вспоминающего теперь уже для всех, для нынешних и прежних слушателей.

Из фольклорных жанров только старинная песня способна, быть может, в еще большей степени к подобному родственному соединению людей. В песне отказывающееся от временных преград общинно-духовное чувство подводит человека так близко к полному озарению своей тайны и сути, что он едва ли не обмирает от этого проникновения.

Фольклор более и полнее, чем что-либо другое, выявляет народную душу. Изустно передававшиеся из поколения в поколение песни, сказки, былины, плачи и верования, не говоря уж о малых формах, несут в себе от самых корней духовную историю и духовную жизнь народа. Он выпевал, выплакивал и высказывал свою судьбу, предсказывал и загадывал ее, выставлял надежды, исполнения которых он заслужил, и тут же принимался иронизировать над собой: нет, не дожидаться ему никогда их исполнения. Он словно бы знал наперед свою долгую мученическую долю в мире и передал ее с тоской и болью, но без надрыва и отчаяния, защищаясь верой и веря, веря, веря... Не мыслители провидят грядущие пути своего народа, а сам народ, мыслителям

остаётся отыскать в его высказанной многоголосо душе эти откровения и распознать их образный язык.

В сказке хорошо видно, как устроенная язычески душа русского человека, мало изменившаяся в христианстве, поклоняется матушке земле – наделяет живой и чудесной силой все, что его окружает. Первая церковь для него – это природа, здесь его вера не заказана и здесь его чувство не натянуто. Пришедшие издревле к нам сказки, точно так же, как и песни, удивительно природны, естественны настолько, что трудно представить, чтобы они кем-то сочинялись и выправлялись, – кажется, раз и навсегда они даны родной землей вместе с языком, как поддержка и опора языку, как тот волшебный клубок, который, разматываясь, должен привести к желанной цели.

Многие надежды не сбылись, но одна сбылась наверняка: за долгие века развилась и расцвела душа русского человека, до конца исполнилась болью и радостью, и это тоже, надо полагать, доставляет ей страдания.

Обо всем устном народном творчестве в целом нужно сказать, что оно явилось и до сих пор является поддержкой и опорой нашему языку. Теперь, когда по многим причинам язык мельчает и пустеет русским словом, теперь в особенности фольклорные записи для нас еще и ту имеют огромную ценность, что они передают живую народную речь. В своих ранних, да и не только в ранних, не обработанных литературно, записях фольклор – это заповедник языка. Прочитайте оттуда любую сказку, былинку, вспомните песню и послушайте после того с кафедр, трибун: так мы говорили и так говорим. Нынче и разговорная речь немало подпорчена пустым, чужим или дурным словом. Массовая культура, массовая пропаганда, массовая мысль делают свое дело неумолимо.

Было время: без сказки не воспитывались дети (устно звучащая, живая сказка – совсем не то, что сказка из книжки), с нею жили и с нею старились взрослые. Ведь если

наши бабушки и дедушки рассказывали сказки, значит, они с ними не расставались с детства, набираясь от них и мудрости, и поэзии, и любви. Было время: без песни не обходились ни общинная работа, ни застолье, ни посиделки. В последний путь провожали с причетом, в котором слышались не только боль от горькой утраты близкого, но и поклонение всему своему роду-племени. Приступая к страде, разговаривали с землей, просили ее о помощи, а потом благодарили за щедрость. Ребенка усыпляли колыбельной, от которой и у матери отмякало после трудного дня и успокаивалось, принимая с благодарностью судьбу, сердце. И радостные, и безрадостные события сопровождались обрядами. Народ не расставался с поэзией во всем круговороте жизни. И песенники, сказители, мастера меткого слова ценились в своем мире, пользовались уважением как люди особенные, выделенные Богом для общей отрады.

Но... умирает фольклор, оставляя о себе воспоминания лишь в записях. Ушла в прошлое былина; похоже, мы свидетели последнего поколения, допевающего (не по радио) народную песню и досказывающего устную сказку. Остается лишь присловье, без которого, к счастью, русский человек, кажется, не может существовать. Расцвел чертополохом анекдот. Мы вступили в новую эру массовой поэзии, веселья и утех.

Прощаясь с фольклором, мы низко кланяемся ему за все то доброе и светлое, что он принес издалека и поселил в наших душах. Там, в глубинах этих душ, вопреки всемогущим магнитным и электрическим полям нынешней эпохи, возделанное живой поэзией поле не самых худших чувств, заказанных человеку. Но, прощаясь с фольклором, читая теперь как воспоминание фольклорные записи, трудно удержаться и не воскликнуть с неистребимой надеждой: «Какое же все-таки это удивительное богатство – сказка в русском языке и русский язык в сказке!»

1983

РУСЬ. ВЕСИ, ЛИКИ, ЗЕМЛЯ

*О творчестве Анатолия Заболоцкого**

Работы для этой выставки Анатолий Заболоцкий подобрал в точном соответствии с ее названием. Да, здесь все то, что Родину делает Родиной: Веси, Лики, Земля – с заглавных букв. А название дано в точном соответствии с местом размещения выставки – в Музее храма Христа Спасителя. Это собрание фигур, лиц, глаз и настроений; эта вереница людских и природных «выходов на сцену»; эта галерея земного и небесного, сошедшегося вместе побратски малого и великого, до боли родного – хоть руки простирай для объятий, и отстраненного, мудро взирающего из глубины веков, как древние рукописные книги; многоликий этот мир, многогласо и слаженно выводящий мелодию бытия, – все это способно одновременно и в радость окунуть, и привести в смущение. Мы привыкли к тому, что сегодняшняя наша действительность, как бы уже заключенная и в скобки от неспособности к безопасному ходу, переполненная несоответствиями и противоречиями, прежде всего выставляет грубость, уродство, разлад. Здесь же ничего подобного нет. В этом развороте какой-то почти патриархальной, какой-то почти пригрезившейся и все же настоящей, еще сохранившейся в тихих местах, жизни – красота, умиротворенность, вечность, лад...

Впечатление такое, что Русь наконец нашла себя, осознала и духовно сдвигается все тесней и тесней. А ведь тут и верно вся Русь, все лики из самых дальних и глухих углов, все не побитые бурями и лихом деревянные и каменные веси вдоль вековых большаков, вся скромная благодать вокруг. Но и все величие рукотворного и нерукотворного,

* Анатолий Дмитриевич Заболоцкий – выдающийся русский кинооператор и фотохудожник, сподвижник В. М. Шукшина, с которым снимал фильмы «Печки-лавочки», «Калина красная». – *Сост.*

вместе с печалью и морщинами вышедшая наружу правда, непреходящее терпение... Тут, как в граде едином, Русский Север, Горный Алтай, Хакасия и Тыва, побережье Холодного океана на крайнем северо-востоке Якутии, Байкал и Лена, Саяны и Обь, Русская равнина и Урал. Тут и Святая Русь: Оптина Пустынь и Шамордино, Валаам и Дивеево, храм на Крови на месте Ипатьевского дома в Екатеринбурге и точно неустанный покаянный «крестный ход» восьми монастырских храмов возле Ганиной ямы на месте уничтожения останков царской семьи.

До чего же мила ты и тепла, до чего же по-матерински родна ты и прекрасна, ненаглядна и приветлива, матушка Русь! Все-все здесь знакомое, пережитое, пройденное, надыханное нами, жившее в сердце – если даже не привела судьба везде побывать. А постоишь, взглядишься внимательней – неправда, бывал, помню, каждая клеточка отзывается и признает за свое.

Вот девушка после причастия: удивительно красивое, одухотворенное лицо, повязанное легким платочком, глаза большие, глубокие, светящиеся благодатной чистотой. Так бы глядел на нее в восторженном узнавании. Нет, эта девушка из Руси не выпадет, она на своей земле стоит крепко. Вот три отборного сорта богатыря, три белобрысых подростка двенадцати-тринадцати лет: славяне. Да, ни с кем не перепутаешь: славяне, знающие себе цену, глядящие перед собой смело и как-то по-хозяйски. Небрежно навалились на изгородь, за которой неподвижно лежит небольшенькая речка, а дальше луговина сплошной дремлющей зелени. Славянская земля, на которой эти молодцы чувствуют себя как нельзя лучше. А вот «Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь» – как при Пушкине, как и тысячу лет назад все та же простенькая и сладкая, щемящая сердце картина: трусит по снегу лошадка и фигура в санях. Только и всего. Как говорится, смотреть не на что. Кому-то и не на что, а ты то ли от простоты своей натуры, или от

притяженья к детским деревенским впечатлениям смотрел и смотрел бы неотрывно, как зачарованный, на это тысячу раз милое сердцу видение нашей «лапотности», слушал и слушал бы скрип полозьев по утреннему морозцу, игру селезенки у лошадки и ленивое понукание мужика. Господи, не дай этому никогда сгинуть, из этого да из такого же многого еще и вылепилась наша неприхотливая душа, знающая хорошо цену истинному. А вот во все глаза глядят изнутри в оконную раму два лица – материнское – совсем еще молодое, спокойное, расслабленное, и мальчишечье, любопытное, живое. Ни мы не знаем их, ни они нас, но отчего так хорошо, что они ненароком увидели нас, а мы их, отчего верим мы, что за их лицами и глазами открылось нам большее, чем мы способны сразу осознать?! А вот два молодых мужика из вологодских или архангельских ставят по старинке домину, как ставили деды и прадеды, и присели ненадолго отдохнуть, но до чего же просторна, до чего величава будет эта хоромина; и уж сомневаться нельзя, любуясь ею, что дурного человека она в свои стены не выпустит... Девочка-пастушка возле коровы, из повязанного по-старушечьи платочка выбивается челка, лицо озабоченное, чуть смущенное тем, что оторвали ее от дела, за спиной вдалеке излучина реки, лес, дремлющее под приглядом пастушки притомившееся солнышко – и опять, и опять ни с чего перехватывает от волнения дыхание и на глаза наворачиваются чувствительные слезы. Все, все родное, куда ни взгляни, все узнается, тянется навстречу, нашептывает признания, просит прикосновения, ждет доброго слова.

Будто автор сознательно собрал для родственного общения близких людей и близкие картины.

И верно – по Руси – России, как по матери, мы все кровная родня. Все одного поля ягода, взросшая не на асфальте, а на пашне да на лесных полянах. Когда нашептываются, наплескиваются нам ее бесхитростные и драгоценные образы – полнится и предельно распускается

душа, дает нам зрение и слух приласкать каждую былинку, вздымает в высоту, чтобы в торжественном парении мы ничего не упустили.

Но и без поэтического воображения здесь, на этой выставке, на этой праздничной встрече, на прекрасных этих полотнах по-землячески оказалось много родных, всему русскому кругу хорошо известных лиц. Василий Белов и Георгий Жженев, Олег Волков и Александр Михайлов, Владимир Крупин и Владимир Солоухин, Виктор Астафьев и Иван Рыжов, Сергей Залыгин и Татьяна Петрова... А эти мостки подле деревни Никола на Вологодчине знамениты тем, что по ним хаживал и, должно быть, наговаривал стихи Николай Рубцов. А это в панораме шукшинской Родины гора Пикет, на которой в день рождения Василия Макаровича ежегодно собираются десятки тысяч почитателей его имени. А это сын Геннадия Заволокина в сороковой день после трагической гибели любимца всей России... Сын в то мгновение был рядом с отцом... вытянутый язычок свечи, напоминающий вспархивающую душу, застывшее от боли мужественное, похожее на отцовское, лицо и клятвенная решимость во всей фигуре: нет, не перестанет на Руси играть гармонь.

Мы дома, на Руси, нас с нею не разлучить даже и смерти. Но и Русь в нас; она в нас, может быть, даже и больше, чем мы в ней, ибо нет, кроме нее, для нас другой души и другого сердца. С нею, только с нею, когда она в нас, мы и можем постоять за свои веси и святыни.

2004

V РОССИЯ УХОДИТ У НАС ИЗ-ПОД НОГ

ВЫ НАВЯЗАЛИ СТРАНЕ ПЛЮРАЛИЗМ НРАВСТВЕННОСТИ*

Уважаемые товарищи депутаты! Здесь у нас невольно выявилось противопоставление между нами, между теми, кто прошел конкурентные многомандатные бои, и теми, кто пришел от общественных организаций. Не раз за эти дни приходилось слышать, что одни – это избранники народа, а другие – подсажены, чтобы тормозить активность перестройки. Я тоже считаю, что Закон о выборах несовершенно и со временем должен быть изменен в пользу только окружной системы. Разве это нормально, когда один человек голосует дважды или даже трижды, а бывает, и четырежды: у себя в округе, где-нибудь в Фонде культуры, в Союзе писателей, а потом еще и в Академии наук. Такого, естественно, не должно быть. (*Аплодисменты.*) Однако чем дальше заходят наши дискуссии, тем больше убеждаюсь я в том, что на начальном этапе демократических выборов представительство от общественных организаций было необходимо. Во имя плюрализма, о котором мы много говорим как об условии демократического существования,

* Выступление на I съезде народных депутатов СССР.

потому что перестройка вступила сейчас в такую стадию общественного развития и поднялась на ту вершину, где обитают ястребы, которые пытаются монопольно стать ее хозяевами. А всякого, кто не согласен с ними, объявляют врагом перестройки.

Самое употребительное выражение на съезде – антиперестроечные силы. Мы слышим, что если перестройка – это революция, то должна быть и контрреволюция. С контрреволюцией, как сами понимаете, разговор бывает особый, без всякого плюрализма. Когда ястребы придут к власти, они постараются создать и государственную систему подавления контрреволюции, а пока на пути к власти вводится, и вводится довольно успешно, система общественного подавления.

Дело не в расхождениях, которые неизбежно появляются в процессе развития и которые по мере развития могут быть сближены или устранены. Дело куда как в большем: в судьбе перестройки и демократии. Мне понравилась прозвучавшая здесь мысль Олжаса Сулейменова: если все время загребать слева, непременно пристанешь вправо. Это не просто образ, а закон действия всякого поворотного механизма, в том числе и общественного. У Платона, древнегреческого философа, есть по этому поводу замечательные слова. Цитирую: «Тирания возникает, конечно, не из какого другого строя, как из демократии. Иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство». Так вот, чтобы этого не произошло, чтобы демократия в нашей стране утвердилась раз и навсегда, нет ничего предосудительного в том, если в обществе является необходимость сдерживания «безумства храбрых». Пропетая ему, этому безумству, песнь привела в свое время к трагическим результатам. Теперь из одной пропасти оно способно толкнуть нас в другую. Так что поосторожнее с антиперестроечными силами. К ним, по всей логике вещей, в первую очередь вас и следует отнести.

Плюрализм возможен как разность и многообразие общественных и политических мнений. Вы навязали стране плюрализм нравственности. Вот это поопаснее всяких бомб. Общество или поддерживает нравственность или не поддерживает ее. Третьего пути не бывает. Раздававшиеся здесь робкие голоса о главенствующем значении в любой цивилизованной стране культуры и духовности, как мне показалось, были пропущены мимо ушей. Нас больше занимает различное законодательное крючкотворчество. Упаси меня боже быть против разумных поправок к Конституции и законам. Я только был бы удивлен, если бы новая Конституция вслед за сталинской и брежневской стала ентушенковской. *(Аплодисменты.)* Повторяю, я не против всяких разумных поправок... Для того мы здесь и собрались. Только во имя души, достоинства, культурного и нравственного облика народа их пока не было. Хлеба и зрелищ – вот что исподтишка записали сейчас на знаменах перестройки.

В зрелищах мы уже преуспели, притом в зрелищах самого сомнительного свойства. Идет почти открытая пропаганда секса, насилия, освобождения от всяких нравственных норм. Сейчас время трагедий, которые следуют почему-то одна за другой. Но заметили ли вы одну закономерность? Только смолкнет голос диктора, объявляющий о человеческих несчастьях и жертвах, как экранный эфир заполняет какофония бесноватой музыки. Но нам все трын-трава, мы свободны от морали и от сопереживания. Куда дальше? Орган Детского фонда имени Ленина еженедельник «Семья» из номера в номер печатает детскую сексуальную энциклопедию в картинках, от которых даже взрослому становится не по себе. Вероятно, в таком воспитании председатель фонда и редактор журнала видят свою миссию спасения обездоленных детей. «Злу не положено предела», – говорили древние, и истина эта подтверждается, подтверждается все более и более. Не знаю, как грузинской депутации, а мне

не по себе стало, и я счел это святотатством, когда красотки в плавках, участницы очередного конкурса красоты, кокетливо застыли в минуте молчания в память о погибших в апрельских событиях. Неужели подобный цирк не оскорбляет ваши национальные чувства?

Со зрелищами, как видите, все в порядке. А если добудем еще хлеб, замешанный не на поте и нравственности, а приобретенный в полном ассортименте распродажи национальных богатств, недалеко будет и до повторения судьбы Римской империи. Здесь, помнится, кто-то строго взыскивал с товарища Лукьянова за рост преступности. Причин много, что и говорить. Но одна из главных, может быть, самая главная – нравственная разнузданность и похотливость, неразборчивость и сквернолюбие средств массовой информации, особенно молодежных изданий и программ. (*Аплодисменты.*) Все это мутным потоком хлынуло в книги, кино и театры и принялось обслуживать индустрию развлечений, паразитирующую на человеческих пороках. Наша молодежь бессмысленно гибла в Афганистане, столь же бессмысленно она калечится в необъявленной войне против нравственности. Призывов стать лучше в таких случаях недостаточно, нам необходим закон, который бы закрепил и взял под охрану нравственность и запрещал пропаганду зла, насилия и пороков. Когда-нибудь мы пожалеем, что пренебрегли столь важной наукой в это переломное время, как социальная психология. Знание этой науки, позволяющей учитывать настроение людей, способно принести самые неожиданные и удивительные результаты.

У нас в обществе вместе со здоровой создается в последнее время активность, из которой изымается гражданское патриотическое содержание и которая переводится в русло нигилизма и высокомерных притязаний. Неправое, как известно, всегда активнее и организованнее. В ходе предвыборной кампании настроение опреде-

ленных групп улавливалось некоторыми кандидатами с чуткостью барометра. Стоило кому-нибудь из них выложить партбилет, как популярность его взмывала сразу будто на крыльях. *(Аплодисменты.)* Я не член партии и сознательно не вступал в нее, наблюдая, как много пробивается туда разного рода корыстолюбцев. Состоять в партии было выгодно. Потому она и потеряла свой авторитет. Сейчас состоять в партии стало невыгодно, более того, опасно. И оставлять ее в такой момент отнюдь не мужество, как преподносится неискушенным людям, а тот же самый расчет, который прежде вел в партию. *(Аплодисменты.)* Мужеством это было бы десять или даже пять лет назад, только не рано ли побежали вы с корабля, не подводит ли чутье тех, кто считает корабль обреченным? *(Аплодисменты.)* Юристы не однажды объясняли нам здесь такие тонкости своего предмета и показывали столь ювелирное знание законов, что сердце радовалось. Есть такие специалисты, недалеко и до правового государства, но как быть, товарищи юристы, с такой закавыкой отнюдь не тонкого свойства, когда ваш коллега в интересах избрания в депутаты подбрасывает сенсацию, связывая с преступностью имя из самого верхнего эшелона власти? Разве тайна следствия уже не существует, разве презумпция невиновности, или как это у вас называется, отменена уже? *(Аплодисменты.)*

В неправовом государстве, в котором мы долго пребывали, генерал и член Политбюро могли чувствовать себя в безопасности, а в том правовом, к которому, судя по всему, вы нас ведете, ни высокопоставленные особы, ни тем более самый простой человек, если он высказал инакомыслие или не угодил кому-то, не свободен будет коль не от физического, так от морального уничтожения. От клеветы и машиношельмования, которые ничем не лучше машины четвертования и которые, похоже, уже пущены в ход. *(Аплодисменты.)* А не все ли равно, от чего поги-

бать приговоренному – от государственного террора или от террора среды в государстве, где, возможно, формально станут соблюдаться писанные законы.

К сожалению, Вы не ответили, Михаил Сергеевич, на заявление депутата Роя Медведева, будто всякий раз, когда Вы отлучались из Москвы, да если Ваше отсутствие совпадало с отсутствием Александра Николаевича Яковлева, то создавалась обстановка, близкая к государственному перевороту. В связи с этим я хочу спросить Вас: так ли это? И была ли очередная опасность государственного переворота в период последнего Вашего визита в Китай, где Вы находились одновременно с Александром Николаевичем? Если таковой злоумышленник в Политбюро существует, то почему Политбюро с ним мирится? А если обвинения депутата Медведева беспочвенны, почему Вы об этом не скажете? Разве не видно, что в борьбе за власть, которая ни для кого здесь не является тайной, намечена к устранению первая фигура, против которой давно ведется организованная кампания. Нет нужды напоминать Вам, кто станет следующим. (*Аплодисменты.*) Все это, уважаемые товарищи депутаты, увы, уже было.

Слишком много в атмосфере нашего съезда узнаваемо. Появляются у нас свои керенские, Милюков, Гучков, Чхеидзе – я надеюсь, что грузинская делегация грузинскую фамилию не свяжет с собой. Со временем обозначатся и другие. Слышны порой призывы Государственной думы, те же пляски на процедурных вопросах, срывающих обсуждение важных дел, то же стремление навязать свою позицию, та же страсть к сильным выражениям. Помните, обвинили в государственной измене сначала военного министра, а когда это сошло с рук, обвинили в том же императрицу, остальное было делом техники. Не мною сказано, но кстати повторить здесь в небольшой редакции знаменитые слова: «Вам, господа, нужны великие потрясения – нам нужна великая страна». (*Аплодисменты.*)

О стране. Никогда еще со времен войны ее державная прочность не подвергалась таким испытаниям и потрясениям, как сегодня. Мы, россияне, с уважением и пониманием относимся к национальным чувствам и проблемам всех без исключения народов и народностей нашей страны. Но мы хотим, чтобы понимали и нас. Шовинизм и слепая гордыня русских – это выдумки тех, кто играет на ваших национальных чувствах, уважаемые братья. Но играет, надо сказать, очень умело. Русофобия распространилась в Прибалтике, Грузии, проникает она и в другие республики, в одни меньше, в другие больше, но заметна почти повсюду. Антисоветские лозунги соединяются с антирусскими. Эмиссары из Литвы и Эстонии едут с ними, создавая единый фронт, в Грузию. Оттуда местные агитаторы направляются в Армению и Азербайджан. Это не борьба с бюрократическим механизмом, это нечто иное. Здесь, на съезде, хорошо заметна активность прибалтийских депутатов, парламентским путем добивающихся внесения в Конституцию поправок, которые позволили бы им распрощаться с этой страной. Не мне давать в таких случаях советы. Вы, разумеется, согласно закону и совести распорядитесь сами своей судьбой. Но по русской привычке бросаться на помощь я размышляю: а может быть, России выйти из состава Союза (*аплодисменты*), если во всех своих бедах вы обвиняете ее и если ее слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления? Может, так лучше? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы, как настоящие, так и будущие. (*Аплодисменты.*) Кое-какие ресурсы, природные и человеческие, у нас еще остались, руки не отсохли. Без боязни оказаться в националистах мы могли бы тогда произносить слово «русский», говорить о национальном самосознании. Отменилось бы, глядишь, массовое растление душ молодежи. Создали бы наконец свою Академию наук, которая радела бы российским интере-

сам, занялись нравственностью. Помогли народу собраться в единое духовное тело.

Поверьте, надоело быть козлом отпущения и сносить издевательства и плевки. Нам говорят: это ваш крест. (*Аплодисменты.*) Однако крест этот становится все больше неподъемен. Мы очень благодарны Борису Олейнику, Иону Друцэ и другим депутатам из республик, кто сказал здесь добрые слова о русском языке и России. Им это позволяется, нам – не прощается.

Нет возможности сейчас подробно объяснять, да вы это и сами должны знать, что не Россия виновата в ваших бедах, а тот общий гнет административно-промышленной машины, который оказался для всех для нас пострашней монгольского ига и который и Россию тоже унизил и разграбил так, что она едва дышит. Нет нужды в подробных разъяснениях, но мы просили бы вас: жить нам вместе или не жить, но не ведите по отношению к нам себя высокомерно, не держите зла на того, кто его, право же, не заслужил. А лучше всего вместе было бы нам поправлять положение. Для этого сейчас, кажется, есть все возможности. (*Аплодисменты.*)

Верно и то, что в межнациональных сложностях сейчас виновата во многом вот эта промышленная машина, уничтожающая природу. Я согласен с теми, кто предлагал здесь не запугивать без особой нужды депутатов, а значит, и всю страну, которая не отрывается от телевизоров, тяжестями нашего положения. Запугивать не нужно. Но есть одна самая главная, изначальная сторона нашего существования, где, что бы вы ни сказали, как бы ни пытались преувеличить картину, все будет мало. Речь идет об экологии. Слово это самой природой давно уже начертано не зеленой, а черной краской. Мы пытаемся строить новое, справедливое государство. А для чего его строить, если годы наши при таком отношении к природе сочтены? Госкомприрода не справляется со своими функциями, и при его подчиненности не может справиться. Пока не поздно,

необходимо вывести его из бесправного положения и передать Верховному совету. *(Аплодисменты.)*

Все широкомасштабные природообразующие проекты нужно обсуждать в комиссии Верховного совета и выносить на окончательное утверждение съезда. Иначе – пропадешь, иначе снова и снова будут появляться у нас правительственные постановления, принятые тайно от народа, как, например, постановление о строительстве в Тюменской области пяти нефтегазохимических комплексов, разорительных для страны, чрезвычайно губительных для природы, но, вероятно, выгодных иностранным фирмам. Иначе нельзя будет покончить с практикой принятия проектов без экологической экспертизы.

И под конец я бы хотел обратиться к Николаю Ивановичу Рыжкову. Будучи в Алтайском крае, Вы, Николай Иванович, как нам кажется, введенный в заблуждение толкачами строительства Катунской ГЭС, публично на всю страну согласились, что да, строить надо. Затем на встрече в крайкоме партии Вы оговорились: при условии положительной экологической экспертизы. Однако эти Ваши слова слышали лишь те, кто не хотел их услышать, а первые – прозвучавшие по телевидению – были приняты руководством к действию. Нас, многих депутатов, потому и забрасывают телеграммами и письмами с тысячами подписей коренного алтайского населения и десятками тысяч – тех, кто болеет за Алтай, потому и забрасывают, что именно в эти дни экспертная комиссия Сибирского отделения Академии наук и Госплан РСФСР принимают решение об одобрении строительства и, таким образом, об уничтожении последнего уникального природного комплекса Сибири. Мы просим Вас: разберитесь внимательно с катунским делом. Нам, нескольким депутатам, участвовавшим в создании байкальского движения по сохранению пресной воды, пришлось на два дня оставить съезд, чтобы провести очередное заседание этого международного движения. Мы посмотрели

там фильм, привезенный японцами, – о болезни, вызванной органической ртутью. Фильм жуткий, волосы становятся дыбом от страшных картин, показывающих мучения и масштабы бедствия. В районе Катунской ГЭС есть месторождения ртути. Они до сих пор вызывали у ученых сомнения, которые, боюсь, исчезли после Вашего, Николай Иванович, невольного вмешательства.

У нас на Ангаре вот уже несколько лет на гидростанциях спускается вода. Некуда девать электроэнергию. Может быть, вместо того, чтобы губить Катунь, передать эту энергию на Алтай? Да есть ведь и другие способы.

Закончить я хотел бы тем, что если уж мы вводим практику всенародных референдумов, то первый референдум хорошо бы провести по вопросу существования атомных станций. Спасибо. (*Аплодисменты.*)

1989

РОССИЯ УХОДИТ У НАС ИЗ-ПОД НОГ*

Помните, у А. Твардовского:

Так-то, Теркин...

– Так примерно:

Не понять – где фронт, где тыл.

В окруженье – в сорок первом –

Хоть какой, но выход был.

Всякое случалось в российской действительности, но выход был в 41-м, был он и пять лет назад, в дни предыдущего съезда писателей России, когда неспуста в голос заговорили мы об опасности физического разорения России от государственного попустительства и ведомственного

* Выступление на VII съезде Союза писателей России.

разбоя. Выход просматривался еще и вчера, когда десятки миллионов наших соотечественников, оставив работу, бросились на площади требовать правды, справедливости и благополучия, выкрикивая «Долой!» вслед за теми же самыми агитаторами, которые еще совсем недавно были дирижерами «Да здравствует!».

Всегда и во всех обстоятельствах оставался прежде запас, – запас земли, терпения, мужества, здравомыслия и народного духа, которые в совокупности можно назвать запасом отечественной прочности. В самые тяжкие и трагические моменты истории было куда отступить и чем усилиться. Но сегодня... – разве нет ощущения, что все запасы кончились и рассчитывать не на что? Разве к чувству бессилия не начинает примешиваться никогда раньше не испытываемое нами чувство бездомности и сиротства, будто сама Россия уходит у нас из-под ног в неведомое и чужое пространство, расположенное поверх или пониз ее собственного культурного и национального тысячелетнего бытия, поверх или пониз всего, что связано с именем России? Разве нет у нас трагического ощущения, что сегодня мы уже опаздываем, если не опоздали, остановить ее отбуксировку с родного материка, что слишком долго мы бездействовали, когда требовалось наше вмешательство, считали достаточным говорить об укоренении и держаться за исторические, религиозные и национальные начала, даже не проверив их крепость, в то время как другие, более ловкие и смысленные, чем мы, отстегивали один за другим теперешние концы и сталкивали огромную махину в воду? Мы рассчитывали на здравый смысл, на нравственное здоровье народа, а они оказались подорванными больше, чем мы подозревали. Впрочем, неизвестно, на что мы рассчитывали, может быть, больше всего на наше родное «авось», на то, что само как-нибудь устроится.

Когда началось взмыливание умов и сердец и расторопные дрессировщики, которые за месяцы из любителей

сделались профессионалами, принялись нахлестывать из всех рупоров общественное мнение, загоняя его в единственные открытые ворота, Россия вправе была ждать от нас решительного слова, вправе была ждать его от тех, кому она вручила свой голос и совесть. И она ждала его. Мы или отмалчивались, подавленные свистопляской общественных страстей, или наши одиночные протесты, которые тут же подвергались бомбардировке всех грязеполивающих батарей, звучали вслед событиям и не могли повлиять на их ход. Не только Россию, мы и друг друга не умели защитить, а когда пытались, это напоминало медвежью услугу.

И вот мы здесь, где подводятся итоги. Итожить так итожить, в том числе результаты нашей гражданской робости. Они будут нарастать, хотя нам кажется, что дальше нарастать некуда, что страна дошла до последнего предела безумства и самоистязания, но нет, это еще не «ягодки», это пока только еще «цветочки».

А сегодня вот оно...

Во-первых, у России украдено даже имя ее и пущено с молотка на обслуживание всякого рода сомнительных заведений, против нее же направленных: что ни газета или журнал, что ни партия или движение со словом «Россия» – обязательно издевательство над нею, разрушение ее духовного и общенационального миропорядка, традиций и культуры.

Во-вторых, к руководству Россией пришли люди, которые даже не считают нужным скрывать к нам свою неприязнь.

Сегодня свой съезд мы проводим в армейском театре, но опубликованный проект Конституции России дает надежду на то, что в следующий раз нам придется собираться в более романтическом месте и в более сюжетно-увлекательных условиях. Речь в конце концов не о нас, но когда истощенная, обворованная, многожды обманутая, многострадальная Россия становится разыгрываемой кар-

той в борьбе за власть, когда не кто-то, кто бы он ни был для нее, а она для кого-то, когда изобилие ей обещается за счет ее распродажи, подобно тому, как если бы целомудрие гарантировалось при групповом насилии, – надо бы нам, дальновидцам и нравственникам, понимать, что происходит в нашем милом Отечестве, и различать, кто есть кто, а не метать громы и молнии без разбору.

В-третьих, патриотизм отменяется. «Патриотизм – это свойство негодяев», – провозгласил наш собрат по перу Ю. Черниченко. Для других патриотизм может быть благодетельным и домостроительным чувством, но как только русский писатель, да и не только писатель, заикнется о патриотизме, он уже фашист, и чем бы он не оправдывался, сколько угодно не отмывался – ничего у него все равно не выйдет, и в мире его будут знать не по литературе, а по этой громогласной славе.

В-четвертых, культура разрушается. Что там разрушается... Много ли теперь осталось от культуры, чистым голосом которой так славна была Россия в самые лихие и даже самые болотные времена. Дьявольское, простите, «искусство» («простите» относится не к дьявольскому, а к искусству), которое пришло на смену ей, занято тем, как поразить, оглушить, испугать, вызвать из недр человеческого подполья темные страсти. Вот что выметывает из-под своих копыт новоявленный пегас. Можно бы продолжать смотреть на это со снисходительностью – пусть, мол, тешатся неразумные, если бы эти самого дурного свойства замашки так и остались замашками забияк и не превращались в правила жизни. Откровенность бесстыдства – вот в чем сегодня трезвость взгляда, свобода пошлости, мошенничества, насилия – вот что такое приметы времени.

В-пятых, нравственность, как старуху, раздели донуга и, изможденную, изработанную, сморщенную, с обвисшими сосцами, проводят сквозь строй молодой растленной плоти, демонстрируя два вида красоты.

В-шестых, молодежь развращается. И это самое страшное, когда начинаешь думать о будущем России. Всякое переживала она, есть надежда, что переможет как-нибудь и перемелет Россия и нынешнее умопомешательство, но как оглянешься назад и посмотришь, с чем, с какими ценностями и идеалами поднимаются молодые, вот тут действительно становится страшно. Где, в какой еще стране общественные опросы способны радовать своих сограждан столь высокими результатами, когда больше половины девочек-девятнадцатилетних одной из школ мечтают послужить Отечеству на ниве древнейшей профессии. А ведь это произошло в считанные годы, и произошло не само по себе. Комсомол наш занялся ремеслом сутенера. Немалая часть прессы в подцензурных условиях, судя по всему, до того, бедненькая, настрадалась, что заболела «бешенством матки».

Можно перечислять и дальше. Можно называть по порядку и седьмое, и восьмое и десятое, и все это будут не пустяковые и не придуманные увечья на теле и в душе России, которые не скоро зарубцуются, да и зарубцуются ли еще, неизвестно... Вы все это знаете.

Если три века назад Россия была поставлена на дыбы, то сегодня она поставлена на задние лапы. Я имею в виду не столько попрошайничество, хотя и это занятие – постыдное для великой страны, сколько обезьянничество, не считаясь с психологией и историческим опытом народа, обезьянничество в органах управления, в экономике, политике, общественном обустройстве, Трезвые люди на Западе говорят о нас: «Ну хорошо, прорубайте окно в Европу, если вам так нравится, но зачем же на уровне наших помойных ям?»...

А посмотрите, полюбуйтесь, во что превращается наш могучий, великий, «свободный» русский язык. Какой он, к дьяволу, «свободный», если мы позволили понатаскать в него столько всяких «консенсусов», что какой-нибудь Си-

доров Иван Петрович из сибирской деревни, сидя перед телевизором и мучительно вслушиваясь, готов принять их за нечленораздельные звуки органа, ловко замаскированное шевелением губ под умную речь.

Повторяю, вы все это знаете: от картины нашей действительности никому из нас никуда не деться. И если я осмеливаюсь скороговоркой напоминать очевидные вещи, так для того лишь, чтобы сказать: нет, уважаемые товарищи российские писатели, придется и нам взять вину за происходящее. Мы слишком преувеличивали свое нравственное и духовное влияние на читателя. Оно не было массовым, как нам представлялось. Оно, вероятнее всего, оставалось неглубоким в толще российского населения, но, поскольку была благодарная и отзывчивая часть, которая писала нам письма, восторгалась нашими героями и ходила на литературные вечера, мы сочли ее за удобренное литературой множество. Если бы это было так, откуда бы взялись десяткам миллионов, которые, сломя голову, кинулись вслед за соблазнительями, шарлатанами и авантюристами, за теми, кто подсовывает гаденькие картинки, раздает направо и налево обещания красивой жизни и преподает науку ненависти к собственной стране. Откуда взялись сами соблазнительные, можно не задаваться вопросом. Они всегда были, только до поры до времени жили с фигой в кармане. Но соблазненные... как бы никогда не имевшие чутья, что хорошо и что дурно, что искренность и что игра, как бы даже не сраставшиеся никогда в едином теле и единой душе с Россией, существовавшие где-то поверх и готовые в любой момент прыгнуть на более благополучное пристанище... Их-то почему так много? Да потому, надо думать, что, воспитываемые десятилетиями в фарисействе и лжи, они лишь изредка и случайно искушались судьбой своего Отечества и народа, в том числе нашими книгами, но – выстояли: воспитываемые в безлюбье и приспособленчестве, они приспособленцами и становились и прощению не научились.

А мы-то: самая читающая в мире страна, самые почитаемые писатели. Где плоды этого чтения? Надо признать: или не было самой читающей, или не завязывались плоды. В том и другом случае придется согласиться, что в самообольщении мы оказались близорукими и не предвидели последствий нарастания социального зла. Читатель искал в литературе пищи социальной, правды, правды, правды! И пропускал любовь. В духовной бескормице эпохи даже и то небольшое, что предлагала литература, воспринималось с трудом, ибо все больше и больше начинали атрофироваться сами духовные органы.

И потом – когда началась перестроечная вакханалия, когда, как из кратера вулкана, произошло извержение бесстыдства, цинизма, зла, – мы растерялись. Когда требовалось отделить сатанинское от того положительного, что было в этих процессах, ничего внятного долго мы сказать не могли. И потеряли, надо полагать, миллионы и миллионы, которые могли бы быть нашими сторонниками и постоять за Россию. И сегодня многие из нас по-прежнему хотят сохранить нейтралитет. Но нейтралитета по отношению к России быть не может: вы или с ней, или против нее. Как нет и доблести оставаться белоручкой в это смутное и грязное время. «Отечество в опасности» – не просто слова. Повторяя эту фразу как слова, некоторые вчера вольно или невольно принимали сторону тех, кто больше всего эту опасность и несет, кто разваливает страну с помощью так называемой российской дипломатии, шитой белыми нитками, и играет жизнью десятков миллионов россиян, живущих за пределами России, кто выдает нам свои действия за ступень российского возвышения. «Бойтесь данайцев, дары приносящих».

Отечество действительно в опасности. Мы можем завтра проснуться в своих собственных постелях, но уже не в России. Все вокруг будет тем же самым, но чужим, лишенным родного духа и смысла. Допустить мирную интервен-

цию – позор больше и непоправимей, чем отдать Отечество на полях битвы. Там – наша ответственность, равная со всеми. Здесь – она неизмерима. Это поле нашей деятельности, и если мы сдадим его – грош нам всем цена.

1990

«ТАК СОЗДАДИМ ЖЕ ТЕЧЕНИЕ ВСТРЕЧНОЕ...»*

Нельзя сомневаться: здесь собрались те, кто верит в Россию. Кто готов работать во имя ее и славу, не жалея, как говорится, сил, а может, и жизни самой. У кого не опускаются руки при виде ее сегодняшнего позора, нищеты и падения, при виде густо кружащегося над нею воронья и не менее густо облепившего его чертенья, отечественного и заграничного, выдающего себя за спасителей и благодетелей. Над истерзанной Россией так много хлопочет сегодня специалистов самого высокого класса, занятых не обезболиванием, а обездоливанием ее, что за их шумной и дружной напористостью непросто и распознать, чья берет – продолжается ли обморок, вызванный ударом демократической дубинки по нашему сознанию, действует ли столь же успешно, как год, как два назад, машина одурачивания народа, или Россия пришла в себя и, несмотря на все средства подавления разума и воли, нашла в себе силы им противостоять. Только те из нас, кто плоть от плоти и дух от духа России, кто вместе с нею обирал с себя плевки в нее, в ком отдавалось незаживающей раной каждое слово отступничества от нее, кто плакал ее слезами обиды от предательства и вероломства; только тот, кого вместе с нею разрезали на части по планам ее расчленивателей, в ком все тревожней и все настойчивей звучат недоуменные голоса предков, стоявших за Россию, – зна-

* Выступление на съезде Русского национального собора.

ет тот безошибочно: поднимается, опоминается, собирается в одну волю и одну мускульную силу Россия. Видит, слышит, чувствует он, ибо происходящее в России происходит и в нем, что не намерена она больше терпеть ни мелких бесенят, кривляющихся с экранов телевидения, ни бесов среднего пошиба из приказчиков нового порядка, наживающихся на ее несчастье, ни больших, генеральных бесов, производящих над Россией новый гибельный для нее социальный эксперимент.

И не только ропот голодных очередей дает право считать, что просыпается Россия от наваждения и обморока. Нет, убеждение через желудок бывает, бесспорно, отрезвляющим и сильным, но ненадежным. Обманутые один раз могут быть обмануты снова, едва лишь из милости протянут им кусок хлеба, даже если он отнят будет у наших детей и внуков за счет продажи того, что принадлежит будущему. Доведенные до отчаяния миллионы и миллионы истово возблагодарят того, кто, подобно Великому Инквизитору из «Легенды...» Достоевского, даст им этот кусок хлеба. Нельзя с них взыскивать, ибо хлеб становится сейчас не последним аргументом в борьбе за Россию, но нельзя на них и рассчитывать. Не ими спасется Россия. Но не спасется она, пока не возьмет на себя заботу об их пропитании и не организует их в силу производительную.

И не число оппозиционных партий и движений может внушить надежду, не многие тысячи в них состоящих, не раздающиеся с трибун смелые и даже сверхсмелые слова и крики проклятий погубителям России, как бы ни верны были эти слова и как бы ни очевидны были действия тех, в адрес кого они направлены. Пока множатся партии, власти предержавшие могут не волноваться: они дробят силы, сталкивают их между собой, незначительные расхождения превращают в непреодолимые препятствия и переводят врученную им народную энергию в самолюбивую

и никому, кроме России, не опасную болтовню. Если бы Минин с Пожарским вместо того, чтобы собирать ополчение и вести его на Москву, продолжали метать обвинения против продажных бояр и выгадливых казаков, Москва еще долго оставалась бы за интервентами.

Нет, не признаки брожения и не гул улиц позволяют с уверенностью говорить сейчас о восстании России из униженности и обманутости. Все это без главного, скрепляющего воедино настроения способно перебродить и переродиться во что угодно – и в новую разрушительную стихию, и в новые хитроумные и многообещающие общественные куролесы, умеющие задуривать людей, но не дать верного пути.

Народ, как известно, сплачивает сильная, на роду ему написанная идея. Она может затмеваться, общество сознательно или бессознательно может уводиться от нее, но в глубинах национального сознания она сохраняется в неповрежденности и только ждет своего часа, чтобы овладеть умами и сердцами. Как правило, этот час наступает в пору самых суровых испытаний, когда все остальные споры оказываются слабыми и несостоятельными, во время войны или смуты в особенности. Как только встает вопрос, быть или не быть России свободной и самостоятельной, как только с языка дискуссий и разногласий сходит он во всей своей неумолимой яви на землю, так что не обойти его, не объехать, стекаются под него русские люди, оставив распри, обиды и недоверия, стекаются как один народ, вспомнив заветы предков, как одна душа и одно сердце, преодолевающее разноречивость... Есть в нас грех раздоров, несогласия, доставлявший всегда России немало бед, но не раз было до сих пор в решительные часы и торжество сбора, согласия и соединенности. Понятно, что немало сегодня отпало от чувствительного и здорового, из России состоящего и Россией живущего, тела народного всяческого разбежья – спившихся, озлобившихся, усо-

мнившихся, уткнувшихся в себя; легион встанет на нашем пути агитаторов, считающих Россию земным неудобьем, обреченным якобы и оставаться таковым, покуда не откажемся мы от ее духовного водительства и не позволим ей встать под водительство других. Немало их, отпавших и соблазненных, бросивших российские рубежи, но вместе с рубежами перешла к нам и утерянная ими сила, поскольку берется она лишь из одного источника – из России – и отдается ею лишь своим защитникам.

Патриотизм как систему государственно-охранительных взглядов уже нельзя сегодня, как два года назад, громогласно и победно объявить «свойством негодяев». Не та на дворе общественная погода. Патриотические лозунги вынуждены выдвигать почти все партии и движения, рассчитывающие на успех; не у всех они, правда, внятно выговариваются, некоторым язык и вовсе отказывает при их произнесении, но это уже зависит не от чего иного, как от степени искренности. Все в конце концов становится на свои места: патриотизм, выражаясь политическим слогом, превращается в сознание масс, а вышеуказанное «свойство» все больше обнаруживает себя в лице поносителей патриотизма. Лучше бы им и вовсе оставить попытки выдать за «фашизм», пусть даже и «необыкновенный», порыв народа к самосознанию и сохранению своего национального и исторического лица: крайности, как известно, рождают крайности, а в крайностях никто из нас не должен быть заинтересован.

Как бы ни хотелось кому-то, но самостояние, самоуважение, самопонимание в русском человеке отменить не удастся, и безродным его не сделать. Среди лжи, разврата, нищеты и разрухи, в ночи отчаяния и гибельных звуков – как предрассветный оттай в той стороне, где подниматься солнцу, как провозвестие, как оттиск небесный, постепенно начинает проявляться и прочищаться образ вечной России. Можно и на сей раз оговориться, если не

всем он виден: десятки лет не умели мы смотреть дальше носа и потеряли зоркость, да и тьма не разошлась еще, да и разворачивают нас глазами в противоположный край, где закат... Но ошиблись, слишком ошиблись те, кто считал, что можно нас лишь поманить Россией и отставить, сыграть в политической игре на национальных чувствах и перевернуть карты, что, заглядевшись в восторге на державный трехцветный флаг, не заметим мы, как сведут под ним Россию в услужение к богатым господам и станут помыкать, словно дворовой девкой.

Нет, поздно. Или рано. Но всегда будет и поздно и рано, всегда будет не вовремя, истинно русский человек от своей Родины неотлучим. Чужими прелестями он не прельстится и тысячелетние труды свои сдать за бесценок, как металлолом, на переплавку и перековку не позволит. Для него Россия – не просто место жительства, выпавшее от судьбы, а вся сумма изродительных начал – физических, нравственных, духовных и психических, вся космическая полнота бытия. В ней наша доля и воля, прозрение и спасение, в ней и вера наша, и помыслы, и красота, и совесть. Если мы что-то значим в мире, то только в наполнении ею, в ее выражении.

От легендарного Китежа до легендарного Беловодья протянулась вечная Россия, еще не найденная нами, недостроенная, в полной мере не обретенная, но не устающая звать нас к себе, нас, блудных детей своих, то приникающих к ней, то кидающихся искать ее за горизонтом, в то время как она всегда была в нас и рядом.

Время, в которое мы заступили, с полным правом можно назвать и подлым, и низким, и отступническим от вечных человеческих ценностей, и таким, и сяким из того же ряда гибельных понятий, но если свести вместе все откровенные перед нами безрадостные истины, откровения сильных мира сего и наши собственные предчувствия – тайное перестает быть тайным: мир сдается на милость

всевластного и всепоглощающего порядка, который уже не находит нужным скрывать свое оправдание зла, и все, вынужденное прежде прятать себя, выставляет с триумфом на царство. Отсюда и борьба за Россию, которую только слепые принимают за наше внутреннее дело и не видят, что крушение России подготавливалось давно и проводилось планомерно, что теперешние демократические радения во имя якобы цивилизованной жизни – это дурно исполняемое действие перед жертвоприношением.

Отсюда и легшие на плечи русского человека бремена, каких еще не бывало, отсюда и его предстояние перед окончательной судьбой. Не завтра наступит, а сегодня наступила решительная проверка, чего мы стоим, остались ли в нас еще столь прославленные прежде мужество, стойкость, умение усилиться в каждом за десятерых и встать неодолимой дружиной, а главное – какова крепость нашего национального чувства, о которое в последние годы мы поистерли языки, но не имели возможности удостовериться, во что оно от подобных трудов возросло. Тут нет нужды разъяснять, что такое национальное чувство и на каких условиях оно, целительное для нас, не может быть подозрительным никакому другому народу, но есть смысл повторить, что без него народа не бывает, без него народ выпрыгается из общего отечественного тягла и превращается в насельническую массу, где каждый озабочен лишь собственным животом и каждый строит в своем доме крепость против всего остального мира. Потому и подошло человечество к сегодняшним трагическим нравственным рубежам, что национально оно все более ослабевает и духовно остывает. Очередь – за нами, а если и мы сочтем нужным отправиться по этой дороге вслед за другими, через два-три десятилетия история за россом может опускать завесу.

В России 80 процентов русских, потому естественно наше обращение здесь, на Русском национальном соборе, к

ним, то есть к нам, к себе, естественна наша внутренняя потребность разобраться в своем национальном хозяйстве и, соответственно своему весу, заявить решительное право на защиту единой и неделимой России и на поддержку десятков миллионов русских, в одночасье по воле политиков оказавшихся вне России.

Как бы хотелось призвать к старому нравственному правилу: нельзя мне поступать дурно, ибо я русский. Когда-нибудь, будем надеяться, русский человек возведет эти слова в свой главный жизненный принцип и сделает их национальным путеводством. Это, разумеется, от нынешнего нашего состояния долгая работа. Но и она, как только отдадим мы себя спасению России, исполнима: мобилизованные ею, мы мобилизуем в себе свой нравственный строй и, как в окопах, откажемся от всего, что мешает исполнению долга.

Нас развращают – давайте не развращаться. Лет двадцать назад А. Солженицын призвал: не участвуйте во лжи – и, надо полагать, согласное и решительное сопротивление тотальному обману не могло не дать своих результатов. Однако после одной лжи воцарилась другая, вышедшая из подполья, где отрастила рожки, еще более бесстыдная, извращенная, переворачивающая ценностный человеческий порядок с ног на голову, взявшая за учительный тон издевательство надо всем, на чем веками стоял нравственный мир, проповедующая пошлость, жестокость, выставляющая на почетное место инстинкты, которые лишь по недоразумению называются животными, – животные в силу своих собственных инстинктов их бы не потерпели. Это даже и не ложь, если понимать под ложью обратную сторону правды или ее извращение, это, скорей, форма психопатии из тех, которые внушению не поддаются. Ни одно государство, озабоченное крепостью своих устоев, подобного не позволит, и если у нас оно принялось за норму, претендует быть культурой, вкусом,

нравами и обычаями народными, пользуется покровительством власти – стало быть, это государство почему-то заинтересовано в своем уничтожении.

Не годится русскому быть подданным чужих порядков, заниматься нравственным скверноядием, бессловесно, пусть и со страданием, наблюдать, как топчут его святыни. Не настолько мы потеряли достоинство свое и образ свой, не настолько изнеможены и запутаны, чтобы терпеть самое гадкое из всех насилий – диктат победившего бесстыдства.

Нас отрывают от веры – не оторвемся. Душа русского человека нашла свой подвиг и свое пристанище в православии, и только там мы обречем ее для искупительных и спасительных трудов, только там соединимся в своем временном и вечном призвании, а не в блудливых похождениях по задворкам чужих толков и религий. Оттого и насылают сейчас во множестве на отечественное христианство разного рода искусителей, разоблачителей, ниспровергателей и хулителей, что решено с помощью так называемого свободного нашего выбора, а в действительности – навязанного мнения посеять в нас еще и религиозную вражду и развернуть против собственных алтарей.

Нас озлобляют друг против друга – не озлобимся, а сойдемся вместе...

Нас пугают – не испугаемся...

Бьют по рукам, чтобы опустили мы руки, – не опустим...

Но:

...подобно остаткам разбитых и рассеянных после сражения армий бродят сейчас по улицам городов и сел бойцы армий несобранных, еще не существующих. Внутренне они чувствуют себя призванными и ищут, давно ищут места сборных пунктов, спрашивают наугад дорогу к ним и не находят ответа. Лидеры патриотических движений заняты выяснением, кто из них правильной, патрио-

тичной, чья программа лучше и у кого больше прав на верховное руководство. А время идет, и люди, потыкавшись от партии к партии, от программы к программе, которым несть числа, теряют надежду и сдают свою решимость в архив несостоявшихся служений.

Приходится напоминать: в XIII веке несоединенность русских князей привела к рабству в два с половиной столетия, в начале XX века разборчивость и элитарность русского сознания закончилась победой чужой идеологии. Что будет теперь, зависит от нас. Если и теперь не найдем мы согласия – бесстрастная история, которой нет дела ни до России, ни до русского народа, возьмется отсчитывать новый порядок нашего национального позора.

Все, говорят, проходит; по выражению И. Солоневича, «проходят даже и прохвосты». Но никогда ничего, кроме времени, не проходит само собой. Даже и прохвосты имеют способность к самопроизводству.

Широко разлилось сейчас течение против России исторической и национальной, немало несет оно ядов и мути, немало натворило уже на своем пути бед, вымывая хлебные и духовные засева. Посмотреть – кажется, и не остановить эту стихию, пока не насытится она и не снесет оставшееся.

Должно быть, на все века и несчастья замечательный русский поэт А. К. Толстой оставил русским людям в их сомнениях свой голос:

Так создадим же течение встречное –
Против течения!

И если соберем волю каждого в одну волю – выстоим!
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим!
Если соберем любовь к России каждого в одну любовь – выстоим!

1992

МЫ НЕ ПРЕДАЛИ КРЕПОСТЕЙ, НА КОТОРЫХ СТОИТ РОССИЯ*

Не один я, должно быть, все последние годы жил с ощущением, что общее наше строительно-укрепительное дело вспоможения родному Отечеству получается у нас плохо. Не одному мне являлись подозрения, будто мы каким-то образом оказались не там, где должно нам быть. Оказались на пустынном берегу, от которого Русь отчалила, и это осталось для нас незамеченным. И мы вызываем к отсутствующим. Для литературы даже больше, чем для любого другого искусства, важны восприятие, отзвук, взаимосвязь с читателем, литература вдохновляется и питается энергией ответной волны. Мы тужимся восстанавливать разрушенное, складывать разрозненные части воедино, но они выскользывают из наших рук и рассыпаются без того цементирующего состава, который есть читательское внимание; мы пытаемся склеивать разрозненные концы, но сухая бумага, не пропитанная сочувствием, не пристаёт к полотну. И глухая тревога охватывает нас: никогда еще не были мы столь искренни в своем гневе и боли за Россию, никогда еще в попытках сказать громко и значимо, словами всеобщей мобилизации, не выкладывались мы до столь жертвенной опустошенности и – напрасно.

Но напрасно ли? Чтобы ответить на этот вопрос, в расчет надо брать не малые стада, пасущиеся на наших добродетельных засевах, и не большие, вдесятеро больше, срывающие цветы зла у тех, кто поставляет дурнопахнущие блюда. Эти количества читателей, как бы ни казались они малы на одной стороне и велики на другой, решающей роли не играют. Они лишь подтаивающие с разных боков от нахлеста волн края айсберга. Развернись

* Выступление на X съезде Союза писателей России.

завтра под изменившимся ветром айсберг (а он разворачивается), и наших читателей прибудет, а не наших убудет, однако общее их число останется примерно одинаковым. По сравнению с огромной и глухой массой великана, влачимого непогодой и вморозившего в себя культурную потребность, оно есть лишь малая частица этого великана. За десять лет число читателей сократилось как не в тысячу ли раз, и это еще, надо думать, великодушные подсчеты. В один миг (а что такое десять лет, как не один миг?) литература потеряла не только государственное, не только общественное значение, но и значение органическое, жизнеобеспечивающее для абсолютного большинства людей. Не считать же, право, за читателей глотателей душещипательных пустот, от которых пухнет книжный бизнес, вроде серии одного из издательств «Сто самых-самых...» – «Сто самых громких преступлений», «Сто самых трагических катастроф», «Сто самых известных любовников», «Сто самых страстных любовниц» и т.д., много чего прочего «по сто». Все это наркотические таблетки в книжной обертке, и любителей их труда к наркоманам, а не к читателям, и следует относить.

Даже после Октябрьской революции, когда произошел не меньший слом народного бытия и безвкусица и пошлость также ударились в разгул, до такого не доходило. Вспомним: тогда сразу после Гражданской войны появились Шолохов, Леонов, Булгаков, Платонов, талант молодого Есенина возрос до гениальности. Притом каждый из них принимал новую жизнь в сомненьях и бореньях, которые, казалось бы, должны были сказаться и на позиционном расположении вокруг литературы, и на самой литературе. Этого не произошло. Этого не произошло, несмотря на тогдашнюю разноголосицу и даже на прямую директиву Агитпропа: «Взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые художественные формы». Что такое для искусства уничтожить старые художественные фор-

мы? Это убить отечественное искусство, отменить национальную самовыговариваемость, заставить русский язык говорить не по-русски, из русской души устроить разлив и развес на все вкусы. Не вышло. Задумаемся: ведь значит же что-то тот факт, что юная советская литература не стала ожидать толстовских сроков для написания «Войны и мира», а принялась создавать эпопею за эпопеей о Гражданской войне тотчас же, по горячим следам, словно торопясь заявить неизменность и крепость своих отеческих и художественных принципов.

В одной из последних статей Валентин Непомнящий сказал, что роковой ошибкой большевиков было то, что они не стерли с лица земли русскую классику и позволили ей спасти культуру XX века и тем самым спасти Россию. Парадокс: Василий Розанов считал, что русская литература своей безудержной критикой существовавшего порядка во весь XIX век погубила Россию, приведя ее к революции; Валентин Непомнящий уверен, что русская литература после революции спасла Россию. Спасла в таком случае чем? Той ее частью, можно быть уверенным, в которой русское крестоношение, тяжкое и бесконечное, из коего слагалась социальность, существовало среди удивительных даров родного, внесенного из прошлого, приумноженного настоящим, раскинутого по земле и душам. Оно, это крестоношение, неотделимо было от дивной поэзии народной жизни. Из нее-то ткалась и слагалась, выпевалась и выдыхалась, из этой обильной и яркой самопряди бытия, красота наших устных, а затем и письменных сказаний. Да и что такое художественность литературы, как не вязь родного с родным, как не чуткие и страстные всполохи от прикосновения к душевным закладам, не предельная пронизательность, несказанность несказанного, не целомудрие чувства, не слава нашему земному пути! Одна художественность, то есть красота русской литературы, в которую облакалась красота нашей

самобытности, способна была спасти Россию и не дать забыть ее духовные и нравственные формы. Один русский язык, это неумолчное чудо в руках мастеров и в устах народа, занесенное на страницы книг, – один он, объявший собою всю Россию, способен был поднимать из мертвых и до сих пор поднимал.

Но если так, если литература прошлого века спасла культуру и Россию в XX веке, да еще продолжилась после революции лучшими своими качествами в лучшей, коренного свойства, современной литературе, то что же случилось затем, пятнадцать и десять лет назад, когда, получив подкрепление, она оказалась бессильной перед охватившим страну смятением? Дополним, что подкреплением была не только советская литература, но и эмигрантско-русская, пронизанная такой тоской и любовью к России, точно это было взысканием града земного. Но – как обмороком обнесло, как дряхлостью побило всю нашу могучую книжную рать. В чем дело?

Красноармеец Андрей Платонов, начавший печататься сразу после Гражданской войны, писал: «Труд – это совесть». Один из его героев говорит: «А без меня народ неполный». И никому не приходит в голову не доверять этим словам или насмехаться над их наивной простотой, которая составляет у Платонова приземленную, как бы сознательно не поднимающуюся над землей мудрость. Подобное же безыскусное просторечие, точно валяющееся под ногами, только нагнись и подбери, а нагнувшись, поклонись его древнему и глубокому смыслу, легко найти и у красноармейца Леонида Леонова, и у продразверстовца Михаила Шолохова. Революция прежде всего была социальным переворотом. Со стороны социальной она посягнула на душу, отменив небо, но труд она отменить не могла: разрушенную страну надо было восстанавливать. Труд, напротив, был героизирован. А труд есть совесть. Душа имеет два источника питания – небо и землю, и

секуляризованная, обмирщенная душа тем старательнее цеплялась за землю, чем туже перекрывалось небесное сообщение, и, затаившаяся, однобокая, выжила, сыскав в земле и небесные заклады.

В эти годы мы часто вспоминали слова Тютчева в адрес народа: «Невыносимое он днесь выносит». Вспоминались они, конечно, и раньше. Иван Ильин, размышляя над ними, объясняет эту сверхвыносливость народа тем, что идет он, не сворачивая, по своим исконным путям. Точнее не скажешь. Исконное, родное, родительское, нагретое и исхоженное многими и многими поколениями, вобравшее в себя их опыт и силу, любовь и веру, и Голгофу, и воскресение – вот солнце второе и незакатное, когда небесное солнце затянута тьмой.

Вторая революция на этом веку в России, происходящая на наших глазах, еще страшнее, разрушительней, подлей первой. Теперешние революционеры вкатили машину разрушения тайно и предательски. Знамена подлости осеняют их действия от начала до конца. У «наших» плюралистов и реформаторов, певших поначалу сладкими сиренами, не водилось другой цели, кроме разрушения и разграбления богатейшей страны. Уже и теперь появляются откровения вроде тех, что они, реформаторы, никогда не ошибались в России и знали ей подлинную цену – страны, не способной вписаться в мировое сообщество, и народа, не годного для цивилизованной жизни. Это-то как раз, допустим, и правда, если под «неспособностью» и «негодностью» понимать самостояние, не дающее России раствориться в чужих мирах, да ведь хулители-то не это имели в виду. Цинизм сделался их святой правдой, труд как понятие совестное поруган, воспитанием народа стала его выбраковка. Платоновское «без меня народ неполный» потеряло смысл. Из всех отстойников и запруд, из тайников и спецприпасов потекла литература, возглавившая авторитетом искусства разрушение человека, его земли и миропорядка.

И повисло в небе, отпечатавшись с заведенного хода: разрушенное не восстанавливать, пусть так и будет.

Вот почему самая читающая в мире страна превратилась едва ли не в самую нечитающую. Это была естественная и разумная реакция читателя на происшедшее, его обманули и предали с такой жестокостью, какой, должно быть, в мире не бывало. И, не разбираясь в одних случаях, кто его предавал и кто предостерегал, а в других случаях и способный разобраться, но, не желая в величайшем своем сокрушении делать разницу между теми и другими, подобно тому, как и мы, более посвященные в пружины разрушения, не хотим видеть этой разницы между лучшими и худшими в стане переворотчиков, народ в инстинктивной потребности сохранить себя отпрянул от всякого печатного слова, как от проказы.

И вот в этом чистом поле, оставленном прежним читателем («чистом», конечно, условно, оставили не все), начал появляться новый читатель, или переродившийся в измененных условиях, или принявший в душу семена смятения и безысходности. Погребальная литература как часть, притом активная часть, сегодняшнего постмодернизма, приобрела известность не потому только, что работала напористой других, работала локтями, пробиваясь к популярности, и не от какого-то особого таланта авторов, затронувших чувствительную струну в сердцах людей, а по причине, прямо исходившей из очевидности: смерть в России превзошла жизнь, умирающих больше, чем рождающихся. Поваяло тленом – и внутри его тотчас зашевелились черви, как продукт разложения некогда здорового тела. Признавай, не признавай их, а они есть. Не больно эстетического вида, но свою работу выполняют. И читают сегодня представителей такого рода словесности больше, судя по тиражам их книг, чем Виктора Лихоносова, Василия Белова и любого из нас. Таковы культурно-потребительские реалии в России конца столетия – как

закономерно наступившие после катастрофы, так и искусственно поддерживаемые, возвращаемые, чтобы продолжать посрамление жизни.

Я взял сейчас крайнее направление в объединенной темно-грязной литературе, чья продукция, назойливая и вызывающая, обильно рассеивается по всем градам и весям. Впрочем, единственным крайним направлением ее считать нельзя. Таких крайних, перехлестывающих одно другое изобилием скверны, немало. И все они находят спрос. Понятно, что это пристрастие к ним болезненное и временное, как только оздоровеет жизнь, оно отступит. Оно уже и сегодня опаздывает относительно происходящих перемен. Россия выстояла, в этом больше нет сомнения. Она выстояла, если говорить, смещая времена, и о будущих, не менее тяжелых и коварных испытаниях. Как вдохновение, поднимается в людях воля снять с себя проклятие, наложенное нечистыми умами. Среди тьмы прислужничества появляются прокуроры, ищущие справедливого закона для преступников, губернаторы, радеющие за свои земли, а в правительстве объявляются лица, глядящие на Россию ответственно. Это что-то да значит!

У нашего писательского союза не запятнанные перед Отечеством перо и честь во все минувшее окаянное десятилетие. Мы не отступили от праведности и совестности литературы. Кажется, тот же В. Розанов сказал о славянофилах, что они звонили в колокольчики, в то время как в стране гудел набат, призывающий совсем к иным действиям. Должно быть, и мы звонили в колокольчики, но не из робости или малосилия, а оттого, что слишком густо был набит злом сам воздух. Но не предали мы ни земных, ни небесных крепостей, на которых стоит Россия, ни святынь наших, ни души, ни оружия, ни товарищей...

Я не напрасно заговорил о новой литературе и новых читателях. Нет нужды оговариваться, что жизнь, в какой бы трясине она ни купалась, все равно идет вперед

и обновление литературы (в тематике и художественных средствах) неизбежно. Талант не имеет клеточного состава, но и он под влиянием внешних условий способен видоизменяться. Но изменения изменениям рознь. Там, на той стороне литературы, где свобода самовыражения творит «чудеса», читателей сегодня больше, и книги выходят легче. Ну и что стоит нагнуть в ту сторону перо? Нутро не пускает? Подскоблить нутро от наростов, сделать что-то вроде пластической операции. Язык не дает? Подцензурировать язык, чтобы всяких бабушкиных зарослей поменьше. Полный переход туда, как правило, у нашего брата не получается. Не та порода, да его там и не примут как равного. Однако поклониться чужим пенатам из желания понравиться, позубоскалить над промашками природы в изобретении русского человека, позволить героям «мать-перемать» или обучить их новоязу, выпить в мертвецкой, укладываясь с женщиной в постель, пригласить для услуг читателя – ну что тут такого? Да на новых воздухах это все просто необходимо!

В мире, где торгуют государствами, мелкая спекуляция действительно неизбежна. Но чтобы спекуляция называлась спекуляцией, нужно, чтобы рядом незыблемо держала за собой место праведная жизнь.

Повторю: народ наш спасался во все времена исконными путями. У исконного, самобытного, родного есть все для праведной, удобной, безбедной и красивой жизни. Размер нашей души и свойство нашего характера слеплены им и для него. Как бы ни изгибали наши перерожденцы спины, в какие бы одежды ни рядились, в какую бы привозную ипостась ни ударялись – везде они будут чужаками и межеумками, повсюду на них будет проступать клеймо вора, обворовавшего самого себя.

Вот там, в родном, и надо искать читателя. Оттуда он и придет. Не заманивать его, не заискивать, не повышать голоса, а выдохнуть из души, как «мама», чистейшее

слово, и так выдохнуть, чтобы высеклись сладкие слезы и запело сердце.

Мы умеем это делать. И мы обязаны это сделать.

1999

НАРОД, ОН СВОЙ, А ЖИВЕТ СТОРОНОЙ*

«Оголодавший, нищий народ, живущий на семи ветрах, не в силах заинтересованно-вдумчиво осуществлять дело народоправства, ему впору чиниться добывать кусок хлеба, осмотреться. И как ни трудно это будет иным, верующим в целебную силу народоправства, – им придется на опыте убедиться, как народ, отброшенный к XIV веку, займется первичной кладкой на пепелище, передав “государственное” немногим, верным, – возможно, что и с наказом. Затеяливая резьба будет потом навешена, когда подведут под крышу. Строить будут под “кнутьями”. Неприятное это слово. Не под ременными кнутьями рабского застенка, не под ядовито-острыми кнутьями соблазна, каким недавно гнали народ под веселую музыку к могиле, а под кнутьями жестокой необходимости».

Это Иван Шмелев, 1924 год, когда русские люди и внутри России, и в зарубежье начали предполагать и планировать, как, какими силами и средствами удастся поднять из жестокой разрухи их уцелевшее Отечество. Припоминая эти слова, снова и снова приходится только диву даваться тому, во-первых, с каким постоянством самоубийственные порывы раз, а то и два раза в столетие сбивают Россию с назначенной орбиты, и тому, во-вторых, как во все более изнурительном и все более самоотверженном порыве поднимают ее на ту же высоту. Всякий раз одно и то же: Россия плоха, жить в этой стране нельзя, ее сле-

* Выступление на VI Всемирном Русском народном соборе.

дует немедленно перекроить по передовым «колодкам», и всегда заводилы такого переустройства выскакивают из «троянского коня» (в последний раз «троянским конем» оказался Кремль), устраивают грабеж и насилие, превращают Россию в «дикое поле» и, сделав свое дело, уходят в удобное и безопасное укрытие. И всякий раз дело спасения достается национальным, коренным силам. Бьет колокол тем же самым тревожным и подгоняющим боем, что и при пожаре, и сельский и городской миры поднимаются на общую и неотложную работу собирания из осколков в целое и живое. Родина-мать зовет, и все сыновье, что дышит с нею в один лад, выходит на этот зов. Так было после Смуты, после революции, после войны. Так могло быть и сегодня. Но сегодня Родина-мать все еще молчит, не в силах произнести собственное слово, боясь, что из того, что способна она сейчас выговорить, составит не четкий призыв, а растерянный стон.

Она способна воззвать лишь в том случае, когда все кругом – пусть в жестоких ранах, страданиях, болях, но и в молитве и любви, но и в разбуженном ожидании – будет услышано своими, и та мучительная и долгая истязка, к которой она позовет, будет во имя своего. Только такой голос, весь вынесенный наружу, без единой трещинки, где могла бы спрятаться недоговоренность, и способен собрать в народ его разрозненные группы, только он и способен сотворить чудо и мобилизовать на необъятную страду всех, кому на роду написано служить России. Но нет такого призыва. Сегодня, похоже, ведут дело к тому, чтобы спасти Россию без участия народа в спасительной работе, а затем, якобы спасенную, подарить ее народу. Но это будет уже и не Россия, и это будет уже и не народ. Это – отдать в дети тех, кого лишили матери, и говорить о благосостоянии по окрепшему меню.

Ошибаются те, кто поверил, будто после 11 сентября, когда таранили Америку, история отстояла себя и свое

право развиваться таинственными собственными путями, отдельными для Запада и Востока, Юга и Севера. Напротив, события 11 сентября, и сейчас это все заметней, еще больше подтолкнули стремление к строительству полностью контролируемого глобального мира. И, чтобы не оказаться в нем, требуются не только молодежные протестные мятежи, но и решительная воля государств. Мир изменился, и национальную самобытность какого бы то ни было народа за «железным занавесом» сегодня не удерживать. Границы разгораживаются, валюты сливаются, диктат объединенной империи сильных по отношению к слабым и непокорным становится все более беспощадным.

Глобализация – это все вместе и все против всех, жестокий закон естественного отбора и ступенчатого выживания, звериная конкуренция, могила всего индивидуального и заповедного, окончательная инфильтрация души и воли. Вновь подступает со своей страшной материальной правдой Великий Инквизитор из «Легенды...» Достоевского:

«О, никогда, никогда без нас они (простолюдины. – *В. Р.*) не накормят себя.

Никакая им наука не даст хлеба, пока они будут оставаться свободными (свободными в своей вере и любви к Христу. – *В. Р.*), но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: “Лучше поработите нас, но накормите нас”. Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого – вместе немыслимы... Убедятся тоже, что не могут быть никогда свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, – обращаясь к Христу, продолжает Великий Инквизитор, – но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным?»

И вот в этот-то оголенный циничный мир, где идет торгашеский промен духовных даров на дары веществен-

ные, шантажируют хлебом и выдают индульгенции на жизнь, где «нет преступления, а стало быть, нет и греха», а права человека выше прав народа, в эту плавильную печь, где из всякого своеобразия, и прежде всего из национального, вырабатывается стандартный продукт, – вот туда-то и вталкивается теперь торопливо Россия для соответствующего обжига и формовки. И делается это с той же рьяностью и бесшабашностью, с какой уже проводился в начале минувшего века социальный эксперимент, – не потрудившись заглянуть в личную карточку народа: кто он и откуда, что для него хорошо и что нет.

Все проводившиеся в 90-е годы реформы устраивались в России по чужим образцам, они были не исходящими изнутри, а привнесенными извне и даже поверх чужих норм добавлялось с избытком – в расчете на то, что наш брат упрям, его надо ломать наверняка. Подавляющее большинство населения не сделалось от этих ломок ни энергичней, ни педантичней, как американцы или немцы, а от жестоких ударов по самым чувствительным местам согнулось от боли пополам и до сих пор не может распрямиться. Большинство обеднело, психически и морально изнурилось и потеряло последнюю веру в государство. «Безгосударственных» людей, не имеющих ни прав и ни обязанностей, ни привязанности и ни благодарности, одичавших и отчаявшихся, в России сейчас не меньше, чем было их во времена лжедмитриев. Государство отвернулось от своей великой национальной культуры, и она, как побирушка, в бессилии ужимаясь и теряя голос, пробавляется подаянием. Литература, два века бывшая естественной и нравственной школой народа, отпихнута, словно натерший шею хомут, и ее место с гиком, лаем и непристойностями заняла подворотня. Уберегшаяся Россия, также сторонящаяся государства, пытается спастись от всего этого содома общинами с христианским, полусветским-

полумонастырским уставом, да ведь известно: лжа, что ржа, без державной подмоги тлит любые крепости.

Казалось бы: что было, то было – не убиваться же теперь по отшедшему! Если бы оно только было отшедшим. Ничего подобного: продолжается так называемое углубление реформ. Углубление – это посягательство не только на государственные основы, но на отечественные, освященные традицией глубины, откуда есть-пошел со своими братьями русский человек. Готовящаяся реформа русского языка и образования (реформа образования уже началась в «экспериментальном», то есть замаскированном, виде) – как раз из этого ряда вмешательства в духовную генетику русской жизни и переключения ее в простую функцию. В последние времена действительность награждала нас за измену самим себе такими непристойностями, что от повторения их мы, похоже, разучились краснеть. Уже забыто, что президентскую предвыборную кампанию пять лет назад у нас проводили американцы, что сплошь и рядом американцы ходили в советниках и главных специалистах при подготовке российских реформ. Единый выпускной и вступительный экзамен по тестам – это изобретение американской педагогики в помощь своим оболтусам, не способным к обширному и творческому знанию, – так зачем же еще, скажите на милость, лучшее в мире образование, нуждающееся, разумеется, в финансовой поддержке, переводить на худшее, как не из подобоострастия к сильному, который показывает у нас себя хозяином?! И реформа русского языка с упрощенным правописанием – не для того ли сейчас идет вокруг него возня, чтобы американцам, внешним и внутренним, легче было составлять для наших ребятишек учебники и заменить Шахматова и Даля?! Прimitивно, скажете, глупо? А разве менее примитивно и менее глупо, но по последствиям своим не менее пагубно и уродливо менять на нас саму кожу, чтобы мы приличней выглядели пред светозарными очами Запада?!

Народы не делятся по сортности, второстепенных народов не бывает. Однако существует такое понятие, как ранг народа в истории. Этот ранг может усиливаться или ослабляться в зависимости от усиления или ослабления государства. Но народ всегда, в любых неудачах и несчастьях, будет иметь внутренние, духовные и физические запасы для восстановления своих сил и значения, покуда он остается самостоятельной и самодостаточной величиной, покуда опирается на свои исторические истоки. Но как только повреждается корень, а специалисты принимаются хлопотать не над его спасением, а над спасением занесенных в него вредителей, дело может закончиться печально.

Повторю в заключение: народ наш согласится и на дальнейшие претерпения, как это было после Отечественной войны, но уверьте его на родном языке, без лукавого акцента, во имя чего ему придется принять эти добровольные, выражаясь словом Шмелева, «кнутья». Это не его судьба – искать братьев за океаном. Братья у него уже есть.

2001

УЧЕНЫЕ: СВЕТ И ТЬМА*

«Велико незнание России посреди России». Эти бесмертные слова Гоголя не только не устарели – они приобретают в последнее время какой-то фатальный смысл и вполне могут быть подняты над зданием Министерства образования РФ и как оценка успеваемости по этому предмету, и как напутствие, с каким оно, Министерство образования, могло бы пойти на преодоление этого незнания. С еще бóльшим основанием гоголевские слова могли бы быть водружены над зданием Правительства России, но речь сейчас о школе, об образовании, о наших надеждах на завтрашний день.

* Доклад на XIV Рождественских образовательных чтениях.

Велико незнание России, велико непонимание ее, и велико уже ее неузнавание. «Эти бедные селенья, эта скудная природа – край родной долготерпенья, край ты русского народа!» – картина, конечно, безрадостная, но не безнадежная, тайно светившая обещанием будущих перемен и «в наготе своей смиренной», которую не поймет и не оценит «гордый взор иноплеменный». Сегодня этот «гордый взор иноплеменный» со злорадством перемещается в нас.

Удивительно, как имя, название, звучание любого дела и учреждения, тем более учреждения, представляющего собой один из основных и жизнетворных органов государственного организма, как это преломленное название способно неизбежно перейти в суть учреждения и преломить его назначение. Было когда-то Министерство народного просвещения и просвещало молодые поколения, давало им вместе с науками тепло отеческого наставления и отеческой веры, напивало родным духом и расчищало отечественные родники с живой водой. Вероятно, это просвещение не было идеальным и не было полным, но по направленности, по задачам своим оно было верным – помочь наполниться своим и родным настолько, чтобы вместе с физическим возрастом без болезненных наростов шло возрастание духовное, то есть заложить прежде в личность национальный камертон, а уж затем пускать ее в море знаний.

Сейчас у нас Министерство образования, сохранившее свою вывеску еще с советских времен. Как бы не скрывающее своей цели преобразовать, перестроить, переоснастить поступающие в его распоряжение души на принятую стандартную колодку. При коммунизме это была идеологическая колодка, и привела она к такому уродливому явлению, как «образованщина», которое в конце концов и привело прежнюю государственную систему к трагическим последствиям. Теперь эта колодка рыночная. При коммунизме почва не отвергалась оконча-

тельно, хотя использовался только верхний ее слой; теперь и почва, традиция, вековое народное бытие подвергаются тотальной и безжалостной обработке, чтобы не повторить ошибок коммунизма, когда из них чудом принялась прорастать, казалось бы, окончательно вбитая в прошлое тысячелетняя Россия.

В этом и суть навязанных нам реформ: выдернуть, как морковку, современную Россию из России глубинной, придать ей товарный вид и поставить за прилавок. Пушкин сказал о Петре:

Не презирал страны родной –
Он знал ее предназначенье.

«В самом деле, – писал В. Розанов в статье «Представление о России в годы учебной реформы» (учебная реформа того времени и дала Розанову толчок поразмышлять шире о путях российских реформ), – в самом деле, успех реформы Петра Великого – в том, что “препобедила всякую тьму”, заложен был не только в силе, которую дало ему его положение, и не в одной его огромной решимости, но и в этом особенном его отношении к преобразуемой стране, на которое указал поэт... Петр не испуга пришел к нам, он встал к России не в положение инородной силы...» «“А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога; жила бы и цвела Россия” – так в памятных словах перед Полтавой он определил себя, указал служебное, покорливое, второстепенное свое значение около России. Из этого взгляда на себя вытекла простота его приемов. Он боролся с Россией, но... на русской же почве; с нравами, но русским же нравом; с обычаем, но не покидая русской своеобразности; и, наконец, он сам, он весь в лице своем, движениях, манере был новый русский быт, и только более свежий и, главное, более правдивый, чем тот окаменевший в своей условности и формализме прежний быт... Россия старая, Россия

предания оказалась бессильной против него, потому что он не хотел и не требовал от нее ничего, кроме правды в ней же самой, в ее же вере, в ее притязаниях...»

Но Пушкин, согласившийся с Петром, и сам был реформатором. Всякая внутренняя реформа, как исправление сложившегося порядка вещей, который становится громоздким и неуклюжим, происходит в свое время, словно бы позволением свыше. Трудно представить, чтобы державинская ода «Бог», как и оды Ломоносова и ранние оды Жуковского, были произнесены пушкинским слогом, без той торжественности и колокольного звона в поэзии, который был духом XVIII века. Нельзя представить, чтобы «Слово о полку Игореве», наша национальная святыня, звучала бы как-то иначе, чем на языке своего времени, в глубинах нашего сознания этот язык сохранился, и мы вспоминаем его тотчас же, как переносимся в XII век, а все множественные переводы «Слова...» последних десятилетий вызваны не разъяснением смысла, который давно разъяснен, а желанием прикоснуться к этой святыне авторским пером и взять уроки мастерства.

Иван Ильин, говоря о Пушкине как реформаторе языка, отмечает, что он, Пушкин, «нашел точную меру, верный критерий, чтобы от многого отказаться, но и многое сохранить, и ровно столько, сколько нужно». «Пушкин, – продолжает Ильин, – один из тех, кому по плечу любая свобода и оторванность от корней, поскольку они обладают материей и силой, чтобы независимо и свободно укорениться в Боге».

Но чтобы «укорениться в Боге», оторванность от почвы и не нужна, от почвы к Богу ближе. Вообще вся наша дворянская литература XIX века, и в особенности помещичьего дворянства, на удивление почвенна – и Толстой, и Тургенев, и Бунин, но это уже удобренная просвещением почва, нагретая не только солнышком, но и культурой, не потерявшая тем не менее своего природного состава.

«Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» – воскликнул Пушкин, слушая Арину Родионовну. Он-то воскликнул, и восклицание это дошло до нас, но как важно, чтобы в школе оно прозвучало с той же интонацией, искренностью, радостью и удивлением, с какими было произнесено поэтом.

Сохранились записи Ф. М. Достоевского при пересечении им пограничной станции по пути в Европу, имеющие отношение к тогдашнему образованному классу. Достоевский размышляет: «Как еще не переродились мы окончательно в европейцев?.. Ведь не няньки же и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было бы Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? Вот теперь много русских людей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина – там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек! Ведь это пророк и провозвестник. Неужели же в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя; и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротиться».

Прошло полтора столетия, и слова Федора Михайловича «хоть и оторвешься, так все-таки назад воротиться» потеряли свой утвердительный смысл. Возвращаются изредка и ныне, но возвращаются с заграничными паспортами, как послы чужих порядков, для того, чтобы и в России отрывать от России.

«Есть в природе закон, – это опять из статьи В. Розанова о принципах образования, – есть закон, по которому два луча света, известным образом направленные, взаимно интерферируются и вместо того, чтобы производить усиленное освещение, производят темноту; есть

нечто подобное и в душевной жизни человека: в ней также интерферируются образующие впечатления, если они противоположны по своему типу, и вместо того, чтобы просвещать ум и сердце, погружают их в совершенный мрак. Это мрак хаоса, когда сведения есть, когда знаний много и, однако, нет из них ни одного дорогого, не осталось и тени веры во что-нибудь, убеждения, готовности, потребности, – кто теперь не узнает его в себе, не скажет: это – я, это – моя пустота».

Куда современной и злободневней: это – я, это – моя пустота. Образование наше строится по принципу подобных взаимоисключающих и взаимопоглощающих лучей, один из которых традиция, остатки традиции, это я, и второй – агрессивная инновация, это моя пустота. Казалось бы, образование – слуга двух господ, однако симпатий своих оно не скрывает и все решительней дает понять «старой закваске», что права ее на молодое поколение подходят к концу. И вот уже в школьных программах напротив одного ряда другой, несовместимый с первым и приготовленный для его замещения: напротив Пушкина свой Пушкин, к примеру, Бродский, напротив Есенина – Высоцкий, напротив Достоевского – к примеру, Сорокин, напротив Толстого с «Войной и миром» свой Толстой – к примеру, Войнович с «Чонкиным», напротив Белинского – Ерофеев... Я говорю «к примеру», потому что имена второго ряда могут меняться, но ни в коем случае не меняется сама его духовная составляющая. Фигуры эти, разумеется, могут быть в литературном процессе, и они там есть, но зачем же их включать в рацион материнского молока, ибо школьное образование и есть материнское молоко, продолжающее необходимое кормление с пеленок, и если оно не отвечает этому назначению и этому составу, если оно превращено в молоко хищной волчицы – так чего же тогда и ждать?!

Рука вершителей образования поднимается уже и на «Евгения Онегина», и на «Героя нашего времени», и

на «Тараса Бульбу». Стандарты по литературе все больше и больше теснят Пушкина, Тютчева, Фета, Некрасова, Блока, Есенина, выброшены «Конек-Горбунок» Ершова, «Аленький цветочек» Аксакова, «Снегурочка» А. К. Толстого, не стало Кольцова, прежних народных былин и сказок. Подмены, подмены, подмены... «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!» – поклялась в блокадном Ленинграде Анна Ахматова, тоже теснимая теперь в школе, – и тогда от внешнего врага действительно сохранили, потому что учились по старым учебникам.

«... Возврат к национальным традициям – вот истинная новизна для нашего времени», – сказал Георгий Свиридов, но сказал, кажется, уже в пустоту, почти никто его не услышал.

Чтобы прикрыть и оправдать безграмотность, вводят тесты-угадайки; чтобы не обнаруживать хитроумных нарядов школьной экипировки, не способной прикрыть дыры, притащили из чужих краев единый экзамен. А с родины этого изобретения, этого единого для выпускников школ и поступающих в университеты, все чаще звучат крики о беде: тамошние Митрофанушки и после университетов не умеют писать и едва-едва читают по складам. Причину видят в отступлении от фундаментального образования в сторону прикладного, хотя она, конечно, глубже и кроется в самом обществе, но ведь и у нас это прикладное и непрофильное густым забором, через который трудно продаться, огораживается теперь от основного. «Зачем ума искать и ездить так далеко?» Нет ответа на эти классические вопросы, а есть задание и есть его исполнение. И еще: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа». Кто мог бы представить, что слова эти, должны говорить о величии России, могут быть применены к ее возвратному ходу, к пресмыкательству перед другими народами и государствами, которые прежде уважительно посторанивались и уступали ей дорогу!

Еще Ушинский говорил о необходимости сделать русские школы русскими. Стало быть, и в его время в этом была потребность. Сделать русские школы русскими – не значит уткнуться в русское и ничего больше не признавать, мы шире своей колыбели, и об этом прекрасно сказал Достоевский в своей пушкинской речи. Но для того чтобы принять в себя богатство мировой культуры и науки не для складирования только, а для питания и развития, материя души у русского человека должна быть русской и православной. Такими были в совершенстве своей личности Ломоносов, Менделеев и Вернадский, Пушкин и Тютчев, Толстой и Достоевский, Аксаковы и Киреевские. Русскими остались тысячи и тысячи ушедших на чужбину после Гражданской войны, удивляя просвещенные страны, такие как Франция и Германия, неповрежденностью и цельностью своих ярких талантов. «А за то, что нас Родина выгнала – мы по свету ее разнесли» – да, разнесли и души, и песни, и особенности нашего быта, и уживчивость, и говор, и веру. Там, на чужбине, созданы были и «Жизнь Арсеньева», и «Лето Господне» с «Богомольем», и многое другое, без чего нашу культуру и не представить.

В воспоминаниях о Бальмонте Шмелев записывает: «Лет шесть, по полугоду мы жили рядом... сидели на излучине у речки – тенистые берега, коряги, сосны, пески и кулики... Я слышал о России, все чаще о России. Мы ее искали, вспоминали... Осень... близка полночь... Вдруг шорох, неурочные шаги... И оклик тихо: “Вы еще не спите?” А, ночные! Еще не спим. И мы беседуем, читаем. Он – новые сонеты, песни... Я – “Богомолье”, приоткрываю детство, вызываю. Мы забывались, вместе шли... в Далекое Святое, дорогое».

И кто бы мог представить, что пройдут годы, и мы, не покидавшие Родины, будем так же тосковать о России посреди России, хвататься за нее, гонимую, искать закливающие слова и замолкать в отчаянии. А вернувшийся на

Родину в гробу Иван Сергеевич Шмелев мог бы гордиться тем, что его «Лето Господне» предложено теперь и школе, если бы... если бы школа имела один голос, одно направление, как в его детстве.

Русский язык, отечественная словесность и отечественная история – когда бы оберечься этим триединством в их нераздельности, да еще с молитвой, – встали бы мы на путь спасения.

Хрестоматийные слова Тургенева о русском языке хорошо известны, мы в свою пору заучивали их наизусть, и я бы не стал их повторять, если бы не отчетливое ощущение, что именно для нашего, настоящего времени и вызрели они в полном смысловом звучании. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины (разве мы не на пике этих сомнений и раздумий?) ты один мне поддержка и опора (разве не так?) о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?!» Не будь тебя – кажется, и дыхания уже не было бы... Как это верно и какая это живительная поддержка всех поколений русского человечества, которую не оболгать и не запретить, не спрятать и не убить, хотя и пытаются оболгать, хотя и пытаются переговорить и перекричать иными наречиями, зачернить грубостью и дикостью.

И все это было бы ничего, не опасно и никакого вреда нашему языку принести не могло бы... если бы мы читали. А читают у нас все меньше. Если бы, как в чистилище, заглядывали мы каждый день в книгу безупречной чистоты и восстанавливали свое дыхание и кровообращение, свое богоданное чутье на хорошее и плохое... Чтение доброго и прекрасного, вздымающего душу, – это тоже молитва, пусть и мирская, но совсем теперь близкая к Божьей...

Пушкин во имя красоты, гибкости и чуткости русского языка снял с него некоторую оскомину церковнославянского, но не вывел из храма и умел настроить свою

лиру на молитвенный лад. Этот лад не покидал потом никого из наших больших мастеров, однако требовал все той же настройки. Шмелева нельзя назвать реформатором языка, но в свое суровое время он сумел придать ему редкую, небывалую дотоле, дружественность, ласку и даже умилительность – точно сам язык, пораненный во вражде и войнах, высмотрел Шмелева в каких-то дальних и укромных своих палестинах и вручил ему этот дар всегда теплого и сердечного звучания. Иван Шмелев – это Алеша Карамазов в русском литературном братстве XX века, в котором, как в романе Достоевского, были разные персонажи, – Алеша, явивший монастырскую душу всепонимания и прощения.

Воистину это волшебство: нет ничего в человеке, ни в чувствах его и мыслях, ни в самых потайных движениях души, ни во вздохе его и взгляде, ни в минуты отрады или тоски, которые бы наш язык не назвал. Нет решительно ничего ни в человеке, ни вове его, перед чем бы он остановился в бессилии: нет, не могу. Он может все, длань его объемлет и малое, и большое, и для тех, кто принят им в его царство, он не инструмент, как легкомысленно полагают, а учитель и духовник, всемогущий владыка несметного богатства. Не знаю, есть ли в мире еще язык, подобный нашему; судя по почтению и удивлению, с какими относятся всюду к русской литературе, пожалуй, и нет. Мы счастливые избранники, и не хочется даже предполагать, будто мы потеряли способность понимать, что нам дано, и утратили чувствительность к красоте и силе нашего языка, – это было бы самоубийством.

В пору моего школьного ученичества было принято и заучивать большие отрывки из программных литературных произведений, и зачитывать их перед классом. Никогда не забуду своего неожиданного и счастливого преобразования, происшедшего со мною, когда вызвали меня к доске прочитать отрывок из рассказа И. С. Тургенева «Певцы».

«Он пел (он – это Яков, мужик, в певческом поединке взявшийся исполнять народную «Не одна во поле дороженька пролежала». – В. Р.). Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня... Я оглянулся – жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иванович потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого Барина, из-за совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился...»

Дома, готовя урок, я прочитывал этот отрывок спокойно, но перед классом, произнося его, я вдруг перенесся туда, в этот кабачок, где звучала песня, и донесшийся въявь голос Якова вдруг пронзил меня, сердце мое захолонуло от восторга, словно бы проклюнулось,хватило воздуха, и к глазам тоже стали подниматься слезы, голос мой сорвался и умолк... Потом те же счастливые слезы проникновения в родное и глубинное я испытал при чтении рассказа И. А. Бунина «Косцы», где рязанские мужики за покосным трудом, встав в ряд и размашисто водят литовками, пели в голос... Как пели, как пели, вынося и вздымая в небеса какое-то неслыханное счастье быть русским человеком... И до сих пор поют, когда находятся слушатели. Как много подобного чуда, подобного волшебного прозрения души в нашей литературе! Это больше, чем художественность, это – редчайшее постижение заложенной в наш народ тайны.

Вольно или невольно, это особый разговор, мы подошли сегодня к черте, когда школа становится не частью

жизни, одной из многих частей, а последней надеждой на наше национальное существование в мире. Никогда еще так не нуждалась школа в грамотном учителе – грамотном не только в своем предмете, но прежде всего и свыше всего, если так можно сказать, в науке отечественного обоняния и осязания, с которых начинается гражданство. Школьное образование сегодня – это служение, и служение тяжкое, до самоотвержения и креста, и кто не готов к нему, тому лучше отойти в сторонку и заняться другим делом. Сегодня еще не поздно, есть все признаки того, что и со школьных парт, и в вузовских аудиториях чают и ждут такого учителя. В последнее время мы часто вспоминаем нижегородское ополчение, спасшее Россию в Смуту XVII века, – новая смута теперь крадывается в нас самих, в народ наш, пришла пора вставать против нее, мобилизуя все сохранившиеся у нас здоровые силы. Хватит оглядываться с опаской, что подумают о нас, хватит, – надо думать о своем спасении, никто в этом жестоком мире нам его не подарит. Как говорил Достоевский: «Как только мы почувствуем себя русскими и православными, тотчас все и устроится».

2006

ЗЕМЛЯ*

Вера. Земля. Человек. Три главных, коренных слова русской цивилизации, три основополагающих ее понятия, три кита, на которых она стояла и пока еще удерживается, – всеобъемлющее единство нации и государства.

«У каждого народа есть Родина, но только у нас Россия», – убежден был русский философ Г. Федотов, уверенный, что словами этими нельзя никого озадачить в том роде, будто точно так же только у француза есть Франция и только у немца Германия. Нет, полного уподобления с

* Выступление на X Всемирном Русском народном собрании.

кем-либо быть не может; Россия для нас не просто место рождения, воспитания и проживания, место приложения своих сил и сыновьего преклонения – она полная самостанность нашего естества и духа. Только в России, крестьянской стране, в одном ряду с окружающим нас природным миром мы имели как бы почвенное, растительное происхождение: в свой черед всходили из засевов, как солнышко, впитывали веру, на общем поле поднимались в народ, и сами давали засева и питали государство...»

Не было в мире народа, который бы так чувственно и родственно поклонялся матери родной земле и так органично ощущал ее в себе. Но и не было в мире народа, который бы, подобно нашему, принял веру как дыхание и назвался именем Христа, Только у русского поэта могли выдохнуться строки: «...всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя».

Два поля обрабатывал крестьянин с одинаковым усердием, от двух насущных хлебов кормился, и ни одно из них не запустил, пока жив-здоров был сам. Деревня – отечество наше еще с беспамятных времен, оттуда прежде закона пошли обычаи и традиции, скрепившие народ воедино лучше закона в его хозяйственном, нравственном и обрядовом порядке жизни. Перед незаслоненным ликом красоты мира Божьего деревня выпедала сладкие песни и творила язык...

Подвиг творения народом русского языка невозможно ни переоценить, ни осознать в полной мере. Перед этим сокровищем, перед несметью самородного своего богатства немеет и сам язык: способный назвать все и вся, и даже больше, чем все и вся, под размер наших земных просторов и неохватной нашей души, перед собственной громадой и великолепием он невольно тушется, говоря словом Достоевского, не в силах выразить свое состояние.

Дело творения языка сейчас, кажется, кончено или почти кончено; все, чем он прибывает сегодня, имеет чуж-

дое происхождение и вонзается в наш язык, как шипы, не давая выговаривать чисто, а ведь из поколения в поколение, из рода в род шла эта узорная ткацкая выделка сказывания сама собой, от душевной художественности и природного чутья. В. И. Даль замечает: «Ни чужие языки, ни грамматические умствования не сбивают его (мужика. – В. Р.) с толку, и он говорит верно, правильно, метко и красно, сам того не зная...»

Русский язык, разумеется, имел не только самородный источник; в единой, сросшейся клади его мы и сами не всегда способны замечать заимствования. Но как только окунаемся мы в себя, в свои потайные созерцательные глубины, как только душевное наклонение убирает все лишнее – родниковой, чистой в обрамлении непорочного языка становится сама мысль, самое счастливое присутствие в мире.

Вот отрывок из дневника Б. Шергина: «Попаду в деревню, и нет у меня сытости глядеть на эту светлооблачную небесность, на эти тропиночки меж дерев, на эти ряды белеющих, как свечечки, берез... Голуби на серебристой крыше сарая, стайка воробьев на изгороди. А по сторонам тропинки, ромашка. А вдали стена темных, важных, неподвижных елей. Нет сытости слушать и внимать шелесту листвы, шуму ветра, шороху дождя. Музыка тонкая и сладкая, вожделенная, любимейшая!

Иной гул хвойного бора, совсем иначе шумит березовая роща. Вокруг нашего дома темнеют ряды елей и белеют купы берез. Под ними кусты ягодника и трава-мятлик. При ветре они все будто разные инструменты симфонического оркестра. Разные, но звучат согласно и стройно. А речь и говорья дождя... Уж столько у дождя разговору со старинною крышею нашего домика! Видно, давно знакомы. Сначала редкие капли обмолвятся словом да помолчат. А потом все заговорят, зарассказывают спешно. Тучка-то торопится, деревень-то много надо облететь, каплям дожде-

вым многое надо обсказать: то у них и спешная говóря-та. Ино в ночи долгую повесть дождь-то заведет.

Я лежу да внимаю. Осенний дождь слушать люблю. Он мое мне рассказывает. Мерная говóря дождя, особливо осеннего, покой в душу приводит. Дождь-то знает, что я его слушаю, ведает, что я слушать его люблю, и он подолгу со мной свою беседушку ведет, все мне обскажет. Мое говорит, моему уму норовит, речи-беседы дождей, радостных вешних или грозowych летних, или осенних тихомерных, всегда они, эти речи дождевые, уму-разуму и сердцу-хотению желанны и любезны».

Я сознаю, что представлять столь высокому собранию подобные слишком уж обыкновенные и как бы «погодные» настроения – надо ли? Но это наша живая пуповина от матери родной земли, наше неотмершее чувствовалище. Из них, из этих незадачливых, казалось бы, проникновений в плоть природного мира, из нашей свойскости с ним, из способности внимать речам дождя и ветра, окунаться в невыразимом счастье самоотречения в солнечные закаты и восходы, уноситься с земли в полыхающее звездное небо – из всего этого и составляется наша особая мироощутительность, наша органичность, наша сыновность.

Эти наши внутренние просторы и грады зазвучали и засветились потом в литературе, да и во всех художествах, а также в философии, которая не стала и не могла стать никакой иной, кроме как духовной. Но еще прежде эти дары помогли нам воспринять веру православную с такой искренностью и глубиной, будто мы всегда ее чаяли; и это потому, что гнездовья наших душ для встречи с нею были подготовлены заблаговременно. Деревня, в определении Даля, – крестьянское поселение без церкви. Так оно чаще всего и было, так и есть.

Но вот удивительное свидетельство из времен Отечественной войны, притом не с нашей, а с немецкой стороны,

документ, имеющий отношение к угнанным в Германию на физические работы женщинам. Цитирую: «Из Бреслау один начальник отдела учета доложил: остербайтеры должны у меня регистрироваться для заведения на них карточек. При этом они почти все заявляют о своей принадлежности к Православной Церкви. При указании, что в Советском Союзе господствует безбожие и пропагандируется атеизм, они объясняют, что это имеет место в Москве, Харькове, Сталинграде, Ростове и других крупных промышленных центрах; в сельской местности советские русские являются очень религиозными. Почти каждый из опрошенных русских доказывал свою христианскую веру тем, что имел с собой цепочку с крестиком». И второе свидетельство из того же Бреслау: «Фабрика киноплёнки “Волырен” сообщает, что при проведении на предприятии медосмотра было установлено, что 90 процентов восточных работниц в возрасте с 17 до 29 лет были целомудренными. По мнению разных немецких представителей, складывается впечатление, что русский мужчина уделяет должное внимание русской женщине, что в конечном итоге находит отражение также в моральных аспектах жизни».

Церковь в деревне, разумеется, не помешает, казачьи станицы без церкви не жили, но и в отсутствие ее сама пропитанная верой почва, обнесенная везде и всюду житиями святых, внушала и поддерживала церковность как верховный закон народного бытия. Вера плодоносила здесь вместе с хлебом и здоровой консервативной жизнью, вместе со страдными циклами, в которые вводили и из которых выводили красные церковные дни, чтимые беспрекословно.

Еще столетие назад Россия на 90 процентов оставалась крестьянской страной. Это значит, что приток в города шел из деревни. Испокон веку приносила она туда свою силу, чистоту, трудолюбие, здоровье и умелость. Из былины доносится: «Гой еси, Чурила Пленкович! Не подобает тебе в деревне сидеть, подобает тебе, Чурила, в Кие-

ве жить, князю служить!» А наипервый русский богатырь Илья Муромец, ставший русским святым?! Шли из деревни Ломоносовы и Менделеевы, Аксаковы и Лесковы, Некрасовы и Есенины, Коненковы и Васнецовы, Мусоргские и Рахманиновы; крепостная Параша Ковалева стала великой оперной певицей Прасковьей Жемчуговой, а затем графиней Шереметевой; Ваня Вениаминов из глухого села на реке Лене возвысился в своем великопастырском служении до святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Перечень этот можно длить и длить до бесконечности. В советское время, когда крестьянскому происхождению открылись дороги в университеты и академии, герой Василия Шукшина со свойственной ему горячностью говорит об этом так: «А в чем дело вообще-то? Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь – выходец из деревни. Што ни фигура, понимаешь, так – выходец, рано пошел работать».

Все это говорится не для того, чтобы возвысить деревню, идеализировать ее и доказать ее первенство в судьбе России. В этом нет необходимости. И город, и деревня всегда оставались на своих местах, как их Господь и власть устроили, каждая сторона исполняла свою службу. Одно не вызывает сомнений: деревня всегда была надежным фундаментом России, видимой и невидимой твердью, кладом, где всего-всего Богом и человеком заложено в избытке, тылом настолько бескрайним и могучим, что не могло быть ему, казалось, никакого износу. Сама земля возвращала своих детей на корне здоровом и бесшатком и закладывала в них силы и таланты, свойственные духовной плоти России.

Оттого и повелось: потребовалась молодой Петровской академии защита от засилья немцев – и по тому же перекастистому зову, который скликал былинных богаты-

рей, вышел из поморских лесов Михайло Ломоносов; зачастили в XVIII веке европейские сочинители насмехаться над Россией: не дано-де русским даже до мышеловки додуматься – и самоучка Иван Ползунов первым в мире разработал проект паровой машины; приповадились в послереволюционной России литературу склонять то к местечковому, то к комиссарскому языку – и поднялся Шолохов с «Тихим Доном»; захороводились, заплясали в музыке нотки с рожками – и из курского песенного края выступил Георгий Свиридов; в самую лихую годину, когда над Отечеством нависла угроза, быть ему или не быть, пришел на передовую Георгий Жуков...

Мужика в деревне не надо было учить патриотизму – он был у него в крови; мужик не нуждался в понуждении к национальному чувству – он весь из него состоял, не всегда, впрочем, разбираясь, что это такое, но исполненный им настолько, что братство в многонациональной российской семье принималось им так же естественно и дружественно, как всякая необходимая богоданность. Как не преклониться перед мудростью народной, которая века и века назад указала направление грозящей России опасности! До чего просто и до чего верно: сверху небо, снизу земля, а с боков ничего нет – оно и продувает. Боковины свои мы и не сумели охранить. Это еще пушкинская мысль применительно к традиции: что пребывает в России, то ко благу ее; что не вмещается – то соблазн и опасность.

От славянофилов и до Столыпина звучало предостережение: «Нельзя к русским корням и русскому стволу прививать чужестранный цветок» – и не предостерегло. Один из последних славянофилов XIX века А. Кошелев, работавший над программой освобождения крестьян, уверен был: «Скорее вода пойдет против своего обычного течения, чем русский поселянин может быть оторван от земли, упитанной его потом». «Современники, страшно!» – по другому поводу воскликнул Гоголь, но слова эти поднебесным на-

бато́м бьют и бьют скорбно над бесконечным кладбищем, в которое превратилась русская деревня.

Гробами торчат брошенные людские жилища, в руинах лежат разграбленные фермы, гаражи и склады, поля заросли кустарником и осинником, овраги, как гигантские змеи, наползают на вековую обжить; последние поселяне, кому некуда бежать, с лета и до поздней осени бесконечными живописными колоннами выстраиваются вдоль больших дорог, торгуя не плодами земли, а плодами тайги. Деревня разрушена, обесцечена, вывернута наизнанку и выброшена на свалку, а свалка эта занимает теперь пол-России.

Невеселую эту картину гибели русской деревни нельзя, конечно, назвать повсеместной: и сеют еще, и пашут, и урожай в богоданные годы собирают неплохой. Уцелела деревня в Башкортостане, на Белгородчине и Орловщине... Трудно отделаться от впечатления, что уцелела благодаря стоящим на страже и окаменевшим в чистом поле былинным богатырям – иное, не сказочное, объяснение как-то не дается. Распахиваются заново кое-где и запущенные поля, сами себя принимают кормить на арендованных землях промышленники, не надеясь на государство, которое по рукам и ногам, как в полоне, крепко-накрепко стянуто рыночными путами.

Но у промышленников и производство зерна промышленное, и называют они его не хлебушком, а продукцией, и ни лелеять, ни приласкать его не умеют. В теперешнем хлеборобном деле земля отчуждена от пахаря, а пахарь от земли, прервалась меж ними таинственная связь, исчезло родственное сцепление, произошло обоюдное чувственное остывание.

Чтобы остаться деревне деревней – надо вернуть весь прежний строй бытия и миропорядка, поэзию, обычаи, вековечное чутье на доброе и дурное, способность рожать детей в неизносной рубашке все того же крепкого покроя, к которому никакая зараза не пристанет. Возможно ли это

при существующем сегодня в нашей стране государственном строении чужой архитектуры и чужого духа, трудно сказать. Возможно ли, когда деревню не спасают, а добивают, изымая из нее последние общинные крепости – фельдшерские пункты, библиотеки, школы?

Государство, пока оно обитает на земле, вынуждено и опираться на землю, другой опоры у него нет, но это опора не живой ногой, ощущающей токи тысячелетней почвы, а мертвым протезом, культей. Живая нога отмерла, атрофировалась от бездействия и глухоты. Но государство, кажется, этим мало озабочено. Оно, как вахтовик-остарбайтер, продолжает качать нефть. А на голой нефти, оставив в небрежении и поле, и все иные труды, которыми кормилась и строилась Россия, можно далеко укатить, так далеко, что и Россию потом не найти.

2006

VI В ПОИСКАХ БЕРЕГА

В СУДЬБЕ ПРИРОДЫ – НАША СУДЬБА

Говорить сегодня об экологии – это значит говорить не об изменении жизни, а о ее спасении. Не стану повторять известные истины о приближающейся катастрофе, мы их не только знаем, а чувствуем их кожей, как при приближении к огню. Говорить сегодня об экологии и в десять раз легче, и в двадцать раз труднее, чем десять лет назад, когда литература оставила последние упования на воздействие своей нравственной молитвы и на то, что сильные мира сего тоже внимают книгам. Легче сегодня говорить об экологии потому, что не надо никого убеждать в присутствии, так сказать, проблемы. Она вопиет на каждом шагу случаями массовых отравлений, примерами старчества в наших детях, проектными ошибками, обрекающими людей на тяжелые заболевания, изгоняющими их с родных мест, непрекращающимся обеднением флоры и фауны, усиливающимся заражением воздуха, почв и вод, заражающих ядами, в свою очередь, и нас, и т.д., и т.д., и т.д.

Но сегодня и труднее говорить об экологии, потому что происходит постепенное привыкание к опасности, ее обживание. Нарастающие год от года цифры, свидетель-

ствующие о поражении среды обитания, перестают производить на нас впечатление. Кроме того, экология поднялась в правительственные кабинеты, зазвучала в исходящих документах, принимаемых законах; ее язык усвоили в природозагрязняющих министерствах и ведомствах. Наконец был создан комитет по охране природы – Госкомприрода, природозащитное дело поднято на небывалую высоту и уравнено в правах с делом производства химических удобрений и белково-витаминных концентратов. Председателю Госкомприроды отныне позволено на ответственных заседаниях устроиться где-нибудь неподалеку от товарища Васильева – руководителя Минводхоза, того самого природорадетеля, который изменил карту Арала, пытался повернуть вспять неправильно текущие северные реки и, судя по всему, как собирался, так и сделает, который щедрыми поливами вывел из севооборота миллионы гектаров земли, чтобы трудящемуся человеку меньше гнуть на плантациях спину.

Никто сегодня не против спасения природы, только вот незадача – она, проклятая, никак не идет нам навстречу, не хочет спасаться. В одних это вселяет отчаяние, в других – равнодушие, в третьих – усталость. А после того как мы пережили Чернобыль, нас уже трудно испугать какой-либо новой экологической бомбой, как бы она ни рванула; и мы, похоже, принялись постепенно свыкаться с мыслью, что придется, как дрозофиле, иммутационно меняться, чтобы выжить.

Сначала долго делали вид, что ничего страшного не происходит, сейчас неуклюже и неподготовленно возмимся: что же делать, если делаем, но не делается, а завтра, похоже, объявим: «Поздно, спасайся кто может».

Я собирался говорить об экологии России, но вижу, что задача эта неисполнимая, вычленив ее из общей нашей беды, во-первых, не удастся, ибо экологические проблемы не признают границ и все республики без исключения –

одни больше, другие меньше – оказались заложниками господствующего у нас бесконтрольного централизованного хозяйничания и затратно-безвозвратной экономики. Где сыскались минеральные богатства, где были реки и доли для цветения жизни, то прежде всего и пострадало, во многих случаях пострадало без надежд на восстановление. И Россия с ее огромными просторами здесь не только не исключение, а с нее-то (да с Днепра еще) и началось это жестокое правило. Трудно показать сейчас обитель или угол с необезображенным ликом, а если где чудом и остались такие места, как, например, в Горном Алтае, в низовьях Енисея или на Лене, – то не минует и их чаша нашего общего бытия.

Мы планов наших по-прежнему любим громадь: в проектах Минэнерго на ближайшие три пятилетки строительство 93 новых гидростанций, которые выведут из тьмы света Божьего последние глухие углы.

Мы, писатели, немало ездим и видим. И для нас взгляд на физическую карту страны сопряжен с опасностью ее оживления. На глазах потускнеют зеленая, голубая и коричневая краски, обозначающие доли, реки и высоты; из знаков, указывающих на полезные ископаемые, повалят дымы; реки превратятся в сточные канавы с уродливыми утолщениями водохранилищ; еще недавно так музыкально шумевшие зеленые моря тайги высохнут и обезобразятся; круговороту воды в природе будет сопутствовать круговорот ядов. Уж коль мы заговорили о карте, то было бы неплохо вычерчивать ежегодно карты (или атласы) национального бедствия страны в целом и каждой республики в отдельности с указанием происходящих изменений.

Признавая в последние годы многие ошибки, которые должны способствовать моральному оздоровлению общества, доискиваясь до правды в ее изначальном смысле, называя поименно истинных врагов народа, мы, однако, отделяемся полуправдой в отношении своего экологического

положения, продолжаем покрывать авторов запланированных и незапланированных проектных ошибок, имевших трагические последствия для человека и природы, потакаем корыстолюбию министерств, миримся с производствами, которые нас травят и которые признаны вредными, как, например, производство белково-витаминных концентратов.

Заботясь о моральном здоровье, дело физического здоровья народа все еще отодвинуто на второй план, а это, разумеется, не может не сказываться на морали. Что бы вы сказали, если бы появилась опасность возрождения практики некоторых известных служб 30–40-х годов? Не правда ли, одна мысль об этом кажется сегодня кощунственной? Но почти бесконтрольная деятельность того же Минводхоза, имеющая для наших почв и вод столь же печальные результаты, не прерывалась десятилетиями и царствует поныне, что лишь с замедлением принесет нам мучения не менее тяжелые, чем физическая пытка. Разве это не умственная ограниченность нашей юной демократии, все больше и больше разнудывающей все нравственные и этические нормы человека и в последнюю очередь заглядывающей в будущее?

Судьба природы – одно из многих и многих подтверждений нашей любви к экстремальным ситуациям, случаям клинической смерти. Словно нами движет профессионально-спасательный интерес: довести до бездыханности, а затем бросаться на помощь. Так было на Арале, к тому дело идет на Волге, на Байкале, на Ладоге. Вот и Нечерноземье сначала обескровили, запустили, из Центра России умудрились сделать далекое-предалекое захолустье, а после, не жалея миллиардов, почти из небытия принялись вызволять, да не по-русски (или, напротив, по-русски – через пень-колоду), осваивая миллиарды, а не землю, вбухивая в нее без меры химию, сгоняя мужика и бабу в поселки городского типа, налегая на металлоконструкции, на бетон и тяжелую технику.

Кампания против «неперспективной деревни», пожаром прокатившаяся из края в край, – позор страны, где на горячие головы не нашлось разумных, которые бы воспрепятствовали тому пожару.

В России, куда пришелся главный удар кампании, это значило заявить о неперспективности России. Как знать, не доживем ли мы до того, что объявят о неперспективности Черноземья, о неперспективности Волги, многих районов Сибири, и это не будет обманом, потому что действительно перспектив остается все меньше и меньше, а любая помощь может опоздать. Назван же Арал «ошибкой природы», и объявлено же о неперспективности его спасения. До чего же все-таки изворотлив этот глагол «осваивать», как далеко он в своем смысловом значении пошел! «Освоить» – значит сделать своим, природнить. «Освоить ремесло» – научиться ему, «освоить землю» – войти с нею в равноправные трудовые отношения, «освоить деньги» – вот тут этот глагол принимается беспокойно ерзать: мол, знаете, это совсем не «присвоить» – это стоимость произведенных работ. Так и скажут «произведенных», освятив их и поставив рядом с плодами земли-производительницы.

За 20 лет, с 1966-го по 1985 год, Минводхозом произведено работ только по водной мелиорации земель на 130 миллиардов рублей, что составило 28 процентов всех направленных в сельское хозяйство на производственные нужды инвестиций. Ничего не скажешь, хорошо поработали. 23 миллиона гектаров за это время осушено и орошено, притом так старательно, что почти треть из них пришло в негодность. Присваивать деньги – это удел жуликов-одиночек и каких-нибудь мелких артелей. На государственном уровне деньги можно с тем же результатом осваивать.

Гомо и гумус – однокоренные слова, оба они происходят от индоевропейского обозначения земли. Когда-то земля и человек имели общее звучание, из чрева ее он вышел, частью ее он был. И если бы умел человек читать начер-

танные для него заповеди, он бы знал, что начинаются они с этого закона: ни хлеба, ни правды, ни утешения нет тебе ниоткуда, как от земли. И до чего же нужно одичать, переродиться современному *гомо* в собственного врага, чтобы в уничтожении гумуса искать себе благоденствия!

Благоденствие Минводхоза за счет той практики, которой он живет, даже в нашей стране, где не привыкать к загадкам, – тайна за семью печатями. Если значат у нас что-то общественное мнение, доводы ученых и специалистов, авторитетных комиссий – почему они ничуть не влияют на настроение этого министерства? Или у демократии и гласности руки коротки, чтобы дотянуться до тех верховодов, которые оберегают Минводхоз как родное дитя? Или его труды, представляющиеся нам по неведению антиприродными и антинародными, диктуются какими-то особыми государственными интересами, чем-нибудь вроде долговременных предупредительных мер против возможного изобилия?!

Если бы энергию, которую затратили писатели на противоборство с Минводхозом, удалось загнать в киловатт-часы, не понадобились бы атомные станции. Мы слишком рано в 86-м году праздновали победу, когда появилось правительственное постановление о приостановке работ, связанных с поворотом северных и сибирских рек. Это, как выясняется теперь, была пиррова победа. Мы должны были это подозревать, когда сразу за постановлением последовало награждение министра высокой наградой – своего рода компенсация за необходимость передислокации сил.

В этом зале два года назад выступал каракалпакский писатель Тулепберген Каипбергенов, рассказавший о трагедии Арала, которая потрясла нас и к которой Минводхоз имел прямое отношение. Арал объявлен зоной бедствия, а с голов руководителей Минводхоза не упал ни один волосок.

Сегодня не надо гадать, «чей стон раздается над великою русской рекой». То стонет сама Волга, изрытая

вдоль и поперек, больная, с рассольной водой, перетянутая плотинами гидростанций, распухшая от водохранилищ, с убывающим год от года знаменитым рыбным богатством. Глядя на Волгу, особенно хорошо понимаешь цену нашей цивилизации – тех благ, которыми человека заманили, как неразумное дитя, заменив ему радость бытия радостью эгоистических побед и достижений. Кажется, побеждено все, что можно было, даже душа, даже будущее; все больше горечь, как пепел из заводских труб, гнетет нам сердце и вязит ноги, но снова и снова выкликаются цели, должны облегчить нашу жизнь, и мы, сознавая, что они могут только отяготить ее, тем не менее идем за ними.

Четырнадцать крупных водохранилищ в бассейне Волги, несть числа малым, живого места на ней не осталось, а строятся еще две гидростанции – Чебоксарская и Нижнекамская. Строятся тепловые и атомные станции, химические заводы. Сюда, в Волгу, собирался Минводхоз повернуть северные реки, чтобы спасти от обмеления Каспий. Каспий лучше человека разобрался, с чем имеет дело, и отказался спасаться. Нашли другую причину – с помощью мощных каналов перекачивать волжскую воду на Дон и Урал для орошения полей.

Общественность не одержала победу с переброской рек. Переброска, в сущности, продолжается, лишь с другого конца. На Волге построено тринадцать каналов и строится еще шесть – Иловатский и Камышинский, Волга – Чограй и Волго-Дон-II. Так что же теперь еще, спрашивается, делать Минводхозу, если на эту пятилетку ему отпущено 50 млрд рублей капитальных вложений, если у него огромная армия строителей и техники, а разружаться ему никто не предлагает. Хоть на Луну, да вести каналы, осваивать миллиарды, занимать вооруженную до зубов армию. Этакие деньги на оздоровление земель не потратишь, их возможно вбухать только на разрушение.

Классический портрет в рост нашей экономике дал М. Я. Лемешев, доктор экономических наук, на примере железной руды и металла. «В нашей стране, – показывает он, – мы добываем 252 млн тонн руды в год. Это в пять раз больше, чем в США. Добывая руду так называемым прогрессивным открытым способом, мы разрушаем тысячи гектаров ценнейших черноземов, нарушаем гидрологический режим обширных регионов, создаем этим водный дефицит. Затем для обработки руды и получения металла строятся крупнейшие горно-обогатительные комбинаты и металлургические заводы. При выплавке металла загрязняются воздух и водные бассейны. Полученный металл идет на строительство циклопических прокатных станов. На этих станах прокатываются профили, из которых строятся гигантские роторные экскаваторы для добычи железной руды. Один такой “монстр” обладает, как нас убеждают инженеры, огромной производительностью, а на самом деле – чудовищной разрушительной силой: он способен копать по 5,5 тысячи кубометров в час. При этом, естественно, расходует огромное количество энергии и труда. Круг, таким образом, замыкается, и начинается новый технологический виток с тем же удручающе малым КПД в смысле получения конечных потребительских благ для людей и с трагически большим уроном для природы».

А вот еще одна модель на примере гидромелиорации и энергетики. Площадь затопленных волжско-камскими водохранилищами земель составила 2,5 млн гектаров. Нет нужды доказывать, что это были лучшего плодородия гектары. И столько же – 2,5 млн гектаров – орошалось на Волге в 1985 году. В наши дни четвертая, пятая часть из них в результате неумеренного полива или выведены из севооборота, или требуют немедленного спасения. К 2000 году площадь полива предполагается почти удвоить. В Саратовской области сегодня проведено 5 тыс км каналов, 9 тыс км трубопроводов, введено 17 тыс гидротехнических

сооружений, 3800 насосных станций. Площади Саратовской ГЭС, вероятно, уже не хватает для перекачки воды, если для электродвигателей только 332 станций требуется 700 тыс квт, а ГЭС производит чуть больше миллиона. То же самое происходит в Волгоградской области, где почвы в немалой степени надорваны гидромелиорацией, на которую работает гидроэнергетика, уничтожившая в свою очередь те земли, которые не требовали полива. И опять круг замыкается.

А что будет с вводом канала Волго-Дон-II, Волга – Чограй и других, строительство которых форсируется, несмотря на протесты и отрицательную экологическую экспертизу?

А на очереди канал Волга – Урал. Хватит ли на них нижеволжских ГЭС, уральских и донских земель для них хватит? А волжской воды? О какой экологии может идти речь, если попираются правовые, экономические, моральные и социальные основы страны в угоду... чему? Кто возьмется объяснить – чему? Узковедомственным интересам, обычно отвечаем мы. Что это за «узковедомственные», если они шире государственных?! Правительство своим постановлением предлагает сокращать водопотребление как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, а министерство планирует значительное увеличение. По отзывам, которые доносятся из промышленных центров, понятно, что дышится в стране трудно. Более ста городов, где выбросы превышают санитарные нормы в десятки раз и которые должны быть объявлены зонами бедствия. Это стало правилом. Чем громче звучали, чем ярче сияли названия в промышленно-пропагандистских фейерверках, тем больше на них копоти оказалось впоследствии. Так произошло в Магнитогорске, Новокузнецке, Ангарске, Братске и многих других местах.

Ветераны этих строек, не догадавшиеся в свою пору эвакуироваться, имеющие ныне возможность наблюдать, как чахнут и в кашле заходятся их внуки, должны думать

тяжелую думу. Понятия, казавшиеся еще недавно столь романтическими, вроде всесоюзных магниток и всесоюзных кочегарок, дорог и проектов века, востребовали непосильную плату.

Многоустройство, которого требовали интересы страны, заменено многоведомственностью, бросившейся захватывать землю на куски. Наше общее тело покрыто раковыми опухолями этих образований, недоброкачественная природа утолщений принималась за доказательство развития. Здесь самая пора воскликнуть: что это за врачи, что за специалисты, что за экономисты, не умеющие недоброкачественное отличить от доброкачественного! Но не станем задаваться пустыми вопросами: они умели. Но метастазы общей болезни охватили и их. Сейчас и вещи своими именами называются, и диагностика поднялась на мировой уровень. Но от этого мало что меняется.

Кстати, и литература до самого последнего времени показывала образцы плюрализма в вопросах отношения к природе, и, пока одни боролись против равнинных гидростанций, варварской вырубке лесов и поворота рек, другие набирались опыта жизни у костров цивилизации, вплоть до атомных, в которых ничуть не хуже, чем в кострах инквизиции, сгорали истины того же рода – на каких китах стоит и вокруг чего вертится Земля. И в литературу проник гомо техникус со своим языком и кругом хлопот. Когда-нибудь это поможет, вероятно, раскрыть механизм самого типического явления наших дней, который в народе обзывается: «не пожалею мать родную ради красного словца». Как ни горько, но это вещи одного порядка, что в Минводхозе, что в Союзе писателей, когда профессиональное рвение освобождено от нравственных вожжей.

К счастью, социальный заказ на аллилуйю, так же, как на результат ее – заказ на паек усиленного питания, были

временными вехами нашей литературы и серьезного следа в ней не оставили.

Лет двадцать назад Сибирь произвела на Михаила Дудина столь сильное впечатление, что он написал:

Полузадушенная газом,
По нефтяным болотам вплавь,
Куда ты рвешься, где твой разум,
Вглядись в себя разумным глазом,
Нельзя же все богатство разом,
Чуть-чуть грядущему оставь.

Но предостережения Михаила Дудина дошли только до читателей, а от них, вы знаете, ничего не зависит. И как выкачивали Сибирь, так и выкачивают, уже доканчивают. Испанские конкистадоры, ринувшиеся вслед за Колумбом в страны Нового Света, не скрывали своих намерений и не церемонились с аборигенами. Почти через четыреста лет после Ермака современные конкистадоры в лице министерств и ведомств, с той же ретивостью направлявшие свои могучие паруса наперегонки в страны полуночного света, умели придать своим десантам и шумовой эффект, и благородный вид. Никто не требовал от аборигена: поди прочь, цивилизация нагрнула! – а на его земле находили нефть, возводили самую крупную в мире гидростанцию и ставили лесопожигающее чудовище под аббревиатурой ЛПК.

Не было бы несчастья, да счастье помогло – это относится не к одному открытию величайших богатств на земле Сибирской, которые должны бы приносить блага, но приносили горе. Разорвалась родовая земля маленького народа, а вместе с ней терял свои родовые черты и он. Ведь это же не анекдот, когда потомственных оленеводов с потерей отгонных пастбищ заставляли разводить свиней. Я был свидетелем, когда на XIX партконференции Алитет Немтуш-

кин метался по коридорам Кремлевского дворца съездов, не зная, кому вручить письмо: если будет построена в Красноярском крае Туруханская ГЭС, водохранилище которой разольется на тысячу с лишним километров по земле его предков, это грозит уничтожением эвенкийскому народу по милости Минэнерго. Эвенки есть еще и в Иркутской области на Нижней Тунгуске, но там леса отданы под вырубку для усть-илимских комбинатов. И что же – куда податься эвенку, охотнику и оленеводу? Браться за рычаги бульдозеров, которые станут сгонять родную землю в рукотворное море, или за варку целлюлозы?

Нет больше у России запасной земли, каковой считалась Сибирь с половинной территорией страны. В считанные десятилетия успели выпотрошить этого великана. Так и не согрев Сибирь ни турбинами, ни углем, ни нефтью и газом, ни вырубленными лесами, начинают взыскивать: холодный, неуютный край.

На половине страны живет десятая часть населения – разве это не говорит о том, что условий для жизни здесь так и не создали, что считали и продолжают считать Сибирь лишь рабочей площадкой, что нашли выгодней возить сюда за тридевять земель вахтовые смены, чем обхаживать эту землю. Но такая «выгода» оборачивается таким уроном, что на эту гору потерь взобраться потрудней, чем на Гималаи.

Сейчас уже мало кого из соотечественников тянет полюбоваться на Братскую ГЭС, на это действительно не просто великолепное, но и великое сооружение. Слава ее померкла не оттого, что появились конкуренты в лице Красноярской, Усть-Илимской и Саяно-Шушенской гидростанций, а оттого, что ярче обозначилась цена ее строительства и сопутствующего ей «освоения».

Братск загазован выбросами от гигантов цветной металлургии, лесной индустрии и других индустрий до того, что здесь птицы срезаются на лету уже не от морозов, а

от смрада, и одна из самых высоких цифр детской смертности в стране.

Вот он когда аукнулся, «звездный» час Братска, по которому еще совсем недавно мы сверяли время.

В Ангарске три месяца назад от выбросов с завода белково-витаминных концентратов больницы оказались переполнены – больше тысячи человек получили отравления. Произошло то же самое, что и в г. Кириши Ленинградской области, где люди отказались мириться с ролью подопытных кроликов и взбунтовались. В Ангарск после ЧП срочно явились спасатели завода из Минмедбиопрома. И остановленный ненадолго завод снова приступил к работе. Правда, с 30-процентной нагрузкой. Но едва ли надо сомневаться, что улягутся страсти, проведут кой-какую незначительную штопку – и опять на все пары. Главная «печаль» сей повести в том, что люди травятся и гибнут, чтобы получать, по отзывам многих специалистов, вредную продукцию, которая вместе с мясом животных и птицы, а также с яйцами грозит нам изрядной опасностью. В Италии, Франции и Японии применение этого белка запрещено, у нас его производство увеличивается. Восемь заводов работают, один строится и два проектируются. Давайте последний, не получит ли министр Медбиопрома тов. Быков за ангарский «эффект» правительственную награду.

Подобные случаи заставляют с недоверием относиться к утверждениям, что экология из последнего слова нашей экономики становится ей родной сестрой. До этого ой как далеко! Хватает и произвола, и самовола, и обмана с очковтирательством, и откровенного игнорирования законов и общественного мнения. Вот еще один «больной» пример – с Катунью в Горном Алтае. Сколько об этом уже перекипело и продолжает кипеть страстей! По всей стране созданы группы по защите Катуня, проект не утвержден, экологической экспертизы нет, а ГЭС продолжает строиться. Многожды Минэнерго хватало нас при этом слове за руку, вернее,

за язык: да не строится, не строится, ни одного кубометра породы в створе не вынуто, ни одного кубометра бетона не уложено. Но ведь взрывы гремят, подъездные пути ведутся, поселки растут, миллионы летят – скоро рожать, а Минэнерго уверяет, что оно к этой девственнице – Катунь даже не притрагивалось. Вспоминается: БЦБК уже восемь лет работал – спохватились: нет решения о строительстве. Матушки-светы: да как же построили, как все тогдашние бури перенесли! Выписать срочно эту бумаженцию, чтоб комар носа не подточил. Не то же ли теперь у Минводхоза и Минэнерго? Что меняется-то?!

В апреле 1987 года было принято правительственное постановление по Байкалу, четвертое на столь высоком уровне за последние двадцать лет, со времени освоения Байкала целлюлозной промышленностью. И по прежним постановлениям что-то понемножку делалось, делается и теперь. Но Байкалу «что-то» мало, он в тяжелом состоянии, и маневры, ставшие уже ритуальными, как ритуальные пляски вокруг всякого рода решений, ему не помогут. Уже сегодня ясно, что основные мероприятия, способные ослабить промышленное давление на наше «славное» море, в свои сроки не будут выполнены. Не торопится Минлеспром строить компенсирующие мощности и выводить БЦБК, все еще идут споры, удастся или нет перевести промышленность Приангарья на газ, а прибайкальские города и поселки на электроотопление. Тактика знакомая: не спешить, выждать, не изменятся ли обстоятельства, постараться сэкономить на Байкале.

Наша экономика столько сэкономила на природе, что пора бы построить рай, но дело теперь, вероятно, затруднится тем, где, на какой планете, найти для него чистое место.

Наверное, я пессимист по своей природе, таким, как я, и братья за экологические темы. Оптимисты экологией не занимаются. Для них – будущее, в котором не будет портящих им настроение знакомых пессимистов, а в настоящем

они видят одно благожелательное направление. И тысячам отравившихся в Ангарске оптимист не ужаснется, как не ужаснется и жертвам Чернобыля, ответив, что по милости природы, которую мы защищаем, в Армении погибли десятки тысяч и сотни тысяч остались без крова. Он будет по-своему прав: стихия есть стихия, хотя человек XX столетия все больше провоцирует ее своим глобальным вмешательством в биосферный порядок на беспорядки. Я знаю, что тут не может быть никакой связи, и, однако, не могу отделаться от ощущения, что трагедии Армении предшествовала трагедия Севана от руки человека. Проклиная стихию, не следует забывать, что словно бы в последний момент она удержала свой удар и не выпустила на свободу еще более страшную стихию, заключенную в мирном атоме. За все, за всякое благополучие, говорят, нам надо платить, но за такую цену станем ли мы и дальше торговаться, благополучествовать нам или нет.

Мы, писатели, говорящие и пишущие о проблеме защиты природы, как-то легко соглашаемся с условиями навязанного нам спора. «Какую альтернативу видите вы атомной энергетике?» – вопрошают нас, и мы бросаемся искать альтернативу. А почему я ее должен искать? Вы энергетика, специалисты, вам и карты в руки, вы и ищите. Я знаю, что альтернативы жизни нет. Если это смертельно – стало быть, от этого нужно отказываться. Любой ценой. «Грохнуло и еще грохнет!» – сказал перед смертью специалист, академик Легасов. Медики не ищут альтернативу раку или СПИД, а пытаются уничтожить их.

Если же исходить не из интересов специально созданного Минатомэнерго, а из интересов страны – она в состоянии многократно восполнить 10-процентную нагрузку, которую несут сейчас АЭС. Нас напрасно пугают вселенской темнотой. Ведь нигде в мире нет таких потерь при передаче энергии на расстояния из-за несовершенной технологии и техники; они составляют объемы, выраба-

тываемые десятью такими ГЭС, как Саяно-Шушенская. По-прежнему Минэнерго не желает возиться с ветровыми, солнечными, приливными и прочими электростанциями и малыми гидростанциями, экологически чистыми, максимально приближенными к потребителю и действительно дешевыми – как же, для него это невыгодные, распыленные и малозатратные объекты. И стоим мы на 67-м месте в мире по использованию этих видов источников энергии. Гидроэнергетические ресурсы у нас не освоены и на десятую долю, зато подорваны гигантами. А энергия, сгорающая в факелах, равная той, что вырабатывается всеми АЭС? Всего же, как подсчитано, летит на ветер до 80 процентов энергии, вырабатываемой топливно-энергетическим комплексом.

Стоит лишь заикнуться о варварском уничтожении лесов, о скорейшем, без всяких условий, выводе с Байкала целлюлозного производства – сразу: альтернатива. Вот вы, писатели, пишете, на ваши книги бумага нужна. Если на то пошло, мы, пожалуй, готовы и не писать, лишь бы дышать, готовы и Союз писателей распустить, но при условии, что и бюрократия перейдет на замкнутый цикл бумагопользования – она тратит ничуть не меньше, чем мы. Но при разумном хозяйствовании до нашей переквалификации дело не дойдет, потому что то, что называется альтернативой, и искать не надо, она остается на лесосеках, гибнет в отвалах, транжируется в несколько раз больше, чем в развитых странах, на тонну бумаги и целлюлозы.

И так много где – с металлом, с нефтью и газом, да и с хлебом. Если в ложку плескать ковшом – никаких богатств и никаких альтернатив не хватит.

К несчастью, пессимист ошибается все реже. А если и ошибается – тем лучше. Очень и мне хотелось бы ошибиться в своем взгляде на отечественную картину и, особенно в результатах перестройки экологической политики

в стране. Она, бесспорно, меняется вместе с изменением экологического сознания. Расходы на охрану природы превысили за две последние пятилетки 60 миллиардов рублей. Правда, почти половина из них направляется опять-таки на поддержание производства, и выходит меньше, чем этот же самый Минводхоз получил на одну пятилетку. Происходит реконструкция устаревших предприятий, старое оборудование, как в ссылку, направляется в Сибирь. Все больше производств переходит на замкнутое водопользование, начинаем наконец улавливать газ. Увеличивается число заповедников и национальных парков, площадь рекультивируемых земель. Создан Всесоюзный и республиканские (там, где их не было) комитеты по охране природы. Меры, как видите, принимаются, сложа руки не сидим.

Но меры эти запаздывают. Того, что могло приостановить разрушительные процессы вчера, сегодня уже недостаточно, потребности увеличиваются многократно. Миллиардными суммами, что отпускаются на природу, нельзя обольщаться. Сколько, к примеру, было вбухано и продолжает вбухиваться денег в очищение производства БЦБК вместо того, чтобы раз и навсегда с ним распрощаться, то есть не перестаем лечить отмершие или неверно приращенные экономические органы. А сколько надо засеять природоохранных денег после Минводхоза, чтобы дожидаться хлебных всходов? Во имя чего реконструировать заводы белково-витаминных концентратов – чтобы из воздуха яд загнать в пищу?! Открываем заповедник неподалеку от БЦБК, который сушит его леса и травы и гонит прочь зверя. А рядом с атомными станциями – что это за заповедники и национальные парки?! Негоже человеку умиляться соловьями, поющими над атомными реакторами, – или это в нем отозвалось уже радиоактивное умиление?!

Ко многим и многим проблемам у нас почти еще и не приступали. Автомобильного транспорта, к приме-

ру, безвредной очистки воды без хлорирования, химии в сельском хозяйстве, утилизации отходов, создания энергосберегающих технологий, машин и приборов, выбросов фреона в атмосферу и т.д. и т.д.

Все это приводит к одному: разрушается природа – разрушается человек.

Большие надежды возлагались общественностью на Госкомприроду. Как не возлагать – столько усилий потрачено на рождение этого крайне необходимого природоохранного органа, способного предотвратить эколого-хозяйственную катастрофу. Для этого, правда, Госкомприроде следовало явиться на свет с более высокими и широкими полномочиями, иметь надведомственную власть, но мы были рады и тому, что есть. И пока радовались – министерства не дремали, насаждая в новый комитет своих представителей. Чьи интересы они станут защищать, можно не гадать. Все, кто сталкивался прежде с экологической цензурой, как никакой другой умевшей хранить чистоту социалистической среды обитания, с удивлением обнаружили в роли первого заместителя председателя Госкомприроды тов. Соколовского, того самого тов. Соколовского, который в Госкомгидромете и осуществлял контроль за благополучием публикаций о природе. Один из заместителей председателя – наш иркутянин, бывший партработник, ни при каких обстоятельствах не замеченный в любви к природе. Когда успел возлюбить – непонятно. Еще один мой земляк, бывший председатель Иркутского облисполкома А. М. Ковальчук, при котором особенно вольготно и безнаказанно почувствовали себя в сибирской тайге хищники из хищников – самозаготовители – и при котором принято было постановление об уничтожении на гравий последних ангарских островов, переведенный в Москву, возглавил российский Комитет по охране природы. Жизнь и верно полна неожиданностей. Что толковать

об областных и краевых комитетах – во многих и многих случаях их превратили в теплое и тихое местечко для потерявшей свой вес номенклатуры, доживающей до пенсии и держащей свое перо наготове для любой подписи.

Вот так и вышло, что, зачатая благими намерениями, явилась на свет божий Госкомприрода вместе со своими подразделениями в подставленные чужие руки. Конечно, Госкомприрода переживает период становления, это не простой период, и общественность надеется на ее активное участие в решении тех проблем, от которых зависит наша жизнь, в том числе таких, как быть или нет волжским каналам, строительству равнинных гидростанций и гидростанций без утвержденных проектов и экологических экспертиз, производству кормовых дрожжей из парафинов нефти и в самом важном вопросе – работе атомных станций.

На встрече с представителями французской общественности в Москве в сентябре 1987 года М. С. Горбачев не скрывал: «Проблемы экологии всех нас основательно взяли за горло». Совсем недавно, выступая в ООН, он выступил с предложением создать Международный центр срочной экологической помощи. Эту инициативу можно только приветствовать. Против глобальной катастрофы требуются глобальные действия. Но, вероятно, для того, чтобы укоротить руки Минводхозу или Минэнерго, нет необходимости прибегать к помощи ООН.

Без преувеличения скажу, что от деятельности этих и других министерств подрываются основы будущего. 12 февраля недавно организованный социально-экологический союз, объединивший более ста общественных природоохранных организаций и групп, объявляет по всей стране днем протеста против строительства канала Волга – Чограй, который обойдется государству от двух до трех миллиардов рублей, для земли – потерями неисчислимыми. Я предлагаю поддержать эту акцию.

Необходимо попросить правительство принять неотложные меры против бесконтрольной деятельности Минводхоза – экологически чрезвычайно вредной, экономически расточительной, по-прежнему направленной на крупнозатратное и опасное для судеб народа строительство. Министерство, которое вот уже двадцать лет по собственному произволу и для собственной выгоды распоряжается водными и земельными ресурсами страны, должно отчитаться перед народом в конечном результате своей работы.

Представляется необходимым и проведение в стране референдума о возможности использования и дальнейшего наращивания атомной энергетики.

Исключительно важно прекратить практику министерств по расхищению национальных богатств. Ведомственный механизм уничтожения природы должен быть сломлен. Именно он ведет страну к экологической катастрофе. Это не преувеличение, не паническое настроение: Отечество в опасности. Когда такое случается – откладываются все дела, даже самые важные, и писатель, как это было в военные годы, идет на его защиту. Сегодня, как я считаю, пришло такое время.

1988

СУМЕРКИ ЛЮДЕЙ

Наше движение, возникшее три года назад во время первой встречи и получившее по месту встречи название «Байкальского», поставило поначалу перед собой целью сохранение природных святынь в Сибири, Армении и Японии – озер Байкал, Севан и Бива. Начиная с этого года, к нам присоединилась и монгольская сторона: еще одна страна, считавшаяся едва ли не самой благополучной в мире в экологическом отношении, вынуждена бить в колокола тревоги, чтобы спасти Хубсугул, озеро, связанное речной си-

стемой с Байкалом и, по народным преданиям, являющееся младшим братом Байкала.

Хубсугул связан с Байкалом водными путями, все остальные озера, находящиеся в разных концах мира, в том числе среднеазиатские Балхаш и Арал, также вошедшие в круг «Байкальского движения», связаны между собой воздушными течениями, все они братья, а если исходить из сегодняшнего их состояния – братья по несчастью, как и мы с вами, взявшие на себя необычайно трудную, может быть, непосильную задачу – вернуть чистоту водам, которые, несмотря на отчаянные усилия защитников природы в последнее время чище не становятся.

Но наша задача, хотим мы того или нет, гораздо шире, чем спасение озерных вод, подле которых мы живем. Речь должна идти о проблеме пресных вод вообще, все больше окисляющихся и засоляющихся, загрязняющихся продуктами антропогенного воздействия. Уже после того, как «Байкальское движение» объявило о своем существовании, Василий Белов возглавил в нашей стране общественный Комитет спасения Волги, главной реки России, ее символа, в недавнем прошлом кормилицы и поилицы, превратившейся сегодня в сточную канаву. И это судьба многих рек не только в нашей стране, это становится общей судьбой глобального круговорота воды.

Но из экологии, из суммы ее проблем вычленить какую-то одну, даже такую великую, как вода, нельзя: так или иначе ее придется рассматривать во взаимосвязи со всей средой земного обитания – и с воздухом, и с почвами, и с соседями человека на планете. Уничтожение среды – результат хозяйственной, а правильной сказать, результат бесхозяйственной деятельности человека и, стало быть, результат односторонне развивающейся цивилизации, давно отказавшейся от услуг здравого смысла. Цивилизация сегодня – это индустрия обслуживания общества наркоманов, аппетиты которого растут по мере одурма-

нивания. Культура, этика, нравственность – все приняло подчиненную всепоглощающей страсти роль, все стало предметом купли и продажи. Общество потребления превратилось в общество поглощения невозполняемых или трудновосполняемых природных ресурсов, с одной стороны, и обществом извращения своих моральных устоев – с другой. Конституции, права человека, утонченные законы – что толку от всей этой демократической бижутерии, если попирается право будущих поколений на существование в мире, который мы присвоили только себе и дотрепываем его с безжалостностью безумца! Демократии, как порождение утвердившихся форм цивилизации, лишь облегчают преступление человечества против самого себя и против будущего, но не препятствуют ему; вопрос давно следовало бы ставить о преимущественном значении «демократии жизненной» перед демократией общественной, извратившей свои идеалы и цели.

Только чудачки, которых никто не слышит, говорят сейчас о необходимости распределения ресурсов во времени; только блаженные от нищеты духа, по общему мнению, продолжают твердить о равных правах на жизнь одинаково как человека, так и всякой земной твари, волею эволюции и обстоятельств оказавшейся в зависимости от человека. Буддизм, пожалуй, больше, чем другие религии, обращает внимание на эти равные права, на эту «жизненную демократию» и учит бережению и даже поклоне-нию дереву, воде, камню и траве, но и буддизм не сумел предостеречь человека от его инквизиторской роли по отношению к своему окружению. Мы вынуждены сегодня с удивлением, печалью и умилением оглядываться на доносящиеся сквозь века языческие верования наших предков, в темноте своей чутко понимавших взаимосвязь всего со всем и единокровность земного мира; философия предка, порожденная теплом и авторитетом создавшей его земли, мало расходилась с практикой, – и сколько бы ни казалась

она нам сейчас примитивной или наивной, она обещала на веки вечные мир, а не войну, согласие, а не разбой в отношениях между человеком и природой. Маловразумительное существо, каковым с высоты времен представляется нам предок, было умнее, добрее и выгадливее, чем существо высокоорганизованное и высокоразвитое, какими мы себя считаем, употребившее свой разум на тотальное уничтожение пастбищ, с которых оно кормится. Если это разум, так что же такое безумие?!

Еще сто лет назад эвенк на берегу Байкала творил молитву, перед тем как срубить дерево для получения тепла, прося прощения за погубленную жизнь. Русские в низовьях Индигирки возле Ледовитого океана всего только 15–20 лет назад всей общиной шли приветствовать вскрывшуюся ото льда реку и подносили подарки, задабривая таким образом свою благодетельницу. В Африке, на водоразделе Нила и Конго, сравнительно недавно обнаружено пигмейское племя мбути. Шведский ученый Рольф Эдберг, написавший, кстати, прекрасную книгу о воде «Капли воды – капли времени», в другой своей книге под названием «Дух долины» рассказывает о мбути:

«Верховный блюститель жизни мбути – лес. Лес для мбути – живое существо, великодушное, если с ним хорошо обходятся, раздражительное, если обращаются дурно... Когда рождается ребенок, его обертывают в луб, отбитый для мягкости колотушкой из слоновового бивня; первое омовение совершают древесным соком – влагой самого леса; таким образом новорожденный сразу принимается в лесную общину. Когда молодой охотник принесет свою первую добычу, ему делают на лбу вертикальные надрезы, в которые втирают смесь золы и лесных трав – знак того, что лес вошел в его собственное тело. Когда пигмей очень счастлив, он может выйти на поляну и танцевать там в паре с лесом. Пигмеи поют, обращаясь к лесу, и не для того, чтобы задобрить его, а чтобы выразить свою гармонию с

ним. Во время племенных ритуалов из тайного хранилища высоко на дереве извлекают деревянный рожок, на нем следует играть так мелодично, чтобы лес слушал и радовался. В свою очередь лес дарует свою силу всякому, кто прикасается к рожку, а также тем, кто танцует вокруг лагерного костра с этим фаллическим символом, олицетворяющим жизненную силу леса. За всеми этими выражениями благородного и радостного единения с лесом кроются присущие мбути чрезвычайно острая наблюдательность и широкие познания о лесе и его законах; без этих познаний таинства лишились бы своего глубокого смысла».

Другой швед, тоже наш современник, журналист Бу Ландин написал книгу «Плакали бы деревья...» – о масштабах уничтожения лесов на планете – и сразу же был поправлен мальоркской принцессой, живущей замужем за шведским моряком в Швеции: «Почему плакали бы? Они плачут, я знаю, я с ними разговариваю». И она рассказала, что на ее родине, на средиземноморском острове Мальорка, коренные жители до сих пор не просто срубают дерево, раз-два и готово, а совершают ритуал прощания с ним, прося простить их за то, что они вынуждены принести его в жертву своим потребностям.

У человека цивилизованного ничего подобного не осталось даже и в легендах. И лес, и вода превратились для него в сырье, животворную силу которого он видит лишь сквозь очки выгоды. Величие и высоту своих ценностей человечество разменяло в азартной игре, страсть к ней становится фатальной, и ставки стремительно приближаются к тому, чтобы разыграть последнее – быть или не быть ему на грешной земле. Где тот дикарь, что падал на колени перед источником, благодаря небо и землю за спасительную влагу и видя в ней знак особой избранности и благословенности места, имеющего этот источник? Разве мы, пытающиеся спасти себя, втайне не тоскуем по этому дикарю, перед которым на началах его психологии и

взглядов на мир открывались великие возможности оплодотворения будущего? Как, должно быть, радовалась его шагу земля, носящая его, и с каким вниманием вслушивалась она в голос его благодарений и клятв!

И куда девалось в нас его чувство жизни, его соучастие в шуме леса и потоке воды, в восходе солнца и крике птицы? От всего этого мы теперь отделены, если не сказать, отлучены; мы все вокруг воспринимаем как свою собственность, все, что творилось природой миллионы и миллионы лет, переплавляем, пережигаем, перекачиваем и переставляем, все берем с корыстью и недовольством, будто нас обманули. Слишком многое мы, жадные потомки, извратили в сравнении со своим предком, в том числе собственную природу, и мало в чем преуспели, кроме индустрии развлечений и грабежа, обособления себя тем самым и противопоставления всему окружающему миру. За великое достижение человеческого духа мы выдаем мечту, только мечту о братстве людей, лукаво не замечая, что это должно бы быть не мечтой, а такой же необходимостью, как потребность полов друг в друге для продолжения жизни, и что так называемого высшего братства нельзя достигнуть, минуя низшее – попечение о животных и растительных видах.

За послевоенный период численность животных на Земле сократилась более чем наполовину. По этому поводу Рольф Эдберг говорит:

«Глядя, как наш род разрывает в клочья тонкие сети зависимости и импульсов, соединяющих между собой все живое, поневоле желаешь человеку не еще большей человечности, а заимствования некоторых качеств у животных. Когда человек окончательно изгонит создания, вместе с которыми развивался миллионы лет, как бы природа не изгнала человека».

И сомневаться не следует: это произойдет с той же неизбежностью, с какой мозг, лишившись притока питательной крови, превращается в труху.

Конечно, было бы большим преувеличением заявить, что отторжение человека от природы свершилось. Он, разумеется, чувствует ее материнскую сущность, однако он, как любой плохо воспитанный сын, полагает, что мать на то и мать, чтобы, не требуя ничего взамен, только отдавать от себя. Нарушен закон между потребностью и возможностью; кроме того, поврежден биологический закон, по которому всякий сын становится когда-нибудь отцом со всеми вытекающими отсюда родительскими качествами и обязанностями, требующими заботы о новых поколениях. Инфантильность превращается из групповой болезни в родовую, человек не хочет взрослеть и, производя новые поколения, снимает с себя ответственность за их судьбу.

Звучат еще порой в нем невнятно и отрывисто душевные струны, которые волновали его предка, околдованного шумом леса и плеском воды, и нынешний человек способен, естественно, растроганно внимать звукам и краскам уцелевшего боголепия, до которого не дошли пока его руки, но все это не более чем глухой рокот моря в раковине, представляющей окостеневшую память. Человек также вышел из моря, вода была его праmaterью, если верить Дарвину. Нас сегодня невольно посещают образы, давным-давно обжитые нашим предком; и сколько же потребуется времени, чтобы заросла новой, более утешительной действительностью действительность настоящего – Хиросима и Нагасаки, Тримайл Айленд и Чернобыль, Рейн и Волга, Арал и Севан, пустыни на месте тропических и сибирских лесов, индустриальные пейзажи, напоминающие фильмы ужасов, во всех концах планеты, «красные приливы» и «черные дыры», необратимые изменения в большинстве населяющих Землю видов от самых простейших до самых сложных, в том числе мутация гомо сапиенс, вызванная мутацией «сапиенс».

Быть может, и удастся в будущем отказаться от нынешней практики человека, которую иначе как разрушительной

не назвать, но психологические и моральные последствия ее будут сказываться слишком долго после того, как удалось бы с нею покончить. «Психическое онемение» и «маниакальное отрицание», термины, введенные психологами для обозначения крайностей человеческого поведения – от безволия кролика, парализованного приближением удава, до слепоты крота, не умеющего смотреть дальше своей норы и не желающего признавать вокруг себя никаких опасных изменений, – все это не столь безобидно и для настоящего, и для будущего, как хотелось бы думать.

Но и до желанного изменения практики, судя по всему, еще не близко. Сознание, напуганное проявляющимися повсюду горькими плодами цивилизации, заставляет человека искать менее разрушительные способы воздействия на окружающий мир в виде безотходных или малоотходных технологий, энерго- и ресурсосберегающих, которые можно было бы вписать в ландшафт, выкрасив их в зеленый цвет надежды. Речь, таким образом, идет о том, чтобы за счет меньшего изъятия получать столько же или даже больше продукции. О том, чтобы умерить свои аппетиты, человечество не помышляет. Мы по-прежнему собираемся быть прожорливыми и расточительными. При стремительно растущем населении Земли, когда за каждые десять лет появляется новый Китай, изъятия природных ресурсов неминуемо придется увеличивать, самые чистые технологии из воздуха материальные ценности не получают, да и с воздухом становится плохо. О постепенной замене материальных приводных ремней цивилизации нравственными, о необходимости материального самоограничения говорят лишь единицы, на которых смотрят с непониманием и подозрением.

Миром продолжает править гомо техникус. Человеческий разум за свою историю достиг «ошеломляющих» результатов: развитые страны строят свое благополучие на бедности развивающихся, помещая там вредные про-

изводства и выкачивая по дешевке ресурсы. У Советского Союза для этой цели используется Сибирь, да и вся наша страна, облизываясь на благополучие Запада, готова сейчас за валюту продать себя вместе с потрохами, торопливо подписывая с зарубежными фирмами контракты на размещение на своей территории грязной и ресурсопожирающей промышленности. Мышление, что направляет подобные сделки как с одной, так и с другой стороны, – это то же самое, что игра в карты вожаков пиратских групп на одном потерявшем управление посреди океана корабле, разыгрывающих между собой оставшиеся в трюмах продовольствие и воду. Вся Земля сегодня – маленький корабль с очень и очень ограниченными запасами жизнеобеспечения, и разум землян должен бы быть направлен на поиски спасительных путей, а не на шулерство в отношениях друг с другом.

80-е годы, как известно, были объявлены ООН Десятилетием пресной воды – уже к этому сроку проблема питьевой влаги стала брать человека за горло. В странах третьего мира, к примеру, тонна низкокачественной воды оценивается сегодня в 20 долларов. Но программа ООН не будет выполнена – не хватает денег. Их потребовалось бы столько же, сколько человечество тратит на вооружение за пять недель. Всего только на пять недель – на десятую часть одного только года из десяти – взять каникулы в бесконечной гонке создания новых разрушительных средств! Устремленный к определенной цели и не отягощенный милосердием величавый человеческий разум не снизошел до обездоленных водой (как и пищей) и не счел возможным оторваться от увлекательного и прибыльного занятия дальнейшего обездоливания! В результате число страждущих к концу 80-х годов, несмотря на программу ООН, не уменьшилось, а увеличилось в сравнении с началом десятилетия.

«И это разум?!» – вправе воскликнуть мы, но, сколько бы недоумения и отчаяния ни вкладывали мы в свое

восклицание, от него в мире, к сожалению, ничего не изменится и полмиллиона лучших умов человечества не перестанут создавать последние образцы смертоносного оружия, а десятки миллионов командиров промышленности, ежедневно выбрасывающие на рынок последние же образцы благополучия, не прекратят уничтожать вокруг себя остатки живой природы.

«И это человек?!» – вправе спросить мы, сознающие, казалось бы, блистательные заблуждения цивилизации, но давайте спросим, в свою очередь, и себя: многие ли из нас согласятся с мнением американского эколога Барри Коммонера, который еще тридцать с лишним лет назад произнес приговор автомобилю и самолету, считая их трагическими просчетами цивилизации в отношении с окружающей средой. Девяносто девять против одного, что и мы не согласимся с Барри Коммонером и уж тем более с Львом Толстым, предостерегавшим на заре технической революции против паровоза, и употребим свои оговорки на необходимость чистого топлива, зато сегодняшним большинством решительно ополчимся против военного и «мирного» атома, забывая, что даем тем самым право следующему поколению согласиться уже и с атомом, чтобы противостоять какому-нибудь новому, еще более страшному и еще более соблазнительному «открытию» цивилизации. Нет, все мы, одни больше, другие меньше, рабы глобального заблуждения, называемого цивилизацией, все связаны с нею по рукам, ногам и мозгам, все заложники ее до решительного часа, в перерывах между удовольствиями и тревогой пытающиеся получить из выжженной атмосферы свежий воздух для легких. И надо ли удивляться, что миллионам землян было отказано в воде, а 500 миллионам отказывается сегодня в пище! Зато, чтобы пошекотать наши нервы техническими и этическими возможностями, время от времени появляются увлекательные проекты, исходящие точно из самой атмосферы жизни, вроде появившегося не-

давно предложения о совместном советско-американском полете на Марс с двумя космонавтами, один из которых должен быть мужчиной, а второй женщиной и которым в космическом одиночестве в течение долгих месяцев ничто не помешает самым тесным образом сблизать наши разнородные системы. Одно такое предложение и восторг от него, независимо от того, будет или нет осуществлен проект, перекрывает горечь многих общечеловеческих поражений в борьбе за выживание.

Экология стала самым громким словом на Земле, громче войны и стихии, она приближается к первым словам начинающих говорить и к последним словам умирающих. Звучащее на всех языках одинаково, оно выражает собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда прежде не существовавшей в подобных масштабах и тяжести. С экологией справедливо связывают эпидемии, новые болезни, с которыми человечество не знает способов борьбы, природную и человеческую агрессивность, культурное и нравственное ослабление народов, голод и холод, неуверенность в завтрашнем дне. Нет, пожалуй, в цивилизованном мире ни одного политика, ни одного парламентария и делового человека, который бы по нескольку раз на дню не произносил слово «экология». В политических кругах им начинают спекулировать, в деловых – подменять выгодным содержанием и обращать, как это ни парадоксально, против природы; в кругах защитников природы оно стало синонимом нашей беспомощности, поскольку с экологией на устах, как с именем Христа в эпоху крестовых походов, продолжают твориться преступления. Исключенное и истрепанное, оно, это слово, само, кажется, предложило себе замену, отвечающую действительному характеру событий, – выживание.

Приходится говорить именно о выживании, о том, быть или не быть человечеству и в каких условиях и фор-

мах быть. Острота этого вопроса, несмотря на некоторые локальные успехи природозащитников, ничуть не снижается. Призрак расплаты за невежество и авантюризм все больше воплощается в реальную фигуру сборщика тяжкой, но заслуженной дани. Все чаще проходит он меж нами, предъявляя счет, заставляющий нас смотреть в будущее с тающей надеждой. Если бы случилось такое чудо и мы полностью прекратили бы завтра подавление окружающего мира, счет за содеянное еще многие десятилетия продолжал бы оставаться слишком высоким, чтобы говорить об избавлении от расплаты. Но лучше подобные предложения не строить, человечество не собирается расставаться со своими пагубными привычками, и, стало быть, горизонты мрачных перспектив определить не представляется возможным. В нас срабатывает инстинкт самосохранения, мы не хотим об этом думать и, вероятно, правильно делаем, потому что нами могло бы овладеть отчаяние, в то время как требуются спасительные действия.

И все же мы не должны обольщаться некоторыми успехами этих действий, имеющими преувеличенный резонанс в мире, вроде тех, что в Токио, одном из самых крупных городов-мегаполисов, воздух стал чище и токийцы вновь получили возможность любоваться Фудзиямой; что в Великих Американских озерах, на очищение которых затрачено 11 миллиардов долларов, вместе с посветлевшей водой заплескалась и рыба; что поворот северных и сибирских рек в моей стране удалось остановить; что во всех концах мира увеличиваются площади охраняемых территорий; что есть страны (Швеция, Норвегия), где экология стала государственной политикой; что принимаются меры для уменьшения выбросов в атмосферу фреонов, разрушающих озоновый слой; что вместо военных создаются экологические межгосударственные союзы, подобные «Клубу-30», в который входят 20 государств, взявшие на себя обязательство к 93-му году на 30 процентов уменьшить выброс сернистых

газов в сравнении с 80-м годом; что, похоже, ослабевает загрязнение Мирового океана; что даже в самых неблагоприятных в экологическом отношении странах, таких как Советский Союз, создаются министерства по охране природы; что растет число официальных и неофициальных организаций и органов, ведущих контроль за состоянием окружающей среды, и т.д.

Все это так, и все это требует огромных средств, о размерах которых человечество, начиная гонку за военные и политические приоритеты, даже не подозревало, но все это, если всмотреться внимательней, напоминает дорогостоящий ремонт на ходу по тому же самому курсу, что избран десятилетия назад. Курс не меняется, лишь сбавлены обороты двигателя, да и то не настолько, чтобы говорить о торможении. Сознание изменилось и продолжает меняться под влиянием страха за будущее, это бесспорно, однако сознание готово утешиться существующими сегодня робкими действиями и малыми результатами, которые принимаются нами за обнадеживающие и которые не в состоянии существенно повлиять на экологическую обстановку. Да и что такое «обнадеживающие»? Стало быть, рассчитанные на длительное рождение твердой надежды. Мы, заботясь опять-таки о сохранении уровня благополучия, готовы ждать, когда грубые и варварские способы его получения сменятся более легкими и деликатными, когда взамен старой явится новая тенденция развития.

Мы готовы ждать, но отравленная, ограбленная, изъязвленная Земля ждать не может. А сегодняшняя тенденция заключается в сохранении тенденции вчерашней. Если удар на природу и ослаблен, он по-прежнему остается разрушительным. Человек сейчас собирает урожай с того, что было посеяно им тридцать и сорок лет назад, в эпоху испытаний ядерного оружия в атмосфере, и еще тридцать или сорок лет ему пожинать плоды с щедро засеянного с тех пор, прежде чем скажется сегодняшнее ослабление.

Но и на это можно рассчитывать с немалой долей сомнения. Сельскохозяйственная токсикомания пока и не думает отступать. В Советском Союзе, как и в США, на каждого жителя приходится в год по два килограмма пестицидов и гербицидов, в некоторых районах эта доля доходит до 50 кг. Мы продолжаем в огромных количествах производить и закупать химические удобрения; складывается впечатление, что поля в моей стране распахиваются, чтобы засеять их ядами, а для подкормки вводить культурные злаки. На лекарства для детей денег не хватает, на яды в продуктах питания их в избытке.

Вот она, тенденция!

В 1950 году на каждого человека в мире приходилось 0,24 га пашни, а уже через 35 лет вдвое меньше. Перспективы тоже весьма неутешительны. По данным ЮНЕП, дочерней организации ООН, занимающейся охраной окружающей среды, в последней четверти текущего столетия у земель оставалось 1,2 миллиарда гектаров посевов, но в 2000 году 300 миллионов будет потеряно от эрозии, а еще 300 миллионов отдано новым городам и автострадам.

В Советском Союзе при сооружении гидроэлектростанций потеряно около десяти миллионов гектаров самых плодородных земель по речным долинам и чуть меньше – за последние два десятилетия выведено из севооборота непомерными поливами, то есть средством истребления земли стала вода, которую мы защищаем и которой так недостает миллионам людей. Вспоминаются слова Рольфа Эдберга: «Планета вод становится планетой оскверненных вод». Тенденция такова, что министерство энергетики в Советском Союзе к 200 крупным действующим гидроэлектростанциям собирается добавить в ближайшие 15 лет около сотни новых, в том числе равнинные с огромными затоплениями.

«Если сегодня идет дождь, то это значит, что с неба падает почти чистая кислота», – с последней степенью горечи констатировал Х. Грегор из Службы охраны природы

Западного Берлина. Поэтому в «Клубе-30», решившем почти на треть уменьшить выбросы в атмосферу серы, нужно видеть не акт доброй воли, что хотелось бы отыскать в человеке разумном, предусмотрительно заглядывающем в завтра, а акт отчаяния от сегодняшней ситуации: если кислота разъедает камень, каково ее воздействие на существа, созданные не из железа и камня? Гомо сапиенс словно бы доставляет удовольствие щекочущая нервы игра, которой он забавляется на грани смертельного риска: сначала увязить себя по уши в трясине, а затем употребить, по примеру барона Мюнхгаузена, усилия, чтобы а эти самые едва торчащие уши вытащить себя обратно. Зверь в этом отношении куда осторожней: он обойдет таящее опасность место и не возьмет приманку, если заподозрит рядом капкан. Человек, и видя капкан, не остановится и не остережется, чего бы ему это ни стоило.

Разве не должна испытывать недоумение и чувство тщеты маленькая Швеция, тратящая огромные средства на борьбу с окислением своих озер и защиту лесов, если с неба продолжает падать кислота, поднятая в воздух в Англии или Польше, отказавшихся принимать меры для уменьшения своих ядовитых выбросов? И разве не должен был в ужасе отпрянуть и застыть в муках высачивающийся из технократической окаменелости малыши каплями слабый человеческий разум, когда «мирный» атом Чернобыля грохнул по числу радиоактивных осадков двадцатью хиросимскими бомбами?! Если сернистый газ в средние века считался признаком присутствия дьявола, то не пришествием ли апокалипсического Зверя дохнуло на заигравшееся со своей судьбой человечество из четвертого реактора одной из четырехсот существующих в мире атомных станций?!

Мы привыкаем к цифрам. Превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде и воздухе

в десятки и сотни раз нас уже не удивить и, к несчастью, не испугать. Иногда представляется, что превзойден и сам предел боязни, как некой психологической силы тяжести, за которой началась ощутительная невесомость.

Поэтому промелькнувшее недавно сообщение о том, что в южносахалинском заливе Анива пробы воды показали почти астрономические цифры по тяжелым металлам (по кадмию, например, 1650 и 1980 ПДК), прошло почти незамеченным. А между тем кадмием и медью, неведь откуда взявшимися в Анивском заливе, напичканы идущие в пищу морские обитатели, от них гибнет птица. Первые признаки беды появляются у людей. Вслед за «болезнью Минамата» «болезнь Анива», затем болезни многих других заливов и рек, перенасыщение которых убийственными примесями достигает предельных отметок. Но, пока до массового бедствия не дошло, человек взял за правило проявлять беспечность, граничащую с мужеством изваяния.

Проглотить Чернобыль человечеству помог подошедший чемпионат мира по футболу в Мексике. Если бы в каждый дом заглянул маленький Чернобыль, как оно, в сущности, и произошло, его обитателей ничто не заставило бы оторваться от телевизоров. Не знаю, проводятся ли в Южно-Сахалинске конкурсы красоты, но уверен, что самое надежное средство избавиться от неприятных ощущений, выловленных в Анивском заливе, – устроить какое-нибудь смелое и громкое шоу или с красотками, демонстрирующими свои прелести, или со «звездами» рока, способными заглушить любую тревогу.

Разгорающееся пиршество страстей накануне чумы. Это уж какой-то закон существования: чем горше будни, тем ненасытнее желание праздников. Дошло до того, что на некоторых советских атомных станциях (например, Калининской) пришлось вводить дни дисциплины, в которые бы атомщики работали, как полагается работать, и зоны трезвости, где бы запрещалось чокаться с «мирным» атомом.

Напугав ненадолго мир, Чернобыль в то же время опустил психологическую планку предосторожности еще ниже, начиная приучать человека и к явлениям такого порядка. Это была 27-я и самая крупная из крупных аварий на атомных станциях, примерно в год по одной, хотя на заре «мирного» атома вероятность аварий оценивалась американскими специалистами в миллиардную долю. Уже по этому факту можно судить о точности прогностических попаданий науки, когда она берется предлагать свои великие открытия, высвобождающие адские силы. Но если даже предположить, что прогноз ученых оправдался и аварии на атомных станциях практически исключены, давайте взглянем на их «благополучную» и экологически «чистую», как до сих пор утверждают атомщики, работу. Вот пример из книги американца У. Дугласа «Трехсотлетняя война»:

«Исследования реки Колумбия в районе Ханфорда (штат Вашингтон), где расположен ядерный реактор, показали, что радиоактивность воды незначительна. В то же время установлено, что концентрация радиоактивных изотопов в планктоне в 2 тысячи раз выше, чем в речной воде, в организмах рыб и водоплавающих птиц, питающихся планктоном, – соответственно в 15 тысяч и 40 тысяч раз выше, в организмах птенцов ласточки, которых родители кормят насекомыми, пойманными у реки, – в 500 тысяч раз выше, и, наконец, концентрация радиоактивных элементов в желтке яиц водоплавающих птиц – более чем в миллион раз выше, чем в воде Колумбии».

«Иногда я начинаю ненавидеть свою науку, потому что она дает мне знания, от которых спазмы сжимают горло», – признался советский ученый, известный борец за охрану окружающей среды Алексей Яблоков, имея в виду знания, дающие подобную информацию.

Австралийский врач-педиатр Хелен Колдикотт, много лет изучавшая последствия «тихого» радиационного влия-

ния и написавшая книгу «Ядерное безумие», с решительностью, отказывающейся от всякого компромисса, заявляет:

«Ввиду угрозы, которую ядерная технология представляет для ноосферы, мы должны признать, что гомо сапиенс достиг переломного пункта эволюции. Тысячи тонн радиоактивных материалов, вызванных при ядерных взрывах и утечках из реакторов, ныне расплзаются по среде нашего обитания. Не подверженные биологическому разложению, а некоторые из них сохраняющие активность практически вечно, эти ядерные материалы будут продолжать накапливаться, и впоследствии их воздействие на биосферу человека будет трагическим: множество людей начнут заболеть и умирать от рака, либо произойдут мутации в генах репродуктивных клеток, что приведет к увеличению частоты появления врожденно деформированных и больных детей, причем не только в следующем поколении, но навеки».

Вот нам и «мирный» атом, разрекламированный в свое время как «слишком дешевый, чтобы его можно было измерить». Что такое «слишком дешевый», видно по Чернобылю. Экономический эффект работы всех атомных станций в Советском Союзе с первого их дня составил примерно 3 миллиарда рублей. А чернобыльский взрыв уже сегодня обошелся государству в 10 миллиардов. Автор недавно вышедшей в нашей стране книги «Бремя “мирного” атома» Борис Куркин, не доверяя этой цифре, спрашивает не без резона: «...а не больше?» Оснований для такого вопроса достаточно: по данным американских специалистов, прямые и косвенные убытки от аварии на АЭС «Тримайл Айленд» составят к середине 90-х годов 130 миллиардов долларов. А ведь эта авария по своим масштабам не идет ни в какое сравнение с чернобыльской.

Но ни долларами, ни рублями измерить потери от подобных происшествий невозможно. Когда речь идет о погибших до сего дня и обреченных погибать в течение

десятилетий и столетий людях, о погибшей навеки земле, именуемой отныне «зоной», и о погибшем доверии к жизни – любая цифра, сколько бы великой она ни была, будет обманом. «Чистая» и самая «дешевая» энергия стала самым обласканным убийцей. Есть предположение, что миллионы лет назад хлынувшая из разломов Земли радиация сумела в результате мутаций поставить дарвиновское четвероногое существо на две ноги и сделать его человеком. Не способствуем ли мы теперь явлению обратного порядка, когда распространившаяся на этот раз из рук человека радиация начнет постепенно опускать двуногое существо на четвереньки? Если это и будет справедливо, то, согласитесь, не очень привлекательно для вида, который подавал надежды.

«Дракон мертв, только он об этом не знает», – принято сегодня повторять произнесенный кем-то приговор атомной энергетике. Да, доверие к ней падает, а после Чернобыля его приходится поддерживать хитроумными подпорками. Швеция дорабатывает свои станции и к 2010 году полностью от них избавится. Отказались от построенных АЭС Австрия, Италия и Австралия, прекращено строительство в Бразилии. В США за последнее десятилетие не поступило ни одного заказа на атомные реакторы. Несколько станций остановлено и у нас.

Во всем мире ширится движение против «мирного» атома. Однако около четырехсот станций, расплзшихся по планете, как чудовища, поделившие ее, продолжают работать – поглощать моря воды, отдыхиваться смертоносными парами и выгребать из своих топок радиоактивный пепел, для которого, как известно, не существует надежных способов захоронения. И никто не знает, когда будет следующий Чернобыль – через пять лет или через пять дней? А до тех пор сильные мира сего не собираются отказываться от приглянувшегося им атома, насчитывая за ним по-прежнему кучу достоинств и уверяя, что все его

«шалости» детского периода позади. Для спасения его репутации руководители МАГАТЭ, срочно прибывшие сразу после аварии в Чернобыль, сделали все возможное, чтобы ввести человечество в заблуждение. Ворон ворону глаз не выклюет, хотя бы один из них был социалистический, а другой капиталистический. Общая кормушка дороже.

Сейчас нашли новое средство продлить жизнь атомной технологии. Прежние типы реакторов были, оказывается, очень и очень надежными, но все же миллиардная доля случайности не исключалась. В новом типе не останется и миллиардной доли, это будет чудо из чудес, к которому человек поспешит, как на Лазурный берег, проводить отпуска. Советские специалисты, прежде запаздывавшие с внедрением новых технологий, на этот раз решили быть перед всех и два года назад, когда еще не остыл пепел Чернобыля, заключили с западногерманской фирмой «Крафт-веркунион» соглашение о совместном строительстве на территории СССР нового типа реактора. Испытывать его у себя фирма не решается, а в России сойдет, она словно создана для всякого рода рискованных экспериментов, ей что в лоб, что по лбу.

Нет, дракон потому не знает о своей гибели, что ему и в голову не приходит погибать.

«Нельзя объять необъятное» – эта старая истина применима и к нашему делу, где, за что ни возьмись, чем ни ограничь цель, все обрастает сразу проблемным множеством, перед которым невольно опускаются руки. Не так пугает сама обстановка, хотя и в ней приятного мало, как едва початый край работы, объединенное тщеславие сопротивления. Никто сейчас не против экологических требований, все «за», но в этом единодушии слишком много равнодушия и корысти, ведущих фальшивую игру. Пример с атомной энергетикой показывает, насколько запаздывает человечество в попытках образумления и к каким

прибегает оно ухищрениям, чтобы обмануть самого себя. «Мирного» атома в компании с пестицидами и гербицидами в количествах, в каких они употребляются, уже достаточно, чтобы заявить о преднамеренном убийстве, весь остальной круг безнравственной экономики делает преступление всеобщим. Название действий, при которых грабятся и убиваются живущие, существует, но как назвать, из какого словаря добыть слова для обозначения грабежа и убийства еще не родившихся, предназначенных явиться на свет в будущем?!

Экология в наше время – не только образ действий и мыслей, но и образ жизни. В мир явились вызванные экологией новые философские учения (экософия), множество организаций, родственных нашей, ведут восстановительную на теле Земли и в сознании человека работу, но все мы должны испытывать неудовлетворенность от наших усилий: они, как говорилось, не поспевают за разрушительным продвижением. Машина разрушения за счет набранной инерции и направленной в ту же сторону динамической энергии новых технологий, загрязняющая деликатность которых компенсируется ростом их числа, продолжает хозяйничать в воздухе, на воде и на суше.

Человек ныне готов к любому бунту, он отдается ему с каким-то даже сладострастием, но в бунте против этой машины его не устраивают жертвы, на какие пришлось бы пойти, чтобы остановить насилие против природы. Уже одно это свидетельствует о степени помрачения нашего рассудка. Цивилизация, зашедшая в тупик, должна бы в поисках выхода вспомнить о заветах, данных человеку матерью-природой через все религии мира, предостерегавшие его от неумеренности, честолюбия и агрессивности. Пока не согласится человечество обходиться только самым необходимым, пока не изменит оно свои ширпотребовские цели и не создаст условий, чтобы воспрянуть духу, шагреновая кожа надежды будет все таять и таять.

«Побойся Бога», – веками предостерегал человек человека, когда нарушались нравственные заповеди. Сейчас, когда калечатся и разрушаются сами житнетворные основы нашего существования, теряешься, к кому и обращаться за помощью, чьим именем и авторитетом заклинать человека от губительных путей, которых он не может не видеть и которыми тем не менее продолжает следовать.

Я не намерен заканчивать бодрой нотой: мол, как-нибудь все мало-помалу образуется и придет к спасительному исходу. Слишком многое говорит об обратном. Образуется так, как мы станем образовывать в оставшиеся короткие сроки.

Или – или. Третьего не дано.

1989

«ПРАВАЯ, ЛЕВАЯ ГДЕ СТОРОНА?»

«Покажите, какие поете вы песни, и я скажу, что вас ждет впереди», – мог бы ответить тот, к кому обратились бы за судьбой народа. Для этого не нужно быть оракулом.

«... и я скажу, чем вы больны», – продолжил бы другой, не будучи врачом.

«... я увижу, во что вы веруете, чему поклоняетесь, знаете ли вы границу между добром и злом», – мог бы подхватить третий. И тут нет преувеличения. Культура народа, как сумма этических и эстетических ценностей, показывает в его прошлом, настоящем и будущем слишком многое. Она есть мера глубины и состоятельности, прочности и талантливости народа. Звук образной отзывчивости – это эхо отзывчивости сердечной. Культура возникла и веками развивалась, как музыкальное сопровождение человека, как постепенное и таинственное извлечение его нетелесной фигуры. Человека создал труд, но если бы в нашем далеком предке не зазвучала одновременно мелодия, едва ли он по-

шел бы дальше того вида, который в науке называется «человеком умелым», что равнозначно умелому зверю. Подобно Туринской плащанице, в которую оборачивали снятого с распятия Христа и которая вот уже скоро две тысячи лет сохраняет его облик, культура оставляет беспристрастный оттиск нашего портрета.

Для культуры, для искусства излишне добавлять, что они обязаны быть гуманистическими. Негуманистической культуры не должно существовать. Это означало бы, что человек сознательно решил вернуться в скотское состояние. То, что называет себя иной раз культурой, что рядится в ее одежды, не имея сути, бывает или самозванством, или подражательством, или проходимством. Это волк из известной народной сказки, перековавший грубый голос на тонкий, чтобы выдать себя за мать семерых козлят. С тем же результатом для бедных козлят. Искусство – это праведный и чистый голос человечества в целом и каждого народа в отдельности, духовная и эстетическая побудительная высота, осуществленная мечта человека, ухваченное перо жар-птицы и прометеев огонь человеческих исканий и побед. Искусство является тогда, когда человеку дано преодолеть силу земного притяжения и вознестись на ту высь, где начинается творец, испытав при этом все муки радости творца. Надо, вероятно, уточнить: творец – это тот, кто создает гармонию и красоту, кто способствует ладу и миру в жизни; действия того, кто разрушает их под видом нового искусства, вносит в них диссонанс и аритмию, должны иметь другое обозначение.

И уж чтобы не путаться еще в одном: твердой границы между искусством и культурой провести, пожалуй, нельзя. Не было ее в прошлом, нет и сейчас. Профессионализм может быть и там, и там, и ни там, ни там его может не быть. Понятие культуры как низового, доступного массам искусства, а искусства как элитарной культуры не выдерживает логики. Еще Л. Н. Толстой в статье «Что такое

искусство?» отнимал у искусства право быть непонятным. Он писал: «Великие предметы искусства только потому и велики, что они доступны и понятны всем». Но ни Толстой, ни кто другой, открывая залы искусства для миллионов, не открывали тогда мастерских для любого и каждого, кто пожелал бы туда войти. Само собой разумелось, что в этот сан, чтобы священнослужить искусству, человека возводит некий небесный перст. Брать семейный или общинный подряд в этом виде деятельности, как повелось сейчас, в прошлом веке не было заведено.

Не будем и мы вбивать колья между культурой и искусством. Если и прежде они были как сиамские близнецы, то теперь, спеленутые массовостью, и вовсе звучат слитно: массовое искусство, массовая культура... Не забудем, однако, что родителями их были Красота и Добро, и оставим за собой наперед право сделать кой-какие необходимые оговорки.

Главное требование, громче других провозглашаемое сегодня, – искусство должно быть современным. Спорить тут, казалось бы, не о чем. Если бы мы с нашими оппонентами сошлись в смысловом ударении. Мы выделяем «искусство», они – «современным». Но и в этом случае можно еще не ломать копий. Современным – значит глубоко и сильно воздействующим, увеличивающим духовную производительность человека (которая в свою очередь скажется на производительности материальной), рождающим чистые чувства. Но для утвердившихся ныне теоретиков и практиков искусства прогрессивное движение его заключается в постоянной смене звуков и линий, духа и смысла. Современное для них – это новое, заменившее вчерашнее, как день сменяет день, следующее поворотам вкусов.

Однако еще французским поэтом Валери сказано: «Ничто на свете не стареет так быстро, как новизна». Чехов уточняет: «Ново только то, что талантливо». С истинами тягаться трудно, но если употребить ловкость рук

и ума, то истина прочитается выгодней и заманчивей: «Талантливо только то, что ново». Толстой и Достоевский никому не интересны, потому что они защищали восход солнца в искусстве с одной и той же стороны; Пушкин и Лермонтов не могут быть слышны, потому что их звуки, какими бы ни считались они чудными, не имеют достаточного количества децибел; Глинка и Мусоргский для «гимнастических потех» (выражение Стасова) вообще непригодны; Репин, Суриков и Серов, несмотря на всю их громкость, остались жалкими подражателями, потому что не сумели из пластики сделать геометрию. И все они, в сущности, были «передвижниками», топтавшими по какой-то жалкой национальной стезе. «О боги, как вы скучны со всеми своими истинами, нотациями, духовными зачерпами из таинственных глубин и искомым светом! – так можно определить отношение авангардной культуры к классике. – Оставайтесь на своих божницах, пока мы вас вновь не скинули, и посмотрите, за кем пошел так обожаемый вами народ».

А посмотреть ныне есть на что.

Но взгляды и мы в требование к искусству во что бы то ни стало быть современным, новым в своих истинах и формах. Так ли оно, это новое, сменяемо и нет ли в его сменяемости постоянства, закономерности и подчиненности? Не растет ли оно по-прежнему из того корня, который в виде руководства был провозглашен органом Наркомпроса «Искусство коммуны» сразу после революции в 1918 году: «Взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые художественные формы»? Русское искусство в 20-х годах напоминало хлебное поле, засеянное поликультурой стольких «измов», что негде было взойти и житю. Если красота, нравственность, одухотворенность и любовь каким-то чудом сохранялись, так только случайно и самосевом, семена классической и народной культуры изымались из обращения. Засилье чужого, анархия и дур-

ноцвет, как и следовало ожидать (мы почему-то не хотим признать, что это исторически обусловленный закон, так не однажды было и так, если мы не научимся соблюдать меры, – так будет), – засилье чужого и анархия привели к жестокому и безжалостному кулаку, побивающему правых и виноватых. В том числе и в искусстве. На ниву культуры взошел новый хозяин, решивший, что наша земля лучше всего приспособлена для монокультуры – «социалистической по содержанию», к которой осторожно привит был отечественный дичок – «национальная по форме». И пошли засеивать этой монокультурой всю распашь, что, как нетрудно догадаться, обедняло почвы. Формализм не исчез, но перекрасился. Однако ко времени монокультуры «разрушено, взорвано и стерто с лица земли» было предостаточно. И потому «национальное по форме» нередко выбирало низкосортные и худосочные сорта. Вроде и Федот, да не тот. А к социалистическому содержанию довольно быстро приспособилось все то, что взрывало и уничтожало, размахивая неприкасаемым и охранительным лозунгом интернационализма.

А теперь самое время разобраться с культурами, которые произрастали и произрастают на ниве, питающей наше духовно-нравственное тело. Интернационалист, тот самый искусник, который из здорового и благотельного понятия интернационализма сделал собственный национализм и который своими действиями вольно или невольно подталкивает некоторых неразборчивых моих соотечественников к национализму русскому, – этот интернационалист, в отличие от нас, не дремлет. Он уже навострил уши и приготовил перо. Не станем его томить, но призовем слышать и избирать не одно лишь выгодное для обвинения, но и то, что способствовало бы истине.

В прежние времена умели вести споры. Плюрализмом тогда не размахивали, как билетом в общественную баню, куда прилично входить одетым, но мыться прилично раз-

детым. Чужое мнение не только выслушивалось, но и уважалось. Из борьбы разных идейных течений создавалась отечественная философия. Продолжавшийся почти весь прошлый век спор между западниками и славянофилами обогатил и русскую мысль, и русскую художественность. Белинский и Герцен, в особенности Герцен, будучи противниками Киреевских, Хомякова и Аксаковых, находили смелость и справедливость соглашаться с ними, не поступаясь своими взглядами, и искать сходные точки зрения. Это уже в наш воинствующий век из славянофилов сделали мракобесов, а слово это отнесли к разряду оскорбительных для прогрессивного слуха.

И. Киреевский, к примеру, писал о форме искусства: «Возвращать ее (старую форму. – В. Р.) насильно смешно, когда бы не было вредно». Пользоваться в наши дни слогом Сумарокова и Тредиаковского в стихе, как и крюковой записью в музыке, по меньшей мере было бы глупо. Ни один из тех, кто еще недавно сочинял оды в честь Брежнева и его трилогии, в том числе нынешние лидеры прогрессистов, не стал подражателем од к Фелице и отказался от напыщенности восемнадцатого века. Можно бы от века двадцатого ожидать, чтобы этот жанр и вовсе был забыт со всеми его формами, и это явилось бы действительно современным поступком искусства (ни «деревенские» поэты в 20-х годах, ни «деревенские» писатели 70-х, ставшие вдруг чуть ли не реакционными с точки зрения коммивояжеров нового искусства, до подобной игры с совестью, надо сказать, не опускались), но для такой формы поведения в искусстве надо иметь соответствующее содержание.

И. Киреевский продолжал: «...все споры о превосходстве Запада или России, о достоинстве истории европейской или нашей и тому подобные рассуждения принадлежат к числу самых бесполезных, самых пустых вопросов, какие только может придумать празднлюбие мыслящего человека. И что в самом деле за польза нам отвергать или

порочить то, что было или есть доброго в жизни Запада? Все прекрасное, благородное, христианское по необходимости нам свое, хотя бы оно было европейское, хотя бы африканское...»

Это то самое, что и мы сейчас говорим: ни искусство, ни общественная мысль, ни даже общественная жизнь не должны и не могут замыкаться в одних лишь национальных стенах без вреда для себя. Искусства разных народов развиваются, питая и обогащая друг друга, современность в искусстве есть параллельность движения национальных культур, сообщающихся между собой, но имеющих собственные берега. В единых берегах какой-то транснациональной культуры существовать не может, она вырождается в нечто искусственное и деланное, в нечто электронно-машинное и агрессивное, способное не воодушевлять, а подавлять, не обогащать, а изнурять, способствовать не любви, а стадности. Почему, спросите вы, она должна непременно вырождаться в подобное чудовище? Да потому, что нигде, ни в какой стороне не может она иметь корней, ей не о что будет опереться, все добрые, питающие ее начала высохнут и окостенеют, ценности, идущие на распродажу, вытеснят из нее все природное и гуманное. Национальная собственность на культуру не может быть отменена. В древности на Руси наказывали: «Помяните одно: только коренью основанье крепко, то и древо неподвижно; только коренья не будет – к чему прилепиться?!» Тот же И. Киреевский, который, как видим, никогда не был против прививок из других культур, считал необходимым условием для такого соединения – «когда оно вырастет из нашего корня, будет следствием нашего собственного развития, а не тогда, как упадет к нам извне, в виде противоречия всему строю нашего социального и обычного бытия». И говорит о последствиях: «Единственный результат его заключался бы не в просвещении, а в уничтожении самого народа».

Все, казалось бы, ясно. Не так много точек, чтобы без ошибок расставить их по собственным местам. И когда имеющий уши да не слышит, когда слово «русское» немедленно трансформируется в нем в шовинизм, а слово «национальное» в национализм, поневоле придешь к выводу, что не истина, не духовное дело искусства интересует его, а нечто иное.

В самом понятии массовой культуры ничего плохого нет. Когда бы ценностная культура овладела массами, когда бы лучшие ее образцы прошлого и настоящего становились хлебом насущным, – что могло бы быть полезней столь широкого ее распространения?! Ибо тогда широта способствовала бы и глубине. Об этом мечтали и мечтают все творцы прекрасного – чтобы их слушали, читали, смотрели и впитывали не узкие круги, а миллионы. Однако в том понятии, в каком утвердилась сейчас массовая культура, ничего общего с желаемым она не имеет. Условие культуры – эстетическое просвещение народа, возделывание его души таким образом, чтобы она оказалась способной принимать добро и красоту. Из того состава, который есть в нас, с одинаковым успехом можно сделать человека и зверя. В зависимости от того, кто возьмется за эту работу.

В 20-е годы происходило директивное, силовое вытеснение традиционного искусства новым, которое назвало себя революционным. Оно и было революционным – вызывающим, чужеродным и агрессивным, не желающим делить власть с плодами той земли, на которой утвердилось, и не стесняющимся в борьбе с ними применять динамит в прямом и переносном смысле. Пользуясь революционными лозунгами, оно диктовало условия, какие хотело, свергало и насаждало, кого хотело, и хотя в условиях того времени даже и это не могло казаться естественным, но в общей раскаленной обстановке, когда все вокруг с ног становилось на голову, когда революционному классу вну-

шалось, что даже и хлеб он может получать из революционного духа, переворот в искусстве, пожалуй, мало кого удивил. Однако при всем при этом художественный вкус народа продолжал оставаться здоровым. В деревне, отпев положенную новую песню, брались за старые. Слишком велика была крестьянская Россия. Да и средства массового давления на человека, называющиеся почему-то средствами информации, были не те, что ныне, и не могли от начала до конца объять страну выгодной им обработкой. Вспомним, что еще недавно опасным проявлением дурного тона нам представлялся городской романс. А уж как пугались мы мелодрамы, расслабляющей душу пустопорожней чувствительностью! Разве можно сравнить это с происходящим сейчас! Сейчас, когда все, что насильно прививалось в 20-е, привилось как бы само собой и пошло в массы, когда двигателями искусства стали реклама и конкуренция, когда дурное самым демократическим путем заступило место хорошему, когда мораль, без которой не сочинялась ни одна басня, превратилась в кукиш в кармане, а гармония вырядилась в шутовской наряд. Ни Чайковский, ни Глинка, ни Свиридов не отменяются, только пусть их мелодии на основе свободного выбора посоревнуются с ритмами рок-музыкантов. Каждому свое. Насильно, как известно, мил не будешь.

Три опасности уничтожения человечества существуют, на мой взгляд, сегодня в мире: ядерная, экологическая и опасность, связанная с разрушением культуры. Трудно сказать, какая из них предпочтительней, если выбирать способ самоубийства. При ядерном это можно сделать моментально, при экологическом – с мучительным, но и недолгим продлением, когда отцы получают возможность наблюдать, как рождаются дети, все меньше похожие на людей. И при «культурном» – когда нравственно-эстетическая деградация приведет к обществу дикарей, которые не захотят терпеть друг друга. В

известном смысле можно предполагать, что третья опасность, то есть нарушение духовно-поведенческого аппарата, привела к появлению и первых двух. Когда красота и тайна теряют смысл и становится позволительным все, что было непозволительно, когда ценности со знаком минус, постепенно перерождаясь, переходят в положительное качество, – теряет смысл и та сумма законов, которая содержит в моральных границах жизнь. Мы уже привыкаем к парадоксам, каждый из которых должен бы ужасать: чтобы сохранить мир – накапливать оружие, способное десятки раз уничтожить планету; чтобы казаться сильным – отнимать действительную силу, заражая воду, воздух и землю, получая продукты питания, напичканные ядами; чтобы выполнить продовольственную программу – сгонять с земли людей и объявлять их селения неперспективными, запахивая под культуру по имени бурьян; чтобы стать богатым – продавать богатства; чтобы очиститься от скверны – плевать в прошлое. И так далее. И наконец, чтобы утвердить народ в славе и достоинстве, импортировать ему чужие образцы. Где право, где лево, уже не разобрать; сено-солома, да и только.

Мы к месту и не к месту употребляем слова Достоевского из романа «Идиот»: «Красота мир спасет». Но он же в «Бесах» предупреждал: «Некрасивость убьет». То, что происходит сейчас с нашей культурой, могло бы напоминать древний сюжет с подменой на основании внешнего сходства, если бы он не был слишком прост. Но современные писатели этот сюжет усложнили, сделали его круче и занимательней, и выяснилось, что он как нельзя более подходит теперь под сравнение с положением в культуре. Недавно я прочитал книгу, в которой внешнее сходство, чтобы с успехом выдать себя за другого, не играет роли при нынешних технических возможностях, способных из любой некрасивости сделать красоту. Книга называется «Ловушка для Золушки», автор ее – известный мастер

детективного жанра французский писатель С. Жапризо. И название, и даже жанр – все тут к месту, все годится для параллели. Вот краткое содержание этой книги.

Росли подружками две девочки, одна из которых по воле фортуны стала затем богатой, а вторая осталась бедной и завидовала богатой, имя и портреты которой мелькали на страницах газет и журналов. Бедная нашла случай сойтись со своей бывшей подружкой вновь, войти к ней в полное доверие и сопровождать ее в путешествиях и развлечениях. Богатую ждало огромное наследство от старухи, которая была их общей крестной. Сначала Золушка пыталась письмами скомпрометировать наследницу, но, не получая ответа, сочла, что этого недостаточно. И тогда она вошла в сговор с воспитательницей наследницы, и вместе они замыслили ее устранить, устроив в доме пожар, в котором бы богатая погибла, а бедная обгорела до неузнаваемости, что и дало бы возможность выдать ее затем за наследницу.

Задумано – сделано. В пожаре одна из подружек сгорает, а второй, сильно пострадавшей, делают пластическую операцию лица, так что, будучи прежде едва ли не дурнушкой, она становится красавицей. Но полностью теряет память обо всем, что было с нею до пожара, и о сговоре, и о событиях, и о своей судьбе зная лишь со слов сообщницы.

Этим писатель старой школы, бесспорно, и удовлетворился бы: потеря памяти – достаточное моральное и физическое возмездие, но нынешнему автору, и читателю тоже, столь бесхитростной и выпрямленной истории мало – по теперешним меркам, когда сама жизнь сплошь и рядом преподносит фигуры высшего пилотажа, она отдает преснятиной. Писатель умело заостряет ее параллельным обратным ходом. Оказывается, наследница знала, что на нее готовится покушение. Больше того – она уведомлена была, что старуха-благодетельница перед смертью пере-

писала завещание, отказав ей в наследстве, которое переходило теперь бедной. И она могла сделать то, что собирались сделать с нею. Все сошло с мест: бедная становилась богатой, а богатая бедной, жертва превращалась в преступницу, преступница – в жертву.

Оставшаяся в живых не помнит, кто она, – та, которой было отказано в наследстве, или та, на которую свалилось наследство. Сообщнице верить нельзя, да она и сама запуталась, кто есть кто. Преступление между тем совершено, жертва есть, а миллионы завещательницы остаются без хозяйки.

Не то же ли самое происходит с нашей культурой? Словно пластическую операцию сделали ей, чтобы некрасивость выдать за красоту, а безродность – за законное право владения. Словно без рук оказалось великое национальное наследие, – без рук, способных его сохранять и достойно продолжать. Словно один преступный замысел пересекся с другим, чтобы лишить народ памяти и чутья. Культурой и нравственностью стало то, что никогда ими не было, а в воспитатели вышли люди сомнительных нравил, святость превратилась в насмешку.

«Никто не должен петь либо плясать несообразно со священными общенародными, песнями. Этого надо остерегаться больше, чем нарушения любого другого закона», – сказано Платоном. Но от Платона миновало слишком много веков, кому теперь те времена в указ, хотя от них пошли и истина, и право, и искусство, имеющие для человечества непреходящее значение.

Но вот Л. Н. Толстой: «...музыка – государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними, что хочет».

Вот Циолковский, который был не только великим ученым, но и великим мыслителем: «Музыка есть сильное возбуждающее, могучее орудие, подобное медикаментам.

Она может и отравлять и исцелять. Как медикаменты должны быть во власти специалистов, так и музыка».

«Специалисты» явились во множестве. Музыка превратилась воистину в «государственное» дело. Ни Волга, ни Севан, ни Арал, ни Байкал не удостоились и десятой доли общественного мнения, какое собрал на свою защиту рок. Стоило раздаться робким голосам, что да, запрещать рок не надо, но не надо и пропагандировать его с той истовостью, какую выказали устные и письменные средства информации, что тяжелые формы рока небезопасны, как «вся королевская рать» в лице искусствоведов, композиторов, исполнителей во главе с заслуженными и народными артистами вострубила в голос: искусство в обиду не дадим! Что мы – до сих пор чудь с древлянами, пиликающая на жалейках, или цивилизованный народ, за кого себя перед всем миром выдаем?! Молодежи нужны свои ритмы, она не может вместе с вами петь заскоружные слова о любви и верности, у нее трудная судьба поколения, не желающего принимать вашего фарисейства и идолопоклонства. Она впервые освободилась от наследственных пут рабов, и ее свобода ни в чем не должна иметь ограничений.

Пробовали возражать медики, ведающие тайну болезней и медикаментов и наблюдавшие разрушительное влияние рока на психику. Никто их не услышал. И такой довод, что от этой музыки происходят опасные изменения гемоглобина в крови, только подогрел кровь рокоманам и их защитникам. Оставив ударные стройки, шефство над роком взял комсомол. И пошла плясать губерния, то бишь страна. Новости по телевидению – под рок, музыкальные занятия в детском саду – под рок, классика – под роковую обработку, театральные спектакли – под рок. Фестивали роковых групп, едва отгремев в одном городе, переезжают в другой, где их встречают с распростертыми объятиями. Этот праздник не кончается. Загранрок приглашается на-

перебой, а если не всякая группа имеет возможность немедленно откликнуться, в газетах траур.

«Приедет ли в СССР американский исполнитель рок-музыки Майкл Джексон?» – выносит в рекламный буклет вопрос газета «Советская культура». И отвечает: «В течение последних двух лет, сообщили нам в Госконцерте СССР, ведется постоянный поиск партнеров, которые могли бы взять на себя организацию гастролей в СССР популярнейшего американского исполнителя рок-музыки Майкла Джексона. К сожалению, эти попытки не увенчались конкретными результатами, хотя из ряда стран поступали предложения от менеджеров. Работа эта продолжается активно, поскольку Госконцерт хотел бы пригласить Майкла на серию концертов с тем, чтобы любители эстрады не только Москвы и Ленинграда, но и других городов нашей страны смогли познакомиться с его программами».

Как не вспомнить: «Ну что же он не едет, ну что же он не едет, доктор Айболит?»

Быстро нашлись у рока и свои Стасовы. Правда, их художественная логика, профессиональный язык и нравственные оценки звучат с той же расстроенностью, на которой возникло их детище, но иначе и быть не может. Я мог бы процитировать десятки отзывов, похожих друг на друга неприятной самоуверенностью, в которой бездомность мысли и чувства восполняется вызовом и неумеренными восторгами. Пожалее ваше время. Вот один лишь образец, взятый из журнала «Смена»: «Чем выделяется этот 26-летний юноша из ряда современных героев рок-н-ролла? – вкрадчиво начинает Нина Тихонова о лидере ленинградской группы «Кино». – Колоритной восточной внешностью? Суровым выражением лица? Да. – Дальше предмет искусства диктует и пляску логики. – А еще странной уверенностью в своих силах. В сущности, он поет о том же, о чем другие рокеры, – о своем поколении. Сценический образ воплощается в манере форсированно, с растяжкой произносить слова –

похоже на стиль речи дворовой шпаны. Персонаж Виктора Цоя не просто готов выйти под дождь, отправиться в путь, вступить в бой, он таинственно улыбается безусловной победе, даже когда сажает “алюминиевые огурцы на брезентовом поле”. И когда тонет, хотя, как и все, знает близлежащий брод. Дело не в том, что он отказывается от легкого пути, дело в том, что он, позвав за собой, манит не на красивую гибель, а к выигрышу по большому счету. Так уж сложилось, поет Цой – “где бы ты ни был, чтоб ты ни делал, между землей и небом – война”. И в тотальной войне за место под солнцем уверенность в осмысленности на первый взгляд иррациональных, “невыгодных” поступков служит залогом сохранения духовности».

Вот так. Вот что нынче «служит залогом сохранения духовности».

Удержусь от соблазна цитировать самих бардов, которые считаются лучшими и слух о которых прошел по всей Руси великой.

Однако из Руси великой одно за другим поступают сведения о результатах действия этого искусства. «Искусство есть орган жизни человечества, переводящий разумное сознание людей в чувство... Искусство должно устранять насилие», – говорил Толстой.

В десятках городов молодежные группы ведут между собой настоящие бои с применением оружия и терроризируют население. В поисках причин собираются психологи, юристы, социологи, медики, в чем угодно готовы они видеть истоки неожиданной агрессивности подростков, но об одном умалчивают, словно наложено на него табу, – о воздействии так называемой музыки. Об опасности тяжелого рока; о подавлении им сдерживающих нравственных начал и возбуждении злых давно с тревогой пишут на Западе. Наши теоретики и добровольные пропагандисты рока не захотели внять предупреждениям и с той стороны, которая является родиной рока.

Рок был первой наживкой, которую мы проглотили с восторгом и бумом. За нею должны были последовать другие, и они не замедлили явиться.

В июне 1988 года москвичи обязаны были почувствовать себя счастливыми. У них появилась королева красоты, первая патентованная красавица столицы. О конкурсном шоу, назвавшем самую-самую, газеты рассказывали взахлеб. На первой странице «Московских новостей» объявлялись параметры красоты: «рост 176 см, вес 53 кг, объем талии 62 см, груди 83 см». «Значит, школьная реформа коснулась всех», – делают вывод авторы, поскольку «королева» еще сидела за партой. И ударяются в подробности: «Она еще совсем юная, Маша Калинина, ей еще нет и семнадцати. И такое признание. В белом платье из “Бурда моден” с золотистой лентой через плечо от “Дипломатии сервис”, в часах с бриллиантами от “Ив Сен-Лоран”, окруженная со всех сторон призами от различных фирм, от одних названий которых закружится голова у любой женщины, – “Джан-Франко ферре”, “Сан-Суси”, “Квин оф Саба”... Как сложится ее дальнейшая судьба? Уже маячат впереди и зарубежные круизы; и рекламные съемки, и выгодные контракты...»

Газета «Комсомольская правда» подхватывает: «А может, это был публичный акт снятия паранджи с лиц наших женщин (но ведь русские женщины никогда на лицах паранджу не носили, она была у них там, где ей и полагается быть, и вот о чем хлопоты: снять ее, как атрибут рабства, отсюда, куда ее водрузили дикари еще в первобытные времена. – *В.Р.*)? Действо, которое вернет нам наконец женщину, воспетую Рембрандтом, Микеланджело, Серовым, Пушкиным, Блоком... Во всяком случае, конкурсом “Московская красавица – 88”, как, впрочем, и уже прошедшими в других городах страны, положено начало новому, социалистическому молодежному явлению».

А председатель жюри народный артист СССР Муслим Магомаев добавляет: «Конкурсы женской красоты непре-

менно должны войти в нашу жизнь. Ведь у нас не так много действительно молодежных программ, шоу, где главенствующими лицами были бы сами молодые».

И комментировать язык не поднимается, слишком уж все здесь, от святых имен искусства до «социалистического явления», отдает издевательством и цинизмом. У Достоевского есть наблюдение о том, что народ наш, который не назовешь ангелом, поступая дурно, сознает, что он поступает дурно, и не оправдывает себя... Сознают ли эти – не станем гадать; цинизм ведь тоже может быть свойством природы и иметь определенные задачи.

Зададимся вопросом; а чего это так расщедрились на призы западные фирмы, «от одних названий которых закружится голова у любой женщины»? Этакое вороха драгоценностей и предложений не отваливают они и собственным красоткам. Да ведь больно лакомый кусок: сама Россия, извечно считавшаяся дикаркой своей скромностью и стыдливостью, публично пала перед богатым соблазнителем. Это стоит денег. Раньше в полон отводили на аркане, теперь в «золотой ленте, усыпанной бриллиантами». Лед тронулся. Впредь за погляд плату умерят, впредь потребуют большего. Союз кинематографистов выступил с инициативой о проведении конкурса на роль первой красавицы всей страны, творческая организация нашла достойное применение своим возможностям. Нетрудно представить (и все-таки пока еще трудно), какой шабаш будет происходить в конкурсных шоу по всем нашим городам и весям в течение двух лет с одновременным соревнованием местных звезд на каждый год. Сначала преувеличенное «у советских собственная гордость», сейчас – у советских собственная униженность, ниже которой, кажется, нигде не бывало. Красота, считавшаяся несказанностью, тайной и чудом, для которых не существует мерил, на десятках тысяч претенденток будет загнана в стереотип, раскрытый чужими портными. Пе-

ред этой явленностью померкнет все – и «Я помню чудное мгновенье», и «Я встретил вас, и все былое...».

Сегодня сошедшая с парты ярко вспыхнувшая новая «звезда» в обмеренной упаковке своих объемов, обвешанных на фотографиях бриллиантами и жемчугами, кокетливо вздыхает: ах, как трудно быть красивой. Бесконечные заграничные поездки, съемки, интервью, демонстрация моделей в сверхмодных магазинах, «из Франции я вернулась чуть живая, все юбки с меня сваливались». А эти журналисты, они говорят: подмигни в камеру, скажи... «Я все так и сделала. Естественно, телезрители решили, что я полная дура» (интервью с Машей Калининой в «Неделе»).

Да, в этих конкурсах, что верно, то верно, не все объемы измеряются.

Мы уже начинаем привыкать к ним. Ахнем только иной раз от какого-нибудь совсем уж неожиданного фокуса, вроде того, что в жюри конкурса «Мисс Очарование», прошедшего недавно, участвовал православный священник, привезенный для этой цели из Парижа, перекрестимся испуганно «свят, свят», а уж на нас новая, все более откровенная, все менее прикрытая последними фиговыми листками феерия.

Отыскали наконец, какая красота спасает мир.

Что дальше – просматривается довольно ясно. Союз кинематографистов не зря возглавил новый почин. Ему необходимо порнокино. Общественное мнение полуварварской страны к нему не совсем готово, идет обработка. Телевизионная программа «Взгляд» уже выступила в защиту гомосексуалистов, против которых пока действует закон. Проститутки у нас всюду дают интервью, делясь опытом жизни. Школьникам, чтобы не попасть впросак, предлагают пользоваться презервативами. Журнал «Смена» для совершенствования техники любовных игр советует подросткам начинать с муляжей. Искусство тоже не должно оставаться в стороне. «Секс в искусстве, эротика играют для человека

весьма важную сублимативную роль. То, что недополучает он от интимной жизни в семье, то, что недополучает он в силу не зависящих от него обстоятельств, из-за болезни, например, он сможет компенсировать за счет визуальных впечатлений. Ощущение, конечно, несравнимое, но все же...» (Это по-прежнему журнал «Смена».)

Увы нам, ханжам! О сирых и болезных ведь пекутся, а нам невдомек! Разворачиваешь газету с «круглым столом» по проблемам кино и диву даешься: весь разговор свелся к эротике – должны быть для нее границы в самом массовом из искусств или не должны? И договариваются почтенные искусствоведы до того, что это дело вкуса режиссера. Хочется ему снять фильм без единой одежки – пусть снимает и показывает, нраву его не препятствуй. Хватит, находился художник в слугах у искусства, пришло время поменяться ролями.

Вот и задумаешься: чего добиваются эти специалисты по «проблемам», какие мотивы ими руководят? Уже сегодня акции фильма, снятого в жанре нравственного разгуляйства, сразу подсказывают у критики одним лишь присутствием сексуальных сцен. Учитывается ли при этом хоть немного отнюдь не высокая бытовая культура массового зрителя, высвобождение темных инстинктов в котором может привести к страшным результатам? Никто, кажется, всерьез не исследует неожиданную вспышку преступности среди молодежи – а она, если разобраться, не столь неожиданна, она будет только возрастать и возрастать по мере растления умов и душ, в котором не последнюю роль играют вовсе поощряемые сегодня «гоп со смыком», «хлоп со смаком».

У Андре Моруа есть работа под названием «Письма к незнакомке», а в ней глава «Одеть тех, кто гол», которая начинается так:

«Известный английский писатель Джордж Мур рассказывал мне однажды, что, обнаружив в книге амери-

канского романиста Генри Джеймса фразу: “Я увидел на пляже совершенно раздетую женщину”, он спросил: “Почему ‘раздетую’, Генри? Здесь больше подходит слово ‘голую’. От природы человек гол, одежда появляется потом”. Высокопарный и важный Джеймс задумался, затем ответил: “Вы ошибаетесь, Мур, для жителя цивилизованной страны естественное состояние – быть одетым. Нагота аномальна”».

У Андре Бийи: «Женщина, дорожащая тайнами своего тела, не станет размениваться и в чувствах».

Солженицын, объясняя, что могло заставить киевского студента Богрова пойти на убийство Столыпина, рассуждает: «Никто не говорит Богрову: пойд и убей! Он не связан практически ни с каким подпольем. Ему 24 года, и он в 24 года решает, что он, пожалуй, убьет Столыпина и повернет направление России. Это более сложный, структурно более тонкий способ манипуляции – не простого подполья, а идеологического поля, общего направления. Но это еще страшнее, потому что, как видите, само идеологическое на строение общества может создать террор».

Суд способен и ошибиться, оправдать преступника и вынести приговор невиновному. Когда путает противоположности общество, это уже не ошибка, а избранное направление, имеющее определенные цели. Представьте себе мир, в котором вся система принятых эталонов и мер упразднена и человек оказался перед физической необъятностью самых простых вещей. Что делать ему? Не миновать – как возможно скорей – или возвращать старые меры, или придумывать новые. За два-три поколения удастся, вероятно, и к новым приучить человека, сами существующие в природе расстояния и объемы от этого не пострадают. Но в нравственном миропорядке, если отказываемся мы от принятых норм плохого и хорошего, освященных не одним тысячелетием человеческой культуры, мы тем самым извращаем и человеческую природу и по-

ворачиваем ход моральных и этических стрелок назад на встречу со злом. Вздумай мы север назвать югом, а юг севером, земной шар не встанет с ног на голову, но при объявлении зла добром, некрасивости красотой и бесстыдства совестью, на те же самые 180 градусов перевернется и нравственная опорность человека. Апокалипсическое пришествие Зверя может быть и из нас самих, из нашего поклонения и увеселения плоти.

Культура, вместо того чтобы противостоять перевороту своих ценностей, с необыкновенной готовностью принялась их обслуживать, вскармливая внутри себя собственного убийцу. Откуда эта неразборчивость и самораствление, далеко искать не надо. Еще Л. Н. Толстой предупреждал: «До тех пор, пока не будут высланы торговцы из храма, храм искусства не будет храмом».

Верно и то, что общая расстроенность и ненадежность жизни, смятение цивилизованного общества перед угрозой подступающих одно за другим планетарных бедствий, далеко зашедшие игры с техническим процессом, превратившимся в монстра и поработившим своего создателя, способствовали и расстроенности искусства. Но тем более оно должно было, осознав меру опасности, держаться своих святынь и не отдавать их на поругание новым миссионерам, конструкторам всепроеходимой «машины времени», с которой в обмен на чужую веру раздают блестящие побрякушки.

Искусство держит оборону малыми силами, но они сегодня и есть искусство, способное не поддаваться на дешевые соблазны. Тот, кто от имени искусства организует шоу с красотками, похож на спекулянта, торгующего чужими ценностями. Чистые звуки творятся чистыми руками. Культура и искусство, не имея прежде, как говорилось, четких границ, начинают в последнее время вместе с усилившейся профессиональной разностью приобретать их в том, чему они каждый служат, – массово-

сти во имя ее духовного нигилизма и разъединения или выстоявшим – во имя их объединения и одухотворения. Массовая культура в ее нынешнем виде явно ведет к раскультуриванию масс. Это поселившаяся в доме муз публичная девка, на чей талант сбежалось общество искусствоведов особого рода.

Можно лишь диву даваться, с какой быстротой едва ли не во всех формах жизни кинулись мы перенимать чужую нежить. Будто и не было у нас ни собственной истории, должной оставлять отпечаток на собственном лице, ни тысячелетней культуры, взросшей на всеобщее исцеление... Будто не было ни общественных институтов, ни крепости, ни союзного духа. Ни самобытности, ни традиций, ни характера, ни сил, ни идеалов – не было, а явились мы сбродом невесть откуда и должны искать, под чье покровительство отдаться, чтобы уцелеть в незнакомом мире.

Идеологическое общественное мнение, способное создать террор, о котором в случае с Богровым говорил Солженицын, снова обретает монополию на взгляды и вкусы и диктует условия. И сегодня на всякого, кто пытается напомнить об отечественных корнях или, не дай Бог, о святоотеческих началах, немедленно набрасываются, как на опричника Ивана Грозного или Сталина, стоящего на культовых или клерикальных позициях и не имеющего ни биологического, ни гражданского права существовать в эпоху демократических перемен. Инакомыслием в собственной стране стало рассуждение, даже с оговорками, о ее самостоятельности; невежеством и косностью – обращение к вечным ценностям нравственности и культуры. Дальше, дальше, дальше – от народной укорененности и эстетической троицы в искусстве – от Истины, Красоты и Добра. Ломать – не строить, выкорчевывать – не сеять, обогащаться – не обогащать. Идеалы, конечные цели? Что-нибудь потом придумается, а пока – дальше!

Еще в 1877 году Достоевский в «Дневнике писателя» рассуждал по поводу нашего преклонения перед иностранным:

«И чего же мы достигли! Результатов странных: главное, все на нас в Европе смотрят с насмешкой, а на лучших и бесспорно умных русских в Европе смотрят с высокомерным снисхождением. Не спасала их от этого высокомерного снисхождения даже и самая эмиграция из России, то есть уже политическая эмиграция и полнейшее от России отречение. Не хотели европейцы нас почтеть за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в коем случае: grattez, дескать, le russe et vous verrez le tartare (поскоблите русского, и вы увидите татарина. – *фр.*) и так доселе. Мы у них в поговорку вошли. И чем больше мы им в угоду презирали нашу национальность, тем более они презирали нас самих. Мы виляли перед ними, мы подобострастно исповедовали им наши “европейские” взгляды и убеждения, а они снова нас не слушали и обыкновенно прибавляли с учтивой усмешкой, как бы желая поскорее отвязаться, что мы это все у них “не так поняли”. Они именно удивлялись тому, как это мы, будучи такими татарами, никак не можем стать русскими; мы же никогда не могли растолковать им, что хотим быть не русскими, а общечеловеками...

А между тем нам от Европы никак нельзя отказаться, Европа нам второе отечество – я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам почти так же дорога, как Россия; в ней все Афетово племя, а наша идея – объединение всех наций этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. Как же быть?

Стать русскими во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится, Стать русским – значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ

наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отозвались бы европейской душе и, породнившись с нею, стали бы тотчас ей понятнее. Тогда не отвергывались бы от нас высокомерно, а выслушивали нас. Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими собой, мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний».

Получим ли? И готовы ли получить? – вот вопросы, которые возникают сегодня куда с большей остротой, чем при Достоевском.

1989

CHERCHEZ LA FEMME. ВЕЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ ВОПРОС...

Излишне хорошо известная криминальным юмором, в область которого она перешла, французская поговорка «Cherchez la femme» («Ищите женщину») будет иметь самый серьезный смысл, если вдуматься в нее внимательно применительно к нынешнему состоянию женщины. От женщины в обществе всегда зависело и зависит так много и роль ее настолько особенна, что мы еще по-настоящему и не заглянули в эту роль и, быть может, чувствуем ее лишь интуитивно. Мы все ждем чего-то от женщины, каких-то желанных изменений и, не дождавшись, не дав себе даже труда осознать, чего мы ждем, снова и снова не удерживаемся от саркастического «ищите женщину» – в каждой отдельности и во всех бедах вместе.

А между тем так и есть: ищите женщину. Только на другом уровне поисков, претензий и желаний, чем мы себе позволяем. Ищите женщину там, где она осталась, и в том, что составляет ее природное предназначение.

Без малого сто лет назад полностью забытая ныне писательница Н. А. Лухманова выпустила книгу рассуждений и очерков о современной ей женщине под названием «Черты современной жизни». И книжку бы с годами настигло забвение, если бы ее по выходе не заметил и не отозвался о ней замечательной статьей В. В. Розанов. Книгу Лухмановой было бы полезно переиздать, она звучит настолько злободневно, будто написана лишь вчера, и настолько искренне, со знанием проблемы и предмета разговора, с указанием на главные потери и на истоки этих потерь в женщине, что невольно ощущаешь пришибленность: вон когда это имело уже трагические последствия, а значит, начала надо искать значительно раньше и, стало быть, ныне зашло значительно глубже, чем нам представляется.

Вот лишь один отрывок (не забудем, что писано это женщиной): «Душа, мысль и спокойствие исчезли с лица современной женщины, а с ними исчезла и духовная прелесть, составляющая настоящую красоту женщин. Тревога, жадность, неуверенность в себе, погоня за модой и наслаждениями исказили, стерли красоту женщин. Прибавьте к этому чуть не поголовное малокровие, нервозность, доходящую до истеричности, фантазию, граничащую с психопатией, и новый бюрократический труд, к которому так стремится современная женщина...» – и – «... глядя на портреты прабабушек, говоришь: “Какие красивые лица”. Любуясь витриной модного фотографа наших дней, восклицаешь: “Какие хорошенькие мордочки”».

«Это зло, – подхватывает Розанов, – и слишком; но, в самом деле, упадок женской красоты и даже какой-нибудь определенной выразительности женских лиц так глубок и всеобщ, что, бывая ежедневно на улице, то есть ежедневно видя (в Петербурге) около сотни лиц – в течение зимы два или три раза, не более, подумаешь при встрече: “Какое прекрасное лицо” или даже: “Какое милое лицо”. То есть перед вами профилирует около 30 тысяч женщин,

и из них у двух-трех такие лица, что с обладательницами их вы захотели бы заговорить, что за “лицом” здесь вы угадываете внутренний и небезынтересный “духовный” мир. Женщина (девушка) стерлась, от нее осталось платье, под которым менее интересный, чем платье, человек. Это так глубоко, до того странно; мы далеки, чтобы выразить отношение к этому факту словом “мордочка” (однако – правильным), и находим, что это предмет не насмешки, но скорее рыдания; и оплакиваемое здесь – не женщина только, но вся наша цивилизация. *Ибо какова женщина, такова есть или очень скоро станет вся культура (курсив мой. – В. Р.)»*

Вот она, удивительно верная, достойная женщины мысль, поднимающая ее на высоту, выше которой в духовном ее (женщины) значении ничего быть не может. И вот она, трагедия культуры и женщины, когда женщина сочла возможным оставить свое главное и великое призвание.

Надо ли объяснять, что под культурой здесь Розанов имеет в виду не гипертрофированное, как понимается ныне, отдельное развлекательное отращение на общественном теле, а весь его морально-духовный свод, весь запас человеческого благородства. Ибо что же и есть культура, как не мера красоты и добра, чему же и быть цивилизацией, как не очистительному расстоянию, пройденному от существа, впервые осознавшего себя человеком, до современного его представителя!

Мы не предлагаем, по примеру Розанова, пройтись по улицам любого города, от самого старинного до самого последнего, и всмотреться в женщину дальше ее «мордашки». Не предлагаем, потому что это все равно что встречать потерпевших крушение, ищущих торопливо утешения. Женщина вправе сказать то же самое и о мужчине, и даже много резче; все мы под внешней оболочкой несем страсти весьма невысокого полета, оттиском проступающие на наших лицах. Что делать! – это плоды цивилизации в ее не

желательном, а действительном образе, в наших условиях усугубленные еще и местными неудобными почвами. Всему свое время, настанет черед и мужчин.

Быть может, самая большая беда женщины (и вина, и беда) – она не помнит себя, не подозревает, чем ей предстояло быть, если бы не произошли в ее психологии необратимые процессы. Бессознательно она нащупывает в себе еще не отмершие совсем, еще болящие окончания своей второй, природой намеченной фигуры, как бы контурно располагающейся внутри фигуры телесной, но только бессознательно вслушивается в странное резонирующее звучание, не понимая его смысла. Фигура в фигуре – это не тип «матрешки», как может показаться какому-нибудь насмешнику, а что-то вроде носимого в себе женщиной прообраза богородичного склада. Вынашивая плод, любя мужчину, воспитывая детей, то есть материнствуя, женствуя и учительствуя, она словно бы делала все это не от себя только, но в согласии с проведенным через нее заветом. Эти отзвуки и ответы богородичности должны все же являться женщине время от времени неожиданной и страстной тоской по самой себе; они должны являться даже самым потерянными и отпетыми, и им, быть может, чаще и болезненней, как при всяком окончательном разрыве. Если у человека болит отнятая рука или нога, то как, надо полагать, болит и жалкует отнятое существо! Перенеся его изнутри вовне, в наряд, в упакованный в соответствии с модой образ, упрятывающий даже и последние, даже и телесные черты, женщина, кажется, готова сама из себя выскочить, лишь бы не быть женщиной. Не станем останавливаться на том, что одежда призвана подчеркивать индивидуальность, а не уничтожать ее; не станем также отклоняться в ту сторону, где девушка, сбросив одежду, ступает на длинных обмеренных ногах по постаменту конкурса красоты, являя собой хорошо оформированную куклу с заводной улыбкой и заводным

тщеславием, – все это со временем минет и придумается что-нибудь другое, но где, в каких запасниках и анналах рода женского сыскать то, что уже не одно десятилетие изгоняется из него, яко беси, и что в действительности задержало залого нашего благонравия?

«Мироткущая» – так издавна называли женщину. Призванная давать жизнь, она призвана была создавать вокруг себя такие условия, такой мир, чтобы произведенная ею новая жизнь могла развиваться правильно. Охранительность – вот сущность женщины. Уют, тепло, ласка, умерение, утление, верность, мягкость, гибкость, милосердие – вот из чего женщина состоит. Окормление семьи, оприятие мужа, воспитание детей, добрососедствование – круг ее забот. Но над этим кругом возвышается еще и купол, являющийся верховой надмирностью, выходом из мирского в небесное, без которого обыденность и повторяемость трудов могли бы показаться узким и скучным мирком.

Главой семьи считался мужчина, но вела семью женщина, и, как бы ни была она в прошлом унижена и угнетена, ее роль в доме всегда признавалась значительней. Сколько ни сильно, ни гордо стояло мужское «превосходительство», перед женской «светлостью» оно смирялось и даже искало случая смириться, при соблюдении внешних приличий. При умной жене и дурак становился умнее, а при глупой и умный дурел. От податливости жены выигрывали оба, и женщина не могла от нее страдать. Она страдала от другого.

В своей книге Н. А. Лухманова, размышляя о женщине и смысле ее неудовлетворенности, рассказывает о создании в то время в Америке «Общества христианского брака», в котором сошлись женщины, решившие выходить замуж «только за калек, уродов и больных, дабы усладить их страдальческую жизнь». Этот религиозный порыв, это своего рода самопожертвование могли бы показаться актом мученичества, если бы женщинами не дви-

гала при том своеобразная корысть – желание найти нравственный приют в нравственно искалеченном мире, то есть, предлагая верность, быть уверенной в верности даже по необходимости. Тут нет, разумеется, ничего дурного; в России такое происходило и изредка происходит еще и без обществ, а по движению сердца. Не сразу поймешь, чем настораживает общество. Не столько публичностью и связанной с ней демонстрационностью там, где требуются одинокие и свободно избранные решения, не столько невольной рекламой, неотделимой от всякого общества, там, где уместней скрытое и тихое соединение судеб... Пугает, когда начинаешь вдумываться, сама необходимость общества – так силен, стало быть, и всемогущ встречный поток, схвативший уже в ту пору женские массы и несший вместе с эмансипацией перерождение женщины.

Кончилось это перерождением полным, нравственной мутацией женщины.

Года два назад в «Комсомольской правде» появилась маленькая заметочка, опубликованная под негласной рубрикой «Есть же дуры!..». Едва ли кто всерьез, без издевательства, которого искала публикация, обратил на эту заметочку под заглавием «Ухожу в монастырь» внимание, а между тем в ней горько и страстно вскричало самое женское сердце. Собираясь в монастырь и видя в нем единственное свое спасение, девушка Ира из Донецка объясняет свое решение с тем простодушием, без которого невозможна искренность. Она пишет: «В личной жизни мой удел – одиночество. Я это поняла очень давно, еще учась в школе, но тогда я все еще надеялась. Теперь же мои надежды испарились, Все дело в том, что я воспитана в старых понятиях о девичьей чести, гордости. В моем понятии любовь – это не только величайшее наслаждение, но и величайшая мука. Мне хочется любить и быть любимой».

Примерно в то же время в той же газете громогласно прозвучала огромная статья небезызвестной любитель-

ницы острых общественных ощущений Е. Лосото под названием «Ключи от счастья женского», напоминающая о «подвиге» Софьи Перовской, Веры Засулич, Веры Фигнер и других, отомкнувших свое «счастье женское» с помощью убийств. Статья, вливая старое вино в новые женские мехи, неприкрыто звала женщин не забывать о высоте когда-то завоеванного для них счастья.

Вот куда зашел «женский вопрос».

* * *

У Бунина есть рассказ «Богиня Разума» – о судьбе французской артистки Терезы Анжелики Обри, на долю которой выпала невиданная дерзость вместе с неслыханной славой, когда 10 ноября 1793 года, во времена Великой французской революции, она участвовала в низвержении и поругании Богоматери в соборе Парижской Богоматери, а затем была провозглашена богиней Разума.

«Революционные вожди, как и полагается им по революционным обычаям, развивали сумасшедшую деятельность, каждый божий день поражали народ какой-нибудь выходкой, так что в конце концов и восприимчивости не хватало на эти выходки, и самое неожиданное уже теряло характер неожиданности. И все-таки торжество 10 ноября свалилось на Париж (а на Обри еще более) истинно как жуткий снег на голову... Шомет в четверг седьмого ноября вдруг распорядился на воскресение десятого о “всенародном” празднестве в честь Разума, о беспримерном кощунстве в стенах парижского собора, а Обри было объявлено, что ей выпала на долю величайшая честь возглавить это кощунство...

...под стук пушек, пение, барабанный шум толпы – четыре босяка, ухмыляясь, подняли на свои дюжие плечи Обри вместе с ее треном и понесли, в соупутствии хора и кордебалета, пробиваясь сквозь толпу, сперва на площадь,

“к народу”, а затем в Конвент. И опять – давка, говор, крики, смех, остроты, а ноги чавкают по грязи, попадают в лужи, ветер рвет голубую мантию и красную шапочку посиневшей богини, кордебалет тоже стучит зубами в своих вздувшихся от ветра белых рубашечках, забрызганных грязью, а сзади высоко качаются над толпой шесты, на которых надеты, для вящей потехи, золотое облачение и митра парижского архиепископа. А в Конвенте – торжественный прием богини всем “высоким собранием” во главе с президентом, который ее приветствует “как новое божество человечества”, “заключает от имени всего французского народа в объятия”, возводит на трибуну и сажает рядом с собою...»

31 марта 1878 года в Петербурге состоялся суд над 29-летней Верой Засулич, за два месяца до того выстрелом в упор тяжело ранившей петербургского градоначальника генерала Трепова. Председательствовал на суде знаменитый А. Ф. Кони. Засулич, как известно, была оправдана. Кони до мельчайших подробностей описал в своих воспоминаниях этот процесс. После провозглашения старшиной присяжных «невиновна» – «тому, кто не был свидетелем, нельзя себе представить ни взрыва звуков, покрывавших голос старшины, ни того движения, которое, как электрический толчок, пронеслось по всей зале. Крики несдержанной радости, истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы: “Браво! Ура! Молодцы! Вера! Верочка! Верочка!” – все слилось в один треск, и стон, и вопль. Многие крестились; в верхнем, более демократическом отделении для публики обнимались; даже в местах за судьями усерднейшим образом хлопали... Все было возбуждено... Все отдавалось какому-то чувству радости...»

Дальше уже не Кони, а со слов других очевидцев в предисловии к книге воспоминаний Кони о деле Засулич:

«Огромная толпа – в тысячу или полторы тысячи человек – студентов, курсисток, рабочих со строящегося не-

подалеку Литейного моста уже с утра ожидали окончания процесса. Когда из здания суда вышел защитник, его подняли и понесли на руках. Когда же на улице показалась освобожденная Засулич, раздалось оглушительное, долго не смолкавшее “ура”, крики “браво”. Девушку приподняли над толпой и с триумфом понесли на руках. Затем ее посадили в карету, и толпа сопровождала ее по Шпалерной и Воскресенскому проспекту. Демонстрация приобретала все более внушительный характер...»

Так из богини Разума родилась богиня Мести, вслед за которой неминуемо должна была явиться богиня Разрушения.

До чего было легко адвокату Засулич взывать к милосердию присяжных и публики – он защищал женщину. Но куда, в какие тартарары провалилось милосердие той, которая должна быть обителью милосердия?!

Софья Перовская 1 марта 1881 года руководила убийством царя. Участница этого покушения Геся Гельфман в момент убийства была беременна. Жизнью жизнь поправ... Что рядом с этим молитва о милости и спасении душ врагов наших!..

Высота, на которую не нравственным трудничеством, не подвижничеством, не духовной питательностью, а мстительным «подвигом» и взятой на себя страшной ролью поднялась женщина, – высота эта пугает разверзшейся перед ней бездной.

Тереза Анжелика Обри, нареченная по прихоти свихнувшихся умов богиней Разума, уже в пору Империи сорвалась с помоста, на котором она в одном из спектаклей была поднята высоко над сценой, и навсегда осталась калеккой. Известно, что, всеми забытая и презираемая, она жила лишь во имя больной дочери, хлопоча, чтобы нашлись люди, которые не погнушались бы похоронить их достойно. Дочь немногим пережила свою мать.

* * *

Историки и философы старой школы считают, что в основании нашей нации лежат женские начала. «Основная категория – материнство», – находит Н. Бердяев, одновременно замечая, что «всякий народ должен быть мужественным». Не вдаваясь в этот слишком серьезный вопрос, вспомним, что Россия издавна верила в себя как в Дом Богородицы, Богородица была покровительницей России, и все казавшиеся чудесными избавления от врагов и бедствий объяснялись Ее заступничеством. Н. Лосский в своем исследовании характера русского народа приводит наблюдения англичанина Грахама из его книги «Неизвестная Россия» о русских женщинах, которые «стоят перед Богом; благодаря им Россия сильна». И это писалось Грахамом всего-то накануне Первой мировой войны.

В крестьянской стране роль женщины, естественно, была не гражданская, не государственная, а семейная, и по складу характера русской женщины – жертвенная. «Но я другому отдана и буду век ему верна» – ее судьба, и от брака по любви, от жизни, от которой она получала, а не отдавала, она чувствовала как бы неудобство, вину, потому что привыкла добиваться благополучия по капле. О своей социальной неразвитости и приниженности она мало подзревала, взяв на себя все домовое строение и не имея времени задуматься о женских правах. Конституцией для нее было Евангелие, социальная справедливость заключалась в понятиях «по-божески» или «не по-божески». Испытывая часто нужду, страдая от самодурства, она находила силу и нравственное равновесие в милосердии, возведя милосердие в первый закон, имеющий внутри страны такое же хождение, как горе. Историк В. О. Ключевский, рассказывая о Юлиании Муромской, жившей в XVII веке и разорившей неустойчивой милостью свое крепкое хозяй-

ство до основания, приходит к парадоксальной, но русской, нигде более не сумевшей бы появиться мысли о том, что как для развития медицины нужны больные, так и для добродетельства в Древней Руси нужны были нищие. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» – и это в характере русской женщины, но основная ее служба была в целительности сердца. Это служба скрепляющего раствора в любой кладке, которая без раствора развалится, и это служба тыла в любом продвижении вперед, которое без тыла провалится. Жертвенность и целительность сердца были настроением женщины и в просвещенных кругах вплоть до середины и даже за середину XIX века, о чем свидетельствует русская литература, всегда умевшая чутко уловить внутренние общественные звуки. Ольга Ильинская надеется победить лень Обломова, Вера у Гончарова же в «Обрыве» рассчитывает смягчить губительный нигилизм Марка Волохова, Соня Мармеладова у Достоевского, готовая на все, чтобы спасти от отчаяния Раскольников, по бескорыстному сложению своей нравственной фигуры достойны памятника; коли и литературным героям дарованы теперь эти почести – чей еще образ мог бы служить указанием на величие женщины!

Но литература не обманывается и сегодня, когда в рассказах Василия Шукшина, в «Воспитании по доктору Споку» Василия Белова, в произведениях многих и многих наших современников говорит о трагическом надломе женщины, который пришелся на ее сердце.

Смысл всяких потрясений за последние века заключается в жажде требовать и брать силой после того, как начинают давать, в неумении удовлетвориться необходимым и нежелании отдавать труды, чтобы безболезненно осваивать достигнутые свободы, прежде чем добиваться новых, в буйной страсти к полной развязности, к языку ультиматумов и бомб. Словно бешенством заболевает общество и, пока не перебесится, пока не нанесет себе страшного урона, не за-

хочет принять никаких уступок, уступки лишь разжигают его ярость, а захватив в конце концов все, удовлетворив свою страсть, когда наступает время созидания, оказывается неспособно к нему и небрежно.

Русская женщина включилась в активную борьбу за эмансипацию уже после того, как получила возможность учиться в университете и играть подобающую ей роль в обществе как гражданской службой, так и культурной деятельностью. Просветительским и прочим женским кружкам, хоть и заведениям по типу Веры Павловны из романа «Что делать?», никто не препятствовал, и они появлялись во множестве и в столицах, и в провинции. Из своего общественного сокрытия и «темного царства» женщина всюду выходила на вид, стеснительно оглаживая свою фигуру, которая после вечного прозябания в «темном царстве» казалась ей излишне приземистой, а оркестры и речи уже торопили ее на площади.

Это был соблазн такой страсти, какой женщина никогда не испытывала даже в самых темных уголках своей души; это был экстаз, и непорочное зачатие от духа, объявленного властителем дум Писаревым с предельной откровенностью: «Все, что может быть разрушено, должно быть разрушено». Едва ли подозревала женщина, надрывая горло в требованиях, что и ей предназначено войти в это «все».

В конце концов ведь и Софья Перовская с Верой Засулич – тоже жертвенность, которую мы ставим женщине в заслугу, только с того конца, который подхвачен писаревским духом.

* * *

Когда-нибудь, будем надеяться, явится женщина-писательница, которая вслед за Лухмановой изнутри большого вопроса скажет о происшедших в женщине переменах и назовет их собственными именами. Хотелось бы,

чтобы это «когда-нибудь» не затянулось: сама женщина жаждет правды о себе и вождельно прислушивается к голосам, способным подсказать «блудной дочери» пути возвращения. Раскрепощенная и свободная от старых пут, вышедшая из тесных четырех стен и взошедшая на самые верхи общественной пирамиды, плотной государственной массой шагающая по утрам равноправно с мужчинами в цеха, лаборатории, стройки и учреждения, соперничающая с ним умом и мускулами, громкая, целеустремленная, активная, передовая – она, следовало ожидать, должна быть счастлива: нет ни одного занятия, ни одного мужского подвига, которые бы остались для нее недостижимыми.

Казалось, и общество должно было выиграть: разве вместе с женщиной, ставшей государственной фигурой, не смягчаются в государстве нравы, не исцеляются многие язвы и не утоляются печали? – женщина, взойдя, должна была и милость сердца своего вознести на государственный уровень.

Но этого можно было ожидать лишь на механический взгляд; сокрытые общественные законы механику не признают, и на взгляд, проникающий в глубинные процессы, этого ожидать было нельзя.

Перемещение женщины произошло грубо, не обогащающим взаимно женщину и общество подъемом роли, а переменой роли. Здесь не эмансипацию надо винить, а смелость и безоговорочность, с какими она, словно кукуруза, внедрялась. И не цивилизацию, а уродливые односторонние пути, по которым пошла цивилизация. Женщину совратили публичной значительностью и освободили (а потом она и сама себя принялась освобождать) от ее извечной и тихой обязанности культурного укоренения народа; духовность она заменила социальностью, мягкость и проницательность особого женского взгляда – категоричностью, женственность – женоподобием, материнство – болезненным детоношением, расчетливым

или горьким, как кукушка, подбрасывая затем птенцов в общие гнезда детских учреждений; семейственность – непрочными связями. И так далее. Она сняла с себя завесу тайны и интимности, растеряла не половой лишь один, не физиологический, а каких-то несказанных звуков и свойств природный магнетизм, вызывавший ее привлекательность. Музыкальное звучание женщины в мире сделалось прерывистым, ее повлекли механические, диссонансные ритмы, «песнь песней» осталась недопетой, переходя постепенно в «плач плачей».

Уйдя из семейного рабства, будучи при этом одновременно и орудием, и жертвой, она попала в рабство не менее гнетущее – социальное, все заметней превращаясь в функцию, в слагаемое, значимость которого подгоняется под утешительную сумму.

Этот неприглядный и далеко не полный портрет дается не для того, чтобы бросать в женщину камни. Она и без того наказана. И вина ее и беда срослись так, что по отдельности их уже не рассмотреть. Видно лишь, что оставшаяся в женщине природа вопиет от ужаса за свою будущность. Человеческий мир вокруг женщины – это дитя ее, и она инстинктивно сознает свое материнство и ответственность за человеческие итоги. Но сознает смутно, сновидениями отвергнутой в ней женщины. Реальность погоняет ее на службу за рублем, в детсад за ребенком, в очередь за молоком, и «неделя как неделя» одна за другой промелькивают перед нею в жилистых социальных усилиях по инерции продолжающегося самоутверждения. Редко слышит она: «любимая», «родная», «единственная», а все больше: «гражданка», «партнерша», «мужичка».

Статью, комментирующую почти сто лет назад книгу Лухмановой, В. В. Розанов назвал «Женщина перед великою задачей» и видел эту задачу в воспитании человека, прежде всего, в семье. Ныне задача женщины стала гораздо трудней, и шире, и значительней, и величественней. Вер-

нуться на прежнее место нельзя, да и не нужно, поскольку сместилась целая эпоха, сместив вместе с собой человеческое содержание. И, подобрав затверженное «cherchez la femme», мы пользуемся им не ради указания на виновницу, а во имя обращения к женщине: ищите женщину.

Ищите и находите. В этом и состоит сегодня великая задача женщин.

1989

ЧТО ДАЛЬШЕ, БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ?

Не для упреков и предъявления счета, а только для того, чтобы проследить, как это происходило, и прикинуть, пойдет ли куда-нибудь дальше, не пора ли поставить на славянском вопросе крест, и возвращаемся мы к этой теме. И хотя ныне более кстати писать повесть, со слезами смешанную, о разорении и разделении Русской земли, искать меры для спасения оставшегося, а не предаваться на пустом, в сущности, месте, более того – на пепелище – славянским грезам; но ведь там, на пепелище, впервые и решается, строить ли новый дом, а если строить, повторять ли его в прежних формах или искать для прочности другие. Славянские мечтания, быть может, и всегда были беспочвенны, но, во-первых, вреда никому, кроме нас, они не принесли, а во-вторых, поздние старатели славянского дела прекраснородушием и в прежние времена не страдали и смотрели на вещи куда как трезво.

Вспомним Ф. М. Достоевского, его «Одно совсем особое слово о славянах» из «Дневника писателя», сказанное в разгар Балканской войны. Русское войско мерзнет, голодает, льет кровь в боях с турками за освобождение «братушек», Россия охвачена сострадательным и жертвенным настроением к ним, чувством материнским, во множестве раздаются устные и печатные речи, что наконец-то малень-

кая, исстрадавшаяся в неволе Болгария присоединится к другим славянским народам и прильнет к родственному могучему телу России, воспользуется после войны ее мирным покровительством и явится в мир в красоте и простоте своего воспрянувшего славянского сердца. Словом, Россия пребывает в энтузиазме от своего подвига заступничества и открывающихся перед славянским миром перспектив, а Достоевский в это время пишет:

«...По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, – не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобожденными...»

«...Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны, ни малейшей благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, и не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, “имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян видному, хитрому и варварскому великорусскому племени...”»

«...Даже о турках станут говорить с бóльшим уважением, чем о России...»

«...Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации...»

«...Славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны бу-

дут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и своем особом славянском призвании в среде человечества. Между собой эти племена будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать...»

«...России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае...»

Великий наш писатель как в воду глядел. Были и подозрительность, и ненависть, и предательство по отношению к России вскоре же по заключении мира, и редко утихал «домашний старый спор славян между собою», и меч после убийства в Сараеве пришлось обнажать – и слишком дорого стоил России этот вынутый меч. А в наше время и до того добралось, что бывшие турецкие славяне неприкрыто стали вздыхать о турках, а немецкие славяне – о немцах, посылая проклятия освободителям. И в этом не ошибся Достоевский. Его «прорицания», правда, относились к «внешним» славянам, даже и он не мог предвидеть того, чтобы принялись с невиданным азартом рвать друг с другом славяне «внутренние», находившиеся в границах Российского государства. Достоевский отдавал распрям и непониманию не менее века, может быть, чуть более до необходимого согласия в семейном кругу, в который придется славянам сойтись как волею судьбы, так и по родственному чувству. Сроки эти теперь миновали, но никогда еще славянство не было так далеко друг от друга, так друг к другу нетерпимо, и никогда еще, за исключением кратковременного послереволюционного периода, сама Россия не падала так в своем политическом и нравственном значении, как теперь. Она попросту рухнула всей своей огромной тяжестью, и прежде азиатской подкосилась под нею славянская опора, та самая, на которую был первый и главный расчет и которая составляла

праматеринские начала России. В сущности, российские славяне – это один народ, народ русский, разлученный историческими обстоятельствами в старые времена на три части и в разлуке наживший различия, давшие основание называться Малой, Белой и Великой Русью. Но – Русь, с единым телом, единой душой и сердцем, сращенность которой могли взяться проверять только враги ее. И прежний разрыв был неестественным, что-то вроде сиамских близнецов о трех головах, но когда теперь с утроенной русской удалью принялись топором кромсать по живому – и одно сердце на три части, и одну душу на три части, это уж совсем конец славянского света. Куда уж там простирать руки к двоюродным и троюродным братьям, к балканским западным славянам, если единоутробные не могут ужиться! О каком вести теперь речь духовном объединении, о цивилизации, о теплом православном домостроительстве, которые славянство могло предложить миру, если и разделенного меж собою в религиях Христа не перестают они делать орудием мести! Если снова вернулось средневековье с варфоломеевскими ночами и феодальной чересполосицей, а чрезмерное и силовое деление национального, народного ядра приводит к тем же результатам, что и ядра атомного; если, как никогда, славянство раздражается межрелигиозными, межнациональными, межрегиональными и прочими межами, каких немало, и если Югославия с одного конца, а Россия с другого стали образом воюющего самого с собой славянства! Оно сейчас доставляет миру больше всего хлопот. Чужие живут дружней, чем свои. А коли так – не лучше ли навсегда похоронить упования на него и окончательно освободиться от последнего в свете рабства, – рабства племенных предрассудков, предложить человечеству не сердце и душу, которые мы долго готовили, но так и не сподобились дать, а голову и руки функционально среднего недостаточного гражданина мира. И хотя за славянина в

мире по-прежнему дают негусто (Гегель сказал, что «все человечество делится на людей и славян»), да ведь нам не до уважения, не до жиру – быть бы живу. На взгляд цивилизации, мы все еще недоросли, увязившие свое культурное, хозяйственное и политическое развитие в тех местечковых болотах, что давно ею пройдены, и питающиеся остатками с ее пиршественного стола. Так не пора ли отказаться от всяких сдержек роста, и прежде всего от национальных и религиозных колодок?! Все должно быть общим, взаимопроникающим и проницающим, никакой частной собственности на веру и призвание. Пусть, как предлагал Вл. Соловьев, в православии будет католичество, а в католичестве – православие; пусть, как предлагают ныне, иудаизм соединится с христианством; пусть русский не знает себя как русского, серб как серба, а татарин как татарина; пусть в России будет Америка, в Китае Турция, на Украине Германия – и все это пусть сливается, обнимается, перемешивается и перевивается до полного подобия в последней молекуле и атоме, без всякой особицы, способной вызывать рецидив розни.

Я даже не знаю, есть ли тут, в этой картине, утрирование ведущегося дела... Возможно, нет; что-то в этом роде и предлагается как средство от человеческой бестолковости во имя гуманизации нашего брата. Нравится оно кому-то или нет, это месиво и варево, но оно мало-помалу сливается в одну посудину, и новый порядок вещей по исправлению мироустроительного волюнтаризма Всевышнего взял курс и не собирается с него сворачивать. Нечего в таком случае спрашивать с разбегающихся в разные стороны от своего ветхозаветного очага славян, они правы, одними из первых бестрепетно шагнув навстречу судьбе. И даже не вяжущиеся, казалось бы, с этим курсом вспышки национализма, фанатизма, сепаратизма и всяческого другого эгоизма, которыми издергивается в последние годы планета, объяснить несложно. С одной стороны, тут результаты

все той же политики «разделяй и властвуй», с основания мира не подводившей исполнителей, а с другой...

Есть тут, кроме того, еще одна, не извне, а изнутри народов подымающаяся причина, причина психологического свойства: все более растущее беспокойство от приближающейся опасности, которую народы не в состоянии распознать и по тревоге слепых своих вождей принимаются искать близ себя. А близ – сосед, с кем столетиями делились и хлеб, и кров, и удачи, и беды, с него и взыскивается в ярости за недостигнутое счастье. Связывавшие их тесные узы не то что забываются, а выворачиваются наизнанку, представляются узами рабства. И – пошла карусель, нередко кровавая. В качестве подзащитной имеется в виду не только одна Россия; стоит оглянуться вокруг, чтобы увидеть всполохи междоусобья и на арабском континенте, и на американском, и на европейском. Но и Россия тоже имеется в виду. Ей сейчас достается как не больше ли всех. Приходится признать, что, если бы не прежние враги России, удерживающие поводки, прежние друзья постарались бы загрызть ее, поверженную, насмерть.

* * *

Первая реакция: незачем и дружбы искать с теми, кто не способен ценить родства и дружбы. Русские могилы по всей Восточной и Южной Европе свидетельствуют, как не жалели мы живота за други своя. И всюду почти, где засеяны русские кости, всходы их теперь выпалываются и вытаптываются. Впрочем, нет, не всюду: в посторонней Австрии, к примеру, находят нужным чтить память и памятники погибшим в войне с Гитлером Иванам да Алешам, а в единокровной Чехословакии ни знать, ни помнить о них не хотят, вокруг стоящего «над горою Алеши», в «Болгарии русского солдата», полыхают страсти, от которых, вероятно, справедливее было бы избавиться и

застывшего от боли Алешу, и некогда самых близких наших братьев. И хотя к месту и не к месту на ломаном и ломаемом русском языке повторяется сейчас «была без радости любовь, разлука будет без печали», – что до нас, есть и печаль, и горечь, и боль, потому что то, что было, было больше, чем любовь по чувству. А что испортило это бывшее, в том следовало бы разобраться не аргументами желудка и витрин.

В самом деле, для чего веками городился славянский огород, на который шла уйма жизней, средств и ума и который ни к чему не привел да и не мог, по заверениям его противников, привести ни к чему толковому? Напротив, считали они, нужно для исторического благополучия разгораживаться, выходить на свежий воздух обновленного мира без всякого остатка и зауголья, становиться в ряд его могучих производительных сил, подрастать под его стандарт, освобождаться от предрассудков захолюстья, от затхлости национального бытия, распрямиться во весь свой рост, а не прятаться под ислевшую тень предков, живших по археологическим понятиям и законам.

Сторонники «огорода» стояли на том, что да, замкнутость в пределах нации и государства вредна, как и всякое чрезмерное затворничество, но еще вредней и опасней выносить национальные качества, никому, кроме носителей, не нужные и не подходящие, на мировую ярмарку, где за них не дадут и ломаного гроша, а народ от них оголят и выпотрошат. А потому выход не в крайностях, а посредине – в организации духовного союза народов, семейственных по вере, языку и происхождению, для защиты и приумножения (и обмена с другими) вверенных им лучших даров. Как для государства необходима вооруженная армия для защиты внешних границ, так нация вправе озаботиться охраной внутреннего благополучия, связывающего ее в одно целое. Вышедшему не поодиночке на мировую ярмарку, а дружно и вместе на сцену жизни славянству

будет легче сказать свое слово и показать свое дело. Это и не обособленность, но и не исход, не отрыв до безотечественного существования, до духовного оборотства; это необходимое принятие мер для самобытной и независимой жизни, мировое деление на собственной почве. Но главное – это решение нравственной задачи, выраженной в завете: возлюби ближнего своего, как самого себя, ибо в государственном масштабе этот завет без корысти никогда не исполнялся.

Человечество – единый организм, говорит одна сторона, и каждый народ в нем – только орган, выполняющий определенную функцию, только часть целого. Мы все созданы из одних и тех же начал для одной и той же цели – для поддержания жизни организма. И если какой-либо орган захочет обособиться, он подорвет работу целого и поставит себя в роль его врага. Человечество всегда сильнее народа, оно выстоит, а народ, противопоставивший себя человечеству, отомрет.

Именно, именно, организм и органы – соглашаясь, возражает другая сторона. И каждый орган выполняет свою особую, автономную работу. Ни один из них не может быть лишним, и ни в одном из них нет ничего лишнего. Каждый находится на своем месте и в своей среде. Все тончайшим образом соединено, взаимообусловлено, сопряжено в одну упряжку, тысячу раз уточнено и взвешено. И если сердце перегоняет кровь, оно не станет вмешиваться в работу легких на том основании, что оно якобы цивилизованнее своего соседа по грудной клетке, и поэты, кроме перегонки крови, воздали ему хвалу быть органом любви. Любовь любовью, занимаясь ею по совместительству, а насос должен работать. Так и печенка не пойдет устраивать ревизию селезенке. «Взаимно» исключает всякое «помимо», всякое вмешательство в чужую функцию.

Кроме того, продолжает эта сторона, в организме родственные органы соединяются в системы – кровенос-

ную, нервную, сердечную, мозговую, дыхательную и т.д. Позвольте славянской семье быть одною из них. Тою, которой она соответствует и которую она выполняет и без вашей резолюции. Не упорствуйте назвать своим именем существующее. Если человечество – универсальное целое, стремящееся быть солидарным целым, то семьи народов – уже готовые для строительства блоки, соединенности которых следует лишь радоваться. Задача человечества этим облегчается, важно дать им место по призванию, а не подозревать в преступной клановости. Не будь семьи в обществе, управлять им, воспитывать и облагораживать его, подвигать к служению во благие имена сделалось бы намного затруднительней, если вообще возможно без принуждения. И великое из чувств – любовь – стало бы без семьи беспризорным и одноклеточным. Без семьи все основания общества пришлось бы менять. Почему же такое раздражение вызывают семьи народов в человечестве?

Человечество изначально, как только оно осознало себя в человеке высшей формой жизни на Земле, принялось, в свою очередь, за высшую организацию жизни – подхватывают старый спор нынешние мондиалисты. Со времен Римской империи, а может быть, и раньше, оно начало всемирное нравственное, культурное, экономическое, политическое, религиозное объединение на принципах универсальности. Это было и остается целью человечества. Тот мир, который вы видите перед собой, плох он или хорош, есть результат этой цели. Работа не закончена, вокруг строительный мусор, беспорядок, но в успехе нам отказать нельзя. Не забывайте, что нам пришлось надолго задержаться: все последующие после Рима империи, зараженные самомнением, все века, вплоть до Просвещения, объятые фанатизмом, были отступлением от цели, и только последняя цивилизация позволяла предложить и утвердить такие права и свободы, которые решительно двинули нас вперед. Безобидный с виду Славянский союз (он пополнит теперь

славянские предания) был бы проявлением племенного эгоизма и потому входил в противоречие с общечеловеческой задачей. Разве не помните вы слова Сенеки: «Должно находиться в общении любви со своими, за своих же почитать всех соединенных человеческой природою». Мы все братья, все близки или далеки ровно настолько, насколько позволяют нравственные правила и юридические нормы. Разве нельзя любить человека и сострадать ему только потому, что он человек. Пусть особи и виды остаются в животном мире, человечество их пережило.

Оставим пока за оппонентами последнее слово и посмотрим наконец, вокруг чего же городился славянский огород, сравним его с выгороженным бастионом по результатам Второй мировой войны и попробуем догадаться, где бузина, где Киев и где дядька. Без разгона не взять.

* * *

Почти весь XIX век Россия прожила под знаком Восточного вопроса, – вопроса, связанного с освобождением православных заграничных славян. Это стало ее главной духовной и исторической задачей во внешней политике. У нас на памяти последнее, самое решительное действие – война с Турцией 1877–1878 годов, которая велась ради вызволения болгар, но расшатывать Османскую империю и отрывать от нее православные куски Российская империя начала значительно раньше. Девять раз воевала Россия с Турцией, и всякий раз не без участия православных интересов, В двадцатых годах получила независимость Греция, затем Румыния, Сербия, Черногория и наконец Болгария. Притом общество, в XIX веке уже ревнивое к походам вовне, эти войны не только оправдывает, но еще и подталкивает к ним правительство. Крымская кампания, закончившаяся печально благодаря европейскому десанту, и начиналась, верно, без той популярности, которой вдох-

новлялась война 70-х годов, но оправдывалась теми же задачами. И вступление России в Первую мировую войну осенялось славянским духом. «Собственные» славянские земли, бывшие собственностью Киевской Руси и потерянные в татарское время, земли также единоверные (Галиция, Волыния), претерпевающие за веру в католической среде больше, чем южные славяне в исламской, – даже они не вызывали тогда такого радения, как славяне балканские. Дело тут, разумеется, заключалось не в одной лишь сердечной привязанности, но и в доступности: Османская империя слабела, и, если бы не поддержка Европы, боящейся усиления России, Балканы могли бы разогнуться раньше. Ну а с западными славянами (имеются в виду единоверные из Киевской Руси), которых судьба жестоко, забрасывая из государства в государство, от власти к власти, и которым случалось быть игрой и российской политики, – с ними было то, что называлось: видит око, да зуб неймет, – и вопрос с ними, как и с иноверными славянами, перенесся в XX век. Вообще славянский узел настолько запутан и столько обрывков понавязано в нем, что не здесь и не нам вытягивать его хоть в сколько-нибудь стройное повествование. И больных мест в нем столько, что не наахнешься. Польша, Литва, Венгрия, Румыния, Австрия, Германия – через чьи руки только не прошли исконные земли старой Руси, кто их только не давил, не искоренял веру и русский дух, не совращал и не отвращал от бывшей Родины! Многие ли из нас знают, к примеру, о лемках, ветви русского племени в Карпатах, или о Хромщине, Ярославщине, оставшихся в Польше. Нет, лучше не начинать. Не будем касаться и разделов Польши, политики Александра I на Венском конгрессе после победы над Наполеоном, политики, как считается, упущенных возможностей по отношению к старым русским областям – история в конце концов все расставила по местам, чтобы затем снова запутать. А посмотрим лучше, что это за пугало такое – пан-

славизм, почему в одних до сих пор он вызывает тоску, в других – полное неприятие? Что это за вынашиваемый в общественных кругах славянский империализм? Не то же ли самое здесь, что и со многими другими значительными идеями прошлого, обросшими непониманием, домыслами, умыслами, нарочитыми искажениями – и до того, что только под замок их с грифом «Осторожно: яд!».

С началом освобождения балканских славян возник вопрос, вполне естественный, сам собою напрашивающийся, какова должна быть роль России и быть ли ей в последующем их мирном устроении. Вполне могло случиться так, что, выполнив освободительное задание и устранившись, Россия способствовала бы тем самым новому, лишь более изощренному закабалению. Волей-неволей она чувствовала ответственность: или не вмешивайся вовсе, или водительствуй дальше. Но какого рода высматривалось это водительство?

О включении в свои границы и речи не могло быть. Ни один из серьезных славянофилов, насколько известно, такого не предлагал. Предлагалось, да и то недружно, довести давление на Турцию до взятия Царьграда-Константинополя, чтобы сделать его столицей православного мира, а сам этот мир, обладая единым духовным пространством, основывался на тесном, теснее, чем с другими, экономическом и политическом сотрудничестве, полностью свободном и добровольном.

Конст. Леонтьев разъяснял:

«...Для восточнославянского мира нужно как можно менее единства государственного, политического в тесном смысле и как можно больше единства духовного. Со стороны политической желательно не слияние, но... лишь какое-нибудь подчиненное тяготение на почтительном расстоянии, “союз государств” (какой сбивается теперь из остатков бывшего СССР. – В. Р.), а не однородное и даже не слишком сплоченное “союзное государство”».

Ф. М. Достоевский:

«...У России, как нам известно, и мысли не будет, и быть не должно никогда, чтобы расширять на счет славян свою территорию, присоединять их к себе политически, наделав из них губерний и пр. Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, ровно как и вся Европа, и будут подозревать еще сто лет вперед. Но да сохранит Бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив, напротив, славянам с самого начала как можно более политической свободы и устранив себя даже от всякого опекуинства и надзора над ними, и объявив им только, что она всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу и национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать силою это опекуństwo и политическое влияние свое на славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное».

Это мнения не только лучших мыслителей славянской идеи, но и сторонников решительных действий, настаивавших, чтобы Царьград, главная святыня православия, был наш. «Наш» – или российский (по Достоевскому), или в качестве «свободного» города «союза государств» (по Леонтьеву). Другие мнения приводить излишне, они мало что добавляют. В главном главные авторитеты Восточного вопроса были единодушны: ни подчинять себе, ни даже на какой-либо привязи держать, в том числе и на моральной за освобождение, Россия не должна и не будет. То, что называется панславизмом, имело целью духовное и нравственное усиление объединенного свойственностью славянского мира, возможность перенесения (мирного, не какого-нибудь иного) центра тяжести в Европе с католичества на православие, которое представлялось чище и любвезначительней, хорошее обрядное чувство, высвобождение заложенных в славя-

нах культурных задатков, пособничество друг другу в этой работе. Постоять за други своя и вместе с ними углубиться нравственно и возвыситься духовно – это был род спасения души и одновременно, как казалось, исполнение хоть части своего национального призвания.

Послушаем дальше идеологов Восточного вопроса.

Конст. Леонтьев:

«Все другие державы действуют на Востоке почти исключительно одним внешним, механическим, так сказать, давлением, своею военною или коммерческою силою... Только одна Россия поставлена вероисповедным началом совсем в другие условия... Только для русской политики на Востоке возможно было до последнего времени счастливое сочетание преданий с надеждами, религиозного охранения с движением вперед, национальности с верой, святыни древности с возбуждающими веяниями современной подвижности... Не в том ли народе надо нам преимущественно искать опоры, в котором глубже накопление православных сил, этих реальных и вовсе не мечтательных сил, до сих пор еще и у нас столь могучих? Не с тою ли из христианских наций Востока нам следовало по преимуществу дружить и сблизиться, в которой наши собственные священные предания крепче и ярче выражены, чем в других?»

Ф. М. Достоевский:

«Опять-таки скажут: для чего это все, наконец, и зачем брать России на себя такую работу? Для чего: для того, чтобы жить высшею жизнью, великою жизнью, светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в конце концов великий и мощный организм братского союза племен, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом; вознести, наконец, всех малых сих до себя и до понятия ими исторического ее призвания – вот цель России, вот и выгоды ее, если хотите. Если нации не будут жить... высшими целями служения

человечеству, а только будут служить одним своим “интересам”, то погибнут эти нации несомненно, окаменеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению в великое целое. Только тогда скажет всеславянство свое новое целетельное слово человечеству».

Но могли быть, вероятно, и другие интересы, стоящие на дальней повестке дня. Не напрасно полвека с лишним, по начало войны 1914 года, в России не уставали повторять, что русский вопрос есть вопрос славянский, а славянский вопрос есть вопрос русский. Мир не сегодня только, предавая своих учителей, свернул по следам Иуды и Каина. Сознательное нравственное искажение и духовное похолодание в ведущих осях мира почувствовалось лет за двести от нас, и нельзя было ошибиться, что это не отклонение, а уклонение, действие с заведенным механизмом. На европейском континенте обновленческий сквозняк пронизывал все без исключения национальные тела, с жадностью набросился он на жаждавших просвещения девственников, только что вырвавшихся из туретчины на простор вольной жизни, набегал, насеивая свой дух, на Россию. Или надо было принимать его, соглашаться с ним, или выстраивать линию обороны, которая в одиночку никакой стране была не под силу. Передней линией обороны географическим и веровым положением уготовлялось стать славянству во главе с Россией. История вновь требовала выхода славянства на ту же позицию в отношениях между Востоком и Западом, что и столетия назад, только теперь пришлось бы подставить под удар противоположный бок. Если в древности ценой своей свободы оно спасло Европу от азиатских орд, на этот раз Запад двигал на Восток орды цивилизаторского покорения. И опять на пути Россия со славянством. Ее географическую обездо-

ленность нужно видеть не в суровом климате и не в бедных землях – многобедное наше счастье быть Россией в том, что лежит она поперек дороги и стоит поперек горла вселенских интересов.

Славянство по природе своей не должно было соглашаться с новым миссионерством Запада по оправданию зла. Для него это погибель. Для любого народа или семьи народов это погибель, но для славянина тем более. В его нравственном миропорядке добро и зло имеют определенные, раз и навсегда закрепленные места, и способность западного человека и в пороке выглядеть немножко добродетельным, а в добродетели немножко порочным для него непостижимое искусство. Талантом двусмысленного поведения он не обладает, он тяготеет к полюсам. Дозволенное зло стремится в славянине перейти в крайность, наша мораль недоступна так называемому консенсусу противоположностей и прямо, без промежуточных построений, с решительностью разводит их по сторонам. И если она нарушается, зацепиться не за что, падение бывает убийственным. Славянину следовало бы знать за собой эту психологическую особенность и осторожнее быть с дарами данайцев. Но он взялся принимать их с жадностью и доверчивостью, которые простительны лишь дикарям.

* * *

Россия дважды освобождала славян. В первый раз – от иноземщины, во второй, только что, – от себя. Притом в этот, во второй раз она была поставлена в безвыходное положение с самого начала принятой на себя роли суверена. Отказаться от своей зоны влияния при разделе Европы по результатам Второй мировой войны она не могла, это означало бы с первого же дня победы поставить под удар плоды такой победы, так дорого доставшейся, и позволить очередному противнику закладывать под россий-

ские стены взрывчатку. «Холодная» война, наступившая без передышки вслед за «горячей», подтвердила это. Без военного союза и экономического сотрудничества, без тесного переплетения интересов, дружности и дружинности противостоять силовым приемам Запада оказалось бы невозможно. Для России все сорок лет, с 1945-го по 1985-й, были не гонкой за мировое владычество (мало кто в это верил при виде ее запаленности и с тем грузом, который она на себя взяла), а борьбой за выживание и за сохранение статус-кво. Иное дело – в каком качестве, с каким лицом, во имя каких интересов, что было нахлестывающим ее всадником – истязивалась Россия выжить.

В других обстоятельствах собрание всех без исключения славянских стран под рукой России оставалось бы принять как чудесный дар судьбы и исполнение вековой мечты славянства – если бы таковая мечта в цельности оформилась и если бы исполнялась она умно и грамотно. Умно и грамотно – значит без какого-либо нажима, без навязывания своих взглядов и приемов, не говоря уж о заблуждениях, о чем, если помните, пуще смерти остерегали цитированные раньше Достоевский и Леонтьев. То есть, ближе подводя, умно и грамотно означало – в чужой монастырь со своим уставом не ходить. Только в таком случае появлялись условия для «подчиненного тяготения на почтительном расстоянии».

Вышло же дурней и безграмотней некуда. И не могло выйти иначе. Тот порядок, который насаждался Россией в славянских странах, был прежде насажден в ней самой и не являлся ни исконным, ни благоприобретенным ее свойством. Под кожей России в изъязвленности ее плоти дышало, ворочалось и томилось иное содержание, выпиравшее даже в иную, искажившую Россию форму. Она и внутри себя боролась за жизнь и из последней мочи не давалась перерождению; обескровленная, обесточенная и исхудавшая, возвращающая в себе пожирающую ее

силу, она вплоть до 60–70-х годов не знала, суждено ли ей остаться в живых, и только, сходя с трудом на Бородинское Поле и на Поле Куликово, почувствовала приток веры и здоровья.

Но и не России, пусть и больной, наполовину подмененной, пребывавшей долго в болезненной горячке, а потом в полуобмороке, наблюдавшей в страхе и боли, как рождаются и воспитываются в нелюбви к ней дети ее, как нищает земля и дух народный, будто топливный газ, собирается и перекачивается в чуждую ей энергию и как прибывает в ней беспамятная злая воля, – не России отказываться от себя и от такой. Это она попустила, все проишедшее по грехам ее... потому и не оправдывается, не закрывает глаз, не убаюкивает совесть ссылками на неблагодарность и несправедливость, когда слышит проклятия в свой адрес. Заслужила. И не заслужила, должно быть, любви и доверия, к которым готовила себя, не сумела выработать притягательности к себе, которая заставляет тянуться без выгод и подмены из одной только потребности в ее близости. Не заслужила. Громыхая идеологическими кандалами, въевшимися в кожу, она не могла оставить их за домашними стенами, шагая вовне, и, спеленутая чужим обрядом, не могла скинуть его с себя, как предмет туалета, чтобы одеться приличней. Она шла со всем тем, что имела и чем была в достоинстве своем и безобразии. Когда требовалось воевать и умирать, всякое лыко шло в строку достоинств, но теперь, с наступлением времени греметь обличениями и прощениями, все с такой же решительностью отнеслось в ней к безобразиям.

Она была с самого начала, от самой выигранной ею войны в проигрышном положении.

А если бы не была она в проигрышном положении и не поддерживала это проигрышное положение в лагере своих союзников по миру, а, напротив, была бы в положении крепком и бодром, без того, разумеется, удовлетворения,

которым блещет Запад, но все-таки есть что к требованиям взыскательной дружбы предъявить – могла бы такая крепкая, самодостаточная, взявшая правильный курс Россия удержать подле себя славянство?

Не стоит строить иллюзий: не смогла бы. Дух сегодня сильнее крови и прещения сильнее обетовании. А поперек духа церковного приходится ставить дух времени, исповедующий материальное поклонение. Как Россия не соответствовала СССР, будучи только сердцевиной ее и скрепой, так и понятие славянства мало соответствует тому разнородному, разнохарактерному и разноисповедному собранию, имеющему, кажется, лишь более или менее единое географическое днище. Заветов предков, давших им эту землю и эту кровь, они не соблюли и единства не сдержали. Единство превратилось в сброшенную шкуру далеких обетований, истертую и издырявленную о камни истории. Куда денете вы окатоличенную Польшу, поизнашивающую в себе славянские черты, с ее вековой подозрительностью к России, какой бы она ни была... с подозрительностью, питаемой прошлым и настоящим... Как быть с иноверной Чехословакией, с ее немецко-австрийской дрессированностью свысока глядящей на свою крайность – русскую импульсивность? Можно ли их примирить? Польша, по пословице, стоит беспорядком, Чехословакия не стоит без порядка, Россия потеряла почву, на которую можно вернуть порядок, Болгария никак не разберется, кому отдать руку и сердце, чтобы в качестве приданого ей был предложен порядок... Существует ли в мире порядок, способный собрать их вместе? Сербия с оружием в руках защищает православие против папской Хорватии, Украина униатская и Украина православная штурмом берут друг у друга храмы для возношения молитв ко Христу, у Русской Церкви зарубежные соотечественники требуют задним числом мужества против коммунистического ига... Есть ли сила, способная снова сбратать их? Где она? Что она? А может,

рознь и была дана как закваска для замеса славянской крови? И загадочная славянская душа – не лепилась ли она по образцу яблока раздора?

Об этом невольно задумываешься, переживая славянский раскол, казалось бы, неделимого целого внутри страны. Страна эта, чтобы не ломать язык аббревиатурой, по роли и по весу называлась в совокупности Россией, и, надо надеяться, не от ревности к названию внутреннее славянство решило расплываться с собственно Россией.

Это и вовсе трудно принять. Скорбь, и верно, велия. Можно выстроить неряшливую и злую фигуру раскола, как это делают самостийщики, из того дреколя, с которым хоть сегодня в битву, – из зависимости, несамостоятельности, культурного теснения, невозможности плодоносить и выражать себя, то есть из всяческого подневолья, при котором нет и не станет свободного дыхания. А еще – насильственного обрусения, общинности, при которой один с сошкой, а семеро с ложкой, из неповоротливости огромного государственного механизма и заскорузлости его мышления, из неспособности собственно России к демократии, а следовательно, и непопутности с нею. Кроме «союзных», в расхождении высматриваются и мировые причины, то постороннее подваживание под залежавшуюся российскую колодину, что привело к трещинам: это и политика «разделяй и властвуй», и хитроумная игра на самолюбии, и негасимый вид изнемогающего от изобилия Запада, и вместо изживших себя лозунгов призывное: «через тернии отделение – к звездам свободного неба»...

И до того нагтели атмосферу, что во всех бедах оказался виновен проклятый москаль...

С кого взыскуете, братья, или как вас теперь называть? Разве не Россия (теперь надо вести речь о собственно России) изнывала вместе с вами под одной уздой и разве не она в первую очередь принимала на себя удары, потому что вы худо-бедно оставались под охраной национальной

попоны, а с нее, считающейся коренником, сволокли всякую защиту? Разве не вместе вы отдавали дань и душами человеческими, и богатством природным и товарным, и рукодельем и умодельем своим, и верой и традицией народными, а Россия больше всех: оторвав от родной почвы ее, легче было оторвать и вас. Разве не одной терпью терпели вы духовное бесчестье и материальные нехватки и разве Россия и здесь не была впереди? Разве Чернобыль, этот символ возмездия, не носил в имени своем общее наше слово и разве смертоносный пепел Чернобыля обошел Россию? Или тот язык, который теснил мову, был русским? Неужели не знаете вы, что нет у русских такого языка и создан он совместным нашим безродством для обозначения безродного же политического и социального имуществва. Так же как над мовой, это новоречие издевалось и над русским языком, языком Пушкина и Тютчева, Тургенева и Лескова, Толстого и Бунина, Гоголя и Чехова, Шмелева и Ильина, вытравливая в нем трепетность, чуткость, звучность, точность, глубину, самородность и облик несущего его народа. Неужели забыли вы, что, когда русские писатели-деревенщики достали этот язык из бабушкиного старья и вынесли читателю, над ними измывались так же, как и над вашими письменниками?

«Москали», «москальство» – кривитесь вы вслед нам, как врагам своим. Нам не впервой слышать такое. Разве далеко обращаться за памятью о Киевской Руси, откуда разошлись мы на три стороны с одним и тем же лицом и языком, и разве только с возвращения от Литвы и Польши начинается ваша народность? Разве не такова степень сродства и сродства меж нами, что дальше некуда, и ненавистный вам теперь «москаль» – часть ваша, хотите или не хотите вы это признать, а вы – наша часть и давняя наша боль, всегда искавшая воссоединения с вами. Мы и в неволе оставались сообщающимися сосудами и чувствовали единородность. Только заносчивость может предьявлять к

нему требования, выискивая отдельное благо; ваши предки, претерпевавшие за русскость и сохранившие ее, при возвращении на родину шли не за выгодой, а для исполнения общих наших обетов. Когда не твердость их и не верность Руси, быть бы вам сегодня диалектами польскими и австрийскими.

Прекрасно ведали они, предки наши, что привело наши выи под ярмо... Если теперь вы ищите вместо грубого, натершего вам шею хомута хомут легкий, удобный, расписанный латынью, – воля ваша, не нам предлагать выход закусившим удила. Однако перед тем как окончательно расходиться, справились бы вы у своего прошлого об ожидающем будущем. Не дай Господь! – но то, от чего уберег бы вас Он, вы упрямитесь взять сами наперекор Его воле. Вы не вняли мудрым и с нашей стороны, и с азиатской, и со своей, что Россия как государственная целостность, которую и вы составляли, нерасчленима, что, лежащая на сгибе Европы и Азии, она есть живая, сросшаяся воедино ткань, всюдно переходящая друг в друга и друг друга содержащая, что нет в ней столько начал и концов для разделительных линий, сколько народов в ней... жили они и дальше жили бы, не зная соблазна самовсебячивания, мало-помалу умудряясь, вработываясь в безнадежную ровную жизнь в обновленной России, когда бы не эта свистопляска...

Мы не виним вас в ней; что толку искать виноватых, если виноваты все – и кто начинал с умыслом, и кто поддерживал по недомыслию, и кто сопротивлялся с оглядкой и вялостью, и кто устранился совсем. Нет безвинных в разрушенной своими руками стране. Но мы вправе были ожидать от вас не ругательств, а хотя бы сожаления о мучениях, на которые обрекаем друг друга разрывом, и не обвинений в исторической никчемности, а мирного «прощай».

Ищущие себя, не могли вы не знать и, должно быть, только отмахивались от сторожащей впереди перспективы, она, казалось вам, со временем снимется как-нибудь

сама, – ищущие себя, вы сделали решительный шаг к тому, чтобы себя потерять.

* * *

Славянское самоедство, все более усиливающееся, неумение прийти к согласию даже в роковые моменты истории, болезненное соседство, вечные «Балканы» с их неостывающей возгораемостью – все это, кажется, не может не свидетельствовать в пользу прибрания мира под одну власть. И не может не способствовать этой задаче. Войска ООН, забрасываемые, как пожарники, для тушения конфликтов то в одном месте, то в другом, а сейчас и на Балканы, – это утвердившееся начало действий единого мирового порядка. Международный валютный фонд, разгораживание Европы, готовящаяся в ней единая валюта, транснациональные корпорации, коллективно принимаемые решения, кого казнить и кого миловать, расходящийся по свету единый вкус, единая культура, единые политические, экономические и образовательные учреждения, единые болезни и единые шутки, единые приемы воздействия на сознание – это решительный пошив формы универсального образа жизни.

Он имеет легион сторонников, притом из самых активных делателей жизни. Они знают свою цель, на пути к цели их сопровождают удачи, на их стороне психологическое преимущество движущихся вперед. Национальные оборонцы, усмеваются они, напоминают чудака, который пытается сохранить яйцо, потрескивающее от движений цыпленка. Это тщетные усилия – разумеется, чудака, а не цыпленка. Или его, национального оборонца, можно еще сравнить с хозяйчиком прошлого века, не пускающего на свою землю железную дорогу. Дорога обойдется без его участка, а он без нее не обойдется. Ни в какой национальной оболочке не удержать созревший плод, зачатый для всемирной деятельности.

Разве, продолжают они, Господь не призывал к созданию единого царства на Земле? И не разъяснял Он, что в этом царстве «нет ни эллина, ни иудея» и во всеобщем братстве сойдутся люди без всяких различий? И разве это не истина, что сохранивший душу свою для себя потеряет ее, а не пожалевший отдать ее за других – спасет? Пришло время единой нивы человечества, без размежеваний, портящих труды.

Не путайте Божий дар с яичницей, отвечают им «оборонцы». Господь призывал к Царству Божию, к Царству Правды, а не к царству права и монеты, которое насаждаете вы. «Нет ни эллина, ни иудея» для заветов Его, для принятия Его Правды и Любви, а не во имя обезличивания народов в интересах облегчения цели. У вас всюду материальные интересы, на этом строится ваше царство.

Скажите, какова теперь задача человечества, над которой вы трудитесь? Не цель, поставленная вами, а задача, идеал, грядущее утешение всех и всякого? Нет у вас, строителей мира, такой задачи. Вычерчиваемое вами сооружение будет добровольно-сгонным общежитием для облегчения управления, смирения и для поддержания авторитета. С Царством Божиим ничего общего оно иметь не может – скорее, наоборот. Но и с тем, противоположным царством, вы пока не соглашаетесь, хотя почерк выдает вас, и Царь его живет меж вами как равный...

Да, каждый из нас должен любить другого только за то, что он человек, такой же мытарь, страстотерпец, образ и подобие Божие. Любить не по племенным лишь чертам, а по родству землян, снискавших единую обитель. Но почему племенную любовь непременно нужно противопоставлять земной? Это опять искусственная прокладка, не пропускающая тепло, чтобы любовь переходила в любовь и укреплялась любовью. У имеющих это чувство к ближним достанет его и до дальних; разработанное на родных нивах в добре сердце не оскудеет, а только прибавится с

дарением добра всякому. Мы за то, чтобы первые университеты любви и милости отрок проходил дома, среди родных преданий и песен, среди родного языка, родного уклада характера и души. Чтобы было ему с чем выйти в свет, а не явиться голодранцем, чей род промотал состояние и достояние. Национальному человеку есть откуда нести ответственность перед миром.

Была бы любовь, а кому отдавать ее – найдется. Была бы любовь – хватит ее на всех. Но вот признание вашего же сторонника из прошлого века, Макса Штирнера, начинавшего, вероятно, сразу со всеобъемлющей любви и кончившего так:

«Я в тебе ничего не признаю и не уважаю ни собственника, ни бедняка, ни человека – я тебя потребляю. Я нахожу, что соль придает моей пище вкус, и потому солю ее; в рыбе я вижу питательный материал и потому ем ее; в тебе я открываю способность скрашивать мою жизнь и потому выбираю тебя в товарищи. Или на соли я изучаю кристаллизацию, на рыбе – животных, на тебе – людей и т.д. Ты для меня именно то, что ты есть мой предмет, как мой предмет – моя собственность».

Этот взгляд – не издержки цивилизации, а несомое ею и ею утверждаемое содержание, всепоглощающее, в том числе и человека вместе с его любовью, и человечество с его идеалами. Чуткий к делаемому, к должному победить, автор этих слов рассмотрел его по первым признакам. И не ошибся. Нынче его слова могут повторить сотни и сотни миллионов человечества, уверовавших в непогрешимость потребительского начала.

Знобко, неудобно становится в предложенном вами электрическом тепле и механическом удобстве. Остывает Земля без любви, переведенной на расчет. Единого бога в соединении религий вы ищете для выставления в демократическом собрании своей кандидатуры, которую и проведете на роль Вседержителя. Это не соединение, а по-

глощение церквей в бездуховной утробе, алкающей новых скрижалей и заветов. И народы в стаде едином, пасомом вами, нужны вам без народности их, без отчего тепла и национального звука. Ни о каком перевесе высшего культурного элемента над низшим, как объяснялось исчезновение народов до сих пор, тут не может быть и речи, ибо вся культура ваша – сила ваша.

То берет, то отпадает сомнение: ведаете ли вы, что творите?

* * *

«Если и все соблазнятся, но не я», – уверял Петр и трижды отрекся от Христа, но остался любимым учеником Его, в страданиях и унижениях бывший вместе с Ним.

Многажды отрекались вожди славянства от идеи его, отводя свои народы от врученного им семейного и общинного дела. И ни одного из этих вождей народы не восславили в своих сердцах. Поплутав в умственных настроениях, послужив своим домом в чужих гостиных, сорвав душу, возвращались обратно и с утроенной любовью жались к родным Балканам, Дунаю и Днепру. А кто оторван был силой, как на сотни и сотни лет, шел на любые лишения и любую казнь, лишь бы остаться славянином и источать свой дух. Какая, казалось бы, разница – те же Карпаты пред ними, те же луга и поля, и могилы предков на месте, и круг родных людей, и только то одно, что жили они в отъятии от Руси, от скорбящей ее материнской длани, простертость которой натыкалась на невидимую стену, не доставая до них, только это одно во все века отрыва доставляло им нестерпимые муки. Сотни тысяч сербов во Вторую мировую войну были уничтожены за православную душу, на оставленных жить, как на евреях, нашивалась или выводилась краской буква «П» (православный), что должно было отпугивать от них, как от

прокаженных. Отрекитесь! – требовали, ведя на пытки и казни. Не отрекались.

Это свыше нас. Это не воля наша – быть или не быть славянином. Это наша доля, врученный нам в рассветные времена человечества духовный надел. В нашем рождении участвовали камни гор и воды рек, травы степей и клики пролетавших когда-то птиц: нас согревает не одно лишь солнце нашей жизни, но и солнце, светившее предкам и взрастившее неотрывные от нас отчины и дедины. В наших глазах, когда мы направляем их вдаль, стоят и набег степняков, и плач нанизанных на веревку, как бусы, уволакиваемых в полон... Всюду, должно быть, в старину было то же, но у нас по-своему, и сетчатка наших глаз отличается от других тем, как соткана была наша допрежняя народная жизнь. Мы и любили по-своему, и страдали, и плакали, и смеялись – по духу окружавших нас гор и долин.

Память наша, стоит лишь обратиться к ней, востребовать «письмецо», писанное славянскими письменами, доставит его в нетленности из таких временных угодий, что от глубины их обомрет сердце.

Кровью полита наша земля, слезами омочена, битвами не на жизнь, а на смерть сшита, криками новорожденных и стоном умирающих подбита, песнями, сказами изукрашена... Эти боли больные и дива дивные всюду, скажете вы, наособинку. Вглядитесь в наши лица, мягких и плавных линий, – это от доверчивости, от раскрытости всем, от звучащих внутри памяти напевов, к которым мы непрестанно прислушиваемся. Мы всегда наполовину погружены внутрь себя, в свое, каждый из нас – маленький родник, отрытый на месте глубинной жизни.

Мы не кровью гордимся, нет. Что сегодня племенная кровь, не имеющая духовного русла? Особенно в Европе, где народы принялись толочься еще в незапамятные времена. Да еще при судьбе, когда мы побывали под чужби-

ной. Такая там дружба народов, что не перечесать. И все же она, кровь наша, остается славянской, все же характер сберегается, потому что все в нас пропитывается своим, руководится им и в него перерождается. «О Славия! – воскликали наши предки. – Сладок каждый звук твоего имени. Славянское братство называли Всеславией. Из века в век гремело: славься! славься! славься! На дорогах мира в пестрой толпе человечества славяне узнавали один другого по лицам и обнимались как посланцы одной надежды.

Во Вторую мировую войну ни один славянский народ не стал воевать против России. И союзников своих не смели гитлеровцы отправлять на Восточный фронт. Рознь рознь, все это минует, излечится когда-нибудь, а без России славянство осиротеет. После Гражданской войны при исходе побежденной России Сербия принимала отряды русских беженцев под печальный и торжественный звон православных колоколов: входите, братья, наш хлеб – ваш хлеб и наш кров – ваш кров. Много раз славяне приносили в жертву единство свое, но не чувство, не общее одушевление, не будущее. Оттого новодельный мир не доверял славянам и не доверяет, даже и предавшимся ему, этому торжественному огню поглощения национальных народов, что никогда не доходили славяне в расколе до конца и, расходясь, искали возвращения.

Дойдем ли до конца теперь – как знать! Можем и дойти. Недалеко. Это будет зависеть от того, спасется ли Россия. Не устоит она – поминай как звали славян всех вместе и каждого по отдельности. Ищи догадки, для чего приходили мы в этот мир, для чего Создатель высеял нас единой горстью и, разносимых ветром, снова и снова собирал нас друг подле друга.

Не милости просим мы, но трезвости и зрячести.

Ибо вопрос: что дальше, братья-славяне? – стоит: быть или не быть славянству.

СКОЛЬКО БУДЕТ ЛЕТ В XXI ВЕКЕ?

Предъюбилейные размышления

Все ближе переход в очередной век и очередное тысячелетие, все ближе какое-то мистическое окончание одной книги бытия и начало новой. Это совпадение сотенного и тысячного порядков летоисчисления – событие не из рядовых, поневоле приходят мысли об особом избранничестве людей, которым оно выпадет. Всего только один шаг из века в век – это шаг через высокий порог, он тоже выпадает далеко не каждому из живущих, но шаг из тысячелетия в тысячелетие – это восхождение на перевал выше земных высот, взгляд в открывшуюся на миг вечность, отблеск каждого из нас под небесным лучом, высвечивающим спасшихся и неспасшихся, возвешение о каждом при свершающемся при этом пересчете, таинственный обряд посвящения в цели, во имя которых свершалась вся предыдущая история человеческого рода. Наши чувства, наша психика еще не готовы к «образу» этого события, впереди годы, но чем ближе к «нему», тем сильнее нас охватывает тревога: кто мы? что мы? с чем являемся на «юбилей»? кого там будут чествовать и кого судить? каково наше будущее?

Оснований для беспокойства более чем достаточно. Никто из ученых-футурологов не берется заглядывать в глубины третьего тысячелетия в надежде увидеть там человека в его теперешнем облике. Мало того: и в конец XXI века мы боимся заглянуть – там мрак, непохожесть и неподобие, иная планета и иные земляне. Изменения ныне свершаются столь стремительно и энергия этих изменений вобрала такую массу, что аналогии с прошлым, к которым все еще продолжают прибегать в утешительных прогнозах, как правило, не годятся, а надежды на благополучные перемены в будущем сравнимы с расчетом на искусство каска-

дерев, которым в последний момент удастся выбраться из обрушивающейся лавины, опередить ее падение и подставить спасительное плечо.

В 1820 году, когда могли быть только предчувствия, но не было еще картины, Ламарк, французский естествоиспытатель, создавший до Дарвина учение об эволюции живой природы, «открыл» и закон эволюции человека, звучащий в его устах так: «Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания». Дух великого ученого, одарившего науку термином «биология», мог бы испытывать удовлетворение от справедливости своих предсказаний, знай он, что в наше время ежегодно исчезает с лица Земли 10–15 тысяч разновидностей биологических организмов, но дух человека не может не испытывать скорби по поводу судьбы вида, к которому он принадлежал.

С той поры прозвучали тысячи и тысячи предупреждений, а с началом второй половины этого века, когда последствия насилия над природой стали бить о земные берега с быстро нарастающей мощью, они слились в возмущенно-испуганный хор, не прекращающийся по сей день. Экологическое движение приняло совершенно немыслимый прежде характер протеста – борьбу не за политические и социальные права, не за то, как лучше жить, а за право на выживание. Сделалось ясно, как день, что цивилизация в ее развившихся формах стала могучим средством самоуничтожения человечества. Раны, нанесенные природе, оказались настолько чудовищными, что, прекратись они сегодня раз и навсегда, потребуются огромные сроки до ее даже неполного излечения. Разрушения природы привели к физическому и психическому разрушению человека, к его нравственному обезображиванию. За последние тридцать-сорок лет изъятия из недр Земли превзошли взятое дотоле с первобытных времен.

За последние двадцать лет население Земли увеличилось на треть и к началу XXI века превзойдет 6-миллиардный рубеж. Гуманизм, который и всегда-то был абстракцией, в этих условиях превращается в бессмысленное понятие, в одно из захоронений благих порывов прошлого. Человек в буквальном смысле слова выгрызает свою земную обитель, оставаясь в абсолютном большинстве голодным и обделенным, а значит все более агрессивным. Поиск справедливых социальных моделей, считающихся в некоторых замкнутых государственных границах успешными, строится на принципе одного лишь материального благополучия, а следовательно – на узаконенном эгоизме. Права человека, которые вместе с товарным изобилием выдаются за главные достижения цивилизации, все явственней обнаруживают в себе преданность прикормленным, где роль свобод играют удлинённые поводки. Жизнь взаимности стала общепринятым способом существования: взаимности живут бедные, взаимности живут богатые, астрономические долги имеют самые процветающие страны, весь людской мир давно пользуется тем, что ему не принадлежит. Во что бы то ни стало оттянуть выплаты (расплату!) сделалось идеологией, экономикой и политикой существующего порядка вещей. И неминуемость расплаты сделалась его постоянным страхом, заспинным дыханием преследователя, вошла в характер, в нерв и ритм времени. Не в этом ли причина ускорения жизни, все набирающего и набирающего обороты, – убежать, не отвечать, перевалить, не меняя привычек и вкусов, на следующие поколения!

Как ребенок, закрывший ладошками глаза и ничего не видящий, считает, что и он невидим, играем мы в прятки сами с собой, пуская искусство и приемы жизни на лукавство, будто мы – это не мы, и нас нет там, где мы бы не хотели себя показать.

Вплоть до 70-х годов предостережения о последствиях воспринимались не иначе как ретроградство и от-

ступничество от прогресса (или как паникерство всего-то лишь от следов технологической неряшливости). Исходили эти предостережения, как правило, от двух категорий «посвященных» – от ученых, которые по роду своей профессии способны заглядывать за край жизни, и от художников, умеющих заглядывать в глубины жизни. В 1972 году группой специалистов Массачусетского технологического института под руководством Медоуза был подготовлен для Римского клуба доклад под названием «Пределы роста», прозвучавший как гром среди ясного неба. Самое появление в конце 60-х Римского клуба, общественной организации, в которую удалось собрать авторитетных общественных, научных и художественных деятелей всего мира, означало, что неутаимое шило слишком стало выпирать из мешка неведения и сокрытия. Римский клуб поставил своей целью называть в планетарном хозяйстве вещи своими именами и встряхнуть человечество от наркотического безволия. Это был своего рода гадкий утенок, вылупившийся не из удобств, а из язв цивилизации. Доклад «Пределы роста» впервые отчетливо и доказательно показал глобальные результаты неконтролируемого ускорения: примерно через 75 лет, если мировую экономику не придержать до простого воспроизводства, а прирост населения не поставить под контроль, Землю придется «закрывать». Сырьевые ресурсы ее, особенно невосполняемые, будут исчерпаны, голод остановить не удастся, природное жизнеобеспечение рухнет, человеческая экспансия приведет к неминуемой катастрофе. Разумеется, на выводы доклада незамедлительно последовали опровержения, в том числе и из России, – как не учитывающие преимуществ социалистического способа хозяйствования. Всюду особенно неистовствовала техническая интеллигенция, паразитирующая на механической однобокости прогресса. А. Печчеи, первый президент Римского клуба, писал об этой реакции: «Хорошо, что еретиков у нас не сжигают

на кострах. Верные почитатели “беспредельного роста” подвергали осмеянию и метафорически вешали, топили и четвертовали всех тех, кто, участвуя в развеивании мифа о росте, посягал тем самым на предмет страсти и смысла существования человеческого общества». Доклад имел эффект испуга: переведенный на десятки языков и разошедшийся в десятках миллионов экземпляров, он нарушил безоблачность существования, в которой, по справедливости, человек должен был усомниться и прежде. И если не усомнился (имеется в виду все-таки человек не последней степени подготовки), значит, закрывал глаза на очевидное. Теперь, обеспокоенный неприятной перспективой, он не нашел ничего лучшего, как броситься к успокоительным средствам и прогнозам. Они не замедлили явиться: спрос рождает предложение.

Если принять начало 70-х годов за вселенское явление тревоги и посмотреть, в чем заключались спасательные работы за минувшие двадцать лет (из условно отмеренных семидесяти пяти), то, в сущности, никаких практических действий обнаружить не удастся. Зато обозначены направления действий. Трудно удержаться от сравнения нас с мухами, которые, увязнув в меде материального сладострастия и лениво перебирая лапками, продолжают намешивать засасывающую клейковину. Из года в год растет число всевозможных общественных, правительственных, межправительственных и прочих организаций, научно-исследовательских центров, занятых вычерчиванием «карты» бедствия, совершенствованием диагностики болезни, созданием концепций выживания и развития, составлением «аварийного» словаря и т.д., но, как только доходит до действия, наступает подозрительное оцепенение. (От человека разумного до человека ответственного, как выяснилось, дистанция не меньшего размера, чем от прежнего видового «класса» до настоящего.) Инициатива ООН – за десятилетие 80-х годов обеспечить

безводные районы планеты чистой пресной водой – была провалена; и не потому, надо полагать, что у могущественной цивилизации не хватило денег (в сравнении с военными расходами и космическими программами это было бы не больше, чем скромный рождественский подарок в людскую или на кухню), а от самого характера безжалостного прогресса, взявшего за правило не оглядываться, что он оставляет позади. По этой же причине не обезвреживается «мина замедленного действия», часовой механизм которой достукивает последние сроки, – огромный разрыв (в десятки раз) в уровне жизни между богатым Севером и нищим перезаселенным Югом, чей напор в недалеком будущем не удержать никакими заставами. В 1980 году для президента США был подготовлен знаменитый доклад «Мир в 2000 году», заставивший Америку и весь мир вновь ахнуть от близости катастрофы, но с тех пор прозорливость самой богатой страны не уменьшилась, она и сегодня, при пятипроцентной доле населения от мирового, «съедает» около половины изъятий природных ресурсов. Она же, считаясь самым демократическим обществом, не подписала в 1992 году Конвенцию ООН о биологическом разнообразии, отказав природному миру в демократии жизненной. Все концепции выживания, появившиеся 10–15 лет назад, подчеркивали, что если характер развития нашей цивилизации не будет изменен, ее ждет гибель, и что решающими в спасительном повороте могут быть только 80-е. Дальше – поздно. 80-е миновали – ничего не изменилось ни в характере, ни в темпах, ни в противоречиях, кроме того, что теперь к обществу безудержного потребления присоединилось алчущее изобилия население бывших социалистических стран. Чернобыль испугал человечество, но ненадолго. Оно как бы споткнулось, потеряв на мгновение сознание, но быстро пришло в себя и, отдав дань «милосердному» откупу, бросилось наверстывать упущенное, оставив позади Чернобыль как учебную «вершину» для

преодоления последующих. Предостережительные возможности человеческих голосов, давно взявших последнюю ноту, исчерпаны, страх перестал быть удерживающим фактором и превратился в обыденность, и уже без боли и раздражения принимаются слова о расплате. Порой близость к апокалиптическим временам подтверждается поразительным совпадением предсказанных картин и планируемых построений: десять рогов, как десять царств у торжествующего Зверя в Откровении Иоанна Богослова, и «десять царств» в образе десяти предварительных межгосударственных образований собираемого воедино человечества перед его окончательным отдаением в руки мирового правительства – в концепциях выживания. В этих концепциях национальное суверенное государство является препятствием для коллективного спасения. Это, разумеется, одно из мнений, есть и другие, и я вспоминаю о нем лишь в связи с удивительным наложением современной схемы спасительного мироустройства на древнюю мистическую картину его гибели, которой, кстати, был предсказан и назван по имени Чернобыль.

Чтобы как-то объяснить бездеятельность землян перед лицом грядущей катастрофы, в последние годы появился термин «человеческий разрыв». Им обозначается неспособность человека при существующей системе образования угнаться за структурными и качественными изменениями жизни. Другими словами – это «человек за бортом». Кипящей под винтами двигателя волной его отбивает от корабля, символизирующего прогресс, но течением несет в ту же сторону. Что делать? Или на корабле включать торможение, или снабдить человека ускоряющим механическим устройством, чтобы дать им возможность соединиться? Футурологи все больше склоняются в пользу *homo electronicus*, снабженного особым мозгом, компьютерной памятью и, как компьютер же, скоростного в решениях и ответах. Химера? Но разве не замечаем мы,

что наша действительность уже превратилась в химеру и от природного своего происхождения она значительно дальше, чем мы предполагаем?

Вернуть «утерянный рай» нельзя, нет в свете такого чуда, которое перенесло бы человека обратно к месту его заблуждения и предложило начать сначала. Впереди, даже в самом лучшем случае, – убывающий свет, неминуемое разорение. Врученные человеку дары свободы оказались для него непосильными. Дух, напрасно искушавший Христа в пустыне, спустя сроки приступил с теми же предложениями к человеку, и человек, прельщенный чудом, тайной и авторитетом, уступил. «Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, – говорит Великий Инквизитор, верховный исполнитель воли Великого и Страшного Духа в «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоевского, – но теперь это кончено, и кончено крепко». Пятнадцать веков – до времени действия в «Легенде...», но правильной отсчитывать века ко времени ее написания, когда действительно было «кончено крепко», то есть окончательно. «Чем виновата слабая душа, что не в силах вынести столь страшные дары?» – вопрошают с тех пор адвокаты, соглашаясь с материальным и рациональным устроением судьбы. Но предательство свершилось, человек предал сам себя, и вслед за невыносимым бременем свободы, которое он отдал на торгах, должно было наступить невыносимое бремя греха иудина. От него не избавиться в свою очередь, с ним в мучениях и безумии суждено оставаться до конца.

Началось разрушение культуры, разрушение морали, воцарились нравы, когда потребовалось «оправдание добра», и преступление перестало быть преступлением. Самые страшные предсказания сбылись, и мы теперь можем только свидетельствовать о неслыханном развращении и расчеловечении, о делении худшего на наихудшее с какими-то уж совсем фантастическими плодами зла. Это

было бы преувеличением, злопыхательством неудачников, напрасно пытающихся повернуть ход исторических вещей вспять, когда бы не было правдой, которую уже некому оспорить. Но и она, правда, с трудом удерживает свои меры. Суть происходящего во всем мире реформаторства, под какими бы декорациями оно ни пряталось, заключается в постепенном приведении на трон зла и добровольном присягании ему поверх границ и традиций. Разница между обществами, охваченными гражданской смутой, и обществами благополучными всего лишь в том, что в первых зло идет к власти грубо, грязно, открыто являя весь свой арсенал «доказательств», во вторых же развивается «эстетично». «Высшие» интересы человечества, происходящие от материального торжища, давят, жмут, оттесняют и изгоняют интересы «вторичные», которым еще недавно воздавался почет, как началам, ведущим к гармоническому развитию.

Все начертания спасительных для человечества проектов, самых разных и противоречивых, сходятся в одном: спасение в человеке. Пока не изменится он, нельзя изменить и внешний порядок, способы хозяйствования, управления, контроля и распределения. Он – мера всех вещей. Если он останется игроком, проматывающим последние природные, культурные и духовно-нравственные накопления, ждать надежды неоткуда. Покуда не оставит он «непревзойденное свое бесчинство» (В. Розанов), рассчитывать не на что.

«Новые человеческие качества», «человеческая революция», «новый гуманизм» – это все язык необходимого перехода к другому типу человека и отказ от сегодняшнего, потерпевшего катастрофу. Но что такое «новый человек», каким он видится, какие качества ему предлагаются для предотвращения окончательной гибели? Есть ли это то новое, что ассоциируется с хорошо забытым старым, возвращением к человеку как к «заветной» личности, руководившейся очистительными древними заветами и стремившейся

к светлым целям? Или новый – как реконструированный, получающий дополнительную мощь, чтобы не отставать в быстро меняющихся условиях?

Да, именно так: речь идет об адаптации, о способности человека вбирать нарастающую информацию, которая сейчас удваивается через каждые семь-восемь лет, обладать планетарным сознанием, сообщить ему реактивность, соотносимую с ускорением жизни, речь идет об изменении психики, способной выдержать небывалые нагрузки. Как это скажется на его духовных знаках, принимаемых вместе с человеческим обликом, будут ли заповеди «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй» исполняться остатками нравственных законов или они станут регулироваться электронным предупреждением, сохранится ли в человеке «музейный» уголок, где доживающая свой век бабушка-совесть сможет предаваться воспоминаниям, – такие вопросы в предсказаниях грядущего человека даже и не возникают. Будто и не было их никогда в человеческой природе.

Это страшнее всего. Быть может, и следует согласиться со словами Великого Инквизитора, обращенными ко Христу: «Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал». За слабость свою человек заплатил и продолжает платить, но даже предательство его, обращенное против себя же, имеет предел искупительной жертвы. Дальше начинается убийство. Во всех сценариях будущего, в которых не смеют думать об укрощении Зверя с диадемой Цивилизации и изошряются в каких-то голографических представлениях, – убитый человек, убитая Земля. Ничего не поделаешь, приходится верить в эру рукотворных материалов вместо минерального сырья, в «новый железный век» (запасы железных руд еще остаются), в искусственную пищу, в искусственный интеллект, который позволит с благодарностью принять «достижения», но все это будет, по правде говоря, не что иное, как каннибализм. И не человек

при этом будет присутствовать, а зачеловеческое создание, уродливое своим сходством с человеком, извращенное до предела, то ли радующееся себе, то ли вопиющее от ужаса, в том и другом случаях – из бездны.

Упаси и помилуй!

«Не может до такого допустить человек, никак не может», – начинаю я здесь спорить с самим собой, отказываясь дорисовывать картину «спасенного» человечества. И соглашаюсь: не может. Не настолько он падшее, погибшее существо, полностью склонившееся злу, навсегда отдавшее душу дьяволу за одно лишь обещание вечного рая без страданий, чтобы не понимать приготовляемой для него будущности. Я оглядываюсь: столько вокруг людей, знакомых и не знакомых мне, которые ничуть не подходят под признаки того, кто может, кто согласится и пойдет. Человек никогда не был в ладах с собой, но уж коль доведет его судьба до последнего, до – быть или не быть ему, он сделает в конце концов правильный выбор.

Действительность, однако, такова, что в нее надо всматриваться внимательней. Приходится всматриваться. Видно: миллионы, сотни и тысячи миллионов жаждут всюду отдаться под власть «авторитета», их откровенно обманывающего, обещающего радость, счастье и изобилие, которые взять неоткуда. Они жаждут этого еще больше и яростней, чем поколения до них, – и редко кто (побиваемый тут же камнями) осмеливается сказать им даже полуправду. Чтобы не видеть, не понимать реальность, надо затмить сознание чем-то бóльшим, чем разум, и глаза – чем-то бóльшим, чем зрение, надо сознательно ввести или бессознательно поддаться ошибке, которая бы выворачивала суть вещей наизнанку. Перелицовывание, перекройка человека, перемещение «заднего плана» на передний, выставление интимного на публичное обозрение, воспитание изменным, уничтожение чувствительных к стыду нервных центров, обобществление чувств,

перевод «я» в «мы» – все это работа сначала по сбою старой, эволюционной, этической и этнической самоосуществляющейся «машины», а затем настрой на «машину» функциональную и управляемую. Сюда же следует отнести переворот в культуре и морали «вверх ногами». Это бунт уже и не против Бога, а против себя же, человека, самозаклание на жертвенный алтарь презирающего нас нового божества. Массовое сознание и манипулирование им с помощью электронных средств связи, необходимость в массовой культуре, обезличивание, бездуховность, нигилизм – да ведь отсюда недалеко уже и до образа, который выглядывает из будущего. «Нет пределов обучаемости» – называется один из докладов Римскому клубу из ряда корректировки «Пределов роста»; в «Нет пределов» действительно нет пределов видоизменяемости человека, которая ставит под сомнение его способность остановиться у края пропасти. Согласные и несогласные влекутся туда единым потоком с силой, превосходящей земное притяжение. Модели выживания заглядывают уже вниз, в пропасть, находя странное наслаждение принимать за жизнь конвульсии искалеченных. Конец мира наступает прежде последнего физического вздоха – с прекращением вздоха сострадания.

Что же делать?

Казалось бы, чего проще: если человек не идет на самоограничение и не желает расстаться с привычкой к любопытствию, но поддается управлению с помощью известных средств – так и управлять им к его же пользе! Но, во-первых, это противу его свободной воли (хотя никакой «свободной воли» давно не существует), а во-вторых, сам механизм «известных средств» рассчитан лишь на отрицательное, убийственное действие и ни к какому спасительному порыву, даже под страхом смерти, не способен. Никогда, никогда «управители» не признаются, что, разрушая царство под духовными знаками, с самого начала, с первых же шагов

они обрекли себя на продолжение – на уничтожение и своего царства под знаками материальными.

Остается рассчитывать на одно. На бунт после бунта. На протест человека, уже и переделанного, сведенного в суммарное число блудливого волеизъявления, убежденного в справедливости взятого марша в избранном раз и навсегда пути под каноническим образом Цивилизации, держащего в ней свои акции и получающего доходы – и вдруг однажды споткнувшегося: а не хочу, не буду, не пойду! Не надо мне ваших выгод, вашего расчета – ничего не надо. Упрется так, что не сдвинуть. Опустится на берегу речки, которая обласкивала еще его дедов и прадедов, и заплачет сухими, быть может, не имеющими истечения слезами. И еще горше, еще отчаянней закричит: не хочу! не пойду! сгинь, нечистая сила! Подымет, обороняясь, руку и – перекрестится.

Как у Достоевского в «Записках из подполья»: «...Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о прекращении всемирной истории, так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочито пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою полнейшую глупость пожелает удержать за собой, единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши...»

Но и этот выход, несмотря на всю его привлекательность, только фантазия и ничего больше. И если выпадет

нам спасение и новая жизнь, заслуги человека, похоже, в том не будет ни завтра, ни послезавтра.

1997

УНЕСЕННОМУ – ПРОЩАЙ?*

Мир на пороге третьего тысячелетия

Образ сегодняшнего мира – это крушение всех надежд, которыми утешалось человечество на протяжении своей истории, которые вкладывало оно в разные формы своей деятельности – от практической до художественной и от политической до моральной. Оно, это крушение чайных многих и многих поколений, сейчас все четче проступает на земле и в небе. Нам удобно не знать, вступили ли мы уже в пространство катастрофы или мы близки к ней, – у такого рода пространств не бывает четких границ. Но думается, что мистическое окончание одной книги бытия и начало другой на перевале тысячелетий может и здесь послужить входными воротами. Нам повезло: мы редкие избранные этого великого события, когда солнце, зайдя на западе за горизонт второго тысячелетия, через несколько часов взойдет на востоке в третьем, и мы обновимся дыханием какой-то новой жизни. Но мы не можем не чувствовать и тревоги, даже страха: вдруг мы окажемся избранными для суда над человеком за все, чему он попустил в своих алчности, отступничестве и неразборчивости? С кого-то ведь спрашивать надо, а наше поколение за последние полвека повинно в самых тяжких преступлениях перед землей и землянами. Достаточно сказать, что за последние тридцать-сорок лет изъятия из недр планеты превзошли взятое дотоле с первобытных времен. И когда же спрашивать еще, как не в судные дни начала нового счета?

* Доклад на международной конференции писателей в Ферраре (Италия).

Но образ сегодняшнего мира – это еще и отвернутый в сторону взгляд, отвернутый трусливо и самодовольно, – то, что называется хорошей миной при плохой игре, не желающий видеть наступившей реальности.

Спрашивать есть за что – за прогресс, который окончательно перекошен на материальный бок и представляет собою накренившийся корабль, загребаящий бортом воду вдали от берегов; за многочисленные разрушения в обществе и на Земле, за попустительство порядку, который перевернул суть и содержание человеческой деятельности: из главного сделал второстепенное и наоборот, худшее поменял местами с лучшим и низкое возвел на пьедестал. Нет необходимости приводить цифры: они приняли астрономические размеры и потеряли свою ценность. Нет необходимости приводить и факты: они громоздятся как египетские пирамиды, под которыми покоятся благие намерения людей прошлого. Мало кто сомневается, что цивилизация в теперешних формах зашла не туда и делает не то, но говорить об этом до сих пор принимается за невоспитанность, за дурной тон и потому не предпринимаются даже попытки корректировки хода. С нас же, деятелей культуры, спросится за крушение культуры и нравственности.

На моей родине, в России, еще десять лет назад это были неотделимые понятия – культура, литература и нравственность. Не без исключений, конечно, но исключения носили или робкий, или слабый, по слабости таланта, характер. Мы были в этом смысле отсталой культурой, державшейся заповедей, с которыми культура в старые времена выходила за стены Церкви, то есть становилась светской. Это считалось у нас само собой разумеющимся – быть учительным, добротворным словом и звуком. Коммунизм мог подправлять мораль идеологией, но литература умела обойти идеологию и выписать мораль без искажений. Так было, по крайней мере, в период позднего

коммунизма, когда в конце 60-х – начале 70-х годов пришел в литературу я. Повторяю, мы были отсталой, провинциальной культурой, в сравнении с передовыми ее образцами, стоявшими на свободных от морали рубежах, – и уж не знаю, говорю ли я это с иронией, или всякая ирония в отношении этой темы давно перешла в утвердительность. Из своего далека и глубока, из своей окраинности и почвенности эти «свободные» рубежи искусства представлялись нам и соблазнительными, и пугающими, с одной стороны, запретный плод, как известно, слаще, а с другой – нельзя же все-таки было не видеть, что в ценностном ряду духовной жизни происходят опасные подмены.

После 91-го года в считанные месяцы шестая часть суши, бывшая Советским Союзом, присоединилась к миру «свободного» искусства, сбросив с себя как ярмо цензуры, так и моральные обязательства перед обществом. Это было совсем недавно, и в глазах все еще стоят картины шумного ликования мастеров искусства, получивших оперативный простор для своего творчества. Новая Россия и все постсоветское пространство присоединились к Западу, новая встреча на Эльбе состоялась, и вместе мы наконец сделали непобедимыми в давнем и увлекательном противоречии пуританской морали в образе целомудрия и стыда. Как при всяком неофитстве культура России с яростью и удалью, от лихого усердия выскакивая сама из себя, бросилась наверстывать все, что упустила она за столетия своей законной супружеской жизни с обществом, и очень скоро превзошла своих учителей.

В свое время Джон Локк уверял, что бессмысленно говорить о нравственных понятиях в отношении к государству и его политике. Прошло три столетия, и десятки, сотни проповедников утверждают, что столь же бессмысленно говорить о нравственности в отношении к культуре. Культура, существовавшая в двуединстве, – лучшее выражать лучшим, нравственную красоту красотой изо-

бразительной, отказавшись от словесных оснований жизни, потеряла и свои совершенные формы. Достоевский в знаменитой и, казалось бы, загадочной формуле «Красота мир спасет» не мог иметь в виду ничего другого, как это двуединство лучших побуждений человека и лучших его выговариваний, которые могли бы, в свою очередь, вырабатывать в людях, внимающих звукам искусства, новые побудительные чистые всходы. Литература прошлого века во всем мире отличалась от современной тем, что она искала спасение падшим, предлагала им нравственное воскресение, имела направленность снизу вверх, от худшего к лучшему, от греховного к очистительному. Лев Толстой свой роман, в котором герой следует на каторгу вслед за совращенной им женщиной, так и назвал – «Воскресение». Федор Достоевский в «Преступлении и наказании» в падшей женщине сыскал удивительно доброе и нежное сердце, полное самоотверженности и нравственной любви к ближнему, и поднял его, это мученическое сердце, на особую и непогрешимую высоту словами: «Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!» Нынешняя литература по большей части имеет горизонтальные, корыстные поползновения: нет греха и нет святости, нет добра и нет зла, а мир превратился в рынок, где царствует закон спроса. В этом мире нравственным сделалось то, что нравится большинству людей; исходя из такого «рыночного» ценника, литература оставила свою службу доставлять эстетическое и духовное наслаждение читателю и перешла к возбуждению удовольствия физического, телесного. Нейтралитет между добром и злом не мог продолжаться долго: зло платило лучше и вело себя активней.

Преподобный Антоний Великий, один из отцов христианской Церкви, еще из IV века разглядел: «Будет время, когда скажут: ты безумствуешь, потому что не хочешь принимать участие в общем безумии. Но мы заставим тебя быть как все». Великий Феллини в своей «Исповеди» неза-

долго до кончины признал, что кино участвует в разращении нравов, но боится протестовать – чтобы не показаться непрогрессивным. Между предсказанием Антония Великого и признанием Феллини была дистанция в шестнадцать веков, но самое предсказание свершилось в очень короткие сроки, примерно в те же 30–40 последних лет, когда были хищнически выгребены миллионолетние накопления минеральных богатств и будущее оказалось перед фактом или закрытия, или существования в каких-то жалких формах.

В этот срок ускорение жизни достигло огромных, небывалых оборотов, пространство и время ужались, полюса сместились, и холодом повеяло там, где царило тепло. Люди с благодатного Юга побежали на Север, появилось множество москитных религий, охотящихся за человеческой душой, накопление оружия превзошло все разумные пределы, вода и пища оказались отравленными, и черная быль «мирного» атома, как начальная глава Апокалипсиса, зазвучала над планетой. В эту же пору в парламенты стали избираться красотки из эротических журналов, очаровательные принцессы, запутавшиеся в добродетелях, в едином восторженном порыве обобществлялись разноплеменным человечеством до святости Богоматери, президенты, чтобы заглушить парламентские разбирательства их сексуальных походов, отдавали приказы бомбить государства на другом краю света. Мир сходил с ума, и человеку, занятому рутинной, но и занимательной жизнью, не было до этого дела. Правда, в этот же срок был создан Римский клуб под председательством одного из лучших джентльменов мира Альберто Печчеи и в составе честных ученых; они имели мужество говорить правду о подступающем будущем, ограбленном и оскверненном. На недолгое время их услышали, затаили дыхание от испуга, как это было позднее и при взрыве Чернобыля, но солнце продолжало светить, продираясь сквозь черноту туч, и бодрая припрыжка вперед была восстановлена.

Но в этот же срок были явлены знаки нового и загадочного сопротивления – словно включился разумный механизм предупреждения опасности, действующий вне человека и вопреки ему. Человек объявил техническую революцию и получил в ответ войну в виде крупномасштабных технологических аварий, взрывами накрывающих Землю то в одном ее месте, то в другом. Технические проекты изгоняют человека с мест его обитания, лишают работы и, все более совершенствуясь, полностью подчиняют его себе, вмешиваются в его разум и волю. Человек получил, кроме того, войну против себя природы, с которой обходился воистину варварски. Небо и земля восстали: в небе появились обжигающие озоновые дыры, земля отвечает разрушительными землетрясениями на местах социальных и межэтнических потрясений, мечет засухи и наводнения, тайфуны и обвалы, на глазах происходит изменение климата, грозя изменением температурных зон и растоплением вечных льдов. Сексуальная революция, которую нельзя объяснить благочестивым порывом человечества, принесла сексуальную войну в виде извращений, импотенции, неспособности к воспроизводству в некоторых странах, а грознее всего – в образе беспощадного мстителя под именем СПИД. Число обреченных от СПИДа сейчас около миллиона, и болезнь эта продолжает разить со 100-процентным успехом. Переход к очередной революции – к генной, вмешательство в святая святых человеческой природы несомненно чреваты непредсказуемыми последствиями, но, по обыкновению, никого остановить не могут.

Деятельность Римского клуба не могла иметь значительного успеха не потому, что не хватало для этого усилий. Их хватало. Это был единственно серьезный и доказательный протест лучших умов против всепожирающего монстра цивилизации, против практики убийственного и неконтролируемого экономического ускорения. Но всякая материальная деятельность имеет нравственные корни.

Нравственное – изначальное обоснование поступка. Наполеон мог пускаться в безнравственные походы и с легкостью расплачиваться, как разменной монетой, сотнями тысяч жизней, но в мире существовала властная неопровержимость морального примата, и Наполеон возвращался к разбитому корыту. Так было и позднее. «Позволено – не позволено» – решалось моралью, а ее радужными и легкокрылыми волнами разносила по свету культура. К концу 60-х годов, когда впервые собрался Римский клуб, уже многое из недозволенности перешло в дозволенность, и культура принялась сорить своими нравственными обязанностями, но еще с оглядкой – примут, не примут... Лучшие художественные авторитеты и властители сердец не собрались тогда в организацию, подобную Римскому клубу, и не предупредили о последствиях развращения искусства. Тогда, надо полагать, было еще не поздно. Флирт искусства со злом ни для кого не был тайной, но почему-то считалось за дурной тон замечать дурное. Это можно сравнить с тем, как если бы в благородное общество, собравшееся для сбора пожертвований на святое дело, вдруг затесался неведомо откуда отвратительный тип, ведущий себя развязно и не скрывающий, что он намерен присвоить себе пожертвования совсем для иного дела. Все видят его, все про себя возмущаются, но делают вид, что ничего не происходит, глядят мимо этого нахала и говорят о другом. Мы почти беспрекословно сдали культуру злу. Из грации, вечно молодой и возвышенной, соприкосновение с которой облагораживало человека, культура сделалась крикливой и развратной особой, последняя утонченность вкуса которой обратилась в изящество греха. Великий нравственный и эстетический запас, заложенный в нее на протяжении многих столетий, заложенный в том числе и нами, она обращает сегодня в яд и уже не церемонится ни с чем. У нее до сих пор звучное и красивое имя, ей продолжают доверять, впускать в души и... отравляться.

И только небольшими островками, сложенными из элитарных пород, остается еще искусство в малоповрежденном виде. На них мы и предпочитаем проживать. Предпочитая не думать о своей вине в свершающемся в целом там, за пределами наших мастерских, неприятном преображении муз, которым мы служим.

И если бы призвали нас на суд по закону высшей и непререкаемой воли, нам можно было бы предъявить обвинения по следующим пунктам.

1. Уклонение от обязанностей художника служить гармонии жизни в ее неизвращенных и ясных формах.

2. Стяжательство наград и славы посредством уступок пороку и развлекательству, корыстное сводничество, умышленное вредительство таланта, этого дара Всевышнего, не относящегося к личной собственности.

3. Преступное использование доверия паствы, духовно окормляемой художником, в целях разложения искусства и общества.

И так далее.

«Горе вам, – это слова Христа из Евангелия от Луки, – когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали со лжепророками отцы их».

Наступило время, в которое, чтобы противостоять злу, приходится ступать на скорбный путь поношения и отвержения. Другой путь – вместе с духовной чернью, испускающей восторженные и неосмысленные вопли по дороге коронации Зла. Какую дорогу в этих условиях избрать – дело совести. А дело высшего и справедливого порядка вещей, который невозможно отрицать, – спрашивать с нас за этот выбор.

...Я не могу делать оптимистических прогнозов относительно будущего ни литературы, ни культуры в целом. Все будет зависеть от того, в каких формах в ближайшее десятилетие утвердятся мир и способен ли он предложить что-то иное взамен обанкротившейся в пух и прах цивили-

лизации. Нравственности не может быть никакой альтернативы, как не может быть замены культуре, в ритмах, звуках и словах которой выговаривается красота. «Красота мир спасет», – сказано Достоевским в романе «Идиот», а позднее в романе «Бесы» он добавил: «Некрасивость убьет». Мир, который пожелал бы встать на иные основания, чем традиционно стоял он до сих пор, ждет, быть может, и приключенческая, но незавидная судьба всех атмосфер, где утеряна чистота.

1999

СКОЛЬКО ЖЕ МЫ БУДЕМ ЕЩЕ ЗАПРЯГАТЬ?

До странности окостеневшими бывают общественные пристрастия к ошибкам и односторонним мнениям. В том числе и у людей широких и пронизательных умов, у летописцев отечественной истории и души народной. Человек легче проникает в дальние миры, во всякие макро- и микрокосмы, а в себе самом, в общности таких, как он, разобраться не хочет. У нас не только нет цельной науки о нашем народе, но и взгляды на него настолько разные и порой противоречивые, будто мы свалились с Луны, а не вышли из его недр. Загадочная русская душа до сих пор представляет тайну не для одних лишь иностранцев, усаживающих ее под развесистую клюкву, но и для нас, судящих о ней с пространной приблизительностью. Вот уже два века, начиная с Радищева и Чаадаева и заканчивая нашими современниками как из левого, так и из правого лагеря, русский человек все в себя не укладывается. Разноречивые суждения о нем всем нам хорошо знакомы. Для одних он существо безвольное, склоняющее свою выю под доброе ярмо, нетрезвое, недалекое и т.д. И не объясняется этими первыми, как такое пьяное и «растительное», мало-

подвижное во всех отношениях существо построило империю в шестую часть суши, прошло победными парадами в Варшаве и Вене, Париже и Берлине, создало могучую индустрию и могучую науку и первым полетело в космос. Вторые обращают внимание как раз на это, на могучую деятельность русского человека, и обходят молчанием периоды его затишья, вялости и анархии. Третьи, чтобы как-то согласовать те и другие начала, предлагают теорию затухания наций, по которой выходит, что русские сейчас и находятся в периоде такого угасания. Да, были времена великих подвигов и побед, но тысячелетний срок, отпускаемый историей для активной жизни наций, миновал, наступила пора органической старости.

Тут и являются несоответствия.

Семьсот лет назад, когда о затухании нации не могло быть и речи, Русь лежала в тяжелом и молчаливом рабстве и, казалось, даже не помышляла об освобождении. Но явились вожди – полководец и пастырь – и точно из небытия собралась она на Поле Куликовом и отстояла себя. Триста лет назад, когда о национальной дряхлости тоже не приходится говорить, Смута продолжалась не менее двадцати лет, и неизвестно, существовала ли Россия в те полтора года, когда на престоле сидел чужеземец, – все было в шатаниях, разброде, несогласиях и взаимоистреблении. Но только ополчение Минина и Пожарского двинулось на Москву – словно током пронизало разметанный в распре народ, и крепостные людишки с задавленным сознанием и волей, как пытаются внушить нам, – и какие распрямились богатыри! К Кутузову к Бородино на подмогу отступающей армии выступило народное ополчение из мастеровых и холопов. В последнюю Отечественную не половину ли войска составляли мужики из подъяремной колхозной деревни, которую не перестают сравнивать с крепостничеством?..

Неужели только и всего: пока гром не грянет, мужик не перекрестится?

Достоевский, сетуя на то, что русские писатели только и знают, что обличать всяких уродов и ставить Россию к позорному столбу, недоумевал: почему у них, у писателей, ни у кого не хватило смелости показать во весь рост русского человека, которому можно было бы поклониться? Обвинения Ивана Солоневича в адрес великой русской литературы еще тяжелее: он считает, что искаженным образом нашего соотечественника, всех этих непротивленцев, самоедов, мечтателей, босяков, калик перехожих и пр., русская словесность спровоцировала Германию в сорок первом на войну. Гитлеровские идеологи судили по этим героям о России как о колоссе на глиняных ногах, заполненном внутри пустопорожьем. И – жестоко ошиблись. Но и как было не довериться этому первоисточнику национальной души, как было не считать со страниц прославленных книг это торжество лени, беспечности и неприкаянности! Солоневич, как до него Розанов и Меньшиков, убежденные, что именно славная наша литература привела Россию к революции, конечно, переусердствовали в категоричности своего приговора, но не прислушаться к ним нельзя.

Но, с другой стороны, нельзя и заподозрить литературу в умышленном искажении жизни.

Тут разгадка, мало замечаемая, заключается в том, что русская словесность вся вышла из созерцательности, то есть непрактичности русской души, признаваемой за слабость. Непрактичность – ее мама родная. И Обломов, и Манилов, и Безухов, и Каратаев, и многие другие, вплоть до «чудика» и Ивана Африкановича, – все они могли бы стать русскими писателями и сделать героями своих книг Гончарова, Толстого, Чехова, Тургенева, Шукшина и Белова. Природа у них одна. Коробочка, Собакевич и Ноздрев не могли бы, потому что это карикатура, пусть и гениальная. Штольцы и Шульцы тоже не могли: эти не из нашего теста. Слабость созерцательности, вдумчивости, обращенности к дальним и невидимым пределам, грех, казалось

бы, отсутствия какой-то прерывистости бытия есть такая же полноправная и необходимая сторона нашего характера, как сторона деятельная и волевая. Это двуединство стоит дорогого. В кажущейся слабости наращивается сила и уверенность, дремлющие мускулы наполняются порыва, в сосредоточенности являются откровение и постижение, в мечтательности можно увидеть и паломничество к желанным палестинам. Это не провал деятельности, а переход к другого рода деятельности – духовной. Она выпестовала нашу православную душу, самую прочную, и воздвигла ее на высоту, с которой дароносит лучшая в мире культура. В ней-то, должно быть, и обитает то знаменитое женское начало, которое, как единственное, склонны относить к России. Нет, другая сторона русской сущности – мужеская, производящая способность к сверхъестественным деяниям. А вместе они и составляют то плодотворное лоно нашего духа, в котором не прекращается вынашивание. Не прекращается в том числе и теперь.

Эта картина отнюдь не отрицает наших грехов и болезней, для которых понятие «смертные» долго оставалось меркой только недуга, но готово стать и меркой савана. Не дряхлость нам грозит от выроста их сроков, назначаемых для пассионарной жизни наций. Эти сроки исчислялись по европейским стесненным стандартам, а мы народ большой, многоземельный, издавна принявший в себя десятки и десятки инородческих племен и не износивший свежести своей крови и силы. Нет, не это должно нас пугать сегодня.

Знаменитая триада, незыблемость которой для полноценной жизни всякого государства прошедшие сроки лишь подтвердили, остается и сейчас основным условием спасения России. Вера, власть, народ. В старой России это звучало: православие, самодержавие, народность. Монархия пала, вера подверглась гонениям, круг национальных, исторических художественных и бытийных ценностей, питающих народ, был бессознательно сужен и выхоложен.

Народ перешел в услужение новой, государственной системе. Это не то же самое, что служение Отечеству. Иногда они совпадали, как в Великую Отечественную, но чаще разнились. Усталость нашего народа, которую нельзя не видеть, объясняется еще и тем, что слишком много сил и жертв отдал он в XX веке порядку, оказавшемуся нежизнеспособным по той причине, что он не мог считать Россию своей духовной родиной. Была власть, и сильная, было огромное социальное облегчение, но отвержение души и Бога сделало народ сиротой. Десять лет назад веру с триумфом вернули, но не стало власти. Власть, отдавшаяся беспримерному стяжательству, надувательству, бросившая народ на растерзание нищете, преступности, смертельному облучению телевизионной радиацией, распродавшая жуликам народную собственность, оставившая его без работы, – это не власть, а напасть. Свободы, как спущенные с цепей разъяренные псы, сделались способом разрушения государственности. Все это нам слишком знакомо, и все это горит в нас нестерпимой мукой, чтобы продолжать перечисление бед.

Подгибается один из трех столпов, необходимых для прочности державы, – и все государственное строение начинает крениться, заваливаться. Если бы каким-то чудом удалось сейчас получить зримую картину в рост нашего общего дома, она напугала бы нас больше, чем мы представляем. Воровая опора восстановлена, но властная, полностью разрушенная, представляет собой сыпучий курган, неспособный держать свою долю ноши. И потому вся непомерная тяжесть здания вдавилась в плечи народа. Его неподвижное напряжение, его застывшая мука невольно заставляет пугаться: жив ли он, не превратился ли он в окаменевшего атланта, согбенного и бесчувственно держащего своды полуразрушенной громады?

Нам недосуг бывает оглянуться, что там, за нашими спинами, какие думы вынашивает брошенный на произ-

вол судьбы недавний наш кормилец, которому отказано и в этом праве – быть кормильцем. Доносится только, что устраивает он голодовки (попробуйте совместить: чтобы добиться куска хлеба, он отказывается от куска хлеба), перекрывает железные дороги, «развязаны дикие страсти под гнетом ущербной луны» (слова Блока), поддается обманному обещаниям, пустыми глазами смотрит в камеру, когда спрашивают его о надеждах. Но кто он такой, что за человек заступил нынче на несчастную стезю жизни в России, мы представляем плохо.

Никогда и нигде, кроме легкомысленной строки в советской энциклопедии, за народ не принималось все население страны. В прежние времена из него исключались высшие сословия, справедливо оставляя в народе тружеников и носителей национального сознания и национального задания. Так и мы сегодня должны сказать, что народ – это коренная порода нации, неизъязвленная ее часть, трудящаяся, говорящая на родном языке, хранящая свою самобытность, несущая Россию в сердце своем и душе. Если бы случилось так, что не стало России, он бы, этот народ ее, долго еще, десятилетия и века, ходил по пустынным землям и чужим городам и неутешно окликал ее, собирал бы по крупичкам и обломкам ее остов.

Он жив, этот народ, и долготерпение его не следует принимать за отсутствие. Он не хочет больше ошибаться. Не забыл он, к каким последствиям приводило массовое участие низов в крестьянских волнениях и революционных бурях, боится порывов, могущих вызвать самоистребление, к радости наших врагов. Он ничего не забывает: народ – не только теперешнее поколение живущих, но и поколения прошлых, spolна познавших опыт минувшего, но и поколения будущих, вопрошающих о надежде. В этих трех ипостасях – прошлого, настоящего и будущего – только и можно spolна познать правду, которой суждено выстоять России.

В провинции, кстати, где в условиях здорового консерватизма народ остается сам собой, он не ошибался и во все эти последние осадные годы, подавая безошибочное мнение о тех, кто искал его ручательства. Он долго запрягал, ожидая достойного предводителя, присматриваясь то к одному генеральскому мундиру, то к другому, и с досадой отвергал их; по-русски дотошно, в рассуждениях и наблюдениях, доискивался, как у Лескова, «какие могут быть народные средства против англичан» и «хорошо ли видеть правду в немце»; да и упряжь за долгие годы невыезда была размотана. Но теперь, судя по всему, запрягание кончилось. И к колокольному звону прибавился звук бубенцов, пока еще прерывистый, короткий, то с Выборга, то из Сибири, но все более настраивающийся на решительность.

Есть надежда, что недалек тот час, когда, подхватив гагаринскую готовность к величайшему из подвигов, вновь на всю вселенную прозвучит это слово: поехали!

1999

В ПОИСКАХ БЕРЕГА*

Что мы ищем, чего добиваемся, на что рассчитываем? Мы, кого зовут то консерваторами, то традиционалистами, то моралистами, переводя эти понятия в ряд отжившего и омертвевшего, а книги наши переводя в свидетельство минувших сентиментальных эпох. Мы, кто напоминает, должно быть, кучку упрямцев, сгрудившихся на льдине, неведь как занесенной случайными ветрами в теплые воды. Мимо проходят сияющие огнями огромные комфортабельные теплоходы, звучит веселая музыка, праздная публика греется под лучами океанского солнца и наслаждается свободой нравов, а эти зануды топчутся на подтаивающей льдине и продолжают талдычить о крепости устоев. Где

* Выступление при вручении Премии им. А. Солженицына.

они, эти крепости и эти устои, которые выписаны на их, то есть на наших, потрепанных флагах, сохранилось ли в них хоть что-нибудь, что способно пригодиться? Ничего не стало, все превратилось в развалины, к которым и туристов не подводят, – настолько они никому не интересны. И на стенах этих чудачков, ищущих вчерашний день, никто внимания не обращает. Они умолкнут, как только искрошится под свежим солнцем их убывающая опора и последние, самые отчаянные слова их превратятся в равнодушный плеск беспрерывно катящихся волн.

Пожалуй, и мы готовы согласиться, что так оно и будет. Победители не мы. Честь, совесть, все эти «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», любовь в образе сладко поющей волшебной птицы, не разрушающей своего гнезда, а также и более нижние венцы фундамента – традиции и обычаи, язык и легенды, и совсем нижние – покойники и история – все это заметно перестает быть основанием жизни. Основание перестает быть основанием? И чем оно заменится? Победителей этот вопрос не интересует. Чем-нибудь да заменится, на то и завтрашний день. У них не вызывает сомнений, что та же неизбежность, которая перелистывает дни, воздвигнет для них, для новых дней, и какую-нибудь укрепляющую метафизику из новых материалов – взамен тому, что сегодня зовется традицией. И некого призвать додумать, что человеческая спорность никем более, кроме как самим же человеком, не выстроится и ни на чем более, кроме как на заповедных началах, выстроиться не может. Некого призвать – потому что и спора-то не существует, а есть только одна революционная непримиримость.

Там, в молодой стране, которая почитается теперь как божество, способное заменить все религии и традиции, все национальное и народо-семейственное родство, весь опыт минувших цивилизаций от древнейших эпох, – там, в этой стране под статуей Свободы, тоже была когда-то замеча-

тельная литература. Быть может, незатопленными островками она есть и теперь, но мы о ней не знаем. Как не знаем и того, есть ли единым архипелагом литература в России, ибо тот читатель, который на виду, прежде всего ищет в книге наркотического действия. После октября 1917-го это самый большой переворот, сродни революционному, потрясший человечество, – наркотизация его, неспособность жить в реальном мире, уход из него в мир ирреальный или, что сегодня происходит чаще, мир виртуальный.

После «оттепели» 60-х и до середины 80-х, пока не хлынул грязный поток, зачитывались мы Фолкнером и Хэмингуэем, Томасом Вулфом и Фицджеральдом, Уорнером, Стейнбеком и другими. Не странно ли, что все они, ваявшие, казалось бы, самого прогрессивного человека на Земле, не обремененные оковами традиции, были солидарны с нами во взгляде на опасное, если не сказать страшное, видоизменение, которое постигает человека? Точней: это мы, как более поздние, солидарны с ними. Я нарочито обращаюсь к суждениям художников, чья страна, и в том числе они сами, вне подозрений, будто над ними довлеет прошлое. Но точно так же, и с большим успехом, я мог бы обратиться за поддержкой к великим европейским художникам. И само собой разумеется – к русским. Все они к концу своего земного пути, когда появилась возможность сравнивать, в какой мир они пришли и из какого уходят, испытали тревогу от перемен, о которой не могли промолчать. И все они, даже самые великие, испытали снисходительное непонимание общества, относившегося к ним как к чужакам. Когда-то эти новые и опасные реалии, клонившие мир к вульгарному опрощению, можно было объяснить воззренческим дальтонизмом, неумением отличить один цвет от другого, теперь в своей агрессивности они уже не скрывают целей: нет ни черного, ни белого, ни добра, ни зла, а есть только мое. У нас разное зрение: «нечистое сердце не может зреть Чистейшего» (ср. Мф. 5, 8).

Пятьдесят лет назад Фолкнер видел долг писателя в том, чтобы помочь человеку выстоять. Он советовал писателю «выкинуть из своей мастерской все, кроме старых идеалов человеческого сердца, – любви и чести, жалости и гордости, сострадания и жертвенности, отсутствие которых выхолащивает и убивает литературу». Гарднер сравнивал новое искусство со слоном, который топчет ребенка, а художник в это время восторгается волоском на его хоботе. «Подлинное искусство морально, – утверждал Гарднер. – Оно стремится продвинуть жизнь к лучшему, а не принизить ее». В России был патриархальный Север, но ведь и Америка не обошлась без патриархального Юга: патриархальность – это не кладбище, а кладовая. У Фицджеральда есть любопытное замечание: «Наш Юг, в частности, – это тропики, где созревают рано, но ведь французам и испанцам никогда и в голову не приходило предоставлять свободу девицам в 16–17 лет». По этим словам, сказанным примерно семьдесят лет назад, можно судить, как далеко они ушли вперед, а вернее, как далеко отступили с тех пор нравы как в тропиках, так и во льдах.

Все крупное, глубокое, талантливое в литературе любого народа по своему нравственному выбору было неизбежно консервативным и относилось к морали как к собственной чести. Литература любого народа желала своему народу добра. Не странно ли, что приходится произносить столь банальные истины? Но эта банальность превратилась в нечто умозрительное, на практике ее уже не осталось. В России – в особенности. И это у нас, где литература еще совсем недавно была ходатаем даже по мирским делам народа, понимая справедливость как правду и незаконие – как неправду, с которой нельзя мириться. В мрачные времена безбожия литература в помощь гонимой Церкви теплила в народе свет упования небесного и не позволяла душам зарастить скверной. Из книг звонили колокола и звучали обрядовые колокольцы, в них не умолкало эпическое

движение жизни, с непереносимостью художественных азов звучали заповеди Христовы и такой красоты растекались закаты над родной землей, что плакала и ликовала от восторга читательская душа: Он есмь. Литература не была слепой и замечала наступление зла, но отречься от добра для нее было равносильно тому, как молитве отречься от Бога... Мощней и непримиримей идеологического противостояния без границ и застав набиралось противостояние нравственное – и вдруг раньше сроков, как и в идеологии, и здесь свершилась победа.

И погнали совесть и чистоту в рабском виде прочь из дома...

И возгласил всемогущий и любимый сюзерен самого короля новый нравственный закон: больше наглости!..

И кинулись исполнять вассалы это приказание по всем городам и весям...

И трон самого Царя Тьмы с небывалыми почестями перенесен был в Москву...

В строку здесь было бы продолжить: и пала литература... Но она не пала окончательно. Менялы отстранили ее с небрежением, как старуху, ни на что не годную, кроме как доохивать оставшиеся до смерти дни. Появились новые формы разговора с человеком, динамичные, лаконичные, без художественных «соплей», не требующие ни таланта, ни любви, ни даже уважения к человеку, затягивающие в свое сопло с могучей электрической силой. Уже угасающими глазами умирающий Пушкин обвел ряды книг своей библиотеки и произнес: «Прощайте, друзья!» Он уходил, они оставались. Они были важнее даже его, Пушкина, ибо он служил им и обрел в этом служении величие.

Что случилось с литературой в нашу пору? Или меньше стало великих и под механическими жерновами цивилизации духовные вершины легче перетираются в песок? Или в самом деле нет в мире ничего вечного, нет ни в нравственности, ни в духовности, ни в художествен-

ности? Я никогда не соглашусь с этим, но что-то, что сильнее и умнее меня, говорит, что такое возможно. И подсказывает самое неприличное слово – мутация. Духовная мутация, вслед за которой может наступить и физическая, подобно тому как байкальские рачки близ целлюлозного комбината мутируют во что-то безобразное, то есть теряющее свой образ. Литература никогда не была одинаково ровной – была в несказанной высоте и красоте и была как развлекательная безделушка или как разукрашенная идея. Но вторая по мастерству и значимости и место занимала второе, несмотря ни на какие притязания. И вот теперь низкое, возмужав в грубое, агрессивное, перешло границу и принялось теснить высокое, заявляя при этом чуть ли не конституционные права, ибо низким сделалось пропитано само общество.

Великий Инквизитор опять оказался прав. В «Легенде» Достоевского он действовал в XV веке, перед ним были тысячи тысяч невежественных людей, удовлетворяющихся хлебом и зрелищами, и это понижало значимость его победы. Ныне он идет к торжеству с помощью тысячи тысяч с высшим образованием, на интеллектуальном уровне отдающих души все за то же – за хлеб и зрелища. Последние пятнадцать лет в России подтвердили, что образованщина, да к тому же еще бескорневая, декоративная, нисколько не выше дикости.

Так чего же хотим мы, на что рассчитываем? Мы, кому не быть победителями... Все чаще накрывает нашу льдину, с которой мы жаждем надежного берега, волной, все больше крошится наше утлое суденышко и сосульчатými обломками истаивает в бездонной глубине. С проходящих мимо, блистающих довольством и весельем океанских лайнеров кричат нам, чтобы мы поднимались на борт и становились такими же, как они. Мы не соглашаемся. Солнце слепит до головокружения, до миражей, и тогда представляется нам, что наша льдина – это новый ковчег, в котором собрано в

этот раз для спасения уже не тварное, а засеянное Творцом незримыми плодами, и что должна же быть где-то гора Ара-рат, выступающая над потопным разливом. И мы все высматриваем и высматриваем ее в низких горизонтах. Где-то этот берег должен быть, иначе чего ради нам поручены эти столь бесценные сокровища!

2000

МОЙ МАНИФЕСТ

Сейчас среди молодых и не в меру честолюбивых писателей принято заявлять манифесты. Только я, не читающий всего, знаю с полдюжины. Есть среди них совсем срамные, любующиеся своим бесстыдством; есть грубые, «новорусские», с крутой лихостью расправляющиеся со «стариками», которые раздражают молодых уже тем, что свои книги старики не собираются забирать в могилу; есть манифесты пошлые, есть всякие. Не стоило бы обращать на них внимания, если бы на все лады не повторялся в них один и тот же мотив – о смерти русской литературы. Молчать в таких случаях – значит вольно или невольно соглашаться с ним.

Не знаешь, кого больше и жалеть, когда снова и снова слышишь возвещения о кончине старой литературы и о чудесном рождении на ее обломках новой, идущей в ногу со временем и цивилизацией. Ту ли жалеть, над которой торопятся возвести могильный холм, или ту, которую подают на закуску? Почему-то жалко и отвергаемую, и насаждаемую. Одну – потому что при всем своем художественном блеске она не сумела напитать сердца читателей настолько, чтобы они не путались в добре и зле, и вторую – потому что она и заведена не для питающего действия.

Да это и невозможно – расчлнить литературу одной страны и одной нации, объявить ее прошлое закрытым,

а настоящее единственно правильным. Такие попытки уже делались после социальных потрясений. И делались они единственно из обслуживания новой социальности. Закрывали Достоевского, Лескова, Бунина, пропускали сквозь цензуру Пушкина и Гоголя, отнимали духовное слово, объявляли вражеским национальное мышление. Но нацию отменить было невозможно. Так, вопреки всем принятым мерам, явились Есенин и Шолохов. Есенина погубили, по нынешним меркам, мальчиком, но мальчик этот успел показать себя национальным гением; Шолохова на весь мир оклеветали за то, что таким же мальчиком он написал «Тихий Дон». Как будто у русского писателя в переломные времена есть возможность взрастать не торопясь. «Садовники», выращивающие новую культуру, изо всех сил следили, что всходит, что лелеять и что немедленно выдирать с корнем. И надо было иметь глубокую национальную породу, вековые засева, чтобы с прополкой так и не справились. Чуждое не хотело и не могло укорениться, свое не могло не давать всходы.

Уроки 20-х годов были учтены в конце 80-х – начале 90-х, во времена нового переворота.

И когда говорят о природной лени русского человека, я вздрагиваю так, будто меня ожигают кнутом: посмотрели бы вы на этого «лентяя», изнемогавшего от надсады, чтобы и государство поднять, и детей сохранить и вывести в люди. Дело не в подневольном труде... Теперь нашлись баталлисты, которые и ратную службу в Великую Отечественную описывают как службу рабскую. Люди прекрасно понимали, что за Россию, за свою Россию, можно заплатить и чрезмерную цену...

Можно ли русский народ назвать народом духовным, видя его обездоленность, нестройность, порывистость то к одному, то к другому, то к небесному, то к земному, его склонность к раздорам и словно бы потребность жить на краю жизни? Если вы назовете другой, более духовный на-

род, – значит, нельзя. Русский человек занят духом, то есть стал вместилищем духа, но по многосемейности своей по-разному; отсюда все его подвиги высшего и низшего порядков. Россия – страна братьев Карамазовых, издавна и до сих пор. Ни с кого в мире, я думаю, душа не требует так сурово, как с русского человека.

Отсюда, из духовного склонения Руси, и особая роль в ней литературы. Литература всегда была у нас больше, чем искусство (даже в упоминаниях она стояла отдельно и на первом месте; так и говорили: литература и искусство), и являлась тем, что не измышляется, а снимается в неприкосновенности посвященными с лица народной судьбы. Мы будем еще долго спорить, кто написал «Слово о полку Игореве», но, найдись вдруг чудесным образом автор, мы бы, пожалуй, испытали разочарование, потому что он оказался бы излишней прибавкой к творению народному.

Призвание – это призванность, задание на жизнь. Шолохов, Твардовский, Абрамов, Шукшин, Носов, Белов могли иметь другие имена, но они не могли не явиться, ибо именно так наступила пора считать судьбу и душу народную. Именно они лучше всего отвечали случившимся в народе переменам. Одновременно существовала и другая, и третья, и четвертая литература, частью полезная, талантливая и все-таки сторонняя, но большей частью составляющая произведения печатного станка – требовательная, навязчивая, пресмыкающаяся и злая. Как все, что не имеет чести быть родным и на этом основании требует отменить родственность. От них, от приемных ветвей обширной советской словесности, и произошла наглая барышня, посягающая сегодня на главное место и решившая похоронить русскую литературу вовсе.

Но чтобы похоронить, надо убить. Учтенные последней апрельско-августовской революцией уроки Октября заключались в том, что мало взять власть, мало запустить новую идеологию и поменять хозяина собственности –

все это было и после Октября и как из-под пальцев ушло. Надо разрушить то, куда ушло и откуда неожиданно вновь принялось взниматься совершенно забитое и отмененное русское мышление. Тысячелетняя Россия оказалась сильней – за нее и решено было взяться. А для этого поднять ее из глубин наверх, встретить с объятиями, с почетом провести в Кремль и, сделав там служанкой, взяться за полное ее преобразование – чтобы сама на себя не была похожа, чтобы и духу от нее не осталось. Под руку явилось самое мощное оружие «перековки» – телевидение всеобъемлющее и бесстыднейшее.

Подняли из укрытия национальную Россию, ограбили и раздели ее донага – вот она, «русская красавица».

И невдомек им, лукавцам (а часто и нам невдомек), что это уже не так, что, не выдержав позора и бесчестья, снова ушла она в укрытие, где не достанут ее грязные руки.

И когда принимаются уверять с наслаждением, что русская литература приказала долго жить, – не там высматривают нашу литературу, не то принимают за нее. Она не может умереть раньше России, ибо, повторю, была не украшением ее, которое можно сорвать, а выговаривающей духовной судьбой.

Не она умерла, а мертво то, что выдает себя за литературу, – приторная слащавость, вычурная измышленность, пошлость, жестокость, рядящаяся под мужество, физиологическое вылизывание мест, которые положено прятать, – все, чем промышляет чужая мораль и что является объедками с чужого стола. Таким обществом наша литература брезгует, она находится там, где пролегают отечественные и тропы, и вкусы.

Сейчас не требуется писать много. Приходится признать, что читать стали в десятки раз меньше, чем десять лет назад. Это объясняется и бедностью, когда от куска хлеба не удастся урвать ни копейки на книги, и дурным качеством навязываемых книг, и невольной виной каж-

дого за попушение злу. Попустила читающая Россия, и теперь, отворачиваясь от лжеучителей, она отвергает и кафедру, к которой они выходили. Кафедра (назовем так литературу) допускала разные мнения, но разноречивость в переломные моменты способна восприниматься только с одним знаком. Чтобы вернуть доверие к литературе (а это пришлось делать и после революции 1917 года), писать надо так, чтобы нельзя было не прочесть, подобно тому как нельзя было не прочесть «Тихий Дон». Наступила пора для русского писателя вновь стать эхом народным и не бывавшее выразить с небывалой силой, в которой будут и боль, и любовь, и прозрение, и обновленный в страданиях человек. К нашим книгам вновь обратятся сразу же, как только в них явится волевая личность, – не супермен, играющий мускулами и не имеющий ни души, ни сердца, не мясной бифштекс, приготавливаемый на скорую руку для любителей острой кухни, а человек, умеющий показать, как стоять за Россию, и способный собрать ополчение в ее защиту.

Россия – многонациональная страна. Я говорю о русской литературе по праву русского писателя, ни на минуту не забывая при этом, что российские малонациональные, в сравнении с русской, литературы, какую бы роль они на себя ни брали, имеют схожие беды и задачи. Не надо забывать и то, что все революции с чужим духом имеют антинациональную направленность, для России – ступенчатую. Наша нравственная грамота до таких истин не доходит, а грамота политическая и властная во всем мире их скрывает.

Литература может многое, это не раз доказывалось отечественной судьбой. Может – худшее, может – лучшее, в зависимости от того, в чьих она руках. Но у национальной литературы нет и не может быть другого выбора, как до конца служить той земле, которой она была возвращена.

1996

«ПИШУ О ТОМ, ЧТО НУЖНО ЛЮДЯМ»

Беседа с С. В. Ямщиковым

Савва Ямщиков: Валентин Григорьевич, мы ровесники, прожили по шесть с половиной десятков. Что в своей жизни писателя, человека, считаете главным? Что несете в душе по сей день?

Валентин Распутин: Наверное, возможность и способность высказываться о том, что сейчас нужно обществу. Видите ли, те большие вопросы, которые как бы витают сегодня в воздухе, никого из нас не минуют. И надо закупориться совершенно, чтобы не понять, чего же ждет от тебя читатель, о чем надо рассказывать. Это не значит, что я всегда непременно поднимал самые важные вопросы. Нет, конечно. Но меня ведь сами обстоятельства заставляли искать ответы на эти вопросы. Скажем, отчуждение в семье, среди самых близких людей, стало ощущаться уже в конце шестидесятых. Исподволь, потихоньку, но оно подготавливалось, и в конце концов трещина все-таки вышла наружу. Мы ведь стали тем, кто мы есть сейчас, только за последние десять-пятнадцать лет. И я рассказал почти что историю нашей семьи, написал свою бабушку. Для меня это было самое главное в «Последнем сроке». Тот язык, которым пишу, он во многом от нее, от бабушки – как же она говорила! Сидеть бы да записывать эти удивительные рассказы, этот язык, техники не было такой, чтобы записывать, но ведь это без техники переливалось... Когда пришло время писать, я воспользовался бабушкиным языком. Да в деревне все так говорили, это был и мой язык. Другое дело, что поначалу я стеснялся его. Ну как же! В город приехал, университет окончил, французских и американских авторов читал, а тут какой-то деревенский язык! И не я один так к нему относился. Потом у Шукшина прочитал, что он тоже стыдился своего языка, когда поступил в институт кинематографии.

С. Я.: Зато Александр Сергеевич, будучи оснащенным и языками, и науками, не стыдился языка Арины Родионовны и переносил его в «Евгения Онегина».

В. Р.: Конечно. Но мы-то из этого языка как бы выбрались, и поначалу именно такое отношение было. Потом я понял, какое это богатство, как повезло и Астафьеву, и Абрамову, и Носову, и Белову, и мне. Понял я прежде всего благодаря этим писателям, потому что они раньше меня начали. Помню, с каким удивлением читал «Привычное дело» – оказывается, можно так писать, как Василий Иванович. «Последний срок» у меня очень легко получился. Летом в деревне народу собиралось много, родственники отовсюду наезжали, негде было приткнуться. Так я в баньке приспособился. Темная, одно окошечко. Поставил ящик, на него газетку, под себя подставил чурку. Так хорошо писалось!

Правда, перед этим была работа, которая мне тяжело далась, потому что хотелось написать так же изысканно, как Бунин, Борис Зайцев. Есть у меня очерк «Вниз и вверх по течению», где герой приезжает на свою родину и видит, чем стало переселение на новые места для его односельчан. Не для села даже, а для деревни в сорок дворов. А все равно тяжело далось. Мы по молодости не сознавали, а для стариков, конечно, трагедия. Я написал об этом, но написал несколько красиво, как бы отстраненно, а недавно взял и переписал этот очерк, с высоты, так сказать, человеческого и писательского опыта.

Не всегда это дается от рождения – замечать мир вокруг себя. Нужно особое зрение. У меня, кажется, было. Я стал учиться замечать так, чтобы это можно было записать или продолжить наблюдения, расширяя свой художественный мир. Недавно мне предложили составить тематически цельный сборник рассказов и публицистики. И сама собой сложилась книга о затопленной моей родине. Там сначала, после переселения, устроили большой леспромхоз, и все

как будто шло неплохо, заработки хорошие. Но у нас благополучие редко ведет к нравственности, тем более что и работенка была разрушительная. Ведь не хлеб сеять, не землю пахать. А лес рубить – что Божий урожай снимать. И чего ж его не снимать-то? Снимали сколько хотели, планы перевыполняли. Но на человеке это отразилось не лучшим образом. В девяностые годы леспромхоз, разумеется, сгинул. Поселок оказался без работы, без электричества и надежд. И вот все написанное об этом и собранное вместе составило впечатляющую картину. С конца пятидесятых и по сегодняшний день – летопись, где художественная, где документальная, о разрушении земли и человека.

С. Я.: Самый страшный выплеск у тебя по этому поводу, конечно, «Пожар».

В. Р.: Да, «Пожар» тоже оттуда. Там открытая публицистика, я уже не мог себя сдерживать при виде того, что тогда происходило. Дело-то ведь не только в моей родине. Она действительно почти окончательно погибла. Ангары не стало, нет такой больше реки, а есть четырежды обузданная тягловая лошадка, добывающая электричество. Братская ГЭС, Иркутская, Усть-Илимская, Богучанская. Да и Енисей, в сущности, не стало, он точно так же запряжен и обуздан. А линии электропередачи прошли в стороне от прибрежных деревень. А солярка-то потом стала золотой... Вот и судьба-судьбина, не позавидуешь.

С. Я.: А переброс северных рек, на борьбу с которым ты часть своей жизни положил? Ведь не хотели подумать, что с реками будет, с людьми что. Не пойму только: вредительство или по глупости? Но, если не по глупости, если по уму, тогда что это?

В. Р.: Реку повернуть – это потерять ее, потому что вполтину она будет уходить под землю, просачиваться, заболачивать землю. А что, у нас лишняя вода есть? Нет у нас лишней воды. Просто принято было выкачивать все из России в национальные республики. Теперь республики уже не

наши, а методы все те же. А там нас, как это обычно бывает, за все щедроты ненавидят. Считают, раз мы не ценим своих богатств, они нам и не нужны!

С. Я.: В обмен на бусы и огненную воду. Валентин, я тебе не говорил, но мне давно запал в душу твой очерк о Кяхте. В силу своей профессии я каждый старый город прежде всего воспринимаю в его историческом, художественном значении. Ты так удивительно подал картину прежней Кяхты и то, во что она превращается. Я по сей день всем рассказываю: а вы знаете, какие там были художественные коллекции, какие библиотеки! Что страшно? Умирают «неперспективные» деревни, но вслед за ними и процветающие города. Кяхта, потом город побольше, а там до Москвы докатится. Уже докатилось, Москву настоящую мы практически потеряли. А начинается с гибели деревни. Почему-то ни Толстому, ни Достоевскому, ни Тютчеву, при всей, как сейчас принято говорить, продвинутости их произведений и в голову не приходило посягать на основы. А вот у нас замахнулись, и с каким же высокомерием писателей вашего круга критика «деревенщиками» назвала. Я это слово как высочайший комплимент воспринимаю, но они-то тавро поставили, чтобы отодвинуть от «основной магистрали» литературы. Тут вот о чем напомнить хочется. На том пароходе, сталинском, по Беломорско-Балтийскому каналу девяносто писателей проехали. Своими глазами видели ГУЛАГ, с самого близкого расстояния. И что же? По возвращении с экскурсии никто не сказал: не могу так, ухожу из советских писателей! Наоборот, написали восторженные впечатления – настолько были заражены. Людей с деревенскими корнями там мало было, я посмотрел.

В. Р.: Все это так. Хотя на вопрос с пароходом я отвечать категорично не стал бы: оказались бы там деревенщики, не оказались. Хочется надеяться, что не оказались бы. Но, во-первых, страх был, что говорить, а перед страхом не каждый устоит. А во-вторых, пропаганда. Она работала на-

шими руками против нас же. Нам сегодня судить проще. Знаю, ты недавно прочитал замечательную книжку Леонида Бородина «Без выбора». Он – мой земляк, иркутянин. Когда из университета отчислили, пошел познавать жизнь и оказался в Норильске, а там ведь много заключенных работало. И вот у Бородина упрек Куняеву: как это тот, работая журналистом в Тайшете, не знал, что вокруг лагеря? Куняеву в книге немало упреков, но с этим все-таки я не согласился. И недалеко от моих мест лагеря тоже были. Но как считалось: там находятся те, кому положено находиться. Я, к примеру, о существовании русских диссидентов очень долго не подозревал. Для меня все диссиденты были на одно лицо, и лицо это было обращено на Запад.

С. Я.: Буковский, Гинзбург, Щаранский...

В. Р.: Я только в 80-х познакомился с Владимиром Осиповым, ближе сошелся с Бородиным, узнал о существовании ВСХОН, организации, озабоченной русской судьбой при коммунизме.

С. Я.: С Осиповым Володей мы учились вместе. Его забрали прямо из университета. И насколько его судьба замолчана, а ведь он отсидел больше всех. Но у нас считали диссидентом Аксенова, который благополучно уехал в Америку. Я смотрю на Осипова, на Бородина – у них потрясающие лица. Они, как учителя мои университетские, все пройдя, не сломались, сохранили костяк. Кого замалчивают в нашей пропаганде? Осипова, Бородина, Марченко, которого убили там, генерала Григоренко. Эти люди, не побоюсь громкой фразы, бились за родину, а это было невыгодно. Бородин забавно пишет, как уже в другие времена, будучи редактором журнала, оказался на каком-то приеме за одним столом с Георгием Васильевичем Свиридовым, и лидер перестройки Яковлев дважды подходил и пытался ручонку свою сунуть. Могу себе представить реакцию Бородина, с его-то сарказмом. А Свиридов прямо дал понять, что еще раз сунется – и в пятак получит.

Представь, Яковлев, который Бородину практически сажал, тянет ручонку!

В. Р.: Сажал, а потом за «своего» пытался сойти. Но мы не договорили о деревне. Вот пытаются понять, интересуются: почему Россия не Франция, или Германия, или Япония? Да потому что она стоит на этом месте. В России была совсем другая цивилизация – крестьянская, а в Европе она когда еще отмерла. Эта цивилизация и нравственность вырабатывала тот язык, которым мы гордимся и который теперь теряем. Теряем потому, что разбомбили деревню, за последние годы окончательно ее разрушили. Остались или подобия хуторов, или отдельные дома аграриев. Но крестьянин – не аграрий, он не просто сельский работник – это духовное понятие, самой землей взращенное. Как вообще можно сравнивать Россию? У кого в XX веке такая судьба: Первая мировая война, революция, Гражданская война, 15 миллионов раскулаченных и сосланных, затем война Отечественная...

С. Я.: И три миллиона сознательно убитых казаков. Три миллиона!

В. Р.: Какая же страна могла это вынести? В шестидесятые, а частично и в семидесятые годы крестьянство еще оставалось. Пусть пострадавшее, даже, может быть, генетически покалеченное, и все-таки сколько было прекрасных людей. Тех, кто с фронта пришел, и тех, кто вырос на этой земле. Но потом постарались и их разогнать, добить деревню окончательно. Разогнали, добились, объявив деревню «неперспективной». Да и теперь, в позапрошлом году, бешеный урожай хлеба был, а крестьяне не знали, что с ним делать. Я со многими разговаривал: им спокойней, когда урожай средненький. Потому что меньше хлопот о горячем, которое дорожает, как только наступает уборочная. Нет урожая – значит, нет забот, кому хлеб продать. Ведь не хочется посредникам-жуликам за бесценок отдавать.

И то, что потускнел русский язык в литературе, тоже по тем же причинам. Литература ведь «черпает» из устного языка, а его носителем был крестьянин. Конечно, прежде всего этот язык был принадлежностью нас, писателей из деревни. Это, может быть, единственное поколение, которое привнесло в литературу целые пласты устного языка, раньше ничего подобного не происходило. Сейчас мы отходим, книжки наши то ли читаются, то ли не читаются, а новые писатели этого языка не знают. Да и деревня уже стала по-другому говорить.

С. Я.: Знаешь, Валентин, в моей библиотеке есть три особенно дорогие мне книги, все из серии «Отечество» издательства «Молодая гвардия». Это «Лад» Василия Ивановича Белова, «Пушкиногорье» Семена Степановича Гейченко и твоя книга о Сибири. Читая их, понимаешь: нет, не поставит нас на колени. Столько показано драгоценностей, которые нам Бог отпустил, а народ своими руками сотворил.

В. Р.: Особенно у Белова в «Ладе». Дивная книга.

С. Я.: Жаль, что эта серия прекращена. Вообще я очень ценю то, что делает «Молодая гвардия», Бородин вот выпустили. За последнее время у меня было два открытия человеческого мужества: Бородин с его книгой и то, что прочитал в «Известиях» об ушедшем недавно Владимире Богомолове. Кто знал, как он живет, чем живет? Потому что держался в стороне от тусовки, был неподкупен, бескомпромиссно честен. На примере этого человека можно целые классы и школы воспитывать. Как и на примере Бородина, Осипова. А нам подсовывают других – таких, которым наплевать на «ваши» проблемы, «ваши» деревенские, так сказать, заботы.

В. Р.: Они действительно богатыри, нравственные богатыри. И Осипов, и Бородин, и Богомоллов. Как скала. Ветры, бури, снегопады – несмотря ни на что, стояли непоколебимо. Они и ушедшие стоят.

С. Я.: А уходят эти богатыри незамеченными. И Евгений Иванович Носов, один из величайших писателей, и Богомолов – ни строчки, как будто не было их. Когда Юрий Кузнецов умер, даже пришлось с письмом обратиться к президенту: почему нигде ни слова? Это же точки отсчета, вершины!

Валентин, знаю, ты не из тех, кто говорит о своих планах преждевременно, и не о них я. Извини, но припомним Н. Островского, которого теперь заклевали, – что еще хотелось бы сделать, чтобы не было стыдно и мучительно больно? Какой работы хочешь для себя в отпущенные судьбой и Богом годы?

В. Р.: Сейчас-то особенно не стыдно за то, что сделано. Я, кажется, нигде не покривил душой. Говорят: он не писал в 80-е, не писал в 90-е. Но эта книжка о Сибири, она же не просто так написалась. Даже Москву из конца в конец пересечь, и то усилия надо приложить. А тут поехать, да не однажды, на Ледовитый океан, или в Кяхту, в Тобольск, на Алтай. Байкал вроде рядом, но и он потребовал сил. Не просто ведь хотелось записать впечатления, а чтобы читалось, с пользой и вкусом читалось. Мне всегда работалось трудно, труднее некоторых других, может быть, в пять-десять раз. Вроде готовая вещь, все на месте, а чего-то нет. Красоты, цвета, изюминки какой-то. Не хватает, может быть, двух-трех слов, которые расцветили бы эту страницу. И начинаешь искать их, переписываешь. Поэтому, может быть, и читаются Кяхта, Тобольск, Байкал. Правда, глава о Байкале будет дополнена, хочется еще о нем написать. Сейчас делаю главу о Транссибе, она тоже необходима.

В 90-е годы писалось действительно немного. Но было множество интервью, статей, отзывов. Да и не хотелось писать. В какой-то момент появилось ощущение, что читателя больше нет. Он, разумеется, не исчез, но такое кругом творилось, что, казалось, не время сейчас писать красиво – надо, пиши страстно. Ну и писал страстно. Не

знаю, принесло ли это пользу, думаю, все-таки принесло. Потому что когда приезжаешь куда-то в дальнюю сторону, люди постарше, следившие тогда за газетами и журналами, многое вспоминают. Скажем, интервью с Виктором Кожемяко, которые мы делали каждый год, и не по одному, десять лет подряд. Но читатели продолжают читать. И статьи вспоминают. Вот ту, в частности, о патриотизме, за которую меня в 1991-м грязью забрасывали. Статья-то небольшая, потом уж я ее расширил, написал «Интеллигенцию и патриотизм».

Довольно непросто все давалось. И когда почувствовал, что устояли, пережили и это, потянуло опять на прозу. Совсем быть довольным работой нельзя, но главное я в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» сказал. А сейчас – может быть, это будет последняя работа – надо написать о другом, не об этой безобразной жизни. Я даже по себе чувствую. Такое иной раз тяжелое настроение, что хочется взять не ту книжку, где опять душа воспламенится, а ту, где душа прельстится, отмякнет. Не знаю, о любви ли будет повесть или о чем-то еще, но непременно о добрых, очень добрых отношениях между людьми. Как будто и не существующих сегодня, но где-то они все-таки существуют. А если бы даже и не существовали, написать про них надо. Как в свое время «Пожар», так сейчас, я думаю, нужна такая книга, с которой читатель мог бы отдохнуть, и если прослезится, то слезами чуткими, благодарными. Благодарными этим людям за то, что они поднялись до таких чувств, таких отношений.

С. Я.: Мне кажется, в юном Иване из повести «Дочь Ивана, мать Ивана» есть черты героя этой твоей доброй, прельщающей душу новой книги. Извини за нескромность, но в нем я вижу себя, скажем, 50-летней давности. Тоже ведь таким умником с матерью разговаривал, а она со свойственной ей мудростью умела необидно осадить. Мне этот Иван-сын очень по душе. Может быть, он и станет героем следующей повести?

В. Р.: Может быть. Хотя отношения у них с матерью не совсем гладкие, но друг друга они понимали. Без пошлости, без излишних объяснений. Тамара Ивановна по характеру задира, но эта задиристость в Иване должна переродиться в твердые взгляды. Забавная она все-таки. Услышав от него все эти «очи», «ланиты», удивилась, а потом даже испугалась. Чего ради такие слова? Куда полез? Хотя понимает, что полез в пределы вовсе не запретные. Счастливые, может быть, пределы. Но она-то их не знает. Обидно ей становится – жизнь прожила и не знает. А оказывается, все это было, и это можно было знать.

Вот так же как мне обидно, что жизнь пройдет, а многого не узнал, не увидел. В чужой стороне почему-то не умел смотреть, старался поскорее сделать дело и вернуться обратно. Хотя и было любопытство, и что-то я все-таки брал из этих поездок. Но сколь многого не успел сделать, почувствовать, принять в себя. Даже в литературе.

Последние два года, я думаю, у нас было три великие книги. Это «Музыка как судьба» Георгия Васильевича Свиридова, «Без выбора» Леонида Бородина и «Двести лет вместе» Солженицына. Без этих книг нельзя. Появились они – и нам как будто легче стало, мы уже силу в себе чувствуем.

С. Я.: Без этих книг нельзя. Так же, как нельзя без прозы Распутина, без трудов Льва Николаевича Гумилева. Или книг Дмитрия Михайловича Балашова. Уход из жизни этого крупнейшего, честнейшего русского исторического писателя пресса заметила только в связи со страшным убийством. Я-то его знал сызмальства, мы в Карелии начинали бытовать вместе. Поразительно, как в этом маленьком, бурном, задиристом человеке рождалась такая мощная, поистине великая проза. Особенно люблю книгу о Сергии Радонежском. Настолько глубоко он знал эпоху, так тонко чувствовал ее.

Не замечали Балашова, знать не хотели Богомолова, замалчивают другие подлинные ценности нашей культу-

ры. Зато торопятся сообщить городу и миру подробности модной презентации или юбилея Янковского. Но ведь настоящий актер – это всегда какая-то неуспокоенность, борьба, нежелание размениваться на мелочи. А тут – малопристойные частушки и запредельное меню. Подумайте, что в это время где-нибудь в Петрозаводске, Пскове, Иркутске талантливый писатель еле сводит концы с концами. У музейных сотрудниц и в столицах зарплата полторы тысячи рублей, врач получает три тысячи, учительница четыре. Кого за это винить? Не в последнюю очередь так называемую творческую интеллигенцию. Всегда так было: своим поведением разлагала общество. А другой части интеллигенции, совестливой – таким, как Достоевский, – потом ценой собственной жизни приходилось восстанавливать духовное здоровье нации.

И вот в конце нашей беседы мне бы хотелось спросить: как ты считаешь, есть на все это управа? На то, что мы попали за пределы Содома и Гоморры?

В. Р.: Управа, конечно, есть. Я уже говорил, что всю эту гадость, срам напустили на Россию в течение самое большее пятнадцати лет.

С. Я.: Быстро.

В. Р.: Быстро, да. Но за те же пятнадцать лет можно и убрать, очистить. Надо только, чтобы государство поставило перед собой такую задачу: спасение России, самое главное – спасение народа. Благополучие народа в первую очередь от духовного, нравственного состояния зависит. Все на этом держится. Будет духовное, нравственное – будет и материальное, физическое, какое угодно другое благополучие.

Управа, конечно, есть. Вот такой пример привел мне вчера один мой товарищ, доктор филологических наук. Поскольку зарплата не ахти какая даже у докторов, он преподает в одной из московских школ. Класс неплохой, девочек много.

Рассказывает он им о Пушкине, а рассказывает он прекрасно. Потом от классической литературы как-то естественно перешел на то, что не дело девушке в 16, 17, 18 лет пить пиво, материться, ходить на всякие «голодранные» представления. Из класса тут же вопрос: «А если пиво нравится, как его не пить?» Он начинает объяснять, что это их приучили, а вообще женщина должна быть целомудренной, женственной, чистой, готовить себя к роли матери. Слушают, смеются. Товарищ мой только и сказал: «Не смейтесь, вспомните еще меня». Урок окончен, собирает он свои тетрадки. Тут подходят две девочки, и одна со слезами на глазах говорит: «Как хорошо, что вы нам это сказали». – «Как же было не говорить?» – «Никто нам не говорит». Наверняка они – изгой в классе, их презирают за скромность и стыдливость, считают за отрывку прежних понятий. И, видимо, они сами уже стали о себе так думать. Вот ведь до чего дошло. По телевидению не говорят, в классе не говорят. Родители тоже считают, что толку от подобных разговоров мало. Но ведь сказал взрослый, учитель, и это слово достигло той самой струны, которая должна быть задета. Не все потеряно, если среди пятнадцати, двадцати есть хотя бы две девчонки, которые со слезами на глазах благодарят за слова, очищающие душу.

С. Я.: Трудно им. Я езжу по провинции и вижу то, чего раньше просто быть не могло. На улице пить пиво из бутылки даже мужчины стеснялись. А тут иду по Ярославлю – красивые девочки лет по семнадцать сидят с пивом, курят. Я не выдержал, остановился. «Вы, – говорю, – на дедушку не обижайтесь и послушайте меня. Вы такие чудесные. Вам же надо познакомиться с хорошими парнями, полюбить, семью создать. У всех нас так было. Но если бы я был молодым парнем и увидел таких, как вы – пьющих пиво и курящих, я бы к вам не подошел. Даже к таким красивым». Удивились: «А почему, дяденька?» – «Да потому, что пить пиво на улице, курить – это прежде всего анти-

санитария. Раз пьете на улице, я должен опасаться и всяких других санитарных последствий».

К счастью, таких, как те две девочки из московской школы, все-таки немало. Вижу их и среди нового поколения своих коллег-музейщиков. Осенью мы открывали в Ярославле выставку, а на днях читаю статью молодой сотрудницы музея в петербургском журнале «Новый мир искусства». Даже удивительно, как ее напечатало это издание, где вообще-то предпочитают кубики и всякие кривляния. Так талантливо, таким прекрасным русским языком написано о Ярославле, о его старых мастерах, о музейных работниках, реставраторах! И это дает надежду, хотя очень трудно сейчас говорить об оптимизме. Книга Бородина тоже ведь кончается вопросом относительно будущего. Он человек суровый, но надежда все равно проскальзывает. А раз уж наши столпы, через такое горнило пройдя, выстояли, не все потеряно. Молодежь еще будет учиться у таких людей. Я в это верю.

В. Р.: Я думаю, что даже те, которые нам кажутся не совсем приятными людьми, наверняка какую-то добрую часть в себе оставили. Может быть, притушили, приглушили, поскольку это не пользуется успехом и спросом, но оставили – припрятали подальше в кубышку. Хотя надо бы эту лучшую часть заставлять работать, а не держать взаперти. Но это потаенное все равно понадобится...

2004

VII ЭТИ ДВАДЦАТЬ УБИЙСТВЕННЫХ ЛЕТ

Беседы с публицистом Виктором Кожемяко

К читателю

Почти двадцать лет, с небольшими перерывами, вели мы эти беседы, итога годы и происходившие в них события. За это двадцатилетие Россия пережила много что – и расстрел парламента, и смены президентской власти, и царство Березовского с Гусинским, и дефолт, и чехарду правительства, и принятие закона о продаже земли, и гибель «Курска», и парад олигархов на подиуме самых богатых людей планеты, и выборы, выборы, выборы... Выборы превратились в альфу и омегу нашего времени, в «единственное, что нам не изменит». В это двадцатилетие на земле и под землей пылали пожары, большие реки и малые ручьи с небывалым бешенством выбрасывались из берегов и шли на приступ человеческих поселений на севере и юге, на западе и востоке, урожаи сменялись недородом, каленые зимы вползали в неотапливаемые квартиры, падали самолеты... И продолжалась Чечня. А в мире, в мире идол российских демократов – Америка бомбила Югославию и покоряла Ирак, окружала Россию по былым ее окраинам военными

базами, превращала дипломатию в грубые окрики и наскребла себе на хребет 11 сентября...

Словом, это двадцатилетие по насыщенности и трагичности событий вместило в себя столько, что хватило бы на целый век. Поэтому нам было о чем поговорить, куда ни взгляни, к чему ни прислушайся... Но теперь, когда мы собрали свои беседы вместе, под одну книжную обложку и в одну нить разговора, ступенчато поднимающуюся вместе с нами вверх от года к году, еще заметней становится, что это попытки обсудить и объяснить не столько сами события, сколько сопутствующую им нравственную сторону. От взрывчатки погибли тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей, но от порядка, презревшего честь и совесть, извратившего все нравственные законы народа, погибли миллионы и миллионы, имевшие несчастье оказаться в России в самое неподходящее для жизни время. Да и взрывчатка – результат того же порядка.

Вспомним, что передача власти от первого российского президента из рук в руки второму российскому президенту состоялась при условии неприкосновенности первого. Парламент эту неприкосновенность вместе с царскими льготами утвердил специальным законом. Стало быть, никто – ни сам первый, ни сам второй, ни парламент, ни общество – не сомневался в праве на «прикосновенность» и возмездие по заслугам. Если по закону как совести, так и буквы. А произошло по закону сделки. Он и сделался основным в нашем государстве и не намерен пока быть иным.

Читатель наверняка обратит внимание, что ни одна беседа не обошлась у нас без особого внимания к телевидению. А куда деваться: у кого что болит, отчего болит... Если выборы – альфа и омега, как было сказано, всякой непрочной власти, то телевидение – это не иначе как чума и холера на бедную Россию вот уже на протяжении свыше двадцати лет. Более грязного и преступного TV в мире не существует и не может существовать, ибо не находится больше желаю-

щих за государственный счет содержать огромную, хорошо вооруженную армию легальной организованной преступности, денно и нощно занятую нравственной и культурной стерилизацией народа. Результаты наяву: все меньше, к несказанной радости исполнителей, пахнет русским духом, духом культурного человека, все меньше Россия похожа на себя.

Есть ли польза от наших бесед, не мимо ли они ушей и душ, не впустую ли? Мы не обольщаемся большими результатами, вероятно, они меньше, чем хотелось бы, но и они будут к стати в той сумме, из которой должно складываться усиление России.

ПОСЛЕ РАССТРЕЛА НА КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ

Нет, не кончено с Россией...

Виктор Кожемяко: Валентин Григорьевич, начну даже не с выборов в Думу. Начну с того, что до сих пор жгуче болит во мне, как, думаю, и в вас, во многих других наших соотечественниках. Имею в виду расстрел российского парламента. И самое поразительное: 4 октября при этом кровавом действе было, как известно, много зевак, а были даже и такие, которые после каждого выстрела аплодировали. Что это? Как, по-вашему, объяснить такую бездну нравственного падения? Ведь это все равно как если бы фашисты заталкивали в газовую камеру евреев, а «посторонние» антисемиты аплодировали или русофобы аплодировали бы при отправке в газовую камеру русских, «посторонние» антикоммунисты – коммунистов? Между тем даже такой, казалось бы, гуманист, как Булат Окуджава, в интервью «Подмосковным известиям» заявил об этом жутком, кошмарном зрелище, демонстрировавшем-

ся по телевидению, буквально следующее: «Для меня это был финал детектива. Я наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении никакой жалости у меня к ним совершенно не было. И, может быть, когда первый выстрел прозвучал, я увидел, что это – заключительный акт. Поэтому на меня слишком удручающего впечатления это не произвело».

Валентин Распутин: Да-а... Что ж, в наше время уже трудно удивляться чему-нибудь, и все-таки подобное признание Булата Окуджавы, сделанное к тому же с явным удовольствием, поразительно. Есть люди, правда, с особой психикой, которым мучения жертвы доставляют физиологическое наслаждение, здесь что-то в этом же роде. Наши интеллигенты-гуманисты из «демократических» рядов вообще приобрели странное выражение души и сердца (лица тоже) – с печатью отнюдь не целебных чувств. Действительность всех нас не делает спокойными, но там уж совсем какое-то оголтелое неистовство! А ведь «победители»! – чего бы, казалось, из кожи выскакать, беса в себя гнать: твоя взяла, будь теперь великодушен к тем, кто еще не дорос до высоты твоего ума и широты твоего сердца. Но оттого-то, видимо, и беспокойство, оттого-то и нервозность, и эти постоянные подпрыгивания, будто пятки поджаривают, что несправедное дело, которое привело их сторону к успеху, долго не устоит и они не могут этого не чувствовать.

Что касается радостной реакции зевак на расстрел «Белого дома», выражения восторга, если снаряд попадал в цель и кто-то в эти мгновения расставался с жизнью, кто-то начинал мучиться в ранах, – нет, это уже не зевачи, а действующие лица. Приходится признать, что из нашей молодежи не просто создается нечто с неясными результатами, а уже создан тип человека, совершенно новый, какого раньше и быть не могло. Тип человека безжалостного, циничного, поклоняющегося госпоже удаче, ради которой пойдет на все. Если уж Булату Окуджаве кровь сотен безо-

ружных и безвинных людей виделась спектаклем, великолепно поставленным действием, то для них тем более. На огромном уличном экране они были зрителями того, во что постоянно окунаются на экране телевизионном и что притупило и атрофировало боль, сострадание и чувство справедливости. Сюжет «постановки» был крутым, события развивались без нравственных «соплей», в действии присутствовали неожиданные повороты, положенное число жертв должно было без обмана стать жертвами, знакомая московская обстановка еще больше щекотала нервы – им это нравилось. Так их воспитали в последние семь-восемь лет телевидение, газеты, общественное мнение. Эти еще оказались в положении зрителей, причем вроде поневоле, а такие же, как они, геройски действовали – посылали снаряды, били из снайперских винтовок, орудовали дубинками. Физическое убийство сотен (а может быть, тысяч) наших братьев и сыновей, пришедших защищать законность и справедливость, стало возможным в октябрьские дни лишь потому, что еще раньше произошло моральное растрепывание и убийство миллионов.

Юрий Власов считает, что мы потеряли не одно, а, вероятно, два-три поколения молодежи. Потеряли притом в окончательном смысле, делая их врагами исторической и национальной России. Как бы хотелось, чтобы он ошибался! Я не могу с ним полностью согласиться, уповаю, без особой, впрочем, опоры, на саморегуляцию хватившего лиха народа, на чудесное спасение, которое, может быть, послано из прошлого, на нашу собственную работу, но то, что перерождение свершается быстрее, чем предполагалось, и что воспитательная мина заложена надолго, сомнений не вызывает. Порядки, заведенные ныне в России... знаете, сказать, что благоприятствуют нравственной и духовной мутации человека, значит ничего не сказать. Это просто фразы, набившие оскомину, несмотря на свой верный смысл. Кричать – тоже не докричишься. Но когда десятилетние девочки

толпами высыпали на панель, а двенадцатилетние принялись рожать, и все это считается в правилах свободного демократического государства, – да пропади оно пропадом, это государство, и мы вместе с ним, если мы позволяем себе мириться с такими порядками! Достоевский говорил только об одной слезе ребенка, которой недостойно благополучие всего мира, а тут море слез и восторг по поводу их «свободного» истечения.

В. К.: Хотелось бы услышать ваше мнение, мнение большого русского писателя, о положении, в котором оказалась Россия после октября нынешнего года.

В. Р.: Победы президента и правительства тут не было – было, напротив, жестокое поражение. Какая может быть победа в войне с собственным народом, в показательном убийстве защитников Конституции и законности! Полководческое искусство в этой войне Ерина и Грачева, так же, как искусство Суворова и Кутузова, добывавших прежде славу русского оружия, останется в веках, но только совсем в другом ряду.

Президент на то и президент, правительство на то и правительство, чтобы в междоусобных конфликтных ситуациях находить выход мирными средствами. Если бы даже противная сторона была не права. Но причина конфликта не в этом, а, как хорошо виделось невооруженным глазом, в стремлении президента к единоличной власти. Запад в лице руководителей «силовых» государств, поддержавших Ельцина, поддержал, в сущности, не столько его действия, сколько свое прежнее реноме и желание навсегда исключить Россию из числа стран, имеющих авторитетную самостоятельную политику. Общественное мнение Запада увидело в октябрьских событиях присущее России дикарство, возглавляемое в настоящее время, естественно, главой государства. Сейчас, я думаю, в лагере «победителей» довольно интересная ситуация. Связанная одной кровью президентская команда как никогда, казалось бы, должна быть пле-

чом к плечу. Но это только на слишком доверчивый взгляд. Хотя в нашей стране позволено все, но народное мнение все еще существует, и с кровью оно не согласится, сколько бы телевидение ни убеждало, что это кровь нечестивых. Едва ли стоит сомневаться, что частью экранные, частью закулисные лица ведут теперь хитроумные расчеты, как и когда сделать из президента козла отпущения. Другого выхода, если они собираются играть прежнюю роль, у них нет. Или диктатура, при которой и им по закону всякой диктатуры не сносить голов, или это. Но для этого нужна подходящая кандидатура, чтобы при ней волки по-прежнему оставались волками, а овцы овцами, то есть богатые при своих интересах, а бедные при своих.

Выборы, по замыслу, скорей всего и должны были представить наследника престола. Он, бесспорно, пришел, но... с конфузом для своей партии. В выборы вмешались октябрьские события. О, они еще долго будут вмешиваться в нашу политическую жизнь! Жириновский ни от кого не увел голоса (разве что самое незначительное число у правительственных партий), но своими зажигательными речами он привел на избирательные участки тех, кто не собирался туда идти, справедливо видя в себе материал для политических игр. Правительственный радикализм (если этим термином можно заменить жестокость так называемых реформ и жестокость нравов) заставил голосовавших за Жириновского выбрать самую радикальную из представленных предвыборных программ. Этим прежде всего нужно объяснять успех Жириновского, а не искать сдуру в народах России фашистское сознание, что оскорбительно, во-первых, для народов, а во-вторых, уж очень явно выдает в любителях подобных умозаключений породу бешеных, общение с которыми опасно даже через телевизор.

Нет, с Россией прощаться рано. Помню, несколько месяцев назад, еще до ельцинского октября, Владимир Максимов, замечательный русский писатель и здравомыслящий

человек, вынужденный двадцать лет жить в Париже, воскликнул в последнем отчаянии от происходящего у нас, что ему ничего не остается, как попрощаться с Россией, ибо новые правители ее погубили окончательно. Но ведь и Максимилиан Волошин в 1918 году с не меньшим отчаянием произнес знаменитое «с Россией кончено...». А она выжила. Не может быть, чтобы не выжила и теперь. Насколько боются ее, начинающую пока полубессознательно стряхивать с себя оцепенение и дурман, я увидел (все мы увидели) на недавнем празднике встречи «нового политического года» в Кремле, когда стали поступать результаты голосования из восточных районов и торжество, с самого начала напоминавшее шабаш гоголевских персонажей на Лысой горе, превратилось в позор с паническими и злыми выкриками.

В. К.: Следующий мой вопрос такой: вы в свое время когда-то, еще будучи народным депутатом СССР, помните, предлагали, чтобы Россия вышла из состава Союза. А как теперь относитесь к распаду великой державы, к беловежскому акту и его последствиям?

В. Р.: Мои слова тогда были не совсем верно поняты. Вернее, остались в памяти одним только этим заявлением, а ведь за ним следовало предостережение: не дай Бог доводить дело до полного разрыва. Мои слова о выходе прозвучали после того, как буквально две недели подряд раздавались угрозы из Закавказья, Прибалтики, Молдавии освободиться от союзного ярма, причем с поношениями в адрес русского народа, который, можно было понять, всех объедает за общим союзным столом и жирует не по трудам. Тогда я и поднялся: зачем же пугать-то? И Россия может выйти из Союза. Выйдет и не пропадет. Не забывайте, что 70 миллиардов российских средств ежегодно перекачивалось в бюджеты союзных республик, что грабили в первую очередь русского человека.

В. К.: 70 миллиардов рублей отдавала Россия другим республикам, да?

В. Р.: Да. Из своего бюджета Россия передавала в бюджеты союзных республик, а в то время это были огромные деньги. Можно было и дороги построить, и жилье, и хлебное поле обиходить. Да и теперь Россия передает в страны СНГ 17 миллиардов долларов. Тогда – во имя братской дружбы, теперь – во имя добрососедских отношений. А дойная корова все та же – Россия. В чем, спрашивается, выгадали?

Нет, не разваливать надо было Союз по планам американских специалистов-советологов, с голоса которых действовали отечественные расчленители, заходясь в требовательной истерике, а держаться вместе. Отпустив на волю вольную, разумеется, тех, кто свою совместную жизнь с Россией считал невозможной. Но и здесь прислушиваясь к мнению народному, а не к мнению национал-расплевательства. Держаться вместе до тех пор, пока произойдет общественное отрезвление, поскольку в горячке да во взаимных обличениях разумного решения быть не может. А там – как будет соизволение Божье и народное. Но именно отрезвления-то и боялись. Вообще вся перестройка, перекройка, перетряска творились в невероятной спешке, горячке, в возбуждении и опьянении, в мстительной запальчивости и угаре, как будто дело касалось не великого государства, имеющего тысячелетнюю историю, а умыкнутого с чужого веза достояния. В том, как происходил раздел, было что-то разбойничье, воровское, неприличное – скорей, скорей, чтобы не спохватились и не вернулись к месту преступления. Когда-нибудь историки постараются разгадать этот удивительный феномен: как мелкие жулики с легкостью провели мирового масштаба сделку, превратив нас всех в жертвы своих политических манипуляций.

Что выиграла от раздела Россия? Потеряла свои исторические земли, оставила «за границей» как заложников десятки миллионов русских, обратила дружеские чувства в ненависть к себе, разбила великое множество судеб и

вдобавок еще выплачивает контрибуции, как потерпевшая поражение в войне.

В. К.: А вот как вы считаете, что нашему обществу надо делать теперь? Известно, Солженицын предложил свой проект «Как нам обустроить Россию». Понимаю, обустройство государства – дело в первую очередь не писателей, а политиков, но все-таки каковы ваши мысли на этот счет?

В. Р.: Прежде всего не допустить дальнейшего развала России. Как это сделать с теперешним правительством, способным на любой ферт, я, право, не знаю. Пока не будет правительства, защищающего национальные интересы России, надежды невелики. Пока не придут к власти государственники, подобные Столыпину и Витте, и приоритеты собственного народа не возобладают над приоритетами чужих корыстных замыслов, ничего хорошего ждать нельзя.

Это начало начал – власть национального доверия. Россия, свалившись в заготовленную для нее яму, ушиблась жестоко, переломала кости, в ее теле травма на травме, но – не убилась, поднять ее можно. Антинародная политика властей привела к тому, что не только стали растаскивать государственные богатства, но и принялись уходить из государства люди, притом в массовом порядке. Я имею в виду не эмиграцию в Америку или Израиль, а устранение от своих обязанностей по отношению к государству, то есть эмиграцию внутреннюю. В избирательных списках эти люди присутствуют, но из агонизирующего государственного организма они вышли и живут только своими интересами, занятые собственным спасением. Это граждане автономного существования, сбитые в небольшие группы, сами себя защищающие, сами себя поддерживающие материально и духовно. Это как старообрядцы в прежние времена, не желающие мириться с чужebesием нового образа жизни. Если бы удалось вернуть их на государственную службу, а для этого надо, чтобы власть признала и сказала им, что России без них нет, когда они убе-

дятся, что положение меняется и государством управляют патриоты, то не смогут не влиться в самую деятельную и здоровую силу. Народ силен подъемным, восходительным настроением, появившейся перед ним благородной целью. В России больше 80 процентов русских, надо, не боясь национализма, обратиться к их национальному чувству. От национализма культурного, озабоченного воспитанием народа в лучших (в лучших!) национальных традициях, никому опасности быть не может. Напротив, это – сдерживающее начало от агрессивности, которая сейчас, к несчастью, поразила весь мир. Что плохого, если мы учим: нельзя мне поступать дурно, ибо я русский.

В. К.: В этом ваш национализм?

В. Р.: Именно. В конечной цели. Подменять национальную идею фашизмом, как это делается сплошь и рядом, могут лишь люди злонамеренные, заинтересованные в окончательной гибели России. Народная идеология не может быть фашистской, тут сознательное передергивание карт, и далеко не безобидное для народа. Надо ли о нем, о народе, заботиться, опускаться даже до ложных поклонов перед ним, если он, за исключением небольшого просвещенного меньшинства, фашиствующий? Шкуру с него вон! Но знают ли господа, заправляющие политической кухней, насколько опасно блюдо, изготовлением которого они постоянно заняты, – национальное унижение?

В. К.: Да, вот и в первом же номере «Московского комсомольца», вышедшем после выборов, читаю опять некоего Михаила Гуревича: «А чему вы удивляетесь? Что какая-то часть русского народа купилась на невыполнимые обещания, на популизм чистейшей воды? Ну а чего же вы ждали от народа, издавна развращенного то татарским игом, то крепостным правом, то большевистской уравниловкой? От людей, давно разучившихся работать...»

В. Р.: Да, знакомая песня... На галеры его, этот народ, если он перестает плясать под дудку политической

режиссуры, если он, такой-рассякой, не понимает, для чего он существует! А потом и совсем от него избавиться. Методы массовой стерилизации, или как это еще называется, есть, история ими полна. А в Россию на его место «цивилизованный» народ из Европы, Турции, Китая, Кореи. Хватит дикость разводить! У Достоевского есть как нельзя лучше подходящие нашему моменту слова: «Как же быть? Стать русским во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским – значит перестать презирать народ свой... Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими собой, мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний».

Фактор национальной униженности уже сыграл свою роль на выборах. Пока в пользу Жириновского, который сумел использовать этот козырь. Национальная униженность – это ведь не только предательство национальных интересов в политике и экономике и не только поношение русского имени с экранов телевидения и со страниц журналов и газет, но и вся обстановка, в том числе бытовая, в которой властвует, с одной стороны, презрение, с другой, уже с нашей, – забвение. Это и издевательство над народными обычаями, и осквернение святынь, и чужие фасоны ума и одежды, и вывески, объявления на чужом языке, и вытеснение отечественного искусства западным ширпотребом самого низкого пошиба, и оголтелая (вот уж к месту слово!) порнография, и чужие нравы, чужие манеры, чужие подметки – все чужое, будто ничего у нас своего не было. Я недавно чуть не расплакался, посмотрев в Театре имени М. Ермоловой «Бедность не порок» в постановке Владимира Андреева. Как «за границей»: русский дух, русская речь, русский взгляд на русского драматурга, прекрасная игра актеров – это было чудо! А много ли в Москве таких театров? Еще Малый, МХАТ

Татьяны Дорониной – и обчелся. Провинция, как правило, смотрит на Москву.

В. К.: Может, связан с этим вопросом и другой. Вот недавно Григорий Бакланов, выступая по телевидению, сказал буквально так: Валентин Распутин связался с самыми темными силами. Как вы относитесь к подобным обвинениям в ваш адрес, которые раздаются довольно часто?

В. Р.: Надо полагать, тем самым Григорий Бакланов связал себя со светлыми силами. Но отчего ж тогда от этого «света» так гадко, мрачно, грязно и отвратительно, голодно и холодно вокруг? Отчего даже сами «светоносцы» бегут от созданного ими сияния куда подальше? Может быть, это объяснит Григорий Бакланов? Я, в отличие от него, окраску не менял и сегодня говорю то же, что говорил всегда, только более откровенно. В свое время мы с ним вместе добивались этой откровенности, но, как выясняется, с разными целями. Дело, разумеется, не во мне лично, а в дискредитации имен, не пошедших на поводу у заводил нового порядка, при котором требовалось стать предателями по отношению к своим предкам, отдать за мелкую монету все, что они создавали и ценили веками.

Я не могу, не умею быть нетерпимым к любому национальному чувству, если оно не диктует себя всем, так почему же считается преступлением мое национальное и патриотическое чувство? Господь, создавая народы, каждому вручил свой голос, свое лицо и обряд – так и давайте, не мешая, а только обогащая друг друга, пользоваться ими во имя исполнения данных нам заветов.

В. К.: Задам вопрос, может быть, нарочито примитивный и прямолинейный на первый взгляд: а зачем нужен патриотизм? Многие ведь считают, что такого чувства просто не должно быть, или ставят знак равенства между патриотизмом и фашизмом. Смысловое понятие фашизма сейчас вообще, по-моему, размыто. Называют фашистами и патриотов, и людей, просто говорящих что-то о национальных интересах...

В. Р.: Зачем патриотизм? А зачем любовь к матери, святое на всю жизнь к ней чувство? Она тебя родила, поставила на ноги, пустила в жизнь – ну и достаточно с нее, дальше каждый сам по себе. На благословенном Западе почти так и делается, оставляя во взрослости вместо чувства кое-какие обязанности.

Любовь к Родине – то же, что чувство к матери, вечная благодарность ей и вечная тяга к самому близкому существу на свете. Родина дала нам все, что мы имеем, каждую клеточку нашего тела, каждую родинку и каждый изгиб мысли. Мне не однажды приходилось говорить о патриотизме, поэтому повторяться не стану. Напомню лишь, что патриотизм – это не только постоянное ощущение неизбывной и кровной связи со своей землей, но прежде всего долг перед нею, рвание за ее духовное, моральное и физическое благополучие, сверение, как сверяют часы, своего сердца с ее страданиями и радостями. Человек в Родине – словно в огромной семейной раме, где предки взыскают за жизнь и поступки потомков и где крупно начертаны заповеди рода. Без Родины он – духовный оборвыш, любым ветром может его подхватить и понести в любую сторону. Вот почему безродство старается весь мир сделать подобным себе, чтобы им легче было управлять с помощью денег, оружия и лжи. Знаете, больше скажу: человек, имеющий в сердце своем Родину, не запутается, не опустится, не озверевает, ибо она найдет способ, как наставить на путь истинный и помочь. Она и силу, и веру даст.

Кто же в таком случае ненавистники патриотизма? Или те, кто не признает никакого другого рода, кроме своего, или легионеры нового мирового порядка – порядка обезличивания человека и унификации всего и вся, а для этих целей патриотизм, конечно же, помеха.

Мы, к сожалению, неверно понимаем воспитание патриотизма, принимая его иной раз за идеологическую приставку. От речей на политическом митинге, даже самых

правильных, это чувство не может быть прочным, а вот от народной песни, от Пушкина и Тютчева, Достоевского и Шмелева и в засушенной душе способны появиться благодатно-благодарные ростки. Меня обрадовало предложение русского певца из Австралии Александра Шахматова сделать 1994 год Годом русской культуры и духовности, проведя массовые праздники духовности во всех крупных и не только крупных городах. Когда разойдется и разрастется свое, святое, ему легче будет противостоять грязи и сраму, которые обрушились на народ. Бесы делают свое дело, а мы будем делать свое – на том уровне, где живет народная душа.

В. К.: Валентин Григорьевич, очень большая тема – «Искусство и политика», «Искусство и власть». В свое время, как известно, вы были депутатом союзного уровня, и Горбачев даже пытался вас приблизить к себе, брал в зарубежные поездки. Между тем у известного критика Владимира Лакшина есть такие слова: «Искусство в точном смысле слова гибнет и вянет, когда политика прижимает его к груди». Что вы думаете по этому поводу?

В. Р.: С Лакшиным надо согласиться, конечно. Тут есть правда. Вообще искусству полезно испытывать некое сопротивление, и не только художественное. Я говорю не о цензуре, которая, как утюг, выглаживает все социальные морщинки, но обстановка, развивающая мускулы, действует, как это ни парадоксально, вдохновляюще. Не даете сказать, а вот скажу, несмотря на все ваши предписания, и скажу так, что читатель увидит больше, чем есть в словах.

Депутатскую службу я действительно прошел. Без предвыборной кампании, попал в квоту, которая отпускалась тогда для творческих союзов, и, скрепя перо и сердце, подчинился результатам голосования на писательском съезде. Затем Горбачев предложил войти в его Президентский совет. Обстановка была роковая – кто кого, и я в конце концов согласился, рассчитывая, что, быть может, и от моего

голоса что-то будет зависеть. Нет, это «хождение во власть» оказалось почти безрезультатным, политика делалась там не списочными, а тайными советниками, я убедился в этом очень скоро. Впрочем, и сам Президентский совет не задержался, и я воспринял это с облегчением.

И все же я не жалею, что заглянул туда, куда удается заглянуть не всем. Пригодится. И уже не однажды пригодились, когда удавалось угадывать события, которые, казалось, ничто не предвещало. Не могу похвалиться особым чутьем, но кой-какой нюх появился. Быть может, именно потому, что политика – действительно дело грязное, а у меня к такого рода цвету чувствительность повышенная. И посмотрите на нынешних придворных писателей. Можно даже не заглядывать в август 1991 года, когда наперегонки, закладывая своих недавних товарищей, они бежали раскланиваться перед новым хозяином. Достаточно сентября–октября. Виктор Розов дал самый точный отзыв: такого холуяжа не бывало и во времена Сталина. Не бывало и во времена Ивана Грозного. Никогда не бывало. Это уже коллективное «произведение» демократического реализма невиданного размаха. Сначала съезжаются на дачу президента, чтобы высокоинтеллектуальным мнением уговорить его не церемониться со своими политическими противниками. Затем смотрят на дело рук своих по телевизору, наслаждаясь кровавой расправой, как детективом. Но и этой крови мало. Карать так карать! После бойни сочиняется коллективное письмо с требованием ни в коем случае не миловать оппозиционную печать и общественные партии. «Эти тупые негодяи уважают только силу!» – заявлено ими, и такой глубины и высоты слово не удавалось сказать ни Шекспиру, ни Толстому. Это уже высь поднебесная.

И не два, не три автора подписываются под «поэмой», опубликованной в газете «Известия» 5 октября под названием «Писатели требуют от правительства решитель-

ных действий», а сорок два. Сорок вторым оказался Виктор Астафьев.

В. К.: Я хотел, кстати, спросить об Астафьеве. Особо. У вас ведь с ним особые отношения, вы были очень близки. Так вот теперь, после выборов, он в «Комсомольской правде» отозвался о своем народе как... о нелюдях. Понятно, когда Новодворская называет народ чернью. А тут ведь крупный русский писатель... По-моему, даже глава правительства Черномырдин в «Труде» более достойно сказал о тех же итогах выборов: «Надо не народ обвинять, а признать собственные ошибки».

В. Р.: Да, мы с Виктором Петровичем Астафьевым принадлежали к одному литературному лагерю «деревенщиков», знаем друг друга хорошо. И все же, оказалось, не настолько хорошо, чтобы я понимал сегодняшнего Астафьева, а он, разумеется, меня. Теперешняя позиция Астафьева – его личное дело, и мне ее обсуждать не хочется. Похоже, это результат того, что не осталось у него опоры нигде – ни в душе, ни в человеке, ни в народе, ни даже в художественном слове, где мат на мате и понукает матом. Такому состоянию не позавидуешь.

В. К.: Валентин Григорьевич, а как вы смотрите на сегодняшнее состояние нашей культуры, в том числе литературы? Что выделили для себя из последних произведений российских писателей?

В. Р.: Положение культуры всюду тяжело, а в некоторых местах по России трагическое. Оставленная без государственной поддержки, брошенная в рынок, как в дерьмо, вынужденная искать любые ходы, нередко неприличные, чтобы выжить, она уже не культура в прежнем своем высоком звании, а что-то жалкое, просящее подаяния, отрывистое. Надо ли говорить, что как раз сейчас-то, когда индустрия развращения человека работает с чудовищной силой, собственная культура как раз и могла бы быть хоть каким-то слагбаумом, но уничтожают и ее. Хорошо еще,

если где, как у нас в Иркутске, повезет с администрацией, которая худо-бедно, но помогает, а то ведь нередко без обвиняков считают ее бесполезной. Посмотреть на нашу власть, она по всем статьям и приметам не собирается долго задерживаться, если совсем не заботится, какой сегодня воспитывается гражданин. Кому сейчас принадлежат театры, музеи, дворцы культуры, знаменитые оркестры, хоры, издательства, библиотеки, кто заказывает музыку, понять нельзя. Творческие союзы в агонии. Десятки тысяч писателей, актеров, художников, музыкантов, оставшись без спроса на свои таланты и не имея другой профессии, нанимаются в сторожа, дворники, высматривают спонсоров. Положение унижительной ненужности. Ирина Архипова, используя свой авторитет, создала фонд для помощи молодым исполнителям, но ведь он почти единственный и многих ли он может поддержать?! На этом мрачном небосводе даже тусклая звездочка начинает радовать. Правда, появляются они не благодаря, а вопреки «культурной» политике государства, но все-таки...

В этом году заявил о себе российский читатель, начиная возвращаться к отечественной литературе. Он, вероятней всего, и не покидал ее, но, напуганный книжным бесстыдством, стал искать чистое слово с той же потребностью, как кусок хлеба. Книгоиздатели это заметили, у них нюх на спрос особый, и... дай Бог, чтобы «процесс» и дальше пошел.

Из произведений последнего времени, точно и мастерски отобразивших нашу действительность, могу назвать повесть Владимира Крупина «Прощай, Россия, встретимся в раю» и повесть Леонида Бородина «Божеполюе». Хозяевам нынешней жизни очень рекомендую книгу Ивана Шмелева «Солнце мертвых», написанную в начале двадцатых годов. Я задержался с ее чтением, но она и выпущена у нас недавно. Рекомендую, чтобы знали, как о них отзовется Вечность.

В. К.: Раньше, Валентин Григорьевич, вы одно время довольно активно выступали с публицистикой, и даже одна из последних ваших крупных вещей, я имею в виду «Пожар», была по существу вещью публицистической. А почему в последнее время вы стали так редко выступать с публицистикой в прессе? Что, перестали верить в силу прямого вмешательства писательского слова в общественную жизнь?

В. Р.: Публицистика-то есть, но она, очевидно, расходуется по изданиям незаметно. Хотя что верно, то верно: думаю, что сегодня убеждать в своей правоте никого не надо, все разошлось по своим позициям, по своим местам, сама жизнь убеждает. Особенность нашего времени в том, что сейчас сытый голодного не просто не разумеет, а ненавидит. То же самое: неправый ненавидит правого лишь за то, что тот прав, а он с правдой не в ладу, живет и рассчитывает жить по другим законам. Правда, разумеется, всегда нужна, но она как бы и сама устает от своего многократного повторения. Поэтому иногда полезно помолчать.

В. К.: В заключение хотел бы задать вопрос традиционный: над чем вы сейчас работаете?

В. Р.: Продолжаю книгу о Сибири. Первая ее часть вышла в издательстве «Молодая гвардия» два года назад. Сейчас все усложнилось не в десять, а в тысячу раз, любая поездка превратилась в проблему (в этой работе без поездок не обойтись), но как-нибудь.... Не все разрушено, а в Сибири – тем более.

Декабрь 1993 г.

Не тот победитель?

Виктор Кожмяко: Валентин Григорьевич, решение жюри было для вас неожиданным?* Или вы внутренне были к нему готовы?

* Валентин Распутин стал абсолютным лауреатом международной литературной премии «Москва – Пенне», учрежденной в 1996 году. – *Прим. сост.*

Валентин Распутин: Неожиданным было все. И само выдвижение. (Выдвинул меня журнал «Наш современник», где напечатаны последние рассказы.) Узнав о «подаче» моей фамилии, я стал возражать, пробовал даже отозвать ее обратно, по двум причинам: малый «физический» вес предлагаемых на премию рассказов и неизвестное мне происхождение премии. Однако, когда мне разъяснили механизм ее присуждения, показавшийся чрезвычайно любопытным, махнул рукой: будь что будет. Тем более что в жюри оказались такие писатели, как Валерий Ганичев, Владимир Солоухин и Сергей Есин, которые не стали бы связываться с нечистым делом. (В состав жюри также входили Юрий Давыдов, Владимир Войнович, Евгений Сидоров – люди, настроенные далеко не в пользу Распутина. – *В. К.*)

Все остальное тоже было неожиданным. После того как жюри назвало трех лауреатов – Фазиля Искандера, Людмилу Петрушевскую и меня, наступил следующий этап присуждения. С помощью общественного жюри – четырехсот студентов и школьников старших классов – выбирали абсолютного победителя. Ребятам раздали наши тексты. Петрушевская на эту церемонию не пришла. Мы с Искандером отвечали на вопросы. Потом состоялось тайное голосование.

По его результатам я оказался впереди...

Мы склонны считать иногда, что молодежь, по крайней мере большинство ее, для России потеряна. Этот случай не может, разумеется, служить полным опровержением таких мыслей, но заставляет задуматься: а хорошо ли мы знаем свою молодежь? Это была приятная неожиданность. Уверен, что не только для меня, но и для всех размышляющих о будущем.

В. К.: Валентин Григорьевич, что сейчас происходит с нашей литературой? В каком русле протекает творческий процесс?

В. Р.: Наша литература в очень тяжелом положении. В условиях «дикого» рынка ей не выжить. Вообще вся культура государством брошена на произвол судьбы. За исключением той ее части, которая прислуживает власти...

Областные издательства по большей части погибли. Новые – коммерческие – гонятся «за конъюнктурой». Это или «постельная» литература, или литература насилия. Серьезные писатели за ненадобностью брошены. Деньги на издание книг приходится выпрашивать из милости. Издаются, как правило, юбиляры, их еще местная власть способна пожалеть. Это даже не литературный процесс. Это поминки по литературе. Немало талантливых художников прекратили писать. Выживают как могут – кто идет в топники, кто в сторожа...

У писательских организаций нет денег, чтобы заплатить за отопление, за свет, за телефон... Мы не имеем возможности встречаться в «уставные» сроки – проводить пленумы, съезды.

Если что-то здесь и удавалось, то благодаря помощи местных руководителей, как это было в прежние годы в Орле, в Якутии.

Нынче не удалось совсем.

В. К.: Если уже состоявшиеся писатели живут так трудно, то что говорить о литературной молодежи. Не прервется ли здесь связь поколений?

В. Р.: Как ни странно, смена есть. Новый приток идет. В этом году Союз писателей России проводил во Владимире семинар. Я, правда, там не был, но знаю – на удивление много талантливых ребят участвовало в семинаре. Понимающих, что их ждет. Ведь для всех премий не создашь... Сознających, для какой службы существует литература.

Конечно, срочно нужна государственная политика спасения литературы и культуры в целом. А в программе министерства, довольно объемистой, кажется, решено спасать только цирк. О литературе министр, кстати, литератор, «забыл».

В. К.: Валентин Григорьевич, что подсказывает ваше писательское чутье по поводу будущего России? К чему готовиться?..

В. Р.: Предыдущие события угадывались легко. Они еще были в пределах жизни. Сейчас происходит заколачивание России в гроб.

Она унижена и ободрана до последней степени. С народом уже не заигрывают, получив от него все, что нужно, отказываются его даже и кормить. Сравните обещания президента накануне выборов и во что они превратились после. Нашему народу придется отмаливать не только убийство царской семьи в 1918-м, но и переизбрание Ельцина в 1996-м. Если первый грех как грех народный еще сомнителен, то второй – нет. Получайте теперь в качестве одного из «отцов народа» Березовского. Проглотили – скоро вернется Гайдар. Затем Бурбулис, Козырев и иже с ними.

У меня впечатление, что народ сейчас откровенно вызывают на кровь. И приготовились к «умиротворению». Поэтому стихийные, «кипящие» выступления опасны, нужен всеобщий и организованный протест.

Говорят, что зима-97 будет холодной. Скорее всего – это будет горячая зима...

Кажется, нет никаких оснований для веры, но я верю, что Запад Россию не получит. Всех патриотов в гроб не загнать, их становится все больше. А если бы и загнали – гробы поднялись бы стоймя и двинулись на защиту своей земли. Такого еще не бывало, но может быть.

Я верю – мы останемся самостоятельной страной, независимой, живущей своими порядками, которым тыща лет. Однако легкой жизни у России не будет никогда. Наши богатства – слишком лакомый кусок...

В. К.: Вы являетесь членом Координационного совета НПСПР. Каковы, по-вашему, перспективы этого движения?

В. Р.: Другой позитивной силы нет. Правда, объединяться надо было значительно раньше. Тогда бы мы не

оказались в таком тяжелом положении. К сожалению, патриоты долго выясняли, кто из них главнее. Нужно прежде всего спасти Россию, а потом разбираться в чистоте идей и помыслов. Слава Богу, сейчас это стали понимать. Приходится соглашаться: пока доберешься до русской соборности, надо перейти через тысячу вздорностей. Но уж если миновали их (а кажется – миновали), то теперь нет другого выхода, как держаться вместе до конца.

В. К.: Валентин Григорьевич, не так давно при президенте создан новый орган – Совет по культуре, куда вошли многие «уважаемые люди» типа Марка Захарова...

В. Р.: Других и представить там нельзя. Это люди, которые подписали в свое время обращение к президенту, чтобы он расправился с оппозицией. Те, кто кричал: «Раздави гадину!» У президента других людей быть не может. Ждать от этого Совета помощи не приходится. Наоборот. Совет, в котором участвуют русофобы...

Культура, к которой благоволит сейчас власть, – это заемная, безнравственная, безнациональная развлекаловка, бесконечное и бесстыдное шоу во время чумы. Это с одной стороны. А с другой – издевательство, издевательство, издевательство над всем, что делает русского русским, что человека делает человеком.

В. К.: В небольшом интервью обо всем не поговоришь. Завершая беседу, что вы можете сказать о главном – о Родине?

В. Р.: Родина – это прежде всего духовная земля, в которой соединяются прошлое и будущее твоего народа, а уж потом «территория». Слишком многое в этом звуке!.. Есть у человека Родина – он любит и защищает все доброе и слабое на свете, нет – все ненавидит и все готов разрушить. Это нравственная и духовная скрепляющая, смысл жизни, от рождения и до смерти согревающее нас тепло. Я верю: и там, за порогом жизни, согревающее – живем же мы в своих детях и внуках бесконечно. Бесконечно, пока

есть Родина. Вне ее эта связь прерывается, память слабеет, родство теряется.

Для меня Родина – это прежде всего Ангара, Иркутск, Байкал. Но это и Москва, которую никому отдавать нельзя. Москва собирала Россию. Нельзя представить Родину без Троице-Сергиевой Лавры, Оптиной Пустыни, Валаама, без Поля Куликова и Бородинского Поля, без многочисленных полей Великой Отечественной...

Родина больше нас. Сильней нас. Добрей нас. Сегодня ее судьба вручена нам – будем же ее достойны.

Ноябрь 1996 г.

«Всю жизнь я писал любовь к России»

Виктор Кожмяко: Примите, Валентин Григорьевич, самые искренние поздравления с 60-летием. И простите, пожалуйста, что опять как бы пытаюсь вторгнуться в ваш внутренний мир: такая уж должность журналистская. Но ведь в самом деле, думаю, многим интересно то, о чем я хочу вас спросить. Прежде всего – с каким настроением встречает писатель Распутин свой юбилей?

Валентин Распутин: С настроением, соответствующим 60 годам. Много, но делать нечего, будет еще больше. Одно утешает: через десять лет, если удастся их прожить, я стану вспоминать эту пору как молодецкую, подобную тому, как теперь вспоминаю свои пятьдесят. Того молодого человека, который когда-то с ужасом представлял себя сорокалетним, я уже не понимаю. Теперь я знаю, что наша профессия заставляет тратить во много раз больше психической энергии, чем человека любых других занятий, кроме, может быть, наших собратьев по искусству, поэтому если писателю дается возможность жить дольше, чем Шукшину, Вампилову, Рубцову, так это для того, чтобы он успел завершить свое незаконченное дело.

В. К.: Такая дата, как 60-летие, предполагает взгляд на прожитое и сделанное. Скажите, хотя бы коротко, что вы думаете в связи с этим?

В. Р.: Сделано, если говорить о книгах, мало. Но это, во-первых, зависит от индивидуальных возможностей, я всегда работал медленно и по многу раз переписывал свои вещи. Сюда же нужно добавить еще и то, что я не умею писать по первому позыву (имею в виду замысел, начало работы) и жду «зачатия», какого-то нетерпеливого толчкового ощущения, требующего выхода наружу. И, во-вторых, я слишком много времени отдал так называемой общественной работе. Охрана памятников истории и культуры, Байкал, борьба против поворота северных и сибирских рек, борьба, борьба, борьба... Многое из этого было необходимо, потому что речь шла о России, но вдесятеро больше пристегивалось к главному второстепенного, наваливалось только потому, что ты показал себя ломовой лошадкой.

Впрочем, это не только моя судьба, но и многих моих товарищей по литературе. Таково в России отношение к писателю. Стал известным, заметным – послужи-ка для дела мирского, будь ходатаем за правду. Во мнении народном это считалось второй необходимой обязанностью писателя. Литература у нас невольно рассматривалась в двух ипостасях – заявление своих гражданских и нравственных принципов в книгах и последующая активная защита этих принципов в жизни.

Одним я могу быть удовлетворен, оглядываясь на свой литературный путь: всю жизнь я писал любовь к России.

В. К.: Мне интересно вот что: считаете ли вы себя советским писателем? Все-таки основная часть вашего творчества приходится на советские годы. Как относитесь к понятию «советская литература» и как эту литературу оцениваете? В моем представлении, скажем, Шолохов и Леонов – писатели не только русские, но и советские.

В. Р.: Я понимаю себя и всегда понимал все-таки как писателя русского. Советское имеет две характеристики – идеологическую и историческую. Была петровская эпоха, была николаевская, и люди, жившие в них, естественно, были представителями этих эпох. Никому из них и в голову не могло прийти отказываться от своей эпохи. Точно так же и мы, жившие и творившие в советское время, считались писателями советского периода. Но идеологически русский писатель, как правило, стоял на позиции возвращения национальной и исторической России, если уж он совсем не был зашорен партийно.

Литература в советское время, думаю, без всякого преувеличения могла считаться лучшей в мире. Но она потому и была лучшей, что для преодоления идеологического теснения ей приходилось предъясвлять всю художественную мощь вместе с духоподъемной силой возрождающегося национального бытия. Литературе, как и всякой жизненной силе, чтобы быть яркой, мускулистой, требуется сопротивление материала. Это не обязательно цензура (хотя я всегда был за нравственную цензуру или за нравственную полицию – как угодно ее называйте); это могут быть и скрыто противостоящие механизмы, вроде общественного мнения. К примеру, нынешнего, которое вора и проститутку считает самыми уважаемыми людьми и предателю воздаст почести.

Кстати, советская цензура сделала Александра Солженицына мировой величиной, а теперешнее «демократическое» мнение, укорачивая Солженицына, сделало его, что еще важнее, величиной национальной.

В. К.: А сегодняшнее мировосприятие русского писателя и гражданина России Валентина Распутина? Что в нем преобладает?

В. Р.: Преобладает то же, что и у большинства из нас, – боль за Россию, чувство омерзения к тем, кто под видом демократии завел в ней разбойные и бесстыднейшие по-

рядки. Наша патриотическая оппозиция время от времени предлагает теньевые кабинеты правительства – пора, я думаю, открыто назвать тех, кто в ближайшем будущем должен пойти под трибунал за тягчайшие преступления перед Россией и ее народом. «Никто не забыт, ничто не забыто» – лозунг этот должен приобрести новый и взыскательный смысл, смысл справедливого возмездия. Хватит послушно и безвольно идти под уничтожение.

В. К.: Отношения с читателем. Как их вы ощущаете сегодня? Что вообще могли бы сказать, исходя из ваших наблюдений, об отношениях читателей и литературы в сложившемся у нас сегодня обществе?

В. Р.: Надо, вероятно, сразу оговориться, что мы имеем в виду не того читателя, который питается нечистотами, – там ничего, никаких отношений с кем-либо, кроме физиологических испражнений, ждаться не приходится. Мы говорим о читателе здоровых правил и здорового вкуса. О том, кто по-прежнему относится к литературе как к пище ума и сердца.

Да, читать стали намного меньше. Как-то вдруг, после взрыва читательского интереса в конце 80-х. И это «вдруг», этот сверхбыстрый и глубокий сброс интереса к книге говорит о неестественности этого явления, о каком-то словно бы испуге перед книгой. Именно испуг перед книгой и нужно считать одной из причин резкого падения числа читателей. Главная причина здесь, конечно, – обнищание читающей России, неспособность купить книгу и подписаться на журнал. Вторая причина – общее состояние угнетенности от извержения «отравляющих веществ» под видом новых ценностей, состояние, при котором о чем-либо еще, кроме спасения, думать трудно. И третья причина – что предлагает книжный рынок. Не всякий читатель искушен в писательских именах. А если даже искушен, – возьмет новую книгу любимого В. Астафьева, а там матерщина, чувство брезгливости к человеку, которого судьба занесла в комму-

низм... Возьмет произведение автора с громкой фамилией Суворов, а в нем откровения о том, что не Гитлер напал на нашу страну в 1941-м, а мы вероломно напали на Германию. «Демократическая» критика уши прожужжала В. Ерофеевым, его «Русской красавицей» – и вот она перед читателем: ведь это же надо мужество иметь, чтобы не только читать, но и держать в доме подобное произведение. У читателя невольно складывается впечатление, что вся или почти вся литература ныне такова и лучше с нею не зняться.

Он идет в библиотеку... В любой библиотеке вам скажут, что читают по-прежнему немало. Меньше, чем десять лет назад, однако читать не перестали. Но все поступления последних лет – «смердяковщина», американская и отечественная, и для детей – американские комиксы. Из литературных журналов прислужливые «Знамя», «Новый мир», «Нева», «Звезда» – те, что распространяет американский фонд Сороса.

И читатель правильно делает, когда от греха подальше он обращается к классике.

А нас читать снова станут лишь тогда, когда мы предложим книги такой любви и спасительной веры в Россию, что их нельзя будет не читать.

В. К.: А есть ли у нас сегодня, на ваш взгляд, литературная критика?

В. Р.: Есть критики – и Валентин Курбатов, и Владимир Бондаренко, и Лев Аннинский, и другие. Они ведут в журналах и газетах критические дневники и обзоры, откликаются на книги, на явления литературной жизни, дают портреты писателей. Но нет критики, которая влияла бы на общественный вкус, была эхом народного мнения. Нет критики, способной идти впереди литературы и влиять на ее ход. Но такой критики сейчас, при хаотической разнонаправленности литературы, вероятно, и быть не может.

В. К.: За последние годы телевидение и пресса определенного толка очень старались, да и стараются до сих пор,

причинить Распутину побольше боли. Удалось ли вам выработать хоть какой-то иммунитет против этого?

В. Р.: Мне пришлось отрастить толстую кожу, и я давно отношусь к этому как к неизбежным эпизодам нашей необычайно занимательной жизни. «Не нравится дурным – для человека похвально», – говорил мудрый Сенека. А с чего бы я стал нравиться убийцам нашей культуры, нравственности, государства? Мы разной породы.

В. К.: Что вы думаете о небывало масштабной и интенсивной продолжающейся кампании по уничтожению отечественной культуры? Удастся ли в конце концов ее остановить? И насколько необратимы результаты?

В. Р.: Если власть бросила на произвол судьбы армию, оборонку, науку, на чужой манер проводит реформу образования, на что тут рассчитывать отечественной культуре?! У нас благополучествует только одна «культура» – «культура» Васильевского спуска, холуйствующая перед властью.

Все остальное постепенно вымарывается нищетой и порядками, напоминающими оккупационные. Бедствуют Ясная Поляна и Михайловское, Тарханы и Спасское-Лутовиново, все провинциальные театры и музеи, библиотеки и клубы. Знаменитую Некрасовскую библиотеку в Москве на Бронной гонят прочь, чтобы занять ее помещение под ночной клуб. Культура наша, наполовину погубленная, настолько в тяжком положении, что любых слов уже недостаточно, чтобы оплакать ее. А министр культуры больше всего занят сейчас тем, как вернуть Германии трофейные ценности, рассчитывая, вероятно, на титул очередного «лучшего немца» или хотя бы «немца года».

Восполнимы ли эти утраты? Конечно, невозможны. Но Россия богата и культурой своей, и, если бы удалось вернуть ее к нормальной жизни, она бы еще и запела, и заплясала, и выставила бы свои сокровища не на аукционы, а для духовного обогащения народа.

Хотелось бы еще напомнить, что самая долгая и беспристрастная память даже не у истории (историю можно подправлять и переписывать), а у культуры. О нашем окаянном времени ей будет что передать потомкам. Петр Первый, под которого подравнивается наш президент, в истории высится как преобразователь России, окно в Европу прорубил, а в сказаньях народных он – Антихрист, ломавший безжалостно и веру, и обычаи, и порядки. И еще триста лет пройдет – Антихристом и останется. Но как бы то ни было, а Антихрист – фигура серьезная. А о шутах гороховых и слава будет незамысловатей.

В. К.: Есть ли хоть что-то отрадное для вас в нынешней литературной нашей жизни?

В. Р.: Да, есть, об этом можно говорить определенно. Писатели, или сбросив оцепенение после подлого захвата России, или оставив политическую стезю, возвращаются к перу, все больше появляется издательств при местных писательских организациях и все живее и обнадеживающее жизнь в провинции; число литературных премий отечественного происхождения и всероссийского звучания перевалило далеко за дюжину. Среди них такие заметные, как Бунинская в Орле, Есенинская в Рязани, Аксаковская в Уфе.

Союз писателей России продолжает проводить совещания молодых литераторов; последнее из них, во Владимире в прошлом году, показало еще раз, что талантами Россия не оскудела. Притом в литературу идут, прекрасно зная, что писанием в наше время не проживешь, видя в литературе поприще для духовного жертвенного служения Отечеству.

И еще одно доказательство того, что русская словесность на подъеме, – положение литературных журналов. Положение не блестящее, но впервые за последние годы подписка на журналы «Наш современник» и «Москва» не упала. И редакционные портфели с рукописями там и там становятся все толще.

Не последнее дело – и общее настроение в нашем литературном кругу. А оно такое: не похороните!

В. К.: Помнится, нашу беседу в конце 1993 года вы озаглавили: «Нет, не кончено с Россией...». Минувшие три года прибавили вам в этом смысле оптимизма или, наоборот, пессимизма?

В. Р.: Казалось бы, никаких оснований для оптимизма нет, положение в стране все хуже, вокруг трона не убавляется число бесов, продолжающих «реформы». Минувший год, к позору России, добавился еще двумя постыднейшими событиями – капитуляцией перед Чечней и участием американских советников в предвыборной кампании президента. А впереди готовится новое грандиозное надругательство – второй поход А. Лебеда на Кремль. Запад бравому генералу устроил смотрины, и Западу Лебедь понравился. Вполне возможно, что в Вашингтоне уже теперь подбирается новая группа специалистов по одурачиванию российского избирателя.

Да, оснований для оптимизма мало, и все же я продолжаю верить в Россию еще больше, чем три года назад, которые миновали после нашего с вами разговора. Эти три года даром не прошли. Богатые стали еще богаче, бедные еще беднее; ныне противопоставляются друг другу не только разные слои населения, но и территории: Москва, Петербург, забитые криминальным капиталом, живут за счет ограбления сырьевых земель и дальнейшего обнищания несырьевых. Крайняя Россия поумнела, губернские выборы подтверждают это. Хитроумной чехардой в правительстве пыль в глаза не пустить. Ненависть к президентским фаворитам типа Чубайса достигла последней степени, их неуклюжие попытки сменить плутовскую личину на патриотическую никого обмануть не могут. Государственная административная машина, громоздкая, неуклюжая и алчная, качается под ветрами одинокой конструкцией, вокруг которой России нет, она ушла в свою жизнь.

Конечно, это положение еще не самое боевое, но нельзя не видеть, что власть вместе с ее «реформами» Россия не приемлет совершенно откровенно.

В. К.: А что из своих конкретных впечатлений последнего времени, во глубине России и в столице, назвали бы наиболее обнадеживающим и что особенно огорчило вас?

В. Р.: Сначала два впечатления из ряда, так сказать, «дубиной по голове». Первое. В моей родной деревне Аталанка в Иркутской области год назад сгорела школа. Никто, разумеется, и пальцем не пошевелил, чтобы строить новую. Школьников перевели в помещение детсада – тесное, неприспособленное. Выпускной класс, восьмой, занимается в туалетной комнате.

Второе. Известный и горячий патриот, председатель думского Комитета по культуре Станислав Говорухин геркулесовыми усилиями – к великой радости «демократов» – протащил в Думе в первом чтении закон об ограничении оборота сексуальной продукции в России. «Ограничение оборота» – это дымовая завеса, в действительности же это легализация и полное узаконивание разврата. Мы-то с вами, дорогие читатели, по наивности считали, что в скором времени с нравственным геноцидом нашего народа будет покончено, а выясняется, что и в Думе есть патриоты, которые наравне с демократами торопятся индустрии секса придать непреложный и окончательный характер.

Чтобы не было сомнений в искренности этих усилий С. Говорухина, приведу его слова на пресс-конференции после «сексуального» события:

«Может быть, попробовать поступить, как цивилизованный мир? Америка гораздо более нравственная страна. Не надо говорить: русский народ – особый народ. Никакой он не особый, а может быть, и хуже всех остальных. Рабский народ. Никакой бы немец... не выдержал того, что выдерживает русский народ... Ничего, попробуем поучиться

у цивилизованного мира. Весь мир цивилизованный более нравственный, чем мы».

Рабскому народу, стало быть, туда и дорога – в грязь, в бесстыдство, в разврат.

Из впечатлений обнадеживающих и радостных: молодая Россия не выбирает ни пепси, ни американскую культуру, ни чужую мораль. Мне пришлось убедиться в этом за последнее время и в Москве, и в Иркутске. Мое убеждение, разумеется, имеет оговорки, и даже серьезные, но в сути своей, я уверен, оно правильное.

В. К.: Неизбежный вопрос: над чем сейчас работаете?

В. Р.: Работаю над рассказами. Новые мои рассказы будут опубликованы в третьем номере журнала «Москва» и в пятом номере «Нашего современника».

Март 1997 г.

А ВЕК ДВАДЦАТЫЙ БЛИЗИТСЯ К ЗАКАТУ

**У нас – Поле Куликово,
у них – «Поле чудес»**

Виктор Кожемяко: Дорогой Валентин Григорьевич! Истекает XX столетие. В свое время, в разгар так называемой перестройки, нас, читателей ваших, буквально обжег опубликованный вами «Пожар». Очень точный возник образ всего переживавшегося нами тогда и вместе с тем – состояния души самого писателя. А есть ли у вас какой-то емкий художественный образ для выражения нынешнего состояния России? И чем стал в вашем видении XX век для нашей страны?

Валентин Распутин: Этот век явился для России веком трагическим, страшным. Никакой другой народ тех ло-

мок, потерь, напряжений, какие достались народу нашему, не выдержал бы, я уверен. Ни времена татарского ига, ни Смута XVII века ни в какое сравнение с лихолетьем России в XX веке идти не могут. Страшнее внешних ломок и утрат оказалась внутренняя переориентация человека – в вере, идеалах, нравственном и духовном прямостоянии. В прежние тяжелые времена это прямостояние не менялось. Не менялось оно и в поверженных во Второй мировой войне Германии и Японии, что значительно облегчило им возвращение в число развитых стран, а ущемленное национальное чувство – ущемленное, а не проклятое и не вытравливаемое, – стало в этих странах возбuditелем энергии.

У нас же оказались убиты не только убитые, у нас убитыми оказались живые. Я имею в виду последнее десятилетие. И имею в виду прежде всего не нищету – хотя она косит «пулеметными очередями». Но гораздо страшнее психический надлом от погружения России в противоестественные, мерзостные условия, обесценивание и обесцеливание человека, опустошение, невозможность дышать смрадным воздухом. Вымирающая Россия – отсюда, от этого выброса без спасательных средств в совершенно иную, убийственную для нормального человека атмосферу. Здесь причины эпидемии самоубийств, бездомности, кочевничества, пьянства, болезней и тихих нераскрытых смертей – от ничего, под тоскливой вой души.

Ничуть не сомневаюсь, что и это предусматривалось «реформаторами» заранее. «Инакомыслящие» пошли в оппозицию, живут в постоянном сопротивлении новому порядку вещей, «инакодушные», более чувствительные к жестким и унижительным условиям, растерянные, не видящие просвета в жизни, уходят в могилу до срока.

Что касается «знакового» художественного образа для выражения нынешнего состояния России – его литература предложить не смогла. Я думаю, потому, что реальность оказалась за гранью возможностей литературы.

Больше того – наступила эпоха за гранью жизни. Для нее есть единственный образ – Апокалипсис в Откровении Иоанна Богослова.

В. К.: Завершается не только век – завершается тысячелетие. Это было тысячелетие русской православной духовности. Близится и двухтысячелетие Рождества Христова. Такие этапные, эпохальные вехи! И невозможно не думать сегодня о судьбе православия, переживающего, на мой взгляд, тяжелейшие времена. Я говорю, конечно, в первую очередь о России. С одной стороны, казалось бы, кончился период государственного атеизма, восстанавливаются и строятся храмы, детей без всяких утеснений крестят, молодых – венчают, усопших – отпевают. А с другой...

Вы, конечно, лучше меня понимаете, чем вызваны тревоги о духовности нашей. В моем представлении она подвергнута ныне гораздо большему испытанию, нежели в период официальных гонений на Церковь. Например, когда по телевидению на всю страну из Кремлевского дворца под названием «Рождественские (!) встречи Аллы Пугачевой» передают нечто совершенно запредельное, содомское, когда эстрадная дива в препрохабнейшем виде мечется по сцене с православным крестиком (!) на груди, а под конец становится перед иконостасом (!) и опять глосит, взывая отнюдь не к лучшим струнам души человеческой, – скажите, ну что это такое?

И ведь это лишь эпизод, один эпизод из той мерзкой, грязной, непотребной каши, которая именуется массовой культурой, а подается нынче нередко (вот ужас!) под святой православной символикой. История с демонстрацией по «НТВ» кощунственного фильма «Последнее искушение Христа», по-моему, предельно ясно показало, что творится у нас сегодня в так называемой культуре и что с нами творят. А если добавить к этому воинственный вызов экуменизма, небывалый разгул всяческих сект, завлекательную для многих подмену православия суеверием во всех воз-

можных видах, то поводов серьезно озаботиться – более чем достаточно.

Да что там! Угроза с абсолютной откровенностью сформулирована одним из самых лютых ненавистников нашей страны Збигневом Бжезинским. Заявил же он без околичностей: теперь, после уничтожения коммунизма в России, главная задача состоит в том, чтобы уничтожить здесь православие. И мне кажется, понятна такая связь и такая очередность. Вроде бы одно и другое находилось в кардинальнейшем противостоянии, а на самом деле духовно скрепляло Россию: православие – тысячу лет, коммунизм – почти сто лет последних. Причем и все эти годы православие, несмотря ни на что, жило в стране, в наших людях, в том числе весьма своеобразно и в «коммунистической вере». Будет ли жить – истинно, глубоко – после всех операций, которым хитро и беспощадно подвергается в эру «демократических» реформ?

В. Р.: Да, это вопрос: что лучше для народной нравственности – атеистическое государство, предлагающее под своей вывеской евангельские заповеди, или государство неограниченных свобод, где не утесняется вера, но махровым цветом расцвело зло, направленное как против веры, так и вообще против нравственности.

Плохо, разумеется, и то, и другое. Плохо, когда дорога в храм перекрыта и верующий сразу превращается в неблагонадежного гражданина, но не лучше, когда дорога в храм изгажена «свободами», хватающими каждого идущего туда за руки и за ноги. Плохо, когда храмы взрываются и оскверняются, а верующие отлучаются от Бога; но многим ли лучше, что над открывающимися храмами вновь звучит перезвон колоколов, однако закрываются заводы и смолкают их гудки, а безработный человек, не имея средств к существованию, насильственно отлучается от жизни. Хорошо, что храмы не пустуют и все больше

людей ищет утешения в молитве; но ведь одновременно не меньше, чем храмы, заполнены церковные паперти людьми с протянутыми руками.

Уходя от богоборческой власти, Церковь невольно поддержала власть народоборческую. Церковь освобождена от теснений, но отдана на растерзание всем, кому она мешает. Так же, как кемеровских и воркутинских шахтеров, ее использовали, использовали даже и на последних президентских выборах, и такая же, как шахтеров, ждет ее «благодарность». Вы правильно говорите: «цивилизованное» западное общество объявило православию войну – и что же, в стороне останется власть, пляшущая под дудку этого общества?! Президент уже накладывал вето на закон, ограничивающий деятельность сотен различных сект и инославий, науськанных в первую очередь на нашу Церковь, он уже «рыкал», аки зверь, на Синод, который позволил себе усомниться в подлинности останков царской семьи. Сейчас Церковь еще нужна власти – для утешения несчастных и, возможно, для будущей коронации. Сейчас впереди еще закон о продаже земли. Если он будет принят, останется единственное препятствие для устранения национальной России – православие. Его постараются расколоть, растлить и обезобразить с помощью «свобод». Этим и сейчас занимаются вовсю, против него еще больше будут стянуты все воинствующие силы.

В грязном мире, который представляет из себя сегодня Россия, сохранить в чистоте и святости нашу Церковь чрезвычайно трудно. Нет такого монастыря, нет такого заповедника, где бы можно было отгородиться от «мира». Но у русского человека не остается больше другой опоры, возле которой он мог бы укрепиться духом и очиститься от скверны, кроме православия. Все остальное у него отняли или он прототал. Не дай Бог сдать это последнее. Помните у В. Шукшина: «Народ весь разобрался». Но тогда он еще

не «разобрался». У Шукшина это было предчувствие возможного, а теперь убери или даже ослабь духовную связующую силу – и все, больше связаться нечем.

В. К.: Знаете, иногда я думаю: может, мы действительно преувеличиваем наши тревоги по поводу нынешнего состояния и будущего родной страны? Может, все и не так страшно? Может, правильно обвиняют нас оппоненты в безосновательном апокалипсизме, в нагнетании страстей, сгущении черных красок? Многие ведь чувствуют себя сегодня если не вполне удовлетворительно, то достаточно уравновешенно и внутренне спокойно. К тому же смирение вроде бы и ближе православной сути, православному характеру, нежели ропот и противление...

В. Р.: Я бы и рад согласиться с мнением, что мы превратились чуть ли не в профессиональных плакальщиков, что картина современной России не столь мрачная, как нам представляется... Рад бы, но... Достаточно поглядеть вокруг.

Вот вам жизнь моей родной деревни на реке Ангаре, теперь там Братское водохранилище. Судите сами, жизнь ли это? Почти сорок лет назад моя Аталанка была перенесена из зоны водохранилища на елань, сюда же свезли еще пять соседних деревень. Вместо колхозов стал леспромхоз. В прошлом году он пал смертью храбрых на рыночном фронте.. В большом поселке не осталось ни одного рабочего места. Магазин и пекарню закрыли, школа сгорела, солярку покупать не на что, электричество взблескивало ненадолго в утренние и вечерние часы, теперь, думаю, погасло совсем. Но это еще не вся беда. Воду в «море» брать нельзя, заражено много чем, а особенно опасно – ртутью. Рыбу по этой же причине есть нельзя. Почту могут привезти раз в неделю, а могут и раз в месяц. Два года назад (в то время леспромхоз еще слабенько шевелился) мои земляки выкапывали по весне только что высаженную картошку. Что будет этой весной, что будет дальше, сказать не берусь.

И если бы в таком аховом положении была одна моя деревня... Их по Ангаре, Лене, Енисею множество. Никакого сравнения не только с войной... сравнивать не с чем.

И тем не менее петь отходную я бы не стал. Человек возвращается в жизнь и из состояния клинической смерти, то же самое чудо способно произойти и с государством. Конечно, это происходит в том случае, если всерьез берутся за его спасение, а не делают ложных движений.

В. К.: Тут возникает очень серьезный (и крайне актуальный!) вопрос. На пороге 1998 года вы пожелали «гражданам второй, патриотической России еще большего мужества в новом году в нашем общем стоянии за землю отцов и дедов, за честь и достоинство русского имени, за нравственное и духовное спасение». Но есть ли оно, «общее стояние», сегодня? Больше того, ощущает ли народ наш в массе своей, что ему нужно это стояние, это мужество, что есть необходимость бороться за что-то святое и дорогое?

Приведу выдержку из письма, опубликованного в том же номере «Советской России», что и ваше новогоднее слово. Двадцатилетняя Таня Орлова из Челябинска пишет с максимальной искренностью и прямоотой: «Где же гордость некогда могучего, сильного и непокорного народа? Я не расистка, не антисемитка, не националистка, но мне больно от того, что все кому не лень стараются пнуть, унижить, втоптать в грязь русского человека. А если задуматься: ведь мы сами позволяем над собой глумиться и издеваться. Пора же все-таки это прекращать. И мне ни капли не жаль стучащих касками голодных шахтеров и многих других, положивших на блюдечко с голубой каемочкой свои права, честь и достойную жизнь в 1991 и 1993 годах. Тогда мне было 14 лет, и уже в этом возрасте я понимала, что происходит непоправимое. А где были вы? Вы радостно ликовали и пели оду Ельцину? Что ж, сами виноваты. Теперь всего этого вам никто по доброте душевной не от-

даст. Придется опять завоевывать, если у вас осталась хоть капля памяти, гордости и мужества».

В письме немало и других резких слов. Но кому они адресованы, если вдуматься? Народу. А вправе ли кто-то из нас ТАК разговаривать с НАРОДОМ?

В продолжение этой своей мысли поделюсь такими наблюдениями. Всегда политики ругали политиков – одни других, взаимно. Теперь стали все чаще ругать народ. И если Гайдар называл и называет его инертной массой, в которой вязнут реформы, то некоторые патриотические, оппозиционные газеты – ни больше ни меньше как «козлами». А по сути – за то же: за пассивность, инертность. И еще – за чрезмерную доверчивость, доходящую до глупости: их ведут на убой, а они бредут себе да бредут...

В. Р.: Мы не знаем, что происходит с народом, сейчас эта самая неизвестная величина. Албанский народ или иракский нам понятнее, чем свой. То мы заклинательно окликаем его с надеждой: народ, народ... народ не позволит, народ не стерпит.... То набрасываемся с упреками, ибо и позволяет, и терпит, и договариваемся до того, что народа уже и не существует, выродился, спился, превратился в безвольное, ни на что не способное существо.

Вот это сейчас опаснее всего – клеймить народ, унижать его сыновним проклятием, требовать от него нерезального образа, который мы себе нарисовали. Его и без того беспрерывно шельмуют и оскорбляют в течение десяти лет из всех демократических рупоров. Думаете, с него все как с гуся вода? Нет, никакое поношение даром не проходит. Откуда же взяться в нем воодушевлению, воле, сплоченности, если только и знают, что обирают его и физически, и морально.

Народ надо понять. Его все предали. В коммунизме он усомнился, потому что тот, владея огромной мощью, им же, народом, созданной, сдал себя без всякого сопротивления; brave генералы, патриотические басы которых действо-

вали взбадривающе, принимались торговать народом, как дворовыми людишками при крепостничестве, прежде чем взлетали во власть; знаменитые выходцы из народа, прославленные на весь мир, вроде Михаила Ульянова и Виктора Астафьева, взяли сторону власти, которая откровенно отдала народ на закланье.

Да и что такое сегодня народ? Никак не могу согласиться с тем, что за народ принимают все население или всего лишь простонародье. Он – коренная порода нации, рудное тело, несущее в себе главные задатки, основные ценности, врученные нации при рождении. А руда редко выходит на поверхность, она сама себя хранит до определенного часа, в который и способна взбугриться, словно под давлением формировавших веков.

Достоевским замечено: «“Не люби ты меня, а полюби ты мое” – вот что вам скажет народ, если захочет удостовериться в искренности вашей любви к нему». Вот эта жизнь в «своем», эта невидимая крепость, эта духовная и нравственная «утварь» национального бытия и есть мерило народа.

Так что осторожнее с обвинениями народу – они могут звучать не по адресу.

Народ в сравнении с населением, быть может, невелик числом, но это отборная гвардия, в решительные часы способная увлечь за собой многих. Все, что могло купиться на доллары и обещания, – купилось; все, что могло предавать, – предало; все, что могло согласиться на красиво-унизительную и удало-развратительную жизнь, – согласилось; все, что могло пресмыкаться, – пресмыкается. Осталось то, что от России не оторвать и что Россию ни за какие пряники не отдаст. Ее, эту коренную породу, я называю «второй» Россией в отличие от «первой», принявшей чужую и срамную жизнь. Мы несравненно богаче: с нами – Поле Куликово, Бородинское поля и Прохоровское, а с ними – одно только «Поле чудес».

В. К.: Честно скажу, у меня не поворачивается язык ругательно говорить о своем народе. Мне его характер все же родной – со всеми недостатками и слабостями. Лично я полагаю, что лучше быть обманутым, нежели обмануть.

Но это – в личных отношениях, в личном плане. А если речь идет о судьбе народа и страны? Александр Зиновьев, когда я говорил с ним об этом, очень язвительно, даже ядовито прокомментировал: «Доверчивые, видите ли... А вы не будьте такими доверчивыми!»

Что же, преодолевать нам в чем-то свой национальный характер? Они-то, враги наши, не церемонятся, не стесняются! Они и хитры, и наглы, и агрессивны. Может, правомерно острее ставить вопрос о большей жесткости и непримиримости с нашей стороны? Может, правы те, кто с определенным смыслом напоминает слова Христа: «Не мир я принес вам, но меч»? Может, и те молодые литераторы отчасти правы, которые упрекают даже лучших писателей старшего поколения, в том числе и вас, что культивируется, воспевается лишь смирение и терпение русского человека, а не активное противостояние его и борьба? В конце концов, был схимник Серафим Саровский, но был также инок Пересвет... Скажите, как вы считаете: нужен сегодня герой-боец русской литературе и русскому обществу? Я вспоминаю известную статью Сергея Булгакова «Героизм и подвижничество», где подвижничество ставится выше героизма. Но в нынешних условиях, по-моему, нужно и то и другое.

В. Р.: Согласен с вами: нужно то и другое, одно другому ничуть не мешает. Подвижничество – как надежные и обширные тылы, как необходимость укрепления духа и постепенное теснение чужих. И героизм – как передовая, где идет откровенное бореие сил. Без героизма не явятся к нам выдающиеся личности, полководцы, подобные Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Георгию Жукову.

В. К.: Борьба за наши святыни, конечно, в жизни идет. Есть и духовные борцы, заслуживающие самого глубоко-

го уважения. Вы – один из первых. Но можно ли удовлетвориться результатами? Да не будь этой борьбы и таких борцов, всех нас уже отбросили бы еще дальше во тьму. Однако как часто приходится испытывать разочарование, досаду, почти отчаяние! Речь именно о действенности нашей борьбы, о результатах, которые бывают нередко... ну никакими. Имею в виду, скажем, и газетные выступления, к коим причастен. Ничтожная конкретная результативность журналистских и писательских материалов нынче стала уже привычной.

В. Р.: Знаете, мне кажется, есть предел убеждения, особенно в истинах очевидных. Слово от многократного повторения стирается, теряет смысл, произносится лишь звуково. Сейчас как раз такое время и наступило. Имеющие уши да слышали, имеющие глаза да увидели. Все разошлось по своим позиционным местам, политическая фразеология надоела, обличение разбоя и бесстыдства в обществе, где стыд отменен, результата не приносит: они, воры и растлители, своего добились и теперь лишь ухмыляются, глядя на то, как наша энергия уходит на ветер. Теперь нужны дела. Чем обличать тьму, лучше зажечь свечу. Подобного рода разговоры, как наши с вами, нужны лишь в двух случаях – когда они дают поучительный и глубокий анализ происходящего и когда предлагают надежду. Надежда, сейчас больше всего нужна надежда – и она есть, ее только нужно назвать.

Я склонен считать, что ни одного патриота, то есть человека, гражданина, способного выработать в себе любовь к исторической России, но не выработавшего ее по недостатку нашей агитации, мы не потеряли. Патриотизм не внушается, а подтверждается – многого ли стоили бы мы, если бы нас нужно было учить думать и говорить по-русски! Я не знал слова «патриот», но сызмальства нес в себе благодарность родной земле за свое рождение и за свою принадлежность к русскому народу. Убить эту благодарность можно было только вместе со мной.

Отошедшие, отслоившиеся от России, сознательно или бессознательно вступившие с нею в противоречие, в конфликт с самой природой ее бытия, так и должны были поступить. Российский демократ образца 80–90-х годов – это особый тип человека, созданного не убеждением, а каким-либо изъяном, нравственным или психическим, какой-либо неполнотой, неуравновешенностью, неукорененностью. Сейчас это сделалось особенно заметно. Юрий Афанасьев, один из вождей начальной демократии, позже признавался, что он по характеру не строитель, а разрушитель; небезызвестный Виталий Коротич, сбежавший от плодов своей «деятельности» в Америку, читает в Бостонском университете курс лекций на тему «Ненависть как основная категория общественного сознания» – речь идет о России. Ненавистник России, он пытается свою душонку выдать за душу страны, которой пакостил. Нормальный человек на такое не способен.

Я говорю это к тому, чтобы мы знали, с кем имеем дело. Вспомните Бурбулиса, Гайдара, Козырева – да это же все гоголевские типы! А ныне восседающие?! Президенту за то, что он слишком громко лгал, Господь оставил всего несколько слов, но он умудряется и с ними обходиться весьма неаккуратно.

В. К.: Если говорить о низкой действенности противостояния сатанинским силам, то вот пример иного уровня. В связи с намеченной демонстрацией на общедоступном телеканале фильма «Последнее искушение Христа» к руководству телекомпании «НТВ» обращается Патриарх Московский и всея Руси Алексей II. И что же? Обращение его проигнорировано! Мало того, уже после вызывающего показа этого кощунственного фильма, болью отозвавшегося в сердцах множества людей, Патриарх обращается к президенту Ельцину и мэру Москвы Лужкову, призывая «не остаться безучастными к оскорблению религиозных чувств своего народа, в какой бы форме это ни выража-

лось». А результат? По-моему, президент публично даже не ответил Патриарху!

Ну о чем после этого можно говорить? Какова у нас действенность Слова, если и на столь высоком, казалось бы, уровне остается оно пустым звуком? Гласом вопиющего в пустыне!

В. Р.: Демонстративный показ «Последнего искушения Христа» – оскорбление и вызов всей России. Вызов не первый и не последний, который господа Гусинский, Березовский и иже с ними делают за-ради издевательства над нашей душой, они происходят ежедневно и ежечасно, но этот особенно гнусный. Протест, надо признать, был слабым, и «НТВ», не получив достойного отпора, с «этим народом» оставило последние церемонии.

Что мог ответить президент Патриарху? Нечего ему отвечать. Это Гусинский и его компания сделали его президентом, он в долгу перед ними по гроб жизни и по гроб же жизни будет этот долг отрабатывать. Вся властная верхушка опутана подобными отношениями: кто кому обязан, все сплетены в один клубок зависимо-корыстных связей – до России ли им, до народа ли, до его ли христианских и нравственных чувств? Это уже и возмущения не вызывает, а только глубокую боль: а ведь доведете, господа, доведете, лопнет христианское терпение. Власть Божьего попущения и Господом не защищается. Года три-четыре назад по стране прокатилась волна самосудов, матери сами, не доверяя продажным и «гуманным» судам, расправлялись с насильниками своих малолетних дочерей. Сейчас рабочие коллективы то в одном, то в другом местах начинают брать в заложники руководителей-воров. Самосуд оправдывать нельзя, но и осуждать этих людей у меня не поворачивается язык: народ вынужден сам защищать себя, если его не защищает государство. То, что вытворяет телевидение, – это и множественное и жестокое насилие над всеми нашими детьми и внуками,

и если такое действие не подпадает под государственный Уголовный кодекс, то не может где-то не зреть назначающий наказание кодекс народный. Не переусердствуйте, господа! Это – Россия. Вы по 1993 году должны были запомнить, что первый адрес накапливающегося возмущения – «Останкино». Всякое имя, говорят, имеет свой сакральный смысл.

В. К.: А скажите, русского писателя Распутина хоть единожды пригласили на телевидение за последние годы? Кроме «Русского дома», я не видел вас ни на одном канале, ни разу. Тоже показатель, насколько действенны (а точнее – бездейственны!) наши усилия, какова их результативность. Уж сколько говорилось о том, что для лучших русских писателей и других деятелей культуры телевидение закрыто! А оно для них закрыто по-прежнему до сих пор. Кто же у нас, выходит, полные хозяева положения? И как его все-таки изменить? И хотят ли наши люди, чтобы положение было изменено?

Честное слово, у меня создается порой впечатление, что большинству ТАКОЕ телевидение уже и нравится. Игры, викторины, мыльные оперы, американские боевики – все вполне устраивает. Не хотят другого! Наркотик уже впитался в кровь и делает свое дело.

Вот, кстати, опять возникает большой вопрос. Говорят, что провалилась коммунистическая затея воспитать нового человека. По-разному понимается этот «новый человек», но в моем представлении речь шла прежде всего о воспитании нравственности, по сути – нравственности христианской (вспомним моральный кодекс строителя коммунизма!). Но как обстоит с нравственным воспитанием сегодня? Не отброшены ли мы далеко назад? Если учесть, ЧТО смотрят сейчас люди, ЧТО читают... Но, может быть, натура человеческая в основе своей не предрасположена к Евангелию, Пушкину и, скажем, Валентину Распутину, а гораздо ближе, милее ей какая-нибудь «Им-

перия страсти» или «Золотая лихорадка»? А мы все пытаемся внушать свои ценности, которые просто неинтересны людям и не нужны...

В. Р.: Я странный человек, я изначально не люблю телевидение. Даже когда оно было приличным. «Доставка на дом» всего и вся меня не устраивает. Спектакль нужно смотреть в театре, книгу обсуждать с друзьями, на футбол ходить на стадион. Сидеть несколько часов подряд, уставившись в светящийся угол, и потреблять то, что на тебя вываливают, – это и неестественно, и как-то глупо. И можно было с самого начала не сомневаться, что огромные возможности телевидения будут использованы во вред человеку. Как есть женщины, не способные к постоянству, так есть и искусства, придуманные в недобрый час, расположенные к уродству. А сегодняшнее российское телевидение – самое грязное и преступное в мире. Я его перестал смотреть, разве что изредка новости, и участвовать в нем желания не испытываю.

Но вы правы: и не приглашают. За последние шесть-семь лет два раза был зван на передачи сомнительной полезности – и отказался. Там «свои». Одержимые одной задачей, составляющие один «батальон» лжи и разврата. Геббельсовская пропаганда по сравнению с ними – изысканные проповеди; вальпургиевы ночи рядом с «рождественскими встречами», спецпередачами типа «Про это» – собрания сестер милосердия. Надоело об этом говорить.

После фильма «Последнее искушение Христа» Союз писателей России принял решение бойкотировать «НТВ» как канал антирусского и антигосударственного направления. А точнее говоря, как трубу, перекачивающую яды и нечистоты. «НТВ» от нашего бойкота, разумеется, ни жарко и ни холодно, оно с нами и не зналось, но вместе с православной Церковью мы кое-что представляем. Вызов сделан – вызов принят, посмотрим, чьей стороне придется отступать.

«Дьявол с Богом борются, и поле битвы – сердца людей» – эти слова Достоевского будут вечным эпиграфом к человеческой жизни. В каждом человеке сидят два существа: одно низменное, животное, и второе – возвышенное, духовное. И человек есть тот из двух, кому он отдается. Да, многие привыкли к той телевизионной жвачке, которой пичкают их с утра до вечера, многим она нравится. И боевики со стрельбой и кровью, и Содом в обнимку с Гоморрой, и пошлости Жванецкого с Хазановым, и эпатажи Пугачевой, и «Поле чудес», и прочее-запрочее. Ну что же – на то и сети, чтобы ловить наивные души. Одно можно сказать: жалко их, сидящих то ли на крючке, то ли на игле.

Сейчас уже ничему нельзя удивляться. Но на меня произвела впечатление информация в одной из газет об опытах над крысами. Их приучили лапками нажимать на кнопки, которыми регулируется подача в центры удовольствия (есть такие и у людей, и у животных) электрических толчков малой мощности. Выставлялись эти электрические приборы, а неподалеку выставлялась пища. Крысы, погибая от голода, не могли оторваться от кнопок, которые посылали им удовольствия. Вот так-то!

В. К.: Разговор у нас идет сегодня больше о проблемах духовных, нравственных. Но они, согласитесь, нередко сталкиваются с проблемами вполне материальными. То есть я бы сказал так: материальные проблемы нередко оборачиваются и своей нравственной стороной.

Скажем, чудовищное, небывалое расслоение нашего сегодняшнего общества на бедных и богатых. Кучка сверхбогачей и огромное количество нищих, ограбленных... Может ли такое общество считаться нравственным? Вы однажды сказали: «Сегодня стыдно быть богатым». У меня точно такое же чувство. Но ведь не у всех! Кому-то совсем не стыдно, а даже наоборот. «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста». Однако для такого ощущения нужно по крайней мере, чтобы совесть была. А если она отсутствует?

Мои мысли, Валентин Григорьевич, все чаще обращаются вот к чему. Русскому народу исконно было свойственно чувство справедливости. По-моему, это важнейшая особенность русской души. Стремление к справедливости звало русского человека и на бунт, на революцию. Думается, в этом смысле Разин и Пугачев выразили определенную сторону русской души очень сильно. А сейчас именно чувство справедливости пытаются в людях вытравить. Как и соборность нашу, коллективизм. Ведь, говоря о примирении и согласии, по существу, имеют в виду необходимость согласиться и примириться с утвердившейся вопиющей несправедливостью. Неужели примет это Россия, как вы думаете?

В. Р.: Если не приняла, несмотря на огромные потери, боюсь, года через два-три, ежели ничего не изменится, и волянка с властью, которая служит чужим интересам, будет продолжаться, то Россию силой заставят принять капиталистические «завоевания», а они к тому времени станут еще разительнее и свирепее. С Россией уже сейчас не считаются, и чем дальше, тем меньше будут считаться. Государство, сознательно убивающее самое себя, – такого в мире еще не бывало. На нее, слабеющую все больше и больше, уже заведены свои планы, свои расчеты, и потерять Россию как своего вассала, потерять ее с возвращением в самостоятельную и самодостаточную величину не захотят.

Вот мы с вами говорим, а я все думаю: для чего говорим, кого и в чем хотим убедить? Экономисты считают, что с той экономикой, которая у нас осталась, Россия уже не должна жить, и если она худо-бедно живет, то только за счет того, что проматывает наследство предыдущих поколений и расхищает наследство, которое необходимо оставить поколениям будущим. Россию обдирают как липку и «свои», и чужие – и конца этому не видно. Для Запада «разработка» России – это дар небес, неслыханное везенье, Запад теперь может поддерживать свой высокий уровень жизни еще

несколько десятилетий. Ну а домашние воры, полчищами народившиеся из каких-то загадочных личинок, тащат буквально все, до чего дотягиваются руки, и тащить за кусок хлеба им помогают все слои населения.

Повалили Отечество и, как хищники, набросились на него – картина отвратительная, невиданная!

Десять лет назад мировое государство с единым правительством, единой экономикой и единой верой могло еще считаться химерой. После крушения СССР и прихода в России к власти демократической шпаны, с восторгом докладывавшей американскому президенту об успехах разрушения, мир в несколько лет продвинулся в своих мондиалистских усилиях дальше, чем за многие предыдущие столетия. Пал бастион, которым держались национальное разнообразие и самобытные судьбы. После открытия Америки и устройства там могучего космополитического государства прорыв в Россию стал главным событием второй половины заканчивающегося тысячелетия. Это слишком важная победа, чтобы ее захотели отдать обратно. Сейчас Запад еще прислушивается: что происходит в недрах нашей страны? – а через два-три года с нами начнут поступать так же, как с Ираком и Фолклендскими островами.

В. К.: Наше общество сегодня лишено ведущей, объединяющей его идеи. Как вы относитесь к попыткам «сверху» эту идею придумать? Ведь президентом дано задание группе каких-то ученых «разработать национальную идею».

Правительственная «Российская газета» объявляет на такую идею конкурс! Не кажется ли вам все это нелепым?

И не является ли та же справедливость одной из важнейших основ нашей действительно органической национальной идеи?

В. Р.: Объявлять конкурс на национальную идею – все равно что объявлять конкурс на мать родную. Это абсурд, который может прийти в голову только сознательным путаникам, взявшимся наводить тень на пле-

ть. Вообще «верховные» поиски объединительной идеи шиты белыми нитками и имеют целью не что иное, как сохранение своей власти, приведение к присяге ей всей России. Этого никогда не будет. Сегодня заканчивается расслоение России не только на богатых и бедных, но и на окончательно принявших теперешний вертеп и окончательно его не принявших. Это гораздо больше, чем классовые расхождения в 1917 году.

Национальную идею искать не надо, она лежит на виду. Это – правительство наших, а не чужих национальных интересов, восстановление и защита традиционных ценностей, изгнание в шею всех, кто развращает и дурачит народ, опора на русское имя, которое таит в себе огромную, сейчас отвергаемую, силу, одинаковое государственное тягло для всех субъектов Федерации. Это – покончить с обезьяньим подражательством чужому образу жизни, остановить нашествие иноземной уродливой «культуры», создать порядок, который бы шел по направлению нашего исторического и духовного строения, а не коверкал его. Прав был Михаил Меньшиков, предреволюционный публицист, предупреждавший, что никогда у нас не будет свободы, пока нет национальной силы. К этому можно добавить, что никогда народ не будет доверять государству, пока им управляют изворотливые и наглые чужаки!

От этих истин стараются уйти – вот в чем суть «идейных» поисков. Политические шулеры все делают для того, чтобы коренную национальную идею, охранительную для народа, подменить чужой национальной или выхолостить нашу до безнациональной буквы.

В. К.: Большой вопрос сегодня – молодежь, поскольку это все-таки будущее страны. Как вы считаете, насколько глубоко она отравлена? Не может ли это привести к каким-то уже необратимым переменам в нашем недалеком будущем?

В. Р.: У меня впечатление, что молодежь-то как раз не «вышла» из России. Вопреки всему, что на нее обрушилось.

Окажись она полностью отравленной и отчужденной от отеческого духа, в этом не было бы ничего удивительного, потому что от начала «перестройки» она выростала в атмосфере поношения всего родного и оставлена была как государственным попечением, так и попечением старших поколений, которые разбирались между собой и своими партийными интересами.

Из чего я делаю эти выводы? Из встреч с молодежью в студенческих и школьных аудиториях, из разговоров с ними, из наблюдений, из того, что молодые пошли в храмы, что в вузах опять конкурсы – и не только от лукавого желания избежать армии, что все заметней они в библиотеках. Знаете, кто больше всего потребляет «грязную» литературу и прилипает к «грязным» экранам? Люди, близкие к среднему возрасту, которым от тридцати до сорока. Они почему-то не умеют отстоять свою личность. А более молодые принимают национальный позор России ближе к сердцу, в них пока нетвердо, интуитивно, но все-таки выговаривается чувство любви к своему многострадальному Отечеству.

Молодежь теперь совсем иная, чем были мы, более шумная, открытая, энергичная, с жаждой шире познать мир, и эту инакость мы принимаем порой за чужесть. Нет, она чувствительна к несправедливости, а этого добра у нас – за глаза, что, возможно, воспитывает ее лучше патриотических лекций. Она не может не видеть, до каких мерзостей доходят «воспитатели» из телевидения, и они помогают ей осознать свое место в жизни. Молодые не взяли на себя общественной роли, как во многих странах мира в период общественных потрясений, но это и хорошо, что студенчество не поддалось на провокацию, когда вокруг него вилась армия агитаторов за «свободу».

Еще раз повторю: сбитых с толку и отравленных, отъятых от родного духа немало. Даже много. Но немало и спасшихся и спасающихся, причем самостоятельно, почти

без всякой нашей поддержки. Должно быть, при поддержке прежних поколений, прославивших Россию.

Апрель 1998 г.

Краденый венец

Виктор Кожемяко: Валентин Григорьевич, тема, которую я предлагаю обсудить сегодня, выведена в прошлом году на самый первый план общественного внимания и продолжает усиленно нагнетаться. Напомню: в начале июля в «Правде» была опубликована очень страстная ваша заметка о «русском фашизме». Вернее, о том, что имеют в виду под этим выражением определенные политические силы и средства массовой информации, в том числе, как мы знаем, и человек, именуемый президентом России. Известно, что в памятный для всех нас день 22 июня, отмечая своим радиообращением очередную годовщину начала Великой Отечественной войны, Ельцин не нашел ничего другого, нежели поугадать нашу страну и весь мир угрозой «русского фашизма». В его представлении нет сейчас ничего более страшного!

Между тем я знаю, что буквально накануне был пленум Союза писателей России в Петербурге – Ленинграде, и на одной из встреч с читателями вам был задан вопрос: «Как вы относитесь к русскому фашизму?» Мне рассказывали, ответ ваш был таков: «Как я могу относиться к тому, чего нет?»

Выходит, президент Ельцин считает, что угроза «русского фашизма» переросла все возможные пределы, олицетворяя первоочередную опасность для России, а писатель Распутин убежден, что никакого русского фашизма вообще не существует. Как вы объясните столь резкое, диаметрально противоположное расхождение во мнениях? Ведь Ельцин потом еще не раз сказанное по существу повторил. Вот на днях в предновогоднем телеинтервью корреспонденту

ОРТ снова прозвучало это на высокой ноте и в тревожащем переплетении: политический экстремизм, антисемитизм, национальная нетерпимость... Мощное наступление он, Ельцин, готовит – так, кажется, было сказано. Против чего? Да опять же против «русского фашизма».

Валентин Распутин: С Ельцина взятки гладки. Его научили – он повторил. А учителя кощунственно выбрали 22 июня, день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, чтобы еще раз надругаться даже над жертвами нашего народа в войне. Мол, положили в борьбе с фашизмом миллионы людей, а для чего положили? Чтобы прийти к фашизму. Ничего другого, мол, и ждать от этого народа нельзя, его из стороны в сторону бросает слепая и буйная стихия. Он всегда был опасен, опасен и теперь. Таким образом, ответственность за сегодняшнюю необъявленную войну, самую тяжелую и разорительную по своим последствиям, возлагается на нас, на русских. Виноват ограбленный, доведенный до сумы, оклеветанный, несущий огромные жертвы. Виноват убиваемый. А как с ним, дескать, иначе, если он несет в себе «коричневую чуму», опасную для всего цивилизованного человечества?

Это столь грубая и примитивная брехня, что и обсуждать ее не имело бы смысла, если бы в оскале этой брехни не замечались некоторые черты явления, запомнившиеся нам по кинохронике 30-х годов в Германии. Сегодняшняя пропаганда и пропаганда тех лет, когда к власти шел и пришел Гитлер, – на одно лицо. Всмотритесь, всмотритесь внимательней во время очередного шабаша, после очередного «поджога рейхстага»: от зла так не защищаются, так творят зло, так готовят крупномасштабную войну.

Фашизм – это крайний шовинизм, диктатура одного народа над другими. Хоть что-нибудь в истории нашей, в характере нашего народа, сверхтерпеливого, сверхжертвенного и сверх, в убыток себе, расположенного к другим народам, дает повод для обвинения его в фашизме? Когда даже и

сейчас, обобранный до нитки реформаторским жульем, напроминает он простака, который, раскрыв от удивления рот, понять не может, как это вор, обобравший его, на него же, ограбленного, показывает в толпе: «Нет, это он вор! Это он злоумышленник, хватайте его!»

В. К.: Мы с вами, Валентин Григорьевич, люди одного поколения. Росли во время Великой Отечественной войны. С детства для нас фашизм был чудовищем, грозившим проглотить, уничтожить родную нашу страну и родной народ. И вот теперь таким чудовищем представляют именно народ, победивший фашизм! Как вы все-таки думаете, кому, как и почему могла прийти в голову такая иезуитская выдумка?

В. Р.: Видите ли, у фашизма как идеологии национальное основание. В жизни любой нации могут наступить такие моменты, когда в результате внешних поражений или внутренних болезней она вынуждена собранно, мобилизационно охранять свои ценности и ход своего собственного бытия. На начальном этапе это охранительная концентрация национальных сил. Однако природа фашизма такова, что это естественное стремление защитить себя от перерождения и подчинения чужому приводит к уродливому искажению своего. Фашизм вырабатывает фанатизм и под видом сильной национальной власти способен на все. В том числе и превратиться в чудовище Третьего рейха, в образе которого он сегодня и воспринимается.

Вот этим и пользуются сознательные путаники, оседлавшие российскую идеологию. Вся она, эта идеология, кроится под обвинительное заключение против того самого простака, который по навету вора берется под стражу как злоумышленник и преступник.

Истинные преступники не могут не понимать, что неслыханное в мире ограбление в считанные годы богатейшей страны, глумление над святынями, над историей, над самим русским именем способны вызвать ущемлен-

ное чувство национального достоинства, требующее действия. Это неизбежная реакция, так было, так будет. Но и остановиться преступники не в состоянии, слишком преуспели в своем ремесле грабежа, слишком зарвались, слишком много поставлено на карту. Наглость и страх диктуют тактику – только вперед! Ущемленное чувство национального достоинства после Версаля и итогов Первой мировой войны явилось в Германии питательной средой для зарождения фашизма. Россия сегодня пострадала сильнее, поражение ее унижительней, обида должна быть больше – вроде бы все необходимые условия для вынашивания фашизма. Ну и подсунуть ей это чудовище, и завопить на весь мир об его опасности! Знают прекрасно, что здесь совсем другой народ – начисто лишенный чувства превосходства, не заносчивый, не способный к муштре, непритязательный, а теперь еще и с ослабленной волей. Знают, но на это и расчет: чем наглей обвинения, тем противней от них отмываться. Чтобы в «этой» стране все оставалось на своих местах, образ побежденного, в сравнении с благородным ликом победителя, должен иметь самое страшное, самое отталкивающее выражение.

И пошло-поехало: всякое национальное действие, необходимое для дыхания, будь то культурное, духовное, гражданское шевеление, – непременно «наци», окраска фашизма. Православная икона – «наци», русский язык – «наци», народная песня – «наци». Истерично, напористо, злобно-вдохновенно – и беспрерывно.

В. К.: Но ведь все это, несмотря на абсурдность, оказывает какое-то воздействие на многих людей! То есть этот оглушительный «пропагандистский прием» работает, он введен и в научный оборот, и в художественную литературу, и в публицистику, не говоря уж о пресловутом русскоязычном телевидении. Кто-то из русских (вот что поразительно!) тоже начинает верить, будто наша страна стала или стремительно становится источником фашиз-

ма – угрозой всему человечеству. Как вы думаете, почему же на людей влияет эта глупость, почему они верят и всерьез воспринимают ее?

В. Р.: Для меня, признаться, это самый трудный вопрос: почему верят? Почему себе, сердцу своему, атмосфере вокруг себя перестают доверять и готовы чуть ли не руки вверх при окрике «фашист»! Да, дурачат, да, владеют мощнейшими средствами для массового одурачивания, применяют новейшие технологии одурачивания... Но ведь и у теленка есть чутье, где волк и где собака. Да, русский человек оказался в изоляции от своих учителей, его сознание и душу развращают и убивают вот уже более десяти лет, но чутье-то, чутье-то, если не разумный и независимый взгляд!.. У нас в крови это всегда было – издали распознавать злодейство. Как можно верить киселевым, доренкам и сванидзе, убеждающим русских в русском фашизме! На них же, этих телевещателей, все написано: как, почему и с какой целью. Они жируют на каждом скальпе «отстреленного» в дикой, с их точки зрения, стране...

Но не больно-то, надо полагать, люди и верят. Иначе не нарастало бы сначала глухое, а теперь уже все более открытое недовольство против «духов злобы». Как не верят и подписантам из известной обоймы «творческой интеллигенции», время от времени призывающим к расправе над нами. Народ на мякине не проведешь. Визг, поднятый вокруг «русского фашизма» и антисемитизма, неприличен, он сам выдает себя с головой. Будь действительно опасность фашизма, реакция должна бы быть серьезней, как накануне Второй мировой войны. Тут и детектора лжи не надо, так видать. Опасность-то, кстати, есть, но с какой стороны – вот тут надо всматриваться зорче.

В. К.: А что известно вам о восприятии этой «идеи» в мире? Не может ли стать и не становится ли уже внедрение ее в мозги людей разных стран мощным допингом к воспитанию еще большей русофобии, разжиганию ненависти

к России и всему русскому с конечной целью подготовить и оправдать хотя бы и вооруженное внедрение в Россию? Ведь «мирная» оккупация уже идет полным ходом...

В. Р.: В том-то, надо полагать, и цель этой пропагандистской шумихи. Под экономической разрухой, несмотря на огромные потери, мы выстояли, под нравственной разрухой выстояли, сопротивление нарастает. Ну так «русским фашизмом» его по голове, русского человека, как контрольным выстрелом в затылок. Чтобы, мол, спасти мир от смертельной опасности. «Цивилизаторы» раз за разом спасают мир от смертельной опасности, которая исходит почему-то от самых обессиленных экономической блокадой и бомбардировками – от иракцев, сербов... И вот теперь очередь России. Это закон хищников, уголовщины – добивай раненых, больных, изможденных, виноватых лишь в том, что они не признают свободу на поводке.

Десятки, сотни, должно быть, книг о «русском фашизме» выходит сейчас по миру. В том числе и российских подданных. Тут в избалованных, как повелось, на первых ролях перевертыши. Бывший преподаватель Высшей партийной школы С. Кулешов еще года четыре назад сочинил книжку под названием «Звезда и свастика», где как специалист, трудившийся во укрепление звезды, говорит об однозначности этих двух символов двух тоталитарных систем и справедливости понятия «красно-коричневые». Таким образом, если судить по этой литературе, фашизм в России, как ни верти, был неминуем. Ведутся розыски фашизма в нашей истории, единичное возводится в общее, уже без обиняков говорят о дурной генетике. Вы правы: чем еще, как не заблаговременной подготовкой к санкциям, можно все это объяснить? Ведь решений Берлинской (1945) конференции о предупреждении фашизма в любой форме никто не отменял, они в любой момент могут пригодиться. И использоваться как угодно – вкривь и вкось...

В. К.: И тогда, 22 июня, у Ельцина многозначительно прозвучало, а теперь-то уж гремит вовсю грозное словечко «антисемитизм». Да и вообще, сколько спекуляций связано с этим словом! А как вы думаете – почему? Ведь многие политики, издания определенного толка договорились до того, что русским присущ чуть ли не врожденный антисемитизм. Именно эту карту все активнее пытаются разыгрывать сейчас как для наступления на русский народ, так и для бешеных атак на Компартию России – вплоть до требований запрета ее. Очень интересно и важно было бы услышать ваше мнение по этому острому вопросу, который еще и искусственно всячески заостряют. Что вам подсказывает в связи с этим ваш жизненный и писательский опыт?

В. Р.: Ну как же, какой же фашист без антисемита! Это уж обязательно. Это как хлыст, которым нас приводят в чувство, чтобы мы не забывались и знали свое место в наступившем десять лет назад «новом порядке».

Если вы русский и называете себя русским, да если еще, не приведи Господь, печетесь об интересах своего обездоленного народа, – вы антисемит. Если вы еврея называете евреем, вы тотчас же становитесь антисемитом уже за одно произношение этого имени, ибо произношение подразумевает и размышление о нем. Если вам не нравятся бесконечные секс и насилие по телевидению – вы антисемит: телевидение-то находится в еврейских руках. Если вы брезгливо скривились над газетной полосой «Московского комсомольца», где продолжается издевательство над святынями вашего народа, – вы отъявленный антисемит, что и доказали своей ухмылкой.

Расскажу, коли зашла об этом речь, как из меня сделали антисемита с мировым именем. Не писателя с мировым именем, а именно антисемита.

Весной 1990 года Горбачев, создавая свой Президентский совет, включил в него и меня. Я не отказался. Это насторожило «передовую» общественность: мало ли что я,

человек не безголосый, не скрывающий своей русскости, стану нашептывать президенту? Нашептывали там другие, иначе и быть не могло, но уже одно мое присутствие в совете раздражало: не та рожа, не тот образ мыслей. Потребовалась срочная компрометация меня – и это было сделано. Незадолго до того в Иркутск прилетел американский журналист Б. Келлер и записал беседу со мной на двух кассетах. Большая статья о русском антисемитизме, в которой фигурировал не только я, была напечатана в журнале «Нью-Йорк таймс мэгэзин». Этот номер был срочно доставлен в Ленинград, срочно прочитан бдительными гражданами, которые направили в газету «Известия» возмущенное письмо, вопрошая, как такой человек мог оказаться в Президентском совете. В западной прессе и на «голосах» я сделался фигурой не последнего внимания. Даже в Японии мой издатель, уже заключивший контракт на перевод книги о Сибири и заплативший аванс, испугался иметь со мной дело.

Когда мне перевели статью Б. Келлера, выяснилось, что в самых острых случаях, там, где я говорил «да», оказывалось «нет», а где говорилось «нет», стояло «да».

Вот так пекутся эти блины.

Я, разумеется, потребовал у журналиста запись нашего разговора – одну кассету он показал, вторая «не нашлась». Но и одной было достаточно, чтобы поймать его за руку. Ну и что? Господин Келлер исчез, мой писательский авторитет получил красочный ореол, а меня этот случай научил глубже всматриваться и лучше разбираться в происходящем как у нас в Отечестве, так и во всем мире.

Спросим, однако: а могли бы подобную же провокацию устроить с известным еврейским писателем и на весь мир ославить его тем, чем он не является?

То-то и оно.

Никакого врожденного антисемитизма у русских быть не может – если не принимать за антисемитизм их национальность. Когда евреи находятся на одном уровне

жизни и отношений с русскими и другими, к ним не может быть и настороженности: вместе работаем, вместе мыкаем горе. В этих условиях, в условиях круговой разрухи, помощь друг другу естественна, она не имеет ничего общего с круговой порукой, как на более высоких уровнях власти и влияния. Вот там, на более высоких уровнях, реваншизм, притом грубый, откровенный, налицо – словно один народ и создан для власти, а второй – для подчинения, один – судья, второй – подсудимый, один изначально несет в себе победу, второй – поражение.

Помните, в 89–90-х годах не однажды назначались даты еврейских погромов? Их не было и быть не могло, зато по окраинам бывшего Советского Союза прокатились русские погромы. Кого боялись евреи, напуская оглушительный шум по поводу якобы готовящегося избиения? Боялись васьильевской «Памяти»? Да чепуха, они прекрасно знали, что Д. Васильев не опасен, что скоро запутается он в трех соснах и сойдет на нет. А шум нужен был, чтобы, что называется, голыми руками в накаленной обстановке таскать из огня каштаны. Когда шум наконец умолк и дым рассеялся, прежнего государства уже не существовало, зато явлены были миру образы Березовского, Гусинского, Смоленского, Чубайса, Немцова и других, захвативших власть. Тут можно было бы привести множество циничных откровений по поводу этой победы, а также спеси и презрения к нашему народу. Кто же кого должен бояться? И разве неверно, что там, где кричат об антисемитизме, нужно искать русофобию, стремление к окончательной победе, чтобы и писка нашего не возникало.

В. К.: Но все же, наверное, вы не станете говорить, что антисемитских настроений, в каких-то формах и какой-то степени, у нас сегодня совсем нет?

В. Р.: Существует ли антисемитизм? Да, я бы не решился утверждать, что его не существует вовсе. Столь страстное и могучее, независимо от того, сознательное оно или

бессознательное, желание получить его не могло не послужить поддувалом для тлеющих углей. Если изо дня в день слышишь еврейское: наконец-то мы захватили в России власть! Мы контролируем свыше половины ее экономики! Больше наглости с этим народом! – это вызывает не страх и подавленность, а совсем иные чувства. Самые ненавистные в России образы, с которыми связано разграбление страны, они же – Гайдар, Чубайс, Немцов, Березовский... Их хотя бы на время следовало бы куда-нибудь спрятать, не дразнить ими народ!.. Нет, безвылазно торчат на экранах, дают советы, сыплют соль на раны. Куда подевалась хваленая осторожность и предусмотрительность евреев, их рассудительность и расчетливость?

Недавно показали по «НТВ» сюжет: группа «творческой интеллигенции» во главе с хозяином Дома кино Юлием Гусманом встречается с руководством налоговой полиции. И Гусман громко, на всю матушку Россию, кричит, устраивает разнос руководству за то, что налоговая полиция посмела заподозрить шоу-бизнес Лисовского в сокрытии доходов и провела у него обыск. «НТВ», показывая эту встречу в своих новостях, явно любителю Гусманом: так их! так их! После гусмановского крика следует комментарий диктора: стороны согласились с тем, что встреча была взаимно полезной, и договорились о проведении подобных же встреч и впредь. Это надо было понимать так, что налоговая полиция струхнула, а Гусман оставил за собой право явиться снова и показать кузькину мать – если налоговая полиция опять не разберется, кого можно подозревать и кого нельзя.

Вы думаете, эта демонстрация силы не замечается? Не действует? Странно было бы, если бы одна сторона покрикивала, издевалась, командовала, а вторая оставалась безучастной. Антисемитизм есть, но – как ответ на определенные грубые действия, как защитная реакция, как затаенное и выжидающее настроение. При виде Чубайса и Сванидзе он повышается, при виде честного политика понижается.

Его можно безрассудно провоцировать и дальше, но можно и снять – если бы этого захотели.

В. К.: Бывает, по телевидению и в газетах показывают группы молодых людей, у которых на рукавах – подобие свастики, а руки выброшены в покоем на гитлеровское приветствии. У вас тревоги и озабоченности не вызывают они? Как вы на них реагируете?

В. Р.: Я говорил уже, что между теорией и практикой фашизма большая разница. Ребята, которых мы видим на экранах, соблазняются рыцарскими лозунгами, романтикой служения национальному возвышению после национально-го падения, они ищут организации, жаждут дела.

А то, что столь искренние и благородные порывы находит именно это оформление, свидетельствует о кризисе нашего национального сознания, которое не может предложить им другой организации.

О фашизме серьезно рассуждал, говоря сперва о его плюсах и минусах, русский философ И. А. Ильин. Но он же позднее, после войны, предупреждал, что фашизм получил одиозную окраску и национальным движениям не следует пользоваться этим наименованием.

Есть понятия, которые полностью меняют свой смысл. Так произошло и с фашизмом. Свастика, форма приветствия и прочая его атрибутика не могут сегодня восприниматься иначе как символ зверства гитлеровской машины. Черного кобеля, как известно, не отмыть добела.

В. К.: Иногда ведь и вас, так же как Шафаревича, Кожина, Лобанова и других замечательных патриотов России, могут походя обозвать фашистом. Извините, но как же вы можете переносить такое? Как сердце-то ваше выдерживает все, что враги России обрушивают на вас?

В. Р.: Ничего, фронтовая действительность закаляет. Не нравится дурным, говорил Сенека, для человека похвально. Эх, если бы и впредь пришлось иметь дело с такими «фашистами», как мы! Не закрывающими глаза на не-

достатки и пороки своего народа, замечающими таланты и достоинства других народов. Но ни в своем, ни в каком другом народе не согласимся мы с «избранностью», с «выше всех», с правом навязывать свою волю и вкусы, с особым счетом к миру за свое присутствие в нем.

Года полтора назад в Милане вышла книга, которая наделала немало шума. Автор ее – историк и журналист, бывший посол Италии в России Серджио Романо. Называется книга «Письмо к другу-еврею» и посвящена, как можно догадаться, запретной теме. Романо с сочувствием пишет о евреях, книга не носит перепалочного характера. Однако есть вещи, которые он не может понять и о последствиях которых предупреждает своего «друга-еврея».

Речь в книге идет в основном о геноциде евреев во Вторую мировую войну и о том, что этот геноцид превращен теперь в заглавный и чуть ли не единственный. «Геноцид не является больше историческим эпизодом, подлежащим изучению в тех особых условиях, в каких происходило это событие, – замечает автор. – Он стал грехом мира против евреев, несмываемой виной, за которую каждый христианин должен был бы просить прощения каждодневно, он стал центральным ядром истории XX столетия. Благодаря такой исторической перспективе о любой стране и любом учреждении должно судить по их роли в этих событиях – так что в конце концов они рано или поздно оказываются на скамье подсудимых».

«Парадоксальным образом, – продолжает автор, – опасность нового антисемитизма наличествует именно в этом страстном стремлении нетерпимого еврейства КОНФИСКОВАТЬ ИСТОРИЮ, замораживая «иерархическую» важность событий и их значение... За всякой попыткой конфискации истории неизбежно следует другая, порой с противоположным знаком».

И – делает заключение:

«Трудно представить себе, чтобы геноцид евреев во время Второй мировой войны мог быть забыт или бы не-

дооценивался. Но и геноцид, как любое другое событие в истории, неизменно представляет собой сумму какого-то числа, в данном случае особо завышенного, индивидуальных ответственностей и исторического контекста... Имеет место... подразумеваемое убеждение, что геноцид евреев есть нечто большее, чем факт истории, а – коллективная вина некоторых наций и некоторых религиозных культур. Но именно в этой концепции “коллективной вины” скрывается один из самых губительных ингредиентов любого расистского феномена».

С выводом этим трудно не согласиться.

Выходит, что из своей национальной беды евреи сделали бизнес. Германия, как страна, попустившая Гитлеру, до сих пор платит государству Израиль в качестве контрибуций огромные деньги. Хотя при Гитлере такого государства еще не существовало. Славянским государствам за геноцид на оккупированных территориях Германия не платит. Швейцарские банки в минувшем году «страха ради иудейска» сдались и вынуждены будут возвращать деньги, владельцев которых нет в живых. Это исключение сделано опять-таки лишь для евреев. На днях газета «Труд» сообщила, что германские концерны «с прошлым» вынуждены выплачивать многомиллионные компенсации рабочим, чей труд принудительно использовался в годы войны. Но как, кому выдаются марки? На фирме «Сименс», к примеру, надрывались 60 тысяч согнанных из оккупированных стран, а компенсации получили две тысячи. Евреи. То же самое на других предприятиях.

Ну можете вы себе представить, чтобы русские, больше всех пострадавшие от Гитлера, добились бы для себя исключительного права на выплаты за жертвы и страдания своего народа? Напористости не хватает? Но напористости потому и не хватает, что мы не считаем себя лучше всех. Совести хватает. Опять утверждается, возвращается на круги своя: есть избранный народ и есть прочие народы, гои, с которыми можно не считаться.

Так от кого же, спрашивается, исходит угроза фашизма? Кто являет явные признаки расизма, радикализма, экстремизма, нетерпимости, говорит о своем превосходстве, считает себя неприкасаемым, не знает меры в своих притязаниях?

«Письмо к другу-еврею» С. Романо вызвало в Италии громкую полемику. Авторитетнейший журналист И. Монтанелли (он не раз выступал против антисемитских выпадов, и авторитет его не подвергается сомнению и среди итальянских евреев) писал в газете «Коррьере делла сера»: «Увы, дорогие друзья-евреи. Даже если бы оказалось обоснованным обвинение в адрес всего христианского мира – что не соответствует истине – в коллективном сообщничестве за геноцид, не только могла бы возникнуть, но и возникает реальная опасность выкапывания громадной пропасти между двумя мирами, христианским и еврейским, – пропасти, которая не может не стать предпосылкой новых гонений...»

Не приведи Господи! Но приведи, Господи, тех, кто неразумно вызывает эту опасность, к пониманию, что все мы живем в хрупком и все более ненадежном мире, где никому не следует преувеличивать свою силу и рассчитывать на безнаказанность.

Январь 1999 г.

Рубеж горя и беды или все-таки надежды?

Виктор Кожмяко: Дорогой Валентин Григорьевич, всегда большая радость встретиться с вами. И каждый раз об очень многом хочется вас спросить и от вас услышать. Мы беседовали год назад, а теперь 1999-й уже ушел в историю. Год двухсотлетия Пушкина, столетия Леонида Леонова и Андрея Платонова, 175 лет исполнилось Малому театру, в связи с двумя юбилейными датами – рождения и смерти – вспоминали Василия Шукшина...

Нынче такие юбилеи подвижников русского слова и вообще отечественной культуры обретают, согласитесь, осо-

бый смысл. Если раньше тот же Пушкин постоянно звучал по радио, шли пушкинские спектакли и концерты, фильмы и телепередачи, то теперь хотя бы благодаря памятной дате мы ожидали, что допустят его к народу. В чем-то ожидание сбылось, в чем-то последовало разочарование. Ну можно ли считать нормальным, например, что к двухсотлетию нашего гения так и не удалось создать ни одного отечественного фильма по Пушкину? Пришлось довольствоваться нам английской экранизацией под названием «Онегин» – весьма сомнительных достоинств.

И все-таки радости были. Прежде всего – завершение издательством «Воскресенье» совместно с Пушкинским домом полного собрания сочинений А. С. Пушкина, подготовка и выпуск которого были начаты еще в 30-х годах. Для меня прекрасным подарком стала книга Николая Скатова «Пушкин. Русский гений». Преподаватель Гнесинского училища Ольга Румянцева издала, причем в «Профиздате», замечательный нотный сборник романсов на стихи Пушкина – такого не было много лет. Радио «Маяк» (вот уж не похоже на него!) поддержало инициативу своего коллеги Владимира Самойлова и каждый день вело пушкинский цикл «России первая любовь» – стихи поэта в записи крупнейших мастеров художественного слова из фондов Гостелерадио. Незабываемое впечатление – спектакль Татьяны Дорониной «Одна любовь души моей»...

Скажите, а какие у вас наиболее дорогие воспоминания останутся после юбилеев минувшего года?

Валентин Распутин: Прошедший год в близком преддверии смены тысячелетнего календаря был сумасшедшим, нервным, как бы даже испуганным наступающими событиями. «Мы съезжаем, мы съезжаем, нам некогда, приходите в следующем году». «Съезжало» очередное правительство, «съезжала» Дума, «съезжал» президент, метались волжские губернаторы Аяцков и Титов, вместе с продажей земли выставившие свои имена на продажу.

И так везде и во всем. Впечатление такое, что, если бы не А. С. Пушкин, не 200-летие его рождения, мы бы этого года и не заметили. Пушкин задержал его в памяти и освятил своим именем. Весь год он разговаривал с нами о красоте и уродстве в искусстве и жизни, о власти и народе, о духовном и материальном; и о России, России, России...

Он и нас, нынешнее общество, высветил собою. И, надо сказать, порой являли мы перед ним весьма неприглядную картину. Не буду сейчас говорить об особой породе людей, ненавидящих вместе с Россией и Пушкина, о пошляках, зубоскалах и разного рода выставляющихся на фоне Пушкина, злобствующих, обделенных умом и талантом. Не о них речь. Но вот вспоминается торжественное собрание в Пскове, близ самых дорогих для Александра Сергеевича мест, накануне его дня рождения; переполненный праздничной, нарядной публикой зал, множество гостей со всей России – и Михаил Козаков на сцене, читающий Пушкина... под неприличные жесты. Зал смеется, аплодирует.

Меня это потрясло. С Козакова взятки гладки, он по природе своей, может быть, так устроен, что не видит Пушкина без неприличия, но зал-то, зал! Нет, раны от торжествующего хамства в культуре даже больше, чем мы предполагаем. Это зараза, которую скоро не вылечишь. И она вовсе не обязательно поражает только молодежь. Там же, в Пскове, вспоминается встреча в университете, тоже переполненный зал – и глубокие, преображенные лица студентов, отзывающихся на истинного Пушкина. В последнее время я все больше убеждаюсь, что нельзя о нравственных и духовных потерях судить исходя из возраста. В среднем возрасте, который нахлебался самой грязной воды бесноватой демократии, наверное, потерпевших больше, чем среди 18–20-летних. Совсем молодые в инстинктивном страхе отшатываются от того, что видят они в идущих поперед. Не так дружно и массово отшатываются, как хотелось бы, и все-таки заметно. Дай-то Бог!

И Пушкинский год пришелся здесь вовремя. Он и не мог, разумеется, прийти не вовремя, годы идут да идут своим чередом, их не остановишь и не переставишь в другом порядке. И все же кажется, что идут они не безучастно, а готовят события и общественное настроение к праздничной дате. К 1999 году Россия стала одолевать неприкрытую наглость и беспардонность «новой культуры». Ее, наглости, и теперь предостаточно, но не то уже, не то. Не тот хор, не тот тон. Не стыдно было встречать Пушкина. Они гавкали на него из подворотни, а на виду народного шествия, следующего для встречи со своим гением, испуганно поджимали хвосты.

Ну и, конечно, вы правы: новые книги, новые издания, разбуженный интерес, уточненные жизнь и смерть. Кстати, и кино, пусть не в юбилейный год, пусть чуть пораньше, но отозвалось на 200-летие. Я имею в виду редкий для нынешних времен по красоте и чистоте фильм Алексея Сахарова «Барышня-крестьянка».

В. К.: И все же горькое ощущение, с которым мы живем все последние годы – что русская культура словно загнана в резервацию, – остается. Достаточно вспомнить, как проходило празднование столетия Леонида Максимовича Леонова – одного из великих писателей XX века. Не Колонный зал Дома союзов, а Октябрьский, да и то выделенный с трудом. Не будь невероятных усилий нескольких энтузиастов, боюсь, что дата эта вообще осталась бы незамеченной. Ведь умудрилось же телевидение ни на одном канале, кроме «Культуры», ни единым словом не обмолвиться в те дни о Леонове! Ну а про другие-то дни и говорить не приходится. Еле-еле удалось наконец открыть мемориальную доску на доме, где жил классик русской литературы. Музей? Не знаю, дождемся ли. А между тем, по-моему, есть уже два музея Окуджавы. И Государственная премия имени Окуджавы есть – но нет, конечно, Государственной премии Леонида Леонова. Видно, не заслужил...

Или вот такой еще факт. Только на леоновском вечере я снова услышал – первый раз за многие последние годы – знаменитый русский народный хор имени М. Е. Пятницкого. Думал, что его уже и не существует! А на юбилее Малого театра перед зрителями вдруг появился (словно чудный сон, честное слово!) удивительный наш ансамбль «Березка». Но где же они, где эти изумительные творческие коллективы пребывают в другие дни? Почему мы их совсем не видим и не слышим? Почему так – они есть и вроде бы их нет? А главное – доколе?

В. Р.: Да, ощущение резервации, куда загнана русская культура, остается. Скромно и незаметно отпраздновали столетие Леонида Леонова и столетие Андрея Платонова. Последнего демократия 80-х годов эксплуатировала нещадно, но замазать его национальное нутро не смогла и теперь в почестях отказала. А Леонов для духовной родни Грацианского всегда был чужим, его даже на время нельзя было присвоить. Отсюда и вполне объяснимое отношение.

Но знаете, я не вижу в этом трагедии. Несправедливость – да, бессовестная подмена значимости литературных имен – да, жесточайшая цензура в отношении к «своим» и «чужим» – да; но Леонова, эту глыбу, эту высоту русской словесности, Приставкиным или Аксеновым все равно не закрыть. Можно пулять ими по Мастеру, но ему от этого ничего не сделается, а легковесные снаряды пострадают. И пусть Окуджаве открывают хоть десять музеев, но если нет музея Леонову или Платонову, все окуджавские музеи недействительны и нравственно несостоятельны. Литература (а тут речь надо вести и обо всем искусстве) – не тайга, где звери, захватывая чужую территорию, метят ее, ну, скажем мягко, своим духом. В литературе величие назначается по таланту и по сделанному не для так называемой элиты, а для народа.

Окуджаву хоть вмешаться не может в свое омузеивание, а вот Евтушенко при жизни (американской) потребо-

вал себе музей, прислав из-за океана иркутским властям чуть не ультиматум открыть в Зиме, где прошло его суровое детство, это материальное свидетельство в бессмертии. И, надо полагать, откроют – «демократический» Иркутск собирает сейчас подписи в поддержку пожелания Евгения Александровича. Можно досрочно и памятник открыть. Но что изменит это яростное самоутверждение в значении Евтушенко-поэта для русской литературы? Ничего. Явится на суд этой литературы с лишним пятном суеты вокруг собственного имени. Что написано пером – ни топором не вырубить, ни музеем не поправить.

...Я тоже слушал на юбилейном вечере Леонида Максимовича Леонова хор имени М. Е. Пятницкого. И смотрел на чудо его воскресения так: нет, братцы, такое искусство вам не похоронить. Кишка тонка. И хоть осыпьте вы друг друга своими «триумфами», в миллионы раз увеличивайте иудины тридцать сребреников, сколько угодно выдавайте злобу за талант, а мелкое мельтешенье за величие – все равно никогда вам и близко с такими голосами не быть. Ибо это, гонимое вами, и есть величие!

В. К.: Когда мы каждый раз начинаем говорить о том, в каком загоне уже не первый год находится у нас истинная культура, особенно национальная русская, невольно вспоминается крыловская басня: а Васька слушает да ест. Беда в том, что очень мало что-либо меняется после наших разговоров. Хотя я замечаю: в самое последнее время (может быть, это было связано с очередными думскими выборами) внимание власти к тому, что говорится в оппозиционной прессе, усилилось. У вас нет такого чувства? Правда, на телевидение, судя по всему, никак не хотят вас пускать. Да и для других писателей патриотического направления телевидение по-прежнему закрыто?..

В. Р.: Да, конечно, Васька слушает да ест. Они и не могут поступать иначе. Захватили в свои руки богатейшую страну, захватили мощнейшее оружие воздействия

на массы – ясно, что они будут пользоваться этим оружием до последнего часа, чтобы удержать власть. И русская культура для них, пусть даже и в дозированном виде, – это ослабление их идеологии.

На чем держится их идеология? Да ни на чем, кроме эгоизма, чистогана и ненависти к исторической России. Может ли на этом долго продержаться государство с огромными запасами культурного и духовного богатства, то есть может ли оно держаться на самоотрицании? Нет, не может. Большевики в 1917-м поняли это быстрее, чем либералы в 1991-м. Наши либералы, быстро переродившиеся в радикалов, попали сейчас в ловушку: и без исторической России им не продержаться, и национальную Россию позволять опасно. Они бы хотели разделить ее, историческую и национальную, но это тем более невозможно.

Десять лет ельцинская власть и слышать не хотела о Союзе писателей России. Вы знаете, что из всех творческих союзов сохранили свою структуру и работоспособность лишь два – Союз художников и Союз писателей России? Ничего, кроме ругани и проклятий, десять лет от власти и ее трубадуров мы не слышали. «Экстремисты», «шовинисты», «фашисты» и т.д. Но вот в минувшем ноябре писательский съезд – и поздравления от Патриарха, от Думы, Совета Федерации и многих губернаторов, присутствие на съезде вице-премьера правительства. Значит, выдержали осаду, подняли свою подвижническую деятельность во спасение России на ту высоту, что, люби не люби, а надо замечать. И «демократической» прессе пришлось прибежать на это событие. Теперь, надо надеяться, нам будет хоть сколько-то легче. Но дело не только в облегчении, а, что гораздо важнее, в признании организации, которая ни в чем не уступила – ни в правде своей, ни в наклоне писательского пера.

А совсем недавно, в конце января, мы провели выездной пленум в поддержку нашей армии. В Гудермесе провели, в Чечне, без всякого преувеличения можно сказать – в боевой

обстановке. Ведь это не на канарские пляжи теплой компанией сгонять для подъема собственного духа! Тоже пришлось сквозь зубы давать информацию об этом, хотя бы в три строки: и чего, мол, не сидится дома, чего напалзают на законное изображение порядочного интеллигентного общества?

В. К.: Конечно, о телевидении нынешнем нельзя говорить без гнева – так многое в нем возмущает. Предвыборные месяцы «обогатили» этот беспредел новыми чудовищными изысками Доренко, Сванидзе и прочих мастеров оболванивания людей. И ведь горько прав Феликс Феодосьевич Кузнецов, директор Института мировой литературы имени А. М. Горького, от которого я недавно услышал: для многих телевидение заменяет ныне церковь. Неадекватная замена, но, увы, факт есть факт...

В. Р.: Происхождение всех этих доренок и сванидзе простое, даже примитивное. Они не могли не явиться. Эти экземпляры легче поддались дрессировке, потому они перед нами, но могли быть другие того же густопсового таланта. Есть хозяин, есть украденная у нас страна, поделенная между несколькими кланами, и есть вывернутый наизнанку закон: вор и разбойник тот, кто вздыхает о справедливости. Едва вздохнет он где-нибудь в Норильске или Выборге, едва приснится ему утраченное сильное и самостоятельное царство-государство в окружении собственных духовных и материальных ценностей – тотчас неистовое: держи вора!

Но наблюдательный зритель видит: беспокойны, трусливы они, идеологи и охранники изнаночного порядка. Накануне думских выборов вцепились в горло друг другу, опасаясь, как бы другой клан не оказался в обмане изобретательней и не набрал больше голосов. Закончились выборы, принесли, на первый взгляд, победные результаты – и на другой же день снова наглость по адресу патриотического лагеря. Но стоило Путину некоторыми своими действиями загадать загадку – страх в глазах, сбивчивость в речах, испуганные оглядки через плечо: диктатура, диктатура!

Нет, они не чувствуют себя хозяевами. Почти все перевернули вверх тормашками, оболгали, изгадили, расхватили, а уверенности в безнаказанности нет. Чует кошка, чье мясо съела. И боятся они не бунта. Но Россия – такая почва, такой климат, что и в сверхтерпеливом народе выращивает она возмездие в виде, выражаясь думским языком, делегированной наверх сильной личности. Ведь посмотрите: сделать из Сталина чудовище не удалось. Его оправдание в народе достигло, как мне кажется, чрезмерной святости. И не удалось, несмотря на все старания либералов, обелить ни Троцкого, ни Бухарина, его противников в продвижении к неограниченной власти. Это о чем-то говорит.

Что касается того, будто телевидение ныне заменяет в некотором роде церковь, не могу с этим вполне согласиться. Если говорить о массовой отданности телевизору, которая достойна других, более чистых врат, – да, это так. Но и в этом случае я уверен: если даже от телевизора заметно не отбывает, в церковь все равно заметно прибывает. А уж где святость и где срамота, люди разберутся.

В. К.: Мы говорим с вами, Валентин Григорьевич, на рубеже двух веков и даже тысячелетий. Наступил последний год XX столетия. Совсем немного времени пройдет – и XX век со всем, что в нем происходило, со всеми личностями, которые жили и действовали в нем, сразу как бы отодвинется куда-то за горизонт, обретет новый исторический статус. Леонид Максимович Леонов, которого вы хорошо знали и с кем не раз посчастливилось разговаривать мне, Василий Макарович Шукшин, который был нашим современником, Николай Рубцов, Александр Вампилов, Георгий Свиридов, Михаил Шолохов, Андрей Платонов, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Максим Горький – все это будет уже прошлый XX век. А девятнадцатый, где Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Достоевский, Толстой и Чехов, – уже век позапрошлый, как сегодня пока для нас XVIII столетие – с Фонвизиним, Сумароковым и Державиним. Что-то происходит

в нашем сознании вместе с такой сдвижкой? Вообще, что вы испытываете в душе при этой, как ни говорите, несущей в себе нечто мистическое смене веков и тысячелетий, пусть и есть некая условность в самом определении времени?

В. Р.: Но эта условность давно как бы материализовалась, приобрела определенные очертания, ступенчатое восхождение, музыкальный ритм, рабочую загрузку. Мы воочию видим время в окружающем нас мире, в нашем сознании летоисчисление от Рождества Христова имеет и другое направление, другой смысл, нежели прежнее и устаревшее – от сотворения мира. Но сам переход из тысячелетия в тысячелетие есть мистический акт. Меняется вся платформа, вся опорность бытия. Жизнь остается все в том же текущем продолжении, но уже на другой высоте, под другим космическим дыханием. И нас не просто вдвинут туда, как скарб, чтобы везти дальше, – так и кажется, что под особыми лучами осмотрят все наше нутро, приплюсуют к той или другой сумме, пометят, как быть с нами дальше.

Конец обыденного, рядового счета совпадает еще и с полным крахом цивилизации. В этом тоже есть что-то мистическое, предостерегающее: приехали, так жить нельзя. Человек и сам сознает, что история человечества кончилась, потому что история есть осмысленное и поступательное движение, движение от худшего к лучшему. А мы погубили и извратили все, из чего могло бы браться улучшение. Начинается дикий и бесконтрольный постисторический период. И «юбилей» дается нам как предостережение, как последняя возможность выбора разумной жизни.

Но, если даже не задумываться об этом (нет сомнения, что человек постарается не задуматься, чтобы не портить себе настроение), все равно ощущение величия свершающегося события, другой высоты и другого неба над головой не должно никого миновать. Мы, может быть, и случайные, но счастливые избранники этого события, единственные из многих поколений людей, укладывающихся в тысячелетие.

И это нужно пережить внутренне, этим нужно исполниться со столь же возвышающим чувством. Ну не звери же мы в самом деле, чтобы, уснув в одном тысячелетии, как ни в чем не бывало через несколько часов проснуться в другом – и с обычной скукой взглянуть в окно?!

В. К.: А будет место литературе в XXI веке? Уже сейчас для многих интернет полностью заменил книгу, а звание писателя, некогда почетное и особо уважаемое, кажется, перестает таким быть. Ведь все знали Валентина Распутина, Василия Белова, Юрия Бондарева. А кого из писателей новых поколений знает теперь каждый в стране?

В. Р.: Да, но не может же все оставаться так, как сейчас, бесконечно. Если бесконечно и в массовом порядке заглядываться интернетом и прочими электронными штучками, то это смерть для литературы. И для человека тоже. А вероятнее всего – будут дергаться «автоматики» с выжженными интернетом душами, но будут жить и нормальные люди.

«Война и мир», говорят, введена в интернет, но попробуйте там прочесть «Войну и мир» – глаза спалишь и удовольствия не получишь. Рентгеноскопия великого текста, сухой паек, извращенчество. «Автоматикам» уже и сейчас нечего в себе питать духовной пищей, а лет через пятнадцать-двадцать они и вовсе рискуют превратиться в конструкции для приема информации и механических наслаждений.

Читать все равно будут. Возможно, на читателей жилой книги станут смотреть как на чудаков, но художественная литература не исчезнет. Мы с вами говорили о прошлогодних писательских юбилеях. 200-летие Пушкина, с одной стороны, вылилось в народное поклонение поэту, а с другой – в неосознанный массовый протест против стандартизации человека. Новый порядок вещей, признавая Пушкина формально, фактически отодвигает его, как и всю русскую литературу, на задворки механического, подвергающегося муштре сознания. Пушкин чувствен, необыкновенно красив и богат в стихе, он как дрожжи для души, поэзия его

мироточива – конечно, он не вмещается в размер духовно укороченного нового человека, он для этого мира чужак. А народ, интуитивно чувствуя это, вышел навстречу Пушкину как к одному из духовных спасителей.

На 70-летие Шукшина в Сростках собрались, как в былые времена, десятки тысяч читателей и почитателей Василия Макаровича. Такого не бывало давно. Все презрев и преодолев – и расстояния, и развал страны, и бешеные цены на проезд, съехались, чтобы поклониться писателю, бившему в колокол национального пробуждения, едва не со всех концов бывшего Советского Союза. Значит, читают, любят, чтят. Не по интернету читают!

Читать будут и Толстого, и Достоевского из позапрошлого века, и Шолохова, и Леонова, и Шукшина из прошлого. Кого станут читать из «настоящего», из наступающего XXI века, сказать пока трудно. Уровень литературы, к несчастью, падает. Но это опять-таки вопрос из глобальных, порожденных материальной цивилизацией.

В. К.: Знают или не знают писателя, артиста, композитора, художника – это нынче, разумеется, в решающей степени зависит от того же всемогущего телеящика. Кого он пожелает или не пожелает «раскрутить». Увы, в герои теперь выходят совсем не за талант или подвиг, не за труд или самоотверженность, какую-то особую душевную самоотдачу. Вот некий Джон (по фамилии, кажется, Карпентер) выиграл недавно в американской телевизионной игре миллион долларов – и тотчас стал известен всему миру. И уже журналисты стоят в очередь к нему за интервью. А ведь вопрос-то у них у всех только один: «Что вы почувствовали, когда стали миллионером?» Маяковский когда-то говорил: «Я поэт. Этим и интересен». Ну а чем может быть интересен этот Джон? Между тем популярнейшая Книга рекордов Гиннеса, наверное, в подавляющей степени состоит из такого рода «достижений» – кто больше всех выиграл, съел сосисок, выпил пива или виски... Вот

какие ориентиры для восхищения и подражания выдвигаются людям на XXI век. Разве не так?

В. Р.: Да, приходится соглашаться. Мир съехал с одних основ, где мерою прочности и подражания были героизм, красота, нравственное здоровье, любовь, и наполз, потеряв управление, на другие, которые прежде признанием не пользовались и воспринимались как уродство. Случались и в России охотники за один присест съесть несколько сот блинов и отдать Богу душу. Но в анналы истории их имена не заносились, и рекорды сумасшествия тогда еще не регистрировались: Книги Гиннеса не было. Что там со-сиски! Автомобиль по частям скушал один австралиец за несколько лет и выиграл миллион долларов. Покорение Северного и Южного полюсов, восхождение на высочайшие вершины, морские переходы вокруг света на легких парусниках, космические полеты и прогулки по Луне перешли в разряд мелких и наскучивших происшествий, а вот любовные похождения принцессы Дианы поставили на голову всю планету. Людей толкают к низменному, происходящему из «подполья», из темного, античеловеческого. Внимание переключается на примитивные и извращенные формы удовольствия. Удары по психике сделались такой же необходимостью, как хлеб. Чтобы попасть в парламент, нужно иметь грязную репутацию, скандальную славу; чтобы выйти на сцену, не талант требуется в первую очередь, а какая-нибудь «пряность», вульгарность, способность к выходкам. Что был бы авторитет Клинтона без Моника Левински, что был бы авторитет Ельцина без его пьяных выходок! Тьфу, а не президент сверхдержавы без скандального ореола!

Это признаки вырождения. Будем надеяться, не окончательного. Но мир, который пытается утвердиться на ценностях со знаком минус, бравировует «альтернативной» нравственностью и сознательно отдает на заклятие святыни, – такой мир должен или заблуждаться относительно

своих запасов положительного, или вообще ни о чем не задумываться, пустившись во все тяжкие, или поставить своей целью мучительное самоуничтожение.

Тяжело да и, кажется, бессмысленно об этом говорить. Какие-то частности, болезни, искажения время от времени еще могут с трудом замечаться. Но замечать общее погружение Атлантиды в грязные и темные воды Мирового океана считается ересью и паникерством.

Быть может, Россия, как особая и «отсталая» страна, как страна большая и крепкопородная, и держала на плаву Атлантиду. Быть может, и способна была бы удерживать еще сроки и сроки, приди в России к власти разумные и нравственные люди.

В. К.: Самый заветный мой вопрос, с которого я хотел начать нашу беседу, но вот не смог сразу выговорить, связан с двухтысячелетием Рождества Христова.. Вы – писатель, по духу православный. Скажите, пожалуйста, что значит для вас эта совершенно необычная дата? И вообще, что вы думаете о судьбах христианства, особенно православия, в наше горькое и губительное время? Дает ли православие надежду России и русскому народу в грядущем веке и наступающем третьем тысячелетии?

В. Р.: Оно дает нам прежде всего надежду нынешнего нравственного и духовного выправления. Это было по меньшей мере непродуманно со стороны захватившей власть десять лет назад российской «демократии» – признать православие и отказать в праве на существование национальной России. Национальная Россия тысячу лет питалась и воодушевлялась православием, их не разъять. Еще раньше эта же ошибка была сделана национал-коммунизмом, появившимся, на мой взгляд, примерно к концу 70-х годов и вынужденным молчаливо понимать, что на народной безличности дальше ехать нельзя; так вот, ошибкой его было то, что слишком долго кряхтел он, пуцать или не пуцать веру, которая составляла дух и лицо нации.

Западный христианский мир встречает свое двухтысячелетие с явными признаками кризиса и похолодания к заповедям Христовым. Это особый разговор, о столь глобальных вещах несколькими фразами не сказать. Связан этот кризис с «родимыми пятнами» Запада, приобретенными во второе тысячелетие, – такими, как индивидуализм, победа материальных интересов над духовными, победа расчета над Любовью, главным словом Христа. Они и «пригнули» христианство в свою сторону, «исправили» подвиг Христа. Слишком высоки и тяжелы оказались дары для слабой души. Огромные аудитории на площадях, которые мы видим по телевизору при поездках Папы Римского, могут быть свидетельством лишь того, что каждодневный христианский подвиг стараются подменить массовой и одновременной индульгенцией по отпущению грехов. Я бывал и в католических, и в протестантских храмах, они больше похожи на величественные памятники былому могуществу веры.

Не хотелось бы заводить старую пластинку: у них там все плохо, у нас здесь все хорошо. Но, я думаю, православие в России получило ныне действительно свежее и очистительное дыхание. Восстанавливаются старые храмы и строятся новые, миллионы людей пришли туда с молитвой. Русь, спустя тысячу лет после первого, словно приняла второе крещение. И, будем надеяться, оно не опоздало. У нас не так уж много опор, на которые мы можем без опасения рассчитывать в своем воскресении, – так давайте же поверим в ту, что способна дать целительные силы.

Но, повторю, эта тема требует более подробного и серьезного разговора.

В. К.: Хотел бы спросить вот о чем. Замечаю, что в последнее время у нас все более распространяется убежденность, что Россия с ее историей такова, что любить «эту страну» абсолютно не за что. То есть давний спор Чаадаева и Пушкина решается совсем не в пользу Пушкина! Об этом свидетельствуют и письмо некоего 20-летнего молодого че-

ловека «Я стал презирать Россию», опубликованное в «Советской России» 2 сентября прошлого года, и письмо 62-летнего пенсионера К. В. Авдеева, напечатанное в «Правде» и озаглавленное тоже весьма характерными словами автора: «Пусть на месте России образуется бездонный океан...» Вот до чего она плохая, нелепая, никчемная и никудышная, наша Россия. Что вы думаете обо всем этом? Почему вдруг снова усилились такие настроения и как им противостоять? Ведь люди, не любящие свою Родину, едва ли смогут поднять ее из пропасти, в которую нас всех столкнули. И насколько, по-вашему, заражена этой болезнью антипатриотизма сегодняшняя молодежь?

В. Р.: Меня такие люди ничуть не удивляют. Они были всегда – и до Чаадаева, и до Смердякова, высокомерно проносившего, что «эту проклятую страну надо завоевать иностранцам», и после него. Но Чаадаева к числу хулителей России надо относить осторожно, он сказал о ней много верного – и в критике ее, и в ее защите. А от Смердякова, этого порождения отрицания и зла, иного отношения к России и ждать было нельзя, и оправдывает его только то, что он литературный герой, а не историческая личность. Но герой, созданный гениальным художником не на пустом месте. Такие «мыслители» водились, и они, как правило, любили покрасоваться своим «особым» мнением.

Природа этих людей никакой тайны не представляет. Берутся хулители обычно из неудачников, из людей, в чем-то ущемленных, чего-то недобравших, личностно неполноценных, злых, и вот – снимающих с себя ответственность за свою неполноту: это она, страна, в которой выпало мне несчастье жить, виновата, это она плоха, а не я, это из-за ее худородства я страдаю. И их это возвышает в собственных глазах, подобно тому как потенциальный убийца, только еще замысливший преступление, сразу выделяет себя из всех прочих. Им представляется, что, для того чтобы судить и проклинать Россию, насыпать на

нее напасти, надо стоять высоко. Вот почему они пишут в газету, им требуется своей больной душой, принявшей отрицание, помахать, как знаменем, им хочется, чтобы их заметили. Ну как же: «я стал презирать Россию», «пусть на месте России образуется бездонный океан». Такое «громоподобие» в Америке должны услышать и заметить! Но «громоподобия» не получается, такому бунту цена невелика, а в последнее время в особенности.

Это – знакомая порода людей, известный психологический тип. России стало трудно, потребовались воля, терпение, подвижничество, даже мученичество, чтобы жить в ней, на подвижничество и мученичество они не способны – отсюда и прибавление к этому типу. Сначала они отказываются от немощной матери (не публично, но в душе: «Она уже ни на что не годится, без нее мне было бы удобней»), потом – отказ от ослабевшей в несчастьях Родины, а затем, перевези их завтра в Америку и не придиись она им по душе, ибо, конечно же, Америка не произведет их в герои и нянчиться с ними не станет, – затем проклятия в адрес всего мира и «пусть на месте всей земной суши образуется бездонный океан».

Конечно, объяснить этот сорт людей можно, но понять и принять их присутствие среди нас очень трудно. Иное дело – духовные чужаки, захватившие в России власть и занятые перестройкой ее по своим потребностям. Они все делают для того, чтобы оболгать Россию, опорочить ее прошлое, оклеветать народ, вызвать в нас, простодушных, неприязнь к своему родительскому миру. Тут война, самая настоящая война, пока идеологическая, духовная, в которой поношение России стало оружием растления. Все ясно. На войне как на войне. Но надо иметь какой-то уж очень тяжелый душевный изъян, какое-то уж очень слабое притяжение к родному, чтобы, будучи русским по рождению (да и татарин, башкиром, якутом тоже), с таким бешенством восстать даже против самого факта существования России. Бог с ними, у них будет свой крест. Россия от подобного ново-

диссидентства пострадать не может. У нее, надо думать, на этот случай сделаны запасы. Массового исхода из нее, пока она остается собою, русского населения, равно как татарского и якутского, не предвидится, а не любящим ее, сморщившим свое сердце до идеала чужого рая, – туда и дорога.

В. К.: Вот что еще, очень важное. Ельцину в его речь перед уходом советники придумали хитрый ход: попросить у людей прощения. Расчет на то, конечно, что по-русски, по-христиански принято отзываться на такое, если просьба искренняя. И вот теперь я людей спрашиваю: а вы, лично вы простили Ельцина?

В. Р.: Да ведь он прощения-то просил не у нас с вами, не у народа за то, что ограбил его. Он просил его у тех, кто сел нам на шею, за то, что недоограбил нас и не смирил до положения бессловесных тварей.

Нет, государственному преступнику с таким набором преступлений прощения быть не может. Церковь говорит: прощайте и любите своих врагов, но не врагов Бога. Так и в этом случае: мы вольны обниматься с кем угодно, но не с врагами России, которые растлили ее и осквернили, применили по отношению к ней тяжкие истязания, приведшие к миллионным жертвам. Это общие слова, но правосудие составит обвинительное заключение по полной и необходимой форме. Преступления против народа в разряд мелкого пьяного хулиганства перевести нельзя, если мы еще хоть сколько-нибудь уважаем себя.

Можно сослаться, кстати, и на практику так называемых демократических стран. Южная Корея дважды приговаривала своих президентов к смертной казни за единичные расправные действия над народом и финансовые махинации. Чили, поддерживаемая Европой, добивается суда над престарелым Пиночетом за противозаконные карательные меры против народа, которые рядом с карательными мерами Ельцина не идут ни в какое сравнение. Германия таскает по тюрьмам оставшихся в живых руководителей ГДР –

за то только, что они защищали интересы своей бывшей страны. Западная демократия исполняет свои законы, как известно, выборочно, и тем более она постарается не дать в обиду нашего (в том-то и дело, что не нашего!) «первого президента», который преподнес ей в дар огромную страну. Но это уж не его, не Запада, забота, как нам со своим погубителем быть. С ним и со всей его камарильей, тянувшей Россию на пытку. И наследник Ельцина легкомысленно подписывает документы с заверениями, что мы его будем любить.

«Никто не забыт, и ничто не забыто» – этот нравственный закон должен действовать как по отношению к спасителям нашей страны, так и к губителям тоже.

В. К.: В заключение хотелось бы услышать, каким был для вас творчески этот год и что планируете на ближайшее будущее?

В. Р.: Для меня, к сожалению, прошедший год был не из удачных: болезни, операции, малая производительность за письменным столом. Но ляжку свою по возможности тянул.

Жить и работать в России всегда было интересно, а с наступлением 2000 года стало еще интереснее. Я не сомневаюсь в том, что наша возьмет, но хотелось бы – побыстрее.

В. К.: Такое пожелание разделяю полностью! А вот со столь строгой самооценкой вашей позвольте все-таки не вполне согласиться. Даже только два рассказа – «Изба» и «На родине», опубликованные в прошлогодних номерах «Нашего современника», сделали бы честь любому классику. Поверьте, я ничуть не завишаю. А ведь были у вас еще прекрасные работы о Пушкине и Леонове, напечатанные в «Советской России» и «Правде», а затем в журнале «Роман-газета XXI век». Были многочисленные устные выступления – часть вашей постоянной и огромной общественной деятельности. Нет, по-моему, несмотря на болезни, год ушедший был для вас очень насыщенным. Низкий поклон вам за все ваши труды. И новых побед, одолений, свершений!

Февраль 2000 г.

ВСТУПАЯ В НОВОЕ СТОЛЕТИЕ И ДАЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

Доля ты русская...

Виктор Кожмяко: При переходе из одного века в другой, из прошедшей эпохи в следующую все так или иначе думают о том, что впереди. А когда Родина в столь невыносимом состоянии, как наша все последние десять лет, порой кажется, что думать о чем-либо ином вообще невозможно. Как видятся сегодня вам, Валентин Григорьевич, завтрашний день и начавшийся век? Есть ли отрядные надежды на изменение в ближайшем будущем нашего положения к лучшему?

Валентин Распутин: У меня такое впечатление, что мы все испытываем невольную радость от сравнительно благополучного перехода в новое столетие и тысячелетие. «Сравнительно» – потому что природа показала свою мощь: были разрушительные и землетрясения, и наводнения, и тайфуны, и несусветная жара в Южной Европе, и несусветные морозы в Сибири, но без апокалипсических разломов и потопов обошлось. И мы оказались на другом берегу. Именно это ощущение: на другом берегу. Там, где мы были только что, закончилась история, в которой человек еще мог принимать участие (Фукуяма, американский философ японского происхождения, десять лет назад написавший статью «Конец истории», прав), а вместе с историей закончилась человеческая цивилизация и общественная эволюция. Позади остались захоронения тысячелетних трудов и упований. Вокруг нас подобие прежней жизни, те же картины и те же дороги, к которым мы привыкли, но это обманчивое видение, тут все другое. И мы другие. И этот «подарок» новой календарной эре и всему миру сделала Россия. Она вдруг сошла со своей орбиты и принялась

терять высоту. Но значение и влияние ее в человеческом мироздании было настолько огромным, удерживающая ее роль настолько велика, что вся планета, независимо от того, что кто-то считает себя в выигрыше, почувствовала неуверенность и тревогу, всех обожгло наступление новой реальности на противоположном берегу Реки жизни.

«Обожгло» – не значит, что привело в чувство и разум. Ненавидевшие Россию не остановятся в своей ненависти к ней, и внутри России те, кто составил себе профессию по-змеиному набрасываться на любое мало-мальски спасительное для нее дело, ничего, кроме яда, вырабатывать не могут. Из России будут продолжать делать самоубийцу (для столь огромной величины это не моментальное действие) и одновременно обучать ремеслу самозахоронения: оторвали от себя кусок тела, к примеру, национальную культуру – погребли, оторвали остатки отечественного образования, как сейчас происходит, – погребли... И так далее: богатства земные, духовные, природные и исторические накопления... И это может продолжаться до тех пор, пока, кроме имени, от России ничего не останется, или пока мы будем возиться с навязанными нам, как условие капитуляции, «правами человека» во вред правам народа на жизнь. О каком благополучии может идти речь, если права грызунов у нас पहले и важнее права цельного организма на здоровое существование?

На этом берегу, где мы очутились, ступив в третье тысячелетие, все будет жестче, откровенней, без всякой там человеколюбивой риторики. Слабым здесь делать нечего. Нам или придется в короткое время стать сильными, притом двойной силой – духовной и физической, или готовиться к худшему.

В. К.: Продолжают говорить о загадке Путина. Для вас есть такая загадка?

В. Р.: Особой загадки тут, мне кажется, нет: Путин расчетлив, осторожен, он выжидает больше, чем делает.

Все, что он делал до сих пор во внутренней политике, это чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Попытки договориться с олигархами, чтобы они поделились с государством награбленным, приведут к ничтожным результатам: эта порода людей на милосердие не способна, а требовать именем закона президент не в состоянии, у нас нет таких законов. Попытки вытащить народ из черной нищеты тоже привели к ничтожным результатам: прибавки жалования и пособия тут же съедаются нарастающей дороговизной жизни, и единый Чубайс сильнее в своем мародерском величии всего правительства. Даже малого шага не сделано пока к объявленной диктатуре закона, и едва ли приведут к успеху попытки государства склонить на свою сторону большими и даже огромными окладами служащих власти и правосудия... Само по себе это парадокс, ненормальность: чтобы госслужащие служили государству, а не врагам его, и судьи правили закон, а не беззаконие, их приходится прикупать, создавать для них особые условия, а долг и совесть уже не играют никакой роли, они даже в расчет не берутся. А если так, если долг и совесть отменены в отношениях государства с подчиненными и присяги не существует, кто брал, тот и брать будет, увеличится только размер взятки. Преступные империи, даже каждая из них в отдельности, сегодня, похоже, богаче империи государства Российского, их это в расход не введет.

Год в должности президента – конечно, не ахти какой срок, и окончательные выводы делать рано. Но это все-таки срок, в какой замечаются перемены. И, если мы продолжаем обсуждать «загадку» Путина, – стало быть, перемены эти остаются неопределенными и решительный шаг во внутренней политике в ту или другую сторону сделан не был. Наши упования связаны, как правило, с патриотическими декларациями президента и искренностью их произношения, а наши разочарования – с тем, что в действительности от них мало что меняется.

Возьмем культуру, нам с вами это ближе. Лучше в последний год стало дышаться культуре, которая на протяжении столетий составляла силу и славу России? Нет, не лучше, создается впечатление, что для министерства с этим названием русская культура нечто такое, о чем ему хотелось бы навсегда забыть. Но в министерстве тоже работают государственные служащие, и, если бы государство сознавало, что от макушки до пяток оно пронизано духом отечественной культуры, даже и несмотря на гонения ее в последние времена оно бы позаботилось, чтобы и служащие его проникались этим духом. А служащие прямо на этой ниве – в особенности. Значит, не сознает, отворачивается от родного, заглядывается на чужие игрища. И президент особо отличившимся в попугайничестве и издевательстве над песнями «этой страны» раздает награды. Так получается. Что было при Ельцине, то и осталось. Кого мы с вами можем припомнить из патриотического лагеря – из патриотического, а не враждебного России, кто был бы замечен и отмечен и кому с благодарностью было воздано за труды по спасению... эх, сколько же всего нужного и родного пришлось спасать в эпоху грязи и мрази!.. Дело это само по себе не требующее наград, но достойно их все же более, чем разрушение или равнодушие.

В. К.: И все же какие-то перемены происходят. Путинское время чем-то уже отличается от ельцинского. Хотя есть здесь, по-моему, немало оснований для новых тревог. Так, признаюсь, у меня сжалось сердце, когда от одного за другим услышал от двух писателей-патриотов, что приходили их снимать для телевидения. Казалось бы – порадоваться. Однако это может быть и знак того, что попытаются как-то использовать уважаемых этих людей в своих целях. Телевидение-то по сути своей прежним остается! И не представляю я, не верю, что будет подлаживаться под патриотически настроенных писателей. Скорее уж постарается их под себя подладить. Как вы считаете, есть такая опасность?

В. Р.: Думаю, таких писателей-патриотов, как, предположим, Михаил Алексеев или Юрий Бондарев, телевидению под себя не подмять. Тут скорее другое. Вероятней всего, откуда-то сверху было высказано пожелание, чтобы телевидение делало хотя бы видимость плюрализма... Того самого, да, того самого, о котором, оседлав власть, и думать забыли. Мол, пора делать вид, будто мы всем даем слово. А это «всем» – одно мнение на тысячу противоположных. Такое теперь «равенство». В исправление телевидения я тоже не верю при теперешних его хозяевах. Больно уж выгодное это занятие – бесчестить Россию и развращать народ.

В. К.: Если говорить о силах, которые с самого начала так или иначе противостояли ельцинизму, то приходится признать: увы, не было и нет в них не только единства, но и подчас элементарного взаимного понимания и уважения.

Не потому ли победа оказалась весьма проблематичной?

Не скрою, с болью воспринял я в прошлом году памфлет Владимира Бушина «Билет на лайнер» – в ваш адрес. Поводом стало присуждение вам Солженицынской премии. То, что отношение к такому факту было неоднозначным, меня не удивило, этого следовало ожидать. Но чтобы патриот-публицист буквально изничтожил за это писателя-патриота...

Кстати, в памфлете том и я фигурирую среди ваших «чувствительных почитателей», выдавших вам титул «со-весть народа». Что ж, не отрекаюсь. Остаюсь почитателем, по-прежнему высоко ценю совесть вашу, которой, увы, очень и очень не хватает у нас сегодня литературе, в том числе публицистике. Однако не от одного человека довелось слышать: «Да зачем Распутин принял эту премию от Солженицына? Сам-то Солженицын не принял же орден от Ельцина!» Интересно, а вам говорили это?

В. Р.: Говорили... Как не говорили... Почти в тех же самых выражениях. Логика поразительная: Солженицын, отказавшийся от награды Ельцина, – патриот, а Распутин, принявший премию от Солженицына-патриота, – отступ-

ник и предатель. Это у одних, умеющих заблудиться в двух соснах. И есть другие, Бушин среди них, не желающие еще с 70-х годов даже слышать имени Солженицына, оно их сразу ввергает в неистовство. Вот так же не принимают они православие, русский человек, по их мнению, не должен был в этом отходить от ортодоксальной коммунистической идеологии или хотя бы раздвигать ее до признания Бога.

О Солженицыне. Не настолько сильны мы и богаты и не настолько умопомрачение, как партийная дисциплина, стеснило наши взгляды и вкусы, чтобы не признавать Солженицына-художника и Солженицына-мыслителя. Разве не прав он был еще тогда, в 70-х, в своем «Письме к вождям Советского Союза», в статьях «Раскаяние и самоограничение», «Образованщина», а затем в «Как нам обустроить Россию»? Разве не зачитывались мы его «Одним днем Ивана Денисовича» и рассказами, и разве не он в «Красном колесе» показал нам роль Февраля – роль, которую мы тогда знали слабо? Разве не Солженицын писал статьи в защиту русского языка и разве его «Наши плюралисты» не были решительным отпором уже из изгнания распаленной в мире русофобии? Бушин может ответить мне, что он не зачитывался и не знал, – и это будет неправда: Бушин, по своей уникальной сыскной способности все знать, мог знать и об этом (но не написал же!), а Россия, свидетельствую, во многом жила в отношении своего прошлого в потемках.

Солженицын не нуждается в моей защите, и я не рассчитываю своим заступничеством изменить отношение к нему среди его ненавистников. Но умеете в великане признать великана, пусть и неприятного вам, пусть и ошибавшегося, найдите способ измерить его истинный рост.

Я не во всем согласен с Солженицыным, и он это знает. Но одно дело – не соглашаться (не все из нас и с Пушкиным соглашались, когда он заглядывал в масонскую ложу, но Пушкину от этого ни холодно ни жарко) и совсем иное – во

враги его в этом несогласии, во враги. И никаких заслуг не принимать во внимание.

В. К.: Когда я читал памфлет Бушина, меня особенно ударило в нем то, как он передернул, исказил смысл вашей речи при получении премии. Цитирует:

«Чего мы ищем?.. Мы, кто напоминает, должно быть, кучку упрямецв, сгрудившихся на льдине, невесть как занесенной ветрами в теплые воды. Мимо проходят сияющие огнями огромные комфортабельные теплоходы, звучит веселая музыка, праздная публика греется под лучами океанского солнца и наслаждается свободой нравов...»

И дальше:

«С проходящих мимо, блистающих довольством и весельем лайнеров кричат нам, чтобы мы поднимались на борт и становились такими же, как они».

У вас, насколько я понимаю из контекста, разговор идет о современной так называемой цивилизации, американизированной, западнизированной и все более глобально захватывающей весь мир своими бездуховностью и безнравственностью. Конечно, речь и о культуре, литературе. О реализме, который отпевают теперь как безнадежно устаревший, консервативный, и, с другой стороны, о всяческих модернистских и постмодернистских модных течениях, внешне блистающих, сияющих и гремящих, ублажающих безбрежной свободой нравов праздную жирующую публику. Бушин же переводит все из плана культурологического и литературного, духовного и нравственного в план сугубо политический! «Кому это – нам? – спрашивает. – Мне, например, не кричат». Получается, что власти зовут вас, Распутина персонально, на лайнер «Новая Россия». И вы, восхищаясь, соблазняясь, чуть ли не упиваясь, то есть польстившись на приманку, предаете товарищей-патриотов...

Да разве можно так все передергивать?

В. Р.: Ну, это уж как полагается в охотничьем азарте, когда сверка с текстом не поспевает за бегом ретивого

пера, когда сердце выстукивает одно: ату его, ату! Думаю, Бушин и не читал моего выступления, а только торопливо похватал отдельные куски, счел их подходящими для своего приговора, опасаясь, что полный текст может оказаться неподходящим, и повел стрельбу. У меня под океанским лайнером имеется в виду торжествующий в безнравственности и зле мир, в который издевательски могут приглашать и Бушина, и меня. Но ни он, ни я для этого мира не годимся, в этом смысле мы с ним стоим на одной доске (читай: на льдине), нравится такое соседство Бушину или не нравится. Горячность ума – дело незапретное, но зачем же действительно передергивать? Можно было о своем решительном нежелании знаться со мной сказать более достойным образом.

В. К.: Такие извращающие смысл перехлесты, а иногда и сознательная подтасовка, к сожалению, становятся в последнее время чуть ли не нормой в произведениях Владимира Бушина. Объяснение и оправдание тут какое может быть? Дескать, сатира имеет свои законы. Она допускает преувеличения, заострения, обобщения, это же вам не скучная и унылая фактография, от которой скулы сводит.

Здесь все весело и живо, искрометно и ядовито!..

Так-то оно так, однако переворачивать смысл высказанного оппонентом с ног на голову ради красного словца даже самому талантливому сатирику, по-моему, не дозволено. В противном случае далеко ли тогда будет Владимир Сергеевич Бушин от какого-нибудь Александра Николаевича Яковлева? Тогда они один другого вполне будут стоять. А ведь такие методы применяются по существу в борьбе против своих. Именно так получилось у него и в статье «Почему безмолвствовал Шолохов». Или, я уж не знаю, – не считает теперь «своими» Владимир Бушин ни вас, ни меня?

В. Р.: Жанр жанром, но ведь и выбор жанра определяется человеческой индивидуальностью. Хлесткое перо требует хлесткого сердца. Горевать по поводу того, что

Владимир Бушин не считает нас «своими», если это действительно так, не следует, мы уж как-нибудь и на своем месте будем продолжать посильную работу.

Беда в другом, об этом вы уже упоминали. В неуважении друг к другу, в нежелании друг друга понять, постоянной распре, сжигающей всю нашу энергию. Что это – национальная черта или действие порождаемой всякой смутой внутриутробной бациллы? Не хочется и доискиваться, коли от обнаружения причины все равно ничего не изменится. С жестокостью, ничуть не меньшей, чем решения исполкома народовольцев, вынесли «приговор» Владимиру Солоухину: «Не наш, поди прочь!», тот же окрик прозвучал в адрес Игоря Шафаревича, пытались измазать в грязи имя Владимира Крупина, не однажды набрасывались на многотрудливого Валерия Ганичева... Все крупные фигуры, вставшие за Русь давно. И чем кончается ныне? «Шаг влево, шаг вправо – побег, измена». И такое не только в московских кругах, а по образцу их везде в России. Поэтому, не умея объединиться, договориться, заваливали мы одно начинание за другим. Нас легко было не замечать, гасить нашу деятельность: мы это творили своими руками. Когда требуется защита Отечества, в ополчение идут, не считаясь, кто монархист, кто анархист, а кто коммунист, а у нас партийные интересы оказываются сплошь и рядом выше России. Неудивительно, что большей пользы добиваются те, кто уходит в мирскую и земскую работу, распоряжается собою свободно, согласно совести и таланту.

Горько говорить, но это так: обличать друг друга во всех смертных и бессмертных грехах сделалось профессией среди недавних соратников. Видимо, оттого, что преступная власть от наших обличений страдала мало, другому чувству вырабатываться было не из чего, и весь пафос недовольства перешел на ближних. Так легче, и результаты налицо. И больно, и стыдно от какой-то общей нашей вины несогласия.

В. К.: А тут еще смерть вырывает из наших рядов едва ли не самых достойных и мудрых. Вот ушел Вадим Кожинов. Трудно даже это произносить. Непоправимое горе! Как подумаешь, что уже больше не поехать к нему, не поговорить, не посоветоваться...

В. Р.: Это огромная потеря, пока еще не осознанная полностью. Для такого осознания надо подготовить место, как подготавливается оно длительной болезнью, свыкнуться с мыслью, что человека может не быть. А тут вдруг сразу, не отрываясь от работы, точно неосторожно оступился и «провалился». Мы настолько привыкли, что у нас есть Вадим Валерианович Кожинов и он, сколько бы ни путали путаники отечественной культуры и истории, все расставит по местам, поймает за руку, всему даст точное объяснение... – настолько привыкли, что и в горе прежде явилась невпопад какая-то детская обида: да что же это он? Как теперь без него?

«Исследователь» и «следователь» – слова близкие, одного корня, и означают они поиски правды. Кожинову в последнее, самое тяжкое для России, преступное десятилетие, быть может, больше даже подходит «следователь» – в нравственном смысле: свои поиски он вел не бесстрастно, не по-буквоедски, а словно спасая самую близкую судьбу, торопясь представить доказательства оговора и подтасовок. Даже тому, что происходит на наших глазах, Вадим Валерианович давал свое самостоятельное объяснение, и оно оказывалось более верным. Он постоянно находился рядом с нами, но шел как бы чуть обочь – откуда видно лучше и где потайное смещение культурных и общественных пород оставляет читаемые знаки.

Что говорить! Он был одним из тех и даже более чем кто-либо другой, кто помогал нам добывать Отчизну нашу. Он очень нужен сегодня и как нужен был бы завтра...

В. К.: Есть одна острейшая проблема, которая разводит людей, даже иногда искренне любящих свою Родину, и разводит очень резко. Это отношение к социализму, к

нашему советскому прошлому, а через него – и к нашему будущему: каким ему быть. Тема, о которой мы много говорили и с Вадимом Валериановичем. Он ею в последнее время все больше занимался и, насколько я понимаю, собирался заниматься еще больше.

Гениально сказал в свое время Есенин: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Наверное, такое большое, великое, даже величайшее, как советское семидесятилетие, будет в полной мере увидено и оценено лишь будущими поколениями. Но ведь очень многое, по-моему, уже сегодня ясно! Стало ясно даже для многих из тех, кто еще вчера оценивал советскую действительность почти сплошь негативно. Ельцинское десятилетие и для них выявило, что есть что, всем показало, сколько доброго, человеческого, истинно общинно-коллективистского мы потеряли. Недаром же Борис Примеров, трагический русский поэт, воскликнул в предсмертных стихах: «Боже, советскую власть нам верни!»

Я понимаю, что это тема для очень большого отдельного разговора. Да и не для одного, конечно. Но давайте хотя бы коснемся того, что мы действительно потеряли.

В. Р.: Только теперь начинаешь вполне понимать, в какой уникальной стране мы жили. Хлеб в столовых бесплатный, а в магазинах стоил копейки; образование бесплатное да еще и заставляли учиться (вот диктат!); о наркоманах слыхом было не слышать; из одного конца страны размером в шестую часть суши в другой ее конец можно было долететь за половину зарплаты, над бедностью которой теперь издеваются; искусства процветали отнюдь не за счет гадостей; интеллигенция с черными бородами и плутоватыми глазками не в Кремле восседала, а по кухням шепталась... И на что клюнули? На роскошные витрины? Они теперь и у нас сияют всеми цветами изобилия, за колбасой никакой очереди, но где встать в очередь за теми тысячами, чтобы купить самую дешевую?

Идеализировать советский период не надо, тягот, происходящих из твердолобой идеологии, не желавшей поступиться ни одной буквой, хватало. За это и поплатился коммунизм, получив Горбачева. Но социальные завоевания будут долго еще нам сниться как чудный сон. Да и кроме того – как можно отвергать целую историческую эпоху, в которой страна добилась невиданного могущества и стала играть первую роль в мире?! Это так же недостойно, как полностью отвергать предыдущий, монархический, период, который длился сотни лет, выстроил империю в самых обширных границах, а народ наш выстроил в такой духовной «архитектуре», что в красоте и тайне своей она не постигнута до сих пор. И это она дала Достоевскому право заявить о всемирности русского человека и вывести ее, всемирность, из национальных качеств. Но в том и другом случаях, как в случае с империей, так и с коммунизмом, обе системы рухнули прежде всего от внутреннего разложения. Самые талантливые и верные защитники монархии на исходе ее – М. Меншиков, Л. Тихомиров, В. Розанов – в голос вынуждены были признать: «прогнившее насквозь царство», «отшедший порядок вещей», «монархия разрыхлилась». Последние дни коммунизма проходили на наших глазах; мы свидетели того, что он не мог себя отстоять ни единым решительным действием. Как в том, так и в другом случаях обновление было необходимо. Но было необходимо обновление, а не полное разрушение и полное противопоставление. Не общественное бешенство, не расправа с тысячелетней традицией, равно как и с лучшим из последнего перед «рынком» строя. Силы, ввергнувшие Россию в катастрофу, известны, они сейчас жируют и насмеваются над нашей неспособностью извлекать уроки. Известен и тот «вол», которому вновь предстоит из последних жил вытягивать страну из пропасти, – народ наш, ему никак не дают выбраться из непосильной истязки. Мы твердим: национальное, национальное... Не было в XX

веке национальной политики в отношении к русскому человеку, и все «передовое человечество» призвали сейчас, чтобы не было ее и в XXI веке.

В. К.: Режет ухо и сердце (сколько уж мы об этом говорили!) вопиющая русофобия – на так называемом российском телевидении и по радио, в газетах и книгах. Не где-нибудь, а в России! Что-либо, на ваш взгляд, можно предпринять реальное, чтобы остановить в конце концов такой беспредел?

В. Р.: А что предпринять? Закон в Думе не примешь. Да и это значило бы расписаться в полной своей беспомощности – требовать закона, который предписывал бы Хакамаде, Немцову и всей этой теплой компании, так уютно устроившейся в России, уважение к русскому человеку. Не будут ни они, ни «гроздь» подобных им, облепившие все ветви власти, уважать нас до тех пор, пока не придадим мы твердости и крепости своему имени. Десятки тысяч человек получили в прошлом году новые российские паспорта, в которых не существует больше графы о национальности, а возмутился и написал об этом в газету («Советскую Россию») только один. Только один пришел в недоумение, почему, по какой-то государственной потребности в основном документе, удостоверяющем личность гражданина, изъято имя его народа. Точно так же многим тысячам из нас, летающих на самолетах, в авиакассах выписывают билеты на внутренних линиях на английском языке. Что, русский не годится, вышел из употребления? Массе людей наплевать, на каком языке компьютер оформляет им билеты, – лишь бы везли, и лишь один, насколько я знаю, пытается подать в суд на авиакомпанию «Сибирь», с которой имел он дело и которая не признает государственного языка. Пытается подать в суд, да не может найти адвоката, все они непонимающе пожимают плечами: зачем вам русский язык?

За что же нас уважать, если мы сами себя не уважаем? Если мы проглатываем как ни в чем не бывало любую

гадость и любое оскорбление в свой адрес? Это уже натерший мозоли разговор, и, как правило, дальше подобных восклицаний он не идет. Вот когда пойдет дальше, когда явятся организации, подобные правозащитным, которые отважатся не спускать поношения никому, от кого бы они ни исходили, и зададут несколько вопросов, до сих пор остающихся без ответа, Альфреду Коху, тому самому Коху, бывшему члену правительства, а теперь видному деятелю «Газпрома», предлагавшему в американской печати на головы никчемных русских натовские средства, – тогда, быть может, «оскорбленному чувству уголок» найдется в сознании русских. Но и в это я верю слабо: мы не евреи и в «себязащитном» деле неловки. Нас, похоже, можно поднять лишь из последнего, из окончательного унижения, но уж тогда – держитесь! Тогда разогретый пар способен выбить любые заслонки. Нет в мире ни одного народа, и русского в этом качестве тоже нет, который бы бесконечно позволял устраивать из своего имени отхожее место.

В. К.: А пока терпим, терпим и терпим. Сносим и проглатываем такое, что, казалось бы, ну невозможно вынести и стерпеть!

В. Р.: Доходит не только до парадоксального, но до чего-то фантастически издевательского и скорбного, не укладывающегося в сознание, хоть оно и привыкло к «демократическим» фокусам. Вот пример, способный, что называется, поразить в самое сердце.

Восемь лет американский финансовый магнат Сорос прикармливал журналы прозападного, так называемого либерального, направления, если за либерализм принимать издевательство над святынями и нравственными законами той страны, в которой оно поселяется. Журналы эти – «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Звезда». Все, как видите, из тех, что «дошли до степеней известных». Помощь Сороса заключалась в рассылке названных изданий без подписки

по библиотекам. На это «благодаяние» ушло больше восемнадцати миллионов долларов, и можно не сомневаться, что они были отработаны с лихвой. В прошлом году программа «поддержки толстых журналов» подошла к концу. Сорос, вероятно, решил, что дело сделано – русский читатель развращен окончательно. «Наши пострелы», привыкшие жить «как у Христа за пазухой» (слова А. Словесного, главного редактора «Иностранной литературы», за «круглым столом» в газете «Известия» в конце минувшего года), естественно, заволновались, где им найти новую, столь же теплую запазуху. И обратились к государству.

На «круглый стол» в «Известия» были приглашены работники Министерства печати и Министерства культуры, разумеется, не из последних лиц. Они в голос, во весь государственный голос, заявили: мы свои журналы, воспитанные Соросом, в обиду не дадим. Государство может. То самое государство, которое они расшатывали во все восемь лет безупречной службы американскому магнату. Это, может быть, и по-христиански, что государство не держит зла на своих недоброжелателей. Но почему в таком случае оно держит зло на журналы неизменно отеческой, патриотической ориентации – на «Наш современник» и «Москву»? Им-то за что немилость? Когда у министра культуры М. Швыдкого спросили, будет ли оказана поддержка вместе с соросовскими журналами и русским журналам, он ответил: нет.

Что-нибудь понятно? Приходится с оборванным сердцем, еще раз убедившись, что за культурные силы правят нашей печатью и культурой, отвечать, отбросив сомнения: все понятно.

Но что это, простите, за государство у нас лепится, почему за него надо отдавать жизни в огне и море (от слова «мор»), если оно намерено обойтись без Отечества?!

В. К.: Да, враги нашего Отечества, ненавидящие «эту страну», но живущие в ней, продолжают в условиях наи-

большого благоприятствования делать черное свое дело. В последнее время мне по разным конкретным поводам приходилось касаться в своих выступлениях темы подвига и героизма. Суть в том, что «демократическая» пропаганда, совершенно справедливо подчеркивая высочайшую ценность человеческой жизни, утверждает при этом: ни за что на свете не может она быть отдана человеком. То есть ни за Родину, ни за мать с отцом, ни за детей. И получается, что человек больше всего должен возлюбить себя самого. Только себя! А как же тогда быть с христианской заповедью, что нет выше подвига, нежели отдать жизнь за други своя? Словом, в «демократическом» воспитании четко просматривается оголтелый индивидуализм – себе, для себя, во имя себя. И это действует на людей! Но смогут ли люди, воспитанные в таком духе, спасти многострадальную свою Родину – как была она спасена их дедами в годы Великой Отечественной? А ведь сегодня наша страна переживает времена, которые во многих отношениях еще тяжелее, и подвиг предстоит, может быть, не менее жертвенный...

В. Р.: Любая пропаганда ведет дело в свою пользу. А «демократическая» делает это совсем бессовестным образом. Посмотрите на «права человека», ведь это права разрушать, убивать, калечить спасительное для России, а права защищать ее – сразу же «преступление». Так и с ценностью человеческой жизни. Никто не считается с этой ценностью, когда бóльшая часть России брошена в условия вымирания, убавляясь каждый год почти по миллиону. Но как только пахнёт откуда-нибудь подобием отпора, тут же в сторону оппозиции: вы не имеете права рисковать человеческими жизнями, превращать их в мишени для снайперов. Все наизнанку: Гайдаров и Чубайсов защищать – это самопожертвование, подвиг, а за себя, за землю родную, за други своя постоять – дурость, коммунистическая пропаганда, неумение себя ценить.

Вы правы и в том, что идет насаждение культа индивидуализма: нет ничего на свете важнее меня и только меня, поэтому я буду утверждать себя любыми способами. Россия славилась всегда своей общинностью, дружинностью, духом коллективизма, в ней извечно важнее было: мы. Оно приводило к победам на ратных полях и спасало при затяжных несчастьях. На «мы» стояли монастыри, сельские миры, рабочие коммуны, земские сходы, из них состояло ополчение. «Я» – это заплаги, за каждый чих заплаги, это внедряется сейчас в наше сознание; «мы» – миром все перебором. «Братство милее богатства» – и как точно стоит в этой народной поговорке слово «милее»: радостней, надежней, духоприимней, праздничней. Я хорошо помню из детства, как собирались в нашей деревне воскресники или пособи для какого-то общего дела – русскую печь бить из глины или стены возводить. Это была работа, которую нужно было закончить за день, обыденком, – и, Господи! – какое же это было счастливое возбуждение, какие азарт, веселье, какое чудесное преображение лиц и душ! Я нисколько не преувеличиваю, люди моего поколения родом из глубинок подтвердят. Уж мы-то, русские люди и братья наши по России, должны бы чувствовать, что за тайну несем мы в себе, которую, не умея разгадать, ставит нам «просвещенный» Запад в вину, и должны бы мы узнавать в ней, в этой принадлежащей нам тайне, такую черту, как общее наше воодушевление от сборного дела. И не странно ли, что мы, словно наивные дети, прислушиваемся к советам расколотить себя, как заводную игрушку, чтобы посмотреть, что там, внутри, и больше уже не собрать.

Индивидуализм – психология западного человека, она выстраивалась долгое время и создала вокруг себя особый мир, служащий ей особой верой и особой правдой. Не будем сейчас его обсуждать, пусть считается, что он хорош там, на его родине, но нам эта психология не может быть по-

лезной, ибо мы устроены по-иному. У нас своя вера и своя правда. Без литургии, как мирской, так и церковной в значении общей, хоровой службы, мы бы уж сотню раз пропали.

Постараемся же выжить и на этот раз, держась друг друга, друг другу помогая, спасаясь соборными нравственными законами.

В. К.: Но состояние русского человека, русского народа сегодня... Главная горечь, по-моему, в том, что многие даже не замечают, насколько они изменились за последние годы. В какую сторону меняется характер нашего человека в условиях «реформ»? Недавно мне довелось встретиться с «новым русским», который объявился на садовых участках товарищества «Правды», в обычном прежнем советском кооперативе. Ну, конечно, участок он расширил в несколько раз за счет соседних. Конечно, и дом возвел соответственно своим запросам. И вот эпизод, частный, вроде бы совсем мелкий, но показательный. В хозяйстве – пять собак, которые содержались и содержатся коллективно. Не как сторожевые, просто все сообща за ними ухаживают с тех пор, когда они были брошенными щенками, по очереди их кормят. А пошел я за «взносом» к этому богачу – он спрашивает: «Чьи барбосы-то?» – «Общие». – «Такого не может быть! Кому-то они принадлежать должны...»

Вы чувствуете психологию? Общего уже ничего в его представлении не может быть!

А с другой стороны – в гигантских масштабах идет спаивание русского народа. И ничто, абсолютно ничто уже этому не противостоит.

Конечно, антиалкогольная кампания 1985 года провалилась. Но можно ли из-за этого вообще на проблему махнуть рукой – в государственном масштабе?

В. Р.: Она, эта кампания, кстати вспомнить, потому и провалилась, что ее не дали довести до конца. Оболгали, осмеяли, потащили пойло из всех закордонов и с еще большей страстью окунули опять мужика в водочку: вот твое

место, тут и находишь, тем паче что и надобности в твоих рабочих руках не стало. Пьянство, наркомания, проституция, воровство, грабеж, повальное торгашество, убийство культуры и школы, чужебесие и т.д. и т.д. Мрачно... Сколько наших общественных начинаний как в песок ушло! Но вспоминаешь, что самая мрачная пора – перед рассветом. Солнце-то над Россией отменить нельзя, Бога тоже в ссылку не отправить. В песок ушло... но ведь и удобрило этот песок, превратило его в почву, а на ней могут появиться да и появляются уже всходы. Конечно, мы не останемся прежними, но мы, хочется надеяться, останемся собой.

Эх, воли бы твердой, воли нам побольше, сплоченности, зрячести и трезвения! Чтобы не было этого: нас раздрают, а мы набрасываемся друг на друга.

Февраль 2001 г.

И в душу лезут диверсанты

Предвестие Апокалипсиса?

Виктор Кожмяко: Завершился первый год нового столетия и нового тысячелетия. Чем он отмечен? Какие события особенно нас взволновали или даже потрясли?

Не знаю, что и в каком порядке вы для себя в этом смысле выстраиваете, но, думаю, нельзя обойти день 11 сентября – небесные удары по Америке. Я говорю «небесные», имея в виду, что нанесены они с воздуха. Вместе с тем, согласитесь, одно из первых впечатлений было – что это небесная, то есть высшая, кара обрушилась на главные города страны, принесшей миру столько несправедливости.

Валентин Распутин: У меня было такое же ощущение от событий 11 сентября: возмездие с неба. Террор оправдывать нельзя, и тысячи невинно погибших вопиют сами за себя. Но разве Америка не была тем же самым террористом, когда в 1999 году бомбила Югославию, а до

того – Ирак, разве не показала она себя варваром, когда сбрасывала атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в уже выигранной войне и когда применяла напалм против мирного населения Вьетнама, разве не попрала она справедливость в мире, присвоив себе право казнить и миловать, кого ей заблагорассудится, по закону сильного? И разве не она своей политикой и своей «культурой» посеяла на земном шаре бесстыдство и жестокость? Не она разве попрала права народов на самобытное и самостоятельное существование, применив в качестве инструмента разрушения и подавления пресловутые «права человека»? Являясь самым большим загрязнителем природы, разве не США отказываются выполнять международные соглашения по защите окружающей среды, все откровенней и наглей хозяйничая на суше, на море и в космосе? Долго скребла кошка, на свой хребет и наскребла.

Если, конечно, трагедия 11 сентября не стала результатом провокации, как и все в этой стране, проведенной масштабно и впечатляюще. Действительно, ничего лучше и придумать нельзя, чтобы развязать себе руки и приняться за укрощение строптивых. Одних разбомбить, других запугать, третьих, как Россию, «поджать», заняв ее недавние позиции. И все это одним махом, под сурдинку «антитеррористической операции». И заставить Россию отрывать от своих голодных и больных и гнать гуманитарную помощь в Афганистан, чтобы залечивать раны американских бомбардировок. Странно все это. Даже не столько странно, сколько горько. Результаты все той же лакейской политики, которая завелась с начала 90-х годов: не для себя, не в своих интересах, а все от себя, от себя, выгребая уже и последнее...

Вы говорите: предчувствие Апокалипсиса, можно ли ему противостоять? Но можно ли было противостоять Ельцину и его камарилье, можно ли было противостоять Березовскому и Гусинскому с их телеканалами, больше десяти лет извергающими все самое гадостное и пакостное, что

только есть в природе человеческой?.. Как нас ни унижали, как ни грабили – мы не смогли противостоять. Если судьбы мира не записаны окончательно в небесах, – вдруг аргентинцы, взбунтовавшиеся против своих Чубайсов и Гайдаров, нам помогут, вдруг арабы выстоят и не пойдут под ярмо Америки, вдруг кубинцы и иранцы, не падшие на колени перед восходящим на престол Князем тьмы, задержат его царствие. Но нам пора осознать, что российское течение событий – больше нашего личного дела, и от того, усиливаемся мы в своей национальной и духовной крепости или все больше размазываемся под катками глобалистских «прав» и «свобод», зависит, куда, на какую судьбоносную чашу падет наша доля, к чему прибавит и от чего отнимет.

Отстоим ли родную землю?

В. К.: В жизни нашей страны за минувший год для меня самым роковым событием стало принятие Земельного кодекса, в котором мать – земля родная объявлена товаром, то есть предметом купли-продажи. Многолетняя и трудная борьба патриотов против этого, стало быть, кончилась на сегодня поражением?

Нет смысла, наверное, вновь вспоминать, что говорили о недопустимости купли-продажи земли наши великие предки, завещавшие ни в коем случае не допускать такое. Допустили. Да, людей всячески успокаивают, что это не касается сельхозугодий (пока?), но уже свободная продажа, в том числе иностранцам, тех вроде бы малых процентов земель, которые находятся под промышленными объектами, жилыми домами и т.д., несет страшнейшую угрозу. А главное – сам утверждающийся принцип: земля – товар.

Понимаю, как говорится, после драки кулаками не машут. И все-таки не хочется верить, что все уже решено навсегда, что так и проглотит это народ, как он многое молчаливо проглотил за последние годы, что родная земля дей-

ствительно пойдет теперь с молотка. Хватаешься душой, например, за решительные заявления руководителей Кубани, которые обещают, что люди здесь возьмутся за вилы, когда землю начнут продавать...

Что вы думаете обо всем этом? Можем ли мы отстаять нашу землю?

В. Р.: Да, давайте воздержимся от цитирования Достоевского, говорившего, что от характера землевладения зависит весь порядок в стране, и Толстого, прямо называвшего продажу земли воровством. На нынешних реформаторов это никакого впечатления не производит. У них есть цель – и они ее добиваются. Их дергают за веревочки кукловоды – и они послушно дергаются, выполняя все необходимые упражнения, чтобы гражданам мира в скором времени иметь ранчо на Байкале и латифундии на Кубани. Ни для нас с вами, ни для аналитиков и думцев, ни для губернаторов и фермеров – ни для кого не секрет, что принятый недавно Земельный кодекс с правом продажи земли – это только начало, приоткрытая дверь, но приоткрытая, больше уже не запертая, и в эту щель в «два процента» высматривается российское поле. Прошлогодний рекордный урожай, даже и без достаточного удобрения и достаточной обработки, – это что-то вроде прощального самопоказа нашей земли, на что она способна.

Не будем, как договорились, цитировать классиков. Но хочется мне процитировать современного поэта, алтайца Бориса Укачина. В прежние годы мы с ним дружили, встречаясь то в Москве, то в Горно-Алтайске. Ни расстояния, ни «тоталитаризм» не были тогда помехой для встреч и дружбы. Стихотворение, которое я вспомнил, относится примерно к середине 70-х годов. На одном из московских рынков мой друг увидел в рядах торгующих объявление: «Подходите! Землю продаю!» Земля не могла продаваться иначе, как из мешка, для цветочных горшков, но сами эти слова настолько поразили и оскорбили поэта, что он

написал (стихотворение называется «На осеннем рынке», перевод И. Фонякова):

Подхожу – как будто из неволи,
Из недоли собственную мать
Выкупаю! Не сказав ни слова,
Из кармана деньги достаю.
Мне рублей не жалко – лишь бы снова
Не услышать: «Землю продаю!»

Народная поэтесса Узбекистана Зульфия тогда же отозвалась на эти стихи и написала Б. Укачину: «Здесь каждая строка бьющая. Мне просто жутко стало от этих слов: “Подходите! Землю продаю!” Хочется закричать. Можно продавать плоды земли, возвращенные на ней, но не землю!»

Так мы все тогда считали: это святотатство, подобное продаже в неволю родной матери. Но суть российских реформ последнего десятилетия заключается не только в том, чтобы изменить формы жизни и формы собственности, не только изъять Россию из ее первостатейного мирового значения, но покуситься на наш дух, на наше самодержавно-народное сознание, перекачивающее, как второе сердце, во все клетки токи тех заветов, без которых нам не жить в полный рост. Для людей, «вышедших из себя», отказавшихся от своих устоев, есть слово: нелюди. А на Руси – неруси, то есть потерявшие национальное содержание, свою способность защитить Отечество в его незыблемых ценностях.

Откровенно говоря, что-то плохо верится, что мы сейчас сможем отстоять от продажи землю. Надо все сделать, чтобы отстоять, но... Понадобятся, мне кажется, годы, чтобы на поколениях, которые показали себя слабыми, отшелушилась кожа, пропитанная неуверенностью и отчаянием, и появилась новая. На молодежи она уже видна. Не на той, разумеется, молодежи, которая заражена наркотиками, без-

различием и буржуазностью, а на иной, мало пока заметной, но все увереннее нарождающейся, которой чувства обкраденности и одураченности переходят в волевые начала. А уж она, когда войдет в силу, найдет слова, как правильно переписать законы. Вот в это я верю! Хочу верить.

Спасем ли наш язык?

В. К.: Вот и над языком нашим продолжают сгущаться черные тучи. Целями для ударов на уничтожение берут самое-самое! Земля, на которой русский народ испокон веку жил; язык, на котором он от рождения говорил, думал, слагал молитвы, былины и песни...

Я вначале не поверил, будто кто-то (какие-то якобы ученые!) всерьез предложил перевести русский язык с кириллицы на латиницу. Оказалось – всерьез! Да уж и не удивишься, если вон в Татарстане дело дошло чуть ли не до законодательного утверждения аналогичного новшества.

И все более назойливые, настырные разговоры о предстоящей реформе русского языка. Чем-то поистине зловещим от всего этого веет! А подается – со смешочками, с обычными в нынешнее время ужимками и ерничеством.

Чего стоит хотя бы недавнее телевизионное «токшоу» Михаила Швыдкого в его цикле «Культурная революция», посвященное этой реформе. Многое тут меня поразило, начиная с состава участников. По-моему, не было ни одного писателя – и это в разговоре о судьбах языка! Впрочем, был Михаил Задорнов, он олицетворял всех русских писателей и всю русскую литературу. Естественно, в принятом сегодня хохмаческом тоне...

Наверное, Валентин Григорьевич, вы не одну бессонную ночь провели в думах о том, что творится в последние годы с нашим языком, и о том, что ему еще готовят. Скажите, есть ли для русского языка путь спасения и в чем он видится вам?

В. Р.: Будем надеяться, что этого в полном смысле слова последнего – отказа от кириллицы – все-таки не произойдет. Это было бы окончательным самоубийством нации. Представить только – читать «Слово о полку Игореве» и «Слово о Законе и Благодати», Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого, Тютчева и Есенина на латинице! Перевести на нее письмо Ваньки Жукова на деревню дедушке и треугольные письма наших отцов и дедов с фронтов Великой Отечественной! Отказаться от православной веры и всей культурной и духовной генетики! Нет, такое даже и представить нельзя. В Казани пусть пишут как хотят, там это политика: даже и во вред себе, зато не так, как русские, а так, как турки и европейцы. А нам-то, русским, вопреки кому отказываться от родных букв, которыми сама душа у нас выписана и начертания которых в своих таинственных письменах повторяет сама природа?!

Однако! Вот я встrepенулся в возмущении: чушь собачья, не может быть! Но приходится припоминать, сколько таких «не может быть!», противоречащих нашим историческим и духовным установлениям, складу нашего народа и формам его жизни, проташено в вызывающем торжестве своей власти в последнее время. Еще недавно нельзя было представить, что в России объявят переход на контрактную (а это значит, что вскорости на наемную) армию, примутся продавать землю, загорятся желанием вступить в НАТО, собезьянничают у американцев систему образования, от которой те и сами отказываются, что американские профессора в поволжских городах станут обучать местных ребятишек науке безопасного разврата и что предмет этот под названием «валеология» перейдет в школьные программы, зато отечественная словесность и русский язык станут в школе изгоями... А ведь тоже при первых слухах об этих нововведениях казалось: чушь собачья! И что еще придумают для нашего «облагораживания», сказать никто не возьмется. Россию старательно, как

черномазую Золушку, преображают в глобализированную принцессу, чтобы ехать на бал Сатаны, и к чему ей в таком случае кириллица, если никто там ею не пользуется! И к чему ей доскональное знание родного языка, если встраиваемый сегодня в нее порядок потребует владения родным языком на уровне иностранного?!

Страшно молвить, но ведь это логика реформаторов русского языка, а они не остановятся и перед латиницей.

Русский язык может быть спасен лишь в том случае, если видеть в нем не только средство элементарного общения, но и путь познания себя и своего народа, его психологии, этики, морали, веры, исторической поступи и в конце концов его души. Как народ выговаривает себя в устной и письменной речи, того он и стоит. Обезличенный народ скажет о себе немного. Если бы мы задались целью самосохранения, нам бы и в голову не пришло изгонять из школы родной язык и литературу – нам бы, напротив, потребовалось расширить их познание, потому что все остальные науки могут лечь только на этот фундамент.

*Кто «за стеклом»
и где же слово Достоевского?*

В. К.: В ноябре минувшего года исполнилось 180 лет со дня рождения Достоевского. Но отразилось ли это достойно в жизни сегодняшней России? Нет! Только Татьяна Васильевна Доронина, верная себе и великой русской классике, постаралась, чтобы именно в этот вечер, 11 ноября, прозвучали на сцене руководимого ею театра «Униженные и оскорбленные». Очень, кстати, злободневный выбор для нынешнего времени – униженных и оскорбленных у нас в стране, увы, все больше...

Ну вот, а что же так называемое российское телевидение? Ему не до Федора Михайловича. В это время как раз оно приковывало внимание всей страны совсем к друго-

му – в самом разгаре было позорное зрелище под названием «За стеклом».

Все думаешь, есть ли еще ниже точка нравственного падения для телевидения, о котором мы с вами не раз говорили. Кажется, ниже быть уже не может – некуда. Ан, глядишь, изловчились, расстарались, изобрели. Или «у них» опять слизнули.

Ну надо же пойти на такое! Выставить на всеобщее круглосуточное обозрение нескольких молодых людей со всеми, так сказать, интимными подробностями. Они-то и обещаны были заранее как наиболее интересное и привлекательное. И хотя даже для самой неприхотливой части толпы, которая все это созерцала, ничего интересного больше не было, на протяжении не одного месяца «демократическая» пресса рьяно и натужно поддерживала внимание к «застекольщикам», творя из них новых героев нашего времени...

Да какой уж тут Достоевский! В самом деле не до него. Я был удивлен (и обрадован, конечно), узнав, что в Эстонии прошли Международные дни Достоевского, состоялась торжественная церемония вручения премий его имени, одним из первых лауреатов которой стали вы. На этом фоне просто дико, что в России теперь допускается такое небрежение к титанам нашего духа. Вот прошло 200-летие Владимира Ивановича Даля, вслед за Достоевским было 180-летие Некрасова. И снова на телевидении молчок. Ни стихи некрасовские не прозвучали, ни слово о нем не было сказано. Думалось, что недавний пушкинский юбилей, отмеченный необычно широко, может быть, обозначит некий поворот в этом смысле. Нет, все идет по-прежнему...

В. Р.: В вашем вопросе целый каскад вопросов, один другого горше. Это говорит о том, что питать надежды на сознательное отрезвление «общества», которое забило собою телеканалы и правит бал в культуре и информации, рассчитывать на добровольный отказ этих людей от творимого ими негодного дела никогда было нельзя, а теперь

тем более. Чего там «негодного дела» – подлого! Казалось бы: ну, убедитесь, что ничего хорошего от их «культурной» деятельности в стране не происходит, что круг людей с извращенными вкусами смыкается и вокруг них тоже и становится и для них опасным, – ан нет, крутят свою пластинку все усердней и беззастенчивей. Накупили охранников и считают себя в безопасности. То есть поступают в точном соответствии с психологией преступника, того же Чикатило, которого после первого насилия и убийства тянет на второе, на третье – и так до бесконечности, пока не надедут на него кандалы. Так и эти бесчисленные чикатилы на сцене и экране не способны испытывать угрызений совести и идут в своем безобразии все дальше и дальше. Они прекрасно устроились, зарабатывают своим ремеслом растления столько, сколько и не снилось, власть с ними обнимается, как с лучшими друзьями, и приглашает в советники по культуре. Так что же – ждать, когда придет матрос-партизан Железняк? И возмущаться давно уже надо не ими, а нами за наше потакающее терпение.

Помнится, в одной из бесед мы с вами говорили о популярной телепередаче «Поле чудес», где ведущий кричит, издевается над участниками, показывает чудеса пошлости, а публика в восторге покатывается со смеху. Сейчас подобные передачи типа «Выиграй миллион!» расплодились на каждом канале. Я иной раз всматриваюсь в аудиторию, составляющую, как теперь говорят, «реагаж» этих шоу: лица как лица, самые обыкновенные, живые, без явных следов испорченности. Что же заставляет их идти на этот балаган и выставлять себя в потешном виде? Думаю, что им даже не платят за участие, что дело это вполне добровольное. В чем тогда тайная пружина таких побуждений?

А ведь это тоже одно из новоприобретений последнего времени. Где сейчас показать себя? Даже не проявить, а показать? Где она, та «доска почета», где отмечают за доблесть и труд, за талант и верность своей профессии? Нет ее больше.

У нас знают или нервных думцев, или звезд эстрады со скандальными именами, или уж бандитов с большой дороги. А противопоставить себя тому небытию, в которое погружена Россия, обыкновенному человеку хочется. У него это в крови – «расписаться» в своем существовании: и аз, грешный, тут был, лямку жизни тянул. Все другие способы публичного самоутверждения у него отняты, на громогласное преступление он не способен, на тусовку к «мастерам культуры» не пригласят. И он идет туда, куда приглашают. И нет смысла говорить о невзыскательном вкусе или неразборчивой головушке – это не худший из граждан, кого воспитывают сейчас в нашей стране. Таковы идолы и учителя гражданина, такова глубина «вспашки» его природных закладов.

А «Униженные и оскорбленные» в театре у Татьяны Дорониной действительно замечательный спектакль. И по постановке, и по актерским работам, и по нравственному созвучию текста нашим сердцам. Добрый, чистый, красиво и точно сыгранный, ко времени и месту, так много говорящий не только о нашем униженном положении, но и ему, нашему униженному положению, как и с чьей помощью избавляться от этого гнета. Половина зрителей выходит после спектакля из зала с мокрыми глазами, не стыдясь слез: сам великий Достоевский обернулся к ним из своего далека и согрел наши души сочувствием и зовом к справедливости, сама великая Доронина нашла ту форму и тональность общения со зрителем, которые дают целительную уверенность: да, мы унижены и оскорблены, но мы счастливее вас, творящих зло. Меня удивила в спектакле одна деталь. Кто знает текст Достоевского, помнит, что в эпилоге романа автор решается расстаться со своей любимицей – героиней Нелли, на которой держится многое в архитектуре и звучании «Униженных и оскорбленных». В спектакле эпилог снят. Эмоциональный накал спектакля к финалу был настолько силен, что испытать смерть Нелли для зрителя было бы невыносимо.

Я вспоминаю об этом еще и потому, что недавно прочел в одной из газет научное объяснение резко подскочившего в последние годы процента мужской смертности от сердечных ударов. Сильный пол сражают стрессы. Они – как мины на поле нашей действительности, куда ни ступи и к чему ни прикоснись, – смертельно бьют прямо в сердце.

Вот вы упомянули гнусную телеэпопею «За стеклом». А задумался ли кто-нибудь, скольких людей она привела к стрессам, закончившимся инфарктами и инсультами?! Разве это не способ убийства, один из самых изощренных, жестоких и бесконтрольных?!

В. К.: Разговор о сегодняшнем состоянии нашей культуры – всегда тяжелый разговор. И особенно тяжел он потому, что мало каких перемен и сдвигов к лучшему удастся добиться. Ненавистники России твердо и неуклонно следуют своим курсом. Вопреки всем голосам протеста, словно не слыша их, делают черное свое дело. Но все же: не слишком ли и эти голоса слабы? Не должны ли Союз писателей России, другие патриотические организации более громко и требовательно выражать свой протест? А иногда, возможно, использовать не просто заявления, а какие-то другие формы борьбы.

Например, я знаю, что в Угличе собираются поставить памятник... русской водке. Работы небезызвестного Эрнста Неизвестного. А следом уже появляется идея памятника в Суздале соленому огурцу. А в Ульяновске – букве «Ё». Разве не понятно, что все это значит? Но есть же, наверное, в Угличе, Суздале, Ульяновске разумные люди и настоящие патриоты, которых должно возмущать то, что происходит. Наверное, есть они и в местной власти. Так вот, если бы Народно-патриотический союз или тот же Союз писателей их соединил и поднял на реальное противодействие кощунству и издевательствам?

В. Р.: Наверное, можно и Союзу писателей протестовать против «произведений искусства», о которых вы упомянули, в виде памятников русской водке и суздальскому

соленому огурцу. И Союзу писателей, и НПСР. Но писательская организация России все последнее десятилетие не столько занимается творческой работой (хотя совещания молодых литераторов проводятся регулярно), сколько работой державно-духовно-цементирующей, – по склеиванию и собиранию народа, «единоутробного», разметанного реформами и развалом Советского Союза. Мы провели выездные пленумы в Чечне и Приднестровье, в Омске и Орле, в Петербурге и Якутске, а также пленум на колесах от Москвы до Владивостока в юбилейном, в честь столетия Транссиба, поезде. И многое другое. А ведь Союз писателей теперь – это всего лишь общественная организация, на тех же правах, что и общество любителей соленого огурца, сшибающая копейки для проведения мероприятий, которыми должны бы заниматься, но не занимаются государственные органы. Его и президент наш в упор не видит. Мы не жалуемся, но на все, что перевернуто теперь с ног на голову в мире нравственности, духовности и культуры, в мире человеческих отношений и общественного служения, наших силенок не хватает. Все-таки главное наше дело – литература.

Да и что такое все эти бросающие вызов нормальному вкусу памятники огурцам и бутылкам, точно так же как театральные изнасилования пьес Чехова и Вампилова, Островского и Шекспира (а их сотни и сотни на просторах России), точно так же как страсть снимать штанишки во всех областях культуры?.. Что это такое, как не грибы-поганки, для которых наступил сверхблагоприятный климат?! Свалишь такую поганку в одном месте – она лезет в другом. Благодатная почва для их произрастания создается и Министерством культуры в Москве, и департаментами культуры в городах и весях. Культура сознательно превращается в свою противоположность – в убийцу культуры. Лучшее из нее вынуждено перебираться на небольшие и шаткие острова в этом половодье грязи и яда и влачить там жалкое существование. И покуда государство не опомнится и не разберется,

что за «культура» произрастает и удобряется ныне в России, кому она служит и какие семена сеет, эти «культурные» безобразия не прекратятся. Либеральное общество с удовольствием погрязло в них, а общество патриотическое до сих пор организовано слабо и никак не может понять, почему, с какой стати в его стране торжествуют извращенные вкусы и вся идеология строится на издевательствах и перекривании всего, что до сих пор шло нам на пользу.

А ведь их, этих преобразователей культуры, этих культуртрегеров, победителями назвать нельзя. Победители угомонились бы, а эти по-прежнему ведут себя как диверсанты.

Вот последний пример.

В конце декабря хоронили Бориса Александровича Рыбакова, академика, историка, которого знает весь мир, великого гражданина и патриота России из когорты самых прославленных. День, когда прощались мы с Б. А. Рыбаковым, пришелся на 15-летие со дня смерти Андрея Тарковского. Замечательный кинорежиссер, ничего не скажешь, эмигрировавший в 80-е на Запад, что и сплело ему в окончательном виде лавровый венок. Ни слова в тот день не сказано было России о кончине ее верного сына, академика Рыбакова, но раз за разом разносились слова Тарковского, якобы из предсмертного завещания: «Ни живым, ни мертвым в Россию я не вернусь». Так ему насолила Россия. В конце концов это воля Тарковского, где ему лежать, но зачем же снова и снова в отместку России повторять слова, сказанные, вероятно, в нездоровье, и навечно делать из них его «визитную карточку»?!

Эх, бесстыдники, и на шею России сели, и все вам неймется, все надо жалить ее и жалить!

И дальше будут нас разъединять?

В. К.: А замечаете ли вы, Валентин Григорьевич, как все больше разъединяются наши области, города, наши

люди? Невозможно стало простому человеку поехать или полететь не только с Дальнего Востока в Москву и обратно, а и в гораздо более близкие пределы. Сохранялась связь через почту, но теперь и она рвется. Письма идут все дольше, а зачастую совсем не доходят. И это в компьютерный, электронный век! Но ведь далеко-далеко не все перешли на общение через интернет, далеко не у всех есть такая возможность. А вот обычную-то, «традиционную» почту, швырнув ее в дикий рынок, просто уничтожают...

Поделюсь очень горьким для меня фактом, которым тоже запомнится минувший год. В Приморском крае, в городе Партизанске, умер мой старый друг. И вот узнал я об этом лишь девять месяцев спустя! Сын его писал мне трижды – и ни одно из этих писем не дошло. Можете себе представить? Только четвертое письмо, посланное в конце года, что называется, достигло адресата.

Не знаю, знакомо ли вам чувство, которое у меня стало постоянным. Чувство неуверенности, когда я посылаю очередное письмо. Даже заказное. Нет уверенности, что оно дойдет, так же как нет уверенности, что до меня доходят посланные в мой адрес письма. Потому что многие, точно знаю, не доходят! Тарифы на почтовые отправления растут, но условия, в которых трудятся почтовики, не улучшаются, а ухудшаются. В результате ухудшается доставка корреспонденции. То есть всем плохо – вот он, рынок! А в перспективе (да уже скоро, наверное) нас ждет повременная оплата за телефонные разговоры, и тогда многие наши старики, пенсионеры в городах окончательно будут оторваны друг от друга.

Согласитесь, ведь все это делается вполне сознательно! Политика такая...

В. Р.: Это не только политика разъединения областей, краев, отдельных людей, но прежде всего политика окончательного разделения общества на богатых и бедных. Богатые в наш электронный век пользуются электронной почтой, которая молниеносно доставляет их послания по

нужным адресам. Это бедные вынуждены идти на обычную старую почту и пользоваться ее архаическими услугами. Но, помните, в советское время корреспонденция доставлялась ежедневно, в любые праздники и будни, дважды на день. Это было неукоснительным правилом, соблюдающим, так сказать, приоритет гражданина. И вот теперь... Не знаю, как в иных местах, а наше почтовое отделение на Старом Арбате в Москве отдыхало в Новгороде с 31 декабря по 7 января, с одним лишь рабочим днем 5 января, конечно, ненапряжным. Новогодняя корреспонденция где-то лежит неразобранными ворохами: она же для людей второго сорта! Из Москвы в Москву отправил мне товарищ поздравление, написал, должно быть, что-то очень уж сердечное и звонит: получил? Прошло три недели – не получил. Вероятно, не получу. Или получу еще через две недели. Вот и ваш друг – ведь он же умер? Ну узнали вы о его кончине спустя девять месяцев, – ну и что? Ни в вашем, ни в его положении это ничего не изменило, а до наших человеческих чувств никому никакого дела нет. Нас убедили, что богатые тоже плачут, но плачут они золотыми слезами, с нашими, горькими и солеными, они ничего общего не имеют.

Выпрягающаяся из своей службы почта – это только одно из звеньев окончательного пренебрежения бедным или скромно живущим человеком. Он не может теперь пойти ни в театр, ни на концерт, не может поехать к родственникам в другую область, не говоря уж о санатории или курорте, в поликлинике на него смотрят в лучшем случае с терпеливой укоризной: «Зачем вы болеете? В вашем положении болеть нельзя».

И уж за странность не примешь: бедная, утонувшая в нищете и несправедливостях страна полностью перестраивается на обслуживание класса богатых. Такая инфраструктура. Так и отвечает чиновник подступающим к нему с вопросами старикам: такая инфраструктура! Они и умолкают перед могущественной силой этого заклинания.

В. К.: Вы живете и в Москве, и в родной Иркутской области. Интересны ваши наблюдения, как живет сегодня глубинная Россия. О чем думает, на что надеется, к чему стремится?

В. Р.: Глубинная Россия от государства как никогда отделена. Выступая в декабре на Всемирном Русском народном соборе, я говорил об этом: власть ведет себя так, словно она совсем не нуждается в народе, отделяясь более чем скромными подачками старикам. А народ отвечает ей равнодушием и неверием. Всколыхнувшаяся ненадолго надежда на нового президента, что он станет искать опору внутри страны и сумеет мобилизовать народ, окончательно истаяла, как только бросился президент браться с американцами. Народ к таким вещам очень чуток. Надо сказать, что он научился выживать – где надсадой, где хитростью, где приспособленчеством, где хищничеством тайги и рек, среди которых живет. Организуется в трудовые и духовные общины, как при родовом строе, понимая, что в одиночку не выжить, и все еще втайне рассчитывает, что все происходящее теперь в стране – временно и наступят сроки, когда его позовут на государеву службу. Вырастил он в прошлом году богатый урожай, а хлеб оказался не нужен; повинувшись инстинкту жизни, стал он больше рожать детей, а их хоть на заимки прячь и к школе не подпускай – до того кругом все чужое, уродующее. Это неверно, что народ наш дожил до полного безволия и не способен постоять за себя, но стоит он пока терпением и выносливостью, пользуясь нравственными, отвергнутыми государством запасами отцов и дедов и кормными запасами земли. Живет больше, как вся страна, сегодняшним днем. Не любит Москву, которая перестала ему быть родной, не понимает, о чем говорят беспрерывно политики, и ничего хорошего от них не ждет.

Это общее впечатление, а в частностях картина будет пестрая. И все-таки не оставляющая надежду, что

спасение тут, в нем, в народе нашем, в его выносливости и здоровом уме.

Январь 2002 г.

Бесконечные жертвы. Во имя чего?

За маской развлечения — лицо насилия

Виктор Кожемяко: Вот и еще один год нашей жизни прошел – второй год третьего тысячелетия от Рождества Христова. Каким стал он для писателя Валентина Распутина?

Валентин Распутин: Если лично для себя – довольно сносным. В меру сил сидел за письменным столом, в меру сил отдавался поездкам по России, по своим родным местам. Но я закоренелый патриот и чувствовать себя отдельно от самочувствия народа не умею. Россию же, как вы знаете, сильно встряхивало – и от природных катаклизмов, и от «демократических», и от террористических. И всюду с немалыми жертвами. Не война и не мир – жертвы и жертвы. В войну они бывали, разумеется, больше, но – во имя победы.

А сейчас впечатление такое, что во имя поражения, во имя потери нами своего лица.

В. К.: Наверное, самым памятным событием минувшего года, как это ни грустно, будет для всех нас в России захват заложников в московском Театральном центре на Дубровке. Много уже сказано и написано об этом. Но очень бы хотелось услышать ваши размышления на сей счет.

В. Р.: Большие жертвы заставляют нас говорить об этой истории с осторожностью, чтобы не оскорбить память невинно погибших. Но что делать! Развязка была вынужденной. Капитулировать перед бандитами значило бы снова и снова, и с последующим продолжением, покрыть Россию позором, и слава Богу, что не Ельцин и не Черномырдин, как в Кизляре, Красноармейске, Буденновске, принимали решение о действиях.

Если же говорить шире, я думаю, «Норд-Ост» для того с самого начала и был придуман и срежиссирован, чтобы после каждого его представления оставались жертвы. Пусть не со смертельным исходом, но с исходом нравственного, эстетического и патриотического поражения. В этом и просматривается без труда торчащая из «Норд-Оста» фи́га. Заманить неслыханной рекламой, ошеломить шоу-блеском, трюкачеством и «художественным» горлопанством, световыми и шумовыми эффектами, надавить на чувствительные центры психики у зрителя, все сделать для того, чтобы сбить его со здравого смысла, со здорового вкуса, – да разве это не род охоты, сходный с тем, когда зверя гонят в ловушку, где ему и пропасть! И разве это не террор, в котором за маской развлечения скрывается лицо насилия?! И разве не поразительно, что с появлением на сцене в ходе этого мюзикла настоящих террористов зал встретил их восторженными аплодисментами: настолько разыгрываемое действие и реалии оказались по духу близки, из одного естественно вытекало другое?! От этого совпадения даже жуть пробирает.

В. К.: Действительно, трагедия 23 октября связана с мюзиклом «Норд-Ост». Это по «Двум капитанам» В. Каверина, однако названо все же иначе, на западный манер. Хотелось бы поговорить об этих мюзиклах, все больше заполняющих Москву. «Чикаго», «42-я улица», «Метро», «Notre Dame de Paris» – все это приходит к нам в основном с американского Бродвея. И усиленно насаждается, пропагандируется, «раскручивается». А ведь в отношении нашего русского психологического, реалистического театра ничего подобного нет! Между тем, насколько я знаю, Валентин Григорьевич Распутин, вернувшись после лета в Москву, чуть не в первый же вечер пошел в театр Татьяны Васильевны Дорониной. На спектакль «Доходное место», а не на мюзикл...

В. Р.: Да, не один «тройанский конь» в образе «Норд-Оста», а целая дюжина. И все заняты профессиональной

работой. С какой же целью? Во-первых, как облапошить похитрее простаков, сбить их с панталыку, а главное – как быстрее и вернее отлучить от отечественной культуры, от родных песен, классического нашего театра с его любовью к человеку и духовной радостью, то есть как окончательно прервать национальные корни искусства и полностью превратить его в диктат чужого и дурного. Помните, какая атака была обрушена год назад на театр Татьяны Дорониной? С каким визгом оплаченные «критики» накинулись на ее спектакли, особенно на «Униженных и оскорбленных» по Достоевскому, даже особо и не стараясь скрывать свои замыслы. Достоевский им не нужен, а здание театра в центре Москвы нужно для очередного мюзикла! С большим трудом удалось тогда отбить эту атаку, в которой явно проглядывало присутствие самого министра культуры. Но надолго ли? Эта братия от своих злоумышлений отступаться не привыкла.

Постановка «Норд-Оста» или в рекламных целях, или в целях издевательских именуется патриотической. Должно быть, на том основании, что действие ее перелицовано из каверинских «Двух капитанов», а книга эта у нас хорошо известна. И по ней возможно было создать действительно патриотический спектакль. Но в данном случае этого никак не могло произойти по той простой причине, что, во-первых, патриотизм не входит в систему взглядов создателей мюзикла, а во-вторых, давайте спросим себя: будут ли даваться американские деньги на русский патриотизм? Да и патриотизм наш, если на то пошло, с кем попало брататься не станет. Это чистой воды спекуляция.

История на Дубровке закончилась для зрителей трагедией, а для самого «Норд-Оста», как ни парадоксально, огромным выигрышем. Сердобольная наша Госдума немедленно, еще мучились на больничных койках жертвы нового «искусства», выделяет на его возобновление более 13 миллионов рублей, московское правительство тут

же принимается восстанавливать центр на Дубровке, а от олигархов потекли миллионы долларов на расширение «Норд-Оста» и на его второй, передвижной, вариант, который в скором времени примется развозить свой «патриотизм» по всей России, погрязшей, с их точки зрения, в тенетах национальных предрассудков.

Вот так! Вот как надо попадать в трагедию и с каким шиком выходить из нее! А ведь с приобретением Россией «новых порядков» бедствуют у нас и Малый театр, и МХАТ имени М. Горького, и Ленинская библиотека, и Консерватория, и симфонические оркестры – вся, в сущности, отечественная культура. И никому до нее дела нет! Никто не бросается ей на помощь. Все более отчуждается она от государства, находится на положении пасынка и изгоя. Чужое все агрессивнее занимает место своего, а свое отодвигается, чтобы не видно его было и не слышно.

Чужим курсом и по чуждым нотам

В. К.: События 11 сентября 2001 года в США и 23 октября 2002 года в нашей стране как бы еще теснее соединили нас с Америкой. Вообще раньше мы всегда привыкли быть в мире на стороне униженных и оскорбленных, а теперь вроде присоединились к наиболее сытым и преуспевающим странам, хотя сами-то далеко не преуспевающие нынче. Как воспринимаете вы такое изменение ролей?

В. Р.: Господи, да у нас «пятая колонна», придя к власти, все сделала для того, чтобы оторвать Россию от ее прежних союзников и подложить под ноги Америке. Они добились своего, и Америка долго вытирала, да и сейчас еще продолжает вытирать о нас ноги. Договор о СНВ-2 США разорвали, натовские границы теперь под самым нашим носом, свои военные базы на Кубе и во Вьетнаме мы сняли, даже в торговле России навязывают невыгодные ей условия. У нас не осталось искренних друзей на Востоке, не может быть их

у нас и на Западе. С нашей дипломатией играют в кошки-мышки, пользуются ею, как то было в Палестине, в своих интересах, но, как только делает она попытку играть самостоятельную роль, откровенно бьют по рукам и ногам.

Чтобы противостоять США, надо быть сильной державой, такой, каким был СССР. Ельцин разбомбил Россию больше, чем Гитлер. От слабости и неуверенность – неспособность к решительным действиям, погруженность в свою бедность. Да и «пятая колонна» все еще могущественна и в Думе, и в правительстве, и в президентской администрации.

Посмотрите, как США использовали события 11 сентября 2001-го. Они вошли в Афганистан, откуда мы вышли, и в Пакистан, оседлали бывшие наши среднеазиатские республики, разместив там свои военные базы, на Кавказе у россиененавистника Шеварднадзе их инструкторы обучают грузинские спецподразделения – словом, полная американская виктория, которой в обычной обстановке пришлось бы добиваться десятилетиями. Таким же макаром действовал, как мы уже говорили, «Норд-Ост», дитя Америки. Она, Америка, после 11 сентября распространила свое влияние в мире, «Норд-Ост» после 23 октября распространил свое чужеземное влияние в России. Америка выиграла и внутренне: мощная пропаганда сцементировала народ, киноиндустрия в спешном порядке увеличила производство патриотических фильмов, созданы были дополнительные службы безопасности. У нас все наоборот: «Норд-Осту» даны щедрые средства и права для расширения его антигосударственной деятельности, народу нанесена тяжелейшая психологическая травма, а хуже всего – борясь с террором вооруженным, обласкали террор духовный, а он, в свою очередь, по-прежнему беспрепятственно будет взращивать физическое насилие.

В. К.: Абсолютно согласен с вами! Именно так и есть. Не обойтись в этой нашей беседе опять-таки без разговора о

телевидении. Недавно на пленуме Союза писателей России вы зачитывали с трибуны обращение к президенту, правительству, прессе с протестом против передачи «Культурная революция», которую ведет Швыдкой. Я разделяю ваше отношение к этой передаче, но ведь она далеко не одна такая. Помогут ли обращения к президенту? Думаю, он прекрасно знает, что происходит у нас на телевидении и вообще в сфере культуры, однако перемен к лучшему – никаких.

В. Р.: Знает об этом, конечно, и президент, знают и все государственные головы. Тут иллюзий строить не приходится. Президент недавно открыто встал на защиту фильмов и передач со сценами насилия и жестокости, мотивируя свою позицию якобы высоким рейтингом этих программ в обществе. Меня его позиция поразила сильно! И в высокий рейтинг этих «творений» я не верю. Нормальных людей в России больше. До сих пор больше. Но любители жестокостей и разврата заявляют свое мнение, опасаясь лишиться предмета вождя интереса, а нормальные люди не заявляют. Прежде всего потому, что никто их об этом не спрашивает, а кроме того – если дурное на государственном уровне занимает место святого, а святое низвергается ниц, то порядочные люди из чувства брезгливости к такой ценностной пирамиде стараются держаться от нее подальше. И держатся общинами, в которых порядок «с ног на голову» не признается.

К чему тогда наше обращение? Но мы обращаемся относительно программы «Культурная революция» и ее ведущего не столько к президенту и правительству, сколько к обществу, не потерявшему нравственных ориентиров. Где, в каком государстве, в какой Европе, Азии или Африке будет позволено министру культуры заниматься издевательством над культурой своего народа и ее сознательным разрушением? Можно такое представить? Нет, нельзя. Только в России невозможное возможно. Швыдкой для нашей культуры – все равно что Гайдар для экономики. Они

и внешне похожи. И методы борьбы с национальной интеллектуальной и материальной собственностью одинаковы. Разрушить, изгадить, перевернуть, похоронить то, чем славилась Россия, заменить тем, что Россию как культуру и духовность отменяет. Мат в литературе? Необходим. Секс в культуре? Конечно. Русская литература? Нет больше такой, мы свое дело сделали. И так далее. Вот в чем суть проводимой министром «культурной революции»! И в этом случае чувство брезгливости приходится преодолевать: мы, русские писатели, существуем в русской культуре, и нам не все равно, что с нею вытворяют. Отношение к шоумену в кресле министра высказывают сейчас многие деятели культуры, достаточно полистать «Литературную газету». Стыд ведь великий, да и грех великий бесконечно сносить эту далеко не безвредную клоунаду!

И это, конечно, вызов всему русскому искусству как прошлого, так и настоящего – оставлять на верховном руководстве ею личность, ампула которой лежит совсем в противоположной деятельности.

В. К.: Меня особенно огорчает и возмущает демонстративное игнорирование телевидением, радио, прессой истинно выдающихся событий в нашей культурной жизни и, с другой стороны, восторженный шум, который поднимается вокруг того, что никакого доброго слова не заслуживает. Например, почти совсем замолчали завершение полного академического собрания сочинений Сергея Есенина, юбилеи Василия Белова, Станислава Куняева, Александра Зиновьева и многое другое. А о чем шумят с восторгом, вздохом, вы сами видите и слышите...

В. Р.: Все это давно уже, как не пятнадцать ли лет, сделалось в порядке вещей. Уже тогда общество решительно разошлось на отечественную и безотечественную, космополитическую, части, на ответственную и безответственную.

Космополиты затем захватили в собственность все пропагандистские дуды и давай наяривать на них свою

песню, одних непомерно возвеличивая только за то, что они свои, а других, с истинными заслугами и доброй славой, замалчивая или поливая грязью за то лишь, что для первых они чужие. С тех пор по этой мерке отмечаются и даты, и события, раздаются милости и проклятия. Угодил в конце 80-х и в 90-е годы Виктор Астафьев ельцинским «реформаторам» – и вырвали его из почитания народного, устроили проводы в последний путь на весь мир. Не угодил Евгений Носов, не менее замечательный художник и тоже фронтовик, – и ни гугу, будто и не было такого писателя. О его кончине в июне прошлого года я узнал спустя две недели. А сейчас ни в Курске, где он жил, ни в Москве, ни во всей России не могут сыскать деньги на посмертное собрание его сочинений в пяти-шести книжках. Не тот, видите ли, масштаб личности...

Грустно.

Но юбилей Василия Белова в целом отметили, мне кажется, все-таки хорошо. Его замолчать не удалось, сама Россия позаботилась о том, чтобы воздать должное его дивному таланту и сыновнему чувству. Даже либеральная печать хоть и с ерничаньем, сквозь зубы, с подковырками, но вынуждена была отозваться. Но главное – провинция отметила, показав, как она любит и чтит своего заступника. Статьи, поздравления, юбилейные вечера во многих и многих областных и районных городах! Так и надо. Не ждать, когда канал Березовского или Швыдкого снизойдет, а методом, так сказать, народного порыва.

Я был на юбилейном вечере Станислава Куняева в Центральном доме литераторов. Огромный зал заполнен до отказа, более трех часов читатели и почитатели Куняева стояли на ногах в проходах. И как все от начала до конца было празднично, тепло, искренне и торжественно, сколько добрых слов в свой адрес выслушал юбиляр и как поэт, и как прозаик, автор трех книг воспоминаний и размышлений «Поэзия. Судьба. Россия», и как глав-

ный редактор «Нашего современника», и как безунывный патриот-боец!..

*Нам нельзя без сострадания
и справедливости*

В. К.: В конце прошлого года я видел вас на Всемирном Русском Народном соборе. Событие значительное, безусловно, и хотелось бы узнать, какие мысли вызвал у вас состоявшийся там разговор.

В. Р.: «Вера и труд» – так была в этот раз поставлена тема на Соборе. Так и хочется добавить, несколько перефразируя известное выражение, что вера и труд вместе все перетрут. Но перетрут ли? Тема важная, особенно сейчас, когда рабочие места худо-бедно вроде начинают прибывать.

Правда, и худо, и бедно, и в немалой степени за счет иностранных рабочих. Но вера должна бы была оградить трудящегося человека от беззастенчивого грабежа, вызвать в предпринимателе чувство сострадания и заставить его поделиться... На 85 процентов русского населения в России приходится лишь 7 процентов национального дохода. Стало быть, есть чем делиться. Заработная плата сейчас ниже советской в среднем на 35 процентов. Но это в среднем...

Есть с кем делиться. «Спасти богача может только правило: отдай другому, что у тебя лишнее». Эти слова были произнесены на Соборе под аплодисменты, однако услышаны были или униженными и оскорбленными, или теми, кто давно и безрезультатно бьется, чтобы в России вовсе не исчезло понятие справедливости.

А Васька, что называется, слушает да ест. Или вовсе не слушает!

В государстве, устроенном на несправедливых основаниях, нельзя добиться справедливости. Истинно верующие – бедные люди, им вера помогает в своем спасении

и долготерпении, а для богатого... известно же, что легче верблюду пролезть в игольное ушко...

У Л. Н. Толстого есть статья «Неделание», написанная в 1893 году. В ней он разделяет деятельность дурную, вызванную только выгодой, и деятельность в христианском понимании, дающую благо всем людям. И видит, что дурной, как он называет, «языческой» деятельности больше. И что надо прежде остановиться, разобраться, что хорошо и что плохо, а уж затем и браться опять за гуж.

Возможно, это кардинально или невозможно в теперешнем мире – другой вопрос. Но для государства, утопающего в бедах, разграничить с помощью хотя бы Счетной палаты или чего-то еще, какая деятельность ведет к благу и какая еще больше тянет ко дну, наверное, следовало бы.

Смею предположить, что процентов на восемьдесят теперешняя деятельность тянет ко дну, развращает и начальников, и подчиненных, обедняет страну и народ, создает атмосферу всеобщего надувательства и беззакония. Не будем уж задевать «грехи» толстовских времен, с которыми совесть не должна соглашаться, вроде производства табака и водки... Теперь много чего появилось новенького и необычайно приткого. Так много, что не знаешь, с чего и начать. Ну вот, к примеру, всякие посреднические фирмы, опутывающие липкой сетью в несколько рядов весь путь от производителя к потребителю и паразитирующие на этих махинациях... А сколько их у нас поразвелось – всяких липовых контор, подставных фирм, банков-миражей, якобы гуманитарных фондов, обществ!.. Одно перечисление способно вогнать в грех, а ведь все они действуют, дурят нас, ошипывают страну, как жертвенную курицу! Миллионы самых крепких молодых людей, с утверждением криминального порядка, ушли в охранную службу, чтобы защищать этот порядок. А десятки миллионов, вынужденных заниматься «купи-продай» – делом, которое в нашем народе никогда не пользовалось уважением! А

«демократические» выборы на всех уровнях, вбирающие в свою орбиту опять же миллионы готовых перегрызть друг другу горло!.. И так далее, и так далее, и еще много раз «и так далее»... Огромное это «чертово колесо», обдирая своими гигантскими лопастями Россию от начала и до конца, крутится безостановочно со все нарастающим аппетитом.

Теперь наш мужик вынужден кормить не трех генералов, а три сотни, как не больше, дармоедов. Когда бы погнать хоть половину дармоедов, а мужику вместо водки дать работу, это и была бы, я думаю, самая надежная «концепция» спасения России. Если же все оставить, как есть, замирая в испуге и благоговении перед могущественным словом «рынок», всякая другая «концепция» неминуемо превратится в форму еще одного дармоедства и паразитирования.

В. К.: О делах литературных. Как вы оцениваете их сегодня? Каково, на ваш взгляд, положение в Союзе писателей России и вокруг него?

В. Р.: Писатели России, несмотря на восторженно объявленную каналом «Культура» смерть русской литературы, продолжают работать. Наш Союз писателей занимается и творческой, и организаторской, и «выживательной» работой. Творческой, надо признаться, меньше, чем «выживательной», но такое сейчас время, когда под молохом «культурной революции» требуется прежде всего выстоять. И это удастся. Окрепили провинциальные журналы – «Север», «Сибирь», «Подъем», приходят в себя «Сибирские огни», появились новые издания и сразу заняли достойное место – «Отечество» в Рязани, «Всерусский собор» в Петербурге. Последний, что очень важно, делают молодые литераторы.

Так что выстояли и отверженными, как бы ни хотелось этого кому-то, не стали. Местная власть помогает и писательским организациям, и журналам, и молодым авторам. Даже учиться в Литературном институте помогает, как, к примеру, это делает Иркутский областной комитет

по культуре, второй год выделяя проездные в Москву для студентов-заочников.

За нами Россия – не пропадем!

Январь 2003 г.

Бедность и порок

*Есть ли сострадание к униженным
и оскорбленным?*

Виктор Кожемяко: Валентин Григорьевич, вы знаете, что во МХАТе имени М. Горького с успехом идет спектакль «Униженные и оскорбленные» – Достоевский в постановке Татьяны Васильевны Дорониной. Известно также, какое яростное неприятие либеральной прессы вызвала эта работа. По-моему, связано такое неприятие не в последнюю очередь с темой спектакля, прозвучавшего необыкновенно злободневно. Театр, руководимый великой русской актрисой, страстно встает на сторону тех, которые и в сегодняшней нашей жизни оказались униженными и оскорбленными.

Таких – многие миллионы! Ведь даже по официальной статистике около или более трети населения страны находится за чертой бедности. Вы в своем творчестве последних лет всецело на их стороне. Можно вспомнить потрясающий ваш рассказ «В ту же землю», да и все другие тоже.

А как вы считаете, достаточно ли наша литература, искусство и те, кто здесь работают, то есть современные художники, живут сегодня горем и болями так называемых простых людей? Это ведь один из первейших нравственных заветов отечественной классической литературы и культуры в целом...

Валентин Распутин: Вы правы, вся русская литература XIX века полна сострадания к бедным и обездоленным. Она и велика была двумя главными качествами – художественностью и сострадательностью, из второй,

чувственной ее стороны полнилась и первая, профессиональная. Давайте вспоминать: Радищев еще из XVIII века («Я взглянул окрест себя: душа моя страданиями человеческими уязвлена стала»), Карамзин, Пушкин («...И милость к падшим призывал»). Гоголь, Тургенев, Лесков, Островский, Чехов, Толстой (особенно в статьях), Достоевский (везде, в каждой крупной работе, да и в «Дневнике писателя» тоже)... А Некрасов, Никитин, Кольцов, последним – Горький!.. Названия произведений прямо указывают на сочувствие к несчастным: «Бедная Лиза», «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Бедность не порок», «Антон-горемыка», «На дне»... И не только литература славна была этой добродетелью. В живописи подобный ряд перечисления будет еще больше. Театр, начинающийся с драматургии, то есть с литературы, пожалуй, ярче всего взывал о сострадании. Песни тех времен рвут нам сердце до сих пор. И, конечно, такая огромная и общая милосердная работа не могла не приносить результаты: открывались ночлежные дома, бесплатные столовые, сиропитательные приюты, ремесленные училища для бедных детей. Конечно, русская культура этой нравственной нотой не в силах была полностью избавить Россию от бедности, но ведь была она, нота-то, и как звучала, каким душам указывала пути! А теперь, уж коли на то пошло, давайте сравнивать с нынешним временем. Старая нищета казалась укорененной в России и шла из глубины веков («Доля ты русская!.. Вряд ли труднее сыскать!»); новая нагрянула неожиданно и жестоко. Нас начинают приучать к ней, «культурные» умы на канале «Культура» уверяют, к примеру, что густое бродяжничество малолетних, насчитывающее миллионы, это ничего... так и должно быть. Но мы-то, свидетели того, что этого в советское время не было, еще живы. Не было! Совсем! И появилось в считанные годы. Бедность сейчас готовы выводить из порочности людей, из лени, пьянства и неспособности приспособ-

собраться к новой обстановке. Словом, в своей бедности бедные виноваты сами. И никто иной. Открыто заявляется, что лучшие времена наступят, когда вымрут старики, живущие воспоминаниями о прошлом.

МХАТ Татьяны Дорониной – чуть ли не единственный театр в России, который во все 90-е годы и сейчас, ставя Достоевского, Островского и Горького, говорит об обездоленных, и уж, конечно, не как о людях низшего сорта, а как о несчастных с сердцами благородными и добрыми, не способными идти против совести. Другого такого театра в России с подобным репертуаром я не знаю. В нынешней литературе сострадательные слезы есть, но «Униженных и оскорбленных» никто не написал. Да литература и сама нуждается в сострадании: одна ее часть, благополучная, – потому что развратна, зла и высокомерна, а вторая, продолжающая традиции отечественной словесности, – потому что сама отвержена и поругана.

В. К.: Сытое высокомерие определенной части деятелей нашего искусства просто поражает. Мне уже доводилось, например, говорить о показанном по телевидению (канал «Культура») спектакле «Комната смеха». Пьеса некоего О. Богаева поставлена О. Табаковым в его так называемой «Табакерке». Главный герой – пенсионер, ветеран, старый и больной человек. И вот драматург вместе с режиссером и актером – это Олег Табаков в одном лице – на протяжении двух часов всячески высмеивают беднягу. Так и слышится хохоток богатых, самодовольных над обобраным и беспомощным. А еще болтают что-то о гуманизме!

В. Р.: Нет, от этих гуманизма ждать не приходится. Истинное человеколюбие, похоже, чуждо им...

Замораживают, грабят, издеваются

В. К.: Литература литературой, театр театром, а в жизни ведь происходит нечто ужасающее. Вот настала

зима – и снова замерзают целые города, даже регионы. В Усть-Куте, родной вашей Иркутской области, перед Новым годом в собственной квартире до смерти замерз ветеран Великой Отечественной войны Николай Бобков. А в городе Валдае, в родильном отделении местной больницы, спасали от холода только что появившуюся на свет Катю Дружинину. Старых и малых, то есть наиболее слабых и незащищенных, бьет нынешняя жизнь прежде всего! Кстати, когда я услышал название Усть-Кут, тут же вспомнил, что в 1992-м именно отсюда поехал в свое последнее трагическое путешествие, в Брест, бывший солдат Великой Отечественной, защитник Брестской крепости Тимерян Зинатов. Он каждый год навещал это памятное место своей жизни, но тогда прибыл сюда проститься. Лег на рельсы под поезд, оставив записку с проклятиями, как он написал, «ельцинско-гайдаровскому правительству» – за всю эту устроенную ими жизнь, за унижение ветеранов, за измену Великой Победе.

Меня поражают два этих трагических факта, связанных с сибирским городом Усть-Кутом и двумя ветеранами войны. Зимой 1941-го, как известно, сибирские дивизии, подоспевшие на помощь столице, в значительной степени решили исход Московской битвы, остановили и повернули вспять сильнейшего врага. А вот теперь – такие известия о судьбе солдат-сибиряков...

В. Р.: Усть-Кут, основанный на Лене еще во времена Ерофея Хабарова, – это город-труженик, город-кормилец. Здесь, на ветке Транссиба, начинался БАМ, шла перевалка с рельсов на воду огромного количества грузов, в том числе топлива, для отдаленных северных районов и Якутии. И вот, обогревая десятки лет Север, сам остался без тепла и заботы. А рядом, на Ангаре, две крупнейшие в мире гидростанции – Братская и Усть-Илимская. Прежняя власть все сделала для того, чтобы уж от чего от чего, а от стужи этот край не страдал: только и не успела – зиму не отмени-

ла... Конечно, ветеран войны, с точки зрения сегодняшней «демократии», имеет право замерзнуть в своей квартирке, а защитник Брестской крепости имеет право ложиться на рельсы с проклятиями кому угодно – у нас общество прав необычайно широкого ассортимента, – да ведь уже и спасения не стало от этих убийственных «прав»!

И во что же обратят многочисленные случаи вымерзания нынешней зимой целых городов и поселков? Можно не сомневаться (и мы это уже видим!) – необходимость немедленной «реформы» ЖКХ и РАО «ЕЭС» обратят в требования скорейшего введения европейских стандартов оплаты за тепло и свет. Но коммуникации пришли в негодность уже при вас, господа, где же вы были раньше? Почему при завозе топлива ориентировались на мягкую зиму – по приглашению с Господом Богом или как? Добиваясь европейской оплаты за коммунальные услуги, почему вы не вводите европейские зарплаты и пенсию?

Эх, господа, прежде всего в вас «теплосистема» отказала! Та, что и есть истинная причина всех зол. Та, что и по служебному и по нравственному долгу заключается в отношении к людям. Сначала ее надо «реформировать», а уж потом все остальное.

В. К.: Наше общество с небывалым, разительным контрастом разделено сегодня на богатых и бедных. Конечно же, богачей по сравнению с бедняками – малое меньшинство.

Но как вызывающи их пресыщенность, их роскошь! Да что говорить, если официальная зарплата какого-нибудь Кукуры из «Лукойла» составляет, как нам сообщили, 1,8 миллиона долларов в год, а сельский учитель, библиотекарь, врач ежемесячно получают от силы две тысячи рублей. Это же почти в две с половиной тысячи раз меньше!

И такой разрыв со временем не сокращается, а все увеличивается и увеличивается. Что вы об этом думаете? Можно ли и дальше с этим мириться? И что же, в конце концов, делать при виде столь вопиющей несправедливости

и безнравственности, которые становятся, можно сказать, узаконенной нормой нынешней жизни?

В. Р.: Зарплата Кукуры из «Лукойла» (если считать это зарплатой), можно не сомневаться, гораздо больше, чем поражающая нас с вами цифра. Там другая, «горняя» жизнь, другие запросы, другие понятия о «мало» и «много», другие вкусы. У богатых свой язык, свои законы, своя честь и своя совесть, своя вода и свой хлеб, свои школы и университеты для своих детей, даже свое солнце на экзотических островах, отнятых у Бога и вывезенных из рая. В футбол играть они отправляются на Северный полюс, для прогулок в космос могут нанимать извозчиками российских космонавтов. Нашему брату даже и взглянуть на их жизнь нельзя: ослепнем. Должно же куда-то было деваться то, что сделало нищей богатейшую страну, – вот оно и показывает себя в самых уродливых и вызывающих формах! Богатые и умирают «героически», в разборках друг с другом, – бедные, скрючившись, застывают от голода и холода. Эти два мира почти не имеют точек соприкосновения и едва ли будут иметь их в будущем.

Помните, несколько лет назад американский еврей, бывший советский подданный, писатель Эдуард Тополь обратился с письмом к российским евреям Березовскому и Гусинскому. Несколько смущенный стремительностью и необъятностью обогащения своих соплеменников, он предложил им, во избежание будущих бед, поделиться частью присвоенного с Россией. О реакции Гусинского я не знаю, а Березовский однажды с живостью отозвался, что делиться он, конечно, не собирается, а если бы и поделился – все равно бы пропили и разворовали. Ответ, достойный праведника, чье фантастическое богатство по капле добывалось тяжкими и только личными трудами. Робкая попытка Путина уговорить «поделиться» олигархов, и теперь выжимающих из недр России ее кровь и соки, также ни к чему не привела.

Этого и следовало ожидать, но удивляться надо не тому, что нувориши отказываются делиться, а – почему их нужно уговаривать? Если приватизация была незаконной и походила на грабеж (а в этом никто не сомневается) – таковой и надо ее объявить во всеуслышание и вернуть народу по закону причитающееся ему или заставить расплатиться по полной цене. Заикания по этому поводу были, но и они умолкли. Сила, значит, ломит солому.

В. К.: Власть решила «замять» этот вопрос. Объявить саму постановку его как бы незаконной! Словно все так и должно быть: одни не знают, куда деньги девать, а у других на кусок хлеба не хватает...

В. Р.: То, что происхождение несметных богатств олигархов надо выводить из народной бедности, – ясно; но более того – гарантии защиты богатых, о которых в последнее время немало твердится, отняты у гарантий защиты бедных. Приходится делать поразительный вывод: сначала милосердие к богатым, а уж на бедных – что останется.

Это закон: всякий несправедный порядок превращается в жестокость. Спрошено с Ельцина, по бревнышку, по камешку раскатавшего Россию? Спрошено с «семьи», которая цинично и жадно что хотела, то и воротила в России, как в своей собственной вотчине? С Чубайса, руководившего торопливым растаскиванием, спрошено? С Гайдара, уложившего преждевременно в могилы миллионы? С других-прочих? Да нет, все они ограждены законом, процветают, шикают, жируют, чувствуют себя личностями, сыгравшими роль в истории. Спрошено только с невинных.

Конечно, не следует всех богатых мерить на один аршин. Есть среди них и такие, в ком, как в известной песне про Кудеяра, «совесть Господь пробудил». Они помогают в строительстве храмов, спасая свою душу, дают деньги на культурные программы, не всегда, правда, разбираясь – на полезные или вредные. Вон и олигархи дают, но те, надо сказать, хорошо знают, на что дают. Березовский учредил

премию «Триумф», она вручается тем, кто противостоит русской культуре. Ходорковский бешеные деньги пообещал «Норд-Осту», чтобы он имел возможность сеять свое «искусство» по всей России. Всяческих премий и фондов, программ, фестивалей, трали-валей, в «культурной» и «духовной» оболочке двинувшихся на Россию, развелось столько, что необъятная наша Родина оказалась объята ими из конца в конец. Как не вспомнить слова Тютчева: «О край родной! Такого ополченья мир не видал с первоначальных дней». И дальше, чтобы лучше мы понимали: «Велико, знать, о Русь, твое значенье. Мужайся, стой, крепись и одолей!»

*Слышит ли власть
и почему молчит народ?*

В. К.: Хотелось бы поставить вот еще какой вопрос. Слышит ли власть голос униженных и оскорбленных? Вот было очередное телевизионное «общение президента с народом». Говорят, поступили сотни тысяч вопросов, но как-то странно, что в отобранных и озвученных для ответов не было, по-моему, ни одного, в котором вы услышали бы крик души этой части наших сограждан. Или они уже отчаялись, изверились во всем и понимают истинную цену такого общения?

В. Р.: Вопросы озвучиваются, как вы понимаете, с целью утверждения и облагораживания президентского авторитета. Это огромного размаха пропагандистская машина, и в ней все точно, как на весах, выверено. Два-три вопроса из сотен тысяч могут быть, в двух-трех случаях обиженные могут получить милость, но общей картины это не изменит. Сотни тысяч вопросов... конечно, немалая часть от бедных, не теряющих надежды на чудо. Но именно на чудо: вдруг, как в рулетке, вытащат мой «номер», и президент на всю страну объявит: ждите помощи. Собственно, так оно и было на сей раз.

Но посмотрите, как в сути своей меняется надежда на верховную власть. В прежние времена считалось в народе, что Сталин или Брежнев, как и батюшка-царь, конечно же, за простых смертных, но до них не поднимается полная правда о происходящем внизу. Так и заявляли отчаянные правдолюбцы: «Я до самого Сталина дойду!», «Я до Брежнева дойду!», ибо там вся полнота власти, и если уж Сталин топнет ногой – вздрогнет вся страна. У нынешнего президента такого ореола народного заступника нет. Нет и полного доверия к нему: люди не забыли еще, что он возведен во власть Ельциным под гарантии своей безопасности.

В. К.: На мой взгляд, общество наше в связи с приходом капитализма становится все более равнодушным и жестоким. Привыкает к тому, к чему привыкнуть, казалось бы, невозможно. Многие теперь с абсолютным спокойствием воспринимают известия об очередных убийствах, катастрофах, чубайсовских «отключениях». Не очень-то волнует и судьба двух миллионов беспризорных детей. А бомжей, судя по всему, некоторые даже за людей не считают, само это слово произносится зачастую с откровенной брезгливостью. Вот по тридцатке накинули к пенсиям – это же издевательство! А люди повозмущались между собой и замолкли... Привычка?

В. Р.: Пенсии, которые постоянно громогласно повышаются, – это только на хлеб. На хлеб впроголодь, вероятно, хватило бы... Если бы не болеть. До каких высот взлетели цены на лекарства, говорить не надо. Болеть нельзя. Если бы не повышалась постоянно плата за электричество, газ, воду. Если безвылазно сидеть дома и не связываться с транспортом, даже городским, не говоря уж о поездах, самолетах. Если не покупать ни одежду, ни обувь. Не хоронить близких. Все обычные и привычные связи и потребности стоят сейчас денег и денег. Неспособность заплатить обходится дорого. В Ангарске (это опять Иркутская область)

доведенные до отчаяния люди, неплательщики за воду, пытаются забаррикадироваться в квартирах и не открывать двери работникам ЖКХ, но те дают указания пробивать снаружи кирпичную кладку и обрезать трубы. В Хабаровске огромные, едва шевелящиеся от отчаяния очереди инвалидов за полагающимися им бесплатными лекарствами. Лекарства вроде и полагаются, а аптеки, должны их выдавать, убавлены втрое. В Кирове... на Камчатке... сил нет перечислять! А я ведь телевизор почти не смотрю и даже в новостные программы заглядываю редко – значит, это малая-премалая часть из того, что показывают. А показывают – малая-премалая часть из того, что происходит.

Верно, это жестокость. Жестокость, к которой мы привыкаем. Жестокость, происходящая от нежелания или неспособности местной и федеральной власти – простереть свою милосердную длань в сторону беззащитных. Учителя, врачи, слава Богу, способны постоять за себя, а пенсионеры, инвалиды забастовку не объявят. И голодовку тоже; им и без того достаточно красноречиво заявляют, что они зажились. «Вы чье, старичье?» – хороший был рассказ под этим названием у Бориса Васильева. А ничье. Бесхозное. Прежде слово «нелюди» было обозначением нравственного уродства, теперь его все настойчивей отсылают к старикам, оставившим свои годы и силы на труды в отринутой стране.

В этом и корень жестокости: вы – не наши, вы – побежденные, зажившиеся...

Капитализм сам по себе – безжалостное общественное устройство. Реваншистский капитализм, утверждающийся в России, уродлив еще и потому, что он находится в состоянии войны не только с коммунистическими, но и с историческими традициями и имеет своим происхождением «общечеловеческие ценности», которые позволяют бомбить Югославию, Ирак и говорить о необходимости «мер» в связи с перенаселенностью планеты.

В. К.: Да, ведь по многим вопросам, причем наиболее жизненно важным, власть сегодня постоянно и откровенно занимает сторону новоявленных «хозяев жизни». Несмотря на массовые протесты и заявления очень авторитетных, уважаемых людей (ваши в том числе), протащили все-таки закон о купле-продаже земли. Скоро начнут разрывать на куски железнодорожный транспорт. А некоторая задержка убийственной для большинства жилищно-коммунальной реформы и раздела РАО «ЕЭС», судя по всему, скоро будет компенсирована – и все сделают так, как хотят. Но почему же так пассивен (или слеп?) народ? Повторю тот памятный вопрос Шукшина: что же с нами происходит?

В. Р.: Что происходит? Под мощной атакой откровенного бесстыдства и беззакония в течение вот уже пятнадцати лет, в условиях беспощадной и жуткой реальности происходит, по-видимому, реформация душ. Если на одной стороне властвует правило: обогащайся кто как может; на другой – спасайся кто как может. Законы общности ослабли. Рабочий класс разогнали, крестьянство тоже – вот почему и сделалось возможным протаскивание грабительских законов, в том числе закона о продаже земли, окончательно закрепляющих статус-кво богатых и статус-кво бедных, дающих одним полную власть и полную свободу действий, а другим – безвылазное бесправие и еще большее закабаление.

Но вот, как прежде не без пафоса говорилось, на переломные рубежи в борьбе за свои права выходят учителя, врачи... Я ж и не знаю, говорю ли о них как о серьезной силе сопротивления или во имя требующейся в конце беседы бодрой ноты. Но ведь случались же в истории и «бабьи бунты» – и довольно успешные. О них невольно вспоминаешь при виде массовых, самых массовых, организованных, по всему судя, не профсоюзами, а крайним отчаянием выступлений женщин-домохозяек против реформы ЖКХ в Воронеже, на Камчатке, в Усоллье-Сибирском...

Они – последние ряды сопротивления, но последние-то и самые стойкие, им отступать некуда.

Апрель 2003 г.

ОТНИМАЮТ У НАРОДА РОДИНУ

Чья эта страна?

Виктор Кожемяко: Валентин Григорьевич, в одиннадцатом номере журнала «Наш современник» за прошлый год опубликована ваша новая повесть «Дочь Ивана, мать Ивана». В моем восприятии она должна стать очень значительным событием нашей литературной и в целом общественной жизни. А каковы отклики? Многие ли газеты и журналы сообщили об этом? Честно говоря, я в прессе мало что читал: по телевидению и по радио вообще ни слова не слышал. Можно ли такое считать нормальным? По-моему, в советское время было иначе. Тут возникает вопрос об изменившемся месте литературы в нашей жизни или об отношении к писателю Валентину Распутину?

Валентин Распутин: Отклики есть. В нашем кругу в основном положительные, в ненашем, как и положено, издевательские. Два мира, две судьбы, два противоположных взгляда абсолютно на все. У одних – боль за Россию и народ, у других, как у Дм. Быкова в «Огоньке»: «Да что же это вас, сердешные, все время насилуют?.. Но если вас насилуют – в диапазоне от Маркса до кавказцев, может, вы как-нибудь не так лежите?» На подобное «остроумие» и отвечать не хочется, очень уж это гадко по отношению к брошенным на произвол судьбы и лишенным всякой защиты десяткам миллионов униженных и оскорбленных.

Но повесть «пошла». Она опубликована уже в четырех журналах, набирается еще в одном, попала в Интернет, вышла книжкой в Иркутске, одновременно в двух

обложках, отдельной и общей, выходит в «Молодой гвардии», готовится в нескольких провинциальных городах. Так и надо: пусть небольшими тиражами, но гуще, чтобы читали в самых разных местах. Идут обсуждения, иногда в совсем узком кругу: получили «Наш современник» с повестью, по очереди прочли в семи-десяти квартирах и сходятся для разговора. Как газета в хорошем смысле, нечто вроде «коллективного пропагандиста и агитатора».

В. К.: Значение вашей повести, на мой взгляд, в том, что она с большой художественной точностью и пронзительной эмоциональной силой передает психологическое состояние весьма многочисленной части нашего общества, которая обездолена так называемыми реформами. Находящихся за чертой бедности у нас где-то около трети населения, так официально говорят. На самом же деле, наверное, гораздо больше. Да ведь это находящихся уже «за чертой»! А возле нее сколько? И главная тема повести, конечно, в крайнем отчаянии бесправия, до которого доведен бедный человек. Искать правды, искать защиты ему абсолютно негде. Он может рассчитывать в этом лишь на себя, но уж никак не на милицию, прокуратуру или суд, которые настоятельно пропагандируются как атрибуты строящегося «правового государства». У кого деньги, у того и права. Это в сознании людей уже утвердилось. Это остро чувствует ваша героиня. Вот чем обернулась борьба за «права человека»! Вы согласитесь, что в отношении к правам у нас теперь соревнуются мера лицемерия и мера цинизма, а такие понятия, как совесть, сострадание, честь, предаются забвению или могут продаваться за деньги?

В. Р.: Мы с вами, Виктор Стефанович, уже десять лет как на вахте стоим, ведем эти беседы, и всякий раз не можем обойтись без одних и тех же больших вопросов. Что поделаешь – болит, и не существует средств, чтобы снять боль.

Кажется, приводили и слова Владимира Соколова, теперь уже покойного замечательного поэта, звучащие с запредельным отчаянием: «И зачем мне права человека, если я уже не человек?». В самом деле, подмена воистину дьявольская: права человека сделались отрицанием прав народа, а человек-то с правами – это, конечно, не рядовая личность, а или хам с телевидения, или плут размера Чубайса и Абрамовича, вокруг которых пасутся стада адвокатов.

Десять лет мы говорим одно по одному, а цинизм за эти десять лет стал в десять раз циничнее, лицемерие – во столько же лицемерней, несправедливость – несправедливей, разделительная черта между богатыми и бедными – глубже, слезы – горячеей. Единственная поправка, что кусок хлеба появился. Все остальное – во имя закрепления существующего порядка.

Но если ничего в сущности своей не меняется – доколе без толку возмущаться?! Все равно никакого толку, никто не услышит. Что было возмущаться моей героине, когда изнасиловали ее дочь и принялись выгораживать насильника! Она видела: не поможет никто, государство и закон у нас слабых под защиту не берут. Хоть в ногах валяйся, хоть слезами залейся, хоть криком закричись. Поэтому надо было становиться сильной, даже и вопреки закону. Но это и не вопреки закону, а в отсутствие закона, без которого весь существующий веками порядок покосился и полюса добра и зла поменялись. Оттого и пошла моя Тамара Ивановна добывать справедливость своей правдой. Другого выхода она не нашла. Честь дороже суда и свободы. И таких историй, как в моей повести, десятки и сотни по России в последние годы; я ничего не выдумывал, а воспользовался следственным делом и, что называется, «близко к тексту» рассказал, как это бывает, расширив лишь круг героев, расширив его настолько, чтобы мы могли находиться в нем все, сколько нас ни есть на Руси. Судьба-то у нас одна, горемычная.

В. К.: Ваша повесть – из жизни народной. Так раньше писали. Теперь слова «народ», «народный», «народность» (скажем, «народность литературы») не услышишь и не прочитаешь. Они не в ходу, и будто отменены сами эти понятия. Почему?

В. Р.: Отменены не только эти понятия, исчезло и их содержание, то, к чему прилагаются понятия. Не стало рабочего класса, крестьянства, составлявших сердцевину народа, вместо них – наемная сила, арендаторы, что-то временное, ненадежное, перекатное по рынку, не образующее рабочих династий. Или вот еще – аграрии – нечто духовно не вросшее в землю, существующее на каких-то странных правах, при которых плохой урожай – беда, а хороший урожай – еще больше беда.

Но самое невероятное: в народе и надобности не стало. К нему не обращаются больше за поддержкой во дни испытаний, а уж какие еще испытания нужны, если не те, что пали на Россию с начала реформ? Не звучит обращенный к народу зов мобилизации на жизненно важные стройки, не передается его профессиональный и человеческий опыт, его услуги в воспитании молодежи. Все мимо, мимо и мимо, все на чужой лад, под завезенную сурдинку. Строительных рабочих набирают в Турции и Таджикистане, нефть и газ качают вахтовики с Украины и из Молдавии, картошку и капусту выращивают китайцы, они же продают нам свинину, цыпляток мы завозим из Америки, воспитанием молодежи занимаются штурмовики самого мессира Воланда, облепившие густо каналы и страницы.

И бродит остатками своими народ неприкаянно: в родной стране не лучше, чем в изгнании. Вздрагивает от залпов торжественных салютов, щурится от вспышек фейерверков: еще одна победа над ним? Или над кем? В компьютерные и торговые фирмы его не мобилизуешь: простоват; в охранные службы не годится: не тот прицел возьмет.

А иного дела больше на Руси не осталось.

И превратился он, бывший великий народ, в обузу: поить-кормить надо, пенсию прибавлять, успокоить, что все идет правильно, туда, в те палестины, где и найдет он окончательное успокоение.

Да, забыл: одна служба все-таки осталась. Голосовать. Одно применение народу нашлось.

В. К.: Вы удовлетворены тем, что происходит за последнее время в культуре нашей страны? Недавно выступал по телевидению министр культуры Швыдкой (в программе Сванидзе «Зеркало») и без ложной скромности заявил: последние годы – самые лучшие для нашей культуры. Дескать, никогда для нее не было сделано столько хорошего. А вы это замечаете? В частности, министр много распространялся о сделанном в пользу сельских клубов и библиотек. Я знаю, что в Москве вместо клубов и домов культуры теперь сплошь казино. Неужели в селах вашей родной Иркутской области – расцвет культуры?

В. Р.: Швыдкого, наверное, надо понимать так, что на культуру денег теперь отпускается из бюджета несколько больше. А уж на культуру они идут – для сельских клубов и библиотек – или на шоу, это еще вопрос. Судя по вкусам министра, которые он и не скрывает, вероятней всего – на шумные и грандиозные представления с дорогими «звездами». Это сделалось теперь первым, а зачастую и единственным «номером» российской культуры при взгляде на нее из Москвы.

Если говорить о сельских библиотеках в Иркутской области, они хоть и пребывают в бедности, но все-таки сохранены благодаря местной власти. С клубами в глубинке хуже: или брошены, или превращены в дискотеки. В самом Иркутске, слава Богу, строятся и новые библиотеки, и новые музеи.

Кстати, замечаю: краеведческие музеи появляются много где – и это, я думаю, по всей России. Точно веление времени: чем яростней отрывают нас от родной земли, тем

настойчивей мы стараемся в нее врасти. Но это уж, конечно, «самосевом», Швидкой здесь ни при чем.

В. К.: Про народ не говорят и не пишут, зато всю жонглируют словечком «элита». Как вы к нему относитесь? Недавно за «круглым столом» в нашей редакции, посвященным нынешнему состоянию русской литературы, у меня возник спор с одним очень хорошим поэтом, который нередко прибегал в своем выступлении к этому слову. По моему, противоестественно, когда люди сами называют себя элитой. И не убедило меня, когда мой оппонент заявил, что для него элита, скажем, Кольцов (намекая, конечно, на «низкое» происхождение великого поэта: дескать, несмотря...). Кольцов – это замечательно, однако сегодня-то совсем иная «элита» господствует у нас в литературе, театре, на телеэкране и в политике. Что вы думаете на сей счет?

В. Р.: Тридцать лет назад А. И. Солженицын, тогда еще не высланный на Запад, ввел по адресу части советской интеллигенции термин «образованщина». Надо признать, что это было прицельно точное обозначение разбухшей и духовно рыхлой, но привилегированной части общества. И Солженицын был прав, предрекая, что именно образованщина утопит в своем болоте все, что в течение двух столетий было словом и делом русской интеллигенции. На место образованщины, считал он, должна прийти элита. Жертвенная по своей сути и роли элита, избранный, чистого служения сорт бескорыстных людей, некий фильтр, через который станет «протискиваться все духовно лучшее и собираться с противоположной стороны в достойный народ».

Время, что ли, выпало нам такое несчастливое, что самые лучшие представления о чем-либо обнадеживающем тут же, не сделав даже попытки к воплощению, превращаются в свою противоположность.

То, что объявило себя сегодня элитой, ни по нравственному, ни по общественному праву быть ею никак не может.

Понятие элиты всегда несло в себе возвышенный и благородный смысл духовной и профессиональной (служебной) безупречности. Элитарный – лучший, благороднейший, красиво и талантливо состоявшийся. Самозванцы, присвоившие себе титул элиты, беспардонно объявившие себя цветом нации, наперебой выставляющиеся перед камерами с видом небожителей, – это люди иных «достоинств». По аналогии с образованщиной их должно называть элитарщиной – то, что буйно разрослось, но приносит никчемные или ядовитые плоды. По сравнению с образованщиной элитарщина стоит еще ниже и как бы обнаруживает уж совсем последние пределы того удивительного и нигде более не повторившегося явления, которое было русской интеллигенцией.

У образованщины хоть и вялое, неискреннее, но служение обществу и государству оставалось – элитарщина никому, кроме как себе самой, не служит, и все высокие понятия, которые еще оставались у образованщины, она публично презрела и высмеяла.

Образованщина могла считать себя придавленной, стесненной государством – элитарщина купается в свободах, как в грязном половодье, и пользуется ими только для своего удовольствия.

Образованщина жила с двойным сознанием: для себя и для общества – и с тройной моралью: для себя, для общества и государства; элитарщина свое сознание сосредоточила только на себе, и никакой морали, кроме определенных правил поведения в своем кругу, у нее не осталось. Она откровенно стяжательна, надменна и открыто проповедует безнравственность и цинизм.

Ожидать ее добровольного выправления было бы сверхнаивностью. Она в своей шкуре, в своей атмосфере, ей здесь удобно. И непогрешимые в чистоте целомудренных вкусов поклонники окружают ее бесконечным восторгом – так и будет, пока не изменится «атмосфера».

Я говорю о «культурной элите», а политическая и экономическая, когда они в объятиях появляются вместе, ничем не лучше, только чуть напыщенной и загадочней.

В. К.: Нынешняя «элита», сама себя назначившая, определила также, кому быть «изгоями». Подумать только, Валентин Распутин или Татьяна Доронина уже более десяти лет числятся этой самозваной «элитой» где-то на обочине современной культуры! Вон новая премьера на сцене МХАТа имени М. Горького – «Васса Железнова» с великой русской актрисой Татьяной Дорониной в главной роли. Это же событие, повод для огромного общественного интереса и серьезного разговора на телевидении, по радио, в прессе! А что мы имеем? Немедленно, как по сигналу, выходят две совершенно хамские заметки – в «Известиях» и «Коммерсанте», затем раздается столь же хамский выстрел в интернете. С какой целью? По-моему, с одной: морально уничтожить ненавистную Доронину. А за что же они ее так ненавидят? В своей статье об этом спектакле я написал: за то, что она любит Россию. Кстати, почти в точности повторилось бывшее два года назад вокруг спектакля «Униженные и оскорбленные», даже один из авторов тот же. В прошлый раз напрямую требовали отдать сцену доронинского театра «под мюзиклы». Тогда в защиту МХАТа имени М. Горького, ставшего одним из оплотов русского реалистического, психологического театра, выступили Валентин Распутин и Василий Белов, директор Пушкинского дома член-корреспондент Академии наук Николай Скатов и директор Ленинской библиотеки Виктор Федоров, ряд других выдающихся лиц нашей культуры. А теперь автор «Коммерсанта» оговаривается про всех них с высочайшей степенью пренебрежительности: «какие-то деятели». Какие-то! Понятно, не «элита»...

В. Р.: Почему эта «элита» не признает и не любит нас? Да иначе и быть не может: масть другая. Есть несовместимые одна с другой масти не только среди животных, но и

среди граждан теперешней России. Не по крови, разумеется, а по духовной генетике. Поэтому и нельзя нас представить вместе, пока они не перестанут ненавидеть нашу Россию и кипучую свою деятельность не перестанут отдавать ее культурному и духовному разрушению, а мы не перестанем ее любить и противостоять им в разрушительной работе. У них в руках – мощнейшая машина воздействия на умы и сердца, имеющая к тому же государственную поддержку в лице министерств и чиновников самого высокого ранга, а у нас отдельные, никак не сдающиеся на милость сильного крепости вроде МХАТа имени М. Горького или Союза писателей России. Упоенные своей силой и победами, они готовы считать, что дело сделано, Россию они взяли, остается только кой-какая «зачистка». И как же им не набрасываться на Татьяну Доронинову, если вслед за одним прекрасным спектаклем она выпускает другой и смирать свой дух и талант не собирается.

Прочитал я недавно одну любопытную книжку, думаю, популярную в последние месяцы. Автор – молодая журналистка Елена Трегубова, из «элиты» выше некуда, не один год имевшая постоянную аккредитацию в Кремле. И пользовавшаяся успехом у кремлевских обитателей. Ее приглашал на обед Путин, будучи еще главой ФСБ, с нею заигрывал Ельцин, была на короткой ноге с «Валей Юмашевым» и «Сашей Волошиным», ну а уж младореформаторы души в ней не чаяли, как и она в них. Читать эту книгу – надо иметь мужество и терпение: автор – особа чрезвычайно циничная, самовлюбленная, нахальная, душой и телом принадлежащая американскому образу жизни. Но и откровенная. Откровенная до того, что ей-то права человека не помешают, чтобы отбрыкиваться от всех, кого она выставляет в книге без всякой ретуши и умолчаний.

Тем меня эта книжка и взяла: все, что было и есть, – наверх, читателю, никому никакого укрытия, кроме уж со-

всем своим, неприкасаемым. Где бы я, маленький человек, смог еще узнать, что Россией в ельцинские годы управляли не столько из Кремля, сколько из квартиры Маши Слоним, журналистки «Би-би-си» и близкой подруги Лены Трегубовой. Там собирались и олигархи, и младореформаторы, и члены правительства, и члены «семьи», и «элитные» журналисты, и кремлевские воротилы. Там и решалось, кому кем быть и кого куда двигать. Оттуда и шло давление на Ельцина. Примаков не продержался долго на посту председателя правительства – потому что у Маши Слоним его не любили. Оттуда же пристально разглядели Путина. Сам Ельцин потерял доверие и поддержку этого круга не потому, что принес стране неисчислимые беды, а потому, что стал делать «невнятные» и «неправильные», на взгляд богемы, кадровые перестановки.

Больше всего меня поразило в этой книге: нигде и никогда, ни при каких обстоятельствах ни слова о жизни глубинной России. Ни слова о народе, будто его рассчитали раз и навсегда еще при первых ельцинских шагах. Ни слова о нас, о тех, кто не на Америку глаза пялит, а пытается отстоять Россию. Для них мы просто не существуем. Все радости и неприятности, победы и временные отступления только там, в орбите кремлевской и околоремлевской шарашки. Все остальное, если оно где-то есть, – неинтересно и не важно. И только однажды автор обращает свой взгляд на Россию. Зато какой взгляд! В тот день, когда Евгений Примаков развернул над Атлантикой самолет, узнав о начале бомбежек Югославии, кремлевская журналистка сорвалась, не скрывая лютой ненависти к Примакову:

– Это моя страна, а не Примакова!

До нас, правда, дело не дошло. И о том, что эта страна может быть еще и нашей, воображения не хватило. И, если бы нашелся кто-то, кто бы напомнил ей о нас, она, думаю, искренне бы удивилась: «А это кто такие?»

Март 2004 г.

Исчужили Россию

Виктор Кожмяко: Дорогой Валентин Григорьевич! По многолетней уже традиции нашей подводим некоторые итоги минувшего года – 2004-го. И главная тема, на которой мне хотелось бы сосредоточить ваше внимание сегодня, подсказана главным, наверное, событием этого года. Увы, опять трагическим! Я имею в виду Беслан, гибель сотен ни в чем не повинных людей, большинство которых – дети.

В связи с этой трагедией президент В. В. Путин обратился к народу страны. Обращение и по содержанию, и по интонации было не просто весьма серьезным – оно претендовало на то, чтобы обозначить переломный этап в жизни нашего общества. Нам объявлена война, заявил президент, а перед лицом войны общество должно объединиться и сплотиться. Не буду здесь останавливаться на других мерах, о которых говорилось в том обращении. По-моему, из всех проблем важнее всего действительно эта – консолидация, единство, сплоченность народа.

Когда возникает угроза войны, эта проблема всегда становится особенно острой. Потому что победить сильного противника можно лишь в единении, а не в разрозненности. Именно так было во время Великой Отечественной. Именно благодаря этому мы отмечаем теперь 60-летие Великой Победы. Но достижимо ли в нашем обществе, таком, какое оно есть нынче, истинное единение? Если учесть хотя бы то, о чем мы с вами уже не раз говорили, – чудовищную пропасть между богатыми и бедными, между кучкой так называемых олигархов, то есть долларовых миллиардеров, и миллионами неимущих, у которых нынешние богачи отняли буквально все...

Валентин Распутин: Вы знаете, становится все труднее говорить о России. Кажется, любые слова, какими бы справедливыми они ни были, звучат замученно и пусто. Вся ложь уже вывалена на Россию и вываливается в со-

тый или тысячный раз. Вся правда сказана, и повторение ее по новым фактам как бы физически передвигает нас на иное место, не менее горькое, и облегчения не дает. Заболтанная и проболтанная Россия вышла за те пределы, где верят словам, и уж тем более неспособны они никого воодушевить. Ничего не меняется: одни, не тратя слов, выгребают последние наши закрома, над другими продолжают издеваться рекламой красивой жизни, бесстыдной и наглой.

Нет и не может быть сейчас никакой консолидации: страна, общество, население расколота пополам, а если взглядеться – на несколько частей, между которыми глубины несовместимости. И трудно ожидать, чтобы в ближайшее время они заросли и наступило что-то похожее на согласие. Его, этого согласия, не может быть по следующим причинам.

Во-первых, богатые становятся богаче, а бедные – беднее.

Во-вторых, развращение и издевательства со всех телеканалов, в том числе государственных, не только не прекращаются, а усиливаются. Примирения быть не может уже только потому, что все озлобленней выжигается теле- и радионапалмом историческая, духовная и культурная Россия.

В-третьих, перекрытка образования по куцым западным стандартам уже сейчас преграждает путь в вузы для сельской молодежи, а скоро этот путь для детей из малообеспеченных семей перекроется и в среднюю школу.

В-четвертых, непрерывное подорожание жизни, вытеснение из центров городов на окраины, в резервации, «прежних», не соответствующих элитному облику новой застройки; вытеснение «прежних» с рабочих мест, которые отдаются иммигрантам; вытеснение из культуры истинных талантов, а из государства – культуры, превращение ее в грубую развлекательность; вытеснение деревни и

всего сельского мира с лица русской земли... Вытеснение, вытеснение, вытеснение, издевательства, издевательства, издевательства...

Я мог бы еще долго продолжать перечень наших несчастий, но это ничего не даст. Кольцо безысходности во-круг многих и многих сжимается все больше.

В. К.: Расслоение на богатых и бедных, образовавшееся у нас в стране, по контрасту своему, кажется, побило все мировые рекорды. Я понимаю, после учиненного Ельциным, Гайдаром, Чубайсом и их поделеньниками, после грабительской приватизации, которую они провели, восстановить хоть мало-мальское подобие справедливости крайне сложно и трудно. Однако ведь не очень заметно со стороны власти даже каких-то попыток восстановить эту справедливость. Скорее наоборот!

Чем ознаменован прошедший год для бедняков? Ликвидацией того, что называлось льготами, – для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и т.д. Где-то, может быть, эти льготы реально и не действовали, но в основном люди выживали только благодаря им. Так что правильно предлагалось многими: дать возможность выбора – льготы или монетизация. Но где там! Никакие призывы и никакие протесты не помогли.

А что с другой стороны? По данным, которые публикуются, миллиарды наших миллиардеров существенно возросли. То есть вы абсолютно правы: богатые стали еще богаче, а бедные – еще беднее. Разве такая политика приближает к тому самому единству общества, необходимость которого провозгласил президент?

В. Р.: Мне приходит на память случай, рассказанный на Афоне. Кто не знает: Афон – это тысячелетняя монашеская республика двадцати православных монастырей, в том числе нашего, Свято-Пантелеимонова, в Греции. Случай этот настолько поразительный и поучительный, что его и поныне помнят хорошо, хотя и произошел он в конце

XIX столетия, и он попал в одну из книг вместе с фотографией, удостоверяющей его, так сказать, наглядно.

Суть в следующем. Игумен монастыря, отлучаясь с Афона надолго, благословил эконома на строительство больничного корпуса внутри монастыря. Эконом с благословением не посчитался и выстроил больницу вместе с мастерскими вне монастырских стен, на берегу моря. Ослушничество его можно объяснить тем, что в миру он был человеком богатым и принес в монастырь немалые средства, а потому считал себя на особом положении.

Вернулся игумен и потребовал отчета: благословение в монастыре – закон незыблемый. Эконом, считая себя правым, накричал на игумена. Разругались вдрызг. Вскоре пришло время игумену покидать этот свет, и он стал призывать эконома для примирения. Раз позвал, другой – эконом не идет. Игумен скончался, а вскоре скончался и эконом. Похоронили его подле стены храма. А на Афоне такой обычай: через три года после похорон могилу вскрывают и кости почившего, если они очистились, изымают из земли, обмывают и устраивают на полках в особом помещении, которое называется костницей. Вскрыли через три года могилу, а там неразложившийся черный труп, чернота от которого, точно в размер тела, пошла, как от пала, по каменной стене до самого верха. Зарыли быстро и принялись молиться об отпущении грехов. Еще через три года вскрывают могилу – та же самая картина. Не принял Господь грех этого ослушника, пришлось монахам вывозить останки эконома в море и вываливать в волны.

А ведь всего только послушание, всего только отказ от примирения! И такая кара! Какая же в таком случае должна быть кара для тех, кто самочинно и преступно, преступив все человеческие и Божьи законы, принялся на свой манер «выстраивать» огромное государство, кто обрушил его, испоганил и обрек на издевательства и страдания миллионы и миллионы! До каких высот должен подняться

черный столб, смердящий этими «экономами» и впечатывающий в вечность их черное дело! Если даже быть отпетым атеистом и не верить в Божье наказание, то и тогда проклятия им, ельциным, гайдарам, чубайсам и абрамовичам, столь многочисленные и солидарные проклятия – разве не трансформируются они в энергетическую силу, способную навести справедливость! Не может этого быть, чтобы сошло как ни в чем не бывало! Не надейтесь, господа нехорошие!

А как это хорошо, что поднялись пенсионеры, ветераны, не смирились с «цивилизованным надувательством», пошли в бой старики. Власть рассчитывала, что всеми тяжкими несправедливостями за последние пятнадцать лет довела народ до потери сознания, до полного равнодушия к своей судьбе, до того, что он и не почувствует очередного удара. Ан нет! Дальше бы надо, дальше! Вот так же встать «всем миром голодных и рабов» против реформы образования, которая, во-первых, преграждает путь бедным к учебе, а во-вторых, и образование это откровенно перенимает из чужих рук. Вот так же выйти бы дружно и решительно против телевидения: хватит ваших издевательств, верните отобранное время у местных программ, там хоть было что-то свое, родное, а вы все превращаете во зло и собственную наживу. Вот так же бы встать на защиту и российской культуры, которую выталкивают в рынок, чтобы она окончательно переменяла голос. Вот так же бы!.. Эх, много что требует защиты!

В. К.: Хочу вот на что обратить ваше внимание: насколько власть безразлична к мнению народному. Конечно, само это выражение достаточно условно. Поскольку нет единого народа, не может быть и единого народного мнения. Но есть все-таки мнение большинства, которое как-никак, а власть вроде бы должна учитывать, принимая то или иное свое решение. Нет, происходит все, как говорится, с точностью до наоборот!

Взять те же льготы. Я читал результаты множества социологических опросов: за или против их отмены? Большинство – против. Видел по телевизору незадолго до решающего голосования в Думе, что показал так называемый интерактивный опрос по каналу ТВЦ: двенадцать с лишним тысяч опрошенных против, и лишь около трех тысяч – за.

Но, видя все это, с горечью думал, что никто с этим не посчитается, что постановление Думы уже предрешено, что примут все именно так, как заранее написано. Да ведь президент еще весной, сразу же после выборов, когда был избран на следующий срок, заявил о «непопулярных мерах». То есть все идет по некоему долгосрочному плану, и поправки в пользу бедных вносить не хотят. Почему?

В. Р.: Вы знаете, тут не так все просто. Я мог бы поставить эти слова в кавычки, потому что точно эту же фразу произнес наш президент на прошлогодней декабрьской встрече с журналистами. Она прозвучала, когда главу государства пригласили на Поле Куликово: в этом году юбилей еще одной победы нашего духа и оружия – 625-летие Куликовской битвы. Вот тогда президент и произнес: «Тут не так все просто», – и объяснил, что на стороне ордынцев в битве участвовали русские полки, а на стороне князя Дмитрия – татарская конница, которая в основном и решила якобы исход этой сечи. И больше ничего не добавил. Ни того, откуда эти «изыскания», ни того, что подобная реконструкция, случись она в действительности, никоим образом не умаляет ни великого подвига Дмитриева войска, более чем наполовину polegшего на поле, ни Дмитриева дела, собравшего едва ли не со всех русских земель единое ополчение и еще до битвы одержавшего не менее важную победу в деле объединения русских сил. Сейчас в России это требуется ничуть не меньше, чем во времена Сергия Радонежского и Дмитрия Донского.

Не так все просто и в решительном продавливании отмены льгот. Льготы – это частью «хвост» из советских

времен, а все «оттуда» раздражает. Праздник 7 ноября отменен (французы день взятия Бастилии 14 июля навечно, невзирая на его революционность, сделали национальным праздником), разогнали колхозы и совхозы, детские сады и ясли, пионерские и спортивные лагеря, бесплатное образование и лечение, военные базы на Кубе и во Вьетнаме и т.д. – перечислять долго. «Мы себя под Лениным чистим», – провозглашалось после революции. А под кем или под чем мы чистим себя теперь? Может быть, под ВТО (Всемирную торговую организацию)? Чтобы получить в нее пропуск, много что требует с нею согласования: хлебные засева, выплавка стали и под предлогом бюджетной оправданности, вполне может стать, что и старики с инвалидами. На Западе, мол, подобных льгот не существует – ну и нам они ни к чему.

Конечно, для бюджета – это груз, никто не спорит. Но груз по большей части справедливый, составляющий фундамент общества! С малых лет заучиваем мы «Отче наш» со словами: «...и остави нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим».

В. К.: Если продолжить тему мнения народного и народных интересов, мне представляется очень показательным отношение власти к идее проведения референдума, с которой выступила КПРФ. Речь о том, чтобы обратиться ко всему населению страны с четырьмя вопросами о главных направлениях социально-экономической политики. Ведь ясно же всем, что политику нынешнюю надо менять! В чем-то несправедливость ее прямо или косвенно признавал даже сам президент.

Вот КПРФ и предложила спросить, что думает народ. Ну например, должны ли богатства недр, данные нашей стране Богом, принадлежать нескольким господам, а не всему народу? Должны ли тем же господам отойти земли, леса и воды? И так далее. Так вот, если бы власть реально хотела переменить свою политику в сторону боль-

шей справедливости, она бы поддержала предложения коммунистов о референдуме, чтобы заручиться мнением большинства народа и опереться на него. Однако снова – нет! Как только прозвучала эта мысль, немедленно были приняты поправки к закону о референдуме, дабы сделать осуществление идеи коммунистов невозможным. Заблокировать его. Но каким же образом тогда изменить проводимую политику? Ждать, когда терпение у людей вконец лопнет? Ждать социального взрыва?

В. Р.: Все так: отнимаются и права, и заслуги, и недра, и будущее. И от этого становится жутковато. Отнимаются национальность, традиции культурные и нравственные ценности. Россия отнимается.

И это несколько не преувеличение. Образ страны, образ Родины создается из видимого и невидимого, материального и духовного, из глубин истории и высот святости. Не зря же мы пели: «Жила бы страна родная, и нету других забот». Жила бы она, а уж мы в ней и подле нее как-нибудь. Но жила бы во всем своем многообразии, песнях и легендах, во всей своей красоте, простоте и вымученности. Да и вымученность ее вся была в том, чтобы сохранить себя, не отдать ни душу, ни тело, на которые постоянно находились охотники, ни древнего своего обычая, ни благочестивой скромности, ни многочисленных детей своих, взявших от нее все, чем она была...

Посмотрите, похожи ли мы теперь на себя? Нет, преобразование удручающее. Обезличивание, обезображивание человека в нравственных и культурных чертах идет на всех парах. Как итальянцы отличаются от древних римлян, как греки отличаются от византийцев (но там для этого потребовались века и века), так мы в сверхскоростном порядке, за одну человеческую жизнь, отличаемся от себя же, какими были двадцать-тридцать лет назад. Такая поспешность, подобное выскакивание из собственной шкуры к добру привести не могут. Перед

нами уже не Россия, а ее расхристанное подобие, нечто иное и малоузнаваемое.

Разве была когда-нибудь подобная жадность к деньгам, к долларам-еврам? Разве вели себя наши люди когда-нибудь так по-хватски, будто мы последние и после нас уже ничего не будет? Разве были так падки на пошлости и неприличия? Разве?.. Ой, много этих «разве»!

Могущество России исходило всегда от ее нравственных, духовных и культурных начал. С ними и благодаря им осваивали новые земли, делали танки и ракеты, возвращали таланты, уходили в космос... Теперь эти начала отброшены, нравственность и культура попорчены и загажены новыми хозяевами, живем в основном нефтью, обирая воровски будущие поколения, и в нефтяной стране кто-то (правительство никак не может отыскать, чья это работа) поднимает цены на нефть до поднебесных высот, не давая в который уже раз убрать урожай...

Разве это Россия? Сама себе ставящая подножки, сама себя обирающая – разве это она?

В. К.: Конечно, сытно и сладко живется у нас сегодня не только тем, кого называют олигархами. Слой обеспеченных или даже очень обеспеченных вобрал в себя и какую-то часть интеллигенции. Хотя гораздо бо́льшая ее часть по-прежнему пребывает в ужасающей бедности: учителя, сельские медработники, библиотекари, многие другие работники культуры, особенно на селе... Я уж не говорю о бедности крестьян и значительной части рабочих, которые нередко остаются без работы сегодня.

Но каково отношение к этому некоторых наших интеллигентов? Если олигархов считать интеллигентами, то откровеннее и ярче всех на сей счет высказался банкир Авен. «Нищета – не наша забота!» – вот как заявил он со страниц еженедельника «Аргументы и факты». Цинично, не правда ли? То есть мы свое вовремя отхватили, награбили, а кто «не успел» – это забота не наша, пеняйте уж, бедняги, на

себя. «Я вполне циничен, – оговаривается и сам Петр Олегович. – Но цинизм в моем понимании – лишь умение смотреть правде в глаза».

Ну каково? Он много, много чего наговорил в припадке откровенности. И обоснование того, что «аморально быть бедным», – в протестантском утверждении: «Богатство – отметина Бога».

Но вот что еще характерно. Далеко не только Авен и прочие олигархи на этом стоят. Их поддерживают и поощряют некоторые писатели, музыканты, артисты, в том числе очень известные. Скажем, Олег Басилашвили, который вздохнул восхищается Чубайсом, или Дуня Смирнова (так она сама себя называет) – телеведущая в «Школе злословия» и внучка известного советского писателя Сергея Сергеевича Смирнова, автора «Брестской крепости». Да всех, кто время от времени оглашает свои восхищения богачами и презрение к бедным, даже не берусь перечислять. Видимо, сытый голодного действительно не разумеет. Но, насколько я знаю, в Оксфордском толковом словаре в понятии «интеллигенция» есть специальный термин – «русская интеллигенция». И пояснение такое: это люди, которые равнодушны к судьбе тех, кому живется хуже, чем им. Так было. Но что же теперь происходит с этой интеллигенцией?

В. Р.: К циничным откровениям Авена, которые комментировать так же невозможно, как искать честь и совесть в действиях маньяка, я могу добавить недавние откровения Чубайса. Этот постоянно не дает нам скучать, все чем-нибудь да позабавит. На этот раз в беседе с журналистом он ополчился на Достоевского: «Я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку... Его представления о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на части».

Бедный Достоевский!..

Чтобы так отзываться о нем, надо почитать себя очень высоко. Выше земных пределов. Это не просто ненавидеть бедных в России, которых они же, чубайсы и авены, сделали бедными, не просто разорить Россию и теперь гордиться этим, но и жажда вычеркнуть из памяти, истории и культуры ее былые достижения, все великое, чем восхищался и восхищается мир, и раз и навсегда поставить крест на том, что она собой представляла. Они, тот и другой, считают, что с Россией кончено, и все, что было в ней достойного, теперь в их руках и в их власти. И больше там ничего не осталось. Для них Россия теперь – жертвенное животное, связанное и агонизирующее, лежащее у них в ногах, которому они в любую минуту могут скомандовать отходную.

Но, знаете, чтобы так распоясаться, обыкновенного негодования недостаточно, требуется что-то особенное, такое, что из рук и из ума вон. Но нетрудно, однако, и разгадать, отчего Чубайс столь яростно гневается на Достоевского. Да оттого, что он узнал себя в Смердякове и поразился сходству, как с братом духовным! Помните, незабвенный Павел Федорович Смердяков признается своей подружке: «Я всю эту Россию ненавижу, Марья Кондратьевна!» Совсем по-чубайсовски.

Вспоминается русский философ и писатель Иван Солоневич, который в таких случаях успокаивал: «Но – пройдут даже и прохвосты». Пройдут, можно не сомневаться.

Что касается интеллигенции – нет в России больше интеллигенции в той роли и служении, какой она была прежде. Ну, может быть, в провинции, в глубинке, осталась та, что называлась когда-то земской, – труждающаяся, безотказная, держащая на своих плечах совесть народную, – из учителей, врачей, музейных работников. Но само понятие интеллигенции исчезает. То, что было ею, называет себя сегодня «элитой». А это качественно иное образование, вроде недоброкачественной опухоли. Элита, разросшаяся

в элитарщину, грубая, самонадеянная, корыстная, презрела и извратила свои прежние идеалы и никому, кроме себя самой, не служит. По-моему, настоящими интеллигентами всея Руси в самом лучшем, государственном и нравственном смысле этого слова были недавно ушедшие от нас Георгий Свиридов и Виктор Розов.

Ну и о внучках великих писателей. Знаете, это какое-то страшное, мистическое перерождение, что-то противоестественное и противоположное. Природа не отдыхает на них, как прежде считалось, а награждает вирусом бесноватости. Ведь рядом с Дуней Смирновой очень энергично злословит еще и Татьяна Толстая, внучка автора «Петра I» и «Русского характера». Можно и продолжать этот ряд – да надо ли?

В. К.: Вернусь к Беслану и его последствиям. Если президент говорит, что нам объявлена война, то первый наш взгляд – на военных. А в каком состоянии армия наша сегодня? Говорю даже не о том, как она вооружена, обучена и т.д. Говорю в первую очередь о морально-психологическом состоянии людей, которые служат. Солдат и офицеров. За что они призваны сражаться и кого защищать?

Да, верно, есть великое понятие Отечества, Родины. Однако разве не сказывается на духе солдата ощущение, что в Отечестве этом утвердилось величайшая несправедливость? Абрамович может для забавы купить зарубежный футбольный клуб и вообще все что угодно, а родители этого солдата, возможно, голодают и замерзают. Это же реальность нашей жизни! И реальность, что богатые предпочитают сынков своих в армию не посылать. Ну и что, благотворно ли все это скажется для нас на войне, которую мы вынуждены вести? Приблизит ли нас к победе?

В. Р.: Вы правы, нынешний защитник Отечества вынужден жить и служить с раздвоенным сознанием. Родину защищать надо, в этом нет сомнений, но Родина требует защиты прежде всего от врага внутреннего, оседлавшего ее, погоняющего, обирающего ее и ее же ненавидящего...

Разве не приходят нашему защитнику на ум тяжкие мысли, что вместе с Родиной и народом он защищает еще и воцарившуюся на Родине несправедливость? В чеченской войне наши ребята защищали Березовского, а он в это время оплачивал оружие для уничтожения наших ребят. И сейчас, сколько бы мы ни говорили о солидарности и патриотизме, эти слова останутся пустым звуком, притом кощунственным, когда за один только прошлый год в огромных размерах увеличилась сумма вывозимых за границу миллиардов долларов. Миллиардов, отнятых у стариков и сирот, которые там, в зарубежных банках, могут пойти на подрывную работу против России, если не на боевое оружие. И после этого авены еще смеют глаголить, что быть бедным неприлично!

В. К.: В развитие нашей темы хочу сказать: власть все продолжает искать национальную идею. И пока безуспешно. Без национальной идеи в самом деле нельзя. Но я, например, убежден, что для нас, для России, эта идея – справедливость. Социальная, национальная и так далее. Вот к чему всегда стремился русский человек! Это же и в основе православия – справедливость и праведность. Но почему власть предпочитает таких понятий избегать? Несправедливости все больше становится по сравнению с временем советским, а нас пытаются убеждать, что наоборот...

В. Р.: Согласен с вами: в теперешних обстоятельствах национальная идея – это прежде всего справедливость. Нет ничего более скрепляющего, оздоравливающего и возвышающего, чем она, справедливость, справление государством правды, совести и неподкупного закона. И нет ее. Ее, может быть, в полной и абсолютной мере никогда и не было, это возможно только в раю, и все же лучшие государственные мужи, при монархии или социализме, пеклись, чтобы в должной мере справедливость действовала и на нее можно было опереться. Мера ее могла повышаться или понижаться, как температура тела в показаниях гра-

дусника, но колебания ее оставались в тех пределах, в каких невозможен кризис.

И вот просто взяли и выкинули под пьяную ельцинскую руку эту справедливость на помойку. Вот и слышим от господина Авена в ответ на предложение поделиться награбленным с народом весьма остроумный пассаж: «А может, и отметками в школе надо было делиться? У одного пятерки, у другого двойки. Несправедливо!» Вот и слышим от господина Чубайса: «Больше наглости!» То есть справедливость не признается вовсе. Притом не признается громко, декларативно, нагло, чтобы слышно было повсюду.

В. К.: Наверное, справедливость абсолютная, полная, как идеал, недостижима. Однако, согласитесь, надо стремиться к ней. Иначе – тупик. У нас же сегодня главная забота государства состоит, по-моему, в том, чтобы любой ценой закрепить создавшуюся чудовищную несправедливость. Президент может лишь попросить богачей «поделиться» с бедняками, а они соответственно на просьбы эти плюют. И все время повторяется как рефрен: пересмотра итогов приватизации не будет. Почему же? Если всем очевидно, что это и есть самая большая несправедливость нашего времени! Тем не менее «привлечен к ответственности» пока только один Ходорковский, что создает впечатление лишь видимости борьбы против явной несправедливости. Вообще мне представляется, что государство занято сегодня в основном именно созданием видимости какой-то полезной для большинства общества деятельности, имитацией такой деятельности. Говорят о переменах, но если по сути – они тоже лишь имитация. Взять хотя бы телевидение. Разве, по существу, не остается оно тем же, что было? Разве не те же люди там заправляют? Но о каком объединении, какой консолидации общества можно тогда говорить?

В. Р.: Снова хочется повторить: вся причина наших несчастий, вся идеология непрекращающихся реформ поперек России объясняются тем, что решено сорвать Рос-

сию с ее естественного, тысячелетием выработанного, собственного пути и направить по чужим дорогам. Все у нас другое, чем в Европе или Америке, – и психология народа, и традиции, и отношения между людьми, отношения с законом, государством – все-все иное. Не зря же говорилось: что русскому – хорошо, то немцу – смерть. А теперь: что немцу – хорошо, то русскому – смерть. Судиться у нас считалось за грех, суда боялись как огня; нахваливать себя или свой товар – значило отпугнуть от товара; за богатством не гонялись – был бы достаток. Все судилось-рядилось в своем обществе по справедливости (достаточно вспомнить роман С. Залыгина «Комиссия»)… И вся жизнь народная – во всеобщности, взаимовыручке, сочувствии и поддержке.

И вот все наоборот. С мясом, с кровью содрали Россию с ее днища, бросили клич: обогащайся кто и как может! – и разбоем прошлись по городам и весям, все уворовали, разбомбили, даже и то, что считалось Божьим, припасенным для будущих поколений. Все растащили, по новым законам присвоили – и негде стало приложить человеку руки. Со всем негде, хоть обрубай их. Вся карусель жизни построилась на торгашестве чужого товара, попала в зависимость от бандитов и бандитских законов.

Несоответствие внутреннего своего и внешнего чужого, прямая противоположность, с одной стороны, нравственных, а с другой – практических мерок, разрыв личностного с общественным – это самое горькое, что постигло наш народ и Россию за всю ее историю. Такого не бывало и при Орде. Там, откуда исходит подобная политика, прекрасно понимают, что этого соответствия своего чужому никогда и не добиться, а потому безжалостно разрушают.

Читаю на днях: Греф считает, что государство должно уйти из сельского хозяйства. Это как так? Это все равно что человеку «уйти» от сердца своего или легких – этак налегке взять и уйти, не считаясь с последствиями. Такое, кажется, до сих пор никому не приходило в голову. Ни в

Японии, ни в Америке государство на произвол судьбы своих земледельцев не бросает.

А у нас все можно в угоду другим, мы уходим со своего поля, в ВТО уходим. Наше государство уходит из культуры, образования, медицины, предварительно бросив их на растерзание дикому рынку. Мы такие.

Уходит государство. Из России уходит. Бросят ее под глобалистские жернова – и поминай как звали.

У нас и детей сейчас воспитывают в школах, как янычар: чтобы они презирали родное и шли за чужое в огонь и воду.

А вы спрашиваете о консолидации...

Февраль 2005 г.

Слезы богатых и слезы бедных

Виктор Кожмяко: Вот и еще один год пролетел. Каждый раз, оглядываясь на прожитое, прежде всего задаешься вопросом: стал ли этот год для страны и народа поворотным от худшего к лучшему? Увы, у меня такого ощущения нет. А у вас, Валентин Григорьевич?

Валентин Распутин: У меня, увы, – тоже.

В. К.: Сразу скажу о том, что, с моей точки зрения, есть самое главное: по-прежнему продолжает сокращаться численность нашего народа. Причем сокращается страшными темпами! Ведь с каждым годом уходит в небытие почти миллион человек.

Но, как ни поразительно, создается впечатление, что ни государство нынешнее, ни общество это особенно не беспокоит. Тут впору бить в набатный колокол, поднимать тревогу, принимать чрезвычайные меры, а между тем ничего подобного и близко нет. Не есть ли это самое убедительное свидетельство того, что власть озабочена вовсе не сбережением народа, а иными, противоположными задачами?

В. Р.: Безысходность, которая приводит к столь тяжелым людским потерям, в последнее время, мне кажется, из-

менила свой «статус». Да, бедность, народ до сих пор живет в бедности, но разве можно сравнить сегодняшнее недоедание, скажем, с недоеданием военных и первых послевоенных лет, когда оно было всеобщим? А ведь даже тогда, в войну, тыловые потери, не считая, конечно, блокадников, были меньше, чем сейчас «мирные». Значит, причина не столько в том, что хлеба не хватает, сколько – воздуха не хватает для дыхания, изменился его состав, наступило кислородное голодание в общественной атмосфере, она перестала быть жизнотворной.

Разве не так? Человек многое, очень многое и самое непосильное способен претерпеть, когда есть во имя чего претерпевать, когда просматривается впереди обнадеживающий выход. Миллионы воинов знали, во имя чего они шли на смерть, и миллионы тыловиков также знали, во имя чего они надрывали жилы. Чтобы спасти Отечество, чтобы было оно на веки веков. И спасли, оправдав и освятив тем самым великие жертвы. Теперь же, когда Отечество наше во всех его материальных, духовных и нравственных ипостасях извращено так, что и смотреть нет сил, когда тысячелетние его приобретения выбрасываются на свалку или, как вторчермет, идут в переплавку в печах мирового порядка, когда культура отдана в руки разнузданных шоуменов, а образование преобразуется в функциональное натаскивание и программное выскабливание родного духа, когда страна живет не за счет производительного труда, а за счет обкрадывания будущих поколений, когда примерами для подражания становятся не Папанин и Гагарин, а Чубайс и Абрамович, когда... Много таких несчастных «когда», но самое-самое: когда от справедливости остался только пустой звук и поправка она в главном – в изгнании с Российской земли духовной нашей Родины.

А отсюда и вывод, непреложный закон: сбережения народа быть не может, если нет сбережения Отечества. Мы

в огромнейшем своем большинстве народ оседлый, творивший в течение многих столетий свое небо и свою землю, и невыносимыми условиями существования для нас может быть не только бедность, но и чуждость.

В. К.: Снова скажу, что меня просто поражает олимпийское спокойствие, а по сути – полное равнодушие, которое утвердилось у нас в стране по отношению к этой остройшей и – в полном смысле слова! – жизненно насущной проблеме: убыванию народа. Так, за весь прошедший год могу вспомнить лишь одну передачу по телевидению, которая была посвящена сокращению населения России. Но на чем при этом делался главный акцент? На том, как восполнять нехватку рабочей силы путем завоза ее из-за рубежа! То есть не об увеличении рождаемости и сокращении смертности русского народа говорили в основном участники этой передачи, а о проблеме «мигрантов» – тех, которые заменят русских на Русской земле.

Конечно, это не удивит вас, если я скажу, что происходило такое в телепередаче Владимира Познера «Времена». Этого господина трудно заподозрить, что он сильно волнуется за русский народ, и собеседников он, как правило, приглашает соответствующих. Но другим-то на телевидении слова по-прежнему почти не дают!

В. Р.: Познер как раз за русский народ очень «волнуется». В том смысле, что народ этот, как и все русское, коренное в России, традиционное, вызывает у этого господина с американским паспортом сильнейшее раздражение, как вышедшее из моды и не должное быть в употреблении, а значит, и не достойное поддержки.

Но если бы Познер оставался в такой роли недовольного нашим существованием на присвоенной им земле один!.. А Сванидзе, а Швыдкой со своими программами, а иные, коим несть числа, подбирающиеся для этих программ по принципу духовного родства... В голос прямо или косвенно они трубадурят как бы уже и решенное

дело – заклятие нашего народа и России. Россию подталкивают к распаду – в последнее время это вновь превратилось в открытую пропаганду, а народ наш подталкивают к пьянству и гражданскому небытию. Недавно даже министр обороны признал, что наше (в том-то и дело, что не наше, а вражеское) телевидение дебилизирует население. Но оно, дебилизирующее, сделалось сильнее верховной власти, и Сванидзе или Познера с подручными окоротить не решаются. Такого в России еще никогда не бывало, это самоубийство под эгидой прав человека. Трусость, глупость или предательство? Поди разберись.

Сплошь и рядом в российской глубинке нет работы, а работу между тем отдают другим. Есть рецепты для льготников, но нет лекарств. Собственного, то есть российского, ЖКХ люди уже боятся больше, чем китайского нашествия или американских бомбардировок. Деревни превращаются в кладбища, поля запущены, коровники и свинарники разорены, а мы рвемся в ВТО, чтобы диктовали нам, как вассалам, что мы имеем право производить и что не имеем. По берегу Байкала решено тянуть нефтетрубу к Тихому океану – и чистая байкальская вода, которую уже сегодня следовало бы ценить дороже нефти, нам, как выясняется, ни к чему.

Откуда ж взяться настроению жить и радоваться?!

В. К.: Мы с вами, Валентин Григорьевич, не экономисты. Но, видимо, и не нужно большого экономического образования, чтобы понять: что-то в хозяйстве страны нашей творится абсолютно несообразное. С одной стороны, накоплен огромный стабилизационный фонд (за счет высоких цен на нефть, конечно), то есть у государства – миллиарды долларов. С другой стороны, детское пособие у нас по-прежнему составляет... 70 рублей! Как можно мириться с этим? Ведь даже в труднейшие послевоенные годы государство находило средства, чтобы поддержать рождаемость в стране. А ныне – это власти вроде и не нужно.

Ставит фракция КПРФ в Госдуме вопрос об увеличении детских пособий. Ставит год за годом, но результатов нет. А между тем огромные деньги этого самого стабилизационного фонда, размещенные где-то в зарубежных банках, работают отнюдь не на Россию, не на сбережение и умножение нашего народа...

В. Р.: Это доказывает, что правительство наше относится к народу, судьбой которого оно распоряжается, по всему судя, как к инородному телу, не считая нужным вкладывать в него деньги. И как чада преступной приватизации, прятавшиеся под личиной «новорусских», вывозили миллиарды долларов за границу, подпитывая чужую жизнь, так и оно поступает. И те деньги были награбленные, и эти, похоже, тоже не заработаны трудом праведным. Те были отняты у народа настоящего времени, по миллиону в год отправляя его в могилу, эти – у потомков безудержным опустошением недр, которое сделалось едва ли не единственной доходной статьей. Так что и у будущего России перспективы невеселые. Пособие для детей, как и пенсии для престарелых, можно и прибавить, но ведь это же не в рамках государственной программы сбережения народа – такой программы нет! А есть только безуспешные попытки угнаться за инфляцией.

В. К.: По-прежнему не уменьшается, а даже углубляется гигантская пропасть между богатыми и бедными. Такой, пожалуй, нет ни в какой другой стране. На одном краю – абрамовичи с их неслыханным богатством, на другом – миллионы людей, которые еле сводят концы с концами. И при этом у нас сохраняется так называемая плоская шкала налогообложения. То есть процент налогов берется одинаковый – с олигархов и с бедняков. Это лишь только у нас так! Единственная страна в мире. Сколько бьется против этого КПРФ, сколько говорил об этом в своих выступлениях Геннадий Зюганов – все бесполезно. Недавно я слышал, как Е. Примаков в телевизионном интервью тоже

возмутился этим. Но ведь ничего не меняется – упорно блюдут явную несправедливость!

В. Р.: Тут, пожалуй, тайны особой нет. Когда в конце 1999-го для будущего президента отворились двери во власть, взамен у него были потребованы определенные обязательства сбережения – разумеется, не народа, а олигархической верхушки, устроившей нам занимательную жизнь. Гарантии статус-кво более чем несправедливого порядка. Наверняка названы были и имена неприкасаемых: в первую очередь это, конечно, «семья», а также Чубайс, Абрамович, вполне возможно, что и Швыдкой, потому что уж больно он оберегаем, несмотря на всю его вызывающую деятельность в культуре, бросающую неприятную тень и на самого Верховного... Теперь они – «наше национальное достояние», «наше все». И уж коли остались льготы у стариков (проезд в трамвае, какие-то отдельные удешевленные лекарства), то они обязаны быть и у толстосумов. В виде одинакового процента налогообложения. А как иначе? Мы же не какая-нибудь там Швеция или Норвегия, где богатые отчисляют в казну до семидесяти и больше процентов от своих доходов, чтобы не было бедности, – у нашей власти своя масть.

Недавно прочитал я в газете повествование о том, как трудно живется семье Абрамовича в Лондоне. Бедный, бедный Роман Аркадьевич, не позавидуешь ему. Был у него в личной собственности один «Боинг», дешевый, за 40 миллионов фунтов стерлингов (для несведущих поясню, что фунт тянет намного больше доллара), да притерся, примелькался, пришлось приобретать другой, «Боинг-767» – за 56 миллионов, отделанный красным ореховым деревом и расписанный золотом, с ванной комнатой и прочими «безделушками». Пришлось и на яхту потратиться, какой не было ни у Онассиса, ни у кого другого во всей вселенной. А потом еще покупать за свои кровные «Челси», футбольный клуб... Жenu, правда, взял из русских золушек, стюардес-

су, в управление дали самую дикую российскую окраину, и тоже из золушек – Чукотку. А это ведь даже и на «Боинге-767» не ближний свет. Семье в одних стенах не удастся пожить: апартаменты и дворцы в Англии, и во Франции, и где только нет. Бомжи, словом, без определенного места жительства. Жене и мужу в одном лимузине не прокатиться: а вдруг подорвут, как чуть не подорвали там же, в Лондоне, Березовского... Дети лишены счастья говорить на родном языке, совсем чужое королевство, знаете ли... Свободой и не пахнет, ни шагу без охранников, их вместе с прочими служителями насчитывается в общей сложности как не столько же, сколько было в войске Дмитрия Донского на Куликовом поле. Ежедневно приходится заматывать за собой следы и менять номера мобильных телефонов, чтобы не засекали передвижение со спутников. И десятки, сотни всяческих других неудобств. Не жизнь, а слезы.

А тут еще Владимир Владимирович недавно вновь рекомендовал Романа Аркадьевича быть хозяином Чукотки. Что делать?! Какая-никакая эта Россия, а с нее началось, она дала роскошную путевку в жизнь, приходится помогать.

В. К.: Вы сейчас говорили о преуспевании Абрамовича и его супруги, а вот в родной вашей Иркутской области недавно голодали рабочие Бирюсинского гидролизного завода. Это же надо: голодовкой людям приходится выбивать законную, заработанную зарплату. С апреля людям не платили ничего почти до конца года! И вместе с отцами и матерями готовы были участвовать в голодовке даже школьники. Горько, что невыплаты зарплаты в стране опять начали учащаться – не только так называемым бюджетникам. Не говоря уж про мизерные размеры этой зарплаты. А теперь вот грядет новый (и большой!) рост жилищно-коммунальных платежей, растут цены. На что же, спрашивается, жить людям? И где жить, если с так называемой ипотекой на приобретение жилья тоже творится нечто, людям не вполне понятное. Нет же у абсолютного большин-

ства таких огромных денег, чтобы приобретать жилье! Что же, в бомжи подаваться? Государство, похоже, почти полностью сбрасывает с себя эту обузу...

В. Р.: А тут уже совсем иные слезы. Не слезы пресыщенности и обжорства, а слезы обманутых и униженных. Власть научилась в пожарном порядке гасить конфликты, подобные голодовке бирюсинцев. Вот видите: и заместитель Генерального прокурора прибыл на место происшествия, и из областного бюджета были срочно выделены деньги на зарплату. Но она, власть, научилась только гасить, а не устранять самую возможность появления подобных конфликтов. Даже собаки, брошенные хозяевами, стали в последнее время сбиваться в стаи по городам нашим и весям и нападать на тех, в ком они видят виновников своего одичания, — чем люди, доведенные до отчаяния, хуже?!

Вот ведь какие приходится приводить доводы, вот куда сместилась ось справедливости!

У меня такое ощущение, будто народ все больше и больше отслаивается от государства, подобно коре на дереве, которое не заглублено в почву. Много безработных, но есть и работающие, однако и они не чувствуют себя уверенно, потому что ствол государственности расшатан и хоть и пытается клониться в родную сторону, да ветры все решительней отшатывают его в чужую. Все носит «погодный», временный, ненадежный, вопросительный характер: что спасем и что развеем по ветру? Что обратим в пользу и что во вред? Народ, а вернее, сохранившиеся остатки народа, который еще недавно был единой твердыней государства, не доверяет власти, власть смотрит на него как на социальную головную боль, для которой все средства хороши, лишь бы ее снять. А потому то выдумает ипотеку, которая и звучит как обманка, подобно приватизации, то еще что-нибудь, и разучилась говорить с народом на одном языке. Между народом и властью нет уже ни кровного, ни духовного родства. Это не только разные обще-

ственные классы, но и разнонаправленные, разноязыкие, друг друга понимающие плохо, с противоестественными и корыстными, как у Абрамовича с Чукоткой, попытками братания. И сближения, и понимания между ними не может быть до тех пор, пока одни не перестанут смотреть на Россию как на постылую жену и бегать за утехами к любовницам, а другие в Отечестве своем не сбросят с себя клеймо изгоев.

Январь 2006 г.

Прилавок культуры

Виктор Кожемако: Не останется ли в конце концов Россия без русской культуры? На эту тему, Валентин Григорьевич, мы с вами уже говорили. И всегда с большой тревогой. Но вот идет время, а тревога, по-моему, не уменьшается. Положение в культуре нашей страны за истекший 2005 год по-прежнему вызывает очень тяжелые чувства. Так у меня. А у вас?

Валентин Распутин: И у меня эти чувства, разумеется, не легче. Процесс полным ходом идет по тому направлению, которое ему задано. Вот я сейчас эту фразу о «процессе» произнес и понял, что в ней совсем не осталось иронического смысла (помните знаменитое горбачевское «процесс пошел»?) – одна только твердокаменная правда. Да и какие могут быть перемены, если фигуры, уродующие культуру, чувствуют себя при этом «исполнении» прекрасно и своего усердия нисколько не сбавляют – стало быть, знают о незыблемой поддержке вверенного им «так держать».

В. К.: Недавно по телевизору Иосиф Кобзон, возглавляющий в Госдуме комитет по культуре, огласил такую шутку «со значением»:

Только спяну или сдуру
Средств жалеют на культуру.

И средства, ничего не скажешь, действительно важны. Когда из-за недостатка денег закрываются сельские библиотеки и клубы, бедствуют музейные работники, нищенствуют художественные и музыкальные школы, – это, конечно, очень горько. Но есть еще одна сторона дела, о которой нельзя не думать. Когда говорят о средствах на культуру, мне хочется спросить: а на КАКУЮ культуру? Или даже так: а что вы имеете в виду под культурой, какой смысл вкладываете в это понятие? Потому что на многое из называемого сегодня культурой никаких средств, может быть, совсем и не стоило бы давать. Однако именно такая «культура» нынче у нас процветает в ущерб другой, настоящей. Не так ли?

В. Р.: Виктор Стефанович, ну кто сейчас примет за чистую монету, будто расходы на сельские библиотеки и клубы, на художественные и музыкальные школы способны подорвать государственный бюджет?! Чепуха это. Вопрос в другом: нужна или не нужна деревня России? Если не нужна, как детская колыбель, из которой Россия выросла и которая обременительным тяглом висит на шее, – тогда и добывать ее надежней всего путем упразднения сельских школ, библиотек и медпунктов. Что и происходит. В Жигалове, на Лене, в Иркутской области, закрыли даже районную больницу – да это все равно что могильный крест поставить на Жигаловском районе! Если бы только на нем одном! Семнадцать тысяч деревень полностью исчезли в России, как сквозь землю провалились за годы последних «реформ».

Спору нет, нужны национальные программы и образования (когда бы действительно образования, а не преобразования), и здравоохранения. Но не за счет села. И самая важная национальная программа для России – это спасение деревни. Без деревни нет России. Оттуда все наши корни – и культурные, и духовные, и хозяйственные, и

государственные, оттуда весь так называемый менталитет народа. Оттуда здравый смысл.

Но вернемся к культуре. Вы правы: культура у нас на два лица. Одно родное, отвечающее нашим представлениям о добре и красоте, созывающее наши души на праздник любви и братства, целительное, очистительное. И второе – самозванное, крикливое, агрессивное, закладывающее семена пустоцвета. С лицом... хотел сказать: с лицом одной знаменитой и скандальной певицы, но тут же перед глазами прошла целая вереница лиц из шоу-мира, и все они, мужские и женские, годятся для образа этой, с позволения сказать, культуры. Но какая же это, позвольте спросить, культура, если вредно, развратно, дурноголосо?! Если вкусившие ее и от нее ошалевшие готовы крушить все, что попадает на их пути!

Л. Н. Толстой называл такое искусство блудницей. «Это сравнение верно до малейших подробностей, – разъяснял Лев Николаевич. – Оно так же всегда разукрашено, так же продажно, так же заманчиво и губительно». Эта «культура», стало быть, появилась еще во времена Толстого, затем коммунизм долго держал ее в ежовых рукавицах, а уж в 80-х минувшего столетия она хлынула, как из лопнувшей трубы, и фонтаном нечистот забила на всех площадях, подмостках и экранах. И теперь всю процветает, заняла первое место в государственном табеле о культурных рангах, ею все заросло, подобно тому, как заросли густой дурниной наши хлебородные пашни.

В. К.: Я уж еще раз помяну Кобзона. Одну из недавних телепередач (большой концерт «Старые песни о главном») вел он вместе с певицей Ларисой Долиной. И вот, предваряя исполнение какой-то зарубежной песни, Долина сказала буквально следующее: «А помните, в советское время были иногда концерты, которые назывались “Мелодии и ритмы зарубежной эстрады”? Как я бегала на них! Это был своеобразный глоток воздуха!»

Не первый раз слышу такое, но всегда это меня поражает. Получается, дышать в искусстве было совсем нечем, и лишь какие-то звуки, доносившиеся с Запада, давали ГЛЮТОК ВОЗДУХА. Ведь не кто иной, как президент Путин точно так же, дословно, сказал английскому певцу Маккартни, одному из «битлов», когда принимал его в Кремле: «Вы были для нас глотком воздуха».

Вот и Лариса Долина – она ведь не просто певица – член совета по культуре при президенте! И этот факт председатель думского комитета по культуре Иосиф Кобзон тут же не преминул отметить. Однако вот «глоток воздуха» с его стороны остался без комментариев...

В. Р.: Ах они несчастные: дышать было нечем! Зато теперь столько воздуха! Но отчего же за двадцать лет «чистого воздуха» не появилось ни одной песни, которую бы подхватил народ, почему кино только сейчас с болезненным стоном вроде начинает приходить в сознание, куда подевались Герасимовы и Бондарчуки, Шолоховы и Леоновы, Свиридовы и Шостаковичи, Товстоноговы и Вахтанговы? И почему даже активно принявшие новый порядок Астафьев и Быков не смогли плодотворно в нем работать? Не потому ли, что атмосфера не та, дыхания не хватало, сердце заходило от боли при виде всего, что происходит? Не оттого ли, что свобода творчества переродилась в дикость и вседозволенность, каких нигде и никогда не водилось? Так много сегодня этого «чистого» воздуха, что мы давимся им, как костью, и чувствуем, как стенки нашего нутра покрываются гарью!

Леонида Бородина, писателя, узника совести с двумя ходками в советские лагеря, в любви к коммунизму не заподозришь. Но и в нелюбви к России не обвинишь. В автобиографическом повествовании «Без выбора», вспоминая свое детство в прибайкальском таежном поселке, он пишет:

«...У нас в квартире еженедельно вывешивалось расписание радиопередач. Классическая музыка входила

в мою жизнь как удивительное открытие, которому нет конца, – дивный волшебный ящик: чем больше вынимаешь из него, тем больше там остается... Я знал наизусть десятки партий (оперных). Но были и самые любимые, в звучании которых мне слышалось и чувствовалось нечто такое, отчего по спине пробегал холодок, хотелось плакать счастливыми слезами. Еще хотелось взлететь и парить над миром с великой, необъяснимой любовью к нему – всему миру, о котором я еще, собственно, ничего не знал и не страдал от незнания...»

Да и я помню из своей юности: итальянские, испанские, французские, южноамериканские песни распевались повсюду. Робертино Лоретти, Ив Монтан, Марлен Дитрих, Мирей Матье были любимцами и тайги, и степи, и севера, и юга. Ван Клиберн стал известен всему миру благодаря Московскому международному конкурсу имени П. И. Чайковского. Да что перечислять!.. В музыкальном искусстве страна наша была открыта для всего мира. И был вкус, что хорошо, а что нехорошо. Когда же вкус был заменен или вовсе отменен, бесноватых у нас, как и следовало ожидать, сразу заметно прибавилось.

В. К.: Согласитесь, очень многое (если не все!) зависит от тех, кто задает тон в культуре. Тот самый тон, который, как известно, делает музыку. Последним знаковым событием в этом смысле для меня стало формирование Общественной палаты. Кто из «деятелей культуры» в нее вошел? Пугачева?.. Резник?.. Все те же самые, которые уже осточертели народу за последние годы! А из журналистов – Сванидзе, Павел Гусев... Хорошо известно, какую «культуру» они несут и поддерживают. Ведь выражение «пугачевская мафия» давно стало крылатым, а тотальное засилье попсы, которую Алла Борисовна олицетворяет, для истинной культуры просто не оставляет места. И вот – опять она! Значит, и эта самая Общественная палата будет руководствоваться ее вкусами,

ее установками, ее связями и кадрами, в конце концов... Так чего же нам ждать?

В. Р.: Я мало сомневаюсь в том, что из Общественной палаты, пользуясь ее полномочиями, постараются выстроить правозащитную цитадель. А все, что имеет вирус «прав человека», ведет к раковой опухоли в любом государственном организме. Оголтелые либералы, понабежавшие в палату, сразу же взяли под свое крыло Хельсинкскую группу, осрамившуюся родственными связями с английской разведкой, и другие неправительственные организации с тем же душком, а теперь примутся организовывать общественные атаки на силовые структуры – на то, что пока еще крепит Россию.

«По плодам их узнаете их», – говорит библейская мудрость. Уже знаем – истинно по плодам, по делам их. По большей части знакомые все лица.

В. К.: Зловещей фигурой остается Швыдкой. Он остается при власти, несмотря ни на что! Ведь перемещение его с поста министра культуры на должность руководителя так называемого федерального агентства, по сути, ничего не изменило. Наоборот, все так хитро было выстроено (под него, Швыдкого!), что оказалось: именно он, а не министр Соколов всецело распоряжается «финансовыми потоками». Ну а вновь назначенный министр – нечто вроде фигуры представительской, то есть почти декоративной.

Малейшее «антишвыдковское» движение Александра Сергеевича Соколова вызвало, как вы помните, вселенский скандал с обращением в суд. И в августе прошлого года дошло до того, что «компетентные» СМИ уже заявили: министр будет снят. Правда, приговаривали при этом, будто и Швыдкого освободят от должности, ликвидировав само это агентство, но опять-таки весьма характерно, кого прочили в новые министры – Ястржембского!..

В. Р.: У православных есть поверье: одно только упоминание имени нечистой силы не к добру. Так и упоминание

имени Швыдкого: невольно передергиваешься от особых чувств, испытываемых к этому господину, который обрел высокое и прочное положение только благодаря своей разрушительной и неутомимой деятельности против русской культуры. Этим он угождает кому надо в Москве и за границей, это и возвышает его из ряда обыкновенных «грызунов»: Швыдкий идет напрямую и цели своей не скрывает, зная, что в обиду его не дадут.

В недавнем своем интервью «Российской газете» он предельно откровенен и циничен, когда говорит: «Надо понять, что за эти 15 лет существования новой России в культуре произошла смена партнеров государства. Культура во многом становится индустрией. И партнеры государства – не творческие союзы, а менеджеры, работающие в сфере этой индустрии».

Каков слог, а?!

Интервью Швыдкого почти совпало по времени с выступлением президента Франции, в котором Жак Ширак снова подтверждает сказанное им прежде: культура – это не товар. В «продвинутой» Франции понимают, что уничтожение культуры равнозначно уничтожению народа, а в России это, видимо, входит в планы государственного безнародного переустройства с опорой на этот самый менеджмент – прости, Господи, за дурное слово.

В. К.: Есть масса горьких свидетельств того, какая культурная политика по-прежнему ныне у нас проводится. Вот прошлый год был годом 100-летия великого Шолохова. И что же? Швыдкой с самого начала выдвинул концепцию, что праздник этот должен быть «региональным», «донским». В результате так фактически и получилось. Если говорить о телевидении (а именно оно определяет масштабы и характер любого общественного события), то там главное свелось именно к концерту из Вешенской – сугубо этнографического характера. А про вечер в новом помещении Большого театра вообще мало кто узнал – эда-

кий «подпольный» получился вечер. Памятник великому русскому писателю в центре Москвы так и не был поставлен, многие запланированные к изданию книги – его и о нем – не изданы.

А как отмечено 90-летие великого Свиридова? Никак! Зато юбилей Хазанова, которого, судя по всему, очень любит президент, продолжался на телевидении бесконечно.

А какой гнусный телесериал выдали к 110-летию Есенина? Ведь если русский национальный гений таков, каким он представлен в этом сериале, то что же можно сказать о русском народе! Да то самое, что они и говорят...

В. Р.: А помните, в 1999-м 100-летие Л. М. Леонова с огромным трудом самодеятельными стараниями удалось отметить только в Малом зале Дома союзов. А ведь сам Леонид Максимович произносил «Слово о Толстом» в 1960-м в Большом театре, а в 1968-м – юбилейное «Слово о Горьком» в Кремлевском дворце съездов. И вся партийная верхушка во главе сначала с Хрущевым, затем с Брежневым в течение полутора часов затаив дыхание слушала эти вдохновенные «Слова». Да и 80-летие Шолохова отмечалось еще в Большом театре. «Коммуняки» понимали, насколько это важно, не сомневались, что почтение к великим и память о них – самый лучший строительный материал для отеческого духовного скрепления.

Сейчас же отношение, знаете, какое-то дежурное, мимоходное, с пренебрежительной отмашкой: до чего же много развелось их, этих юбиляров, и все, живые и мертвые, требуют к себе внимания, работать не дают. Ну и распихиывают их с глаз подальше по «родовым поместьям». А ежели москвич, как Юрий Казаков, но не той породы, – так даже мемориальной доски не позволят. Владимир Солоухин уехал на вечный покой в свое Оледино, но ведь четыре десятилетия жил и творил он в Москве – неужели же не заслужил той же мемориальной доски на доме, где жил?! Трудно быть русским человеком при жизни, не легче и после смерти.

В. К.: Вопрос писателю о книгоиздании. Казалось бы, у нас теперь неимоверное количество названий издающихся книг. Казалось бы, говоря языком китайцев, «расцветают все цветы». Но! Господствует на книжном рынке опять-таки то, что к подлинной культуре отношения не имеет. Та же самая «массовая культура», а точнее, псевдокультура: шелуха, мусор, баракло.

Если же говорить о направленности в литературе, которой отдает предпочтение власть, то ее представляют одни и те же знакомые лица. Они и на телевидении, они неизменно и на всех международных книжных ярмарках. «Свои люди»!..

В. Р.: Издается то, что расходуется. Расходуется то, что проталкивается, – развлекательность, низкопробность, мишура, всяческая наживка на крючок, которая, куда ни пойдешь, постоянно перед носом. Идет непрерывная и масштабная на всю страну работа отупления человека, его развращения и озверения. Больше всего преуспевает в этой работе телевидение, но не слишком отстают и издательства. Вместе с радио, газетами и шоу-бизнесом. Это сплетшийся воедино отвратительный змеиный клубок, непрерывно источающий яд. И прав министр обороны, отчитывавшийся недавно в Думе за «дедовщину» в армии и разъяснивший, что «дедовщина» в нынешних жестоких ее формах – плоды моральной патологии общества. И прежде всего, стало быть, надо спрашивать с тех, кто разводит ее, эту патологию, кто сделал своей профессией гадить и гадить и при этом морщить нос: как посмели?

Издательства перестали выращивать, воспитывать автора, как это было в пору моей молодости, когда такой селекционной и творческой работой занимались и «Молодая гвардия» (само название обязывало), и «Современник», и «Советская Россия» – да что там! – все издательства, не исключая и областные. Вот почему 60–70–80-е годы миновавшего столетия оказались столь урожайными на новые име-

на. Сейчас это извелось совершенно. Государство умыло руки, у рынка жестокие и нечистоплотные законы выгоды. Слышно, что «Молодая гвардия» собирается полностью отказаться от выпуска художественной литературы и перейти только на «ЖЗЛ» и сопутствующие ей серии. Традиции, огромные заслуги недавнего прошлого, благородные засе-вы в читательские души – в архив. Грустно это. «Современник» на последнем издыхании, в трудном положении «Советский писатель», издательства «Советская Россия» давно нет. Новые издательства, как правило, ковбойского типа, рвут на ходу подметки барыша. Нет у автора громкого имени – да будь он хоть семи пядей во лбу – не пробиться. А без книги имя не сделать. Заколдованный круг. Один из многих и многих тупиковых, которые утыкаются все в ту же стену государственного безразличия.

В. К.: Очень горько, что совершенно разрушена советская система книгораспространения. И, по-моему, ничего не делается для восстановления ее! Вот в прошлом году удалось издать книжку наших бесед за минувшее десятилетие – «Последний срок: диалоги о России». Из газет люди узнали о ее выходе, в «Советскую Россию» и «Правду» пришло много писем: где достать? Но ведь не доходят такие издания до «глубинки». Интересно, а у вас в Иркутске на прилавках эта книга есть?

В. Р.: Нет. И не было. Издательство «Воскресенье», выпустившее наши беседы, не из громких и не из богатых, как мы знаем, а только просветительское (видите, как все теперь – с ног на голову): оно со вкусом и любовью выпустило в последние годы полные собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Достоевского – миссия во-истину «воскресенческая», но недоходная, доставляющая с каждым изданием головную боль: что с ним делать, как донести до читателя? Наша книжечка скромная, и место ей, конечно, в провинции, а провинция-то как раз и недо-ступна. Кроме больших магазинов, являющихся «ярмарку

тщеславия» издательских гигантов вроде «Эксмо» или «Дрофы», есть там, по нашему патристическому месту в обществе, хоть и весьма малозаметные книжные лавки, но в своем кругу известные, однако и в них в духе времени в ходу патриотика или классическая, или скандальная. А мы в своих беседах хоть и криком кричим вот уже более десяти лет о происходящем вокруг, да ведь ничего не сокрушаем. Оттого и не везут. Ведь привезти надо своим ходом, прежде чем поставить на прилавок; централизованное книгораспространение действительно давно приказало долго жить. Но если бы даже удалось вернуть его – случись такое чудо, что вернули бы, как в советское время, но ничего не изменили бы в книгоиздательском деле, оставив все, как есть сегодня, не совладав с разливом бесстыдства и пустоты, – то лучше и не надо. Сейчас хоть село спасается от этого разлитого моря печатной отравы, хоть до него не дотягиваются или не считают нужным дотягиваться – и то утешение. Утешение, конечно, слабое, но уж что есть...

В. К.: Недавно мне довелось выступать в родной Рязани перед студентами отделения журналистики тамошнего университета. Зашла речь, в частности, о русской песне, о советской песне, и назвал я имя Сергея Яковлевича Лемешева. А потом вдруг подумал: знают ли? И спросил. Оказалось, никто из студентов не знает, кто такой Лемешев, никогда не слышали его! Зато какую-нибудь американскую Мадонну или Майкла Джексона все, естественно, знают и многие, наверное, почитают. Не есть ли это тот главный результат проводимой ныне «культурной политики», при которой русский народ должен остаться без русской культуры?

В. Р.: Да, плоды «культурной политики» и «культурной революции» швыдких, за которыми стоит черное воинство ненавистников национальной России, что называется, налицо. Тяжело думать о том, что может быть дальше,

выправимся мы или нет. Надо выправляться – иначе беда. В неполноте своей, в своей национальной отверженности и духовной запущенности можем мы и с именем «русский» перестать ему соответствовать, после чего недолго нас и из имени, как из полегчавшего мешка, вытряхнуть.

Есть патриотизм поверхностный, заученный, и есть глубинный, органический, пропитавший все поры нашего существа. Конечно, мы болеем за наших спортсменов на Олимпиаде, это естественно; конечно, мы испытываем удовлетворение оттого, что граждан России, ищущих заработка вдали от неласковой Родины, наши дипломаты вызволяют из неприятных историй, в которые те вольно или невольно попадают; мы, конечно, радуемся тому, что имя России наконец-то начинает иногда звучать в мире не только в отрицательном смысле... Подобный патриотизм, я думаю, способен остаться и после того, как нам удалось бы опустошить свою душу от самого-самого родного – от звуков пушкинской поэзии и духовной музыки, от счастливых слез, пролитых над книгой или над народной песней, от дивной окрыленности, возносящей нас чуть ли не в рай на концертах чернушенковской санкт-петербургской капеллы или мининского хора, от волшебных голосов Шаляпина и Лемешева, Плевацкой и Архиповой... Внешне нам удалось бы, вероятно, и после столь страшных потерь остаться теми же; вон и американцы – патриоты, да еще какие патриоты! Но это патриотизм кожи, общежития, законопослушания. Это далеко от тех даров, которые заложены в нас тысячелетней Россией и имеют только наше душеистечение. Не сохрани мы их, эти дары, запусти мы в себе в небрежении и глухоте тот волшебный хрустальный источник, что выплескивается из необозримых далей нашей национальной земной страды, обрати мы свой слух только вовне, на большие песни большого времени, позабудь хоть ненадолго, что ловцы наших душ становятся все изощренней и наглей, – и пиши пропало.

Слышу недавно по радио: префектура Центрального округа Москвы намерена запретить рок- и поп-концерты на Васильевском спуске, подле Кремля и храма Василия Блаженного, на том основании, что сверхмощная звуковая аппаратура этих шабашей (в информации слова «шабаши», разумеется, не присутствовало) наносит физический вред памятникам архитектуры.

Памятникам архитектуры из кирпича и камня наносит, а человеку не наносит? Как быть с теми тысячами и тысячами наивных, доверившихся подлечремлевской музыке, от которой приходят в расстройство даже могучие каменные сооружения, выдерживавшие дотоле любую стенобитную атаку неприятеля? Что с ними-то, с этими девчушками и парнишками, станет?

Слышу недавно по телящику из уст И. Кобзона: в Госдуме принята программа патриотического воспитания молодежи под руководством певца А. Розенбаума.

Хоть стой, хоть падай...

И все-таки надо стоять.

Март 2006 г.

Цена жизни

Шла поддержка от родственных душ

Виктор Кожемяко: Наверное, вы понимаете, Валентин Григорьевич, с какой тяжестью приступаю я к этому разговору. Тяжело именно потому, что мне понятно ваше нынешнее состояние. Мы не виделись около девяти месяцев после того, как вы покинули Москву, и это время оказалось разрубленным на две части. Больше того, трагическим днем 9 июля 2006 года, когда в катастрофе на аэродроме Иркутска погибла ваша дочь, надвое разрублена вся жизнь вашей семьи: до – и после. Конечно, легче бы не напоминать лишний раз. Но мы в этих наших бесе-

дах, продолжающихся уже тринадцать лет, подводя итоги очередного минувшего года, каждый раз говорим об особенно значимом из того, что за год произошло. Как же тут сделать вид, будто не было этого, не случилось? Как смолчать, если для вас (да, поверьте, и для меня!) июльская трагедия стала доминантой гораздо более чем одного 2006 года, затмив многое, тоже трагическое и драматическое, чем переполнена наша жизнь? У меня не получается смолчать. Вы простите, что причиняю вам боль, но ведь все, кто знает о гибели Маши, сегодня думают: как он теперь, Валентин Григорьевич?

Валентин Распутин: Как? Да разве сказать – как? Если бы я как писатель поставил своих героев в те же самые обстоятельства, в каких оказались мы, я не смог бы и в сотой, тысячной доле передать все, что пришлось и придется еще пережить. И я не имею права говорить только о своем, о нашем семейном горе: 125 человек заживо сгорели в то раннее утро 9 июля. Попробуйте не представлять себе, как это происходило, попробуйте не гореть вместе с ними. В нас выгорело многое, и мы теперь совсем иные, чем были до этого страшного рубежа.

В. К.: Разумеется, вашу беду ничем не поправишь. Но вы и Светлана Ивановна писали мне о множестве сочувственных посланий от людей, которые эту беду приняли близко к сердцу. И я пересылал вам в Иркутск такие же послания, поступавшие по редакционному адресу. Что значат они для вас?

В. Р.: Конечно, это была немалая поддержка. Многие, многие десятки писем, телеграмм, телефонные звонки. И не только из России. От друзей, знакомых, но больше всего от вовсе незнакомых. От родственных душ или по книгам, или по несчастью претерпевать все, на что нас теперь обрекли. Но как ни пытаются загнать нас в себя, только в свое личное выживание и горе, как ни воспитывают равнодушных друг к другу индивидов (и не без успеха, надо признать), все

равно мы держались и держимся вместе. Так мы воспитаны. «Тысячелетняя раба», по аттестации врагов России, и в самом деле, как мать, раба детей своих, нашей неразрывности. Соболезнование, сострадание – это взять на себя часть боли и страдания другого, спасти его от разрыва сердца.

Мы это почувствовали.

В. К.: И вот еще одно письмо, полученное мною по адресу «Правды» на днях. С Украины, из Киева, от писателя Александра Сизоненко. Поразительно, что он только 12 ноября – четыре месяца спустя после смерти Маши! – узнал о происшедшем. До такой степени нас разделили и отделили. А мог бы вообще не узнать? Объясняет, что добрые люди прислали ему «Правду» от 17 августа с моим очерком «Реквием по Марии», который был напечатан к сороковому дню иркутской трагедии. Пишет: «И душа, и все во мне перевернулось трагическим известием о гибели Машеньки... Примите запоздалое мое соболезнование и сочувствие – отныне Ваше горе великое становится моим личным горем! И горем всей моей семьи. Малое утешение в китайской мудрости: “Разделенное горе – это только полгоря”. Однако хочется, чтобы Вы знали: моя душа, моя печаль – с Вами».

А обращаясь ко мне, автор этих пронзительных строк признается, что давно любит писателя Валентина Распутина – «и как коллега по литературе, и как миллионы его читателей в СССР, в России, на Украине, в Европе». Гордится Распутиным, как он написал, с тех пор, «когда мы еще были великой страной». Видите, ваше горе с неизбежностью вызывает у человека воспоминание о нашем общем горе разделенности, которому как раз исполнилось пятнадцать лет. Значит, есть тут какая-то незримая связь?

В. Р.: Конечно, особенно если это связь кровная, братская. Политики, не считающиеся с нею, могут иметь временный успех, но только временный. Придет час – и новый Богдан Хмельницкий соберет Раду и выведет свой народ из

одури поклонения чужим богам. Придет час – и устроит Господь, что за грехи свои смертные распадется НАТО, куда теперь шумно и грубо заталкивают Украину тамошние «западцы». Придет час – и не устоит ВТО, куда на чужой каравай, на который, как известно, рот разевать не надо бы, устраивают Россию наши «западцы».

Я знаю Александра Сизоненко, приславшего вам письмо. Это был бесстрашный воин с фашизмом в пору Великой Отечественной и не менее бесстрашный теперь воин против нашего межславянского раздора. Ему, как и нам с вами, трудно понять, почему, забыв о собственном, о национальном достоинстве, надо униженно на десятки роли пробиваться в «единую Европу» и как черт ладана бояться славянского братства. Это умопомрачение, не иначе. И почему по чужим заказам, во вред общему нашему делу, надо отталкивать от себя Лукашенко, мужественного и мудрого вождя Беларуси?

А дьявольский хохот гремит вовсю

В. К.: Не могу отойти от этого волнующего послания Александра Сизоненко, обращенного и к вам, и ко мне. Он воспринял трагедию вашей дочери как органическую часть той трагедии, которую переживают ныне Россия и Украина. Причем написал об этом, по-моему, очень сильно, и позвольте мне для всех наших читателей привести дословно еще одну выдержку из письма:

«Да, убивают Россию неведомые, латентные силы – убивают изо всех стволов, со всех направлений! Конца этому не видно. И, видимо, не предполагается. Личное Ваше горе сопряжено со всеобщим горем России. И Украины – тоже. Если у нас ежегодно убывает 400–500 тысяч человек, то в России – миллион! На сколько же нас хватит? А с телеэкранов льется поток бесовского хохота: “Сделай мне смешно!”, “Сделай мне весело!” От Москвы до Одес-

сы – те же пошлые лица заказных “весельчаков” и “остроумцев”. Хохот стоит над кладбищем так называемого постсоветского пространства. И гибель Маши, как и 124 ее товарищей по несчастью, – укор всему современному укладу жизни на нашей горемычной земле. Но за хохотом “шоу-бизнеса” не видно и не слышно страданий не то что семей – народов!!! Так задумано, воплощено. В странном, бесовском, изуверском, содомском мире существуем, а не живем! И гибель Вашей Машеньки – приговор этому миру и его “устроителям”».

Что скажете на такое, Валентин Григорьевич?

В. Р.: Скажу, что наш собрат с Украины нашел самые точные, гневные и справедливые слова в адрес правителей как у себя, так и у нас во весь пятнадцатилетний «новый порядок». Все верно, все так и есть. Празднование Нового года в очередной раз показало, что хохот над кладбищем «постсоветского пространства» нисколько не затихает. Напротив, он становится все отвратительней, безумней и бесстыдней. «Дьявольский хохот загредел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним...» Это из Гоголя. И это из новогодних праздничных программ на TV, в том числе и из Кремлевского дворца. Это нас таким образом забавляют, чтобы легче было поживать и пожинать, как кодекс, новые ценности. Был же когда-то кодекс строителя коммунизма, между прочим, с Христовыми заповедями, – и вот теперь кодекс разрушителя исторического Отечества с заповедями антихриста.

О «примате» этих новых ценностей. Я прошу прощения у читателя за несвойственное мне чужое слово, однако для чуждых и вредных порядков, натасканных невесть откуда, только такие слова и годятся.

Не заведись в авиакомпании «Сибирь» примата барыша над жизнью человеческой, не случилось бы трагедии 9 июля. Не будь у нас примата олигархов над народом и примата разбоя над утруждением – не втоптали бы народ

в грязь и не обрекли бы его на вымирание. От самого начала «новой эпохи», от самодура Ельцина и по сегодня, Россия – страна грязных порядков и вопиющей несправедливости. Все попытки власти избавиться от нее носят робкий и половинчатый характер. Если не сказать больше: характер наводит тень на плетень.

Забывать о безопасности?

В. К.: Кроме общего состояния, в которое ввергнута многострадальная наша страна, очередная иркутская трагедия приковала внимание и к ряду серьезнейших конкретных проблем, без преувеличения – жизненно важных. Прежде всего, конечно, это положение, в котором оказалась у нас гражданская авиация. Военная, впрочем, тоже, но тут напрямую речь идет о безопасности полетов многих тысяч пассажиров, вынужденных передвигаться именно этим видом транспорта над все еще великой по расстояниям нашей Родиной.

Точнее, теперь надо говорить не о безопасности, а об ужасающей опасности, которая висит буквально над каждым, кто покупает авиабилет! Миллионам людей это нынче вообще не по карману – тоже подарок «демократических» времен. Однако и те, кто может или вынужден себе хоть иногда такое позволить (кроме абрамовичей, летающих на личных авиалайнерах!), в положении не лучшем. Опаснейший риск, не так ли? Было время, когда про это просто не думалось. Хорошо помню, например, свои первые дальние перелеты от Москвы до Владивостока и обратно в 1964–1965 годах. Никаких опасений. А теперь? Вы из Иркутска в Москву на этот раз ехали поездом?

В. Р.: Поездом. Это, конечно, более безопасный транспорт. И до недавнего времени более дешевый. А безопасным он оставался лишь потому, что руководство «Российских железных дорог» не позволяло растащить их на множе-

ство владений, как растащили «Аэрофлот». Поклониться, я считаю, надо за это бывшим министрам Г. М. Фадееву и Н. Е. Аксененко, которые выдерживали в правительстве жесткие схватки с чубайсами, и тогда, и сегодня отличающимися здоровым аппетитом стервятников.

В прежние годы я тоже летал много. И на дальние, даже сверхдальние расстояния, и на ближние. И без всякой опаски. Не было никакой причины тревожиться за свою жизнь, потому что за нее тревожились и отвечали другие. Остались довольно неприятные воспоминания о наземных службах «Аэрофлота», о тех же «накопителях», куда, как в загон, препровождались пассажиры перед посадкой и в тесноте и обиде содержались там по часу и больше. Но уж поднялись на борт, оторвалась машина от земли – можешь строить планы на прибытие.

Сейчас не можешь.

Бесконкурентное господство в воздухе одной компании, конечно, сказывалось на услугах пассажирам. Три-четыре «извозчика» не повредило бы и в советское время, но не под сотню или даже более сотни, как потом. Что удивляться, если большинство из них оказалось не просто в корыстных, а в разбойничьих руках. Доходы компании «Сибирь» давали ее владельцам, надо полагать, астрономические барыши, но мало, мало, мало...

Только в Иркутске за последние годы при посадке и взлете потерпели крушение три пассажирских лайнера. Да грузовой «Руслан» врезался всей своей громадой в жилые дома. Или этого недостаточно, чтобы государство озабочилось, что же все-таки у нас происходит в авиации и где искать виновных – в воздухе или на земле?

В. К.: Какой узел реально возможных причин той катастрофы возник перед нами сразу же после сообщения о ней! И эта взлетно-посадочная полоса, находящаяся в пределах города; и самолет А-310 производства европейской авиастроительной корпорации «Эрбас», срок использования

которого, оказывается, давно истек, но который именно поэтому был «по дешевке» взят в аренду российской авиакомпанией «Сибирь»; и так называемый субъективный фактор, связанный с подготовкой пилотов, в том числе к работе на технике иностранного производства. Ведь у нас почти полностью ликвидирован отечественный авиапром, хотя советская авиация, как мы теперь убеждаемся, была одной из самых надежных и безопасных в мире. Если же говорить о пилотах, то стало известно: их численность в нашей гражданской авиации с 1996 года сократилась на 57 процентов, а средний возраст вырос с 40 лет до 44. Выпускается ежегодно 200 летчиков, а нужно – 800!

Недавно Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал наконец результаты расследования июльской катастрофы в Иркутске. Виновными признаны летчики, совершившие якобы роковую ошибку при посадке. Вместо режима торможения после касания взлетно-посадочной полосы командир корабля пилот Шибанов, как утверждается, перевел один из двигателей в режим разгона. Однако почему такое могло произойти? Ряд видных авиационных специалистов считает, что допущенная ошибка могла стать следствием грубейшей, вопиющей, недопустимой конструкторской ошибки! Дело в том, что пилотская кабина аэробусов этого типа сконструирована совершенно неудовлетворительно: рычаг газа и рычаг торможения расположены в крайне опасной близости. Следовательно, значительная часть вины за катастрофу лежит на концерне «Эрбас» и тех, кто сертифицировал погибший самолет, то есть на МАКе. Объективные специалисты склонны усматривать «особые отношения» между МАКом и фирмой «Эрбас». Оправдывая фирму и сваливая все на летчиков, комитет оставляет опасность повторения подобных трагедий.

Конечно, мы с вами не специалисты в авиации. Но все-таки хочу спросить: что вы думаете о выводах комиссии?

В. Р.: Как это ловко и как бесстыдно – сваливать всю вину за трагедию на погибших летчиков! Ведь они не встанут и не постоят за себя. Не объяснит командир корабля пилот первого класса Сергей Шибанов, налетавший более 10 тысяч часов, что не мог он, как недоучившийся школяр, перепутать тормоз с газом и что умники из МАКа во имя чести мундира преступили свою профессиональную честь и честь истины.

О времена! О нравы! Мало того, что убили – все равно, конструкторской ли ошибкой или протаскиванием несовершенных машин на рынок, – так еще и убийц решили искать среди потерпевших!

А что машина была неисправна и что было рискованно поднимать ее в воздух – об этом ни гугу.

Авиакомпания «Сибирь», эксплуатировавшая злосчастный А-310, с выводами комиссии не согласилась. Новосибирские пилоты, работающие на А-310, в коллективном письме говорят о неоднократных случаях отказа компьютеров в двигателях этой машины.

Комиссия МАКа сама себя и высекла, как унтер-офицерская вдова, сообщая едва ли не в первых же строках своего расследования: «Изучены аналогичные авиационные происшествия, происшедшие с самолетами А-310 в мире». Значит, были подобные «происшествия». И неоднократные. Множественные. А недавно промелькнуло сообщение, что машины этого типа снимаются с производства. Разве не говорит это о немереном лукавстве членов комиссии, искавших виновников трагедии совсем не там, где они находились?

И почему никто не прокомментировал последние действия командира корабля, прокричавшего для самописца, когда машина потеряла управление: «Выключаю двигатель!» И не выключил. Не выключил – потому что не мог выключить или передумал? А ведь это было последнее спасение. И передумать он не мог.

В погоне за выгодой

В. К.: Изучая многоголосие мнений в связи с обнародованием итогов расследования, обратил я внимание на одну фразу, которая представляется мне ключевой: «На кону оказались очень большие деньги». Например, доходы авиакомпании «S7» (бывшая «Сибирь»), нещадно эксплуатирующей аэробусы А-310. Или того же МАКа, сертифицирующего покупку любых лайнеров за рубежом (оказывается, погибшему А-310 комитет выдал сертификат еще 25 октября 1991 года). А главное – тут были завязаны интересы одной из самых могущественных в мире авиастроительных корпораций – «Эрбас», которая уже продала всему свету 229 самолетов того же типа. Вот и говорят: тень подозрения на любого из перечисленных чревата огромными убытками, которые никто нести не хочет.

Деньги! Они всем правят. Они во главе всего. Карл Маркс нынче «не в моде», но ведь абсолютно прав был: нет такого преступления, на которое не пойдет капитал в погоне за максимальной прибылью. Мы ушли от социализма к капитализму – и теперь имеем возможность воочию в этом убедиться. Все эти частные авиакомпании (их у нас в стране больше сотни!), растащившие некогда единый и могучий «Аэрофлот», движимы лишь одним – стремлением как можно больше получить. А ответственности при этом никакой! Выходит, деньги – всё, а жизнь человеческая – ничто. Чтобы «сэкономить» (на человеческих жизнях!), используют и устаревшие самолеты, и контрафактные, то есть поддельные, авиадетали. Откупиться же потом легко: 100 тысяч рублей – это, по-моему, потолок того, что выдают за погибшего. При любых обстоятельствах.

В. Р.: Если бы были даже миллионы – разве можно возместить наши потери? Если бы были даже миллионы миллионов, мы бы их с радостью похоронили, чтобы вернуть жизнь в наших детях, отцах, матерях, внуках.

Никогда не забуду... На девятины и сороковины мы собирались возле останков того самого самолета. И вот после службы, когда можно расходиться, к нашему архиепископу Иркутскому и Ангарскому Вадиму, справлявшему ее, подходила женщина, стояла и молчала... От ее погибшей в этом самолете дочери, единственной, тех же лет, что и наша Мария, не осталось совсем ничего. Совсем ничего. Владыка Вадим пытался своими особыми словами успокаивать женщину... Она слушала и, похоже, не слышала. Так вот: можно ли оплатить ее горе, ее бесконечное сиротство, ее изнуряющую боль, пустоту всего мира вокруг?.. Можно ли это оплатить деньгами?

Но и ей, я думаю, безразлично: кто виноват?

Вина компании «Сибирь» больше, страшнее вины остальных, как говорится, фигурантов этой трагедии. Это даже и не вина, а преступление, не случайно она теперь спряталась за шифровку «S7», с которой взятки гладки.

Но так ли уж гладки?

Компании-изготовители А-310 были заинтересованы в том, чтобы продать свою продукцию. МАК, выдавая сертификаты как на самолеты, так и на аэродромы, была заинтересована, чтобы самолеты эксплуатировались. Компания, приобретающая воздушное судно, прежде всего должна быть уверена в его надежности. А не только во вместительной утробе. Компания «Сибирь» не могла не знать о целом шлейфе трагических событий, сопровождавших эксплуатацию А-310. Не могла она не знать, потому что в этом мире воздушного бизнеса секреты держатся недолго, что для стран «третьего мира» и для России запасные части к А-310 поставлялись без особого контроля. Не могла не знать: ее собственные пилоты, направившие в МАК письмо о неоднократных случаях отказа компьютеров в двигателях, конечно, прежде всего ставили об этом в известность свою компанию.

Выгода – вот что сегодня правит миром и что явилось главной причиной иркутской катастрофы. Большие день-

ги. А нам – большие слезы. Надо ли заботиться о своих соотечественниках в воздухе, если они миллионами мрут на земле? Это правило, этот закон интуитивно, в подкорке сидит и принимает решения во многих и многих, от кого зависит наша жизнь.

*Сбережение для растления
обрадовать не может*

В. К.: Тема, о которой мы сегодня говорим, – часть огромной темы сбережения народа. Фактически продолжаем нашу беседу годичной давности, и, судя по всему, придется еще ее продолжать. Мне показалось (а может быть, так оно и было), что в своем послании Федеральному собранию 2006 года президент, впервые заговорив о демографической катастрофе в России, учел ряд мыслей, высказанных писателем Распутиным. Вспомните, мы говорили, в частности, что необходимо стимулировать рождаемость в стране, – и определенная реакция последовала.

Другой вопрос: насколько действенной, результативной будет эта реакция? Впрочем, как и многие другие. К сожалению, надо отметить следующее: после пятнадцати лет почти полного игнорирования народного мнения власть вроде бы стала на что-то реагировать. Но, увы, в основном словесно! То есть выбирается для реакции действительно крайне наболевшая проблема, о ней начинают с тревогой и озабоченностью говорить на самом высоком уровне, а потом... Потом возникает другая проблема, тоже очень наболевшая, высокий разговор переключается на нее. Проблем-то жгучих масса накопилась! И вот реакция как будто есть, а конкретные изменения к лучшему мало заметны. Получается зачастую видимость каких-то мер вместо реального дела.

Разве не так? Разве не этим – на сегодня по крайней мере – оборачивается и решение проблем авиабезопас-

ности? Что-то сказал об этом сам президент. Что-то пообсуждали в правительстве. Знание реальной ситуации в отрасли вскоре после иркутской катастрофы продемонстрировал своими заявлениями вице-премьер Сергей Иванов, которому поручено «курировать» это дело. Ну а дальше-то, дальше? Что конкретно? Что реально? Что делается, меняется, улучшается?

В. Р.: Не обольщайтесь, Виктор Стефанович: верхи бе­седы наши с вами не читают. Они так низко не опускаются. Необходимость сбережения народа крупно, аршинными буквами, написана в небесах над Россией уже давно. Можно было вычитать ее оттуда и раньше.

Но давайте посмотрим, что получается. Нужна была программа поддержки материнства и увеличения рождаемости? Конечно, это вопрос существования нации и государства. Ребятишек теперь станет больше, тут не может быть сомнения. Но России требуются не просто цифры пополнения народонаселения, не поголовье, а полноценные граждане. И власть обязана позаботиться, чтобы дети не только появлялись, но и воспитывались в благоприятном нравственном, духовном и культурном климате. Не шли на заклятие, как агнцы в жертвенных кострах. Примат швыдких над культурой, в том числе теперь и над народной культурой, и примат фурсенок над образованием способны только безобразить подрастающие поколения. Сбережение для последующего растления – это никакое не сбережение.

Себя власть защитить умеет. Увидела опасность в Березовском с Гусинским – и побежали они за границу чуть ли не в женских платьях, как Керенский из Петрограда в 1917-м. Пригрозил неосторожно банкир Ходорковский своим могуществом – и поехал под конвоем в декабристские места в Забайкалье. И правозащитные вопли не помогли. Но отчего та же самая власть не хочет защитить народ и избавить его от гоголевских персонажей с Лысой горы? Почему она потворствует порядку, при котором процветают зло

и бесовство? Почему отпетые ненавистники России, такие как господин Познер, получают из рук президента высшую государственную награду – орден «За заслуги перед Отечеством»? Это у познеров-то заслуги перед Отечеством?! Полноте, перед кем метать бисер!

«Что дальше?» – спрашиваете вы. Дальше так, вероятно, и пойдет. Сегодня одно, завтра другое. Нашим и вашим. Попытки вроде бы облегчить народную жизнь – и потворство тем, кто профессионально занимается ее убийством.

В. К.: Еще раз хочу поклониться светлой памяти Маши – замечательного музыканта, музыковеда, педагога Марии Валентиновны Распутиной. Поклониться памяти всех, кто разделил ее участь. На 9 января 2007-го выпала полугодовая дата трагического их ухода. Осталось великое горе, и остались проблемы – поистине жизни и смерти. Будут ли они решены? И когда?

В. Р.: Спасибо, Виктор Стефанович, за добрые и сочувственные слова в память и дочери нашей, и всех погибших в июльской катастрофе. В «Правде» еще летом по горячим следам этого события была напечатана ваша большая и очень глубокая, серьезная статья. Не оставляет вас эта боль и эта тайна и теперь, спустя полгода. Спасибо.

Что же касается вашего вопроса, будут ли решены связанные с катастрофой и оставшиеся после нее вопросы и проблемы, – мне ничего не остается, как сказать неопределенно: поживем – увидим. И, может быть, еще вернемся в будущих наших беседах к этому событию.

Январь 2007 г.

Дело Швыдкого живет. И побеждает?

Уничтожают остатки здорового вкуса

Виктор Кожемяко: Прошлый год мы начинали с вами, Валентин Григорьевич, разговором о состоянии культуры в

нашей стране. Приходится и очередной, 2007-й, открывать возвращением к той же теме. Слишком остро и больно она ощущается! Вот говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Миллионы наших соотечественников – как обычно, увы, – встречали перемену года с телевизором. И, по-моему, могли убедиться, что никакой перемены к лучшему здесь не происходит. Я знаю, вы не большой любитель тратить время у «ящика». Но все-таки хоть заглянули сюда в предновогодние и новогодние дни?

Валентин Распутин: Именно так, как вы говорите: заглядывал. Два-три раза заглядывал. И отшатывался почти в ужасе. Нет смысла предъявлять какие-то счета исполнителям, увещевать их и призывать к приличиям: эти знают, что делают, настало их время, и они своего не упустят. Это хищники, обирающие свои жертвы. Обирающие не только карманы, но и души, отсасывающие, подобно вампирам, остатки здорового вкуса.

Вот на нее, аудиторию, которую в телестудии собирают «со стороны», смотреть тяжело. По большей части милые, красивые лица, не тронутые или почти не тронутые духовной порчей; много молодых... Они пришли на праздник. Вернее, шли на праздник, и не все из них сознают, что попали не туда и оказались в роли жертвенного стада. Чем пошлее номер на сцене, тем им веселее. Заразительный смех («заразительный», если верить слову, подхватывающийся от общей нездоровой обстановки), опьянение, самозабвение – с одной стороны. А с другой – подобие сеанса черной магии Воланда и его команды в театре Варьете из романа Булгакова. Некоторые в зале, правда, озираются с недоумением: куда они попали? Что происходит? Но таких немного, и камеры, как хорошо обученные щупы, перестают их показывать.

Еще лет двести назад слова «пошлый», «пошлость» относились к прошлому, к тому, что пришло из старины и само по себе имеет вполне симпатичный смысл, с оттен-

ком, правда, наскучившего, надоевшего. Но уже В. И. Даль аттестует пошлость как неприличие, грубость, низость, подлость. Однако по-прежнему в положении пережитка прошлого, обреченного на исчезновение. И вот теперь, воспользовавшись образовавшейся в культуре и нравах пустотой, пошлость из заднего положения переметнулась в переднее и во всем своем распухшем безобразии явилась с той стороны, где будущее. И претендует не на скромную роль в жизни, а на полное господство. И не без успеха: ей поклоняются и короли, и президенты, и банкиры, и секретарши, и господа, и слуги.

В. К.: А ведь телевидение – зеркало того, какова сегодня культура страны. Во всяком случае, массовая культура, поскольку принято это сомнительное деление на массовую и так называемую элитарную. Имеется в виду что? «Элита» (ох, терпеть не могу вызывающе высокомерное самоименование нынешних политиков и их «интеллектуальной» obsługi!) потребляет некий особый культурный продукт – для «посвященных», «приобщенных», «удостоенных». Ну а «пипл», народ то есть, говоря их языком, хаваает подряд то, что лопатами бросают ему с «голубого экрана». Отбросы! И то сказать, концертные залы, театры, музеи, вследствие хотя бы установленной цены на билеты, для «простых зрителей» становятся все более недоступными. Об известном ленинском «Искусство принадлежит народу» надо забыть. Телеэкран же в основном преподносит такое, что с настоящим искусством и подлинной культурой не имеет ничего общего. Причем это отдаление год от года усиливается. Вы согласны, что народ просто лишают духовной питающей культуры, тотально заменяя ее каким-то эрзацем, крайне опасным для здоровья общества, нации, ее будущего?

В. Р.: Сначала о так называемой элите и ее интеллектуальной obsługi, об особом культурном продукте для «посвященных» и «приобщенных». Знаете, когда происходит

материальный отрыв от земного на космическую высоту, меняются и психика, и вкусы, и аппетиты, и представления о себе и других. То есть приходит в действие тот самый философский и физический закон, когда изменение количества приводит к изменению качества. И тогда хочется чего-нибудь эдакого, запредельного, марсианского.

Еще недавно мы с вами обсуждали, зачем Абрамовичу, губернатору Чукотки, в дополнение к частному «Боингу» за 40 миллионов фунтов еще и «Боинг» за 56 миллионов в золотой отделке и с ванной комнатой. Даже стыдно, до чего мы наивные личности! Сегодня Роман Абрамович в дополнение к своим двум или трем первоклассным яхтам строит еще одну – крупнейшую в мире, длиной 168 метров, с двумя вертолетными площадками, с системой обнаружения ракет и комплектом слежения за морскими объектами. Естественно, с высоты «Боинга-767» и супер-яхты «Эклипс» (названия, кажется, не чукотские) и эстетическая составляющая у их хозяина должна иметь соответствующие объемы.

Недавно прошла информация, в том числе и в «Советской России»: в новогоднюю ночь на одной из подмосковных дач пел Джордж Майкл. «Сам» Джордж Майкл. За часовой концерт эта британская «звезда» получила гонорар три миллиона долларов, а вместе с доставкой, отправкой и прочими сопутствующими услугами приглашение обошлось почти в пять миллионов. Назывался и хозяин дачи: Владимир Потанин.

Признаться, я усомнился: русских в олигархическом стане раз-два и обчелся, так что вполне могли недруги оговорить владельца «Норильскникеля», известного, кроме того, своей благотворительностью. Нравы у них там волчьи. Но информация, к сожалению, оказалась достоверной. И убедило меня в этом даже не то, что Потанин не выступил с опровержением (по благородному сердцу, он мог плюнуть на «подставу»), а окончательно убедило свалившееся на «Норникель» последующее событие.

Обратили ли вы внимание на странную, поистине мистическую закономерность, с какой происходят похожие, как бы односемейные события? Вспомним череду пожаров в конце прошлого года в «режимных» больницах с не совсем нормальными пациентами. За одну неделю три пожара с немалыми жертвами. Затем волна убийств батюшек сельских православных храмов. Точно целевого, направленного действия. Конечно, трагические эти события нельзя ставить в один ряд со скандальными происшествиями, оставившими в «Норникеле» нравственную брешь, но все-таки... Все-таки роковая направленность присутствует. Только-только успел отбыть в свой туманный Альбион Джордж Майкл, как на суперэлитном горнолыжном курорте Куршавель был задержан полицией генеральный директор «Норникеля» Михаил Прохоров. Гусарство его с привозными девицами и реками шампанского было столь шумным и вызывающим, что пришлось французам перемещать русского набоба вместе с гаремом в каталажку и внушать, что Альпы – не Северный полюс, а местное население – не белые медведи.

В. К.: Мне уже приходилось говорить и писать, что последние полтора-два десятка лет нанесли колоссальный урон не только тем, кто, условно говоря, потребляет культуру, но и тем, кто ее «производит». Новогодние программы телевидения продемонстрировали это, на мой взгляд, свехубедительно. Вырождение, деградация, ужасающее падение – вот какие слова приходили мне в голову. Чего стоит, допустим, «Карнавальная ночь – 2» на Первом канале, представлявшаяся как некое событие! Впрочем, она и стала в определенном смысле знаковым, показательным событием. Знаком того, чем оборачивается для деятелей культуры предательство идеалов. Показателем, как мстит за измену талант. Он мстит, уходя. Разве не это произошло с Рязановым, да и со всей компанией, творившей вместе с ним такую беспомощную и жалкую халтуру? Ведь

когда-то, в советское время, Рязанов создавал замечательные фильмы. Его «Ирония судьбы», прошедшая и на сей раз перед Новым годом, напомнила об этом. А вот после 1991 года (получив, кстати, вождеденную «свободу») ничего даже близкого к прежнему сделать ему не удалось. Даром не прошли подобострастные визиты к Ельцину и вкушение котлеток Наины Иосифовны на президентской кухне! Вот и эта убогая «Карнавальная ночь – 2». Разве может она хоть в какой-то мере сравниться с блистательным своим прототипом пятидесятилетней давности? Выходит, Рязанов этого не понимает, коли на экран выпускает. Согласитесь, характерно ведь для нынешнего времени такое резкое снижение творческой планки?

В. Р.: Я не согласен с вами, будто нынешний Э. Рязанов, производящий халтуру, не понимает, что творит. Прекрасно понимает. Но он относится к тому культурному обществу, немолодому уже теперь, успех которого в советские времена принимается им за ошибку, за грех, нуждающийся в исправлении. Все, что можно было получить за фильмы своей молодости, Рязанов в свое время получил. Сейчас ему за них и ломаного гроша бы не дали. А вот после показа «Карнавальной ночи – 2» торжественно вручали «Триумф», а премия эта ой хорошо тянет.

На Рязанове как на художнике можно было окончательно ставить крест уже тогда, когда он вкушал котлетки у Наины Иосифовны и дурил народ, выставляя Ельцина спасителем России. Но этот народ, который он сознательно дурил, не был народом Рязанова и ему подобных, так что и дурить его они почитали за честь. То же самое продолжается и теперь.

Верно, что талант за измену мстит. Но разве этим смутишь рязановых? Культура под руководством Швыдкого и иже с ним упала ниже некуда – значит, оттуда и следует продолжать ее разложение. Вкупе с фурсенковским образованием это сейчас самый надежный способ оконча-

тельно положить на лопатки Россию. И ни нефть, ни газ не помогут. А вернее, они будут способствовать последнему падению, потому что ломать вековые традиции, изымать из народа душу стоит денег и денег. И чем щедрее будут финансовые вливания в замаскированное хитроумно разрушение, тем надежней результат.

Мы с вами тоже можем считать себя «посвященными». Разумеется, посвященными не в общество разрушителей, а в круг тех, кого громкими проектами, требующими уйму денег, на мякине не проведешь. И все-таки невозможно понять... За контрафактную продукцию... Вот еще одно словцо, свалившееся на нас и заставившее ломать язык, как будто в русском языке нет слова «подделка»!.. Так вот, за контрафактную продукцию, за подделку лишают виновных лицензии, заводят уголовные дела. Очень даже правильно. Но почему за эту же самую контрафактную продукцию, которая ушатами льется, лопатами выбрасывается, как вы говорите, с «голубого экрана», ни с кого не спрашивают? Был шум в прошлом году, когда по нашим городам и весям появились многочисленные жертвы поддельной водки. А разве жертв поддельного искусства, потребляемого миллионами, меньше?

Почему не поется сегодня

В. К.: Когда я смотрел «Карнавальную ночь – 2», думал вот еще о чем. Ведь та первая «Карнавальная ночь», появившаяся на экранах полвека назад, принесла в нашу жизнь несколько великолепных песен, которые не забыты до сих пор. А эта? Задумывалась-то как фильм новогодний, как своего рода переключка с тем прекрасным музыкальным фильмом, – значит, тоже должна была стать лентой музыкальной. Но... ни одной песни, достойной не то что сравняться с теми, а хотя бы приблизиться к ним, затронуть какие-то душевные ноты, запомниться. Ни

одной! О чем-то это говорит? По-моему, об очень многом. Как вы считаете?

В. Р.: А не поется. Жизнь не та, воздух не тот, потребность не та. Песня является не оттого, что поэт написал слова, а композитор положил их на музыку. Нужно, чтобы песню ждали, чтобы она легла на душу, затрепетала, как птица, распустила крылья. А когда все чистое и святое пошло псу под хвост, не больно и запоется.

Вы правы: первая «Карнавальная ночь» была песенной, красивой, веселой; во второй, кажется, была песня Н. Добронравова и А. Пахмутовой, и сам Рязанов там запевал, но, мягко говоря, неудачно. Однако если бы он попытался эту свою работу сделать более музыкальной, он бы ее еще больше погубил. Песни-то нынче какие! Нет их. На радио, TV принялись распевать рекламу пищевых добавок и стиральных порошков – вот куда приспособили песенное искусство, вот где теперь вдохновенно трудятся поэты и композиторы! И там у них, надо признать, получается лучше, нежели от попыток выдавить лирическую или эпическую песню. «Расея, моя Расея! От Волги до Енисея» – это один из шедевров нашей эпохи. Звучит часто, вдохновенно и нелепо. Почему Расея только от Волги до Енисея, если это всего лишь половина Расеи? А вторую половину куда? Китайцам или японцам? Вроде бы не по-хозяйски. А кроме того, слов-то больше почти и нет, только этот припев и гоняют «от Волги до Енисея». Что за скудость! Ведь это же последнее нищенство, если и на песню не хватает ни слов, ни чувств, одно только возношение своей пустоты.

Вот мы с вами заговорили о Рязанове, о том, почему талантливые прежде мастера, прославившие свои имена, пускаются на обыкновенную поделку. Сознательно или не отдают себе отчета, что делают? Повторюсь: я считаю, что сознательно. Тридцать, сорок, пятьдесят лет назад работать в искусстве спустя рукава, в прохладцу, а уж тем более с издевкой к зрителю, слушателю, читателю было

просто невозможно. Уровень искусства был высокий. Страна крепилась воедино, мне кажется, не столько пропагандой, сколько им, искусством, а в широком смысле – запасами народной и духовной культуры. Чтобы прославиться, стать известным и любимым мастером, надо было талант свой положить на алтарь Отечества, а не торговать им, как теперь, на рынках сбыта. Поэтому так много тогда появилось ярких имен в кино, театре, музыке, литературе, поэтому при множестве своем им было не тесно и славы хватало на всех. Как ни трудно пробивались к главным своим работам Шукшин и Вампилов, но ведь пробились и обессмертили свои имена.

И вот теперь, в новой России и новом искусстве, Лунгину надо было прежде изгадить русского человека в «Мертвых душах», чтобы затем (вот уж воистину из Савла в Павла) догадаться выйти на приличествующую русскому кинорежиссеру дорогу. А многие настолько обрадовались этому преображению, этому возвращению блудного сына, что рядовой и натужный его «Остров» с восторгом приняли за шедевр. Можно ли представить, чтобы подобную «кувырколлегию» позволил бы себе Шукшин? Да и «кувырколлегию» Эльдара Рязанова Василий Макарович не позволил бы себе, до боли, до слез (и это в каждом его фильме) любя свой народ и понимая, что дешевками его, народ свой, кормить неприлично.

В. К.: Песни, музыка последнего двадцатилетия нашей жизни – тема особая. Вы правы: какое время, такие и песни. Очень верно! Настало время, которое, судя по всему, хороших песен родить не может. Эфир захламлен мусором. Это определение выдающегося русского композитора Тихона Николаевича Хренникова: мусор! И сплошь зарубежная музыка, зарубежные исполнители, зарубежные (англоамериканские в основном) тексты... Русскую песню и русскую музыку в России теперь почти невозможно услышать – вот до чего мы дожили.

Могли бы хоть к Новому году в виде подарка подготовить несколько русских телепрограмм? Нет, где там! На экране – «Новый год в стиле “АВВА”». Популярная шведская группа семидесятых годов, перепетая частично на том же английском, а частично на русском. «Мани, мани, мани», то есть «Деньги, деньги, деньги»: у кого, объясняют, мани есть в кармане, тот и счастлив, а мани эти самые – «у крутых парней».

Знаете, мудрые китайцы говорят так: если в стране громко звучит чужая музыка, эта страна близка к гибели. А у нас чужая музыка, и почти только она, заглушая все, звучит уже не один год. Что вы можете на это сказать?

В. Р.: Мы с вами не в первый раз заводим этот разговор. И напоминаем, должно быть, дятлов, которые долбят одно по одному, одно по одному. Но что же делать? Ведь мы не можем не замечать, с каким рвением исчужают Россию, и она отчаливает от родных берегов все дальше. У Есенина «Отчалившая Русь», а мы и Русью уже не можем назвать свою Родину – и совсем не потому, что мы многонациональная страна, а потому, что почти ничего от Руси не остается.

Последний Новый год в этом смысле не явился исключением – он был особенно откровенным подтверждением этого правила, этого убывания.

Но ведь «диверсанты» и не скрывают себя, не находят нужным прятаться, вся их кипучая деятельность на виду. Они окопались на радио, TV, в министерствах, запаслись охранными грамотами от власти и закона. Сегодня «АВВА» с «мани, мани», завтра этот «кукиш в кармане», который выдается за необходимую нам духовную пищу, станет еще безобразней. Ведь отныне это не разовые исполнения, это декада, а завтра будет месячник, чтобы наверняка подхватили, как жвачку, и терзали до умопомрачения.

Думаю, вы согласитесь, что наиболее сплоченным наш народ был в военные и первые послевоенные годы. Может быть, после войны особенно сплоченным. Полуголодный,

полунищий, сильно поредевший числом, физически надсаженный, но с победным настроением и верой в будущее, он творил чудеса и в короткое время вернул страну к полноценной жизни. Говорят: из-под палки. Нет, господа хорошие, из-под палки такое не сделаешь. Разрушения Ельцина и его камарильи в сравнении с гитлеровскими были, что ни говорите, по числу руин меньше, но отчего же свободный народ до сих пор не справился с ними? Да оттого, прежде всего, что из родной страны устроили чужбину и продолжают исчужать до сих пор, повнезели издевательские порядки, отняли работу. И отняли надежду. Народ помнил: преступников вермахта постиг Нюрнбергский трибунал и виселица, а преступники «реформ» получили пожизненное право издеваться над своими жертвами.

Вот и с песней... До чего же верные были слова: «Нам песня строить и жить помогает». И помогала, еще как помогала! Удесятерила силы, очищала и возносила душу. Так и считалось: песня – душа народа. Но если сегодняшние «мани, мани» считать за душу, значит, народа уже нет. В лучшем случае: близко к тому, чтобы ему не быть, а будет так истово зазываемое гражданское общество, а мы все станем детьми конституции. Но тогда и России, как исконному нашему материнскому организму, ничего не останется, как лечь в могилу рядом с нашими предками.

Или превратиться в пустой звук.

Куда переезжаем?

В. К.: Однако нам с вами перед этим Новым годом крупно повезло. Я имею в виду спектакль «Бедность не порок», который мы вместе посмотрели в филиале Малого театра. Счастье, не правда ли?

В. Р.: Спектакль, поставленный младшим Коршуновым, дивный, красивый, праздничный, веселый и, как одно целое, я бы сказал, обаятельный, в который нельзя

не влюбиться, нельзя не подчиниться действию от начала до конца. Это торжество таланта, вкуса и справедливости, и где там Островский, где Малый в режиссуре и игре, где музыка Свиридова и где плясовая и песенная феерия народных сцен, не понять – все слилось в какое-то общее величие национального духа.

Я поднялся после спектакля со слезами на глазах и думал: что это – прощание или возвращение? Малому возвращаться не понадобилось, он всегда оставался собой, но вот если бы это было общее направление и настроение театра, если бы стала меняться общая атмосфера – мы бы, глядишь, и выздоровели.

В. К.: Да, Малый театр сейчас – один из оплотов русской культуры, потому и подвергается нападкам тех, кому эта культура ненавистна. С большой тревогой говорит Юрий Мефодьевич Соломин об угрозе, которую несет предстоящая театральная реформа, по какой-то зловещей иронии судьбы она нависла как раз к 250-летию русского государственного театра. Это было наше величайшее культурное достояние! И вот теперь его хотят разрушить – государство, судя по всему, намерено сбросить с себя заботу о театре, как и о многом другом. А может ли истинная, не коммерческая культура существовать без государственной поддержки? Да и какое тогда это государство, если ему настоящая культура не нужна?

В. Р.: А вот такое, что не нужна. Мы с вами, кажется, не в первый раз задаемся этим вопросом: что у нас за власть, что за государство? И кое-что, находившееся в тумане, начинаем различать. Государство у нас не бедное. В последнее время даже богатое. Кое-что из бешеных прибылей за нефть и газ перепадает и бедным. Очень немного. Кое-что перепадает богатым. Очень много, столько, что нам с вами, по узости кругозора, не представить. Немалые деньги вроде бы принялось наконец-то государство вкладывать в образование, медицину, а также в культуру и отдых.

И вот тут – стоп! Разве не слышим мы, пытаясь представить масштабы качественных перемен жизни и допытываясь до сути, разве не слышим, как на наши вопросы какой-то ловкий и чрезвычайно озабоченный голос торопливо отвечает: «Мы переезжаем! Мы переезжаем! Нам некогда». Куда переезжаем, зачем? На поверхности жизни никаких серьезных перемещений не заметно. Что это значит?

И все-таки да, переезжаем. И деньги выделяются именно на переезд. Из культуры переезжаем в развлекательность, из духовных глубин – на отмели, из отечественной школы на рысях единого госэкзамена – в безграмотность и поверхностную натасканность, из народного тела... Миллион молодых российских женщин на ловлю счастья и мужей сбежали за годы нашей открытости в США и еще миллион – в Канаду, а сколько их выбросилось в другие земли и континенты – не перечить. Переезжаем. Из тысячелетней непохожести и нравственной уютности переезжаем в мир, где все на одно лицо, а человек человеку не друг, товарищ и брат, а только деловой компаньон. Как, к примеру, у владельцев «Норникеля». После скандала на французском курорте срочно была осуществлена рекогносцировка: Прохоров 25 процентов акций «Норникеля» продал Потанину, зато пополнил свои акции в «Интерросе». Партнеры мирового уровня.

Мы переезжаем. Из России переезжаем во Вселенную.

Вот почему у государства нашего нет денег на Малый театр и на МХАТ Татьяны Дорониной, которые не торопятся переезжать. То ли дело Большой театр... Поручили судьбу Большого опытному Швидкому, сменили руководство и репертуар, с объятиями приняли «звезду» литературного непотребства В. Сорокина и отрепетировали его шедевр «Дети Розенталя». И одним махом все художественные и финансовые проблемы решили. Правда, почему-то даже у Ростроповича с Вишневецкой выскочивший столь стреми-

тельно из своей шкуры Большой вызвал протест, но это дело десятое. Процесс пошел.

Мне недавно показали газету со статьей о том, как действует принятый с начала этого года закон о продаже памятников культуры в частные руки. Лучше бы с этим законом в одно время не жить – настолько он разбойничий и омерзительный, так что страшная тень от него падает на всех нас. Как у Достоевского: «Все виноваты, все виноваты, и если бы все в этом убедились».

Участь приговоренного этим законом к смерти испытывает сейчас здание некогда знаменитого театра Корша, где многие годы в советское время находился филиал МХАТ имени М. Горького. Прежде я хорошо знал эту сцену. Здесь в конце 70-х – начале 80-х минувшего столетия были поставлены режиссером В. Н. Богомоловым один за другим три спектакля по моим повестям «Последний срок», «Живи и помни» и «Деньги для Марии». Тогда МХАТ был единым и неделимым. А во времена раздела здание это определили как Театр наций, директором утвердили Михаила Чигиря. В этой службе они и прожили двадцать лет.

И вдруг совсем неожиданно Чигирь получает приказ, подписанный Швыдким, о его увольнении и назначении на эту должность Евгения Миронова. Того самого, талантливого и знаменитого. Того, кто недавно был организатором авангардного театрального фестиваля под названием «Территория», где, как детализирует газета, «на сцене обнажались гениталии, а актеры мочились на глазах у зрителей». Занятно, конечно, и «смотрибельно». Но мало кто сомневается, что даже со столь широкими и впечатляющими публику талантами Миронову в театре не хозяйничать. Будущее этого здания, красавца-памятника, предопределено почти с такой же точностью, как вчерашний день. Его закроют на ремонт, затем Миронову, сыгравшему свою роль, дадут отступную, и никто никогда больше ни о Корше, ни о МХАТе, ни о Театре наций во

вновь представшем здании отеля или развлекательного центра не услышит.

Вот это и есть «переезжаем» по-шведски.

На словах и на деле

В. К.: Был незадолго до Нового года эпизод, который кого-то мог даже обнадежить. Путин встретился с коллективом прославленного ансамбля «Березка», сообщил о выделении нового репетиционного зала, о других приятных для них новостях. Вроде бы замечательно, вспомнил руководитель страны, какой изумительный есть национальный творческий коллектив. Но почему же, спрашивается, не предоставили этому и другим столь же прославленным русским коллективам возможность показать на телеэкране свое искусство – в новогоднюю ночь, в новогодние дни и такие продолжительные нынче новогодне-рождественские каникулы? Вот бы вместо «АВВА»-то! Еще живы, к счастью, хор имени Пятницкого, оркестр имени Осипова, хор имени Свешникова, ансамбль имени Александрова, хор под управлением Николая Кутузова... Они и некоторые другие выдающиеся национальные коллективы, несмотря на труднейшие условия, живут и вопреки всему стараются работать – но кто и когда их слышит, видит, радуется их искусству?

Словом, пока эпизод с «Березкой» я склонен воспринимать в основном как показуху. А вы?

В. Р.: А в самом деле – почему? Почему легендарную «Березку», славу и визитную карточку русского искусства во всем мире, не показать в новогоднюю или Рождественскую ночь на Родине? Не порадовать телезрителя? Не успокоить его, что не все погублено торгом? Если сам президент оценил – какие еще рекомендации нужны?!

Видимо, все-таки нужны. И они не совпали. Я в такую возможность и сам плохо верю, но не считать же, что наш

президент, будучи в прекрасной памяти, какую он постоянно демонстрирует, похвалил, оценил, даже помог и тут же забыл? Не похоже на него.

Если богатые тоже плачут, то почему не допустить, что и высшие должностные лица могут быть зависимы от еще более высших сил. И что не существует где-нибудь неподалеку от главы государства (или даже подалеку) какой-нибудь Александр Николаевич Яковлев, хитрый, длиннорукий и замаскированный, умело рассадивший по наиболее важным агитпроповским седлам, как коротичей, своих ребят, способных контролировать все и вся... На недавнюю встречу с президентом получили аккредитацию 1232 журналиста из более тысячи агентств, программ и изданий. Кого там только не было! Не было оппозиционных газет, в том числе и вашей. И ни на одной из шести встреч не было. Если власть сильна, так чего же ей бояться? Если новая оглашенная культура победила, так почему на дух не принимают коллективы, о которых вы сейчас упомянули, и не пускают их ни на сцену, ни на экран?

Откровенно говоря, плохо верится, чтобы огромное и подлое дело подмены великой российской культуры и великого, признанного всем миром российского образования могли сотворить Швыдкой и Фурсенко. Они ретивые исполнители – не больше. Их, как и заведено в темных делах, попользуют, наградят и выставят. Их рвение неприлично, но кого искали, тех и нашли. Главные же фигуры, похоже, остаются в тени. Там и останутся, «посвящение» народа в эти тайны или вообще никогда не произойдет, или произойдет много позже.

В. К.: Мы с вами (и не только мы, конечно!) буквально кричим об уничтожении национальной культуры в стране. Слышит ли это власть? Иногда мне кажется, что где-то во властных структурах – в президентской администрации или каком-то подразделении правительства – отмечают то, что сказано Валентином Распутиным, и придумыва-

ют, каким образом на это прореагировать. Увы, дальше слов реакция не очень идет! Могут, в конце концов, даже так называемый национальный проект по культуре объявить, иногда об этом уже поговаривают. Но хватит бы говорить – пора делать. Если реально это заботит власть. Только заботит ли? Между тем вот вам некоторые характерные предновогодние итоги, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения: «Писатель года» у нас – Дарья Донцова, «Музыкант года» – Дима Билан. От Шаляпина и Лемешева – до безголосого Димы Билана! Каково? И что ждет нас завтра, если эта деградация не будет остановлена?

В. Р.: Мы-то кричим об уничтожении нашей культуры – да кто нас слышит? Такие же, как мы, с той же болью и с тем же нежеланием сдаваться на милость победителей.

Хочу снова вернуться к встрече президента с журналистами, отзвуки которой слышны до сих пор. Я смотрел ее от начала до конца. Продолжалась она, как сообщали хронографы, 3 часа 32 минуты 20 секунд. Президент ответил на 69 вопросов и в очередной раз превзошел прежние рекорды продолжительности и масштабности разговора со СМИ.

Но заметили ли вы, заметили ли другие, государственные люди и самые обыкновенные граждане, что за всю эту долгую встречу ни разу не прозвучало слово «культура»? Даже случайно. Ни единой секунды не было ей уделено! О чем угодно спрашивали труженики пера и общественного мнения, о важном и пустом, наболевшем и надуманном, но поинтересоваться, что у нас происходит с культурой и какая ей предназначена судьба, было некому. словно все решено окончательно и затрагивать в любом виде эту проблему неприлично.

Этим и объясняется, почему донцовы и биланы играют теперь первую скрипку в табели о талантах. Они, впрочем, уже давно ее играют, но до последнего времени

на святыни русского искусства покушаться не дерзали. У каждой стороны были свои авторитеты и свои боги. Но вот новость из Михайловского, где под началом Андрея Битова состоялось присуждение Пушкинских премий. И первыми номерами названы небезызвестный В. Пецух (Пушкин в гробу должен перевернуться от этого вчиненного ему «наследничка») и неизвестный Дм. Новиков из Петрозаводска. Ничего не могу сказать о последнем, может быть, и достоин, но тенденция, как говорят теперь по любому поводу, тенденция... И на имени Пушкина сыграть междусобойчик!

Русский мир или «русские центры»?

В. К.: Приходится говорить по меньшей мере о крайней противоречивости заявлений по поводу культуры, прозвучавших за последнее время на высшем уровне, и почти всего, что в этой сфере продолжает делаться. Если послушать заявления президента в конце минувшего года на встрече с творческой интеллигенцией в Санкт-Петербурге и на заседании Госсовета в Кремле, то здесь и напоминание, что 2007 год объявлен Годом русского языка, и призывы искать новые адекватные формы исторической общности людей, почаще употреблять словосочетание «Русский мир» и т.п. Говорилось даже о необходимости помощи на федеральном уровне еще оставшимся (сколько их осталось-то?!) сельским клубам и домам культуры.

Но разве кто-нибудь ощутил, смотря то же самое телевидение в наступившем году, что у нас начался Год русского языка? И разве кто-то верит, что сельские клубы и дома культуры реально начнут возрождаться? Ведь если даже деньги из бюджета на поддержку русского слова и русского мира будут выделены, то через ведомство Швыдкого кому они достанутся? Он, именно он, Михаил Ефимович, по-прежнему остается основным распорядителем

кредитов в сфере культуры! И, следовательно, на какую культуру они пойдут?

В. Р.: Одно могу сказать: что это за Год русского языка и где и каким образом он будет проводиться, если в России учебные часы на русский язык (как и на отечественную литературу и историю) сокращены до того минимума, который недостаточен и для митрофанушек? Школа уже не первый год выпускает неучей. Садовничий, ректор МГУ, вынужден в своем университете открывать специальные курсы русского языка, чтобы хоть частью залатать прорехи школьного обучения. Но Садовничий, не подчинившись, слава Богу, принятому Думой и Советом федерации закону о едином госэкзамене, хоть знает по своему экзамену, что за «контингент» к нему идет, а ведь подавляющее число вузов, находящихся на послушании у Министерства образования, этого знать не могут и хватаются потом за голову.

А скоро и государству нашему придется хвататься за голову. Оно могло бы уже и сегодня показать этот жест отчаяния, но пока сохраняет выдержку.

Подозреваю, что вся основная работа по укреплению русского языка пройдет за пределами страны. Наши интересы там. С падением России произошло и крушение русского языка как в дальнем, так и в ближнем зарубежье. Его не смогли остановить ни Толстой, ни Достоевский, ни Пушкин. Кажется, только мудрые китайцы, умея готовить будущее, продолжали выпускать и классику нашу, и современную литературу, и вместе с английским учить и русский. И не прогадали. Китайцам русский нужен был для внешних связей с Россией и для внутреннего духовного обогащения, которое лучшая русская литература дает в избытке.

Мы же продолжаем прогадывать. Экспортируя теперь русский вместе с появившейся у нас продукцией за свои границы и низводя его в России нашим образовани-

ем до уровня только разговорного, почти диалектного, до примитива обедняя его в прессе и новейшей литературе, даже издеваясь над ним, мы и не заметим (а главное – язык наш не заметит), как пройдет посвященный ему год. Без всяких изменений, а может быть, с изменениями к худшему, как оно и направилося уже лет двадцать.

Приятно, конечно, слышать из уст президента о Русском мире. Однако верится с трудом. Уж если «цензура» не дала этим словам первого лица государства выйти за стены той аудитории, где они были произнесены, так чего же и ждать?.. Случайно, что ли, это понятие («Русский мир») было, что называется, на лету подхвачено вездесущим Швыдким и кастрировано в «русские центры». С торопливым разъяснением: «Поймите, это не резервации...» Слово произнесено: именно резервации! Зачем еще в России, на своей земле и под своим небом устраивать рядом с азербайджанскими, армянскими, грузинскими и таджикскими центрами теперь и русские? Да затем, чтобы уравнивать нас и перевести русских в России на положение диаспоры.

Таких откровений, кажется, еще не бывало, и нигде в мире высокому государственному чиновнику они были бы не позволены. У нас все можно.

И деньги на «русские центры», можно не сомневаться, отыщутся скоренько.

В. К.: А самое главное – все эти заявления президента о культуре, по форме вроде бы и правильные, звучат уже после того, как в Думе приняты и им же, президентом, подписаны поистине разрушительные законы – об автономных учреждениях и о продаже памятников культуры в частные руки. Против этих законов категорически выступала КПРФ, выступали все, кто действительно озабочен судьбой нашей культуры, науки, образования, социальной защиты. Потому что превращение организаций этой сферы в так называемые автономные учреждения

ведет к самым губительным для них последствиям! Прежде всего это дальнейшее вытеснение бюджетных, то есть бесплатных для граждан, социальных услуг платными, дальнейшая коммерциализация культуры, возможность приватизации этих учреждений и т.д. То есть государство фактически освобождает себя от заботы о настоящей культуре. И что мы будем иметь в результате?

В. Р.: Государство освобождает себя от заботы и о культуре, и об образовании. Добрались до высшей школы. Закон об «автономных учреждениях» (АУ), прежде всего, направлен против нее. Автономные – значит обреченные на частное существование и приватизацию. Отчуждение средней и высшей школы от государства, равно как и отчуждение культуры, продолжается. С одновременным принятием трех законов – о едином госэкзамене, об автономных учреждениях и о продаже памятников культуры в частные руки – государство решительно выходит на оперативный простор безответственности и напоминает ударившегося в бег от своей семьи папашу.

Стыдно за Думу... Она, должно быть, имела какой-то интерес, чтобы подмахнуть эти законы. Неловко и за сенаторов, равнодушно утвердивших их. А ведь это те самые депутаты-парламентарии, которые издевались над советским Верховным советом, где якобы без размышлений – чего изволите? – вздымались руки. Но там корысти не было, и не за дурное голосовали советские, по крайней мере не за дурное во внутренней политике. А вы? Вы чьи интересы защищаете, бегая по рядам и нажимая кнопки? Странно и неловко наблюдать, как обсуждение и голосование по важнейшим вопросам нашего бытия, нашего сегодня и завтра, проходят при полупустых залах.

Ну что же делать... Как сказал бы Иосиф Виссарионович, других парламентариев у нас нет, надо работать с этими.

И не ошибиться в следующих.

Февраль 2007 г.

КОГДА ОТРИНУТЫ МОРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Что же это значит — жить хорошо?

О чувстве добра и взаимопомощи

Виктор Кожмяко: Валентин Григорьевич, минувший год для вас прошел под знаком вашего юбилея. Семидесятилетие – дата существенная. Тут хочешь не хочешь, а обратишься, как говорят, мысленным взором на прошедшее. В своих выступлениях вы говорили о чувстве добра, которое вынесли из военного детства и пронесли через многие годы. О том чувстве, которое в труднейшее время помогало жить нашим людям.

И как-то у вас вырвалось: «Разве можно сравнить с тем, что происходит сейчас?» И дальше: «Все доброе куда-то улетело». Причем из того, что вы говорили, следовало: относится эта утрата не только к быту деревни, но и к писательским отношениям: «Как мы радовались успехам друг друга! Мне кажется, нынче у писателей нет такой радости...» Хотелось бы продолжить эту тему – уж очень важна она, по-моему.

Валентин Распутин: Так и получается: о самых тяжелых временах самые добрые воспоминания. В военные и первые послевоенные годы голод свирепствовал и в деревне.

Отчего, казалось бы? Кругом тайга, там ягоды, грибы, орехи, дикий зверь, в Ангаре рыба, в стайке корова, в курятнике куры, свой огород. Но мужиков нет, старики и бабы в плотной, без выходных и проходных, колхозной работе, на корову когда удавалось накосить, а когда и не удавалось. И к весне поджимало так, что едва ноги таска-

ли. Ели крапиву, лебеду, выковыривали остатки мерзлой картошки на колхозном поле.

Но деревня есть деревня. Ничего не таили друг от друга, да и невозможно было утаить. Если многодетная семья окончательно впадала в нищенство, делились последним.

Но в таких случаях и колхоз приходил на выручку. Так, миром, и спасались.

Все миром: и заготавливали дрова на зиму, и били новую русскую печь взамен прохудившейся, и поднимали завалившуюся избенку. Три обозначения было для такой сплоченности: мир, община и колхоз – и они друг с другом нисколько не спорили.

В 1948 году из своей Аталанки, где была четырехлетка, в пятый класс я поехал в райцентр, в Усть-Уду. И дважды за шесть лет учебы квартировал у своих одноклассников. Первая семья по тем временам могла считаться зажиточной, хозяин ее работал в комендатуре (в наших краях тогда было немало ссыльных литовцев), а вторая – едва сводила концы с концами. Но и там, и там мне не позволяли со своими скудными припасами питаться отдельно. За стол садились вместе. Что выставлялось – делилось поровну, и ни разу никто меня за кусок хлеба не укорил.

Разве такое забудешь?

И этот порядок взаимовыручки и общинности, гостеприимства и доверчивости поддерживался в деревне долго, вплоть до 80-х годов. Особенно в деревне со скромным достатком. Там же, где место колхозов заняли леспромхозы и пришла зажиточность, пришли со временем и скрытность, обособленность и, конечно, пьянство. Свою повесть «Пожар» я написал в 1985 году, уже и тогда картина была безрадостной.

Справедливость для нас превыше всего

В. К.: Получается, что бедность в каком-то смысле предпочтительнее богатства. И вы (так же, как Виктор Сер-

геевич Розов!) заговорили о преимуществе не богатства, а достатка: «Зачем человеку нужно богатство, если существует достаток? Зачем человеку лишнее?» Но, кроме богатства материального, есть еще и духовное богатство (или духовная бедность, нищета), о чем нынче совсем не говорится. Входит ли это, по-вашему, в понятие «качество жизни», которым сегодня всюю бряцают? Иметь все (в материальном смысле), но жить бессовестно – это качественная жизнь?

Хочу обратить ваше внимание на расхожий оборот, который и у вас прозвучал: «Жить получше». Понятие «хорошо жить» у нас ныне действительно сводится лишь к «жирному куску». Кто его урвал, тот, дескать, и живет хорошо.

Но разве это так? Разве не точнее сказать наоборот, что человек плохо живет, если этот его кусок – ворованный, если у него отсутствует совесть, если он идет на все ради такой «хорошей жизни»? И не потому ли произошло у нас явное смещение понятий, что нравственный закон в нынешней нашей жизни фактически отменен?

В. Р.: Это, знаете ли, как в сообщающихся сосудах: прибывает в одном – убывает в другом. Человек, прельстившийся материальными благами, как правило, теряет духовные. Всегда найдутся ему примеры для дальнейших соблазнов: у счастливого человека машина последней марки, и даже не одна; у него не дом, а дворец; жена его шикает в таких нарядах, какие простым смертным и не снятся. И так далее. Вставший на этот путь, что называется, закладывает душу дьяволу: деньги его не могут быть честными, приемы жизни далеки от порядочности. И все, это уже не гражданин и не человек в ряду других, а небожитель. Россия перестает для него быть родиной и превращается в сверхприбыльную скважину, независимо от того, как, каким образом и какой хваткой достаются бешеные капиталы. Ни у одного из наших олигархов деньги не могут быть праведными, а этих олигархов за годы президентства Путина прибавилось многократно.

Почему мы говорим (говорим, конечно, для простых смертных) о преимуществе достатка? Потому что эта мера есть и материальная, и духовная. Человек, живущий в достатке, свободен. Он не ворует, как богатый, и ни перед кем не пресмыкается, как нищий. Совесть его спокойна. На заграничные он не молится и на Родину свою как на временное пристанище с презрением не смотрит. Дети с малолетства в домашних трудах и заботах и не вырастают ни белоручками, ни шалопаями.

Это, быть может, слишком благостная картина, потому что в больном обществе все болит – и где густо, и где пусто, и где в меру. Никуда не деться от чужебесия на ТВ, от школы, в которой скоро отучатся читать и писать на родном языке, от безобразных нравов. И все же семьи со средним достатком, по-моему, справляются со всем этим лучше. Если детям внушают не страсть к наживе, а честь и совесть. Внушают прежде всего примером собственной жизни.

Красиво жить не запретишь – это верно, но как раз в этом-то образе жизни и есть возможность сохранить красоту истинную.

В. К.: Недавно мне выпало счастье беседовать с человеком, которого вы знаете уже много лет и, насколько мне известно, очень уважаете. Это Илья Алексеевич Сумароков, генеральный директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс» в родной вашей Иркутской области. Выдающийся он, конечно, хозяйственник (и, замечу, многолетний член бюро Иркутского обкома КПРФ). Но на меня огромное впечатление произвели не только экономические достижения хозяйства, которым руководит директор-коммунист. Может быть, еще больше восхитили отношения людей в этом коллективе.

Да и экономические успехи во многом объясняются человеческими отношениями, которые здесь утверждены. А главное в том, что сохранено в полном смысле слова коллективное хозяйство, что коллективная собственность не

«схвачена» директором, как произошло почти повсеместно, а принадлежит всему коллективу.

Собственность, собственник... Эти слова звучат теперь зачастую зловеще. Из-за этого и раздоры, и взаимная ненависть, и кровь. У Сумарокова в кооперативе совсем иначе. Здесь принято общее решение: собственность хозяйства остается неделимой, то есть никто присвоить ее не может. И директор, как все другие, получает зарплату, которую назначает ему коллектив. Это ли не пример человеческой справедливости?

В. Р.: Я это хозяйство и его хозяина знаю хорошо. С Ильей Алексеевичем мы вместе были народными депутатами СССР, сидели на съездах рядом и голосовали, голосовали, голосовали, пытаюсь противостоять межрегиональной группе, которая творила разрушительное дело и беспардонно, гадко, как последняя шпана, обливала грязью государственныхников. Это она вместе с подобными ей среди российских депутатов привела к власти Ельцина. Столь дурного и мстительного царя Россия никогда не видывала. В месяцы огромная и богатейшая страна превратилась в развалины. Совхозы и колхозы разогнали, заводы замерли, у народа отняли сбережения. Грабеж всего и вся достиг небывалого размаха. Под видом приватизации будущие олигархи в одночасье присвоили богатейшие месторождения и крупнейшие предприятия, чья продукция имела спрос на мировом рынке. Обнищавшее население или затаилось, или бросилось уже по мелочи подбирать все, что плохо лежит.

Почему не удержались от растащиловки? От безвластия, вседозволенности, анархии и той озлобленности к прошлому России, которую выказали новые правители. Ни стыд, ни честь и совесть, ни благоразумие, ни святость – ничто не удержалось в этом окаянстве. И во все последующие годы и по сей день из всех каналов и распоряжений нас отучали и отучают от своих ценностей и традиций. На инаковость русского человека, на непохожесть его на евро-

пейца стали смотреть как на врожденную дурную болезнь, требующую лечения.

Отсюда и печальные результаты.

У Ильи Алексеевича Сумарокова в хозяйстве его удержалось все, что работало и приносило благо людям. Ему пытались мешать, и неоднократно, а он в ответ в самые клятые годы пристроил новые цеха и модернизировал производство. И хотя понимал, что в отдельно взятом хозяйстве при общем разгроме сохранить мир и благополучие непросто, но сохранил, потому что был уважаем коллективом, как отец родной.

Я согласен с вами: такие, как Илья Алексеевич, всему обществу пример. В эту бы сторону перестраивать у нас и управление, и все отношения между людьми.

В. К.: Илья Алексеевич Сумароков в беседе нашей немало говорил о том, сколь важны справедливые отношения, будь то отдельное хозяйство или общество в целом. Вспоминал, как в советское время было. Разумеется, не все было идеальным, но он подчеркнул главное, с чем нельзя не согласиться: была государственная установка на развитие отношений в направлении как можно большей справедливости.

За последние годы очень часто приходилось слышать, что завистлив, дескать, русский человек, потому, мол, у нас в стране, в отличие от других, дела и не ладятся. Про зависть не зря твердят. Тут цель понятная: оберечь, затвердить, окончательно узаконить тех, кто «схватил». Чтобы оставшиеся ни с чем даже и думать не могли о каком-либо изменении положения. Вот им и внушают: не завидуйте!

Я помню, что на прошлогоднем Всемирном Русском народном соборе, говоря о резком контрасте богатства и бедности, митрополит Кирилл призвал не наступать еще раз на одни и те же грабли. Он имел в виду, что революцию в свое время породила все-таки не зависть, как принято было утверждать в последние годы, а чувство несправед-

ливости. Мне такое признание представляется знаменательным. А как вы думаете – примет ли окончательно наш народ ту несправедливость, которая ему сейчас навязана? Смирится ли с ней?

В. Р.: Он никогда с этим не смирится. Крепостное право на Руси просуществовало сотни лет, в 1861 году его отменили, но в 1905-м взбунтовавшиеся крестьяне жгли помещичьи усадьбы. Сейчас народ едва ли решится на массовый бунт, да и нынешние «помещики» оградилась неприступными стенами и их оберегают целые армии наемников. К ним не подступиться. Но обида на несправедливость перешла на заведенные властью новые порядки. Миллионы и миллионы чувствуют себя свободными от выполнения гражданских обязанностей. Они не забудут, что уворованные у народа бешеные богатства господ Березовский и Гусинский (да и не только они) пустили на развращение и унижение его же, народа, и это унижение продолжается до сих пор. Абрамович употреблением своих немереных капиталов продолжает удивлять весь мир, а народ сделал из его имени ругательство. Как и из имени Чубайса. От Москвы и до самых окраин «денежные мешки», не считаясь с законами, делают что хотят. Мешает им исторический памятник – сожгут, а на его месте водрузят свой аляповатый дворец; встанет кто на дороге со своими законами о справедливости – уберут.

Не замечают всего этого наши граждане, которые живут в «свободной» России? Для кого «свободной»? И разве пепел Клааса не стучит в их сердца, когда сквозь эту демонстрацию «что хочу, то и ворочу» видят они заброшенные поля, погибшие деревни, руины былого хозяйствования?

Вырваться из оккупации!

В. К.: А еще обратил я внимание в юбилейном вашем выступлении на мысль о сельской школе, откуда выходи-

ли в недавние времена почти все наши великие ученые, писатели, полководцы. Состояние этой школы, ее будущее очень тревожит.

Я получил недавно письмо из моей родной школы, что в селе Можары Рязанской области. Учительница Людмила Викторовна Кузнецова (великолепная учительница) пишет: «Что-то мне жутковато от интернета. У нас в школе его уже подключили. Я иногда заглядываю в поисках новых идей. Но, видно, человек я не совсем современный: пока все, что там нашла, какое-то примитивное. Даже чужое».

Словом, компьютеризация идет, но нет при этом заботы о содержании, которое принесут компьютеры в школу. А вместе с тем слышал, что собираются отменять выпускной экзамен по литературе – сочинение. Казалось бы, прошел Год русского языка, и вот сюрприз...

В. Р.: Русскую деревню добивают. Она немало пережила во время коллективизации, затем война, затем в 80-е годы навязанная учеными объединительная кампания в агрогородки, когда тысячи деревень сорвали со своего многовекового дна и принялись укрупнять – не город и не деревня, а местожительство. Не забудем еще и стройки коммунизма, от которых опять-таки страдала деревня. А в 90-е годы, когда выковыривали этот коммунизм, всем бедам беда – расколлективизация, и спасайся кто как может. По Ангаре, по Лене, Енисею сотни заброшенных и вымерших деревень – будто Мамай прошел. Думаю, не лучше и в Западной Сибири, и не только в Сибири.

В войну, в самые тяжкие времена, если оставалось в деревне хоть пять учеников, школа работала. Теперь, если «некомплект» – закрывают, предлагают возить ребятишек за многие километры на автобусах. А автобусы где есть, а где нет, дороги где есть, а где нет. Но даже и в комплектных школах нередко нет комплекта учителей. Как в моей родной деревне на Ангаре: много лет нет преподавателя иностранного языка, а теперь еще не стало и преподавателя

геометрии. Распределения в педвузах не существует, а кому охота добровольно ехать в глухую, лежащую посреди бездорожья, умирающую деревню?!

Нынешний нацпроект «Образование» предусматривает прежде всего компьютеризацию. Компьютер – штука вроде бы всемогущая, магическая, но грамоте не научит и самостоятельному мышлению он не помощник. Возле него легко, все без усилий постигая и на каждый вопрос находя готовый ответ, – легко ничему не научиться. Для вузов сейчас это беда: приходят безграмотные абитуриенты, и их приходится брать, потому что грамотных все меньше. Но в безграмотности надо винить не столько компьютеры и интернет, сколько негодную реформу школы, на нее, на безграмотность, похоже, и нацеленную, призванную готовить митрофанушек. Серьезные ученые все чаще называют эту реформу образования разрушением образования. Но разрушается не только образование – разрушаются культура, нравственность, законы общежития.

Меня потряс недавний случай в городе Кольчугино Владимирской области.

Четверо лоботрясов-школьников избили до полусмерти своего товарища и живьем сожгли его под пламенем священного Вечного огня...

Может быть, хватит отупляющих реформ?

Да, только миновал Год русского языка, а часы на русский в школе продолжают воровато уменьшать, притом в младших классах, где они особенно нужны. А на иностранные языки – прибавлять. Месячная зарплата преподавателей иностранного в московских школах доходит до 50 тысяч рублей.

Не спрашивайте, сколько получают преподаватели русского. Столько, сколько полагается за третьестепенный предмет, который то ли пригодится, то ли нет.

В. К.: В развитие темы приведу еще одно письмо. Тоже от моего земляка с Рязанщины. Вот что пишет рязанский

писатель Александр Николаевич Потапов: «Помнится, в 1988 году, когда в Рязани проходил выездной пленум Союза писателей СССР, Валентин Григорьевич по моей просьбе подписал книгу “Уроки французского” для моей дочки Ани, которой в ту пору и трех лет не было, с пожеланием “расти и вырасти в счастливой стране”. Дочь-то выросла, сейчас учится на последнем курсе отделения журналистики Рязанского университета, а вот счастливой страны за это время не стало. Между прочим, на встрече с вами в РГУ она не присутствовала, а когда я дал ей прочесть отрывок из вашей беседы с В. Г. Распутиным, она, к моему удивлению, призналась, что тоже, как и другие студенты, не знает певца С. Я. Лемешева. Вот так-то!»

Горько. Русские студенты не знают великого русского певца, не слышали о многих и многих поистине великих деятелях родной культуры. Да и не удивительно, если телевидение, как верно пишет А. Н. Потапов, «совсем ошвыдковело», а по радио чаще всего песни звучат по-английски. У вас не возникает ощущения, что мы живем в оккупированной стране?

В. Р.: Я эти же слова об оккупации говорил три года назад на Всемирном Русском соборе. Чужие песни, чужие нравы, чужое образование, чужие приемы жизни. А если и остается что-то свое, то только в дозволенных нормах оккупационного режима.

С тех пор ничего не изменилось.

В конце января по телеканалу «Россия» был показан документальный фильм «Гибель империи. Византийский урок». Автор и ведущий – архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник Сретенского монастыря в Москве. Появление этого фильма именно сейчас настолько неожиданно, но и необходимо, будто заговорила сама почва.

Речь в фильме о могущественной Византии, у которой мы переняли православие, о ее падении и исчезновении. Вклад Византии в мировую цивилизацию огромен, ее бо-

гатства были немереными, рядом с нею европейские народы считались варварами. Она умела оправиться и от крестовых походов с Запада, и от собственных невзгод. Червь, подточивший и сокрушивший ее, долгое время считался настолько безопасным, что ему не придавали в Византии значения, а когда спохватились, было уже поздно. «Червь» этот в последние два десятилетия нам хорошо знаком, и называется он либеральными ценностями и свободами. Рекрутский набор в византийскую армию заменили наемной армией, появились в немалом числе иностранные предприниматели, собственные олигархи грабили народ и вывозили деньги в Европу. От православия потребовали потесниться, и в Византии появился экуменизм, позднее православие и вовсе отменили. Своя культура, свои ценности оказались лишними. Потерявший историческую перспективу народ впал в апатию, потерял интерес к своей судьбе. Кончилось тем, что в 1435 году турки без особого труда приступом взяли Константинополь, и Византия окончательно ушла в историю.

Разве не накладывается эта судьба на судьбу сегодняшней России?

Наши либералы после показа этого фильма пришли в неопишущую ярость. «Очень, очень грязный фильм», – нервно отозвался известный «перестройщик» Юрий Афанасьев. Почти все газеты этого толка не удержались от ругательств и обличений, и отнюдь не во имя истины, а во имя, точно святыни, своей либеральной неприкосновенности. Радио «Эхо Москвы» потребовало запретить фильм.

К чести канала «Россия», через полторы недели после первой демонстрации «Гибели империи» ее повторили и сразу же после показа устроили публичное обсуждение. Конечно, оценки фильма писателя Виктора Ерофеева и доктора исторических наук Натальи Нарочницкой и вместе с нею ученого Игоря Чичурова были прямо противоположными, но так хорошо видно было, где истина, а где касто-

вая солидарность. Очень хорошо ответил принимавший участие в дискуссии архимандрит Тихон на реплику, что нельзя в одну и ту же воду войти дважды. «Да, в одну и ту же воду, – парировал он, – дважды войти нельзя, но шлепнуться в одну и ту же лужу дважды можно».

*Нынешняя «элита»
опять ненавидит «плебеев»*

В. К.: Валентин Григорьевич, а какие письма вы получили в связи с юбилеем вашим?

В. Р.: Писем, телеграмм было много, и немалая их часть от людей незнакомых, словом, от читателей. В основном немолодых, помнящих мои книги с 70–80-х годов. Отозвались, конечно, и братья-писатели. На все поздравления откликнуться я не мог, но, разумеется, ответил школьникам и учителям, с которыми у меня переписка уже несколько лет, в том числе из города Муром Владимирской области и Бердска Новосибирской области. Вот там за ребят не надо беспокоиться: и пишут грамотно, и рассуждают интересно. И не так уж им страшен «серый волк» из Министерства образования. Опытный, с патристическими убеждения учитель и сочинения не отставит, и Крылова с Кольцовым не забудет. Много ли таких учителей, трудно сказать; судя по той грамотности, которую зачастую предъявляют поступающие в вузы, – немного, но как хотелось бы, чтобы они исполняли не только министерские указания, но и отечественные запросы.

В. К.: Знаете, не могу не коснуться одного факта, который буквально меня пронзил. В своей замечательной статье «Лейтенанты и маркитанты», опубликованной на страницах девятого номера «Нашего современника» за прошлый год, Станислав Куняев привел выдержки из недавно изданной переписки поэта Давида Самойлова с Лидией Корнеевной Чуковской.

Вот Чуковская сообщает Самойлову свое впечатление о романе «Живи и помни». Не понравился он ей – ладно, бывает. Но, смотрите, не только книга, а даже имя и фамилия ваши вызывают у критикессы раздражение, граничащее с презрением: «Книга столь же мучительно безвкусна, как сочетание имени с фамилией автора: изысканного имени с мужицкой фамилией. Он, видите ли, Valentin».

А Давид Самойлов соглашается: «Это литература “полународа”, часть вашего письма читал друзьям. Они в восторге».

В. Р.: Как же они ненавидят нас – мужичье из деревни, которое нарушает неписаный или даже предписанный закон: в деревне и оставаться и заниматься своим мужицким делом. Ненавидели Шолохова, Леонида Леонова после «Русского леса», Есенина, Шукшина, Василия Белова, доперестроечного Астафьева... Много кого, всех не перечесать. По их понятиям, окормлять Россию литературой и искусством могут только они, у них древняя традиция поучать и аттестовать, а в деревне откуда взяться талантам, таланты ведь не на пашне вырастают.

Да нет, други-недрузи, вырастают и на пашне. Среди величественной природы, древних традиций и народных песен, среди бесхитростной жизни. Так, по крайней мере, было.

Древняя поставляла России не только самобытных писателей, композиторов, исполнителей, но и во множестве ученых, военачальников, командиров производства, государственных деятелей. И, конечно, не у всех у них были имена, полагающиеся только мужикам.

Станислав Куняев (а ведь тоже «украденное» имя рядом с простоватой фамилией – оттого и бунтарь!) прав: это была каста неприкасаемых и самодовольных. Она породила нынешнюю «элиту», шумную, еще более самодовольную и мелкотравчатую. Но похоже, что и это ненадолго.

В. К.: У меня еще очень много вопросов к вам. Но пока, наверное, пора и честь знать. Спасибо. И самого доброго вам в наступившем 2008 году!

В. Р.: Спасибо, взаимно. Будем держаться за все лучшее, что сохранилось и сохраняется в России, и дальше.

Февраль 2008 г.

Свободу гангстера и насильника ограничивать не хотят

Уход и увод от контроля

В. К.: Разговор на этот раз, Валентин Григорьевич, придется начать с телевидения, о котором мы с вами неоднократно уже говорили. Да только, по-моему, лучше оно не стало. Хотя вот Дмитрий Медведев еще до своей инаугурации, посетив редакцию «Аргументов и фактов» в связи с тридцатилетием этого еженедельника, вдруг ошарашил многих своим заявлением: наше телевидение – одно из лучших в мире!

Не берусь судить, как говорится, за весь мир. Но то, что экран, который нам предоставлено лицезреть изо дня в день, вызывает возмущение очень большой части общества, – это факт. Медведеву, в частности, с гневом говорили об этом ветераны Сталинградской битвы, когда он прошлой зимой приезжал в Волгоград. Давно уже выдвигаются требования о создании общественного органа для нравственного контроля на телевидении, поскольку многое из его продукции наносит обществу огромный ущерб. И вот – такая демонстративно комплиментарная оценка избранного президента, перечеркивающая весьма серьезные претензии к телевидению, а значит, и снимающая вопрос о каком-либо общественном контроле над ним. Поскольку вы, как мне известно, ранее участвовали в обсуждении этого вопроса, что можете сказать?

В. Р.: Да, в середине марта в стенах Совета федерации состоялось обсуждение проекта закона об Общественном совете по телевидению. Было объяснено, что ему предпо-

лагается поручить надзор над ТВ, а создаваться он должен по типу Общественной палаты.

Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Жертвами российского телевидения за последние двадцать лет стали десятки и десятки миллионов граждан, и особенно детей, которых уже не вылечить и не перевоспитать. Убиение нравственное и духовное немногим лучше убийства физического, а по окончательным результатам даже и хуже. Ни в какой ни в Америке, ни в Европе нет столь грязного и растлевающего ТВ, как в России. Небольшие улучшения, которые появились в «Культуре» и на канале «Россия», общей картины почти не изменили, а реклама становится все более агрессивной и неприличной.

Почти полтора часа длилось в Совете федерации обсуждение предполагаемого закона о ТВ, и некому оказалось даже робкого слова сказать в защиту телевизионных деятелей. Представители всех трех основных религий, существующих в России, – и православной, и исламской, и иудейской, в голос говорили о нескончаемой пропаганде жестокости, пошлости, о многолетнем растлении молодежи.

Дело, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки. Но это был лишь первый вариант закона, первое знакомство с ним, и о каком-либо продвижении к цели говорить рано. Да и о каких сдвигах может идти речь, если (по проекту) «Общественный совет осуществляет анализ телевещательной политики организаций телевидения, содержания телевизионной продукции...». Это – с одной стороны. А с другой – «деятельность Общественного совета не может нарушать гарантированную Конституцией свободу массовой информации и исключает цензуру».

Да сколько угодно можно осуществлять анализ телеполитики, сколько угодно можно возмущаться ею, но если свободу гангстера и насильника ограничивать нельзя, а можно только деликатно увещевать его – да много ли будет пользы от этого совета?! И почему мы так боимся

слова «цензура», если нравственная цензура в открытом или прикрытом виде существует почти повсюду? А плоды нашей неприкосновенной свободы принесли и еще принесут огромные и тяжкие последствия. Это и безмерное бесстыдство, и дурные вкусы, и цинизм, и жестокость, и издевательство над святынями, и разбой, и многое-многое иное. Разве непонятно, откуда эта страшная волна похищений, изнасилований и убийств детей (14–16 тысяч несовершеннолетних и совсем малолетних испытывают эту судьбу в последнее время ежегодно)?

Конечно, тут не только телевидение повинно, но и Интернет, и подпольные диски, и навязанные обществом нравы. Но порождено это нравственное (да и физическое тоже) калечение человека, это страшное жертвоприношение детей прежде всего им, телевидением.

В. К.: Так считают очень многие, кому небезразлично происходящее в нашей стране и ее будущее. Кроме, конечно, самих теледеятелей. Вы не смотрели в конце апреля на «Первом канале» «Времена» Владимира Познера, посвященные как раз проблеме нравственного контроля на ТВ?

В. Р.: Не довелось.

В. К.: О, это была громкая и слаженная контратака против забрезжившей «угрозы»! Кстати, Юлий Гусман выдал тут формулу, фактически повторенную через несколько дней избранным президентом страны. Был даже еще более категоричен: оказывается, «наше» телевидение не одно из лучших, а просто-таки самое лучшее.

Что же касается какого-либо контроля, все представлявшие у Познера телевизионную сторону, включая и самого ведущего, были непоколебимо против. А возглавляющий уже не один срок Комитет Госдумы по информационной политике Валерий Комиссаров договорился в конечном счете вот до чего. Оказывается, никакого понятия «нравственное – безнравственное» вообще не должно существовать. Есть, как заявил Комиссаров, хорошие и пло-

хие передачи, а что там нравственно или безнравственно, это пусть судит Господь Бог.

В. Р.: А какие передачи считать хорошими, это, разумеется, только они сами определяют. И в будущем они же должны определять...

Кто спасет «Маяк»?²

В. К.: Между тем и на телевидении, и на радио мы становимся свидетелями таких чудовищных деформаций, от которых миллионам людей очень сильно не по себе. Однако кто-то считает, что это «не по себе» и есть хорошо. Например, вы слушаете радио «Маяк»?

В. Р.: Много лет.

В. К.: И как вам нравятся происшедшие здесь за последнее время перемены?

В. Р.: У меня такое впечатление, что «Маяк» захватили бесноватые. Пошлость, грубость, хихиканье и ржанье, неприличные потуги на юмор, полная распоясанность и бесстыдство. И это продолжается уже не один месяц. Одну пару сменяет другая, затем третья, четвертая... Словом, настоящая разлюли-малина.

Как известно, «Маяк» был создан более 40 лет назад как информационно-музыкальный канал и пользовался в СССР огромной популярностью. После ельцинского переворота он, конечно, утратил многие положительные черты. Но все же до недавнего времени здесь можно было услышать и серьезную оперативную информацию, и компетентные комментарии на политические, экономические и международные темы, и нормальную музыку, и приличный юмор.

Однако в последние месяцы на «Маяк», как саранча, налетели какие-то странные субъекты. Весь эфир канала, кроме кратких информационных выпусков, поделен между этими невыносимыми парами развязных трепачей, балагуров, хохмачей, которые ведут между собой и с пригла-

шенными бессмысленные беседы, развлекаются пошлыми анекдотами, без конца хихикают или истерически хохочут. А паузы между трепом заполняют забугорной попсой. Слышать этот балаган без отвращения невозможно!

Авторы писем, адресованных мне, спрашивают: «Кто и с какой целью отдал этим фиглярам государственный, то есть вещающий за наши деньги, радиоканал?»

*Об экзамене по литературе, юбилее Гоголя
и спектакле Татьяны Дорониной*

В. К.: Отдали те, кто стремится любым способом отвлечь людей от реальных (и непростых!) обстоятельств нынешней жизни.

В. Р.: В ряду «новшеств» последнего времени особенно тревожна для меня идея отменить выпускной экзамен – сочинение по литературе в средней школе. А что такое оставить литературу без экзамена? Это значит сразу определить ее в число второстепенных и незначительных предметов. Число уроков неминуемо уменьшится, да и оставшиеся станут растаскивать на что попало. Появится очередной соблазн и с классиками посчитаться, ввести новые таблицы о рангах. Притом министерство вдобавок ко всему обещает изъять из обращения двойку применительно к литературе в случаях даже самой дикой безграмотности.

Нам приходится сейчас все чаще вспоминать знаменитую клятву Анны Ахматовой из осажденного Ленинграда:

Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово!

Сохранили, спасли – и кому нынче сдаем? Стыдно!

В. К.: Теперь несколько о другом, хотя по существу – о том же. Я знаю, что вы причастны к подготовке предстоящего гоголевского юбилея. Слышал и о трудностях, с

которыми столкнулась подготовка. Можете поконкретнее сказать об этом?

В. Р.: До юбилейной даты – двухсотлетия Николая Васильевича Гоголя остается меньше года, и уже сейчас можно не сомневаться, что в достойном великого писателя торжестве этот юбилей будет сорван. Слишком много нашлось тормозов, чтобы сделать из него рядовое, «проходное» событие. Да и не событие даже в полном-то смысле. С академическим изданием сочинений опоздали, на обычное полное до сих пор не найдены деньги. На Украине три музея великого украинского писателя, а он, этот украинский, писал на русском, считал себя русским, жил и покоится в России. Нам незачем с Украиной делить Гоголя, если не сдадут его вместе с Киевской Русью в НАТО.

А ведь могут и сдать.

До недавней поры в России не было ни одного музея Гоголя. Должно быть, некие культурные силы не могли простить ему «Тараса Бульбу», другого объяснения не найти. Но вот, слышно, в Петербурге совсем недавно скромный музей открыли. Обещают и в Москве – в квартире, где Гоголь жил в последние годы и где он скончался.

В. К.: Это ведь ох как давно обещают!

В. Р.: Ждем обещанного.

В. К.: Последний на сегодня мой вопрос может показаться вам частным, но он имеет значение не столько для меня, сколько для театра – Московского художественного академического театра имени М. Горького. Вы знаете, по ряду причин у театра этого, которым руководит Татьяна Доронина, много влиятельных недоброжелателей. И они используют любую возможность, дабы заявить о себе. Не-объективные, пристрастные отзывы в прессе о работах театра, увы, не редкость. Однако в этот раз я был удивлен, что такой отзыв о спектакле «Комедианты господина...» появился не где-нибудь, а в «Литературной газете», которая, как правило, соблюдала объективность. Пришлось в

«Правде» поспорить с автором «Литературки». А вы, если видели этот спектакль, какого о нем мнения?

В. Р.: Я посмотрел спектакль Татьяны Васильевны Дорониной по пьесе Михаила Булгакова и согласен с его оценкой в вашей рецензии, опубликованной в «Правде». Конечно, Булгаков не случайно обратился в этой пьесе к судьбе знаменитого французского комедиографа XVII века Ж.-Б. Мольера. Как прозаик и драматург, испытывавший чуть ли не с самого начала своей творческой жизни, что называется, тернии, он высмотрел в этом великом мастере сцены схожие обстоятельства или возможность схожих обстоятельств в поворотах их творческих судеб. Как в пьесе спасением мольеровского «Тартюфа», которому угрожало снятие со сцены, стало заступничество короля Людовика XIV, так и для булгаковской пьесы «Кабала святош» о Мольере, запрещенной цензурой, двери на сцену открылись только после вмешательства Сталина. Как недолго действовало заступничество всевластного короля, так недолго оставалась в силе и воля могущественного вождя: после семи спектаклей под названием «Мольер» работа Булгакова была снята с мхатовской сцены.

И вот теперь под третьим названием – «Комедианты господина...» (как и «Кабала святош», это тоже авторское название) – спустя десятилетия спектакль вернулся на сцену МХАТа. Препятствия нового времени Т. В. Дорониной не без труда, но преодолены. Однако не преодолено разное понимание у критиков сути спектакля. Художник и власть, вечная непримиримость таланта и принятого в государстве порядка, его охранительных сил... Людовик XIV мог быть и умен, и порой справедлив, и снисходителен, и испытывать уважение к таланту Мольера, но стражам порядка Мольер был ненавистен. И они, можно сказать, приговорили его к смерти, внушив многомудрому королю вместе с долей правды о Мольере несусветную ложь.

Булгаков вручает Мольеру страстный и резкий монолог о власти, произнесенный в финале. Он производит в этом интересном спектакле очень сильное впечатление, и мхатовский зал взрывается от аплодисментов. Так зрители невольно вмешались в ваш спор с рецензентом «Литературной газеты» Александром А. Висловым, которому показалось, что симпатии автора пьесы и ее постановщика отданы королевской стороне, а сторона Мольера, дескать, выглядит в спектакле убого.

Я не пишу рецензии, это только отзыв зрителя. Но я уверен, что и симпатичный, но и жестокий в игре Валентина Клементьева король, любивший повторять, как осталось в истории: «Государство – это я!», и мятущийся, загнанный в угол властью и предательством близких людей, да и собственными ошибками Мольер (в исполнении Михаила Кабанова) имеют разные нравственные положения, какие они зачастую и были между художником и властью.

В. К.: Спасибо, Валентин Григорьевич, за разговор. У меня есть и еще вопросы, но это уже до следующего раза.

Май 2008 г.

Нравственность или успешность?

Что значит быть успешным

Виктор Кожмяко: Валентин Григорьевич, в последнее время все больше мое внимание привлекает новое слово, которое появилось в нашем языке. Это слово – «успешность». Вообще-то оно вроде бы и не совсем новое. Ведь мы всегда говорили: успех, успехи, желали друг другу успехов. И все-таки вот такой формы – «успешность» – не было. А еще теперь стали говорить: «Успешный человек». В этом тоже, по-моему, непривычный оттенок. То есть коли успешность определяется неким постоянным, чуть ли не врожденным качеством каких-то людей, то, стало быть, неуспешные –

это заведомо обреченные на второсортное или третьесортное существование. Что, мол, поделаешь, не дано...

Я думал, что, может быть, у меня какое-то субъективно пристрастное восприятие этой самой «успешности», что только мне она режет слух. Но вот на недавней Соборной встрече в храме Христа Спасителя, посвященной 50-летию Союза писателей России, услышал тревожное размышление на сей счет в выступлении Валерия Николаевича Ганичева. Говорил он именно о разрыве успешности и нравственности, о том, что в общественном сознании утверждается фактически безнравственная успешность...

Валентин Распутин: Давайте сначала взглянемся в это слово – «успешность». Ведь не случайно же оно взлетело сейчас. Поспешать, успех, успешность, даже приспешник – все это однокоренные слова, слова одного лексического гнезда. «Успех» у Даля в середине XIX века понимался как достижение желаемого. Но академик В. В. Виноградов в своей работе «История слов» отмечает, что в XVI–XVII веках и успех имел значение поспешности. Иметь успех означало тогда сорвать куш. Затем слово сняло с себя отрицательный смысл. А вот «поспешность» до сих пор не оторвать от поговорки: «Поспешись – людей насмешись». Удивительно, как форма слова влияет на его смысл, содержание. «Поспешность», «успешность» как были, так и остались родными братьями, только первое несет в себе физическое действие, а второе – нравственное, вернее, переступающее нравственные законы.

Но, знаете, мне в слове «успешность» слышится скорее бесстыдство людей среднего порядка. Оно больше приложимо к хватким чиновникам, вора в законе, ловкачам разного рода, остающимся в тени, и целой армии бизнесменов, только еще поднимающихся на орбиту. Для поднебесного положения олигархов понятие «успешность» – дело копеечное, их фигуры достигли такого размаха, что и Россия мала, им требуется весь мир.

Но начиналось, конечно, с «успешности».

В. К.: Нетрудно понять, что знак, символ «успешности» – большие деньги. За последние пятнадцать–двадцать лет у нас упорно внушается просто-таки культ сверхбогатого человека. Мерилом престижности стали банковский счет и собственность. Теперь говорят: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» А ведь раньше подобная логика, зацикленная на одном лишь материальном богатстве, показалась бы странной. Как же произошли эти изменения в обществе?

В. Р.: Общество наше больное, и нет никаких признаков, что оно озабочено своим здоровьем. Россия изменила себе и продолжает изменять все больше. Всегда она была самодостаточной, даже в трагическом XX веке, когда формы государственности и жизни претерпели огромные изменения. Отказались от веры – и все-таки выиграли жестокую войну; перевернули деревню, изменили в ней уклад жизни – и все-таки сохранили и преобразовали ее; испытывали и гонения, и бедность, но не Родину свою винили в том и не отказывались от нее.

То, что произошло в конце 80-х и в 90-х годах при Ельцине, Чубайсе и Гайдаре, – гораздо бóльшая беда, чем Мамаево побоище. Богатырскую страну разграбили в считанные годы. Хлебные поля забросили и деревню, можно сказать, уничтожили. Промышленность заглохла, за обладание выгодными предприятиями шла кровавая война. Народные и природные богатства в спешном порядке поделили между собой те, кто вознесся затем на высоту олигархов. Нравственность и совесть отменили, одно упоминание этих понятий вызывало издевательства. Отменили, в сущности, и Россию, хотя именем ее и продолжали пользоваться. Но много ли радости в родном имени, если наполнение его чужое? Чужие нравы и песни, чужое образование и чужие кумиры, русский язык переполнен мусором и грубостями, великая русская литература существует в положении пен-

сионерки и тихо уходит в тень. Перечислять все эти перемены (а они везде и всюду), право же, сердца не хватит.

Вот такие изменения и произошли, вот такая переоценка ценностей.

Россия живет сейчас в двух ипостасях: в глубинке из последних сил держатся за родное; а на виду – вся пропаганда и агитация, говоря старым языком, то есть телевидение, радио, бесконечные, вытряхивающие вкус сериалы, культура бесноватых с громкими именами, – вся эта «успешность» круговой поруки продолжает властвовать и калечить людей.

В. К.: Наверное, внедрение понятий «успешность» и «успешный человек» нынешними законодателями мод, теле- и радиовещателями (все ведь идет «в массы» именно от них!) и настойчивая ориентировка на эти понятия связаны с желанием окончательно утвердить, легитимизировать, как говорится, создавшееся несправедливое положение («Пересмотра итогов приватизации не будет», – повторяет власть). Положение, при котором на общественной вершине оказались как раз те «успешные», чья «успешность» вызывает неприятие большинства в нашем обществе. И тем не менее пожелание быть успешным звучит как призыв во имя этого ничего не стесняться. Вы не ощущаете такое в самой атмосфере теперешнего бытия?

В. Р.: Как не ощущаю, когда это сегодня в так называемых деловых кругах главное мерило деятельности? В кругу «успешных» совесть не в почете, она там тоже отжившее понятие.

До революции в России, как известно, было немало богатых фигур, в том числе с очень крупными капиталами. Но сидеть на этих капиталах тогда считалось все-таки неприличным. Конечно, приличия эти не всеми соблюдались, но в таких случаях и отношение к скупердьям было соответствующее. Но в каждом губернском городе и в каждом уездном, будь то Сибирь на всем ее протяжении, Русский

Север, центральная или западная часть империи, – всюду состоятельные люди считали необходимым заниматься благотворительностью и давать деньги на бедность, на храмы, больницы, училища, музеи, библиотеки, театры.

В 1887 году былая столица Сибири – город Тобольск справлял свое 300-летие. К тому времени Тобольск был уже отодвинут от магистральных путей, и имя его потускнело. Благодарное сибирское купечество, отдавая дань заслугам отца сибирских городов, выстроило в Тобольске прекрасный музей и украсило его полотнами великих мастеров.

Первый в Сибири университет в Томске, основанный в 1880 году, был выстроен в основном на пожертвования промышленников. Огромный вклад в его строительство и приобретение для университета библиотеки В. Жуковского в четыре с половиной тысячи томов вложили знаменитый меценат, промышленник и ученый Александр Михайлович Сибиряков, его младший брат Иннокентий Михайлович.

Да и благотворительность в Москве: Третьяковская галерея, Румянцевский музей и библиотека, Бахрушинский музей, Голицынская больница и многое-многое иное получили имена своих создателей и покровителей.

Может быть, и среди нынешних толстосумов водятся меценаты: на храмы, слышно, дают, но случается это редко и участвует в этом, похоже, не голос совести, а «голос имиджа».

Призывают зарабатывать, не работая

В. К.: Есть и еще одна сторона этой темы: внедряемое понятие «успешность» отделено от другого понятия – «труд». Мало того, даже ему противопоставляется! Недавно был поражен, увидев в метро следующую рекламу: «Хватит работать – пора зарабатывать! Освой профессию “трейдер” на финансовых рынках». И тут же, рядом, – радостное лицо в другой рекламе: «Я зарабатываю на раз-

нице курсов валют». Указаны адрес и телефон, где этому научат... Подобная реклама мелькает все чаще. На мой взгляд, это разрушение здоровой трудовой морали. Если раньше человек сызмальства воспитывался в уважении к общественно полезному труду как единственному способу заработать – материальные ли средства, достойное ли положение в обществе, то к чему зовут нынче? Зарабатывать, не работая... Во что же выродится общество, руководствуясь такими призывами?

В. Р.: Здоровая трудовая мораль у нас давно уже разрушена, 90-е годы погребли под собой много чего из общество- и государствоводержащих понятий нравственности и здоровых взаимоотношений. Возвращать их не просто, да и никто, похоже, этим не занимается. «Хватит работать – пора зарабатывать» – подобные лозунги уже годы и годы кружат головы молодых людей. На этой стезе они и норовят устроить свое благополучие. И почему власть на публичное разведение таких «грызунов» взирает равнодушно, понять нельзя. Почему не контролирует рекламу, особенно в метро, где каждый день она лезет в глаза миллионов и миллионов, половину из которых заставляют согласиться, что так теперь и должно быть, как предлагает реклама.

Не говоря уж об улице. Прошлым летом по всей Москве красовалась «аккуратная», однако же откровенная «художественная» реклама однополрой любви.

И ничего – деньги сокрушают все, всякую мораль и всякую преграду.

А во что превращается общество, руководствуясь подобными призывами, мы уже и теперь наблюдаем воочию...

В. К.: Во все времена, конечно, были люди, ухитрявшиеся много иметь, не работая. Было узаконено и богатство меньшинства, живущего за счет труда большинства. Но давайте вспомним заповедь Христова апостола: «Не работающий да не ест». В первой советской конституции

она была записана фактически дословно: «Кто не работает, тот не ест». Это стало одной из основ государства. Недаром появилось и почитаемое звание – Герой Труда.

Все-таки какие бы огромные издержки и проблемы ни пришлось тогда пережить, а человек труда, как правило, действительно был окружен в обществе уважением и почетом. Он становился героем книг, фильмов, спектаклей... А что теперь? Кто теперь герои на телевидении и в глянце-вых «гламурных» журналах? Кого здесь воспевают и чьи хоромы во всех ракурсах показывают? Согласитесь, тех самых «успешных людей» – будь то олигарх, финансовый воротила или «попса», «шоу-бизнес» в лицах, набивших уже всем оскомину. Но разве такое безумное внимание к этим персонам – дань труду и подлинному таланту?

В. Р.: Мы с вами ломимся в открытые двери. Эти двери бесчинства и вседозволенности давно нараспашку, а мы никак не хотим с этим смириться и все проверяем, не вступил ли в силу спасительный закон, который преградит им, то есть бесчинству и вседозволенности, преступный путь. Нет, не вступил. А если бы и вступил, толку от него все равно было бы мало. Законопослушания быть не может, когда в обществе царит безнравственность.

Горбачевско-ельцинская «революция» действовала не только против коммунизма как идеологии и форм собственности, но и против тысячелетней России с ее нравственными правилами, традициями, вековыми народными обычаями и культурой. Народ как единое целое распался и превратился в население. Государство ослабло, доверие к нему упало. Бешеное богатство одних и распоследняя нищета многих подорвали доверие к власти. Отечественное образование, лучшее в мире, как показала история, было с невиданным нахальством отвергнуто и превратилось в замысловатые загадки, с которыми ни учителя, ни ученики справиться не могут. Средства информации во все 90-е годы были агрессивно чужеродными и «полоскали»

родное на чем свет стоит. Они и теперь не очень изменились. Все перечислять – слишком долго да и не нужно.

Вот и получили то, что имеем.

Правда, вернулась вера, вновь дозволенная в годовщину Тысячелетия крещения Руси. С той поры тысячи и тысячи храмов дружным звоном сзывали на службу во всех городах и во многих весях страны. В праздничные дни храмы переполнены.

Если говорить о надеждах, возлагаемых, по прежним понятиям, на народ, то надежда прежде всего на верующих. Это, я думаю, сейчас сердцевина, из которой в нравственной, духовной и тысячелетней ипостаси может очнуться народ. Но сердцевина пока, как мне представляется, несколько замкнутая: верхи нравственные законы почитают мало, а низы по своей удрученности нередко уже ни во что не верят.

Максим Галкин затмил Юрия Гагарина

В. К.: Недавно услышал в телепередаче рассуждение о новогодних «Голубых огоньках». Ведущая с нескрываемой брезгливостью обронила, что, дескать, в советское время сидели за столами всякие там передовики производства и приходилось «по бумажке» их представлять. А ныне, мол, Аллу Пугачеву и Максима Галкина знают все. Но вот что интересно: когда показали кадры старой хроники, в студии «Голубого огонька» возник не кто-нибудь, а Юрий Гагарин!.. Гагарин и Галкин все же величины несопоставимые. Между тем происходит вытеснение, замещение одних общественных авторитетов другими. По какому же принципу? Что в основе? Каковы истоки этой нынешней успешности популярных «медийных» личностей, чья популярность изо дня в день всячески раздувается?

В. Р.: Ох, о телевизионных «Голубых огоньках» и прочих подобных передачах лучше не вспоминать! Они давно уже превратились в отвратительную клоунаду, которая

многим и многим портит праздничное настроение. Не всем, конечно, – уже воспитано поколение, с восторгом принимающее хамство, безвкусие и неприличие. И разве можно сравнить прежний «Голубой огонек» с теперешним? Тогда были высота, красота и величие и в исполнении номеров, и в фигурах именитых гостей да и во всей обстановке праздника. А теперь – балаган, выпренность и красование пошлости, особенно в среде исполнителей.

Аллу Пугачеву и Максима Галкина, конечно, знают все. Но знают в последнее время все больше по скандалам. Успешность, не ведающая нравственных границ, без этого не обходится и «подмочит» любой талант. Недавно в прессе прошла информация о том, что в США расследуют дело о финансовых махинациях в Америке Максима Галкина. В России, надо думать, не посмели бы уронить тень на любимца публики, а там, за кордоном, с этим иногда не считаются.

Вы спрашиваете, каковы истоки неслыханной популярности одних и тех же «медийных» личностей? Истоки в захвате искусства и его присвоении. Кто в этом участвует – «наши», это высшая мера таланта и успеха, на них работают и пресса, и радио с ТВ, им благоволит власть. А «не наши» в тени, более того – в опале. Каждый спектакль МХТ имени Чехова или Ленкома – это громкое, чрезвычайное событие, а на новые работы Горьковского МХАТа или Малого театра – редкая информация сквозь зубы. Горько вспоминать, как власть осчастливила вниманием Татьяну Доронинову, великую актрису нашего времени...

В. К.: Пожалуй, Валентин Григорьевич, вам ближе всего должна быть тема успеха в литературном творчестве. Вспомнились мне строки Бориса Пастернака:

Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Не успех! Действительно, было бы странно сказать, что Пушкин или Есенин – успешный поэт, Достоевский или Шолохов – успешный прозаик, а Островский или Вампилов – успешный драматург. Но сегодня, если с помощью всемогущего «пиара» любая бездарность может быть возведена чуть ли не в гении (и возводится!), здесь тоже критерии основательно сбиты. Значит, деньги и тут оказываются сильнее таланта и труда? Что вы думаете об этом?

В. Р.: Конечно, так оно и есть. Прекрасные слова вспомнили вы у Пастернака, совсем в точку успешности теперешних знаменитостей. Именно: ничего не знача, умеют поднять вокруг себя чуть ли не вселенскую шумиху. Но Пастернаку в его целомудренные времена, должно быть, и в голову не могло прийти, что творческий успех можно устроить и искусством безнравственности и пошлости, искусством, как говорилось прежде, «низких истин», что сейчас вволюшку и происходит.

Да только вот в чем конечная справедливость. Ни одна из знаменитостей этого рода ни из эпохи Пушкина и Достоевского, ни из эпохи Шолохова и даже Вампилова в памяти не осталась. Сгинули все вместе со своими творениями.

*Можно ли служить
одновременно Богу и мамоне?*

В. К.: Сейчас непросто разобраться во всех хитросплетениях финансово-экономического кризиса, все больше охватывающего ныне мир. Но одну из причин называют нередко: жизнь не по средствам, необеспеченность акций реальным производством, виртуальные финансовые операции, потерпевшие крах. Стало быть, как я понимаю, «делание денег из денег», зарабатывание без истинной работы в конце концов приводит к определенной расплате.

В. Р.: Уверен, что так и есть. Кризис в России если не устроили, то сильно усугубили олигархи, владеющие

львиной долей национальных богатств. Их бешеные доходы, судя по всему, на Россию работают скромно, а продолжают переводиться за границу – в ценные бумаги, спекулятивные операции, дорогую недвижимость... Да и в движимость тоже – в виде морских, воздушных и сухопутных судов. Нам, бедным, и не представить, во что еще. Теперь уже не арабские набобы удивляют мир своим расточительством, а российские.

Ведь не пострадал же так сильно от кризиса, как мы, Китай, где государство оставалось хозяином положения и контролировало движение экономики в национальных интересах.

В. К.: Култ «успешности», насаждаемый у нас нынче, – это, по-моему, не только изыск пропагандистов новорусской действительности. Тут и глубинные, уходящие в религию корни. Но не в православие, конечно, а в иудаизм, в протестантизм, где именно успешность признается знаком богоизбранности. Если ты успешен, значит, тебя любит Бог. Ну а если неудачник, слабый, больной, увечный, стало быть, негоден ты Богу и должен пребывать изгоем.

В православии все иначе. Здесь – сочувствие к бедным, униженным и оскорбленным. Это, может быть, и наша национальная черта. Гоголь написал: «В русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного». Лев Толстой бесконечно мучился, признаваясь в своем дневнике: «Все больше и больше почти физически страдаю от неравенства: богатства, излишеств нашей жизни среди нищеты; и не могу уменьшить этого неравенства. В этом тайный трагизм моей жизни...»

А вот нынешний олигарх Сергей Полонский провозглашает на газетных страницах: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж...»

Что же, нам хотят внушить, что верны не трагические ощущения Толстого, а цинические установки этого самого Полонского? Хотят убедить, что «успешность» любой

ценой искупает и покрывает все на свете, а разительное, чудовищное, несправедливейшее неравенство – норма? Но ведь надо напомнить евангельское: «Не можете служить Богу и мамоне».

В. Р.: У нас раз за разом хозяева страны повторяют, что пересмотра приватизации не будет. А не будет, так заставьте сверхбогачей считаться со страной и народом, которых они ограбили, не позволяйте им унижать порядочность и бедность. Конечно, за хамские высказывания этого Полонского в суд не потянешь. Но и проглотить их как остроумную «милость» с барского стола было бы слишком унижительным.

Слышно, что кризис ударил и по олигархам – их стало поменьше, и в их рядах произошла рокировка. Дери-паска теперь на восьмом месте, а номером первым завладел супермиллиардер, куршевельский проказник Михаил Прохоров, ныне владелец самой дорогой в мире виллы на Лазурном берегу. В Куршевель, надо полагать, он больше не заглядывает, но нравы, утвержденные там, ныне вознеслись еще выше. Месяца полтора-два назад ТВ показало сцену, как в одном из куршевельских ресторанов российские кутилы, конечно, из клана породистых, отплясывают на столах с девицами чечетку под гимн России. «Неслабо?» – вопрошают в таких случаях остряки, когда действие переходит всякие границы приличия.

Нынешний кризис – это, быть может, последнее предупреждение человечеству в тщетности и гибельности избранного пути. Это кризис не только экономики, но и культуры, нравственности, цивилизации, человеческого общежития. Кризис мирового порядка. Люди все тревожней оглядываются назад: где и когда сошли с наследованного пути и безопасного продвижения вперед? В чем ошибки и соблазны?

Сошлюсь на один уже широко известный факт. Недавно проводился телеконкурс «Имя Россия». Голосова-

нием определялись имена соотечественников, сыгравших исключительную роль в судьбе России. Третью строку в этом конкурсе (мало кто сомневается, что после хитроумных усилий отодвинуть его туда с первого места) занял Сталин. В Германии в таком же конкурсе ту же третью строку после Аденауэра и Лютера занял Карл Маркс. Там и там результаты голосования произвели шоковое впечатление. Ну ладно, Россия – до сих пор «варварская страна», ей такие вожди, как Сталин, и требуются. Но Германия-то! Мало того – во всем мире огромными тиражами сейчас издается и покупается «Капитал» Маркса. Совсем не слабые головы вынуждены согласиться, что хищнический капитализм – совсем не тот порядок, который нужен человеку, и что справедливости в нем быть не может. Но если Западу потребовалось несколько столетий, чтобы убедиться в ошибочности своего пути (это не значит, конечно, что теперь от него тут же откажутся), то России хватило и двух десятилетий, чтобы обнаружить себя в капкане мирового порядка и вспомнить о Сталине.

Народ наш, быть может, и ошибается в способах своего спасения, но он не может не видеть, не чувствовать, не испытывать на себе, что капитализм с его хищническими законами и нравами ему не годится.

Март 2009 г.

ГДЕ, УКАЖИТЕ НАМ, ОТЕЧЕСТВА ОТЦЫ?

Время трагедий

Между жизнью и смертью

Виктор Кожмяко: Валентин Григорьевич, вот и еще один год минул – 2009-й. Перед новогодним праздником

полагалось бы настраиваться на радостный лад, но честно скажу: не получилось у меня. Ведь словно по заказу в стране нашей подряд столько тяжелых трагедий! Не успели еще опомниться от катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС – взрывы на военных складах в Ульяновске, а затем подрыв «Невского экспресса». Прошла лишь неделя после этой беды – жуткое кострище в Перми, унесшее более 150 человеческих жизней...

Валентин Распутин: Да, да! И это далеко еще не все беды минувшего года. Это только самые громкие, небывалые, как катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС и пермская трагедия... Но ведь продолжалось еще и изнасилование детей, заказные убийства едва ли не достигали уровня ельцинских лет; дорожные аварии с гибелью людей побили все предыдущие рекорды; через день, да каждый день, поступают сообщения о бандитских нападениях на инкассаторов, священников, на случайных прохожих, не так посматривших или не то сказавших. Если это не война, то и не мир.

В. К.: Можно рассматривать порознь каждую из трагедий, потрясших нас в прошлом году, и у каждой будут свои конкретные причины и конкретные следствия. Но, размышляя о причинах и следствиях всех этих бед, невольно опять обращаешься к нравственному, а точнее – все более безнравственному состоянию нашего общества. Само слово это, нравственность, давно уж почти совсем не звучит у нас в общественном обиходе, и многим, особенно молодым, наверное, кажется абсолютным анахронизмом. Не потому ли, например, устроители веселья в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» без душевных угрызений покинули вспыхнувшее заведение через известный только им служебный ход, предоставив остальным задыхаться в тесноте единственного для всех выхода?

В. Р.: А вот это что – распушенность, безнравственность или что-то пострашнее? Всегда ведь было: сам погибай, а товарища выручай. Конечно, и в «Хромой лошади»

некоторые жертвы огня пытались помочь друг другу, но огонь был сильнее. Впечатление такое, что его, огонь, распалили не только легковоспламеняющиеся материалы по стенам и потолку, но и самое это издевательское название заведения. Странные все-таки вкусы: над гражданами нашими издеваются, а они приходят в восторг. За пошлость и бесстыдство поднимают цены, а они считают это справедливым. Ведь эта «Хромая лошадь» была чрезвычайно популярна, иначе не случилось бы многократного перенаселения ее в ту трагическую ночь. И набились туда не подростки-несмышлениши, а взрослые люди, как сообщалось, от 20 до 40 лет. Со вполне сложившимся вкусом, с немалым житейским опытом.

Это еще раз подтверждает, что со вкусами и житейским опытом в России не все в порядке. Двадцать лет миновало с начала той «судьбоносной» поры, когда наизнанку было вывернуто все: и многовековые нравы и традиции, и способы жизни и хозяйничанья, трудовые и воинские победы, тысячелетняя история... Все охаивалось и отвергалось. Нажитое и выстроенное народом в тяжких трудах за многие десятилетия растащили за полгода. Это походило на то, как если бы свергался последний очаг обезьяньего периода, предшествовавшего человечеству, и наконец-то открывались сияющие перспективы.

Не забыли еще: малолетние школьницы, освобожденные от понятий хорошо–плохо, прилично–неприлично, дружно возжелали под влиянием телевидения стать проститутками. Такие объявились вкусы. Девушки постарше бросились за границу. Одни в поисках богатых женихов, другие на заработки тем самым ремеслом, которое не требует ни воспитания, ни образования. И миллионы людей более старшего поколения, бывшие инженеры, учителя, кандидаты наук, матери и отцы, потеряв работу, вынуждены были обзавестись профессией «челнока»: за границей купить, дома продать и накормить детей. И это в целомудренном

народе, не признававшем барышничества и разврата. Вырвались из коммунизма и ветхозаветных понятий – и уже через десять лет (да раньше, раньше!) тысячи и тысячи мамаш школьного возраста, начиная от 12–14 лет и далее, принялись рожать и подбрасывать своих чад под чужие двери или выбрасывать на помойку.

Да разве можно от таких нравов освободиться сразу, если бы даже и захотели освободиться?! Но не очень и хотят. «Передовая» и независимая от всяких ограничений пресса, телевизионные программы, Интернет, уличная реклама продолжают свое дело даже и не исподтишка, а открыто и воинственно.

Нравы, нравственность – однокоренные слова, но уже с разошедшимися понятиями. Нравы – ну и нравы! – превратились в нечто дурное, неприятное, а нравственность, мораль покуда еще сохраняют свою чистоту и непогрешимость. Сохраняют в последнее время, по-моему, прежде всего благодаря Церкви. Спасшиеся – это все-таки по большей части верующие.

В погоне за прибылью

В. К.: Очевидна, думается, и еще одна общая для многих трагедий года причина: безудержная капиталистическая погоня за деньгами, за прибылью! В той же Перми «экономии» на противопожарной безопасности, сократив, как выясняется, необходимые расходы на нее по городу аж в три раза. В помещении ночного клуба, рассчитанное на пятьдесят человек, назвали около трехсот. Денежки – в карман, а люди пусть горят. Закупая по дешевке старые, уже почти негодные «Боинги», обрекают сотни людей на гибель, зато хозяева авиакомпаний обогащаются. А Саяно-Шушенская ГЭС? Разве не жадность новоявленных хозяев, не желавших тратить на своевременный и неотложный ремонт, привела к катастрофе? Естественный износ техни-

ки, еще советской, плюс «реформа» энергетики по Чубайсу – вот и результат. Однако имя непотопляемого Чубайса, названное комиссией поначалу самым первым среди виновников, очень скоро из того списка исчезло. Случайно?

В. Р.: «Безудержная капиталистическая погоня за деньгами, за прибылью», – говорите вы. Да, настолько безудержная и алчная, что невольно является страшное предположение: а что, если бы в Великой Отечественной войне взял верх фашизм и последовала бы оккупация России со всем тем, что бывает при оккупации: унижение и эксплуатация народа, надругательство над его вековыми традициями и образом жизни, подневольное и унижительное существование, миллионы и миллионы беспризорников, вывернутая наизнанку школа, разрушенное хозяйство, запущенные пашни и т.д., и т.д., – было бы при таком фантастическом порядке труднее и страшнее? Все, что испытали мы при Ельцине, Чубайсе и К°, сравнить не с чем, и свобода, ради которой якобы потребовались жертвы, ничего не принесла, кроме чужебесия, распущенности, безнравственности, нищеты одних и бешеного богатства других. Требуется полностью перевоспитывать наш народ, чтобы он с этим смирился. Да оно и идет полным ходом, это перевоспитание, в школах и вузах.

А Чубайс... что ж Чубайс... Он давно уж для власти святой... Ну балуется, ну вредит, хамит, ну одиозная фигура, ну принял участие в трагедии Саяно-Шушенской ГЭС, да ведь весь ельцинский синод прошлого и настоящего у него в покровителях, и ни один волос с его головы не должен упасть.

В. К.: Весь год говорили о мировом финансово-экономическом кризисе, постигшем и Россию. Казалось бы, раз кризис, значит, общество подтягивается, мобилизуется, сокращает расходы, без которых в кризисных условиях можно обойтись. Казалось бы... А на деле? Разве хоть в чем-то заметно, что богачи наши умилили свои безумства

в роскоши и начали думать о других людях, едва сводящих концы с концами? Нет, Абрамович опять приобретает новую сверхшикарную яхту, другой «российский» миллиардер – Исмаилов устраивает пир на весь мир в Турции по случаю открытия нового небывало роскошного отеля, а его детки, шокируя Европу и сбивая встречных, гоняют на сверхдорогих лимузинах и недозволенных скоростях в Швейцарии... У служащих банков и частных фирм – многомиллионные «бонусы», у чиновников – «откаты», тоже многомиллионные. Призывы свыше к богатым вести себя более скромно раздавались, но вы уверены, что кто-нибудь это услышал или услышит?

В. Р.: Виктор Стефанович, мы с вами продолжаем оставаться неисправимыми нравственниками, что давно уже считается занудством и неприличием: сколько уже раз с той поры, как мы начали эти беседы, приходилось обращаться к личности Абрамовича и его теперь уже многочисленных братьев-олигархов? Ну и что, кого-нибудь устыдили? Пьянеют не только от водки, еще больше пьянеют и теряют человеческий облик от бешеного богатства. Кампанию против пьянства было бы полезно совместить с настоящей, а не формальной, для виду, кампанией против лихоимства. Пьяница покуражится-покуражится, да и заснет в обнимку с бутылкой в подворотне, а одуревшему от несправедливых миллиардов этого мало, он полетит на крыльях удачи в Европу или Америку, закажет самую дорогую яхту и одновременно самый дорогой самолет в свою собственность, выстроит сверхдорогой отель да прикупит в двух-трех местах виллы – и пошла гулять губерния на весь свет.

Пьянство – это зло, и зло тяжелое, ну а разве подобные нравы, да еще и показные, буйные, пугающие осторожных европейцев, недоступные пониманию большинства наших соотечественников, – разве это меньшее зло?

Ну ладно, Абрамович и его друзья-олигархи первого призыва разбогатели в самое воровское время при Ельцине,

с которого взятки гладки, но ведь этот клан небожителей разрастался как на дрожжах и во все последующие годы, и Россия, как курица-несушка, производила их постоянно. Трудно поверить, но ведь факт: тот самый Исмаилов, о котором вы упомянули, пожалуй, самый матерый миллиардер, нажил свои капиталы на печально знаменитом и одиозном Черкизовском рынке, превратившемся под его руководством в небывалый торг опасными продуктами и фальшивыми товарами. И известном к тому же рабством гастарбайтеров, русских и даже китайцев. И что, не ведало об этом московское правительство, не доносилась правда до российского?

После подобных прямо-таки великомасштабных нравов местнические бравые попытки утереть нос другим, как правило, заканчиваются печально. Не тот калибр риска и вызова. Во Владивостоке к Новому году решили поставить на площади елку небывалой высоты и стоимостью в десять миллионов рублей. Конечно, такая елка не в лесу выросла, а под руками молодцов-мастеров. Поставили, нарядили. Но подул ветер – и елка грохнулась оземь и разлетелась на мелкие кусочки.

Вот и выше всех, вот и десять миллионов.

Кому власть служит

В. К.: У нас давно уже очевидно сращивание так называемого бизнеса и власти. Получается замкнутый круг: президент Д. Медведев призывает «не кошмарить бизнес», до минимума сократить всяческие проверки частных предприятий и заведений, а результатом становятся трагедии – наподобие той, что произошла в «Хромой лошади», где грубейшим образом оказались нарушенными элементарные противопожарные требования. Но «усиление контроля», как показывает жизнь, тоже мало что дает, поскольку зачастую это не реальный контроль, а лишь видимость: пресло-

вутые «откаты» все сводят на нет. Вы не замечаете в такой ситуации некоей безысходности?

В. Р.: Оказалось, довольно легко сойти со сложившегося за многие десятилетия порядка отношений между государством и гражданами. И оказалось чрезвычайно трудно к нему вернуться.

90-е годы до основания разрушили этот порядок. Государство осталось с объявившимися корыстолюбивыми богачами-«предпринимателями» и, может быть, еще более корыстолюбивым чиновничеством. А нередко, как мы знаем, те и другие соединяются в одном лице. Народ не мог не видеть этого и отошел от греха подальше, в сторонку, заботясь лишь о своем выживании. Народовластие как державное понятие оказалось совершенно исключено как из политического языка, так и из практической жизни.

Отсюда и теперешние несообразности и пустоты.

В. К.: Для меня знаком единения власти и олигархов в абсолютной безнравственности стало происшествие, которое я считаю самым позорным в ушедшем году. Скандально знаменитый по «истории с девочками» во французском Куршевеле олигарх Михаил Прохоров на сей раз решил «достойно» отметить годовщину своего буржуазного журнала «Русский пионер». И отметить не где-нибудь, а на крейсере «Аврора» – боевом корабле № 1 военно-морского флота России. Разумеется, в этом прежде всего был вызов миллиардера «Авроре» как кораблю революции: бурная пьянка на борту крейсера с прыганьем в Неву под матерные песни некоего Шнура носила характер демонстративного святотатства. Но самое главное – кто принял участие в этом мероприятии! Среди гостей были полномочный представитель президента Клебанов, министр федерального правительства Набиуллина, губернатор Санкт-Петербурга Матвиенко. И никого из них, судя по всему, не смутило, что разухабистая пьяная гулянка на корабле, который является музеем, – это, мягко говоря, не-

прилично. Об олигархе я уж и не говорю – нравы прохоровых, исмаиловых, фридманов и абрамовичей давно известны. А как вы думаете, почему люди, представляющие российскую власть, позволяют себе такое?

В. Р.: Комментировать это событие свыше моих понятий и сил. Но придется признать неумную изобретательность олигарха. Что там голые девочки во французском Куршевеле? Тьфу! – плюнуть и размазать! Но вот на «Авроре» шумный и неприличный бардак с самыми знатными членами правительства и президентскими приближенными – вот это фокус! Теперь вся Россия – да что там Россия! – весь мир должен замереть в ожидании: что же дальше выкинет богатейший похабник? Ведь он, конечно же, на этом не остановится!

А если представить – случись такое в любой из европейских стран, не говоря уж об Америке, я думаю, скандал прогремел бы с последствиями серьезными, и если не головы у высокопоставленных чиновников, то судьбы полетели бы непременно. Но какой же нравственности ждем мы от своих граждан, какого доверия к сильным мира сего, если «Аврору» осквернили, совесть и стыд публично оплевали – и ничего! Как будто так и надо, чтобы страна не скучала.

Что увиделось на Ангаре

В. К.: Летом газеты писали о путешествии, предпринятом Валентином Распутиным по Ангаре – от Байкала до Кодинска. Путешествии не развлекательном, а познавательном и направленном, в конечном счете, на спасение уникальной реки и заповедных мест на ней.

В. Р.: Да, такое путешествие состоялось, грустное и в какой-то степени загадочно-трагическое. Я ведь и сам с Ангары, и Аталанка моя, переехавшая полвека назад перед затоплением Братского водохранилища в гору и принявшая в себя полдюжины соседних деревень, до сих пор

жива, хотя и доживает, по всему судя, последние годочки. Поля затопили, леса вырубili, постоянных дорог в большой мир нет, работы нет, надежд не осталось – пустеет Аталанка. Мы на этот раз провели в ней без малого два дня, оставшиеся жители приняли наконец Христово крещение от прибывших с нами батюшек, затем меня попросили указать, где стояла-живала Аталанка до затопления, почти наугад в разливе нынешнего моря я это место указал, и товарищи мои опустили в воду поминальные цветы, а «Метеор» наш дал скорбный гудок.

Следующий поселок – Карда – опустел и погиб окончательно, к нему и причалить не удалось. Подволочная (тут когда-то начинался волок на Илим), тоже вобравшая в себя все ближние деревни, еще держится благодаря близости к Братску, но и здесь – заброшенные избы и неуверенность в завтрашнем дне.

Красавицу Ангару только по старой памяти можно называть Ангарой. Три гидростанции – Иркутская, Братская и Усть-Илимская – превратили ее в разбухшую, ограбленную и даже опасную старуху. Десятки лет после затопления пришлось ей вымывать из своих глубин и качать на волнах неубранные леса, а затем баррикадами забивать ими свои берега. Острова ушли на дно, воду пить нельзя, рыбу есть нельзя – это результаты работы химических предприятий в Ангарске, Усолье-Сибирском и Саянске. Нельзя, но и рыбу берут, и воду пьют. А что делать? Кому жаловаться?

А впереди еще, уже на воде и земле Красноярского края, – многострадальная и огромная Богучанская ГЭС, строящаяся уже без малого тридцать лет.

В. К.: Накануне Нового года появились сообщения о заседании в Красноярске правительственной комиссии под председательством вице-премьера Игоря Сечина. Речь шла о скорейшем вводе в строй Богучанской ГЭС. После аварии на Саяно-Шушенской премьер Владимир Путин дал поручение пустить Богучанскую в конце 2010 года или в начале

2011-го. На заседании Сечин констатировал: «запаздываем примерно на семь месяцев», «выполнено только 70 процентов всех запланированных на 2009 год работ», «мешает конфликт акционеров». Но ни слова при этом не было сказано о серьезных угрозах, которые несет несовершенный проект Богучанской гидроэлектростанции.

Дело в том, что в погоне за той же прибылью верхний бьеф, то есть уровень рукотворного моря, решено было поднять с запланированных в советское время 185 метров до 208 или даже 211. Между тем авторитетные специалисты предупреждают, что каменно-набросная плотина при этом может не выдержать напора Ангары, что обернется катастрофой, аналогичной саяно-шуйской. Оказывается, еще в 2003 году, при минимальном напоре, плотина Богучанской ГЭС дала течь и был затоплен котлован, под воду ушло здание гидроэлектростанции. К счастью, тогда обошлось без человеческих жертв. Но, чтобы избежать их в будущем, специалисты, опубликовавшие свою статью в газете «Красноярский рабочий», требуют провести немедленную квалифицированную проработку дальнейшего строительства плотины. Только вот как добиться этого?

В. Р.: Многострадальная Богучанская... Многострадальная еще до завершения строительства. Гремела, как все ангарские ГЭС, в 80-х прошлого столетия, затем надолго затихла, когда менялась власть, потом была разбужена и возвышена... «Возвышена» – это значит, как вы уже сказали, что верхний бьеф ее для увеличения мощности решили поднять на много метров. Это потребовало переселенных прежде из нагретых за столетия родовых мест снова переселять неведомо куда. В общем-то ведомо: подальше от Ангары. Тут, на песенной Ангаре, веками жил песенный народ. На встречи с нами собирались женщины, как правило, преклонного возраста и без особых уговоров принимались петь. Затем плакать. И снова петь. Раньше так провожали на войну мужиков, теперь так прощаются с родной землей.

В молодости, работая в газетах, я много раз бывал на Братской ГЭС, затем на Усть-Илимской, позже на Красноярской и даже однажды на Саяно-Шушенской. Конечно, и тогда при вынужденном переселении не обходилось без слез, и тогда ломались судьбы многих и многих, и тогда потери земные и нравственные, если поставить их рядом с нуждами цивилизации, были несравнимыми... Но тогда держалось еще доверие к государству: надо – значит надо.

С тех пор в сознании народа много что изменилось. В акционерах видят только олигархов, граждан мира, которым на Россию и на ее народ наплевать, была бы выгода. Притом не какая-нибудь, а бешеная. И участие их в сооружении гидростанций заставляет подозревать, что сооружения эти могут быть недолговечными.

Богучанскую ГЭС решено запустить через год-полтора. Ну что же, строители могут и поднажать. Но Ангара... это будущее ложе водохранилища – прости, Господи, за этот язык! – могучая Ангара здесь сплошь в чудо-островах, на которых не просто лес, а, считай, тайга на километры и километры... Да леса, еще более могучие, по берегам реки. И если в моих родных местах при сооружении Братской и Усть-Илимской ГЭС леса не были убраны даже и вполтину, и десятки лет (именно десятки лет до последнего времени) они сначала торчали по берегам из воды, затем их вымывало и таскало по нашим рукотворным морям тоже годами и годами, а затем забило ими, как баррикадами, все берега, не подойти и не подъехать, что же будет теперь здесь?

Ясно, что будет: то же самое, только в гораздо бóльших масштабах. Судя по всему, уже готовится – да еще и не обернулось бы катастрофой прорыва плотины, если из-за спешки и погони за прибылью не прислушаются к предупреждающему голосу специалистов. Надо требовать, чтобы прислушались!

В. К.: Телевидение летом показало вашу встречу с В. Путиным на Байкале.

В. Р.: Я попросил о встрече с председателем правительства из Козинска, из города, рядом с которым сооружается Богучанская ГЭС. Путин все-таки несколько лет назад, можно сказать, спас Байкал от грозившей ему беды, когда принял решение отодвинуть нефтяную трубу по берегу Байкала на безопасное расстояние. Мы, болеющие за судьбу уникального чуда природы, этого поступка, который стоил, должно быть, немалых дополнительных затрат, не забыли. Не забыл и Байкал. В прошлом году Владимир Владимирович опустился на глубоководном аппарате «Мир-1» на дно Байкала в самой глубинной его части и тогда мог не беспокоиться о каких-либо осложнениях.

Наша встреча с председателем правительства состоялась тоже на Байкале, на дрейфующем посреди озера корабле. Я начал с того, что припомнил слова А. И. Солженицына о главной задаче власти – сбережении народа. А сбережение народа – это не только обеспечение его работой и прожиточным минимумом, но и сохранение России в ее нравственном, духовном и культурном обликах, в сохранении природы – матери народа.

В. В. Путин не перебивал меня, но только до той поры, пока я не заговорил о Богучанской ГЭС, о том, нет ли возможности если не прекратить ее строительство вообще, то хотя бы отказаться от увеличения отметки верхнего бьефа. Ответ Путина был: уже поздно. А что касается следующей гидроэлектростанции на Ангаре (в планах на будущее она существует), по ней, сказал он, еще нет окончательного решения.

А буквально через неделю после этой встречи грохнулась Саяно-Шушенская. Конечно, это случайность, что трагедия произошла вскоре после нашей встречи. Но какая-то уж очень назидательная случайность.

А еще позднее стало известно, что на Байкале возобновляет свою работу целлюлозный комбинат.

Эта новость повергла защитников Байкала в недоумение и растерянность. Это что же, опять начинать все сна-

чала? Я состоял в государственной комиссии по Байкалу в середине 80-х прошлого столетия, руководил которой Николай Иванович Рыжков. Комиссия в 1985-м приняла решение: к 1993 году работу целлюлозного комбината на Байкале прекратить. Но новая власть в начале 90-х скорее готова была прекратить существование России, о Байкале в то время и речи не могло быть.

Но сегодня-то?!

Потери в культуре невосполнимые

В. К.: Прошедшим летом, когда вы были в Иркутске, на Псковской земле скончался выдающийся поборник русской культуры Савва Ямщиков. И в те же дни на земле Иркутской вам пришлось провожать в последний путь замечательного русского книгоиздателя Геннадия Сапронова. Что значат такие утраты для вас лично и для России?

В. Р.: Почти одновременно две такие потери – это для нас жестокий удар. Невосполнимый. Более полугода прошло, а боль не утихает. Да и утихнет ли когда-нибудь?

Иркутянин Геннадий Сапронов за последнее десятилетие приобрел славу одного из интереснейших книгоиздателей страны. Книги печатал по соседству, в Китае, – там и качество высокое, и дешевле. Много издавал Виктора Астафьева, знаменитого литературоведа и публициста из Пскова Валентина Курбатова, меня, некоторых москвичей – искал среди них патриотов. Организовывал ежегодные литературные праздники под названием «Этим летом в Иркутске», перефразировав название пьесы А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», и приглашал на них, а предварительно издавал самых интересных и талантливых авторов.

Это он, Геннадий Сапронов, организовал нашу поездку по Ангаре. На нем была Ангара иркутская, а красноярскую взял на себя его друг, ректор Красноярского педуниверситета Николай Иванович Дроздов, ученый, историк и

знаток ангарских древностей. Сбоя под их руководством не было нигде, и если мы не добрались до Енисея, то потому лишь, что общим мнением решено было: впечатлений достаточно, все остальное доберем в следующем году. С нами была московская киносъемочная группа «Остров» во главе с Сергеем Мирошниченко, в таком путешествии нельзя было обойтись без Валентина Курбатова, для которого Иркутск и Красноярск давно уже почти такая же родина, как Псков, где он живет. Всех наших спутников перечислять пришлось бы долго.

При отправлении из Иркутска наша группа насчитывала более двадцати человек. Мы начинали свое путешествие на комфортабельном теплоходе, продолжили на катерах и машинах, из Красноярска разъезжались по домам на самолетах. И все это надо было организовать, устроить, добиться... Не однажды Геннадий Сапронов хватался за сердце, но успокаивал и нас, и себя: пройдет. Успел доехать до дома, но и в Иркутске уйма дел – и сердце не выдержало.

А спустя, кажется, неделю не стало и Саввы Ямщикова. Его знали хорошо по всей России. Реставратор, ценитель и защитник русского искусства, устраивавший постоянно выставки и старых, и современных мастеров, очень большой, но не дававший себе отдыха ни на день, горячий и талантливый публицист, постоянно выступавший на радио и в газетах-журналах, не спускавший, кажется, ни одной подлости нашим ненавистникам, написавший за последние годы несколько замечательных книг, которые издавал в том числе и Геннадий Сапронов.

Что и говорить – это невозполнимые потери.

В. К.: На встрече В.Путина с писателями, которая состоялась в начале октября прошлого года, вы поставили вопрос о необходимости поддержать в условиях кризиса так называемые толстые литературно-художественные журналы. Письмо главе правительства с такой просьбой подписали руководители нескольких ведущих, самых известных

журналов страны. Конкретно просьба состояла в том, чтобы на федеральном уровне финансировать библиотечную подписку на эти издания, особенно для сельских библиотек. Некоторое время спустя было объявлено, что соответствующее решение принято и деньги на такую подписку выделены. Однако на днях главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Юрьевич Куняев сообщил мне: принятое решение (вместе с деньгами!) запуталось и застряло где-то в бюрократических инстанциях – никакой дополнительной подписки в конце года так и не состоялось. Кстати, как вы знаете, далеко не первый и не единственный случай: хорошие решения иногда принимаются, но часто не выполняются. Что же делать? Как быть?

В. Р.: А что мы можем сделать? Если было такое решение и деньги на подписку были выделены, – надо полагать, у правительства есть службы, которые и обязаны отыскать, где эти деньги застряли и сопроводить их по назначению. Понятно, что дорого яичко к Христову дню, то есть для журналов было важно, чтобы обещанная поддержка пришла вовремя. Но, думаю, лучше позже, чем никогда.

А что будет дальше?

В. К.: Для меня одним из показателей нынешнего отношения к настоящей культуре в нашей стране стал захват зданий, ранее много лет успешно работавших на культуру, а теперь силовым способом переходящих во владение новоявленных богачей. Перед Новым годом потрясло известие, что добрались, кажется, до знаменитого ЦДРИ – Центрального дома работников искусств. Он был открыт в феврале 1930 года, на открытии Маяковский читал вступление в поэму «Во весь голос». И кто только из подлинно великих деятелей нашей культуры не встречался за прошедшие годы в этих стенах со зрителями и слушателями! А вот теперь в ЦДРИ не уверены, что им удастся отметить свое 80-летие.

Продолжается, насколько я знаю, и осада здания Союза писателей России на Комсомольском проспекте. Появилось ли там хоть что-то обнадеживающее?

В. Р.: «Захватили, захватили»... Вот уже двадцать лет мы живем под громогласное эхо этого разбоя. И до сих пор нет твердого закона (или на него плюют), который раз и навсегда отбил бы охоту зариться на чужое. Если решаются на захват, значит, уверены в своей силе. И особенно – как с молотка пошла – посягают на собственность или аренду работников искусств, театров, писательских домов. Если вспомнить наши с вами беседы: пытались ведь и МХАТ имени Горького отнять у Дорониной, и театр Корша, бывший филиал МХАТа, а затем Театр наций, и вот здание Союза писателей России не в первый раз выдерживает осаду... Да и многое что еще... И если эти попытки не прекращаются, значит, посягатели, хорошо разбирающиеся в обстановке, чувствуют и наблюдают, что Россия сейчас все более теряет свою славу страны великого искусства и высокой нравственности и что ей достаточно телевизионного балагана.

Вот пример: мы только что справили 150-летие А. П. Чехова. МХАТ имени Горького подготовил к юбилею две премьеры, да и ранее поставленный знаменитый спектакль «Вишневый сад», где Раневскую изумительно играет Татьяна Васильевна Доронина, продолжает с успехом идти. Идет также веселый, искрометный спектакль по чеховским рассказам – «Весь ваш Антоша Чехонте». А еще МХАТ провел и прекрасный, очень душевный вечер, посвященный чеховской дате. Но разве откликнулось телевидение на все это? Разве показало стране во всю ширь, как следовало бы?

В. К.: Увы! И это ведь далеко не первый факт демонстративно несправедливого отношения к театру Татьяны Дорониной, о чем мы с вами раньше уже говорили. Зато всякому непотребству – поддержка и внимание.

В. Р.: Абсолютно согласен с вами... А что касается здания писателей России на Комсомольском проспекте,

В. В. Путин на наши просьбы о помощи наложил резолюцию: не трогать писателей. Но не трогать – это еще не спасение. Аренда этого дома стоит денег и денег, прежде нас выручала субаренда, а теперь ее запретили. Накануне Нового года произошло, надо считать, чрезвычайное, огромной важности событие – объединение Союзов писателей Беларуси и России. Но в тех условиях, в каких оказался наш Союз писателей, это объединение недалеко уйдет. А подобные инициативы надо бы властям поддерживать всерьез. Не за себя печемся.

В. К.: Невеселый у нас с вами разговор получился. Но есть все-таки и отрадные новости. К ним относится, безусловно, присуждение Валентину Григорьевичу Распутину премии правительства РФ за книгу «Сибирь, Сибирь...», с чем я вас искренне поздравляю. Среди лауреатов правительственной премии с радостью отметил также Альберта Лиханова, диалогия которого «Русские мальчики. Мужская школа» печаталась в «Нашем современнике», и особенно, конечно, хор имени Пятницкого, который совсем было исчез из нашей культурной жизни да и сейчас, к сожалению, на телеэкране появляется крайне редко. Хочу вспомнить еще спектакль по вашей повести «Последний срок», привезенный прошлой осенью из Иркутска в Москву на театральный фестиваль «Золотой витязь» и редкостно тепло, сердечно встреченный зрителями...

В. Р.: Я думаю (и вижу), что единой России сейчас нет, она осталась лишь в названии политической партии. В действительности же Россия разошлась на две противостоящие одна другой силы. Есть и третья – бездействующая, равнодушная, смертельно опаленная ее судьбой. А из двух первых одна – не любящая, не понимающая и даже ненавидящая Россию как историческую, так и современную, но обирающая ее безжалостно, не признающая ни песен ее, ни языка, ни народных нравов. А ведь тоже дети России, и тоже вроде законные. Но поставившие себя выше ее.

Вторая сила – та, из которой слагается народ. Преданная своей земле и в несчастьях, и в редком благополучии. Молящая за нее, своих детей воспитывающая в любви к ней, горько страдающая при виде ее запущенных пашен и погибающих деревень, сердцем понимающая, что без деревни Отчизна наша даже в больших городах – это только выселки, а не родство с землей. С болью в сердцах наблюдающая, как власть позволяет отлучать от родного в школах, университетах и приучать к безобразию в кино и на телевидении. Чего там – почти всюду. Стойки, воистину стойки, стараются держаться, но опоры от мира все меньше. Опора только в храмах.

Но вот, как вы правильно говорите, отрадная новость последнего времени – список лауреатов правительственной премии. Поверьте, моя радость не за себя (хотя за «Сибирь, Сибирь...») и мне приятно получить признание), но гораздо более того радость за многих в списке награжденных. И особенно за хор имени Пятницкого. Вот уж кто словно из небытия поднялся и как запел! И если даже в правительстве услышали – хочется надеяться, что этот крен в сторону отечественного искусства не случаен. А уж о наших доморощенных недругах позаботится, как она это давно делает, заграница. В том числе и российская заграница.

Февраль 2010 г.

Горюшко ты наше, батюшка Байкал

Виктор Кожмяко: Вы слышали, Валентин Григорьевич, что в соответствии с принятым недавно правительственным постановлением Байкал ныне снова можно отравлять?*

* В. Путин подписал постановление правительства, согласно которому Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) опять может приступить к выпуску своей продукции: производство целлюлозы, бумаги, картона теперь исключено из перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Как известно, в свое время одним из первых и самых активных защитников Байкала, вступивших в борьбу против отравления чудо-озера ядовитым комбинатом, стал Валентин Распутин.

Валентин Распутин: Да, вместе с новогодними поздравлениями в наступившем году пришла неприятная новость: правительство дало добро на запуск после более чем годичного перерыва БЦБК – Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Без объяснений – временная это мера или «до победного конца», пока Байкал по качеству своей воды не сравняется со всеми остальными пострадавшими от человеческой алчности водоемами. Байкал велик, и добиться этого не так просто, но ведь велики и аппетиты тех, кто получил над ним власть.

В. К.: Насколько я знаю, основной хозяин комбината, о котором мы сейчас говорим, – печально знаменитый олигарх Дерипаска. Это ему нужна прибыль по максимуму, без всяких там ограничений и как можно скорее. Это он, когда в 2001 году вроде бы уже был утвержден план перевода предприятия на замкнутое водопользование, добился, чтобы проект Минприроды был закрыт. Не захотел дополнительных трат? Не пожелал сокращать свою сверхприбыль?

В. Р.: Конечно!.. Более полувека продолжается эта Байкалиада (иначе не скажешь), когда одни, не нашедшие иного места для грязного производства, изо всех своих рупоров утверждают, что Байкал не страдает, а другие пытались и пытаются отвести от него беду. В середине 60-х минувшего столетия с протестами против запускаемого комбината выступили десятки и десятки самых именитых литераторов, и в их числе – Михаил Шолохов, Леонид Леонов, Олег Волков, Владимир Чивилихин, Сергей Залыгин...

Лучше всего понимали, чем грозит Байкалу этот незаконнорожденный «сожитель», разумеется, ученые. Академики А. Трофимук, В. Сукачев, С. Соболев, М. Лаврентьев, П. Капица, А. Яншин, Б. Ласкорин и многие другие в голос предупреждали: нельзя, это – преступление! Вспоминаются слова П. Капицы: «...Даже небольшое количество ядовитого загрязнения от целлюлозного комбината может вызвать полное нарушение биологического равновесия и совсем по-

губить чистоту озера». А ведь комбинатов два – второй рядом, на Селенге, впадающей в Байкал...

В. К.: Итак, с октября 2008 года и до последнего времени БЦБК не работал, создав, однако, другую острую проблему – трудовой занятости для жителей Байкальска. Вовремя-то ведь об этом не позаботились, не перепрофилировали комбинат в 1992 году, когда необходимо было это сделать. Но что же подвигло председателя правительства подписать нынешнее опасное решение?

В. Р.: Наверное, то, что В. Путин, спускавшийся прошлым летом на дно Байкала на глубоководном аппарате «Мир-1», не нашел там никакого загрязнения. Вот после этого и принял решение возобновить работу комбината.

Мне тоже посчастливилось спуститься на дно Байкала, правда, на меньшую, на 600-метровую глубину. И я тоже никаких загрязнений там не заметил. А видел жизне-радостных бокоплавов, которые сновали туда-сюда перед нашими взорами и давали понять, что чувствуют себя здесь совсем неплохо.

Но ведь Байкал велик и могуч что вширь, что вглубь, и до поры до времени он способен сопротивляться. Однако даже и теперь та байкальская вода, которой торгуют и в Иркутске, и в Москве, берется с больших глубин, а не зачерпывается ведром с лодки или катера. Местные жители хорошо знают, что поверхностная вода теперь далеко не та, что была прежде, когда и немалые глубины казались рядом, рукой доставай нырнувшую туда монету.

В. К.: А в советское время какая перспектива конкретно определилась для Байкала с учетом той активной общественной борьбы за его сохранение, в которой вы столь горячо участвовали?

В. Р.: В 80-х годах минувшего столетия правительство Н. И. Рыжкова приняло решение перепрофилировать комбинат на безвредное производство к 1993 году. Я тогда был в Государственной комиссии по Байкалу и помню,

каких это стоило усилий. И все-таки решение состоялось. Но наступили новые времена – и от него, того решения, под различными предложениями отступили. Начиналась эра олигархов.

В. К.: Теперь, когда дошло до вас это тревожнейшее сообщение о постановлении правительства РФ, вы обратились к мнению ученых – ваших соратников по борьбе за Байкал?

В. Р.: Да, вспомнив события 1987–1988 годов, когда при прежней власти решалась судьба Байкала, я позвонил в Иркутск участникам тех событий – ученым Михаилу Александровичу Грачеву и Рюрику Константиновичу Саляеву с просьбой коротко прокомментировать решение правительства о запуске целлюлозного комбината.

Теперешний директор знаменитого Байкальского лимнологического института М. А. Грачев напомнил мне: «У меня, если не забыли, и тогда было особое мнение. Я говорил: Байкал, этот могучий организм, не так-то легко отравить даже и этими комбинатами. Только зачем они здесь? Им здесь не место. Это – Байкал. Подобные предприятия в этом месте не могут быть выгодными ни с какой точки зрения. Да и ЮНЕСКО, взявшее Байкал под охрану как объект мирового наследия, я думаю, не промолчит».

А вот что сказал Р. К. Саляев, член-корреспондент Российской академии наук: «Очередной пример бездумного отношения к будущему! Есть вещи, на которых настаивать нельзя, будь они с замкнутым циклом водопользования или циклом распахнутым. О тысячах людей, оставшихся в Байкальске без работы, конечно, надо было подумать. Но подумать не в последний момент. Поменьше дать, побольше взять – это очередной пример двухэтажной глупости».

А я вспоминаю давнее, состоявшееся в конце декабря 1988 года, заседание межправительственной комиссии в Госкомгидромете СССР. Эта комиссия была создана тогда для контроля принятого правительством постановления по

Байкалу. Вел заседание, как всегда, председатель Госкомгидромета Юрий Антониевич Израэль. Разгорелась дискуссия, насколько вреден для здоровья людей отходящий газ целлюлозного производства под названием метилмеркаптан. Израэль устало прерывает спор: «Что вы мне про метилмеркаптан? Диоксид сразу отбрасывает ваш метилмеркаптан на 110-е место. Вот чего надо бояться!»

А вспомнил я об этом страшном диоксиде, прочитав в последней прессе о запуске комбината, что он-то, этот самый диоксид, который с ужасом упомянул в свое время Ю. А. Израэль, и используется при производстве белой целлюлозы, которая вновь разрешена теперь на Байкальском комбинате.

Нет, не олигархам спасать Байкал, они могут его только эксплуатировать, как говорится, почем зря. А подниматься на защиту его опять придется народу!

Февраль 2010 г.

Что у них за душой?

*Явление «Русского пионера»
от миллиардера Прохорова*

Виктор Кожмяко: Валентин Григорьевич, в одной из наших последних бесед мы коснулись вопиющего происшествия на крейсере «Аврора». Здесь, на корабле № 1 военноморского флота России (это его официальный ранг!), где находится также музей, была организована бурная пьянка с участием государственных персон. Достаточно назвать полномочного представителя президента Клебанова, министра федерального правительства Набиуллину, губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко. Развлекали гостей скандально знаменитая телеведущая Тина Канделаки и матерный певец Шнуров по прозвищу Шнур. Музыкально аранжированная его матерщина всю раздавалась над

вечерней Невой, а специально нанятые люди и наиболее лихие гости, основательно поднабравшиеся, прыгали с борта крейсера в реку под восторженные крики всей компании.

Краткую свою оценку этому явно вызывающему событию вы в прошлый раз уже дали. Но, думается, стоит продолжить тему после того, как вы и я познакомились с изданием, годовщина которого стала поводом для столь необычного, мягко говоря, мероприятия. Речь идет о буржуазном журнале под характерным и тоже, конечно, вызывающим названием «Русский пионер». Принадлежит он миллиардеру Михаилу Прохорову, которого после громких его походов с «девочками» во французском Куршевеле шуточно именуют иногда Прохором Куршевельским. Если же вспомнить, что слово «пионер» означает «первый», то сам владелец «Русского пионера» теперь в определенном смысле стопроцентно оправдывает название своего журнала. Ведь по недавно опубликованным данным, он, Прохоров, признан самым богатым россиянином, то есть первым среди 77 долларовых миллиардеров России. Даже непревзойденного Романа Абрамовича несколько обошел...

Ну и как вам журнал этого «первого»? Не увиделось ли на его страницах нечто общее со знаменитыми эпатажными мероприятиями в Куршевеле и на «Авроре», которые инициировал тот же Прохоров?

Валентин Распутин: Прохоров уже не первый из миллиардеров. Стоило ему отвлечься на куршевельский «праздник, который всегда с ним», и избрать этот дорогостоящий французский курорт местом постоянных сборов и публичных вызовов, как его тут же обошел и в первые миллиардеры выдвинулся некий Лисин. «Некий» – это для нас, малосведущих, а в своем кругу Лисин, конечно, фигура знатная, которой палец в рот не клади. Точно так же два, кажется, года назад стоило Абрамовичу ненадолго отвлечься на семейные дела, как его обошел Прохоров. Мир этот,

судя по всему, не менее жестокий и самоуправляющийся, чем итальянская мафия. И стоило России всего-то на год с небольшим отвлечься на кризис, как число олигархов в нашем Отечестве увеличилось вдвое. И по каким таким законам – не понять. Ну прямо как грибы в урожайном году под солнышком и дождичком выскакивают из-под земли.

Вот так-то. Знай наших!

«Русский пионер», публичное детище Михаила Прохорова, я прочел от корки до корки. Ну, во-первых, потому, что где еще нашему брату послушать небожителей, и, во-вторых, чтение и в самом деле куда как не рядовое. Ничего похожего в нашей журналистике и литературе не случилось. Журнал выходит тиражом 30 тысяч экземпляров, но простым смертным его, конечно, не уловить, и я уже взялся выписывать самое интересное из произведений и самого Прохорова, и его соратников и единомышленников, в том числе таких персон, как Ксения Собчак, Тина Канделаки, олигарх Виктор Вексельберг, помощник президента России Аркадий Дворкович, дочь Ельцина Татьяна Юмашева, поэт Орлуша с его звучными стихами про русскую душу – ох, какое даже в отрывках это было бы наслаждение для читателя, отставшего от жизни и понятия не имеющего о высокородных нынешних вкусах. Я принялся выписывать, но осторожность заставила заглянуть в последнюю страницу журнала. Где и прочел: «Запрещается полное или частичное воспроизведение текстов». Ого! Еще и в суд потянут...

Но, читая откровенные, иногда свертоткровенные излияния душ авторов «Русского пионера», я пытался вспомнить: где же, где я встречал подобное же выворачивание героев наизнанку? И вспомнил: у Достоевского, в «Бесах». Вот из исповеди Ставрогина, одного из главных героев романа:

«Всякое чрезвычайно позорное, без меры унижительное, подлое и, главное, смешное положение, в каком мне

случалось бывать в своей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, невероятное наслаждение. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни... Клянусь вам, я не мог не оставить сущности дела, это целый социальный тип (в моем убеждении), наш тип, русский, человека праздного не по желанию быть праздным, а потерявшего связь со всем родным, и главное – веру, развратного от тоски...»

Ставрогин, как мы помним, в конце концов не выдерживает своего бесовства, кается и кончает самоубийством. Там: не могу больше терпеть себя такого, наслаждающегося грехом, здесь – жизнерадостные пляски вокруг греха, его одухотворение и вознесение на пьедестал. Вызывающая откровенность: а вот мы такие, и сегодня мы – хозяйева жизни и соль земли.

Приходится со вздохом и небольшой надеждой на лучшее согласиться: «Ну что ж, на то и бесы, чтобы православный не дремал». А чем еще можно утешиться?

В. К.: Да, пожалуй, две особенности этого журнала, как и позорнейшего действия на «Авроре», очень бросаются в глаза – вызывающая эпатажность, дабы привлечь максимум внимания, и намеренное, тоже вызывающее, святотатство. Вы в прошлый раз верно сказали о неумной изобретательности олигарха: «Что там голые девочки во французском Куршевеле! Тьфу! – плюнуть и размазать! Но вот на “Авроре” шумный и неприличный бардак с самыми знатными членами правительства и президентскими приближенными – вот это фокус! Теперь вся Россия – да что там Россия! – весь мир должен замереть в ожидании: что же дальше выкинет богатейший похабник? Ведь он, конечно, на этом не остановится!...»

Абсолютно правы (я об этом тоже много думал) в оценке безграничного олигархического желания шокировать публику скандальностью своих поступков: нам, дескать, все позволено, нам, мол, все нипочем! Но это со-

единяется еще и с демонстративным святотатством, что очевидно было уже в замысле «бардака» именно на «Авроре» и столь же явно, по-моему, отразилось в «Русском пионере». Чего стоят хотя бы «Рождественские пионерские чтения», которым в значительной мере посвящен весь первый номер журнала за этот год и которые были проведены клеветами Прохорова не где-нибудь, а в том же самом Куршевеле! «Рождественские пионерские...» А под этим опять-таки матерные стихи некоего Орлуши «про русскую душу», вызвавшие, оказывается, на тех «Рождественских чтениях» особый восторг, ну и прочее подобное. Непотребное, я бы сказал. Надо же это придумать: в открытии номера сообщить, что он посвящен теме души (!), а потом такого наворотить... Вот мой вопрос: что же у них в душе и за душой?

В. Р.: Душа, как мы знаем, бестелесна. И потому поправить ее хирургическим вмешательством, как сердце или печень, нельзя. В добрых намерениях она первая помощница человеку, можно сказать, его нянька, в дурных, когда человек не хочет или не умеет слышать свою душу, он, теряя себя, теряет и близость со своей душой. И поэтому ошибаются те, в том числе и авторы «Русского пионера», кто считает, что душа на все готова, в том числе и участвовать в их проказах. Нет, она в таких случаях не сообщница, а только свидетельница.

Сам олигарх признается в статье «Секс гуманизму не товарищ» (с издевкой, конечно, но верно. – *В. Р.*): «Когда мы становимся старше, единство и борьба противоположностей (мужчин и женщин, надо понимать. – *В. Р.*) сжирают нас не снаружи, а изнутри, душа безуспешно бьется о плоть (чаще о крайнюю), а секс...» и т.д... Продолжать не хочется.

Ксения Собчак, близко знающая олигарха и его душу, свидетельствует не без дружеской иронии: «Женщины не иссякали, сколько их ни арестовывай (случай в Курше-

веле. – В. Р.), иногда из них выбиралась какая-то, и с нею происходил акт быстрого, иногда и долгого, но всегда бессмысленно-холодного совокупления. Это было совсем не похоже на то, что было когда-то давно в жизнях этой души, и потому не приносило никакой радости...»

Спасибо и на признании из первых уст, что не душа Прохорова и души его окружения вызывали их на безобразия, а они насильовали душу. А может быть, там, в небесах, это и есть самый тягчайший и неотмолимый грех.

Вспомним опять Достоевского:

«Кто меряет в наше время душу на душу христианской меркой? Меряют карманом, властью, силой».

У преподобного Ефрема Сирина:

«Воспримем попечение о спасении души, ибо это есть “единое на потребу”, требует своего попечения и тело, но не много, ибо душа всего выше».

Разберемся, кто есть эти «они» и какие

В. К.: Мы с вами говорим: «они», «у них»... Но если попробовать определить, кто же эти «они», то, наверное, употребляя их собственное название самих себя, получится – ЭЛИТА. Я-то всегда беру это слово в кавычки, когда пишу о таких величавых самозванцах. Элита – это лучшие! Так ведь? А тут сами себя без зазрения совести называют лучшими. Дескать, завидуйте нам, равняйтесь на нас, мы – особые!

Конечно, олигарх Прохоров особый в том смысле, что непосильным трудом сумел «заработать» аж 14,1 миллиарда долларов. А всего за прошлый год, несмотря на кризис, число долларовых миллиардеров в нашей стране увеличилось в полтора раза (!) и достигло, как я уже оговорился, семидесяти семи. Все они, разумеется, тоже особые. Ведь их совокупное богатство за тот же год возросло почти вдвое – с 75,9 до 139,3 миллиарда долларов.

В общем, самозачисление олигархов в элиту не должно вызывать никаких сомнений. Неважно, что при их рекордной численности в России, выводящей нас по долларовым миллиардерам чуть ли не на первое место в мире, по среднему уровню жизни страна наша находится где-то на месте 71-м. Зато по разрыву между богатыми и бедными опять мы безусловно лидируем...

Однако в «элите» у нас не только сами олигархи, но и те, которые по богатству и знаменитости наиболее близки к ним. Вот недавно ВЦИОМ решил выяснить, кого в нашей стране считают элитой. По числу голосов первые места заняли Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Это, я думаю, понятно, они – первые в стране начальники. А дальше по тем же голосам? Третье место – Алла Пугачева. Затем – деятель шоу-бизнеса и композитор Крутой, Никита Михалков, футболист Аршавин, «телезвезды» Познер, Малахов, Ксения Собчак... С другой стороны – Шойгу, Жириновский, Лужков, Матвиенко (та самая, с «Авроры»!) и т.п.

Вернусь к прохоровскому журналу «Русский пионер». Его делает и в нем участвует, конечно, тоже «элита». Например, главный редактор Андрей Колесников – преуспевающий журналист не только из буржуазного «Коммерсанта», но и из так называемого «президентского пула», то есть максимально приближенный к власти. Та же Ксения Собчак выступает со своими размышлениями о душе Михаила Прохорова. А дочь Бориса Ельцина (чем не элита!) рассыпается в комплиментах главному редактору «Русского пионера» за «качественную журналистику». Что же это значит – «качественная»? И вообще, что вы думаете о тех нравах, о том стиле, – как в журналистике, так и в жизни, которые насаждает вся эта, с позволения сказать, «элита»?

В. Р.: Прежде чем рассуждать о теперешней судьбе «элиты», надо вспомнить судьбу русской интеллигенции, явлении действительно серьезном, нигде в мире более

не состоявшемся, а у нас вошедшем в плоть и кровь народа и в течение полутора столетий служившем ему верой и правдой. И это было не только хождение в народ, а жизнь в народе, его нравственное и культурное воспитание.

Закончилась эта служба во второй половине прошлого столетия, к сожалению, печально, а самое слово «интеллигенция» стыдливо сошло с языка. Произошло это, разумеется, не вдруг, перерождение интеллигенции в пустоватую и вожделенно заглядывающую на Запад образованщину заняло десятилетия. Публичный крах ее был во всех отношениях постыдным, когда в конце 80-х интеллигенция-образованщина стотысячными митингами в поддержку Ельцина выходила в Москве на Манежную площадь.

Подобная же участь ждет и «элиту», у которой, кстати, не случилось никаких заслуг ни перед народом, ни перед обществом. Ничего, кроме самолюбивых и вызывающих выходов на сцену и в свет. Элитарщина окончательно освободилась от всего, что называется служением Отечеству, освободилась от всяких обязанностей перед народом и добровольно заглушила в себе голос совести. Она являет, навязывает себя, но ничем полезным не является. Ни президенту и председателю правительства, ни Шойгу и Лужкову там делать вроде нечего, у них свое место. Ну, разве что показать иногда свою демократичность, доступность... Что касается пугачевых, познеров, малаховых и иже с ними – этих обреченная «элита» теперь уже никому не отдаст. Ибо они-то и подобные им и сделали ее тем, что она есть.

Жизнь, какой бы она ни была, идет вперед. Даже и не идет, а теперь уже бежит. И Андрей Колесников, редактор «Русского пионера», человек, как вы подсказываете, «из президентского пула», удивительно удачно выбравший название для прохоровского журнала, тем самым, похоже, дал понять, что с отмирающей «элитой» им не по пути. Каким станет этот путь «первых», скоро увидим, но уж, конечно,

он будет еще выше и дальше от народа и России. В этом можно не сомневаться.

В. К.: Валентин Григорьевич, я хочу обратиться к нашей великой русской классике. Хочу вспомнить знаменитый монолог Чацкого из бессмертной грибоедовской комедии «Горе от ума»:

Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве...

Как современно звучит, не правда ли?

В. Р.: Удивительно современные строки, словно Россия пригвождена ими на веки вечные. Только теперь мы уже не можем искать «отечества отцов», нам бы пойти и собрать воедино сынов Отечества, которые и есть, конечно, и, должно быть, их немало. Но не в одном строю. Надо мобилизовать их и показать, откуда опасность.

А что касается пьянки на «Авроре», события, к которому мы обратились вновь и не вернуться не могли, поскольку выяснилось, что презентация журнала «Русский пионер» сначала состоялась в Куршевеле, с которым русский олигарх породнился после известных событий, а затем повторена была на берегах Невы. А разгул, неприличные песни и прочее – все это было заложено в журнале, и обойтись без этого никак бы не получилось. После Куршевеля только «Аврора», и ничто иное, могла соответствовать статусу этого события.

Меня сперва удивило (поразило!), что там, на «Авроре», в куршевельской компании вроде бы неуместно оказались лица самого высокого ранга: министр федерального правительства госпожа Набиуллина, губернатор Санкт-

Петербурга госпожа Матвиенко и прочие. И вынуждены были слушать похабные песни про русскую душу и много что еще, а затем, вероятно, вынуждены были аплодировать. «Как же так? – не укладывалось в моей голове. – Что же у нас происходит, куда мы катимся?»

Теперь, познакомившись с этим самым «Русским пионером» и прочитав внимательно произведения его авторов, сплошь из знатной «элиты», я готов посочувствовать именитым гостям. А что им оставалось делать, если приглашение поступило от самого столь высокого олигарха, для которого нигде и ни в чем препятствий не существует? Я сам слушал по ТВ председателя правительства, который сначала попенял Прохорову за то, что деньги тот взял, а дело не сделал, но тут же и сообщил, что Прохоров его друг. В близких друзьях у этого олигарха полномочный представитель президента России Клебанов и помощник президента Дворкович. В недавней поездке президента в Париж его сопровождал (и не могло быть иначе), конечно, и Прохоров. В Париже, выступая перед высшим светом, он с очаровательной откровенностью признался, что он и есть тот самый Прохоров, который куршевельский, и снискал аплодисменты.

Вот теперь и подумайте: могли ли некоторые лица даже и весьма высокого положения отказаться от приглашения на «Аврору» самого (самого!) Прохорова! Да ведь это ой как дорого могло обойтись!

В. К.: Разговор наш, Валентин Григорьевич, выходит на тему «Власть и народ». Или можно сказать так: люди власти, обслуга власти – и так называемые простые люди. Ведь та же пьянка на «Авроре» и прочие подобные «тусовки», как сами участники их называют, с какой главной целью устраиваются? Подчеркнуть: мы – не такие, как все, мы – не чета вам, всяческому быдлу. Прямо это не всегда скажут, конечно, однако на подсознательном уровне такое

отношение к людям у них крепко укоренилось и прорывается иногда само собой.

Приведу факт, который очень сильно меня возмутил. Вот сейчас, в связи с 65-летием Победы, особенно много произносится красивых фраз в адрес ветеранов войны. Дескать, уважаем, почитаем, восхищаемся вашим подвигом. Однако в это же время появляется в правительственной «Российской газете» заметка о вечере в честь 130-летия со дня рождения И. В. Сталина, который организовала КПРФ. И обратите внимание, с какой издевкой – иначе не могу это назвать – написала некая Анна Закатнова о тех же самых ветеранах:

« – Эх, люди-то надели все свои награды, а я забыла, – почти в голос причитала старушка, распространяющая тот особый запах бедности, которым медленно пропитывался воздух в киноконцертном зале.

Толпа, в которой изредка мелькали и молодые лица, пришла действительно принаряженная, мужчины в красных галстуках, женщины, по советской традиции, “белый верх – черный низ”, и все с таким напряженным, жадным ожиданием смотрели на сцену, как будто оттуда им должны были рассказать самое главное в жизни...»

Писалось это прежде всего, разумеется, чтобы выразить пренебрежение и презрение к Сталину, к КПРФ, но выразилось-то истинное, не показное, отношение к ветеранам. Чего стоит этот «запах бедности», который они якобы распространяют! А если это даже и так, то позволительно спросить: но кто же вверг людей в эту бедность? И есть ли хоть минимальная совесть у журналистки, которая может такое написать про ныне старых по возрасту людей, защитивших Отечество в роковую годину?

В. Р.: Значит, запах бедности, распространяемый старушкой, запах, «которым медленно пропитывался воздух в киноконцертном зале». И до чего же, должно быть, тяже-

ло было переносить этот запах! Да и от всех ветеранов как, должно быть, несло! Это же никогда не выветривается!

У нас вообще везде и всюду неприятный запах для чувствительного нюха. Как пахнут до сих пор вдовы, получившие в свое время похоронки, пахнут даже и из могил, где они наконец нашли утешение! Не улетучился запах и голодной России военных и послевоенных лет. А колхозники на тракторах, колхозницы в коровниках и свинарниках! Это же ведь и до Москвы навозный дух достигал! Да и в наше время в чеченских окопах и полевых госпиталях от искалеченных наших ребят исходил не самый благовонный дух. Вся Россия, надо признать, пахнет как-то не парфюмерно. И только в последнее время стало почище, когда некоторые зажили «по европейским законам». И уж если на это обстоятельство обратила внимание правительственная газета, дело выправится окончательно.

Вот и запах Сталина не могут переносить. Но тут уж я оставлю иронию и напомним читателям, что, сколько бы ни ненавидела Сталина и на дух его не принимала нынешняя инославная «элита», не следовало бы забывать ей, что в России не только ветераны, но и молодежь относятся к нему совсем по-иному.

И когда, напомним, выдвигались народом кандидатуры на «Имя Россия», третье место после благоверного Александра Невского и П. А. Столыпина было отдано Иосифу Виссарионовичу, генералиссимусу Великой Отечественной. Мало для кого секрет, что занял-то он в действительности первое место, но на две позиции был сознательно отодвинут, чтобы «не дразнить гусей», то есть не принимающих Сталина на дух граждан.

Интернет, оказывается, – могучее орудие общественного мнения. Я недолюбиваю интернет за его бездушное всеумение и всезнание, но приходится признавать его силу – тут уж ничего не поделаешь. И Сталин занял до-

стойное место в конкурсе «Имя Россия», конечно, прежде всего благодаря ему.

И когда сегодня наша недалекая либеральная то ли элита, то ли шарашка, злобно ненавидящая Сталина, требовала, чтобы в юбилейные дни 65-летия Победы и духа Иосифа Виссарионовича нигде не было, не говоря уж о портретах вождя, она добилась этим только того, что и духа, и портретов будет гораздо больше, чем если бы она так нахально не выставляла свои ультиматумы фронтовикам, да и всем нам.

И правильно: не лезьте в душу народную. Она вам неподвластна. Пора бы это понять.

Аскетизм не подходит этой власти

В. К.: Кстати, будучи на Украине, патриарх Кирилл говорил о нравственных требованиях к людям власти. И одно из них такое: больше аскетичности. Как бы кто ни относился, скажем, к тому же Сталину, однако скромность или даже аскетичность бытовой его жизни, по моему, не вызывает сомнений. А нынче у нас все наоборот. Принятый стиль жизни «в верхах» – это «гламур», демонстрация опять-таки своей особенности, в том числе особой «изысканности», роскоши, богатства. Идет такое, конечно, от олигархов, задающих тон, но и во власти, в службе ее – люди сплошь весьма не бедные. Соревнуясь между собой, показывают народу: вот мы какие «крутые», а до вас, распространяющих «запах бедности», нам и дела нет. Но как после этого люди будут относиться к официальным разглагольствованиям про «заботу о благе народа»?

В. Р.: Больше аскетичности! А не опоздали? Сталин не только сам был аскетом, но требовал аскетизма и от своих подчиненных. Почти до самого конца существования Советской власти партийные работники обходились только

казенными дачами, не очень-то обогащались своим положением. Тот разбой над народной собственностью, который устроили, захватив власть, Ельцин, Чубайс и Гайдар, в нашей истории сравнить не с чем. Поэтому их имена ни теперь, ни в дальнейшем не могут получить оправдания, в какие бы одежды их ни рядили и какие бы памятники им ни воздвигали. Они нанесли своему (своему?) народу и государству урон не меньший, чем гитлеровская оккупация. Более того! Война с Гитлером, несмотря на огромные людские потери, духовно и физически, как никогда, объединила народ в единое целое, а власть Ельцина и его приспешников разметала и унизила народ до положения пленных в своем Отечестве. Сохранился ли у нас народ в приблизительном хотя бы единстве, не опустился ли он до положения неведомо откуда взявшихся пришельцев, не помнящих родства, мы и сами не поймем. С нерешительностью оглядывается он вокруг: то ли жить, то ли дальше ехать? Но в том, кто теперь гегемон, можно не сомневаться. Эту гегемонию мы наблюдаем и испытываем на каждом шагу, и унять ее власть и ее аппетиты, кажется, уже невозможно, пока мы будем двигаться по пути Ельцина и признавать за благодетеля Чубайса.

В. К.: Недавнее столкновение на Ленинском проспекте иномарки вице-президента «Лукойла» с автомашиной, в которой ехали две женщины-врачи (трагическое столкновение!), убедительно показало, на чью сторону сразу же становятся правоохранительные органы. Они всячески выгораживают и защищают тех, кто богаче! Старая половица «С богатым не судись» снова и снова проявляет ныне жизненную обоснованность. И, конечно же, к этому нередко добавляют новорожденную мудрость: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» Внедряется в сознание людей, что деньги любой ум заменят, ну а уж совесть, душу – тем более. Но к чему это приводит и к чему может привести в будущем?

В. Р.: Я могу припомнить еще одну поговорку, подходящую для этой истории. Звучит она так: «Бедность плачет, а богатство скачет». «Скачет» в нашем случае – не признает никаких правил не только человеческого общежития, но и дорожного движения. Уже сама марка машины должна обозначать, кому писаны законы и кому не писаны.

Вице-президент «Лукойла» пусть и не сразу, но извинился перед родственниками погибших. Но извинился, должно быть, хитро, признав столкновение, но не признав вину своей машины. Потому что когда следователь, ведущий это дело, стал докапываться до истины, сначала неизвестные выбили стекла его машины, а затем и стекла в машине его жены. То есть с самого начала действуют самостоятельно как бы только машины, не поделившие дорогу, а хозяева их здесь ни при чем. Погибшие погибли, их не вернуть, а оставшимся жить дайте дорогу, ибо она им в первую очередь и принадлежит.

*В святотатстве и больших
деньгах нет вдохновения*

В. К.: «За душой ничего святого...» По-моему, все больше людей, о которых можно это сказать. Причем все чаще агрессивно и вызывающе демонстрируют отсутствие святого отношения к чему бы то ни было, кроме денег. В этом смысле можно рядом поставить, скажем, скандальную выставку «Осторожно: религия!», где издевались над православными святынями, и осквернение военного крейсера «Аврора». А что происходит по отношению к нашей русской литературной классике, которая всегда тоже была святыней для нас?

Хочется сказать о Чехове, 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Мало того, что на сцене многих театров пьесы великого писателя «переделяются» до неузнаваемости. Взались теперь и за «переделку»

благороднейшей личности этого человека. Известно, что доктор Чехов бесплатно лечил бедных, построил на свои средства несколько школ для крестьянских детей, совершил, будучи тяжело больным, героическую поездку на остров Сахалин, чтобы рассказать о жизни каторжников и оказать им посильную помощь. Однако совсем не это в жизни писателя привлекло внимание телевидения и прессы в связи с юбилеем.

Английский литературовед Дональд Рейсфилд издал книгу, где изобразил Антона Павловича просто каким-то сексуально озабоченным типом. То есть постарался всячески принизить, опошлить его! И на это охотно откликнулись многие российские СМИ. В результате на телеэкране к юбилею чуть ли не главным «открытием» стало: «Чехов потерял невинность в 13 лет!» Вот вокруг этого и подобного почти все крутилось на телевидении, вот что «со вкусом» рассказывали с экрана о великом писателе, гражданине, патриоте.

И как оценить, что в родном для Чехова Таганроге к юбилею поставили памятник не кому-нибудь из лучших его героев, а «человеку в футляре»? Почему? И как могли жители Томска допустить, что здесь несколько лет назад появился прямо-таки карикатурный «памятник» самому писателю? Дескать, это «Антон Павлович Чехов глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего “Каштанку”». Такую подпись скульптор Леонтий Усов сделал под тем отвратительным уродцем, которого он изваял. Значит, с точки зрения «пьяного мужика, лежащего в канаве», можно теперь кого угодно и как угодно уродовать? Выходит, действительно нет нынче для определенных «художников» никого и ничего святого?

В. Р.: Особенно возмущает, что не только наши соотечественники выстроились в очередь, чтобы оплевывать А. П. Чехова, находя для этого самым подходящим моментом его юбилей. Но вот уже и заграница кинулась им на

помощь. Или уж так поставила себя Россия, что ее народ, ее историю и ее великих в литературе и искусстве можно пинать всем кому не лень, или это заказ, один из многих, чтобы отнять у народа и обесчестить самые любимые им имена. И еще раз заявить, что никогда «в этой стране» ничего достойного не водилось.

А спросите у господина Дональда Рейсфилда, соорудившего пасквиль на А. П. Чехова: а что, если бы русский литературовед к юбилею Ч. Диккенса, Р. Киплинга или Дж. Голсуорси взял да и помазал бы их от души грязью – понравилось бы это англичанам? Можно не сомневаться: не понравилось бы. Тем более что в Англии, кажется, нет, как у нас, обширного общества ненавистников своего отечества, не признающих в нем ни прошлого, ни настоящего – ничего, кроме своего особого мира.

Сегодня, мягко говоря, недружелюбие этих самых «оних» к А. П. Чехову доходит до абсурда. На сцене МХАТа им. Чехова (имени Чехова!) идет спектакль по пьесе Антона Павловича «Вишневый сад». Главную роль, роль Раневской, играет актриса Рената Литвинова. И вот она после премьеры публично заявила: «Я ненавижу Чехова!» Казалось бы, ненавидишь – не играй. Чего проще! Нет, буду играть именно потому, что ненавижу, чтобы эта ненависть перешла и к зрителю.

Чего только не узнаешь, не услышишь о Чехове в эти дни! Был он, оказывается, редкостным развратником и, когда наведывался в Европу, первым делом отправлялся в публичный дом. В наши невиданной «нравственности» времена, казалось бы, можно об этом и не упоминать. Но вот читаю у чеховского современника Василия Розанова: если даже и случалось Чехову заглядывать в публичные дома, в этом не было никакой порнографии. Он устраивался в общем зале и наблюдал. Должно быть, «Чехов любил это как сферу наблюдения или как обстановку грезы, мечты; может быть, как стену противоположности, через которую проби-

валась его идеалистическая мысль и, пробиваясь, становилась энергичнее в действии и напряжении».

Розанов вспоминает еще об одном «чудачестве» Чехова: он любил бывать на монастырских кладбищах и читать надгробные надписи. «Как это похоже на Чехова, как идет к нему!» – искренне отзывается Розанов. И действительно, это, казалось бы, чудачество доказывает, что творческая душа Чехова была шире и глубже обыкновенных интересов и умела доставлять писателю недоступные многим ощущения.

В вину Чехову ставится теперь даже и его поездка на Сахалин. Зачем, дескать, это ему надо было? Не хватало славы? Славы хватало. По-иному надо смотреть: как хватило у этого отнюдь не богатырского сложения и уж отнюдь не богатырского здоровья человека мужества и силы на более чем десяти тысячное бездорожье, которое нынче и представить нельзя. И все для того, чтобы и Сибирь понять, и несчастным каторжанам помочь. И ведь помог, насколько это возможно было, и ведь по его следам поехали затем другие (прежде всего – врачи) с тем же желанием помочь. И заново открыл он Сахалин для всей матушки России.

Томск по пути на крайний восток Чехову не очень понравился. И он не скрыл этого: и люди заходили к нему в гостиницу не располагающие к серьезным беседам, и город показался скучным. Может, погода подействовала. Бывает. Чехову можно и простить, и попытаться понять его. Томичи не простили, если позволили выставить его образ в уродливом виде. Автор скандального памятника Антону Павловичу, некий Леонтий Усов, где угодно мог завестись с проявившимися в нем вкусами, эта порода ваятелей особенно размножается в хлябкие времена. Но ведь должно же в Томске, университетском городе, существовать и здоровое общественное мнение, есть там и городская власть, которой должно быть небезразлично, в какой позе выставляется здесь Чехов и тем самым их город. Я хорошо знаю, сколь

многие в Томске этот, с позволения сказать, «памятник» не принимают, знаю, что они протестовали и продолжают протестовать против него. Безрезультатно.

Об Иркутске Чехов, также побывавший в нашем городе, отозвался почти с восторгом. Но почему-то я уверен, что, будь его мнение совсем иным, иркутяне все равно не позволили бы издевки над Антоном Павловичем. Нехорошо.

А почему же, спрашивается, так ополчились на Чехова именно в его юбилейные дни? Не совсем вроде прилично. Да потому, думаю, что прочитали Антона Павловича по поступившим наводкам пристальной и отыскивали у него страницы, где обнаруживается «еврейский вопрос». Совсем небольшой, если так долго всерьез не обращали на него внимания, но теперь все-таки обнаружили. Ну и все: ату классика, ату! И юбилей выбрали не случайно: слышнее и больнее для нашего брата. На войне как на войне.

А то, что в книгах Чехова существует и русский вопрос, и куда в большей степени, это так и положено.

В. К.: Опустошение душ людских, о котором мы сегодня с вами говорим, низведение их с нравственной высоты в яму, в грязь, в болото, не может не сказаться буквально на всех сферах нашей жизни. В том числе и на спорте, о котором в последнее время много говорят в связи с крайне неудачным выступлением наших спортсменов на зимней Олимпиаде в канадском Ванкувере. Да, разрушена советская система подготовки спортсменов, и это, безусловно, сказалось. Но, по-моему, дало о себе знать и нравственное, духовное разрушение людей. Ставка на одни лишь деньги явно себя не оправдывает. Если нет у соревнующихся сильного патриотического духа, то не действуют и посулы «куршевельца» Прохорова, обещавшего «миллион евро на двоих за победу». Он, Михаил Прохоров, становится теперь, похоже, чуть ли не главным спонсором в спорте. Рассказывали о грандиозных хмельных приемах в так называемом «Русском доме» на Олимпиаде, о бурных возлияниях там.

Но, увы, нашим спортсменам это перенесение куршевельских нравов в Ванкувер не помогло – напротив, судя по всему, еще более деморализовало.

Есть у меня и еще одно конкретное наблюдение на сей счет. Телеканал «НТВ» показал обсуждение в студии олимпийских итогов. Присутствовал там и редактор прохоровского журнала «Русский пионер» – упоминавшийся Андрей Колесников. Так какую же главную рекомендацию высказал он как вывод из российского провала на Олимпиаде? Надо как можно больше закупить иностранных тренеров!

Вот вам и вся премудрость. Наши отечественные тренеры обеспечивают громкую славу китайским спортсменам, а у Колесникова и его патрона Прохорова вся надежда на западных учителей. Вот до чего в плоть и кровь впиталось восхищение перед всем иноземным, заемным, «не нашим». А можно ли прийти к большим победам, опираясь не на свои силы и опыт? Можно ли вообще хоть в чем-то стать победителем, если за душой – ничего?

В. Р.: Деньги, деньги, деньги!.. И чем дальше, тем чаще произносят это заклинание и тем больше поклоняются ему. Много ли получали советские спортсмены, раз за разом побеждавшие и на Олимпиадах, и на мировых первенствах? Да нет, не за деньги, а за честь Отечества сражались они, и это вдохновляло их больше, чем теперешние барские посулы. Спорт начинался в каждой школе и продолжался в университетах и институтах. В армию ребята шли не из-под палки, а там непременно закаливание и тренировки тела и духа. Все происходило в общем процессе воспитания, а уж затем лучшие, талантливейшие, показавшие свои недюжинные способности могли окончательно отдаться спорту.

Деньги, деньги, деньги... Я не могу понять... Почти все понимают и признают это необходимым, а я, дурак, никак не дотумкаю. Не могу понять, почему в футболе, баскетболе, хоккее и много где еще мы не можем обойтись без «ва-

рягов» и платим им бешеные деньги. А своих ребят продаем в иностранные клубы. Что это за рокировка, к чему она? Когда наши хоккеисты в 70-х, кажется, годах высадились в Канаде, стране лучшего в мире хоккея, и принялись играть за игру выигрывать у хоккейных законодателей, не было у нас и не могло быть ни одного «варяга». На всем своем побеждали и десятилетиями никому не уступали. И не требовались для этого барские деньги подозрительного происхождения от господ Абрамовича и Прохорова.

В. К.: Не могу не привести еще одно – прямо-таки знаковое, программное! – высказывание, прозвучавшее недавно из уст главного идеолога власти – первого заместителя руководителя президентской администрации Владислава Суркова. В связи с проектом создания супермодного «иннограда» под названием «Сколково», где ставка тоже делается на импорт (в данном случае – на импорт не тренеров, а научных мозгов), этот идеолог заявил: «Быть патриотом сегодня – это желать как можно большего количества иностранцев, работающих в России». Что можете сказать на сей счет?

В. Р.: Ну, тут уж, как говорится, без комментариев. Трудно придумать более странный патриотизм и более нелепых патриотов...

Июнь 2010 г.

«С НАС ХОТЯТ СОДРАТЬ ПОСЛЕДНЮЮ КОЖУ»*

Об этой книге

Книга «Боль души» родилась из бесед, которые мы с Виктором Стефановичем Кожемяко ведем с 1993 года.

* Из выступления на встрече с читателями в Московском гуманитарном педагогическом институте, посвященной изданию книги «Боль души» (М., 2007).

Первый наш разговор состоялся вскоре после расстрела Верховного совета, а затем появилась потребность его продолжать. Потому что много острых вопросов в нынешней жизни, требующих обсуждения.

И говорим мы обо всем откровенно, до последней откровенности. Скрывать ничего не надо. Они, противники наши, не скрывают ничего – а нам чего же стесняться? Отклики на книгу, которые мы получаем, подтверждают: только так и следует вести разговор.

О состоянии культуры

Постоянная наша тема – это культура. Что происходит с ней в России сегодня? Вот недавно я прочитал слова Тихона Хренникова, сказанные им в прошлом году, накануне смерти. Он сказал: «Нет культуры – нет государства. Есть культура – есть государство». А ведь совершенно точно!

Без культуры ну какое же может быть государство, если нет воспитания? Без культуры ну какое же будет государство, если по телевизору распевают те песни, которые мы слышим, например, в Новый год? Это же ужас! Это прямо-таки голоса с Лысой горы, и причем с каждым годом все «лучше», все больше. И некому, как видно, остановить. Да что там некому – не хотят остановить!

Ведь сколько уже лет творит Швыдкой свое подлое дело в культуре! Мы от Союза писателей отправляли письмо президенту, протестовали, заявляли, что не хотим мириться с таким руководителем культуры. И вот вроде бы пришел новый министр. Но мы же видим: у этого министра культуры нет возможностей влиять на культуру! Потому что все фактически осталось у Швыдкого.

А он явно поставлен для того, чтобы разрушать культуру. Судя по всему, задание ему такое дано, потому и чувствует себя столь уверенно. И ведь он, Швыдкой, не один такой.

То, что делается сегодня в образовании и культуре, – это все равно что сдирать кожу с человека. Кажется, с нас хотят содрать последнюю кожу, до самого конца. Больно! Духовно и морально невыносимо больно.

О нынешней школе

Если же говорить о школе, то там все еще страшнее, гораздо страшнее. На что ребята обречены? С этим так называемым единым государственным экзаменом, с этими «тыками»-тестами разве могут они получить настоящее образование? Неудивительно, что многие из школы выходят просто безграмотными.

Мне известно, что в Московском государственном университете некоторое время назад стали организовывать курсы русского языка для поступающих. Настолько они безграмотны. Не знаю, существуют ли эти курсы сейчас, но какой все-таки тревожный симптом!

Да, русский язык молодые знают все хуже и хуже. В семьях надеются, что государство, как это было при советской власти, научит детей самому необходимому, а ничего не получается. Школа сегодня для многих учеников – это почти гибель. Много пишут об этом, много говорят. Но все остается без изменений. Потому что государство думает иначе.

Особенно душа болит за деревню, где школы, так называемые малокомплектные школы, теперь сокращаются. Какая же Россия без деревни? Когда-то Шукшин говорил: как ни посмотришь в черной рамке (то есть в газетном некрологе об ушедшем великом человеке) – наш, деревенский.

Мне одна учительница написала из села, как ей приходится хитрить, чтобы увеличить число часов для русского языка и литературы. Пускай, дескать, они там «наверху» свое придумывают, а я действую по-своему. И у меня получается на один или даже два часа в неделю больше, чтобы

учить детей родному языку. Но много ли таких учителей? И будет ли их со временем больше?..

Сейчас, говорят, рождаемость повышается, что само по себе, конечно, хорошо. Но ведь детей малых подкарауливают со всех сторон! Швыдкой подкарауливает, нынешняя школа, соблазны всякие. Чтобы сделать не человеком, а неизвестно кем.

О нашей призванности и нашем стоянии

Наверное, я нарисовал довольно мрачную картину. Если продолжать эту «Боль души», то продолжать ее придется, видимо, долго. Однако и стоять придется, поскольку веры в лучшее будущее и надежды терять нельзя.

Стоять надо! Бывает так, и у меня бывает: приглашают куда-то на хорошее дело, а уже устал, уже и годы, и не хочется никуда идти – тянет просто с книжкой посидеть. И отказываешься. А потом совесть среди ночи просыпается: почему отказался? Ведь полезное, нужное дело, о важном будет разговор, а ты все-таки отказался.

Ну да, усталость, возраст, но надо идти до последнего. Носят ноги – иди, есть о чем говорить – говори. Я думаю, это наша призванность: ни в коем случае не молчать, не устраниваться, не уходить оттуда, где ты нужен...

2008

КОММЕНТАРИИ

Поле Куликово

Первая публ.: Литературная Россия. 5 сентября 1980.
(К 600-летию битвы на поле Куликовом.)

Ближний свет издалека

Первая публ.: Литературный Иркутск. Апрель 1990.

Из глубин в глубины

Первая публ.: Литературный Иркутск. Декабрь 1988.
(К 1000-летию Крещения Руси); Наш современник. 1989. № 11.
С. 153–161.

Смысл давнего прошлого: религиозный раскол в России

Первая публ.: Литературный Иркутск. Май 1989; Наш современник. 1989, № 11. С. 146–152.

На Афоне

Первая публ.: Гудок. 1 февраля 2005.

Откуда есть-пошли мои книги

Публ. по: *Распутин В. Г.* Избранные произведения. М., 1997.
Т. 1. С. 5–14.

Байкал предо мною

Публ. по: Роман-журнал XXI век. 2003. № 8. С. 6–9.

Иркутск с нами

Первая публ.: Советская культура. 14 сентября 1979.

Байкал, Байкал...

Первая публ.: Советская культура. 15 мая 1981; Наш современник. 1989. № 7. С. 12–44; первое издание – в книге «Век живи – век люби» (М.: Молодая гвардия, 1982).

Сибирь без романтики

Первая публ.: Сибирь. 1983. № 5. С. 106–128.

Кяхта

Первая публ.: Огонек. 1986. № 23. С. 8–11; № 24. С. 17–20.

Русское Устье

Первая публ.: Полярная звезда. 1988. № 3. С. 3–18.

Транссиб

Первая публ.: Гудок. 2, 5, 6 и 7 апреля 2005.

Кругобайкалка

Первая публ.: Гудок. 1, 4, 5 и 6 октября 2005.

Возвращение Тобольска

Историческое эссе – вступ. статья // Двойная метафора: Аркадий Елфимов. Ангел Сибири. Павел Кривцов. Ангел вострубил. Тобольск, 2009.

Откуда они в Иркутске?

Первая публ.: Советская культура. 21 апреля 1984.

Русь сибирская, сторона байкальская

Предисловие к: Афанасьева-Медведева Г. В. Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири: в 20 т. / Науч. ред. Ф. П. Сороколетов. Иркутск, 2007.

Из «Байкальского дневника»

Первая публ.: Советская культура. 1 апреля 1989; Распутин В. Г. На родине. М.: Алгоритм, 2004. С. 158–200.

Полная чаша злата и лиха

Первая публ.: Труд. 18 февраля 2006.

Моя и твоя Сибирь

Первая публ.: Советская молодежь. 5 января 1984; Советская литература. 1990. № 1. С. 97–103; Распутин В. Г. На родине. М.: Алгоритм, 2004. С. 336–350.

Что в слове, что за словом?

Публ. по: Современная драматургия. 1985. № 3; Распутин В. Г. Что в слове, что за словом?: Очерки, интервью, рецензии. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1987. С. 151–159.

Время и бремя тревог

Публ. по: Выступление на VI съезде Союза писателей РСФСР (1985 г.) // Распутин В. Г. Что в слове, что за словом?: Очерки, интервью, рецензии. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1987. С. 181–190.

Вопросы, вопросы

Публ. по: Распутин В. Г. Что в слове, что за словом?: Очерки, интервью, рецензии. Иркутск, 1987. С. 160–180; Студенческий меридиан. 1988, № 2. С. 19–26; Распутин В. Г. В поисках берега. Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. С. 477–500.

К вопросу о патриотизме

Первая публ.: Литературный Иркутск. Июнь 1988. (Под названием «Патриотизм – это не право, а обязанность».)

Из огня да в полымя. Интеллигенция и патриотизм

Первая публ.: Литературный Иркутск. Ноябрь 1990. С. 2–4; Январь 1991. С. 1–3 (под заголовком «Интеллигенция и патриотизм»); Восточно-Сибирская правда. 1 февраля 1991. С. 1–6.

Чтобы защитить совесть...

Публ. по: Выступление на IX съезде писателей России // Правда. 18 июня 1994.

Шлемоносцы

Публ. по: Выступление на IX Всемирном народном собрании, посвященное 60-летию Победы (2005 г.) // Распутин В. Г. В поисках берега. Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. С. 248–255.

Были люди и в наше время

Публ. по: Православное информационное агентство «Русское воскресение». 13 января 2007. (К годовщине кончины Сергея Лыкошина.)

Светоносное имя. К 200-летию А. С. Пушкина

Первая публ.: Советская Россия. 3 июня 1999.

«Откройте русскому человеку свет». О Ф. М. Достоевском

Первая публ.: Завтра. Ноябрь 2001. № 46.

Наш Толстой. Юбилейное слово к 175-летию со дня рождения

Первая публ.: Гудок. 13 сентября 2003.

«Имеет силу национального пароля». К 100-летию Л. М. Леонова

Первая публ.: Роман-газета XXI век. 1999, № 8.

Свет печальный и добрый. Об А. П. Платонове

Публ. по: Распутин В. Свет печальный и добрый // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Выпуск 4. Юбилейный. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. С. 9.

Рядом с мастером. О Г. В. Свиридове

Публ. по: Предисловие // Георгий Свиридов в воспоминаниях современников / Сост. и комм. А. Б. Вульфова. М.: Молодая гвардия, 2006. (Библиотека мемуаров: Близкое прошлое; Вып. 16).

Твой сын, Россия, горячий брат наш. О Василии Шукшине

Первая публ.: Сибирь. 1984. № 4. С. 87–99; Советская культура. 28 июля 1984.

С места вечного хранения. Об Александре Вампилове

Публ. по: Советская культура. 10 марта 1987; Предисловие // Вампилов А. В. Избранное. М., 1999. С. 5–11; Сибирь. 2002, № 6.

Его сотворенное поле. О Федоре Абрамове

Первая публ.: Советская культура. 10 марта 1987; Распутин В. Г. Что в слове, что за словом?: Очерки, интервью, рецензии. Иркутск, 1987. С. 306–312.

Служба Василия Белова

Первая публ.: Гудок. 19 октября 2002.

С любовью и виной. О Владимире Крупине

Публ. по: Книжное обозрение. 28 июня 1985. (Под заголовком «О Родине с любовью и виной».); Предисловие // Крупин В. К. Дорога домой. М., 1985.

В некотором царстве, в некотором государстве

Публ. по: Предисловие // Русские сказки Забайкалья. Иркутск: Вост.-Сиб. кн.изд-во, 1983. С. 3–8.

**Русь. Веси, Лики, Земля. О творчестве Анатолия Забо-
лоцкого**

Публ. по: Роман-газета. 2004, № 14.

Вы навязали стране плюрализм нравственности

Публ. по: Выступление на Первом съезде народных депута-
тов СССР // Литературная газета. 14 июня 1989.

Россия уходит у нас из-под ног

Публ. по: Из выступления на VII съезде писателей // Молодая
гвардия. 1991. № 3. С. 10–14.

«Так создадим же течение встречное...»

Публ. по: Выступление на Первом съезде Русского нацио-
нального собора // Правда. 18 июня 1992. (Под заголовком «Если
соберем любовь к России каждого в одну любовь – выстоим!»);
Народная газета. 24 июня 1992.

Мы не предали крепостей, на которых стоит Россия

Публ. по: Выступление на X съезде Союза писателей России
// Парламентская газета. 27 ноября 1999. (Под заголовком «Мы
оказались на пустынном берегу».)

Народ, он свой, а живет стороной

Публ. по: Выступление на VI Всемирном Русском народном собо-
ре (2001 г.) // Русский Восток. 2001. № 51; Распутин В. Г. Уроки фран-
цузского. М.: Жизнь и мысль, Московские учебники, 2004. С. 464–469.

Учение: свет и тьма

Публ. по: Доклад на пленарном заседании XIV Международных Рождественских образовательных чтений (2006 г.) // Вестник Российского философского общества. 2006. № 1. С. 168–174; Распутин В. Г. В поисках берега. Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. С. 265–276.

Земля

Публ. по: Выступление на X Всемирном Русском народном соборе (2006 г.) // «Русское воскресение»: сетевой журнал. 17 апреля 2006; Распутин В. Г. В поисках берега. Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. С. 256–264.

В судьбе природы – наша судьба

Первая публ.: Советская Россия. 20 января 1989.

Сумерки людей

Первые публ.: Сельская жизнь. 29 ноября 1989; Литературный Иркутск. Декабрь 1989.

«Правая, левая, где сторона?»

Первые публ.: Литературный Иркутск. Март 1989; Наш современник. 1989. № 11. С. 140-145.

Cherchez la femme. Вечный женский вопрос

Первая публ.: Литературный Иркутск. Октябрь 1989.

Что дальше, братья-славяне?

Первая публ.: Литературный Иркутск. Апрель 1992.

Сколько будет лет в XXI веке? Предъюбилейные размышления

Публ. по: Восточно-Сибирская правда. 10 сентября 1997.

Унесенному – прощай?

Первая публ.: Доклад, прочитанный на Международной конференции писателей в г. Феррара (Италия) 23 мая 1999 // Восточно-Сибирская правда. 26 июня 1999; Распутин В. Г. Уроки французского. М.: Жизнь и мысль, Московские учебники, 2004. С.454–459.

Сколько же мы будем еще запрягать?

Публ. по: Выступление на V Всемирном Русском народном соборе // Восточно-Сибирская правда. 22 января 2000. (Под заголовком: «Запрягали – запрягли?»).

В поисках берега

Публ. по: Выступление при вручении премии им. А. И. Солженицына // Новый мир. 2000. № 5.

Мой манифест

Публ. по: Мой манифест: наступает пора для русского писателя снова стать эхом народным // Наш современник. 1997. № 5. С. 3–6.

Пишу о том, что нужно людям. Беседа с С. В. Ямщиковым

Первая публ.: Завтра. 31 марта 2004; Ямщиков С. В. Созидающие. М.: Русский мир, 2007. С. 65–75.

Эти двадцать убийственных лет. Беседы с публицистом Виктором Кожемяко

Все беседы были впервые опубликованы на страницах газеты «Правда» в период с 1993 по 2010 год; первое издание: Распутин В., Кожемяко В. Последний срок: Диалоги о России. М.: Воскресенье, 2006; Распутин В., Кожемяко В. Боль души. М.: Алгоритм, 2007; Распутин В., Кожемяко В. Эти двадцать убийственных лет. М.: Алгоритм, 2010.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Валентин Курбатов. Предисловие</i>	5
---	---

I. БЛИЖНИЙ СВЕТ

Поле Куликово.....	29
Ближний свет издалека.....	50
Из глубин в глубины.....	70
Смысл давнего прошлого. <i>Религиозный раскол в России</i>	83
На Афоне.....	101
Откуда есть-пошли мои книги.....	135
Байкал предо мною.....	145

II. МОЯ И ТВОЯ СИБИРЬ

Иркутск с нами.....	156
Байкал, Байкал.....	181
Сибирь без романтики.....	189
Кяхта.....	229
Русское Устье.....	262
Транссиб.....	310
Кругобайкалка.....	357
Возвращение Тобольска.....	391
Откуда они в Иркутске?.....	401
Русь сибирская, сторона байкальская.....	409
Из «Байкальского дневника».....	417
Полная чаша злата и лиха.....	448

Моя и твоя Сибирь.....	457
------------------------	-----

III. К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЗМЕ

Что в слове, что за словом?.....	472
Время и бремя тревог.....	481
Вопросы, вопросы.....	490
К вопросу о патриотизме.....	511
Из огня да в полымя. <i>Интеллигенция и патриотизм</i>	519
Чтобы защитить совесть.....	549
Шлемоносцы.....	556
Были люди и в наше время.....	563

IV. УРОКИ РУССКОГО

Светоносное имя. <i>К 200-летию А. С. Пушкина</i>	569
«Откройте русскому человеку свет».	
<i>О Ф. М. Достоевском</i>	576
Наш Толстой. <i>Юбилейное слово. К 175-летию со дня рождения</i>	581
«Имеет силу национального пароля». <i>К 100-летию Л. М. Леонова</i>	589
Свет печальный и добрый. <i>Об А. П. Платонове</i>	597
Рядом с мастером. <i>О Г. В. Свиридове</i>	600
Твой сын, Россия, горячий брат наш... <i>О Василии Шукшине</i>	603
С места вечного хранения. <i>Об Александре Вампилове</i>	631
Его сотворенное поле. <i>О Федоре Абрамове</i>	643
Служба Василия Белова.....	649
С любовью и виной. <i>О Владимире Крупине</i>	653
В некотором царстве, в некотором государстве.....	659
Русь. Веси, Лики, Земля. <i>О творчестве Анатолия Заболоцкого</i>	665

V. РОССИЯ УХОДИТ У НАС ИЗ-ПОД НОГ

Вы навязали стране плюрализм нравственности.....	669
Россия уходит у нас из-под ног.....	678
«Так создадим же течение встречное...».....	685

Мы не предали крепостей, на которых стоит Россия	694
Народ, он свой, а живет стороной.....	702
Ученье: свет и тьма.....	707
Земля	718

VI. В ПОИСКАХ БЕРЕГА

В судьбе природы – наша судьба.....	727
Сумерки людей	746
«Правая, левая где сторона?»	767
Cherchez la femme. Вечный женский вопрос... ..	790
Что дальше, братья-славяне?	804
Сколько будет лет в XXI веке? <i>Предъюбилейные размышления</i>	832
Унесенному – прощай? <i>Мир на пороге третьего тысячелетия</i>	845
Сколько же мы будем еще запрягать?	853
В поисках берега	859
Мой манифест	865
«Пишу о том, что нужно людям».	
<i>Беседа с С. В. Ямщиковым</i>	870

VII. ЭТИ ДВАДЦАТЬ УБИЙСТВЕННЫХ ЛЕТ

Беседы с публицистом Виктором Кожемяко

К читателю	883
После расстрела на Краснопресненской	885
А век двадцатый близится к закату.....	915
Вступая в новое столетие и даже тысячелетие	967
Отнимают у народа Родину.....	1024
Когда отринуты моральные законы	1103
Где, укажите нам, Отечества отцы?	1135
«С нас хотят содрать последнюю кожу».	
<i>Из выступления на встрече с читателями</i>	1177

Комментарии	1181
--------------------------	------

Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 160 томов).

Редактор Д. В. Орлов
Корректор Г. А. Островская
Компьютерная верстка Е. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 09.04.2015 г. Формат 84 x 108 ¹/₃₂.
Гарнитура «Times». Объем 52,9 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

**ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ВЫПУСКАЕТ
БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
РУССКОГО НАРОДА**

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

- Русская цивилизация *(вышел)*
- Русское Православие в трех томах *(вышли)*
- Русское государство *(вышел)*
- Русский патриотизм *(вышел)*
- Русское мировоззрение *(вышел)*
- Русский образ жизни *(вышел)*
- Русская география
- Русское хозяйство *(вышел)*
- Международные отношения
- Национальные отношения
- Русская литература *(вышел)*
- Русская икона и религиозная живопись в двух томах *(вышли)*
- Русская архитектура и скульптура
- Русская живопись
- Русский театр
- Русская музыка
- Русская наука
- Русская школа
- Русское воинство
- Памятники Отечества
- Русские за рубежом
- Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

- Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
- Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
- Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
- Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
- Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
- Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
- Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
- Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
- Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
- Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
- Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
- Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
- Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
- Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
- Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
- Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
- Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
- Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
- Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
- Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
- Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
- Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
- Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
- Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
- Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
- Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
- Иван Грозный. Государь, 400 с.
- Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
- Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
- Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
- Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
- Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
- Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.

- Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
- Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
- Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
- Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
- Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
- Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
- Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
- Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
- Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
- Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
- Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
- Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
- Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
- Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
- Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
- Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
- Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
- Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
- Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
- Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
- Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
- Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
- Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
- Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
- Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
- Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
- Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
- Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
- Кожин В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
- Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
- Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с.
- Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
- Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
- Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
- Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.

Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.

- Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи океанных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Мионов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верю понимаем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»

- Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.

- Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знание. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

- Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 с.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

- Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.

- Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
- Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
- Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
- Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
- Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
- Очерки истории русской иконы, 592 с.
- Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
- Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
- Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
- Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
- Русский государственный календарь, 728 с.
- Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
- Русская артель, 672 с.
- Русская община, 1376 с.
- Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
- Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
- Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
- Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
- Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
- Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
- Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
- Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 688 с.
- В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.
- Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
- Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
- Катасонов В. Ю. Россия и Запад в XX веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.
- Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

- Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
- Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.

- Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
- Платонов О. Пролог царевубийства, 496 с.
- Платонов О. История царевубийства, 768 с.
- Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
- Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
- Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
- Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
- Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
- Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
- Платонов О. Заговор царевубийц, 528 с.
- Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ В 6 ТОМАХ

- Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
- Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
- Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
- Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
- Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)